

СЕРВАНТЕС

ХИТРОУМНЫЙ ИДАЛЬГО

ДОН КИХОТ ЛАМАНЧСКИЙ



Полное издание в одном томе
с акварелями Сальвадора Туселля
по гравюрам Гюстава Доре

БИБЛИОТЕКА МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ



ХИТРОУМНЫЙ ИДАЛЬГО

ДОН КИХОТ ЛАМАНЧСКИЙ

СОЧИНЕНИЕ
МИГЕЛЯ ДЕ СЕРВАНТЕСА СААВЕДРА

*Полный перевод с испанского М. В. Ватсон
(С примечаниями, биографическим очерком
и портретом Сервантеса)*

350 акварелей Сальвадора Туселля по гравюрам Гюстава Доре



Санкт-Петербург
СЗКЭО

Москва
ОНИКС-ЛИТ

УДК 821.134.2
ББК 84(0)5-44
С32

Текст в современной орфографии воспроизводится по изданию
«Дон Кихот Ламанчский», издание Ф. Павленкова, 1907

Иллюстрации Сальвадора Туселля по гравюрам Гюстава Доре
воспроизводятся по изданию
El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha
Barcelona 1905

Верстка, обработка иллюстраций
Е. Гезенцевей

С32 **Сервантес М.** Дон Кихот Ламанчский — Санкт-Петербург: СЗКЭО, 2019.
— 1032 с., ил.

«Дон Кихот» Сервантеса был впервые опубликован в начале XVII века и сразу вошел в золотой фонд мировой литературы. Первый полный перевод романа на русский язык был выполнен в 1907 г. М. В. Ватсон. Она была дочерью испанского аристократа де Кастро, и поэтому прекрасно понимала язык Сервантеса. Именно этот перевод и приведен в данном издании. Необычайную красочность и уникальность ему придают цветные рисунки – 350 акварелей Сальвадора Туселля, выполненных по гравюрам Гюстава Доре. Книгу предваряет биографический очерк о жизни и творчестве великого писателя.

ХИТРОУМНЫЙ ИДАЛЬГО

ДОН КИХОТ ЛАМАНЧСКИЙ



Мигель де Сервантес Сааведра

ПРЕДИСЛОВИЕ

Перевод наш сделан с испанского текста, признанного в настоящее время наиболее критическим и достоверным, а именно с текста, изданного в 1898 г. членом испанской Академии наук, известным знатоком и исследователем в области испанской литературы – англичанином Фицморисом Келли. Новое издание было встречено в Испании очень сочувственно и вызвало большие похвалы со стороны таких авторитетных писателей, как, например, выдающегося беллетриста, поэта и философа дона Хуана Валера и ученейшего профессора, – теперь директора национальной библиотеки в Мадриде, – дона Марселино Менендес-и-Пеляйо. И наш русский сервантист, профессор Шепелевич, в своей монографии «Дон Кихот Сервантеса» (1903) тоже приходит к заключению, что издание Фицмориса Келли «внушает более доверия, чем все другие», и что «оно дает нам текст, свободный от ненужных вставок, исправлений, произвола редакторов и критиков».

До появления издания Фицмориса Келли критическим текстом «Дон Кихота» признавалось издание испанской королевской Академии; но авторитет его был поколеблен упомянутым изданием, в основу которого положено editio princeps, т.е. первое мадридское издание «Дон Кихота» 1605 года; а испанская Академия, приступившая к своему изданию в 1780 г. и выпустившая «Дон Кихота» четвертым изданием в 1814 г., не знала, по-видимому, о существовании двух мадридских изданий 1605 г. и ошибочно считала второе издание первым. Между тем, это второе издание, – которое, как и первое, печаталось издателем Сервантеса, Франциском Роблес, в типо-

графии Хуана де ля Куэста, – подверглось исправлениям, изменениям или, вернее говоря, искажениям, и даже некоторым интерполяциям или вставкам, без всякого участия самого Сервантеса, которого, по имеющимся данным, в то время не было в Мадриде. Как на яркий пример вставок, Фицморис Келли указывает на эпизод похищения осла у Санчо Пансы Хинесом де Пасамонте¹ (см. главу 23), а затем, несколькими строками ниже, оказывается, что Санчо Панса снова, как ни в чем не бывало, едет себе на своем осле. В editio princeps нет этой вставки и потому нет и такого несоответствия. О краже осла здесь упоминается, – и то лишь вскользь, – только в главе 25, а во второй части «Дон Кихота», в главе 3. Сансон Карраско упрекает автора в забывчивости и в том, что публике осталось неизвестным, кто украл у Санчо осла, и только после этого, в главе 4, Санчо сообщает, что осла украл у него Хинес де Пасамонте и как он это сделал.

Таким образом, издание Фицмориса Келли, устраняя многие произвольные изменения и искажения текста, тем самым снимает с Сервантеса обвинение в противоречиях, забывчивости, рассеянности и в пренебрежительном отношении к собственному труду. Столь распространенное мнение о будто бы «гениальной поспешности», с которой писал Сервантес, совершенно ни на чем не основано. Прежде всего, он сам в своих вступительных стихах к «Дон Кихоту» (*Урганда к книге Д. К.*) говорит, что «умный писатель идет не спеша в своих произведениях, а словно на ногах свинец привешен»; затем известно, что Сервантес, собственно говоря, написал не так много, сочинения его появлялись

¹ Вставные эпизоды других изданий указаны в сносках внизу страниц.

через значительные промежутки и при этом тщательно исправлялись им, как это доказывается выписками из черновых тетрадей «*El Celoso extremeño*» (Ревнивый Эстремадурец) и «*Rinconete y Cortadillo*». Какая тут разница между первой и окончательной редакцией! Если когда-нибудь удастся найти автограф рукописи «Дон Кихота», весьма вероятно, что нас и здесь ждет такого же рода сюрприз.

За последнее время в Испании готовится новый критический текст «Дон Кихота»¹, издаваемый барселонским профессором литературы, доном Клементе Кортехоном, с множеством вариантов, очень ценными примечаниями и словарем всех слов, употребленных в бессмертном произведении Сервантеса. Но, к сожалению, этот монументальный труд только что «зародился», – если можно так выразиться – и у нас в руках лишь первый его том, заключающий в себе, кроме предисловия, только 14 глав текста «Дон Кихота».

Покончив с необходимыми объяснениями относительно испанского текста, избранного нами для перевода «Дон Кихота», считаем не лишним сказать несколько слов и по поводу самого перевода. Нимало не обольщая себя надеждой, что в нашем переводе бессмертного произведения мы сумели сохранить его – если можно так выразиться – тонкий аромат, который неизбежно теряется при всякой передаче на другой язык, или что нам удалось овладеть изяществом слога оригинала и передать на русский язык всю богатую струю юмора Сервантеса, игру слов, всякие намеки, полунамеки и т. д. в «Дон Кихоте», мы – следуя указанию самого Сервантеса переводить: «ничего не выпуская и ничего не добавляя» (часть I, глава 9) – придержи-

живались как можно ближе и точнее текста, и даже, где это не противоречило русскому языку, передавали его дословно, стараясь везде сохранить и местный колорит и малейшие оттенки. Не сомневаемся, что у нас найдется достаточно промахов и ошибок, без которых едва ли может обойтись подобного рода труд, и будем очень признательны за всякие обоснованные указания таких промахов и ошибок. Но одно мы твердо знаем: повинны мы в том, что, на наш взгляд, было бы тягчайшим преступлением против Сервантеса и против читающей публики, а именно: разукрашивать оригинал собственной фантазией, стараться низвести пафос и юмор великого произведения к самому грубому из идеалов, приписывать Сервантесу слова и фразы, не принадлежащие ему, обременять своим ложным юмором его юмор, например, заставляя говорить Санчо и других крестьян, выведенных в «Дон Кихоте», каким-то особенно грубым и простонародным языком, когда в действительности этого нет, и в Кастилии простолюдины не говорят языком, столь отличным от языка образованного класса, выставляя Санчо каким-то неотесанным шутком и представляя в смешном виде рыцаря, – что также нелепо, как и неверно относительно оригинала – все это мы считали бы оскорблением правды и искусства, и таким неуважением к гениальному автору, дальше которого нельзя идти.

Для сохранения более яркого, местного колорита, между прочим, мы, насколько это было возможно на русском языке, придерживались испанского произношения в именах, исключая лишь *Кихота*, имя которого по-испански трехсложное и читается *Ки-хо-те*. Но внести, хотя бы и такое легкое изменение

¹ Primera edición crítica con variantes, notas y el diccionario de todas las palabras, usadas en la inmortal novela por Don Clemente Cortezón, Madrid, 1905.

в имя ламанчского рыцаря невозможно, ввиду того, что это имя уже вошло у нас слишком во всеобщее употребление. Остальные же имена, начиная с *Росинанта* вплоть до цирюльника *Николас*, или, быть может, вернее *Николяс*, переведены нами соответственно испанскому произношению.

Затем, для облегчения читателю понимания текста, там, где это нам казалось нужным, мы делали выноски и примечания, заключающие в себе исторические, библиографические, географические и т. п. сведения, также как и объяснения некоторых общеупотребительных испанских оборотов речи и выражений. Все эти примечания и комментарии заимствованы нами из разных источников, как испанских, так и английских, а именно у дона Клементе Кортехона, дона Диаса де Бенхумеа, Хуана Валера и др. и преимущественно у Эдварда Уатса, который, в свою очередь, почерпнул их у комментаторов и сервантистов: дона Диего Клеменсина, Антонио Пеллисера, Майнеса и многих других.

Первый камень преткновения, который нам встретился при переводе «Дон Кихота», было заглавное прилагательное к имени Дон Кихота: *ingenioso*, которое так удобно переводится на французский язык словом *ingénieux*, на английский – *ingenious*, на немецкий переведено очень удачно словом *sinnreich*, а по-русски как-то не поддается переводу. При всем желании найти что-нибудь получше, мы могли лишь остановиться на соединении двух слов, именно: *остроумно-изобретательный*. Заменить же это прилагательное другим, или вовсе опустить его, как это делалось до сих пор многими переводчиками, нельзя, потому что этот эпитет имеет и не может не иметь значения. Несомненно, что Сервантес употребил его

обдуманно и намеренно, и что он имеет в виду выразить истинный характер его героя и служит ключом для истории его. Не только такой гениальный писатель, как Сервантес, но и всякий другой, даже посредственный автор, старается дать наиболее подходящее заглавие своим произведениям. Хотя прилагательное *ingenioso*, примененное к *безумцу*, казалось большинству переводчиков и публике несовместимым, и сервантист Клеменсин считал этот эпитет непонятным и неудачным, – теперешняя критика, напротив, признает его и удачным и подходящим. Некоторые сервантисты, и, между прочим, столь страстный дон Диас де Бенхумеа, считают очевидным и несомненным, что эпитет *ingenioso*, не имея отношения к буквальному смыслу книги, имеет очень большое отношение к ее сути, или иными словами к внутреннему смыслу фабулы. А Пеллисер и некоторые другие высказывают предположение, что прилагательное применено автором к книге, а не к ее герою, с чем, однако, трудно согласиться, потому что не только в заглавии, но и в тексте (2 и 16 глав. I части и в конце II части) Сервантес говорит *el ingenioso hidalgo*, относя это не к книге, а к Дон Кихоту.

Что касается рисунков и иллюстраций, то в нашем переводе помещены акварели испанского художника Сальвадора Тусселля, сделанные по гравюрам Густава Доре, появляющиеся впервые в России. Относительно же портрета Сервантеса приходится сказать следующее. Как известно, достоверного портрета Сервантеса нет нигде. Имеются данные, что с него было срисовано при его жизни два портрета, один – доном Хуаном де Хауреги, другой – Пачеко, но оба они не разысканы до сих пор. Основой для большинства всех существующих портретов Сервантеса служил портрет, который ан-

глийский художник, Вильям Кент нарисовал для первого роскошного английского издания «Дон Кихота» в 1738 г., руководясь описанием Сервантеса своей наружности в прологе к его «Образцовым новеллам». Портрет, приложенный к изданию испанской академии 1780 г., сильно напоминает собой тот же портрет Кента и теперь признан большинством испанских сервантистов лишь списком с портрета Кента, каковым являются и почти все столь распространенные портреты Сервантеса. В 1864 г. сеньор Асенсио отыскал в Севильи картину Пачеко, где, из числа семи ее фигур, одну, в одежде лодочника, признал за портрет Сервантеса, который и стал известен под именем «barquero». Однако это предположение сервантиста Асенсио в настоящее время

опровергнуто. К нашему переводу приложен портрет Сервантеса, нарисованный испанским художником Сальвадором Тусселлем.

Наконец, у нас помещен герб типографии Хуана де ля Куэста, имеющийся в первом издании «Дон Кихота» 1605 г.: сокол с которого только что снят клобук, а внизу лев и кругом девиз: *Post tenebras spero lucem* (После мрака надеюсь на свет). Этот герб особенно интересен потому, что он, по-видимому, был девизом и самого Сервантеса, по крайней мере, во второй части «Дон Кихота» (глава 68) ламанчский рыцарь, беседуя с Санчо обещает ему, что осуществление его надежд не будет отсрочено больше, чем на год, так как я, – говорит он, – *post tenebras spero lucem*.

М. Ватсон.



Герб типографии Хуана де ля Куэста

Биографический очерк

Мигель де Сервантес Сааведра – величайший писатель Испании, ее слава и гордость, тем более потому, что он не только национальный, но и всемирный писатель – родился осенью 1547 г. в Алькала де Энарес, что окончательно установлено теперь благодаря официальному документу¹, подписанному самим Сервантесом в Мадриде, 18-го декабря 1580 г., в котором он признает себя уроженцем Алькала де Энарес. Это небольшой город, отстоящий от Мадрида на полтора часа или на час езды. Известно, что долгое время, несмотря даже на то, что в 1752 г. было найдено свидетельство о крещении Мигеля 9-го октября 1547 г. в церкви Santa Maria la Mayor в Алькалá, несколько испанских городов: Мадрид, Севилья, Эскивиас, Люсена, Консуэгра и Алька́сар де Сан Хуан – все еще оспаривали друг у друга честь считать своим уроженцем автора «Дон Кихота». Хотя, собственно говоря, вопрос этот казался бы в настоящее время не столь важным, потому что великие гении теперь уже являются как бы всемирными гражданами.

Род Сервантеса чисто кастильского происхождения. Мигель, день рождения которого так и остался неизвестным, а крещен он был, как уже сказано 9-го октября 1547 г., был вторым сыном Родриго де Сервантес и его жены Леоноры де Кортинас, которые, в то время, кроме новорожденного, имели уже троих детей: сына Андреса и дочерей Андреа и Люису. Дед Мигеля, лисенсиат Хуан де Сервантес, был адвокатом в Кордове и считался хорошим юристом; отец же будущего великого писателя, Родриго де Сервантес, лекарь, жил в Алькала, был беден и к тому же глух. Практику он, надо

думать, имел самую незначительную. Хотя Алькалá в то время и славился своим университетом, но богатые и знатные испанцы предпочитали слушать курс наук в Саламанке, куда их влекли развлечения и веселая жизнь. Таким образом, в Алькала хотя и было много учености, но мало денег. Бедному лекарю с его семьей становилось все труднее жить, тем более, что у него в 1550 г. родился пятый ребенок, сын Родриго, а в 1555 г. в Вальядолиде, куда по имеющимся сведениям переселились Сервантесы, еще и шестой – дочь Магдалена.

Около этого времени умер прославленный император Карл V, и восседавший на испанском престоле мрачный, скрытный и фанатичный Филипп II со всем двором переехал в Мадрид, который он избрал себе столицей, и стал возводить в его окрестностях знаменитый монастырь Эскориал. Имеются сведения, что в Мадрид перебрался вскоре и Родриго де Сервантес со своей семьей, и тут у него родился седьмой ребенок – сын Хуан. Но жизнь здесь оказалась настолько дорогой, что скоро явилась необходимость уехать. Леонора де Кортинас с дочерью Люисой вернулась в Алькала, чтобы ухаживать там за своей тяжело больной матерью, доньей Эльвирой де Кортинас. Люиса, которой тогда было лет 16 или 17, вскоре, в 1565 г., поступила в кармелитский монастырь в Алькала. Остальная часть семьи Родриго де Сервантес с ним и старшей его дочерью – красивой и симпатичной Андреа, занявшей место матери – уехали в Севилью, где всего вероятнее, а не в Севовии или Мадриде, Мигель видел Лопе де Руэда, в то время наиболее популяр-

¹ Documentos cervantinos – книга сеньора Переса Пастора (Perez Pastor), вышедшая в Мадриде в 1897 г.

ного и известного человека в Севильи, и его комедии и «*pasos*», заключающие в себе в зародыше весь испанский театр и содействовавшие, быть может, не менее чего-либо другого воспитанию Сервантеса. Во всяком случае, он, тридцать лет спустя, еще с восторгом вспоминал о Лопе де Руэда.

Из того немногого, что мы знаем о детстве и первой юности Мигеля де Сервантес, можем лишь отметить его любовь к поэзии, проявившуюся у него, как он говорит, *с самых нежных лет*, и такую склонность к чтению, что, по собственному его признанию, он подбирал даже *рванные бумажки на улице, чтобы читать их*. Какие книги предпочитал Сервантес? На этот вопрос мы можем ответить только гадательно.

В ту эпоху, когда родился Сервантес, атмосфера Испании была как бы насыщена идеями величия, пылкой деятельностью, духом завоевания и неслыханных и необычайных приключений. Государство и церковь, меч и крест, монахи и солдаты – все одинаково стремились властвовать и поработать. Идеал доблестной деятельности олицетворялся, по-видимому, для тогдашнего общества в романах странствующего рыцарства или в рыцарской эпопее. Короли не всегда вели войны против мавров или язычников; часто войны их были и несправедливы, и направлены против братьев; битвы же рыцарей оправдывались благородной целью и велись всегда лишь против великанов и разбойников – символов зла.

Очень вероятно, что и Сервантес, предпочтительно перед другими книгами, читал Амадиса и рыцарские романы, а может быть, в то время были в ходу и детские игры в странствующих рыцарей, и забрало из картона, сделанное Кихана Добрым для своего шлема – одно из воспоминаний детских игр Мигеля. Так ли

обстояло дело или нет, неизвестно, потому что, как мы уже говорили, достоверных биографических сведений о детской и ранней юношеской жизни Сервантеса нет.

Есть сведения о том, что в 1565 или в 1566 г. беспокойная семья Сервантесов снова переселяется в Мадрид, куда Мигель явился, если и не пройдя школьного курса, о чем нам ничего неизвестно, то уже, надо думать, несколько сведущий в школе жизни, так как при скудости средств его родителей, вероятно, и ему приходилось сталкиваться с нуждой и иными тому подобными впечатлениями. Около этого времени умерла донья Эльвира де Кортинас, оставив маленькое наследство – виноградник, который и был продан за 1025 реалов, и на эти деньги семья устроилась в Мадриде. Здесь, в школе городского совета, Мигель проходил класс грамматики. В 1569 г., когда юноше шел 22 год, он впервые выступил на литературном поприще. Случилось это следующим образом.

Дон Карлос, наследник испанского престола, умер 24 июля 1568 г. Через два с половиной месяца, 3-го октября, умерла его мачеха, Изабелла де Валуа, третья жена Филиппа II. В числе других и профессор словесных наук в Мадриде, Хуан Лопес де Ойос (Hoyos) издал ранней весной 1569 г. сборник стихов на смерть юной королевы. Здесь впервые появился в качестве поэта молодой Сервантес, которому его учитель, маэстро Лопес Ойос, а также и вся школа (потому что в то время ничего не делалось в классе без участия учеников), поручили сочинить требуемые эпитафии, аллегории и т. д. Сервантес написал четыре *redondillas*, кастильскую *sona*, элегию в терцетах в 199 стихов и эпитафию в виде сонета. Маэстро Ойос уделил особое и очень лестное внимание этим произведениям

своего «дорогого и любимого ученика», как он называет Сервантеса. Говорили очень много и повторяли очень часто, но совершенно несправедливо, будто Сервантес был лишен всякого поэтического таланта, и поэтому стоит остановиться на первых юношеских его стихах. Они были не хуже и не лучше стихов других тогдашних поэтов, хотя и забытых теперь, но в свое время справедливо пользовавшихся известностью. Во всяком случае, в ту пору стихи его были признаны очень хорошими, и торжество его было полное.

Вскоре мы видим юного поэта в Италии, куда он уехал в свите кардинала Аквавива. Каким образом это случилось, просил ли кто за Сервантеса, или молодой кардинал – ему было всего 24 года – лично знал молодого писателя и симпатизировал ему, и по какой причине уехал Сервантес, просто ли из желания видеть свет, или вынужденный к бегству из Испании вследствие дуэли, как некоторые рассказывают, – факт тот, что он уехал в Италию с монсеньором Юлио, сыном герцога де Атри-Аквавива, прибывшим в Мадрид с официальной миссией выразить от имени папского престола соболезнование Филиппу II по поводу смерти его сына Карлоса.

В Италии Сервантес пробыл двенадцать лет. По всей вероятности Мигель не проходил университетского курса, и все дает повод думать, что действительно оно так и было; достоверно то, что он не получил никакой ученой степени, но, тем не менее, он был очень начитан, и это ясно видно из его произведений. В бытность свою в Италии, где юный поэт, больше чем ее монументами и соборами, восхищался «*vida libre de Italia*», (свободной итальянской жизнью), он научился итальянскому языку и близко познакомился с итальянской литературой.

Но при дворе кардинала Аквавива, где он был самагеро, Сервантес оставался недолго. Эта праздная и ничтожная жизнь не могла, конечно, прийтись по вкусу юноше со столь живым умом и такой беспокойной душой. В 1570 г. он записался солдатом в полк Диего де Урбина.

В те времена профессия оружия считалась наиболее почетной, что было очень естественно в обществе, где, с одной стороны, режим абсолютизма парализовал индивидуальную энергию, индивидуальные силы и деятельность, а, с другой стороны, деспотизм католицизма парализовал духовные силы. Сервантеса тем более привлекала военная служба, что носились слухи о готовящейся войне с турками. Но пока уполномоченные трех держав – Венеции, Испании и папского престола – занимались в Ватикане дипломатическими препирательствами по поводу св. Лиги, договор которой был формально объявлен в соборе св. Петра только 25 мая 1571 года – Селим II не дремал. Турки еще 9 сентября 1570 г. взяли штурмом Никосию, падение которой вынудило весь Кипр сдаться завоевателю, исключая лишь крепость Фамагосту, героически продержавшуюся целых одиннадцать месяцев против осаждавших ее турок. Но и эта крепость пала 1-го августа 1571 г., а о падении ее и кровавой, неслыханно-зверской расправе турецких янычаров по приказанию Селима со славными защитниками Фамагосты и всеми ее жителями, перебитыми или отправленными на турецкие галеры для долгого мученичества, дон Хуан Австрийский, избранный генералиссимусом над соединенными силами Лиги, узнал только лишь 5-го октября, когда он со своим флотом (где находился и солдат Сервантес) прибыл в Кефалонию.

Эти известия, из числа тех, которые «сердца трусов превращают в сталь и

кровь сонливых в пламя», распространились по флоту и еще более разожгли пылающее желание христианских войск сразиться с неприятелем. В воскресенье, 7-го октября, когда, вскоре после полудня, раздался первый пушечный выстрел, Сервантес, лежавший в постели в жесточайшей лихорадке, выскочил на палубу, едва держась на ногах. В ответ на увещания своего капитана и двух товарищей, Матео де Сантистебан и Габриэля де Кастаньеда, он просил лишь об одном: «поставить его в самое опасное место, где бы он мог умереть, сражаясь». Как видно, свойственные Сервантесу идеализм и *кихотизм* сказались уже и тут.

Сражение при Лепанто увенчалось полной победой. За исключением лишь нескольких судов, все неприятельские суда были захвачены или уничтожены, турецкий адмирал убит, его сыновья взяты в плен. Сервантес, которому двумя пулями прострелили грудь и одной пулей левую руку, гордился всю жизнь тем, что он: «*tuve, aunque humilde parte*» – принял, хотя и скромное участие, в этой знаменитой битве, где он лишился левой руки для вящей славы правой, как он говорит в своем «*Viaje de Parnaso*», (Путешествие на Парнас). На этом его отношении к военному делу и построена столь известная речь (часть I, глава 38) «Дон Кихота» по поводу оружия и словесных наук. После Лепанто Сервантес пролежал в госпитале шесть месяцев, и дон Хуан с маркизом де-ла-Крус, посещая раненых, обратили особенное внимание на солдата, отличившегося такой отвагой и храбростью.

Однако блестящая победа при Лепанто оказалась бесплодной, так как двоедушные венецианцы, потихоньку от союзников, заключили постыдный мир с турками, а Филипп II, который всегда руководствовался своим любимым поли-

тическим принципом: «глаза, которые не видят, сердце, которое не чувствует», завидуя славе, приобретенной доном Хуаном в сражении при Лепанто, не посылал ему ни денег, ни съестных припасов для армии, ни лекарства для госпиталей.

После Лепанто Сервантес еще сражался и везде с честью: при Корфу, Наварине, Тунисе. Но Голета была взята штурмом, Тунис пал, и испанскому флоту пришлось вернуться в Неаполь. Здесь Сервантес, оставшийся бедным солдатом, пробыл еще почти год под командой герцога де Сесса, вице-короля Сицилии. Первая его молодость была у него уже за плечами, и в сентябре 1575 г. он просил и получил разрешение вернуться в Испанию. Заручившись рекомендательными письмами от дон Хуана и герцога де Сесса, Сервантес с братом Родриго, тоже служившим в Италии, и многими другими лицами, отплыл на испанской галере *El Sol*. Но неблагоприятная и завистливая судьба преследовала его. Утром, 26 сентября, флотилия Алжирских корсаров, под командой арнаута Маами, налетела на *Sol* и после отчаянного сопротивления испанцев, сражавшихся, как львы, завладела всем экипажем, в том числе и Сервантесом. Итак, вместо радостного возвращения в отчизну и справедливой награды, солдат-поэт оказался обреченным на жестокий плен и мученическое заточение в Алжире, куда он был отвезен в оковах.

Вместе с братом Родриго он попал невольником к Дали Маами, греческому ренегату, прозванному *El Cojo* (Косой), который командовал одной из алжирских галер в то несчастное сентябрьское утро 1575 г. Рекомендательные письма дон Хуана и герцога де Сесса сослужили плохую службу Сервантесу. Его хозяин Дали Маами вывел из них заключение, что за такого пленника можно получить

большой выкуп, так как человек, имеющий подобные документы, наверное, лицо значительное, и Сервантеса отвели в *baño del Rey*, где были заключены наиболее знатные пленники. Пять лет пробыл Сервантес в неволе, и этот период, хотя и самый печальный в его жизни, вместе с тем, в известном смысле, и самый яркий. Война и сражения доказали личную храбрость Сервантеса, но плен и неволя выяснили закал его души и благородство его сердца в борьбе с обрушившейся на него злополучной судьбой.

Если свободный человек, стойко борющийся с гонениями и превратностями судьбы и побеждающий их, представляет собою при человеческой слабости зрелище утешительное, то пленник, сфера действия которого почти ничтожна и каждый его шаг затруднен, имеющий силу победить свою судьбу – такое зрелище, которое не может не вызвать изумления. Читая «Дон Кихота», невольно у нас в уме встает образ его автора. Разве прототипом безумного рыцаря, столь симпатичного своею доблестью, возвышенными иллюзиями, презрением к явным опасностям и желанием тысячу раз принести себя в жертву на благо ближних – не является сам Сервантес? В наиболее героической эпохе его жизни и в лучшей его книге, мы и тут и там видим борьбу. В Алжире – борьбу за свободу материальную, в «Дон Кихоте» – за умственную и духовную, в неволе в Берберии – за освобождение тела, в повести рыцаря Идеала – за освобождение духа.

Вся история плена Сервантеса читается, как глава из какого-то бурного, несбыточного романа. В качестве наиболее героической природы Сервантес становится как бы признанным вождем своих товарищей по неволе, центром их надежд. В упавших духом он поддерживает бодрость, он устраивает для заклю-

ченных драматические представления, быть может, сам играет в собственных, затерявшихся потом пьесах, или в комедиях старого своего любимца Лопе де Руэда. Вместе с тем, изобретательный ум его беспрестанно носится с разными планами бегства, которые он и пытается привести в исполнение. Одаренный мужеством, великодушием, презрением к опасностям, Сервантес любит все выходящее из ряда вон, а больше всего любит свободу. Тем не менее, хотя ему не раз представлялся случай бежать одному, он отказывался, желая освободить и своих товарищей по несчастью.

Лишь только его заключили в *baño del Rey*, – где, как мы уже говорили, были заточены наиболее значительные пленники, – он начинает придумывать план бегства. В первый раз Сервантес доверился мавру, который обещал провести его и его товарищей по заключению в Оран, ближайший пункт, занятый испанцами. Проект был рискованный, но желание свободы взяло верх. Однако в первый же день проводник бросил несчастных, и они были вынуждены вернуться в тюрьму и к оковам. Сервантес объявил, что начинщик всего он. По-видимому, желание Дали Мами получить большой выкуп за «однорукого» спасло на этот раз Сервантеса от смерти, хотя и не спасло его от усиленных оков и строгой тюрьмы. Когда в 1577 г. Габриель де Кастаньеда был выкуплен и уехал в Испанию, Сервантес послал с ним письма к родителям, в которых извещал их о судьбе своей и Родриго. Отец и мать, а также и сестры после больших усилий и хлопот собрали, наконец, сумму в 300 червонцев. Но эти деньги были презрительно отвергнуты алчным Дали Мами как выкуп за Мигеля, и на них был выкуплен в августе 1577 г. только лишь Родриго Сервантес, не имевший рекомендательных писем.

Тогда же будущий автор «Дон Кихота» придумал план второй попытки бегства. Он поручил Родриго и другому выкупившемуся невольнику Виана выхлопотать присылку вооруженного фрегата, который пристал бы к берегу в указанном месте. В трех милях от Алжира, в саду греческого ренегата Алкайда Ассана, еще за несколько месяцев до выкупа Родриго, Сервантес с помощью садовника того ренегата, испанца родом из Наварры, выкопал пещеру, в которой спрятались четырнадцать христиан, пробывших в пещере около шести месяцев. Съестные припасы приносил им туда, по поручению Сервантеса, раскаявшийся ренегат, известный под именем *El Dorador*. 28 сентября Виана прибыл со столь страстно ожидаемым скрывшимися пленниками фрегатом, а за неделю перед тем и Сервантес бежал и присоединился к своим товарищам в пещере. Фрегат Вианы готовился пристать к берегу, когда несколько случайно проходивших мавров подняли такой крик и шум, что христиане должны были поспешно отчалить. Скрывшиеся в пещере пятнадцать пленников томились в ожидании столь страстно желанного избавления. Но, «дьявол, враг человеческий, вложил в сердце ренегата вернуться снова в ислам», говорит Наедо, автор «*Topographia Historia General de Argel*», поэтому *el Dorador* отправился в Алжир и раскрыл весь заговор Алжирскому бею Ассану.

Солдаты окружили пещеру и захватили всех бывших там вместе с некоторыми из экипажа фрегата, вернувшегося во второй раз. Сервантес тотчас же опять взял всю вину на себя и объявил, что один он организовал план бегства и уговорил остальных присоединиться к нему. Его повели к Ассану, угрожавшему ему пыткой и смертью, но бесстрашный

Сервантес стоял на своем, повторяя, что один он виноват и никто другой. Повлияло ли на столь прославившегося своей жестокостью тирана твердость, спокойствие духа и презрение к смерти Сервантеса, или это произошло по какой-либо другой причине, так и осталось неизвестным, но Ассан пощадил жизнь Сервантеса и только бедный садовник был мученически казнен. Ассан даже купил за пятьсот червонцев Сервантеса у Дали Мами, говоря, что он может быть спокоен насчет города, только если «однорукий» испанец будет находиться у него в тюрьме. Однако не успели заключить туда Сервантеса, как он в третий раз сделал попытку бежать, послав через мавра письмо в Оран, к командующему там испанскому офицеру. К несчастью, мавр был обыскан уже вблизи ворот Орана, схвачен и казнен, а Сервантес и в этот раз избег смерти. Но неисправимый пленник в четвертый раз, в сентябре 1579 г., приложил новые усилия к бегству.

С ренегатом из Гренады, по имени Хирон, желавшим вернуться в Испанию, и двумя купцами из Валенсии, Сервантес сговорился, чтобы в Алжир прибыл вооруженный корабль, на котором он и еще шестьдесят невольников могли бы скрыться. План этот был накануне исполнения, когда проявил себя иудой доминиканский монах, по имени Бьянко Пас, и флорентийский ренегат Кайбан. Сервантес в четвертый раз взял всю вину на себя и с веревкой на шее был приведен к Ассану. Все угрозы бея опять оказались тщетны; Сервантес твердил одно: с четырьмя другими лицами, уже выкупленными и уехавшими в Испанию, он устроил это бегство, остальные же ничего не знали о его планах. И на этот раз Ассан, представлявший собой настоящее чудовище по жестокости и развращенности, самым непонятным образом опять пощадил

жизнь Сервантеса, которого, между тем, он сам считал столь опасным человеком, и в уме которого действительно носились еще более грандиозные планы, чем все предыдущие, именно: умысел восстания всех двадцати тысяч христианских невольников, находившихся в Алжире, и захват города во власть Испании. Летом 1579 г. Сервантес написал письмо в стихах к Матео Вакес, испанскому государственному секретарю, оканчивающееся мольбой к Филиппу II прислать «освободительный» флот для захвата Алжира. Письмо это было впоследствии затеряно, и только в 1863 г. оно было найдено в архиве графа де Альтамира.

Наконец, состоялся выкуп Сервантеса, но и то случайно. В далеком Алкала, родители Сервантеса и сестра его Андреа выбивались из сил и прилагали всевозможные старания, чтобы добыть нужную сумму для выкупа Мигеля. Но им удалось собрать всего лишь триста червонцев, которые монахи редемторы (выкупатели) – отец Хуан Хил и Антонио де ла-Белла, – взяли с собой, отправляясь в Алжир. Они везли также 500 червонцев для выкупа знатного кабальеро Херонима Палафокса; но за него потребовали вдвое больше и все уговоры и просьбы оказались тщетными. Тогда отец Хил убедил, наконец, Ассана взять пятьсот червонцев за Сервантеса, который уже находился в оковах на галере, увозившей бея в Константинополь.

Этот день – 19-го сентября 1580 г., когда Сервантес вышел на берег свободным человеком, он считал самым счастливым днем своей жизни. Но до отъезда в Испанию у него было еще одно неотложное дело. Хуан Бьянко де ла-Пас, выдававший себя за члена инквизиции, ярый враг Сервантеса, пытался добыть целый ряд свидетельских показаний, с целью клеветническими, гнусными из-

ветами и лживыми сведениями о жизни Сервантеса повредить ему и в Испании. Тогда, в свою очередь, Мигель составил документ, заключающий в себе полную историю его неволи и состоящий из 25 вопросных пунктов, подписанных двенадцатью свидетелями. Таким образом, мы имеем в высшей степени достоверный документ о самом драматическом и интересном периоде жизни Сервантеса и целом ряде героических его поступков.

Так завершилась история его неволи, и 18-го декабря 1580 г. Сервантес прибыл в Мадрид. Но здесь перспективы оказались для него не особенно утешительными. За два года до выкупа Мигеля, его покровитель дон Хуан Австрийский умер, и всякая надежда получить повышение на военной службе исчезла. Имеются сведения, что Сервантес, после прибытия в Мадрид, служил в войсках в Португалии и на Азорских островах, также как и его брат Родриго, который там отличился и был произведен в прапорщики. Алчные глаза Филиппа II уже давно были устремлены на Португалию, с самого момента гибельного поражения и смерти молодого короля Себастиана на злополучном поле битвы Аль Казара Аль Кебир, в августе 1578 г., после чего все королевство пришло в полное расстройство и беспорядок. Пожилой кардинал Энрике, наследовавший престол Себастиана, в конце краткого и беспокойного царствования умер в январе 1580 г. и вслед за тем явились целые шесть претендентов на португальскую корону. Филипп II давно предвидел такое стечение обстоятельств, и флот, который Сервантес в упомянутом нами письме к Матео Вакес просил прислать для «освобождения» христианских невольников в Алжире, был послан, под командой маркиза Санта Крус, для блокады Лиссабона и порабощения Португалии. Бла-

годаря войску под начальством герцога Альба, а также подкупам и дипломатическим уловкам дона Христобала де Мура, Филиппу, как известно, действительно удалось надеть себе на голову корону Португалии.

В бытность его в Лиссабоне, Сервантесу очень понравился город и его жители, которых он в своем «*Персилесе и Силизмунде*» осыпает похвалами за их приятное, любезное обхождение, а также восхищается красотой португальских женщин. Впрочем, Сервантес питал добрые чувства ко всем – и к маврам, и к португальцам и даже к англичанам в то самое время, когда испанские патриоты их ненавидели и считали английскую королеву каким-то чудищем рода человеческого. Сервантес ездил также, по некоторым сведениям, с официальным поручением в Оран и в Мостаган. Но, как-бы то ни было, во всяком случае, он вернулся в Испанию осенью 1582 г. И с этого времени он принадлежит литературе. Комедии, написанные им в Алжире, потерыны, и из той эпохи сохранились лишь только два сонета и письмо в стихах к Матео Васкес. Но, должно быть, Сервантес еще до выкупа писал немало стихов, так как в своем «*Pastor de Filida*» (1582), Галвес де Монталбан говорит о нем, как об известном поэте, а Падилья называет его знаменитым кастильским поэтом.

Пастушечий роман Сервантеса «*La Galatea*» появился в 1584 г., а идея этого произведения зародилась у него, по-видимому, в Португалии, родине Монтемайора, лучшего автора пасторалей. Книгоиздатель Блас де Роблес дал за нее Сервантесу 1336 реалов, что для того времени не такая уже малая сумма. Но если в денежном отношении успех оказался довольно незначительным, зато «*Галатея*» дала автору известность, и он, по-видимому, чувствовал к ней осо-

бенную нежность, так как много раз в течение тридцати лет обещал ее продолжение, – но эта обещанная вторая часть так и не появилась.

Вернувшись из Лиссабона, Сервантес познакомился с некоей Анной Франка – матерью его единственной дочери, Изабеллы де Сааведра, впоследствии узаконенной им. Об Анне Франка ничего неизвестно, кроме ее имени и того, что любовь эта длилась недолго, и Анна Франка вышла замуж за некоего Алонсо Родригес, а Сервантес – ему было тогда 37 лет – в декабре 1584 г. женился на 19-летней донье Каталина де Саласар Паласиос и Восмедиано, жившей в г. Эскивиас. Средства невесты были также довольно незначительны: сад, два или три виноградника, несколько кур, небольшая домашняя обстановка. Вскоре после свадьбы Сервантес с женой переехал жить в Мадрид, где весной 1585 г. отец его, старый Родриго, заболел и в июне умер.

Вскоре Сервантес является в качестве драматурга. К сожалению, из двадцати или тридцати его пьес, которые, по словам их автора, давались на сцене, должно быть, одновременно, или немного спустя после выхода в свет «*Галатеи*», до нас дошли только две: «*El trato de Argel*» (Жизнь в Алжире) и «*La Numancia*». Комедии Сервантеса игрались, вероятно, между 1583 и 1585 г. и около этого времени у него было много литературных связей и друзей; наиболее близкими его друзьями были тогда поэты Педро Лайнес, Лопес Мальдонадо, Педро де Падилья и Висенте Эспинель.

На сцене пьесы Сервантеса имели успех, но, по-видимому, удержались не долго, а распространенное мнение, будто «это чудо природы», Лопе де Вега, вытеснил его из театра, лишено всякого основания, потому что пьесы Лопе

появились на сцене уже после 1588 г., когда Сервантес имел занятия в Севилье. К тому же он и сам заявляет в своем прологе к «Ocho comedias» следующее: *«У меня оказались другие дела, которыми я должен был заняться; я бросил перо и комедии; и вскоре появилось чудо природы, великий Лопе де Вега, ставший монархом театра»* и т. д. – немного дальше он добавляет: *«Несколько лет, как я вернулся к бывшей моей праздности, и, думая, что еще продолжатся годы, когда я был осыпан похвалами, я сочинил несколько комедий, но не нашел птиц в прошлогодних гнездах»*, и т. д.

В 1585 г. родилась дочь Сервантеса от Анны Франка. По этой ли причине, или вследствие плохих денежных обстоятельств семьи, донья Каталина вернулась к себе в Эскивиас с матерью и братом, священником Франциском де Паласиос, а Сервантес уехал в Севилью, где получил занятия. Большую часть последующей своей жизни Сервантес провел в разлуке с женой, которая, по-видимому, не очень тяготилась этим. Быть может, она искренно любила мужа и была ему доброй и верной женой: сама бездетная, впоследствии она даже согласилась узаконить его дочь от Анны Франка, Изабеллу. Но все же, по имеющимся сведениям, донья Каталина не была героиней, она не могла делить с мужем его скитальческой жизни и, слабохарактерная, не сумела противостоять влиянию матери и брата, так что добрая и верная жена, тайком от мужа, в мае 1609 г. сделала завещание, в котором почти совсем обошла Сервантеса, и все свое имущество записала за братом своим, священником; а под конец жизни она сделалась сухой ханжой.

В конце 1588 г., Сервантес был назначен одним из четырех помощников Антонио де Гевара, главного поставщика провианта для «Invencible» (непобе-

димой) Армады – т. е. того испанского флота, который Филипп II готовил, имея в виду войну с Англией. Вся злополучная эпопея этой самой «Непобедимой» Армады, начиная с ее прилагательного, – яркая иллюстрация все более и более распространявшегося упадка Испании. Кастильская доблесть стала разминаться на фанфаронство; главнокомандующим Армадой оказался назначенный Филиппом II трус и полнейшее ничтожество во всех отношениях, маркиз де Медина Сидония, а главной и даже единственной целью снаряжаемой Армады было – торжество католической веры в Англии.

Обязанности комиссара по доставке провианта сильно тяготили Сервантеса, и весной 1590 г., узнав о том, что имеются три или четыре вакантные должности в Индии, он подал прошение председателю совета по делам Индии о предоставлении ему какой-либо из указанных четырех вакансий. Но сеньор Нуньес Моркечо, председатель Комитета, положил на это прошение следующую, столь известную свою резолюцию: «Busca por acá en que se le haga merced» (Ищите здесь, т. е. в Испании, в чем вам могла бы быть оказана милость). В 1591–92 гг. Сервантес служит снова по комиссариатским делам под начальством Педро де Исуна, закупая пшеницу, масло, горох и иной провиант. Наконец, в августе 1594 г., он получил новое назначение сборщика податей.

Жизнь Сервантеса теперь, после героической ее эпохи, шла однообразно, как и жизнь всякого бедного человека, в борьбе за насущный хлеб. Долгие годы – около двадцати лет – провел он, получая плату по 12 реалов в день, делая покупки провианта для нужд «Непобедимой Армады», или же собирая подати по городам, деревням, постоянным дво-

рам и местечкам Андалузии, и хотя эти его занятия были самыми ненавистными, трудными и неблагодарными, которые он когда либо исполнял в жизни, тем не менее, его скитальческие годы не пропали даром. Они дали ему случай ближе присмотреться к повседневной жизни, к жизни крестьян и других низших классов Испании; и без этих скитальческих годов Сервантеса возможно, что у нас и не было бы «Дон Кихота». С жизнью героической Сервантес был знаком в Лепанто, с веселой и свободной – в Италии, с трагической и жестокой – в Алжире, с утонченной и придворной – в Мадриде и Лиссабоне. Но ту среду, которая составляла и составляет наибольшую часть нации – народ, Сервантес мало знал. Теперь же, странствуя по дорогам, ежедневно находясь в селах и местечках, он хорошо узнал народ, а также близко ознакомился с Андалузией.

Время от времени Сервантес от сбора провианта и подастей обращал мысли свои к литературе. Так, в 1591 г. он написал стихи для сборника Андреса де Виллальба: «*Elor de varios y nuevos romances*»; в 1592 г. заключил контракт со знаменитым толедским актером Родриго Осорио, обязавшись написать шесть комедий, по 50 червонцев за каждую, с тем, чтобы эти комедии «были лучшими, когда-либо игравшимися в Испании». Насколько известно, Сервантес не написал требуемых шести комедий, но этот контракт – интересный документ, доказывающий, что актеры, по-видимому, верили Сервантесу и его драматическому таланту. В 1595 г. автор «Галатеи» участвовал в поэтическом турнире в Сарагосе, устроенном доминиканцами в честь св. Хасинто, и получил первую премию. В 1596 г. он написал сонет в честь маркиза Санта Крус и известный свой сатирический сонет: «*Vimos en julio otra Semana Sonta*»

(Мы видели в июле другую страстную неделю) по поводу вступления столь ничтожного герцога де Медина Сидония в Кадикс, после того как город был разграблен англичанами под предводительством графа Эссекса и покинут ими. В 1597 г., находясь в Севилье, когда там умер Фернандо Эррера, Сервантес написал сонет в честь знаменитого поэта, уроженца Андалузии; в 1598 г. он напечатал два сонета и несколько *quintillas* по поводу смерти в сентябре того года Филиппа II, смерти, вследствие которой по всей Испании устраивались пышные похоронные службы, а в Севилье возведенный там катафалк, как и служба, отличались необычайным великолепием. Но в церкви произошла шумная ссора между представителями инквизиции и гражданской власти и ссора эта разрослась в великий скандал. Случай представлялся очень подходящий для сатирика, и Сервантес написал свой известный сонет: «*Voto a Dios, que me espanta esta grandeza*» (Клянусь Богом, что меня пугает это великолепие).

Однако литературные занятия Сервантеса в те годы были очень непродолжительны и кратки. Слишком много было у него угнетающих деловых забот и хлопот. По своему темпераменту Сервантес менее всего был точен и методичен, а в его должности требовалась величайшая аккуратность и формализм. В 1595 г. он доверил из казенных денег по сборам подастей 7,400 реалов некоему севильскому купцу Симону Фрейра де Лима, чтобы тот внес их в Мадридское казначейство. Но Фрейра обанкротился и скрылся. Весь этот год провел Сервантес в сдаче счетов и имел массу неприятностей. Две трети долга были, наконец, покрыты им; но так как остающуюся треть он не уплатил еще и в 1597 г., то в сентябре этого года он был арестован и посажен в тюрьму.

му в Севильи, где и пробыл три месяца, с сентября по декабрь. Еще раньше, в 1592 г. за то, что Сервантес забрал триста фанег пшеницы в г. Эсиха без дозволения коррехидора, этот последний, дон Франциско Москосо, настоял на том, чтобы его заключили в тюрьму в городе Кастро дель Рио, что и было сделано, и он пробыл там несколько дней.

В бытность же Сервантеса в тюрьме в Севильи, в ней находилось более 1800 заключенных, и шум и неудобства, по свидетельству его, были невыносимы. По всей вероятности здесь-то в темнице и был «зачат» *Дон Кихот*, факт, о котором упоминает его автор в прологе к I части «*Остроумно-изобретательного идальго*». Впрочем, в те времена в Испании почти не было выдающегося писателя, которому не пришлось бы побывать в тюрьме по той или по другой причине. Сервантесу суждено было испытать это удовольствие еще два раза: в конце 1602 г. когда его посадили снова в тюрьму в Севильи за неплатеж по старым еще счетам и расчетам, а освобожден он был в начале 1603; и затем в июне 1605 г., уже после того, как появился «*Дон Кихот*». Автора бессмертного произведения, в то время жившего с семьей в Вальядолиде, заключили в тюрьму по подозрению в убийстве кабальеро дона Гаспара де Эспелета. Только такого обвинения еще и не доставало гениальному писателю, для которого нужда, забота, горе, плен, тюрьма, – были как-бы старыми, неразлучными товарищами, и который столько уже видел и испытал в жизни.

А дело Эспелете обстояло так. Этот молодой человек, рыцарь ордена Сантего, один из праздных и пустейших донов Хуанов и сердцеедов в Вальядолиде, в числе других своих романов, вступил весной 1605 г. в связь с женой актуариуса или судебного пристава,

по имени Гальбан. 27 июня, возвращаясь с обеда своего приятеля, маркиза де Фальсес, на площади близ фонтана он был смертельно ранен человеком, который затем скрылся в темноте. На крик о помощи раненного, Сервантес, живший рядом с тем местом, выбежал на улицу, и с ним Люис де Гарибай, сын его соседки по квартире. Они подняли умирающего и внесли его в комнату доньи Люисы де Монтоя, вдовы Эстебана де Гарибай, старой знакомой семьи Сервантесов. Через два дня кабальеро Эспелета умер и Сервантес со всей семьей: сестрами Андреа и Магдалена, дочерью Изабелла и племянницей Костанса – Каталина жила у себя в Эскивиас – так же, как и всех соседей его по квартире, арестовали и препроводили в тюрьму. На Изабеллу де Сааведра, дочь Сервантеса, была взведена клевета; однако из процесса она и все остальные вышли оправданными от предъявленных к ним подозрений и получили свободу. Убийца Эспелеты, хотя и не был найден, но, по всей вероятности, им был оскорбленный муж – сеньор Гальбан.

В январе 1605 г. «*Дон Кихот*» появился в свет, а привилегия королевская на издание книги отмечена 26 сентября 1604 г. Высказываемая иными критиками мысль, будто Сервантес писал свое образцовое произведение на скорую руку, не исправляя и не перечитывая его, – чисто детское предположение. Теперь доказано, что большая часть, или, быть может и вся первая часть «*Дон Кихота*» была написана уже в 1602 г. и многие в Севильи хорошо знали это произведение Сервантеса, так как он, по обычаю того времени, читал его и давал его читать в рукописи. Более чем за шесть месяцев до выхода «*Дон Кихота*», доминиканец Андрес Перес (Франциско де Убеда) упоминает о нем в своей «*Picara Justina*», а 14 авгу-

ста 1604 г. Лопе де Вега в частном письме говорит, что нет поэта «столь плохого, как Сервантес, или такого глупого, чтобы хвалить Дон Кихота».

Посвятил Сервантес первую часть своего «Остроумно-изобретательного идальго» герцогу де Бехар, и, если верить преданию, случилось это следующим образом. Герцог, узнав о содержании «Дон Кихота», отказывался принять посвящение книги, опасаясь, что репутация его может пострадать, если он дозволит во главе рыцарского романа поставить свое имя. Сервантес не стал утруждать себя и герцога просьбами или объяснениями, которые, вероятно, оказались бы безрезультатными, напротив, он немедленно подчинился воле герцога и только испросил его согласие прослушать в тот же вечер главу из «Дон Кихота». Удовольствие, доставленное этим чтением обществу, собравшемуся у герцога, было так велико, что по настоянию их была прочтена вся книга, и пришедший в восхищение от нее герцог принял с восторгом посвящение, которое он сначала отверг. Так ли было дело или нет, неизвестно, хотя ничего невероятного тут нет.

Что касается текста посвящения, Сервантес списал его с посвящения Фернандо де Эррера маркизу де Аямонту, и сделал он это, как весьма основательно предполагает дон Хуан Гарценбуш, вот почему: *быть может*, посвящение Сервантеса герцогу Бехару было иное, *быть может*, оно не понравилось почему либо герцогу, и автор «Дон Кихота» прибег к остроумному способу: он заимствовал предисловие другого автора и из другой эпохи, намерения которого не могли быть заподозрены, и таким образом сумел сказать то, что ему хотелось, вставив

лишь несколько своих слов¹, а между тем казалось, что он не от себя говорит.

Успех «Дон Кихота» был необычайный, и в 1605 г. появилось целых пять изданий. У всех книга была в руках, и все наслаждались чтением бессмертного произведения, кто смеялся, а кто, быть может, и размышлял. Двадцать лет неудач и скитальческой жизни Сервантеса оказались не потерянными: наконец настали и для Сервантеса дни радостные, и над ним загорелись лучи славы.

В 1608 г. или позже – это еще достоверно не установлено, – Сервантес поселился в Мадриде, а 9-го октября 1609 г. здесь умерла любимая его сестра Андреа, смерть которой, должно быть, была для него тяжелым ударом. Из всей семьи Андреа более всего походила на брата: нежная, симпатичная, умная, красивая, она неутомимо, с упорством любви хлопотала о выкупе брата из неволи в Алжире, пожертвовав для этого даже своими маленькими средствами. А когда она овдовела – Андреа была три раза замужем – то, по-видимому, постоянно жила с ним вместе. Гораздо раньше, именно – в 1593 г. умерла мать Сервантеса, Леонора де Кортинас, а в 1601 году умер его брат Родриго; жена его, донья Каталина, жила в Эскивиасе, и писатель остался с сестрой Магдаленой и племянницей Констанса.

Что же касается его дочери Изабеллы, она вышла замуж за рыцаря ордена Алькантара, дона Диего Санс дель Агиля, человека со средствами. Однако брак этот был непродолжительным, так как через год зять Сервантеса умер, после того, как у него родилась маленькая дочь, внучка Сервантеса – Изабелла Санс дель Агиля. Овдовев, Изабелла де Сааведра вскоре, весной 1609 г., снова вышла за-

¹ Эти слова напечатаны курсивом в нашем переводе посвящения Сервантеса герцогу де Бехар.

муж за некоего Люиса де Молина, секретаря и агента итальянских банкиров, братьев Траппа. С этим зятем у Сервантеса вышли впоследствии неприятности. Молина был человек алчный и потребовал даже судом от Сервантеса уплаты обещанных им, в приданое дочери, двух тысяч червонцев, которые и были ему уплачены другом Сервантеса, Хуаном де Урбина. В 1610 г., донья Магдалена и донья Каталина вступили в орден монахинь Терсера, носили монашескую одежду, и только еще молодость доньи Констансы несколько оживляла скучный домашний очаг.

Около этого времени Сервантесу блеснула надежда, горько обманувшая его, поехать в Неаполь с графом Лемос, который был назначен туда вице-королем. Граф Лемос – дон Педро Фернандес де Кастро – был сам поэт и писал стихи, полные грусти и разочарования, хотя, собственно говоря, он мог бы считать себя счастливейшим из смертных. Ему было 33 года, был он женат на красавице донье Каталина де ла Серда, дочери герцога де Лерма, и достиг цели своих желаний – назначения вице-королем в Неаполь. Перед отъездом туда он приехал в Мадрид в 1610 г. и здесь у него бывал и виделся с ним Сервантес. На должность только что умершего секретаря своего, дона Хуана Рамирес де Арелляно, граф Лемос пригласил корректного, щегольского, светского и назидательного поэта Луперсио Леонардо де Архенсола, который и приехал в Мадрид с своим братом Бартоломео Леонардо. Сервантес, полагаясь на свою старинную дружбу с Луперсио, просил последнего включить и его в число поэтов и писателей, назначенных в литературную свиту Неаполитанского вице-короля. Архенсола обещал, но не сдержал обещания, и автор «*Дон Кихота*» не попал в упомяну-

тый список, вероятнее всего, вследствие интриги самих Архенсола, опасавшихся превосходства над ними Сервантеса; назначенными оказались все больше молодые поэты и не из перворазрядных. Нет сомнения, что это разочарование его доставило глубокое огорчение Сервантесу, – еще четыре года спустя, в «*Viaje del Parnaso*» (Путешествие на Парнас) он упрекает в не сдерживании данного обещания двух братьев Архенсола.

В 1613 г. автор «*Дон Кихота*» издал свои «*Novelas Exemplares*» (Примерные новеллы) – сборник, заключающий в себе двенадцать небольших прекрасных рассказов, написанных, по-видимому, в разное время. Уже в 47 главе первой части «*Дон Кихота*» Сервантес упоминает заглавие повести *Ринконете и Кортадильо*, включенной в «*Novelas Exemplares*», привилегию на которые он продал своему издателю Франциско Роблес за 1600 реалов и 24 авторских экземпляра. А перед тем, в 1604 г. он продал тому же издателю, или «торговцу книгами» – mercader de libros, как их тогда называли в Испании, – первую часть «*Дон Кихота*» всего на всего за тысячу реалов. Несмотря на великую славу свою, перешедшую даже за пределы Испании, Сервантес продолжал томиться в бедности.

Не успели «*Novelas Exemplares*» выйти в свет, как их автор снова засел за работу и в 1614 г. появился его «*Viaje del Parnaso*», навеянный ему чтением «*Viaggio un Parnaso*» итальянского поэта Цезаре Капорали, умершего перед тем лет за двенадцать. Последние годы жизни Сервантеса были очень плодотворны. В 1615 г. он издает свои «*Ocho comedias y ocho entremeses nuevos*». Затем на поэтическом турнире в честь св. Тересы, основательницы ордена Кармелиток, при самой торжественной обстановке,

стихотворение Сервантеса, получившее одну из премий, было прочитано самим Лопе, что, конечно, доставило удовлетворение Сервантесу. Но тут опять на него обрушилось горе. Впрочем, ему было не привыкать переходить от счастливых мгновений к дням величайшего огорчения и невзгод.

В то время, как он не спеша работал над второй частью *«Дон Кихота»* и дошел до 59 главы, он с негодующим изумлением узнал о выходе в свет в Таррагоне подложного продолжения Дон Кихота, принадлежащего перу анонимного автора, назвавшегося Алонсо Фернандес де Авельянеда. Кроме всего остального этот аноним позволил себе еще в высшей степени грубое и дерзкое глумление над личностью Сервантеса, осмеял его старость, язвил его тем, что «язык его движется свободнее руки», – руки, простреленной в битве при Лепанто. Много предположений и гипотез было сделано относительно писателя, скрывшегося под псевдонимом Авельянеды: указывали на Бляско Пас, Андреса Переса, Люиса де Алиага, Леонардо де Архенсола, Аларкона, Тирсо де Молина, и других: но все это отвергается теперь. Подозревали даже Лопе де Вега. Так, например, Леон Майнес говорит, что если писала рука Авельянеды, то голос его – голос Лопе де Вега. Факт тот, что действительно отношения двух величайших писателей Испании были не особенно дружескими.

В прологе к *«Дон Кихоту»* (в первой части) и в ее 48-й главе, Сервантес не совсем почтительно отнесся к прославленному драматургу, который так привык к самой грубой лести, что малейшие критические намеки казались ему непростительной дерзостью. Еще раньше, в конце 1600 г., Лопе приезжал в Севилью, а здесь ходило по рукам написанное против него довольно едкое стихотворе-

ние, принадлежавшее перу мало известного поэта и бездельника Алонсо Альварес де Сория. Лопе вообразил, что стихи принадлежат Сервантесу, и ответил ядовитым сонетом, которым мнил похоронить навсегда автора *«Галатеи»*. Но едва ли Лопе мог дойти до такого неблагоприятного поступка, как написание им второй части подложного *«Дон Кихота»*.

Как бы то ни было, а маску, надетую Авельянедой, не так-то легко сорвать. Наиболее вероятной считается теперь гипотеза Менендеса-и-Пеляйо, по мнению которого Авельянедой был некто Алонсо Ламберто, арагонец и посредственный поэт, побежденный Сервантесом на поэтическом турнире в Сарагосе. Во всей этой истории несомненны лишь две вещи: автор подложного *«Дон Кихота»* был арагонцем, и он был другом или почитателем Лопе де Вега. Как бы то ни было, Сервантес поспешил окончить вторую часть своего *«Дон Кихота»*, которая и появилась в свет в 1616 г., и имела столь же громкий успех, как и первая; а подложный *«Дон Кихот»* Авельянеды после того как бы перестал существовать.

Сервантес приближался к семидесяти годам, но он все еще был столь же энергичным, исполненным надежд и планов, как и во время своей неволи в Алжире, тому назад сорок лет. Он работал тогда над некоторыми произведениями, о которых он и упоминает, именно: *«Bernardo»*, *«Las Semanas del Jardin»*, *«El Engaño a los ojos»* и *«Las trabajos de Persiles y Sigismunda»*. К этому последнему своему произведению Сервантес питал особенную слабость, но из этого вовсе не следует, – как некоторые совершенно неосновательно пытались доказать, – будто он не сознавал всей громадной ценности *«Дон Кихота»*, написанного им «для всеобщего развлечения», по словам Сансона Карраско. Любовь

Сервантеса к Персилесу, своему последнему произведению, сыну его старости, ни мало не уменьшало в глазах его значения «*Дон Кихота*», и он на многих страницах своей книги высказывает высокое свое мнение о нем.

В последние годы жизни Сервантеса, больному и бедному писателю, оказывали помощь два человека: толедский архиепископ дон Бернаро де Сандовал и Рохас, и граф Лемос, которому за четыре дня до смерти, мучаясь в сильнейших припадках водянки, 19 апреля 1616 г., умирающий Сервантес написал свое прекрасное и трогательное посвящение к Персилесу, начинающееся так: «Желал бы я, чтоб старинный романс, в свое время очень известный и начинающийся словами «*Puesto ya el pié en el estribo*», не приходился так кстати в этом моем письме, потому что почти теми же словами я могу теперь начать его, говоря: *Puesto ya el pié en el estribo, con las ansias de la muerte, gran señor, esta te escribo* (Вложив ногу в стремя, в предсмертном томлении, пишу тебе это, великий сеньор)».

Вот с какими словами, спокойно и мужественно, готовился встретить смерть Сервантес. По мнению испанского доктора Гомеса Оканья, написавшего клиническую историю Сервантеса («*Historia clinica de Cervantes*»), водянка его была симптомом сердечной болезни. Гениального писателя похоронили бедно и просто в монастыре монахинь de las Trinitarias, на улице дель Умильядеро, и могила его ничем не была отмечена, ни надгробным камнем, ни надписью, а когда монастырь перевели в 1633 г. в улицу Кангаранас, быть может, и прах Сервантеса перевезли вместе с останками монахинь. Во всяком случае, его могила никому неведома. Конечно, это печально, но еще печальнее то, что ничего неизвестно о судьбе оставшихся после Сервантеса

рукописей, именно: «*Bernardo*», «*Las semanas del jardin*», комедии «*El engaño â los ojos*» и второй части «*Галатеи*» и что наследники и душеприказчики его не постарались сохранить и напечатать их после него. Один только «*Персилес*», – рукопись которого донья Каталина, пережившая мужа на десять лет, продала издателю Вилларозель, – увидел свет, год спустя после смерти Сервантеса.

Перейдя к обзору произведений Сервантеса, всемирная, громкая слава которого зиждется, как известно, исключительно на «*Дон Кихоте*», нельзя, однако, не отметить, что если бы Сервантес явился только автором одних лишь лирических и драматических своих произведений, он все же не был бы безразличным писателем в истории испанской литературы. Правда, лучших отрывков «*Viaje del Parnaso*», изящества нескольких стихотворений из «*Галатеи*», патриотического вдохновения «*Epistola a Mateo Vasquez*» и бесспорной красоты трех, четырех его сонетов не было бы достаточно, чтобы имя его звучало громче имен Педро де Падилья и других испанских лирических поэтов его эпохи, забытых теперь, но в свое время пользовавшихся заслуженною известностью. И в своих комедиях, Сервантес, являясь предвестником Лопе де Вега и не из числа обыденных, все же по значению их в летописях испанского театра не встал бы выше Хуана де ля Куэва или Кристо-бала де Вируес. Но, допустив, что достоинства его комедий относительные, и ценность их не столь велика сама по себе, сколько по сравнению с предшествующими им произведениями, факт тот, что нам они кажутся хуже, чем они есть, потому что с самого начала им вредит великое имя их автора. Перед блеском «*Дон Кихота*» меркнут даже превосходные «*Novelas exemplares*» Сервантеса, а тем

более другие его произведения, а также комедии, над которыми тяготеет традиционное и отчасти несправедливое осуждение, против чего теперь уже восстает более проникательная и лучше осведомленная критика.

«Галатея» Сервантеса, изданная им в 1584 г., являет собой пастушечий роман, или, как Сервантес называет его, эклогу. Творцом этого рода литературы считают неаполитанца Якопо Саннацаро с его «Аркадией». Взятая им нота нашла себе подражателей во всех странах: Португалии, Германии, Франции, Голландии, Англии; и в «Галатее», кажущейся наиболее оригинальной, Сервантес, тем не менее, в нескольких местах делает даже заимствования из Саннацаро. Несмотря на многие недостатки этого юношеского произведения Сервантеса: мало удачный вымысел, многословие, скука, искусственность, – все же нельзя отрицать в «Галатее» живости фантазии, богатства эпитетов, достаточного количества образцов избранной прозы, и того, что слог здесь, за исключением лишь нескольких мест, везде прекрасный. Интересны также и включенные сюда автором воспоминания его об Италии, Неаполе, Корфу и т.д., Сервантес – как известно психология художника очень сложная вещь – жестоко осмеивающий в «Разговоре двух собак» словами, вложенными им в уста Берганса, пастушечьи эклоги, не только сочинил «Галатею» в юных годах, но и всю жизнь обещал продолжение ее и думал о ней даже на смертном одре. Объясняется это, быть может, тем, что в душе у него ютилась некоторая доля романтической неудовлетворенности, превратившейся в творческую энергию и искавшей в мире идей и в фантастических событиях того, чего он не находил в действительности, которую исследовал такими проникательными глазами.

В ту эпоху ложной идеализации военной жизни противопоставляли другую, не менее ложную, идеализацию пастушеской идиллии, и самые великие писатели того времени – Шекспир, Лопе де Вега, Сервантес и другие заплатили ей дань в той или иной форме. Но как бы то ни было, можно только пожалеть, что обещанная Сервантесом вторая часть «Галатеи» не была им написана, или, может быть, затерялась.

Что касается комедий Сервантеса, он написал их в 1584–85, по собственным его словам 20 или 30, имевших успех; затем, в 1615 г., издал сборник, озаглавленный «Ocho comedias y ocho entremeses» (Восемь комедий и восемь интермедий). Из первого периода до нас дошли только две комедии «La Numancia» и «Trato de Argel» (Жизнь в Алжире), остальные же затерялись. В «Adjunta al Parnaso» (Добавление к путешествию на Парнас) Сервантес называет заглавие некоторых из этих затерявшихся комедий, именно: «La batalla naval» (Морское сражение), «El Bosque Amoroso» (Благосклонный лес), «La Jerusalem», «La Amaranta ó La del Mayo» (Майский цветок), «La gran Turquesca», которая, быть может, идентична с «La gran Sultana», напечатанной в сборнике 1615 г. С особенной гордостью говорит Сервантес о «La Confusa» (Приведенная в замешательство) и «La unica y la bizarra Arsinda» (Единственная и несравненная Арсинда). Эта последняя комедия, как видно, существовала еще в 1673 г., так как в то время Хуан Фрагосо называет ее *превосходной*.

Лучшим из дошедших до нас драматических произведений Сервантеса считается его «Numancia», которая давалась на сцене, вероятно, в 1585 или 86 гг., но оставалась ненапечатанной до 1784 г., когда Антонио де Санча издал ее в одном томе с «Trato de Argel» и «Viaje

del Farnaso». «Нумансией» восхищались такие выдающиеся писатели, как Гете, Шелли, Шлегель, Сисмонди, Тикнор, Гибсон и другие. Это действительно лучшая и, можно сказать, даже единственная патриотическая испанская трагедия. Сюжет ее Сервантес почерпнул из старого испанского романа, но он так вознес и возвысил этот сюжет, что едва ли можно встретить во всем испанском театре что-либо более сильное и величественное по героизму.

В этой драме, как и в «Puente Ovejuna» (Овечьем источнике) Лопе де Вега, действует и умирает целый народ. Сервантес был первый испанский драматург, который сумел вывести на сцену толпу. Возвышенность патриотического чувства доходит в «Numancia» до своего апогея, и героическая энергия и пафос здесь изумительны. Сюжет драмы – знаменитая осада римлянами, под предводительством Сципиона Африканского, испанского города Нумансии и взятие его после 15-летнего сопротивления. У римлян было 80,000 солдат, у испанцев лишь 4,000 или меньше, подвергавшихся разного рода лишениям и ужасам. Когда победители, наконец, проникли в город, они не нашли здесь в живых никого из нумантийцев. Все погибли от голода, а последний еще оставшийся в живых, юноша Вириатус, бросился с башни.

Среди героических сцен выделяется патетическая история Морандро и Лира. Более чем два столетия спустя, когда в войне за независимость, в 1808 г., Палафокс героически защищал Сарагосу, осажденную французскими войсками под предводительством Жюно, Ланна и Мортье, осажденные граждане Сарагосы под рев пушек, гремевших у стен крепости, с патриотическим восторгом слушали «Нумансию» Сервантеса, поставлен-

ную для возбуждения в них бодрости, и, быть может, вдохновенные стихи Сервантеса помогли отразить неприятеля и спасти Сарагосу.

Не в одних эпических испанских преданиях черпал Сервантес сюжеты для своих комедий, – в душе и в уме у него жили еще воспоминания, как о победе при Лепанто, так и о своем плене; и из этих воспоминаний он извлек два произведения: «*La batalla naval*» (Морское сражение) – комедия, неизвестная нам, и «*Trato de Argel*». Заглавие «*La batalla naval*» показывает сценическую отвагу Сервантеса: он изобразил, по-видимому, в своей комедии великий и славный день Лепанто. Такая отвага – первая в истории испанской литературы – имеет, несомненно, свое значение. «*El Trato de Argel*» носит зато, большею частью, автобиографический характер. Здесь идет речь о жизни христианских невольников в Алжире и изображена страстная любовь мавританки Сары к невольнику Аурелио, который, в свою очередь, влюблен в Сильвию. В «*Ocho comedias y ocho entremeses*» (интермедии) отметим последние, в которых у автора берет верх веселый тон.

В 1613 г. вышли «*Novelas Exemplares*» Сервантеса, заключающие в себе двенадцать коротких повестей. В столь живо и изящно написанном прологе к этим *Novelas*, – интересном, как и все его прологи, – Сервантес утверждает: «*me doy a entender, y es asi, que soy el primero, que he novelado in lingua castellana*» (*я полагаю, и оно так и есть, что я первый писал новеллы на испанском языке*). Утверждение это, – в котором, как и во многих других словах Сервантеса, сказывается сознание им высокого своего литературного значения, – вполне правильно, если под словом *novela* понимать, как это следует делать, краткую повесть, единственную,

которой в то время давали это наименование, потому что до Сервантеса новелла представляла из себя лишь сплошной перевод итальянских повестей или подражание им. В этом-же своем прологе к новеллам Сервантес объясняет, почему он их называет *exemplares*: «*потому что нет ни одной, из которой нельзя было бы извлечь какой-нибудь полезный пример или урок*».

Большинство этих повестей, написанных, по-видимому, в разное время, коренятся в тонком наблюдении автором жизни и действительности. Повесть «*Ринконета и Кортадильо*», о которой упоминается уже в 47 главе I части «*Дон Кихота*» – одна из лучших, и место действия ее Севилья; а также и сатирически-дидактический «*Разговор собак*» происходит в той же Севилье. «*Gutanilla*» (Цыганочка), – интересная история об украденной в детстве цыганками девочке знатного рода, воспитанной ими. Из этой повести Вебер заимствовал свою оперу «*Прециоза*» и Виктор Гюго «*Эмеральду*». Прекрасно написаны и «*El Licenciado Vidriera*» (Лисенсиат Стекланный), «*Lo Española Inglesa*», «*La illustre Fregona*» и другие. Вообще, литературная ценность всех *Novelas* Сервантеса очень значительная, и они ставятся в литературном смысле тотчас же после «*Дон Кихота*» и ценятся очень высоко; а если они не так широко распространены, то причиною этому их более местный характер, и отсутствие всемирных типов. Был ли Сервантес вполне свободен писать все, что хотел, из происходящего кругом него, сомнительно, но во всяком случае, главные очертания в его *Novelas* верно схвачены с натуры. Как испанские писатели, так и писатели других стран черпали не раз драматические темы и вдохновение в этих примерных новеллах «испанского Боккаччо».

«*Viaje del Parnaso*» – шуточная поэма, написанная в *terza rima*, хотя и была навеяна на Сервантеса чтением «*El viaggio de Parnaso*» итальянского поэта Чезаре Капорали, но в нее поэт вложил много своего, оригинального, и тип ее чисто испанский. Здесь наиболее интересны для нас биографические сведения в начале четвертой книги и личные воспоминания Сервантеса – он говорит и о себе самом и о своих произведениях: «*Галатее*», «*Дон Кихоте*», «*Новеллах*», нескольких сонетах и множестве романсов, и кончает обещанием дать «*Персилеса*». Отсюда же узнаем мы и о бедности Сервантеса, в тех строках, когда Тимбрео советует ему закутаться в плащ:

Bien parece, señor, que no se advierte
Le respondi, que yo no tenga capa!

(Ясно, сеньор, – ответил я ему, – вы не заметили, что у меня нет плаща).

«*Viaje del Parnaso*» вызвало весьма разноречивую критическую оценку: одни восхищаются этим произведением Сервантеса, другие, между прочим Тикнор, находят в нем «мало достоинств», а Фицморис Келли обвиняет автора в вялости, в недостатке сатирической силы и едкости, в отсутствии глубокого, ненасытного негодования и ненависти.

Последним произведением Сервантеса, пересмотренным и исправленным им с такой любовью, была «*Historia setentrional de los Trabajos de Persiles y Sigismunda*» (История скитаний Персилеса и Сигизмунда). Эстетическое значение «*Персилеса*», по мнению Менендеса-и-Пеляйо, еще не нашло себе верной оценки, а во второй его части встречаются лучшие страницы, когда-либо написанные автором «*Дон Кихота*». Правда, в первых двух частях «*Персилеса*», выведенные Сервантесом лица про-

ходят перед нашими глазами как тени, и, несмотря на свежесть юношески-живой фантазии почти 70 летнего автора, несмотря на красоту слога, на богатство вымысла, весьма ярко выступает банальная неправдоподобность описываемых им приключений – разных похищений, кораблекрушений, встреч, и бесконечного вмешательства пиратов и разбойников. Но во второй половине *«Персилеса»*, когда автор повествует о последних путешествиях двух влюбленных, приятные воспоминания пережитого им в Лиссабоне овладевают мыслью Сервантеса и увлекают ее из фантастической области, где она витала. Тут он своих действующих лиц ведет уже по знакомым дорогам, через Лиссабон, Баядос, Толедо, и т. д. до Рима, и здесь встречаются уже вполне возможные эпизоды. В *«Персилес»*, – в котором, как и в *«Viaje del Parnaso»*, много биографических черт, и эти отрывки личных воспоминаний Сервантеса наиболее интересны, – автор имел, быть может, в виду данное им в *«Viaje»* обещание:

Cantar con voz tan entonada y viva
Que piensen que soy cisne y me muero.

(Петь таким звучным, чистым голосом, чтобы подумали, что я лебедь и умираю). Также и *«Персилес»* Сервантеса, – эта несправедливо забытая книга, – служила родником, из которого, как испанские, так и иностранные писатели извлекали темы для своих рассказов и драм.

Но венцом творческой деятельности Сервантеса был, несомненно, *«Дон Кихот»*. Тут лавры Сервантеса не только не блекнут, но, можно сказать, с каждым днем все более зеленеют и становятся все пышнее. Книга, написанная, по словам ее автора, лишь для *развлечения* – *«entretenimiento»*, или же литературная пародия и сатира, единственная цель ко-

торой, как уверяет Сервантес: *«низвержение шаткого здания рыцарских книг»*, между тем встала высоко над произведениями ума не одной только Испании, а всей Европы, и не в одно только данное время, а в течение веков. Как объяснить это?

Уже много раз говорилось, но не лишнее снова повторить, что, если б Сервантес написал *«Дон Кихота»*, только *«имея в виду уничтожить авторитет и влияние, которым в мире и в народе пользуются рыцарские романы»*, его книга подверглась бы общей участи всех литературных сатир и пародий, – ученые ценили бы ее, но она не составляла бы части умственного достояния человечества во всех странах и во все времена. К тому же, большинство читателей, наслаждающихся чтением *«Дон Кихота»*, не видели в жизни своей ни одного рыцарского романа и знают только из *«Дон Кихота»*, что они существовали. В Испании, в конце 15 века и в 16-ом веке, этого рода книги действительно пользовались громадным успехом, хотя после быстротой и изумительной их популярности последовало такое полное забвение, которое нельзя приписать лишь торжеству Сервантеса, так как в начале 17-го века мода на рыцарские книги и без того уже проходила. Итак, самое торжество Сервантеса, похоронившего почти мертвый литературный род, должно было бы оказаться гибельным для его книги, отняв у нее цель и смысл, а между тем случилось обратное.

Та легкость, с которой исчезла столь огромная груда басен, и глубокое забвение рыцарских книг, доказывает только, что они не были истинно народными, не проникали в сознание испанского народа (тем более, что читали их преимущественно лишь состоятельные классы), хотя они некоторое время и тешили

воображение испанцев блестящими фантазмагориями. Говоря о рыцарских книгах, большинство предполагает, что этого рода литература пользовалась в Испании выдающимся успехом благодаря ее соответствию характеру и настроению народа и тогдашнего общества, так как Испания была привилегированной страной рыцарства. Но это не совсем верно. Героическое и традиционное рыцарство Испании, проявляющееся в *Cantares de gesta*, в *Crónica*, в испанских романах и т. д., не имеет ничего общего с вымыслами, баснями, и волшебствами рыцарских книг. Ни героическая жизнь Испании в Средние века, ни эпическая или дидактическая литература, бывшая выражением этой жизни, не дали никаких элементов для рыцарского романа. Большие циклы этих романов родились не в Испании, а в Европе; влияние и распространение их было явлением не испанским, а европейским.

В Испании рыцарские книги появились сначала так плохо, что с 13 до 16 века едва появилось несколько оригинальных испанских рыцарских романов. Необычайный же успех их в конце 15 или в начале 16 века, продолжавшийся целое столетие, был вызван очень сложными причинами, как общественного, так и литературного характера. Что касается «*Дон Кихота*», он не есть сухое и прозаическое отрицание рыцарских книг, не есть осуждение хороших рыцарских романов, – Сервантес сам любил рыцарство и стрелы его направлены лишь против всего сверхъестественного, вымышленного, туманного и вычурного в рыцарских романах. «*Дон Кихот*» отчасти антитеза, отчасти пародия, а отчасти продолжение и дополнение рыцарских книг. Сервантес ни мало не имел в виду убить идеал, он только хотел преобразить и возвысить его.

Все, что было благородного, поэтического и человеческого в рыцарстве, воплотилось в новом произведении, а что было химеричного, безнравственного и ложного, не именно в рыцарском идеале, а в вырождении его, испарилось, как по волшебству перед ясностью благожелательной иронии самого здорового и уравновешенного ума Возрождения, как говорит Менендес-и-Пелайо. Таким образом, «*Дон Кихот*» является последней рыцарской книгой, самой совершенной и окончательной, и не ненависть, а любовь дала ей вечную жизнь.

Переходя к вопросу о том, что Сервантес в «*Дон Кихоте*» имеет в виду только развлечение: «*entretenimiento*» читателя, можем лишь ответить, что его книга содержит в себе, не скрытно, не в виде загадки или тайны, как указывают некоторые, но явно и ярко, самые возвышенные нравоучения, далеко переступающие сферу иронической литературной оценки, высказанной в прологе Сервантесом. Вымысел в «*Дон Кихоте*» самый простой, как и самый оригинальный в литературе. Этот веселый и приятный вымысел, хотя бы и начавшийся с желания быть литературной пародией, сделался, разрастаясь, не только полным и гармоничным изображением и верной картиной народной жизни в Испании того времени, но и комической эпопеей человеческого рода. Прекрасная книга полна благородных мыслей и возвышенных, мудрых изречений. Мы находим в ней, в этой богатой сокровищнице приключений и опыта, воспоминания из плена Сервантеса, сцены, виденные им во время скитальческой его жизни сборщика податей и т. д., и серии сатир, как индивидуальных, так и общественных.

Что касается типа Дон Кихота, он, должно быть, взят автором из действительности. Это, по-видимому, образ

самого Сервантеса, пламенного энтузиаста, всю жизнь преследуемого судьбой; но, несмотря на все ее удары, в нем надежда не ослабевает, любовь не уменьшается; это – изображение романической души Мигеля де Сервантеса, нарисованное мастерской рукой великого юмориста. Рыцарь Идеала, дойдя до мысли, что на свете столько горя, страданий, обид и оскорблений, не справляясь, возможно ли это или нет, немедленно от мысли переходит к действию и едет скитаться по свету, чтобы бороться за правду и справедливость, за счастье и благоденствие людей. Он безумец, если пламенная любовь к добру и правде есть вид безумия, но это дивное безумие, – безумие человечества, желающего торжества добра и царства правды. Дон Кихот высшее олицетворение чести и носитель того высокого идеала справедливости, который ставит конечную цель вне себя. Для нас Дон Кихот символ, но для автора его он не был символом, а живым существом, полным духовной красоты, любимым сыном его творчества, украшенным им самыми высшими качествами.

Оруженосец Дон Кихота, Санчо Панса, такой же сложный тип, несмотря на его кажущуюся и обманчивую простоту, как и сам рыцарь. Было бы величайшей наивностью воображать, что Сервантес создал его сразу, как новый символ, для противопоставления реального идеальному и прозаического здорового смысла романтической экзальтации. Санчо вовсе не олицетворение грубой вульгарной и эгоистической действительности, противопоставленной наполняющему душу Дон Кихота столь возвышенному идеалу, что он соприкасается с безумием. Тип Санчо прошел не через меньшую отделку и обработку, чем Дон Кихот. Это оригинальный тип, практическая философия которого облекается

постоянно в изречения и поговорки. Несколько корыстолюбивый, алчный, болтливый, но вместе с тем верный и преданный своему господину, он мало-помалу перевоспитывается в постоянном общении с рыцарем Идеала.

Все, что в природе его было грубого и низменного, – его прозаические и утилитарные стремления, – понемногу исчезают под благотельным влиянием Дон Кихота; он приобретает прямоту, открытость, и под конец мы видим его умным и честным правителем, осуществляющим всякие прекрасные мероприятия на своем острове. Санчо, по словам Менендеса-и-Пеляйо, первое и наибольшее торжество остроумно-изобретательного идальго. Он заражается энтузиазмом и самопожертвованием безумного ламанчского рыцаря и, когда все мечты Дон Кихота разлетелись и рыцарь отказывается от своих иллюзий, Санчо старается поддержать и воскресить в душе его прежнюю веру.

Что касается бакалавра Сансона Карраско – этой новой фигуры, введенной в фабулу второй части *«Дон Кихота»* и являющейся осью, вокруг которой вертится начало и конец второй части – в ней как бы олицетворены здравый смысл, логика, метод, осторожность, сухое рассуждение. Смех Сансона Карраско предательский, холодный, скрытный, смех того, кто уверен в себе и в том, что он обладает истиной, смех прямолинейных и мнящих о себе людей, когда они видят, что совершается какое-либо великодушное безумие. Бакалавр Сансон Карраско не пойдет против вас открыто, а подкопается под вас за спиной, или, если ему окажется возможным, со сладкой улыбкой постарается уронить вас в чужом мнении. Он не дурной человек, или же никто не считает его дурным человеком, у него самые лучшие намерения (т.е., которыми ад

вымощен), самые разумные побуждения; это слегка утомленный, разочарованный, здравомыслящий человек, не верящий в «идеи», которые он называет безумием. Имя его – *посредственность*, а это самая большая сила и теперь, и во времена Сервантеса, когда владычество посредственности как раз начиналось в Испании, и герцог Лерма процветал под покровом Филиппа III. Посредственность не любит никого, она эгоистична и все желает только для себя. Мы видим, что лишь Сансону Карраско удалось победить (надо думать, только временно) рыцаря Идеала и отнять у него его прекраснейшие химеры и его мечты о славе.

Итак, из истории Дон Кихота явствует, что доброжелательный идеализм рыцаря мало-помалу проникает в самые грубые души; и прежде всего, в душу доброго и простого Санчо, потом в души козопасов, других простолюдинов и лиц, с которыми Дон Кихот приходит в соприкосновение, и только во дворце герцога и герцогини, в среде самого знатного общества, от начала и до конца смотрят на него, как на безумца, с которым можно лишь позабавиться. В этих душах царедворцев, привыкших ко лжи и притворству, нет сострадания к рыцарю Идеала, и только в этих затхлых сферах смеются над ним и не понимают его.

Что касается Дульсинеи, в ней некоторые сервантисты видят символ разума, свободы и стремления к свету.

В техническом смысле Сервантес достиг в «Дон Кихоте» высшего совершенства. Язык и слог его здесь образцовый, а вторая часть еще превосходит первую. В ней большее богатство красок и вымысла, интерес более общий, больше разнообразия и введены новые типы.

«Дон Кихот» одновременно и самая веселая и самая грустная книга. Бессмертное произведение Сервантеса, быть может, есть несколько ироническое изображение «*теа сифра*» альтруизма и под веселым смехом доброго Санчо текут незримые слезы, как под глубиной снежного покрова иногда пробивается неслышно ручей. Хотя и побежденный, рыцарь Идеала, там, на набережной Барселоны, благороднее чем когда-либо. Глубоко волнуясь, видим мы разрушение дивного замка иллюзий в груди Дон Кихота, и нас не столько огорчает смерть рыцаря, сколько то, что он умирает, убежденный в том, что был безумным. Но хотя рыцарь Идеала и был побежден, вследствие неумения приспособиться к среде, поражение его только кажущееся, потому что великодушные стремления его остались неприкосновенными и когда-нибудь да будут осуществлены.

М. Ватсон.

ИСТОЧНИКИ

M. Menéndez y Pelayo. Cultura Literaria de Miguel de Cervantes y elaboración del «Quijote». (Madrid, 1905).

Don Juan Valera. Discurso para conmemorar el tercer centenario de la publicación de el ingenioso Hidalgo D. Quijote de la Mancha. (Madrid, 1905).

Francisco Navarro y Ledesma. El ingenioso Hidalgo Miguel de Cervantes Saavedra (Madrid, 1905).

D. Clemente Cortezon. El ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha. Primera edición crítica con variantes, notas y el diccionario de todas las palabras usadas en la inmortal novela.

Nicolas Diaz de Benjumea. La Verdad sobre el Quijote (Madrid, 1878).

Don-Juan Valera. Verdadero Carácter del Quijote. Discurso académico (Madrid, 1864).

M. Menendez y Pelayo. El Quijote y los libros de Caballerías. Discurso académico. (1904).

Jaime Fitzmaurice-Kelly. Historia de la Literatura Española. Traducida del inglés y anotada por Adolfo Bonilla y San Martín. (Madrid).

А. Шенелевич. Дон Кихот Сервантеса. (Петербург, 1903).

А. Шенелевич. Жизнь Сервантеса и его произведения (1901).

Jaime Fitzmaurice-Kelly. The life of Miguel de Cervantes Saavedra (London, 1892).

Henry Edward Watts. Miguel de Cervantes. His life and works. (London, 1895).

ТОМ ПЕРВЫЙ

Оценочное свидетельство¹

Я, Хуан Алло де Андрада, актуариус Королевской Канцелярии, из тех, которые присутствуют в Королевском Совете, удостоверяю и свидетельствую, что сеньоры члены Совета, рассмотрев книгу, озаглавленную «Остроумно-изобретательный идальго Ламанчи», сочинение Мигеля де Сервантеса Сааведра, оценили каждый лист упомянутой книги в три с половиной мараведиса; а в книге восемьдесят четыре листа, так что по указанной цене стоимость упомянутой книги доходит до двухсот девяноста с половиной мараведисов в бумажной обложке. Члены Совета дали разрешение, чтобы по этой цене могла продаваться книжка, и приказали, чтобы оценочное это свидетельство было выставлено в начале книги и без него она не продавалась бы. Для узаконения этого постановления мною выдано настоящее свидетельство, в Вальядолиде, двадцатого дня декабря месяца, тысячи шестьсот четвертого года.

Хуан Алло д'Андрада.

Свидетельство об опечатках

Эта книга не заключает в себе ничего, что не соответствовало бы подлиннику. В удостоверение того, что я держал корректуру, даю это свидетельство. В коллегии Божьей Матери богословов университета в Алькала, первого декабря тысячи шестьсот четвертого года.

Лисенсиат Франсиско де ля Ляна.

Король

Во внимание того, что от вас, Мигель де Сервантес, поступил к нам доклад о том, что вы сочинили книгу, озаглавленную «Остроумно-изобретательный идальго Ламанчи», которая потребовала от вас много труда и является весьма полезной и прибыльной, – вы просили и умоляли Нас дать вам разрешение и право напечатать ее, а также дать вам привилегию на срок, какой Нам угодно будет и какой Мы сообразовали. Рассмотрев книгу, члены Нашего Совета, – во внимание к тому, что относительно нее были выполнены все мероприятия, предписываемые последним Нашим прагматическим постановлением² о книгопечатании, – пришли к решению, что мы должны повелеть выдать вам эту Нашу грамоту, объяснив и основания такого решения, и Мы одобрили его. Этой Нашей грамотой, чтобы оказать вам добро и милость, даруем разрешение и право, вам или лицу, которое вы уполномочите и никому другому, напечатать упомянутую книгу, озаглавленную: «Остроумно-изобретательный идальго Ламанчи», о которой сказано выше – в пределах всего Нашего королевства на время и срок десяти лет, считая со дня, которым помечена эта Наша грамота; под страхом лицу или лицам, которые, не имея полномочия от вас, напечатают книгу или будут продавать ее, или поручат кому – либо издать и продавать ее, лишиться всего сделанного ими издания, шрифта и приспособлений к печатанию, и сверх того, подвергнуться штрафу в пятьдесят тысяч мараведисов каждый раз, как они нарушат закон. Из упомянутого штрафа одна треть идет предьявителю обвинения, другая

¹ Этот документ, как и два следующие были приложены к *Editio Princeps* (Мадрид, 1605, типография Хуана де ля Куэста).

² Распоряжения государей.

треть в пользу Нашего фиска, а последняя треть судье, который постановит приговор. С тем, чтобы всякий раз, когда вы приступите к печатанию упомянутой книги в течение десятилетнего срока, вы представляли бы ее Нашему Совету вместе с подлинником, который был на рассмотрении членов Совета, и каждая страница была бы скреплена подписью и росчерком¹ Хуана Алло де Андрада, Нашего актуариуса из тех, которые присутствуют в Совете, чтобы знать, соответствует ли упомянутое издание подлиннику; или же, вы удостоверите официальным путем, что корректором, назначенным по Нашему повелению, было проверено и исправлено упомянутое новое издание по подлиннику, и оно напечатано согласно с ним, а в каждом экземпляре издания исправлены указанные им опечатки, чтобы определить стоимость каждой отдельной книги. И Мы повелеваем типографщику, чтобы, печатая упомянутую книгу, он не печатал ни заголовка, ни первого листа, и не вручал более одной книги вместе с подлинником автору, или лицу, на средства которого печатается книга, ни кому-либо другому, для производства упомянутых исправлений и оценки книги, прежде и перед тем, как упомянутая книга будет исправлена и оценена членами Нашего Совета. Когда все это будет сделано и не иначе, может быть напечатан упомянутый заголовок и первый лист, включив в него одно вслед за другим эту Нашу грамоту, одобрение, оценочное свидетельство и свидетельство об опечатках, под страхом быть привлеченным и подвергнуться наказаниям, заключающимся в законах и прагматических постановлениях, действующих в этом Нашем королевстве. Повелеваем членам Нашего Совета и всяким иным судебным учреждениям принять к сведению и исполнению эту Нашу грамоту и ее содержание. Дана в Вальядолиде двадцать шестого дня сентября месяца, тысяча шестьсот четвертого года. Я, КОРОЛЬ. – По приказу короля, нашего повелителя,

Хуан де Амескета.

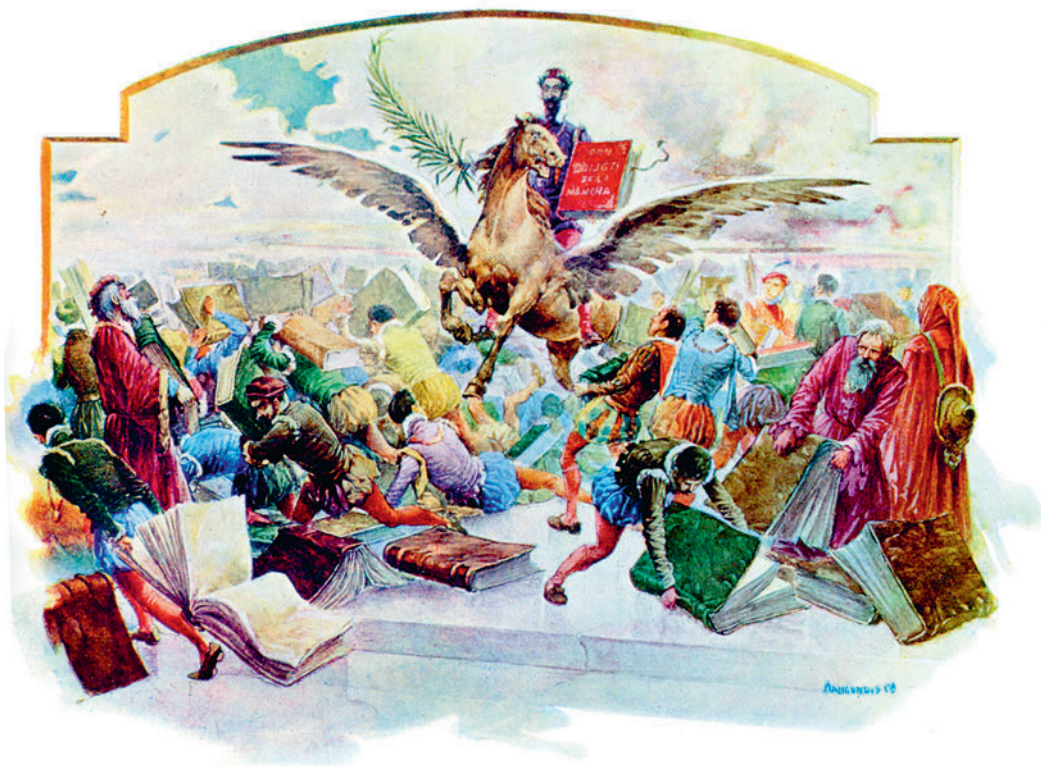
¹ В те времена придавали больше значения росчерку, чем подписи.

Герцогу де Бекар.

Маркизу де Гибралеон, графу де Беналькасар и Баньарес, виконту де ла Пуэбла де Алькосер, владетелю городов Кассилья, Куриэль и Бургильос.

Полагаясь на *добрый прием и уважение*, которые, Вы, Ваша Светлость, оказываете всякого рода книгам, как принц, столь склонный покровительствовать свободным искусствам, в особенности тем, которые по своему благородству не унижаются к служению и выгоде черни, я решил издать «Остроумно-изобретательного идадьго Дон Кихота Ламанчского» *под кровом славнейшего имени Вашего Сиятельства*, и, с почтением, которым я обязан высокому вашему положению, умоляю *благосклонно принять* его под свое покровительство, чтобы, под вашей сенью, хотя и *лишенный* того драгоценного украшения *изящества и эрудиции*, которыми бывают обыкновенно *облечены произведения, сочиняемые в домах ученых людей, он мог отважиться* предстать безопасно на суд некоторых, которые, *не сдерживаясь в пределах своего невежества*, имеют обыкновение *осуждать чужие труды с большою строгостью и малою справедливостью*. Надеюсь, что Вы, Ваша Светлость, в мудрости своей, обратив внимание на мое доброе намерение, не отвергнете скудость столь скромного приношения.

Мигель де Сервантес Сааведра.



ПРОЛОГ

Праздный читатель, и без клятв можешь ты поверить, что я желал бы, чтоб эта книга – дитя ума моего – была самой прекрасной, самой веселой и самой рассудительной, какую только можно вообразить себе; но я не мог нарушить закона природы, по которому каждый производит себе подобное. Итак, что же был в состоянии произвести бесплодный и плохо возделанный ум мой, как не историю сына художавого, сухого, причудливого и исполненного разных мыслей, никогда не приходивших в голову кому-либо другому, как это и подобает тому, кто был зачат в темнице, где всякое беспокойство имеет свое местопребывание и всякий печальный шум – свое жилище. Тишина, мирное убежище, улада

полей, ясность неба, журчание источников, спокойствие духа значительно способствуют тому, что наиболее бесплодные музы оказываются плодородными и дарят миру такие произведения, которые преисполняют его изумлением и радостью. Может случиться, что у отца есть сын некрасивый и неуклюжий, и любовь накладывает отцу на глаза повязку, так что он не видит недостатков сына, а скорей считает их за выдающиеся качества и совершенства и рассказывает о них друзьям своим, как о проявлениях остроумия и дарования. Но я, который, хотя и кажусь отцом, лишь только отчим Дон Кихоту¹, не желаю ни плыть по течению обычая, ни умолять, чуть ли не со слезами на глазах, как это делают другие,

¹ Подобно тому, как во многих рыцарских книгах авторы их часто говорили, что они переведены с греческого, так и Сервантес намекает здесь на Сиду Амета Бененхели, подложного арабского автора, с которого, по его словам, он будто бы перевел на испанский язык «Дон Кихота».

тебя, дражайший читатель, чтобы ты простил или скрыл недостатки, которые ты увидел бы в этом моем сыне. И, так как ты ему не друг и не родня, и в теле у тебя имеется душа и свободная воля, как и у самого замечательного из людей, и ты находишься у себя дома, где ты такой же сеньор, как и король над ввозными пошлинами, и знаешь, что принято говорить: *под моим плащом я убиваю короля*¹ – все это избавляет и освобождает тебя от всякой почтительности и обязательства; итак, ты можешь сказать об этой истории все, что о ней думаешь, не опасаясь, что за дурной отзыв тебя оклеветают, а за хороший – вознаградят.

Я только желал бы дать ее тебе очищенную и обнаженную, без украшения предисловия и нескончаемого списка обычных сонетов, эпиграмм и похвальных слов, которые обыкновенно помещаются в начале книги. Потому что могу тебе сказать, что хотя мне и стоило некоторого труда сочинить ее, самый большой труд для меня был написать пролог, который ты читаешь. Много раз брал я в руки перо, чтоб написать его и много раз бросал перо, не зная, что писать. И вот однажды, когда я сидел в недоумении, разложив перед собой бумагу, с пером за ухом, с локтями на столе, подпирая рукой щеку и придумывая, что бы мне сказать, неожиданно вошел один из моих друзей, остроумный и рассудительный, который, увидав меня погруженным в такую задумчивость, спросил о причине, и я, не скрыв ее от него, сказал, что задумался над сочинением пролога к истории «Дон Кихота», а это так сильно затрудняет меня, что я не желаю ни писать пролога, ни даже издавать в свет

повесть о подвигах столь благородного рыцаря. Как же вы хотите, чтоб я не смущался при мысли, что скажет древний законодатель, именуемый «публикой», когда он увидит, что по истечении стольких лет, которые я спал в тишине забвения², теперь, со всеми моими годами на плечах³, я появляюсь с произведением, сухим как ковыль, чуждым изобретательности, неудовлетворительным по слогу, бедным по замыслу, лишенным эрудиции и всякой учености, без выносок на полях и без примечаний в конце книги, – зная, что другие книги, – хотя бы они были вымышленные и светские, – так переполнены изречениями из Аристотеля, Платона и всей толпы философов, что они приводят в изумление читателей, которые вследствие этого считают их авторов людьми учеными, начитанными и красноречивыми. А тем более еще, когда они делают ссылки на Св. Писание! – тут волей-неволей сочтешь их за святых Фом Кемпийских и других богословов, причем они соблюдают такой тонкий декорум, что, изобразив в одной строке безумно-влюбленного, в другой тотчас же произносят маленькую христианскую проповедь, – так что слушать или читать их – одно удовольствие и наслаждение. Всего этого будет лишена моя книга, потому что у меня нет ни ссылок для полей, ни примечаний для конца книги, и еще менее знаю я, каким следую в ней авторам, чтобы выставить, как все это делают, в начале книги имена их по алфавиту, начиная с Аристотеля и до последней буквы азбуки, поместив в список Зоила или Зевсписа, хотя первый был сочинителем пасквилей, а второй – живописцем. В моей книге не будет также и

¹ Испанская пословица.

² Сервантес издан свою «Галатею» в 1584 г. и затем в течение 21 года не появлялся больше в печати.

³ Сервантесу шел 58-ой год, когда была издана первая часть «Дон Кихота».

вступительных сонетов, по крайней мере таких, авторы которых графы, маркизы, герцоги, епископы, дамы или прославленные поэты, хотя, если б я попросил стихов у двух или трех моих друзей-писателей, я знаю, что они дали бы мне их, и таких, которые превосходили бы сонеты наиболее известных у нас в Испании поэтов. Словом, сеньор и друг мой, – продолжал я, – я решил, что сеньор Дон Кихот останется схороненным в архивах Ламанчи до тех пор, пока небо не пошлет кого-нибудь, кто бы украсил его всем, чего ему недостает, так как сам я не могу этому помочь по своей неспособности и недостатка учености, и потому что от природы я слишком беспечен и ленив, чтобы идти отыскивать авторов, которые говорят то, что я сумею сказать и без них. Вот откуда происходят волнение и недоумение, в которых вы застали меня, а причина для такого настроения, как вы видите, достаточно веская».

Выслушав эти слова, мой друг ударил себя ладонью по лбу, разразился продолжительным смехом и сказал:

– Клянусь Богом, брат, теперь я окончательно излечился от заблуждения, в котором находился все долгое время нашего с вами знакомства, считая вас всегда за умного и рассудительного человека во всех ваших поступках! Но теперь я вижу, что вы также далеки от этого, как небо от земли. Возможно ли, чтобы такие пустяшные и столь легко устранимые вещи имели бы власть смущать и затруднять такой зрелый ум, как ваш, привыкший преодолевать и побеждать гораздо более серьезные затруднения? Верьте мне, это происходит не от недостатка умения, а от излишка лености и от скупости на слова. Желаете ли вы убедиться в том, правду ли я говорю? Так выслушайте меня

внимательно, и вы увидите, как в мгновение ока я отстраню все затруднения и исправлю все недочеты, которые, по вашим словам, вас пугают и отбивают у вас охоту издать в свет историю вашего знаменитого Дон Кихота, красоты и зеркала всего странствующего рыцарства.

– Скажите мне, – ответил я, выслушав то, что он говорил, – каким образом думаете вы наполнить пустоту, которая меня тревожит, и привести в ясность хаос моего смущения?

На это он ответил:

– Что касается вашего затруднения относительно сонетов, эпиграмм и хвалебных стихотворений, которых у вас нет для помещения в начале книги, и которые должны бы быть написаны знатными и титулованными особами, этому горю легко помочь тем, что вы сами возьмете на себя труд сочинить их. А потом вы можете их окрестить, и поставить под ними имена, какие пожелаете, приписав их священнику Иоанну Индийскому¹ или императору Трапезундскому, о которых, как я знаю, имеются сведения, что они были знаменитые поэты. Но даже допустив, что они не были ими, и нашлись бы такие педанты и бакалавры, которые вздумали бы куснуть вас сзади и стали бы отрицать то, что вы утверждаете, – не обращайтесь на них ни на грош внимания, потому что, если б они и уличили вас во лжи, не отрежут же вам руку, которая написала ее? Что же касается выносок на полях о тех книгах и авторах, из которых вы заимствовали изречения и мысли, рассыпанные в вашем произведении, – ничего большего не требуется, как только вставить несколько подходящих изречений или латинских отрывков, известных вам наизусть, или же по крайней мере такие, отыскать которые вам не

¹ В средние века полагали, что это христианский король и вместе с тем священник, царствовавший в восточной части Тибета, на границе Китая.

составит большого труда. Так, например, говоря о свободе и неволе, вставьте:

Non bene pro toto libertas venditur auro¹.

И сейчас же на полях цитируйте Горация или того, кто это сказал. Если же речь пойдет о могуществе смерти, тотчас же приведите строки:

Pallida mors aequo pulsat pede pauperum tabernas Regumque turres².

Если дело коснется дружбы и любви, которую Бог заповедал питать к врагам, немедленно обратитесь к Св. Писанию, так как вы можете это сделать с некоторою любознательностью, и привести, по меньшей мере, слова самого Господа Бора: Ego autem dico vobis: *diligite inimicos vestros*³. Если вы заговорите о дурных помыслах, прибегайте к Евангелию: *De corde exeunt cogitationes malae*⁴. Если речь идет о непостоянстве друзей, перед вами Катон⁵, предлагающий свое двустиие: Donec eris felix, multos numerabis amicos, Tempora si fuerint nubila, solus eris⁶.

С этими латинскими изречениями и другими тому подобными, вас сочтут, по меньшей мере, за грамматика, а быть им приносит в наши дни немалую выгоду и честь.

Относительно примечаний в конце книги вы, конечно, можете сделать сле-

дующее. Если у вас зайдет речь о каком-нибудь великане, устройте так, чтобы это был великан Голиаф, и благодаря одному этому, – что вам почти ничего не стоит, – у вас окажется большое примечание, и вы можете написать: *Великий Голиас или Голиаф был филистимлянин, которого пастух Давид убил большим камнем, пущенным из пращи, в долине Терпентина*⁷, как о том повествуется в «книге Царств, в главе такой-то» (которую вы отыщите). Затем, чтобы выказать себя человеком ученым по словесным наукам и космографии, постарайтесь, чтобы в вашей истории была упомянута река Тахо, и тотчас же получится другое превосходное примечание, и вы напишете: *Река Тахо была названа так одним из королей Испании, истоки ее в таком-то месте, впадает она в море-океан, омывая стены знаменитого города Лиссабона, и полагают, что в ней имеется золотой песок и т. д.*

Если речь зайдет о разбойниках, – я сообщу вам историю Како, так как знаю ее наизусть; если же вы будете говорить о женщинах легкого поведения, – перед вами епископ де Мондоньедо⁸, у которого позаимствуйте Ламию, Лаису и Флору, и примечание это придаст вам большой вес. Если же вы заговорите о жестоких женщинах, Овидий снабдит вас Медесей; о вол-

¹ «Не хорошо продавать свободу за какую бы то ни было цену», Эзоп, книга III, басня 14.

² «Бледная смерть одинаково стучится как в хижины бедняков, так и в замки королей», Гораций, Carmen, книга I, ода 4.

³ Я же говорю вам: «любите ваших врагов».

⁴ «Из сердца исходят злые помыслы». Ев. Матфея гл. XV.

⁵ Не Катон, а Овидий. «Disticha» Катона была книгой, бывшей в то время в очень большом ходу.

⁶ Пока ты счастлив, ты насчитываешь множество друзей, а наступят темные дни – станешь одинок.

⁷ Терпентино – терпентинное дерево, очень распространенное в Палестине; некоторые же критики думают, что Сервантес будто бы намекает здесь на какого то писателя.

⁸ Епископ де Мондоньедо – известный испанский писатель Антонио Гевара, – летописец Карла V, в своих «Epístolas Familiares», напечатанных в 1603 г., приводит подробный, хотя и не очень назидательный рассказ о трех знаменитых куртизанках древности: Ламии, Лаисе и Флоре.

шебницах и чародейках – у Гомера есть Калипсо, у Виргилия – Цирцея; о храбрых полководцах – сам Юлий Цезарь предстанет перед вами в своих «Комментариях», а Плутарх даст вам тысячи Александров. Если вы коснетесь любви, – с двумя унциями знания итальянского языка вы наткнетесь на Леона Эбрео¹, который вам переполнит меру через край. А если вы не захотите отправляться в чужие страны, у себя дома вы имеете Фонсека² и его сочинение «О любви к Богу», заключающее в себе все то, что вы и лучшие умы могли бы пожелать относительно подобного сюжета. Словом, вы только потрудитесь назвать эти имена, или же коснитесь в вашей книге тех историй, о которых я сейчас говорил, и предоставьте мне труд составить выноски и примечания. Ручаюсь вам, что я покрою ими все поля вашей книги, а в конце ее включу четыре печатных листа примечаний.

Перейдем теперь к ссылкам на авторов, имеющих в других книгах, но которых недостает вашей книге. Средство помочь этому очень простое, потому что надо лишь сделать одно: отыскать книгу, где все они перечислены, как вы говорите, от А до Z³. Вот этот то самый алфавит имен и поместите в свою книгу, потому что, хотя ложь и будет ясно видна, это не важно, так как вам не было нужды пользоваться этими именами, а может быть и найдется какой-нибудь простодушный читатель, который поверит, что вы всеми ими воспользовались в вашей

простой и безыскусственной истории. И, если ни на что другое не пригодится этот обширный каталог авторов, он, по крайней мере, послужит на то, чтобы с первого же взгляда придать авторитетность вашей книге. К тому же никто не станет проверять, действительно ли вы пользовались ими или нет, так как это не существенно; тем более, что, если я вас верно понял, эта ваша книга и не нуждается ни в одной из тех вещей, которых, по вашим словам, недостает ей, потому что вся она есть поношение рыцарских книг, о которых ни Аристотель не имел понятия, ни Св. Василий ничего не говорил, ни Цицерон ничего не знал⁴. К ее вымышленным нелепостям не имеют никакого касательства ни точность истины, ни наблюдения астрологии, и для нее не представляют значения ни геометрические измерения, ни опровержения доводов, которыми пользуются риторика; книга ваша не стремится проповедовать, смешивая человеческое с божественным, т. е. такого рода смесь, в которую не должно облекаться никакое здравое христианское суждение. Она стремится только воспользоваться подражанием действительности в том, что в ней будет написано, и чем совершеннее будет подражание, тем лучше окажется то, что написано. И так как это ваше сочинение имеет лишь в виду уничтожить авторитет и влияние, которыми в мире и в народе пользуются рыцарские романы, вам незачем нищенски вымалывать изречения

¹ Леон Эбрео – испанский еврей, из числа тех, которые уехали в Италию вследствие королевского указа 1492 г., по профессии врач, написал «Los Dialogos de amor», напечатанные лишь по-итальянски в 1572 г. в Венеции.

² Христовал Фонсека, августинский монах, написал «Del amor de Dios»; изд. в Барселоне в 1594 г.

³ По-видимому, здесь намек на поэму Лопе де Вега «Isidro», где алфавитный указатель авторов, на которых есть ссылки в книге, достигает 277 имен.

⁴ На Аристотеля, Св. Василия и Цицерона ссылается между прочим Лопе де Вега в своей поэме «Isidro».

у философов, тексты у Св. Писания, вымысла у поэтов, красноречие у риториков, чудеса у святых, – а постарайтесь только, чтобы в выразительных, подходящих и хорошо расставленных словах, речь ваша и периоды вышли звучными и пленительными, и во всем, что для вас окажется возможным, вырисовывалось ваше намерение и ясно выступали ваши мысли, не запутанные и не затемненные вами. Постарайтесь также, чтобы, читая вашу историю, грустный был бы вынужден смеяться, веселый – еще более укрепился бы в своем приятном настроении, простоватый не соскучился бы, умный удивился бы вымыслу, серьезный не пренебрег бы им, а рассудительный похвалил бы. Словом, поставьте себе целью низвержение шаткого здания рыцарских книг, которые столь многие ненавидят, а еще большее число восхищается ими, – и, если вам удастся достигнуть этого, вы достигнете не малого».

В глубоком молчании слушал я то, что мне говорил мой друг, и его доводы так сильно запечатались в моем уме, что,

не оспаривая их, я тотчас их одобрил и решил составить именно из них этот пролог, из которого ты, милый читатель, увидишь проницательность моего друга, счастливую судьбу мою, пославшую мне в самое нужное время такого советника, и собственное свое облегчение, найдя столь искренней и бесхитростной историю знаменитого Дон Кихота Ламанчского, который, по мнению всех жителей округа Монтельской равнины, был самым целомудренным влюбленным и самым доблестным рыцарем, существовавшим за многие годы в тех окрестностях. Я не хочу подчеркивать услугу, которую я тебе оказываю, познакомив тебя с таким выдающимся и почтенным рыцарем; но я желал бы, чтобы ты почувствовал ко мне признательность за знакомство с его оруженосцем, знаменитым Санчо Пансой, в лице которого, как мне кажется, я сосредоточил все прелести оруженосцев, рассеянные в длинной веренице суетных рыцарских книг.

Итак, дай Бог тебе здоровья, и да не забудет Он и меня. Vale.



ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ СТИХОТВОРЕНИЯ:

Урганда Неузнаваемая¹ к книге Дон Кихота Ламанчского

Если только к умным, кни –	(га), ²
Ты попасть в виду име –	(ешь),
Про тебя глупец не ска –	(жет),
Что свое не знаешь де –	(ло).
Но хоть хлеб и не пекла –	(ты),
Для кормежки идио –	(тов),
А увидишь, как неждан –	(но)
Пальцы все они обли –	(жут),
Любознательность живу –	(ю)
Показать свою стара –	(ясь)...
Учит опыт нас: кто к дре –	(ву)
Прислонится, тень найдет –	(тот)
Под его густой листво –	(ю)
И тебе звезда уда –	(чи)
Предлагает дуб высо –	(кий).
Королевский ³ дуб в Беа –	(ре).
Принцы – плод его роско –	(шный),
Цвет прекрасный – герцог; – но –	(вый)
Александр он Вели –	(кий).
Встань под тень его ты: сме –	(лым)
Покровительствует счас –	(тьс).
И расскажешь приключень –	(я)
Благородного идадь –	(го)

¹ Urganda la desconocida – добрая волшебница, девушка лет восемнадцати – играет большую роль в «Амадисе Галльском» и появляется и в других рыцарских романах. «Неузнаваемой» она была названа потому, – как объясняет Галаору (брату Амадиса), его наставник, великан Гандалак, – «что она часто превращается и переряжается так, что ее нельзя узнать». Некоторые критики – между прочим дон Диас де Бенхумеа – придают этим стихам Урганды выдающееся значение, как документу, где, под маской иронии и намеренной темноты, проглядывают истинные цели, которыми задавался Сервантес, когда писал «Дон Кихота», отрицая, чтобы у него было лишь то исключительное намерение, на которое он так усиленно указывает в своем прологе, – т.е. осмеяние рыцарских книг. Другие же – и очень почтенные критики – не видят в этих стихах ни загадки, ни ключа к затаенным целям Сервантеса, а усматривают в них только преобладающую комическую ноту и новое доказательство того, что автор легко овладевал самыми разнообразными манерами и стилями.

² Не Сервантес изобрел эту форму стихов, – как утверждал ученый сервантист Пеллисер и думал Клеменсин, – а зубоскал и шутник Алонсо Алварес де Сория, любивший вращаться в обществе разных гаерствующих и развратных людей. Он то и придумал в 1603 г. – как пишет дон Люис Фернандес Герра – никогда не виданную форму стихов: именно, стихи *de cabo roto*, т.е. стихи с усеченным концом, так как сделал наблюдение, что головорезы и шуты, среди которых он вращался, проглатывают последние слоги фраз, желая этим придать больше внушительности и звучности своему бахвальству и хвастовству.

³ Считали, что герцог де Бехар происходит от старинных Наваррских королей.

Из Ламанчи, чей рассу –	(док)
Был расштан праздным чте –	(нъем).
Дамы, рыцари, ору –	(жъе) –
Так его все возбуди –	(ло),
Что, любовью пламе –	(нея),
Как неистовый Орлан –	(до),
Он добыл рукой могу –	(чей)
Дульсинею из Тобо –	(со).
На щите своем, нескром –	(но)
Не чекань ты иерогли –	(фов),
Потому что, если дер –	(жишь)
На руках одни фигу –	(ры), –
Проиграть игру ты мо –	(жешь) ¹ .
Если ж выразишь смире –	(нъе),
То никто тогда не ска –	(жет)
С ядовитою улыб –	(кой):
«Что за дон Алваро Лу –	(на) ²
Аннибал из Карфаге –	(на)
Иль король Франциск в Мадри –	(де) ³
На свою судьбину роп –	(щет)»!
Раз уж небу не угод –	(но),
Чтоб прослыл ты столь уче –	(ным),
Как тот негр, Хуан Лати –	(но) ⁴ ,
Откажися от латы –	(ни),
Не пускайся в остроумь –	(е),
Ссылки брось на философь –	(ю),
Чтоб, скривив свой рот усмеш –	(кой),
Не сказал бы неуч круг –	(лый):
«Мне на что цветы все э –	(ти)?»
Не суди все вкривь и вкось –	(ты)
И не суй свой нос ты всю –	(ду):
От того, что нам чужо –	(е),
Отойти подальше, – му –	(дрость):
Очень часто угоща –	(ют)

¹ Здесь, по-видимому, намек на игру в карты, и вероятно на игру «Primeго», бывшую тогда в большом ходу в Испании, игра, в которой высшей картой считалась семерка, а фигуры – наименьшими.

² Дон Альваро Луна, любимец короля Хуана II, пользовавшийся целые тридцать лет неограниченной властью при дворе, затем впал в немилость и был казнен в 1452 г.

³ Франциск I, был взят в плен в сражении при Павии и содержался в Мадриде в плену.

⁴ Juan Latino, – негр, родившийся в Берберии и воспитанный в доме герцогини де Терранова, – был самоучкой и получил свое прозвище благодаря превосходному знанию латинского языка и, вообще, его учености. Герцог Сесеа, на службе у которого он состоял, «нося ему книги в кабинет», отпустил его на волю. Хуан Латино женился затем на донье Анна де Карвахал, получил, наконец, кафедру грамматики и читал курс этот более пятидесяти лет, так как дожил до девяноста.

Лить пинками и щелчка –	(ми)
Тех, кто шутит на уда –	(чу).
Ты ж старанья и усиль –	(я)
Приложи все, чтобы толь –	(ко)
Заручиться доброй сла–	(вой).
Кто печатает неле –	(пость),
Отдает ее наве –	(ки)
В непрерывную арен –	(ду).
Помни твердо: безрассуд –	(но), –
Если ты в стеклянном до –	(ме), –
Собирать в руке каме –	(нья),
Чтобы бросить их в сосе –	(да).
Кто умен, тот, сочиня –	(я).
Пусть в своих произведе –	(нях),
Не спеша идет, а слов –	(но)
На ногах свинец приве –	(шен).
Кто же пишет для заба –	(вы)
Вздорных дев, тот пишет толь –	(ко)
Для глупцов и для безум –	(ных).

Амадис Галльский¹ к Дон Кихоту Ламанчскому

СОНЕТ

О, ты, что подражал мне в пылком увлеченьи,
 Когда я горькой жизни сам себя обрек
 На *Пенья Побре*², там, – забыт и одинок, –
 Уйдя от радостей, отдался весь мученью,
 Ты, – жажде чьей мог дать тогда успокоенье
 Лишь только слез твоих обильнейший поток,
 Отвергнув серебро и роскоши далек
 На голой ел земле земли ты приношенье –
 Уверен будь: всегда, отныне и вовек,
 Пока румяный Феб, бог солнца, будет править
 Конями в небесах и направлять их бег,
 За доблесть без конца тебя все будут славить,
 И встанет выше всех твой край благословенный
 И мудрый автор твой, единый, несравненный!

¹ По мнению Клеменсина, не удивительно, что Амадис, этот прототип странствующих рыцарей, посвящает сонет Ламанчскому герою: нам известно, что Амадис был поэт, так как, находясь на *Пенья Побре*, он сочинил стихи.

² Реña Pobre (Скала бедная или Бедности) была так названа, по словам отшельника Амадису, – «оттого, что жить там можно лишь в величайшей бедности». На этой то скале Амадис, под именем Бельтенеброса, и совершил эпитимию, наложенную им на себя после ссоры с Орианой.

Дон Белианис Греческий¹ Дон Кихоту Ламанчскому

СОНЕТ

Громил, рубил, давил, бил, делал, говорил
Я больше рыцарей всех в мире, – и в сраженьи
Я ловкий, храбрый, гордый был; спасенье
Гонимым нес, сто тысяч раз за них я мстил.
И подвиги мои мир славой озарил.
В любви был нежен я, и пылок в увлеченьи,
Гигант – мне карликом казался, и значенье
Дуэли я, ее законов, свято чтил.
У ног своих держал в покорности я счастье,
И случай подчинить умел себе всегда,
Не знал я никогда ни горя, ни ненастья,
Но как ни высоко горит моя звезда,
Все ж подвигов твоих завидую сиянью,
Великий Дон Кихот, – их блеску, обаянью.

Сеньора Ориана² Дульсинея Тобосской

СОНЕТ

О, если б, Дульсинея, мощною рукою
Судьба могла б мой Мирафлорес³ обменять
На Тобосо, и Лондон на село, чтоб дать
Мне отдых и покой со сладкой тишиною!
О, если б я могла и телом и душою
Подобной быть тебе, носить твою печать,
Могла б того в бою кровавом увидеть,
Кого дарила ты любовью молодою!

¹ Белианис Греческий был один из самых грозных странствующих рыцарей; «более ядовитый чем змея, более храбрый чем лев», говорит о нем его историк. Его страстные порывы отличались такою пылкостью, что во время одного из них «словно огонь вырывался у него из-под забрала».

² Ориана была возлюбленной Амадиса, дочерью короля Лизуарта, и отличалась такой необычайной красотой, что ее прозвали «несравненной», потому что в ее время никто не мог сравниться с ней по красоте.

³ Мирафлорес был загородный замок, принадлежавший королю Лизуарту, там обыкновенно и жила Ориана, его дочь. Этот замок, хотя и небольшой, находившийся в шести милях от Лондона, был прелестнейшим в мире уголком: он стоял в роще, на вершине горы, окруженный садами с фруктовыми и иными высочайшими деревьями, и тут же в садах росло множество самых разнородных растений и цветов.

О, если б я могла уйти столь непорочной¹
От друга, как ушла от Дон Кихота ты
С его любовью скромной и заочной, –
Вдали от горести и всякой суеты
Не зная зависти, я б зависть лишь внушала
И платы бы судьбе за радость не давала.

Гандалин², оруженосец³ Амадиса Галльского к Санчо Пансе,
оруженосцу Дон Кихота

СОНЕТ

Привет тебе, муж славы, избранный судьбою
Оруженосцем быть. Судьба тебя вела
На поприще твоём столь мудрою рукою,
Что промаха свершить ни разу не дала.
Пример твой доказал, что рыцарства тропю
Идет уже плебей: его пора пришла⁴;
Сурово обвинен твоею простотою
Надменный, гордость чья превыше звезд зашла.
Исполнен зависти, о Санчо своенравный,
К твоим двум сумкам я, к ослу я твоему
И к имени. Ты муж настолько славный, –
Прими привет мой – что тебе лишь одному
Испанский наш Овидий, – в сладком умильщи
Щелкнув тебя по носу, – шлет свое почтение.

¹ Из истории Амадиса и Орианы мы узнаем, что любовь их не была такой платонической, как любовь Дульсинеи и Дон Кихота. В Мирафлоресе у Орианы родился сын, которого закупили в ящик и бросили в Темзу. Спасенный чудом, мальчик сделался впоследствии знаменитым Эспландианом, подвиги которого: – «Las Sergas de Esplandian», – сообщены в четвертой книге Амадиса, и чуть ли не превосходят подвиги его отца.

² Гандалин был молочный брат Амадиса Галльского и служил у него оруженосцем. В числе прочих подвигов он отсек голову великанше Андандона. Накануне большого сражения он был посвящен в рыцари, и так отличился в битве, что, по словам своего историка, покрыл себя честью и славой на весь остаток своей жизни.

³ Escudero – оруженосец, или вернее щитоносец. J. Guardiola (Гардиола) в его книге «Nobleza de España» (дворянские роды Испании) мы читаем следующее: «Надо заметить, что название *escudero* взяло свое начало и происхождение из старинного обычая, именно: великодушные люди и юные идалго – не потому, чтобы они льстили на плату или приобретение имущества, – а будучи более опытны в военном деле, отправлялись скрытно ко двору принцев, могущественных государей, и туда, где шла молва о каком-либо знаменитом рыцаре, стараясь попасть к ним на службу; ревностно исполняя свои обязанности, они в пути несли щит».

⁴ Во всех рыцарских книгах, оруженосцами были сыновья знатных сеньоров, и только оруженосец Дон Кихота по своему званию скромный плебей.

От изящного поэта, ни шаткого, ни валкого¹, к Санчо Пансе и Росинанту

К САНЧО ПАНСЕ

Санчо я, оружено –	(сец)
Дон Кихота из Ламан –	(чи).
Я ушел бродить, скитать –	(ся),
Чтобы жить умнее, луч –	(ше).
Молчаливый Вилладье –	(го) ² ,
Государственную поль –	(зу)
В отступленьи видел; э –	(то)
Знает также « <i>Селести</i> » –	(на)» ³ ,
Книга дивная, на взгляд –	(мой)
Если только бы поболь –	(ше)
Прикрывалась нагота в –	(ней).

К РОСИНАНТУ

Я праправнук Бабие –	(ки) ⁴ ;
Худобой грешил, и от –	(дан)
Был за это Дон Кихо –	(ту).
Хоть бежал плохой я ры –	(сью),
Но нигде не упускал –	(я)
Случай кормом пожить –	(ся),
Взяв пример в том с Ласари –	(льо) ⁵ ,
Когда он вино все вы –	(пил),
Обманув хитро слепо –	(го).

¹ Собственно: *entreverado* (перемешанный, смешанный), – вроде того как в ветчине – и мясо и жир. Это стихотворение опять образчик стихов с усеченным концом. Кого Сервантес имел в виду под именем поэта *Donoso* (изящный, милый), неизвестно.

² Кто был этот Вилладье, – неизвестно.

³ «*Celestina*» или трагикомедия «*De Calixto y Melibea*» (Калисто и Мелибея) – знаменитая драма в прозе и самое выдающееся произведение XV-го века, – являет собою верное отражение того времени. Много было исследований о том, кто автор столь прославленного сочинения. Новейшие изыскания весьма авторитетных писателей устанавливают, что «*Celestina*» – труд двух авторов: неизвестного, написавшего первое действие, остальные же действия написаны Фернандо де Рохас, уроженцем Пуебла де Монтальбан.

⁴ Лошадь, принадлежавшая Сиду.

⁵ Намек на эпизод в известном испанском романе «*Lazarillo de Tormes*», когда юный плут Ласарильо, применяя к своему хозяину надувательство, чему он научился у своих родителей воров, опускает в горлышко кувшина, который слепой его хозяин держит в руках, ржаную соломину и, потягивая вино, оставляет слепого в дураках.

Орlando Неистовый Дон Кихоту Ламанчскому

СОНЕТ

Хоть не был ты пэром¹, но мог, без сомнения,
Средь тысячи пэров быть лучший их цвет;
Увенчан сияньем таких ты побед,
Каким не найти во всем мире сравненья.
Кихот, я – Орlando; в любви упоеньи
К Анхелике чуть не изъездил весь свет,
Неся ей на жертвенник славы в привет
Ту доблесть, щадит что поныне забвенья.
Быть равным тебе не могу: затмевашь
Всех славой своей ты, хотя, как и я,
Лишен был рассудка жестокой судьбою.
Но ты, – ты мне равен, когда укрощашь
Надменного мавра и скифа, тебя
В несчастьи любовном сравнивавших со мною.

Рыцарь дель Фебо² Дон Кихоту Ламанчскому

СОНЕТ

Как может соперничать меч мой с сияньем
Меча твоего, Феб испанский, герой!
Ведь, подвиг, свершенный моею рукой,
Ничто пред твоим, полным блеска, деяньем!
Короны отверг, пренебрег и даяньем
Востока я алого – лик дорогой
Моей Клариद्याны³ чтоб видеть – зарей
Светящей мне ясной и рая мерцаньем.
Я чудом ее полюбил несказанно:
Обрушилось горе над ней, – и тогда
Сам ад задрожал пред моей грозной местью.
Тебя ж прославляет, Кихот, невозбранно,
Твоя Дульсинея, и ты навсегда
Ее одарил славой, мудростью, честью.

¹ Здесь, в продолжение всего сонета, игра слов на двойном значении *par* – пэр и равный. Орlando был, как известно, одним из двенадцати пэров при дворе Карла Великого.

² Приключения рыцаря дель Фебо, сына императора Требачио, рассказаны в четырех книгах «Espejo de Principes y Caballeros» (Зеркало принцев и рыцарей), сочинения Диего Ортуньес, напечатанного впервые в Сарагосе в 1562 г. Это одна из самых фантастических, нелепых и скучных рыцарских книг.

³ Клариद्याна была дочерью Трапезундского императора и королевы амазонок.

Солисдан¹ Дон Кихоту Ламанчскому

СОНЕТ

Хотя, сеньор Кихот, нелепостью мышленья
Затмили вы свой ум и светлый, и живой,
Никто не бросит в вас упреком иль хулой
За низкие дела и мелочность стремленья.
Поступки славят вас: обиженным вы мщенье
Несли, и смело шли за угнетенных в бой.
А от дрянных людей, с бессовестной душой,
Вы много раз за то терпели избиенье.
И если Дульсинея вас так огорчить
Могла жестокостью, упорством столь холодным,
Лишив ваш ствол надежд зеленой всей листвы, –
Чтоб вас утешить я могу вам доложить,
Что Санчо Панса ваш был сводником негодным,
Он туп, крута она, и не любовник вы.

¹ Solisdan. Кто такой этот Солисдан оставалось загадкой, так как подобное имя не встречалось нигде в книгах и предполагали, что оно изобретено Сервантесом. Счастливое решение этого вопроса (по мнению дона Клементе Кортехона), пока не будет доказано противное, дает Поль Грассак (Paul Groussac) в своей книге: «Une énigme littéraire». Вот что он говорит: «Сонеты и шуточные стихи, обращенные к Дон Кихоту и его близким, героями и героинями рыцарских книг, хранят между собой некоторую симметрию и параллельность: Амадис и Белианис, Орlando и Фебо – однородные пары, и точно также составляют пару Урганда и Ориана, а после них идут оруженосец Амадиса Гандолин и Солисдан. В виду этого не требовалось быть особенно великим волшебником, чтобы понять, что „таинственный Солисдан“, дополняющий картину, должен быть личностью, аналогичной Гандолину; и, по видимому, Сервантес позабавился с ним, переставив буквы его имени. Несомненно, что Солисдан анаграмма *Лассиндо*, оруженосца знаменитого Брунео де Бонамар, посвященного в рыцари в один день с Гандолином, после того как он с ним же вместе стоял на страже оружия».

Разговор между Бабиеской¹ и Росинантом

СОНЕТ

Б. Как худ ты, Росинант, в каком ты истощеньи!

Р. Не ел я ничего, а изнуряет труд.

Б. Тебе овса и сена, что ли, не дают?

Р. Да, голодом меня морят без сожаленья.

Б. Чернить хозяина, сеньор, вы, без сомненья,
Ослиным языком почувствовали зуд?

Р. Осел не я, а он. Что говорить уж тут!
Смотрите, он каков в любовном увлеченьи!

Б. Любить, нелепо что ль?

Р. И не умно, ведь тоже.

Б. Философ вы?

Р. Я – голоден, могу сказать.

Б. Корите лучше Санчо.

Р. Что мне в том, – тем паче
Что не корить обоих их нельзя же,
Когда слуга и господин – о, благодать!
Такие ж точно, как и Росинанте, клячи!

¹ Бабиеска была лошастью Сиды.



Глава I

В которой идет речь об образе жизни и занятиях знаменитого идальго Дон Кихота Ламанчского.

В одном местечке Ламанчи¹, название которого не желаю вспоминать, жил не так давно идальго² из числа тех, что имеют копье в козлах, старинный щит,

тощую лошаденку и борзую собаку. Олла³, состоящая больше из говядины, чем баранины⁴, по вечерам чаще всего сальпикон⁵, по субботам дуэло⁶ и кебранто⁶, по пятницам – чечевица, по воскресеньям – в виде прибавки какой-ни-

¹ Округ Новой Кастилии – название *La Mancha* производят от арабского слова *Манха*, означающего сухая земля.

² Дворянин – на испанском языке.

³ Испанское кушанье, приготовленное из разного рода овощей и мяса.

⁴ В те времена в Испании баранина была дороже говядины.

⁵ Холодное мясо, приправленное уксусом, перцем, луком и солью.

⁶ *Duelos y quebrantos* – буквально *огорчение и перелом*. По объяснению ученого сервантиста Пеллисера, это название произошло из обычая пастухов, существовавшего в некоторых местностях Ламанчи, приносить домой хозяевам овец, свалившихся со скал или умерших от какого-либо другого несчастного случая, из мяса которых делалась солонина. Блюдо это называлось *огорчение и перелом*, намекая на чувство *огорчения*, вызываемое у хозяев несчастием, приключившимся с их овцами, и *перелом* костей этих последних. Вообще же это место очень трудно понять, так как некоторые отвергают и это объяснение Пеллисера.

будь голубенок, все это поглощало три четверти его дохода. Остальная часть уходила на полукафтанье из хорошего черного сукна, бархатные панталоны и такие же туфли для ношения в праздники и на платье из серого полусукна, в которое он наряжался в будни. Он держал у себя в доме ключницу, особу лет за сорок, племянницу, не достигнувшую еще и двадцати лет, и слугу для домашних и полевых работ, который также седлал лошадь, как и управлялся садовым резакон. Нашему идалго было около пятидесяти лет; крепко сложенный, сухощавый, с костлявым лицом, он вставал рано-ранехонько и был большим любителем охоты. Звали его, как говорят, Кихада или Кесада (так как в этом существует некоторое разногласие у писавших о том авторах), хотя по весьма правдоподобным догадкам можно заключить, что его звали Кехана. Но это неважно для нашего рассказа: достаточно, чтобы мы, передавая его, не отступали бы ни на йоту от истины. Итак, надо знать, что вышеупомянутый идалго в те промежутки времени, когда он бывал не занят (а случалось это большую часть года), отдавался чтению рыцарских книг с такой страстностью и рвением, что почти совсем забывал об охоте и даже о своем хозяйстве. Его любопытство и безрассудство в этом отношении дошли до того, что он продал несколько участков пахотной земли, чтобы купить себе рыцарские книги, и таким образом он собрал их в доме у себя столько, сколько мог достать. Из всех книг ни одна не нравилась ему так, как сочинения Фелисиана де Сильва¹, потому что его проза и запутанные выраже-

ния казались ему настоящими перлами, в особенности, когда ему приходилось читать объяснения в любви или письма с вызовами, где он часто встречал выражения в таком роде: «*Справедливость несправедливости, направленной против моей справедливости, до того ослабила мое чувство справедливости, что я справедливо жалуюсь на вашу красоту*». Или же: «*Высокие небеса, божественно подкрепляющие вашу божественность красотой звезд, делают вас достойной того достоинства, которого достойно ваше величие*».

Над такими и тому подобными фразами бедный идалго терял рассудок. Он не спал по ночам, стараясь понять их и вникнуть в сокровенный их смысл, до которого не додумался бы и которого не постиг бы и сам Аристотель, если б только для этого воскрес. Не очень-то нравились идалго раны, которые дон Белианис² наносил и получал, потому что ему представлялось, что какие бы искусные врачи его ни лечили, все же на его лице и всем теле должны были остаться бесчисленные рубцы и знаки. Но, тем не менее, он хвалил автора за то, что он оканчивал книгу обещанием бесконечного рассказа о нескончаемых приключениях, и не раз приходило ему желание взяться самому за перо и буквально исполнить то, что там было обещано. Без всякого сомнения, он это и сделал бы, и сделал бы успешно, если б другие более значительные и настойчивые мысли не помешали ему.

Часто вступал он с деревенским священником (человеком образованным, получившим ученую степень в Сигуэнсе) в споры о том, кто был лучшим ры-

¹ Автор очень распространенного в то время романа: «Don Florisel de Niquea», который в вымыслах своих перешел все пределы и был осмеян некоторыми писателями еще до Сервантеса.

² Один из героев рыцарских романов.

царем – Пальмерин ли Английский, или Амадис Галльский? Но маэсе¹ Николас, местный цирюльник, говорил, что им обоим далеко до рыцаря Феба, с которым, если уж кто-нибудь и может сравниться, то лишь дон Галаор, брат Амадиса Галльского, потому что он обладал всеми нужными для этого данными: он не был таким щепетильным рыцарем и таким плаксой, как его брат; что же касается храбрости, то в этом ни мало не уступал ему.

Словом, наш идальго до того погрузился весь в чтение, что проводил над книгами дни и ночи напролет, и таким образом от малого сна и непрерывного чтения мозг его так высох, что он лишился рассудка. Воображение его наполнилось всем тем, что он читал в своих книгах: чародействами, ссорами, сражениями, вызовами на поединок, ранами, ухаживаниями, любовными приключениями, ревностью и невозможными нелепостями. В его голове так крепко засела уверенность, что вся эта масса фантастических выдумок, которые он читал, не что иное, как истина, что для него не существовало другой, более достоверной, истории в мире. Он говорил, что Сид – Руи – Диас несомненно храбрый рыцарь, но что его нельзя даже сравнить с рыцарем «Пылающего меча», который одним взмахом положил на месте двух дерзких и чудовищных великанов; Бернардо дель Карпио нравился ему несколько больше, потому что он в Ронсевале убил очарованного Роланда, прибегнув к уловке Геркулеса, когда тот задушил в своих объятиях Антея, сына Земли. Он отзывался очень хорошо о великане Морганте, так как, происходя из поколения гигантов, которые все заносчивы и невежливы, он один был приветлив и благовоспитан. Но больше всех нравился

ему Рейнальдос де Монтальбан, особенно когда он выезжал из своего замка и грабил все, что ему попадалось под руку, и когда он похитил за морем истукана Магомета, весь литой из золота, – как о том повествует его история. А если б он мог дать хорошую встрепку изменнику Галалону! За это он отдал бы и ключницу, которую держал, и даже свою племянницу в придачу.

Наконец, когда рассудок его окончательно помрачился, ему пришла в голову самая изумительная мысль, никогда еще не осенявшая ни одного безумца в мире, а именно, он решил, что ему не только следует, а даже необходимо, – как для собственной его славы, так и для благополучия государства, – сделаться странствующим рыцарем и верхом на коне в своих доспехах скитаться по свету в поисках приключений, занимаясь тем, чем занимались, как он это читал, странствующие рыцари, возмещая за всякого рода обиды, идя навстречу всевозможным опасностям и случайностям, чтобы, преодолев их, покрыть свое имя неувядаемой славой. В воображении своем бедняга уже видел себя увенчанным, благодаря своей доблести, по меньшей мере, короной Трапезундской империи. В чаду таких приятных грез, увлеченный необычайным удовольствием, которое они ему доставляли, он решил поскорее осуществить то, к чему он так стремился.

Прежде всего, он приступил к чистке доспехов, которые принадлежали еще его прапрадедам и, изъеденные ржавчиной и плесенью, целые века оставались позабытыми и заброшенными где-то в углу. Он вычистил и выпрямил их, как мог лучше, но заметил следующий большой недостаток: шлем был не полный, недоставало забрала и нижней части шлема, – это был простой шишак. Однако, изобретатель-

¹ Мастер.



Воображение его наполнилось всем тем, что он читал в своих книгах

ный ум его сумел помочь беде, и он из картона смастерил нечто вроде забрала, которое и прикрепил к шишаку так, что тот принял вид настоящего рыцарского шлема. Правда, что с целью испытать прочность забрала, и может ли он противостоять удару меча, он вынул свой меч, два раза ударил им по шлему и первым же ударом мгновенно уничтожил то, что он мастерил целую неделю. Не очень-то ему понравилась легкость, с которой он разнес в дребезги свое изделие, и чтобы предохранить себя от той же опасности в будущем, он принялся делать новое забрало, прикрепив внутри его несколько железных полосок, и остался доволен его прочностью. Не желая его вновь подвергать испытанию, он решил, что оно вполне пригодно и считал его прекраснейшим забралом.

Покончив с этим делом, он пошел взглянуть на свою клячу, и хотя у нее на копытах было немало трещин, и, вообще, больше было пороков, чем даже у лошади Гонелы¹, которая «*tantum pellis et ossa fuit*»², ему показалось, что ни Буцефал Александра Македонского, ни Бабиека Сиды не могут сравниться с его конем. Четыре дня употребил он на то, чтобы придумать, какое ему дать имя, потому что, говорил он себе, несправедливо, чтобы конь столь знаменитого рыцаря и сам по себе такой хороший, оставался без известного всем имени. Поэтому он старался придумать такое, которое означало бы и то, что представляла из себя лошадь прежде, чем она принадлежала странствующему рыцарю, и то, чем она стала потом, так как было вполне справедливым, чтобы с переменой положения ее господина и она переменила имя и получила бы громкое

и блестящее название, как это приличествовало новой профессии и тому ордену, в который вступил ее господин. Итак, после того как он перебрал в своем уме массу имен, отвергнул их, вновь придумал некоторые, опять их отвергнул и придумывал еще новые, он, наконец, назвал лошадь свою «Росинант»³, имя, показавшееся ему возвышенным, звучным и означавшим то, чем лошадь была прежде, когда она была клячей, и то, чем она стала теперь, сделавшись первой и лучшей из всех кляч в мире.

Дав своему коню название, которое ему так нравилось, он пожелал также и себе приискать имя, и в размышлениях над этим у него прошла еще неделя. Наконец, он решил назваться *Дон Кихотом*⁴, и это дало повод, как уже было сказано, авторам этой столь правдивой истории утверждать, что без сомнения он, должно быть, назывался Кихада, а не Кесада, как уверяют другие. Однако, вспомнив, что храбрый Амадис не довольствовался одним именем Амадиса, а добавил к нему название своего королевства и отчества, чтобы прославить его, и назвал себя *Амадисом Галльским*, – и он, как добрый рыцарь, пожелал добавить к своему имени имя своего отчества и называться *Дон Кихотом Ламанчским*, чем, как ему казалось, он во всеуслышание провозглашает свое происхождение и отчество и оказывает честь родине, делая из ее имени свое прозвище. Вычистив оружие, смастерив из шишака настоящий шлем с забралом, дав название своему коню, снабдив и себя новым именем, он решил, что теперь ему недостает лишь одного – найти даму, в которую бы он влюбился; потому что странствующий рыцарь без любви – все равно,

¹ Шут герцога Феррарского, живший в XV веке; лошадь его была знаменита своей худобой.

² Была лишь кожа да кости.

³ Слово, составленное из двух испанских слов «*goscín*» (кляча), «*antes*» (прежде и впереди).

⁴ *Quijote* – слово, означающее по-испански *набедренник*.

что дерево без листьев и без плодов и тело без души. Он сказал себе: «Если я в наказание за мои грехи, или же вследствие счастливой своей судьбы встречу в этих местностях с каким-нибудь великаном, – как это обыкновенно случается со странствующими рыцарями, – и, схватившись с ним, сброшу его на землю, или разрублю надвое, или, одержав над ним окончательную победу, заставлю его сдаться, разве нехорошо было бы иметь, к кому бы я мог его послать представиться, и чтобы он, войдя в комнату, упал бы на колени перед моей нежной сеньорой и сказал бы смиренным и покорным голосом: „Я, сеньора, великан Каракулиамбро, повелитель острова Мамендрания, которого победил в поединке никогда в достаточной мере не восхваленный рыцарь Дон Кихот Ламанчский, приказавший мне явиться к вашей милости, чтобы ваше величие располагало мною по своему благоусмотре-

нию“». О, как обрадовался наш добрый кабальеро¹, когда он произнес эту речь, а еще более, когда он придумал, кого ему избрать своей дамой. Дело в том, как полагают, что в одном местечке, по соседству с его местечком, жила молодая крестьянка, очень недурная собой, в которую он одно время был влюблен, хотя, по слухам, она этого никогда не знала и не замечала этого. Звали ее Альдонса Лоренсо, и ей-то ему показалось подходящим дать титул «владычицы его дум».

Отыскивая для нее имя, которое не очень бы отступало от ее имени, а походило бы и приближалось бы к имени принцессы и знатной сеньоры, он назвал ее Дульсинеей Тобосской, потому что она родом была из Тобосо – имя, по его мнению, музыкальное, необычайно красивое и выразительное, как и имена, придуманные им для себя и для своей лошади.



¹ По-испански – рыцарь.



Глава II

В которой речь о первом выезде изобретательного Дон Кихота из родного местечка.



кончив эти приготовления, наш идадьго решил тотчас же привести в исполнение задуманное им, так как его угнетала мысль, что промедление даст себя чувствовать миру, приняв в расчет все те обиды, которые он думал уничтожить, несправедливости – исправить, злоупотребления – искоренить, ошибки – загладить и долги – уплатить. Не сообщив никому о своем намерении и так, чтобы никто его не видел, однажды утром, еще до рассвета (так как это был один из самых жарких июльских дней), он надел все свои доспехи, сел верхом на Росинанта, опустил плохо прилаженное забрало, продел на руку щит, взял свое копье и выехал из задней калитки двора в поле, донельзя довольный и обрадованный тем, что ему так легко удалось положить начало доброму своему желанию. Но едва он очутился в поле, как у него мелькнула страшная мысль, и такая страшная, что она чуть было не

заставила его отказаться от начатого дела, – именно, он вспомнил, что еще не был посвящен в рыцари, и что, по рыцарским законам, он не может и не должен сражаться ни с кем из рыцарей. Допустив же, что он был бы посвящен в рыцари, ему, как новичку, следовало бы иметь лишь «белое» оружие, без девиза на щите, пока он не заслужит его собственными подвигами. Эти мысли заставили его поколебаться в своем намерении, но так как его безумие было сильнее всяких других доводов, он решил просить первого, кто встретится ему, посвятить его в рыцари, в подражание многим другим, которые поступили таким же образом, как он это прочел в книгах, столь сильно завладевших им. Что же касается «белого» оружия, он решил, когда окажется время, так основательно вычистить свои доспехи, чтобы они стали белее горносталя. Все это успокоило его, и он поехал дальше, предоставив лошади своей идти, куда она пожелает, думая, что в этом и состоит вся тайна приключений.

Продолжая путь свой, наш свежеспеченный искатель приключений стал рассуждать сам с собою, говоря: «Нет сомнения, что в будущие века, когда правдивая история славных моих подвигов явится в свет, мудрец, который ее напишет, повествуя о первом моем выезде, на рассвете дня, начнет свое описание следующими словами: „Едва румяный Аполлон разбросал по лицу великой и обширной земли золотые нити прекрасных своих волос, едва маленькие пестрые птички с зубчатыми язычками приветствовали сладкой и нежной мелодией появление розовой Авроры, которая, покинув мягкое ложе ревнивого супруга, выглянула из всех дверей и балконов Ламанчского горизонта и появилась перед очами смертных, – знаменитый рыцарь Дон Кихот Ламанчский, оставив праздные свои пуховики, сел верхом на славного коня Росинанта и поехал по старинной, всем хорошо известной Монтисельской долине“» (и в самом деле он ехал по этой долине). И он продолжал, говоря: «Счастливое время и счастливый тот век, когда появятся в свет славные подвиги мои, заслуживающие, чтобы их, на память потомству, увековечили в бронзе, в мраморе и в живописи! О, ты, мудрый чародей, кто бы ты ни был, которому суждено будет стать летописцем необычайной этой истории, прошу тебя, не забудь моего доброго Росинанта, вечного моего товарища во всех моих дорогах и путях». Тотчас затем он добавил, как будто он в самом деле был влюблен: «О, принцесса Дульсиня, владычица этого плененного вами сердца! Как сильно вы меня обидели, отослав со строгим приказанием не являться перед вашими светлыми очами. Сеньора, удостойте вспомнить о беззаветно преданном вам сердце, которое из любви к вам терпит столько мук».

Сказав это, он стал нанизывать еще другие нелепости наподобие тех, кото-

рым он научился в своих книгах, стараясь, насколько мог, подражать их слогу. При этом он ехал так медленно, а солнце поднялось так высоко и жгло так сильно, что этого одного было бы достаточно, чтобы растопить все его мозги, если бы они еще были у него. Почти весь тот день он пространствовал, но с ним не случилось ничего, о чем бы стоило рассказать. Это привело его в отчаяние, так как он желал тотчас же встретиться с кем-нибудь, чтобы испытать над ним доблесть своей сильной руки. Некоторые авторы говорят, будто первое случившееся с ним приключение было приключением в ущелье Лаписе, другие, что первым его приключением было сражение с ветряными мельницами. Но в чем я мог удостовериться относительно этого вопроса и что нашел занесенным в летописи Ламанчи, это то, что он весь день пространствовал и, когда стало смеркаться, его лошадь и он сильно утомились и умирали с голоду. Оглядываясь во все стороны, нет ли где замка или пастушьей хижины, где бы он мог переночевать и удовлетворить великую свою нужду в отдыхе и еде, он увидел недалеко от дороги, по которой ехал, постоялый двор, а ему показалось, будто он видит звезду, которая ведет его не только в преддверие, но и в самый чертог спасения. Он пришпорил лошадь и в то время, когда спускалась ночь, добрался до постоялого двора.

У дверей стояли случайно две молодые женщины из тех, которых принято называть «уличными». Они ехали в Севилью с погонщиками мулов и остановились на ночь с ними на этом постоялом дворе. А так как нашему искателю приключений все, что он думал, видел или воображал, представлялось подобным тому, что совершалось и происходило в прочитанных им книгах, то лишь только он увидел постоялый двор, ему

представилось, что это замок с четырьмя башнями со шпильями из блестящего серебра, с подъемным мостом и глубокими рвами, – словом, со всеми принадлежностями, как их обыкновенно описывают в подобного рода замках. Он подъехал ближе к постоялому двору (который ему казался замком) и в недалеком расстоянии от него придержал за поводья Росинанта, ожидая, что на зубчатых стенах замка появится какой-нибудь карлик и трубным звуком возвестит о прибытии рыцаря. Но так как он увидел, что очень медлят, и что Росинант спешит скорее попасть в конюшню, он подъехал ближе к дверям постоялого двора и заметил стоявших здесь двух женщин «легкого поведения», которых он принял за двух знатных барышень или же за двух изящных дам, прогуливающих перед воротами своего замка. Случайно в это время свинопас, гнавший с пастбища стадо свиней (а их, не извиняясь, так и называют), затрубил в рог, при звуках которого они собираются. Тотчас-же Дон Кихот вообразил, что исполнилось его желание, а именно, что карлик дает знать о его приезде. Итак, донельзя довольный, он подъехал к постоялому двору и к дамам; а они, увидав человека, вооруженного таким образом – со щитом и с копьем, исполненные страха, бросились к дверям. Но Дон Кихот, по бегству их догадавшийся об их испуге, приподняв картонное свое забрало и открыв сухощавое, запыленное лицо, – изящно приосанился и спокойным голосом обратился к ним, говоря:

– Не бегите, милости ваши, и не опасайтесь никаких неприятностей, так как не в правилах и не в обычаях рыцарского ордена, к которому я принадлежу, обижать кого бы то ни было, а тем более таких знатных девушек, как это явствует из вашей наружности.

Женщины всматривались в рыцаря, стараясь разглядеть его лицо, скрытое плохо поднятым забралом. Но когда они услышали, что их называют девушками, что так противоречило их профессии, они не могли удержаться от громкого взрыва смеха. Это рассердило Дон Кихота и он сказал:

– Осмотрительность очень идет к красоте, и к тому же весьма глупо смеяться, когда повод вздорный. Но я говорю вам это не с целью вас обидеть, или же вызвать ваше неудовольствие, так как единственное мое желание – служить вам.

Этот язык, непонятный тем сеньорам, и странный вид нашего рыцаря только еще более усилили их смех, а в нем усилили досаду и, может быть, дело кончилось бы плохо, если б как раз в это время не появился хозяин постоялого двора, человек очень миролюбивый, так как он был очень толстый.

Увидав безобразную фигуру рыцаря, вооруженного такими сборными доспехами, какими были поводья, щит, копье и латы, он чуть было не присоединился к двум девицам в изъявлении своего веселья. Но действительно уstraшенный этой массой военных снарядов, он решил говорить с ним вежливо, и потому сказал:

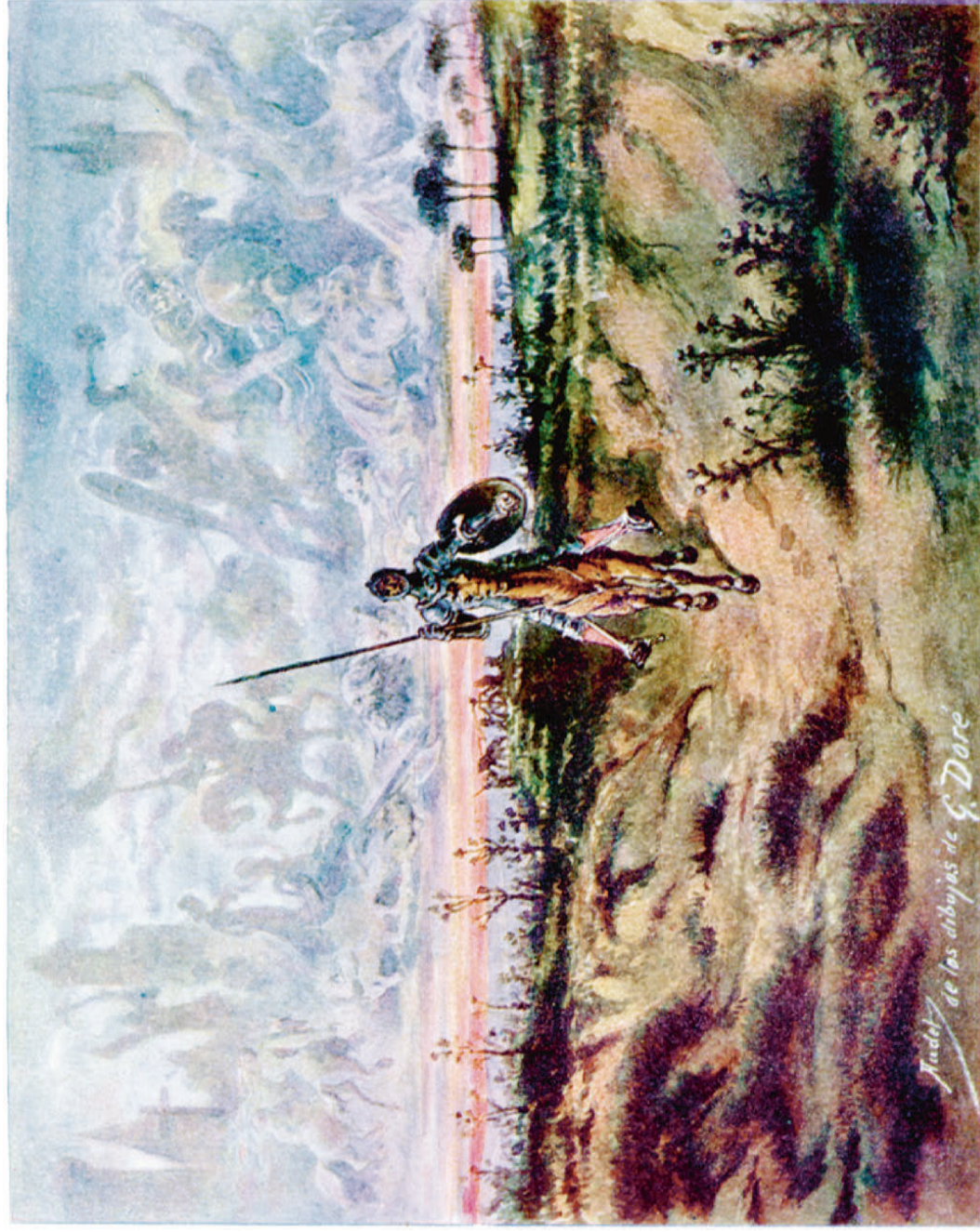
– Сеньор кабальеро, если ваша милость ищет ночлега, то, за исключением постели (так как на этом постоялом дворе нет постели), всем остальным могу служить вам в большом изобилии.

Увидав покорность начальника крепости (таковым Дон Кихот счел хозяина постоялого двора), рыцарь ответил:

– Сеньор кастелян, я удовлетворюсь самым малым, так как *мое оружие – мне украшение, а битва – отдых мой*¹.

Хозяин двора подумал, что рыцарь назвал его кастеляном, потому что при-

¹ Отрывок из старинного испанского романа.



Продолжая путь свой, наш свежиспеченный искатель приключений стал рассуждать сам с собою

нял за продувного кастильца¹, хотя он был родом андалузец с побережья Сан-Лукара², не менее вор чем Како, не менее шутник чем студент или паж. Итак он ответил ему:

– Судя по этому, *ложем* вашей милости должны быть *твердые скалы*, а *сном* – *постоянное бодрствование*³ и, если это так, вы можете сойти с коня в полной уверенности найти в этой хижине случай и случаи бодрствовать целый год, а тем более одну ночь.

Сказав это, он стал держать стремя Дон Кихоту, который слез с лошади с большим трудом и усилием, как человек, целый день не имевший ни куска во рту.

Тотчас же он попросил хозяина хорошенько позаботиться о его коне, потому что это лучшее существо, евшее хлеб на земле. Хозяин взглянул на лошадь, но она ему показалась не так хороша, как говорил Дон Кихот, и даже вполтину не так хороша. Устроив ее в конюшне, он вернулся узнать, что ему прикажет его гость, которого молодые женщины (уже помирившиеся с ним) освобождали от его доспехов. Они сняли с него латы, нагрудник и наплечники, но никак не могли освободить ему горло от нашейника, ни снять уродливое забрало, которое было привязано зелеными шнурками. Приходилось разрезать их, так как нельзя было развязать узлы, но Дон Кихот никоим образом не соглашался на это и оставался всю ночь с шлемом на голове; это была самая смешная и странная фигура, какую только можно представить себе. Когда с него снимали доспехи, он, вообразив, что делавшие это две уличные женщи-

ны – знатные сеньоры и владелицы замка, сказал им с большой любезностью:

Никогда так не служили
Дамы рыцарям отменно,
Как служили Дон Кихоту,
Когда выехал впервые
Из деревни он: за ним
Девы знатные ходили,
За конем его – принцессы,⁴

или за Росинантом, так как это, сеньоры мои, имя моего коня, а мое имя – Дон Кихот Ламанчский; но хотя я и не желал открыться вам раньше, чем это сделали бы подвиги, совершенные мною вам на пользу и служа вам, необходимость приметить к данному случаю старый романс Лансарота была причиной того, что вы раньше времени узнали мое имя. Однако, настанет пора, когда вы, сеньоры, будете повелевать, а я исполню ваши повеления, и сила руки моей докажет мое желание служить вам.

Молодые женщины, не привыкшие к таким витиеватым речам, не ответили ни слова и только спросили его, не желает ли он поест?

– Я бы поел чего угодно, – ответил Дон Кихот, – потому что, как мне кажется, я очень в этом нуждаюсь.

Случилось, что в тот день была пятница, и на всем постоялом дворе не оказалось ничего, кроме порции рыбы, которую в Кастилии называют «аббатиком»⁵, в Андалузии «баккалавриком», в некоторых местностях «потоками», а в других «форельчиками». Дон Кихота спросили, не желает ли его милость отведать «форельчиков», а другой

¹ Кастелян (castellan) означает по-испански одновременно и «кастелян» и «кастилец», а sano de Castilla, на воровском испанском диалекте, означает «скрытый вор».

² Любимый притон бродяг и мошенников в те времена.

³ Следующие строки куплета, цитированного Дон Кихотом.

⁴ Дон Кихот применяет здесь к себе старинный испанский романс Лансарота.

⁵ В Испании все это местные шуточные названия для соленой трески.

рыбы, которую можно было бы подать ему есть, нет.

— Так как форельчиков много, — сказал Дон Кихот, — они могут сойти за форель, потому что не все ли равно, дадут ли мне восемь реалов мелкой монетой, или же одну крупную монету в восемь реалов? Тем более, что может быть и форельчики нечто вроде телятины, которая вкуснее говядины, или же вроде мяса молодого козленка, которое вкуснее мяса старого козла. Но будь что будет, лишь бы мне давали поскорей, так как бремя и тяжесть оружия нелегко выносить, не удовлетворив требований желудка.

Для прохлады накрыли на стол у дверей постоялого двора, и хозяин принес порцию плохо вымоченной и еще хуже сваренной рыбы — род трески и такого же черного и заплесневелого хлеба, как и доспехи Дон Кихота. Удивительно смешно было видеть, как он ел, потому что с надетым шлемом и приподнятым забралом ему неудобно было что-либо класть себе в рот своими руками, если кто другой не подавал ему, и одна из девиц оказывала

ему эту услугу. А напоить его и было, и осталось бы невозможным, если б хозяин двора не просверлил тростник, один конец которого он сунул в рот Дон Кихота, а через другой вливал вино. Рыцарь все это сносил терпеливо, чтобы только избежать необходимости разрезать шнуры у шлема. Как раз в это время к постоялому двору случайно подходил холостильщик свиней и, приблизившись, сыграл четыре или пять раз на своей камышовой свирели. Это окончательно убедило Дон Кихота, что он находится в рыцарском замке, что за его обедом играет музыка, что поданная ему треска — форель, а лежащий перед ним черный хлеб — булка из лучшей пшеничной муки, что две уличные женщины — знатные дамы, и что хозяин постоялого двора — кастелян замка, и поэтому он считал и свое решение и свой выезд вполне удачными. Но больше всего тревожила его мысль, что он еще не посвящен в рыцари, так как ему казалось, что ему нельзя на законном основании пуститься в какое бы то ни было приключение, прежде чем он вступит в рыцарский орден.





Глава III

В которой рассказывается, к какому забавному способу прибегнул Дон Кихот, чтобы быть посвященным в рыцари.

Удрученный мыслью о том, что он не посвящен в рыцари, Дон Кихот поспешил покончить со скудным своим ужином, после чего позвал хозяина, заперся с ним в конюшне и здесь бросился перед ним на колени, говоря: «Ни за что не встану до тех пор, пока вы, храбрый рыцарь, любезно не соизволите обещать мне то, о чем я хочу вас просить, и что обратится вам в похвалу, а человеческому роду на пользу».

Хозяин двора, увидав гостя у своих ног и услышав такие речи, был смущен и смотрел на него с изумлением, не зная, что сказать или что делать, и на-

стаивал, чтобы он встал, но Дон Кихот ни за что не соглашался, пока, наконец, хозяин не объявил, что исполнит то, о чем он просит.

– Я меньшего и не ждал от великой щедрости вашей, сеньор мой, – сказал Дон Кихот. – Знайте же что просьба моя, на которую вы так великодушно согласились, заключается в том, чтобы вы завтра посвятили меня в рыцари; эту же ночь я простою на страже при оружии в часовне вашего замка. Итак, завтра, как я сказал, исполнится мое желание, и мне можно будет, как надлежит, отправиться искать по всем четырем частям света приключений на пользу нуждающимся, что и составляет

обязанность рыцарства и странствующих рыцарей, подобных мне, чьи мысли устремлены на такого рода подвиги.

Хозяин двора, который, как сказано, был несколько плутоват и еще раньше подозревал, что гость его не совсем в здравом рассудке, услышав от него такие речи, окончательно убедился в этом и, желая посмеяться, решил согласиться на его причуду. Итак, он сказал, что рыцарь вполне прав в том, чего желает и просит, и что намерение его как нельзя более естественно и приличествует такому знаменитому рыцарю, каким он кажется, и о чем свидетельствует отважная его наружность. И сам он, хозяин, в молодые годы также занимался уважаемой рыцарской профессией, скитаясь по разным частям света в поисках за приключениями, и не упустил случая побывать на Рыбном базаре в Малаге, на Риоранских островах, в «Компасе»¹ Севильи, на площади водопровода в Сеговии, в оливковой роще в Валенсии, на городском валу в Гранаде, на побережье Сан-Лукара, на площади Потро в Кордове², во всех питейных домах Толедо³ и в других тому подобных местах, где он упражнялся в быстроте ног и ловкости рук, многих сделал кривыми, ласкал немало вдов, соблазнил не одну девушку, обманул нескольких несовершеннолетних и, наконец, стал известен почти во всех испанских судебных местах и присутствиях. В конце концов он удалился на покой в этот свой замок, где живет на свои и чужие средства, принимая у себя всех странствующих рыцарей, к какому бы званию и положению они ни при-

надлежали, единственно из-за великой к ним любви, и чтобы они, в награду за доброе его отношение, делились с ним своим имуществом. Он сказал ему также, что в этом его замке нет часовни, в которой рыцарь мог бы стоять на страже оружия, так как старая часовня сломана, чтобы выстроить новую; но он знает, что, в случае необходимости, не возбраняется стоять на страже оружия где бы то ни было, и этою ночью он может это сделать во дворе замка. Завтра же утром, если Богу угодно, все нужные церемонии будут выполнены, и он окажется посвященным рыцарем, и таким рыцарем, что лучшего не может быть на свете.

Хозяин спросил, имеет ли он при себе деньги. Дон Кихот ответил, что не имеет ни гроша, так как он нигде во всех историях о странствующих рыцарях не читал, чтобы кто-нибудь из них держал при себе деньги. Хозяин возразил ему, что он ошибается. Допустив даже, что в рыцарских историях ничего не упомянуто о деньгах по той простой причине, что авторам этих историй казалось излишним писать о такой, самой по себе, ясной и необходимой вещи, как деньги и чистое белье, – из этого не следует делать вывод, будто рыцари не были снабжены и тем, и другим. Итак, пусть он считает достоверным и бесспорным, что все странствующие рыцари (о которых говорит и свидетельствует такое множество книг) носили при себе туго набитые кошельки для непредвиденных случайностей, а также чистые рубашки и коробочки с мазью, чтобы лечить полученные ими раны. Не

¹ Квартал в Севильи, где было множество домов, в которых жили женщины легкого поведения.

² Место в Кордове, получившее свое название от статуи коня над фонтаном. Потро – по-испански жеребец, молодая лошадь.

³ Эти все местности были известны в то время как притоны воров и мазуриков.

всегда же в тех долинах и пустынях, где они сражались и где им наносили раны, находился у них под рукой кто-нибудь, кто мог бы их лечить; разве только у них был друг, какой-нибудь мудрый волшебник, который тотчас же оказывал им помощь, послав на облаке молодую девушку или карлика со склянкой, наполненной такой целебной водой, что стоило лишь проглотить несколько капель, и мгновенно заживали все язвы и раны, как будто никогда ничего и не было. Но не имея такого покровителя, прежние странствующие рыцари считали необходимостью, чтобы их оруженосцы были снабжены деньгами и другими полезными вещами, как, например, корпией и мазью для лечения ран. А когда случалось, что рыцари не имели оруженосцев, (это бывало очень редко), они сами возили все нужное в небольших, почти незаметных сумочках, прикрепленных сзади к седлу и имевших вид чего-то другого, более ценного, так как, за исключением подобных случаев, возить с собой сумки не очень-то было принято у странствующих рыцарей. Итак, он советует ему (хотя мог бы приказать, как своему крестнику, которым он так скоро делается) с этого дня впредь никогда больше не пускаться в путь, не имея при себе денег и всех вышеупомянутых запасов, и сам он увидит, как они пригодятся ему тогда, когда он менее всего будет думать об этом.

Дон Кихот обещал в точности исполнить данный ему совет, после чего сейчас же получил приказание держать стражу над оружием в большом дворе, примыкавшем к постоялому двору. Он собрал все свои доспехи, положил их на водопойное корыто, стоявшее близ колодца, и, продев на руку щит, взяв

копье, с изящной осанкой принялся ходить взад и вперед перед колодой. Когда он начал свою прогулку, стало темнеть.

Хозяин рассказал всем бывшим на постоялом дворе о безумии постояльца, о его страже над оружием и посвящении в рыцари, которое он ожидал. Все были изумлены умопомешательством столь необычайного рода, отправились наблюдать за ним издали и увидели, что он со спокойной осанкой то пройдет взад и вперед, то остановится, опираясь на копье, и, устремив глаза на оружие, долгое время не отрывает их от него. Ночь окончательно спустилась на землю, но луна светила так ярко, что могла бы соперничать с той планетой, от которой она заимствует свой свет. Таким образом все, что делал новый рыцарь, было хорошо видно всем.

Одному из погонщиков, ночевавших на постоялом дворе, понадобилось напоить своих мулов, и для этого приходилось снять с водопойной колоды лежавшее на ней оружие Дон Кихота, а он, увидав, что погонщик подходит, громким голосом сказал ему:

— О, ты, кто бы ты ни был, дерзкий рыцарь, имеющий намерение прикоснуться к оружию храбрейшего странствующего рыцаря, который когда-либо опоясывался мечем, подумай о том, что делаешь, и не касайся оружия, если не хочешь заплатить жизнью за свою дерзость!

Но погонщик мулов не обратил внимания на эти слова (а было бы лучше, если бы он обратил, потому что это значило обратить внимание на свою безопасность) и, схватив за ремни доспехи, далеко отшвырнул их от себя. Увидев это, Дон Кихот поднял глаза к небу и, устремив мысли (как казалось) к своей сеньоре Дульсине, воскликнул:



... опираясь на копье, и, устремив глаза на оружие,
долгое время не отрывает их от него.

– Помогите мне, моя сеньора, в этой первой обиде, обрушившейся на покоренное вами сердце! Не лишайте меня в этой первой опасности своей опоры и своего покровительства!

Говоря эти и другие подобные слова, Дон Кихот бросил свой щит, приподнял обеими руками копьё и, ударив им со всей силы по голове погонщика мулов, свалил его на землю в столь плачевном состоянии, что если бы последовал второй удар, ему не понадобился бы доктор, чтобы лечить его. Сделав это, Дон Кихот собрал свои доспехи и снова стал прогуливаться так же спокойно, как и до того. Немного спустя, ничего не зная о случившемся (так как ошеломленный ударом погонщик лежал еще в беспамятстве), подошел другой погонщик с тем же намерением напоить своих мулов. Только что он сбросил с водопойной колоды доспехи, как Дон Кихот, не говоря ни слова и не призывая никого на помощь, опять откинул щит, схватил обеими руками копьё и нанес им такой сильный удар по голове погонщика, что не копьё сломалось, а голова второго погонщика раскололась не на три, а на целых четыре части. На шум сбегался весь народ, бывший на постоялом дворе, и среди них и хозяин. Увидав это, Дон Кихот схватил щит и, обнажив меч, сказал:

– О, королева красоты, опора и сила моего ослабевшего сердца, теперь настало время обратить очи твоего величия на плененного тобою рыцаря, которому предстоит столь великое приключение!

Слова эти, как ему казалось, влили в него такую отвагу, что, если б погонщики всего света напали на него, он не отступил бы ни на шаг. Товарищи раненых, увидав их в столь плохом состоянии, стали издали осыпать градом

камней Дон Кихота, который, сколько мог, прикрывался щитом, не решаясь отойти от водопойной колоды, чтобы доспехи не оставить без защиты. Хозяин постоялого двора кричал, прося не трогать его, потому что он уже им говорил, что это сумасшедший, и, в качестве сумасшедшего, он будет выпущен на свободу, хотя бы убил их всех. А Дон Кихот, со своей стороны, кричал еще громче, называл их трусами и изменниками, а владельца замка низким и бесчестным рыцарем, потому что с его согласия здесь так нагло обращаются со странствующими рыцарями, и что, если бы он уже был посвящен в рыцари, то проучил бы его за его предательство.

– Что же касается вас, низкая и грязная сволочь, вы для меня ничего не значите. Стреляйте, бросайтесь на меня, оскорбляйте, сколько у вас хватит сил, и увидите, какую получите награду за свою дерзость и глупость!

Он проговорил все это с таким пылом и такой отвагой, что вызвал сильный страх в тех, которые на него нападали. И отчасти от этого, отчасти и вследствие уговоров хозяина, они перестали бросать в него камнями, а он, со своей стороны, позволив им убирать раненых, снова стал на страже оружия с таким же спокойствием и хладнокровием, как и раньше.

Но хозяину постоялого двора не понравились эти шутки его постояльца, и он решил сократить срок и тотчас же посвятить его в проклятый рыцарский орден, прежде чем случится другое несчастье. Итак, подойдя к Дон Кихоту, он оправдался, говоря, что дерзкий поступок низких этих людей был совершен без его ведома, но что они были хорошо наказаны за свою самонадеянность. Он сказал ему, как уже и раньше говорил, что в замке нет

часовни, но для того, что им еще предстоит сделать, она и не нужна. Ведь вся суть церемониала посвящения в рыцари, – насколько у него об этом имеются сведения, – заключается в двух ударах мечом, один по затылку, другой по плечу, а это может быть совершено хотя бы среди поля. Что же касается стражи над оружием, он исполнил уже все, что следует, тем более, что требуется всего два часа, а он простоял целых четыре.

Дон Кихот поверил всему этому и сказал, что готов подчиниться ему во всем, и чтобы он кончал все как можно скорее, потому что, если еще раз на него нападут, после того как он будет посвящен в рыцари, он решил не оставить никого в живых в замке, исключая тех, кого укажет ему владелец замка, из уважения к которому он их и пощадит.

Предупрежденный и испуганный этими словами, кастелян тотчас же принес книгу, в которую он вносил записи о ячмене и соломе, выдаваемых им погонщикам мулов, и, в сопровождении мальчика, несшего за ним огарок свечи, и двух уже упомянутых девушек, он подошел туда, где стоял Дон Кихот, велел ему опуститься на колени и, читая из своей книги, как бы произнося набожную молитву, среди чтения поднял руку и сильно ударил ею Дон Кихота по шее, после чего нанес ему собственным его мечом увесистый удар по плечу, продолжая что-то бормотать сквозь зубы, точно молясь. Сделав это, он приказал одной из дам опоясать нового рыцаря мечом, что она и исполнила с большой ловкостью и благоразумием, потому что требовалась не малая доля его, чтоб удержаться от громкого взрыва смеха во время церемоний посвящения; но

подвиги, совершенные на глазах у всех новопосвященным рыцарем, сдержали душивший их хохот.

Опоясывая Дон Кихота мечом, добрая сеньора сказала:

– Дай Бог счастья вашей милости и победу в сражениях.

Дон Кихот спросил, как ее зовут, чтоб отныне впредь он знал, кому он обязан оказанной ему услугой, потому что он намерен уделить и ей долю той славы, которую он добудет мужественной рукой своей. Она ответила с большим смирением, что ее зовут Ла-Толоса и что она дочь чеботаря, уроженца Толедо, живущего вблизи лавок Санчо Бьеная, и что, где бы она ни была, она всегда готова служить ему и считать его своим сеньором. В ответ Дон Кихот просил ее, из расположения к нему, сделать ему милость присвоить себе титул «донья»¹ и называться «Доньей Толосой», что она и обещала сделать. Вторая дама прикрепила Дон Кихоту шпоры, и у нее с ним произошел почти такой же разговор, как и с той, которая опоясала его мечом. На вопрос, как ее зовут, она ответила, что зовут ее Ла-Молинера, и что она дочь почтенного мельника из Антекера. Дон Кихот также и ее просил присвоить себе титул «донья», предлагая и ей всякие свои услуги и милости.

Как только эти никогда еще невиданные церемонии посвящения были быстро и поспешно окончены, Дон Кихот решил поскорей сесть на коня и отправиться в поиски за приключениями. И, оседлав тотчас Росинанта, он сел на него, и, обняв хозяина, наговорил ему столько удивительных вещей, благодаря его за посвящение в рыцари, что пере-

¹ В Испании частица «дон» – титул дворян, а «донья» – титул испанских дам. Сервантес осмеивает здесь столь распространенную в его время страсть к добавлению этих «дон» и «донья».

дать их в точности невозможно. Хозяин, желавший только одного, чтобы он поскорее уехал с постоялого двора, от-

ветил ему в том же выпренном тоне, но более кратко, и, не требуя от него платы за ночлег, отпустил его с Богом.





Глава IV

Что случилось с нашим рыцарем, когда он уехал с постоялого двора.

Начинало рассветать, когда Дон Кихот выехал с постоялого двора, довольный, веселый и в таком восторге от мысли, что теперь он посвящен в рыцари, что радость его чуть не брызгала из подпруги его лошади. Но, вспомнив советы хозяина относительно столь необходимых для него запасов, особенно денег и рубашек, он решил вернуться домой – запастись всем этим, а также и приискать себе оруженосца, рассчитывая на одного крестьянина, своего соседа, человека бедного и обремененного семьей, но очень подходящего для исполнения обязанностей оруженосца при странствующем рыцаре. С этой мыслью он повернул на дорогу к себе в деревню Росинанта, который, как бы угадав в чем дело, быстро пустился бежать, точно его ноги не касались земли.

Недалеко отъехал Дон Кихот, как вдруг ему почудилось, что направо, из чащи леса, бывшего вблизи, раздаются жалобные стоны и он, едва слышав их, воскликнул: «Благодарю небо за милость, которую оно мне оказывает, предостав-

ляя мне так скоро случай исполнить обязанности моего звания и пожать плоды добрых моих намерений. Эти крики, без сомнения, исходят от несчастного или несчастной, нуждающихся в моей помощи и защите». И, дернув за поводья Росинанта, он повернул его к тому месту, откуда, как ему казалось, раздаются стоны. Не успел он въехать в лес, как на расстоянии нескольких шагов увидел кобылу, привязанную к дубу, а к другому дубу был привязан, оголенный от пояса вверх, мальчик лет пятнадцати, который кричал, – и не без причины, потому что дюжий крестьянин нещадно бил его ремнем с пряжкой. Каждый удар он сопровождал выговором и советом, говоря: «Держи язык на привязи и смотри в оба».

И мальчик отвечал: «Не сделаю этого в другой раз, сеньор мой, клянусь страстями Господними, не сделаю этого в другой раз, и обещаю отныне впредь хорошенько смотреть за стадом!».

Увидав то, что происходит, Дон Кихот гневным голосом воскликнул:

– Недостойный рыцарь, не пристало вам нападать на того, кто не может защищаться! Садитесь сейчас на своего коня,

берите копье (так как у крестьянина также оказалось копье, прислоненное к дубу, к которому привязана была кобыла), и я докажу вам, что одни лишь трусы могут так поступать, как вы.

При виде этой вооруженной с ног до головы фигуры, которая махала копьем над его головой, крестьянин счел себя погибшим, и ответил ему по-хорошему:

– Сеньор рыцарь, мальчик, которого я наказываю, мой слуга и пасет стадо овец в этой местности. Но он так неисправен, что каждый день теряет по овце. А когда я его наказываю за его небрежность и плутовство, он говорит, что я это делаю из скупости, чтобы не заплатить жалованье, которое я ему должен. Но клянусь Богом и душой, он лжет!

– Лжет в моем присутствии, гнусный негодяй!? – крикнул Дон Кихот. – Клянусь солнцем, которое нам светит, я готов вас проколоть насквозь этим копьем. Заплатите ему тотчас без всякого возражения, а нет – клянусь Богом, который правит нами, – я тут же покончу с вами и мгновенно уничтожу вас. Сейчас же отвязжите мальчика!

Крестьянин опустил голову и, не отвечая ни слова, отвязал своего слугу, у которого Дон Кихот спросил, сколько хозяин должен ему. Мальчик сказал, что он ему должен жалованье за девять месяцев по семи реалов¹ в месяц.

Дон Кихот сосчитал, сколько это составит, и вышло шестьдесят три реала. Тогда он сказал крестьянину, чтобы тот немедленно раскошелился, если не хочет проститься с жизнью.

Трусливый крестьянин стал божиться местом, на котором он стоит и данной им клятвой (хотя он никакой клятвы не давал), что он меньше должен, потому что следует вычесть и принять в расчет три пары башмаков, которые он дал своему

слуге, и один реал за два кровопускания, когда он был болен.

– Все это хорошо, – ответил Дон Кихот, – но башмаки и кровопускание пусть идут в счет за удары, которые вы без его вины нанесли ему; так как, если он изорвал кожу башмаков, которые вы ему дали, вы изорвали ему кожу тела; и если цирюльник пустил ему кровь, когда он был болен, вы пустили ему кровь, когда он здоров. Итак, с этой стороны он ничего вам не должен.

– К несчастью, сеньор рыцарь, – ответил крестьянин, – у меня нет денег при себе. Пусть Андрес идет со мной, и я дома уплачу ему весь долг до последнего реала.

– Идти с ним! – воскликнул мальчик. – Боже сохрани! Нет, сеньор, ни за что на свете, потому что если я останусь с ним глаз на глаз, он сдерет с меня кожу, как со святого Варфоломея.

– Этого он не сделает, – ответил Дон Кихот. – Довольно, что я приказываю ему, чтобы он послушался, и если он мне поклянется в том рыцарским орденом, к которому он принадлежит, я отпущу его на свободу и поручусь за уплату им долга.

– Обратите внимание, ваша милость, сеньор, на то, что вы говорите, – сказал мальчик, – так как этот мой хозяин не рыцарь и не принадлежит ни к какому рыцарскому ордену. Он – Хуан Альдудо, богач, и живет в Кинтанаре.

– Это не важно, – ответил Дон Кихот, – и Альдудосы могут быть рыцарями, тем более, что всякий – сын своих дел.

– Совершенно верно, – согласился Андрес, – но этот мой хозяин сын каких же дел, если он отказывается платить мне жалованье за работу в поте лица?

– Я не отказываюсь, брат Андрес, – сказал крестьянин, – сделайте мне удовольствие пойдемте со мной, и я клянусь всеми рыцарскими орденами, которые

¹ Real – монета в 25 сантимов или четверть франка.



Клянусь солнцем, которое нам светит,
я готов вас проколоть насквозь этим копьём.

существуют на свете, что уплачу вам до последнего реала, да еще деньгами, опрысканными духами.

– От опрыскивания духами освобождаю вас, – сказал Дон Кихот, – уплатите ему свой долг простыми реалами, этим я удовлетворюсь. Но смотрите, исполните то, в чем клялись, а если нет, той же клятвой клянусь вам, что разыщу и накажу вас, и что найду вас, хотя бы вы скрывались лучше ящерицы. И если вы желаете знать, кто вам приказывает это, – чтобы еще более усилить обязательство, принятое вами на себя, – знайте, что я – доблестный Дон Кихот Ламанчский, защитник угнетенных и мститель за обиженных. Прощайте и не забывайте того, что вы обещали и в чем клялись, под страхом объявленного вам наказания.

С этими словами Дон Кихот пришипори Росинанта и быстро исчез из глаз присутствующих. Крестьянин смотрел ему вслед и, когда он убедился, что рыцарь выехал из леса и его больше не видеть, он подошел к своему слуге, Андресу, и сказал:

– Ступайте-ка сюда, сын мой, я желаю уплатить вам все, что должен, как тот защитник угнетенных мне приказывал.

– Клянусь, – ответил Андрес, – вы хорошо сделаете, если исполните приказание того доброго рыцаря, – да здравствует он тысячу лет, столь честный и справедливый судья! Но – клянусь святым Роком! – если вы не заплатите мне, он вернется и сделает то, что сказал.

– И я клянусь в том же, – ответил крестьянин, – однако, из сильной к вам любви, желаю увеличить долг, чтобы увеличить и платеж.

С этими словами он схватил мальчика за руку, привязал его опять к дубу и избил до полусмерти.

– Зовите теперь, сеньор Андрес, – сказал крестьянин, – защитника угнетенных, и посмотрим, как он возместит вам

за эту обиду, хотя мне думается, что я еще не довел ее до конца, так как чувствую желание содрать с вас с живого кожу, как вы опасались.

Но, наконец, он отвязал его и предоставил ему свободу идти отыскивать справедливого судью, чтобы тот привел в исполнение свой приговор.

Андрес ушел рассерженный, давая клятву разыскать храброго Дон Кихота Ламанчского и рассказать ему в точности, что произошло, чтобы он отплатил за все это семикратно. Тем не менее, мальчик шел весь в слезах, а хозяин смеялся ему вслед.

Вот каким образом защитил угнетенного доблестный Дон Кихот, который был в восторге от случившегося, так как считал, что положил этим счастливое и достойное начало своим рыцарским подвигам, и очень довольный собой, ехал, направляясь к себе, в деревню, говоря вполголоса: «Ты действительно можешь назвать себя счастливейшей из всех живущих теперь на земле, или из всех красавиц, прекрасная Дульсинея Тобосская, потому что тебе выпало на долю держать в подчинении и покорности твоей воле и твоим желаниям столь храброго и знаменитого рыцаря, каким есть и будет Дон Кихот Ламанчский. Он (как всем известно) вчера лишь был посвящен в рыцари, а сегодня уже воздал должное за самую великую обиду и оскорбление, какие могла изобрести несправедливость и совершить жестокость. Сегодня он вырвал плеть из рук бездушного врага, который так беспричинно истязал слабого ребенка».

В это время Дон Кихот подъехал к месту, где дорога расходилась на четыре стороны, и тотчас же он вспомнил о перекрестках, на которых странствующие рыцари обыкновенно останавливались, раздумывая, какую из дорог им выбрать. Чтобы последовать их примеру, он тоже



... но погонщик был так возбужден, что не захотел бросить игру, пока не истощится весь запас его гнева.

остановился на мгновение и, после того как хорошенько подумал, отпустил поводья Росинанта и подчинил свою волю воле коня, который не изменил своему первоначальному намерению и направился к своей конюшне.

Проехав приблизительно около двух миль, Дон Кихот увидел толпу путешественников, которые, как потом оказалось, были купцами из Толедо, ехавшими покупать шелк в Мурсию. Их было шестеро, и в руках они держали зонтики. Сопровождали их четверо слуг верхом и трое погонщиков мулов пешком. Едва Дон Кихот увидел их, он тотчас же вообразил, что это – новое приключение, и чтобы во всем, что ему казалось возможным, подражать подвигам, о которых он читал в своих книгах, он решил, что этот случай для него самый подходящий. Итак, приняв гордую осанку и отважный вид, он выпрямился на стременах, сжал в руке копьё, прикрыл себе грудь щитом и, остановившись посреди дороги, стал ждать, чтобы к нему подъехали странствующие рыцари (он уже считал и принял их за таковых). Когда путешественники приблизились настолько, что они могли его видеть и слышать, Дон Кихот громким голосом и с вызывающим жестом воскликнул:

– Остановитесь все, если вы все не признаете, что на целом свете нет более прекрасной девушки, как императрица Ламанчи, несравненная Дульсинея Тобосская!

Купцы остановились, услышав эти слова и увидав странную фигуру того, кто их произносил. И по фигуре, и по сказанному ему, они тотчас же смекнули, что имеют дело с сумасшедшим. Но им хотелось точнее узнать, в чем же состоит признание, которое от них требуют, и поэтому один из купцов, большой шутник и человек остроумный, сказал Дон Кихоту:

– Господин рыцарь, мы не знаем той почтенной сеньоры, о которой вы изволили говорить; покажите нам ее, и если она действительно так прекрасна, как вы утверждаете, мы по доброй воле и без всякого принуждения признаем истину, которую вы требуете от нас.

– Если бы я показал ее вам, – возразил Дон Кихот, – в чем была бы заслуга, что вы признали бы столь неопровержимую истину? Суть дела в том, чтобы, не видя ее, вы поверили, признали, подтвердили, клялись и стояли за это. А если нет, сражайтесь со мной, чудовищные и надменные люди! Выйдете ли вы на бой поодиночке, как этого требует рыцарский устав, или же все вместе, по обычаю и дурной привычке людей вашего сорта, – здесь я стою и жду вас, зная, что справедливость на моей стороне.

– Сеньор рыцарь, – ответил купец, – умоляю вашу милость от имени всех этих принцев, которые тут перед вами, – чтобы не отягощать нашу совесть признанием того, чего мы никогда не видели и не слышали, тем более, что признание это клонит к обиде и ущербу всех императриц и королев Альгаррии¹ и Эстремадуры, – не будете ли вы столь добры, милость ваша, показать нам какой-нибудь портрет той сеньоры, хотя бы величиной с пшеничное зерно, потому что и по нитке можно добраться до клубка, – и мы убедимся и удовлетворимся этим, а ваша милость успокоится и останется довольной. И я даже думаю, что мы уже и теперь на вашей стороне, так что, если бы по портрету ее и оказалось, что она косит на один глаз, а из другого у нее истекают киноварь и сера, тем не менее, желая угодить вашей милости, мы скажем в ее пользу все то, что вы пожелаете.

– Не истекает у нее, – закричал, разгоревшись гневом, Дон Кихот, – не

¹ Округ в Новой Кастилии, на левом берегу Энареса.

истекает у нее то, что ты сказал, гнусная сволочь! А только благоухание амбры и мускуса, и она не косяя и не горбатая, а стройнее веретена Гадаррамы¹. Но вы заплатите мне за великую хулу, произнесенную вами против несравненной красоты моей сеньоры!

Сказав это, Дон Кихот схватил копье и с таким гневом и бешенством бросился на говорившего с ним, что дерзкому купцу пришлось бы плохо, если бы, по счастливому для него велению судьбы, Росинант не споткнулся и не упал бы на полпути. Росинант упал, и господин его покатылся по полю на порядочное расстояние, а когда он хотел подняться, он никак не мог, ему мешали копье, щит, шпоры и шлем вместе с тяжестью старинных лат. И в то время как он пытался встать и не мог, он говорил: «Не бегите, люди трусливые, люди презренные; погодите, так как не по своей вине, а по вине моей лошади я лежу здесь, растянувшись на земле».

Один из слуг, которые вели мулов, по-видимому, не очень-то доброжелательный по природе, услышав высокомерные речи упавшего с коня бедняги, не мог удержаться, чтоб не прописать ему ответа на его спине. Он подбежал

к нему, схватил его копье, переломал на куски и одним из этих кусков принялся так обрабатывать нашего Дон Кихота, что, несмотря на защищавшие его латы, он измолот его, точно зерно на мельнице. Господа кричали своему слуге, чтобы он перестал и оставил бы рыцаря, но погонщик был так возбужден, что не захотел бросить игру, пока не истощится весь запас его гнева. Подняв и остальные куски копья, он всех их переломал на ребрах несчастного упавшего, который, несмотря на этот ураган сыпавшихся на него ударов, не молчал, а угрожал небу и земле; и разбойникам, за которых он принял проезжих.

Наконец, погонщик устал, и купцы продолжали свой путь, имея что порассказать о бедном избитом рыцаре. А он, оставшись один, снова попытался встать, но если он не мог этого сделать, когда был цел и невредим, как мог бы он это сделать измятый и избитый? И все же он считал себя счастливым, так как ему казалось, что это злоключение весьма обычное для странствующих рыцарей, и он его приписал единственно падению своей лошади. Однако, ему невозможно было подняться, до того болело и ныло все его тело.



¹ Гадаррама – горная цепь на сев.-зап. от Мадрида, отделяющая Старую Кастилию от Новой Кастилии и бассейн Дуро от бассейна реки Тахо. Веретеном Гадаррамы, по-видимому, называется на очень острые вершины этой горы.



Глава V

Продолжение рассказа о злоключениях нашего рыцаря.

Дон Кихот, убедившись, что он в самом деле не может шевельнуться, решил прибегнуть к обычному своему средству: припомнить то или иное событие из прочитанного им в своих книгах. Безумие привело его теперь на память происшествие с Балдуиносом и маркизом Мантуанским, когда Карлото оставил Балдуиноса раненым на горе, — история, хорошо знакомая детям, не безызвестная юношам, которою потешаются старики и даже верят ей, и при всем том не более правдивая, чем чудеса Магомета. Эта-то история и показалась Дон Кихоту как нельзя более подходящей к тому положению, в котором он находил-

ся. Итак, он с признаками сильнейшего страдания стал кататься на земле и чуть слышно повторял то, что будто бы говорил раненый рыцарь в лесу:

«Где же ты, моя сеньора,
Что тебе не жаль меня?
Про беду мою не знаешь,
Или ложь — любовь твоя?»

Таким образом, он продолжал декламировать романс до строки:

«О, мой дядя благородный,
Повелитель кровный мой....»

Случаю было угодно, что, когда он дошел до этих строк, как раз проходил мимо него крестьянин из того же местечка, как и он, — его сосед, возвра-

щавшийся с мельницы, куда он только что свез пшеницу. Увидав лежащего на земле человека, крестьянин подошел к нему и спросил, кто он, и что с ним случилось, что он издает такие жалобные стоны? Дон Кихот наверно подумал, что это и есть маркиз Мантуанский, его дядя, и вместо ответа, продолжал декламировать романс, в котором он давал ему отчет о своем несчастье и о любовных похождениях императорского сына с его супругой, точь в точь, как о том поется в романсе. Крестьянин был изумлен, слушая эти нелепости, и, сняв с него забрало, которое от ударов было уже изломано в куски, вытер ему лицо, покрытое пылью; сделав это, крестьянин тотчас же узнал его и сказал:

– Сеньор Кихана (так звали его, когда он был в здравом уме и еще не превратился из мирного идадьго в странствующего рыцаря), кто привел вашу милость в такое состояние?

Но Дон Кихот продолжал декламировать свой романс в ответ на все вопросы. Видя это, добрый человек снял, как мог осторожнее, с него латы и наплечники, чтобы посмотреть, не ранен ли он, но нигде не нашел ни крови, ни признаков ран. Кое-как ему удалось поднять рыцаря, и он с величайшим трудом усадил его на своего осла, решив, что это более спокойный способ передвижения. Он собрал все оружие, даже до обломков копья, сложил все это и привязал на спину Росинанту, которого взял за повод, а осла за недоуздок, и таким образом направился к своему селу, с сокрушением слушая нелепости, которые говорил Дон Кихот. Не менее приуныл и сам Дон Кихот; весь измятый и избитый, он едва держался на осле и посылал время от времени к небу столь глубокие вздохи, что крестьянин опять счел нужным спросить, что у него болит? И казалось, точно дьявол помо-

гал Дон Кихоту припоминать рассказы, подходившие к теперешнему его положению, так как в эту минуту, забыв о Балдовиносе, он вспомнил мавра Абиндараеса, которого Родриго де Нарваес – начальник крепости Антекера – взял в плен и увез к себе в замок. Поэтому, когда крестьянин снова спросил его, как он себя чувствует и что у него болит, Дон Кихот ответил ему теми самыми выражениями и словами, с какими пленный Абиндараес обращается к Родриго Нарваесскому, точь в точь, как он прочел эту историю в «Диане» Юорхе де Монтемайоре, и так кстати пользовался ею, что крестьянин посылал себя к черту, слушая эту кучу нелепостей, из которых он заключил, что его сосед сошел с ума. Он торопился поскорей добраться до своего города, чтобы избавиться от скуки, которую наводили на него долгие разглагольствования Дон Кихота.

В заключение рыцарь сказал:

– Да будет известно вашей милости, сеньор дон Родриго де Нарваес, что прекрасная Харифа, о которой я говорил вам, в настоящее время – не кто иная, как прелестная Дульсинья Тобоская, ради которой я совершил, совершаю и буду совершать самые блестящие подвиги, какие когда либо видел, видит или увидит мир.

На это крестьянин ему ответил:

– Прошу вас, сеньор, всмотритесь хорошенько в меня, бедного грешника, – я вовсе не дон Родриго де Нарваес и не маркиз Мантуанский, а просто Педро Алонсо, ваш сосед, и ваша милость вовсе не Балдовинос и не Абиндараес, а почтенный идадьго, сеньор Кихана.

– Я отлично знаю, кто я, – ответил Дон Кихот, – и знаю также, что мог бы быть не только теми, кого я называл, но и всеми двенадцатью пэрами Франции

и девятью мужами славы¹, потому что подвиги мои превзойдут все их подвиги, вместе взятые, и подвиги, совершенные каждым из них в отдельности.

В таких и тому подобных разговорах они в сумерки добрались до местечка; но крестьянин подождал, пока не стемнело совсем, чтобы не видели избитого идальго, едущего на осле.

Когда, наконец, ему показалось, что настало время, он въехал в село и направился к дому Дон Кихота, где все было в большом переполохе. Там находились деревенский священник и местный цирюльник, оба большие приятели Дон Кихота. Обращаясь к ним, ключница громким голосом говорила:

– Как вы думаете, ваша милость, сеньор Педро Перес (так звали священника), не приключилась ли беда с моим господином? Шесть дней уже, что не видать ни его, ни его коня, ни щита его, ни копья, ни доспехов. О, несчастная я! Мне кажется, – и это так же верно, как то, что я родилась, чтобы умереть – проклятые эти его рыцарские книги, которые он постоянно читает, омрачили его рассудок. Теперь я вспоминаю, что я не раз слышала, как он сам с собой говорил, высказывая желание сделаться странствующим рыцарем и искать приключения по всему свету. Пусть бы Сатана с Варравой унесли все эти книги, погубившие самый тонкий ум, бывший во всей Ламанче!

Племянница говорила то же, и даже больше того:

– Знайте, сеньор маэсе Николас (так звали цирюльника), не раз случалось, что мой сеньор дядя читал эти бездушные, несчастные книги, не отрываясь два дня и две ночи подряд, после чего

он бросал книгу, хватал шпагу и наносил удары в стены. Когда он был очень утомлен, он говорил, что убил четырех великанов, подобных четырем башням, а пот, который лил с него от усталости, он считал кровью из ран, полученных им в сражении, и тогда он выпивал большой кувшин холодной воды и становился спокоен и здоров, говоря, что вода эта – драгоценное питье, принесенное ему мудрым Эскифом, могучим волшебником и другом его. Но я сама виновата во всем, потому что не сообщила вам раньше о безрассудствах моего сеньора дяди, чтобы вы могли ему помочь прежде, чем он дошел до того состояния, в каком он теперь, и сожгли бы все эти безбожные книги, а их у него много, и они вполне заслуживают того, чтобы их сожгли, как сжигают еретиков.

– Я согласен с вами, – ответил священник, – и, по чести говоря, не далее, как завтра, книги эти будут преданы суду и приговорены к сожжению, чтобы они не склонили тех, кто мог бы их прочесть, сделать то, что, должно быть, сделал добрый мой друг.

Весь этот разговор слышали Дон Кихот и крестьянин, который теперь окончательно понял болезнь своего соседа, и потому он громким голосом сказал:

– Впустите сеньора Балдовиноса и сеньора маркиза Мантуанского, который возвращается тяжело раненый, и сеньора мавра Абиндараеса, взятого в плен и привезенного храбрым Родриго Нарваесским, алькадом² крепости Антекера!

На крик крестьянина все выбежали и, узнав, одни – своего друга, другие – дядю и господина, который еще не слез с

¹ Девятью мужами славы называли трех христианских королей: Артура, Карла Великого и Годфрида Бульонского, трех евреев: Осию, Давида и Иуду Маккавея, и трех язычников: Александра, Гектора и Юлия Цезаря.

² Начальником.



Где же ты, моя сеньора, Что тебе не жаль меня?

осла, потому что не был в силах, – бросились его обнимать.

Но Дон Кихот сказал:

– Подождите вы все. Я приехал тяжело раненый по вине моего коня. Уложите меня в постель и позовите, если это окажется возможным, мудрую Урганду, чтобы она осмотрела мои раны и вылечила их.

– Вот видите ли! – сказала тогда ключница, – к несчастью, сердце мое верно подсказало мне, на какую ногу хромет мой господин. Войдите в добрый час, ваша милость, и мы сами, не призывая этой урганды¹, сумеем вылечить вас. Да будут прокляты, говорю я, еще раз, и еще сто раз эти рыцарские книги, которые довели вашу милость до такого состояния!

Тотчас же уложили Дон Кихота в постель и, отыскивая раны, не нашли ни одной, а он сказал, что расшибся вследствие жестокого падения вместе с Росинантом, своим конем, сражаясь с десятью

великанами, самыми чудовищными и отважными, какие только можно встретить на поверхности земли.

– Та-та-та – сказал священник – уже заплясали великаны? Клянусь знаменем креста, я всех их сожгу завтра до наступления ночи!

Дон Кихоту стали задавать тысячи вопросов, но он ни на один ничего не ответил, только попросил принести ему поесть и дать ему спать, потому что это наиболее необходимо для него. Так и сделали, и священник подробно расспросил крестьянина, где и как он нашел Дон Кихота. Крестьянин рассказал ему все, а также и нелепости, которые Дон Кихот ему говорил, когда он его нашел и когда он его вез домой. Это еще более утвердило священника в его решении сделать то, что он и сделал на следующий же день, зайдя предварительно за своим другом, цирюльником маэсе Николасом, с которым и отправился в дом к Дон Кихоту.



¹ На воровском испанском языке непотребная женщина.



... и таким образом направился к своему селу...



Глава VI

Об искусном и великом следствии, произведенном священником и цирюльником в библиотеке нашего остроумного идадьго.

Дон Кихот все еще спал. Священник попросил у племянницы ключи от комнаты, в которой находились книги, – виновники случившегося, – и она с величайшей охотой дала их ему. Все они вошли в комнату, в том числе и ключница, и нашли более ста больших томов в очень хороших переплетах и другие книги меньшего формата. Как только ключница увидела их, она поспешно убежала из комнаты и тотчас же вернулась с чашей святой воды и пучком иссопа¹.

– Вот, ваша милость, сеньор лисенсиат², – сказала она, – окропите святой водой комнату на случай, если бы тут оказался кто-нибудь из множества волшебников, которыми полны эти книги, чтобы они не околдовали нас в наказание за то, что мы желаем согнать их со свету.

Лисенсиат рассмеялся над простой ключницы и велел цирюльнику пе-

редавать ему одну за другой книги, чтоб посмотреть, о чем там речь, так как могут найтись некоторые книги, не заслуживающие быть преданными огню.

– Нет, – сказала племянница, – ни одной не надо щадить, все они делали зло. Лучше было бы бросить их из окна во двор, свалить в кучу и сжечь, а если нет, снести их на задний двор, там устроить костер, и тогда дым не будет нас беспокоить.

То же самое сказала и ключница: так велико было желание обеих казнить смертью этих невинных; но священник не согласился с ними и решил прочитать, по крайней мере, хоть заглавия.

Первые книги, поданные ему маэсе Николасом, были четыре тома «Амадис Галльского», и священник сказал:

– Это очень странное совпадение, потому что, как я слышал, «Амадис Галльский» была первой из рыцарских книг, напечатанных в Испании, и все осталь-

¹ Иссоп считался издревле растением очищения и употреблялся при изгнании бесов и нечистой силы.

² Ученая степень.

ные получили начало и происхождение из нее. Итак, мне кажется, что этого Амадиса, как ересеначальника столь вредной секты, мы без всякого снисхождения должны приговорить к сожжению.

– Нет, сеньор, – сказал цирюльник, – я слышал также, что книга эта – лучшая из всех, сочиненных в этом роде, и потому, как единственную по совершенству, ее следует помиловать.

– Верно, – сказал священник, – и по этой причине ей даруется пока жизнь. Посмотрим ту другую, которая рядом с ней.

– Это, – сказал цирюльник, – «*Подвиги Эспландиана*», законного сына Амадиса Галльского.

– По чести говоря, – ответил священник, – сыну не могут быть поставлены в оправдание достоинства отца; возьмите его, сеньора ключница, откройте окно и выбросьте его во двор. Таким образом будет положено начало костру, который мы собираемся устроить.

Ключница сделала это с большим удовольствием, и бедняга Эспландиан полетел на задний двор, терпеливо ожидая угрожавшего ему сожжения.

– Дальше! – сказал священник.

– Тут вот, – отозвался цирюльник, – «*Амадис Греческий*», и мне кажется, что весь ряд на этой полке сродни «*Амадису*».

– Пусть же все эти книги отправляются на задний двор, – решил священник, – так как, за то, чтобы я мог сжечь королеву Пинтикиниестру и пастуха Даринела с его эклогами и с чертовски запутанной болтовней их автора, я вместе с ними сжег бы на костре и родного моего отца, если бы он явился в облике странствующего рыцаря.

– И я того же мнения, – сказал цирюльник.

– И я также, – добавила племянница.

– Если это так, – сказала ключница, – давайте их сюда, и пусть все летят во двор.

Они передали ей книги, и так как их было немало, то, чтобы избавить себя от беготни по лестнице, ключница бросила их во двор из окна.

– А это что за бочка там? – спросил священник.

– Это, – ответил цирюльник, – «*Дон Оливанте де Лаура*».

– Автор этой книги, – сказал священник, – вместе с тем и автор «*Цветочного сада*», и право, я не мог бы решить, которое из этих двух его сочинений более правдиво, или, точнее, менее лживо. Одно могу сказать, что за свою напыщенность и нелепость «*Оливанте*» полетит во двор.

– Следующая книга – «*Флорисмарте де Иркания*», – сообщил цирюльник.

– Как, тут и сеньор Флорисмарте? – спросил священник. – По чести говоря, ему придется тотчас же отправиться во двор, несмотря на его странное рождение и фантастические приключения, так как сухой и жесткий слог его ничего иного не заслуживает. Во двор его и еще вот эту книгу, сеньора ключница!

– С величайшим удовольствием, – ответила та и живо исполнила данное ей поручение.

– Вот это – «*Рыцарь Платир*», – сказал цирюльник.

– Старинная это книга, – заметил священник, – но я в ней не нахожу ничего, заслуживающего пощады. Пусть она без возражения присоединится к своим товарищам во дворе.

Так и было сделано. Раскрыли еще книгу, и заглавие ее оказалось: «*Рыцарь Креста*».

– Ради такого святого заглавия, – сказал священник, – можно было бы простить ей ее невежество, но говорят

также: «Позади креста стоит дьявол», – пусть же она отправляется в огонь!

Взяв другую книгу, цирюльник сказал:

– Это «Зеркало рыцарства».

– Я знаком с его милостью, – объявил священник, – тут речь идет о сеньоре Рейнальдос де Монтальбан с его друзьями и товарищами, мошенниками, похуже Како, а также и о двенадцати пэрах Франции с правдивым историком Турпином. По правде говоря, я стою за то, чтобы их осудить не более, как на вечное изгнание, хотя бы уже ради того, что на долю их выпала честь вдохновить знаменитого Маттео Боярдо, из которого и христианский поэт Людовико Ариосто заимствовал канву своей поэмы. Если я встречу здесь Ариосто на другом, а не на родном его языке, то отнесусь к нему без всякого уважения; если же на его родном языке, то я положу его себе на голову¹.

– У меня Ариосто на итальянском языке, но я его не понимаю, – сказал цирюльник.

– Ничего хорошего не было бы, если б вы его и понимали, – ответил священник. – И мы бы простили сеньора капитана², если бы он не привез Ариосто к нам в Испанию и не сделал бы из него кастильца, потому что этим он лишил его многих присущих ему достоинств. То же самое сделают и все те, которые пожелали бы перевести стихотворные произведения на другой язык, так как, сколько бы они ни старались, сколько бы ни выказывали искусства, никогда им не достигнуть совершенства оригинала. Итак, говорю я, пусть эта книга и все сочинения о событиях во Франции, которые еще здесь найдутся³, будут брошены на дно сухого колодца и сложены там,

пока мы после дальнейшего совещания не решим, что с ними делать, – исключая лишь «Бернардо дель Карпио», который, наверное, есть здесь, и еще одной книги, озаглавленной «Ронсеваль». Как только обе эти книги попадутся мне на глаза, я отдам их сейчас же сеньоре ключнице, а из ее рук они без всякого промедления отправятся в огонь.

Со всем этим согласился и цирюльник, и все сказанное священником одобрил вполне, так как он его знал за доброго христианина и такого любителя истины, который ни за что в мире не сказал бы неправды. Цирюльник раскрыл еще одну книгу и увидел, что это «Пальмерин Оливый», а рядом лежала другая, озаглавленная «Пальмерин Английский». Увидев эти две книги, лисенсиат сказал:

– Срубите поскорей эту оливу и сожгите ее так, чтоб от нее не осталось и пепла. Английскую же пальму возьмите и сохраните, как единственную в своем роде, и пусть для нее сделают такой же ларец, какой нашел Александр Македонский в добыче, взятой у Дария, и предназначил для хранения произведений Гомера. Книга эта, сеньор кум, интересна по двум причинам: во-первых, потому что она сама по себе очень хороша, а во-вторых, автором ее, как говорят, был мудрый португальский король. Все приключения в замке Мирагарды превосходны и написаны с большим искусством, слог изящный и ясный, а разговоры принорованы, с пониманием и вкусом, к характеру действующих лиц. Поэтому мне казалось бы, – если и вы, сеньор Николас, согласитесь со мной, – что следует освободить и эту книгу, и «Амадиса Галльского» от сожжения, все же остальные без дальнейшего промедления предать огню!

¹ Ориентализм: добрый магометанин кладет себе на голову Коран в знак благоговения.

² Дон Иеронимо Хименес де Урреа – очень плохой переводчик Ариосто на испанский язык.

³ Речь идет о романах, относящихся к героям Карловингов.

– Нет, сеньор кум, – возразил цирюльник, – потому что книга, которая у меня как раз в руках, – знаменитый «Дон Белианис».

– Что касается его, – ответил священник, – то второй, третьей и четвертой его части следовало бы дать небольшую дозу ревения, чтобы очистить их от излишка желчи; необходимо также выкинуть оттуда весь рассказ о храме славы и другую, еще худшую, белиберду. В этих видах можно дать дону Белианису отсрочку, как для проживающих за морем¹, и – смотря по тому, исправится ли он, или нет, – оказать ему снисхождение, или же поступить с ним по всей строгости закона. А пока возьмите его к себе на дом, кум, но никому не давайте читать.

– Прекрасно, – ответил цирюльник, и не желая больше утруждать себя пересмотром остальных рыцарских книг, он велел ключнице взять все большие тома и бросить их из окна. Это было сказано не глупой и не глухой, а такой, которая горела большим желанием сжечь эти книги, чем даже приняться за пряжу самого широкого и тонкого в мире полотна, и потому она взяла сразу томов восемь, чтобы бросить их из окна. Но она захватила слишком много, и одна из книг выскользнула у нее из рук и упала к ногам цирюльника, который из любопытства поднял ее и прочел заглавие: «История знаменитого рыцаря Тиранте Белого».

– Господи помоги! – сказал громким голосом священник, – как, здесь и «Тиранте Белый»? Дайте-ка мне его сюда, кум; я уверен, что нашел в нем клад удовольствия и источник развлечения. Тут

и храбрый рыцарь дон Киризлейсон² де Монтальбан, и брат его Томас де Монтальбан, и рыцарь Фонсека, и битва Тиранте с догом, и остроумные причуды девушки Пласердемивида³, и любовные интриги и плутни вдовы Репосада⁴, и сеньора императрица, влюбленная в своего наездника Ипполита. Истинно говорю вам, сеньор кум, относительно слога это – лучшая из всех книг в мире. Здесь рыцари едят и спят и умирают в своих кроватях, перед смертью делают завещания, а также другие вещи, о которых нет ни слова во всех остальных книгах того же рода. Тем не менее, говорю вам, автор книги заслуживал бы, если б он намеренно написал столько безрассудств, быть бессрочно сосланным на галеры. Возьмите его домой, прочтите, и вы увидите, что я сказал правду.

– Не сомневаюсь в том, – ответил цирюльник. – Но как нам поступить вот с этими маленькими книжками, которые еще здесь остались?

– Эти книжки, – сказал священник, – должно быть, не рыцарские романы, а стихотворения.

Раскрыв одну из книг, он увидел, что это «Диана»⁵ Монтемайора, и сказал, полагая, что и все остальные в том же роде:

– Книжки эти не заслуживают быть присужденными, подобно другим, к сожжению, потому что они не сделали и не сделают того вреда, какой принесли рыцарские романы; это книги для времяпровождения, не причиняющие ущерба никому.

– Ах, сеньор, – сказала племянница, – лучше было бы, если б ваша милость распорядилась сжечь и эти книги вместе

¹ Испанский закон предоставлял всем, проживающим «за морем», известный срок, смотря по расстоянию, чтобы подготовиться к защите.

² Господи помилуй нас.

³ Удовольствие моей жизни.

⁴ Спокойствие.

⁵ «Диана» – пастушечья повесть в стихах и прозе, появившаяся в печати впервые в 1545 г.

с остальными, потому что очень возможно, что мой дядя, выздоровев от рыцарской заразы и читая эти книги, вздумает вдруг превратиться в пастуха и с песнями и музыкой будет скитаться по лесам и полям, или, что еще хуже, сделается поэтом, а это, как я слышала, болезнь заразительная и неизлечимая.

– Девушка говорит правду, – сказал священник, – и было бы хорошо устранить с дороги нашего друга и этот камень преткновения, и эту опасность. Но так как мы начали с «Дианы» Монтемайора, я держусь мнения, чтобы не сжигать ее, а лишь выкинуть все те места, в которых речь о мудрой Фелисии и очарованной воде, и почти все главные стихотворения; затем, в добрый час, оставим ей всю прозу, а также и честь быть родоначальницей подобных ей произведений.

– Следующая книга, – сказал цирюльник, – *Диана*, называемая *Второй Сальмантина*, а эта вот тоже «Диана», но ее автор – Хиль Поло.

– Пусть произведение Сальмантина, – сказал священник, – отправится к осужденным во двор и увеличит их число, а «Диану» Хиль Поло следует беречь, как будто ее написал сам Аполлон. Но продолжайте, сеньор кум, нам надо торопиться, ведь становится уже поздно.

– Эта книга, – сказал цирюльник, раскрывая еще одну, – «*Десять книг Фортуны любви*», сочинение сардинского поэта Антонио Лофрасо.

– Клянусь моим духовным званием, – воскликнул священник, – с тех пор, как Аполлон – Аполлон, музы – музы, а поэты – поэты, не было написано более веселой и фантастической книги, чем эта. Она – лучшая и единственная в своем роде среди подобных ей, когда-либо появлявшихся на свет, и тот, кто ее не читал, может быть уверен, что не читал никогда

вещи, написанной со вкусом. Дайте мне ее сюда, кум, я больше ценю эту находку, чем если б мне подарили рясу из простой флорентийской материи¹.

Священник отложил книгу в сторону с видимым удовольствием, а цирюльник продолжал осмотр, говоря:

– Вот тут у нас еще «*Иберийский пастух*», «*Нимфы Энереса*» и «*Излечение от ревности*».

– Их и остается только передать в руки светской власти ключницы, – сказал священник, – и не спрашивайте меня почему, иначе мы никогда не кончим.

– А вот «*Пастух Фелиды*».

– Это не пастух, – сказал священник, – а самый утонченный царедворец. Сохраним его, как драгоценность.

– Большой этот том, – продолжал цирюльник, – озаглавлен: «*Сокровищница стихотворений*».

– Если б их не было здесь так много, – сказал священник, – их ценили бы больше. Необходимо прополоть эту книгу и пообчистить от некоторых плоских и ничтожных вещей, встречающихся в ней среди истинно прекрасных. Сохраним ее еще и оттого, что автор ее – мой друг, а также и из уважения к другим более возвышенным и героическим произведениям, которые он написал.

– Вот эта книга – «*Песенник Лопеса Мальдонада*», – продолжал цирюльник.

– Автор этой книги также большой мне друг, – сказал священник, – и когда он читает свои стихи, они приводят в восторг слушателей, а когда он их поет, голос его такой сладостный, что он всех чарует. Его экологические несколько растянуты, но то, что хорошо, никогда не надоедает. Отложим и его к избранным авторам. А это что за книга там, рядом с ним?

– Это – «*Галатея*» Мигеля Сервантеса, – сказал цирюльник.

¹ Все сказанное об этой книге – ирония.

– Много уже лет этот Сервантес мой большой друг, и я знаю, что он более опытен в несчастьи, чем в стихах. У него недурная изобретательность, он что-то имеет в виду, но ничего не оканчивает. Надо подождать второй части «Гала-теи», обещанной им. Быть может, тогда он, исправившись, заслужит полного прощения, в котором ему теперь отказывается. А пока что, держите его у себя в заточении, сеньор кум.

– С удовольствием, – ответил цирюльник. – Здесь вот три книги вместе: «Араукана» дона Алонсо де Эрсильи, «Аустриада» Хуана Руфо, судьи в Кордове, и «Монсеррате» Христовала де Вируэса, поэта из Валенсии¹.

– Эти три книги, – сказал священник, – лучшие из всех написанных геро-

ическим метром на кастильском языке и могут соперничать с наиболее знаменитыми произведениями в том же роде итальянских авторов. Будем же их беречь, как самые роскошные поэтические алмазы, которыми обладает Испания.

Священник устал производить осмотр книгам и потому решил все оставшиеся отдать целиком на сожжение, но цирюльник уже раскрыл одну из них, озаглавленную «Слезы Анжелики».

– Я бы сам пролил слезы, – сказал священник, услышав заглавие, – если бы велел бросить в огонь и эту книгу, потому что ее автор был одним из самых знаменитых поэтов не только Испании, но и всего мира, и необычайно удачно перевел некоторые из басен Овидия.



¹ Эти три книги считаются наиболее образцовыми произведениями испанской героической поэзии.



Глава VII

О втором выезде нашего доброго рыцаря Дон Кихота Ламанчского.



ни были еще заняты осмотром книг, как вдруг Дон Кихот громко закричал:

– Сюда, сюда, доблестные рыцари!

Здесь необходимо выказать силу и отвагу вашу, потому что придворные берут верх в турнире.

На этот шум и крик все бросились в комнату к Дон Кихоту, и таким образом был прерван осмотр еще оставшихся книг; поэтому, как полагают, в огонь попали без суда и следствия «Каролеа» и «Лев Испанский» вместе с подвигами императора дона Луиса де Авила, которые, без сомнения, находились среди

оставшихся книг, и, быть может, если бы священник их увидел, он не вынес бы им такого строгого приговора.

Когда вошли в комнату к Дон Кихоту, он уже встал с постели и продолжал кричать и говорить нелепости, размахивая мечом и рубя им во все стороны, такой возбужденный, будто он вовсе и не спал. Его схватили и силой уложили опять в постель, а когда он немного успокоился, то обратился к священнику, говоря:

– Конечно, сеньор архиепископ Турпин, нам, называющим себя двенадцатью пэрами, должно быть стыдно, что мы без дальнейшего сопротивления уступаем победу на турнире придвор-

ным рыцарям, после того как награды за первые предшествующие три дня постоянно получали мы, странствующие рыцари.

– Успокойтесь, сеньор кум, – сказал священник, – если Богу угодно, все переменится, и то, что было проиграно сегодня, может быть выиграно завтра. Теперь же позаботьтесь о вашем здоровье, потому что, как мне кажется, вы, должно быть, чрезмерно утомлены, если еще сверх того не тяжело ранены.

– Нет, я не ранен, – ответил Дон Кихот, – а смят и избит, это не подлежит сомнению, так как этот ублюдок дон Ролдан¹ бил меня стволом дуба и сделал это лишь из зависти, потому что видел, что один я могу соперничать с ним в доблести. Но пусть не зовут меня Рейнальдос де Монтальбан, если он, несмотря на все его чары, не заплатит мне за это, когда я встану с постели. А теперь пусть мне принесут поесть, так как я знаю, что именно это мне всего нужнее, а заботу отомстить за себя пусть предоставят мне самому.

Они исполнили его желание, – дали ему поесть, и после того он опять уснул, а они не могли не изумляться его безумию.

В эту же ночь ключница бросила в огонь и сожгла все книги, бывшие во дворе и во всем доме, и, должно быть, были сожжены и такие, которые заслуживали быть сохраненными на вечные времена в архивах, но этому помешала их судьба и лень исследователя, и таким образом над ними оправдалась пословица, что иногда праведники платятся за грешников.

Одним из средств, к которому священник и цирюльник еще прибегли для лечения недуга своего приятеля, было запереть и заделать дверь в комнату,

где прежде хранились его книги, чтобы, когда он встанет с постели, он не нашел бы их (быть может, с устранением причины прекратится и ее следствие), а ему они решили сказать, что волшебник унес с собой все – и комнату, и книги. Этот план был тотчас же приведен в исполнение.

Два дня спустя Дон Кихот встал и первое, что он сделал, было пойти посмотреть на свои книги. Но так как он не мог найти комнаты, где они у него лежали, то и ходил туда и сюда, отыскивая ее. Он подходил к месту, где прежде была дверь, ощупывал стену руками и смотрел во все стороны, не говоря ни слова; а по прошествии довольно долгого времени, он спросил ключницу, где же комната с его книгами?

Ключница, которую уже научили, как ответить, сказала:

– Какая комната? Или что еще там вы ищете, ваша милость? В этом доме нет уже ни комнаты для книг, ни книг, потому что все это унес сам дьявол.

– Не дьявол, – поправила племянница, – а волшебник, который явился сюда на облаке однажды ночью после вашего отъезда и, сойдя с змея, на котором он ехал верхом, вошел в комнату, и не знаю, что он там делал, но вскоре он вылетел оттуда через крышу, и весь дом наполнился дымом. А когда мы решились посмотреть, что он там наделал, мы не увидели ни комнаты, ни книг. Только обе мы, и я, и ключница, хорошо помним, что, улетаая, злой старик громко крикнул, будто из-за тайной вражды, питаемой им к собственнику этих книг и этой комнаты, он причинил ему ущерб, который обнаружится потом. Он сказал также, что имя его мудрый Муньятон.

– Вероятно, Фрестон, – поправил Дон Кихот.

¹ Испанское имя Роланда.

– Не знаю, – ответила ключница, – зовут ли его Фристон, или Фритон, знаю только, что его имя кончается на «тон».

– Так оно и есть, – сказал Дон Кихот. – Это – мудрейший волшебник, большой мой враг; он ненавидит меня за то, что мне со временем суждено, – как он из своих книг и мудрствований узнал, – вступить в единоборство с одним рыцарем, которому он покровительствует, и тот рыцарь будет побежден мной, вопреки его желанию помешать этому, оттого он и старается делать мне какие только может неприятности. Но я ему заявлял, что навряд ли ему удастся воспротивиться тому, или предотвратить то, что предназначено небом.

– Кто сомневается в этом, – сказала племянница. – Но зачем же вы, милость ваша, сеньор дядя, вмешиваетесь во все эти ссоры? Не лучше ли было бы сидеть мирно дома и не искать по свету хлеба белее пшеничного, не говоря уже о том, что многие идут стричь овец, а возвращаются сами остриженные.

– О, племянница моя, – ответил Дон Кихот, – как сильно ошибаешься ты в своих расчетах: прежде чем меня остригут, я вырву бороды всем тем, которые вздумали бы дотронуться до кончика хоть единого моего волоса.

Обе они, племянница и ключница, не решились больше возражать ему, потому что видели, что в нем закипает гнев.

Случилось так, что он провел две недели очень спокойно дома, ничем не обнаруживая желания повторить прежние свои нелепые выходки. В эти дни он с двумя своими кумовьями – со священником и цирюльником – вел остроумнейшие беседы относительно того, что миру, – как он говорил, – более всего

нужны странствующие рыцари, и чтобы именно в его особе воскресло странствующее рыцарство. Иногда священник противоречил Дон Кихоту, а иногда соглашался с ним, так как, если б он не прибегал к этой уловке, то не мог бы и образумить его.

Между тем Дон Кихот осаждал своими просьбами одного крестьянина, своего соседа, человека почтенного (если так можно назвать того, кто беден), но не блистающего умом. Дон Кихот столько наговорил ему, столько наобещал, так долго и много убеждал его, что бедный крестьянин, наконец, решился ехать с ним и служить ему в качестве оруженосца. Между прочим, Дон Кихот говорил ему, что ему следовало бы по собственной охоте сопровождать его, так как легко может случиться, что ему встретится такого рода приключение, когда он во мгновение ока приобретет какой-нибудь остров и назначит его там губернатором.

Прельстившись этими и тому подобными обещаниями, Санчо Панса (так звали крестьянина), оставив жену и детей, поступил на службу к своему соседу. Тотчас же Дон Кихот стал приискивать деньги, и, продав одно, заложив другое, терпя во всем убытки, собрал довольно значительную сумму. Он запаса также и круглым щитом, взяв его на время у одного из своих приятелей, и, починив как можно лучше сломанный шлем, уведомил оруженосца своего, Санчо Пансу, о дне и часе, когда он думает пуститься в путь, чтобы и он мог запастись всем необходимым, и, главным образом, велел ему взять с собой сумки¹. Санчо сказал, что возьмет их, а также рассчитывает взять с собой и своего осла, очень хорошего, потому

¹ Сумки, или седельные вьюки, были в то время необходимой принадлежностью всех путешественников в Испании, едущих верхом и пешком.



Дон Кихот столько наговорил ему, столько наобещал, так долго и много убеждал его, что бедный крестьянин, наконец, решился ехать с ним и служить ему в качестве оруженосца.

что он не привык ходить много пешком. Относительно осла Дон Кихот несколько задумался, стараясь припомнить, сопровождал ли какого-нибудь рыцаря оруженосец верхом на осле, и не мог припомнить ничего подобного. Тем не менее, он позволил Санчо взять осла, и решил, лишь только подвернется случай, снабдить его более почетным верховым животным, отняв коня у первого дерзкого рыцаря, который ему встретится. Он запасся также рубашками и всем, что мог, следуя совету, который ему дал хозяин постоялого двора.

Когда все это было сделано и устроено, Санчо Панса, не простившись с женой и детьми, а Дон Кихот – с племянницей и ключницей, – однажды ночью выехали из села так, что никто их не видел, и, не останавливаясь, ехали всю ночь до рассвета, когда они могли быть уверены, что их нельзя уже найти, если б даже и пытались искать их.

Санчо Панса ехал на своем осле, как патриарх, со своими сумками, со своим бурдюком, и с большим желанием увидеть себя поскорей губернатором острова, обещанного ему господином. Случилось, что Дон Кихот избрал то же направление и тот же путь, как и в первый свой выезд, а именно Монтельскую долину, по которой он ехал теперь с меньшим неудобством, чем в тот раз, потому что было раннее утро, и солнечные лучи, падая косвенно, не так припекали.

Между тем, Санчо Панса сказал своему господину:

– Смотрите, милость ваша, сеньор странствующий рыцарь, не забудьте того, что вы мне обещали насчет острова, потому что я сумею управлять им, как бы он ни был велик.

На это Дон Кихот ответил:

– Ты должен знать, друг Санчо Панса, что среди старинных странству-

ющих рыцарей был очень распространен обычай назначать своих оруженосцев губернаторами тех островов или королевств, которые они завоевывали; и я, со своей стороны, решил не только придерживаться этого похвального обычая, но даже пойти дальше в том же направлении, так как прежние рыцари иногда, и даже, быть может, чаще всего, ждали, чтобы оруженосцы их состарились; и уже после того, как они обессилели у них на службе, проводя плохо дни и еще хуже ночи, они давали им какой-нибудь титул графа или, по меньшей мере, маркиза того или иного местечка, или более или менее значительной области. Но если ты и я, мы оба, останемся живы, весьма возможно, что меньше чем через неделю я завоюю королевство, которому будут подчинены еще несколько других королевств, как раз подходящих для того, чтобы короновать тебя королем одного из них. И не считай это за диковину, потому что со странствующими рыцарями приключаются такие неслыханные и невиданные вещи и случаи, что я легко мог бы дать тебе даже больше того, что обещал.

– Таким образом, – ответил Санчо Панса, – если б я сделался королем, благодаря какому-нибудь чуду из тех, о которых говорит ваша милость, по меньшей мере Хуана Гутьерес, моя птаха, стала бы королевой, а дети мои – инфантами?

– Кто же сомневается в этом? – ответил Дон Кихот.

– Я сомневаюсь, – возразил Санчо Панса, – потому что я так думаю про себя: если б даже Бог послал на землю дождь из королевских корон, все равно ни одна из них не пришлась бы по голове Мари-Гутьерес. Знайте, сеньор, что как королева она не стояла бы и двух мараведисов; графиня подошла бы к ней лучше, – и тут еще помоги Господи!



– Смотрите, милость ваша, сеньор странствующий рыцарь,
не забудьте того, что вы мне обещали насчет острова...

– Предоставь все это Богу, Санчо, – сказал Дон Кихот. – Он даст ей то, что всего лучше для нее; но ты не унижайся духом настолько, чтобы удовлетвориться меньшим, чем генерал-губернаторством.

– Этого я не сделаю, сеньор, – ответил Санчо, – тем более, что я имею в вашей милости такого превосходного господина, который сумеет дать мне все то, что мне будет и полезно, и под силу.





Глава VIII

О великой удаче доблестного Дон Кихота в ужасающем и невообразимом приключении с ветряными мельницами, и о разных других событиях, достойных сохраниться в памяти.

В это время они увидели тридцать или сорок ветряных мельниц, бывших на той равнине, и как только Дон Кихот заметил их, он сказал своему оруженосцу:

– Счастливая судьба устраивает наши дела даже лучше, чем мы могли бы желать, так как, – взгляни туда, друг Санчо Панса, – видишь ты тридцать или более чудовищных великанов, с которыми я намерен вступить в бой и всех их лишить жизни? А добычей, отнятой у них, мы положим начало нашему обогащению, потому что это справедливая война и

великая заслуга перед Богом искоренять столь дурное семя с лица земли.

– Какие великаны? – спросил Санчо Панса.

– Вот те, которых ты там видишь, – ответил его господин, – с громадными руками, у некоторых они длиною чуть ли не в две мили.

– Посмотрите хорошенько, милость ваша, – ответил Санчо, – то, что вы там видите, это не великаны, а ветряные мельницы, и то, что вы считаете их руками, мельничные крылья, которые поворачивает ветер, а они приводят в движение жернова.

– Сейчас видно, – ответил Дон Кихот, – что ты мало сведущ в деле приключений. Это великаны, а если ты боишься, уходи отсюда и читай молитвы в то время, как я вступаю с ними в неравный и жестокий бой.

С этими словами Дон Кихот прищипорил своего коня Росинанта, не обращая внимания на крики, которыми его оруженосец Санчо предостерегал его, что, без сомнения, это ветряные мельницы, а не великаны, на которых он собирается напасть. Однако рыцарь был твердо убежден, что это великаны, и не слышал криков Санчо, не видел и не различал, что такое перед ним, хотя уже подъехал близко к мельницам, а громким голосом кричал им:

– Не бегите, трусливые и низкие создания, так как один лишь рыцарь идет против вас.

В это время подул легкий ветер, и большие мельничные крылья стали двигаться; увидав это, Дон Кихот воскликнул:

– Хотя бы вы двигали еще большим числом рук, чем их было у великана Бриарея, вы за это поплатитесь мне!

Говоря так, он всей душой поручил себя своей сеньоре Дульсинее, прося ее помочь ему в опасности, и, прикрыв себя щитом, с копьем наперевес устремился во весь галоп вперед и атаковал ближайшую мельницу. Но в ту минуту, когда он вонзал копьё в ее крыло, ветер так бешено повернул это крыло, что копьё разлетелось вдребезги, а всадник и конь были приподняты и с размаху отброшены далеко в поле. Санчо Панса поспешил во всю прыть своего осла на помощь к своему господину, и когда он подъехал к нему, то увидел, что он не может шевельнуться, так сильно было его падение с Росинанта.

¹ Machucar – громить, размозжить.

– Помилуй нас, Господи, – сказал Санчо, – не говорил ли я вашей милости, чтобы вы подумали о том, что делаете, и что перед вами не что иное, как ветряные мельницы, и не знать этого мог только тот, у кого в голове были другие такие же ветряные мельницы.

– Молчи, друг Санчо, – ответил Дон Кихот, – военные дела более других подвержены постоянным превращениям. Тем более, что я думаю, – и оно так и есть в действительности, – мудрый Фрестон, похитивший у меня комнату с книгами, превратил и этих великанов в ветряные мельницы, чтобы отнять у меня славу победы над ними, – такова ненависть его ко мне. Но, в конце концов, восторжествует мой добрый меч над злыми его кознями.

– Что Бог даст, то и будет, – ответил Санчо Панса, помогая Дон Кихоту подняться и усаживая его на Росинанта, у которого чуть-ли не были вывихнуты лопатки.

И, разговаривая о случившемся приключении, они поехали по дороге к горному ущелью Лаписе, потому что там, как говорил Дон Кихот, им не могли не встретиться многие и самые разнообразные приключения, так как немало народу посещает это место. Рыцарь был сильно опечален утратой своего копья и, говоря об этом со своим оруженосцем, сказал:

– Помнится, я читал где-то, что испанский рыцарь по имени дон Диего Перес де Варгас, потеряв в битве меч, отломил от дуба огромный сук и в тот же день совершил с ним столько подвигов и разгромил столько мавров, что получил прозвище «Мачука»¹, и с этого дня он, как и все его потомки, стали называться «Варга и Мачука». Я рассказал тебе это потому, что и я намерен отломить от



... а всадник и конь были приподняты и с размаху отброшены далеко в поле.

первого попавшегося дуба подобный же здоровенный сук, и с ним думаю и надеюсь совершить такие подвиги, что ты будешь считать за счастье удостоиться видеть их и быть свидетелем дел, которыми едва можно будет поверить.

– Дай то Бог, – сказал Санчо, – я верю всему, что говорит ваша милость. Но выпрямитесь немного, а то кажется, будто вы свесились на один бок; должно быть, это от ушиба во время падения.

– Ты прав, – ответил Дон Кихот, – и если я не жалуясь на боль, то лишь потому, что странствующим рыцарям не позволено жаловаться на раны, полученные ими, каковы бы они ни были, хотя бы даже кишки вывалились наружу.

– Если это так, я ничего не могу возразить, – ответил Санчо. – Но знает Бог, что я был бы рад, чтобы ваша милость жаловалась, когда у вас что-нибудь болит. О себе же могу сказать, что буду охать от малейшей боли, если только запрещение жаловаться не распространяется и на оруженосцев странствующих рыцарей.

Дон Кихот не мог не рассмеяться над простодушием своего оруженосца и объяснил ему, что он может себе охать, сколько и когда захочет, основательно или неосновательно, как ему вздумается, потому что до сих пор он не прочитал в рыцарских уставах ничего противного этому.

Санчо напомнил ему, что наступило время закусить, но господин его ответил, что не чувствует в этом потребности, а Санчо может есть, когда ему захочется. Получив разрешение, оруженосец устроился как мог удобнее на своем осле и, вынимая из сумок то, что у него было там припасено, ехал за своим господином и ел в свое удовольствие. Время от времени он с таким наслаждением

прикладывался к бурдюку с вином, что самый упитанный шинкарь в Малаге мог бы ему позавидовать. И пока он таким образом ехал, то и дело пропуская себе в горло вино глоток за глотком, он уже не думал ни о каких обещаниях господина своего и не считал за труд, а только за приятный отдых, поиски приключений, как бы опасны они ни были.

Эту ночь они провели под деревьями, и от одного из них Дон Кихот отломал сухой сук, который почти мог служить ему копьем, и насадил на него железное острие, снятое им с прежнего сломанного копья. Всю эту ночь Дон Кихот провел без сна, думая о своей сеньоре Дульсине, чтобы подражать тому, что он прочел в своих книгах, когда рыцари проводили многие ночи в лесах и пустынных местностях без сна, погруженные в воспоминания о своих дамах. Не так провел эту ночь Санчо Панса, наполнив себе желудок, да притом и не цикорной водой¹, он беспросыпно проспал до утра, и его не разбудили бы – если бы господин не окликнул его – ни солнечные лучи, ударявшие ему прямо в лицо, ни пение птиц, которые в большом числе и очень радостно приветствовали появление нового дня. Вставая, Санчо ошупал бурдюк и нашел его несколько более тощим, чем накануне вечером, и сердце его опечалилось тем, что, как ему казалось, не так скоро явится возможность пополнить эту убыль. Дон Кихот не пожелал завтракать, потому что, как уже было сказано, он питался приятными воспоминаниями. Они снова продолжали начатый путь к ущелью Лаписе и около трех часов дня увидели издали это место.

– Здесь, – сказал тогда Дон Кихот, – мы можем, брат Санчо Панса,

¹ Цикорная вода была в большом ходу в те времена в качестве прохладительного напитка; особенно же она считалась полезной для печени.



Помилуй нас, Господи, – сказал Санчо.

окунуть руки наши по локоть в то, что называют приключениями. Но обрати внимание – хотя бы ты меня видел в величайшей опасности в мире, ты не должен браться за меч, чтобы защитить меня, разве увидишь, что те, которые нападают, сволочь и люди низкого звания, – в таком случае ты можешь помочь мне. Но если это рыцари, никоим образом тебе не дозволяется и не разрешается рыцарскими законами вступаться за меня, пока ты не будешь посвящен в рыцари.

– Будьте покойны, сеньор, – сказал Санчо, – я точно исполню это приказание вашей милости, тем более, что сам по себе я миролюбив и враг всякого вмешательства в чужие ссоры и распри. Что же касается защиты собственной моей особы, не очень я обращаю внимание на эти правила, так как божественные и человеческие законы позволяют, чтобы каждый защищался против того, кто хочет его обидеть.

– Совершенно согласен с тобой, – ответил Дон Кихот, – но, в деле твоей помощи мне против рыцарей, тебе придется наложить узду на свою горячность.

– Повторяю, что исполню ваше приказание и так же свято сумею следовать ему, как и предписанию о воскресном отдыхе.

В то время, как они так разговаривали, на дороге показались два монаха бенедиктинского ордена верхом на двух дромадерах, так как мулы, на которых они ехали, были не многим меньше дромадеров. На путешественниках были надеты дорожные маски¹, а в руках они держали зонтики. За ними ехала карета, сопровождаемая четырьмя или пятью всадниками и двумя пешими погонщиками мулов. В карете сидела, как впоследствии оказалось, одна сеньора

из Бискайи, ехавшая в Севилью, где находился ее муж, который был назначен в Индию на весьма почетную должность. Монахи не сопровождали ее, а только ехали по той же дороге, как и она.

Едва Дон Кихот завидел их, как тотчас же сказал своему оруженосцу:

– Или я ошибаюсь, или это будет самое громкое приключение, какое когда-либо видели, потому что эти черные фигуры, которые там появились, должны быть и есть, без сомнения, волшебники; они везут в карете похищенную ими принцессу, и мне всеми силами необходимо исправить это зло.

– Дело это будет похуже ветряных мельниц, – сказал Санчо. – Слушайте, сеньор, ведь это монахи бенедиктинского ордена, а в карете, должно быть, едут путешественники. Повторяю вам, обдумайте хорошенько, что делаете, чтобы дьявол опять не попутал вас.

– Я уже говорил тебе, Санчо, – ответил Дон Кихот, – что ты мало смыслишь в приключениях. То, что я утверждаю, несомненно, и ты сейчас в этом убедишься.

Говоря это, Дон Кихот поскакал вперед, остановился среди дороги, по которой ехали монахи, и, когда ему показалось, что они настолько приблизились, что могут расслышать его слова, он громким голосом крикнул им:

– Чудовищное, дьявольское отродье, сейчас же освободите знатных принцесс, которых вы против их воли везете в карете; если же нет, приготовьтесь к немедленной смерти, как к достойной каре за ваши злодеяния!

Монахи попридержали поводья своих мулов и, изумленные, как фигурой Дон Кихота, так и его словами, ответили:

¹ Это были маски из картона для защиты лица от пыли и солнца, со стеклами для глаз.

– Сеньор рыцарь, мы вовсе не чудища и не дьявольское отродье, а два монаха бенедиктинского ордена. Следующим мы своей дорогой и не знаем, едут ли, или нет в той карете какие-нибудь похищенные принцессы.

– Меня вы не обманете лстивыми словами, потому что я вас знаю, вероломная сволочь! – крикнул Дон Кихот и, не дожидаясь ответа, пришпорил Росинанта и, размахнувшись копьем, устремился на первого монаха с таким бешенством и яростью, что, если б тот сам не соскочил с мула, то был бы сброшен с седла и тяжело ранен, а может быть и убит. Когда второй монах увидел, как обошлись с его товарищем, он всадил пятаки в бока своего доброго мула и быстрее ветра помчался по долине.

Санчо Панса, увидав лежащего на земле монаха, быстро слез со своего осла, бросился к упавшему и стал снимать с него одежду. В это время подошли двое слуг монахов и спросили его, зачем он раздевает их господина. Санчо ответил, что это добыча, принадлежащая ему по праву победы, одержанной его сеньором, Дон Кихотом. Слуги, не склонные к шуткам и ничего не понимавшие, какая тут добыча и победа, увидав, что Дон Кихот отъехал и разговаривает с сидящими в карете, набросились на Санчо, повалили его на землю, вырвали ему бороду и так откололи, что он лежал, растянувшись на земле, без памяти и без дыхания. Что же касается упавшего монаха, он, не медля ни минуты, взобрался снова на своего мула, весь дрожа, перепуганный, с мертвенно бледным лицом, и, когда он очутился верхом, он поскакал вслед за своим товарищем, который, отъехав на порядочное расстояние, поджидал его и смотрел, чем кончится весь этот ужас; и не желая дожидаться конца приключе-

ния, они продолжали свой путь, творя крестное знамение усерднее, чем если бы дьявол сидел у них за плечами.

В это время Дон Кихот, как уже было сказано, разговаривал с дамой, сидевшей в карете, говоря ей:

– Ваша красота, сеньора моя, может теперь располагать собою, как ей заблагорассудится, так как гордость похитителей ваших повержена в прах моей сильной рукой. А чтобы избавить вас от труда узнавать имя вашего освободителя, знайте, что я – Дон Кихот Ламанчский, странствующий рыцарь, искатель приключений и пленник несравненной и прекрасной доньи Дульсиныи Тобосской. В благодарность за оказанную вам услугу, я прошу вас только об одном: чтобы вы вернулись в Тобосо, от моего имени представились сеньоре Дульсинеи и рассказали бы ей то, что я сделал для вашего освобождения.

Один из всадников, сопровождавших карету, родом бискаец, слышал, что говорил Дон Кихот. Видя, что он не пускает карету ехать дальше, а требует, чтобы она повернула тотчас же в Тобосо, бискаец подъехал к Дон Кихоту, схватил его за копьё и обратился к нему не то на плохом кастильском языке, не то на еще худшем бискайском, говоря:

– Уберись, рыцарь, ходи к черту! Клянусь Богом, создавшим меня, если мешаешь проехать карете, я убью тебя так верно, как я – бискаец.

Дон Кихот понял его и очень спокойно ответил ему:

– Если б ты был рыцарь, – но ты не рыцарь, – я бы уже наказал тебя за твою глупость и дерзость, презренное создание.

На это бискаец ответил:

– Я не рыцарь? Клянусь Богом, так же лжешь, как то, что ты христианин. Брось копьё, возьми в руки меч и тотчас

ты увидишь воду, которую несешь к кошке¹. Бискаец на суше, идальго на море – идальго к черту, и лжешь, если говоришь, что это неправда.

– Теперь вы увидите, сказал Аграхес², – ответил Дон Кихот. – И, бросив копье на землю, обнажил меч, прикрылся щитом и устремился на бискайца с явным намерением лишить его жизни.

Бискаец, видя это, хотел соскочить с мула, так как тот был плохой, из наемных, и он не мог ему доверять, но не успел сделать ничего другого, как только обнажить меч. К счастью своему, он находился близ кареты, откуда мог взять подушку, которая заменила ему щит, и тотчас же противники ринулись друг на друга, точно два смертельных врага. Остальные бывшие там пытались примирить их, но не могли, потому что бискаец сказал на своем ломаном наречии, что, если ему не дадут кончить сражения, он собственноручно убьет свою госпожу и всякого, кто ему станет мешать. Дама, сидевшая в карете, изумленная и испуганная тем, что видела, приказала кучеру отъехать немного в сторону и стала издали смотреть на ужасную битву, в течение которой бискаец нанес Дон Кихоту такой страшный удар по плечу, что, если бы рыцарь не защитил себя щитом, он был бы рассечен до пояса.

Почувствовав тяжесть этого чудовищного удара, Дон Кихот воскликнул громким голосом:

– О, повелительница души моей, Дульсинея, цвет красоты! Помогите вашему рыцарю, который, чтобы доставить удовлетворение великой вашей

добrote, находится в столь страшной опасности!

Сказать это, схватить меч, хорошо прикрыться круглым щитом и кинуться на бискайца – было для него делом мгновения, так как он решил поставить сразу все на карту и покончить битву одним ударом. Бискаец, видя, что рыцарь так стремительно несется на него, понял всю отвагу его намерения и, с своей стороны, решил поступить так же, как и Дон Кихот; итак, он ждал его, хорошо прикрывшись подушкой, не имея возможности двинуть своего мула ни в ту, ни в другую сторону, потому что страшно утомленное и непривычное к подобным штукам животное стояло, как вкопанное. Дон Кихот, как уже было сказано, устремился на осторожного бискайца с поднятым мечом и с твердым намерением разрубить его пополам, а бискаец, со своей стороны, ждал его тоже с поднятым мечом и под прикрытием подушки вместо щита. Все присутствовавшие стояли исполненные страха и ожидания, какой будет исход столь ужасных ударов, которыми противники угрожали друг другу. Дама, сидевшая в карете, и ее прислужница творили молитвы и давали тысячи обетов всем храмам с особо почитаемыми иконами в Испании, только бы Бог спас и бискайца, и их самих от угрожавшей им великой опасности.

Но горе в том, что как раз в эту минуту и на этом месте автор истории оставляет битву нерешенной, оправдываясь тем, что он не нашел других сообщений об этих подвигах Дон Кихо-

¹ Llevar el gato al agua – «нести кошку в воду», общепотребительное испанское выражение, когда речь идет о трудном и опасном предприятии. Бискаец в своем гневе говорит эту фразу наизусть.

² Фраза, вошедшая в поговорку в Испании, взятая из Амадиса. Аграхес был двоюродный брат Амадиса, всегда угрожавший своим противникам, когда они его вызывали, словами: «Теперь вы увидите!».

та, кроме уже переданных. Правда, что второй автор¹ этого сочинения не захотел поверить, чтобы столь любопытная история могла быть предана забвению, или же чтобы умы Ламанчи были так мало любознательны, что в Ламанчских архивах или письменных столах не на-

шлись бы документы, относящиеся к столь знаменитому рыцарю. Уверенный в этом, он не отчаивался найти конец этой приятной истории и, так как небо благоприятствовало ему, он и нашел его, а каким образом, – будет рассказано в следующей главе.



¹ Само собой разумеется, что этот второй автор – тот же Сервантес, придумавший фикцию о Сиде Амете Бененхели, арабском авторе «Дон Кихота», лишь в подражание рыцарским книгам, авторство которых приписывалось обыкновенно чужеземным источникам, большей частью восточным писателям.



Глава IX

*В которой сообщается конец и исход изумительной битвы
между отважным бискайцем и храбрым ламанцем.*

В предыдущей главе мы оставили мужественного бискайца и доблестного Дон Кихота с высоко поднятыми, обнаженными мечами, готовых нанести друг другу такие бешеные удары, что, если бы они действительно нанесли их, то по меньшей мере разрубили бы друг друга сверху до низу и раскололи бы пополам, как гранатовое яблоко; и в такую критическую минуту обрывается и остается неоконченной интересная эта история, а ее автор не указывает нам, где можно было бы найти то, чего недостает в ней.

Это меня очень огорчило, потому что удовольствие, с которым я прочел столь немного, превратилось в неудовольствие при мысли о том, какой мне

предстоит трудный путь, чтобы отыскать то многое, не достававшее, как мне казалось, столь занимательному рассказу. Мне представлялось невероятным и несоответствующим всем добрым обычаям, чтобы для такого храброго рыцаря не нашелся мудрец, который взял бы на себя труд описать его неслыханные подвиги, — в чем никогда не было недостатка у странствующих рыцарей из тех, о которых люди говорят, что они отправляются в поиски за своими приключениями. Каждый из них всегда имел наготове одного или двух мудрецов, которые не только описывали его деяния, но и воспроизводили малейшие его помыслы и ребячества, как бы они не были скрытыми; мне казалось невозможным, чтобы такой доблестный рыцарь, как Дон Ки-

хот, был бы столь несчастным, и ему не доставало бы того, что имели в изобилии Платир и ему подобные. Вот почему я не допускал мысли, чтобы такая превосходная история могла остаться недосказанной и неоконченной, и винил в этом лишь злобу всепожирающего и всеограждающего времени, которое ее скрыло или уничтожило. С другой стороны, мне казалось, что если в числе книг Дон Кихота нашлись некоторые столь современные, как: «*Излечение от ревности*», «*Эпиресские нимфы и пастухи*», то и его история также должна была быть современной, а в случае, если она не написана, то хранится, вероятно, в памяти жителей его деревни и окрестных деревень. Эта мысль тревожила меня и возбуждала желание доподлинно и подробно узнать всю историю жизни и неслыханных подвигов нашего знаменитого испанца Дон Кихота Ламанчского, светила и зеркала Ламанчского рыцарства, первого, в наш век и в эти столь бедственные времена посвятившего себя трудам и обязанностям странствующих рыцарей и взявшего на себя исправлять зло, помогать вдовам и защищать девушек из числа тех, которые верхом на конях, с хлыстами в руках и со всей своей девственностью за плечами, ездили с горы на гору и из долины в долину; потому что в старинные времена бывали девушки, которые, – если какой-нибудь подлец или негодяй с алебардой и шишаком, или же чудовищный великан не изнасиловали их, – достигали восьмидесятилетнего возраста, и, не проспав во все это время ни одной ночи под кровлей, сходили в могилу такими же непорочными, как и матери, родившие их.

Итак, я говорю, что по этим и многим другим причинам наш доблестный Дон Кихот заслуживает постоянных, достойных похвал; и даже мне не следует отказывать в них за труд и старание, с которыми я разыскивал конец этой замечательной истории; хотя я хорошо знаю, что, если б мне не помогли небо, случай и счастливая моя звезда, – мир был бы лишен времяпровождения и удовольствия, какие может получить часа на два тот, кто со вниманием прочтет эту историю. Вот каким образом я разыскал ее.

Однажды, когда я был в Алькана¹ в Толедо, мне встретился мальчик, шедший к торговцу шелка, чтобы продать ему старые бумаги и тетради. Так как я очень люблю читать, хотя бы даже рваные бумаги, валяющиеся на улице, то, следуя этой природной своей склонности, я взял одну из тетрадей, которые продавал мальчик, и увидел, что шрифт арабский. И хотя я это и понял, но читать по-арабски не умел; поэтому я стал смотреть, не пройдет ли какой-нибудь мориск², говорящий по-испански, который бы мог прочесть мне их. Не очень трудным оказалось найти такого переводчика, и даже если б я искал его для другого лучшего и более древнего языка³, и то бы нашел. Словом, судьба послала мне одного, которому я объяснил, в чем дело, и передал ему в руки тетрадь. Он раскрыл ее в середине и, прочитав немного из нее, стал смеяться. Я спросил его, отчего он смеется, и он ответил, что его рассмешило примечание на полях рукописи. Когда я попросил его сообщить мне, что там написано, он, все еще смеясь, сказал, что на полях здесь написано вот что: «*Та самая*

¹ Так называлась улица в Толедо, занятая вся в конце XVI века еврейскими лавками продавцов сукна и мелочных товаров.

² Морисками назывались потомки мавров и арабов, которые остались в Испании после взятия Гренады и были насильно обращены в католичество.

³ Т. е. еврейского. В прежние времена в Толедо было множество евреев.

Дульсинея Тобосская, о которой столько раз упоминается в этой истории, как говорят, умела искуснее остальных женщин Ламанчи солить свинину». Когда я услышал имя Дульсинеи Тобосской, я удивился и был поражен, потому что тотчас же подумал, что в этих тетрадах заключается история Дон Кихота. Побуждаемый этой мыслью, я торопил мориска скорее прочесть заглавие рукописи; он сделал это немедленно и, переведя его с арабского на испанский язык, прочитал следующее: «*История Дон Кихота Ламанчского, написанная арабским историком Сидом Аметом Бененхели*». Нужна была большая сдержанность, чтобы скрыть испытанную мною радость, когда до моего слуха дошло заглавие рукописи, и, бросившись к торговцу шелком, я купил у мальчика все тетради и бумаги за полреала; хотя, если б он был проницательнее и знал бы, как сильно я желал приобрести эти рукописи, то мог бы потребовать и получить за них больше шести реалов. Тотчас же уединился я с мориском в монастырские коридоры соборной церкви и попросил его перевести мне эти тетради, все те, в которых шла речь о Дон Кихоте, ничего не выпуская и ничего не добавляя, за что предложил ему вознаграждение, какое он пожелает. Он удовольствовался двумя арробами¹ изюма и двумя фанегами² пшеницы и обещал сделать перевод хорошо, точно и как можно скорей; но я, чтобы еще более облегчить дело и не выпускать из рук столь ценной находки, привел мориска к себе в дом, где он в полтора месяца с небольшим, перевел

всю историю в том виде, как она здесь излагается.

В первой тетради была прекрасно нарисована битва Дон Кихота с бискайцем: оба они были изображены в том положении, как сообщается в истории, – с поднятыми мечами, один, прикрываясь щитом, другой – подушкой, и мул бискайца был нарисован так живо, что уже издали можно было видеть, что он наемный. У ног бискайца стояла надпись, гласившая: «*Дон Санчо де Аспеития*»³, которая, без сомнения, должна была означать его имя, а у ног Росинанта стояла другая надпись: «*Дон Кихот*». Росинант был нарисован изумительно: такой длинный и вытянутый, такой исхудалый и тощий, такой костлявый и чахоточный, что рисунок ясно показывал, как хорошо к нему подходило и с какой проницательностью ему было дано имя «Росинант». Рядом с ним стоял Санчо Панса и держал за недоуздок своего осла, у ног которого стояла надпись: «*Санчо Санкас*». Судя по рисунку, у него, по-видимому, был большой живот, короткое туловище и длинные ноги, почему, должно быть, его называли Панса⁴ и Санкас⁵, так как под этими двумя прозвищами он иногда появляется в этой истории. Можно было бы упомянуть еще и о некоторых других мелочах, но все они незначительны и не имеют отношения к правдивой передаче истории, а никакая передача не может считаться плохой, лишь бы она была правдива.

Если же может возникнуть какое-нибудь возражение против истины этой истории, то лишь только на том основании, что ее автор был араб, – а люди этой

¹ Испанская мера веса (от 25 до 36 фунтов).

² Испанская мера зерна (4 четверика).

³ Аспеития – город в Бискайи, в котором родился Игнатий Лойола, основатель иезуитского ордена.

⁴ Пузо, брюхо.

⁵ Длинная нога или птичья лапа в особенности у голенастых или болотных птиц.

нации очень склонны ко лжи; хотя, в виду того, что они так враждебно относятся к испанцам, скорей можно было бы предположить, что он кое-что хорошее скрыл в своем рассказе, а не преувеличил. По крайней мере, мне так кажется, потому что, когда он и мог бы и должен был бы употребить свое перо на похвалу столь достойному рыцарю, он, невидимому, намеренно молчит, – поступок дурной, а намерение – еще худшее, так как историки должны и обязаны быть точными, правдивыми, вполне беспристрастными, и ни корыстолюбие, ни страх, ни злоба, ни любовь не должны заставлять их свернуть с пути истины; а мать истины есть история, – соперница времени, хранилище деяний, свидетельница прошлого, пример и поучение в настоящем и предостережение для будущего. Я знаю, что в этой нашей истории найдется все то, чего можно желать от самой занимательной истории, а если оказалось бы, что кой-чего хорошего недостает ей, вина в том падает, на мой взгляд, скорее на ее автора-собаку, а не на избранный им сюжет. Словом, вторая часть истории в переводе начиналась таким образом:

Острые, высоко поднятые мечи двух храбрых и разгневанных противников, казалось, угрожали небу, земле и преисподней: с такой отвагой и решимостью стояли они друг против друга. Первый нанес удар желчный бискаец, и нанес его с такой силой и с таким бешенством, что, если б меч его не повернулся у него в руке, одного этого удара было бы достаточно, чтобы положить конец страшному поединку и всем приключениям нашего рыцаря. Но счастливая судьба, хранившая его для более великих дел, направила меч противника таким образом, что хотя удар меча и попал ему по левому плечу, но не нанес иного вреда, как только обезоружил всю эту сторону,

сорвав с нее латы, и по пути унес значительную часть шлема и половину уха; все это со страшным шумом рухнуло на землю, и рыцарь оказался в очень плачевном положении. Великий Боже! Кто был бы в состоянии как следует описать бешенство, переполнившее душу нашего ламанчца, когда он увидел, как с ним обошлись! Но достаточно, если мы скажем, что бешенство это дошло до того, что он приподнялся снова на стременах и; еще крепче схватив меч обеими руками, так яростно бросился на бискайца и нанес ему такой сильный удар по подушке и по голове, что, несмотря на столь хорошее прикрытие, у бискайца, – словно на него упала гора, – пошла кровь из носа, из рта и ушей, и, казалось, он упадет с мула и, без сомнения, он и упал бы, если бы не ухватился обеими руками за шею животного. Тем не менее, он потерял стремяна, выпустил из рук поводья, и мул, испуганный страшным ударом, понесся по полю, а после нескольких скачков, повалился на землю со своим всадником.

Дон Кихот смотрел на это очень спокойно, но когда он увидел, что бискаец упал, то соскочил с коня, быстро приблизился к нему и, приставив острие меча к его глазам, потребовал, чтобы он сдался, а нет, – он отрубит ему голову. Ошеломленный бискаец не был в силах ответить ни слова, и ему пришлось бы плохо, настолько гнев ослеплял Дон Кихота, если б дамы, сидевшие в карете и до тех пор следившие с величайшим ужасом за исходом битвы, не поспешили к рыцарю, умоляя его оказать им милость и снисхождение, и пощадить жизнь их слуги. На это Дон Кихот с большой важностью и торжественностью ответил им:

– Конечно, прекрасные сеньоры, я очень рад исполнить то, о чем вы просите, но только с одним условием и условием, именно: рыцарь этот должен

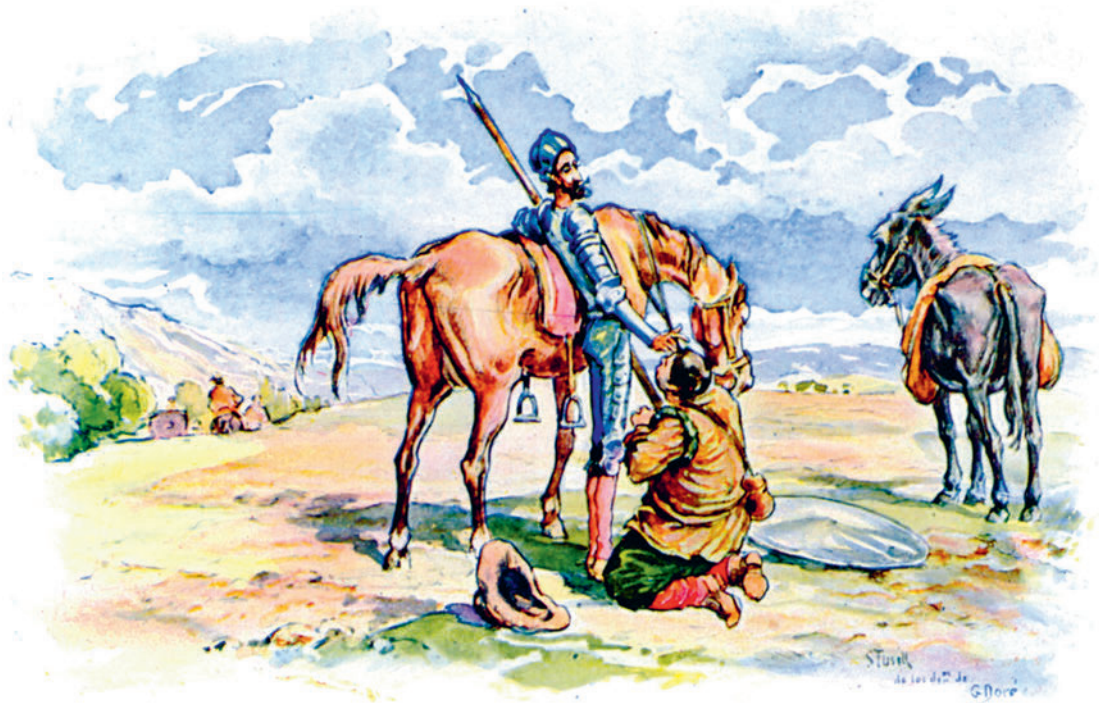
мне обещать, что он отправится в город Тобосо и от моего имени представится несравненной донье Дульсинее, чтобы она могла располагать им, как ей заблагорассудится.

Испуганные и глубоко огорченные сеньоры, не входя в разбор того, что тре-

бовал от них Дон Кихот, и не спрашивая, кто такая сеньора Дульсинья, обещали, что оруженосец их исполнит в точности все, что он приказал ему.

– Доверяя вашему слову, – ответил Дон Кихот, – я не сделаю ему больше зла, хотя он этого вполне заслуживает.





Глава X

Остроумные разговоры, которые вели Дон Кихот и его оруженосец Санчо Панса.

Между тем Санчо Панса уже поднялся, хотя и несколько помятый слугами монахов, и, внимательно следя за ходом битвы своего господина с бискайцем, молил в душе Бога даровать победу Дон Кихоту и дать ему возможность завоевать какой-нибудь остров, губернатором которого он назначил бы его, как обещал ему это. Увидав, что поединок кончен, и что господин его собирается влезть на Росинанта, Санчо подбежал поддержать его стремя, и прежде чем Дон Кихот успел сесть на коня, он бросился перед ним на колени, схватил его руку и поцеловал ее, говоря:

– Сеньор мой Дон Кихот, пусть ваша милость соизволит дать мне в управление остров, завоеванный вами

в этом ужасном сражении, потому что, как бы он ни был велик, я чувствую в себе силы управлять им так же хорошо, как и всякий другой, управлявший островами на свете.

На это Дон Кихот ответил:

– Заметь, брат Санчо, что это приключение и ему подобные не приводят к завоеванию островов; это – приключения на перекрестках, которыми не приобретаешь ничего другого, как только пролом головы или потерю уха. Но имей терпение, представятся и такого рода приключения, благодаря которым я не только смогу тебя сделать губернатором, но и больше того.

Санчо усердно поблагодарил его, и, поцеловав еще раз руку, а также и край кольчуги, он помог ему взобраться на Росинанта, после чего сам влез на своего осла и поехал вслед за господином, кото-

рый, не простясь с сидевшими в карете дамами и не говоря больше с ними ни слова, быстро повернул в близлежащий лесок. Санчо следовал за ним во всю прыть своего осла, но Росинант бежал очень быстро, и Санчо, видя, что он отстал, стал кричать своему сеньору, чтобы тот подождал его. Дон Кихот сделал это и придержал поводья Росинанта, пока его не нагнал утомившийся оруженосец, который, подъехав к нему, сказал:

– Мне кажется, сеньор, мы поступили бы благоразумнее, если б укрылись в какую-нибудь церковь, потому что тот, с которым вы сражались, приведен в столь плачевное состояние, что не удивительно было бы, если б они сообщили о случившемся Святой Эрмандаде¹, и нас бы арестовали; а по чести, если они это сделают, то, прежде чем мы выйдем из тюрьмы, нам придется немало попотеть там.

– Перестань, – сказал Дон Кихот, – где ты когда-либо видел или читал, чтобы странствующего рыцаря привлекали в суд, сколько бы он ни совершил смертоубийств?

– Ничего я не знаю о сверххиствах², – ответил Санчо, – и в моей жизни никому их не причинял. Знаю только, что Святая Эрмандада имеет дело с теми, которые сражаются в открытом поле, а в то, другое, я не вмешиваюсь.

– Не тревожься, друг, – ответил Дон Кихот, – потому что я сумею высвободить тебя из рук халдейцев, не только что из рук Святой Эрмандады. Но скажи мне откровенно, видел ли ты на всей поверхности земной более доблестного

рыцаря, чем я? Читал ли в историях о ком другом, который выказывает или выказывал больше отваги при нападении, больше твердости в обороне, больше ловкости в нанесении удара, больше искусства в поражении противника?

– Скажу по правде, – ответил Санчо, – что я никогда никакой истории не читал, так как не умею ни читать, ни писать. Но я готов хоть сейчас биться об заклад, что более отважному господину, чем ваша милость, я в жизни не служил, и дай Бог, чтобы за эту отвагу вы не получили платы, о которой я говорил. А прошу я вашу милость лишь об одном, – дайте мне сделать вам перевязку, потому что из раненого уха у вас сильно идет кровь, а у меня в сумке есть корпия и немного белой мази.

– Все это было бы лишним, – сказал Дон Кихот, – если б я не забыл приготовить склянку бальзама Фиэрабраса, так как одной каплей его можно было бы сберечь время и лекарства.

– Что это за склянка, и что за бальзам такой? – спросил Санчо.

– Это бальзам, – ответил Дон Кихот, – рецепт которого я храню в памяти; имея при себе это лекарство нельзя бояться смерти, ни опасаться умереть от каких-либо ран. Итак, когда я его изготовлю и дам тебе, ты должен делать лишь одно: если увидишь, что в какой-нибудь битве меня разрубили пополам, – а это нередко случается, – ты тихонько подними ту часть моего тела, которая упала на землю, и быстро, прежде чем кровь застынет, приложи ее к другой части тела, оставшейся на седле, стараясь соединить

¹ Santa Hermandad, святое Братство, было основано еще в XIII веке и восстановлено в 1476 г. королями Фердинандом и Изабеллой для преследования преступлений, совершенных на больших дорогах и в более отдаленных и диких местностях Испании; несколько видоизмененное, оно существовало во времена Сервантеса, который, по-видимому, не очень-то одобрял это братство.

² Санчо по-своему извращает слово homicidios, которое он не понимает.

обе эти части как можно правильнее и ровнее, и тотчас дай мне выпить глотка два бальзама и увидишь, что я стану крепче яблока.

– Если это так, – сказал Панса, – я теперь же отказываюсь от губернаторства на острове, которое вы мне обещали, а в награду за все мои добрые и многочисленные услуги прошу лишь одного: пусть милость ваша сообщит мне рецепт этого изумительного бальзама, потому что наверное за унцию его везде дадут более двух реалов, а больше мне и не нужно, чтобы прожить жизнь свою в довольстве и покое. Но теперь надо узнать, дорого ли обойдется приготовление бальзама?

– Менее чем за три реала можно приготовить три асумбрес¹, – ответил Дон Кихот.

– Грешный я! – воскликнул Санчо. – Так почему же ваша милость медлит приготовить бальзам и научить этому и меня?

– Молчи, друг, – ответил Дон Кихот, – еще большие тайны думаю я открыть тебе и оказать не такие еще благодеяния, а теперь надо бы меня полечить, потому что ухо мое болит сильнее, чем я того хотел бы.

Санчо достал из сумки корпии и мази; но когда Дон Кихот увидев, что шлем его сломан, он чуть не потерял рассудка. Положив руку на меч и подняв глаза к небу, он сказал:

– Клянусь, Творцом вселенной и четырьмя святыми евангелиями в полном их объеме вести жизнь, которую вел великий маркиз Мантуанский, когда он поклялся отомстить за смерть своего племянника Балдовиноса, а именно: не есть хлеба со скатерти и не ласкать своей жены и воздерживаться от других вещей, – которые, хотя я сейчас их и не по-

мню, но тоже включаю в свою клятву, – до тех пор, пока не отомщу полностью тому, кто нанес мне это оскорбление.

Услышав эту клятву, Санчо сказал:

– Заметьте, милость ваша, сеньор Дон Кихот, если тот рыцарь исполнил приказание, которое вы ему дали, – явиться к сеньоре Дульсинее Тобосской, – он все сделал, что должен был сделать, и не заслуживает нового наказания, если не совершит нового проступка.

– Ты верно сказал и попал как раз в цель, – ответил Дон Кихот, – поэтому я уничтожаю клятву относительно местности, но возобновляю и подтверждаю ее относительно образа жизни, который я собираюсь вести до тех пор, пока не добуду силой у какого-нибудь рыцаря другого шлема, такого же хорошего, каким был мой. И не думай, Санчо, что я так поступаю ни с того ни с сего, я хорошо знаю, кому в этом подражать, так как все это буквально случилось со шлемом Мамбрина, который так дорого обошелся Сакрипанту.

– Пусть ваша милость пошлет все эти клятвы к черту, – ответил Санчо, – потому что они весьма вредны для здоровья и очень пагубны для совести. А нет, скажите мне теперь – если мы случайно долгое время не встретим вооруженного человека со шлемом, что нам тогда делать? Исполним ли мы клятву, несмотря на все неудобства и затруднения, как, например, спать, не раздеваясь, ночевать не в жилых помещениях, а под открытым небом, и совершать тысячи других епитимий, заключавшихся в клятве того старого сумасброда, маркиза Мантуанского, – клятве, которой ваша милость желает теперь дать снова ход? Подумайте о том, сеньор, что на этих дорогах не ездят вооруженные люди, а лишь возчики и погонщики мулов, которые не только не

¹ Мера для жидкостей – немного больше двух литров каждая, значит больше шести литров.

носят на голове шлемов, но, может быть, никогда в жизни и не слышали о них.

– Ты ошибаешься, думая так, – сказал Дон Кихот. – Не пройдет и двух часов, как мы на этих перекрестках встретим больше вооруженных людей, чем их прибыло под Альбраку, чтобы овладеть прекрасной Анхеликой¹.

– Хорошо, пусть будет так, – сказал Санчо, – и дай Бог, чтобы нам повезло, и вы поскорее завоевали остров, который мне так дорого стоит, а потом я готов хоть умереть.

– Я уже говорил тебе, Санчо, чтобы ты об этом нисколько не беспокоился, потому что, если б не оказалось острова, у нас есть королевство Динамарк или королевство Собрадаса², которые придутся тебе в пору, как кольцо на палец, и ты еще должен тем более радоваться, что они на материке. Но оставим это до времени, а теперь посмотри, нет ли у тебя в сумках каких-нибудь съестных припасов, потому что, закусив, мы тотчас же отправимся искать замок, где бы нам можно было переночевать и приготовить бальзам, о котором я тебе говорил, так как, клянусь тебе Богом, что ухо у меня сильно болит.

– У меня есть здесь луковица, кусок сыру и не знаю, сколько ломтей хлеба, – сказал Санчо, – но все это не яства для столь доблестного рыцаря, как ваша милость.

– Плохо ты понимаешь это дело, – ответил Дон Кихот. – Я хотел бы, чтобы ты знал, Санчо, что для странствующих рыцарей честь и слава не есть целый месяц ничего, а когда они едят, то довольствуются тем, что попадет им под руку, и это было бы хорошо известно тебе, если б ты

прочел столько историй, сколько я их читал; потому что, несмотря на великое их множество, ни в одной из них не нашел я упоминание о том, чтобы странствующие рыцари ели; разве только случайно и на каких-нибудь великолепных пиршествах, которые устраивались в честь их, остальное же время они жили, питаясь цветами³. И хотя понятно, что они не могли существовать без пищи и без удовлетворения других естественных потребностей, потому что, действительно, они были такие же люди, как и мы, надо также предположить, что, так как они большую часть своей жизни скитались в лесах, пустынных местах и без повара, самой обычной их едой были простые яства, вроде тех, которые ты мне теперь предлагаешь. Итак, друг Санчо, не заботься о том, что мне больше по вкусу, не старайся переделать заново свет или вывести странствующее рыцарство из его колеи.

– Простите мне, милость ваша, – сказал Санчо, – так как я не умею ни читать, ни писать, о чем я уже вам говорил, и не знаю и не имею понятия о правилах рыцарской профессии. Но с этого времени впредь буду запасаться разного рода сухими плодами для вашей милости, как для рыцаря, а для себя, так как я не рыцарь, буду набивать сумку более существенными и питательными вещами.

– Я вовсе не говорю, Санчо, – возразил Дон Кихот, – что странствующие рыцари должны обязательно есть одни лишь сухие плоды, как ты сейчас сказал, а говорю только, что самой обычной их пищей, были, по-видимому, сухие плоды и травы, которые они находили на полях и знали их, и я также их знаю.

¹ В поэме Боярдо «Влюбленный Роланд», Агрикан, царь татарский, осаждает сильную крепость Альбраку с войском в два миллиона солдат, чтобы овладеть прекрасной Анхеликой, дочерью короля Галафрона.

² Баснословные государства, о которых говорится в «Амадисе Галльском».

³ Т.е. очень малосущественным.

– Хорошо знать эти травы, – ответил Санчо, – так как, судя потому, что мне представляется, когда-нибудь нам окажется необходимым воспользоваться этим знанием.

Говоря это, Санчо достал из сумки съестные припасы, бывшие там у него, и они оба стали есть мирно и дружно. Однако, желая скорее отыскать себе ночлег, они быстро покончили свою скудную и бедную трапезу, тотчас же сели верхом, торопясь, пока еще не стемнело, доехать до жилого помещения. Но

солнце скрылось и вместе с ним и надежда найти то, чего они искали, когда они очутились вблизи нескольких шалашей козых пастухов. Итак, они решили переночевать здесь. Насколько сильно было огорчение Санчо, что они не добрались до села, настолько его господин был доволен, что будет спать под открытым небом, потому что всякий раз, как это случалось с ним, ему казалось, что он приобретает новый документ, подтверждающий его право на рыцарское звание.





Глава XI

О том, что приключилось с Дон Кихотом у козопасов.

Козопасы приняли их радушно, и Санчо, пристроив как мог лучше Росинанта и своего осла, сам направился туда, куда его привлекал запах, издаваемый кусками козлиного мяса, варившегося в котле над огнем. И хотя он исследовал бы охотно тотчас, достаточно ли сварилось мясо, чтобы из котла перейти в его желудок, но он не мог этого сделать, потому что пастухи сняли котел с огня и, разложив на земле несколько овчин, спешно накрыли свой деревенский стол, дружески пригласив Дон Кихота и Санчо разделить с ними скромный ужин. Шестеро из них, — все бывшие в шалаше, — уселись в кружок на овчинах, попросив предварительно, — с не очень-то утонченной деревенской учтивостью, — Дон Кихота сесть на опрокинутую колоду, которую они ему придвинули. Дон Кихот сел, а Санчо остался стоять подле него, чтобы подавать ему пить из кубка,

сделанного из рога. Увидав, что Санчо стоит, его господин сказал ему:

— Чтобы ты, Санчо, понял, какое благо заключается в странствующем рыцарстве, и как быстро те, которые в каком бы то ни было звании ему служат, достигают на свете уважения и почестей, — я хочу, чтобы ты сел здесь, рядом со мной, и в обществе этих добрых людей слился бы воедино с твоим господином и природным повелителем, чтобы ты ел из моей тарелки и пил из кубка, из которого я пью, — потому что о странствующем рыцарстве можно сказать то же, что говорится о любви, а именно, что она всех равняет.

— Премного вам благодарен — ответил Санчо, — но я должен сказать вашей милости, что я ел бы также хорошо, и еще лучше, стоя и наедине, как и сидя рядом с императором, лишь бы было что есть. И даже, говоря по правде, куда вкуснее кажется мне то, что я ем в своем углу, без жеманства и церемоний, хотя бы это

были лишь хлеб да лук, а не индейка за чужим столом, где я вынужден жевать медленно, пить мало, часто вытирать себе рот, где я не могу ни чихать, ни кашлять, если б мне захотелось, и не могу делать и других вещей, какие позволяют свобода и уединение. Так что, сеньор мой, эти почести, которые ваша милость желает оказать мне, как служителю и члену странствующего рыцарства, – каков я есть, будучи оруженосцем вашей милости, – обратите лучше во что-нибудь другое, более удобное и выгодное для меня, и, хотя я их уже и считаю полученными, но отказываюсь от них, отныне и вовек.

– Тем не менее, ты должен сесть рядом со мной, потому что, кто сам себя унижает, того Бог возвысит, – ответил Дон Кихот. – И, взяв за руку Санчо, он принудил его сесть рядом с собой.

Пастухи ничего не поняли из всей этой тарабарщины об оруженосцах и странствующих рыцарях и только и делали, что ели, молчали и смотрели, как гости их с большим достоинством и с видимым удовольствием быстро отправляли себе в рот куски козлиного мяса величиною с кулак. Когда было покончено с мясным блюдом, пастухи насыпали на бараньи шкуры множество сухих желудей¹, а также положили туда и полкруга сыра, более твердого, чем если б он был сделан из извести. Между тем не оставался праздным и роговой кубок, потому что он беспрерывно обходил всех кругом, то полный, то пустой, как ведро на водочаке, и очень скоро из двух бурдюков принесенных пастухами, один оказался выпитым. Удовлетворив требованиям своего желудка, Дон Кихот взял в руку горсть желудей, внимательно поглядел на них и, возвысив голос, сказал:

– Счастливо то время, и счастлив тот век, который древние прозвали зо-

лотым, не потому, чтоб золото, столь высоко ценимое в этот наш железный век, добывалось в тот, счастливый, без всякого труда, а потому, что живущие тогда не знали двух этих слов: *твое* и *мое*. В те святые времена все было общее. Никому не нужно было, – чтобы добыть себе насущное пропитание, – прибегать к иному труду, как только к труду поднять руку и взять себе пищу с могучих дубов, которые щедро предлагали сладкие и вкусные свои плоды. Прозрачные ключи и быстротекущие реки доставляли в великолепном изобилии чистую, прозрачную воду. В расщелинах скал, в дуплах деревьев заботливые и умные пчелы, учреждая свои общины, бескорыстно оделяли каждую протянутую руку богатой жатвой сладчайшего своего труда. Могучие пробковые деревья, без всякого принуждения, по собственному доброму желанию, сбрасывали с себя широкую и легкую кору свою, которую люди начали покрывать дома на грубых подпорках, возведенные ими единственно лишь для защиты от непогоды. В те времена всюду царил мир, всюду царили дружба и согласие. Тяжелый сошник кривого плуга еще не дерзал вскрывать и раздирать сострадательные недра нашей праматери-земли, потому что она без принуждения, на всем пространстве своего великого и плодородного лона, предлагала все, что могло насытить, поддержать существование и доставить наслаждение детям ее, в ту пору владевшим ею. Тогда в действительности простодушные и прекрасные пастушки бродили по долинам и холмам, с непокрытой головой и в косах, не имея на себе другой одежды, кроме необходимой, чтобы стыдливо прикрыть все, что стыдливость требует, и всегда требовала держать прикрытым; и украшения их были не те, которые в употреблении те-

¹ В Испании – в Ламанче и в Эстремадуре – имеется сорт вкусных и годных для еды желудей.

перь, и которые пурпур Тира и на столько ладов терзаемый шелк делает такими дорогими, – а состояли лишь из листьев зеленого лопуха, переплетенных с плющом, и, быть может, в них они казались не менее великолепно одеты и нарядны, чем теперь наши столичные дамы, щеголяющие в редкостных и чужеземных изобретениях моды, указанных им праздным тщеславием. Тогда порывы любящего сердца облекались в столь же простые и искренние выражения, какими были чувства, породившие их, и не искали искусственных оборотов речи, чтобы придать им больше ценности. Не было лжи, – злоба и обман не смешивались еще с правдой и искренностью. Правосудие не выходило из своих пределов, и его еще не дерзали смущать и оскорблять корыстолюбие и лицепрятие, которые теперь так унижают, смущают и преследуют его. Закон произвола еще не сделался достоянием судей, потому что и судить тогда было некого, и не за что. Девушки и целомудрие, – как я уже говорил, – являлись, где хотели, одни одинокими, не опасаясь, чтобы чужая распущенность и похотливость унизили их, – и если они и гибли, то лишь только по доброй воле и по собственному желанию. А теперь, в отвратительные наши времена, ни одна девушка не находится в безопасности, хотя бы ее скрывал и окружал новый лабиринт подобный Критскому, так как и туда, через щели, или с воздухом, благодаря рьяности проклятого ухаживания, проникла бы любовная зараза и привела бы к крушению всю ее скромность. И вот, для защиты добродетели, так как время шло и зло возрастало, был учрежден рыцарский орден, чтобы охранять девушек, защищать вдов, и помогать си-

ротам и нуждающимся. К этому ордену принадлежу и я, братья пастухи, которых благодарю за угощение и радушный прием, оказанный мне и моему оруженосцу. И хотя по закону природы все живущие в мире обязаны благоприятствовать странствующим рыцарям, тем не менее, так как я знаю, что вы, находясь в неведении относительно этой вашей обязанности, все же приняли и угостили меня, – справедливо, чтобы и я поблагодарил вас от всего сердца за выказанное мне вами доброе расположение.

Вся эта длинная речь (без которой можно было бы отлично обойтись) была сказана нашим рыцарем потому, что предложенные желуды напомнили ему золотой век, и он вздумал обратиться с ненужными этими рассуждениями к пастухам, а те, не отвечая ни слова, слушали его, изумленные и недоумевающие. Даже и Санчо молчал, ел желуды и частенько прикладывался ко второму бурдюку, который пастухи, – чтобы вино охладилось, – держали подвешенным к пробковому дереву.

Речь Дон Кихота длилась дольше, чем ужин. Когда он кончил, один из пастухов сказал:

– Сеньор странствующий рыцарь, чтобы милость ваша могла еще с большим правом говорить, что мы приняли вас дружески и радушно, мы желали бы доставить вам удовольствие и забаву: послушать пение одного из наших товарищей, который скоро явится сюда. Это очень умный пастух; он сильно влюблен и, сверх того, умеет читать и писать и так хорошо играет на рабеле¹, что лучшего нельзя и желать.

Не успел пастух договорить этих слов, как уже раздались звуки рабеля, а вскоре

¹ Рабель – древний род лютни, маврского происхождения. Рабель был в употреблении у пастухов во времена Сервантеса, – трехструнный инструмент, на котором играли небольшим смычком.



Счастливо то время, и счастлив тот век, который древние прозвали золотым...

появился игравший на нем молодой, красивый парень, лет около двадцати двух. Товарищи спросили его, ужинал ли он, и, получив утвердительный ответ, тот, который хвалил его Дон Кихоту, сказал ему:

– В таком случае сделай нам удовольствие, Антонио, и спой что-нибудь, чтобы этот сеньор, – гость наш, – видел, что и в горах, и в лесах есть люди, знающие музыку. Мы ему хвалили твои способности, и желали бы, чтобы ты их выказал теперь и доказал этим, что мы говорили правду. Итак, прошу тебя твоей жизнью, садись и спой нам романс о твоей любви, сочиненный для тебя твоим дядей-церковником, – романс, который так понравился у нас в селе.

– С удовольствием спою, – ответил юноша и, не заставляя себя просить, сел на пень срубленного дуба, настроил рабелю и спел очень приятным голосом следующий романс:

АНТОНИО

Знаю я, Олалья, – любишь
Ты меня, хоть не оказала
Мне о том ты даже взглядом, –
Языком немой любви.
Что и я люблю, наверно
Поняла ты, – и навряд ли
Безответным будет чувство,
Раз оно известным стало.
Ты подчас старалась, правда,
Показать мне, будто сердце
У тебя в груди из стали,
А душа твоя – скала.
Но сквозь робкие укоры,
Сквозь смущенные отказы,
Иногда надежды светлой
Край покрова видел я.
И доверчиво стремился
Ей на встречу всей душою,
Рад был сладостной приманке,
Беспредельно верил ей...
Если ж знак любви – утчивость, –

Из твоей я заключаю,
Что уж, близится развязка
О которой я мечтаю.
Если нежные услуги
Иногда смягчают сердце,
Может быть, и мне уж скоро
Овладесть твоим удастся.
Ты не раз могла заметить,
Что в одежде я воскресной
В понедельник пред тобою
Из любви к тебе являлся.
Ведь, любовь я страсть к нарядам
По одной идут дороге, –
Оттого всегда желал я
Быть в твоих глазах пригожим.
Для тебя я бросил танцы,
Пел тебе я серенады,
Поздней ночью, ранним утром,
Лишь проснутся петухи.
Умолчу, какой хвалою
Осыпал тебя я всюду.
И был прав. Но зло косились
На меня твои подруги.
Раз тобой я восхищался,
А Тереса мне сказала:
«Мнит иной, пред ним богиня,
Но влюблен он в обезьяну.
Мишуры не замечая,
Накладных волос не видя,
Обольщен красой притворной,
Он введен кругом в обман».
– «Это ложь!» – я крикнул гневно. –
За сестру тогда вступился
Брат ее, – меня он вызвал; –
Чем все кончилось, ты знаешь.
Не ищу я легкой связи,
Не хочу тебя прельстить я,
Не люблю я для забавы:
Цель моя честней и выше.
Церковь узы налагает, –
Сплетены они из шелка;
В то ярмо ты вдень лишь шею,
В миг мою увидишь рядом.
А не хочешь, так клянуся
Величайшей в мире клятвой:

Я покину эти горы.

Чтоб идти лишь в капуцины.

На этом пастух кончил свое пение, и хотя Дон Кихот просил спеть еще что-нибудь, но Санчо Панса не согласился, потому что ему больше хотелось спать, чем слушать песни. Итак, он сказал своему господину:

– Вашей милости следовало бы теперь немедленно устроиться на ночь, потому что труд, которым добрые эти люди заняты целый день-деньской, не позволяет им проводить ночи, распевая песни.

– Понимаю тебя, Санчо, – ответил Дон Кихот, – ясно, что посещения бурдюка располагают скорее ко сну, чем к музыке.

– Всем нам пришлось по вкусу вино, благодарение Богу, – ответил Санчо.

– Не отрицаю этого, – возразил Дон Кихот, ступай устраивайся на ночь, где хочешь; людям же моей профессии приятнее бодрствовать, чем спать. А все же, Санчо, было бы недурно, если бы ты еще раз перевязал мне ухо, которое болит больше, чем бы следовало.

Санчо сделал то, что ему было приказано, а один из пастухов, увидав рану, просил не трудиться перевязывать ее, так как он сейчас положит на рану лекарство, от которого она быстро заживет, и, оторвав несколько листьев розмарина, растущего там в изобилии, он их разжевал, прибавил немного соли и, приложив все это к уху Дон Кихота, крепко перевязал, уверяя, что другого лекарства не понадобится, – так оно и оказалось на самом деле.





Глава XII

О том, что рассказал козопас своим товарищам, бывшим с Дон Кихотом.

В это время пришел еще один молодой парень из тех, которые носили пастухам съестные припасы из деревни, и сказал:

– Знаете ли вы, товарищи, что делается на селе?

– Откуда могли бы мы это знать? – отозвался один из пастухов.

– Так слушайте же, – продолжал парень, – сегодня утром умер известный пастух-студент, по имени Грисостомо, и говорят, что он умер от любви к этой чертовской девушке Марселе, дочери Гильермо богатого, – той, которая, переодетая пастушкой, бродит по здешним пустынным местам.

– Из любви к Марселе? – переспросил кто-то.

– Из любви к ней, – ответил пастух. Но лучше всего то, что в своем завеща-

нии он распорядился, чтобы его, как мавра, похоронили в поле, у подножия скалы, где источник Пробкового дерева, потому что, – по слухам (говорят, будто он сам это рассказывал), – здесь именно он впервые увидел Марселу. Завещал он также и кой-что другое, – то, что, по словам местных церковников, нельзя привести в исполнение, и нехорошо было бы, если бы это сделали, потому что все это смахивает на язычество. Но большой друг Грисостомо, студент Амбросио, который вместе с ним переодевался пастухом, требует, чтобы в точности было исполнено, что завещал Грисостомо, – из-за этого-то и всполошилось все село. Однако говорят, в конце концов сделают именно так, как желают Амбросио и пастухи, его друзья, и завтра с большой торжественностью похоронят Грисостомо там, где я говорил. Мне кажется, что это будет очень

интересное зрелище; по крайней мере, я непременно пошел бы посмотреть, если бы знал, что мне не нужно будет завтра возвращаться в село.

– Мы все хотим пойти на похороны Грисостомо, – сказали пастухи, – и бросим жребий, кому из нас оставаться здесь пасти коз.

– Ты правильно решил, Педро, – отозвался один из пастухов, – хотя нет нужды бросать жребий, так как я останусь здесь за всех вас. Но не приписывайте этого моему великодушию или отсутствию у меня любопытства, – остаюсь я только потому, что заноза, попавшая на днях в ногу, мешает мне пойти с вами. Тем не менее, мы очень тебе благодарны, Педро.

Дон Кихот попросил Педро рассказать ему, кто такой был этот покойник и та пастушка. На это Педро ответил, что, насколько ему известно, покойник был богатый идалго и жил в местечке в этих горах. Много лет пробыл он в Саламанском университете, после чего вернулся на родину, где слыл за очень начитанного и ученого человека. Особенно хорошо знал он, как говорят, науку звезд и то, что происходит на небе с солнцем и луной, потому что он всегда точно предсказывал нам темноту солнца и луны.

– Не темнотой, а затмением называют, друг мой, явление, когда омрачаются эти два большие светила, – сказал Дон Кихот, но Педро, не обращая внимания на такие пустяки, продолжал:

– Он умел также предсказывать, будет ли год плодородный или нерожайный.

– Нерожайный, хотите вы сказать, – поправил его снова Дон Кихот.

– Нерожайный или неурожайный, одно и то же, – заявил Педро. – Итак,

я говорю, что отец и друзья его, верившие ему, разбогатели, потому что делали всегда то, что он им советовал, говоря: «Сейте в этом году ячмень, а не пшеницу; а в этом году можете сеять горох, но не ячмень. В наступающем году будет обильный сбор оливок; в следующие затем три года – полный их неурожай».

– Эту науку, – сказал Дон Кихот, – называют астрологией¹.

– Не знаю, как ее называют, – возразил Педро, – но знаю, что он все это понимал и даже более того. Словом, не прошло и нескольких месяцев после возвращения его из Саламанки, как однажды он явился одетый пастухом, с посохом и в овчине, сняв с себя свое длинное студенческое облачение. Вместе с ним оделся пастухом и его лучший друг, по имени Амбросио, товарищ его по университету. Я забыл сказать, что покойный Грисостомо был великий мастер сочинять стихи, и такой мастер, что он сочинял villancicos² на сочельник Рождества Христова и autos³ на праздник Тела Господня, которые разыгрывались парнями нашего села, и все находили их превосходными. Когда деревенские жители увидели двух студентов, столь внезапно превратившихся в пастухов, они были поражены и не могли понять причины такого странного превращения. В то время отец нашего Грисостомо уже умер и оставил ему большое состояние, движимое и недвижимое, великое множество крупного и мелкого скота и значительное количество денег. Над всем этим юноша оказался неограниченным хозяином, и, говоря по правде, он заслуживал свое богатство, потому что был прекрасным товарищем, человеком со-

¹ Предсказание о жатвах входило в те времена в обязанность астрологов.

² Villancicos – церковная песнь в честь Пресвятой Девы; поется она, главным образом, в ночь на Р. Х.

³ Autos sacramentales – маленькие пьесы и драмы духовного содержания.

страдательным и другом всех добрых людей, – а лицом он был красив, как ангел. Впоследствии стало известным, что он переоделся пастухом единственно только из-за того, чтобы иметь возможность встречаться в этих пустынных местах с пастушкой Марселей, той самой, о которой только что упоминал наш товарищ, и в которую влюбился бедный покойный Грисостомо. А теперь сообщу вам, – потому что вам это надо знать, – кто такая эта девушка. Быть может, и даже наверное, вы во всю свою жизнь не слышали и не услышите никогда ничего подобного, хотя бы и прожили дольше, чем Сарна¹.

– Говорите Сарра, – возразил Дон Кихот, который не мог стерпеть искажения слов, делаемого пастухом.

– И сарна живет достаточно долго, – ответил Педро; – если же вы, сеньор, будете каждую минуту исправлять мои слова, мы не кончим и через год.

– Простите, друг, – сказал Дон Кихот, – перебил я вас потому только, что столь большая разница в значении слов сарна и Сарра. Но вы ответили как нельзя лучше, потому что сарна живет дольше Сарры. Продолжайте ваш рассказ, я не буду больше прерывать вас.

– Итак, я говорю, сеньор души моей, – продолжал пастух, – что у нас в деревне жил крестьянин, еще более богатый, чем Грисостомо, по имени Гильермо, которому Бог, сверх многих и великих богатств, дал дочь; родив девочку, мать умерла, а была она самой уважаемой женщиной во всем околотке. Как сейчас вижу я ее перед собой, с лицом, которое, казалось, светилось с одной стороны, что солнце, а с другой, что луна, – и главное, она была очень дельная хозяйка и сострадательная к бедным, за что – я уверен, – душа ее в настоящее время наслаждается на том свете лицезрением Бога. С горя о

потери столь доброй жены умер и муж ее, Гильермо, оставив дочь свою Марселе, богатую малютку, под опекой дяди, священника нашего села. Девочка росла такой красавицей, что напоминала собою мать, обладавшую необычайной красотой, и, тем не менее, мы считали, что дочь превзойдет ее в этом отношении. Оно так и случилось, потому что, когда она достигла возраста между четырнадцатью и пятнадцатью годами всякий, кто ее видел, хвалил Бога за то, что Он создал ее такой прекрасной, а большинство мужчин влюблялось в нее и сходили с ума от нее. Дядя всячески заботился о ней и держал ее в полном уединении. Но, тем не менее, слава о необычайной красоте Марсели распространилась так, что вследствие этого, а также и большого ее богатства, не только из нашего местечка, но даже из дальней округи самые завидные женихи просили, умоляли и надоедали ее дяде, чтобы он отдал ее им в жены. Но он, – будучи на самом деле добрым христианином, – хотя и желал выдать ее замуж тотчас же, когда ей вышли года, не хотел, однако, делать этого без ее согласия, причем он вовсе не принимал в расчет выгоду и пользу, которую могла бы доставить ему опека над ее имуществом, если б он подольше откладывал замужество ее. И, по правде говоря, часто шел об этом разговор на вечеринках в селе в похвалу доброму священнику. Мне хотелось бы, чтобы вы знали, сеньор проезжий, что в таких маленьких местечках во все вмешиваются и обо всем тараторят, и будьте уверены, как и я в том уверен, что духовное лицо, о котором прихожане его, – в особенности в деревнях, – отзываются с похвалой, в действительности должно быть необычайно хорошим.

– Это правда – сказал Дон Кихот, – но продолжайте ваш рассказ, добрый

¹ Сарна (sarna) по-испански «чесотка». Сарра, как известно, жена Авраама.

Педро, так как он очень интересен и вы передаёте его очень мило.

— Лишь бы милость Божья была на мне, вот что главное. Итак, вы должны знать, что, хотя дядя и сообщал племяннице о всех женихах, которые к ней сватались и описывал ей качества каждого из них, уговаривая ее выходить замуж и выбрать того, кто ей понравится, но в ответ она ему всякий раз говорила одно и то же: пока еще она не желает выходить замуж, будучи для этого слишком молодой и не чувствуя себя способной нести бремя замужества. На основании этих, — как они ему казались, — довольно веских причин отказа, дядя перестал уговаривать ее в надежде, что став несколько старше, она сумеет выбрать себе товарища на всю жизнь по собственному желанию. Потому что, говорил он, — и говорил справедливо, — родители не должны устраивать брака детей своих против их воли. И вот, однажды, когда никто этого не ожидал, коварная Марсела вдруг явилась одетой пастушкой, и, против желания дяди и всех тех в селе, которые отсоветовали ей это, она отправилась в поле с другими деревенскими пастушками и стала пасти свое собственное стадо. Как только она явилась всенародно, и красота ее оказалась у всех на виду, не сумею хорошенько сказать вам, сколько богатых юношей, — дворян и крестьян, — подобно Грисостомо, оделись пастухами и стали ухаживать за ней, скитаясь по этим полям. В числе их, как я уже говорил, был и покойный Грисостомо, который, не то, что любил, а просто боготворил ее. Только не думайте, чтобы Марсела, избрав себе такой свободный и независимый образ жизни, давала бы повод, или хотя бы тень повода, для сомнения в ее чистоте и добродетели. Напротив, она так рьяно и неусыпно следит за своею честью, что из всех, которые ухаживают за

ней и стараются ей понравиться, ни один не хвалился, да и не мог бы, — придерживаясь истины, — хвалиться тем, будто она подала ему малейшую надежду добиться цели своих желаний. Хотя она и не стонит пастухов, не избегает их общества и разговоров, а, напротив того, обращается со всеми приветливо и дружески, но лишь только кто-нибудь вздумает открыть ей свои намерения, — пусть бы они были столь справедливы и святы как желание брака, — она их отвергает и тотчас отбрасывает от себя, словно метательным снарядом. Этим своим нравом и образом жизни она причиняет больше вреда в нашей местности, чем если бы здесь появилась чума; потому что приветливость и красота ее привлекают к ней сердца всех, кто ее видит, и заставляют служить ей и любить ее. Но пренебрежительность, равнодушие ее и недоступность приводят их в отчаяние. Итак, они не знают, что ей сказать; но громогласно называют ее жестокой, неблагодарной и другими подобными именами, которые ясно обнаруживают ее душевный склад. И если б вы остались здесь некоторое время, вы бы услышали, сеньор, как в этих горах и долинах раздаются жалобы отвергнутых ею и всюду следующих за нею поклонников ее. Недалеко отсюда есть местечко, где растут дюжины две высоких буковых деревьев, и нет ни одного из них, на гладкой коре которого не было бы написано и вырезано имя Марселы, а кой-где над ее именем вырезана еще и корона, точно влюбленный в нее хотел этим ясно сказать, что Марсела носит и заслуживает носить корону всякой человеческой красоты. Здесь вздыхает пастух, там жалуется другой; тут раздаются песни любви, там слышатся песни отчаяния. Иной проводит всю ночь, сидя под дубом или у подножия скалы, и его, — не сомкнувшего заплаканных глаз, углубленного

в мечты и восхищенного ими, – так и застанет здесь утреннее солнце; а другой, в самый невыносимый зной, под палящими, полуденными лучами, лежа на раскаленном песке, воссылает, не прерывая вздохов, жалобы свои к сострадательному небу. И над этим, и тем, и над одним, и над другим свободно и беззаботно торжествует красавица Марсела. Все мы, знающие ее, ждем, где окажется предел ее гордости, и кто будет тот счастливец, которому удастся смягчить такое жестокое сердце и насладиться столь необычайной красотой. Так как все, что я вам рассказал, – несомненная истина, то я убежден, что и сообщение нашего пастуха о причине смерти Грисостомо, – такая же истина. Поэтому советую вам, сеньор, непременно отправиться завтра утром на похороны Грисостомо. Там будет на что посмотреть, потому что у Грисостомо немало друзей. А отсюда до места, где он велел похоронить себя, недалеко, – всего полмили.

– Непременно воспользуюсь этим случаем, – сказал Дон Кихот, – и очень

благодарю вас за удовольствие, доставленное мне столь занимательной историей.

– О, – ответил пастух, – я не знаю и половины приключений, случившихся с поклонниками Марселы. Но, может быть, завтра по дороге мы встретимся с каким-нибудь пастухом, который нам сообщит их, а теперь было бы хорошо, если бы вы пошли спать под кровлю, потому что ночная сырость может повредить вашей ране, хотя лекарство, положенное на нее, такого рода, что нельзя опасаться ничего дурного.

Санчо Панса, который посылал уже к черту многословие пастуха, со своей стороны тоже стал уговаривать своего господина, чтобы он лег спать в шалаше Педро. Дон Кихот так и сделал, но большую часть ночи провел, – подражая обожателям Марселы, – в воспоминаниях о своей сеньоре Дульсине. Санчо Панса устроил себе ночлег между Росинантом и своим ослом и спал, не как отверженный влюбленный, а как человек, немилосердно избитый.





Глава XIII

В которой оканчивается рассказ о пастушке Марселе и сообщаются другие события.

Едва лишь занялся день, выглянув из окон и балконов восточного неба, как из шести пастухов уже пятеро проснулись и, разбудив Дон Кихота, сказали ему, что готовы сопровождать его, если он остался при своем намерении пойти на необычайные похороны Грисостомо. Дон Кихот, который только этого и желал, сейчас же поднялся и велел Санчо поскорее седлать Росинанта и осла, что Санчо и поспешил исполнить, после чего все быстро двинулись в путь. Не проехали они и четверти мили, как увидели, что навстречу им, когда они пересекали тропинку, идут около шести пастухов, оде-

тых в черные овчины, с венками из кипариса и горького олеандра на головах, и каждый из них держит в руках толстую палку из терновника. Между ними виднелись также и два всадника в изящных дорожных костюмах, сопровождаемые тремя пешими слугами. Встретившись, обе стороны вежливо раскланялись друг с другом и обменялись вопросами, куда лежит их путь? Оказалось, что все отправляются на погребение Грисостомо, и поэтому они решили теперь идти вместе. Один из двух всадников, обратившись к своему товарищу, сказал:

– Мне кажется, сеньор Вивальдо, мы не пожалеем о том, что задержались в пути, чтобы присутствовать на замеча-

тельных этих похоронах; а они не могут быть не замечательны, судя по удивительному рассказу пастухов как об умершем их товарище, так и о смертоносной пастушке.

– Я разделяю ваше мнение, – ответил Вивальдо, – и был бы готов просрочить не только день, а даже целых четыре, чтобы присутствовать на этих похоронах.

Дон Кихот спросил у них, что собственно они слышали о Грисостомо и Марселе? Путешественники ответили, что ранним утром сегодня они встретились со своими спутниками пастухами и, увидав их в столь печальном облачении, спросили, почему они так одеты? В ответ один из них рассказал им о причудах и необычайной красоте пастушки, называемой Марселей, о любви к ней многочисленных ее поклонников, добивающихся руки ее, и о смерти того Грисостомо, на похороны которого они теперь идут. Словом он повторил все то, что Педро уже рассказал Дон Кихоту. Этот разговор прекратился и начался другой, так как всадник, который назывался Вивальдо, спросил Дон Кихота, что побуждает его разезжать вооруженным с ног до головы по столь мирной стране?

На это Дон Кихот ответил:

– Обязанности моей профессии не допускают и не позволяют мне странствовать в ином виде. Довольство, роскошь и ленивый отдых изобретены лишь для изнеженных царедворцев, а труд, тревоги и оружие изобретены и созданы для тех, которых свет называет странствующими рыцарями и к числу которых принадлежу и я, хотя и недостойный и самый незначительный из всех.

Едва они услышали эти слова Дон Кихота, как все сочли его за сумасшед-

шего, и, чтобы еще более удостовериться в этом и узнать, какого рода у него помешательство, Вивальдо опять обратился к нему, спрашивая, что же собственно он понимает под словом «странствующий рыцарь»?

– Разве вы, милости ваши, – ответил Дон Кихот, – не читали летописей и историй Англии, в которых идет речь о доблестных подвигах короля Артура, обыкновенно называемого у нас, в наших испанских романсах, королем Артуром? Старинное предание, очень распространенное во всем Великобританском королевстве, гласит, что король Артур не умер, а был превращен искусством волшебства в ворона, но с течением времени он вернется на царство и овладеет вновь своим скипетром и королевством. Вот почему не было примера, чтобы с той поры и до настоящего дня кто-либо из англичан убил ворона. Итак, во время доброго того короля был основан знаменитый орден рыцарей Круглого Стола¹, и тогда же случились, – точь в точь, как о них рассказывается, – романические похождения Лансарота дель Лого с королевой Хиневрой, причем посредницей и доверенным их лицом была весьма почтенная дуэнья Кинтаньяна; отсюда и получил свое начало столь общеизвестный и распространенный в Испании романс:

Никогда так не служили
Дамы рыцарям отменно,
Как служили Лансароту
В день приезда из Британии,

а после этих четырех строк следует трогательный и сладостный рассказ о его любовных похождениях и военных подвигах. Итак, с того времени, мало-помалу, этот рыцарский орден стал расширяться

¹ Самое древнее рыцарское учреждение, оно состояло из 24 рыцарей под председательством короля Артура и послужило образцом для Карла Великого и его двенадцати пэров.

и распространяться во многих и разных частях света. В нем приобрели известность и прославились своими подвигами храбрый Амадис Галльский со всеми сыновьями и внуками до пятого поколения и доблестный Феликсмарте Иркандский, и никогда достаточно не восхваленный Тиранте Белый, и непобедимый и отважный дон Белианис Греческий, которого мы чуть ли не в наши дни видели, слышали и сносились с ним. Вот это, сеньоры, и значит быть странствующим рыцарем, а орден, о котором я говорил, и есть орден странствующего рыцарства. К нему, как уже было сказано, принадлежу и я, грешный, и то, что исповедовали упомянутые рыцари, исповедую и я. Итак, я странствую по этим уединенным и пустынным местам, отыскивая приключения со смелой решимостью идти на встречу самой большой опасности, которую судьба может мне послать, если только дело коснется защиты и поддержки угнетенных и гонимых.

Эта речь Дон Кихота окончательно убедила путешественников в его умопомешательстве и выяснила им, какого оно рода, что столь же сильно удивило их, как удивляло и всех, кто впервые узнавал о его безумии. Тогда Вивальдо, человек остроумный и веселый, вздумал, – чтобы, не скучая, провести ту незначительную часть дороги, которая, как им говорили, еще оставалась до места погребения, – дать случай Дон Кихоту зайти еще дальше в его нелепостях. Итак, он сказал:

– Мне кажется, сеньор странствующий рыцарь, что милость ваша избрала себе одну из самых суровых профессий в мире, и я думаю, что даже орден картезианских монахов не столь суров.

– Быть может, он и столь же суров, – ответил Дон Кихот, – но так ли необходим он миру? В этом я сильно сомневаюсь, потому что, говоря по правде,

солдат, исполняющий приказание, данное ему начальником, делает не менее, чем начальник, давший ему приказание. Я хочу сказать вот что: монахи в полном спокойствии и тишине молят небо о ниспослании благ земле, мы же, – воины и рыцари, – приводим в исполнение то, о чем они молят небо, – защищая все это силой рук наших и острием наших мечей, притом не под кровлей, а под открытым небом, подвергаясь летом невыносимому зною солнечных лучей, а зимой леденящему дыханию мороза. Таким образом, мы – слуги Бога на земле, – руки, которыми совершается его правосудие. А так как боевые подвиги и все, что к ним относится и с ними соприкасается, может быть выполнено лишь только благодаря усилиям и труду в поте лица, – из этого следует, что люди нашей профессии несут, несомненно, больше тягот, чем те, которые со всеми удобствами, в тишине и спокойствии молят Бога о защите слабых. Я не хочу сказать этим, и мне и в голову не приходило, что звание странствующего рыцаря столь же хорошо, как и звание удалившегося от мира монаха; я только желал бы, – судя потому, что сам терплю, – вывести заключение, что звание странствующего рыцаря, несомненно, более тягостно, чем звание монаха, более подвержено ударам, голоду, жажде, нужде, лохмотьям и вшивости, потому что не подлежит сомнению, что и прежние странствующие рыцари переносили много страданий в течение своей жизни. И если некоторым из них, – благодаря их отваге и мужеству, – удалось возвыситься до звания императоров, по чести говоря, им пришлось недешево заплатить за это своей кровью и потом. И если б тем, которые поднялись до такой высоты, не покровительствовали волшебники и мудрецы, желания их не были бы осуществлены, и надежды их были бы обмануты.

– И я держусь того же мнения, – ответил путешественник, – Но мне, в числе многих других вещей, одна в особенности не нравится у странствующих рыцарей: когда они очутятся лицом к лицу с великим и опасным приключением, явно угрожающим их жизни, в это мгновение они не думают поручать себя Богу, как всякий христианин должен бы это делать в подобного рода положении, – а, напротив, они поручают себя своим дамам с таким жаром и благоговением, точно эти дамы заменяют им Бога, – вещь, которая, как мне кажется, отзывается несколько язычеством.

– Сеньор, – ответил Дон Кихот, – без этого нельзя никак обойтись, и плохо пришлось бы тому странствующему рыцарю, который поступил бы иначе, так как нравы и обычаи странствующего рыцарства требуют, чтобы, собираясь совершить какой-либо военный подвиг, рыцарь видел перед собой свою даму и устремлял на нее взгляд, полный нежности и любви, как бы прося ее о защите и покровительстве в предстоящей ему грозной стычке. И хотя бы никто его не слышал, он все же обязан произнести сквозь зубы несколько слов, которыми от всего сердца поручает себя своей сеньоре, относительно чего мы имеем бесчисленные примеры в рыцарских историях. Но из этого не следует вовсе, чтобы рыцари не поручали себя и Богу, на что у них в продолжение битвы найдется достаточно времени и возможности.

– Тем не менее, – возразил путешественник, – у меня остается еще одно сомнение, а именно не раз читал я, что двое странствующих рыцарей начнут спорить между собой, и, слово за слово, у них разгорится гнев, они поворачивают лошадей и, отъехав на некоторое расстояние, тотчас же, без дальнейших рассуждений, стремительно, полным галопом

несутся друг на друга, поручая себя в эти мгновения своим дамам. Последствием подобной схватки обыкновенно бывает то, что один из рыцарей, проколотый насквозь копьем своего противника, падает с лошади навзничь, и с другим случилось бы тоже, если б он не удержался за гриву своего коня. Вот я и не понимаю, каким образом убитый рыцарь мог бы во время столь быстрой схватки найти минуту, чтобы поручить себя Богу. Было бы лучше, если б он, бросаясь на противника, не поручал себя своей даме, а обратился к Богу, как это должен делать и как это приличествует каждому христианину. Тем более, что, насколько мне известно, не у всех странствующих рыцарей имеются дамы, которым они могут себя поручать, потому что не все же рыцари влюблены.

– Этого не может быть, – ответил Дон Кихот, – я говорю, что не может быть, чтобы странствующий рыцарь не имел дамы, потому что быть влюбленным так же естественно и так же свойственно рыцарю, как небу сиять звездами. Наверное, никто еще не читал истории, где странствующий рыцарь не был бы влюблен. А даже в случае, если бы такой рыцарь и нашелся, он не мог бы считаться настоящим, полноправным рыцарем, а лишь незаконным сыном рыцарства, который вошел в крепость нашего ордена не через ворота, а перелез туда через забор, как вор и разбойник.

– Тем не менее, – сказал путешественник, – мне кажется, (если только я не ошибаюсь), будто я читал, что дон Галаор, брат храброго Амадиса Галльского, не имел какой-либо известной дамы, которой он мог бы поручать себя, и, несмотря на это, им нимало не пренебрегали, и он считался очень доблестным и знаменитым рыцарем.

На это наш Дон Кихот ответил:

– Сеньор, одна ласточка не делает еще весны, тем более, что, как мне известно, и этот рыцарь был втайне сильно влюблен, не говоря уже о том, что увлекаться каждой, которая ему казалась красивой, было присуще его природе, и побороть этого он не мог. В конце концов, вполне доказано, что и у него была одна лишь дама, которую он избрал повелительницей своих дум, и ей он поручал себя очень часто и в полнейшей тайне, так как особенно гордился тем, что он скрытный рыцарь.

– Если так существенно, чтобы каждый странствующий рыцарь был влюблен, – сказал путешественник, – можно легко предположить, что и вы, ваша милость, тоже влюблены, раз вы принадлежите к рыцарскому ордену. И если вы, сеньор, не гордитесь тем, что вы столь же скрытны, как и дон Галаор, убедительнейше прошу вас, от моего имени и всех здесь присутствующих, сообщить нам звание, родину и имя вашей дамы и описать нам ее красоту, так как она, несомненно, сочтет за счастье, чтобы весь мир знал, что ее любит и ей служит такой доблестный рыцарь, каким вы, милость ваша, кажется.

Тут Дон Кихот глубоко вздохнул и сказал:

– Не берусь утверждать, желает ли, или нет моя очаровательная неприятельница, чтобы весь мир знал, что я ей служу. Могу лишь в ответ на столь вежливо обращенную ко мне просьбу сказать, что имя ее – Дульсинея, родина – местечко в Ламанче Тобосо, звание – по меньшей мере принцесса, так как она моя повелительница и королева. Красота ее – сверхчеловеческая, потому что в ней осуществлены все невозможные и фан-

тастические признаки красоты, которые поэты приписывают своим дамам, так как волосы ее – золото, лоб – елисейские поля, брови – небесные радуги, глаза – солнечные светила, щеки – розы, губы – кораллы, зубы – жемчуг, шея – алебастр, грудь – мрамор, руки – слоновая кость, белизна ее кожи – снег, а остальные прелести, которые целомудрие скрывает от человеческих взоров, таковы, как я думаю и понимаю, что из сдержанности не следует их ни к чему приравнивать, а только молча восхищаться ими.

– Мы бы желали также знать ее род, происхождение и всю генеалогию, – сказал Вивальдо.

На это Дон Кихот ответил:

– Она не происходит ни от древних римских Курциев, Кайев и Сципионов, ни от современных Колонна и Урсино, ни от Монкадос и Рекесенс Каталонских, а также ни от Ребелла и Вилланова Валенсийских, ни от Палаfoxес, Нуса, Рокаберти, Корелла, Луна, Алагоне, Урреа, Фосе и Гурреа Арагонских, ни от Серды, Манрика, Мендосы и Гусмана Кастильских, ни от Аленкастро, Палла и Мейеса Португальских, – она происходит из рода Тобосо Ламанчского, хотя и нового, но такого, который может послужить благородной колыбелью для самых знаменитых родов грядущих времен. И пусть никто мне на это не возражает, разве только под условием, начертанном Сербино на подножии трофеев, сложенных из оружия Роланда, а именно:

Пусть только тот дерзает

прикоснуться к ним,

Кто, как Роланд, в бою непобедим!

– Хотя я и происхожу из рода Качо-пинос¹ де Ларедо, – сказал Вивальдо, –

¹ Cachopines называли в Америке тех, которые оттого лишь, что они там разбогатели, хвастались древним происхождением, не обладая им; в Испании же, Cachopines de Laredo; Ларедо – астурийский приморский город, прозвище астурийцев, вследствие их характера.

но я не осмелюсь сопоставить его с родом Тобосо-Ламанчским, хотя, по правде говоря, до сих пор я никогда не слышал о такой фамилии.

– Удивляюсь, как это могло случиться, – ответил Дон Кихот.

Все остальные, бывшие тут, слушали с большим вниманием разговор этих двух лиц, и даже козопасы и пастухи заметили полное отсутствие здравого рассудка в нашем Дон Кихоте, один лишь Санчо Панса думал, что все сказанное его господином – истина, так как знал, кто он такой, и видел его с детства, и если в чем-либо сомневался, то лишь только относительно прелестной Дульсинеи Тобосской, потому что никогда ничего не слышал ни о таком имени, ни о такой принцессе, хотя он и жил так близко от Тобосо. Продолжая путь в такого рода разговорах, они вдруг увидели, как из ущелья, образованного двумя высокими горами, спустилось около двадцати пастухов, облаченных в черные бараньи шкуры и увенчанных венками, частью из тисовых, частью из кипарисовых ветвей. Как потом оказалось, шестеро из этих пастухов несли носилки, покрытые множеством зелени и разного рода цветами. Увидев это, один из козопасов сказал:

– Вот идут пастухи, которые несут тело Грисостомо, а там вот место у подножия горы, где он велел похоронить себя.

Тогда все ускорили шаг и как раз прибыли туда, когда носилки были опущены на землю и четверо из тех, которые их несли, принялись острыми кирками высекать могилу в твердой скале.

Все вежливо приветствовали друг друга. Дон Кихот и бывшие с ним тотчас подошли к носилкам и увидели на них труп в одежде пастуха, прикрытый цветами. На вид мертвецу казалось лет около тридцати, и даже теперь видно

было, что он при жизни был очень красивый, стройный и рослый. Кругом него, на тех же носилках лежало несколько книг и много сложенных и развернутых бумаг. Присутствующие, – как те, которые смотрели на мертвеца, так и те, которые высекали ему могилу, и все остальные – хранили торжественное молчание, пока один из принесших покойника не сказал:

– Посмотрите хорошенько, Амбросио, действительно ли это то самое место, о котором говорил Грисостомо, раз вы желаете, чтобы все, что он завещал, было исполнено в точности.

– Это то самое место и есть, – ответил Амбросио, – так как много раз несчастный друг мой рассказывал мне именно здесь повесть своих страданий. Тут, по его словам, увидел он впервые этого заклятого врага человеческого рода, Марселу; тут открыл он ей впервые свою столь же чистую, как и пламенную любовь, и тут же Марсела в последний раз презрительно отвергла его, вследствие чего Грисостомо положил конец трагедии своей грустной жизни. И тут же, в память стольких несчастий, он пожелал, чтобы предали его в лоно вечного забвения.

И обращаясь к Дон Кихоту и к путешественникам, Амбросио сказал:

– Это тело, сеньоры, на которое вы смотрите растроганными глазами, служило оболочкой для души, одаренной небом неисчислимой долей его богатств. Это – тело Грисостомо, который был единственным по уму, беспримерным по благородству, выдающимся по доброте, фениксом в дружбе, щедрым беспредельно, серьезным без заносчивости, веселым без пошлости, – словом, он был первым во всем, что считается добродетелью, и не имел себе равного во всем, что называется несчастьем. Он

любил, – его ненавидели; он боготворил, – его отвергли с презрением; он обращался с мольбой к лютому зверю, пытался одушевить мрамор, гнался за вихрем, думал быть услышанным в пустыне, поклонялся неблагодарности, и в награду за это стал добычей смерти в середине поприща своей жизни, прекращенной той самой пастушкой, имя которой он пытался обессмертить в памяти людской, что могли бы засвидетельствовать эти вот бумаги, лежащие перед вами, если бы он не завещал мне предать их огню после того, как тело его будет предано земле.

– Если вы это сделаете, – сказал Вивальдо, – вы поступите с ними более сурово и жестоко, чем собственный их автор, – потому что несправедливо и неумно исполнять волю того, кто в своих распоряжениях переходит все границы здравого смысла; и Август Цезарь поступил бы дурно, если бы согласился привести в исполнение то, что требовал в своем завещании божественный певец Мантуи¹. Итак, сеньор Амбросио, предавая тело вашего друга земле, не предавайте произведений его забвению, потому что, если он, – как глубоко оскорбленный человек, – и велел это сделать, не хорошо было бы, чтобы вы, – как неразумный человек, – исполнили его волю. Напротив, даровав жизнь его рукописям, увековечьте этим память о жестокости Марселы, чтобы жестокость эта служила предостережением тем, кто будет жить в грядущие времена, и они могли бы избегать и отстраняться от подобного рода пропастей. И я, и все прибывшие сюда, мы знаем историю вашего влюбленного и впавшего в отчаяние друга; знаем и о вашей дружбе к нему, о причине его смерти, и о предсмертных

его распоряжениях. Из этой плачевной истории можно вывести заключение, как велика была жестокость Марселы, любовь Грисостомо, постоянство вашей дружбы, и какой конец ожидает тех, которые стремглав несутся по пути, указанному им безрассудной их любовью. Вчера вечером узнали мы о смерти Грисостомо и о том, что его собираются похоронить здесь, в этом месте. Поэтому, движимые любопытством и состраданием, свернули мы с прямого нашего пути и решили отправиться сюда, чтобы собственными глазами видеть то, что столь глубоко взволновало нас, когда мы об этом слышали. А в награду за наше участие и родившееся в нас желание оказать помощь, если б было возможно, – мы просим тебя, благородный Амбросио, (по крайней мере, я со своей стороны умоляю тебя) вместо того, чтобы предать эти бумаги огню, позволь мне взять некоторые из них с собой.

И не ожидая ответа пастуха, Вивальдо протянул руку и взял несколько листов из тех, которые лежали ближе к нему. Увидав это Амбросио сказал:

– Из любезности я согласен оставить у вас, сеньор, взятые вами рукописи. Но думать, что я не сожгу остальные, – надежда тщетная.

Вивальдо, желавший скорее узнать, что написано в рукописях, взятых им, поспешно развернул одну из них и прочел заглавие: «*Песня отчаяния*». Услышав это, Амбросио сказал:

– Это последние стихи, написанные несчастным моим другом, и чтобы вы, сеньор, видели до какого отчаяния довели его несчастья, прочитайте вслух эти стихи, так как времени у вас на это будет достаточно, пока кончат высекать могилу в скале.

¹ Намек на рассказ, переданный Плинием, о запрещении императора Августа сжечь поэмы Виргилия, как о том распорядился поэт в своем завещании.

– Сделаю это очень охотно, – сказал Вивальдо; и так как все присутствовавшие разделяли его желание, они окружи-

ли его, и он внятным голосом прочел то, что следует.





Глава XIV

В которой приводится исполненное отчаяния стихотворение умершего пастуха и рассказываются и другие неожиданные события.

ПЕСНЯ ГРИСОСТОМО

Коль ты сама, бездушная, желаешь,
Чтобы из уст в уста ко всем народам
Неслась молва о лютом твоём гневѣ, —
Так пусть же в грудь, истерзанную горем,
Сам ад волеет мне жалобные звуки,
И заглушат они мой прежний голос.
Хочу ужасным воплем я поведать
О скорбной участи моей и злых
Твоих поступках. Пусть весь мир узнает,
Какой жестокой пыткой истерзала
Мне сердце ты, разбитое тобой.
Так слушай же; внимай не сладким звукам,
А страшным стонам, вырванным из груди,

Богатой горем, властью исступленья
И силой мук жестоких, в облегченье,
В усладу мне, – тебе же лишь к досаде.
Пусть волка дикий вой и льва рыканье,
Шипенье змей чешуйчатых, и рев
Ужасных, нам неведомых чудовищ, –
Пусть крик зловещий ворона, шум бури
На лоне вод морских, мычанье
Быка сраженного, и одинокий
Голубки стон, – пусть зов совы печальной,
И плач сынов всей черной преисподней, –
Все, все скорей сольется в звук единый,
И этот звук, исторгнутый из глубы
Больной души, сумеет потрясти
Весь мир, все чувства, мысли все!!
Страдание мое так сильно, что о нем поведать
Нельзя путем обычным... К новым средствам,
К картинам новым должен я прибегнуть!..
Смешенье звуков страшных, – отголосок
Моей безумной скорби, – не услышат
Пески родного Тахо и оливы
Бетиса¹ славного, – здесь изолью я
Печаль мою на высях хмурых скал,
В глубы ущелий, – языком хоть мертвым,
Но речью полной жизни, – изолью
Печаль свою в местах я безотрадных,
Там, где нога людская не ступала,
В краях, где солнце никогда не светит,
Иль средь толпы чудовищ ядовитых,
Которых Нил питает и растит.
Но хоть в безлюдных, диких лишь пустынях
Звучать мой возглас будет, – отголосок
Глухой и смутный о моих страданиях
И о твоей жестокости безмерной,
Веленьем рока злого разнесется
Из уст в уста по всем концам вселенной.
Казнит и мучит ревность, – убивает
Презренье, – гасит жизни цвет и силу
Разлуки долгой гнет, – яд подозрений –
Правдивых, ложных-ли – терпенье губит
И нет защиты от тисков забвенья
В надежде твердой на любовь и счастье!

¹ Бетис – древнее название Гвадалквивира, берега которого обсажены и поныне оливковыми деревьями.

Во всем здесь смерть, – она неотразима, –
А я, – о диво дивное, – живу,
Живу, отвергнутый, томим презреньем,
Разлукой, ревностью и подозреньем, –
Горю в огне, снедающем меня!!
Средь стольких мук не вижу я просвета;
Не может взор мой уловить средь них
Хотя бы тень надежды отдаленной, –
И больше к ней взывать уж не хочу я;
В глухом отчаяньи, чтоб вдосталь горем
Упиться мне, – клянусь теперь во веки
Луча малейшего надежды убежать.
Возможно ль в тот же миг питать надежду
И страх, – иль хорошо ли, – это делать,
Когда причины страха непреложны?
И если ревность злая пред глазами
Стоит – закрыть их надо ль мне, раз видеть
Ее я вынужден в глубоких ранах
В кровавых ранах сердца моего?
Кто б не раскрыл отчаянью все двери,
Когда открытое к себе презренье
Он видит, и все то, что подозреньем
Лишь только было, обращенным в правду
Он видит, – правду ж – обращенной в ложь?
О, ревность, лютый деспот во владеньях
Любви, ты дай скорей мне нож свой в руки;
А ты, презренье, ты неси веревку
Для казни мне. Увы! непобедимо
Живет о вас еще воспоминанье
В душе моей средь ужасов страданья!
Но смерть близка... И так как не надеюсь
На счастье в жизни я иль в смерти, твердо
Держусь своих фантазий и скажу,
Что всех умней, кто всех сильнее любит,
Что всех свободней в мире тот, кто рабски
Тиранству древнему любви покорен, –
Что та, – которая меня сгубила, –
Душой прекрасна так же, как и телом,
Что сам в ее измене я повинен,
И что любовь царит и мирно правит
Лишь оттого, что столько в ней страданья.
С такими мыслями стяну я крепко
На шею петлю, и уйдя туда,
Куда ведет меня ее презренье,

Я ветрам тело бренное и душу
Отдам без палм и лавров благ грядущих.
А ты, чья горькая несправедливость
Меня принудила несправедливым
Быть к жизни – к юной, бедной жизни,
Теперь постылой мне и ненавистной, –
Ты видишь ли, что так сквозит открыто
Из сердца ран глубоких, – как на встречу
Твоим желаньям радостно иду я?
Но если б небо ясное прекрасных
Твоих очей неожиданно омрачилось
От ранней гибели моей, – не надо
Мне слез твоих, не надо мне награды
За то, что отдал я тебе всю душу!!
Нет, лучше смехом звонким докажи ты,
Что смерть моя – тебе веселый праздник!
Глупец, к чему об этом говорю я –
Ведь знаю: славой для себя сочтешь ты,
Чтоб я скорей к трагической развязке
Довел бы повесть жизни безотрадной!
Настало время... Из глубокой бездны
Явись, Тантал, с твоей ужасной жаждой,
И ты, Сизиф, с скалой безмерно тяжелой,
Пусть Прометей мне коршуна приносит,
Пусть с колесом ко мне спешит Эгион,
И с пыткой злой идут пусть Данаиды
С своей во век ненаполнимой бочкой;
Пусть все свои смертельные страданья
Они вольют мне в грудь и заунывно
Надгробный плач свершат (коль подобает
Он тем, кто впал в отчаянье) над трупом,
Лишенным всяких почестей прощальных,
И пусть привратник трехголовый ада
Со стаей всей химер и чудищ разных
Усилят хор печальный; – проводов иных,
Сдается мне, иного погребенья
Не стоит тот, кто умер от любви!
О, песнь отчаянья, ты воплем скорби,
И криком муки не греми над миром!
Коль той, из-за которой ты родилась,
Мое несчастье – счастье лишь приносит,
А скорбь моя дарит веселье, – лучше
Умолкни навсегда со мной в могиле!»

Слушателям очень понравилось стихотворение Грисостомо, но читавший его Вивальдо сказал, что, по его мнению, оно противоречит молве о скромности и целомудрии Марселы, так как Грисостомо жалуется на ревность, подозрения и разлуку, в ущерб доброму имени и доброй славе Марселы. На это Амбросио, как человек, хорошо знавший даже тайные мысли своего друга, ответил так:

– Желая рассеять ваши сомнения, сеньор, я должен вам сказать, что, когда несчастный писал эту песнь, он действительно находился вдали от Марселы, с которой не виделся по доброй своей воле, решив испытать, не окажет ли и на него разлука обычного своего действия. А так как всякая безделица тревожит отсутствующего влюбленного и его терзают разные мнимые страхи, то и Грисостомо мучился воображаемой ревностью и воображаемыми подозрениями, точно действительными. Таким образом, все, что молва разглашает о добродетели Марселы, остается по-прежнему истинным, и, за исключением того, что она жестокосерда, несколько заносчива и очень пренебрежительна, – сама зависть не может и не должна обвинять ее в каком бы то ни было проступке.

– Совершенно верно, – ответил Вивальдо. И он только что собрался прочесть еще одну из рукописей, спасенных им от огня, но ему помешало чудное видение (оно казалось таковым), внезапно представшее перед их глазами. Дело в том, что на вершине скалы, у подножия которой высекали могилу, появилась пастишка Марсела, такая прекрасная, что красота ее превосходила все, что о ней говорили. Те, кто впервые ее видели, смотрели на нее с безмолвным восхищением, и даже те, которые уже привыкли

ее видеть, были поражены не менее видевших ее впервые.

Но едва ее заметил Амбросио, как он, глубоко возмущенный, сказал, обращаясь к ней:

– Быть может, о лютый василиск этих гор, ты явилась сюда посмотреть, не раскроются ли вновь в твоём присутствии раны этого несчастного, которого лишила жизни твоя жестокость? Или же ты намерена хвалиться ужасными своими подвигами, или смотреть с вершины этой скалы, точно второй бездушный Нерон, на пожар пылающего Рима, или надменно попираешь ногами несчастный этот труп, как бесчеловечная дочь попирала труп своего отца Тарквиния?¹ Говори скорей, зачем явилась ты сюда, или что собственно тебе угодно, потому что, хорошо зная, как при жизни Грисостомо не переставал подчиняться тебе во всех своих помышлениях, я постараюсь, чтобы и после его смерти твоим желаниям подчинялись все те, которые назывались его друзьями.

– Я пришла, о Амбросио, не для того, о чем ты говоришь, – ответила Марсела, – а только для того, чтобы защитить себя и доказать, как несправедливо судят те, которые винят меня в своих страданиях и в смерти Грисостомо. Итак, прошу всех здесь присутствующих внимательно выслушать меня, потому что не потребуется ни много времени, ни много слов, чтобы убедить умных людей в истине. Небо, – как вы говорите, – создало меня красивой и столь красивой, что вы не имеете сил противостоять моей красоте, и она побуждает вас любить меня, а за любовь, которую вы мне выражаете, вы думаете и воображаете, что и я обязана любить вас. Благодаря разуму, которым Бог одарил меня, я знаю, что все прекрасное мило нашему сердцу, но не могу

¹ Не Тарквиний, а Сервий Туллий.

понять, почему тот, которого любят за красоту, обязан любить того, кто его любит? Тем более, могло бы ведь случиться, что любящий красивое сам безобразен, а так как безобразное достойно отвращения, было бы несправедливо сказать: «Я люблю тебя за то, что ты красива: ты должна любить меня, хотя я безобразен». Но если мы предположим случай, что красота с обеих сторон равная, из этого еще не следует, чтобы и желания были равные: ведь, не всякая красота вызывает любовь, – иная радует глаз, но не покоряет сердце. Если бы всякая красота вызывала любовь и покоряла сердца, то желания пришли бы в столь великое смятение и так бы сбились с толку, что не могли бы ни на чем остановиться; потому что, если количество прекрасных предметов бесчисленно, то и желания должны бы быть бесчисленны; и судя по тому, что я слышала, истинную любовь нельзя делить, и она должна быть свободной, а не вынужденной. Если же это так, – а я думаю, что это так, – как же вы можете требовать, чтобы я насиловала свою волю только потому, что вы говорите, что любите меня? А если нет, скажите мне: раз небо, создавшее меня красивой, создало бы меня безобразной, могла бы я по справедливости негодовать на вас за то, что вы меня не любите? Сверх того, вам еще следует принять во внимание, что красоту, которою я обладаю, не я себе избрала, а такую, какою она есть, получила ее в дар свыше, не прося и не добиваясь ее. И подобно тому, как нельзя винить змею за смертоносный яд в ее жале, хотя она и убивает им, потому что он дан ей природой, – точно также нельзя упрекать и меня за то, что я красива; ведь, красота добродетельной женщины подобна дальнему огню или острому мечу: огонь не жжет и меч не режет тех, которые к ним не приближаются. Честь

и добродетели – украшения души, без которых тело, хотя бы оно и было красиво, не должно казаться таковым. Если же целомудрие – одна из добродетелей, придающих наибольшую прелесть и украшающих тело и душу, почему же та, которую любят за ее красоту, должна потерять целомудрие, чтобы удовлетворить желания человека, который единственно ради своего удовольствия, прилагает все усилия и старания лишить ее этой добродетели? Я родилась свободной, и чтобы иметь возможность жить свободной, избрала уединение полей: деревья на горах этих – мое общество; прозрачные воды ручейков – мои зеркала; деревьям и ручейкам доверяю я свои мысли и свою красоту. Я – дальний огонь, который не жжет, я – меч, отложенный в сторону. Тех, которые влюблялись в меня, увлекаясь моей красотой, я разочаровывала моими словами; а если желания питаются надеждами, так как я не дала никакой пищи желаниям Грисостомо, ни кого-либо другого, словом, никому, – можно было бы скорее сказать, что Грисостомо убило его упорство, а не моя жестокость. Если же мне ставят в вину, что намерения его были чисты, и поэтому я, будто бы, была обязана не отталкивать его, я отвечу: когда он здесь, на этом самом месте, где теперь ему высекают могилу, открыл мне чистоту своих намерений, я сказала ему, что мое намерение жить в постоянном уединении, и лишь одна земля насладится плодами моего уединения и бrenными останками моей красоты. Если, после столь решительного ответа, он все же упорствовал в своих надеждах и плыл против течения, что удивительного в том, что он утонул в водовороте собственного своего безумия? Если б я обнадежила его, я бы солгала; если б исполнила его желание, – я поступила бы в разрез с лучшими моими чувствами и намере-

ниями. Выведенный из заблуждения, он все-таки упорствовал, и, хотя никто его не ненавидел, он впал в отчаяние; теперь решайте, справедливо ли винить меня в его страданиях? Пусть жалуется тот, кого обманули, впадает в отчаяние тот, кого опутали лживыми надеждами, ждет чего-либо тот, кого я зову, и хвалится тот, кого я допущу к себе; но пусть не называет меня жестокой или убийцей тот, кого я не обманывала, кому ничего не обещала, кого не увлекала и не звала. Небу до сих пор еще не было угодно, чтобы сама я полюбила, а думать, что я полюбила по чужому указанию, об этом не может быть и речи. Пусть же это общее мое предостережение послужит на пользу всем тем, которые ухаживают за мной, и отныне впредь станет известным, что если еще кто-нибудь умрет из-за меня, его убьет не ревность ко мне и не пренебрежение мое, потому что тот, кто никого не любит, не может и внушить никому ревности, а откровенное признание, что не любишь, не должно быть сочтено за пренебрежение. Тот, кто меня называет лютым зверем и василиском, пусть избегает меня, как избегают всего злого и опасного; тот, кто считает меня неблагодарной, пусть не ухаживает за мной, – кто считает бесчувственной, не ищет моего общества, – кто считает жестокой, не идет за мной; так как этот зверь, этот василиск, эта неблагодарная, эта жестокая и бесчувственная, никоим образом не будет искать их, служить им, знакомиться с ними и следовать за ними. И если Грисостомо убили его нетерпение и страстные желания, почему же слагать вину за это на мою скромность и осмотрительность? Если я сохраняю чистоту свою среди деревьев, как может требовать, чтобы я ее утратила, тот, который желает, чтобы я сохраняла ее среди людей. Я, как вам известно, сама владею богатством и не стремлюсь присвоить

себе чужое; я свободна и не чувствую желания надеть на себя ярмо; я не люблю никого и ни к кому не питаю ненависти; не обманываю этого, не увлекаю того, не насмехаюсь над одним, не развлекаюсь с другим. Дружеские разговоры с пастушками окрестных деревень и забота о своих козах – вот что меня занимает; желания мои не переходят за предел этих гор, а если они и переступают через него, то лишь только затем, чтобы созерцать красоту неба – этот путь, по которому человеческая душа возносится к первоначальной своей обители.

С этими словами Марсела, не дожидаясь ответа, повернулась и исчезла в густой чаще ближнего леса, покрывавшего горные склоны, оставив всех присутствовавших в восхищении как от ее ума, так и от ее красоты. Некоторые (из числа очарованных волшебными стрелами прекрасных ее глаз) собрались, по-видимому, следовать за нею, вопреки только что слышанному столь ясному предупреждению. Заметив это, Дон Кихот – так как ему казалось, что настала пора для выполнения его рыцарских обязанностей вступаться за девушек, нуждающихся в защите – схватился за рукоятку своего меча и воскликнул громким и внятным голосом:

– Пусть никто, – какое бы он ни занимал положение, к какому бы ни принадлежал званию, – не осмелится следовать за красавицей Марселою, под страхом навлечь на себя мое яростное негодование. Убедительными и ясными доводами доказала она незначительность, или, вернее, отсутствие всякой ее вины в смерти Грисостомо, а также, – насколько далека от нее мысль снизить к желаниям кого-либо из ее поклонников. Итак, по справедливости, вместо того, чтобы следовать за нею и преследовать ее, все благомыслящие люди в мире

должны были бы уважать и чтить ее, так как выяснилось, что одна она живет на свете с столь чистыми намерениями.

Вследствие ли угроз Дон Кихота, или потому что Амбросио просил до конца оказать последний долг его дорогому другу, никто из пастухов не двинулся с места и не ушел до тех пор, пока не окончили высекать в скале могилу, бумаги Грисостомо не были сожжены и труп его не был опущен в гробницу среди слез, проливаемых всеми присутствующими. Могилу прикрыли временно большим обломком скалы, пока не будет готова плита, которую Амбросио, как он сообщил, решил заказать с нижеследующей эпитафией:

Пастуха здесь труп безгласный,
Труп недвижимый зарыт.
Был он юн; любовью страстной
Он пылал, – и ей убит.
Он убит, сведен в могилу
Девой, камня холодной,
Но Амур-тиран дал силу,
Дал ей власть среди людей.

Затем они осыпали могилу цветами и зелеными ветками, и, выразив чувство соболезнования другу покойного, Амб-

росио, простились с ним. Тоже сделали Вивальдо и его товарищ, а Дон Кихот простился с бывшими своими хозяевами и с путешественниками, которые уговаривали его ехать с ними в Севилью, так как это самое подходящее место для искателя приключений: там на каждой улице, на каждом перекрестке можно найти их больше, чем где бы то ни было. Дон Кихот поблагодарил путешественников за совет и за желание оказать ему услугу, но объявил, что он не может и не должен ехать в Севилью, пока не очистит окрестные горы от мошенников и разбойников, которыми они, по слухам, переполнены. Узнав о его похвальном намерении, путешественники не пожелали больше докучать ему и, снова простившись с ним, отправились своим путем, в продолжение которого у них было о чем поговорить, – как об истории Марселя и Грисостомо, так и о безумии Дон Кихота. А этот последний решил разыскать пастушку Марселу и предложить ей свои услуги. Но случилось иначе, чем он предполагал, что мы и узнаем из продолжения правдивой этой истории, вторая часть которой оканчивается здесь.¹



¹ Сервантес первоначально разделил первый том Дон Кихота на четыре части, в подражание *Амадиса Галльского*, но не довел этого намерения до конца, и второй том назвал лишь *второй частью*, разделив ее только на главы.



Глава XV

В которой рассказывается о несчастном приключении, случившемся с Дон Кихотом при встрече с несколькими злобными Янгүэсами¹.

Мудрый Сид-Амет Бенехели рассказывает, что, когда Дон Кихот простился со своими хозяевами и со всеми присутствовавшими на похоронах пастуха Грисостомо, он и его оруженосец отправились в тот самый лес, куда, как они видели, удалилась пастушка Марсела. Но проискав ее там больше двух часов и не найдя, они, наконец, очутились на лугу, покрытом зеленой травой. Вблизи его журчал прохладный и свежий ручеек, пленивший их, и они соблазнились провести здесь часы сиесты², укрывшись от полуденного зноя. Дон Кихот и Санчо спешили, и, предоставив ослу и Росинанту пастись во всю их волю на лугу, покрытом обильной травой, они достали дорожные сумки, и без всякой церемонии, в добром мире и согласии, господин и слуга сели и стали истреблять все, что там нашлось. Санчо не позаботился спутать ноги Росинанту, так как считал его столь добронравным и степенным, что все кобылы с пастбищ Кордовы не смогли бы совратить его с

правого пути. Но судьба и дьявол – который не всегда спит – устроили так, что на этом лугу пасся табун галицийских кобыл, принадлежавших нескольким галицийским погонщикам, а у них в обычае делать в полдень привал со своими животными в местах, изобилующих травой и водой, и та поляна, где как раз находился Дон Кихот, была очень подходящая и для галицийских погонщиков. Случилось однако, что Росинант почувствовал охоту позабавиться с сеньорами кобылами, и, лишь только он их почуял, как, совершенно противно своим обычаям и природе, он, не спрашивая позволения у господина, мелкой, проворной рысцой направился сообщить им о своей потребности. Но кобылы, по-видимому, больше желали пастись, чем чего-либо другого, и приняли его ударами копыт, и стали грызть зубами, так что разорвали ему подпругу, и он стоял голый, без седла. Однако чувствительнее всего для него оказалось то, что погонщики, увидав его насильственные покушения на кобыл, подбежали к нему с дубинами, и так немилосердно стали бить его, что

¹ Обитатели Янгүэского округа, в провинции Риола, в Старой Кастилии. И теперь еще они же больше частью занимаются извозом.

² Сиеста – послеобеденный сон или полуденный отдых.

он свалился на землю в весьма жалком состоянии. В это время Дон Кихот и Санчо, увидавшие как били Росинанта, прибежали запыхавшись, и Дон Кихот сказал, обращаясь к Санчо:

– Насколько я вижу, друг Санчо, эти люди не рыцари, а чернь, низкий сброд; говорю это потому, что ты в полном праве помочь мне в справедливой моей мести за обиду, нанесенную на наших глазах Росинанту.

– Какая тут к черту месть, – ответил Санчо, – если их больше двадцати, а нас два или, пожалуй, всего лишь полтора человека?

– Один я стою сотни, – возразил Дон Кихот, и, не тратя больше слов, обнажил меч и устремился на погонщиков. Тоже сделал и Санчо Панса, возбужденный и воспламененный примером своего господина. Дон Кихот с первого разу нанес одному из погонщиков удар, которым разрубил бывшее на том кожаное полукафтанье, а также и значительную часть плеча. Галицийцы, увидав, что с ними так жестоко расправляются всего лишь два человека, а их самих так много, схватили дубины и, окружив своих противников, с величайшим ожесточением и пылом стали осыпать их градом ударов. Правда, что со вторым ударом Санчо уже лежал на земле, и тоже случилось и с Дон Кихотом, которому не помогли ни ловкость его, ни мужество. Судьбе было угодно, чтобы он упал к ногам Росинанта, который все еще не мог подняться, из чего легко вывести заключение, как ужасно действуют дубины в руках рассерженных крестьян. Когда галицийцы увидели, какую они заварили кашу, они с величайшей поспешностью навьючили своих кобыл и продолжали путь, оставив двух искателей приключений распростертыми на земле в очень незавидном

состоянии и еще худшем расположении духа.

Первым пришел в себя Санчо Панса. Увидав, что он лежит рядом со своим господином, он слабым и жалобным голосом проговорил:

– Сеньор Дон Кихот, – ах, сеньор Дон Кихот!

– Чего ты желаешь, брат Санчо? – отозвался Дон Кихот таким же слабым и жалобным голосом, как и Санчо.

– Я хотел бы, если б это было возможно, – сказал Санчо Панса, – чтобы ваша милость дала мне глотка два бальзама Фео-Бласа¹, в случае, если он у вас под рукой. Быть может, он окажется таким же целебным для перелома костей, как и для ран.

– Если б я имел его здесь, – несчастный я, – чего же бы еще недоставало нам, – ответил Дон Кихот. – Но клянусь тебе, Санчо Панса, честью странствующего рыцаря, что не позже двух дней (если только судьба не решит иначе) бальзам этот будет в моем распоряжении или же у меня перестанут действовать руки.

– А как вы думаете, ваша милость, сколько потребуется времени, чтобы мы были в состоянии двигать ногами? – спросил Санчо Панса.

– О себе могу сказать, – ответил избитый рыцарь Дон Кихот, – что не сумею определить этому срок, но во всем случившемся виноват я сам, потому что мне не следовало обнажать меча против людей, которые не были, подобно мне, посвящены в рыцари. Итак, я думаю, что в наказание за то, что я нарушил рыцарские законы, Бог сражений допустил, чтобы эта кара постигла меня. Вот почему, Санчо Панса, ты должен обратить внимание на то, что я сейчас скажу, так как это очень важно для обоюдного

¹ Вместо Фиерабраса.



... они, наконец, очутились на лугу, покрытом зеленой травой...

нашего, твоего и моего, благополучия, – именно: если ты увидишь, что подобный сброд начнет оскорблять нас, не жди, чтобы я обнажил против них свой меч, – этого я никогда больше не сделаю, – а вынимай свой и руби им сколько душе твоей угодно. Если же на помощь и в защиту им явятся рыцари, я сумею со всей своею мощью защитить тебя и отразить их. Ты ведь на тысяче примеров и опытов видел, до чего простирается доблесть этой моей сильной руки.

Вот каким заносчивым стал бедный сеньор после своей победы над храбрым бискайцем. Но это предупреждение господина не очень-то понравилось Санчо Пансе, так что он не удержался, чтобы ни ответить ему:

– Сеньор, я – человек тихий, спокойный и миролюбивый, и могу снести какую бы то ни было обиду, потому что имею жену и детей, которых я должен прокормить и воспитать. Итак, я тоже предупреждаю вашу милость (потому что не в праве приказывать), что я никоим образом не стану обнажать меча ни против простолюдина, ни против рыцаря, и что отныне и впредь я, – пред лицом Божиим, – прощаю всякую обиду и оскорбление, которые мне нанесли или могут нанести люди знатного или низкого рода, богатые или бедные, из дворян или податного сословия¹, одним словом какого бы ни было звания или положения.

Услышав это, его господин ответил ему:

– Желал бы я, чтобы у меня не занимало дыхание, и я мог бы говорить без затруднения, и чтобы боль в боку несколько утихла и я был бы в состоянии объяснить тебе, Санчо, как сильно ты ошибаешься. Слушай, несчастный греш-

ник: если бы судьба, столь неблагоприятная нам до сих пор, вдруг повернулась в нашу сторону, и паруса наших желаний так окрепли, что мы быстро и беспрепятственно вошли бы в гавань одного из тех островов, который я тебе обещал, – что случилось бы с тобой, если бы, после того как я завоевал его и назначил тебя губернатором, ты сделал бы невозможным это свое назначение тем, что ты не рыцарь, не желаешь им быть, и не имеешь ни мужества, ни намерения мстить за нанесенные тебе обиды и защищать свои владения? Ведь, ты должен знать, что в королевствах и провинциях, недавно завоеванных, жители вовсе не так спокойны и не так преданы своему новому повелителю, чтобы было можно не опасаться каких-нибудь вспышек с целью еще раз изменить существующий строй и попытать счастья в перевороте, как принято говорить. Вот почему необходимо, чтобы новый владетель обладал умом и искусством управлять, а также и мужеством, чтобы, смотря по обстоятельствам, нападать или защищаться.

– В только что случившихся с нами обстоятельствах, – ответил Санчо, – я желал бы обладать тем умом и мужеством, о которых говорила ваша милость; но клянусь вам честью бедного человека, мне более нужны припарки, чем разговоры. Попробуйте, ваша милость, не удастся ли вам встать на ноги, и тогда мы поможем поднять Росинанта, хотя он этого и не заслуживает, так как был главной причиной избиения нашего. Никогда я не ждал ничего подобного от Росинанта, которого считал таким же целомудренным и миролюбивым, каков я сам. Но справедливо говорят, что надо много времени, чтобы хорошенько узнать людей, и что в жизни нет ничего вполне

¹ Reschero – человек платящий rescho, подать, от которой дворяне (идальго) были освобождены.



Правда, что со вторым ударом Санчо уже лежал на земле, и тоже случилось
и с Дон Кихотом, которому не помогли ни ловкость его, ни мужество.

достоверного. Кто бы мог сказать, что после страшных ударов меча, которыми милость ваша наградила того несчастного странствующего рыцаря, так быстро и неожиданно последует этот великий ураган палочных ударов, обрушившийся на наши плечи?

– Твои плечи, Санчо, – сказал Дон Кихот, – должно быть, еще привычны к такого рода ураганам, но мои, с детства прикрытые тонким голландским полотном, очевидно, более чувствительны к ужасам этой катастрофы. И если бы я не воображал – что я говорю, воображал – если бы не знал наверное, что все подобные невзгоды тесно связаны с рыцарским званием, – я бы здесь же и умер от одной лишь досады.

На это оруженосец ответил:

– Сеньор, если такие несчастья составляют жатвы, собираемые рыцарством, скажите мне, ваша милость, часто ли они следуют одна за другой, или же в какие-нибудь известные сроки, потому что, мне думается, после двух таких жатв мы окажемся негодными для третьей, если только Бог, в бесконечной своей милости, не придет нам на помощь.

– Знай, друг Санчо, – ответил Дон Кихот, – что жизнь странствующих рыцарей подвержена тысячи опасностям и невздам; но точно также в их непосредственной власти, не более и не менее, как сделаться императорами и королями, как это доказывается примерами многих и различных рыцарей, история которых мне хорошо известна. И я мог бы теперь, – если бы не препятствовала мне боль, – рассказать тебе о некоторых рыцарях, завоевавших только благодаря своему мужеству то высокое положение, о котором я сейчас говорил, и эти же самые рыцари испытывали перед тем и после того всякого рода невзгоды и не-

приятности. Так, мужественный Амадис Галльский очутился во власти своего врага, волшебника Аркалая, который, как это достоверно известно, однажды привязал пленного рыцаря к столбу на дворе и нанес ему более двухсот ударов вожжами своей лошади. А безымянный, но заслуживающий полного доверия автор рассказывает, как рыцарь Феб попал в западню, раскрывшуюся у него под ногами в одном замке, и он, падая, очутился в глубоком подземелье, связанный по рукам и ногам, а здесь ему поставили то, что принято называть клистиром, из ледяной воды и песка, отчего он чуть не умер; и если бы в этой великой беде ему не помог один волшебник, – его большой приятель, – то бедному рыцарю пришлось бы плохо. Так что и я не прочь кое-что претерпеть в обществе стольких хороших людей, которые вынесли более тяжкие оскорбления, чем вынесенные нами теперь. Мне бы хотелось, чтобы ты, Санчо, знал, что раны, нанесенные случайно находившимся в руках орудием, не считаются позорными; это изложено в законе о поединках в следующих ясных выражениях: если башмачник ударит другого колодкой, которую держит в руках, то, хотя эта колодка на самом деле такое же дерево, как и палка, тем не менее, нельзя сказать, что тот, кого хватили колодкой, был бит палкой. Говорю это, чтобы ты не думал, что мы – если нас и помяли в этой схватке, – тем самым опозорены, потому что оружие, которым эти люди нас так немилосердно избили, было не что иное, как колья, и ни у одного из них, – насколько мне помнится, – не было ни шпаги, ни меча, ни кинжала...

– Они не дали мне времени, – ответил Санчо, – так подробно рассмотреть это; едва я взялся за свою *Тисону*¹, как те люди благословили меня по спине свои-

¹ Название одного из мечей Сиды, другой его меч назывался *Колада*.



...И, взяв осла за уздечку, медленно поплылся по тому направлению, где, как ему казалось, должна была пролетать большая дорога.

ми колями так, что у меня потемнело в глазах, ноги подкосились, и я свалился туда, где теперь лежу, и где меня вовсе не тревожит мысль, были ли, или нет оскорблением полученные палочные удары, а лишь беспокоит боль от этих ударов, которые останутся также глубоко запечатлены в моей памяти, как и на моих плечах.

– Тем не менее, я должен тебе сказать, брат Панса, – ответил Дон Кихот, – что нет воспоминания, которого не истребило бы время, и нет горя, которого не исцелила бы смерть.

– Но какое же может быть большее несчастье, – возразил Панса, – как то, когда приходится ждать, чтобы время его истребило и смерть положила ему конец? Если б несчастье наше было из числа тех, которые излечиваются двумя, тремя пластырями, дело обстояло бы еще не так худо; но мне кажется, что не хватило бы пластырей целого госпиталя, чтобы дать ему хороший оборот.

– Оставь это и собери все свои слабые силы, Санчо – ответил Дон Кихот, – я сделаю то же и посмотрим, что с Росинантом, потому что, как мне сдается, на беднягу обрушилась наибольшая доля нашей беды.

– Удивляться тут нечему, ответил Санчо, – ведь, и он тоже странствующий рыцарь; удивляюсь я лишь тому, что мой осел остался цел и ничем не поплатился; тогда как мы поплатились ребрами.

– Счастье всегда оставляет в несчастьях открытой одну дверь, чтобы дать им облегчение, – сказал Дон Кихот. – Говорю это потому, что твой ослик может заменить мне теперь Росинанта и довести меня до какого-нибудь замка, где мне перевяжут раны. Я же вовсе не считаю позорным ехать на осле, так как, помнит-

ся, где-то читал, что добрый старый Силен – наставник и воспитатель веселого бога смеха – при въезде в стовратный город весьма удобно сидел верхом на прекраснейшем осле.

– Должно быть, он, действительно, как говорит ваша милость, сидел верхом, сказал Санчо, – но большая разница, сидеть ли верхом, или лежать поперек осла, как мешок с навозом.

На это Дон Кихот ответил:

– Раны, полученные в сражение, приносят скорее честь, чем лишают ее. Поэтому, друг Панса, не возражай мне больше, но как я уже говорил, постарайся подняться на ноги, усади меня, как тебе покажется лучше, на твоём осле, и уедем отсюда прежде, чем спустится ночь и достигнет нас в этой пустынной местности.

– Но я слышал от вашей милости, – сказал Санчо, – что странствующим рыцарям приличествует большую часть года спать в лесах и пустынных местностях, и они считают это за большое счастье для себя.

– Это случается, – ответил Дон Кихот, – тогда, когда они не могут поступить иначе, или же когда они влюблены; последнее настолько верно, что бывали рыцари, которые проводили по два года на скале, подвергаясь все время зною, и стуже, и всякой непогоде, и об этом не знали их дамы. Одним из таких рыцарей был Амадис, когда он, назвавшись Бельтенеброс¹, удалился на Пенья Побре² и провел там, не знаю, восемь ли месяцев, или восемь лет, – точно не помню, – достаточно, что он там был, подвергаясь епитимьи за, не знаю какое, огорчение, причиненное ему его дамой, сеньорой Орианой. Но оставим это, Санчо, и поспеши, прежде чем с ослом не приключилось такой же беды, как с Росинантом.

¹ Красавец во мраке, или погруженный во мрак

² Бедная или печальная скала.

– Это уж было бы черт знает что, – сказал Санчо, и, испуская из себя тридцать «ой», шестьдесят вздохов, и послав сто двадцать проклятий по адресу того, кто его сманил, он кое-как приподнялся, но, остановившись на полдороге, стоял согнутый, как турецкий кривой лук, не будучи в состоянии окончательно выпрямиться, несмотря на свои старания. Он взнуздал и оседлал осла, тоже несколько сбившегося с дороги, при чрезмерной свободе того дня. Затем он поднял Росинанта, который, если б обладал даром слова, наверное, не остался бы в жалобах от Санчо и от своего господина. В заключение Санчо устроил Дон Кихота на осле, привязал позади

него Росинанта и, взяв осла за уздечку, медленно поплелся по тому направлению, где, как ему казалось, должна была пролегать большая дорога. Едва прошел он коротенькую милю, как судьба, – направлявшая его дела от хорошего к лучшему, – вывела его на большую дорогу, и он издали увидел постоялый двор, который, к досаде Санчо, но к удовольствию Дон Кихота, этот последний принял за замок. Санчо настаивал на том, что это постоялый двор, а Дон Кихот уверял, что замок, и спор их был так продолжителен, что они, не окончив его, успели добраться до постоялого двора, куда Санчо, без дальнейшей проверки, и въехал со всей своей запряжкой.





Глава XVI

О том, что случилось с остроумно-изобретательным идадьго на постоялом дворе, который он принял за замок.

Хозяин двора, увидав Дон Кихота, лежащим поперек седла, спросил Санчо, чем этот человек болен? Санчо ответил, что он не болен, а только упал со скалы и немного ушиб себе ребра. У хозяйина была жена, не похожая на других женщин своей профессии, потому что она от природы была сострадательна и принимала к сердцу беды ближнего. Итак, она тотчас же поспешила на помощь к Дон Кихоту и велела и дочери своей, молоденькой и хорошенькой девушке, помогать ей ухаживать за приезжим. На том же постоялом дворе служила также девушка-астурийка, с широким лицом, плоским затылком, коротким носом, на один глаз кривая, и другой был у нее не совсем здоров. Правда, изящество фигуры и роста вознаграждали за все эти недостатки, а именно, в ней, считая с головы до пят, не было целых семи четвертей, и ее плечи, несколько ее обременявшие, вынуждали ее смотреть вниз, на землю больше, чем она того желала бы. Итак, эта миловидная девушка явилась на подмогу хозяйской дочери, и вдвоем

они устроили Дон Кихоту очень скверную постель на чердаке, по явным признакам, служившем в былое время долгие годы помещением для хранения соломы. Тут же ночевал и погонщик мулов, постель которого находилась не очень далеко от постели Дон Кихота. И хотя она и была устроена из седел и попон мулов, но имела большие преимущества перед постелью Дон Кихота, состоявшей из четырех шероховатых досок, лежавших на двух не очень-то ровных чурбанах; из тюфяка такого тонкого, что он имел вид стеганого одеяла, наполненного комками, которые, — если б через несколько, имевшихся в тюфяке, дыр не видно было, что они из шерсти, — по твердости можно было бы на ощупь принять за кремни; из двух кожаных простынь и шерстяного одеяла, в котором — если б захотеть — можно было бы сосчитать все нитки до единой. В эту-то проклятую постель лег Дон Кихот, и тотчас же хозяйка с дочерью обложили его пластырями с головы до ног, причем им светила Мариторнес, — так звали служанку-астурийку. А когда хозяйка, обкладывая рыцаря пластырями, увидела на теле у него во многих ме-

стах синяки, она сказала, что это скорее похоже на следы от ударов, чем на следы от падения.

– Нет, это не удары, – сказал Санчо, – а у скалы было много углов и выступов, и каждый из них оставил свой синяк. – Затем он добавил. – Прошу вас, милость ваша, сеньора, сберегите немного этой пакли, так как найдется еще кое-кто, кому она понадобится, потому что и у меня болит немного поясница.

– Значит, и вы упали со скалы? – спросила хозяйка.

– Я не упал, – ответил Санчо Панса, – но от внезапного испуга, когда я увидел, что мой господин падает, у меня так заболело тело, что мне кажется, будто мне надавали тысячи палочных ударов.

– Это бывает, – сказала хозяйская дочь, – мне не раз случалось видеть во сне, что я падаю с высокой башни и никак не могу достигнуть земли; а когда потом я просыпалась, то чувствовала себя такой помятой и разбитой, точно я в самом деле упала.

– Загвоздка-то в том, – ответил Санчо Панса, – что вовсе не во сне, а даже более наяву чем теперь, у меня оказалось не многим менее синяков на теле, чем у господина моего Дон Кихота.

– Как зовут этого кабальера? – спросила астурийка Мариторнес.

– Дон Кихотом Ламанчским, – ответил Санчо Панса. – Он – странствующий рыцарь и один из самых лучших и самых храбрых, когда-либо бывших на свете.

– Что такое странствующий рыцарь? – спросила служанка.

– Вы еще так мало прожили на свете, что этого не знаете? – сказал Санчо Панса. – Так слушайте же, сестра моя: странствующий рыцарь – тот, кто в мгновение ока видит себя и избитым, и императором. Сегодня он самое несчастное и

нуждающееся создание в мире, а завтра у него две или три королевские короны для подарка своему оруженосцу.

– Как же это вы – спросила хозяйка, – состоя на службе у такого превосходного сеньора, по-видимому, не владеете даже и графством?

– Не время еще, – ответил Санчо, – всего лишь месяц, что мы отправились в поиски за приключениями, и нам не встретилось ни одного, которое заслуживало бы этого названия, а подчас бывает так, что ищешь одну вещь, а находишь другую. Но право, если господин мой Дон Кихот выздоровеет от этих ран или от этого падения, а также и я не окажусь изувеченным от них, я не променяю моих надежд на самый громкий титул в Испании.

Дон Кихот очень внимательно прислушивался ко всему этому разговору, и, приподнявшись на постели, насколько мог, он взял хозяйку за руку и сказал:

– Поверьте мне, прекрасная сеньора, вы можете почитать себя счастливой, что приняли в этом вашем замке личность, подобную мне; и если я не восхваляю себя, то лишь только потому, что принято говорить: самовосхваление унижает; но мой оруженосец объяснит вам, кто я такой. Я же скажу лишь одно, что сохраню навсегда в памяти оказанную мне вами услугу и останусь вам за нее благодарен всю мою жизнь. И если бы высшим небесам не было угодно, чтобы любовь меня так покорила и так подчинила своим законам и прекрасным очам той неблагодарной, имя которой я шепчу про себя, очи очаровательной вашей дочери сделались бы властелинами моей свободы.

Хозяйка, дочь ее и добрая Мариторнес были смущены, слушая слова странствующего рыцаря, и столько же поняли из них, как если б он говорил по-гречески, хотя и догадались, что вся речь его кло-

нилась лишь к любезностям и благодарностям. Но так как они не привыкли к подобного рода речам, то смотрели друг на друга и удивлялись, и он показался им совсем другим человеком, чем те, каких они обыкновенно встречали. Поблагодарив его на трактирном обиходном языке за его любезность, хозяйка с дочерью ушли, астурийка же Мариторнес принялась лечить Санчо, который не меньше нуждался в этом, чем его господин. Еще раньше погонщик мулов сговорился с Мариторнес скоротать вместе с нею эту ночь, и она дала ему слово, как только улягутся постояльцы и заснут хозяева, прийти к нему и подчиниться всем его желаниям. А об этой доброй девушке передают, будто, когда она давала подобного рода обещания, еще не было случая, чтобы она их не сдерживала, хотя бы дала их в лесу и без свидетелей, потому что она очень гордилась своим дворянством¹ и не считала для себя унижительным служить на постоялом дворе, так как, говорила она, лишь несчастья и плохие обстоятельства довели ее до такого положения.

Жесткая, узкая, жалкая и предательская постель Дон Кихота стояла первая среди звездного, как небо, чердака, а рядом с нею Санчо устроил себе постель, состоявшую лишь из камышевой циновки и одеяла, скорей похожего на реденький холст, чем на шерстяную ткань. За этими двумя постелями виднелась постель погонщика мулов, устроенная, как уже было сказано, из выючных седел и попон его двух лучших мулов, а было их у него целых двенадцать и все такие откормленные, видные и красивые, так как он принадлежал к числу богатых погонщиков

из Аревало,² судя по словам автора этой истории, который о нем особо упоминает, потому что очень хорошо знал его и даже, как некоторые утверждают, был ему несколько сродни³. Кроме того, Сид Амет Бененхели был крайне добросовестным историком, что ясно видно из переданных нами обстоятельств, которых, – несмотря на их незначительность и ничтожность, он не пожелал обойти молчанием; это могло бы служить примером серьезным историкам, передающим нам о событиях так кратко и сжато, что они едва мажут ими по губам, оставляя – в следствии небрежности, злобы или невежества – все наиболее существенное на дне чернильницы. Да здравствует тысячу раз автор *Табланта де Рикамонте* и автор той другой книги, в которой рассказывается о подвигах графа Томильяс: как точно и подробно они все там описывают!

Итак, я говорю, что погонщик, осмотрев своих мулов и задав им вторичную порцию корма, растянулся на выючных седлах и стал поджидать свою всегда исполнительную Мариторнес. Санчо был уже весь обложен пластырями и лежал в постели; хотя он и старался заснуть, но этому препятствовала боль в ребрах; Дон Кихот также с болью в ребрах лежал с открытыми, как у зайца, глазами. Весь постоялый двор был погружен в безмолвие, и нигде не было видно света, за исключением лишь того, который исходил от лампы, висевшей посреди галереи. Эта удивительная тишина и привычка рыцаря неотступно вспоминать о событиях, рассказываемых на каждом шагу в книгах, – виновниками его несчастий, – зародили в его голове одну из са-

¹ Сервантес смеется здесь над слабостью, присущей астурийцам – хвастать своим дворянством и знатностью рода. В качестве потомков чистокровных готов, которые вновь отвоевали Испанию у мавров, астурийцы претендуют на особую чистоту происхождения.

² Аревало был город в старой Кастилии, на поддороге между Вальядолидом и Авила.

³ В те времена погонщики мулов были большею частью мавры.

мых странных нелепостей, какие только можно выдумать: именно, он вообразил, что приехал в знаменитый замок (потому что, как уже было сказано, все постоялые дворы, где он останавливался, казались ему замками) и что дочь хозяина постоялого двора – дочь владельца замка, которая, побежденная его изяществом, влюбилась в него и обещала тайком от родителей прийти к нему этою ночью полежать с ним в постели. Считая всю эту им самим созданную химеру за действительность и истину, он стал тревожиться и думать об опасности, грозившей его добродетели, и в душе своей твердо решил не изменять сеньоре Дульсинее Тобосской, хотя бы перед ним предстала сама королева Хинебра с дуэньей своей Кинтаньоноу.

Пока он был углублен в эти нелепые мечтания, настало время и пробил час (злополучный для него) прихода Мариторнес. Босиком, в одной рубашке, с волосами, подобранными в сетку из бумазеи, она осторожными, тихими шагами вошла в комнату, где помещались все трое, пробираясь к погонщику. Но едва она переступила порог, как Дон Кихот услышал ее шаги и, поднявшись на постели, несмотря на свои пластыри и боль в боках, открыл объятия, чтобы принять в них красавицу астурийку, которая, крадучись и молча, протягивая вперед руки, искала ошупью своего возлюбленного. Она встретила объятия Дон Кихота; он крепко схватил ее за кисть руки и, привлекая к себе ее, не смеяшую выговорить ни слова, посадил на постель. Тотчас же дотронулся он до ее рубашки, и хотя она была сделана из самого грубого мешочного холста, дерюга эта показалась ему тончайшим, мягким сендалем¹. Кисти рук Мариторнес были украшены несколькими нитками стеклянных бус, но ему эти бусы казались

драгоценнейшим жемчугом Востока. Ее волосы, смахивающие в некотором роде на конскую гриву, он принял за нити сверкающего арабского золота, блеск которого затмевал даже блеск самого солнца. А дыхание ее, несомненно отдававшее перепрелым мясом и салатом, съеденным ею накануне, – казалось ему нежным и благоухающим ароматом, источаемым ее устами. Словом, он разрисовал ее в своем воображении в том самом виде и по тому образцу, как он читал в своих книгах о другой принцессе, которая, побежденная любовью, явилась во всех вышеупомянутых украшениях, навестить тяжело раненного рыцаря, покорившего ее сердце. И так велико было ослепление бедного идальго, что ни прикосновение, ни дыхание, ни другие вещи, имевшиеся у доброй девушки и которые могли бы нагнать тошноту на всякого, кто не был погонщиком мулов, – не в состоянии были вывести его из заблуждения. Напротив того, ему казалось, что он держит в своих объятиях богиню красоты, и прижав ее крепко к себе, он заговорил тихим и нежным голосом:

– Желал бы я быть в состоянии, прекрасная и знатная сеньора, отплатить, как должно, вам за высокую милость, которую вы мне оказали зрелищем величайшей вашей красоты. Но судьба, без устали преследующая добрых, бросила меня на эту постель, где я лежу до того измятый и разбитый, что, при всем моем желании, мне было бы невозможно согласовать мою волю с вашей, и тем более, что к этой невозможности присоединяется еще другая, более значительная: верность, обещанная мною несравненной Дульсинее Тобосской, единственной повелительнице самых сокровенных моих помыслов. Если б не все эти препятствия, я не был бы столь тупоумным рыцарем, чтобы не воспользоваться счастливым

¹ Cendal – очень тонкая материя, нечто вроде шелковой тафты.

случаем, предложенным мне безграничной вашей добротой.

Мариторнес была в страшной тревоге, и ее ударило в пот, когда она увидела, что Дон Кихот так крепко держит ее; не понимая и не обращая внимания на то, что он ей говорил, она молча старалась вырваться из его рук. Что же касается почтенного погонщика мулов, которому тоже не давали заснуть его греховные помыслы, он тотчас же заметил свою любезную, лишь только она переступила порог, и стал внимательно прислушиваться ко всему, что говорил Дон Кихот; загоревшись ревностью от того, что астурийка нарушила, в угоду другому, данное ему обещание, он пододвинулся ближе к постели Дон Кихота и, притаившись, ждал, чем кончатся эти речи, из которых он ничего не понял. Но когда он увидел, что девушка старается вырваться, а Дон Кихот насильно удерживает ее, – эта шутка ему не понравилась, и, широко размахнувшись, он так сильно ударил кулаком по узким челюстям влюбленного рыцаря, что у того мигом весь рот наполнился кровью. Однако, не довольствуясь этим, погонщик вскочил на грудь Дон Кихота и, пройдясь по ней быстрой рысью, помял ему все ребра. Постель, и без того слабо державшаяся на шатких подпорках, не могла выдержать еще тяжесть погонщика и грохнула на пол. От сильного треска проснулся хозяин и тотчас же подумал, что должно быть это шутики Мариторнес, так как она не откликнулась на его громкий зов. С этим подозрением он встал, зажег лампу и пошел по тому направлению, откуда услышал шум. Видя, что хозяин идет и что он в страшном гневе, служанка от страха и смущения залезла в постель еще спавшего Санчо Пансы

и там свернулась в клубок. Войдя в комнату, хозяин крикнул:

– Где ты, непотребная женщина? Наверное, это все твои шашни?

Тут как раз проснулся Санчо и, чувствуя тяжесть, лежавшую у него чуть ли не на груди, подумал, что с ним кошмар, и стал махать во все стороны кулаками; многие из его ударов попали в Мариторнес, которая от боли, позабыв всякий стыд, принялась давать ему такую хорошую сдачу, что, против его желания, спугнула с него всякий сон. Чувствуя, что его бьют, и не зная, кто это делает, он, как мог, поднялся, схватил Мариторнес, и между ними началась самая рьяная и забавная в мире схватка. Когда же погонщик, при свете зажженной лампы, которую хозяин держал в руках, увидел, как плохо приходится его даме, он, оставив Дон Кихота, поспешил оказать ей помощь. И хозяин тоже бросился к ней, но уже с другим намерением: хорошенько проучить ее, потому что он не сомневался, что она одна причина всей этой кутерьмы. И как говорится в присловице: кошка к крысе, крыса к веревке, веревка к палке, – так и погонщик колотил Санчо, Санчо – служанку, служанка – его, хозяин – служанку, – и все они действовали так быстро и рьяно, что не давали себе ни минуты отдыха. В довершение всего, лампа в руках хозяина погасла, и, очутившись в темноте, они так беспощадно обрабатывали друг друга, что куда попадал удар кулака, там не оставалось живого места. Случайно на постоялом дворе ночевал куадрильеро¹ из состава членов так называемой Старой Толедской Эрмандады². Он тоже услышал необычайный шум сражения, схватил свой жезл и жестяной ларчик с удостоверением своей должности, и в темноте войдя в комнату, крикнул:

¹ Член Эрмандады, т. е. Братства.

² Называлась она Старой Эрмандадой, потому что была учреждена в XIII веке, а также и в отличие от Новой Эрмандады, учрежденной в правление Фердинанда и Изабеллы.



Постель, и без того слабо державшаяся на шатких подпорках, не могла выдержать еще тяжесть погонщика и грохнула на пол.

– Остановитесь во имя правосудия, остановитесь во имя Святой Эрмандады.

Первый, на которого он наткнулся, был избитый Дон Кихот, лежавший на рухнувшей постели лицом кверху, в полном беспамятстве. Схватив его ощупью за бороду, куадрильеро не переставал кричать:

– На помощь правосудию!

Но заметив, что тот, кого он держит, не двигается и не шевелится, он подумал, что он мертвый, и что остальные, бывшие в комнате, его убийцы. Побуждаемый этим подозрением, он закричал еще громче: – Заприте ворота постоялого двора и не выпускайте никого! Здесь убили человека.

Этот крик всполошил всех: услышав его, каждый участник сражения поспешил покинуть поле битвы. Хозяин удалился к себе в комнату, погонщик мулов – к своим попонам, служанка – в свою каморку, и только несчастный Дон Кихот и Санчо не могли двинуться с места. Между тем куадрильеро, выпустив из рук бороду¹ Дон Кихота, пошел за огнем, чтобы разыскать и арестовать виновников приключения. Но он не нашел огня, так как хозяин, удалившись в свою комнату, нарочно потушил ночник, и потому куадрильеро был вынужден отправиться к очагу, где, потратив много времени и труда, ему, наконец, удалось засветить лампу.



¹ Из этого видно, что Дон Кихот, как и Санчо, носили бороду; обычай, бывший в те времена в общем употреблении в Испании, а между тем большинство художников, иллюстрировавших великое произведение Сервантеса, изображали рыцаря и его оруженосца без бороды.



Глава XVII

Дальнейшее повествование о бесчисленных невзгодах, которые пришлось претерпеть мужественному Дон Кихоту и доброму его оруженосцу Санчо Пансе на постоялом дворе, принятом рыцарем, к несчастью его, за замок.

Между тем к Дон Кихоту уже вернулось сознание, и тем же голосом, каким он накануне, лежа на земле, в долине «кольев», обратился к своему оруженосцу, он и теперь стал звать его, говоря:

– Санчо, друг, – ты спишь? Спишь ли ты, друг Санчо?

– Заснешь тут, нечего сказать, – ответил Санчо, исполненный бешенства и досады. – Этой ночью, по-видимому, все как есть, дьяволы тешились надо мной.

– Верно, оно так и было, – ответил Дон Кихот, – потому что, или я ничего не понимаю, или этот замок очарован. Ты должен знать, но то, что я сейчас намерен тебе сказать, поклянись хранить в тайне даже и после моей смерти.

– Клянусь в том, – ответил Санчо.

– Требую я это потому, – пояснил Дон Кихот, – что я – враг посягновения на чью-либо честь.

– Еще раз клянусь вам, – повторил Санчо, – что буду молчать до конца ваших дней, – и дай Бог, чтобы я мог хоть завтра уже все разболтать.

– Неужели я сделал тебе столько зла, Санчо, – спросил Дон Кихот, – что ты хотел бы так скоро видеть меня мертвым?

– Вовсе не поэтому; – ответил Санчо, – а потому, что я не охотник долго хранить вещи и не желал бы, чтобы они у меня сгнили от чрезмерного лежания.

– Как бы то ни было, – сказал Дон Кихот, – но я вполне доверяю твоей любви и благородству. Итак, знай же, что сегодня ночью со мной случилось удивительнейшее приключение, которым я мог бы даже гордиться. Коротко говоря, ко мне приходила сюда недавно дочь владельца замка, самая нарядная и очаровательная красавица во всем мире. Что сказать тебе об изяществе ее внешности, о живости ее ума и о других скрытых ее прелестях, которых, – чтобы не нарушать

обета, данного мною повелительнице моей Дульсинее Тобосской, – я не коснусь и обойду их молчанием. Скажу лишь одно: или небо позавидовало великому счастью, посланному мне судьбой, или, быть может (и это всего вернее), замок этот, – как я уже говорил, – очарован, но в то время, когда я с красавицей вел самые нежные и влюбленные разговоры, вдруг, неожиданно и неведомо откуда, рука, принадлежавшая огромному великану, нанесла мне такой удар по челюстям, что они у меня и до сих пор еще в крови; а потом этот великан так мне помял бока, что я теперь чувствую себя даже хуже, чем вчера, когда погонщики кобыл из-за неводержанности Росинанта нанесли нам то оскорбление, о котором тебе известно. Из этого я заключаю, что сокровище красоты дочери владельца замка охраняется, по-видимому, каким-нибудь очарованным мавром и, должно быть, создано не для меня.

– А также и не для меня, – ответил Санчо, – потому что более четырехсот мавров до того меня избили, что по сравнению с их ударами вчерашние удары дубинами могли бы мне показаться сладкими пирожками и пряниками. Но скажите, сеньор, как можете вы называть приятным и удивительным то приключение, от которого нам обоим пришлось так плохо? Еще вашей милости легче, вы хоть держали в своих объятиях несравненную красавицу, о которой вы говорили мне. Но я, – что же я-то получил, кроме самих ужасных побоев, каким, надеюсь, я не подвергнусь больше во всю свою жизнь? Несчастный я, и несчастная мать, родившая меня: ведь, я же не странствующий рыцарь и не думаю им никогда быть, а из всех невзгод наших большая часть выпадает всегда на мою долю.

– Как, – неужели и тебя побили? – спросил Дон Кихот.

– Ведь, говорил же я вам что и меня побили, будь проклят весь мой род! – сказал Санчо.

– Не печалься, друг мой, – утешил его Дон Кихот. – Я сейчас же приготовлю драгоценный бальзам, который нас обоих исцелит в мгновение ока.

Между тем куадрильеро зажег, наконец, лампу и пошел посмотреть на того, которого он считал убитым. Лишь только Санчо увидел его входящим в одной рубашке, с головой, повязанной на ночь платком, с лампой в руках и с очень сердитой физиономией, – он спросил своего господина:

– Быть может, сеньор, это-то и есть очарованный мавр, и он вернулся, чтобы снова приняться за нас и довести до конца не совсем еще оконченное им дело?

– Нет, это не может быть мавр, – ответил Дон Кихот, – так как очарованных нельзя видеть.

– Если их нельзя видеть, то можно их чувствовать, – сказал Санчо, – об этом кое-что известно моей спине.

– Также и моей известно об этом, – ответил Дон Кихот. – Но все-таки это не достаточная причина думать, что вошедший сюда – очарованный мавр.

Куадрильеро подошел поближе к ним и очень удивился, застав их столь мирно разговаривающими друг с другом. Правда, Дон Кихот все еще лежал на спине, не будучи в состоянии шевельнуться, до того он был весь избит и обложен пластырями. Блеститель правосудия подошел к нему и спросил:

– Ну, как ты себя чувствуешь, добрый человек?

– Я бы на вашем месте говорил по вежливее, – ответил Дон Кихот. – Разве, здесь, в этой местности, принято говорить так со странствующими рыцарями, грубиян вы этакий?

Куадрильеро, встретив столь дерзкое с собой обхождение со стороны такого невзрачного с виду человека, не мог стерпеть этого; он размахнулся лампой, наполненной маслом, и ударил ею по голове Дон Кихота так сильно, что чуть не раскроил ему черепа; все снова погрузилось в темноту, и куадрильеро тотчас же вышел. А Санчо Панса сказал:

– Без сомнения, сеньор, это и был очарованный мавр; должно быть, он для других хранит сокровище, а для нас одни лишь побои и удары лампы.

– Так оно и есть, – ответил Дон Кихот. – Но не надо ни обращать внимания на подобного рода волшебства, ни сердиться, ни досадовать на них, потому что раз наши враги незримы и фантастичны, как бы мы не старались, все равно мы не найдем, кому отомстить. Встань, Санчо, если можешь, позови начальника этой крепости и попроси его дать тебе немного масла, вина, соли и розмарина, чтобы я мог приготовить целительный бальзам, который, говоря по правде, теперь мне крайне нужен, так как из раны, нанесенной мне тем привидением, сильно идет кровь.

Санчо встал, чувствуя страшную боль в костях, и в темноте пошел отыскивать комнату хозяина, но наткнувшись на блюстителя правосудия, который подслушивал у дверей, как обстоят дела его врага, он ему сказал:

– Сеньор, кто бы вы ни были, окажите такую милость и благодеяние и велите дать нам немного розмарина, масла, соли и вина. Все это необходимо для лечения одного из лучших странствующих рыцарей в мире, который лежит в той вот комнате, в постели, сильно раненый очарованным мавром, появившимся на этом постоялом дворе.

Когда куадрильеро услышал такую речь, он счел Санчо за помешанного, а

так как уже начинало светать, он открыл двери постоялого двора и, позвав хозяина, передал ему просьбу бедняги. Хозяин снабдил его всем, чего он желал, и Санчо отнес это Дон Кихоту, который лежал, держась руками за голову и жалуясь на боль, причиненную ему ударом лампы, хотя от этого удара не произошло большого вреда, а только у него выскочили две довольно-таки изрядные шишки; то же, что он принял за кровь, оказалось потом, выступившим у него от волнений перенесенной бури. Он взял у Санчо лекарственные снадобья, сделал из них смесь и кипятил ее довольно долго, пока ему не показалось, что все готово. Тогда он попросил склянку, чтобы вылить туда бальзам; но на постоялом дворе не нашлось склянки, и он решил заменить ее жестянкой из-под масла, которую хозяин великодушно подарил ему. Не теряя времени, Дон Кихот прочитал над этой жестянкой более восьмидесяти «Pater noster», столько же «Ave Maria», «Salve» и «Credo», сопровождая каждое произнесенное им слово крестным знаменем, вроде как бы благословения. При всей этой церемонии присутствовали Санчо, хозяин двора и куадрильеро; погонщик же мулов потихоньку ушел, чтобы задать корм своим мулам.

Когда Дон Кихот все кончил, он пожелал тотчас же на себе испытать действие столь драгоценного, по его мнению, бальзама. Поэтому он выпил около полукварты снадобья, не поместившегося в жестянке и оставшегося в котелке, в котором варилось лекарство. Но едва проглотил он эту порцию бальзама, как его стало так сильно рвать, что ему очистило весь желудок, а томление и муки рвоты вызвали у него сильнейший пот. Тогда он попросил, чтобы его теплее укрыли и оставили одного. Окружающие так и сделали, и наш рыцарь проспал более

трех часов. Затем, проснувшись, он почувствовал, что силы его окрепли и боль утихла, так что он счел себя здоровым и был глубоко убежден, что, действительно, изготовил настоящий бальзам Фие-рабраса и что, обладая этим средством, он может отныне впредь бесстрашно пускаться в какие угодно сражения, стычки и поединки, как бы они ни были опасны. Санчо Панса, которому исцеление его господина тоже показалось настоящим чудом, попросил Дон Кихота, чтобы тот позволил и ему выпить весь остаток, еще бывший в котелке, – а там было его немало. Дон Кихот дал свое согласие, и Санчо обеими руками схватил котелок и с величайшей верой и еще бóльшим усердием опрокинул себе лекарство в горло, выпив не многим менее, чем его господин. Но, по-видимому, желудок бедного Санчо не был так нежен, как желудок Дон Кихота, и потому, прежде чем его вырвало, он почувствовал такое смертное томление и ужасную тошноту, с него лил такой холодный пот, с ним делались такие обмороки, что он вполне и искренно был уверен, что настал его последний час и среди боли и мук своих проклинал бальзам и разбойника, угостившего его им. Увидев его в таком состоянии, Дон Кихот сказал:

– Я думаю, Санчо, что все твои страдания происходят оттого, что ты не посвящен в рыцари, так как, на мой взгляд, бальзам не может идти в пользу тем, кто не рыцарь.

– Если вы, милость ваша, это знали, – ответил Санчо, – будь проклят я и вся моя родня, – как могли вы допустить, чтобы я отведал его?

В эту минуту бальзам как раз возымел свое действие и бедный оруженосец начал так бурно разгружаться через оба канала своего тела, что камышовая циновка, на которую он опять бросился, и

холщовое одеяло, которым он накрылся, оказались уже негодными к употреблению. Вместе с тем, у него выступил пот и лил с него ручьем, сопровождаемый такими судорогами и припадками, что не только он сам, но и все окружавшие его думали, что наступает его кончина. Эти бурные и тревожные припадки продолжались у него около двух часов, а когда они прошли, он не только не почувствовал облегчения, как его господин, но до того ослабел и был так разбит, что не мог держаться на ногах.

А Дон Кихот, чувствовавший себя, как уже было сказано, здоровым и бодрым, захотел немедленно отправиться в поиски за приключениями, так как ему казалось, что каждую минуту, которую он здесь промедлит, он отнимает у всего света и у нуждающихся в его защите и покровительстве, а твердая надежда и доверие, питаемые им к своему бальзаму еще больше подкрепляли его в этом. Итак, побуждаемый этим желанием, он собственноручно оседлал Росинанта и осла, помог своему оруженосцу одеться и взобраться на седло; а затем и сам сел верхом и, подъехав к углу двора, взял стоявший там остроконечный шест, намереваясь употребить его, как копье. Все бывшие на постоялом дворе, – было же их более двадцати человек, – смотрели на него с изумлением; смотрела на него также и хозяйская дочь, а он не сводил с нее глаз и время от времени выпускал вздох, исходивший, казалось, из глубины его души, и все думали, что, вероятно, он вздыхает вследствие сильной боли в боках; по крайней мере, так думали те, которые накануне вечером видели, как его всего облепляли пластырями.

Лишь только оба, – господин и слуга, – уселись верхом, Дон Кихот, доехав до ворот, позвал хозяина двора и спокойным, серьезным тоном сказал ему:



В эту минуту бальзам как раз возымел свое действие...

– Многочисленны и велики благодеяния, сеньор кастелян, оказанные мне в этом вашем замке, и я всю мою жизнь буду вам за них признателен и благодарен. Если я могу отплатить вам, отомстив какому-нибудь надменному злодею за нанесенное вам оскорбление, – знайте, что мое звание вменяет мне в обязанность помогать слабым, мстить за угнетенных и карать за измену. Переберите ваши воспоминания и, если найдется у вас что-либо в таком роде, скажите мне, и я обещаю вам рыцарскою своею честью, что вы получите полнейшее удовлетворение и будете отомщены, как нельзя лучше.

Хозяин двора ответил ему столь же спокойно:

– Сеньор рыцарь, я не нуждаюсь в том, чтобы милость ваша мстила кому-нибудь за меня, потому что, когда я нахожу это нужным, я и сам умею постоять за себя. Желал бы я лишь одного, – чтобы милость ваша заплатила мне по счету за свое пребывание на постоялом дворе, как за солому и ячмень для ваших двух животных, так и за ваш ужин и ночлег.

– Значит, это постоялый двор? – спросил Дон Кихот.

– И один из лучших, – ответил хозяин.

– Я ошибался до сих пор, – объявил Дон Кихот, – так как, говоря по правде, предполагал, что это замок и не из плохих. Но если это не замок, а постоялый двор, вам придется вот что сделать: добровольно отказаться от требования платы, потому что я не могу нарушить устава ордена странствующих рыцарей, по которому, как я достоверно знаю (и до сих пор не читал ничего противоречащего тому), рыцари никогда и нигде не платили ни за свой ночлег, ни за что-либо другое на тех постоялых дворах, где они останавливались; ведь им по праву и справедливости везде обязаны оказывать

самый лучший прием в благодарность за непомерный труд, который они выносят в своих поисках за приключениями, сходясь верхом и пешком, ночью и днем, зимой и летом, в холод и зной, страдая от голода и жажды, подвергаясь всем суровостям непогоды и всяким земным бедствиям.

– Это меня не касается, – ответил хозяин двора, – заплатите свой долг и оставьте меня в покое с вашими рассказами и рыцарством: у меня лишь одна забота – получить свое.

– Вы глупый и дурной трактирщик! – ответил Дон Кихот, и, прищипнув Росинанта, махая копьем, уехал с постоялого двора никем не задержанный и, не обернувшись посмотреть, следует ли за ним его оруженосец или нет, отъехал на довольно далекое расстояние. Видя, что Дон Кихот уехал, ничего не заплатив, хозяин двора подбежал к Санчо, чтобы получить от него по счету. Но тот ответил, что раз его господин не пожелал платить, и он тоже не заплатит, так как, состоя оруженосцем у странствующего рыцаря, он обязан придерживаться того же постановления и правила, как и его господин, т. е. не платить в гостиницах и на постоялых дворах.

Услышав этот ответ, хозяин страшно рассердился и пригрозил ему, если он не заплатит, взыскать с него должное таким способом, который не весьма его порадует. На это Санчо ответил, что, подчиняясь закону рыцарского ордена, к которому принадлежит его господин, он не заплатит и четверти грошика, хотя бы это стоило ему жизни, так как не желает, чтобы по его вине был нарушен добрый старый обычай странствующих рыцарей, и оруженосцы тех из рыцарей, которые еще имеют появиться в мире, не могли бы укорять его за нарушение столь справедливого их права.



Желал бы я лишь одного, — чтобы милость ваша
заплатила мне по счету за свое пребывание на постоялом дворе...

Но по воле злой судьбы несчастного Санчо, среди лиц, бывших на постоялом дворе, оказалось четыре чесальщика шерсти из Сеговии¹, три игольных мастера с площади Потро в Кордове² и два обывателя с Базарной площади в Севилье, – все веселые малые, разнuzданные, склонные к шуткам и проказам; точно осененные и побуждаемые одной и той же мыслью, они подошли к Санчо, стащили его с осла, и один из них побежал за одеялом в комнату хозяина. Бросив Санчо на одеяло, они, взглянув вверх, заметили, что навес на переднем дворе низковат для той цели, которую они имели в виду, поэтому решили отправиться на задний двор, над которым расстилался только лишь один небесный свод. Тут, уложив Санчо на середину одеяла, они стали подбрасывать его вверх и забавлялись с ним, как с собакой во время карнавала³. Крик подбрасываемого вверх бедняги был столь пронзительный, что достиг до слуха его господина. Он остановился, внимательно прислушался и уже думал, не представляется ли ему новое приключение, как, наконец, ясно различил голос своего оруженосца. Тогда, Дон Кихот повернул коня и тяжелым галопом доехал до постоянного двора. Увидав, что ворота заперты, он объехал кругом весь двор, отыскивая, не найдется ли где входа. Но не доезжая еще до ограды заднего двора, которая была не очень высока, он приметил злую забаву, устроенную над его оруженосцем. Он видел, с какой грацией и быстротой Санчо подымается и опускается в воздухе, и если б не

гнев его, я уверен, что рыцарь рассмеялся бы. Попытался он взобраться с коня на ограду, но до того был разбит и слаб, что не мог даже слезть с лошади, и потому, сидя на ней, стал изливать на тех, которые подбрасывали Санчо, столько укоров и ругательств, что нет возможности их записать. Однако они не прекратили вследствие этого своего смеха и своей работы, а летающий Санчо не прекратил своих воплей, смешанных то с угрозами, то с мольбой; однако, и вопли его помогали мало, и ничего не помогли ему, пока, наконец, побежденные усталостью мучители сами ни бросили его. Затем они привели Санчо его осла, усадили беднягу на него, завернув его в плащ, а сострадательная Мариторнес, увидав его таким изможденным, сочла нужным прийти к нему на помощь с кувшином воды, почерпнутой из колодца, чтобы она была посвежее. Санчо взял кувшин и поднес его ко рту, но остановился, услышав, что господин его громко крикнул ему:

– Сын мой, Санчо, не пей воды! – Не пей ее, сын мой, потому что она убьет тебя. Смотри, у меня здесь святейший бальзам (и он показывал ему жестянку с жидкостью). Выпив две капли его, ты, без сомнения, выздоровеешь.

В ответ на эти слова, Санчо взглянул на Дон Кихота искоса и крикнул еще громче, чем его господин:

– Быть может, вы, ваша милость, забыли, что я не странствующий рыцарь, или вы хотите, чтобы меня окончательно вырвало и последними внутренностями, которые еще остались у меня от сегод-

¹ Сеговия была в дни Сервантеса главным центром шерстяного производства, пришедшего теперь в упадок в Испании.

² Так называлась в Кордове площадь, посреди которой высоко, на вершине шара, стояло изображение жеребца (roto), окруженное фонтанами, вероятно от того, что тогда Кордова славилась своими конями.

³ В Испании существовал в то время обычай забавляться подбрасыванием собак в дни карнавала.



Попытался он взобраться с коня на ограду,
но до того был разбит и слаб, что не мог даже слезть с лошади

няшной ночи? Приберегите свое питье для себя и всех чертей, а меня оставьте в покое.

Сказать это и поднести ко рту кувшин было для Санчо делом мгновения. Но так как он при первом же глотке увидел, что это только вода, он не захотел ее пить, а попросил Мариторнес принести ему вина. Она это сделала очень охотно и заплатила за вино свои собственные деньги, потому что про нее действительно говорят, что, хотя она и занималась такой профессией, но сохранила в себе несколько следов и признаков доброй христианки. Как только Санчо выпил вино, он ударил пятками в бока своего осла и выехал из широко раскрытых пе-

ред ним ворот постоялого двора очень довольный тем, что все-таки ничего не заплатил и настоял на своем, хотя это и случилось насчет обычного его поручителя, которым являлась его спина. Правда, хозяин двора оставил себе вместо платы дорожные сумки Санчо, но он этого даже не заметил в том тревожном состоянии, в котором находился. Лишь только он выехал за ворота, хозяин двора хотел было покрепче припереть их, но подбрасывавшие Санчо воспротивились, так как это были такого сорта люди, что даже если бы Дон Кихот на самом деле оказался одним из рыцарей Круглого Стола, и тогда они не поставили бы его ни в грош.





Глава XVIII

В которой передается о разговоре Санчо Пансы с его господином, Дон Кихотом, и о других приключениях, заслуживающих быть рассказанными.

Санчо подъехал к своему господину столь изнеможенный и разбитый, что едва мог погонять своего осла. Когда Дон Кихот увидел его в таком состоянии, он сказал:

– Теперь я окончательно убедился, добрый мой Санчо, что этот замок или постоялый двор несомненно очарован, потому что те, которые так жестоко забавлялись над тобой, не могут быть ничем иным, как только привидениями и существами из другого мира. Это подтверждается еще и тем обстоятельством, что, когда я подъехал к ограде заднего двора и смотрел на ход печальной твоей трагедии, я лишился возможности не только взобраться на ограду, но даже не мог сойти с Росинанта, – ясно, что я был очарован. Иначе, клянусь тебе тем, что я есть, – если б я только мог подняться на ограду или сойти с лошади, я отомстил бы за тебя так, что те негодяи и мошенники вечно бы помнили свою проделку, – хотя, поступив таким образом, я нарушил бы рыцарский устав, не позволяющий, как я уже не раз говорил тебе, рыцарям обнажать меч против лиц, не посвященных в рыцари, исключая лишь случая крайней и неотложной не-

обходимости, для защиты своей жизни и личности.

– И я также отомстил бы за себя, если б мог, – сказал Санчо, – был бы или не был бы я посвящен в рыцари, – но я не мог; хотя мне думается, что те, которые забавлялись надо мной, не были привидениями и не были очарованы, – как ваша милость говорит, – а были такими же людьми из плоти и крови, как вы и я, и у всех у них есть имена. Я слышал, как они называли друг друга, когда подбрасывали меня вверх, – одного звали Педро Мартинес, другого, – Тенорио Эрнандес, а хозяина двора звали – Хуан Паломек Левша. Так что, если вы, сеньор, не могли влезть на ограду или сойти с лошади, причиной тому было что-либо другое, а не волшебство; из всего этого я вывожу лишь одно; приключения, которые мы отправляемся отыскивать, в конце концов приведут нас к таким несчастьям, что мы не будем знать, – которая у нас правая нога. Было бы лучше и умнее, по моему бедному разумению, вернуться нам к себе, в село, теперь, когда настала жатва, и заняться хозяйством, бросив скитаться по долам и горам и попадать, как говорится, из огня в полымя.

– Как ты плохо понимаешь рыцарские дела, Санчо, – ответил Дон Кихот. –

Молчи, и имей терпение, потому что настанет день, когда ты воочию убедишься, какая почетная вещь нести это звание. Если же нет, – скажи: может ли на свете быть большее удовольствие, или какое наслаждение может сравниться с победой в битве и торжеством над своим врагом? – Никакое, без всякого сомнения!

– Должно быть, это так и есть, – ответил Санчо, – хотя я этого не знаю; знаю только, что с тех пор, как мы с вами стали странствующими рыцарями, или вернее, как ваша милость им стала (потому что я не могу причислить себя к столь почетному званию), мы никогда еще не выиграли ни одной битвы, – разве только битву с бискайцем, и даже из нее ваша милость вышла, лишившись пол-уха и пол-шлема. А после того и до сих пор на нас сыпались одни лишь побои палкой и палкой, удары кулаками и кулаками; я же, сверх того, вынес и подбрасывание на одеяле, а проделали это надо мной люди очарованные, которым я не могу отомстить, что бы хоть отведать, насколько велико наслаждение торжествовать над своим врагом, – как говорит ваша милость.

– В этом-то и заключается мое огорчение, а также, должно быть, и твое, Санчо, – ответил Дон Кихот. – Но отныне постараюсь добыть себе меч, настолько искусно выкованный, что против того, кто его носит, окажутся бессильны, какие бы то ни было чары. Может даже случиться, что счастье наделит меня мечом, принадлежавшим Амадису, – когда он назывался «Рыцарем Пылающего меча», – это был один из лучших мечей во всем мире, которыми обладал какой-либо рыцарь; так как, сверх указанного свойства, он еще резал как бритва, и не было таких доспехов, – как бы они ни были крепки и очарованы, – которые могли бы устоять перед ним.

– Такое мое счастье, – сказал Санчо, – что даже если б это и случилось и вашей милости удалось бы найти подобный меч, он служил бы и пошел бы на пользу, – как и бальзам, – одним только рыцарям, а оруженосцы пускай себе хлеблют горе.

– Не опасайся этого, Санчо, – сказал Дон Кихот, – небо пошлет тебе нечто лучшее.

Разговаривая таким образом, Дон Кихот и его оруженосец продолжали свой путь, как вдруг первый из них увидел, что по дороге, по которой они ехали, им навстречу поднялось большое, густое облако пыли. Заметив его, Дон Кихот обернулся к Санчо и сказал:

– Настал день, о Санчо, когда выяснится, какое счастье хранила для меня судьба. Настал день, говорю я, когда, – как и во всякий другой – выкажется могущество моей руки, и я совершу подвиги, имеющие быть вписанными в книгу славы в назидание грядущим векам. Видишь ли, Санчо, облако пыли, которое вот там подымается? Знай же, что всю эту мусть производит громадное войско, составленное из разных и бесчисленных народностей, которое направляется сюда.

– Но в таком случае, их должно быть целых два, – сказал Санчо, – потому что и с противоположной стороны подымается точно такое же облако пыли.

Дон Кихот обернулся и увидел, что действительно так и было; необычайно обрадовавшись, он вообразил, что наверное два войска идут друг на друга, готовые сойтись и вступить в бой здесь, среди этой обширной равнины; так как во всякое время его фантазия была переполнена битвами, очарованиями, приключениями, сумасбродствами, любовными похождениями и вызовами на поединки, о которых рассказывается в рыцарских

книгах, и все, что он говорил, думал или делал, клонилось к подобным вещам. А облако пыли, которое он увидел, было поднято двумя большими стадами овец и баранов, подвигавшихся по той же дорожке, с двух противоположных сторон; вследствие густой пыли их нельзя было разглядеть, пока они не приблизились. Между тем Дон Кихот так горячо утверждал, что это два войска, что, наконец, Санчо поверил ему и спросил: – Сеньор, что же нам делать теперь?

– Что делать? – сказал Дон Кихот, – Оказывать покровительство и помощь слабым и нуждающимся! Ты должен знать, Санчо, что во главе армии, идущей нам навстречу, стоит и ею предводительствует великий император Алифанфарон, владетель обширного острова Трапобана¹; другим же войском, идущим позади нас, предводительствует его враг, – король Гарамантов², – Пентаполин с «Засученным Рукавом», которому дали такое прозвище потому, что в сражениях он всегда обнажает правую руку.

– Из-за чего же враждуют друг с другом эти два сеньора? – спросил Санчо.

– Из-за того, – ответил Дон Кихот, – что Алифанфарон завзятый язычник и влюблен в дочь Пентаполина, необычайную красавицу и очень милую девушку, но она христианка, и отец ее не желает выдавать ее замуж за короля-язычника, пока тот не даст обещания отказаться от веры лжепророка Магомета и принять христианство.

– Клянусь моей бородой, – воскликнул Санчо, – Пентаполин вполне прав, и я готов помогать ему изо всех моих сил.

– Делая это, ты исполнишь свой долг, Санчо, – сказал Дон Кихот, – потому что для участия в такого рода бит-

вах, не требуется быть посвященным в рыцари.

– Это я хорошо понимаю, – ответил Санчо, – но куда же нам деть осла, чтобы быть уверенными найти его, когда кончится драка? Потому что, я думаю, до сих пор еще не вошло в обычай вступать в бой верхом на таком животном.

– Совершенно верно, – сказал Дон Кихот, – единственное, что ты можешь сделать, это предоставить его на собственный произвол, погибнет он или нет, все равно, так как после победы у нас окажется столько лошадей, что даже и Росинанту грозит опасность быть обмененным на другого коня. Но теперь слушай меня внимательно и смотри сюда, я хочу описать тебе самых выдающихся рыцарей в обоих войсках; а чтобы ты их лучше видел и рассмотрел, поднимайся на этот вот холмик, оттуда можно окинуть взглядом оба войска.

Они так и сделали и взобрались на холм, с которого можно было бы хорошо различить оба стада, превратившиеся у Дон Кихота в войска, если бы облако пыли, поднятое ими, не мешало, и не слепило им глаза. Но, тем не менее, видя в своем воображении то, чего нельзя было видеть и чего и не было, Дон Кихот заговорил, возвысив голос:

– Этот рыцарь, которого ты там видишь в желтых доспехах, с изображением на щите коронованного льва, лежащего у ног молодой девушки, – доблестный Лазуркалко, владетель Пуэнта де Плата³; тот вот другой, в доспехах с золотыми цветами, у которого на щите три серебряные короны на лазурном поле, это грозный Микоколембо, великий герцог Киросиа. А тот, что стоит по правую его руку, телосложением – великан, неустрашимый

¹ Нынешний Цейлон.

² Народ, обитавший во внутренней Африке, о котором дважды упоминает Вергилий.

³ Серебряного моста.

Брандабарбаран де Боличе, повелитель трех Аравии; вместо лат на нем змеиная кожа, а вместо щита дверь, которая, по преданию, была одной из дверей храма, разрушенного Самсоном, когда он, умирая, отомстил своим врагам.

Но обрати глаза в другую сторону, – и ты увидишь впереди и во главе второго войска никем не побежденного и всегда побеждающего Тимонела де Каркахона, принца Новой Бискайи; он вооружен доспехами из четырех цветов: голубого, зеленого, белого и светло-желтого, а на щите у него золотая кошка в буром поле с надписью «Миай», а это – начальный слог имени его дамы, как говорят, несравненной Миаулины, дочери герцога Алфеньикена дель Алгарбе. А этот вот, который тяжестью своей давит и обременяет могучего боевого коня, в доспехах белых, как снег, и с белым щитом без девиза, – новопосвященный рыцарь по происхождению француз, зовут его Пьерес Папин, и он владетель Утрикских баронств. Тот, подалеже в лазурных доспехах, вонзающий в бока легкой и полосатой зебре свои железные шпоры, – мужественный герцог Нербии, Эспартофилардо дель Боске; на щите у него, в виде девиза, куст спаржи с надписью на кастильском языке: – «Rastrea mi suerte»¹.

И таким образом Дон Кихот продолжал называть еще многих рыцарей того и другого войска, как он представлял их себе, и всех их наделил оружием, красками, эмблемами и девизами, увлеченный вдохновением столь неслыханного своего помешательства, и, не останавливаясь, он продолжал, говоря:

– Вот это войско впереди нас составлено из лиц различных национальностей: здесь те, что пьют сладкие воды знаменитого Ханто, – горцы, попирающие Массилийские поля, – те, которые

просеивают прекраснейшее, тонкое золото счастливой Аравии, – те, которые наслаждаются знаменитыми и прохладными берегами прозрачного Термонте, – те, что многими и различными способами пользуются золотоносным Пактолем; нумидийцы, на обещания которых нельзя положиться, – персы, славящиеся своими луками и стрелами; парфяне, мидяне, которые сражаются, убегая; арабы с их кочевыми шатрами, скифы, столь же жестокие, как и белокожие, эфиопы с проколотыми губами; – и бесконечное множество других народов, черты которых мне знакомы, и я их вижу, хотя не могу вспомнить их имен. В том другом войске виднеются те, что пьют хрустальные струи осененного оливковыми деревьями Бетиса; те, которые освежают и омывают себе лицо влагою всегда обильного и золотоносного Тахо; те, которые наслаждаются целебными водами божественного Хениля; те, которые попирают Тартесийские равнины, изобилующие пастбищами; те, которые веселятся на елисейских лугах Хереса, – богатые Ламанчцы, с венками из спелых колосьев на головах, закованные в железо, последние отпрыски древних готов; те, которые купаются в Писуерге, прославленной мягкостью струй; те, которые пасут стада на обширных пажитях излучистой Гадияны, славящейся своим таинственным течением; те, что дрожат от холода на лесистых вершинах Пиренеев или среди белых снежных хлопьев на высоких Апеннинах; – словом, здесь собраны все народы, населяющие Европу и входящие в ее состав.

Помоги нам, Боже, – сколько местностей перечислил он, сколько назвал народов, наделяя каждый из них с удивительной быстротой принадлежавшими им свойствами, совершенно поглощен-

¹ Исследуй мою судьбу.

ный и весь пропитанный тем, что он прочел в своих лживых книгах.

Санчо Панса молча прислушивался к словам Дон Кихота и время от времени поворачивал голову, чтобы посмотреть, не увидит ли он тех рыцарей или великанов, которых его господин называл, и так как он никого не открыл, он сказал:

– Сеньор, черт их побери, но из всех, сколько не перечисляла их ваша милость, ни один человек, ни великан, ни рыцарь, не показывается; по крайней мере, я их не вижу; быть может, все это такое же волшебство, как и вчерашние привидения.

– Как можешь ты это говорить, – ответил Дон Кихот, – разве ты не слышишь ржания коней, боя барабанов и звуков труб?

– Не слышу ничего, – ответил Санчо, – кроме сильного блеяния баранов и овец.

Так оно и было на самом деле, потому что оба стада уже подошли к ним довольно близко.

– Страх, который ты чувствуешь, – сказал Дон Кихот, – мешает тебе, Санчо, правильно видеть и слышать; одно из действий страха именно поражать наши чувства, вследствие чего предметы кажутся нам иными, чем они есть на самом деле. И если ты так сильно боишься, отойди подальше и оставь меня одного, потому что и один я сумею склонить победу на ту сторону, к которой я присоединюсь.

Говоря это, Дон Кихот прищипорил Росинанта и, держа копьё наперевес, с быстротой молнии спустился с холма. Санчо крикнул ему вслед:

– Ваша милость, Дон Кихот, вернитесь, клянусь вам Богом, это бараны и овцы, на которых вы хотите напасть! – Вернитесь!.. Несчастливый отец, породивший меня!.. Что это за сумасшествие!

Посмотрите, тут нет ни великанов, ни рыцарей, нет ни доспехов, ни кошек, ни четырехпольных, ни цельных щитов, ни лазурного, ни чертова железного шлема... Что это он делает?.. Боже, помилуй меня грешного!..

Но крик Санчо не заставил вернуться Дон Кихота, напротив, он скакал вперед, громко говоря:

– Эй, вы, рыцари, которые служите и сражаетесь под знаменами храброго императора Пентаполина с Засученным рукавом, – следуйте за мной, и вы увидите, как легко я добуду ему отмщение над врагом его Алифанфароном де ла Трапобана.

С этими словами он въехал в самую середину стада овец и с таким мужеством и отвагой стал прокалывать их копьём, словно он в самом деле расправлялся со смертельными своими врагами. Пастухи и подпаски, бывшие со стадами, кричали ему, чтобы он этого не делал, но, увидав, что ничего не помогает, они отвязали с пояса свои пращи и стали приветствовать его уши камнями, величиною с кулак. Дон Кихот, не обращая внимания на камни, скакал то туда, то сюда и кричал:

– Где ты, надменный Алифанфарон?.. Выходи на бой, так как против тебя выступает лишь один рыцарь, который желает в поединке испытать твои силы и лишит тебя жизни в наказание за твою вину против мужественного Пентаполина Гараманта.

В эту минуту большой речной кремень, ударившись в бок Дон Кихоту, вдавил ему внутрь два ребра. Видя себя в столь плохом состоянии, он, наверное, подумал, что убит или опасно ранен, и, вспомнив о своем бальзаме, вынул сосудец, поднес его ко рту и стал вливать жидкость себе в желудок. Но прежде, чем он успел выпить столько, сколько ему казалось нужным, свистнула вторая крем-

невая миндалины и так ловко ударила его по руке и по сосудцу, что этот последний разбился на куски, а попутно выхватила у него изо рта три или четыре передних и коренных зуба и сильно ушибла два пальца на руке. Как первый, так и второй удар оказались столь меткими, что бедный рыцарь потерял равновесие и свалился с лошади. Пастухи подбежали к нему и, подумав, что они его убили, с величайшей поспешностью собрали свои стада, взвалили на плечи мертвых овец, которых оказалось более семи, и удалились, не желая исследовать ничего другого.

Все это время Санчо стоял на холме, глядел на безумные выходки своего господина и рвал себе бороду, проклиная день и час, когда злой рок свел его с Дон Кихотом. Когда же он увидел, что рыцарь лежит на земле, а пастухи ушли, Санчо спустился с холма, приблизился к Дон Кихоту и, найдя его в крайне плохом состоянии, хотя он еще был в памяти, сказал ему:

– Не говорил ли я вам, сеньор Дон Кихот, чтобы вы вернулись, так как те, на которых вы собирались напасть, не войска, а стада баранов?

– Вот как этот плут-волшебник, враг мой, умеет изменять и извращать вещи, – сказал Дон Кихот. – Знай, Санчо, что таким, как он, легко заставить нас видеть все, что они пожелают, и злобный чародей, преследующий меня, завидуя славе, которою мне предстояло покрыться в этой битве, – превратил полки врагов в стада баранов. Если же ты мне не веришь, Санчо, сделай одну вещь, умоляю тебя, чтобы убедиться, что ты заблуждаешься, а я прав. Садись на своего осла, поезжай тихонько за ними, и ты увидишь, как удалившись отсюда на небольшое расстояние, все снова примут первоначальный свой вид и из баранов превратятся опять в настоящих и под-

линных людей, таких, каких я тебе описывал. Впрочем, повремени еще схать, потому что мне нужна твоя помощь и услуга. Подойди поближе ко мне и посмотри, сколько недостает у меня передних и коренных зубов: мне кажется, что во рту у меня не осталось ни одного зуба.

Санчо наклонился так близко к рыцарю, что глаза его чуть ли не влезли ему в рот. В это время бальзам произвел как раз свое действие в желудке Дон Кихота, и в ту самую минуту, когда Санчо осматривал ему рот, рыцарь изверг из себя стремительнее, чем выстрел из мушкета, все, что у него было внутри, и обдал этим бороду сострадательного оруженосца.

– Пресвятая Дева Мария! – воскликнул Санчо, – что такое случилось со мной? Без сомнения, этот грешник ранен насмерть, так как его рвет кровью.

Но взглядевшись ближе, Санчо по цвету, запаху и вкусу убедился, что это не кровь, а бальзам, который, как он видел, Дон Кихот пил из сосудца, и его охватила такая тошнота, что и у него перевернуло желудок и все, что там было, вырвало на Дон Кихота, так что теперь оба они сверкали, будто украшенные жемчугом. Санчо побежал к ослу, чтобы достать из дорожных сумок что-нибудь, чем вытереться и перевязать раны своему господину, но не найдя сумок, чуть не сошел с ума; он опять стал себя проклинять и в душе своей решил бросить господина и вернуться домой, хотя бы он и потерял жалованье за свою службу и надежды на губернаторство на обещанном ему острове.

Между тем Дон Кихот встал и, придерживая левой рукой рот, чтобы не выпали у него и остальные зубы, правой взял за узду Росинанта, который, стоя рядом со своим господином, не двинулся от него ни на шаг (до того он был верен и предан ему), и пошел туда, где оруженосец его стоял, прислонившись грудью к



С этими словами он въехал в самую середину стада овец и с таким мужеством и отвагой стал прокалывать их копьём, словно он в самом деле справлялся со смертельными своими врагами

своему ослу и подперев рукою щеку, как человек, погруженный в глубокую задумчивость. Увидав его в такой позе и столь грустного, Дон Кихот сказал ему:

– Знай, Санчо, – нет человека, который стоил бы больше другого, если он не сделал больше его; все эти бури, разражающиеся над нами, предвещают, что погода скоро прояснится, и дела наши примут хороший оборот; потому что невозможно, чтобы зло или добро длилось бы очень долго, и из этого следует, что, если зло продолжалось долго, добро уже близко; так что ты не должен сокрушаться о несчастиях, приключившихся со мной, – ведь, они не коснулись тебя.

– Как не коснулись меня, – ответил Санчо, – быть может, тот, которого вчера бросали вверх на одеяле, был кто другой, а не сын моего отца?.. И сумки, пропавшие у меня сегодня со всем моим добром, принадлежали, быть может, кому другому, – а не мне?..

– Как, Санчо, у тебя пропали сумки? – спросил Дон Кихот.

– Да, пропали, – ответил Санчо.

– Значит, сегодня нам нечего будет есть, – сказал Дон Кихот.

– Нечего было бы, – ответил Санчо, – если б на этих лугах не росли травы, которые вам, – как вы говорили, – хорошо известны, и которыми несчастные странствующие рыцари, подобные вашей милости, имеют обыкновение заменять недостаток пищи.

– Тем не менее, – ответил Дон Кихот, – я охотнее предпочел бы теперь кусок белого или же простого деревенского хлеба и пару голов копченых сельдей всем травам, описанным Диоскоридом, хотя бы и с иллюстрациями доктора Лагуна¹. Однако, садись на своего осла, Санчо Добрый, и следуй за мной, так как Бог,

который печется обо всех, не оставит и нас, особенно потому, что странствуя, как мы это делаем, мы тем самым служим Ему; ведь, Он не забывает ни комаров в воздухе, ни червей в земле, ни головастиков в воде, и так милостив, что велит солнцу своему восходить над добрыми и злыми и орошает дождем праведных и неправедных.

– Вашей милости пристало бы больше быть проповедником, чем странствующим рыцарем, – сказал Санчо.

– Странствующие рыцари знают все и должны все знать, Санчо, – ответил Дон Кихот, – так как в прошлые века встречались рыцари, которые были столь же способны произнести проповедь или сказать речь среди чистого поля, как будто они получили ученую степень в Парижском университете, и из этого следует, что никогда копы не притупляет пера, ни перо – копыя.

– Что ж, пусть будет так, как говорит ваша милость, – ответил Санчо, – а теперь уедем отсюда и постараемся найти себе ночлег, только дай Бог, чтобы мы нашли его там, где не будет ни подбрасывания вверх на одеяле, ни подбрасывателей, ни привидений, ни очарованных мавров, потому что, если они окажутся, тогда пусть черт все поберет с собой.

– Попроси о том Бога, сын мой, – сказал Дон Кихот, – и веди меня, куда хочешь, так как на этот раз я предоставляю выбор ночлега тебе, но дай-ка сюда руку и ощупай пальцем, сколько у меня недостаёт зубов на правой верхней челюсти, потому что там я чувствую боль.

Санчо всунул ему в рот пальцы и, ощутив десну, сказал:

– Сколько коренных зубов было раньше вот с этой стороны у вашей милости?

¹ Андрес Лагуна, доктор императора Карла V, перевел с греческого Диоскорида, с комментариями и иллюстрациями.

– Четыре, – ответил Дон Кихот, – не считая зуба мудрости, и все были совершенно целы и невредимы.

– Подумайте-ка хорошенько, так ли вы говорите, милость ваша, – сказал Санчо.

– Говорю тебе, что четыре, если не пять, – ответил Дон Кихот, – потому что во всю жизнь у меня не вырвали ни одного зуба, ни переднего, ни коренного, и ни один не выпал и не разрушился от гниения или простуды.

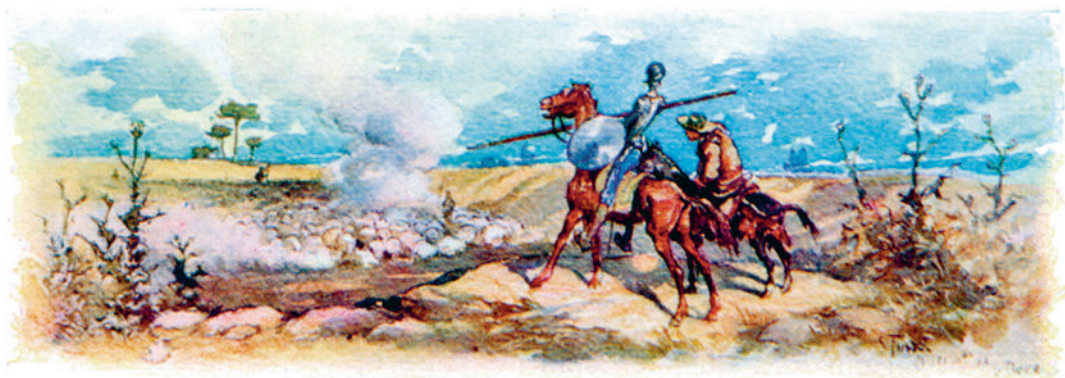
– Ну, на этой стороне внизу, – сказал Санчо, – у вашей милости всего лишь два с половиной коренных зуба, а там, наверху, нет ни ползуба и ничего, потому что все гладко, как ладонь руки.

– Несчастный я! – воскликнул Дон Кихот, услышав печальное известие, сообщенное его оруженосцем; – я скорей желал бы, чтоб у меня отрубили руку,

но только не ту, которой держат меч; так как, ты должен знать, Санчо, что рот без коренных зубов все равно, что мельница без жерновов, и надо ценить зуб куда выше, чем алмаз. Но всем таким случайностям подвержены мы, те, что исповедуют суровые правила рыцарства. Садись на своего осла, друг, и поезжай впереди, а я буду следовать за тобой, какую бы дорогу не выбрал ты.

Санчо так и сделал и направился туда, где он надеялся найти ночлег, не покидая, однако, большой дороги, ясно обозначенной здесь. В то время, как они медленно подвигались вперед, потому что боль в челюстях не давала Дон Кихоту покоя и не позволяла быстро ехать, Санчо пожелал развлечь и занять его и, между прочим, рассказал ему то, о чем будет сообщено в следующей главе.





Глава XIX

О мудром разговоре, который Санчо вел со своим господином, о приключении с мертвым телом и о других замечательных событиях.

Мне кажется, сеньор мой, что все эти несчастья, обрушившиеся на нас в последние дни, были, — вне всякого сомнения, — наказанием за грех против рыцарского устава, в который впала ваша милость, не сдержав своей клятвы — не есть хлеба со скатерти, не забавляться с королевой, и не делать и остального, что еще за этим следовало, и что ваша милость клялась исполнять, пока вам не удастся добыть себе шлема Меландрина или как там зовут мавра, хорошенько не помню.

— Ты вполне прав, Санчо, — сказал Дон Кихот, — но, говоря по правде, я забыл о моей клятве, и за то, что ты во время не напомнил мне о ней, с тобой приключилась, — можешь в этом быть уверен, — неприятность с подбрасыванием на одеяле. Впрочем, я заглажу свою ошибку, так как в рыцарском ордене имеются средства все уладить.

— Но разве и я клялся в чем-либо? — спросил Санчо.

— Не важно, что ты не клялся, — ответил Дон Кихот, — достаточно и того, что я считаю тебя не совсем свободным от соучастия, и так ли оно на деле, или нет, недурно было бы принять нам ка-

кие-нибудь меры для исправления нашей ошибки.

— Если дело так обстоит, — сказал Санчо, — постарайтесь, ваша милость, не забыть сказанного вами сейчас, как вы забыли свою клятву; иначе привидениям может опять прийти охота потешиться надо мной и даже и над вашей милостью, если они увидят, до чего вы упорны.

В этих и подобных разговорах ночь застигла их среди дороги прежде, чем они нашли или добрались до места, где им можно было бы переночевать; но хуже всего было то, что они умирали с голоду, так как вместе с сумками исчезла и их кладовая со всеми съестными припасами. К довершению беды им встретилось приключение, которое без искусственной натяжки действительно можно было назвать таковым. Наступила довольно темная ночь, но, несмотря на это, они продолжали свой путь, так как Санчо полагал, что раз они находятся на большой дороге, то, проехав одну или две мили, они непременно должны попасть на какой-нибудь постоялый двор. И вот оруженосец голодный и господин его тоже с сильным желанием поесть, путешествуя таким образом в ночной темноте, увидели, что навстречу им по той

же дороге движется великое множество огней, казавшихся чем-то вроде движущихся звезд. При виде этих огней Санчо чуть не обмер от страха, да и Дон Кихоту стало не по себе, один дернул осла за недоуздок, другой придержал лошадь за повод, и оба они остановились и стали внимательно всматриваться, что бы это могло быть. Они видели, что огни приближались к ним, и чем больше они приближались, тем больше увеличивались. При этом зрелище Санчо задрожал, как человек, принявший внутрь ртуть¹, а у Дон Кихота волосы встали дыбом, но он тотчас же, несколько приободравшись, сказал:

– Нет сомнения, Санчо, что это одно из величайших и самых опасных приключений, в котором мне нужно будет выказать всю мою храбрость и мужество.

– Несчастный я, – воскликнул Санчо. – Если и это приключение окажется опять с привидениями, как мне сдается, где же нам набраться ребер, чтобы выдержать его?

– Пусть будет сколько угодно привидений, – сказал Дон Кихот, – но я не допущу, чтобы они дотронулись хоть до нитки твоего платья, – и если в тот раз они пошутили над тобой, это случилось потому, что я не мог перебраться через забор двора; теперь же мы в открытом поле, где я в состоянии размахнуться мечом, как захочу.

– А если они заворожат и сделают его бессильным, как в тот раз, – сказал Санчо, – какая будет польза от того, в открытом ли мы поле, или нет?

– Тем не менее, – возразил Дон Кихот, – прошу тебя, Санчо, запасись мужеством, а сколько его у меня, ты увидишь на деле.

– Да, я запасусь мужеством, если Богу будет угодно, – ответил Санчо.

И оба, отъехав немного в сторону, стали снова внимательно всматриваться, что бы такое могли быть эти двигавшиеся огни, и вскоре они различили большее число людей, одетых в белые балахоны². Это страшное видение окончательно погасило мужество в душе Санчо Пансы, и он застучал зубами, как в припадке четырехдневной лихорадки; его дрожь и стучание зубами еще усилились, когда они ясно рассмотрели, что это такое, они увидели около двадцати человек в длинных белых балахонах верхом, с зажженными факелами в руках, а за ними следовали носилки, покрытые трауром, за которыми ехало еще шесть всадников, облаченных в траур до самых ног их мулов, – что это были мулы, а не лошади, хорошо было видно по их спокойной поступи. Ехали белые привидения, что-то бормоча себе под нос тихим и жалобным голосом. Это изумительное видение в такой час и в таком пустынном месте могло, без сомнения, наполнить страхом сердце Санчо и даже сердце его господина, что действительно и случилось с Дон Кихотом. Но Санчо окончательно забыл свое намерение запастись мужеством. С господином же его произошло противоположное, так как его фантазия тотчас же ярко разрисовала ему, что это одно из приключений, описанных в его книгах. Он вообразил себе, что носилки – по-

¹ temblar come un *azogado* – общеупотребительное испанское выражение, основанное на мысли, что те, которые принимают ртуть, azogue, или вдыхают ее, подобно рабочим в ртутных рудниках, дрожат, как и сам металл.

² Encamisados (одетые в белые рубахи поверх одежды) – выражение, чаще всего употребляемое по отношению к солдатам, прибегавшим к этой хитрости во время ночных нападений, чтобы признать друг друга в темноте.

гребальные дроги, а на них везут какого-нибудь тяжелораненого или мертвого рыцаря, отомстить за которого предназначено единственно ему. Без дальнейших размышлений, он, взяв наперевес копье, уселся крепче в седле и с благородной осанкой и мужественным видом стал посреди дороги, по которой белые привидения неминуемо должны были проехать. Когда же он увидел их вблизи себя, то громким голосом воскликнул:

– Остановитесь, рыцари, кто бы вы ни были, и дайте мне отчет: откуда и куда вы едете, кто вы такие и что у вас там, на этих носилках? По всем признакам вы или сами совершили, или над вами было совершено кем-либо злодеяние, – мне же следует и необходимо это знать для того, чтобы наказать вас за содеянное вами зло, или же отомстить за нанесенную вам обиду!

– Мы спешим, – ответило одно из белых привидений, – а до постоянного двора еще далеко, и мы не можем останавливаться, чтобы дать вам обстоятельный отчет, которого вы требуете. – И, прищипорив мула, привидение двинулось вперед. Сильно раздраженный таким ответом, Дон Кихот схватил мула за узду и сказал:

– Остановитесь и будьте вежливее! Дайте отчет, которого я требую; если же нет, вызываю всех вас на поединок со мной.

Мул был пуглив, и когда почувствовал, что его схватили за узду, он так испугался, что поднялся на дыбы и сбросил своего седока на землю. Слуга, шедший пешком, увидав, что его господин в белом одеянии упал с мула, начал поносить Дон Кихота, который, воспылав гневом, не раздумывая ни минуты, наклонив копье, устремился на одного из всадников, одетых в траур, и тяжело ранив его, сбросил на землю; затем он обратился к

остальным и, действительно, стоило посмотреть, с какой он быстротой нападал на них и разбивал их: казалось, что в ту минуту у Росинанта выросли крылья, так он легко и гордо выступал. Всадники, облаченные в белое, были люди пугливые и безоружные, поэтому они поспешили тотчас же отказаться от битвы и бросились бежать по полю с зажженными факелами, более всего напоминая собой ряженых, забавляющихся в дни празднеств и торжеств. А одетые в траур – закутанные и опутанные своими шлейфами и длинными облачениями – не могли двинуться с места; поэтому Дон Кихот, не подвергаясь ни малейшей опасности, всех их побил и заставил против их воли покинуть место действия, так как они думали, что на них напал не человек, а сам дьявол, явившийся из преисподней, чтобы отнять у них труп, который они несли на носилках. Все это видел Санчо; удивленный отвагой своего господина, он подумал про себя: «Несомненно, этот мой господин, в самом деле, такой мужественный и храбрый, как он говорит».

На земле, близ первого всадника, сброшенного мулом, лежал горящий факел, при свете которого Дон Кихот увидел упавшего. Он подошел к нему, представил ему к лицу острие копья и потребовал, чтобы он сдался; если же нет, грозил убить его. На это упавший ответил:

– Кажется, я вполне сдался, потому что не могу двинуться с места: у меня нога сломана. Умоляю вашу милость, если вы рыцарь-христианин, не убивайте меня, иначе вы совершите великое святотатство, потому что я лисенсиат и уже посвящен в духовный сан.

– Какие же черти принесли вас сюда, если вы духовное лицо? – воскликнул Дон Кихот.

– Какие черти, сеньор? – ответил упавший, – несчастная моя судьба.

– И еще более несчастная судьба ожидает вас, – объявил Дон Кихот, – если вы тотчас же не удовлетворите меня, ответив на вопрос, первоначально предложенный мною вам.

– Удовлетворю вашу милость немедленно, – сказал лисенсиат; – итак, да будет известно вашей милости, что, хотя я перед тем сказал, что я лисенсиат, я только бакалавр, и зовут меня Алонсо Лопес. Родом я из Алькобендас и вместе с другими одиннадцатью священнослужителями, теми самыми, которые убежали с факелами, едем мы из города Баэса в город Сеговию, провожая мертвое тело, лежащее на этих носилках, – труп дворянина, умершего в Баэсе, где он был похоронен, а теперь, как я уже говорил, мы везем его останки в фамильный склеп в Сеговию, откуда он родом.

– А кто его убил? – спросил Дон Кихот.

– Бог, посредством гнилой горячки, которая и унесла его, – ответил бакалавр.

– Таким образом, – сказал Дон Кихот, – Господь Бог избавил меня от труда отомстить за смерть этого человека, что я должен был бы сделать, если бы его убил кто-нибудь другой; а так как он умер по воле пославшего ему смерть, остается лишь одно: молчать и пожать плечами, потому что я сделал бы тоже, если бы Он убил и меня самого. Но я желал бы, чтобы вы, ваше преподобие, знали, что я рыцарь, родом из Ламанчи, по имени Дон Кихот, и что моя профессия и мое призвание – скитаться по всему свету, исправляя зло и уничтожая несправедливость и обиды.

– Не знаю, как вы там исправляете зло, – сказал бакалавр, – но что касается меня, вы не исправили, а нанесли мне зло, сломав мне ногу, вследствие чего я буду хромать до конца моих дней; относительно же уничтожения обид, вы не

уничтожили, а, напротив, нанесли мне неизгладимую на всю жизнь обиду; и самое большое несчастье, обрушившееся на меня, была встреча с вами, в ваших поисках приключений.

– Не все вещи случаются на один и тот же лад, – сказал Дон Кихот, – беда ваша, сеньор бакалавр Алонсо Лопес, заключалась в том, что вы ехали ночью, одетые в стихарях с зажженными факелами, с тихим пением и обвешанные трауром, так что, действительно, вы казались какой-то чертовщиной и порождением ехидны. Поэтому я не мог не исполнить своей обязанности и не напасть на вас. Я напал бы на вас и тогда, если бы был даже вполне уверен, что вы самые что ни на есть дьяволы из преисподней, за которых я вас все время считал и принимал.

– Раз уж мне выпала столь несчастная судьба, – сказал бакалавр, – то прошу вашу милость, сеньор странствующий рыцарь, лишивший меня возможности странствовать: помогите мне выбраться из-под этого мула, так как у меня нога прищемлена между стремянем и седлом.

– Я бы говорил, пожалуй, до завтрашнего дня, – сказал Дон Кихот, – а вы чего же ждали, и не сказали мне о своей беде?

И он немедленно позвал Санчо, но тот не очень-то спешил, так как был занят разгрузкой вьючного мула, которого добрые сеньоры вели за собой, хорошо нагруженного съестными припасами. Санчо устроил мешок из своего плаща и, наложив туда всего, что мог и что туда влезло, взвалил мешок на своего осла и затем тотчас побежал на зов Дон Кихота, которому он и помог вытащить сеньора бакалавра из-под его мула; усадив его на седло, он подал ему факел, а Дон Кихот сказал бакалавру, чтобы он ехал вслед за бежавшими своими товарищами и по-

просил бы у них от его имени извинения за оскорбление, которое он им нанес и которое не в его власти было не нанести им. А Санчо еще добавил:

– Если б, случайно, эти сеньоры пожелаали узнать, кто был тот храбрый человек, который так хорошо отделил их, скажите им, ваша милость, что это был знаменитый Дон Кихот Ламанчский, называемый другим именем: *Рыцарь Печального Образа*.

Тогда бакалавр сказал, уезжая:

– Я забыл предупредить вашу милость, что вы отлучены от церкви за то, что насильственно подняли руку на священные предметы: «*juxta illud si quis suadente diabolo*»¹ и т. д.

– Я этой латыни не понимаю, – ответил Дон Кихот; – но хорошо знаю, что поднял я не руку, а вот это копьё; сверх того, я не подозревал, что оскорбляю духовных лиц или церковные предметы, к которым, как верующий католик и добрый христианин, я питаю достойное уважение, а думал, что нападаю на привидения и чудища с того света. Но даже если б оно и не было так, все же в памяти у меня хранится то, что случилось с Сидом Руи Диасом, когда он сломал вдребезги кресло королевского посланника в присутствии Его Святейшества Папы, за что тот отлучил его от церкви; а тем не менее, добрый Родриго де Бивар вел себя в тот день, как самый благородный и мужественный рыцарь.

Услышав это, бакалавр, как уже было сказано, уехал, не ответив ни слова. А Дон Кихот спросил Санчо, что побудило его именно теперь, а не в другое время, назвать его *Рыцарем Печального Образа*.

– Сейчас скажу вам, – ответил Санчо, – я смотрел на вас несколько минут при свете факела, который держал в руках тот несчастный хромым, и, право, у

вашей милости было самое жалкое лицо, которое я когда либо видел; должно быть, это произошло или оттого, что вы сильно утомились в бою, или же от недостающих у вас передних и коренных зубов.

– Вовсе не то, – ответил Дон Кихот, – но мудрецу, которому предстоит написать историю моих подвигов, показалось, без сомнения, уместным, чтобы я избрал себе прозвище, как это делали все рыцари в былые времена; один из них назывался рыцарем *Пылающего Меча*, другой – рыцарем *Единорога*, третьего звали рыцарем *Феникса*, этого – рыцарем *Грифа*, того – рыцарем *Смерти*, и под этими прозвищами и девизами они были известны на всем земном шаре. Итак, я говорю, что упомянутый мудрец внушил тебе мысль и вложил тебе в уста назвать меня теперь *рыцарем Печального Образа*, как я отныне и намерен называться. А чтоб это прозвище еще лучше ко мне шло, я, когда окажется случай, велю нарисовать на своем щите необычайно печальную фигуру.

– К чему вам тратить время и деньги на изображение такой фигуры, – сказал Санчо; – вам надо сделать лишь одно: пусть ваша милость покажет свою фигуру, и тем, которые будут смотреть на вас, откройте свое лицо, и тотчас же, без всякого промедления и всяких изображений и щитов, вас назовут рыцарем *Печального Образа*. Поверьте мне, что я говорю правду, и уверяю вас, милость ваша сеньор (будь сказано в шутку), что голод и потеря коренных зубов до того обезобразили ваше лицо, что, как я уже говорил, вам отлично можно обойтись без изображения печального образа на щите.

Дон Кихот рассмеялся над шуткой Санчо, но, тем не менее, он решил при-

¹ Если кто по наущению дьявола и т. д.

нять новое прозвище и дать разрисовать свой щит, как он намеревался.

Дон Кихот захотел удостовериться, действительно ли на носилках лежит труп или нет, но Санчо не согласился на это, сказав:

– Сеньор, опасное это приключение кончилось для вашей милости более счастливо, чем все остальные, при которых я присутствовал; но эти люди, хотя и побежденные и обращенные в бегство, могут однако одуматься и понять, что с ними расправился всего лишь один человек; рассерженные этим и устыдившись, они могут ободриться и вернуться, разыскать нас и хорошенько нас проучить. Осел в исправности; горы вблизи, голод мучит нас, и нам остается лишь одно: спокойным шагом удалиться отсюда, и, как говорится: пускай мертвый ложится в могилу, а живой берется за хлеб.

С этими словами Санчо, погнав вперед своего осла, попросил и господина своего следовать за ним, что тот, считая,

что Санчо прав, и сделал без всякого возражения.

Они проехали небольшое расстояние между двумя холмами и очутились на уединенной, обширной поляне, где оба спешились, и Санчо разгрузил здесь своего осла. Господин и слуга растянулись на зеленой траве и, благодаря приправе голода, одновременно позавтракали и пообедали, пополдничали и поужинали, набив свои желудки многими лакомыми припасами, которые сопровождавшие покойника сеньоры церковники (редко забывающие основательно позаботиться о себе) везли с собой на выючном муле. Но с Дон Кихотом и его оруженосцем приключилась новая беда, которую Санчо счел за худшую из всех, а именно, у них не оказалось не только вина, а даже и воды, чтоб промочить себе горло. Терзаемый жаждой Санчо, заметив, что луг, на котором они сидели, в изобилии покрыт свежей, сочной травой, сказал то, что будет изложено в следующей главе.





Глава XX

О невиданном и неслыханном приключении, доведенном до конца храбрым Дон Кихотом Ламанчским с меньшей опасностью, чем приключение, совершенное кем-либо из других прославленных на свете рыцарей.

Без сомнения, сеньор мой, – и эта трава служит тому доказательством, – здесь поблизости должен быть источник или ручеек, освежающий этот луг, и потому было бы хорошо нам пройти немного дальше и отыскать место, где можно будет утолить ужасную жажду, терзающую нас, и которая, несомненно, мучительнее голода.

Совет этот понравился Дон Кихоту, и он взял за повод Росинанта, а Санчо взял за недоуздок осла, предварительно навьючив на него остатки ужина, и оба они начали ощупью подниматься по лугу вверх, так как ночная темнота мешала им что-либо видеть. Но не прошли они и двухсот шагов, как до слуха их донесся сильный шум воды, словно свергавшейся с высоких и крутых скал. Этот шум чрезвычайно обрадовал их; когда же они остановились, чтобы прислушаться, с какой стороны он раздается, до их ушей внезапно донесся грохот другого рода, который уничтожил их радость по поводу найденной воды, и особенно радость Санчо, потому что он по природе был

малодушен и труслив. Они услышали, говорю я, какие-то мерно раздававшиеся удары, смешанные с бряцанием железа и цепей, и все это, сопровождаемое страшным грохотом вод, низвергавшихся со скал, наполнило бы ужасом любое сердце, исключая лишь сердца Дон Кихота.

Кругом, как было сказано, стояла непроглядная ночь, и наши искатели приключений очутились под высокими деревьями, листва которых, колеблемая легким ветерком, издавала какой-то глухой, зловещий шелест, так что темнота, пустынная местность, шум вод и шелест листьев – все вместе наводило страх и ужас, и тем более, когда они убедились, что и удары не умолкают, и ветер не перестает дуть, и утро не занимается, и в довершение всего местность, в которой они находятся, совершенно незнакома им.

Но Дон Кихот, подбодряемый своим неустрашимым сердцем, вскочил на Росинанта, надел на руку щит и, подняв копьё, сказал:

– Санчо, друг! Ты должен знать, что я, – по велению небес, – родился в этот наш железный век, чтобы воскресить

в нем так называемый золотой век. Я тот, для кого предназначены опасности, великие дела и подвиги, – я тот, говорю еще раз, которому суждено воскресить рыцарей Круглого Стола, двенадцать пэров Франции и девять мужей Славы, – тот, который заставит забыть Платиров, Таблантов, Одивантов и Тирантов, Белианисов и Фебов со всей толпой странствующих рыцарей минувших времен, совершив в этот наш век столь небывалые чудеса храбрости и изумительные подвиги, от которых померкнут все самые блестящие деяния, совершенные ими. Заметь хорошенько, верный и преданный оруженосец, темноту этой ночи, странную ее тишину, глухой и смутный шелест деревьев, ужасающий рев воды, которую мы искали и которая словно низвергается и стремительно выбрасывается с высоких гор луны, вслушайся в эти не перестающие мерные удары, что нам терзают и ранят слух, – всех этих явлений вместе взятых и каждого из них в отдельности было бы достаточно, чтобы вселить страх, испуг и ужас в грудь самого Марса, а тем более того, кто не привык к подобного рода событиям и приключениям. Но все, что я сейчас описал тебе, пробуждает и зажигает во мне отвагу, и сердце мое так и бьется в груди от желания идти навстречу страшному этому приключению, какой бы опасностью оно не угрожало. Итак, Санчо, подтяни немного подпруги Росинанта, и да хранит тебя Бог. Ожидай меня здесь не более трех суток, и если я в течение этого времени не вернусь, отправляйся к нам в село, а оттуда, – чтобы сделать мне удовольствие и оказать мне услугу, – съезди в Тобосо и передай там несравненной моей сеньоре Дульсинее, что плененный ею рыцарь погиб, совершая подвиги, которые сделали бы его достойным называться ее поклонником.

Когда Санчо услышал эти слова своего господина, растроганный донельзя, он заплакал и сказал:

– Не знаю, сеньор, зачем ваша милость желает идти навстречу столь ужасному приключению. Теперь ночь; здесь никто нас не видит, мы легко можем свернуть с дороги и укрыться от опасности, хотя бы нам не пришлось пить целых три дня; а так как некому нас видеть, то некому будет и обзывать нас трусами. При том же, я часто слышал, как сельский наш священник (с которым ваша милость хорошо знакома) в своих проповедях говорил, что тот, кто ищет опасности, от нее погибает; поэтому нехорошо искушать Бога и предпринимать столь ужасающее дело, спастись от которого можно только благодаря чуду. Довольствуйтесь тем, что небо уже сделало для вашей милости, избавив вас от того, чему я подвергся, – от подкидывания на одеяле, – и допустив вас выйти победителем, свободным и невредимым, над столь многими врагами, которые сопровождали покойника. И если все это не тронет и не смягчит жестокое ваше сердце, пусть его тронет мысль и уверенность, что, едва ваша милость удалится, я со страху отдам мою душу тому, кто захочет ее взять. Я покинул свою родину, оставил жену и детей, чтобы служить вашей милости, в полной уверенности, что улучшу, а не ухудшу свои обстоятельства. Но подобно тому, как алчность прорывает мешок, она стучала и мои надежды, потому что как раз, когда они были особенно ярки, и я был уверен, что, наконец, получу злополучный проклятый остров, который ваша милость столько раз мне обещала, – я вижу, что взамен этой награды, вы хотите бросить меня теперь одного в местности, столь отдаленной от всякого сношения с людьми. Ради единого Бога, сеньор мой, не наносите мне такой обиды. И если уже

милость ваша не желает вовсе отказаться от задуманного сего подвига, по крайней мере, отложите его хоть до утра, так как, судя по приметам, которые я узнал, когда был пастухом, до рассвета осталось, может быть, менее трех часов, потому что отверстие Рога¹ стоит над головой, а полночь оно показывает на линии левой руки.

– Как можешь ты, Санчо, – спросил Дон Кихот, – видеть, где эта линия, или это отверстие, или голова, о которой ты говоришь, если ночь такая темная, что на всем небе не видать ни одной звезды.

– Это верно, – сказал Санчо, – но у страха много глаз, и он видит вещи под землей, а тем более на небе; впрочем, и без того не трудно догадаться, что до рассвета уже недалеко.

– Далеко или недалеко, – ответил Дон Кихот, – но да не будет сказано про меня ни теперь и ни в какое время, что слезы и просьбы отклонили меня сделать то, что в качестве рыцаря я должен был сделать. Поэтому прошу тебя, Санчо, замолчи, так как Бог, вложивший мне в душу решимость подвергнуть себя теперь этому неслыханному и столь ужасному приключению, позаботится о моей безопасности и утешит тебя в твоей печали. Теперь тебе предстоит лишь одно: хорошенько подтянуть подпруги Росинанта и оставаться здесь, так как я скоро вернусь, живой или мертвый.

Когда Санчо увидел, что это окончательное решение его господина и убедился, как мало на него действуют слезы, советы и просьбы, он задумал прибегнуть к хитрости, чтобы заставить его дожидаться рассвета, если возможно. Поэтому, пока он подтягивал подпругу лошади, он неслышно и незаметно недоуздом осла

связал обе ноги Росинанта, так что, когда Дон Кихот захотел ехать, он не мог этого сделать оттого, что конь не был в состоянии двинуться иначе, как только прыжками. Увидев, как хорошо ему удалась эта хитрость, Санчо сказал:

– Вот, сеньор, небо, тронутое моими слезами и мольбами, устроило так, что Росинант не может двинуться с места. Если же вы захотели бы упорствовать, понукать и бить лошадь, это значило бы гневить судьбу и, как говорится, идти против рожна.

Дон Кихот был в отчаянии, но чем больше он прищипоривал Росинанта, тем менее тот двигался с места. Ни мало не подозревая, что у лошади связаны ноги, Дон Кихот счел тогда за лучшее успокоиться и ждать, или чтобы рассвело, или чтобы Росинант начал двигаться, и вполне уверенный, что случившееся происходит от чего-либо другого, а не от хитрости Санчо, он сказал ему:

– Раз это так, Санчо, что Росинант не может двигаться, я согласен ждать здесь, пока нам улыбнется утро, хотя я чуть не плачу от того, что оно так медлит показаться.

– Плакать незачем, – возразил Санчо, – так как я буду забавлять вашу милость, рассказывая вам сказки до самого утра, если только вы не пожелаете слезть с коня и уснуть на зеленой траве по обычаю странствующих рыцарей, чтобы чувствовать себя свежим и бодрым, когда займется день и настанет время идти навстречу ожидающему вас столь неслыханному и ужасному приключению.

– Кому это ты говоришь, чтобы слезть с коня или уснуть? – сказал Дон Кихот. – Разве я из тех рыцарей, которые ищут отдыха среди опасностей? Спи

¹ Восина – Охотничий Рог, как называли в те времена в Испании созвездие Малой Медведицы. Пастухи определяли часы ночи по прохождению Полярной звезды, изображающей отверстие Рога.



Но Дон Кихот, подбодряемый своим
неустрасливым сердцем, вскачил на Росинанта.

ты, родившийся для того, чтобы спать, или делай, что хочешь, я же буду делать то, что более всего соответствует моему призванию.

– Не сердитесь, ваша милость, сеньор мой, – ответил Санчо, – я сказал это, не подумавши. – И подойдя к Дон Кихоту, он положил одну руку на переднюю луку седла, а другую на задний арчак, так что обнял левое бедро своего господина, не смея отойти от него ни на палец, так велик был его страх перед ударами, которые все еще мерно раздавались один за другим. Дон Кихот просил Санчо рассказать ему какую-нибудь историю, чтобы развлечь его, как он обещал. На это Санчо ответил, что сделал бы это, если б не страх, наводимый на него шумом, который он слышит. – Тем не менее, – продолжал он, – я приложу все усилия рассказать вам такую историю, что, если мне удастся ее рассказать и меня не прервут, она окажется лучшей из всех историй. Слушайте же внимательно, ваша милость, потому что я начинаю.

Было то, что было, и пусть добро достается всем, а зло тому, кто его ищет; и заметьте, ваша милость, сеньор мой, что начало сказок, как их говорили в старину, было не таким, как кому вздумается, потому что это было изречение Катона Сонсорино¹ римского, гласившее: *а зло тому, кто его ищет*, и это также под стать здесь, как кольцо к пальцу, имея в виду, чтобы ваша милость оставалась спокойной и не отправлялась куда-либо искать зло, и мы бы повернули на другую дорогу, так как никто не принуждает нас продолжать путь, где столько ужасов ожидает нас.

– Продолжай свой рассказ, Санчо, – сказал Дон Кихот, – и предоставь мне заботиться, по какой дороге нам ехать.

– Итак, я говорю, – снова начал Санчо, – что в одном из местечек Эстремадуры жил-был пастух или, надо бы сказать, козопас; каковой пастух или козопас, как говорится в моей истории, назывался Лопе Руис, и этот Лопе Руис был влюблен в пастушку, которую звали Торральва, а пастушка по имени Торральва была дочерью богатого владельца стада, богатый же владелец стада...

– Если ты, Санчо, будешь продолжать рассказывать таким образом, повторяя каждое слово по два раза, ты не кончишь свой рассказ и в два дня... Говори же связно и рассказывай, как разумный человек, или уж лучше ничего не говори.

– Таким же образом, как я рассказываю, – ответил Санчо, – рассказывают у нас на селе все сказки, и я не умею рассказывать их иначе, и не хорошо с вашей стороны, сеньор, что вы требуете от меня, чтобы я вводил новые обычаи.

– Рассказывай, как знаешь, – согласился Дон Кихот, – и продолжай, раз судьбе угодно, чтобы я слушал тебя...

– Итак, сеньор души моей, – сказал снова Санчо, – этот пастух, как я уже говорил, был влюблен в пастушку Торральву, девушку здоровенную и строптивую, которая к тому же немного смахивала на мужчину, потому что у нее были небольшие усики, право, я ее как сейчас вижу перед собою.

– Значит, ты ее знал? – спросил Дон Кихот.

– Нет, я не знал ее, – ответил Санчо, – но тот, кто рассказывал мне эту сказку, говорил, что в ней до того все истинно и правдиво, что когда я буду рассказывать ее другим, то могу уверять и клясться, что видел все собственными своими глазами. Итак, в то время, как дни шли и уходили, черт, который не спит и все

¹ Санчо говорит Caton Zonzorino, желая сказать Caton el Censorino, или Катон Цензор, изречения которого были в то время в большом ходу как среди ученых, так и неученых.

путает, устроил так, что любовь пастуха к пастушке обратилась в отвращение и злобу, а причиной тому, как говорят злые языки, было достаточное количество ревности, возбужденной в нем такого рода ее поступками, которые переходили меру и граничили с недозволенным; всего этого накопилось столько, что пастух с того времени возненавидел ее и, чтобы не встречаться с нею, решил покинуть ту местность и идти туда, где его глаза никогда не увидят ее. Лишь только Торральва убедилась, что Лопе пренебрегает ею, тотчас же она полюбила его так сильно, как никогда прежде не любила.

– Это прирожденное женщинам свойство, – сказал Дон Кихот, – пренебрегать теми, кто их любит, и любить тех, кто их ненавидит. Продолжай, Санчо.

– Случилось так, – сказал Санчо, – что пастух привел в исполнение свое намерение. Он собрал всех своих коз и погнал их по полям Эстрамадуры, имея в виду перебраться в Португальское королевство. Узнав об этом, Торральва пустилась вслед за ним и шла издали, пешком, босая, с посохом в руках и с котомкой за плечами, в которой у нее, как говорит молва, находились обломок зеркала, кусочек гребня и не знаю какая склянка с притираниями для лица. Но пусть она несла себе, что хотела, я не желаю заниматься проверкой этого теперь, а только скажу одно, что пастух, как говорят, подошел со своим стадом к реке Гадиана, через которую должен был переправиться. Но в то время года вода в реке сильно поднялась и почти что вышла из берегов. А в том месте, куда пришел пастух, не было ни лодки, ни барки и никого, кто бы мог перевезти его и его стадо на другой берег. Это чрезвычайно огорчило пастуха, так как он видел, что Торральва приближается и надсает ему много неприятностей своими просьбами и слеза-

ми. Но он не переставал всматриваться во все стороны, пока, наконец, не увидел рыбака, у которого была такая маленькая лодка, что в ней могли поместиться всего лишь один человек и одна коза. Тем не менее, он поговорил с ним и условился, чтобы рыбак перевез на другой берег его и бывшие при нем триста коз. Рыбак сел в лодочку и перевез сначала одну козу, вернулся и перевез другую, опять вернулся и перевез еще одну. Хорошенько считайте, ваша милость, тех коз, которых рыбак перевозит на другой берег, потому что, если хоть одна из них выскочит у вас из памяти, рассказу будет конец и к нему нельзя будет прибавить ни слова больше. Итак, продолжаю и говорю, что пристань на том берегу была очень топкая и скользкая, и рыбаку требовалось немало времени для переезда туда и обратно. Тем не менее, он вернулся еще за одной козой, потом еще за одной, и еще за одной...

– Предположи, что он перевез их всех, – сказал Дон Кихот, – и не переезжай с ними всякий раз туда и обратно, иначе ты и через год не перевезешь их на другой берег.

– Сколько коз было перевезено до сих пор? – спросил Санчо.

– Как, черт возьми, могу я это знать! – ответил Дон Кихот.

– Ну вот, не говорил ли я вам, чтобы вы хорошенько считали, потому что теперь, ей Богу, конец моему рассказу, и никак нельзя его продолжать.

– Как это может быть? – спросил Дон Кихот, – неужели так существенно для твоего рассказа знать с точностью, сколько коз было перевезено на другой берег, и если просчитаешь хоть одну козу, ты не можешь продолжать дальше своей истории?..

– Да, сеньор, никоим образом не могу, – подтвердил Санчо, – потому что, когда я спросил вашу милость, сколько

коз было перевезено на другой берег, а вы мне ответили, что не знаете, в ту же минуту у меня из памяти улетучилось все, что оставалось мне досказать, а говоря по чести, это было нечто очень интересное и забавное.

– Значит, – сказал Дон Кихот, – история твоя кончена?

– Она так же кончена, как и жизнь моей матери, – ответил Санчо.

– Скажу тебе по правде, – ответил Дон Кихот, – что ты рассказал одну из самых новейших¹ сказок, повестей или историй, которую кто либо на свете мог придумать, и такой манеры рассказывать и обрывать рассказ никто в жизни никогда еще не слышал и не услышит, хотя я и не ожидал чего-либо другого от твоего великого ума; но я не удивляюсь тому, так как, по-видимому, от непрерывного стука у тебя помутился рассудок.

– Все может быть, – ответил Санчо, – но я знаю, что относительно моей истории мне ничего больше не остается сказать: она кончается там, где начинается ошибка в счете перевезенных на другой берег коз.

– Пусть история эта в добрый час кончается, где угодно, – сказал Дон Кихот, – а теперь посмотрим, в состоянии ли Росинант двинуться с места. – Снова он пришпорил коня, а Росинант снова сделал несколько скачков и не двинулся с места, так хорошо он был спутан.

Как раз в это время, – оттого-ли, что уже наступившая утренняя прохлада тому содействовала, или же потому, что Санчо вечером за ужином съел что-нибудь слабительное, или же просто по естественному ходу вещей (что всего вероятнее), но он почувствовал сильное желание и потребность сделать то, чего никто другой не мог сделать за него; однако страх, наполнявший его душу, был так ве-

лик, что Санчо не отваживался отдалиться от своего господина даже на кончик ногтя. С другой стороны, не сделать того, что составляло для него неотложную потребность, также оказывалось невозможным. Желая примирить и то и другое, он отпустил правую руку, которой держался за арчак седла, и тихонько, не производя шума, развязал шнурок, на котором без всякого другого приспособления держались его штаны, и лишь только он это сделал, они свалились к его ногам, опутав их точно кандалами. Затем он, поднял, насколько было возможно, рубашку и выставил на воздух обе половины своего сидалища (а были они немалых размеров). Когда он сделал это (а ему казалось, что это-то и было самое необходимое, чтобы выйти из ужасного томления и мучения), им овладела еще другая и еще большая забота: он боялся, что не сможет облегчить себя, не производя некоторых звуков и шума. Итак, он стиснул зубы и поднял вверх плечи, втягивая в себя сколько мог дыхание. Но, несмотря на свои усилия, он был так несчастлив, что, в конце концов, произвел легкий шум, весьма непохожий на тот, который внушал ему такой ужас.

Дон Кихот услышал этот звук и сказал:

– Что это за звук такой, Санчо?

– Не знаю, сеньор, – ответил Санчо, – должно быть, новое что-нибудь, так как приключения и несчастья никогда не начинаются с ничего незначущего.

Он опять попытал счастья, и на этот раз ему так повезло, что он без дальнейшего шума и суматохи освободился от тяжести, доставившей ему столько хлопот. Но так как Дон Кихот обладал столь же тонким обонянием, как и слухом, а Санчо стоял с ним рядом и словно пришитый к нему, испарения же поднимались вверх почти по прямой линии, то было неиз-

¹ Эта сказка одна из самых древних и, несомненно, восточного происхождения.

бежно, что некоторая часть их ударила рыцарю в нос; а едва это случилось, как он поспешил на помощь своему носу, зажав его двумя пальцами, и потому несколько гнусавым голосом сказал:

– Мне кажется, Санчо, что тебя об- уял сильнейший страх.

– Вы правы, – ответил Санчо, – но из чего же милость ваша заключает, что мой страх теперь больше, чем он был раньше?

– Из того, что от тебя пахнет теперь больше, чем раньше, да и не амброй – ответил Дон Кихот.

– Очень может быть, – сказал Санчо, – но вина не моя, а вашей милости, заставляющей меня скитаться в такие неурочные часы и в таких необычных местностях.

– Отойди на три или на четыре шага, – сказал (не разжимая носа) Дон Кихот, – и впредь будь внимательнее, как к себе самому, так и к твоим обязанностям относительно меня. Слишком фамильярное обращение мое с тобой причина твоей непочтительности ко мне.

– Готов биться об заклад, – ответил Санчо, – что ваша милость воображает, будто я сейчас сделал нечто такое, чего мне не следовало делать.

– Еще хуже копать в этом, друг Санчо, – ответил Дон Кихот.

В таких и тому подобных разговорах господин и слуга провели ночь, а когда Санчо заметил, что уже близко к рассвету, он, как можно осторожнее, развязал ноги Росинанту и завязал себе штаны. Едва Росинант почувствовал, что он свободен, – хотя по природе в нем совсем не было горячности, – однако он словно ожил и стал бить копытами, потому что делать курбеты (прошу у него извинения) он не умел. Заметив, что Росинант может теперь двигаться, Дон Кихот счел это за

хорошее предзнаменование и решил, что настало время пуститься в столь опасное приключение.

Между тем, заря окончательно занялась, все предметы кругом можно было уже ясно различить, и Дон Кихот увидел, что он находится под высокими деревьями, оказавшимися каштанами, которые бросают очень густую тень. Он слышал также, что стук не прекращается, но не мог открыть, кто производит его. Итак, не медля дольше, он пришпорил Росинанта и, еще раз прощаясь с Санчо, приказал ему ждать его здесь, как уже раньше говорил, самое большее три дня; если же по прошествии этого срока он не вернется, пусть Санчо считает за достоверное, что Богу было угодно, чтобы он в столь опасном приключении поплатился жизнью. Снова повторил он ему поручение и послание, которые от его имени предстояло Санчо передать сеньоре Дульсине, относительно же вознаграждения за его службу, просил его не беспокоиться, потому что перед отъездом из своего села им было сделано завещание, по которому Санчо будет удовлетворен, соразмерно со временем его службы во всем, касающемся жалования его. Если же Бог поможет рыцарю выйти из этой опасности здоровым, целым и невредимым, пусть Санчо считает более чем несомненным, что получит обещанный остров.

Санчо снова заплакал, услышав жалостливые слова доброго своего господина, и решил не оставлять его до последнего перехода и окончания этого предприятия. (Из этих слез и столь почтенного решения Санчо Пансы, автор этой истории выводит заключение, что, должно быть, он был хорошего происхождения, по меньшей мере, старый христианин)¹. Добрые чувства Санчо,

¹ Старыми христианами называли в Испании тех, у которых среди их предков не было выкрестов евреев или мавров.

хотя и растрогали несколько его господина, но не настолько, чтобы он выказал какую-либо слабость, напротив, он скрыл по возможности свое волнение, и тотчас же направился в ту сторону, откуда, как ему казалось, раздавался шум воды и слышались мерные удары. Санчо следовал за ним пешком и вел, — как обыкновенно это делал, — за недоуздок осла, этого неразлучного своего товарища в счастья и несчастья.

После того, как они проехали порядочное расстояние под тенью каштанов и других густолиственных деревьев, перед ними открылась небольшая поляна, расположенная у подножия нескольких высоких скал, с которых низвергался мощный водопад. Внизу у этих скал виднелось несколько плохих строений, казавшихся скорее развалинами, чем домами; оттуда именно, как они в этом убедились, и исходил тот грохот и стук, который все еще не умолкал. Росинант испугался гула воды и раздававшихся ударов; но Дон Кихот, успокаивая его, приближался мало-помалу к строениям, причем он от всего сердца поручал себя своей даме и умолял ее благоприятствовать ему в этом столь страшном начинании и предприятии, и попутно поручил себя также и Богу, чтобы Он не оставил его. Санчо не отставал ни на шаг от своего господина и, сколько мог, вытягивал шею и голову между ног Росинанта, чтобы посмотреть, не увидит ли он, наконец, того, что нагнало на него такой страх и ужас. Пройдя еще около ста шагов, они обогнули выдающуюся часть скалы и вдруг ясно и отчетливо увидели перед собой причину — потому что иной не могло быть — того страшного шума и тех мерных ударов, которые продержали их всю ночь в величайшем смущении и страхе. Это были (лишь бы, о читатель, ты не почувствовал огорчения и досады)

шесть молотов ваяльных мельниц, которые своими попеременными ударами производили весь тот грохот.

Когда Дон Кихот понял, в чем дело, он словно онемел и точно замер. Санчо посмотрел на него и увидел, что он стоит с опущенной на грудь головой, пристыженный и смущенный. И Дон Кихот, в свою очередь, взглянул на Санчо и заметил, что тот надул щеки, стараясь удерживать душивший его хохот, и, несмотря на всю свою досаду, он не мог сдержать смеха, глядя на него. Как только Санчо увидел, что его господин первый начал, он дал себе полную волю и до того расхохотался, что должен был подпереть кулаками бока, чтобы не лопнуть от смеха. Четыре раза он успокаивался и столько же раз снова принимался хохотать до упада, так что Дон Кихот посылал себя к черту, в особенности же, когда он слышал, что Санчо, передразнивая его, сказал:

— Ты должен знать, о, друг Санчо, что я, по велению небес, родился в этот наш железный век, чтоб воскресить так называемый золотой век. Я тот, для кого предназначены опасности, великие дела и подвиги...

Таким образом, он повторил все, или, по крайней мере, большую часть того, что говорил Дон Кихот, когда они впервые услышали страшные удары молотов. Видя, что Санчо потешается над ним, Дон Кихот так рассердился и вспылал, что поднял копье и нанес им два увесистых удара Санчо, которыми, если б они попали ему не по плечам, а по голове, господин его освободился бы от выплаты ему жалованья, разве только ему пришлось бы уплатить это жалованье его наследникам. Видя, что шутки его принесли такие горестные плоды, и опасаясь, чтобы его господин не зашел еще дальше в том же направлении, Санчо с большим смирением сказал ему:



... перед ними открылась небольшая поляна, расположенная у подножия
нескольких высоких скал, с которых низвергался мощный водопад...

– Ваша милость, успокойтесь, ей Богу же, я пошутил.

– Но если вы шутите, я не шучу, – ответил Дон Кихот. – Ступайте-ка сюда, господин весельчак! Думаете ли вы, что, если б тут были не эти валяльные молоты, а предстояло бы какое-нибудь опасное приключение, я не выказал бы мужества, необходимого для того, чтобы предпринять его и довести до конца? Быть может, – будучи рыцарем, каким я есть, – я обязан узнавать и различать звуки и знать, производятся ли они валяльными мельницами или нет? И тем более, говорю я, ведь могло бы быть, – как оно на самом деле и есть, – что я никогда в жизни не видел таких мельниц, какие видели их вы, грубая деревенщина, вы, рожденный и воспитанный среди них! А если не верите мне, устройте, чтоб эти шесть молотов обратились в великанов, и бросьте их мне в бороду одного за другим или же всех разом, и в случае, если я не уничтожил бы их, опрокинув лапами вверх, издевайтесь надо мной, сколько угодно.

– Успокойтесь, сеньор мой, – сказал Санчо, – я ведь признаю, что слишком далеко зашел в своей шутке. Но скажите мне, милость ваша, теперь, когда мы с вами помирились, – и да хранит вас Бог во всех приключениях, которые вам еще предстоят, столь же здоровым и невредимым, как он хранил вас в этом приключении, – разве не смешно рассказывать об ужасном страхе, который мы испытывали? – Или, по крайней мере, который я испытал, так как относительно вашей милости мне хорошо известно, что страх или испуг и непонятны, и неведомы вам.

– Не отрицаю, – ответил Дон Кихот, – что случившееся с нами достойно смеха, но рассказывать об этом незачем;

ведь, не все люди так рассудительны, чтобы смотреть на вещи надлежащим образом.

– По крайней мере, – сказал Санчо, – ваша милость сумела надлежащим образом размахнуться копьем, направив его мне в голову, а ударив по плечам, благодаря Богу и той быстроте, с которой я уклонился в сторону. Но ничего, – все отмоется в щелоке, и я слышал, что говорят: тот крепко тебя любит, кто заставляет плакать. Кроме того, знатные господа обыкновенно, побранив слугу, тотчас дарят ему пару штанов, – хотя я не знаю, что у них в обыкновении давать ему после того, как они побьют его, но возможно, что странствующие рыцари вознаграждают за нанесенные удары островами или королевствами на материке.

– Игральная кость может так упасть, – сказал Дон Кихот – что все сказанное тобой сбудется. Извини меня за случившееся; ты ведь умен и знаешь, что первые движения не во власти человека. И отныне, впредь замечь себе вот что: сдерживайся и не позволяй себе лишнего в разговорах со мной, так как во всех рыцарских книгах, которые я прочел – а им и конца нет – никогда не встречалось мне, чтобы какой-нибудь оруженосец так много говорил со своим господином, как ты с твоим; и действительно, я считаю это большой ошибкой с твоей и с моей стороны; с твоей, – что ты так мало уважаешь меня, с моей, – что я не сумел заставить тебя уважать меня больше. Вот Гандалин, оруженосец Амадиса Галльского, был графом «*Insula Firme*»¹, а мы о нем читаем, что он всегда говорил со своим господином, держа шапку в руках, наклонив голову и нагнувшись всем телом, *more turquesco*². Затем, что сказать нам о Гасобале, – ору-

¹ Сухопутного острова.

² По турецкому обычаю.

женосце дона Галаора, – который был так молчалив, что имя его упоминается всего лишь раз во всей этой столь же пространной, как и правдивой истории, с целью подчеркнуть нам необычайную и изумительную его сдержанность. Из всего, что я сказал, ты можешь заключить, Санчо, что необходимо делать различие между господином и слугой, хозяином и работником, рыцарем и оруженосцем; так что отныне впредь мы должны обращаться друг с другом с большим уважением и не распускаясь, потому что, каким бы образом я ни рассердился на вас, плохо придется кувшину¹. Милости и благодеяния, которые я вам обещал, явятся в свое время, а если они и не явятся, то по крайней мере жалование ваше не пропадет, как я уже говорил вам.

– Все хорошо, что говорит ваша милость, – сказал Санчо, – но я желал бы знать (на случай, если не наступит время милостей, и окажется нужным прибегнуть к жалованью), сколько зарабатывал оруженосец странствующих рыцарей в те времена, и получал ли он помесечно, или поденно, как работник у каменщика?

– Не думаю, – сказал Дон Кихот, – чтобы оруженосцы когда-либо служили за жалование, они получали только милости. Если же я назначил тебе жалованье в завещании, оставленном мною дома запечатанным, то сделал это только на всякий случай, потому что не знаю, как еще в наши, столь бедственные, времена сложатся обстоятельства с рыцарством, и я не хотел бы, чтобы из-за пустяковины душа моя мучилась на том свете, так как тебе, Санчо, надо знать, что на этом свете нет профессии более опасной, чем профессия искателей приключений.

– Это верно, – сказал Санчо, – если уже шум молотов валяльной мельницы мог смутить и встревожить сердце такого храброго странствующего искателя приключений, как ваша милость; но вы можете быть уверены, что отныне впредь я не раскрою рта, чтобы подшучивать над поступками вашей милости, а только, чтобы чтить вас, как моего господина и природного повелителя.

– В таком случае, – сказал Дон Кихот, – ты будешь долголетен на земле, потому что после родителей надо чтить, точно родителей, господ.



¹ *Mal para el cantaro* – намек на испанскую пословицу: «кувшин ли ударит о камень, или камень ударит о кувшин, – одинаково плохо для кувшина».



Глава XXI

В которой речь о славном приключении, – богатой добыче шлема Мамбрино¹, – и других событиях, случившихся с непобедимым нашим рыцарем.

В это время стал накрапывать небольшой дождик, и Санчо хотел было укрыться от него в валяльных мельницах, но Дон Кихот, вследствие недавней жестокой шутки, чувствовал такое отвращение к ним, что наотрез отказался идти туда. Итак, свернув вправо, они выехали на другую дорогу, сходную с той, по которой ехали накануне. Вскоре Дон Кихот заметил всадника, на голове которого было что-то блестящее, точно золото, и едва он увидел его, как обернулся к Санчо и сказал:

– Мне кажется, Санчо, что нет пословицы, которая не заключала бы в себе истины, потому что все они – изречения, почерпнутые из самого опыта, этого родоначальника всех наук; в особенности же справедлива пословица гласящая, «где закрывается одна дверь, открывается другая». Говорю это потому, что если сегодняшней ночью судьба закрыла перед нами дверь приключения, которого мы искали, и ввела нас в обман с валяльными мельницами, теперь она растворяет перед нами настезь дверь к другому, лучшему и более надежному

приключению, и если я не сумею войти в эту дверь, вина будет моя, и мне нельзя будет приписать ее ни малому знанию валяльных мельниц, ни темноте ночной. Говорю это потому, что, если я не ошибаюсь, нам навстречу едет человек со шлемом Мамбрино на голове, с тем самым шлемом, ради которого я дал известную тебе клятву.

– Обдумайте хорошенько, ваша милость, что вы говорите, и еще больше то, что вы делаете, – сказал Санчо, – так как я не желал бы, чтобы явились новые валяльные мельницы, которые окончательно изваляли бы нас и отшибли бы у нас всякое соображение.

– Черт побери этого человека, – воскликнул Дон Кихот, – что общего между шлемом и валяльными мельницами?

– Ничего не знаю, – ответил Санчо, – но, по чести, если б я мог так много говорить, как прежде, быть может, я привел бы вам такие доводы, которые убедили бы милость вашу, насколько вы ошибаетесь в том, что говорите.

– Как могу я ошибаться в том, что говорю, сомневающийся предатель, – воскликнул Дон Кихот. – Скажи мне, не видишь ты, что ли, рыцаря, едущего нам

¹ Волшебный шлем сарацинского короля Мамбрино, делавший неуязвимым того, кто его носил.

навстречу верхом на сером в яблоках коне, а на голове у него золотой шлем?

– То, что я вижу и могу различить, – ответил Санчо, – это человек верхом на сером осле, как и мой, а на голове у него что-то блестящее.

– Но, ведь, это-то и есть шлем Мамбрино, – сказал Дон Кихот. – Отъезжай в сторону и оставь меня одного с ним, и ты увидишь, как я, не говоря ни слова, чтобы сберечь время, кончу это приключение и овладею столь вожаденным мною шлемом.

– Отъехать в сторону – моя забота, – сказал Санчо, – но дай Бог, повторю я снова, чтоб это оказался душистый майоран¹, а не валяльные мельницы.

– Я уже говорил вам, брат, чтоб вы даже и мысленно не напоминали мне о деле с валяльными мельницами, – сказал Дон Кихот, – иначе клянусь, я ничего больше не скажу, а изваляю вам душу в теле.

Санчо замолчал, опасаясь, чтобы господин его не исполнил угрозы, которую он ему бросил в лицо, словно мяч.

Что же касается шлема, коня и рыцаря, усмотренных Дон Кихотом, дело обстояло следующим образом: в той окрестности было два села и одно из них такое маленькое, что там не было ни аптеки, ни цирюльника; в соседнем же селе было и то, и другое; итак, цирюльник большого села обслуживал меньшее, где одному больному нужно было пустить кровь, а другому побрить бороду. Для этого-то и ехал цирюльник и вез с собой медный таз для бритвы. Но как раз в это самое время по воле судьбы пошел дождик и, чтобы не испортилась его, должно быть, новая шляпа, цирюльник надел себе на голову таз, а так как он был

хорошо вычищен, то и блестел на расстоянии полмили. Цирюльник ехал на сером осле, как и сказал Санчо, а Дон Кихоту представилась и серая в яблоках лошадь, и рыцарь, и золотой шлем, потому что все, что попадалось ему на глаза, он с необычайной легкостью приурочивал к своему бреду о рыцарстве и к странным своим фантазиям.

Увидав, что бедный всадник приближается, Дон Кихот, не обменявшись с ним ни словом, устремился на него во весь карьер Росинанта с поднятым копьем и с намерением проткнуть им его насквозь. Когда же он совсем близко подъехал к нему, Дон Кихот, не умеряя ярости своего натиска, крикнул:

– Защищайся, презренное создание, или же отдай добровольно то, что принадлежит мне по праву.

Цирюльник, ехавший, ни о чем не думая и ничего не опасаясь, увидав привидение, которое несло ему навстречу, не нашел другого средства избежать удара копьем, как свалиться с осла, и, едва коснувшись земли, он поднялся легче серны и пустился бежать по полю с такой быстротой, что его не догнал бы и ветер. Таз, упавший с его головы, остался лежать на земле, чем Дон Кихот и удовлетворился, говоря, что бежавший язычник поступил умно и подражал примеру бобра, который, видя, что его преследуют охотники, откусывает собственными зубами то, ради чего, как ему подсказывает его природный инстинкт, его преследуют. Дон Кихот велел Санчо поднять шлем, и тот, взяв его в руки, сказал:

– Ей Богу, превосходный таз для бритвы, и стоит он восемь реалов, как один мараведис².

¹ Санчо намекает на старинную испанскую пословицу: «Дай Бог, чтоб это был бы душистый майоран, и он не превратился бы в полевой тимин».

² Мелкая испанская монета – грош, полушка.

Затем он передал таз своему господину, который сейчас же надел его на голову, и, повертывая то в ту, то в другую сторону, отыскивал забрало, но, не найдя его, он сказал:

– Наверное язычник, для которого впервые был выкован этот знаменитый шлем, имел громадную голову; а хуже всего то, что недостает половины шлема.

Когда Санчо услышал, что Дон Кихот называет таз для бритья шлемом, он не мог удержаться от смеха, но, вспомнив гнев своего господина, тотчас же остановился.

– Над чем ты смеешься, Санчо? – спросил Дон Кихот.

– Я смеюсь, – ответил Санчо, – думая о том, какую большую голову должен был иметь язычник, которому принадлежал этот шлем, точь в точь похожий на тазик цирюльника.

– Знаешь ли что, Санчо? Мне кажется, что этот знаменитый, очарованный шлем по какой-нибудь странной случайности попал в руки человеку, который не сумел ни понять его ценности, ни судить о ней, и не ведая, что творит, увидав, что шлем из чистейшего золота, вероятно, расплавил одну половину, чтобы выручить ее стоимость, а из другой половины сделал это вот, столь похожее на тазик для бритья, как ты говоришь. Но что бы-то ни было, для меня, узнавшего этот шлем, превращение его не важно, так как в первом же местечке, где найдется кузнец, я поправлю его, и поправлю таким образом, что его не только не превзойдет, но даже и не сравнится с ним тот шлем, который был выкован богом кузнечного дела для бога войны¹. А до тех пор буду носить его, хоть таким, потому что лучше что-нибудь, чем ничего; тем более, что в теперешнем своем виде он вполне может защитить меня от удара камнем.

– Пожалуй, что так, – сказал Санчо, – если только не будут бросать камней прашою, как это было в стычке двух войск, когда вашей милости вышибли коренные зубы и сломали посудину, где хранился тот благословенный напиток, от которого меня вырвало всеми моими внутренностями.

– Я не очень-то жалею об этой потере, – сказал Дон Кихот, – ведь ты, Санчо, знаешь, что я храню рецепт бальзама у себя в памяти.

– И я тоже храню его в памяти, – ответил Санчо, – но если я когда либо изготовлю его или возьму в рот, пусть настанет последний час моей жизни! Тем более, что я не намерен ставить себя в такое положение, чтобы нуждаться в нем, так как я, с помощью всех пяти моих чувств, постараюсь и себя оберегать от ран, и никому не наносить их. А о том, что меня еще раз могут подбросить на одеяле, я ничего не скажу; такого рода неприятности трудно предупредить, и, случись они, ничего другого не остается, как только хорошенько втянуть в себя плечи, задержать дыхание, закрыть глаза, и предоставить себя судьбе и одеялу, куда бы они ни привели вас.

– Ты плохой христианин, Санчо, – сказал, услышав это, Дон Кихот, – ибо ты никогда не забываешь обиды, которую нанесли тебе. Но знай, что благородному и великодушному сердцу не свойственно обращать внимание на пустяки. Стал ты хромать, что ли, или тебе переломали ребра, или разбили голову, что ты не можешь забыть этой шутки? Ведь, если хорошенько разобрать дело, ясно, что это была лишь шутка и забава; прими я это иначе, то давно бы уже вернулся туда и, чтобы отомстить за тебя, наделал бы больше бед, чем наделали их греки, мстя за похищение Елены, которая, – если бы

¹ Оружие, выкованное Вулканом для Марса.

она жила в наши дни, или моя Дульсинея в то время, – наверное, не славилась бы так своей красотой, как она теперь славится ею.

И с этими словами Дон Кихот выпустил вздох, послав его к небесам. А Санчо сказал:

– Пусть все это сойдет за шутку, так как отомстить в действительности нельзя. Но я знаю, какого качества была и шутка, и действительность, и знаю также, что и то, и другое не изгладится из моей памяти, как и не снимется с моих плеч. Но, в сторону это, а скажите мне, ваша милость, что нам делать с серым в яблоках конем, столь похожим на серого осла, которого тот Мартино, вышибленный вашей милостью из седла, оставил здесь на произвол судьбы? Судя по тому, как он задал стрекача и пустился наутек, навряд ли он когда-нибудь вернется за своим ослом, а клянусь моей бородой, – осел этот очень недурен.

– Не в моих обычаях, – ответил Дон Кихот, – обирать тех, кого я побеждаю, и не в правилах рыцарства отнимать у них коней и оставлять их пешими, разве только в случае, когда победитель лишился в битве собственного коня; тогда лишь ему разрешается присвоить себе лошадь побежденного, в качестве законной военной добычи; так что, Санчо, оставь этого коня или осла, или чем бы ты ни желал его считать, потому что, лишь только хозяин его увидит, что мы удалились отсюда, он вернется за ним.

– Богу известно, как охотно я взял бы его с собой, – сказал Санчо, – или, по крайней мере, обменял бы его на моего осла, который мне кажется не таким хорошим. Вот уж верно, что законы рыцарства стеснительны, так как они не дают

простора даже для обмена одного осла на другого; но я желал бы знать, нельзя ли мне обменять хоть сбрую?

– Относительно этого я не совсем уверен, – ответил Дон Кихот, – а в виду моего сомнения, пока я не буду лучше осведомлен, пожалуй, обменяй сбрую, если в ней для тебя крайность.

– Такая крайность, – сказал Санчо, – что, если бы сбруя предназначалась лично для меня, и тогда она не могла бы мне быть нужнее.

Воспользовавшись тотчас же данным ему разрешением, Санчо устроил *mutatio capparum*¹ и так роскошно вырядил своего осла, что он оказался куда красивее прежнего. После этого господин и слуга позавтракали остатками припасов, взятых с вьючного мула священнослужителей, и напились воды из ручья, протекавшего близ валяльных мельниц, на которые они не оглянулись, так велико было их отвращение к этим мельницам из-за страха, на них нагнанного ими. По забыв свой гнев и даже свою грусть, они сели верхом и, не следуя по определенной дороге (потому что заранее выбирать определенную дорогу было не в обычае у странствующих рыцарей), – поехали туда, куда вздумалось Росинанту, руководившему волей своего господина, а также и осла, который всегда в добром согласии и дружбе следовал за ним всюду, куда бы он его ни повел. Тем не менее, они очутились снова на большой дороге и ехали по ней наугад, без всякого определенного намерения. Пока они так ехали, Санчо сказал своему господину:

– Сеньор, не разрешите ли вы мне, ваша милость, немного поболтать с вами, потому что, с тех пор как вы наложили на меня строгий запрет молчания, у меня

¹ *Mutatio capparum* – перемена облачения римских епископов и кардиналов, ежегодная церемония, происходившая на Пасху, когда все зимние меховые облачения менялись на шелковые.

внутри сгнило более четырех вещей, и теперь на кончике языка вертится одна, которую мне бы не хотелось погубить даром.

– Скажи ее, – разрешил Дон Кихот, – и будь краток в твоей речи, так как никакая речь, – если она длинна, – не может доставить удовольствия.

– Итак, я скажу, сеньор, – ответил Санчо, – что вот уже несколько дней я размышляю над тем, как мало можно приобрести и выиграть, отправляясь в поиски за приключениями, подобными тем, которые отыскивает ваша милость по этим пустынным местностям и перекресткам дорог, где, если и удастся одержать победу и преодолеть самые большие опасности, никто этого не увидит и не узнает, и таким образом ваши подвиги останутся навеки в забвении, к ущербу намерениям вашей милости, и того, чего они заслуживают. Поэтому, мне кажется, было бы лучше (разве только ваша милость рассудит иначе), чтобы мы отправились к какому-нибудь императору, или другому великому принцу, ведущему войну. На службе у него ваша милость могла бы выказать личные свои достоинства – необычайную силу и еще большую прозорливость своего ума. Увидав все это, государь, которому мы будем служить, должен будет, волей неволей, наградить нас каждого по заслугам, и там наверное найдется кто-нибудь, кто опишет подвиги вашей милости, чтобы память о них сохранилась на вечные времена. О своих подвигах не говорю ничего, потому что они не должны переходить за пределы службы оруженосца, хотя; могу сказать, что если в обычаях рыцарства описывать также и подвиги оруженосцев, не думаю, чтобы не сообщили и о моих.

– Ты рассуждаешь недурно, Санчо, – ответил Дон Кихот, – но до того времени нужно странствовать по све-

ту как бы для испытания, в поисках за приключениями, – и успешно справившись с некоторыми из них, приобрести такое имя и такую славу, чтобы рыцарь, явившись ко двору какогонибудь великого монарха, был уже известен своими подвигами. Тогда мальчики, едва увидев его въезжающим в городские ворота, все побегут за ним, окружают его и закричат: «Вот он, рыцарь Солнца, или рыцарь Змей, или какойнибудь другой эмблемы, под которой он совершал великие свои подвиги. Вот тот, – скажут они, – кто победил в поединке столь могучего великана Брокабруно; тот, кто сумел с великого Мамелюка Персии снять чары, в которых он томился девятьсот лет». Так, из уст в уста, будут прославлять его подвиги, и тотчас на крик мальчиков и остальных народа появится у окна королевского дворца сам король того королевства. И лишь только он увидит рыцаря, узнав его по его доспехам или по девизу на щите, он не преминет воскликнуть: «Эй вы, все рыцари моего двора, выходите встречать цвет рыцарства, явившийся к нам». Услышав его приказ, все выбегут, и сам король сойдет до середины лестницы, крепко-крепко обнимет приезжего, приветствуя его поцелуем в уста, и тотчас же поведет за руку в покои сеньоры королевы, где рыцарь увидит ее с инфантой, ее дочерью, которая должна быть одной из самых прекрасных и одаренных такими совершенствами девушкой, какую лишь с величайшим трудом можно найти на всем пространстве земного шара. И тут же немедленно случится, что она вскинет глаза на рыцаря, а он – на нее, и каждый из них явится перед другим скорее божественным, чем земным существом. Не зная как и почему, они окажутся пойманными и запутанными в нерасторгаемых сетях любви, и сердца их наполнятся великой тревогой, потому что они не будут

знать, как им говорить, чтобы друг другу открыть свои чувства и муки. Из покоя королевы рыцаря поведут, наверное, в какую-нибудь богато убранную комнату дворца, где, сняв с него доспехи, принесут ему роскошную алую епанчу, которую он накинёт на себя; и если он был красив в доспехах, таким же и еще лучше будет он казаться в камзоле. По наступлении ночи рыцарь сядет ужинать с королем, королевой и инфантой, с которой он не спустит глаз и будет смотреть на нее украдкой от окружающих, а инфанта сделает то же самое и с той же осторожностью, потому что, как я уже говорил, она очень рассудительна и умна. Лишь только уберут со стола, неожиданно войдет в зал маленький, уродливый карлик с прекрасной дуэньей, которая шествует за ним между двумя великанами и предлагает какое-нибудь предприятие, задуманное древнейшим мудрецом, с тем, что кто успешно доведет это дело до конца, будет признан лучшим рыцарем в целом мире. Король тотчас же прикажет, чтобы все присутствующие рыцари испытали свои силы, но никто из них не сумеет выполнить и окончить этого дела, исключая лишь приезжего рыцаря, что послужит еще к большему возвеличению его славы и сильно обрадует инфанту: она сочтет себя счастливой и вполне вознагражденной за то, что остановила и сосредоточила свои помыслы на столь возвышенном предмете. Лучше же всего то, что этот король, или принц, или кто бы он ни был, ведет упорную войну с другим, таким же могущественным, как и он, а приезжий рыцарь (по истечении нескольких дней, проведенных им во дворце) просит у него разрешение служить ему в этой войне. Король с величайшей охотой дает ему разрешение, рыцарь вежливо целует ему руку за оказанную милость. В ту же ночь прощается он со своей сеньорой инфан-

той у решетки сада, куда выходят окна ее спальни, и где он много раз уже говорил с нею, причем посредницей и доверенным лицом была девушка, на которую инфанта вполне полагается. Он вздыхает, она падает в обморок, девушка бежит за водой; она очень волнуется, потому что настает утро, и, оберегая честь своей госпожи, боится, чтобы их не накрыли. Наконец, инфанта приходит в себя, протягивает рыцарю сквозь решетку белые свои руки; он целует их тысячу и тысячу раз и омывает слезами. Они улавливаются каким образом давать друг другу знать о счастливых или несчастных событиях своей жизни; – принцесса умоляет рыцаря вернуться как можно скорей; он ей это обещает со многими клятвами; снова целует ей руки и прощается с таким горем на душе, что едва тут же не расстается с жизнью. Затем он идет к себе в комнату; бросается на постель; не может заснуть из-за тоски от разлуки; встает рано утром; идет прощаться с королем, королевой и инфантой; король и королева, прощаясь с ним, говорят, что сеньора инфанта нездорова и не может принять посетителей. Рыцарь думает, что она заболела от горя вследствие разлуки с ним; он взволнован до глубины души и чуть не обнаруживает, как сильно он терзается. Девушка посредница присутствует при этом; она все подмечает; идет пересказать обо всем своей сеньоре, которая слушает ее со слезами и говорит, что одно из величайших ее огорчений – неведение, кто ее рыцарь и королевского ли он происхождения или нет. Прислужница девушка уверяет инфанту, что столько учтивости, благородства и мужества, какими обладает ее рыцарь, могут встретиться только у человека знатного королевского рода. Горюющая принимает это утешение и старается казаться веселой, чтобы не возбудить подозре-

ний в своих родителях, и по истечении двух дней появляется всюду. Рыцарь уже уехал; он сражается на войне, побеждает врагов короля, завоевывает много городов, торжествует во многих битвах, возвращается ко двору, видится с инфантой на прежнем условленном месте, и они сговариваются, чтобы в награду за свои подвиги, он просил у короля ее себе в жены. Король не соглашается отдать ее замуж за рыцаря, потому что не знает, кто он такой, но тем не менее, похитит ли он ее, или каким-нибудь иным образом, инфанта становится его женой, и отец ее со временем считает это за великое счастье, так как выясняется, что рыцарь – сын могущественного короля, не знаю какого королевства, – думаю, что оно, должно быть, не занесено на карту. Король умирает; инфанта наследует престол, словом, рыцарь делается королем. Тут-то немедленно он осыпает щедротами своего оруженосца и всех тех, кто ему помог достигнуть столь высокого положения. Оруженосца своего он женит на девушке инфанты, на той конечно, которая была посредницей их любви, а она дочь знатного герцога.

– Этого я и желаю, – эта игра как раз мне на руку, – воскликнул Санчо, – и я буду придерживаться ее, потому что все точь в точь должно случиться с вашей милостью под прозвищем *Рыцаря Печального Образа*.

– Не сомневайся в этом, Санчо, – ответил Дон Кихот, – потому что таким же способом и по тем же ступеням, которые я описал тебе, странствующие рыцари поднимаются и поднимались до сана королей и императоров. Теперь нужно лишь одно, – узнать, кто из королей, христианских или языческих, –

ведет войну и имеет красавицу дочь; но времени у нас достаточно подумать об этом, потому что, как я уже говорил тебе, прежде чем явиться ко двору, надо сперва приобрести славу в других местах. Мне недостает и еще одной вещи; так как, предположив, что нашелся король, ведущий войну и имеющий красавицу дочь, и что я приобрел неимоверную славу во всей вселенной, – я все же не знаю, как могло бы оказаться, что я королевского рода, или, по меньшей мере, троюродный брат какого-нибудь императора; потому что король не захочет отдать мне свою дочь в жены, пока он сначала не удостоверится в этом, и тут никакие громкие подвиги мне не помогут. Итак, из-за этой недохватки, я боюсь потерять все, что заслужил доблестью руки своей. Правда, что я – идадьго известной фамилии, имею собственность и землю, вправе требовать за обиду вознаграждения в пятьсот суэльдос¹, и может случиться, что мудрец, которому предстоит написать мою историю, так разъяснит родство мое и происхождение, что я окажусь в пятом или шестом колене внуком короля. Ты должен знать, Санчо, что происхождение и родословная бывает двоякого рода; одни происходят и ведут свой род от принцев и монархов, но мало-помалу время приводит их род к упадку, и он кончается точкой, подобно пирамиде, другие же берут начало от предков-простолюдинов, но поднимаются со ступеньки на ступеньку выше и выше, пока не сделаются знатными вельможами; так что разница состоит в том, что одни перестали быть тем, чем были прежде, а другие стали тем, чем они не были. И могло бы случиться, что и я принадлежу к числу тех, род которых был ве-

¹ По древнему испанскому закону, за обиду, нанесенную идадьго – его личности, чести или имуществу, – платили штраф в пятьсот суэльдос. За обиду, нанесенную простолюдину, он – смотря по занимаемому им положению, – получал меньшую сумму.

лик и славен; оно так и окажется после внимательной проверки, а тогда король, будущий тесть мой, должен удовлетвориться этим. Если же он не удовлетворится, инфанта полюбит меня так пламенно, что наперекор воли отца изберет своим супругом и повелителем, хотя бы она достоверно знала, что я сын водовоза. Если же нет, – в таком случае придется похитить ее и увезти, куда мне вздумается, так как время или смерть должны же положить конец гневу ее родителей.

– Сюда подходит также и то, – сказал Санчо, – что говорят некоторые повесы: «не проси, как милости, того, что можешь взять силой», хотя было бы еще более кстати сказать: «лучше скачок через забор, чем молитва добрых людей». Говорю это к тому, что если бы сеньор король, – тесть вашей милости, – не захотел бы снизить и отдать вам сеньору инфанту, только и остается, как говорит ваша милость, похитить ее и увезти куда-нибудь. Но беда в том, что пока вы не помиретесь с родителями и не будете в состоянии наслаждаться своим королевством, несчастный оруженосец останется на бобах по части награды, разве только девушка-посредница, которая должна стать его женой, убежит вместе с инфантой, и он будет делить с нею свои дни невзгод, пока, наконец, небо не распорядится иначе; так как, я думаю, господин оруженосца может тотчас же отдать ее ему в законные супруги.

– Этому никто не может воспрепятствовать, – сказал Дон Кихот.

– В таком случае, – ответил Санчо, – нам ничего не остается, как только предать себя в руки Божьи и предоставить судьбе вести нас, куда ей вздумается.

– Да пошлет нам Бог, – сказал Дон Кихот, – и то, чего я желаю, и то, что тебе, Санчо, нужно, и пусть будет ничтожным тот, кто считает себя ничтожным.

– С Богом, – сказал Санчо. – Я же старый христианин и, чтобы быть графом, этого совершенно достаточно.

– Более чем достаточно, – подтвердил Дон Кихот; – а если б ты и не был старым христианином, невелика беда, так как, будучи королем, я легко могу пожаловать тебе дворянство, и тебе не надо ни покупать его, ни получать его за заслуги; потому что, если я тебя возведу в графы, тем самым ты мгновенно станешь кабальеро, и пусть себе говорят, что хотят, но по чести, как бы они не досадовали, придется им называть тебя «ваша милость».

– Поверьте, – сказал Санчо, – что я сумею, как следует, поддержать свой титул.

– Титул должен ты сказать, а не титул, – поправил его господин.

– Пусть так, – ответил Санчо, – я говорю, что знаю, как себя вести, потому что, клянусь жизнью, я был некоторое время церковным сторожем при одном братстве, и одежда сторожа так шла ко мне, что все говорили, будто я по осанке своей мог бы быть старшиной того же братства. А что же будет, если я накину на плечи герцогскую мантию, или оденусь в золото и жемчуг, по обычаю иностранных графов? Не сомневаюсь, что придут за сто миль смотреть на меня.

– Вид у тебя будет недурной, – сказал Дон Кихот, – но придется тебе часто брить бороду, потому что она у тебя такая густая, всклокоченная и нечесанная, что, если ты не будешь отдавать ее, по крайней мере, каждые два дня под бритву, – уже на расстоянии ружейного выстрела видно будет, кто ты такой.

– Ничего больше не остается сделать, – сказал Санчо, – как только взять цирюльника и держать его в доме у себя на жалованьи, и даже, если бы оказалось нужным, заставить его следовать за со-

бой, как штальмейстер следует за большим вельможей.

– А почему ты знаешь, – спросил его Дон Кихот, – что за большим вельможей следует штальмейстер?

– Сейчас скажу вам, – ответил Санчо. – Несколько лет тому назад я пробыл месяц в столице и там я видел, как прогуливался очень маленький господин, про которого говорили, что он очень большой сеньор, а позади него, всюду, куда бы он ни поворачивал, следовал человек верхом, так что казалось, точно он его хвост. Я спросил, почему этот человек не едет рядом с другим, а всегда позади него, и мне ответили, это штальмейстер, и у больших вельмож в обычае водить за собой подобного рода людей. С тех пор

я так хорошо это запомнил, что никогда не забываю.

– Признаться, ты прав, – сказал Дон Кихот, – и точно также и ты можешь водить за собой цирюльника, потому что обычаи явились не все вместе, и были придуманы не сразу, и ты можешь быть первым графом, за которым будет всюду следовать его цирюльник; к тому же бритье бороды – дело, требующее больше доверия, чем седлание лошади.

– Заботу о цирюльнике предоставьте мне, – сказал Санчо, – а вы, милость ваша, позаботьтесь сделаться королем и меня возвести в графы.

– Да будет так, – ответил Дон Кихот и, подняв глаза, увидел то, о чем мы услышим в следующей главе.





Глава XXII

О том, как Дон Кихот освободил многих несчастных, которых, против их воли, вели туда, куда у них не было желания идти.

Сид Амёт Бененхели, арабский и Ламанчский писатель, рассказывает в этой столь значительной, возвышенной, обстоятельной, прелестной и замысловатой истории, что после того, как между знаменитым Дон Кихотом Ламанчским и Санчо Пансой, его оруженосцем, произошел разговор, который был передан в конце XXI главы, Дон Кихот поднял глаза и увидел, что по дороге, по которой он ехал, шло пешком человек двенадцать, нанизанных за шеи, как бусы в четках, на одну длинную железную цепь, и у всех были кандалы на руках. С ними вместе ехали также два человека верхом и два шли пешком; у всадников были кремневые оружия, а у пеших – мечи и дротики.

Как только Санчо Панса увидел их, он сказал:

– Это цепь каторжников, невольников короля, которых отправляют на галеры.

– Как так невольников? – спросил Дон Кихот. – Возможно ли, чтобы король обращал кого-либо в неволю?

– Этого я не говорю, – ответил Санчо, – а только это люди, которые в наказание за свои преступления осуждены служить королю на галерах.

– Словом, – возразил Дон Кихот, – кто бы они ни были, люди эти идут по принуждению, а не по доброй воле туда, куда их ведут.

– Так оно и есть, – ответил Санчо.

– Следовательно, – сказал его господин, – мне предстоит здесь приступить к исполнению обязанностей моего

призвания – к уничтожению насилия, к защите и помощи несчастным.

– Обратите внимание, ваша милость, – сказал Санчо, – что правосудие, – а это все то же, что и сам король, – не делает ни насилия, ни обиды подобного рода людям, а только карает их в наказание за их преступления.

В это время цепь галерных невольников приблизилась, и Дон Кихот в очень учтивых выражениях попросил сопровождавших их стражников, не будут ли они столь обязательны изложить и сообщить ему причину или причины, почему они ведут этих людей таким образом. Один из конных стражников ответил, что это галерные каторжники, – люди подневольные Его Величеству, которые отправляются на галеры, и больше он ничего не может сказать, и ему нечего больше и знать.

– Тем не менее, – ответил Дон Кихот, – я хотел бы узнать о каждом из них в отдельности причину его несчастья.

К этим словам он прибавил еще и другие и такие учтивые речи, чтобы побудить их сообщить ему сведения, которые он желал получить, что второй конный стражник сказал:

– Хотя мы и везем с собой списки и копии судебных приговоров каждого из этих несчастных, но у нас нет времени останавливаться, чтобы их достать и прочесть вам. Подойдите, милость ваша, к ним поближе и расспросите их сами, и они ответят вам, если пожелают, а пожелают они наверное, потому что это такого рода люди, которым доставляет удовольствие и делать мошенничества, и рассказывать о них.

С этим разрешением, – которое Дон Кихот сам бы взял, если б его не дали, – он подошел к цепи каторжников и спро-

сил первого из них, за какие грехи он попал в такое неприятное положение. Тот ответил, что попал в это положение за то, что был влюблен.

– Только за это? – спросил его Дон Кихот; – но если посылают на галеры влюбленных, мне следовало бы уже давно работать там веслами.

– Любовь эта не такого рода, как думает ваша милость, – сказал галерный невольник, – моя любовь заключалась в том, что я пламенно влюбился в большую корзину, набитую бельем, и так крепко обнимал ее, что, если бы правосудие не отняло ее у меня насильно, я и до сих пор не расстался бы с ней по доброй воле. Меня схватили на месте преступления, и не понадобилось прибегать к пытке. По вынесенному приговору мне отсчитали по спине сотню ударов, а в придачу назначали еще три года *гурапас*¹ и делу конец.

– Что такое «*гурапас*»? – спросил Дон Кихот.

– Гурапас, это галеры, – ответил каторжник, молодой парень лет около двадцати четырех, родом из Пиедранты², как он сообщал.

Дон Кихот обратился с тем же вопросом и к следующему галерному невольнику, но тот не ответил ни слова, так он был убит и грустен, а за него ответил первый невольник и сказал:

– Сеньор, этот вот идет на галеры за то, что пел канарейкой³, – я хочу сказать за то, что он музыкант и певец.

– Как так? – переспросил Дон Кихот, – разве ссылают людей на галеры также и за то, что они музыканты и певцы?

– Да, сеньор, – ответил галерный невольник, – потому что нет ничего хуже, как петь в беде.

¹ Название галер на испанском воровском языке.

² Маленький городок в Старой Кастилии.

³ Петь канарейкой – в словаре воровского языка означает сознаться под пыткой.

– А я, напротив, слышал – сказал Дон Кихот, – что тот, кто поет, свое горе спугнет.

– Здесь же наоборот, – ответил галерный невольник – тому, кто раз споет, придется плакать всю жизнь.

– Не понимаю этого, – объявил Дон Кихот. Но один из стражников сказал ему:

– Сеньор рыцарь, петть в беде значит на языке этих нечестивых людей сознаться под пыткой. Вот этого грешника пытали и он сознался в своем преступлении, в том, что он был *куатреро*, – то есть воровал рогатый скот. Основываясь на его признании, его осудили на шесть лет галер, не считая двухсот полученных им ударов, которые он уже несет на плечах. Идет же он всегда задумчивый и печальный оттого, что воры, – как оставшиеся в тюрьме, так и те, что идут здесь, – обижают его, издеваются над ним, мучат и презирают за то, что он сознался и не имел мужества отпереться: потому что, говорят они, как в *да* так и в *нет* – всего лишь один слог, и для преступника большое счастье, если жизнь или смерть его зависят от собственного его языка, а не от языка свидетелей или доказательств. Со своей стороны и я полагаю, что они не далеки от истины.

– И я того же мнения, – сказал Дон Кихот; и затем, подойдя к третьему галерному невольнику, предложил ему тот же вопрос, как и первым двум, а спрошенный им ответил ему быстро и очень развязно:

– Я иду на пять лет к сеньорам *гуранас*, потому что у меня не хватило десяти червонцев.

– С величайшей охотой дам вам двадцать, – сказал Дон Кихот, – что-

бы освободить вас от предстоящей вам неприятности.

– Это кажется мне похоже на то, – ответил галерный невольник, – как если б у кого-нибудь в открытом море были деньги, а он умирал бы с голоду оттого, что ему негде купить необходимое ему. Говорю это, потому что, если б я своевременно получил двадцать червонцев, предлагаемые мне теперь вашей милостью, я подмазал бы ими перо секретаря суда и оживил бы ум моего адвоката, так что сегодня вы видели бы меня на площади Сокодовер в Толедо, а не на этой дороге, привязанного на своре, как борзая собака. Но Бог велик: терпение, и – конец разговору.

Дон Кихот подошел теперь к четвертому галерному невольнику, человеку почтенной наружности, с белой бородой, доходившей ему до пояса.

Услышав, что его спрашивают о причине, отчего он здесь, старик заплакал и не ответил ни слова; но пятый осужденный заменил собою его язык и сказал: – Этот уважаемый человек, отправляется на четыре года на галеры, совершив перед тем во всем параде и верхом обычный объезд¹.

– Это, как мне кажется, – сказал Санчо Панса, – значит быть выставленным на публичный позор.

– Так оно и есть, – ответил галерный невольник, – и преступление, за которое его присудили к этому наказанию, заключается в том, что он был маклером ушей и даже всего тела. Одним словом, я хочу сказать, этот кабальеро идет на галеры за то, что был сводником, а также и за некоторую его склонность и прикосновенность к колдовству.

– Если бы он не имел этой склонности и прикосновенности к колдовству, – сказал Дон Кихот, – то за то лишь,

¹ Перед наказанием плетью, преступников обыкновенно водили на показ верхом на лошади по некоторым людным улицам, с дощечкой на груди и надписью на ней преступления, в котором они обвинялись.

что был просто сводником, он не заслуживал бы быть сосланным работать веслами на галерах, а скорей ему следовало бы поручить команду над ними и сделать его там генералом, потому что занятие сводничеством вовсе не пустяшная вещь. Это – занятие для умных людей, крайне необходимое в хорошо устроенном государстве, и никто не должен был бы упражняться в нем кроме особ знатного происхождения; и даже следовало бы для них учредить инспекторов и экзаменаторов, как это делается и в других ремеслах, а также установить и определить их число, как число маклеров на бирже. Таким образом можно было бы избежать немало зла, происходящего оттого, что эта должность и профессия попадает в руки тупиц и людей без всякого понятия, как то: глупых, ничего не стоящих женщин, мальчишек и шутов, которые обладают столь же малым запасом лет, как и опыта, и в самый нужный момент, когда требуется величайшее искусство, дают замерзнуть куску по дороге от пальцев ко рту и не могут отличить правой руки от левой. Я мог бы подробнее высказаться и указать причины, почему следовало бы делать выбор из лиц, которым предстоит заняться столь необходимым в государстве ремеслом, но делать это здесь считаю неуместным. Когда-нибудь поговорю с теми, которые могут направить дело и помочь ему. Теперь же скажу лишь одно: тяжелое чувство, вызванное во мне зрелищем этих седых волос и почтенной наружности старика, попавшего в такую беду за сводничество, испарилось вследствие обвинения его в колдовстве, хотя я и хорошо знаю, что на свете нет колдунов, которые могли бы влиять

на чужую волю и насиловать ее, как это думают иные простаки, потому что наша воля свободна и нет таких трав или чар, которые могли бы завладеть ею¹. Все, что некоторые глупые кумушки и хитрые обманщики и плуты могут сделать, это приготовить снадобья и яды, которыми они сводят с ума людей, давая им понять, что они обладают властью заставлять любить, хотя, как я говорил, невозможно насиловать волю.

– Так оно и есть, – сказал добрый старик, – и по правде говоря, сеньор, в колдовстве я не повинен; что же касается сводничества, – не могу отрицать этого, но я никогда не думал, что делаю нечто дурное, так как намерение мое клонилось лишь к одному, что бы все наслаждались и жили дружно и мирно, без ссор и неприятностей. Но это доброе намерение не спасло меня от путешествия туда, откуда я не надеюсь вернуться в виду моих преклонных лет и болезни мочевого пузыря, которая не дает мне ни минуты покоя.

Тут он снова заплакал, как и перед тем, и Санчо почувствовал к нему такое сострадание, что вытащил из-за пазухи монету в четыре реала и дал ее ему в виде милостыни.

Дон Кихот двинулся дальше и спросил еще одного осужденного, в чем его вина. Тот ответил с не меньшей, если не с большей, бойкостью, чем предыдущий, говоря:

– Я здесь потому, что зашел слишком далеко в шутках с двумя моими двоюродными сестрами и с другими двумя сестрами, – но не моими. Словом, я так дурачился с ними со всеми, что результатом шутки явилось приращение род-

¹ Ирония этой речи Дон Кихота, кроме общего ее характера, направлена главным образом на осмеяние рыцарских романов, где многие из наиболее выдающихся действующих лиц не брезгали заниматься сводничеством, также как и некоторые из выведенных там высоко-родных дам.



Дон Кихот двинулся дальше и спросил еще одного осужденного, в чем его вина.

ства, столь сложного, что нет черта, который мог бы разобраться в этом деле. Меня училили во всем, покровителей не нашлось, денег не было, мне грозила опасность быть повешенным; присудили меня к шести годам на галеры; я согласился; это кара за мою вину; я молод, и лишь бы продлилась жизнь, – а с нею все еще может войти в надлежащую колею. Если вы, милость ваша, сеньор рыцарь, имеете при себе что-нибудь, чем могли бы помочь этим беднякам, Бог отплатит вам за это на небе, а здесь на земле мы позаботимся упротить Отца небесного в наших молитвах послать вашей милости доброго здоровья и долгой жизни, чтобы вы наслаждались этим в полное удовольствие, как того заслуживает ваша благородная наружность.

Говоривший был одет студентом, – и один из стражников сказал, что он большой краснбай и хороший латинист. Последним в цепи галерных невольников был человек очень красивый собой, лет тридцати, но только он косил, так что один глаз не переставал смотреть на другой. Он был иначе скован, чем остальные; на ноге у него была такая длинная цепь, что она охватывала все его тело, а на горле виднелись два железных ошейника – один прикрепленный к цепи, а другой – из тех, которые называют *опорой* или *поддержкой друга*¹. От него спустились две железные полосы, доходившие невольнику до пояса, а к ним были прикреплены кандалы, надетые на его руки и замкнутые большим замком так, что он не мог ни достать руками до рта, ни наклонить голову к рукам. Дон Кихот спросил, почему этот человек скован гораздо большим количеством цепей, чем все остальные? Конвойный ответил:

потому, что один он совершил больше преступлений, чем все остальные вместе взятые, и при том он такой смелый и выдающийся мошенник, что хотя его и ведут закованным таким образом, все же они не уверены в нем, и опасаются, чтобы он не сбежал у них.

– Какие же мог он совершить преступления, – спросил Дон Кихот, – если он не заслужил большего наказания, как только быть сосланным на галеры?

– Он идет туда на десять лет, – ответил стражник, – а это все равно, что гражданская смерть. С вас будет достаточно знать, если я вам скажу, что этот добрый человек не кто иной, как знаменитый Хинес де Пасамонте, называемый иначе Хинесильо де Парапилья.

– Тише, сеньор комиссар, – сказал тогда галерный невольник, – нечего тут перебирать имена и прозвища. Зовут меня Хинес, а не Хинесильо, и фамилия моя Пасамонте, а не Парапилья, как вы говорите; да к тому же – знай себя, и того будет с тебя.

– Не говорите – возразил комиссар, – таким наглым тоном, сеньор первейший вор и мазурик, если вы не желаете, чтобы я вас заставил, не на радость вам, молчать.

– Нет сомнения, – ответил галерный невольник, – что человеку придется идти туда, куда Бог велит, но когда-нибудь кое-кто узнает, зовут ли меня Хинесильо де Парапилья.

– А разве тебя не зовут так, обманщик? – сказал стражник.

– Да, зовут, – ответил Хинес, – но я позабочусь о том, что бы меня так не звали, или же вырву бороду, – а у кого, про себя знаю. Сеньор рыцарь, если вы желаете что нам дать, давайте скорей и

¹ Железный ошейник или костыль, прозванный так на воровском языке; назначение его было поддерживать голову преступника, чтобы он не мог опускать ее и прятать, стыдясь своего наказания.

ступайте себе с Богом, а то вы уж очень надоели своими расспросами о жизни чужих людей. Если же вы хотите познакомиться с моей жизнью, – знайте, что я Хинес де Пасамонте, биография которого написана вот этими пальцами.

– Это правда, – подтвердил комиссар, – потому что он сам написал свою историю как нельзя лучше, и оставил книгу в тюрьме под залог двухсот реалов.

– Но я намерен выкупить ее, – сказал Хинес, – даже если б она была заложена за двести червонцев.

– Разве она так хороша? – спросил Дон Кихот.

– Так хороша, – ответил Хинес, – что черт побери Ласарильо де Тормес и все остальные сочинения в том же роде, уже написанные или которые будут еще написаны! Могу вам только сказать, что в этой книге речь идет лишь об истинах, и о таких милых и приятных истинах, что никакая ложь не может сравниться с ними.

– А как озаглавлена ваша книга? – спросил Дон Кихот.

– *Жизнь Хинеса де Пасамонте*, – ответил автор.

– И она окончена? – осведомился Дон Кихот.

– Как же может это быть, – ответил Хинес, – если моя жизнь еще не кончена? Написанное мной начинается с моего рождения и доведено до того времени, когда меня в последний раз сослали на галеры.

– Значит, вы там уже были? – спросил Дон Кихот.

– Я был там, служа Богу и королю, однажды, четыре года тому назад, и уже знаю вкус сухарей и плетей из воловьих хвостов, – ответил Хинес. – Не очень я огорчен, что иду туда, потому что у меня будет время кончить мою книгу: мне ведь осталось еще многое сказать; а на галерах

в Испании больше свободного времени, чем надо, хотя мне его и не много надо для того, что мне еще осталось дописать, так как я все наизусть знаю.

– Ты, кажется, способный малый, – сказал Дон Кихот.

– И несчастный, – ответил Хинес, – потому что несчастье всегда преследует умные головы.

– Оно преследует мошенников, – поправил его комиссар.

– Я уже говорил вам, сеньор комиссар, – огрызнулся Пасамонте, – держитесь потише; те господа дали вам этот должностной ваш жезл не для того, чтобы вы обижали нас, бедняжек, идущих здесь, а только для того, чтоб вы нас сопровождали и отвели туда, куда приказывает Его Величество; если же нет, клянусь жизнью... Но довольно! Быть может, когда-нибудь и отмоются в щелоче пятна, сделанные в трактире и пусть каждый закусит свой язык, живет хорошо и говорит еще лучше, и давайте отправимся дальше: вся эта комедия тянется уже слишком долго.

Комиссар замахнулся жезлом, чтобы ударить им Пасамонте в ответ на его угрозы, но Дон Кихот заступился за него и попросил комиссара не обижать его, так как не велика важность, если у тех, у кого крепко связаны руки, несколько развязан язык. И, обращаясь ко всем находящимся на цепи, он сказал:

– Из всего, что вы сообщили мне, дражайшие братья, – я увидел ясно, что хотя вас и осудили за преступления, но наказание, которое вам предстоит нести, не очень-то вам по вкусу, и вы подчиняетесь ему крайне неохотно и совершенно против вашей воли. Очень может быть, что малодушие одного во время пытки, недостаток денег у другого, неимение покровителей у третьего, и, наконец, ошибочный приговор судей были при-

чиной вашей гибели и неудачи добыть себе такое правосудие, которое было бы на вашей стороне. Все это представляется теперь так живо моему уму, что убеждает, внушает и даже принуждает меня доказать на вашем примере, для какой цели небо послало меня в мир и приобщило меня к рыцарскому ордену, который я исповедую, и приняв который я дал клятву помогать нуждающимся и защищать угнетенных против сильных. Но так как я знаю, что одно из свойств благоразумия – не добиваться насилием того, что может быть достигнуто добром, – я обращаюсь с просьбой к этим сеньорам, вашим стражникам, и к комиссару, не будут ли они столь добры снять с вас оковы и отпустить вас с миром на все четыре стороны, так как не будет недостатка в других, которые по лучшим побуждениям согласятся нести службу королю, потому что мне кажется жестоким обращать в рабов тех, которых Бог и природа создала свободными. Тем более, сеньоры стражники, – добавил Дон Кихот, – что эти бедные люди ничем не провинились лично против вас. Пусть же каждый сам отвечает за свой грех; – на небе есть Бог, который не преминет наказать злых и наградить добрых; и не годится, чтобы честные люди были палачами других людей, не имея к этому никакого касательства. Прошу с такой кротостью и спокойствием, чтобы в случае, если б вы исполнили мою просьбу, мне было за что благодарить вас; если же вы не согласитесь добровольно, копье это, и меч, и сила руки моей принудят вас к тому.

– Премиленькая выходка, – сказал комиссар – и отменная шутка, с которой он под конец выступил! Он желает, чтобы мы освободили невольников короля, – точно в нашей власти отпустить их,

или же в его власти приказать нам это! Ступайте в добрый час, своей дорогой, милость ваша, сеньор, да поправьте на голове у себя этот таз и не ищите у кошки трех лап¹.

– Это вы сами кошка, крыса и негодяй, – ответил Дон Кихот. И одновременно говоря и действуя, он так быстро устремился на комиссара, что не дал ему времени защититься, а тяжело раненого ударом копья сбросил на землю, на счастье себе, потому что, упавший-то именно и был вооружен кремневым ружьем. Остальные стражники стояли изумленные и смущенные столь неожиданным событием; но придя в себя, верховые схватились за меч, а пешие за метательные копья и кинулись с ними на Дон Кихота, ожидавшего их совершенно спокойно; но ему, без сомнения, пришлось бы плохо, если б галерные невольники, видя, что им представляется счастливый случай получить свободу, не поспешили воспользоваться им, сломав цепь, которой они были прикованы друг к другу. Общая суматоха была так велика, что стражники, то подбегавшие к галерным невольникам, ломавшим свои цепи, то бросавшиеся на Дон Кихота, который нападал на них, – ничего путного не могли сделать. Санчо с своей стороны помог освободиться Хинесу де Пасамонте, очутившемуся первым на воле и без цепей. Он кинулся к лежавшему на земле комиссару, отобрал у него меч и ружье, и прицеливаясь то в одного, то в другого, но не стреляя ни в кого, – очистил поле битвы от стражников, обратившихся в бегство как от ружья Пасамонте, так и от града камней, которыми их осыпали освободившиеся галерные невольники. Санчо был очень огорчен этой историей, потому что боялся, что бежавшие стражники сообщат о случившемся Святой Эрман-

¹ Поговорка, которая правильнее говорится так: *искать у кошки пять лап*.

даде, а она, при звоне вестового колокола, начнет преследовать преступников. Все это он сказал своему господину и просил его тотчас же уехать с ним отсюда и скрыться в близлежащих горах.

– Это хорошо, – сказал Дон Кихот, – но я знаю, что теперь мне надлежит делать. – И он позвал галерных невольников, которые, волнуясь и шумя, бежали по полю, обобрав до нага комиссара; они все собрались кругом него, чтобы узнать, какие он даст приказания, после чего он обратился к ним со следующими словами:

– Благородным людям свойственно быть благодарными за полученное благодеяние; и один из грехов, наиболее противных Богу, – неблагодарность. Говорю это, сеньоры, потому, что вы видели и испытали на себе оказанное мною вам благодеяние. В воздаяние за него я желал бы, – и такова моя воля, – чтобы вы, обремененные цепью, которую я снял с вашей шеи, немедленно отправились в путь и, дойдя до города Тобосо, явились там к сеньоре Дульсинее Тобосской и сообщили ей, что ее рыцарь, – рыцарь Печального образа, – велел передать ей свой привет, и рассказать ей точка в точку все подробности этого знаменитого приключения, от начала и до того, как я добыл вам желанную свободу. Сделав это, вы можете идти с миром и в добрый час, куда хотите.

Хинес де Пасамонте ответил за всех и сказал:

– То, что нам милость ваша приписывает, сеньор и освободитель наш, самая невозможная из всех невозможностей, потому что нам нельзя идти всем вместе по дорогам, а только врозь и по-одиночке, каждый со своей стороны стараясь скрыться в недрах земли, чтобы не быть застигнутым Святой Эрмандадой, которая, без сомнения, будет

нас разыскивать. То, что ваша милость могла бы сделать – и следовало бы и было бы справедливо сделать, – это заменить обязательство, возложенное на нас, и дань относительно сеньоры Дульсинеи Тобосской, – известным количеством *Ave María* и *Credo*, и мы охотно произнесли бы их за ваш счет, потому что это такое дело, которым можно заняться ночью и днем, во время бегства и на отдыхе, на войне и в мирное время. Но думать, чтобы мы теперь вернулись в землю Египетскую, то есть, чтобы мы взяли нашу цепь и отправились по дороге в Тобосо, – значит думать, что теперь ночь, когда еще нет и десяти часов утра, и требовать этого от нас – все равно, что требовать груш от вяза.

– В таком случае, – воскликнул Дон Кихот (уже вспыхнувший гневом), – я клянусь, дон сын блудницы, дон Хинесильо де Парапильо, или как вас там зовут, – что пойдете вы один, поджав хвост между ногами и неся всю цепь на своих плечах.

Пассамонте, который был не очень-то терпеливого нрава (притом он уже догадался, что Дон Кихот не в здравом рассудке, так как совершил столь безумный поступок, возвратив им свободу), видя, что с ним обращаются таким образом, мигнул товарищам, и, отойдя в сторону, они стали осыпать рыцаря градом камней, так, что он только и делал, что старался прикрыть себя щитом, а бедняга Росинант ни мало не обращал внимания на шпоры, словно он был вылит из бронзы. Санчо спрятался за своим ослом и таким образом защитил себя от бури и града камней, разразившихся над ними обоими. Дон Кихот не мог прикрыться щитом настолько хорошо, чтобы несколько кремневых камней, – сколько не знаю, – не попало в него и с такой силой, что он свалился на землю.

Едва он упал, как студент бросился к нему, снял у него с головы таз, ударил его им три или четыре раза по плечам и столько же раз стукнул тазом по земле, так что чуть не разбил его в куски. Галерные невольники сняли с рыцаря полукафтанье, которое было у него надето поверх доспехов, и сняли бы с него и чулки, если бы этому не помешали ножные его латы. У Санчо они отняли верхнее платье, оставив его в одной рубашке, и, поделив между собою завоеванную в битве добычу, разбежались, каждый в свою сторону, более озабоченные тем, чтобы укрыться от Святой Эрмандады, которой они страшились, чем обременить

себя цепью, и идти представляться сеньоре Дульсинее Тобосской. Остались на поле сражения только осел и Росинант, Санчо и Дон Кихот. Осел – задумчивый, с опущенной головой, время от времени потрясая ушами, словно он полагал, что шквал камней, просвистевших над его головой, еще не утих; Росинант – лежа в растяжку рядом со своим господином, так как удар камня свалил и его на землю; Санчо – в одной рубашке, дрожащий от страха перед Святой Эрмандадой; Дон Кихот – вне себя от гнева при мысли, что с ним так предательски обошлись те самые люди, которым он сделал столько добра.





Я всегда слышал, Санчо, что делать добро негодям, все равно, что лить воду в море.



Глава XXIII

О том, что случилось со знаменитым Дон Кихотом в Сьерра-Морене¹, – одно из самых редкостных приключений, рассказанных в правдивой этой истории.

Видя себя в таком плохом положении, Дон Кихот сказал своему оруженосцу: – Я всегда слышал, Санчо, что делать добро негодаям, все равно что лить воду в море. Если б я поверил тому, что ты мне говорил, я бы мог избежать этого огорчения; но так как дело сделано, – терпение, а отныне впредь я научусь остерегаться.

– То, что ваша милость научится остерегаться, – ответил Санчо, – также верно, как и то, что я турок. Но раз вы говорите, что если б вы мне поверили, вы бы избегли этой беды, – поверьте же мне хоть теперь, и вы избегнете еще большей беды, потому что я должен вам сказать,

что Святую Эрмандаду нельзя пронять рыцарством и она не даст и двух мараведисов за всех странствующих рыцарей, сколько бы их не было, и знаете-ли, – мне уже кажется, что стрелы ее свистят около моих ушей².

– Ты по своей природе трус, Санчо, – сказал Дон Кихот, – но чтобы ты не говорил, что я упрям и никогда не делаю того, что ты мне советуешь, – на этот раз я последую твоему совету и уйду от фурии, которой ты так боишься. Но сделаю это с одним лишь условием: чтобы никогда, во всю свою жизнь, и в смерти ты никому не сказал, что я отстранился и бежал от этой опасности из страха, а только потому, что я сдался на твои просьбы; если же ты скажешь что-нибудь другое, ты солжешь от-

¹ Так называется горная цепь, отделяющая Ламанчу от Андалузии. Во времена Сервантеса Сьерра-Морена служила убежищем для всех скрывавшихся от правосудия и была любимым местопребыванием разбойников, воров и др. Римляне называли эти горы *Mons Marianus*.

² В старину убийц, застигнутых на месте преступления, Святая Эрмандада подвергала такой каре: их привязывали на большой дороге к столбу и убивали градом стрел.



... не возражая больше ни слова, а Санчо указывал путь на своем осле,
и таким образом, въехали они в Сьерра-Морену... (Том I, гл. XXIII)

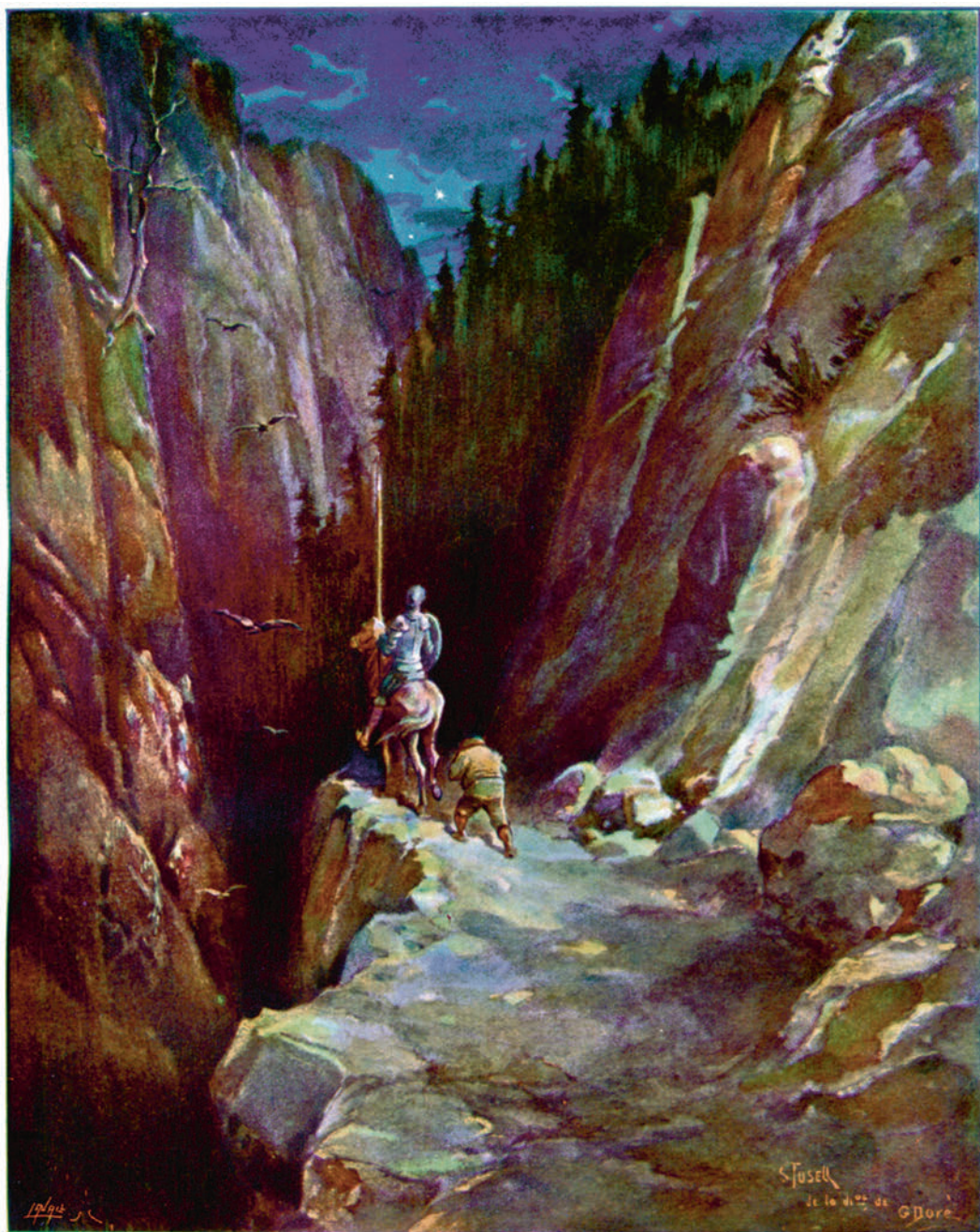
ныне впредь, и отныне впредь я обличаю тебя во лжи и говорю – ты лжешь и будешь лгать всякий раз, как ты это подумаешь или скажешь. И не возражай мне ни слова, потому что при одной мысли, что я отступаю и бегу от какой-нибудь опасности, и особенно от этой опасности, которая действительно может пробудить нечто в роде тени страха, – я уже готов остаться здесь и ждать один не только святое Братство, о котором ты говоришь и которого боишься, но и братьев всех двенадцати колен Израиля и семь братьев Макавеев, и Кастора и Полукса и даже всех братьев и все братства, какие имеются на свете.

– Сеньор, – ответил Санчо, – отступать не значит еще бежать, и оставаться там, где опасность берет верх над надеждой, не есть благоразумие, и кто умен, тот бережет себя сегодня для завтрашнего дня и не рискует всем в один день; и знайте, что хотя я неученый, грубый крестьянин, все же я обладаю долей того, что называют житейским опытом; итак, не раскаивайтесь, что последовали моему совету, но садитесь на Росинанта, если можете, а не можете, я помогу вам, – и поезжайте за мной, так как ум мой говорит мне, что нам теперь ноги нужнее, чем руки.

Дон Кихот сел на коня, не возражая больше ни слова, а Санчо указывал путь на своем осле, и таким образом, въехали они в Сьерра-Морену, бывшую там поблизости. Санчо намеревался проехать ее всю, и выехать в Визо или в Альмодавар дель Кампо, скрываясь несколько дней среди этих скалистых, диких местностей, чтобы их не нашли, если б Святая Эрмандада стала искать их. Он еще более укрепился в своем намерении, когда увидел, что съестные припасы, которые он вез на осле, остались целы в схватке с галерными невольниками – обстоятельство, по-

казавшееся ему чудом, если принять во внимание то, что они у них отняли и как старательно все обыскивали.

Этою ночью они добрались до самых недр Сьерра-Морены, где Санчо заблаговременно рассудил провести ночь и еще несколько дней, – по крайней мере, столько времени, насколько хватит съестных припасов, бывших при нем. Итак, они расположились на ночлег между двумя скалами, под несколькими пробковыми деревьями. Но злополучная судьба, которая, по мнению людей, не озаренных светом истинной веры, всем управляет, руководит и все устраивает по своему усмотрению, распорядилась, чтобы Хинес де Пасамонте, знаменитый обманщик и вор, благодаря доблести и безумию Дон Кихота освободившийся от цепи, движимый страхом перед Святой Эрмандадой, которой он справедливо опасался, тоже решил скрыться в этих же горах. Судьба его и страх привели его на то же самое место, куда они привели Дон Кихота и Санчо Пансу, как раз когда еще было настолько светло, что он мог их узнать, и в то время, когда они уже заснули. И так как злые всегда неблагодарны, а нужда побуждает их совершать то, чего не следовало бы делать, и отдавать предпочтение настоящей выгоде перед будущей, Хинес, который не был ни признательным, ни благодарным, рассудил украсть у Санчо Пансы осла, не заботясь о Росинанте, так как это была добыча негодная, ее нельзя было ни продать, ни заложить. Санчо Панса спал. Хинес украл у него осла; и прежде, чем рассвело, он уехал уже так далеко, что нельзя было догнать его. Зажглась заря, обрадовав мир, но опечалив Санчо Пансу, так как он не нашел своего серого. Видя, что его похитили у него, он разразился самыми горькими и заунывными жалобами и вопил так громко, что



Этой ночью они добрались до самых недр Сьерра-Морены

Дон Кихот проснулся от его криков и услышал, как он восклицал:

– О, дитя моей утробы, ты, родившийся у меня в доме, развлечение моих детей, утешение моей жены, предмет зависти соседей, облегчитель моего бремени и, наконец, опора половины моего существования, потому что на двадцать шесть мераведисов, которые ты зарабатывал ежедневно, я снискивал половину моего пропитания.

Дон Кихот, видя его слезы и узнав причину их, утешил Санчо лучшими доводами, которые только мог найти, и просил его иметь терпение, обещая дать ему вексель, по которому ему выдадут трех ослят из пяти, оставленных им у себя дома. Санчо утешился этим, вытер свои слезы, умерил свои рыдания и поблагодарил Дон Кихота за милость оказанную ему.¹

Лишь только Дон Кихот очутился в горах, сердце его исполнилось радостью, так как ему казалось, что эти места очень подходящи для приключений, которых он искал. Он вспомнил изумительные события, случавшиеся со странствующими рыцарями в подобных же уединенных и диких местах, и так углубился в эти мысли, был ими так увлечен и восхищен, что ничего другого не видел и не слышал. Санчо же не имел теперь иной заботы (после того, как они, по его мнению, достигли вполне безопасного места), кроме заботы удовлетворить свой желудок остатками добычи, взятой у священнослужителей. Итак, он ехал за господином, сидя на своем осле по-женски, доставая из мешка припасы и набивая ими брюхо свое, и пока он был занят таким образом, он не дал бы и медного гроша за то, чтоб найти новое приключение. Между тем, Санчо, вскинув глаза, увидел,

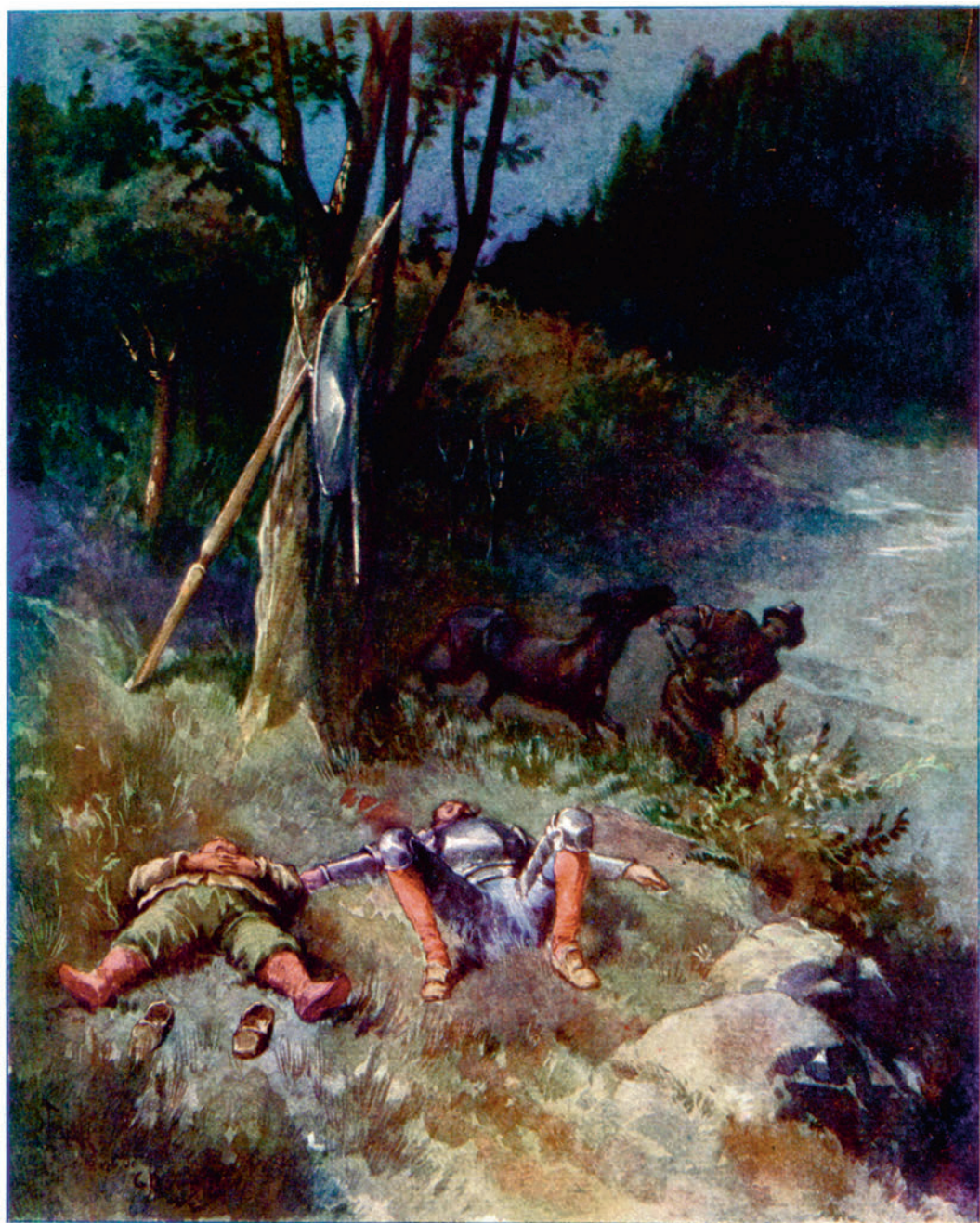
что его господин остановился и острием копья старается поднять какой – то узел, лежащий на земле он поспешил к рыцарю, чтобы ему помочь, если это окажется нужным; и как раз поспел в ту минуту, когда Дон Кихот поднимал острием копья седельную подушку, с привязанным к ней ручным чемоданчиком, оба полу-сгнившие, или вернее даже совсем сгнившие и разваливающиеся, но они были такие тяжелые, что Санчо пришлось сойти с осла, чтобы поднять их. Его господин приказал ему посмотреть, что в чемоданчике. Санчо быстро исполнил это; и хотя чемоданчик и был заперт цепью и замком, но сквозь дыры и отверстия в прогнивших местах он увидел, что там находилось: четыре рубашки из тонкого голландского полотна и другие полотняные вещи, не менее тонкие и чистые, а в платочке он нашел добрую кучку золотых монет, и когда он их увидел, он воскликнул:

– Да будет благословенно все небо за то, что оно послало нам приключение, стоящее чего-нибудь. – И поискав еще в чемоданчике, он нашел богато украшенную маленькую записную книжку, которую Дон Кихот потребовал у него, деньги же приказал ему сохранить и взять их себе. Санчо поцеловал ему руки за эту милость и, вынув из чемоданчика белье, положил в мешок со съестными припасами. Увидав все это, Дон Кихот сказал:

– Мне кажется, Санчо, (и иначе быть не может), что какой-нибудь путешественник заблудился в этих горах, а разбойники напали на него, убили, и потом принесли сюда и зарыли в этом столь глухом месте.

– Не может этого быть, – ответил Санчо, – потому что, если б это были воры, они не оставили бы здесь денег.

¹ Этот эпизод был вставлен во второе издание Дон Кихота Куэсты, в 1605 г.



... рассудил украсть у Санчо Пансы осла, не заботясь о Росинанте...

– Ты прав, – согласился Дон Кихот, – и в таком случае я не знаю и не могу отгадать, что это могло бы быть; но подожди, мы посмотрим, не найдем ли в этой маленькой книжечке какой-нибудь записи, которая могла бы навести нас на след и дать сведения о том, что мы желаем узнать.

Он раскрыл книжечку, и первое, на что наткнулся, был сонет, написанный вчерне, хотя четким, хорошим почерком; читая сонет вслух, чтобы и Санчо тоже слышал его, он увидел, что в нем заключается следующее:

Иль бог любви не знает состраданья,
Иль черезчур ко мне он был жесток,
Иль я несу сверх меры наказанье,
Иль без вины карает злобный рок?

Но если чтить мы божества сиянье
Должны в любви, – сомненья нет,
что бог

Жестоким быть не может.
Кто ж страданье,
Кто пытку ту мне ниспослать бы мог?

Ты, Нита¹?
Нет, то было б – заблужденье!
Не может ад от неба исходить,
Зло от добра, от блага – преступленье.

Мне смерть грозит...
Когда происхождение,
Причину мук не можем проследить,
Нам не найти лекарства и спасенья!

– Из этих стихов, – сказал Санчо, – ничего нельзя узнать, разве только мы по нитке, о которой там речь, доберемся и до всего клубка.

– Какая там нитка? – спросил Дон Кихот.

– Мне слышалось, – сказал Санчо, – что ваша милость, читая, упомянула о нитке.

– Я не сказал нитка, а Нита, – ответил Дон Кихот, – и, без сомнения, это имя той дамы, на которую жалуется автор сонета; – и по чести, должно быть, он недурной поэт, или же я мало смыслю в искусстве стихотворства.

– Значит, – спросил Санчо, – милость ваша умеет также писать и стихи?

– Получше, чем ты думаешь, – ответил Дон Кихот, – и ты увидишь это, когда я пошлю тебя отнести письмо моей сеньоре Дульсинее Тобосской, написанное сверху донизу стихами. Ты должен знать, Санчо, что все, или большинство странствующих рыцарей минувших времен, были хорошими трубадурами² и музыкантами, потому что эти два искусства или, вернее говоря, природные дарования, были свойственны влюбленным странствующим рыцарям; правда также, что в стихах старинных рыцарей больше ума, чем изящества.

– Почитайте еще, милость ваша, – сказал Санчо, – может быть, и найдется в книжечке что-нибудь, что удовлетворит нас.

Дон Кихот перевернул страницу и сказал:

– Тут вот проза и, по-видимому, это письмо.

– Для отправки на почту? – спросил Санчо.

– Судя по началу, это любовное письмо, – ответил Дон Кихот.

– Прочтите вслух, ваша милость, – попросил Санчо, – ведь, я большой охотник до всяких любовных историй.

– С удовольствием, – ответил Дон Кихот и, читая письмо вслух, как о том

¹ В испанском сонете имя – Fili, которое Санчо, услышавшись или нарочно – превращает в hilo (старинное filo), т.е. нитка.

² Поэты – певцы, а специально так назывались провансальские певцы.



Он раскрыл книжечку, и первое, на что наткнулся, был сонет...

просил Санчо, увидел, что в нем заключается следующее:

«Твое лживое обещание и мое несомненное несчастье влекут меня, в такое место, откуда до твоего слуха раньше донесется весть о моей смерти, чем слова моих жалоб. Ты, о, неблагодарная, отвергла меня для человека, обладающего большим богатством, чем я, но не стоящего больше меня. И если б добродетель ценилась подобно богатству, я не завидовал бы теперь чужому счастью и не оплакивал бы моего несчастья. То, что воздвигла твоя красота, разрушили твои поступки; из нее я заключил, что ты ангел, — из них я знаю, что ты женщина. Пребывай в мире, виновница моих битв, и дай-то небо, чтоб вероломство твоего мужа оставалось навсегда нераскрытым, чтобы ты не раскаялась в том, что сделала, и я не отомстил бы там, где этого не желаю».

Прочитав письмо, Дон Кихот сказал:

— Из этого письма еще менее, чем из стихотворения, можно узнать, кто написал его; ясно лишь одно, — что писал его отверженный любовник.

И перелистав почти всю записную книжечку, он нашел еще другие стихотворения и письма, из которых иные можно было разобрать, а другие нет. Но все заключали в себе жалобы, сетования, опасения, изъявления радости, горя, благосклонности, презрения, — причем приятное превозносилось, а грустное — оплакивалось.

Пока Дон Кихот рассматривал записную книжечку, Санчо возился с чемоданчиком, не оставив в нем, а также и в седельной подушке, ни одного уголка, которого он бы не обшарил, не вытряс и не исследовал: ни одного шва — не распоротым, ни клочка шерсти — не растрепанным, желая увериться, что там ничего не осталось незамеченным по

его небрежности или недостатку старания, — такую алчность пробудили в нем найденные червонцы, которых оказалось более ста. И хотя он и не нашел ничего сверх уже найденного, он теперь вполне примирился и с тем, что его подбрасывали на одеяле, и с рвотой от бальзама, и с благословением его спины дубинами, и с кулачной расправой погонщика мулов, и с пропажей дорожных сумок, и с похищением у него одежды, и с голодом, жаждой и утомлением, перенесенными им на службе своего доброго господина, так как ему казалось, что он за все это как нельзя более вознагражден милостивой уступкой ему Дон Кихотом их находки.

Рыцарь Печального Образа был охвачен сильным желанием узнать, кто такой хозяин ручного чемодана, догадываясь по сонету и письму, по червонцам и столь тонким рубашкам, что это, должно быть, влюбленный знатного рода, которого довели до какого-нибудь отчаянного шага жестокость и пренебрежение его дамы.

Но так как в этой пустынной, скалистой местности не видно было никого, кто бы мог сообщить ему сведения, Дон Кихот думал теперь лишь об одном, — как бы ему скорее ехать дальше, что он и сделал, предоставив Росинанту выбрать себе дорогу, а выбрал он ту, где ему удобнее было ступать, причем рыцарь не переставал все время воображать, что среди этой пустынной местности он не может не встретиться с каким-нибудь необычайным приключением. Пока он ехал углубленный в эти мысли, вдруг он увидел на вершине небольшого пригорка человека, прыгавшего с необычайной легкостью со скалы на скалу и из кустарника в кустарник. Он показался ему почти нагим, с черной густой бородой, длинными всклокоченными волосами, с босыми ногами; бедра его были прикрыты панталонами, по-видимому, из темно-



... вдруг он увидел на вершине небольшого пригорка человека, прыгавшего с необычайной легкостью со скалы на скалу и из кустарника в кустарник...

желтого бархата, но это были уже одни лохмотья, так что во многих местах просвечивало тело. Голова его тоже ничем не была покрыта; и хотя он пробежал, как было сказано, с необычайной быстротой, но рыцарь Печального Образа подметил и увидел все эти подробности. И он попытался догнать его, но не мог этого сделать, потому что слабым силам Росинанта не было дано взбираться по таким скалистым местам, – тем более, что от природы ход его не был рысист, а весьма медлен. Дон Кихоту тотчас же пришло на ум, что пробежавший мимо них – хозяин седельной подушки и ручного чемоданчика, и он решил искать его, хотя бы ему пришлось скитаться целый год в горах, пока не найдет его. Поэтому он приказал Санчо слезть с осла и обогнуть с одной стороны гору, в то время как сам он объедет ее с другой стороны, и таким образом, быть может, им удастся настигнуть человека, столь поспешно скрывшегося у них из глаз.

– Я не могу этого сделать, – сказал Санчо, – потому что, лишь только я удаляюсь от вашей милости, страх тотчас же овладевает мной и терзает меня тысячью призраков и видений; заметьте себе сказанное мной и да служит оно вам предупреждением, что отныне впредь я не на палец не отойду от вас.

– Пусть будет так, – согласился рыцарь Печального Образа; – мне приятно видеть, что ты ищешь опору в моем мужестве, которое не изменит тебе, хотя бы от страха душа твоя была готова расстаться с телом. А теперь следуй за мной медленно, или как можешь, и сделай из глаз своих фонари; мы объедем этот маленький холм и, быть может, встретим того человека, которого сейчас видели, а он, – без всякого сомнения, – и есть хозяин найденных нами вещей.

На это Санчо ответил:

– Было бы гораздо лучше не искать его, потому что, если мы его найдем, и он, быть может, окажется хозяином денег, – очевидно, мне придется вернуть их ему; итак, было бы лучше, не утруждая себя излишней заботой, хранить с спокойной совестью эти деньги, пока каким-нибудь другим образом, неожиданно и без поисков объявится настоящий их хозяин, и, быть может, это случится, когда я уж истрачу их, а на нет и суда нет.

– В этом ты ошибаешься, Санчо, – ответил Дон Кихот, – потому что раз мы догадываемся, кто хозяин денег и он почти что на глазах у нас, – мы обязаны его искать и вернуть ему его собственность. А если же мы не станем искать его, то одно уж столь основательное предположение наше, что он хозяин денег, сделало бы нас столь же виновными, как если бы он действительно был им. Так что, Санчо друг, не огорчайся нашими поисками, потому что с души моей спадет большая забота, если мы его найдем.

Говоря это, Дон Кихот прищипорил Росинанта, и Санчо, как всегда, последовал за ним на своем осле. Объехав часть горы, они увидели в небольшой ложбине труп, – на половину уже съеденный собаками и склеванный воронами, – оседланного и взнузданного мула; все это еще более укрепило их в предположении, что бежавший был хозяином мула и седельной подушки. В то время как они рассматривали труп мула, они слышали свист, похожий на свист пастуха, гонящего стадо, и вдруг слева от них появилось большое количество коз, а сзади, на вершине горы, показался пастух, человек пожилой. Дон Кихот окликнул его и попросил спуститься к ним. В свою очередь и он громко отозвался, спрашивая, кто завел их сюда, в это место, где редко, или даже никогда еще не ступала человеческая нога, только бродят козы, и волки,



Объехав часть горы, они увидели в небольшой ложбине труп, —
наполовину уже съеденный собаками и склеванный воронами.

и другие дикие звери хозяйничают здесь. Санчо в ответ крикнул, чтобы он сошел к ним, тогда они все объяснят ему. Козопас спустился и, дойдя до места, где стоял Дон Кихот, сказал:

– Готов биться о заклад, что вы смотрите на мула, лежащего мертвым там вот, в овраге, по чести говорю вам, что он уже целых шесть месяцев находится здесь. Скажите мне, не встретили ли вы где-нибудь поблизости его хозяина?

– Мы никого не встретили, – ответил Дон Кихот, – а только нашли не далеко отсюда седельную подушку и небольшой ручной чемодан.

– И я также видел их, – ответил козопас, – но не хотел ни поднять, ни близко подойти к ним из боязни неприятности и чтобы меня не обвинили в краже. Дьявол-то ведь лукавый, и под ногами человека вдруг оказывается что-нибудь такое, обо что он спотыкается и падает, не зная как и почему.

– Это самое говорю и я, – сказал Санчо, – я тоже нашел те вещи, но не подошел к ним и на расстояние брошенного камня: там я их оставил, и пусть они остаются лежать, потому что мне не нужна собака с погрешками.

– Скажите, добрый человек, – спросил Дон Кихот, – не знаете ли вы, кто хозяин этих вещей?

– Могу вам сказать только то, – ответил козопас, – что месяцев шесть назад – немногим ли больше, немногим меньше, – к нам в пастуший шалаш – около трех миль отсюда, – приехал красивый и стройный юноша верхом на том самом муле, что лежит здесь мертвый, и с той самой седельной подушкой и ручным чемоданчиком, которые, по вашим словам, вы нашли и не тронули. Он спросил нас, какая часть этой горной цепи самая пустынная и суровая; мы указали на ту, где мы теперь с вами находимся, и это правда,

потому что, пройди еще с полмили вглубь, быть может, уже и не выберешься оттуда, и я изумлен, каким образом могли вы попасть сюда, в это место, куда нет ни дороги, ни тропинки. Итак, говорю я, юноша, услышав наш ответ, повернул своего мула и направился к тому месту, которое мы ему указали, оставив нас всех восхищенными его прекрасной наружностью и удивленными, как его вопросом, так и поспешностью, с которой, как мы видели, он повернул и поехал по направлению к горам. С той поры мы его больше не видели, но через несколько дней он встретился по дороге одному из наших пастухов, и, не говоря ни слова, подошел к нему, обрушился на него кулаками, надавал ему пинков, а затем бросился к его вьючному ослу, который вез для нас съестные припасы, забрал с него весь хлеб и сыр, и, сделав это, он с изумительной быстротой, скрылся опять в горах. Когда мы это узнали, несколько козопасов, – в том числе и я, – отправились искать его и, пространствував почти два дня в самых глухих местах этой горной цепи, наконец, мы его нашли скрывающимся в дупле высокого и могучего пробкового дерева. Он вышел к нам очень кроткий, в изодранной одежде и с лицом, таким обезображенным и загоревшим от солнца, что навряд ли бы мы узнали его, если б не платье, хотя и разорванное, которое мы запомнили, и по нему увидели, что перед нами тот, кого мы искали. Он вежливо поклонился нам, и в кратких, но приветливых словах, просил нас не удивляться, видя его скитающимся здесь в таком состоянии, так как это необходимо для выполнения одной эпитемии, наложенной на него за многие грехи его. Мы просили его сообщить, кто он такой, но не могли добиться этого. Просили его также, когда ему понадобится пища, – без которой он не может существовать, – сказать нам, где нам найти его, так как мы охотно

и с радостью будем носить ее ему, или же, если и это ему не нравится, пусть он, по крайней мере, придет и спросит, что ему нужно, а не отнимает насильно у пастухов. Он благодарил нас за наше предложение, просил простить его за прошлые нападения и обещал отныне впредь просить у нас все нужное ему именем Бога, никого не обижая. Что же касается местопребывания своего, он сказал, что у него нет другого жилища, как то, которое ему доставляет случай там, где его застигнет ночь, и с этими словами он так горько заплакал, что мы, слушавшие его, имели бы каменное сердце, если б не заплакали вместе с ним, вспоминая, каким мы его видели в первый раз и каким нашли теперь; потому что, как я уже говорил, он был очень красивый, изящный юноша, а вежливый и рассудительный его разговор доказывал, что он знатного происхождения и хорошо воспитан. Хотя мы, слушавшие его, были лишь деревенские люди, но и в простоте нашей мы не могли не оценить его милого обращения. Только вдруг среди оживленной речи он остановился, замолк, и в течение долгого времени пристально устремил глаза в землю, а мы стояли кругом него молча и изумленные, ожидая, когда кончится с ним припадок, и смотрели на него с величайшею жалостью, потому что из того, как он, то широко раскрывал глаза, неподвижно устремив их на землю и долгое время не мигнув ресницами, то закрывал их, стискивая зубы и нахмурив брови, — мы легко догадались, что с ним случился припадок сумасшествия. Вскоре он доказал нам, что мы не ошиблись, потому что он, в бешенстве вскочив с земли, на которую только что перед тем бросился, — до того яро и свирепо накинулся на стоявшего подле него пастуха, что, если б мы не отняли его, он убил бы его кулаками и зубами, и делая это, он не переставал кричать: «А, вероломный Фернандо! Здесь,

здесь заплатишь ты мне за все зло, нанесенное мне тобою. Этими руками вырву я твое сердце, в котором живут и обитают, соединившись, все пороки, особенно же коварство и обман!». И к этим словам он добавил еще и другие, направленные к обвинению того Фернандо и клеившие его именем изменника и предателя. С немалым трудом отняли мы у него нашего товарища; не говоря больше ни слова, он оставил нас и так быстро скрылся среди мелкого терновника и кустарника, что нам невозможно было следовать за ним. Из этого всего мы заключили, что сумасшествие находит на него по временам, и что некий Фернандо, должно быть, причинил ему зло, и весьма великое зло, как это доказывало то печальное состояние, до которого он был доведен. Все это подтвердилось и в последующие разы, — а их было немало, — когда он выходил на дорогу, иногда прося пастухов дать ему что-нибудь поесть из того, что они несут, а в другой раз отнимая у них силой их припасы, потому что, когда на него найдет припадок безумия, хотя бы пастухи и предлагали ему добровольно пищу, он не берет ее, а вырывает у них ударами кулаков; когда же он в здравом рассудке, то просит лишь именем Бога, вежливо и учтиво, рассыпаясь в благодарностях, и не без слез. Скажу вам по правде, сеньоры, — продолжал козопас, — что вчера я, и еще четыре пастуха — из них двое мои работники, и двое мои друзья, мы решили искать его, пока не найдем, а когда найдем — силою ли, или с его согласия, — отвезти его в город Альмодовар, в восьми милях отсюда, и там лечить его, если болезнь поддастся лечению, или же, — когда он будет в здравом рассудке, — узнать, кто он, и есть ли у него родные, которых можно было бы известить о случившемся с ним несчастии. Вот все, сеньоры, что я могу ответить вам на ваш вопрос, и будьте уверены, хозяин вещей,

найденных вами, – тот самый, кого вы видели бежавшим с такой быстротой почти нагим.

Дон Кихот уже сказал ему, что он видел этого человека, прыгавшего со скалы на скалу.

Рыцарь был изумлен тем, что он услышал от козопаса, и его желание узнать, кто был тот несчастный сумасшедший еще усилилось и он твердо решил исполнить то, что раньше задумал: искать его по всей горной цепи, не оставив без осмотра ни одного уголка, ни одной пещеры, пока не найдет его.

Однако счастье благоприятствовало ему больше, чем он думал и надеялся, так как в ту самую минуту из ближайшего горного ущелья появился юноша, которого он искал. Шел он, бормоча что-то про себя, чего нельзя было понять и вблизи, а тем менее можно было разобрать издали. Одежда на нем была та же, как уже описано, но только, когда он приблизился, Дон Кихот заметил, что

рванный камзол на его плечах надушен амброй¹, из чего он заключил, что человек, носивший такую одежду, не мог быть простого звания. Приблизившись к ним, юноша приветствовал их хриплым и глухим голосом, но весьма учтиво. Дон Кихот ответил на его приветствие с неменьшей учтивостью и, с достоинством и изяществом сойдя с Росинанта, подошел к юноше, обнял его и некоторое время крепко прижимал к груди, словно знал его долгие годы. Юноша, – которого мы можем назвать *«Оборванцем Жалкого Образа»*, как Дон Кихота *«Печально-го»* – дав себя обнять, отстранил немного Дон Кихота и, положив ему руки на плечи, смотрел на него пристально, как бы желая припомнить, не знает ли он его, удивленный видом, фигурой и вооружением Дон Кихота, не менее, быть может, чем Дон Кихот был удивлен его внешностью. Наконец, первым заговорил после объятия Оборванец, и он сказал то, что будет сообщено ниже.



¹ Эти духи очень высоко ценились во времена Сервантеса, употреблялись знатными людьми и сохраняли свой запах надолго и даже будто бы навсегда.



Глава XXIV

В которой продолжается приключение в Сьерра-Морене.

История повествует, что Дон Кихот слушал с величайшим вниманием злосчастного рыцаря *Сьерры*, который так начал свою речь:

— Конечно, сеньор, — кто бы вы ни были (потому что я вас не знаю), я благодарен вам за данные мне доказательства вашего благорасположения, и очень бы желал быть в состоянии отплатить за столь любезный ваш прием чем-нибудь большим, а не одним лишь добрым намерением. Но судьба лишила меня возможности отвечать на оказываемые мне услуги иначе, как только желанием отплатить за них.

— А мое желание, — ответил Дон Кихот, — сводится к тому, чтобы служить вам, и оно так сильно, что я еще раньше решил не покидать этих гор, пока не разыщу вас и не узнаю от вас, — нельзя ли

найти какое-нибудь средство для облегчения горя, которое, по-видимому, побудило вас вести столь странный образ жизни, и, если окажется нужным отыскать это средство, то искать его со всевозможным рвением. В случае же, если б ваше несчастье было из тех, что закрывают двери перед всякого рода утешением, я имел в виду поплакать и погоревать вместе с вами, как могу, потому что все-таки утешение — найти в несчастье кого-нибудь, кто огорчен им. И если доброе мое намерение заслуживает какой-либо признательности, умоляю вас, сеньор, ради той любезности, которой, на мой взгляд, у вас так много, — и в то же время, заклиная вас тем, что вы больше всего в жизни любили и еще любите, — скажите мне, кто вы такой, и что побудило вас жить и умереть в этих пустынях, как дикий зверь, пребывая в их среде столь неподходящим для вас образом, как это

видно по вашей одежде и наружности. И я клянусь, – добавил Дон Кихот, – орден рыцарства, членом которого, хотя недостойный и грешный, я состою, и моей профессией странствующего рыцаря, – если вы, сеньор, исполните просьбу мою, я буду служить вам со всем рвением, к которому обязывает меня мое звание, стараясь облегчить ваше несчастье, если окажется возможность облегчить его, или же проливая вместе с вами над ним слезы, как я уже говорил.

Рыцарь Леса, услышав, каким слогом говорит с ним рыцарь Печального Образа, только и делал, что глядел на него во все глаза; и вновь и вновь рассматривал его с ног до головы, – и, после того, как хорошенько рассмотрел, сказал:

– Если у вас найдется что-нибудь поесть, именем Бога прошу вас, дайте мне и как только я поем, я сделаю все, о чем вы меня просите, из благодарности за столь доброе расположение, которое было мне здесь оказано.

Тотчас же Санчо достал из своего мешка, а козопас из котомки, чем утолить голод Оборванца, который, подобно умалишенному, ел то, что ему дали, так поспешно, что у него почти не было промежутка между одним и другим куском, так как он не ел, а жадно поглощал их, и, пока он это делал, ни он, ни все смотревшие на него, не проронили ни слова. Кончив есть, он дал им знак следовать за ним, что они и сделали, и привел их на зеленый лужок, раскинувшийся тотчас-же за ближайшим выступом скалы. Здесь он растянулся на траве, остальные последовали его примеру; все это делалось молча, пока Оборванец, удобно усевшись, не заговорил:

– Если вы, сеньоры, желаете, чтобы я в кратких словах передал вам повесть безграничного моего несчастья, вы должны обещать мне, что не будете

прерывать нити моего грустного рассказа вопросами или чем бы то ни было, потому что как только вы это сделаете, мне придется тотчас же прекратить его.

Эти слова Оборванца напомнили Дон Кихоту сказку, рассказанную ему оруженосцем его, когда он не мог указать число коз, перевезенных через реку, и сказка осталась недосказанной.

Но вернемся к Оборванцу, который продолжал так:

– Я ставлю это условие потому, что желал бы как можно кратче передать вам повесть моих несчастий, так как воспоминание о них доставляет мне лишь новое страдание, и чем меньше вы будете спрашивать меня, тем скорее я кончу свой рассказ, хотя и не пропущу в нем ничего существенного, чтобы вполне удовлетворить ваше желание.

Дон Кихот обещал от имени всех исполнить его требование, и, заручившись этим обещанием, молодой человек начал так:

– Мое имя Карденио; родился я в одном из лучших городов Андалузии; происхождение мое знатное, родители – богатые; несчастье же мое так велико, что отец и мать могут оплакивать его, родственники могут огорчаться им, но не в состоянии облегчить его своим богатством, потому что от невзгод, посланных небесами, не охранят и не спасут деньги и состояние. В том же родном мне уголке земли обитало само небо – девушка, которую любовь украсила таким блеском, о каком я и не смел мечтать: так велика была красота Люсинды, – девушки, столь же знатной и богатой, как и я, но более счастливой, чем я, и менее постоянной, чем того заслуживали чистые мои намерения. Эту Люсину я любил, восхищался ею и боготворил ее с самой ранней моей юности и она тоже любила меня со всей искренностью и невинно-

стью, свойственных нежному ее возрасту. Родители знали о наших чувствах и не противились им, так как ясно видели, что с годами они не могут кончиться ничем иным, как только браком, которому благоприятствовало равенство происхождения и богатства. Мы росли, вместе с нами росла и наша любовь, так что отцу Люсинды стало казаться, что он, — ради приличия и осторожности, — должен воспретить мне бывать у них в доме, подражая в этом родителям, столь воспетой поэтами Тисбы. Но это запрещение прибавило лишь пламя к пламени и страстное желание к страстному желанию, потому что, хотя и наложило молчание на наши уста, не могло наложить его на наши перья, которые, обыкновенно с большей свободой, чем языки, открывают любящим то, что скрыто в сердце, потому что часто присутствие любимого предмета смущает и заставляет умолкнуть самую твердую решимость и самый смелый язык. О, небо, сколько писем написал я ей; — сколько скромных очаровательных ответов получил от нее! Сколько песен, сколько любовных стихов сочинил, в которых открывал свою душу, изливал свои чувства, описывал пламенные свои желания, предавался воспоминаниям и питал свою страсть! Наконец я стал чахнуть, и душа моя до того сильно томилась желанием увидеть Люсинду, что я решил прибегнуть и обратиться к средству, казавшемуся мне наиболее пригодным для достижения столь желанной и заслуженной мной награды, — именно просить ее отца дать мне ее в жены, — что я и сделал. В ответ он сказал, что благодарит меня за желание оказать ему честь и почтить и себя, домогаясь союза с дорогой его дочерью, но так как мой отец жив, то ему по праву следует сделать это предложение, потому что, в случае он не дал бы полного своего одобрения и со-

гласия, Люсинда не из тех, которых берут или отдают замуж тайком. Я поблагодарил его за доброе ко мне расположение, сознавая, что он прав, говоря таким образом, и вполне уверенный, что отец мой немедленно даст свое согласие, как только я с ним переговорю. С этим намерением я тотчас же пошел к отцу, чтобы сообщить ему о своем желании. Но войдя в комнату, где он находился, я застал его с распечатанным письмом в руках, которое, прежде чем я успел выговорить слово, он мне передал, говоря: «Из этого письма ты увидишь, Карденио, какую милость желает тебе оказать герцог Рикардо». А этот герцог Рикардо, как вы, сеньоры, должно быть, знаете, — испанский гранд, владетель богатых поместий в лучшей части Андалузии. Я взял письмо, прочел его; оно было такое сердечное, что и мне самому показалось, что не хорошо было бы, если б мой отец не исполнил просьбы герцога. Просил же он, как можно скорее, прислать меня к нему в качестве не слуги, а товарища его старшего сына, обещая вместе с тем доставить мне такое положение, которое соответствовало бы его уважению ко мне. Я прочел письмо и, читая его, онемел, а тем более еще, когда услышал, что отец мой сказал: «Через два дня ты уедешь, Карденио, из дому, чтобы исполнить желание герцога, и благодари Бога, что он открывает тебе путь, по которому ты достигнешь того, чего ты, как я знаю, вполне заслуживаешь». И к этому он добавил еще несколько отеческих советов. Время моего отъезда наступило; перед тем ночью я говорил с Люсиндой, рассказал ей все, что произошло, и сообщил так же и ее отцу, умоляя его подождать некоторое время и не выдавать дочь замуж, пока я не увижу, чего герцог Рикардо желает от меня. Он обещал мне это, а Люсинда подтвердила его обещание тысячью

клятв и обмороков. Наконец, я приехал к герцогу Рикардо, и он так хорошо встретил меня и обращался со мной, что зависть тотчас же принялась делать свое дело, закравшись в душу старых герцогских слуг, думавших, что доказательства его расположения ко мне послужат во вред им. Но тот, кто особенно обрадовался моему приезду, был второй сын герцога, по имени дон Фернандо, веселый, увлекающийся, щедрый и влюбчивый юноша, который в короткое время так подружился со мной, что об этом пошли везде толки. И хотя я нравился также и старшему сыну герцога, и он тоже относился ко мне очень мило, но все же не в такой степени, как меня любил и со мной дружил дон Фернандо. В виду того, что у друзей не бывает тайн, которые бы они не сообщали друг другу, – а моя близость к дону Фернандо быстро перешла в дружбу, – он открывал мне все свои мысли и в особенности говорил об одном своем романе, несколько его тревожившем. Именно, он был страстно влюблен в дочь земледельца, вассала его отца, родители которой были очень богаты, сама же она до того прекрасна, умна, скромна и добродетельна, что никто из всех знавших не мог решить, которыми из этих качеств она обладала в более высокой степени или в большем совершенстве. Чары прекрасной крестьянки так разожгли страсть дона Фернандо, что он для достижения своей цели и победы над добродетелью девушки решил дать ей слово жениться на ней, потому что добиваться чего-либо иным путем значило бы добиваться невозможного. По долгу дружбы, связывающей меня с ним, я счел своею обязанностью самыми убедительными доводами, какие я только мог придумать, и самыми яркими примерами, какие я только

знал, попытаться отговорить его от его намерения и отклонить от него. Но видя, что ничто не помогает, я решил рассказать обо всем его отцу, герцогу Рикардо. Однако дон Фернандо, проницательный и хитрый, боялся и опасался этого, зная, что я, в качестве верного слуги, обязан открыть герцогу, моему господину, вещь столь предосудительную для его чести. Итак, чтобы ввести меня в заблуждение и обмануть, он сказал, что не находит лучшего средства изгнать из своей памяти красавицу, так сильно полонившую его, как только удалиться на несколько месяцев, и с этой целью он желал бы, чтобы мы оба поехали к моему отцу под предлогом, как он скажет герцогу, посмотреть и купить нескольких хороших лошадей в моем родном городе, славившемся лучшими в мире лошадьми¹. Лишь только я услышал эти его слова, побуждаемый собственной моей любовью, я счел его решение как нельзя более разумным, и посмотрел бы на него точно также, если бы оно и не было столь благоразумным, ввиду того, что мне представлялся случай и возможность снова увидеться с моей Люсиндой. Движимый этой мыслью и этим желанием, я одобрил его план, поддержал его в его намерении и торопил как можно скорее привести его в исполнение, потому что разлука, наверное, произведет свое действие, как бы ни была велика сила чувства. А в то время, когда он вел такие разговоры со мной, он, – как я потом узнал, – уже наслаждался под видом супруга любовью молодой крестьянки и ждал лишь случая разгласить об этом с безопасностью для себя, потому что боялся гнева герцога, отца своего, когда тот узнает о его безрассудстве. Но известно, что любовь молодых людей по большей части не любовь, а только вождение, которое, имея конечной

¹ В те времена особенно славилась своими лошадьми Кордова.

своей целью наслаждение, достигнув этой цели, гаснет, и то, что казалось любовью, прекращается, потому что не может перейти за пределы, поставленные природой, – а такими пределами не ограничена истинная любовь. С доном Фернандо произошло то же самое; лишь только он овладел молодой крестьянкой, его желания утихли, страсть охладела, так что, если он сначала притворялся, будто хочет уехать, чтобы исцелиться от своей любви, теперь он действительно торопился это сделать, желая избавиться от исполнения данного им обещания. Герцог отпустил своего сына и приказал мне сопровождать его.

Мы приехали в родной мой город; отец мой принял дону Фернандо, как подобает его званию; тотчас же я повидался с Люсиндой, и страсть моя снова ожила (хотя она ни мало не угасала и не умирала). На свое несчастье, я рассказал обо всем дону Фернандо, так как мне казалось, что мой долг, в виду великой дружбы, оказываемой им мне, ничего не скрывать от него. Я так восхвалял ему красоту, изящество и ум Люсинды, что мои похвалы возбудили в нем желание видеть девушку, украшенную столь великими совершенствами. На гибель себе, я исполнил это его желание и показал ему Люсинду однажды ночью, при свете восковой свечи, в окне, где мы обыкновенно с ней разговаривали. Увидел он ее в утреннем домашнем платье, и она была так очаровательна, что сразу затмила в его уме образы всех красавиц, которых он до тех пор встречал. Он онемел, он ничего не видел и не слышал, он стоял, не отрывая от нее глаз, и пламенно влюбился в нее, – как это и выяснится из продолжения рассказа о моих несчастьях. Чтобы еще сильнее разжечь его страсть (которую он тщательно скрывал от меня и доверял одним лишь звездам),

случилось, что однажды он нашел письмо ко мне Люсинды, в котором она советовала мне просить ее отца выдать ее за меня замуж, письмо, написанное так умно, скромно и с такой любовью, что Фернандо, прочитав его, сказал мне, что в одной Люсинде соединены все прелести красоты и ума, которые у остальных женщин в мире встречаются лишь порознь. Правда, – и я должен сознаться в этом теперь, – хотя я хорошо понимал, насколько справедливо дон Фернандо восхвалял Люсинду, мне было неприятно слышать эти похвалы из его уст. Я начал бояться и избегать его, потому что не проходило минуты, когда бы он не желал говорить о Люсинде, и всегда наводил на нее разговор, хотя бы притягивая его за волосы. Это пробудило во мне нечто похожее на ревность. Не то, чтобы я опасался непостоянства Люсинды или ее неверности; но хотя и вполне уверенный в ней, я дрожал при мысли о превратностях судьбы. Дон Фернандо продолжал читать письма, которые я посылал Люсинде и ее ответы мне, под предлогом, что проявляющийся в них ум обоих нас доставляет ему большое удовольствие. Случилось так, что однажды Люсинда попросила у меня одну рыцарскую книгу почитать, которую она очень любила, и это был Амадис Галльский...

Едва Дон Кихот слышал упоминание о рыцарской книге, как он сказал:

– Если б вы, милость ваша, сейчас же, в начале вашей истории, сказали мне, что ее милость, сеньора Люсинда, любит рыцарские книги, не требовалось бы никаких других разъяснений, чтоб убедить меня в превосходстве ее ума, так как он не мог бы быть у нее столь выдающимся, каким вы, сеньор, описали его, если б она не была одарена склонностью к такому усладительному чтению. Итак, что касается меня, вам не зачем тратить

больше слов для заверений о ее красоте, достоинствах и уме; потому что, лишь услышав об этой ее склонности, я готов утверждать, что она – самая красивая и умная женщина в мире, и я бы желал только, чтобы вы, сеньор, за одно с *Амандисом Галльским*, послали ей также и почтенного *Дона Рухеля Греческого*, так как я уверен, что сеньоре Люсинде очень понравились бы Дараида и Гарая, а также и остроумие пастуха Даринела и его удивительные буколические стихи, которые он читал и пел с таким изяществом, умом и развязностью. Но со временем пробел этот может быть пополнен, а для этого требуется только, чтобы милость ваша соизволила поехать со мной в мою деревню, где я мог бы вам дать более трехсот книг, составляющих усадлу души моей и радость моей жизни, хотя – думается мне – у меня нет уже больше книг, благодаря злобе коварных и завистливых волшебников. Простите мне, что я не сдержал данного обещания не прерывать вашего рассказа; но когда я слышу разговор о рыцарстве и странствующих рыцарях, мне так же невозможно воздержаться говорить о них, как солнечным лучам невозможно не испускать теплоту, а лучам луны – увлажнять росой¹. Итак, простите мне, и продолжайте, потому что теперь это наиболее существенное.

Пока Дон Кихот произносил только что приведенные слова, Карденио, опустив голову на грудь, впал, по-видимому, в глубокую задумчивость; и хотя Дон Кихот дважды повторил ему, чтобы он продолжал свой рассказ, он не поднял головы и не ответил ни слова. Наконец, после довольно продолжительной остановки он приподнялся и сказал:

– Я не могу отделаться от одной мысли, и никто в мире не может изба-

вить меня от нее, или же убедить меня в ином, – и болван был бы тот, кто думал или утверждал бы противное – именно, будто бы этот величайший плут маэстро Элисабад не был любовником королевы Мадасимы.

– Это ложь, – клянусь всем в мире, что это ложь, – воскликнул разгневанный Дон Кихот (по обыкновению быстро вспыхнув), – и величайшая клевета, или, вернее, подлость. Королева Мадасима была благороднейшей сеньорой, и нельзя предполагать, чтобы столь знатная принцесса имела любовную связь с каким-то лекаришкой; кто же утверждает противное, лжет, как величайший негодяй, и я берусь доказать ему это, пеший или конный, вооруженный или безоружный, ночью или днем, как ему будет угодно.

Карденио смотрел пристально на Дон Кихота, потому что на него уже нашел его припадок безумия и он не был в состоянии продолжать своей истории, как и Дон Кихот не был в состоянии слушать ее, – до того был он выведен из себя сказанным Карденио о Мадасиме. Удивительная вещь! Он так серьезно за нее заступился, будто она и в самом деле была его настоящей и природной повелительницей: до того им владели проклятые его книги!

Когда Карденио, на которого, как я уже говорил, нашел его припадок безумия, услышал, что его называют лжецом, подлецом и другими бранными словами, шутка эта не понравилась ему, и он поднял камень, лежавший вблизи него и бросил им так сильно в грудь Дон Кихоту, что тот упал навзничь. Увидав, как он обращается с его господином, Санчо Панса кинулся на сумасшедшего со сжатыми кулаками; но Оборванец принял

¹ По народному поверью тех времен, луна считалась причиной и источником воды и всякой влаги, подобно тому, как солнце – источником огня и теплоты.

его так, что одним ударом кулака свалил на землю, тотчас же вскочил на него и помял ему бока во все свое удовольствие. Козопас, который хотел защитить Санчо, подвергся той же участи; и после того, как он всех их повалил на землю и избил, он оставил их и спокойно удалился в горы, где и скрылся. Санчо встал и, взбешенный тем, что его так незаслуженно отколодили, бросился на козопаса, чтобы отомстить ему, обвиняя его во всем, так как он не предупредил их, что по временам этот человек подвержен припадкам безумия, потому что, если бы они это знали, то были бы осторожнее и сумели бы себя уберечь от него. Козопас ответил, что говорил им, а если Санчо не слышал, то вина не его. Санчо возразил; козопас стоял на своем, и концом этих пререканий было то, что они вцепились друг другу в бороды, и посыпались такие удары кулаков, что если бы Дон Кихот не разнял их, они бы растерзали друг друга

на куски. Схватившись с козопасом, Санчо говорил:

– Оставьте меня, милость ваша, сеньор Рыцарь Печального Образа, ведь с этим человеком, таким же простолюдином, как и я, и не посвященным в рыцари, я могу спокойно расправиться за оскорбление, нанесенное им мне, и драться с ним один на один, как честный человек.

– Совершенно верно, – сказал Дон Кихот, – но я знаю, что он ни мало не виноват в том, что случилось.

Этим он помирил их, и снова спросил козопаса, нельзя ли будет отыскать Карденио, потому что он чувствует сильнейшее желание услышать конец его истории. Козопас повторил сказанное им еще раньше, именно, что нет верных сведений о его местопребывании, но если Дон Кихот много поедит по этим окрестностям, он непременно разыщет его или в здравом уме или безумного.





Глава XXV

В которой рассказывается о странных вещах, приключившихся с доблестным рыцарем Ламанским в Сьерра-Морене, и о том, как он подражал покаянию Бельтенеброта¹.

Дон Кихот простился с козопасом, взобрался опять на Росинанта и приказал Санчо следовать за ним, что тот и исполнил, сидя верхом на своем осле, но весьма неохотно. Они ехали медленно, пробираясь в самую глушь дикой горной местности. Санчо до смерти хотелось поболтать со своим господином, и он ждал лишь, не заговорит ли тот сам, чтобы не нарушить данного ему приказания. Но будучи не в силах выносить столь долгого молчания, он сказал:

— Сеньор Дон Кихот, пусть милость ваша даст мне свое благословение и уво-

лит меня, так как я желал бы тотчас же вернуться домой к жене и детям, с которыми, по крайней мере, я могу говорить и толковать обо всем, что мне взбредет в голову; ведь, если ваша милость требует, чтобы я день и ночь скитался с вами по этим пустынным местам и не говорил бы, когда мне придет охота, это значит похоронить меня литым. Если бы по воле судьбы животные разговаривали, как во времена Гисопета², было бы не так еще плохо, потому что я мог бы, о чем мне вздумается, болтать с моим ослом, и, таким образом, услаждал бы свою тяжкую участь. Но уже слишком жестоко и невыносимо всю жизнь проводить в по-

¹ Мрачного красавца.

² Так Санчо называет баснописца Эзопа. *Гисопет* вместо *Эзоп* писал и архиепископ Ита, живший в XIV веке.

исках приключений, и находить одни лишь подзатыльники, бросанье вверх на одеяле, удары камнями и кулаками; а при всем том, – чтобы еще был зашит рот и человек не смел высказать то, что у него на душе, как будто он немой.

– Понимаю тебя, Санчо, – ответил Дон Кихот, – ты умираешь от желания, чтобы я снял запрещение, наложенное мной на твой язык. Хорошо, считай его снятым, и говори, что хочешь, но только с условием, что данное тебе разрешение имеет силу лишь на то время, пока мы скитаемся в этих горах.

– Пусть будет так, – сказал Санчо, – пусть я поговорю хоть теперь, а что будет потом, известно одному лишь Богу. Итак, я начинаю пользоваться этой охранной грамотой и спрашиваю – из-за чего вы, милость ваша, распинались так сильно за ту королеву Махимасу, или как ее зовут, и какое вам дело, был ли тот аббат ее другом или нет? Если бы ваша милость не обратила на это внимание, – ведь вы же не были ее судьей, – наверное сумасшедший продолжал бы свою историю, и мы бы избежали и удара камнем, и пинков, и более чем полдюжины тумачков.

– По чести, Санчо, – ответил Дон Кихот, – если б ты знал, как я это знаю, что за почтенная и благородная сеньора была королева Мадасима, наверное, ты сказал бы, что я выказал слишком много терпения, не раздробив рта, из которого исходила такая хула; потому что величайшая хула говорить или думать, что королева была наложницей лекаря. Правда же во всей истории та, что этот маэстро Елисабад, о котором говорил сумасшедший, был очень благоразумный человек, хороший советчик и служил наставником и врачом при королеве, но думать, будто она была его любовницей, – бессмыслица, заслуживающая самого строгого наказания, а чтобы ты убедился, как

мало Карденио сознавал, что говорит, вспомни, – когда он это сказал, он уже был в припадке сумасшествия.

– Я именно и говорю, – возразил Санчо, – что не следовало обращать внимания на слова сумасшедшего, потому что, если бы счастье не было на стороне вашей милости, и камень, вместо того, чтобы попасть в грудь, попал бы вам в голову, – хороши бы мы были с вашим заступничеством за ту сеньору, – погуби ее Бог, – и к тому же Карденио наверное был бы выпущен на свободу в качестве сумасшедшего.

– Всякий странствующий рыцарь обязан вступить, как против здравомыслящих, так и против сумасшедших, за честь женщин, кто бы они ни были; а тем более за честь королевы столь возвышенной и добродетельной, какой была королева Мадасима, которую я особенно чту за ее необычайные качества. Ведь сверх красоты своей она отличалась еще умом и терпением в страданиях, а их выпало немало на ее долю; и именно советы и общество маэстро Елисабада послужили ей на пользу и облегчение, и помогли ей перенести бедствия свои с мудростью и спокойствием. Это-то и подало повод невежественной и злонамеренной черни думать и говорить, что она была его наложницей. Но они лгут, повторяю еще раз, и солгут двести раз все те, которые подумают или скажут это.

– Я этого и не говорю, и не думаю, – ответил Санчо; – пусть себе делают и съедают со своим хлебом; были ли они любовниками или нет, отчет в этом дали они Богу; я иду из своего виноградника и ничего не знаю; подглядывать, как живут другие, мне нет охоты; тот, кто закупает и лжет, на своей же мощне познает; тем более, что наг я родился, наг и остался, ничего не теряю, ничего не выгадываю; и если б между ними что и было, мне какое

дело? Многие думают найти ветчину там, где нет и крючков для копчения ее; но кто же может запереть открытое поле воротами? И тем более, что поносили даже самого Бога.

– Господи помоги, – сказал Дон Кихот, – сколько вздору ты, Санчо, нагородил! Какое отношение между тем, что мы говорили, и пословицами, которые ты нанизываешь одну на другую? Жизнью твоей заклинаю тебя, Санчо, замолчи, и отныне впредь занимайся лишь тем, чтобы подгонять своего осла, не вмешиваясь в то, что тебя не касается. Пойми своими пятью чувствами, что все, что я делаю, делаю и буду делать, вполне разумно и совершенно согласно с правилами рыцарства, которые я лучше знаю, чем все рыцари в мире, когда-либо исповедовавшие их.

– Сеньор, – ответил Санчо, – это ли одно из хороших правил рыцарства, что мы блуждаем по здешним горам, без дорог и тропинок, отыскивая сумасшедшего, к которому, когда мы его найдем, быть может, вернется желание докончить, что он начал, – не свой рассказ, а... речь идет о голове вашей милости и моих ребрах, которые он проломает вконец.

– Молчи, Санчо, говорю тебе еще раз, – сказал Дон Кихот, – и знай, что не только желание разыскать сумасшедшего влечет меня в эти места, а также и намерение совершить подвиг, которым я приобрету бессмертное имя и славу на всем земном пространстве, и подвиг этот будет таков, что я увенчаю им все, что может привести странствующего рыцаря к совершенству и всесветной знаменитости.

– А этот подвиг очень опасный? – спросил Санчо Панса.

– Нет, – ответил рыцарь Печального Образа. – Но игральная кость может упасть так, что вместо выигрыша мы по-

лучим проигрыш; хотя все будет зависеть от твоего старания.

– От моего старания? – удивился Санчо.

– Да, – подтвердил Дон Кихот, – потому что, если ты скоро вернешься оттуда, куда я думаю послать тебя, в таком случае скоро кончится мое страдание и начнется моя слава. И так как нехорошо держать тебя дольше в неизвестности и томить ожиданием, куда клонятся мои слова, я желаю, чтобы ты, Санчо, знал, что знаменитый Амадис Галльский был один из превосходнейших странствующих рыцарей. Я неверно сказал один; он был единственный, первый, самый выдающийся, – глава всех рыцарей, существовавших на свете в его время. К черту дона Белианиса и всех говоривших, что они в чем-либо равны ему, потому что они ошибаются, клянусь честью! Вместе с тем скажу: если какой-нибудь живописец желает прославиться в своем искусстве, он старается подражать оригиналам лучших известных ему художников; это правило применимо и ко всем занятиям и профессиям, имеющим значение и служащим украшением общества. Так точно должен поступать и поступает тот, кто желает прослыть мудрым и терпеливым, – он подражает Улиссу, в лице которого Гомер нарисовал нам живой образ мудрости и терпения; также и Вергилий изобразил в лице Энея добродетель нежного сына и прозорливость храброго и опытного военачальника; причем эти поэты не описывали и не рисовали своих героев такими, какими они действительно были, а какими они должны были быть, чтобы будущим поколениям завещать пример своих добродетелей. Совершенно также и Амадис был магнитом, утренней звездой и солнцем доблестных и влюбленных рыцарей и все мы, сражающиеся под знаменем рыцарства и люб-



... это ли одно из хороших правил рыцарства, что мы блуждаем по здешним горам, без дорог и тропинок, отыскивая сумасшедшего...

ви, должны подражать ему. Если же это так, Санчо друг, то, на мой взгляд, тот странствующий рыцарь, который наилучше сумеет подражать Амадису, приблизится больше других к рыцарскому совершенству; а один из поступков этого рыцаря, в котором он особенно проявил свою мудрость, отвагу, терпение, постоянство и любовь, был тот, когда он, из-за пренебрежения к нему сеньоры Орианы, удалился для совершения епитимьи на «*Пенья Побре*»¹, назвавшись именем *Бельтенеброс*, именем, несомненно выразительным и подходящим к образу жизни, избранному им по доброй его воле. И так как мне легче подражать Амадису в этом, чем раскалывать надвое великанов, обезглавливать чудовищных змей, убивать драконов, рассеивать войска, уничтожать флот и разрушать чары, – а окружающая нас местность как нельзя лучше приспособлена к выполнению подобного намерения, то нет причины упускать случай, которым я могу теперь отлично воспользоваться.

– Одним словом, – сказал Санчо, – что же собственно ваша милость собирается делать здесь, в этом столь отдаленном месте?

– Разве я тебе не говорил, – ответил Дон Кихот, – что хочу подражать Амадису, изображая здесь впавшего в отчаяние, безумного и неистового, в тоже время подражая и доблестному дону Рольдану², когда он вблизи одного источника нашел доказательства того, что прекрасная Анхелика обесчестила себя с Медором, вследствие чего он от огорчения сошел с ума и стал вырывать с корнями деревья, мутить воды светлых источников,

убивать пастухов, уничтожать их стада, поджигать хижины, опрокидывать дома, волочить по земле коней, словом, – совершать сотни тысяч безумств³, достойных вечного упоминания и внесения в летописи. И хотя я не намерен подражать Орландо, Ролдану или Ротоланду (так как его прозывали всеми этими тремя именами) шаг за шагом во всех безумствах, которые он совершил, сказал или придумал, я постараюсь, как сумею, выбрать и повторить те из них, которые мне покажутся наиболее существенными. А может быть, я ограничусь лишь только подражанием Амадису, не совершившему никаких пагубных безумств и одними лишь слезами своими и скорбью достигшему самой высокой славы.

– Мне кажется, – сказал Санчо, – что рыцари, которые делали нечто подобное, были вызваны к тому и имели причины совершать эти безумства и епитимьи; но какая причина у вашей милости сходить с ума? Какая дама отвергла вас, или какие нашли вы доказательства, что сеньора Дульсинея Тобосская согрешила с мавром, или с христианином?

– В этом то вся суть дела, – сказал Дон Кихот, – и вся красота моего предпрятия, потому что, если странствующий рыцарь сходит с ума, имея на то причину, в чем же тут заслуга и повод для похвалы? Вся соль именно в том, чтобы сойти с ума без причины и чтобы дать понять своей даме: если зеленое дерево так вспыхнуло, как запылало бы сухое! Кроме того, у меня есть достаточная для этого причина в долгой разлуке с той, которая навсегда останется моей повелительницей, с Дульсинеей Тобосской, –

¹ *Утес Бедный* – скала или островок, о котором говорится в рыцарском романе об Амадисе Галльском.

² Испанское имя Роланда.

³ История любви Медора и Анжелики и безумств Роланда рассказана в 23-й и 24-ой песнях известной поэмы итальянского писателя Ариосто «*Orlando Furioso*».

потому что, как ты недавно слышал от пастуха Амбросио: тот, кто в разлуке, испытывает и опасается всяких зол и бед. Итак, Санчо друг, не теряй понапрасну времени, советуя мне отказаться от столь редкостного, счастливого и никогда небывалого подражания. Я сумасшедший, и останусь сумасшедшим до тех пор, пока ты не вернешься с ответом на письмо, которое я думаю послать с тобой моей сеньоре Дульсинее, и если ответ ее будет таким, какого заслуживает мое постоянство, – моему безумию и покаланию настанет конец. Если же случится наоборот, то я в действительности сойду с ума и, будучи сумасшедшим, перестану что-либо ощущать. Так что, как бы она ни ответила, я выйду из неопределенности и из того затруднения, в которых ты меня оставляешь, радуясь, – если я буду в здравом уме, – добрым вестям, привезенным мне тобой, или же, в случае ты мне сообщишь худые вести, ничего не буду чувствовать, впад в безумие. Но, скажи мне, Санчо, в сохранности ли у тебя шлем Мамбрин? Я видел, что ты поднял его с земли, когда тот неблагодарный пытался сломать его вдребезги и не мог, из чего ясно видно, какой хороший закал шлема.

На это Санчо ответил:

– Клянусь Богом живым, сеньор рыцарь Печального Образа, я не могу сносить и терпеливо выслушивать иные вещи, которые милость ваша говорит, потому что они наводят меня на мысль, что ваши рассказы о рыцарстве, о завоеваниях королевств и империй, раздаче островов и всяких других милостей и щедрот, как это в обычае у странствующих рыцарей, – должно быть, одно лишь дуновение ветра и ложь, одни лишь, просто-напросто, сказки и басни, или как их там называть. Ведь, каждый, кто услышит, что ваша милость утверждает, будто таз

цирюльника – шлем Мамбрин, и увидит, что вы остаетесь в этом заблуждении более четырех дней, не может подумать чего-либо иного, кроме того, что человек, который говорит и утверждает нечто подобное, наверное распростился с своим разумом. Таз, весь смятый и изогнутый, у меня здесь в мешке, и я везу его домой, чтобы выпрямить его и употреблять для бритья, если Бог окажет мне такую милость, и я когда-нибудь снова увижу жену и детей своих.

– Слушай, Санчо, – сказал Дон Кихот, – клянусь тем же Богом, каким и ты только что клялся, – у тебя самый тупой ум, которым когда-либо обладал или обладает какой бы то ни было оруженосец в мире. Возможно ли, чтобы ты, так долго скитаясь со мной, еще не разглядел, что все, относящееся к странствующему рыцарству, кажется оболещением, безумием и нелепостью, и все делается навыворот? И не потому, чтобы это действительно было так, а потому, что среди нас, рыцарей, всегда носится толпа волшебников, которые все, что мы делаем, – преобразуют, изменяют и превращают, как им вздумается, смотря по тому, намерены ли они благоприятствовать нам, или же повредить; и вот почему то, что ты считаешь тазом для бритья, мне кажется шлемом Мамбрин, а другому может показаться еще чем-нибудь иным. Со стороны покровительствующего мне мудреца было необычайно предусмотрительно устроить так, чтобы всем казалось тазом для бритья то, что поистине и на самом деле есть шлем Мамбрин, потому что, вследствие столь высокой ценности его, весь свет преследовал бы меня, чтобы отнять его. Но теперь, – видя в нем только лишь цирюльничий таз, – они не стремятся приобрести его, что ясно доказал тот, который захотел его сломать, и, не взяв с собой, оставил лежать на земле,

а по чести, если б он знал истинную цену его, то никогда бы не расстался с ним. Береги же его хорошенько, друг, потому что теперь он мне не нужен, и даже мне придется снять с себя все эти доспехи и остаться нагим, как я родился, если мне вздумается подражать в моем искусстве Рольдану, чем Амадису.

Разговаривая таким образом, они добрались до подножия высокой горы, стоявшей одиноко, словно обрубленная громадная скала, среди других окружающих ее гор. Внизу, у ее подошвы, протекал мирный ручеек, опоясывая зеленый роскошный луг, приводивший в восхищение всякий взгляд, который останавливался на нем. Кругом виднелось немало лесных деревьев и разных растений и цветов, делавших эту поляну еще очаровательнее. Ее-то рыцарь Печального Образа и избрал для совершения своей епитимьи и, лишь только увидел ее, он воскликнул громким голосом, словно уже впавший в безумие:

– Вот место, о небеса, избранное и назначенное мною, чтобы оплакивать несчастье, в которое вы сами ввергли меня. Вот то место, где влага из моих глаз приумножит воды маленького этого ручья, а не перестающие и глубокие вздохи мои приведут в непрерывное движение листву горных этих деревьев в доказательство и свидетельство мучений испытываемых этим истерзанным сердцем моим! О, вы, кто бы вы ни были, сельские божества, обитающие в необитаемой этой местности, внимайте жалобам несчастного влюбленного, которого долгая разлука и мнимая ревность привели сюда, среди этих суровых скал скорбеть и плакаться на жестокость сердца неблагодарной и прекрасной, – являющей собой совер-

шенство и венец всякой человеческой красоты! О, вы, лесные нимфы и дриады, имеющие обыкновение жить в густой тени горных этих дубрав, пусть быстрые и сладострастные сатиры, тщетно влюбленные в вас, никогда не нарушат мирного вашего покоя, если вы поможете мне оплакивать мое несчастье, или, по крайней мере, не соскучитесь, слушая о нем! О, Дульсинья Тобосская, день моей ночи, наслаждение моих мук, путеводная звезда моей жизни, луч моего счастья, да ниспошлет тебе небо полной мерой все, чего бы ты ни пожелала, если ты обратишь взоры свои на место и положение, к которому меня привела разлука с тобой, и ответишь мне взаимностью в награду за мою верность тебе! О, уединенные деревья, которые отныне впредь будете мне единственным обществом в полном моем одиночестве, подайте мне знак сладостным шелестом ветвей ваших, что присутствие мое не причиняет вам неудобства! О, ты, оруженосец мой, милый товарищ во всех счастливых и несчастных моих приключениях, запечатай хорошенько в своей памяти то, что я буду делать здесь, на глазах у тебя, чтобы передать и пересказать о том единственной виновнице всего происходящего!

Говоря это, Дон Кихот слез с Росинанта, спешно расседлал его и, ладонью руки хлопнув по бокам, сказал:

– Свободу дает тебе тот, кто сам лишен ее. О, конь, столь же прославленный заслугами своими, как и несчастный по судьбе своей, – ступай куда хочешь, – потому что у тебя на лбу написано, что по быстроте с тобой не сравнится ни Гипогриф¹ Астольфа, ни знаменитый Фронтиньо, стойивший так дорого Брадаманте.

Когда Санчо увидел это, он сказал:

¹ Гипогриф – чудовище, рожденное от баснословного животного – грифа и кобылы, играет значительную роль в поэме Ариосто, также как и Фронтиньо – светло-гнедой конь с белой полосой.

– Всяческого успеха тому, кто избавил нас теперь от труда расседлывать Серого, потому что, по чести, пришлось бы и его похлопать и наговорить и ему разных разностей в похвалу, хотя, если б он был здесь, я не согласился бы, чтобы кто-нибудь снял с него седло, потому что не было бы причины, так как общие правила влюбленных и впавших в отчаяние ни мало не касаются его, как и его господина, которым я был, пока Богу было угодно. Но право, сеньор рыцарь Печального Образа, если мой отъезд и безумие вашей милости – вещь серьезная, было бы лучше снова оседлать Росинанта, чтобы он заменил отсутствие Серого, так как это значило бы сберечь время, туда и обратно; потому что, если мне придется идти пешком, не знаю, когда я дойду и когда вернусь, оттого что я в самом деле плохой ходо.

– Говорю, Санчо, пусть будет по твоему, – ответил Дон Кихот, – потому что твой план кажется мне недурным, и говорю тебе, что через три дня ты уедешь, так как я желаю, чтобы за это время ты увидел то, что я, ради Дульсинеи, буду делать и говорить, и затем сообщил бы ей о том.

– Но что же я увижу больше того, что я уже видел? – спросил Санчо.

– Как ты сильно ошибаешься в своем расчете, – ответил Дон Кихот, – теперь мне нужно еще разорвать одежду, разбросать кругом себя оружие, удариться головой об эти скалы и совершить другие вещи в том же роде, которые изумят тебя.

– Ради Бога, – сказал Санчо, – будьте осторожнее, милость ваша, когда вы будете биться головой о скалы, потому что вы можете удариться о такую скалу и в таком ее месте, что с первым же ударом наступит конец всей вашей затеи об эпимьи. Я бы держался того мнения, уж

если ваша милость находит, что биться головой необходимо и без этого дело не может быть сделано, вы бы удовольствовались – так как все это лишь притворно, вымыслено и в шутку – вы бы удовольствовались, говорю я, биться головой о воду, или о какой-нибудь мягкий предмет, например, вату, и затем предоставьте все мне, а я скажу сеньоре Дульсинеи, что ваша милость билась головой о скалы, более твердые, чем алмаз.

– Благодарю тебя за твое доброе намерение, друг Санчо, – сказал Дон Кихот, – но ты должен знать, что все эти вещи я делаю вовсе не в шутку, а всерьез, потому что поступать иначе значило бы нарушать законы рыцарства, воспреещающие нам под страхом наказания за отступничество когда-либо говорить ложь; а делать одну вещь вместо другой – все то же, что лгать. Вот почему мои удары головой о скалу должны быть настоящие, неподдельные, не заключающие в себе ничего призрачного или фантастического; и потому нужно, чтобы ты оставил мне немного корпии для перевязки, раз по воле судьбы мы лишились бальзама, потерянного нами.

– Еще хуже было потерять осла, – ответил Санчо, – так как за одно с ним потеряна и корпия и все остальное. Но прошу вас, ваша милость, не напоминайте мне об этом проклятом питье; только при одном напоминании о нем у меня выворачивает всю душу, чтобы не сказать весь желудок! И еще прошу вас, считайте, что уже прошли три дня сроку, данного мне вами, чтобы глядеть на безумные ваши выходки, так как я готов заявить, что уже видел их, и они были уже доведены до конца, и я расскажу о них чудеса сеньоре Дульсинеи. Итак, пишите письмо и посылайте меня тотчас, потому что я чувствую сильное желание скорей вернуться, чтобы освободить вас, милость

ваша, из чистилища, в котором оставляю вас.

– Ты называешь это чистилищем, Санчо? – спросил Дон Кихот. – Лучше бы ты называл это адом и даже хуже чем адом, если что-нибудь может быть хуже его.

– Тому, кто попал в ад, – ответил Санчо, – *nula est retentio*¹, как мне привидилось слышать.

– Не понимаю, что значит *retentio*, – сказал Дон Кихот.

– *Retentio*, – ответил Санчо, – значит, что тот, кто в аду, никогда оттуда не выйдет и не может выйти, а с вашей милостью будет наоборот, или же моим пяткам придется плохо, если я возьму шпоры, чтобы торопить Росинанта. Дайте мне лишь приехать в Тобосо и явиться перед сеньорой Дульсинеей, я столько ей нараскажу о дурачествах и сумасбродствах (ведь, это одно и то же), которые ваша милость делала и продолжает делать, – что она у меня станет мягче перчатки, хотя бы я ее застал жестче пробкового дерева. С ее ответом, сладким и медовым, я по воздуху, как колдун, вернусь и освобожу вашу милость из этого чистилища, похожего на ад, но который не есть ад, потому что вы имеете надежду выйти из него, а этой надежды, как я уже говорил, нет у тех, которые в аду; и я не думаю, что ваша милость станет возражать против этого.

– Ты прав, – сказал рыцарь Печального Образа, – но как нам быть, чтобы написать письмо?

– А также и приказ о выдаче мне ослят, – добавил Санчо.

– Все будет включено – сказал Дон Кихот, – и было бы хорошо, раз у нас нет бумаги, если бы мы, как это делали древние, написали письмо на древес-

ных листьях или на восковых дощечках, хотя найти их теперь также трудно, как и найти бумагу. Но сейчас мне пришло в голову, на чем можно также хорошо, и даже еще лучше написать письмо, – в записной книжке, принадлежавшей Карденио. А ты уже позаботишься дать его переписать на бумагу и хорошим почерком, в первом же встречном селе, где ты найдешь учителя в школе для мальчиков, а если не найдешь, то какой-нибудь пономарь перепишет тебе письмо. Но не давай переписывать его кому-нибудь из нотариусов, которые пишут так крючкоставо, что сам сатана ничего не разберет.

– А как же насчет подписи? – спросил Санчо.

– В письмах Амадиса никогда не было подписи, – ответил Дон Кихот.

– Все это очень хорошо, – сказал Санчо, – но приказ на получение ослят должен быть непременно подписан, – если же подпись будет переписана, скажут, что она подложная, и я останусь без ослят.

– Приказ на ослят я подпишу здесь в этой записной книжке, и увидав мою подпись, племянница моя не затруднится исполнить то, о чем я пишу. Что же касается любовного письма, ты поставишь такую подпись: «*Ваш до гроба, рыцарь Печального Образа*». И не важно, что письмо это будет написано чужой рукой, так как, насколько я помню, Дульсинея не умеет ни писать, ни читать, и никогда в жизни не видела ни моего почерка, ни какого-либо письма моего, потому что наша обоюдная, – моя и ее, – любовь была всегда лишь платонической и не заходила дальше целомудренных взглядов, да и это случалось лишь редко. И я мог бы истинно покаяться: в течение двенадцати лет, что я ее люблю больше зе-

¹ Санчо, коверкая слова, говорит *retentio* вместо *redemptio*, желая сказать *In inferno milla est redemptio* («Из ада нет избавления»).

ницы глаз этих, которые будут засыпаны землей, – я видел ее всего лишь четыре раза; и быть может, в эти четыре раза она даже не заметила, что я на нее смотрю; до того строго и в таком уединении ее воспитывал отец ее, Лоренсо Корхуело, и мать, Алдонса Ногалес.

– Та, та, – воскликнул Санчо, – знает, дочь Лоренсо Корхуело и есть сеньора Дульсинея Тобосская, иначе называемая Алдонса Лоренсо?¹

– Это она и есть, – ответил Дон Кихот, – та самая, которая заслуживает быть повелительницей всего мира.

– Я хорошо ее знаю, – сказал Санчо, – и могу удостоверить, что она так ловко бросает шест, как самый сильный парень в селе. Клянусь создателем, эта девушка чисто огонь, разбитная, удалая и такой крепыш, что всякого странствующего или имеющего странствовать рыцаря, который выбрал бы ее себе в сеньоры, она может вытащить за бороду из грязи. О, дочь блудницы, какие у нее здоровенные легкие, и что за голос! Могу вам сказать, – однажды она поднялась на сельскую колокольню, чтобы позвать батраков, работавших на пашне ее отца, и они, даже находясь на расстоянии более чем полмили оттуда, слышали ее также хорошо, как будто стояли внизу колокольни; а всего лучше то, что она нимало не жеманна, потому что у нее чрезвычайное сходство с придворной дамой²; со всеми она шутит и над всем смеется и острит. Теперь скажу, сеньор рыцарь Печального Образа, что вы, милость ваша, не только можете и должны совершать безумства ради нее, но и с полным правом можете придти в отчаяние и повеситься, потому что всякий, кто узнает об этом, скажет, что вы крайне хорошо поступили, хотя

бы вас и побрал черт; и я желал бы уже быть в дороге, только чтобы увидеть ее, потому что я давно ее не видел, и она за это время, должно быть, очень изменилась; ведь, лицо женщин сильно портится, если они постоянно находятся в поле, на ветру и на солнце. Должен признаться вам, ваша милость, сеньор Дон Кихот, до сих пор я был в большом заблуждении, так как искренно и твердо верил, что сеньора Дульсинея какая-нибудь принцесса, в которую милость ваша влюблена, или же знатная особа, заслуживающая богатых подарков, которые ваша милость посылала ей, например, бискайца, каторжников, и верно еще многих других, судя по тому, что ваша милость, должно быть, одерживала и одержала немало побед в то время, когда я еще не был у вас оруженосцем. Но, если хорошенько вникнуть в дело, какая же польза сеньоре Алдонсе Лоренсо (я хотел сказать – сеньоре Дульсинеи Тобосской) из того, что к ней являются преклонять колени побежденные, которых ваша милость посылала и будет посылать ей? Ведь, может случиться, что в то самое время, когда они к ней явятся, она будет занята чесанием льна или молотьбой на току, и они, увидав это, смутятся, а она рассмеется и вышутит ваш подарок.

– Я и прежде не раз говорил тебе, Санчо, – сказал Дон Кихот, – что ты большой говорун, и хотя ум у тебя туповатый, ты часто умеешь быть очень колким. Но чтобы ты видел, насколько ты глуп, а я рассудителен, послушай маленький рассказ. Итак, ты должен знать, что одна вдова, молодая, красивая, независимая и богатая, к тому же очень веселого нрава, – влюбилась в юного послушника, дюжего и сильного. Настоятель монастыря узнал об этом,

¹ Среди испанских крестьян, не имевших фамилий, было в обычае к имени детей, и особенно девушек, приставлять имя отца.

² Здесь игра слов: *cortesana* означает придворную даму и даму легкого поведения.

и однажды сказал доброй вдове в виде братского увещевания: «Я изумлен, сеньора, и не без причины, что такая знатная, красивая и богатая женщина, как вы, влюбилась в человека такого ничтожного, грязного и глупого, в то время как здесь, в монастыре, столько ученых магистров и богословов, из числа которых ваша милость могла бы выбрать, как среди груш, и сказать: этот мне нравится, а тот нет». Но она ответила ему весело и развязно: «Вы, милость ваша, сеньор мой, очень ошибаетесь и мыслите на старинный лад, если думаете, что я сделала плохой выбор. Тот, о ком вы говорите, каким бы он вам ни казался идиотом, для того, на что он мне нужен, знает философию столько же, и даже больше, чем Аристотель». – Итак, Санчо, для того, на что мне нужна Дульсинея Тобосская, она так же годится, как и самая знатная принцесса в мире. Далеко не верно, что все поэты действительно обладали теми дамами, которых они прославляли под вымышленными именами. Думаешь ли ты, что Амарильсы, Филиды, Сильвии, Дианы, Галатеи, Алиды и многие другие, которыми полны книги, романсы, лавочки цирюльников и театры, на самом деле существа из плоти и крови и принадлежали тем, которые их воспевают и воспевали? – Конечно, нет; по большей части, поэты выдумывали их, чтобы иметь сюжет для своих стихов, и чтобы их принимали за влюбленных, и за людей, способных быть ими. Поэтому и для меня достаточно думать и верить, что добрая Алдонса Лоренсо прекрасна и добродетельна; а что касается ее происхождения, это не важно, потому что никто не будет наводить о том справки, чтобы поднести ей какойнибудь орденский знак¹, – я же, со своей стороны, считаю ее

самой возвышенной принцессой в мире. Ты должен знать, Санчо, – если ты этого еще не знаешь, – что единственно лишь две вещи преимущественно перед всеми остальными разжигают любовь; именно, великая красота и добрая слава, и обе эти вещи имеются в превосходной степени у Дульсинеи, потому что по красоте ни одна женщина не сравнится с нею, а в доброй славе немногие приблизятся к ней. В заключение же скажу: я представляю себе, что все именно так и обстоит, как я говорю, не хуже и не лучше; и я рисую ее себе в своем воображении такой, какой я желал бы, чтобы она была, как по красоте, так и по знатности происхождения. Ни Елена не может сравниться с нею, ни Лукреция не достигает до нее, и ни одна из знаменитых женщин древности – греческой, варварской, или латинской, и пусть каждый говорит, что хочет, потому что, если меня за это и будут порицать невежды, чуткие люди не осудят.

– Я скажу, что вы, ваша милость, во всем правы, – ответил Санчо, – а я – осел. Не знаю только, зачем слово осел попало мне на язык, потому что в доме повешенного о веревке не следует говорить. Но давайте письмо и прощайте, – я ухожу.

Дон Кихот вынул записную книжку, отошел в сторону, и, хорошенько обдумывая, стал писать; а когда он кончил, он позвал Санчо и сказал, что желал бы прочесть ему письмо с тем, чтобы он его запомнил на случай, если бы дорогой потерял его, так как в виду несчастной его судьбы можно всего опасаться.

На это Санчо ответил:

– Пусть ваша милость два или три раза напишет его здесь в книжечке и даст мне ее, и я повезу ее очень бережно; но

¹ В некоторые орденские учреждения, – например, «Золотого Руна» и «Сан Хуан де Калотрава» – нельзя было поступить иначе, как только если получался удовлетворительный результат после предварительного исследования генеалогии.



... и тотчас, же, недолго думая, сделал два прыжка на воздухе
и столько же кувырканий головою вниз и ногами вверх...

думать, что я могу запомнить письмо, – бессмысленно, потому что у меня память такая плохая, что я часто забываю свое собственное имя. Тем не менее, прочтите письмо, милость ваша, я с удовольствием прослушаю его, потому что оно, наверное, не хуже печатного.

– Слушай же, – сказал Дон Кихот, – вот что я написал:

ПИСЬМО ДОН КИХОТА К ДУЛЬСИНЕЕ ТОБОССКОЙ

Неограниченная и Высочайшая сеньора.

Раненый острием разлуки, пронзенный до глубины сердца, шлет тебе, сладчайшая Дульсинея Тобосская, пожелания здоровья тот, кто сам его не имеет. Если твоя красота пренебрегает мною, если превосходство твое не на радость мне, если цель твоего презрения – усилить мои муки, хотя я и достаточно закален в страданиях, у меня не хватит сил вынести этого горя, которое, кроме того, что оно очень велико, еще и очень продолжительно. Мой добрый оруженосец Санчо подробно сообщит тебе, – о, неблагодарная красавица, возлюбленная неприятельница моя, – до какого состояния я дошел ради тебя. Если ты согласишься помочь мне, – я твой, если же нет, – поступай, как тебе угодно будет, потому что, прекратив жизнь мою, я удовлетворю этим твою жестокость и собственное мое желание. Твой до гроба

Рыцарь Печального Образа.

– Клянусь жизнью отца моего, – воскликнул Санчо, прослушав письмо, –

это самая возвышенная вещь, которую я когда-либо слышал. Черт возьми, как хорошо ваша милость говорит здесь все, что желает, и как хорошо подошла подпись рыцаря Печального Образа! Истинно скажу, вы, милость ваша, как есть сам дьявол¹, и нет той вещи, которой вы бы не знали!

– В моей профессии необходимо все знать, – ответил Дон Кихот.

– А теперь, – сказал Санчо, – пусть милость ваша напишет на другом листке приказ о выдаче мне трех ослят и подпишитесь так, чтоб можно было сейчас узнать вашу подпись.

– С удовольствием, – ответил Дон Кихот и, написав записку, прочел ее, а в ней заключалось следующее:

«Прошу вас, сеньора племянница, выдать подателю этой ассигновки, оруженосцу моему, Санчо Пансе, трех ослят из пяти, оставленных мною дома под вашим присмотром; каковые три осленка приказываю вам выдать и уплатить ими за стольких же других, полностью здесь полученных мною от него; а затем наши счета по этому письму, – получив от него расписку, – прошу считать погашенными. Дано в ущельях Сьерра-Морены двадцать второго августа текущего года».

– Хорошо, – сказал Санчо, – а теперь, милость ваша, подпишитесь.

– Мне не надо подписываться, – ответил Дон Кихот, – я только поставлю свой росчерк², а это равняется подписи, и было бы достаточно не только для трех, но и для трехсот ослят.

– Вполне полагаюсь на вашу милость, – сказал Санчо; – отпустите меня

¹ Это похвала со стороны Санчо, так как сказать: *sabe mas que el diablo*, («вы знаете больше дьявола»), в Испании весьма обычный оборот речи и комплимент.

² Rubrica – росчерк – завершающий подпись в Испании; ему придавали большое значение, предполагая, что его труднее подделать, чем самую подпись, и потому он скреплял последнюю. Рубрика сама по себе считалась и перед судом достаточной подписью под всякими документами.

седлать Росинанта и приготовьтесь дать мне свое благословение, так как я намерен ехать тотчас-же, не глядя на безумные выходки, которые ваша милость собирается проделать; а скажу я сеньору Дульсинею, что видел их столько, что ей большего и желать нельзя.

– Но, по крайней мере, я хотел бы, Санчо, так как это необходимо, – я хотел бы, говорю я, чтобы ты увидел меня обнаженным и проделывающим дюжину или две безумств, на что мне потребуется менее получаса; потому что увидев их собственными глазами, ты уже смело можешь клясться и относительно остальных, которые пожелал бы прибавить, – и будь уверен, ты не наскажешь их столько, сколько я намерен проделать их.

– Ради Бога, сеньор мой, не показывайтесь мне, ваша милость, обнаженным, потому что я почувствую жалость и не смогу удержаться, чтоб не разреветься, а голова у меня еще очень тяжела от слез, пролитых мною в прошлую ночь из-за Серого, и я теперь больше не в силах плакать. Если же ваша милость непременно желает, чтобы я видел некоторые из ваших безумств, проделайте их одетый, но покороче и такие, которые вам покажутся самыми уместными. Тем более, что для меня ничего этого не требуется и, как я раньше говорил, это только оттягивает мое возвращение с такими известиями, которых ваша милость и желает и заслуживает. А нет, – пусть сеньора Дульсинея остерегается, потому что, если она не ответит, как следует, – торжественно клянусь, чем только могу, что вырву у нее ответ из ее внутренностей пинками и тумачами; невозможно ведь стерпеть, чтобы такой знаменитый странствующий рыцарь, как ваша милость, сошел бы с ума, ни за что ни про что, из за какой то... Пусть сеньора Дульсинея не заставит меня

договорить из-за какой, не то, клянусь Богом, я ей сразу все выпалю прямо в лицо, да целыми дюжинами, хотя бы и вся торговля пропала. На это я мастер; она меня плохо знает, так как, ей Богу, если б знала меня, то стояла бы в струнке передо мной.

– Клянусь, Санчо, – сказал Дон Кихот – ты, по-видимому, в здравом уме не более, чем я.

– Я не такой сумасшедший, как вы – ответил Санчо, – но вспыльчивее вас. Однако, оставив это в стороне, скажите, что же вы будете есть, милость ваша, пока я не вернусь? Будете ли вы выходить на дорогу, как Карденио, и отнимать съестные припасы у пастухов?

– Пусть эта забота не тревожит тебя, – ответил Дон Кихот, – потому что, даже если б у меня и было что есть, я не ел бы ничего другого, кроме трав и плодов, которыми этот луг и эти деревья могут снабдить меня, так как вся красота моего предприятия состоит в том, чтобы не есть и подвергать себя и другим суровым лишениям.

На это Санчо ответил:

– Итак, прощайте; но знаете ли, ваша милость, чего я боюсь? – что на возвратном пути не сумею отыскать место, где теперь оставляю вас: такая тут глушь.

– Запомни хорошенько все приметы, а я постараюсь не удаляться из этих окрестностей, – сказал Дон Кихот, – и даже дам себе труд взобраться на самые высокие утесы, чтобы смотреть оттуда, – не увижу ли я тебя, когда ты будешь возвращаться. Впрочем, самое верное средство, чтобы ты не заблудился и разыскал меня, это – срезать несколько ветвей дрока, растущего здесь в изобилии, и разбрасывать его там и тут на своем пути, пока не выберешься на равнину: эти ветки дрока послужат тебе межевыми веха-

ми и приметами, чтобы ты отыскал меня, когда вернешься, подражая этим клубку Тезея в лабиринте.

– Я так и сделаю, – ответил Санчо Панса и, срезав несколько ветвей дрока, попросил благословения своего сеньора, и не без обильных слез с той и другой стороны, они простились. Усевшись верхом на Росинанта, – которого Дон Кихот убедительно просил Санчо беречь и заботиться о нем, как о самом себе – он поехал по направлению к равнине, бросая время от времени по дороге ветки дрока, как ему советовал его господин. Так он и уехал, несмотря на то, что Дон Кихот все еще настаивал, чтобы он, по крайней мере, посмотрел хоть на два его безумства.

Но не отъехал Санчо и ста шагов, как вернулся и сказал:

– Мне кажется, сеньор, милость ваша говорила совершенно верно: для того, чтобы я мог, не обременяя своей

совести, поклясться, что видел, как вы проделывали безумства, мне бы следовало посмотреть, по крайней мере, на одно из них, хотя я уже видел одно очень большое, – то, что милость ваша остается здесь.

– Ведь говорил же я тебе, – сказал Дон Кихот, – подожди, Санчо, и скорей, чем можно прочесть «Credo», я проделаю несколько безумств.

И, поспешно сняв с себя панталоны, он остался в одной лишь рубашке на голом теле, и тотчас же, не долго думая, сделал два прыжка на воздухе и столько же кувыркий головой вниз и ногами вверх, раскрыв при этом такие вещи, что Санчо, чтобы не видеть их вторично, повернул Росинанта, вполне удовлетворенный и довольный тем, что может теперь клясться, что его господин сумасшедший. Итак, мы предоставим ему ехать своей дорогой до его возвращения, а оно не заставило себя долго ждать.





Глава XXVI

*Продолжение изящных проделок, совершенных Дон Кихотом
в качестве влюбленного в Сьерра-Морене.*

Возвращаясь к рассказу о том, что делал рыцарь Печального Образа, когда остался один, история повествует: лишь только Дон Кихот, полуобнаженный, раздетый снизу и одетый сверху, кончил свои кувыркания и прыжки и увидел, что Санчо уехал, не желая присутствовать при дальнейших его дурачествах, он взобрался на вершину высокой скалы и здесь стал снова размышлять о том, о чем он уже часто думал, не приходя, однако, к окончательному решению, а именно – что для него было бы лучше и более подходящим делом, – подражать ли Рольдану в буйных его неистовствах, или же Амадису в его припадках грусти? Рассуждая сам с собой, он говорил:

– Если Рольдан был таким превосходным и доблестным рыцарем, как все говорят, в этом нет ничего удивительного, потому что он был очарован, и никто не мог убить его иначе, как только проткнув ему подошву ноги грошевой булавкой, а он всегда носил башмаки с семью

железными подошвами. Но хитрости его не помогли ему против Бернардо дель Карпио, который, зная о них, задушил его в своих объятиях в долине Ронсеваля. Оставим, однако, в стороне рассуждение о его храбрости и перейдем к потере им рассудка, который он, как достоверно известно, действительно потерял, убедившись из доказательств, найденных им у источника, и из сведений, сообщенных ему пастухом, что Анхелика провела там две или более сиесты в объятиях Медора – юного, курчавого мавра, пажа Аграманта. Если Рольдан поверил, что это правда, и что его дама так опозорила его, ничего особенного нет в том, что он сошел от этого с ума. Но я, – как же я могу подражать ему в его неистовствах, если у меня нет такого же повода, как у него, проделывать их? Ведь, моя Дульсинея Тобосская, – я готов клясться в том, – не видела во всю свою жизнь ни одного мавра таким, каков он на самом деле, в национальной его одежде, и она и поныне также непорочна, как и мать, которая ее родила; и я нанес бы ей явное оскорбление,

если б я, вообразив о ней что-либо иное, сошел бы с ума, одержимый тем же родом помешательства, как и неистовый Рольдан. С другой стороны, я вижу, что Амадис Галльский, не потеряв рассудка и не совершив никаких неистовств, приобрел в качестве влюбленного большую славу, чем кто-либо другой; а сделал он, судя по тому, что повествуется в его истории, следующее: отверженный сеньорой Орианой, которая приказала ему не являться ей на глаза, пока она не разрешит ему этого, он удалился на «*Пенья Побре*» и там в обществе отшельника наплакался досыта, пока небо не послало ему утешения среди его великой тревоги и беды. А если это правда, – как оно действительно и есть, – зачем я стану теперь раздеваться донага или вырывать с корнями эти деревья, не сделавшие мне никакого зла, и для чего стану мутить светлые воды этих ручейков, которые напоят меня, когда я почувствую жажду? Да здравствует же память Амадиса и пусть подражает ему во всем, в чем может, Дон Кихот Ламанчский, про которого скажут то же, что было сказано и о том другом¹: если он и не совершил великих дел, то умер, пытаясь совершить их; и хотя моя Дульсинея Тобосская не пренебрегла мною и не отвергла меня, довольно и того, как я уже говорил, что я в разлуке с нею. Итак, скорей к делу; придите мне на память подвиги Амадиса и научите меня, как мне начать подражать вам! Но я знаю, что он больше всего молился и поручал себя Богу. Однако, как мне быть с четками? Их у меня нет.

Тогда он придумал способ смастерить четки: он оторвал большую полосу холста от подола рубашки и связал из нее одиннадцать узлов, из которых один узел был толще других; и это-то и служило

ему четками на все время, которое он там оставался, и на них он прочитал миллион «*Ave Maria*». Очень смущало его и то, что он не находил там отшельника, который бы его исповедовал и мог бы утешать его. Итак, он проводил время, гуляя по лужку, вырезая на коре деревьев и вписывая в мелком песку немало стихов, все соответствующие его грустному настроению, а некоторые из них, восхваляющие Дульсинею Тобосскую. Но из этих стихотворений сохранились, и их можно было разобрать после того, как отыскиали Дон Кихота, лишь только следующие:

Деревья, травы и кусты,
Что здесь так стройно предо мною
Сплелись дружною семьею,
Полны могучей красоты, –
Я к вам сюда пришел с мольбою!
Прошу у вас участия я.
Мне душу горе угнетает, –
Но пусть оно вас не смущает.
В слезах здесь Дон Кихот, друзья,
О Дульсинее вспоминает

Тобосской.

Вот место то, в тиши лесной,
Где он неведомою силой
К разлуке вынужден постылой,
Грустит вдали от взоров той,
Что вечно будет сердцу милой.
Любовь тревогу лишь несет,
И очень злобно с ним играет, –
Боченки слез здесь проливает,
И беспрерывно Дон Кихот
О Дульсинее вспоминает

Тобосской.

Средь неприступных, диких скал
Найти он думал приключения,
А только горе и волненья,
И дни невзгоды он узнал,
И проклинал свои мученья.

¹ Намек на Фаэтона, о котором это было сказано в «Превращениях» Овидия наядами реки По, в надгробной надписи.

Амур его тут плетью бьет,
Он с ним не шутит, не играет...
В затылок больно ударяет;
И весь в слезах здесь Дон Кихот
О Дульсинея вспоминает
Тобосской.

Немало смеха возбудила в нашедших упомянутые стихи прибавка *Тобосской* к имени Дульсинеи, потому что они догадывались, что, должно быть, Дон Кихот воображал, если он назовет Дульсинею, не добавив «*Тобосской*», то не поймут куплета; так оно и было, как он потом сам признался. Много еще других стихотворений сочинил он, но, – как было уже сказано, – только эти три строфы можно было разобрать и только они были найдены в целости. Итак, сочиняя стихи, вздыхая, взывая к лесным фавнам и сатирам, к нимфам вод и к влажному, печальному эхо, прося их отозваться, утешить и выслушать его, проводил Дон Кихот время, а также и в поисках трав, которыми он мог бы поддерживать свое существование до возвращения Санчо. И если б последний явился не через три дня, как это случилось, а через три недели, то рыцарь Печального Образа был бы так обезображен, что родившая его мать не узнала бы его.

Однако оставим его вздыхать и сочинять стихи, и расскажем лучше, что случилось с Санчо Пансой во время посольства его. Выхав на большую дорогу, он повернул по направлению к Тобосо и на следующий день добрался до постоялого двора, где с ним приключилось несчастье с подбрасыванием на одеяле. Едва заприметил он постоялый двор, как уже ему представилось, будто он снова взлетает на воздух, и он не пожелал заезжать туда, хотя как раз было время, когда он мог и должен был бы это сделать, потому что наступила обеденная пора и ему очень хотелось отведать чего-нибудь горячего, так как он уже столько дней сидел на одной лишь хо-

лодной пище. Эта потребность заставила его подъехать ближе к постоялому двору, хотя он все еще был в нерешительности, заезжать ли ему туда или нет. Как раз в это время из постоялого двора вышли два человека, которые тотчас же узнали его, и один сказал другому:

– Посмотрите, сеньор лисенсиат, этот вот всадник не Санчо ли Панса, который, – как нам говорила ключница нашего искателя приключений, – уехал вместе с ее господином в качестве оруженосца?

– Да, – ответил лисенсиат, – это он и есть, а под ним лошадь нашего Дон Кихота.

Они ни могли не узнать его, потому что это были священник и цирюльник из его местечка, – те самые, которые произвели суд и следствие над книгами Дон Кихота и присудили их к сожжению. Окончательно убедившись в том, что это Санчо Панса и Росинант, они подошли к нему, желая разузнать о Дон Кихоте, и священник окликнул его по имени, говоря:

– Друг Санчо Панса, где же остался господин ваш?

Санчо Панса тотчас же узнал их, но решил скрыть от них местопребывание и состояние своего господина; итак, он ответил, что его господин занят в одном месте одним делом, очень для него важным, а каким, он не может им сказать, хотя бы за это лишился и обоих своих глаз.

– Нет, нет, Санчо Панса, – сказал цирюльник, – если вы нам не укажете, где ваш господин, мы подумаем, – как мы уже сейчас думаем, – что вы его убили и ограбили, потому что вы едете верхом на его лошади. Говорю вам, немедленно доставьте нам владельца этой лошади, или же вам придется иметь дело с нами.

– Незачем вам угрожать мне, потому что я не такой человек, чтобы грабить или убивать кого бы то ни было, – сказал Санчо. – Пусть каждого убивает его

судьба, или Бог, создавший его. Мой господин остался там, в этих горах, где он, к великому своему удовольствию, исполняет наложенную им на себя эпитимию.

И тотчас же Санчо, наскоро и не оставившаяся, рассказал им о состоянии, в котором он оставил своего господина, и о приключениях, случившихся с ними, и о том, что он послан отвезти письмо сеньоре Дульсинее Тобосской, – а она дочь Лоренсо Корчуэло, в которую Дон Кихот влюблен по уши.

Оба, – и священник, и цирюльник, – были крайне изумлены всем тем, что рассказал Санчо Панса, и, хотя они уже знали о помешательстве Дон Кихота и о том, какого оно рода, тем не менее, каждый раз, что слышали о нем, не могли не изумляться снова; они попросили Санчо Пансу показать им письмо, которое он вез сеньоре Дульсинее Тобосской. Санчо сказал им, что письмо это написано в записной книжечке и что рыцарь велел дать переписать его на бумагу в первом встречном селе. На это священник сказал, чтобы он передал ему письмо, и он переписал его сам отличнейшим почерком. Санчо Панса сунул руку за пазуху, отыскивая записную книжечку, но не нашел ее и не мог бы найти, если бы искал до сегодняшнего дня, так как она осталась у Дон Кихота, который не отдал ее ему, а он забыл спросить ее. Видя, что он не находит книжки, Санчо побледнел, как смерть, и стал поспешно ощупывать себе все тело; окончательно убедившись, что ее действительно нет, он, без дальнейшего промедления, схватил себя обеими руками за бороду и вырвал чуть ни половину ее, а затем быстро и не останавливаясь, нанес с полдюжины ударов себе по лицу и по носу, так что у него брызнула кровь.

Увидав это, священник и цирюльник спросили его, что такое случилось с ним, что он так жестоко себя казнит.

– Что случилось! – воскликнул Санчо, – случилось то, что в один миг я потерял трех ослят, из которых каждый стоил целого замка.

– Как так? – спросил цирюльник.

– Я потерял записную книжку, – ответил Санчо, – где было письмо к Дульсине, а также ассигновка, подписанная моим господином, в которой он приказывал своей племяннице выдать мне трех ослят из числа четырех или пяти бывших у него дома. – И затем Санчо рассказал о пропаже Серого.

Священник утешил его, говоря, что, как только он найдет Дон Кихота, то позаботится, чтобы он восстановил ассигновку, и написал бы еще раз вексель, но на листе бумаги, как это принято и в обычае, потому что векселя, написанные в записных книжках, никогда не принимаются, и по ним не уплачивают. Это утешило Санчо, и он сказал, если так, то потеря письма Дульсине не очень его огорчает, потому что он знает его почти наизусть и они, с его слов, могут записать его когда и где угодно.

– Так перескажите его нам, Санчо, – предложил цирюльник, – а потом мы его и напишем.

Санчо Панса стал чесать у себя в голове, чтобы припомнить письмо, переступая с ноги на ногу, поглядывая то на землю, то на небо; и обкусав себе половину ногтя на одном пальце и продержав достаточно долго в ожидании двух своих слушателей, наконец, после очень большой паузы, сказал: – Клянусь Богом, сеньор лисенсиат, пусть черти побрали бы все, что я помню из письма, хотя оно начиналось так: «*Возвышенная и ограниченная сеньора*»...

– Верно там не сказано «*ограниченная*» – заметил цирюльник, – а стояло неограниченная или властительная сеньора.

– Так оно и есть, – согласился Санчо; – потом, если не ошибаюсь, следо-

вало, если не ошибаюсь: *лишенный сна и раненый целует руки вашей милости, неблагодарная и безвестная красота*, и я не знаю, что он еще там говорил о здоровье и болезни, которые посылает ей, – и он в таком же роде продолжал, пока не кончил словами: – *Твой до гроба рыцарь Печального Образа*.

Немало забавила священника и цирюльника прекрасная память Санчо Пансы, и, очень расхваливая ее, они попросили его еще два раза повторить письмо, чтобы и они могли запомнить его наизусть и в свое время записать. Три раза повторил Санчо письмо и столько же раз повторил три тысячи других нелепостей. Затем он рассказал и о прочих делах своего господина, но не проронил ни слова о подбрасывании его на одеяле, случившемся с ним на этом постоялом дворе, в который ему так не хотелось заезжать. Он сообщил им также, что его господин, – лишь только он принесет ему благосклонный ответ от сеньоры Дульсинеи Тобосской, – тотчас же примет все меры, чтобы сделаться императором, или, по меньшей мере, монархом, – они так между собой условились; сделаться же им рыцарю очень легко, приняв во внимание личную его храбрость и силу руки его. Когда все это случится, и его господин будет королем, он женит его, Санчо, потому что к тому времени он окажется вдовцом, – иначе быть не может, – и в жены он даст ему одну из девушек императрицы, наследницу больших и богатых владений на материке, без островов и островков, которых он теперь вовсе не желает. Санчо говорил это так спокойно, утирая себе время от времени нос, и с таким полным отсутствием здравого смысла, что священник и цирюльник снова пришли в изумление, думая, до чего сильно должно было быть безумие Дон Кихота, если оно заразило мозги и этого бедного человека. Они не пожелали да-

вать себе труд вывести его из заблуждения, в котором он находился, рассудив, что, так как совесть его от этого ни мало не пострадает, лучше оставить его в этом заблуждении, а для них будет забавнее слушать его нелепости. Итак, они ему сказали, чтобы он молил Бога о здравии своего господина, потому что очень вероятно и возможно, что с течением времени, его господин, как он говорит, сделается императором, или, по меньшей мере, архиепископом, или другим, столь же почетным, сановником. На это Санчо ответил:

– Сеньоры, если бы судьба повернула дело так, что господину моему пришлось бы на ум сделаться не императором, а архиепископом, – хотелось бы мне знать, чем же странствующие архиепископы имеют обыкновение награждать своих оруженосцев?

– Они награждают их, – ответил священник, – каким-нибудь богатым приходом, или же местом ризничего с хорошим годовым окладом, не считая пожертвований на церковь, которые вычисляются обыкновенно в столько же.

– Но для этого, – ответил Санчо, – нужно, чтобы оруженосец архиепископа не был женат, или, по крайней мере, умел бы прислуживать за обедней. Если же это так, горе мне несчастному, потому что я и женат, и не знаю первой буквы азбуки. Что станет со мной, если моему господину вдруг вздумается сделаться архиепископом, а не императором, как это принято и в обычае у странствующих рыцарей?

– Не тревожьтесь, Санчо друг, – сказал цирюльник, – мы попросим вашего господина, посоветуем ему, и даже поставим на вид, как вопрос совести, чтобы он сделался императором, а не архиепископом; да ему это и будет легче по той причине, что у него больше храбрости, чем учености.

– Так оно и мне казалось, – ответил Санчо, – хотя могу сказать, что господин мой искусен во всем. Я же, со своей стороны, думаю вот что делать: просить Господа Бога направить его туда, где он мог бы лучше всего благоприятствовать себе самому, а мне оказать побольше милостей.

– Вы говорите, как умный человек, – сказал священник, – и будете поступать, как добрый христианин. Но теперь следует нам прежде всего подумать, как освободить вашего господина от бесполезной эпитемии, которую он, по вашим словам, совершает. А чтобы обсудить способ, как это сделать, и поесть, потому что уже пора, – хорошо было бы зайти нам на постоялый двор.

Санчо ответил, чтобы они шли туда, а он подождет их здесь, и потом объяснит причину, отчего он не идет с ними, и не следует ему идти; но он просит их принести ему сюда чего-нибудь поесть, только горячего, также и ячменя для Росинанта. Они пошли на постоялый двор, оставив его, и немного спустя цирюльник принес ему поесть. Затем, после того, как они долго обдумывали вдвоем, как могли бы они достигнуть того, чего желали, священнику пришла в голову мысль,

вполне соответствующая причудам Дон Кихота и их намерению. Он сказал цирюльнику, что придумал вот что: сам он переоденется странствующей девушкой, а цирюльник пусть постарается, как сумеет, изобразить оруженосца. В таком виде они отправятся туда, где находится Дон Кихот, и священник, разыгрывая роль угнетенной и оскорбленной девушки, попросит его о милости, в которой он, как доблестный странствующий рыцарь не может отказать. Милость же, о которой он попросит его, будет заключаться в том, чтобы Дон Кихот следовал за девушкой туда, куда она его поведет для исправления зла, нанесенного ей вероломным рыцарем; в то же время она попросит его не требовать, чтобы она сняла с лица маску, и не расспрашивать о ее делах, пока он не восстановит справедливости, нарушенной ее коварным обидчиком. Священник нимало не сомневался, что Дон Кихот согласится исполнить все, о чем бы его не попросили под этим предлогом, и таким образом, им удастся извлечь его оттуда и доставить в его село, где они попытаются найти какое-нибудь средство для излечения странного его умопомешательства.





Глава XXVII

О том, как священник и цирюльник выполнили свое намерение, и о других вещах, заслуживающих быть рассказанными в этой великой истории.

Видумка священника не только не показалась цирюльнику плохой, а напротив такой удачной, что они принялись тотчас же за ее осуществление. Они попросили у хозяйки постоялого двора женское платье и женский головной убор, в залог за это дали новый подрясник священника. Цирюльник смастерил себе большую бороду из рыже-серого бычачьего хвоста, в который хозяин двора имел обыкновение втыкать гребень. Хозяйка спросила, на что им понадобились взятые ими вещи, и священник в кратких словах рассказал ей про упомощательство Дон Кихота и о том, что эти вещи необходимы им, чтобы извлечь его из горных ущелий, где он теперь находится.

Хозяин и хозяйка сразу догадались, что этот сумасшедший – недавний их гость, приготавливавший у них бальзам, и господин оруженосца, которого подбрасывали вверх на одеяле, и рассказали священнику все, что у них с ним произошло, не умолчав и о том, о чем Санчо так старательно молчал. Затем хозяйка нарядила священника, как нельзя лучше. Она надела на него суконную юбку, украшенную полосками, вырезанными зубчиками из черного бархата шириною в ладонь, и корсетик из зеленого бархата с кантиками из белого атласа, который так же, как и юбка, должно быть, были сшиты еще во времена короля Вамба¹. Священник не согласился надеть на голову женский убор, и покрыл ее шапочкой из тонкого стеганного полотна, которую возил с

¹ Общеупотребительное выражение в Испании, указывающее на большую древность. Вамба был последним из готских королей и царствовал между 672 и 682 гг.

собой, чтобы, ложась спать, надевать ее на ночь, а лоб обвязал полоской черной тафты; из другой такой же полосы тафты сделал маску, хорошо прикрывавшую лицо и бороду. Затем он нахлобучил себе на глаза шляпу, которая была так велика, что могла служить ему зонтиком, и, прикрывшись коротким плащом, он сел по-дамски на мула, а цирюльник взобрался на своего, предварительно подвязав себе бороду, достигавшую ему до пояса, частью рыжую, частью белую, потому что она, как мы уже говорили, была сострепана из хвоста пегого быка. Они простились со всеми, а также и с доброй Мариторнес, которая обещала, – хотя она и грешница, – помолиться по четкам, чтобы Бог послал им успех в столь трудном христианском деле, предпринятом ими. Но едва они выехали с постоялого двора, как священнику пришло в голову, что он нехорошо поступил, переодевшись таким образом, потому что, как бы он не принимал близко к сердцу затеваемое ими дело, для священнослужителя, тем не менее, крайне неприлично являться в подобных нарядах. Сказав об этом цирюльнику, он попросил его поменяться с ним платьем, так как тому более подходит взять на себя роль угнетенной, нуждающейся в помощи девушки, а он, священник, будет оруженосцем, и, таким образом, менее осквернит свой сан. Если же цирюльник не согласен, то он твердо решил не делать ни шагу дальше, хотя бы сам черт унес Дон Кихота. Как раз в это время подошел к ним Санчо и, увидав их обоих в таких нарядах, не мог удержаться от смеха. Цирюльник согласился исполнить то, чего желал священник, они поменялись ролями, и священник начал объяснять цирюльнику, как ему следует держаться и с какими речами он должен обратиться к Дон Кихоту, чтобы побудить его и заставить идти с ними

и бросить убежище, избранное им для бесполезного своего искуса. Цирюльник ответил, что и без его уроков он сумеет провести свою роль. Но он не захотел тотчас же переодеться, а решил сделать это лишь тогда, когда они приблизятся к месту, где находился Дон Кихот. Итак, он сложил женское платье, а священник подвязал себе бороду, и они продолжали свой путь; дорогу указывал Санчо, который сообщил им все приключившееся у них с сумасшедшим, встреченным ими в горах, причем, однако, он умолчал о найденном ручном чемоданчике и его содержимом, так как при всей своей простоте малый был несколько алчный.

На следующий день они прибыли туда, где Санчо разбросал ветки дрока, желая обозначить ими место, вблизи которого оставил своего господина. Увидав эти ветки, он сказал своим спутникам, что здесь начинаются горы, и теперь им пора переодеться, если это нужно, чтобы освободить его господина, так как они ему раньше объяснили, что поездка и переодевание их имеют чрезвычайное значение в деле освобождения его господина от ужасной жизни, которую он себе избрал, и строго-настрого велели ему не говорить Дон Кихоту о том, что он их знает, и кто они такие. Если же Дон Кихот его спросит, – а он наверное спросит его, – отдал ли он письмо Дульсинеи, пусть отвечает, что отдал и что она, не умея читать, дала ему устный ответ и велела передать рыцарю, что приказывает ему, под страхом немилости ее, тотчас же ехать повидаться с нею; это необычайно важно и для самого Санчо, потому что этим путем и тем, что они имеют в виду сказать Дон Кихоту, они надеются вернуть его к лучшему для него образу жизни и так подействовать на него, что он немедленно отправиться в путь, чтобы сделаться императором или монархом; а

что касается возможности сделаться ему архиепископом, этого нечего опасаться. Санчо все внимательно выслушал, хорошенько запечатлел в своей памяти и благодарил за доброе их намерение посоветовать его господину сделаться императором, а не архиепископом; потому что Санчо уверен, что императоры могут оказать больше милостей своим оруженосцам, чем странствующие архиепископы. Сказал он им также, что ему следовало бы отправиться вперед к Дон Кихоту и сообщить рыцарю ответ сеньоры Дульсинеи, так как, быть может, одного этого окажется достаточно, чтобы извлечь его из того места; а в таком случае они были бы избавлены от лишнего труда и беспокойства.

Предложение Санчо понравилось его спутникам, и они решили подождать, пока он вернется и сообщит, нашел ли своего господина. Санчо въехал в горные ущелья, оставив священника и цирюльника в лощине, через которую протекал небольшой прозрачный ручеек в приятной прохладной тени нескольких скал и росших на его берегах деревьев. Стоял один из самых жарких августовских дней, когда зной в тех местностях особенно томителен, и было около трех часов пополудни, все это придавало прохладной лощине еще больше прелести и приглашало их дожидаться здесь возвращения Санчо, что они и сделали. В то время, как оба они отдыхали в тени, до слуха их донесся голос, который, хотя ему не аккомпанировал никакой инструмент, звучал сладостно и нежно, что очень их удивило, так как им казалось, что это вовсе не место, где можно было бы услышать столь прекрасное пение; потому что, хотя и принято говорить, будто в лесах и полях часто встречаются пастухи с дивным голосом, на деле оказывается, что это скорее поэтическое увлечение, чем истина.

Удивление их еще более возросло, когда они убедились, что тот, кого они слушают, поет стихи не простых пастухов-крестьян, а тонко-образованной знати, истину чего подтверждали следующие услышанные ими строки:

Что превратило жизнь мою в мученье?
Презренье.

Что доли злой усилило плачевность?
Ревность.

Сгубила радость всю какая мука?
Разлука.

Нет мне от горя избавленья,
Когда надежды светлый луч
Угас под гнетом черных туч
Разлуки, ревности, презренья.
Чьей подчинен я беспощадной власти?
Страсти.

Кем обречен идти глухой тропой?
Судьбою.

Кто вверг меня в пучину иступленья?
Провиденье.

Одна лишь смерть мне даст спасенье,
Когда несут мучений груз, –
На гибель мне, – вступив в союз –
Злой рок, любовь и провиденье.
Смягчить судьбу какая может сила?
Могила.

Кто меньше всех в любви познал
мытарства?
Коварство.

Конец где мукам горького раздумья?
В безумье.

К чему ж еще искать лекарство,
Чтоб раны сердца заживить,
Когда их может исцелить
Лишь смерть, безумье иль коварство?

Время дня, уединение, голос и искусство певца вызвали восхищение и удивление у обоих слушателей; они сидели, не двигаясь, в надежде, не услышат ли еще что-нибудь. Но, видя, что молчание длится, решили идти искать певца, владеющего таким прекрасным голосом, а едва они

тупоумного, или, что еще хуже, за безумного. И не удивительно, если б оно так и было: ведь, я и сам понимаю, что мысль о моем несчастье столь сильно и разрушительно на меня влияет, что часто, не будучи в состоянии избежать этого, я словно каменею и теряю всякую способность понимать и чувствовать; я узнаю, насколько это верно, когда мне об этом говорят и указывают следы того, что я наделал, пока мною владел ужасный припадок. И мне ничего другого не остается, как только бесплодно оплакивать и бесцельно проклинать свою судьбу, и рассказывать в оправдание моего безумия всем желающим слушать меня о тех причинах, которые довели меня до теперешнего состояния; потому что умные люди, когда узнают о причине, не станут удивляться следствиям, и если они не окажутся в силах облегчить мое горе, то по крайней мере не будут винить меня и неудовольствие их, вызванное моими неистовыми выходками, обратится в сострадание к моему несчастью. Если же вы, сеньоры, явились с таким же намерением, с каким являлись и другие, прежде чем продолжать мудрые ваши увещания, прошу вас, выслушайте историю моих страданий, которую вы не знаете, и, может быть, выслушав ее, вы избавите себя от труда предлагать утешение в горе, которое не допускает никакого утешения.

Священник и цирюльник, только и желавшие того, чтобы услышать из собственных его уст о причине его горести, просили сообщить им, в чем дело, обещая не предпринимать ничего, чтобы помочь ему или утешить его, за исключением лишь того, что он сам пожелает. Затем несчастный Карденио приступил к рассказу грустной своей истории, почти в тех же выражениях и теми же словами, как он рассказал ее Дон Кихоту и

козопасу несколько дней тому назад, когда из-за маэстро Елисабата и яростной защиты Дон Кихотом чести рыцарства, рассказ был прерван, что мы и сообщили в свое время. Но теперь счастливой судьбе было угодно, чтобы припадок бешенства миновал Карденио, и он мог довести до конца свою историю. Итак, дойдя до места, когда дон Фернандо нашел в книге «Амадиса Галльского» письмо Люсинды, Карденио сказал, что он хорошо его помнит и что в нем заключалось следующее:

ЛЮСИНДА К КАРДЕНИО

«Каждый день открываю я в вас качества, заставляющие и принуждающие меня все больше и больше ценить вас, и поэтому, если вы желаете, чтобы я расплатилась за этот свой долг не на счет моей чести, вы этого легко могли бы достигнуть. У меня есть отец, который вас знает, а меня нежно любит – и, не насилуя моего чувства, – он исполнит разумное желание, которое вы вправе иметь, если действительно так уважаете меня, как вы говорите и как я в том уверена».

Письмо это побудило меня просить руки Люсинды, как я уже рассказывал, и оно же укрепило дону Фернандо в мысли, что Люсинда одна из самых рассудительных и умных женщин наших дней, а также зажгло в нем желание погубить меня прежде, чем мои надежды будут осуществлены. Я сказал дону Фернандо, что отец Люсинды ждет лишь одного, а именно, чтобы мой отец просил у него ее руки; но я не смел передать ему этого из опасения, что он не согласится, не потому чтобы он мог возражать что-либо против положения, добродетели, совершенства и красоты Люсинды, или недостатка у нее качеств, которые могли бы прославить любой род в Испании, – а потому что, как я от него же слышал, он

не желает, чтобы я женился раньше, чем выяснится, что герцог Рикардо сделает для меня. Словом, я сказал Фернандо, что у меня не хватает мужества переговорить с моим отцом, вследствие только что указанного мною препятствия, а также и многих других причин, превращавших меня в труса, – а каких, я и сам не знал, исключая лишь того, что мне казалось невозможным, чтобы мои желания когда-либо осуществились. На все это дон Фернандо ответил мне, что берет на себя переговоры с моим отцом и побудить его обратиться к отцу Люсинды. О, тщеславный Мариус! О, жестокий Каталина! О, злобный Силла! О, коварный Галалон! О, вероломный Велиндо! О, мстительный Юлиан! О, корыстолюбивый Иуда!¹ Предатель, жестокий, мстительный, вероломный, чем провинился перед тобою я, несчастный, так искренно раскрывший тебе все тайны и радости своего сердца? Какое оскорбление нанес я тебе? Какое слово сказал, какие давал советы, которые не клонили бы к чести и выгоде твоей? Но, на что я жалуюсь, несчастный? Ведь известно, когда течение звезд ведет за собой несчастья, и они яростно и грозно низвергаются на нас свыше, – никакая земная сила не в состоянии остановить их, никакое человеческое искусство предотвратить. Кто мог бы подумать, что дон Фернандо, знаменитый кабальеро, одаренный пронизательным умом, обязанный мне за услуги, имеющий полную возможность достигнуть везде всего, к чему бы не стремилось его любовное влечение, – чтобы он горел желанием отнять у меня, как говорится, единственную мою овечку, которая даже еще не совсем была моей?

Но оставим в стороне все эти рассуждения, как ненужные и бесполезные, и

вернемся к прерванной нити рассказа о моих несчастьях. Итак, говорю я, дону Фернандо показалось, что мое присутствие мешает выполнению его коварного и злого умысла и потому он решил послать меня к старшему своему брату под предлогом попросить у него денег, чтобы заплатить за шесть лошадей, которых – единственно только с целью устранить меня с своей дороги и удобнее выполнить проклятое свое намерение – он купил в тот самый день, когда предложил мне переговорить с моим отцом, и тогда же потребовал, чтобы я немедленно ехал к его брату за деньгами. Мог ли я предупредить это предательство? Могло ли мне прийти в голову вообразить что-либо подобное? Конечно, не могло; напротив, я с величайшей охотой согласился немедленно ехать, довольный хорошей покупкой, сделанной им. В ту же ночь я говорил с Люсиндой и рассказал ей, как мы решили с доном Фернандо, и чтобы она крепко надеялась на то, что наши добрые и справедливые желания непременно исполнятся. Она, не подозревая, также как и я, предательства дона Фернандо, просила меня вернуться поскорей, высказывая уверенность, что осуществление надежд наших уже близко, – лишь только мой отец переговорит с ее отцом. Не знаю, как это случилось, но едва она это сказала, глаза ее наполнились слезами, и ей точно узлом стянуло горло, так что она не была в силах произнести ни слова, а хотелось ей сказать многое, как мне показалось. Я был удивлен этим неожиданным волнением, прежде никогда не проявлявшимся в ней, потому что всякий раз, когда, благодаря счастливой случайности или моим стараниям, нам удавалось видаться, мы всегда говорили друг с другом весело и радостно, не

¹ Все имена наиболее известных злодеев и предателей в романах и истории.



Брат, если вы христианин, каким вы кажетесь, умоляю вас
именем Бога, отнесите тотчас же и как можно скорее это
письмо в ту местность и тому лицу, как сказано на адресе...

примешивая к нашим разговорам слез, вздохов, ревности, подозрений или опасений. Во всякое время превозносил я свое счастье и благодарил небо за то, что оно послало мне такую возлюбленную. Я восторгался ее красотой и восхищался ее умом и добродетелями, а она, в отплату, восхваляла во мне то, что ей, в качестве влюбленной, казалось достойным похвалы. Вместе с тем мы рассказывали друг другу сто тысяч пустяковин, разные случаи из жизни наших соседей и знакомых, и самое большее, до чего доходила моя отвага: я брал почти насильно одну из ее прекрасных белых рук и подносил ее к своим губам, насколько это допускала низкая решетка, разделявшая нас. Но в ночь, которая предшествовала грустному дню моего отъезда, Люсинда плакала, стонала, вздыхала и убежала, оставив меня исполненного смятения и страха и испуганного, при виде столь необычных и печальных проявлений скорби и нежности в Люсинде. Но, чтобы не омрачить своих надежд, я приписал все это сильной ее любви ко мне и горю, которое разлука причиняет истинно влюбленным. Наконец, я уехал, грустный и задумчивый, с сердцем, исполненным тревоги и подозрения, хотя я сам и не знал, о чем я тревожусь и что подозреваю, — ясные признаки, предвещавшие печальные события и несчастье, ожидавшее меня.

Я приехал в город, куда был послан, передал письмо брату дона Фернандо, который хорошо принял меня, но нехорошо отпустил, потому что он велел мне, к великому моему неудовольствию, подождать восемь дней и в таком месте, где бы герцог, отец его, не мог меня видеть, так как брат его написал, чтобы он прислал ему некоторую сумму денег без ведома их отца. Все это была выдумка коварного дона Фернандо, потому что у

брата его не было недостатка в деньгах, с которыми он мог бы тотчас же отправить меня. Это приказание и распоряжение побуждали меня к неповиновению, так как мне казалось невозможным провести столько дней в разлуке с Люсиндой, тем более, что я оставил ее в столь горестном состоянии, о чем я уже вам рассказывал. Однако, несмотря на это, я все же повиновался, как верный слуга, хотя и видел, что поступаю так в ущерб собственному благополучию. Но на четвертый день после моего приезда, ко мне явился человек, разыскивавший меня; он передал мне письмо, по адресу которого я тотчас же узнал, что оно от Люсинды, потому что почерк был ее. Я распечатал письмо, испуганный и взволнованный, не сомневаясь в том, что только крайне важная причина могла побудить ее писать мне в мое отсутствие, потому что, когда я был в одном с нею городе, она делала это очень редко. Прежде чем прочесть письмо, я спросил человека, кто его дал ему и сколько времени он провел в дороге. В ответ он сказал мне, что, когда ему случилось проходить в полдень по одной из улиц города, его позвала из окна очень красивая сеньора и с глазами полными слез с величайшею поспешностью сказала ему: «Брат, если вы христианин, каким вы кажетесь, умоляю вас именем Бога, отнесите тотчас же и как можно скорее это письмо в ту местность и тому лицу, как сказано на адресе, — потому что и местность и лицо всем известны, — и исполнив это, вы совершите дело, угодное Богу; а чтобы у вас не было недостатка в средствах сделать это, возьмите то, что завернуто здесь в платке». — Говоря так, она бросила мне из окна носовой платок, в котором были завязаны сто реалов и вот это золотое кольцо, надетое у меня на пальце, а также письмо, которое я вам

отдал. И тотчас, не дожидаясь моего ответа, она отошла от окна, убедившись сначала, что я поднял письмо и платок, а я знаками дал понять ей, что исполню ее приказание. Итак, получив столь щедрое вознаграждение за труд доставить письмо и узнав из адреса, что оно посылается вам, сеньор, потому что я очень хорошо вас знаю, а также тронутый слезами прекрасной той сеньоры, я решил не доверять дело никому другому, а идти самому и передать письмо вам в руки. В шестнадцать часов – с того времени, как она мне передала письмо, – я прошел весь путь, составляющий, как вам известно, восемнадцать миль.

Пока услужливый и неожиданный посланец рассказывал мне это, я был словно прикован к его устам, и ноги до того у меня дрожали, что я едва держался на них. Наконец, я распечатал письмо и прочел следующее:

«Слово, данное вам доном Фернандо убедить вашего отца поговорить с моим, он сдержал более к собственной выгоде, чем на пользу вам. Знайте, сеньор, что он сватался ко мне, а мой отец, склоненный преимуществами, которые, по его мнению, дон Фернандо имеет перед вами, согласился исполнить его просьбу и так серьезно, что уже через два дня назначен наш брак, который должен состояться тайно и в такой тишине, что единственными свидетелями его будут лишь небо и кое-кто из домашних. Можете представить себе, в каком я состоянии. Решайте сами, следует ли вам приехать. Люблю ли я вас или нет, покажет вам исход дела. Дай Бог, чтобы письмо это попало в ваши руки прежде, чем я буду вынуждена соединить свою руку с рукою того, кто так плохо умеет держать данное им обещание!».

Вот, в общих чертах, содержание письма, которое тотчас же заставило

меня отправиться в путь, не дожидая ни ответа, ни денег, потому что, как я понял тогда слишком ясно, не покупка лошадей, а намерение добиться своей цели побудило дону Фернандо послать меня к своему брату. Гнев, охвативший меня против дона Фернандо, вместе со страхом потерять сокровище, которое я приобрел столькими годами ухаживанья и любви, придали мне крылья, и я летел так, что уже на следующий день прибыл в свой город, в наиболее подходящий час и минуту, чтоб пойти говорить с Люсиндой. Я приехал тайком от всех и оставил своего верхового мула в доме доброго человека, доставившего мне письмо. Счастливой судьбе угодно было, чтобы я застал Люсинду стоящей как раз у решетки – свидетельницы нашей любви. Люсинда тотчас же узнала меня, а я узнал ее, но не так встретили мы друг друга, как бы нам следовало, и ей, и мне. Но кто во всем мире может похвалиться, что понял и разгадал сложную природу и изменчивые мысли женщины? Наверно, никто. Итак, я говорю, лишь только Люсинда увидела меня, она сказала: «Карденио, на мне подвенечное платье; меня ждут в зале дон Фернандо – предатель, мой корыстолюбивый отец и другие, которые будут скорее свидетелями моей смерти, чем моего бракосочетания. Не смущайся, друг, но постарайся присутствовать при этом жертвоприношении. Если я не смогу отвратить его словами, – у меня спрятан, кинжал, который защитит меня против более решительного насилия, положив конец моей жизни и дав тебе первое знамение той любви, которую я питала и питаю к тебе!

Я ответил ей поспешно, не помня себя и опасаясь, что у меня не хватит времени сделать это:

– Пусть поступки твои, сеньора, докажут истину твоих слов. Если у тебя

есть кинжал для защиты твоей чести, у меня – меч для защиты твоей жизни, или чтобы убить себя, если б судьба оказалась враждебной нам.

Не думаю, чтобы она могла расслышать все мои слова, потому что ее спешно позвали, так как жених уже ждал, и с этой минуты наступила ночь моей печали, закатилось солнце моей радости, свет исчез из моих глаз, и сознание покинуло меня. Я не имел сил войти в дом и не был в состоянии двинуться с места; но, сознавая, как было важно мое присутствие для всего, что могло сейчас произойти, я ободрился, насколько мог, и проник в дом, так как хорошо знал все входы и выходы из него; кроме того, вследствие суматохи, по случаю тайного бракосочетания, никто меня не заметил. Таким образом, мне удалось пробраться в самый зал и спрятаться там в углублении окна, задрапированного тяжелыми занавесами, так что меня никто не мог видеть; я же, напротив, через отверстие занавеса мог видеть все, что происходило в зале. Кто мог бы передать словами, как сильно билось мое сердце, пока я там стоял, какие мысли мелькали у меня в уме, какие зарождались в нем соображения? Их было столько, и они были такого рода, что нельзя и не следует их пересказывать. Достаточно с вас знать, что жених вошел в зал в обычной своей одежде и без всяких украшений. В качестве свидетеля у него был двоюродный брат Люсинды и во всем зале не было никого чужого, одни только домашние слуги. Немного спустя и Люсинда вышла из уборной в сопровождении своей матери и двух прислужниц, богато одетая и украшенная, как это требовалось ее положением и красотой, и как приличествовало той, которая могла служить образцом изящества и благородной роскоши. Мое смущение и волнение не

позволили мне рассмотреть и обратить внимание на подробности ее наряда, я был в состоянии лишь заметить цвета – пурпуровый и белый – и блеск драгоценных камней и бриллиантов на головном ее уборе и на всем ее одеянии, но все это было превзойдено редкостной красотой светло-золотистых ее волос, которые в соединении с блеском драгоценных камней и при свете четырех факелов, освещавших зал, еще ярче сверкали перед глазами. О, воспоминание, смертельный враг моего спокойствия! Зачем ты рисуешь теперь передо мной несравненную красоту Люсинды, этого боготворимого мною недруга моего? Не лучше ли было бы – жестокое воспоминание – вызвать и воскресить передо мной тогдашний ее поступок, чтобы, возмущенный столь явным оскорблением, я стремился если уже не к мести, то, по крайней мере, к тому, чтобы лишить себя жизни. Не досадуйте, сеньоры, слушая эти мои отступления: ведь горе мое не из тех, которое может или должно бы быть рассказано последовательно и кратко, так как малейшее обстоятельство в нем кажется мне заслуживающим продолжительного разъяснения.

На это священник ответил, что рассказ его не только не наскучил им, а напротив, они были рады узнать подробности, которые он им сообщил, так как эти подробности не следовало обходить молчанием и они заслуживают такого же внимания, как и главные события рассказа.

– Итак, я говорю, – продолжал Карденио, – когда все собрались в зале, вошел приходский священник и, взяв за руку Люсинду и дону Фернандо, исполняя то, что от него требовал церковный обряд, спросил: *«Согласны ли вы, сеньора Люсинда, взять дону Фернандо, присутствующего здесь, своим законным*

супругом, как это повелевает святая наша мать церковь?». При этом его вопросе я просунул голову и шею из-за занавеса и со смущенным сердцем, весь превратившись в слух, готовился внять словам Люсинды, ожидая от ее ответа смертного себе приговора или дарования мне жизни. О, если б я в это мгновение имел смелость выйти вперед и крикнуть громким голосом: «Ах, Люсинда, Люсинда, подумай о том, что ты делаешь, помни свой долг относительно меня, не забывай, что ты моя, и не можешь быть ничьей иной. Знай, что лишь только ты скажешь „Да“, в тот же миг наступит и конец моей жизни. А ты, предатель дон Фернандо, похититель моего счастья, смерть моей жизни, – чего желаешь, чего требуешь? Прими в соображение, что ты не можешь, как христианин, добиться цели твоих желаний, потому что Люсинда мне жена, а я ей муж». – О, безумный я! Теперь, в разлуке и вдали от опасности, говорю я о том, что я должен был сделать и чего не сделал. Теперь, когда я дал похитить драгоценное мое сокровище, я проклиная похитителя, которому я тогда мог бы отомстить, если бы у меня хватило столько же решимости для мести, сколько ее оказывается для жалоб! Словом, тогда я был трус и глупец, и потому, что за важность, если я теперь умираю, покрытый стыдом, томясь раскаянием и впад в безумие!

Священник ждал ответа Люсинды, которая довольно долго медлила дать его, и, когда я воображал, что она вынимает кинжал для защиты своей чести, или же откроет уста, чтобы сказать всю правду и сделать признание в мою пользу, – я услышал, что она слабым,

угасающим голосом проговорила: «Да, *желаю*». То же сказал и дон Фернандо; он передал ей кольцо, после чего они были соединены неразрывными узами. Жених подошел к невесте поцеловать ее, но она, схватившись за сердце, упала без чувств на руки матери.

Мне остается теперь лишь рассказать, что произошло со мной, когда, услышав это *да*, я увидел, что мои надежды осмеяны, все слова и обещания Люсинды оказались ложью, и счастье, которое я в этот миг потерял, потеряно мною безвозвратно! Я чувствовал себя совершенно беспомощным; мне казалось, что небо меня отвергло, земля-кормилица объявила своим врагом, отказывая мне в воздухе для дыхания и вздохов, во влаге для слез в моих глазах, и только огонь пылал во мне сильнее, так что я весь горел от бешенства и ревности¹.

Когда Люсинда упала в обморок, все страшно взволновались, и мать поспешила расстегнуть ей платье, чтобы она могла дышать свободнее, и тогда на груди у нее увидела сложенную бумажку, которую дон Фернандо тотчас же схватил и, отойдя в сторону, прочел при свете одного из горевших факелов. Кончив читать, он сел на стул, подперев щеку рукой, как человек глубоко задумавшийся, не обращая ни малейшего внимания на попытки окружающих привести в чувство супругу его, лежащую в обмороке.

Увидав, что все в доме в таком смятении, я решился выйти из углубления окна, не заботясь о том, увидят ли меня или нет; готовый, если бы меня увидели, на такой отчаянный поступок, из которого весь мир узнал бы о справедливом негодовании, переполнившем

¹ Это место и несколько других в истории Карденио – образчики особого высокопарного, введенного Гонгорой слога, называемого *cultismo*, который как раз начинал тогда входить в моду в Испании.

мою душу и требовавшем кары предателя дона Фернандо и вероломства лежавшей в обмороке изменницы. Но судьба, оберегавшая меня, должно быть, для еще больших несчастий – если только возможно, чтоб существовали еще большие несчастия – устроила так, что во мне в ту минуту взял верх рассудок, которого я затем лишился. Итак, не желая отомстить злейшим моим врагам (что мне в то время очень легко было сделать, потому что они и не подозревали о моем присутствии), я решил обратить месть на самого себя, обрушить на собственную голову кару, которую заслуживали они, и, быть может, еще более суровую, чем та, с какою я бы обрушился на них, если б убил их тогда, потому что внезапная смерть быстро прекращает страдания, а медленная непрерывно убивает своими мучениями, не прекращая жизни. Словом, я вышел из этого дома и отправился к человеку, у которого я оставил мула, велел ему оседлать его и, не простившись, сел верхом и покинул город, не смея, подобно второму Лоту, повернуть голову, чтобы оглянуться назад. Когда я очутился наедине с собой в открытом поле, где меня окружала ночная тьма, и тишина ее словно приглашала излить свое горе, я, не думая о том и не опасаясь, что меня могут услышать или узнать, возвысил голос свой и дал волю своему языку разразиться целым потоком проклятий против Фернандо и Люсинды, точно я мог таким образом отомстить им за оскорбление, нанесенное ими мне. Я называл Люсинду жестокой, неблагодарной, лицемерной и бездушной, а больше всего корыстолюбивой, так как богатство врага моего ослепило ее любовь, отняло ее у меня и передало тому, кого счастье осыпало своими дарами более милостиво и щедро. Но и среди потока проклятий и укоров, я оправ-

дывал ее, говоря, что неудивительно, если молодая девушка, запертая в четырех стенах родительского дома, привыкшая и приученная к беспрекословному повиновению им, согласилась уступить желаниям родителей, так как они предлагали ей в мужья знатного кабальеро и еще такого богатого и образованного; ведь, если бы она отвергла его, можно было бы заподозрить, не потеряла ли она рассудок, или же не отдала ли свою любовь кому-либо другому, – обстоятельство, которое так сильно повредило бы ее чести и доброму имени. Но затем я сейчас же снова говорил себе: если бы она объявила, что я ее супруг, – ее родители увидели бы, что выбор ее не так уже плох, чтобы нельзя было извинить его, так как до предложения дона Фернандо они сами не могли бы желать – если желания их оставались в разумных границах – лучшего мужа для своей дочери, чем я; и она легко могла бы прежде, чем подвергать себя крайней и неотступной опасности отдать руку свою другому, объявить во всеуслышание, что рука ее принадлежит уже мне, и тогда я бы вышел и подтвердил бы все, что бы она ни придумала в подобном случае. Наконец, я пришел к такому заключению: малая любовь, слабый разум, сильное честолюбие и стремление к почестям побудили ее забыть обещания, которыми она обольстила меня, питая и поддерживая во мне пламенные надежды и чистые желания.

С такими восклицаниями и в таком смущенном душевном состоянии ехал я весь остаток ночи и очутился на рассвете у входа в эту горную цепь, среди которой я затем без пути и дороги блуждал еще целых три дня, пока не остановился на лугу, не знаю, в какую сторону расположенном от этих гор, и там я спросил у пастухов, где самое пустынное и дикое

место горной цепи? Они указали мне в эту сторону; тотчас же направился я сюда с намерением лишить себя здесь жизни; а когда я очутился среди этой пустынной, суровой местности, мул мой пал от утомления и голода, или же, – как я скорее думаю, чтобы освободиться от столь бесполезной, как я, ноши, обременявшей его. Я остался пеший, изнеможенный, мучимый голодом; и не было никого, и я не думал искать кого-либо, кто бы мне помог. Таким образом пролежал я, не знаю, сколько времени, растянувшись на земле. Наконец, я встал, уже не чувствуя голода и увидел подле себя нескольких козопасов, которые, без сомнения, и удовлетворили мои потребности, потому что они сообщили мне, в каком состоянии нашли меня и какое я наговорил множество нелепостей и несообразностей, ясно доказывавших, что я сошел с ума. С тех пор я сам чувствую, что не всегда владею рассудком, и иногда он у меня так слаб и расстроен, что я делаю тысячи безумств: – раздражаю на себе одежду, громко кричу в этих пустынных местах, проклиная свою судьбу и тщетно повторяю возлюбленное имя врага моего – Люсинды, причем, я тогда не имею иного намерения и иного желания, как только покончить со своею жизнью в этих воплях. Когда я прихожу в себя, я бываю так утомлен и разбит, что едва могу двигаться. Обычное мое жилище – дупло пробкового дерева, достаточно обширное, чтобы я мог укрыть в нем несчастное это тело. Пастухи и козопасы, посещающие эти горы, движимые состраданием, снабжают меня пищей и кладут ее для меня на тропинках и на скалах, где, как они думают, я случайно могу пройти и найти ее. Таким образом, даже и тогда, когда во мне меркнет разум, природный инстинкт заставляет меня узнавать пищу и

пробуждает во мне желание отыскивать ее и охоту потребить ее. Иногда встретив меня в здравом уме, они говорят мне, что я выхожу на дорогу и силой отнимаю пищу, хотя мне и дают ее добровольно, у пастухов, которые несут из деревни припасы на овечьи дворы и закуты. Таким образом провожу я мою жалкую, несчастную жизнь, пока небу не будет угодно положить ей конец, или же лишить меня памяти, чтоб я забыл о красоте и измене Люсинды и о вероломстве дона Фернандо. Если небо ниспешлет мне это, не лишив меня жизни, я направляю мысли свои на что-нибудь лучшее; – если же нет, мне не остается ничего другого, как только воссылать к нему молитву о бесконечном милосердии для моей души, потому что я не чувствую в себе ни мужества, ни силы, чтобы исторгнуть тело мое из той крайней опасности, в которую я сам, по доброй своей воле, ввергаю его.

Вот, сеньоры, горькая повесть моих несчастий. Скажите, такова ли она, что ее можно было бы передать с меньшим волнением, чем выказано мною; и не трудитесь уговаривать меня или советовать мне то, что, как подсказывает вам разум, могло бы служить мне для облегчения, – потому что все это принесло бы мне так же мало пользы, как и лекарство, прописанное знаменитым врачом больному, который не желает принимать его. Я не желаю здоровья без Люсинды, и так как ей угодно принадлежать другому, когда она принадлежала или должна была бы принадлежать мне, то и мне угодно принадлежать несчастию, хотя я и мог бы обладать счастьем. Она непостоянством своим хотела упрочить мою гибель; а я, стремясь к своей гибели, хочу удовлетворить ее желание; и пусть служит уроком для всех в будущем, что одному мне не доставало того, что у всех несчастных

имеется в избытке, для которых обыкновенно служит утешением невозможность утешиться, а для меня она – причина еще больших страданий и мук, так как я даже не могу надеяться, чтобы они прекратились с моею смертью.

Этими словами Карденио закончил длинную свою речь и настолько же горестную, насколько и полную страстной

любви историю. Священник только что собрался сказать ему несколько слов в утешение, но его остановил дошедший до его слуха голос, который жалостливым тоном проговорил то, что будет передано в четвертой части нашего рассказа, так как на этом месте мудрый и рассудительный историк Сид Амет Бенхели заканчивает третью.





Глава XXVIII

Неожиданное и приятное приключение, случившееся со священником и цирюльником в той же Сьерра-Морене.



частливейшие и благословенные времена были те, когда наиотважнейший из рыцарей – Дон Кихот Ламанчский явился на свет Божий; так как благодаря его прекрасному намерению воскресить и вернуть уже исчезнувший и почти похороненный орден странствующего рыцарства, мы наслаждаемся в наше столь бедное веселыми развлечениями время не только прелестью правдивой истории самого Дон Кихота, но также и вставными в нее эпизодами и рассказами, которые частью так же занимательны, искусны и правдивы, как и сама его история, последняя же, взявшись снова за свою расчесанную, скрученную, намотанную нить повествует нам, что когда священник только что собрался утешать Карде-

нио, ему помешал дошедший до его слуха голос, грустно и уныло, говоривший следующее:

– О, Боже! Неужели я нашел, наконец, место, могущее служить скрытой от всех глаз могилой для тягостного бремени этого тела, которое мне против воли приходится еще нести? Да, так оно и есть, если только уединение, которое мне сулят эти горы, не обман. О, я несчастная! Эти скалы и кустарники, дающие мне возможность свободно излить свою горе перед лицом неба, куда мне приятнее в теперешнем моем настроении, чем общество каких бы то ни было человеческих существ, потому что нет никого на земле, от кого можно было бы ждать совета в сомнениях, облегчения в горе и помощи в несчастьях!

Все эти слова, священник и бывшие с ним, слышали и поняли, а так как им

казалось, – и действительно оно так и было, – что произнес их кто-то вблизи, они встали, намереваясь отыскать говорившего. Не успели они пройти двадцати шагов, как увидели за углом скалы юношу в крестьянской одежде, сидевшего под тенью ясеня, но лица его не могли разглядеть, потому что он сидел с опущенной головой, и мыл себе ноги в протекавшем там ручье. Они подошли к нему так тихо, что он их не заметил; к тому же он был весь поглощен мытьем своих ног, таких, что они казались двумя кусками белого хрусталя, родившегося среди других камней ручейка. Их поразила белизна и красота этих ног, которые, как им казалось, не были созданы для того, чтобы попирать глыбы земли, или ходить за плугом и волами, как на то указывала одежда юноши. Убедившись, что тот их не заметил, священник, шедший впереди, сделал знак остальным, чтобы они присели и спрятались за лежавшими кругом обломками скал, что они и сделали, внимательно следя оттуда за всеми движениями юноши. Он был одет в короткий, серый плащ, с капюшоном и разрезами на боках, туго перехваченный у пояса белым полотенцем, в панталонах и гамашах тоже из серого сукна, на голове у него была серая суконная шапка. Гамашаи он отвернул до половины голени, которая по белизне казалась чистейшим алебастром. Окончив мытье прекрасных своих ног, юноша тотчас же вытер их тонким платком, который он вынул из под своей шапки. Делая это, он приподнял голову, и наблюдавшие за ним имели случай увидеть лицо такой несравненной красоты, что Карденио шепнул на ухо священнику: «Так как это не Люсинда, то, наверно не чело-веческое существо, а божественное». Юноша снял шапку, и когда он тряхнул

головой, у него рассыпались по плечам волосы, которым могли бы позавидовать солнечные лучи. Тогда священник и его спутники поняли, что тот, кого они считали за крестьянского юношу, был женщиной изящной и самой прекрасной из всех, которых когда-либо видели священник, цирюльник и даже и Карденио, если б только последний не видел и не знал Люсинды, так как он потом уверял, что с ее красотой могла соперничать только красота Люсинды.

Длинные золотистые волосы не только покрывали ее плечи, но их было так много и в таком изобилии, что они скрывали ее всю, и из-под них были видны одни только ноги. Вместо гребня, она стала расправлять себе волосы руками, причем если ее ноги в воде показались им кусками хрусталя, ее руки в волосах казались им кусками самого белого затвердевшего снега. Все это вызвало в трех зрителях, наблюдавших за нею, еще большее восхищение и большее желание узнать, кто она такая, поэтому они решились подойти к ней. Но при движении, сделанном ими, когда они поднялись на ноги, красивая девушка приподняла голову и, откинув обеими руками упавшие ей на глаза волосы, посмотрела на тех, кто произвел шелест. Едва она увидела их, как вскочила и, не давая себе времени надеть башмаки или привести в порядок волосы, торопливо схватила лежавший подле нее узелок и, исполненная смущения и испуга, хотела бежать. Но не успела она сделать и шести шагов, как упала на землю, потому что нежные ее ноги не в состоянии были стерпеть боль, причиняемую острыми камнями. Увидав это, те трое подбежали к ней, и священник первый сказал ей: – «Остановитесь, сеньора, кто бы вы ни были, так как мы все, – которых вы здесь видите, – имеем лишь одно намерение –



Окончив мытье прекрасных своих ног,
юноша тотчас же вытер их тонким платком

служить вам. Итак, у вас нет причины обращаться в столь поспешное бегство: и ноги ваши не в состоянии вынести его, и мы не можем согласиться на все это, – изумленная и смущенная, – она не ответила ни слова.

Тогда они еще ближе подошли к ней, и священник, взяв ее за руку сказал:

– То, что ваша одежда, сеньора, скрывает от нас, ваши волосы выдали нам. Без сомнения, не маловажные причины побудили вас нарядить вашу красоту в такую недостойную ее одежду и привели вас в эту пустынную местность, где мы имели счастье встретить вас, если и не для того, чтобы облегчить ваши страдания, то по крайней мере для того, чтобы дать вам совет: потому что никакое несчастье не может привести в такое уныние и дойти до такого предела, – пока еще не угасла жизнь, – чтобы тот, кто терпит бедствие, отказался бы выслушать даже совет, данный ему с добрым намерением. Так что, сеньора моя, или сеньор мой, или чем бы вы ни желали быть, – отбросьте страх, вызванный в нас нашим появлением, и расскажите нам о вашей счастливой или несчастной судьбе, так как во всех нас вместе и в каждом в отдельности вы найдете участие к вам в вашем горе.

Пока священник говорил таким образом, переодетая девушка стояла, как вкопанная, и глядела на всех, не шевельнув губами и не произнеся ни слова, совершенно точно деревенский парень, которому неожиданно показывают редкостные и никогда им невиданные вещи. Но после того, как священник вторично обратился к ней, продолжая убеждать ее все в том же направлении, она глубоко вздохнула и прервала, наконец, свое молчание:

– Если уединение этих гор не было в состоянии скрыть меня от посторон-

них взоров, а распутившиеся мои волосы не позволяют языку моему сказать ложь, напрасно стала бы я теперь снова притворяться в том, чему вы могли бы поверить скорее из вежливости, чем по каким-либо другим соображениям. Раз это так, сеньоры, позвольте мне прежде всего поблагодарить вас за сделанное мне вами предложение, обязывающее меня исполнить все то, о чем вы меня просите; хотя я и боюсь, что рассказ о моих несчастиях, рядом с состраданием, вызовет в вас и огорчение, так как у вас не найдется ни средства помочь моему горю, ни утешения, чтобы облегчить его; но, тем не менее, опасаясь, что честь моя может пострадать в ваших глазах, раз вы уже открыли, что я женщина, и видите меня молодую, одну, и в такой одежде, – обстоятельства, которые все вместе взятые и каждое в отдельности, могли бы запятнать любую женскую репутацию, – мне приходится сказать вам то, о чем бы я хотела лучше умолчать, если б могла.

Все это она, оказавшаяся столь красивой женщиной, проговорила без запинки, так убедительно и таким нежным голосом, что слушатели ее были не менее восхищены изяществом ее речи, чем ее красотой. Они опять стали предлагать ей свои услуги и повторили просьбу исполнить обещанное, после чего она, не заставляя себя дольше просить, очень скромно обулась, привела в порядок волосы и уселась на камне, вокруг которого расположились трое ее слушателей. Сделав усилие над собой, чтобы удержать слезы, набегавшие ей на глаза, она спокойным и внятным голосом принялась рассказывать историю своей жизни:

– Здесь, в Андалузии, есть местечко, от которого один герцог получил свой титул, что делает его одним из тех,

кого называют в Испании *грандами*¹. У него два сына – старший, наследник его титула и, по-видимому, также и добрых его качеств, – а младший, наследник чего – не знаю, разве только предательства Велидо и низости Галалона². Родители мои вассалы этого герцога; по происхождению они простолюдины, но так богаты, что если бы их родовитость равнялась их состоянию, то им не оставалось бы ничего большего желать, и я не имела бы причины опасаться увидеть себя в том грустном положении, в котором я теперь нахожусь, так как, быть может, мое несчастье вытекает именно из скромности происхождения моих родителей. Правда, происхождение их не столь низкое, чтобы можно было стыдиться его, но и не столь высокое, чтобы я могла изгнать из своей головы мысль, будто несчастье мое коренится в том, что мы не родовитые дворяне. Коротко говоря, родители мои земледельцы, люди простые, без всякой примеси дурной крови, и, как принято говорить, христиане древнего закала³, но они такие богачи, что их богатство и роскошный образ жизни мало-помалу приобретают им звание идальго и даже кабальеро⁴, хотя они ценили выше всякого богатства и знатности то, что я их дочь. Так как я была

единственной их наследницей – других детей у них не было, – а они были крайне нежными родителями, то я и росла самой балованной из всех балованных дочерей в мире. Я была зеркалом, в котором они видели себя самих, поддержкой их старости, целью, к которой одновременно с надеждой на милосердие неба стремились все их желания, а с этими последними, так как я знала что они хороши, вполне совпадали и мои желания. Властвуя над расположением и душой моих родителей, я точно также властвовала и над их имуществом. Слуг наших увольняла и нанимала я; счета и отчеты того, что сеялось и собиралось, проходили чрез мои руки; маслобойни, виноградные давяльни, крупный и мелкий скот, пчелиные улья, – словом, все, что могло принадлежать и принадлежало такому богатому земледельцу, каким был мой отец, находилось под моим наблюдением. Я была управительницей и хозяйкой и, заботясь обо всем с большим рвением, доставляла родителям моим такое удовольствие, что я не могу достаточно нахвалиться этим. Свободные часы, остававшиеся у меня после того, как я сделаю все нужные распоряжения по хозяйству старшим надсмотрщикам, пастухам и поденщикам, я проводила в занятиях,

¹ Испанским грандом делался в былые времена в Испании, без дальнейших церемонии или заслуг, дворянин, которому король скажет: «*cubraos*», т. е. наденьте шляпу на голову. При Сервантесе и в настоящее время все гранды равны, но первоначально они делились на три разряда: надевавшие шляпу на голову в присутствии короля *прежде* чем король говорил с ними, надевавшие ее *после* того, и остававшиеся с непокрытой головой до тех пор, пока он не заговорит с ними и они не ответят ему.

² Велидо и Галалон – два величайших предателя и изменника, часто фигурирующие в испанских романах.

³ Т.е. без примеси мавританской или еврейской крови.

⁴ *Идальго* – означало в Испании дворянина, человека благородного происхождения, каково бы ни было занимаемое им положение; а *кабальеро* – человека хорошо поставленного, как по рождению, так и по занимаемому им положению. В старинные времена идальго пользовались в Испании разными привилегиями и льготами. Теперь *идальгия* потеряла всякое значение, но все считаются *кабальеросы*.

которые столь же свойственны, как и необходимы для молодых девушек, например, за шитьем, плетением кружев, а нередко и за веретеном. И если иногда я оставляла эти занятия, чтобы усладить мои мысли, я прибегала к чтению какой-нибудь назидательной книги или к игре на арфе, потому что опыт показал мне, что музыка успокаивает взволнованную душу и дает отдых утомленному уму. Вот та жизнь, которую я вела в доме моих родителей, и если я так подробно рассказала вам о ней, то сделала это не из чванства и не из желания дать вам понять, что я богата, – а чтобы вы видели, как без вины с моей стороны я из столь счастливого положения попала в плачевное состояние, в котором нахожусь теперь. Дело в том, что, проводя жизнь среди стольких занятий и в таком уединении, что его можно было бы сравнить с монастырским затворничеством, – я думала, что никто, кроме домашних, не видит меня, потому что в те дни, когда я ходила к обедне, я всегда это делала ранним утром и не иначе, как в сопровождении матери и нескольких служанок, до того закутанная и закрытая густою вуалью, что глаза мои едва могли видеть лишь тот клочок земли, на который я ступала ногами. Тем не менее, глаза любви или вернее праздности – еще более проницательные, чем глаза рыси – выследили меня: за мной стал ухаживать дон Фернандо; так назывался младший сын герцога, о котором я вам говорила.

Едва та, что рассказывала свою историю, произнесла имя дона Фернандо, как вдруг Карденио переменялся в лице, и капли холодного пота, вызванные сильным волнением, выступили у него на лбу, так что священник и цирюльник, взглянув на него, стали опасаться, чтобы с ним не случился один из тех припадков бе-

шенства, которые, как они слышали, по временам бывали у него. Но Карденио, весь дрожа и видимо волнуясь, продолжал молчать, пристально устремив глаза на крестьянскую девушку, так как он уже догадывался, кто она такая. Не замечая волнения Карденио, она продолжала свой рассказ, говоря:

– Едва дон Фернандо увидел меня, как он тотчас же, – судя по тому, что он потом говорил, – запыхал ко мне страстной любовью, о чем не замедлили свидетельствовать и его поступки. Но чтобы поскорее кончить повесть о моих злоключениях, обойду лучше молчанием хитрости, к которым прибегал дон Фернандо, чтобы открыть мне свою любовь. Он подкупил всю нашу прислугу, давал и предлагал моим родственникам подарки и вознаграждения. Днем на нашей улице шли непрерывные празднества и увеселения, ночью никто не мог уснуть из-за серенад; записки, которые, не знаю каким образом, попадали в мои руки, были бесчисленны и наполнены объяснениями и предложениями любви, заключавшими в себе больше обещаний и клятв, чем было в них букв. Но все это не только не смягчало меня, а наоборот, скорее ожесточало, так, как будто он мне был смертельным врагом, и все его старания подчинить меня своим желаниям имели лишь обратное действие. Не потому, чтобы он сам или его ухаживания мне не нравились, напротив, я чувствовала какое-то, не знаю, особенное удовольствие, видя, что столь знатный кабальеро так сильно любит и ценит меня, и я не оскорблялась, читая в его письмах похвалы себе, потому что в этом отношении, я думаю, что нам, женщинам, как бы мы ни были некрасивы, всегда приятно слышать, что нас называют красивыми; но от происков дона Фернандо меня охраняла моя скромность и беспрестанные советы моих родителей,

слишком ясно видевших намерения дон Фернандо, так как и сам он не давал себе труда скрывать их перед кем бы то ни было. Мои родители говорили мне, что поручают и доверяют свою честь и доброе имя только лишь моей добродетели и правдивости и просили меня принять во внимание неравенство между мной и дон Фернандо, из чего я могу видеть, что намерения его, хотя бы он и уверял в противном, направлены больше к его удовольствию, чем к моей пользе и, если я желаю каким бы то ни было образом положить конец оскорбительному его ухаживанию за мной, они готовы выдать меня тотчас же замуж, по моему выбору, за одного из самых почетных лиц из нашего местечка или же из окрестностей, так как они в праве рассчитывать на все при большом их состоянии и моей доброй славе. Эти положительные обещания моих родителей и уверенность в полной справедливости их слов еще более укрепила меня в моей решимости, так что я ни разу не ответила дону Фернандо ни малейшим словом, из которого он мог бы вывести хотя бы самую отдаленную надежду на исполнение своих желаний. Все эти предосторожности с моей стороны, которые он, должно быть, принял за пренебрежение, только еще более разожгли его чувственные вожделения, — иначе я не могу назвать любовь, которую он мне выказывал, и о которой, если бы она была тем, чем должна была быть, вы ничего не узнали бы теперь, потому что у меня не было бы повода рассказывать вам о ней. Словом, дон Фернандо узнал, что мои родители собираются выдать меня замуж, с целью отнять у него всякую надежду обладать мною, или же, по крайней мере, дать мне еще больше защитников, чтобы оберегать меня. Это известие или предположение вызвали с его стороны поступок, о котором вы сейчас услышите. Однажды

ночью, когда я находилась в своей спальне только с девушкой, прислуживавшей мне, двери были крепко заперты на замок из опасения, чтобы, вследствие небрежности, честь моя не подверглась бы какой-либо опасности, — не знаю и не могу себе представить, как, среди всех этих предосторожностей, вдруг в уединении и тишине моего убежища, дон Фернандо очутился передо мной. Вид его так меня смутил, что в моих глазах померк свет, язык мой онемел, я не была в состоянии крикнуть, хотя, думаю, что он и не допустил бы меня сделать это, так как он поспешно бросился ко мне и, схватив в свои объятия, — потому что, повторяю, у меня не было сил защищаться, до того я была смущена, — начал убеждать меня такими доводами, что я понять не могу, как возможно, чтобы лож обладала столь великим искусством и сумела придать им облик правды. Вместе с этим изменник подтверждал свои слова слезами и свои намерения вздохами. Я, бедняжка, выросшая в родительском доме одна, совершенно неопытная в подобного рода делах, стала, не знаю каким образом, принимать за истину все эти лживые уверения, но не в такой степени, чтобы его слезы и вздохи вызвали во мне какое-либо иное чувство, кроме чувства простого сострадания. Итак, несколько оправившись от первого потрясения и испуга, я кое-как собралась с духом, и с большим мужеством, чем сама ожидала, сказала:

— Сеньор, если бы, подобно тому, как теперь ты держишь меня в объятиях, я находилась в когтях у разъяренного льва и знала, что могу освободиться от них, сделав или сказав что-либо в ущерб моей чести, — мне так же невозможно было бы сказать и сделать это, как невозможно, чтобы прошлое перестало быть им; итак, если ты обхватил мое тело своими руками, я крепко обхватила душу

свою добрыми намерениями, а насколько они разнятся от твоих, ты увидишь, если вздумаешь пустить в ход силу для достижения твоих желаний.

Я твоя вассалка, но не твоя раба. Знатность твоего рода не даст и не может дать тебе власть бесчестить или оскорблять скромность моего рода; и я себя, – простолюдинку и крестьянку – ценю не ниже тебя, знаменитого дворянина и кабальеро. Силой ты со мной ничего не достигнешь, богатство твое не имеет для меня значения, слова твои не могут меня обмануть, вздохи и слезы не могут тронуть. Если бы я хотя что-нибудь из всего, только что перечисленного мною, нашла в том, кого родители мои предложили бы мне в мужья, я свою волю согласовала бы с его волей, и никогда не уклонилась бы от нее, так что, сохранив свою честь, я даже и против влечения сердца добровольно отдала бы ему то, чего ты, сеньор, желал бы добиться теперь силой. Все это я говорю, чтобы ты и не думал получить что-либо от меня иначе, как в качестве законного моего супруга.

– Если все препятствие только в этом, прекраснейшая Доротея, – (так зовут меня несчастную), – сказал вероломный кабальеро, – смотри, вот тебе рука моя, что я буду твоим, а в свидетели этой истины я призываю небо, от которого ничто не может быть скрыто, и этот образ Пресвятой Девы, стоящий здесь у тебя.

Когда Карденио услышал, что ее зовут Доротей, он опять вздрогнул и окончательно убедился в справедливости первоначальной своей догадки, но, не желая прерывать рассказа, чтобы увидеть, чем кончится то, что он почти уже знал, он сказал только:

– Как, сеньора, тебя зовут Доротей? Я слышал о другой девушке, которую звали так же, и несчастная судьба ее была,

кажется, похожа на твою судьбу. Но продолжай, придет время, и я расскажу тебе вещи, которые возбуждают в тебе в такой же мере изумление, как и сострадание.

Эти слова Карденио обратили внимание Доротеи, так же, как и его странная, вся изорванная одежда, и она попросила его, если ему что-либо известно о ее делах, тотчас же сообщить ей, потому что единственно хорошее, оставленное ей судьбой, – это мужество перенести всякое несчастье, какое бы на нее ни обрушилось, в уверенности, что ничего такого не может случиться, что хоть сколько-нибудь усилило бы ее теперешнее горе.

– Я бы не преминул сказать тебе, сеньора, то, что я думаю, – ответил Карденио, – если бы был уверен, что мое предположение истинно, но пока к этому у меня нет оснований, да тебе и не столь важно знать о том.

– Будь что будет, – ответила Доротея, – а в моем рассказе было то, что дон Фернандо взял икону, бывшую у меня в спальне, и поставил ее перед нами в свидетели нашего брака, и в самых пламенных выражениях, самыми торжественными клятвами дал мне слово сделаться моим мужем, хотя я, прежде чем он успел договорить, просила его хорошенько обдумать, что он делает, и помнить о гневе его отца, когда тот узнает, что его сын женился на простой крестьянке, своей вассалке, я говорила ему, чтобы он не допускал себя ослепляться моей красотой, такой, какой она есть, потому что она недостаточно велика, чтобы служить оправданием его заблуждению. Если же он желает сделать мне хоть сколько-нибудь добра, ради любви, которую ко мне питает, пусть предоставит судьбе устроить меня соответственно моему положению, потому что такие неравные браки никогда не бывают счастливы, и увлечение, с которого они начинаются,



... а в свидетели этой истины я призываю небо...

продолжается недолго. Все, только что сказанное, я говорила ему и тогда, и еще многое другое, чего теперь не помню. Но все мои доводы и убеждения не могли отклонить его от принятого им решения, подобно тому, как человек, не имеющий в виду платить, не останавливается ни перед какими затруднениями, чтобы заключить сделку. Затем, быстро обсудив все это в уме, я сказала себе: «Не я буду первой, которая путем брака перешла из скромного положения на высокую общественную ступень, и дон Фернандо будет не первым, которого красота или, — что еще вернее, — слепая любовь отодвинула избрать себе в подруги жизни девушку, ниже его по происхождению. Но так как я своим согласием не внесу ничего нового ни в мир, ни в обычаи, не лучше ли будет не отказываться мне от чести, которую судьба преподносит мне, и если бы даже страсть дон Фернандо длилась лишь до той поры, пока его желание не получило удовлетворения, все же я буду перед Богом его женой. Если ж, наоборот, я с презрением оттолкну его теперь, он, насколько я вижу, в состоянии, презрев свой долг, прибегнуть к силе, и тогда я окажусь обесчещенной, и ни у кого не найду оправдания в вине, которую всякий припишет мне, не зная, насколько я невинно попала в такое положение, потому что какие доводы будут достаточны, чтоб убедить моих родителей и других в том, что этот кабальеро вошел в мою спальню без моего согласия? — Все эти вопросы и ответы мгновенно пронеслись в уме, но более всего побудили и склонили меня к тому, что случилось, и что, хотя я этого не думала, оказалось моею гибелью, клятвы дон Фернандо, свидетели, которых он призывал, слезы, проливаемые им, и, наконец, изящная и привлекательная его наружность, — и все это, в соединении с столь многими

признаками истинной любви, могло бы победить и всякое другое, столь же свободное и неопытное сердце, каким было мое. Я позвала свою служанку, чтобы она присоединила свидетельство свое на земле к свидетельству небес. Дон Фернандо повторил и подтвердил в ее присутствии свои клятвы, призывая в свидетели, кроме прежних, еще новых святых, а на свою голову обрушивал тысячи проклятий, если он не исполнит того, что обещает мне. Снова глаза его наполнились слезами, вздохи усилились, он еще крепче сжал меня в своих объятиях, из которых все время не выпускал меня; и, после того, как из комнаты вышла моя девушка, я перестала ею быть, а он сделался клятвopепреступником и изменником.

День, последовавший за ночью моего несчастья, не настал, однако, так скоро, как мне думается того желал дон Фернандо, потому что, удовлетворив свое вожделение, нет большего желания, как удалиться оттуда, где это произошло. Говорю так оттого, что дон Фернандо поторопился расстаться со мной, и с помощью той же служанки, которая провела его в мою комнату, он еще до рассвета очутился на улице. Прощаясь со мной, хотя уже менее горячо и страстно, чем когда пришел, дон Фернандо сказал, чтобы я не сомневалась в его верности и в непреложности и истинности его клятв, и для большего подтверждения своего слова, он снял с пальца дорогое кольцо и надел его на мой палец. После того он ушел, а я осталась, — не знаю, печальная ли или веселая, — знаю только, что я была задумчива, смущена и почти вне себя от неожиданного события, и что у меня не хватило духа, или же я забыла выбрать мою служанку за предательство, в котором она оказалась повинной, спрятав дон Фернандо у меня в спальне; я еще сама не знала, было ли то, что случилось, моим счастьем или несчастьем.

Прощаясь с доном Фернандо, я сказала, что теперь, когда я принадлежу ему, он может тем же способом и в другие ночи видаться со мной до тех пор, пока не пожелает огласить случившееся. Но дон Фернандо пришел только лишь в следующую ночь и больше уже не являлся, и я не могла его видеть ни на улице, ни в церкви в течение более чем месяца, тщетно помогаясь встретиться с ним, хотя я знала, что он в городе и часто бывает на охоте, – одно из любимых его занятий. Те дни и часы, – хорошо знаю я, как тяжки и горьки были они для меня, и хорошо знаю, что тогда же я стала сомневаться и терять веру в дону Фернандо, знаю также, что моя служанка услышала в те дни упреки за свою дерзость, которых до тех пор не слышала от меня, и знаю еще, каких усилий мне стоило сдерживать слезы и казаться веселой, чтобы не дать родителям моим повода спрашивать о причине моего огорчения, и не быть вынужденной отвечать им ложью. Но все это внезапно кончилось, когда случилось то, что уничтожило во мне всякую сдержанность и всякие соображения о чести и осторожности, что истощило мое терпение и принудило вырваться наружу все мои тайные мысли; а случилось то, что вскоре прошел в нашем местечке слух, будто дон Фернандо женился в соседнем городе на девушке необычайной красоты и очень знатного рода, хотя и не настолько богатой, чтобы по своему приданому она могла рассчитывать на такую блестящую для себя партию. Говорили, что зовут ее Люсиндой и рассказывали об удивительных обстоятельствах, приключившихся во время ее венчания.

Услылав имя Люсинды, Карденио только пожал плечами, закусил губы, нахмурил брови и из глаз его полились ручьи слез. Но это не остановило Доротею, и она продолжала свой рассказ, говоря:

– Печальная эта новость дошла до моего слуха, но сердце мое вместо того, чтобы застыть от ужаса, загорелось таким бешенством и гневом, что я едва не выбежала на улицу, возглашая громким криком об измене и низости, жертвой которой я сделалась. Но я сдержала временно свое бешенство, решившись на то, что и привела в исполнение в ту же ночь, именно: я надела на себя вот эту одежду, которую мне дал один из младших пастухов, служивших у моего отца, открыла ему все мое несчастье и просила его проводить до города, где, как я слышала, находился мой враг. Хотя и не одобряя моего безрассудства и порицая мое решение, но убедившись, что я не отступлю от своего намерения, пастух предложил идти со мной, как он выразился, до края света.

Тотчас же уложила я в полотняную наволочку женское платье, некоторые драгоценности и немного денег на всякий случай, и в ночной тишине, не сказав ничего вероломной своей служанке, покинула родительский дом, сопровождаемая моим слугой и многими тяжкими мыслями. Я направилась в город пешком, окрыленная желанием прибыть туда, если не с целью расстроить то, что я считала уже совершившимся, но, по крайней мере, чтобы спросить дону Фернандо, как у него хватило духа на такой поступок? Через два с половиною дня я дошла, куда желала, и, входя в город, спросила, где живут родители Люсинды, и первый встречный, к которому я обратилась с этим вопросом, сообщил больше, чем я желала слышать. Он показал мне дом родителей Люсинды и рассказал все, что случилось во время венчания их дочери, – события, до того общеизвестного в городе, что на перекрестках улиц толпами собираются поболтать об этом. Рассказал он, будто в ту ночь, когда дон

Фернандо был обвенчан с Люсиндой, после того, как она произнесла «да», выражавшее ее согласие сделаться его женой, она упала в глубокий обморок, а когда жених подошел к ней расшнуровать ей платье, чтобы она могла лучше дышать, он нашел письмо, написанное собственноручно Люсиндой, в котором она говорила и объявляла, что не может быть женой дона Фернандо, потому что она уже жена Карденио, — очень знатного кабальеро из того же города, как сообщил мне тот человек, и если она дала свое согласие дону Фернандо, то лишь только потому, чтобы не выйти из должного повиновения своим родителям. Наконец, он еще сообщил, что в письме заключались и слова, дававшие ясно понять, что она имеет намерение убить себя тотчас же после венчания, и приводила также и причины, вынуждавшие ее к самоубийству. Все это, говорят, подтвердил и кинжал, найденный, не знаю где-то, у нее в платье. Когда дон Фернандо все это увидел, он, думая, что Люсинда обманула его, унизила и насмеялась над ним, бросился к ней прежде, чем она очнулась от обморока, и тем же найденным у нее кинжалом хотел заколоть ее и сделал бы это, если б ее родители и другие присутствовавшие не удержали его. Кроме того, рассказывали еще, что дон Фернандо тотчас же уехал, а Люсинда пришла в себя от своего обморока только на следующий день и объявила отцу и матери, что она действительно жена того Карденио, о котором я вам говорила. И еще я узнала, что Карденио, будто бы присутствовал при венчании Люсинды и, увидав ее повенчанной, — чему бы он никогда не поверил, — в отчаянии бежал из города, оставив письмо, в котором выяснял, какое оскорбление нанесла ему Люсинда, и что теперь он уходит туда, где ни один людской глаз не увидит его. Все это было

известно всем, и все в городе говорили об этом, и еще больше заговорили, когда разнеслась весть, что Люсинда исчезла из родительского дома и из города, и ее нигде не могли найти, вследствие чего отец и мать ее чуть не сошли с ума, и не знали, каким путем и способом разыскать ее. Все эти известия вновь воскресили мои надежды, и я сочла лучше для себя не найти дона Фернандо, чем найти его женатым, так как мне казалось, что еще не совсем закрыта дверь к моему спасению и я мечтала: быть может, небо поставило это препятствие второму браку дона Фернандо, чтобы напомнить ему о его обязанностях к первому браку и заставить подумать о том, что он христианин и скорее должен принять во внимание благо своей души, чем земные расчеты. Все эти мысли вращались в моем уме, и я себя утешала, не находя утешения, и грезилась отдаленными и обманчивыми надеждами, чтобы поддержать жизнь, к которой теперь чувствую отвращение. Когда я еще была в городе, не зная, что делать, так как я не находила дона Фернандо, вдруг до слуха моего достигло объявление через уличного глашатая, в котором обещалась значительная награда тому, кто меня найдет, и с точностью описывались мой возраст и бывшая на мне одежда; и я слышала, что говорили, будто слуга, находившийся со мною, похитил меня из родительского дома. Это поразило меня прямо в сердце, так как я увидела, до чего опорочена моя репутация; мало того, что я ее уронила своим бегством, но еще прибавляли, с кем я бежала, — с человеком, столь низко поставленным и столь недостойным моего выбора. Как только я услышала это уличное объявление, тотчас же покинула я город с моим слугой, уже начинавшим выказывать некоторые признаки колебания в обещанной им мне верности, и



... так что я со слабыми своими силами без большого труда столкнула
негодяя в пропасть, где и оставила его, не знаю, живого или мертвого.

в ту же ночь, опасаясь быть узанными, мы с ним пробрались в самую глубь этих гор. Но как принято говорить: одна беда ведет другую, и конец одного несчастья обыкновенно бывает началом другого, еще большего. Так случилось и со мной, потому что добрый мой слуга, верный и преданный до тех пор, лишь только увидел меня в таком уединении, возбужденный скорее собственной низостью, чем моей красотой, захотел воспользоваться случаем, который, по его мнению, представляла ему эта пустыня; и, забыв стыд, а еще больше страх Божий и уважение ко мне, стал домогаться моей любви, но увидав, что я отвечаю на его бесчестные предложения строгими и справедливыми укорами, он бросил упрашивания, которыми сначала надеялся достигнуть своего, и прибег к силе. Однако, справедливое небо, которое редко, или же никогда не отказывает в помощи и покровительстве добрым намерениям, благоприятствовало и моим, так что я со слабыми своими силами без большого труда столкнула негодяя в пропасть, где и оставила его, не знаю, живого или мертвого. И тотчас же, быстрее, чем, казалось, испуг и утомление могли мне позволить, я углубилась дальше в эти горы, без всякой иной мысли и иного намерения, как только скрыться в них и бежать от моего отца и всех тех, кто был послан им разыскивать меня.

Не знаю, сколько месяцев пробыла я здесь, в этих горах, где я встретила пастуха, который взял меня работником к себе в деревню, расположенную вглуби этой горной цепи, и я все это время служила у него подпаском, стараясь постоянно находиться в поле, чтобы скрыть эти волосы, которые сегодня так неожиданно выдали меня. Но вся моя осторожность и мои старания ни к чему не привели, так как хозяин мой, не знаю каким образом,

проведал, что я не мужчина, и в нем зародилась та же гнусная мысль, что и у моего слуги. И так как судьба не всегда посылает рядом с бедой средство избежать ее, я не нашла ни пропасти, ни обрыва, с которого могла бы сбросить хозяина и покончить с ним, как покончила с моим слугой, – поэтому я сочла за более удобное уйти от него и снова скрыться среди этой пустынной местности, чем испытать над ним силу или действие моих доводов. Итак, я вернулась опять сюда, в эту лесную глушь, отыскивать место, где, без всякой помехи, я могла бы вздохами и слезами просить небо сжалиться над моим несчастьем и дать мне возможность и средства избавиться от него, или же расстаться с жизнью в этом пустынном уединении, так, чтобы не осталось даже и памяти о той несчастной, которая, без всякой своей вины, подала повод к толкам и злословию о ней на родине и в других странах.





Глава XXIX

В которой рассказывается о забавной уловке и хитрости, предпринятых с целью освободить влюбленного нашего рыцаря от столь суровой эпитимии, наложенной им на себя.

Вот, сеньоры, правдивая история моей трагедии. Смотрите и судите теперь, имели ли вздохи, достигшие до вашего слуха, слова, которыми вы внимали, слезы, что лились из моих глаз, достаточную причину проявиться еще в большем изобилии? Вникнув в свойство моего несчастья, вы увидите, что всякое утешение бесполезно, так как помочь моему горю невозможно. Прошу вас только об одном (и вы это легко можете и должны сделать), – посоветуйте, где мне проводить жизнь так, чтобы не лишиться ее от страха и опасения быть найденной теми, которые меня ищут, хотя я и знаю: великая любовь, питаемая ко мне моими родителями, мне порукой того, что они приняли бы меня как нельзя лучше, но так ужасен стыд, овладевающий мною при одной мысли явиться перед ними не такой, как они предполагают, что я скорее предпочла быть изгнанной с их глаз навсегда, чем смотреть им в лицо, думая, что мое лицо покажется им чуждой той скромности, которую они были вправе ожидать от меня.

Сказав это, Доротеа замолчала, и ее лицо залилось краской, ясно обнаруживающей боль и стыд ее души. А слушавшие ее рассказ почувствовали, что их души наполнились в равной мере состраданием к ней и удивлением перед ее несчастьем, и как раз в то время, как священник хотел сказать ей несколько слов утешения и дать ей добрый совет, Карденио предупредил его, говоря:

– Как, сеньора, значит, это ты прекрасная Доротеа, единственная дочь богатого Кленардо?

Доротеа изумилась, услышав имя своего отца, и, видя, до чего невзрачен тот, кто произнес его, – потому что Карденио, как уже говорилось, был весьма плохо одет, и она сказала:

– А кто же вы, брат, что знаете имя моего отца? Ведь, я до сих пор, – насколько мне помнится, – рассказывая вам о моем несчастье, ни разу не упоминала имени моего отца.

– Я, сеньора, – ответил Карденио, – тот несчастный, которого, судя по вашему рассказу, Люсинда объявила своим мужем. Я злополучный Карденио, – и

низкое поведение того, кто и вас поставил в теперешнее ваше положение, довело меня до состояния, в каком вы меня видите: — оборванного, нагого, лишенного всякой человеческой помощи и, что еще хуже, лишенного разума, потому что я обладаю им только в те короткие промежутки, когда небу угодно даровать его мне. Я тот, Доротеа, который присутствовал при наглом вероломстве дона Фернандо и ожидал, пока не услышал, как Люсинда произнесла свое «да», выражая им согласие сделаться женой дона Фернандо. Я тот, который не имел мужества остаться и посмотреть, чем кончится ее обморок, и какое произведет действие записка, найденная у нее на груди, так как душа моя не имела сил вынести сразу столько несчастий. Итак, потеряв терпение, я покинул дом, оставил письмо моему хозяину с просьбой передать его в руки Люсинды, и бежал в эти пустынные и дикие места с намерением покончить здесь счеты с жизнью, которую я с той минуты возненавидел, как смертельного врага. Но судьбе не было угодно отнять ее у меня; она удовольствовалась тем, что отняла у меня разум, быть может, с целью приберечь меня для счастья встретиться с вами; потому что, если все, что вы сейчас рассказали, истина — а я не сомневаюсь в том, — возможно, что небо еще готовит для обоих нас лучший выход, чем мы думали, из наших страданий, так как, предположив, что Люсинда не может выйти замуж за дона Фернандо, потому что она моя, о чем она во всеуслышание объявила, а дон Фернандо не может жениться на ней, так как он — ваш, мы вполне можем надеяться, что небеса вернут нам наше, потому что оно еще существует, никем не присвоено и не уничтожено. А так как мы обла-

даем этим утешением, порожденным не какой-нибудь отдаленной надеждой и основанным не на пустых мечтах, то умоляю вас, сеньора, придите в чистых ваших мыслях к другому решению, как и я, со своей стороны, намерен это сделать, сообразуя его с ожидающей нас лучшей участью. Клянусь вам честью рыцаря и христианина, я не покину вас до тех пор, пока не увижу вас женой дона Фернандо, и если я не сумею этого достигнуть убеждениями, заставив его осознать свой долг перед вами, — я прибегну к праву, которое мне даст мое звание рыцаря, и вызову его на поединок, потребовав у него ответа за оскорбление нанесенное вам, забыв об оскорблениях, нанесенных им мне, мщение за которые предоставляю небу, чтобы на земле встать на защиту вашего дела.

Доротеа была поражена удивлением, слушая речь Карденио, и, не зная, как лучше благодарить его за великодушное предложение, хотела уже наклониться к его ногам и поцеловать их¹, но Карденио этого не допустил. Лисенсиат ответил за обоих; он одобрил благородное решение Карденио и в особенности просил, советовал и убеждал их вместе с ним ехать в его село, где они могут запастись нужными им вещами, и там они примут меры к отысканию дона Фернандо, или к возвращению Доротеи к ее родителям, или вообще сделают то, что им покажется наиболее подходящим. Карденио и Доротеа поблагодарили священника и приняли предложение добрых его услуг. Цирюльник, все время сидевший молча и в недоумении, тоже выступил теперь с небольшою речью и с не менее любезным, чем священник, предложением служить им, в чем только может. Вместе с тем, он вкратце сообщил им и причину,

¹ Целовать ноги в те далекие времена было в Испании обычным приемом для выражения признательности за благодеяния.

приведшую обоих их сюда, и рассказал о странном помешательстве Дон Кихота и о том, что они поджидают здесь его оруженосца, который отправился разыскивать его. Карденио вспомнил, как сквозь сон, свою ссору с Дон Кихотом и передал им о ней, но не мог сказать, что было причиной их спора.

В это время они услышали крик и поняли, что это Санчо Панса, который, не найдя их на том месте, где он их оставил, стал во все горло звать их. Они пошли ему навстречу и спросили о Дон Кихоте, а он ответил, что застал его полунагим, в одной рубаше, исхудалого, желтого, полумертвого от голода и вздыхающего по своей сеньоре Дульсине. Но хотя Санчо и сообщил рыцарю, что она приказывает ему покинуть эти места и явиться к ней в Тобосо, где ждет его, Дон Кихот ответил, что решил не являться перед ее красотой до тех пор, пока не совершит подвигов, которые сделают его достойным ее благосклонности. Если же это будет продолжаться таким образом, господину его, – добавил Санчо, – грозит опасность не только не сделаться императором, каким он обязан быть, но даже и архиепископом, – что уже самое меньшее, чем он мог быть; итак, пусть они обсудят, что им предпринять, чтобы удалить его из той местности. Лисенсиат успокоил Санчо, говоря, что они непременно извлекут Дон Кихота оттуда, хотя бы и против его воли, и затем рассказал Карденио и Доротею, какое средство они придумали, чтобы излечить Дон Кихота, или же, по крайней мере, чтобы увести его домой. На это Доротея ответила, что она лучше цирюльника изобразит ищущую защиты девушку, тем более, что у нее при себе есть платье, в котором все у нее как нельзя более выйдет естественно. Пусть только предоставят ей, и она разыграет свою роль, как следует, тем более, что она

прочла множество рыцарских книг и хорошо знакома с языком, каким говорят угнетенные девушки, обращаясь с просьбой о защите к странствующим рыцарям.

– В таком случае нам ничего больше не остается, как тотчас же приступить к делу, – сказал священник, – и без сомнения, счастливая судьба благоприятствует мне, потому что вам, сеньоры, она столь неожиданно открывает дверь для вашего спасения, а нам облегчила нашу задачу чрез ваше посредство.

Доротея тотчас же достала из своего узла целый костюм из тонкой и богатой шерстяной материи, а также коротенькую накидку из другой красивой зеленой ткани и, вынув из небольшого ящичка ожерелье и другие драгоценности, быстро вырядилась так, что имела теперь вид знатной и богатой дамы. Она сказала, что взяла все это и еще кое-что из дома на случай, если бы оно ей понадобилось, но такого случая не представлялось до сих пор. Все были очарованы ее необычайной грацией, изяществом, красотой и сочли дона Фернандо за человека с весьма плохим вкусом, так как он мог отвергнуть столь восхитительную особу.

Но больше всех изумлялся Санчо Панса, которому (и совершенно основательно) казалось, что он никогда в жизни не видел такого прелестного создания. Поэтому он с величайшей поспешностью просил священника сказать ему, кто эта прекрасная сеньора и что ей нужно в этих пустынных местах?

– Прекрасная эта сеньора, Санчо брат, – ответил священник, – попросту говоря, наследница по прямой мужской линии могучего королевства Микомикон и явилась она сюда разыскивать вашего господина и просить его об одной милости, именно: чтобы он отомстил за обиду и оскорбление, нанесенное ей одним злым великаном, а молва о Дон

Кихоте, как о доблестном рыцаре, распространная по всему свету, привлекла сюда принцессу из Гвинеи, откуда она приехала.

– Счастливые поиски и счастливая находка, – сказал тогда Санчо Панса, – и тем более, если моему господину удастся исправить то зло и отомстить за то оскорбление, убив того сына блудницы, того великана, о котором говорит ваша милость; и по чести, убить-то он его убьет, если встретит, только бы он не был привидением, потому что над привидениями у моего господина нет никакой власти. Но об одной вещи между прочими вещами буду умолять вашу милость, сеньор лисенсиат, а именно: чтобы господин мой не вздумал сделаться архиепископом, – чего я так боюсь, – посоветуйте ему, ваша милость, тотчас же обвенчаться с этой принцессой; таким образом его нельзя будет посвятить в сан архиепископа, и он легко добудет себе императорскую корону, а я – исполнение моих желаний. Все это я про себя хорошенько обсудил и понял, что для меня неподходящее дело, если мой господин будет архиепископом, потому что я не гожусь для церкви, так как женат. А бегать хлопотать о разрешении мне заведывать церковным приходом, имея, – как я имею, – жену и детей, этому не предвиделось бы никогда конца. Так что, сеньор, вся загвоздка в том, чтобы мой господин тотчас же женился на этой сеньоре, имя которой я еще не знаю, и потому не могу и назвать ее по имени.

– Зовут ее, – ответил священник, – принцессой Микомикона, потому что, раз ее королевство называется Микомикон, – ясно, что и она должна называться так же.

– В этом нет сомнения, – ответил Санчо, – так как я знаю многих, которые свое прозвище и фамилию брали по той местности, где они родились, называясь

Педро де Алкала, Хуан де Убеда, Диего де Вальядолид; и такой же обычай, должно быть, и там в Гвинее: чтобы королевы назывались по своим королевствам.

– Должно быть, оно так и есть, – сказал священник; – что же касается женитьбы вашего господина, я приложу все старания помочь этому делу.

Санчо остался настолько же доволен ответом священника, насколько последний был удивлен его простотой и тем, до чего крепко укоренились в его воображении те же самые нелепости, как и у его господина, потому что Санчо нисколько не сомневался, что Дон Кихот действительно сделается императором.

Между тем Доротея села на мула священника, а цирюльник приладил себе бороду из бычьего хвоста; и они велели Санчо провести их туда, где находится Дон Кихот, предупредив его, чтобы он не говорил, что знает лисенсиата, или цирюльника, так как именно от того, чтобы он не узнал их, и зависит возможность господину его сделаться императором. Ни священник, ни Карденио не пожелали отправиться с ними, Карденио, – чтобы не напомнить Дон Кихоту его ссоры с ним, священник – потому что его присутствие пока еще не было необходимо; итак, они пустили их вперед, сами же медленно пошли за ними пешком. Священник счел нужным объяснить Доротее, как ей поступать, но она просила не беспокоиться, потому что все будет точь в точь сделано, как это требуется и описано в рыцарских книгах. Они проехали около трех четвертей мили, когда заметили Дон Кихота среди лабиринта скал, уже одетого, но не в доспехах. Лишь только Доротея увидела его и узнала от Санчо, что это Дон Кихот, она ударила бичом свою парадную лошадь, а за ней поспешил и бородатый брадобрей. Подъехав к Дон Кихоту, ору-



Если же это будет продолжаться таким образом, господину его, – добавил Санчо, – грозит опасность не только не сделаться императором...

женосец принцессы соскочил с мула и подошел к Доротее, чтобы принять ее на руки, а она, с величайшею ловкостью сойдя с седла, бросилась на колени перед Дон Кихотом; он хотел поднять ее, но она, не вставая, обратилась к нему со следующими словами:

– Я до тех пор не встану, о, доблестный и могущественный рыцарь, пока вы по доброте и великодушию своему не окажете мне милости, которая покроет вашу особу славой и честью и послужит на пользу самой безутешной и угнетенной девушке, какую только освещало когда-либо солнце. И если действительно доблесть сильной вашей руки соответствует молве о бессмертной вашей славе, вы обязаны оказать помощь несчастной, явившейся сюда из столь далеких стран и привлеченной блеском вашего имени, в надежде найти у вас защиту в своих несчастиях.

– Не отвечу вам ни слова, прекрасная сеньора, – сказал Дон Кихот, – и не хочу слышать ничего о вашем деле, пока вы не встанете с колен.

– Я не встану до тех пор, сеньор, – ответила горящая девушка, – пока вы с свойственным вам великодушием не пообещаете оказать мне милость, о которой я прошу.

– Обещаю вам оказать и даровать ее, – ответил Дон Кихот, – если только это не послужит ко вреду или к ущербу моего отечества и той, которая владеет ключом от моего сердца и моей свободы.

– Она не послужит ни ко вреду, ни к ущербу всего того, о чем вы упомянули, мой добрый сеньор, – ответила горящая девушка.

В это время Санчо Панса подошел к своему господину и тихонько шепнул ему на ухо:

– Сеньор, милость ваша может спокойно обещать ей то, о чем она просит,

потому что это пустяки – всего только убить громадного великана; а та, которая об этом просит – могучая принцесса Микомикона, королева великого королевства Микомикон в Эфиопии.

– Кто бы она ни была, – ответил Дон Кихот, – я поступаю так, как мне предписывает долг и подсказывает совесть в согласии с рыцарскими правилами, которые я исповедую.

И, обращаясь к девушке, он добавил:

– Прошу вас, высочайшая красота, соблаговолите встать, так как я дарую милость, которую вам угодно будет просить у меня.

– Она заключается в том, – сказала девушка, – чтобы вы, великодушный рыцарь, тотчас же последовали за мной, куда я вас поведу, и обещали не предпринимать другого дела и не искать другого приключения, пока не отомстите изменнику, который, попирая все божеские и человеческие законы, отнял у меня мое королевство.

– Повторяю, – ответил Дон Кихот, – что я исполню вашу просьбу, и потому можете, сеньора, с сегодняшнего дня изгнать из своей души печаль, терзающую ее, и можете новой силой и огнем оживить гаснущую вашу надежду, так как с помощью Божьей и моей руки вы скоро вернетесь в свое королевство и воссядете на престоле древнего и великого вашего государства, вопреки и назло всем недобрякам, которые пожелали бы воспротивиться этому. А теперь приступим к делу, потому что в замедлении, как говорят, кроется обыкновенно опасность.

Горящая девушка с большим упорством усиливалась поцеловать у Дон Кихота руки, но он, бывший во всем истым и учтивым рыцарем, ни за что не допустил этого; напротив, он заставил ее встать, поцеловал ее очень учтиво и любезно и приказал Санчо подтянуть подпругу у



Они проехали около трех четвертей мили, когда заметили Дон
Кихота среди лабиринта скал, уже одетого, но не в доспехах

Росинанта и подать ему его доспехи. Санчо снял доспехи, которые, как трофеи, висели на дереве, и, подтянув подпругу Росинанта, в одну минуту одел в доспехи своего господина, а этот последний, видя себя вооруженным, воскликнул:

– Едем отсюда, во имя Бога, на защиту этой великой сеньоры!

Цирюльник все еще стоял на коленях и с трудом сдерживал свой смех и придерживал бороду, так как, если бы борода упала, следствием этого могло бы быть расстройство всего их плана. Но, увидав, что просимая милость уже дарована, а также и ту поспешность, с которой Дон Кихот готовился исполнить свое обещание, цирюльник поднялся, взял свою сеньору за другую руку и вместе с рыцарем усадил ее на мула. Тотчас же и Дон Кихот сел на Росинанта, цирюльник устроился на своем верховом животном, а Санчо пришлось идти пешком, что снова возбудило в нем горе о пропаже Серого, отсутствие которого давало себя знать. Однако все это он перенес терпеливо, уверенный в том, что его господин теперь уже на пути сделаться императором, так как он нимало не сомневался, что Дон Кихот женится на принцессе и будет, по меньшей мере, королем страны Микомикон. Одно лишь печалило Санчо – мысль, что королевство это в стране негров и что будущие его подданные – чернокожие. Но против этого он тотчас же нашел хорошее средство в своем воображении и сказал себе: «Что за беда, если мои подданные будут неграми? Ничего другого не остается, как только нагрузить ими корабли и привезти в Испанию, где я могу их продать, и где мне заплатят за них наличными деньгами, а на эти деньги я куплю себе какой-нибудь титул или должность и затем проживу всю свою жизнь припеваючи. Иное дело,

если проспать свое счастье и не обладать ни умом, ни ловкостью для оборудования дел и продажи в мгновение ока тысяч десяти или тридцати подданных. Клянусь Богом, они у меня прекрасно полетят, маленькие с большими – или как там придется, – и как бы они ни были черны, я их превращу в белых или в желтых¹. Еще бы, не дурак же я!». Занятый этими мыслями, он шел такой довольный и радостный, что даже забыл о тягости путешествовать пешком.

Священник и Карденио наблюдали все происходившее, спрятавшись за кустами, и не знали, каким образом присоединиться к остальной компании. Но священник, человек очень находчивый, тотчас же придумал, что сделать для достижения желаемого: ножницами, которые он имел при себе в футляре, он с величайшею быстротой остриг бороду Карденио, надел на него свою серую епанчу и дал ему длинный, черный плащ без воротника, оставшись сам в камзоле и панталонах, и Карденио сделался так непохож на прежнего, что не узнал бы себя, если бы посмотрелся в зеркало. Покончив с переодеванием, священник и Карденио, – хотя остальные за это время и успели порядочно уйти вперед, – без труда добрались раньше их до большой дороги, потому что кустарники и бутры в этой местности мешали двигаться верховым так же быстро, как это могли делать пешеходы. Словом, они вскоре очутились в долине и встали у выхода из гор; а лишь только показался Дон Кихот и его спутники, священник, довольно долго и пристально глядяваясь в рыцаря, делал вид, будто он мало-помалу начинает узнавать его, и после того, как он довольно долго рассматривал его таким образом, он бросился к нему с распростертыми объятиями и громко воскликнул:

¹ Т. е. в серебро и золото.



...и оттуда ваша милость направится в Карфаген...

– В счастливый час встретил я зеркало рыцарства, доброго моего земляка Дон Кихота Ламанчского, цвет и сливки учтивости, защитника и покровителя угнетенных и квинтэссенцию всех странствующих рыцарей. – И говоря это, он обнимал левое колено Дон Кихота.

Пораженный тем, что говорил и делал этот человек, рыцарь стал внимательно всматриваться в него и, наконец, узнал. Он был изумлен, встретив его здесь, и делал большие усилия, чтобы сойти с лошади. Но священник не допустил этого, на что Дон Кихот сказал:

– Дайте мне сойти, милость ваша сеньор лисенсиат, так как не годится, чтобы я сидел верхом, когда столь почтенная особа, как ваша милость, идет пешком.

– Я никоим образом не соглашусь на это, – сказал священник. – Оставайтесь сидеть верхом, ваше величие, потому что, сидя верхом, вы совершаете самые великие дела и подвиги, когда-либо виданные в наш век. Что же касается меня – иерея, хотя и недостойного, – с меня достаточно поместиться на муле позади кого-нибудь из этих сеньоров, сопровождающих вашу милость, если это им не в тягость; и я даже сочту, что еду верхом на коне Пегасе, или же на той зебре, или могучем боевом коне, на котором ездил знаменитый мавр Мусараке, до сих пор еще лежащий очарованным на большом холме Сулема, недалеко от великого Комплута¹.

– Об этом я не подумал, сеньор мой лисенсиат, – ответил Дон Кихот; – и уверен, что сеньора принцесса будет настолько любезна, что из доброго чувства ко мне прикажет своему оруженосцу уступить место на седле вашей милости, а сам он сядет позади, если только мул вынесет это.

– Думаю, что он вынесет – сказала принцесса, – и знаю также, мне не по-

надобится приказывать моему сеньору оруженосцу уступить свое место, так как он настолько учтив и благовоспитан, что и сам не допустит, чтобы духовное лицо шло пешком, когда может ехать верхом.

– Совершенно верно, – ответил цирюльник и быстро слез с мула, предлагая занять место на седле священнику, что тот и сделал, не заставляя себя долго просить. Но, к несчастью, когда цирюльник хотел взобраться на круп мула, последний, который, по правде говоря, был наемный, – а этим вполне сказано, что он был плохой, – вскинул задние ноги и раза два так сильно ударил ими в воздухе, что, если б он попал в грудь или в голову маэсе Николас, тот послал бы к черту все поиски Дон Кихота. Но и это брыканье мула напугало его, и он упал, нimalo не заботясь о своей бороде, которая свалилась на землю. Почувствовав, что он без бороды, цирюльник ничего другого не мог придумать, как только прикрыть лицо обеими руками и крикнуть, что он выбил себе коренные зубы. Дон Кихот, увидав большой пук бороды без челюстей и без крови, лежащий отдельно от лица упавшего оруженосца, воскликнул:

– Как жив Бог, это великое чудо! Ему отшибло и оторвало с лица бороду, точно ее нарочно сбрили!

Священник, видя, что его выдумке грозит опасность быть раскрытой, тотчас же подбежал к бороде, поднял ее и бросился к маэсе Николас, все еще продолжавшему кричать, и мигом, прижав его голову к своей груди, прикрепил ему бороду, над которой пробормотал несколько слов, говоря, что это вернейшее заклинание для приращения бород, в чем они сейчас и убедятся. Как только он прикрепил бороду, он отошел и оруженосец оказался таким же бородатым и

¹ Холм Сулема на левом берегу реки Энарес, как раз против города Алькала, который и есть «*gran Compluto*», называемый так от римского «*Complutum*».



Довольно, прекратите ваши восхваления, – сказал тогда Дон Кихот...

здоровым, каким он был и до того. Это чрезвычайно удивило Дон Кихота, и он попросил священника, когда у него будет свободное время, научить его этому заклинанию, потому что он предполагает, что целебные свойства его простираются дальше приращивания бороды: не подлежит сомнению, что, раз вырвана вся борода, значит, повреждено и ранено и тело, а если заклинание исцеляет все это, то действие его не ограничивается одной бородой.

– Совершенно верно, – ответил священник и обещал научить рыцаря заклинанию при первом удобном случае.

Затем решили, что священник поедет первый на муле, а после него будут садиться поочередно остальные трое, пока не доберутся до постоянного двора, который, по-видимому, отстоял около двух миль отсюда. Когда они двинулись вперед, – причем трое ехали верхом, именно Дон Кихот, принцесса и священник, а трое шли пешком, то есть Карденио, цирюльник и Санчо Панса, – Дон Кихот сказал девушке:

– Ваше величество, сеньора моя, теперь ведите нас, куда вам будет угодно.

Но прежде чем она успела ответить, лисенсиат спросил ее:

– В какое королевство намерена вести нас ваша милость? Не в королевство ли Микомикон? Должно быть, что так и есть, или же я плохой знаток в королевствах.

Она, все схватывавшая на лету, поняла, что ей следует ответить утвердительно, и потому сказала:

– Да, сеньор, путь мой лежит в королевство Микомикон.

– Если это так, – объявил священник, – то нам придется проехать через мое село, и отсюда ваша милость направится в Карфаген, где, при удаче, вы тотчас же можете сесть на корабль, и если

будет попутный ветер, спокойное море и не случится бури, вы несколько менее, чем в девять лет, можете добраться до большого озера Неона, – я хочу сказать Меотис, – которое лежит дней на сто с лишком пути от королевства вашего величества.

– Милость ваша ошибается, сеньор мой, – сказала принцесса, – еще нет и двух лет, как я уехала отсюда, и могу вас уверить, все время погода стояла прескверная, а тем не менее мне удалось увидеть того, кого я так сильно желала видеть, – именно доблестного сеньора Дон Кихота Ламанчского, молва о славе которого дошла до моего слуха, едва я вступила в Испанию, и эта-то молва и побудила меня разыскать его, чтобы поручить себя его великодушию и доверить справедливое мое дело мужеству его непобедимой руки.

– Довольно, прекратите ваши восхваления, – сказал тогда Дон Кихот, – я враг всякого рода лести, и хотя это не лесть, все же такие речи оскорбляют мои целомудренные уши. Одно могу сказать вам, сеньора моя, – обладаю ли я мужеством, или не обладаю им, – то, которое есть у меня или которого нет у меня, я всецело употребляю на служение вам, готовый даже жертвовать за вас жизнью. Теперь же, оставив это до поры до времени, попрошу сеньора лисенсиата сказать мне, какая причина привела его в эту пустынную местность совершенно одного, без слуг, и одетого налегке, что крайне изумляет меня.

– Отвечу вам на это в кратких словах, – возразил священник. – Знайте же, милость ваша, сеньор Дон Кихот, что я и маэсе Николас, наш друг и наш цирюльник, мы отправились в Севилью за получением денег, которые один мой родственник, пробывший долгие годы в Индии, прислал мне, сумма была нема-

лая, так как превышала шестьдесят тысяч песос¹, да к тому же и полновесных, что составит чуть ли не еще столько же. А когда мы вчера проходили близ этой местности, на нас напало четверо разбойников и обобрали нас вплоть до бороды, так что цирюльник счел нужным приладить себе поддельную бороду, – а вот этого молодого человека (и он указал на Карденио), – который идет вместе с нами, они ограбили вторично. И самое лучшее во всей истории то, что, как ходят в окрестности слухи, напавшие на нас разбойники, были галерные невольники, которых, как они говорят, освободил почти на этом самом месте человек, обладавший таким мужеством, что он один, вопреки комиссару и стражникам, отпустил всех их на волю. Нет сомнения, что он, должно быть, сумасшедший, или такой же большой негодяй, как и они, или, наконец, человек без души и совести, если он мог пустить волка среди овец, лисицу – среди кур и мух – на мед. Он за-

хотел поправить правосудие, восстать против своего короля и законного повелителя, так как он нарушил справедливые его приказания, он захотел, говоря я, отнять у галер ее ноги², и встревожил Святую Эрмандаду, уже долгие годы отдыхавшую; словом, он совершил поступок, из-за которого может погибнуть душа и ничего не выиграет тело.

Санчо рассказал священнику и цирюльнику приключение с галерными невольниками, совершенное его господином с такой для него славой, и поэтому священник, упоминая об этом событии, сильно сгустил краски, чтобы посмотреть, что сделает или скажет Дон Кихот, который при каждом его слове менялся в лице и не смел признаться, что он был освободителем этих добрых людей.

– Вот они-то, – продолжал священник – и ограбили нас; и да простит Бог в своем милосердии того, кто помещал подвергнуть их заслуженному ими наказанию.



¹ *Pesos ensayados* – испанская монета, имевшая в те времена вес (peso) ровно в унцию серебра, а *ensayado* означает – прошедшая через испытание и найденная полновесной.

² То есть ее гребцов – галерных невольников.



Глава XXX

*В которой рассказывается о находчивости прекрасной Доротеи
и о других забавных и увеселительных вещах.*

Едва священник кончил, как Санчо сказал:
– По чести говоря, сеньор лисенсиат, тот, кто совершил этот подвиг, был господин мой, хотя я со своей стороны перед тем и говорил ему и предупреждал его, чтобы он обдумал то, что делает, и что грех отпускать их на свободу, потому что все, которые отправляются на галеры, – величайшие негодяи.

– Глупец, – сказал тогда Дон Кихот, – странствующим рыцарям не подобает и не приличествует исследовать, за преступления ли, или за добродетели идут таким образом и терпят такие муки скорбные, закованные и угнетенные, встречаемые ими на дорогах. Единственная забота рыцарей – помочь им, как нуждающимся в помощи, устремив глаза

на их страдания, а не на дурные их поступки. Я наткнулся на цепь огорченных, несчастных людей и поступил с ними, как этого требовал священный мой долг, а до остального мне нет дела. И если кому это не понравилось – сохраняя всякое уважение к священному сану и к почтенной особе сеньора лисенсиата, – я скажу, что он мало понимает в задачах рыцарства и лжет, как сын блудницы и низкий человек, что я, во всем объеме, и докажу ему моим мечом.

Сказав это, он укрепился на стременах и надвинул до бровей шишак, потому что цирюльничий таз, который, по его мнению, был шлемом Мамбрино, он привесил к передней луке седла до того времени, когда окажется возможным отдать исправить его после повреждения, причиненного ему каторжниками.

Доротеа, остроумная и живая, уже хорошо поняв странные причуды Дон Кихота и то, что все, за исключением лишь Санчо Пансы, подшучивают над ним, не захотела отстать от других и, видя, что он так взбешен, сказала ему:

– Сеньор рыцарь, пусть милость ваша вспомнит данное мне обещание, согласно которому вы не можете вступить ни в какое другое приключение, как бы оно ни было безотлагательно. Успокойте взволнованное ваше сердце, милость ваша, так как, если бы сеньор лисенсиат знал, что каторжники были освобождены этой непобедимой рукой, он дал бы трижды зашить себе рот и даже трижды прикусил бы себе язык прежде, чем сказать слово, которое бы клонило к осуждению вас.

– Да, клянусь в этом, – сказал священник, – и сверх того я даже вырвал бы себе ус¹.

– Я замолчу, сеньора моя, – сказал Дон Кихот, – сдержу справедливый гнев, уже пробудившийся в моей груди, и буду ехать мирно и спокойно, пока не совершу того, что обещал вам. Но в награду за мое доброе намерение, я умоляю вас, скажите мне, – если это не затруднит вас, – какое ваше горе, и кто те люди, сколько их, и какого они звания, которым я должен воздать за вас заслуженное ими, полное и достойное отмщение?

– Охотно сделаю это, – ответила Доротеа, – если только вам не наскучит слушать о горестях и несчастьях.

– Не наскучит, сеньора моя, – сказал Дон Кихот.

– В таком случае, – ответила Доротеа, – прошу у вас внимания, милости ваши.

Не успела она сказать это, как уже Карденио и цирюльник очутились рядом

с ней, желая послушать, как будет сочинять свою историю остроумная Доротеа; то же самое сделал и Санчо, столь же заблуждающийся на ее счет, как и его господин. А она, хорошенько усевшись на сиденье, кашлянув и произведя еще некоторые другие жесты в виде предисловия, заговорила очень мило следующим образом:

– Прежде всего, сеньоры, вашим милостям следует знать, что меня зовут...

Здесь она запнулась немного, потому что забыла имя, данное ей священником; но он поспешил ей на помощь, догадавшись, что собственно затрудняет ее, и воскликнул:

– Не удивительно, сеньора моя, что ваше величие смущается и приходит в замешательство, рассказывая о своих злоключениях; ведь, несчастья часто бывают такого рода, что отнимают память у тех, на кого они обрушиваются, и люди забывают даже собственное свое имя, как это и случилось с вашим высочеством, забывшим, что вас, законную наследницу великого королевства Микомикон зовут принцессой Микомикона. Приняв к сведению это напоминание, ваше величие легко может восстановить в омраченной своей памяти все, что вам угодно рассказать нам.

– Это совершенно верно, – ответила девушка, – и я думаю, что впредь мне уже не понадобится больше никаких указаний, так как я сама доведу правдивую свою историю до благополучного конца. Итак, вот она: – Король, мой отец, которого звали Тинакрио Мудрый, был очень сведущ в искусстве, называемом магией, и благодаря своей науке он узнал, что королева, моя мать, по имени Харамилья, должна умереть раньше него, и вскоре затем и ему самому придется проститься с жизнью, а я останусь круглой сиротой без отца и матери. Но, говорил он, его не

¹ Католическое духовенство, теперь гладко выбритое, во времена Сервантеса носило и усы, и маленькие бородаки.

столько огорчало это, сколько пугали достоверные сведения, что огромный великан, владетель большого острова, почти пограничного с нашим королевством, по имени Пандафиландо Мрачный Взор (потому что достоверно известно, что хотя у него глаза на месте и правильно расположены, однако он всегда глядит вкось, как будто он косой, и делает это нарочно, из злобы, чтобы нагнать страх и ужас на тех, на кого он смотрит), итак, я говорю, отец мой знал, что великан этот, прослышав о моем сиротстве, ворвется с большой военной силой в мое королевство и отнимет у меня все, не оставив даже маленькой деревеньки, где бы я нашла себе убежище; но что я могу избежать всего этого разорения и несчастья, если соглашусь выйти замуж за него, хотя, насколько мой отец мог предвидеть, он был уверен, что я никогда не соглашусь на такой неравный брак. И в этом он был совершенно прав, потому что мне никогда и в мысль не приходило выйти замуж за этого великана, но и ни за какого другого, как бы он ни был велик и огромен. Отец сказал мне также, что после того, как он умрет, и я увижу, что Пандафиландо начинает вторгаться в мое королевство, я не должна защищаться, так как это привело бы к моей гибели, а добровольно, без всякого сопротивления, должна предоставить ему завладеть королевством, если я желаю предотвратить резню и полное истребление моих добрых и верных подданных, потому что мне было бы невозможно защищаться против дьявольского могущества великана; и чтобы тотчас же с некоторыми из моих приближенных я отправилась в Испанию, где обрету помощь своему горю, встретившись со странствующим рыцарем, слава которого распространится в то время по всему этому государству, и будет он называться – если я хорошо припомню – дон Асоте или дон Гиготе.

– *Дон Кихот*, сказал он, должно быть, – воскликнул тогда Санчо Панса, – или же, иным своим именем: рыцарь *Печального Образа*.

– Совершенно верно, – подтвердила Доротеа, – и, кроме того, он еще говорил, что тот рыцарь высокого роста, сухощав лицом, а с правой стороны под левым плечом, или по близости у плеча, у него темное родимое пятно с несколькими волосиками наподобие кабаньей щетины.

Услыхав это, Дон Кихот сказал своему оруженосцу:

– Иди сюда, Санчо сын, помоги мне раздеться, – я желаю видеть, тот ли я рыцарь, о котором пророчествовал мудрый король.

– Но зачем же ваша милость желает раздеваться? – спросила Доротеа.

– Чтобы посмотреть, есть ли у меня то родимое пятно, о котором говорил вам отец, – ответил Дон Кихот.

– Для этого незачем раздеваться, – сказал Санчо, – так как я знаю, что у вашей милости есть родимое пятно в таком роде посреди спинного хребта, а это признак, что вы человек сильный.

– Этого достаточно, – сказала Доротеа, – потому что между друзьями не следует обращать внимания на мелочи, и на плече ли родимое пятно, или на спине, – это не важно; довольно того, что есть родимое пятно, и пусть оно будет себе где угодно, – ведь, тело везде одно и то же. Несомненно, добрый мой отец был прав во всем, и я не ошиблась, обратившись к сеньору Дон Кихоту, потому что он и есть тот, о котором мне говорил мой отец, так как приметы его лица совпадают с приметами великой славы этого рыцаря не только в Испании, но и во всей Ламанче. И действительно, едва я высадилась в Осуне, как уже столько слышала о его подвигах, что сердце

тотчас же подсказало мне: это тот и есть, кого я приехала искать.

– Но как же, сеньора моя, – спросил Дон Кихот, – ваша милость могла высадиться в Осуне, когда это не морская гавань?

Прежде чем Доротеа успела ответить, священник предупредил ее, говоря:

– Должно быть, сеньора принцесса хотела сказать, что после того как она высадилась в Малаге, первое место, где она услышала вести о вашей милости, было в Осуне.

– Именно это я и хотела сказать, – подтвердила Доротеа.

– Дело выяснилось, – объявил священник, – и потому, не угодно ли вашему величеству продолжать.

– Продолжать мне, собственно, нечего, – ответила Доротеа, – могу только добавить, что наконец судьба оказалась ко мне так благосклонна: я нашла сеньора Дон Кихота и теперь уже мысленно вижу и считаю себя королевой и повелительницей всего моего государства, с тех пор как он, по своей учтивости и великодушию, обещал мне оказать милость идти со мною всюду, куда бы я ни повела его, а поведу я его только навстречу Пандафирандо Мрачному Взору, чтобы он убил его и вернул мне то, что против всякой справедливости было захвачено им, и все это должно исполниться точь в точь, как предсказал Тинакрио Мудрый, мой добрый отец. Он также распорядился и написал халдейскими или греческими буквами, – не знаю, так как не умею их читать, – что, если этот рыцарь его пророчества, отрубив голову великана, пожелал бы жениться на мне, я тотчас же, без всякого возражения, должна согласиться стать законной его женой и вручить ему обладание моим королевством одновременно с обладанием моей особой.

– Что ты скажешь на это, Санчо друг, – спросил тогда Дон Кихот. – Слышал ли ты, о чем речь? Не говорил ли я тебе этого? Видишь, у нас уже есть и королевство, чтобы управлять им, и королева, чтобы жениться на ней.

– Клянусь, что это так, – сказал Санчо, – и был бы сыном блудницы тот, кто не женился бы сейчас, лишь только перережет горло сеньору Пандафирандо! Плоха, что ли, у нас королева? Желал бы я, чтоб в такие, как она, превратились все блохи в моей постели!

И говоря это, он сделал прыжка два в воздухе с признаками величайшего удовольствия, после чего схватил за узду мула Доротеи, остановил его и бросился перед нею на колени, умоляя позволить ему поцеловать ее руки в знак того, что он ее признает своей королевой и повелительницей. Кто из присутствующих мог бы удержаться от смеха при виде безумия господина и простоватости его слуги? Доротеа дала Санчо поцеловать свои руки и обещала ему сделать его знатным сеньором в своем королевстве, когда небу угодно будет позволить ей снова овладеть и пользоваться им. Санчо поблагодарил ее в таких выражениях, что опять возбудил общий смех.

– Вот, сеньоры, – продолжала Доротеа, – моя история; мне остается только добавить, что из всей свиты вывезенной мной из моего королевства, у меня никого не осталось, кроме вот этого бородатого оруженосца, так как все остальные потонули во время страшной бури, разразившейся над нами уже в виду гавани. Он и я, мы добрались до берега на двух досках точно чудом, да и вся моя жизнь, как вы могли заметить, полна чудес и тайн. Если же я, рассказывая о ней, зашла в чем-либо дальше, или же не была столь точной, как бы следовало, припишите вину тому, о чем сеньор лисенсиат упоминал в начале

моего рассказа, именно, что непрерывные и необычайные страдания отнимают память у людей, их испытывающих.

– Они не отнимут памяти у меня, о, возвышенная и доблестная сеньора, – воскликнул Дон Кихот, – какие бы страдания я ни испытал на службе у вас, и как бы они ни были велики и неслыханны! Итак, я снова подтверждаю данное вам мое обещание исполнить вашу просьбу и клянусь идти за вами на край света, пока не встречу лицом к лицу с свирепым вашим врагом, которому, с помощью Божией и моей сильной руки, я намерен отрубить гордую голову острием этого... не могу сказать, хорошего меча, благодаря Хинесу де Пасамонте, который унес мой.

Последняя слова он пробормотал сквозь зубы и продолжал, говоря:

– А после того, как я отрублю ему голову и верну вам мирное обладание вашим государством, вы можете свободно располагать своей особой, как только вам заблагорассудится, потому что, до тех пор, пока сердце мое в плену, воля порабощена и разум подчинен той... не скажу ничего больше, – мне невозможно допустить даже и мысль о женитьбе, хотя бы, на самой птице Феникс.

Санчо был так возмущен последними словами, сказанными его господином относительно его нежелания жениться, что он возвысив голос и в величайшем гневе воскликнул:

– Клянусь и божусь, сеньор Дон Кихот, что вы, милость ваша, не в здравом уме? Как так? Неужели возможно, чтобы милость ваша колебалась, жениться ли ей или нет на столь знатной принцессе, как вот эта? Думаете ли вы, что судьба на каждом перекрестке преподнесет вам такое счастье, какое она теперь вам пре-

подносит? Или, по вашему, быть может, сеньора Дульсинея красивее? Конечно, нет, она и вполтину не так красива, и я готов сказать, что ей не дойти даже до края башмаков той, которая здесь перед нами. Плохая же надежда у меня получить графство, которое я ожидаю, если ваша милость отправится искать лакомства на дне моря¹. Женитесь, женитесь тотчас же ради самого сатаны и берите это королевство, которое так, ни за что, ни про что, само лезет вам в руки, а будучи королем, сделайте меня маркизом или генерал-губернатором, а остальное хоть бы черт тогда побрал!

Дон Кихот, услышав такие кощунства против своей сеньоры Дульсины, не мог стерпеть этого, и не говоря ни слова, не разжимая рта, поднял копьё и нанес им такие два удара своему оруженосцу, от которых тот свалился на землю, и если б Доротея не крикнула, чтобы он перестал его бить, он наверно уложил бы его на месте.

– Воображаете ли вы, низкий негодай, – обратился он к нему немного погодя, – что я вам всегда позволю хватать меня за самое чувствительное место, и вы то и дело будете грешить, а я то и дело буду прощать вам? Не думайте этого, распроклятый подлец, так как без сомнения, ты подлец, если у тебя повернулся язык против несравненной Дульсины; и разве вы не знаете, олух, бродяга, мошенник, что, если б не доблесть, которую она сообщает моей руке, у меня не было бы силы убить и блоху? Скажите мне, – насмешник со змеиным жалом, – как вы полагаете, кто завоевал это королевство, отрубил голову великану и сделал вас маркизом, (потому что все это я считаю уже делом решенным и совершившимся), если не могущество Дульсины, избравшей мою руку орудием

¹ Pedir cotufas en el golfo – испанская поговорка, означающая искать невозможного; cotufas – нечто вроде шишек или нароста осоки годной для еды, которую в Валенсии считают лакомством и из которой делают народное питье, называемое horchata.

своих подвигов? Она во мне сражается и побеждает мною, и я живу и дышу ею, и в ней вся жизнь моя и существование мое. О, сын блудницы, негодяй, как вы неблагодарны, если, видя, что вас подняли из праха и сделали знатным вельможей, вы за такое благодеяние, платите, злословя ту, которая оказала вам его!

Санчо не был в столь плохом состоянии, чтобы не мог слышать всего, что говорит его господин, и, поднявшись довольно проворно, он укрылся позади парадного коня Доротеи и оттуда обратился к господину своему, говоря:

– Скажите мне, сеньор: если милость ваша решила не жениться на этой могучей принцессе, ясно, что в таком случае королевство не будет вашим, а если оно не будет вашим, какие же вы мне можете оказать милости? На это-то именно я и жалуюсь: женитесь раз навсегда на этой королеве, теперь, пока она у нас здесь, точно упавшая к нам с неба, а потом можете вернуться к сеньоре Дульсинеи, так как, должно быть, были же на свете короли, имевшие любовниц. Что же касается вопроса о красоте, в это я не вмешиваюсь, потому что, по правде говоря, обе они кажутся мне красивыми, хотя я никогда не видел сеньоры Дульсинеи.

– Как? Ты ее не видел, кощунствующий предатель? – воскликнул Дон Кихот. – Не ты ли только что привез мне от нее известие?

– Я говорю, что не видел ее на таком досуге, – ответил Санчо, – чтобы я мог рассмотреть ее красоту и хорошие качества по частям и в отдельности, но так, в общем, она показалась мне очень хороша.

– Теперь я прощаю тебя, – сказал Дон Кихот, – и ты прости мне обиду, которую я тебе нанес, потому что над первыми своими порывами человек не властен.

– Это я вижу, – ответил Санчо, – вот так и во мне желание поговорить являет-

ся всегда первым порывом, и я не могу удержаться, чтобы хоть время от времени не высказать того, что мне подвернется на язык.

– Тем не менее, Санчо, – сказал Дон Кихот, – в будущем думай о том, что ты говоришь, так как повадился кувшин по воду ходить... Больше ничего не скажу.

– Что ж, – ответил Санчо, – на небе Бог, и Он видит все проделки и рассудит, кто больше грешит: я ли, говоря нехорошо, или ваша милость, поступая дурно.

– Довольно, – сказала Доротея, – идите, Санчо, поцелуйте руку своему господину, попросите у него прощения, и отныне впредь будьте осторожнее в ваших похвалах и в порицаниях, и не говорите дурно об этой сеньоре Тобосо, которую я не знаю, но всегда готова служить ей, и уповайте на Бога, что от вас не уйдет владение, где вам можно будет жить, как принцу.

Санчо подошел, опустив голову к своему господину и попросил у него руку, которую тот и протянул ему с большим достоинством, и после того как Санчо ее поцеловал, рыцарь благословил его и сказал, что им надо пройти немного вперед, так как он хочет кое о чем спросить его и должен переговорить с ним об очень важных вещах. Санчо так и сделал, и оба они прошли некоторое расстояние и тогда Дон Кихот сказал:

– С тех пор, как ты вернулся, у меня не было ни времени, ни случая расспросить тебя о многих подробностях посольства, порученного мною тебе, и об ответе, который ты мне привез; и теперь, когда судьба предоставила нам время и место, не отказывай мне в счастье, которое ты можешь доставить мне своими добрыми вестями.

– Пусть ваша милость спрашивает, что желает, – ответил Санчо, – и я дам точный ответ обо всем, и как приехал,

и как уехал; но умоляю милость вашу, сеньор мой, не будьте впредь столь мстительны.

– Отчего ты это говоришь, Санчо? – спросил Дон Кихот.

– Говорю это оттого, – ответил он, – что только что полученные мною удары скорее относились к ссоре, возбужденной между нами дьяволом прошлой ночью, чем к тому, что я сказал против сеньоры Дульсинеи, которую я люблю и чту, как святые мощи – хотя в ней и нет ничего святого, – только потому, что она принадлежит вашей милости.

– Оставь эти разговоры, Санчо, заклиная тебя твоею жизнью, – сказал Дон Кихот, – они возбуждают во мне досаду. Тогда я простил тебя, но ты хорошо знаешь, что принято говорить: за новый грех – новое покаяние.

Пока это происходило, они увидели, что по той же дороге, как и они, едет человек верхом на осле, и, когда он подъехал ближе, он показался им цыганом; но Санчо Панса, глаза и душа которого устремлялись за ослом, где бы он ни увидел его – едва заметил того человека, как в нем узнал Хинеса де Пасамонте. От цыгана, словно от нитки до клубка, он добрался и до своего осла, и ни мало не ошибся, так как именно на его Сером и ехал Пасамонте, который, чтобы его не узнали и желая продать осла, оделся цыганом, а язык их и многие другие он знал так же хорошо, как и свой родной. Санчо увидел его и узнал, и едва он его увидел и узнал, как громким голосом крикнул ему: «А, вор Хинесильо, оставь мое сокровище, отдай мне мою жизнь, не впутывайся в мою отраду; отдай моего осла, отдай мне мое счастье; беги, сын блудницы, убирайся, вор, и верни то, что не принадлежит тебе!». Не было нужды тратить столько слов и

ругательств, так как при первом же, Хинес прыгнул на землю, и, бросившись бежать быстрою рысью, казавшеюся скачкою, он в одну минуту удалился и исчез из глаз. Санчо подошел к своему Серому и, обнимая его, сказал: «Как тебе жилось, радость моя, дорогой мой Серый, мой добрый товарищ?». И вместе с тем, он целовал и ласкал его, точно это был человек: осел молчал и давал Санчо целовать себя и ласкать, не отвечая ему ни слова. Все остальные подошли к Санчо и поздравляли его с находкой Серого, особенно Дон Кихот, который ему сказал, что, тем не менее, он не возьмет назад своего приказа на выдачу трех ослят. Санчо поблагодарил его за это.¹

Пока оба они заняты были этими разговорами, священник сказал Доротее, что она действовала очень умно, как относительно содержания своего рассказа, так и относительно краткости его и сходства с рыцарскими книгами. Она ответила, что часто развлекалась чтением их, но не знала, где находятся провинции и морские гавани и потому наугад сказала, что высадилась в Осуне.

– Я это так и понял, – ответил священник, – и потому сейчас же поспешил сказать то, что я сказал, чем все и уладилось. Но не странно ли видеть, с какою легкостью этот несчастный идалго верит всем подобным выдумкам и лжи только потому, что на них отпечаток слога и характера нелепостей, заключающихся в его книгах?

– Конечно, это странно, – сказал Карденио, – и это столь редкостное и неслыханное явление, что, я не знаю, если б кто захотел изобрести и сочинить нечто такое, имел ли бы он настолько острый ум, чтобы успешно справиться с подобной задачей?

¹ Этот эпизод был вставлен во второе издание Дон Кихота.

– Тут есть еще одно обстоятельство, – сказал священник, – именно: оставив в стороне нелепости, которые этот добрый идальго говорит, когда коснутся области его безумия, если завести с ним речь о других вещах, он рассуждает как нельзя более правильно и выказывает ясный и трезвый ум, так что, лишь бы не трагивали его рыцарства, всякий счел бы его за вполне здравомыслящего человека.

Пока они вели этот разговор, Дон Кихот продолжал свой, и сказал Санчо:

– Предадим забвению¹, друг Панса, все наши размолвки, и скажи мне теперь, откинув всякую злобу и досаду, где, как, и когда увидел ты Дульсинею? Что она делала? Что ты сказал ей? Что она тебе ответила? Какое было выражение ее лица, когда она читала мое письмо? Кто переписал его тебе? Скажи мне все, что по твоему в данном случае заслуживает быть рассказанным, о чем следует спросить и на что ответить, ничего не прибавляя и не сочиняя, чтобы доставить мне удовольствие, и тем менее не урезывая ничего, чтобы не лишить меня его.

– Сеньор, – ответил Санчо, – если уж говорить правду, письма мне никто не переписывал, потому что у меня и не было никакого письма.

– Оно так и есть, как ты говоришь, – сказал Дон Кихот, – и я нашел у себя спустя два дня после твоего отъезда записную книжечку, в которой я написал письмо, и был очень огорчен, так как не знал, что ты сделаешь, когда увидишь, что у тебя нет письма. Я думал, что ты сейчас же вернешься, как только заметишь, что его нет у тебя.

– Я бы это и сделал, – сказал Санчо, – если бы не запомнил письма наизусть, когда ваша милость читала мне его, так что я пересказал его пономарю,

который с моих слов записал его точка в точку, говоря, что хотя он и читал много окружных посланий об отлучении от Церкви, но во всю свою жизнь не видел и не читал такого милого письма, как это.

– И ты его все еще помнишь наизусть Санчо? – спросил Дон Кихот.

– Нет, сеньор, – ответил Санчо, – потому что, пересказав его пономарю и видя, что оно больше не нужно, – я допустил себя забыть его. Единственное, что я еще помню, это «ограниченная» – я хотел сказать «неограниченная повелительница» и конец: «*Ваш до гроба Рыцарь Печального Образа*», а, в промежутке я вставил больше трехсот: *душа моя, жизнь моя и очи мои*.



¹ Echamos pelillos a la mar, – буквальный перевод «бросим волосики в море», испанское выражение, употребляемое теми, кто поспорился и помирился.



Глава XXXI

О приятном разговоре, происходившем между Дон Кихотом и его оруженосцем Санчо Пансой, а также и о других событиях.

Все это недурно, – сказал Дон Кихот, – продолжай. Ты приехал; что же делала эта королева красоты? Верно, ты ее застал нанизывающей жемчуг или вышивающей золотыми нитками какой-нибудь девиз для плененного ею рыцаря?

– Нет, – ответил Санчо, – я не застал ее за этим делом, а она просеивала два четверика пшеницы на заднем дворе своего дома.

– В таком случае, – возразил Дон Кихот, – считай, что зерна той пшеницы, к которым прикасалась ее рука, были жемчугом; заметил ли ты, друг, какого

была сорта та пшеница – белого цвета или темно-коричневого?

– Ни белого, ни коричневого, а красноватого, – ответил Санчо¹.

– Уверяю тебя, – сказал Дон Кихот, – что из этого сорта пшеницы, посеянной ее руками, без сомнения, выйдет самый лучший белый хлеб. Но продолжай. Когда ты передал ей мое письмо, поцеловала она его? Положила ли себе на голову?² Сделала ли что-либо достойное такого послания? Или что же она сделала?

– Когда я подошел к ней, чтобы передать ей письмо, – ответил Санчо, – я ее застал в самом разгаре работы; она

¹ Trigo candéal, trechel, rubion (белый, темно-коричневый и красноватый), эти три сорта пшеницы возделывались в Испании.

² Положить письмо себе на голову прежде, чем читать его, считалось в это время оказанием высшей почести написавшему письмо, а поцеловать его было, как и теперь, знаком любви.

просеивала порядочную кучу пшеницы, бывшей у нее в решете, и сказала мне: – Положите, друг, письмо на тот мешок, потому что я не могу прочесть его раньше, чем кончу просеивать все, что у меня тут в решете.

– Умная сеньора! – сказал Дон Кихот, – она должна была так поступить, чтобы потом на досуге прочесть письмо и насладиться им. Продолжай, Санчо. А в то время, как она была занята своим делом, какой вы с нею вели разговор? Что она спрашивала тебя обо мне? А ты, что ты ей ответил? Кончай и расскажи мне все как есть, до последней мелочи.

– Она ничего у меня не спрашивала, но я ей сказал, каким образом милость ваша, желая служить ей, совершаете епитимью, обнаженный от пояса вверх, поселившись среди этих гор точно дикарь, где вы спите на земле, не едите хлеба со скатерти, не чешете себе бороды и все только плачете и проклинаете свою судьбу.

– Сказав, что я проклинаю свою судьбу, ты плохо сказал, – заметил Дон Кихот, – потому что, наоборот, я благословляю свою судьбу и буду благословлять ее до конца моих дней за то, что она удостоила меня счастья любить такую высокую сеньору, как Дульсинея Тобосская.

– Такая она высокая, – сказал Санчо, – что, ей-Богу, она выше меня более, чем на ладонь.

– Как так Санчо? – спросил Дон Кихот. – Разве ты мерился с нею?

– Я мерился с нею вот каким образом, – ответил Санчо, – когда я ей помогал взвалить мешок пшеницы на осла, мы встали очень близко друг к другу, и я не мог не видеть, что она выше меня на добрую пядь.

– Не подлежит сомнению, – сказал Дон Кихот, – что этот ее высокий рост соединен с тысячью миллионов душевных прелестей, украшающих ее. Но одну вещь, Санчо, ты не можешь отрицать: когда ты к ней приблизился, наверное ты почувствовал какое-то необычайное благоухание, тончайший аромат, что-то такое, не знаю что, до того сладостное, что я не могу подобрать этому названия, – я говорю, благовоние или испарение, как будто ты вошел в магазин самого лучшего перчаточника¹.

– Могу сказать лишь то, – ответил Санчо, – что я почувствовал запах, смахивающий на нечто прелое, мужское, верно, оттого, что она, от усиленного движения, вспотела и очень обильно.

– Совсе не то, – сказал Дон Кихот, – а должно быть у тебя был насморк, и ты слышал собственный свой запах, потому что я-то хорошо знаю, чем благоухает эта роза среди шипов, эта лилия полей, эта разжиженная амбра.

– Все может быть, – ответил Санчо, – потому что часто от меня исходит тот же запах, который, как мне тогда показалось, исходил от ее милости, сеньоры Дульсинеи. Но в этом нет ничего удивительного, так как один черт похож на другого.

– Ну, продолжай, – сказал Дон Кихот, – она просеяла зерно и послала его на мельницу; что же сделала она, когда прочла мое письмо?

– Письма, – ответил Санчо, – она не читала, потому что сказала, что не умеет ни читать, ни писать; вместо того, она его разорвала на мелкие кусочки, говоря, что не желает дать прочесть его кому бы то ни было, чтобы в селе не узнали ее тайн, и что с нее довольно и устной моей передачи о любви вашей милости к ней и о

¹ В магазинах перчаточников действительно было очень сильное благоухание в те времена, потому что все перчатки были надушены.

необычайной спитимьи, которую вы совершаете ради нее. В заключение она мне велела сказать вашей милости, что целует вам руки и лучше желала бы видеть вас, чем писать вам. Итак, она умоляет вас и приказывает по получении настоящего ответа уехать из этой, поросшей вереском, дикой местности, перестать делать нелепости и тотчас же отправляться по дороге в Тобосо, если другое, более важное, дело не помешает, потому что у нее сильнейшее желание повидать вашу милость. Она очень смеялась, когда я ей сказал, что вас прозвали *Рыцарем Печального Образа*. Я спросил ее был ли у нее бискаец? Она ответила, что был, и что он прекрасный человек. Спросил я также о галерных невольниках, но она сказала, что до сих пор никого из них не видела.

– Пока все идет хорошо, – заявил Дон Кихот, – но скажи, какую драгоценность подарила она тебе на прощание за те известия, которые ты ей принес от меня? Ведь у странствующих рыцарей и их дам общепринятый старинный обычай – дарить оруженосцам, прислужникам или карликам, которые приносят известия рыцарям от их дам и дамам от их рыцарей, какую-нибудь драгоценность в награду за исполненное ими поручение.

– Очень может быть, что это так и есть, – сказал Санчо, – и я считаю этот обычай превосходным, но, должно быть, придерживались его лишь в былые времена, а теперь, как видно, в обычае дарить только кусок хлеба с сыром, потому что именно это дала мне сеньора Дульсинея через палисад двора, когда я прощался с нею. К тому же и сыр, по всем признакам, был только овечий.

– Она щедра бесконечно, – сказал Дон Кихот, – и если она не подарила

тебе драгоценной, золотой вещицы, то, без сомнения, потому только, что у нее ничего не нашлось под рукой, чтобы дать тебе. Но куличи хороши и после Пасхи¹; я повिдаюсь с ней, и все будет исправлено. Знаешь ли, Санчо, что меня удивляет? По-моему, ты туда и обратно будто слетал по воздуху, так как ты употребил лишь немногим более трех дней на путешествие в Тобосо и назад, а отсюда туда более тридцати миль. Из этого я заключаю, что мудрый волшебник, который заботится о моих делах и считается моим другом, – потому что, несомненно, он у меня есть и должен быть, иначе я не был бы хорошим странствующим рыцарем, – говорю, что подобный волшебник, должно быть, и помог путешествовать тебе незаметно для тебя самого, так как среди мудрецов бывают такие, которые берут странствующего рыцаря, спящего в постели, и он, не зная, как и каким образом, просыпается на следующий день более чем за тысячу миль от того места, где он ложился спать. Если б этого не было, то странствующие рыцари не могли бы помогать друг другу в минуту опасности, как они это делают на каждом шагу; например, бывает, что один сражается в горах Армении с Драконом, или со страшным чудовищем, или с другим рыцарем; он уже побежден в битве и близок к смерти, как вдруг, когда он этого менее всего ожидает, показывается вдали, на облаке, или на огненной колеснице, другой рыцарь, друг его, который только что перед тем был в Англии, и он помогает ему и спасает его от смерти; а ночью он снова у себя дома и ужинает с величайшим аппетитом, хотя обыкновенно от одного места до другого не менее, чем две или три тысячи миль. И все это совершается благодаря лишь

¹ Buenas son mangas después de pascua – испанская поговорка (в буквальном переводе – «рукава пригодятся и после Пасхи»), означающая, что подарок доставляет удовольствие, хотя будет получен и позже.

искусству и мудрости добрых волшебников, охраняющих храбрых рыцарей. Так что, друг Санчо, мне нетрудно поверить, что ты в такой короткий срок проехал отсюда в Тобосо и вернулся оттуда, потому что, как я уже говорил, должно быть, какой-нибудь дружески расположенный мудрец нес тебя на крыльях по воздуху, так что ты этого не заметил.

– Возможно, что оно так и было, – сказал Санчо, – потому что, по чести, Росинант бежал, точно осел у цыган, с ртутью в ушах¹.

– Не только с ртутью, – сказал Дон Кихот, – но еще и с целым легионом демонов, а это такой народ, который и сам путешествует, и, не утомляя, заставляет и других путешествовать, сколько им вздумается. Но, оставив это в стороне, как по-твоему должен я поступить теперь относительно приказа моей сеньоры явиться повидаться с нею? Хотя я и хорошо понимаю, что обязан покориться ее воле, но также вижу, что не могу этого сделать вследствие обещания, данного мною принцессе, которая едет с нами, и рыцарский закон принуждает меня исполнить свое слово прежде, чем свое удовольствие. С одной стороны, меня преследует и увлекает желание видеть мою сеньору, с другой – возбуждает и зовет данное мною обещание и та слава, которою я могу покрыть себя в этом предприятии. Но вот что я намерен сделать, – как можно быстрее ехать, чтобы поскорее добраться туда, где находится этот великан; а по приезде я отрублю ему голову и верну принцессе мирное обладание ее королевством, после чего немедленно поспешу обратно, чтобы увидеть свет, который озаряет все мои чувства, и затем представить ей, сеньоре моей, свои оправдания; она одобрит мое

промедление, так как убедится, что все совершается к возвеличению ее славы и известности, потому что то, что я достиг, достигаю и достигну оружием в этой жизни, вытекает всецело лишь из благо-расположения ее ко мне и из того, что я принадлежу ей.

– Ах, – воскликнул Санчо, – до чего голова вашей милости полна небылиц! Но скажите мне, сеньор, неужто милость ваша намерена совершить это путешествие ни за что, ни про что и оттолкнуть от себя и упустить такую богатую и знатную женитьбу, как эту, где в приданое дают королевство, имеющее, как я слышал, более двадцати тысяч миль в окружности, изобилующее всякими предметами, необходимыми для поддержания человеческого существования, и более обширного, чем Португалия и Кастилия вместе взятые? Замолчите ради Бога, устыдитесь того, что вы сказали, послушайтесь моего совета, простите меня, и венчайтесь тотчас же в первом местечке, где окажется священник, – а если нет, здесь перед нами наш лисенсиат, который оборудует это дело, что твой жемчуг. Подумайте, ведь, я уже в таких летах, что могу дать совет, и тот, который я теперь вам даю, самый что ни на есть подходящий, потому что воробей в руках лучше ястреба на лету, и кто, имея хорошее, дурное выбирает, за дурное пускай на себя лишь пеняет.

– Слушай Санчо, – сказал Дон Кихот, – если ты даешь мне совет жениться только для того, чтобы я тотчас же сделался королем, убив великана, и имел возможность оказать тебе милость и дать обещанное, то доведу до твоего сведения, что, и не женившись, я легко сумею исполнить твое желание, так как, прежде чем вступить в бой, я условлюсь, что, если я выйду из него победителем,

¹ В числе проделок, приписываемых цыганам, они, будто бы, вливают в уши мулам и ослам – особенно когда продают их – ртуть, чтобы животные бежали скорее.

хотя бы я и не женился на принцессе, она должна мне уделить часть королевства с тем, чтобы я мог передать ее, кому захочу; а получив эту часть, кому же могу я передать ее, как не тебе?

– Это ясно, – ответил Санчо, – пусть только ваша милость постарается выдать такую часть королевства, которая была бы поближе к морю, чтобы в случае, если там образ жизни мне не понравится, я мог усадить моих черных подданных на корабли и поступить с ними, как я уже раньше говорил. И пусть ваша милость не дает себе труда ехать теперь же повидаться с сеньорой Дульсинеей, а отправляйтесь убивать великана и покончим с этим делом, так как, клянусь Богом, мне сдается, что оно принесет нам большую честь и большую выгоду.

– Говорю тебе, Санчо, – сказал Дон Кихот, – что ты можешь положиться на меня, и я последую твоему совету относительно того, чтобы сначала ехать с принцессой, прежде чем отправиться повидаться с Дульсинеей, но предупреждаю, чтобы ты никому не говорил ни слова, – даже и тем, которые нас сопровождают, о том, что мы здесь с тобой обсудили и решили, так как, если Дульсинея столь сдержанна и не хочет, чтобы знали о ее чувствах, было бы нехорошо, чтобы я, или кто другой, обнаружил их.

– Если это так, – сказал Санчо, – почему же ваша милость посылает всех, кого победила рука ваша, представляться сеньоре Дульсинее, – ведь этим вы подписываете имя ваше в том, что она вам нравится и вы ее возлюбленный? И так как вы принуждаете тех, кто к ней является, падать на колени в ее присутствии и говорить, что они пришли от вашей милости выразить ей свою покорность, каким же образом можно скрыть ваши взаимные чувства.

– О, как ты глуп и прост! – сказал Дон Кихот. – Разве ты не видишь, Сан-

чо, что все это служит лишь к большему ее возвеличению? Ты должен знать, что в наших рыцарских обычаях считается великой честью для дамы иметь многих странствующих рыцарей, которые ей служат, причем мысли их не простираются дальше желания служить ей единственно ради нее самой, не ожидая иной награды за свои многочисленные и благородные стремления, кроме согласия ее признать их своими рыцарями.

– Такого рода любовью, – сказал Санчо, – как я слышал в проповедях, следовало бы любить Бога, ради Него Самого, а не оттого, что нас побуждает к этому надежда на блаженство или страх наказания. Хотя я желал бы любить Его и служить Ему за то, что Он в состоянии сделать.

– Черт бы побрал тебя, деревенщину, – воскликнул Дон Кихот. – Какие ты иногда умные речи говоришь! Можно бы подумать, что ты проходил курс наук.

– А по чести говоря, я не умею и читать, – ответил Санчо.

В это время маэсе Николас крикнул им подождать их немного, так как они желают остановиться и напиться воды из небольшого источника, бывшего вблизи. Дон Кихот остановился к великому удовольствию Санчо, который уже устал так много лгать и боялся, чтобы его господин не поймал его на каком-нибудь слове, потому что, хотя он и знал, что Дульсинея крестьянка из села Тобосо, но никогда в жизни не видел ее. Между тем Карденио переоделся в платье, бывшее на Доротея, когда они ее нашли, и хотя оно и не было особенно хорошо, но все же куда лучше того, которое он снял с себя. Они спешили к источнику и утолили, правда очень скудно, испытываемый ими сильный голод тою провизией, которою священник запаса на постоялом дворе. Пока они занимались этим, случилось,

что мимо них по дороге прошел мальчик; он с большим вниманием стал всматриваться в тех, которые расположились у источника, и минуту спустя подбежал к Дон Кихоту и, целуя ему ноги, громко заплакал, говоря:

– Ах, сеньор мой! Милость ваша не узнает меня? Вглядитесь хорошенько, я тот мальчик, Андрес, которого ваша милость отвязала от дуба, когда я был привязан к нему.

Дон Кихот узнал его и, взяв за руку, обратился ко всем присутствовавшим, говоря:

– Чтобы вы, сеньоры, могли видеть, как важно для всего мира существование странствующих рыцарей, которые уничтожают несправедливости и обиды, совершаемые злыми и наглыми людьми, живущими на свете, знайте, милости ваши, что несколько дней тому назад, проходя мимо одного леса, я услышал крики и жалобные стоны, которые, по-видимому, испускал огорченный и нуждающийся в помощи человек. Тотчас же я поспешил, движимый долгом, к тому месту, откуда, как мне казалось, неслись жалобные крики, и увидел привязанным к дубу вот этого мальчика, стоящего перед вами, чему я душевно рад, потому что он будет свидетелем и не даст мне ни в чем солгать. Я говорю, он был привязан к дубу, обнаженный с пояса до шеи, и крестьянин, его хозяин, – как я потом узнал, – нещадно бил его ремнем от вожжей своей кобылы. Лишь только я увидел это, я спросил у него причину столь жестокого наказания. Грубиян ответил, что он стегает мальчика, так как тот его слуга, и неисправности, в которых он повинен, происходят скорее от плутовства, чем от простоты; на что этот ребенок сказал: «Сеньор, он бьет меня лишь за то, что я спросил у него свое жалованье». Хозяин ответил, не знаю каких

ми объяснениями и оправданиями, которые, хотя я и слышал их, но не принял во внимание. Словом, я велел ему отвязать мальчика и заставил крестьянина дать клятву, что он возьмет его с собой и заплатит ему реал за реалом весь свой долг, да еще надушенными деньгами. Так ли все это было, сын Андрес? Заметил ли ты, как властно я приказывал ему и с каким смирением он обещал исполнить то, что я ему предписал, указал и потребовал от него? Отвечай; не смущайся и не сомневайся ни в чем. Расскажи этим сеньорам все, что случилось, чтобы они могли понять и убедиться, как велика польза, говорю я, от пребывания странствующих рыцарей на больших дорогах.

– Все, что ваша милость сказала, полнейшая истина, – ответил мальчик, – но дело кончилось как раз обратно тому, что ваша милость воображает.

– Как обратно? – спросил Дон Кихот. – Неужели тот негодяй не заплатил тебе?

– Не только не заплатил, – ответил мальчик, – но едва ваша милость выехала из лесу, и мы остались наедине с ним, он опять привязал меня к тому же дубу и снова нанес мне столько ударов ремнем, что содрал с живого меня кожу, как со святого Варфоломея, и при каждом ударе, которым стегал меня, он отпускал шутку или насмешку, потешаясь над вашей милостью, и если б я не чувствовал такой сильной боли, я бы смеялся над тем, что он говорил. Словом, он так со мной расправился, что я до сих пор лежал в больнице и лечился от побоев, нанесенных мне этим злым крестьянином. А виною всему вы, ваша милость, потому что, если б вы ехали своею дорогой и не явились бы туда, куда вас не звали, или не вмешивались бы в чужие дела, мой хозяин, угостив меня одною или двумя дюжинами ударов, удовольствовался бы этим и

тотчас же отвязал бы и заплатил бы, что должен. Но так как ваша милость оскорбила его без всякой нужды и наговорила ему столько неприятностей, в нем разгорелся гнев, и раз он не мог отомстить вам, то, лишь только он увидел, что мы остались одни, вся туча разразилась надо мной, да так, что, мне кажется, я во всю мою жизнь уже не буду снова человеком.

– Ошибка заключалась в том, – сказал Дон Кихот, – что я уехал; этого не следовало делать, пока он не заплатил тебе, так как долгий опыт должен был научить меня, что низкий человек не сдержит данного им слова, если увидит, что ему невыгодно сдерживать его. Но, ведь, ты помнишь, Андрес, что я клялся, если он тебе не заплатит, разыскать его, – и я разыщу, хотя бы он скрывался во чреве кита.

– Это правда, – сказал Андрес, – но пользы не вышло из этого.

– Увидишь теперь, выйдет ли из этого польза, – воскликнул Дон Кихот и, говоря это, поспешно встал и велел Санчо взнуздать Росинанта, который пасся на луку, пока они ели.

Доротеа спросила Дон Кихота, что он намерен делать. Он ответил, что намерен разыскать того низкого человека, чтобы наказать его за гнусное поведение и заставить его заплатить Андресу до последнего марavedиса, наперекор и назло всем негодяям в мире. Доротеа напомнила ему, что, сообразуясь с данным ей обещанием, он не может заняться каким-либо иным предприятием, пока ее дело не будет доведено до конца, и так как это ему известно лучше, чем всем другим, то пусть он успокоит сердце свое до возвращения из ее королевства.

– Вы правы, – ответил Дон Кихот, – и потому Андресу волей-неволей придется потерпеть до моего возвращения, как вы, сеньора, сказали; но я еще раз клянусь и снова обещаю не успокоиться

до тех пор, пока не отомщу за него и не заставляю ему заплатить.

– Не верю я в эти клятвы, – сказал Андрес, – и всякой мести в мире предпочел бы, чтобы у меня было с чем добраться теперь до Севильи. Дайте мне, если у вас найдется, что-нибудь поесть и взять с собой; и оставайтесь с Богом вы, милость ваша, и все странствующие рыцари, которые в наказание себе, пусть так же хорошо странствуют, как я это делаю из-за них.

Санчо взял из своих припасов кусок хлеба и кусок сыра и, давая их мальчику, сказал:

– Берите, брат Андрес, так как всякий из нас имеет долю в вашем несчастье.

– Какая же ваша доля в нем? – спросил Андрес.

– Вот в этой доле хлеба и сыра, которые я вам даю, – ответил Санчо, – потому что Бог знает, понадобится ли она мне или нет, так как я должен сказать вам, друг, что мы, оруженосцы странствующих рыцарей, подвержены великому голоду и злключениям, и еще и другим вещам, которые лучше чувствуются, чем говорят.

Андрес взял хлеб и сыр, и видя, что никто больше ничего ему не дает, опустил голову и пошел, как говорится, своею дорогой. Однако, уходя, он сказал Дон Кихоту:

– Прошу вас, ради самого Бога, сеньор странствующий рыцарь, если вы меня в другой раз встретите, даже если бы вы видели, что меня рубят на куски, – не вступайтесь за меня, не помогайте мне, но предоставьте меня моим несчастьям, потому что, как бы они ни были велики, еще больше будут те, что произойдут для меня от помощи вашей милости, и будьте вы прокляты Богом вместе со всеми странствующими рыцарями, когда либо жившими в мире. Дон Кихот собирался

встать, чтобы наказать мальчика, но тот бросился бежать так быстро, что никто не отважился догонять его. Дон Кихот был страшно смущен рассказом Анд-

реса, и остальные должны были делать большие усилия над собой, чтобы не рассмеяться и не привести его в полнейшее замешательство.





Глава XXXII

*В которой рассказывается о том, что случилось на
постоялом дворе со спутниками Дон Кихота.*

Кончив изысканный свой обед, они тотчас же оседлали лошадей и мулов и, не встретив на пути ничего, о чем бы стоило рассказывать, на следующий же день прибыли на постоялый двор, наводивший такой страх и ужас на Санчо Пансу, и хотя он не желал входить туда, но не мог этого избежать. Хозяин и хозяйка двора, их дочь и Мариторнес, увидав Дон Кихота и Санчо, вышли к ним навстречу с изъявлениями большой радости, которые рыцарь принял с важным видом, но одобрительно, и сказал им, чтобы они приготовили ему постель получше той, на которой он в прошлый раз спал. Хозяйка на это ответила: если он лучше заплатит, чем в прошлый раз, она даст ему постель годную для принца. Дон Кихот обещал заплатить; итак, они пригото-

ли ему сносную постель на том же чердаке, как и прошлый раз, и он тотчас же лег, потому что был очень утомлен и разбит душой и телом. Не успел он хорошенько запереть дверь, как хозяйка подбежала к цирюльнику и, схватив его за бороду, крикнула:

— Клянусь знаменiem креста, не дам вам больше пользоваться хвостом вместо бороды, вы должны мне вернуть мой хвост, а то мужнин валяется на полу, просто срам; я говорю о его гребне, который обыкновенно я втыкала в мой хороший хвост.

Цирюльник не желал отдавать, хотя она все сильнее тянула за свой хвост, пока лисенсиат не сказал, чтобы он отдал его, так как нет больше надобности прибегать к этой хитрости, потому что он может теперь открыться и явиться в настоящем своем виде, сказав Дон Ки-

хоту, что, когда воры – галерные невольники – ограбили его, он спасся бегством на этот постоялый двор. Если же рыцарь спросит об оруженосце принцессы, ему скажут: она послала его вперед известить живущих в королевстве о том, что и сама она на пути туда и с нею вместе и общий их освободитель. После этого цирюльник добровольно отдал хвост хозяйке двора и вместе с тем ей были возвращены и остальные предметы, которые она дала им для освобождения Дон Кихота.

Всех бывших на постоялом дворе поразила красота Доротеи, а также и привлекательная наружность пастуха Карденио. Священник позаботился, чтобы им принесли поесть, что найдется на постоялом дворе, и в надежде на лучшую плату хозяин поспешно приготовил им очень сносный обед. Во все это время Дон Кихот спал, и было решено не будить его, так как для него теперь сон был полезнее еды. За обедом они в присутствии хозяйна, его жены, дочери, Мариторнес и всех проезжих, вели разговор о странном поведении Дон Кихота и состоянии, в котором они его нашли. Хозяйка рассказала им, что произошло с рыцарем и погонщиком мулов на чердаке, и, оглянувшись, нет ли здесь случайно Санчо, и видя, что его нет, сообщила о подбрасывании его на одеяле, чем очень позабавила всех. Когда же священник сказал, что чтение рыцарских книг омрачило рассудок Дон Кихота, хозяин воскликнул:

– Не знаю, как это может быть, потому что, говоря по правде, насколько я понимаю, нет лучшего чтения на свете, и у меня здесь две или три подобные книги наряду с другими сочинениями, и действительно они вдохнули в меня новую жизнь, и не только в меня, но и во многих других, потому что по праздникам во время жатвы у меня собирается много жнецов, и всегда среди них есть кто-нибудь,

который умеет читать. Он и берет в руки одну из этих книг, а мы, – человек тридцать и более, – садимся вокруг него и слушаем с великим наслаждением, предохраняющим нас от тысячи седин. По крайней мере, про себя могу сказать, что когда я слышу о тех ужасных и бешеных ударах, которые наносят рыцари, меня берет желание поступить точно также, и я готов был бы слушать это чтение день и ночь.

– И я того же мнения, – вставила хозяйка, – потому что никогда в доме не бывает так спокойно, как в то время, когда вы слушаете чтение: вы так углублены в него, что тогда лишь забываете браниться со мной.

– Это правда, – сказала Мариторнес, – и, ей Богу, я тоже с большим удовольствием слушаю все эти вещи, которые так занимательны; особенно же, когда рассказывают, как сеньора обнимается со своим рыцарем под апельсиновым деревом, а дуэнья, поставленная сторожить их, чуть не умирает от зависти и испуга: – говорю, что все это сладко, как мед.

– А вы, молодая сеньора, что вы скажете? – спросил священник, обращаясь к хозяйской дочери.

– Не знаю, клянусь жизнью сеньор, – ответила она, – я слушаю также их чтение, и, говоря по правде, хотя и не понимаю ничего, но мне приятно слушать. Только мне нравятся не удары, доставляющие такое удовольствие моему отцу, а жалобы рыцарей, когда они в разлуке со своими дамами, и, право, иной раз я плачу от сострадания к ним.

– Значит, вы бы их утешили, милая девушка, – сказала Доротея, – если б они плакали из-за вас.

– Не знаю, что бы я сделала, – ответила девушка; – знаю только, некоторые из сеньор такие жестокие, что рыцари называют их тиграми, львами и тысячью

других отвратительных имен. И, Иисусе, не могу понять, что это за бездушные и бессовестные создания, которые, только чтобы не взглянуть на уважаемого всеми человека, допускают, чтобы он умер или сошел с ума; я не знаю также, к чему столько жеманства; если они это делают из скромности, пусть выходят за них замуж, потому что те ничего другого и не желают.

– Молчи, дитя, – сказала хозяйка, – по-видимому, ты знаешь немало об этих вещах, – а девушке не годится ни знать, ни говорить так много.

– Но этот сеньор спрашивал меня, и я не могла не ответить ему, – возразила девушка.

– Ну, хорошо, – сказал священник, – а теперь принесите мне те книги, сеньор хозяин, – я желал бы взглянуть на них.

– С удовольствием, – ответил хозяин и пошел к себе в комнату, откуда он принес старый, небольшой ручной чемодан, запертый замком с цепочкой и, открыв чемодан, он вынул из него три большие книги и несколько рукописей, написанных четким, красивым почерком. Раскрыв первую книгу, священник увидел, что это *дон Сиронхилио Фракийский*, вторая книга оказалась: *Феликсмарте де Иркания*, третья: *История великого капитана Гонсало Эрнандеса Кордуанского вместе с жизнеописанием Диего Гарсиа де Паредес*.

Как только священник прочел заглавие первых двух книг, он обратился к цирюльнику и сказал:

– Нам здесь недостает ключницы моего друга и его племянницы.

– Обойдемся и без них, – ответил цирюльник, – так как я и сам могу бросить книги во двор, или в камин, а, по правде говоря, в нем пылает славный огонь.

– Как, милость ваша желает сжечь мои книги? – спросил хозяин двора.

– Только эти две, – сказал священник – *дона Сиронхилио и Феликсмарте*.

– Разве книги мои, – спросил хозяин, – еретики или флегматики, что вы хотите их сжечь?

– Схизматики, хотели вы верно сказать, а не флегматики, – поправил его цирюльник.

– Так оно и есть, – ответил хозяин, – но если уж вы хотите сжечь какую-нибудь из книг, пусть это будет *Великий Капитан* или этот *Диего Гарсиа*; потому что я дал бы скорее сжечь сына своего, чем допустить, чтобы сожгли одну из тех двух книг.

– Брат мой, – сказал священник, – эти две книги лживы и полны нелепостей и вздоров, а книга о Великом Капитане истинная история и включает в себе описание деяний Гонсало Эрнандеса Кордуанского, который за многие и великие подвиги свои заслужил быть прозванным всем светом «Великим Капитаном» – громкое и славное прозвище, полученное им одним. А Диего Гарсиа де Паредес был знатный рыцарь, родом из города Трухильо, в Эстремадуре, очень доблестный воин, отличавшийся такой природной физической силой, что одним пальцем останавливал мельничное колесо на всем ходу; и, стоя с боевым палашом в руке при входе на мост, он задержал целое бесчисленное войско, не давая перейти ему через мост, и совершил еще и другие тому подобные дела, так что, если б он не сам их рассказал и не описал со скромностью рыцаря и летописца собственных своих подвигов, а написал бы о них кто-нибудь другой, свободный и беспристрастный, они заставили бы забыть подвиги Гектора, Ахилла и Роланда.

– Скажите-ка об этом моему отцу! – объявил хозяин. – Нашли чему



... стоя с боевым палахом в руке при входе на мост, он задержал целое
бесчисленное войско, не давая перейти ему через мост...

удивляться – остановить мельничное колесо! Клянусь Богом, милости вашей следовало бы прочесть то, что я читал о Феликсмарте де Иркания, который одним ударом меча рассек пополам пять великанов, точно они были сделаны из бобов, подобно маленьким монашкам, которыми забавляются дети¹; а в другой раз он напал на могучую и многочисленную армию, состоявшую из более чем миллиона шестисот тысяч солдат, вооруженных с ног до головы, и всех их обратил в бегство, как стадо баранов. И что скажете вы о добрейшем Сиронхилио Фракийском, который был такой доблестный и мужественный, как это видно из книги о нем, где рассказывается, что когда однажды он плыл по реке, из глубины воды показался огненный змей; а он, увидав его, бросился к нему, сел верхом на его чешуйчатых плечах и обеими руками зажал ему горло с такою силой, что змей, боясь быть задушенным, не нашел другого средства для своего спасения, как опуститься на дно реки, увлекая за собою рыцаря, который ни за что не хотел выпустить его. И когда они очутились на дне реки, рыцарь увидел себя в таких прекрасных дворцах и садах, что чудо, и тотчас же змей обратился в древнего старика, наговорившего ему таких вещей, каких никто никогда еще не слышал. Поверьте, сеньор, если бы вы слышали это, вы сошли бы с ума от удовольствия: и две фиги за вашего Великого Капитана и за этого Диего Гарсиа, о котором вы говорите.

Услышав это, Доротеа сказала потихоньку Карденио:

– Немногого недостает нашему хозяину, чтобы он явился под пару Дон Кихоту.

– И мне это тоже кажется, – ответил Карденио, – так как, судя по его словам, он уверен, что все, о чем рассказывается в его книгах, действительно случилось точь в точь, как в них описано, и разубедить его, что это не так, не удалось бы даже босоногим монахам.

– Заметьте, брат, – заговорил снова священник, – что никогда не было ни Феликсмарте, ни Дона Сиронхилио Фракийского, ни других подобных им рыцарей, о которых повествуется в рыцарских книгах, так как все в них лишь выдумка и измышление праздных умов, сочинявших такие книги с целью, на которую вы указали, именно для времяпровождения, как это и делают, читая, ваши жнецы, потому что, клянусь вам, на самом деле никогда на свете не было таких рыцарей и никогда в мир не случилось таких подвигов и нелепостей.

– Этою костью подманивайте другую собаку; – ответил хозяин, – думаете ли вы, что я не сумею сосчитать до пяти и не знаю, где мне жмет башмак? Пусть ваша милость не старается кормить меня кашкой, потому что, клянусь Богом, я во все не младенец. Нечего сказать, выдумала милость ваша уверять меня, будто все, что говорится в тех хороших книгах, – нелепость и ложь, когда они напечатаны с разрешения господ членов королевского совета, а это не такого рода люди, которые позволили бы печатать сплошную кипу лжи и столько сражений и очарований, от которых можно лишиться рассудка.

– Я уже говорил вам, друг, – ответил священник, – что это делается для развлечения праздных наших мыслей; и подобно тому, как в благоустроенных государствах дозволяется игра в шахма-

¹ Намек на забаву детей тех времен, которые рассекли бобовый стручок таким образом, что часть его свешивалась, наподобие монашеского клобука, а из другой выходило нечто в роде головы монаха.



... который одним ударом меча рассек пополам пять великанов...

ты, в мяч и в билиард¹, чтобы занять тех, которые не хотят, не должны, или не могут работать, точно также дозволяют печатать и издавать подобного рода книги, в уверенности, – как оно на самом деле и есть, – что никто не может быть столь невежественным, чтобы принять какую-либо из этих книг за истинную историю. И если бы теперь мне было бы дозволено, и мои слушатели желали бы этого, я многое мог бы сказать по поводу того, что должны заключать в себе рыцарские книги, чтобы считаться хорошими, и доставить пользу, а иным, быть может, даже и удовольствие. Но надеюсь, настанет время, когда мне можно будет сообщить мое мнение лицу, которое будет в состоянии помочь делу. А пока, сеньор хозяин, верьте тому, что я вам сказал; возьмите ваши книги, решайте сами, что в них ложь, что истина, и пусть они пойдут вам на пользу; дай только Бог, чтобы вы не захромали на ту же ногу, на которую хромает ваш гость Дон Кихот!

– Ну, уж нет, – ответил хозяин, – я не буду таким безумным, чтобы сделаться странствующим рыцарем, ведь я хорошо вижу, что теперь не в обычае то, что было обычаем в те времена, когда, как говорят, эти знаменитые рыцари странствовали по свету.

Среди этого разговора Санчо вошел в комнату и очень смутился и призадумался, услышав, что странствующие рыцари теперь уже не в обычае, и все рыцарские книги нелепость и ложь; он вознамерился в сердце своем дожидаться, чем кончится путешествие, и если оно не окажется столь счастливым, как он надеялся, в таком случае он бросит своего господина и вернется к жене и детям и к обычным своим занятиям.

Хозяин собрался унести свой чемоданчик и книги, но священник остановил его, говоря:

– Подождите, я хотел бы посмотреть, что это за бумаги, написанные таким хорошим почерком?

Хозяин вынул их и дал на просмотр священнику, который увидел, что рукопись состоит из восьми исписанных листов и на первой странице проставлено крупными буквами заглавие: «*Повесть о Безрассудно-любопытном*». Священник прочел про себя три или четыре строки и сказал:

– Право, заглавие этой повести кажется мне недурным, и мне пришла охота прочесть ее всю.

На это хозяин двора ответил:

– Ваше преподобие хорошо сделает, прочитав ее, так как я должен вам сказать, что некоторым проезжим, читавшим ее здесь, она доставила большое удовольствие, и они настойчиво просили ее у меня, но я не дал, рассчитывая возвратить ее тому, кто оставил здесь забытый им чемоданчик с этими книгами и бумагами, так как может случиться, что собственник их когда-нибудь вернется сюда. И хотя я знаю, что буду скучать без этих книг, но, клянусь честью, я возвращу их, потому что, пусть я и содержатель постоялого двора, но все же я христианин.

– Вы вполне правы, друг мой, – сказал священник, – тем не менее, позвольте мне списать эту повесть, если она мне понравится.

– С величайшей охотой, – ответил хозяин.

Пока они так вдвоем разговаривали, Карденио взял повесть и стал читать ее; она понравилась ему так же, как и священнику, и он попросил его прочесть ее вслух, чтобы все могли слышать.

¹ *Juegos de pelota y da truchos* – игры не совсем тождественные, но имеющие сходство с игрой в мяч и на билиарде.

– Я бы прочел ее – сказал священник, – но не лучше ли употребить время на сон, чем на чтение.

– Для меня, – объявила Доротея, – было бы достаточным отдыхом провести время, слушая чтение какого-нибудь рассказа, потому что я еще слишком взволнована, чтобы заснуть, хотя бы и настала для этого пора.

– В таком случае, сказал священник, – я прочту повесть хотя бы из одно-

го лишь любопытства, а может быть, она доставит нам и удовольствие.

Маэсе Николас попросил его о том же, также как и Санчо. Увидав это и приняв во внимание, что он доставит всем им удовольствие и сам его получит, священник сказал:

– Если это так, слушайте все внимательно, потому что повесть начинается следующим образом.





Глава XXXIII

В которой рассказывается повесть о Безрассудно-любопытном.

Во Флоренции, богатом и знаменитом городе Италии, в провинции, именуемой Тосканой, жили Ансельмо и Лотарио, два богатых и родовитых кабальеро, связанные такой тесной дружбой, что все, кто только их знал, называли их по преимуществу и для отличия лишь «два друга». Они были холосты, молоды, одинаковых лет и одинаковых привычек; все это было достаточною причиной, чтобы их обоих соединяла взаимная тесная дружба. Правда, Ансельмо был несколько более склонен к развлечениям любви, чем Лотарио, который предпочитал удовольствия охоты; но при случае, Ансельмо изменял своим вкусам, чтобы следовать наклонностям Лотарио, а Лотарио жертвовал своими удовольствиями, чтобы разделить удовольствия Ансельмо, и таким образом их желания были всегда так согласованы, что никакие хорошо проверенные часы не могли идти более равномерно. Ансельмо безумно влюбился в знатную и красивую девушку, жившую в том же городе, дочь столь почтенных родителей и которая сама по себе была столь достойна, что с одобрения своего друга Лотарио, без которого он ничего не предпринимал, Ансельмо решился просить ее себе в жены

у ее родителей и привел свое намерение в исполнение. Послом Ансельмо явился Лотарио, и он устроил дело к полнейшему удовольствию своего друга, так что тот через короткое время сделался обладателем предмета своих желаний. И Камилла была так довольна, выйдя замуж за Ансельмо, что не переставала возносить благодарение небу и Лотарио, при посредстве которого это счастье выпало ей на долю. Первые дни после свадьбы, — как это обыкновенно бывает, — прошли очень весело, и Лотарио продолжал посещать дом своего друга Ансельмо, стараясь, чем только мог, выказывать ему внимание, развлекать и занимать его. Но когда свадебные дни прошли, и поток посетителей и поздравлений уменьшился, Лотарио намеренно стал все реже и реже бывать в доме Ансельмо, так как ему казалось, — и всякому благоразумному человеку на его месте казалось бы то же самое, что не следует бывать так часто в доме женатых друзей и посещать их как в то время, когда они были еще холостыми, потому что, хотя настоящая и истинная дружба не может и не должна быть ни в чем подозреваема, тем не менее, честь женатого человека так щепетильна, что, по-видимому, ее могут оскорбить даже братья мужа, а тем более его друзья.

Ансельмо заметил отдаление Лотарио и горько жаловался на это, говоря, что если бы он знал, что женитьба его явится причиной нарушения прежнего тесного их сближения, он никогда не женился бы, и если за единодушие, существовавшее между ними когда он еще не был женатым, они заслужили столь сладостное название «два друга», он не допустит, чтобы без всякой иной причины, как только из желания Лотарио быть чрезмерно щепетильным, они лишились бы столь приятного и знаменитого прозвища. Поэтому, он его умоляет, – если только употребление подобного выражения между ними допустимо, – считать себя по-прежнему хозяином в его доме и приходить, и уходить, как в былые времена в уверенности, что у Камиллы нет другого желания и другой воли, кроме желания и воли ее мужа и, зная как горячо они любят друг друга, она очень смущена, видя в нем такую уклончивость. На эти и многие другие доводы, приведенные Ансельмо с целью уговорить Лотарио посещать по-прежнему его дом, Лотарио ответил так умно, благоразумно и убедительно, что Ансельмо остался доволен решением друга, и они условились, чтобы Лотарио обедал у Ансельмо два раза в неделю, а также и по праздникам. Но Лотарио решил делать лишь то, что он найдет наиболее совместимым с честью своего друга, доброе имя которого было ему дороже его собственного. Он говорил, – и говорил основательно, – что женатый человек, которому небо уделило красивую жену, должен столько же остерегаться и того, каких он друзей вводит к себе в дом, как и обращать внимание на подруг, с которыми его жена водит знакомство, потому что то, чего нельзя сделать и устроить на площади, в церквях, на гуляньях и богомольях – (все такие вещи, в которых не всегда мужья могут

отказывать своим женам) – устраивается и налаживается в доме подруги или родственницы, пользующейся наибольшим доверием. Лотарио говорил также, что женатым людям, каждому из них, надо бы иметь друга, который указывал бы на оплошности в их поведении, так как нередко бывает, что вследствие сильной любви мужа к жене, он или сам не замечает, или, боясь ее огорчить, не говорит ей, что она делает, или воздерживается делать, те или иные вещи, совершение которых или воздержание от которых может обратиться ему в честь или в нареkanie; и вот в подобных случаях, будучи предупрежден другом, он легко мог бы найти средство всему пособить. Но где же отыскать такого умного, преданного и верного друга, какого желал Лотарио? Я, право, этого не знаю: один лишь Лотарио был им, он, который с такою заботливостью и предусмотрительностью следил за честью друга и старался урезать, сбавить и сократить условленные дни для посещения его дома, чтобы свободный доступ такого богатого, родовитого и знатного молодого человека, одаренного, как он о себе думал, многими выдающимися качествами, в дом такой красивой женщины, как Камилла, не показался бы подозрительным праздной толпе и пронырливым, недоброжелательным взорам; потому что, хотя добродетель Камиллы и ее достоинства могли наложить узду на всякий злоречивый язык, Лотарио не хотел, чтобы даже пылинка сомнения упала на доброе ее имя и на доброе имя его друга. Вот почему большинство условленных дней он проводил в занятиях и посвящал делам, которые выдавали за неотложные, так что при свидании друзей большая часть времени проходила в жалобах с одной стороны и в оправданиях с другой.

Случилось затем, что однажды, когда они вдвоем прогуливались на лугу за го-

родом, Ансельмо обратился к Лотарио со следующими словами:

– Друг Лотарио, ты конечно думаешь, что за милости, которые оказал мне Бог, создав меня сыном таких родителей, какими были мои, и осыпав меня щедрой рукой, как дарами, которые называют природными, так и дарами счастья, – я не в состоянии ответить благодарностью, равной полученному мною благодеянию, в особенности же тому благодеянию, что Бог тебя дал мне другом, а Камиллу женой – два сокровища, которые я ценю, если не в той мере, как должен, то в той, как могу. Однако, обладая всеми благами, заключающими в себе суть земного благополучия, и которыми люди обыкновенно довольствуются и не могут не довольствоваться, я впал в уныние и чувствую себя самым неудовлетворенным человеком во всей обширной вселенной. Дело в том, что не знаю уже сколько дней, меня мучит и тревожит такое странное и необычайное желание, что я сам себе дивлюсь и наедине с собою обвиняю себя, браню и стараюсь заглушить и схоронить это желание от собственных моих мыслей; и мне до того тяжело открыть тебе эту тайну, точно я должен объявить о ней всему свету; но так как, в конце концов, она должна обнаружиться, я желаю доверить ее тайным архивам твоей души, убежденный, что вследствие этого и рвения, с которым ты, как истинный друг мой, постарайся мне помочь, я скоро освобожусь от причиняемых мне ею страданий, и радость моя благодаря твоим заботам достигнет той степени, до которой дошло мое томление благодаря моему безумию.

Лотарио был смущен словами Ансельмо и не знал, к чему клонит столь долгое вступление и предисловие; хотя он и перебирал в своем уме, какое бы желание могло так мучить его друга, все

же он оставался далеко позади истины; и чтоб поскорее избавиться от тревоги, вызванной недоумением, он сказал Ансельмо, что старания его искать окольные пути, чтоб открыть ему сокровенные свои мысли, – явное оскорбление их горячей дружбы, так как он может быть всегда уверен получить от друга или совет для отвлечения от них, или же поддержку для осуществления их.

– Ты прав, – ответил Ансельмо, – и в этой уверенности я сообщаю тебе, друг Лотарио, что меня мучит сомнение, действительно ли так добродетельна и совершенна моя жена Камилла, как я это думаю, а мне нельзя удостовериться в этом иначе, как только подвергнув ее испытанию, которое доказало бы неподдельность ее добродетели, как огонь доказывает неподдельность золота. Ведь я, о, друг мой, держусь того мнения, что женщина истинно добродетельна лишь постольку, поскольку она подвергалась или не подвергалась соблазну, и только та сильна, которая не поддавалась ни обещаниям, ни подаркам, ни слезам, ни беспрерывной докучливости упорных поклонников. Потому что, – добавил Ансельмо, – как восхвалять женщину за то, что она добродетельна, если никто не соблазнял ее не быть добродетельной? Какая же заслуга, если сдержанна и скромна та, которой не представился случай вести себя легкомысленно, или знающая, что у нее такого рода муж, который, застигни он ее на первом проступке, тотчас же убьет ее? Итак, ту, которая добродетельна ради страха или за неимением благоприятного случая, я не могу уважать наравне с женщиной, вышедшей из всех искушений и преследований, заслужив венец победы. По этим и многим другим причинам, которые я бы мог привести тебе, чтоб подкрепить свое мнение, – я желаю, чтобы жена моя Камилла прошла

через эти испытания, чтобы она окрепла и очистилась в огне соблазна и ухаживаний человека, достойного добиваться ее любви. И если она, как я надеюсь, выйдет из этой битвы с пальмой в руках, я буду считать счастье мое не имеющим себе равного, и буду в праве сказать, что чаша моих желаний переполнена и что мне на долю досталась та редкостная жена, про которую мудрец говорит: *кто найдет ее?* А если бы случилось обратное тому, что я думаю, удовольствие видеть, насколько мнение мое оказалось верным, поможет мне безропотно перенести страдание, причиненное столь дорого купленным опытом. И предположив, что ни одно из твоих возражений против моего намерения не убедит меня и не отвратит от приведения его в исполнение, — я просил бы тебя, о, друг Лотарио, согласиться быть орудием осуществления столь пылкого моего желания; и я сам доставляю тебе случай это сделать, ничего не упустив из всего, что я найду нужным для ухаживания за женщиной добродетельной, скромной, бескорыстной и всеми уважаемой. Побуждает меня, между прочим, доверить тебе столь трудное предприятие такая мысль: если Камилла окажется побежденной, ты не доведешь своей победы до последнего и крайнего предела, а зайдешь лишь настолько далеко, что будет сочтено как бы совершившимся то, что могло быть совершено. Таким образом и я буду оскорблен не более как только лишь в намерении, и бесчестие мое будет похоронено в добродетели твоего молчания, а оно, — я это хорошо знаю, — во всем, что касается меня, будет вечным, как безмолвие смерти. Итак, если ты желаешь, чтобы я жил жизнью, заслуживающего этого названия, ты должен немедленно вступить в эту любовную битву, не равнодушно и лениво, а со всем рвением

и пылом, требуемым моим намерением и с преданностью, которую дружба наша обеспечивает мне.

Вот те доводы, которые Ансельмо привел Лотарио, слушавшему их так внимательно, что кроме нескольких слов, приведенных нами, он не раскрыл рта, пока Ансельмо не кончил. Увидав, что тот ничего больше не говорит, Лотарио, после того, как он довольно долго всматривался в него, словно в предмет, никогда еще не виданный им, вызывающий в нем удивление и ужас, сказал:

— Я не могу поверить, о, друг Ансельмо, что только что слышанное мною, не более как шутка; потому что, если бы я думал, что ты говоришь серьезно, я не дал бы тебе продолжать и прервал бы длинную твою речь, перестав тебя слушать. Мне кажется, что, по-видимому, или ты меня не знаешь, или я тебя не знаю. Но, нет, я хорошо знаю, что ты Ансельмо, и ты знаешь, что я Лотарио. Беда лишь в том, что мне приходится думать: ты не тот Ансельмо, каким был, а тебе, вероятно, вообразилось, будто я не тот Лотарио, каким я должен быть; потому что вещи, сказанные мне тобою, не такого рода, какие мой друг Ансельмо мог бы сказать, и те, которые ты требуешь от меня, не такого рода, какие можно было бы требовать от Лотарио, которого ты знаешь. Ведь истинные друзья должны испытывать своих друзей и пользоваться их дружбой, как говорит поэт *usque ad aras*¹, это значит, они не должны пользоваться дружбой для дел противных Богу. И если так думал о дружбе язычник, еще более приличествовало бы думать так христианину, знающему, что нет той человеческой дружбы, ради которой можно было бы жертвовать дружбой с небом. Если же друг переходит далеко за должные границы и пренебрегает

¹ Это говорит Плутарх в речи Перикла к другу.

своими обязанностями к небу для выполнения обязанностей дружбы, то этого не следует делать ради пустяжных и не важных вещей, а только ради таких, в которых затронута честь и жизнь. Теперь скажи мне, Ансельмо, какая из этих двух вещей у тебя в опасности, чтобы я отважился в угоду тебе, совершить столь отвратительное дело, как то, которое ты требуешь от меня? Ни честь, ни жизнь твоя не в опасности, а напротив, ты, – насколько я тебя понял, – желаешь, чтоб я постарался и приложил все усилия свои лишить тебя и жизни, и чести, а также и себя самого, потому что, отнимая у тебя честь, ясно, что я отниму у тебя и жизнь, так как человек, лишившийся чести, хуже мертвого. Если же я, – как ты этого требуешь, – сделаюсь орудием столь великого для тебя несчастья, разве, таким образом, я не окажусь обесчещенным, а следовательно и лишенным жизни? Выслушай меня, друг Ансельмо, и имей терпение не отвечать, пока я не скажу всего, что мне придет на ум относительно твоего неотступного желания, так как времени у нас хватит на то, чтобы ты мне возражал, а я бы тебя слушал.

– Хорошо, я согласен, – сказал Ансельмо, – говори, что желаешь.

И Лотарио продолжал, говоря:

– Мне кажется, Ансельмо, что состояние твоего ума такое же, какое свойственно маврам, которых нельзя убедить в заблуждениях их вероучения ни выдержками из Св. Писания, ни доводами, основанными на заключениях разума, или на догматах веры; а надо привести им осязаемые, легкие, понятные, несомненные и убедительные примеры с математическими доказательствами, которых нельзя отрицать, как, например, когда мы говорим: *если от двух равных величин отнять равные же части, то и остатки будут равны*. И если они этого не пой-

мут на словах, как на самом деле оно и бывает, – то нужно показать им наглядно, – руками, и поставить перед глазами, но и при всем этом, никто не может убедить их в истинах нашей святой религии. И такой же способ и образ действия мне придется употребить теперь с тобой, потому что желание, родившееся в тебе, столь изумительно и столь далеко от всего, имеющего хоть тень разумности, что я считаю потерянным время, которое пришлось бы потратить, убеждая тебя в твоём безрассудстве, так как пока я не хочу называть его другим именем. И даже я склонен предоставить тебя твоему ослеплению, в наказание за твое безрассудное желание, но дружба, которую я к тебе чувствую, не позволяет мне так сурово поступить с тобой и обязывает не покидать тебя в опасности, явно грозящей тебе гибелью. А чтобы ты лучше понял это, – скажи мне, Ансельмо, ты ли говорил, чтобы я соблазнил целомудренную, искушал бы добродетельную, подкупил бы бескорыстную и преследовал ухаживаниями благоразумную? Да, ты говорил мне это. Но раз ты знаешь, что у тебя скромная, добродетельная, бескорыстная и благоразумная жена, чего тебе еще надо? И если ты думаешь, что из всех моих нападений, она выйдет победительницей, – как без сомнения это и случится, – какими же лучшими титулами собираешься ты потом наградить ее, которых бы она не имела уже теперь? Или же, делается ли она лучше потом, сравнительно с тем, что она теперь? Одно из двух – или ты не считаешь ее такой, как говоришь; или же, сам не знаешь, чего хочешь. Если ты не считаешь ее такой, как говоришь, зачем же ты желаешь испытывать ее, а не обращаешься с нею, – с дурной женщиной, – как тебе придет на ум? Если же она так добродетельна, как ты думаешь, то нелепо производить испытания над не-

сомненной истиной, потому что и после испытания ценность ее не возвысится, а останется прежней. Итак, вывод ясный: предпринимать дело, из которого может произойти скорей вред, чем польза, свойственно лишь неосторожным и безрассудным людям, тем более, если они жаждут взяться за то, к чему никто их не принуждает и не приневоливает, и уже издали видно, что браться за такое дело — чистейшее безумие. Трудные подвиги предпринимаются или для Бога, или для мира, или для обоих вместе. Те подвиги, что предпринимаются для Бога, совершались святыми, стремившимися жить жизнью ангелов в человеческой плоти. Те подвиги, что предпринимаются для мира, совершаются людьми, которые не боятся переплывать безбрежные моря и пребывать в чужих странах и среди чужеземных народов, чтобы приобрести богатства или то, что называют дарами счастья. Те подвиги, что совершаются и для Бога, и для мира, это подвиги храбрых солдат, которые, едва они увидят в неприятельском валу отверстие, сделанное хотя бы лишь одним пушечным ядром, отбросив всякий страх, не колеблясь и не взвешивая явно угрожающей им опасности, приподнятые на крыльях желания сразиться за свою веру, народ и короля, — отважно бросаются в самую середину тысячи перекрестных смертей, ожидающих их. Вот те подвиги, которые обыкновенно предпринимаются, и предпринять их доставляет честь, славу и выгоду, хотя они и полны трудностями и опасностями. Но то дело, о котором ты говорил и которое ты желаешь предпринять и привести в исполнение, не приобретет тебе ни славы перед Богом, ни богатства, ни известности среди

людей, потому что, если ты добьешься успеха в задуманном тобой деле, от этого ты не сделаешься ни счастливее, ни богаче, ни более уважаемым, чем теперь. Если же случится обратное тому, на что ты надеешься, ты ввергнешь себя в самое большое горе, какое только можно вообразить себе, потому что тебе не будет тогда легче от мысли, что никто не знает о случившемся с тобой несчастье, так как чтоб мучиться и убиваться достаточно и того, что ты сам будешь знать о нем. В подтверждение этой истины приведу тебе строфу знаменитого поэта Луиджи Тансило¹, помещенную в конце первой части его *Слез Святого Петра*, в которой говорится следующее:

Растет печаль, растёт и стыд
 глубокий

В душе Петра, лишь новый день
 настал; —

Был он один, — и все ж укор
 жестокий

Вонзился в грудь за то, что в грех он
 впал:

Томит того, в ком дух живет
 высокий,

Не страх, что грех его пред миром
 явным стал,

Нет, пред самим собой он от стыда
 сгорает, —

Хоть о грехе его одно лишь Небо
 знает.

Также и ты не облегчишь тайной
своего горя; напротив, ты беспрерывно
будешь плакать, если не слезами, лью-
щимися из глаз, то кровавыми слезами
сердца, какими плакал тот простодуш-
ный доктор, о котором рассказывает наш
поэт, будто он сделал опыт с волшебной

¹ Луиджи Тансило – неаполитанский поэт. Написал он свою поэму, будто бы ради того, чтобы загладить грех своей молодости – сочиненную им непристойную поэму, озаглавленную *Il Vendemmiatore* – «Собирающий винограда».

вазой, от которого осторожный Рейнальдос¹, одаренный большим благоразумием, отказался; и хотя это только поэтический вымысел, в нем скрыто, однако, нравственное указание, заслуживающее того, чтобы его отметили, поняли и подражали ему. А тем более то, что я сейчас намерен тебе сказать, окончательно должно убедить тебя, до чего велика ошибка, которую ты желаешь совершить. Скажи мне, Ансельмо, если бы небо или счастливая судьба сделали тебя обладателем и законным собственником великолепного алмаза, красотой и свойствами которого все видевшие его ювелиры были бы вполне удовлетворены и в один голос и с общего согласия признали бы, что по качествам, чистоте воды и блеску он достигает высшего совершенства, мыслимого для подобного рода драгоценного камня, и если бы ты и сам думал тоже, не зная ничего противного тому, – благоразумно ли было бы, если бы у тебя явилось желание взять этот алмаз, положить его между молотом и наковальней и ударами, нанесенными изо всей силы, испытать, действительно ли он так крепок и прекрасен, как говорят? А тем более еще, если бы ты это желание привел в исполнение, потому что, даже допустив, что камень выдержал бы столь нелепое испытание, разве ценность или красота его от этого увеличилась бы? А если бы он разбился, – что тоже могло бы случиться – не все ли было бы потеряно? Конечно, да, и весь мир считал бы собственника алмаза глупцом. Так прими же во внимание, Ансельмо друг, что и Камилла – прекраснейший алмаз, как в твоей оценке, так и в оценке других, и неблагоразумно подвергать его возможности разбиться, потому что, если б он и остался цел, его ценность от этого нисколько не возвыси-

лась бы; а если б Камилла поддавалась и не устояла, подумай, как бы ты жил без нее, и как справедливо пришлось бы тебе укорять себя за то, что ты был причиной ее и собственной своей гибели. Не забывай, что в мире нет той драгоценности, стоимость которой могла бы сравниться с добродетельной и целомудренной женщиной, и что честь женщин зиждется на добром мнении, которое имеют о них. А так как доброе мнение о твоей жене таково, что честь ее стоит на самой высшей ступени, как ты сам знаешь, почему же ты хочешь подвергать сомнению эту истину? Знай, друг, что женщина несовершенное существо, и не только не следует ставить на ее пути преграды, о которые она может споткнуться и упасть, но скорее нужно было бы удалить и отбросить с ее дороги всякие камни преткновения, чтобы она без затруднения и легко могла бы достигнуть совершенства, которого ей недостает, и которое состоит в том, чтобы она была добродетельной. Естествоиспытатели рассказывают нам о горностае, – маленьком зверьке, мех которого отличается необыкновенной белизной, – что когда охотники хотят его поймать, они прибегают к следующей уловке. Зная места, где он обыкновенно пробегает, и где он должен пройти, они обмазывают их грязью, и потом спугивают его, и гонят до того места, и как только горностай приблизится к грязи, он останавливается и дает себя взять и захватить, лишь бы только не пройти по грязи и не запачкать свою незапятнанную белизну, которую он ценит выше свободы и жизни. Добродетельная и целомудренная женщина – горностай, и белее и чище снега добродетель целомудрия, и кто не желает, чтобы она ее потеряла, а, напротив, сохранила бы и сберегла, тот должен поступать с

¹ Ссылка на рассказ в 42 и 43 песне «Orlando Furioso», где говорится об опыте с волшебной вазой.

ней иначе, чем поступают с горностаем: на ее пути не следует бросать грязи подарков и услуг докучливых поклонников, потому что, быть может – и даже без всякого «быть может» – она не одарена такой добродетелью и силой, чтобы быть в состоянии попирать ногами эти затруднения и перешагнуть через них. Поэтому необходимо их устранять с ее пути и ставить перед ее глазами чистоту добродетели и красоту, заключающуюся в доброй славе. Добродетельная женщина подобна также зеркалу из чистого и блестящего хрусталя; но оно может быть запятнано и может потускнеть от всякого дыхания, коснувшегося его. С целомудренной женщиной надо обращаться, как со святыней – боготворить ее и не дотрагиваться до нее. Нужно охранять и ценить добродетельную женщину, как охраняют и ценят прекрасный сад, полный цветов и роз, собственник которого не позволяет, чтоб гуляли в его саду или дотрагивались до цветов; достаточно и того, если издали и через железную решетку наслаждаются благоуханием и красотой его. В заключение скажу тебе стихи, которые я только что вспомнил, – слышал я их в одной современной комедии, – и которые кажутся мне весьма подходящими к тому, о чем у нас идет речь. Один осторожный старик советовал другому – отцу молодой девушки – присматривать за нею, охранять ее и держать взаперти; а в числе других доводов он приводит и следующие:

Если женщина похожа
На стекло, – то добиваться,
Ей судьба иль нет сломаться, –
Не умно и не пригоже.
Столь хрупка она, что право
Подвергать неосторожно
Ломке то, что невозможно

Починить, – плоха забава.
Так велось и так ведется, –
Нравы стали не иными:
Где Данаи¹, там над ними
Ливень золота польется.

Все, что я говорил тебе до сих пор, Ансельмо, касалось только одного тебя; теперь же следует тебе выслушать и кое-что из того, что касается меня; и если я буду слишком многоречив, прости меня, потому что лабиринт, в который ты попал, и из которого желаешь, чтоб я вывел тебя, требует этого. Ты считаешь меня своим другом и желаешь лишить чести, то есть сделать вещь, противную всякой дружбе, и ты не только пытаешься это сделать, но еще хочешь, чтобы и я отнял у тебя честь. Что ты хочешь лишить меня чести ясно, потому что, когда Камилла увидит, что я ухаживаю за нею, как ты этого желаешь, она, несомненно, сочтет меня человеком бесчестным и безнравственным, так как я намереваюсь делать и делаю вещь, столь противоречащую всему, к чему обязывает меня мой долг перед самим собой и перед дружбой к тебе. А что ты требуешь, чтобы я отнял у тебя честь, не подлежит сомнению, – ведь, как только Камилла увидит, что я домогаюсь ее, она должна будет подумать, не заметил ли я в ней какого-нибудь легкомыслия, давшего мне смелость открыть ей мои низкие намерения; а раз она сочтет себя обесчещенной, ее бесчестие, так как ты принадлежишь ей, коснется и тебя. Отсюда и происходит то, что так часто бывает, а именно: мужа неверной жены – хотя бы он ничего и не знал, и не подавал повода своей жене быть не тем, чем она должна быть, и даже не в его власти было предотвратить свое несчастье заботливостью и осторожностью, тем не менее, называют и именуют позорной и унизи-

¹ Данаая, как известно из мифологии, была молодая царевна, к которой в комнату, сделанную из меди, вседержитель Зевс проник в виде золотого дождя.

тельной кличкой, и те, которые знают о дурном поведении его жены, смотрят на него некоторым образом глазами презрения, вместо того, чтобы смотреть глазами сострадания, хотя они и видят, что не по его вине, а по желанию недостойной его подруги он попал в такое несчастье. Но я хочу объяснить тебе причину, почему по справедливости считается обесчещенным муж дурной жены, хотя он и не знает об ее измене, не виноват в том, не принимал участия и не подавал повода; и не скучай, слушая меня, потому что все это пойдет на пользу тебе. Когда Бог создал первого нашего праотца в земном раю, Он, – по словам Священного Писания, – погрузил Адама в сон и, пока тот спал, вынул у него из левого бока ребро, из которого создал нашу праматерь Еву. Лишь только Адам проснулся и увидел ее, он воскликнул: – *«Это плоть от плоти моей и кость от костей моих»*. И Бог сказал: *«Оставит человек отца и мать, и будут два в плоть едину»*. Тогда же и было учреждено святое таинство брака, и узы его таковы, что порвать их может одна лишь смерть. Сила и свойство чудотворного этого таинства так велики, что оно двух различных людей обращает в единую плоть, а в счастливом браке достигается и более того, – потому что, хотя у них две души, но имеется одна лишь воля. Из всего этого следует, что, так как плоть жены едина с плотью мужа, то и пятно, падающее на жену, или проступки, в которых она повинна, переходят и на плоть ее мужа, хотя бы, – как я уже говорил, – он и не подавал никакого повода для такого зла. Подобно тому, как боль ноги или другой какой части человеческого тела ощущается всем телом, состоящим из одной и той же плоти, и голова чувствует ушиб щиколки, не быв причиной этого ушиба, так и муж разделяет бесчестие своей жены, составляя с

нею одно целое. А так как честь и бесчестье на свете зарождаются и берут начало от плоти и крови, – а проступки изменившей мужу жены такого же рода, то и неизбежно, что часть ее позора падает и на мужа, и он считается обесчещенным, хотя ничего и не знал о том. Подумай также, о, Ансельмо, какой ты подвергаешь себя опасности своим желанием смутить покой, в котором пребывает добродетельная твоя жена! Подумай, из-за какого суетного и безрассудного любопытства ты хочешь разбудить страсти, которые теперь еще мирно дремлют у целомудренной твоей супруги! Прими в соображение: выиграть ты можешь лишь очень мало, а проиграть так много, что я умолчу об этом, потому что у меня не хватает слов исчислить величину твоего проигрыша. Если же всего, что я сказал, недостаточно для того, чтоб отвратить тебя от твоего дурного намерения, ищи другое орудие своего бесчестия и несчастья, так как я отказываюсь им быть, хотя бы я и потерял из-за этого твою дружбу, а это самая большая потеря, которую я могу вообразить себе.

Сказав это, добродетельный и благоразумный Лотарио умолк, а Ансельмо так смутился и так задумался, что долгое время ничего не мог ответить. Но, наконец, он сказал:

– Ты видел, друг Лотарио, с каким вниманием я слушал все, что ты нашел нужным сказать мне, и из твоих доводов, примеров и сравнений я убедился как в большом твоем уме, так и в высочайшей степени истинной дружбы, достигнутой тобой, и, вместе с тем, я и сам вижу и сознаю, что если не последую твоему совету, а поставлю на своем, я уклонюсь от добра и пойду навстречу злу. Имея в виду все это, ты должен принять во внимание, что я в настоящее время страдаю болезнью, которую страдают некоторые

женщины, одолеваемые страстным желанием есть землю, известку, уголь и еще другие худшие вещи, отвратительные на вид, а тем более на вкус. Поэтому надо прибегнуть для излечения моего к какому-нибудь искусственному средству и этого можно легко достичь, если ты только начнешь, хотя бы лишь слабо и притворно, ухаживать за Камиллой, которая, ведь, не может быть такой хрупкой, чтобы ее добродетель сдалась при первом же нападении. Одним этим началом я готов удовольствоваться, а ты исполнишь то, к чему тебя обязывает наша дружба, – не только вернув мне жизнь, но и доказав, что честь моя осталась при мне. И ты обязан это сделать уже по единственной той причине, что, раз я решил и бесповоротно решил произвести этот опыт, ты не должен допустить, чтоб я открыл мое безумие кому-либо другому, чем я мог бы подвергнуть опасности мою честь, которую ты так стараешься уберечь. И если твоя, пока ты будешь ухаживать за Камиллой, несколько пострадает в ее глазах, то важность невелика или даже это и совсем не важно, потому что, вскоре, – лишь только мы убедимся, что Камилла столь совершенна, как мы надеемся, ты можешь открыть ей всю правду относительно нашей хитрости, чем и вернешь себе прежнее ее уважение к тебе. Итак, виду того, что ты рискуешь столь малым, а доставишь мне так много удовольствия, рискуя столь малым, не отказывайся исполнить мою просьбу, как бы ни были велики затруднения, которые еще могут представиться тебе, потому что – как я уже говорил, – если ты только начнешь дело, я буду считать его законченным.

Увидав твердую решимость Ансельмо, и не зная, какие еще представить ему примеры, или какие еще привести доводы, чтоб убедить его отказаться от своего намерения, Лотарио, услышав его угрозу

открыть другому свой дурной умысел, – во избежание большего зла, – решил сделать ему удовольствие и исполнить то, о чем Ансельмо его просил, намереваясь и имея в виду повести дело так, чтобы, не смутив чувств Камиллы, удовлетворить Ансельмо. Поэтому в ответ он попросил его никому другому не сообщать о своем намерении, так как он берет на себя это предприятие и приступит к нему, лишь только пожелает его друг. Ансельмо нежно и с любовью расцеловал его и так благодарил за его согласие, точно он получил величайшее благодеяние. Они условились со следующего же дня приступить к делу, и Ансельмо обещал доставить Лотарио случай и время поговорить наедине с Камиллой, а также дать ему деньги и драгоценности на подарки и подношения ей. Он посоветовал ему устраивать ей серенады и писать в честь ее стихи, а если он не желает взять на себя труд сочинять их, Ансельмо сам это сделает. Лотарио согласился на все, хотя с совершенно иным намерением, чем думал его друг; и, уговорившись таким образом, они вернулись в дом к Ансельмо, где нашли Камиллу, ждавшую с тревогой и волнением возвращения мужа, так как на этот раз он вернулся позже обыкновенного. Лотарио ушел домой, а Ансельмо остался у себя, настолько же довольный, насколько Лотарио был озабочен, не зная, что предпринять, чтоб с честью выпутаться из этого безрассудного дела. Но в ту же ночь он придумал средство, как провести Ансельмо, не оскорбив Камиллу. На другой день он пошел обедать к своему другу, и был хорошо принят Камиллой, которая, зная доброе расположение к нему своего мужа, радушно приветствовала и угощала его. Когда кончили обедать и убрали со стола, Ансельмо сказал Лотарио, чтобы он оставался с Камиллой, так как ему надо уйти из дому по безотлагательному

делу, и вернется он через полтора часа. Камилла просила мужа не уходить, а Лотарио предложил сопровождать его, но Ансельмо не согласился и еще настойчивее стал упрашивать Лотарио остаться его ждать, потому что ему нужно переговорить с ним об очень важной вещи. И Камилле он также сказал, чтобы до возвращения его она не оставляла Лотарио одного. Словом, он сумел так хорошо представить необходимость – основательную или неосновательную – отлучиться из дому, что никому и в голову не пришло бы, что все это вымысел.

Ансельмо ушел, а Камилла и Лотарио остались в столовой наедине, потому что прислуга тоже отправилась обедать. Таким образом, Лотарио очутился, – как этого желал его друг, – на поле битвы лицом к лицу с неприятелем, который одной лишь красотой своей мог бы победить целый эскадрон вооруженных рыцарей. Судите же сами, имел ли причину Лотарио опасаться его. Но он ничего другого не сделал, как только облокотился на ручку кресла, положил щеку на ладонь и, попросив у Камиллы извинение за свою невежливость, сказал, что желал бы немного отдохнуть, пока не вернется Ансельмо. Камилла ответила, что он может удобнее отдохнуть на подушках¹, чем в кресле, и просила его идти туда и лечь. Лотарио отказался и остался спать, где был, пока не вернулся Ансельмо, который застав Камиллу в ее комнате, а Лотарио спящим, подумал, что его отсутствие длилось так долго, что у них обоих хватило времени наговориться и даже поспать. С нетерпением ждал он, когда проснется Лотарио, чтобы уйти с ним из дому и спросить его, как ему повезло.

Все случилось, как он желал. Лотарио проснулся, тотчас же они оба вышли из дому; и Ансельмо спросил друга о том, что ему хотелось знать. Лотарио ответил, будто ему не показалось благоразумным в первый же раз открыться вполне Камилле и потому он ограничился лишь восхвалением ее красоты, сказав, что во всем городе только и разговору, что о ее прелестях и уме, а это, – как он думает, – хорошее начало, чтобы, мало помалу, заручиться ее благосклонностью и расположить ее слушать его с удовольствием и в следующий раз; он прибегнул к той же уловке, которой пользуется злой дух, когда он хочет обольстить того, кто постоянно на страже над собой, потому что тогда он, будучи ангелом тьмы, превращается в ангела света, и приняв прекрасный облик, только под конец обнаруживает, кто он такой, и успевает в своем намерении, если его обман не был раскрыт в самом начале. Все это очень понравилось Ансельмо и он сказал, что ежедневно будет доставлять Лотарио такой же удобный случай оставаться наедине с Камиллой, хотя и не станет уходить из дому, а будет заниматься там же столь неотложными делами, что Камилла ни за что не заметит его хитрости. После того прошло несколько дней, в течение которых Лотарио ничего не сказал Камилле, а между тем уверял Ансельмо, что он говорит с нею, но не может добиться от нее хотя бы малейшего доказательства ее готовности на что-либо дурное, или хотя бы тени какой-либо надежды; – напротив того, – добавил он, – она грозит сказать все мужу, если он не откажется от дурного своего умысла.

– Это хорошо, – сказал Ансельмо, – до сих пор Камилла устояла против слов,

¹ Estrado: в те времена дамы в Испании сидели не на стульях, исключая за обедом и в торжественных случаях, – а на подушках, разложенных на полу, в особо устроенной для этой цели части комнаты, несколько приподнятой над уровнем остального пола и покрытой циновками или коврами. Такое место называлось эстрадой (estrado).

надо посмотреть, устоит ли она против дел. Я принесу вам завтра две тысячи червонцев, чтобы вы предложили их ей и даже подарили бы, и еще столько же червонцев, чтобы вы купили драгоценностей обольстить ее ими; потому что женщины, и особенно красивые женщины, – как бы они ни были целомудренны, – увлекаются нарядами и роскошью. Если же Камилла устоит и против этого соблазна, я сочту себя удовлетворенным и больше не стану докупать вам.

Лотарио ответил, что раз он начал это предприятие, то доведет его до конца, но уверен, что выйдет из него разбитый и побежденный. На следующий же день он получил четыре тысячи червонцев и с ними вместе и четыре тысячи затруднений, так как не знал, что еще ему придумать, чтобы опять солгать. В конце концов, он решил сказать Ансельмо, что Камилла также недоступна обещаниям и подаркам, как и словам, и потому незачем дольше утруждать себя, так как это лишь даром потраченное время. Но судьба распорядилась иначе и устроила так, что Ансельмо, оставив Лотарио и Камиллу наедине, как он это делал и в другие раза, заперся в соседней комнате и сквозь замочную скважину смотрел и слушал, что произойдет между ними, но увидел, что в течение более получаса Лотарио не сказал Камилле ни слова, и не сказал бы ни слова, если б оставался там целый век; из чего он вывел заключение, что все, переданное ему его другом об ответах Камиллы, было лишь вымыслом и ложью. А чтоб убедиться, действительно ли это так, он, выйдя из комнаты, отозвал Лотарио в сторону, и спросил его, какие вести он может ему сообщить, и в каком настроении Камилла. Лотарио ответил, что он решил не продолжать дальше этого дела, потому что Камилла оттолкнула его крайне резко и сурово, и у него не

хватает мужества сказать ей еще что бы то ни было.

– Ах, Лотарио, Лотарио, – воскликнул Ансельмо – как плохо выполняешь ты свои обязанности относительно меня и как злоупотребляешь столь великим моим доверием к тебе! Я сейчас наблюдал через замочную скважину и видел, что ты ни слова не сказал Камилле, из чего я заключаю, что ты до сих пор вообще ничего ей не говорил. Если это так, – а без сомнения, оно так и есть, – зачем же ты обманываешь меня, или зачем ты хочешь своею хитростью лишить меня возможности найти другие способы для исполнения моего желания?

Ансельмо не сказал ничего больше, но и того, что он сказал, было достаточно, чтобы смутить и устыдить Лотарио, который счел чуть ли не за бесчестие то, что он был уличен во лжи, и он поклялся Ансельмо приложить все старания с этой минуты, чтобы вполне удовлетворить его и больше не обманывать; в этом он легко может убедиться, если полюбопытствует подсматривать за ним, хотя теперь уже и нет надобности другу его брать на себя этот труд, так как рвение, которое он выкажет, чтобы удовлетворить его, рассеет вскоре всякое подозрение на его счет. Ансельмо поверил ему и, чтобы доставить Лотарио случай более верный и свободный от всякой помехи, он решил уехать из дому на неделю к одному из своих приятелей, жившему в деревне вблизи города, с которым он условился, чтобы тот безотлагательно прислал за ним, и он бы имел перед Камиллой оправдание для своего отъезда. Несчастный, неосторожный Ансельмо, – что ты делаешь, что ты затеваешь, что готовишь себе! Подумай о том, что ты сам на себя восстаешь, замышляя собственное свое бесчестие, готовя собственную свою гибель! Твоя жена Камилла добродетельна; спокойно

ную статую, а не только человеческое сердце. Все время, пока бы он мог говорить с ней, Лотарио смотрел на нее и думал, как достойна она быть любимой, и эта мысль стала мало-помалу оттеснять добрые его чувства к Ансельмо. Тысячу раз собирался он покинуть город и уехать туда, где бы Ансельмо никогда не увидел его, а он не увидел бы Камиллы. Но теперь ему уже мешало и удерживало его наслаждение, испытываемое им, когда он смотрел на Камиллу. Он делал усилие и боролся с самим собой, чтобы подавить и заглушить в себе удовольствие, доставляемое ему лицезрением ее. Оставаясь один, он упрекал себя за свое безумие, и обвинял за то, что он дурной друг и дурной христианин; мысленно сравнивал он себя с Ансельмо и делал сопоставления между ним и собой, но кончал всегда одним лишь выводом: что безумие и доверчивость Ансельмо заслуживают больше порицания, чем неверность его, Лотарио, – и что если бы он мог найти такие же оправдания перед Богом, как перед людьми в том, что он намеревается сделать, то не боялся бы кары за свою вину. Словом, красота и совершенства

Камиллы, совместно с благоприятным случаем, – а его неразумный муж сам дал ему в руки, – преодолели, наконец, всю честность Лотарио. Не обращая внимания ни на что, кроме того, куда его влекло его удовольствие, он по прошествии трех дней после отъезда Ансельмо, в течение которых не переставал бороться с собой, стараясь противостоять своим желаниям, он стал ухаживать за Камиллой и объяснился ей в любви с такой страстностью и пылом, что она была крайне изумлена, но не могла сделать ничего другого, как только встала со своего места и ушла к себе в комнату, не ответив ему ни слова.

Однако холодность ее не угасила в Лотарио надежды, всегда зарождающейся вместе с любовью, и Камилла только еще больше выиграла в его глазах. А она, открыв в Лотарио то, чего никогда не подозревала, – не знала, как ей быть; но считая неприличным и не безопасным для себя дать ему опять возможность и случай говорить с ней таким образом, она решила послать в ту же ночь, – что она и сделала, – одного из своих служителей к Ансельмо с письмом, в котором писала ему следующее.





Глава XXXIV

В которой продолжается рассказ о Безрассудно-любопытном.

Если войску, как говорят, плохо без главнокомандующего, а крепости без коменданта, куда хуже, говорю я, молодой замужней женщине без мужа, разве только отъезд его вызван самыми важными причинами. Мне без вас так плохо и так невыносимо ваше отсутствие, что в случае вы не вернетесь скоро, я должна буду уехать из дому и искать приюта у моих родителей, хотя бы пришлось бросить дом ваш без призора, потому что тот сторож, которого вы оставили, — если только он здесь в этой должности, — заботится, как мне кажется, больше о своем удовольствии, чем о том, что вас касается. А так как вы человек умный, мне вам нечего больше говорить и было бы нехорошо, если бы я еще что-нибудь добавила.

Письмо это Ансельмо получил, и он увидел из него, что Лотарио приступил

к делу и что, должно быть, Камилла ответила ему так, как он того желал. В высшей степени довольный этим известием, он на словах послал сказать Камилле, чтобы она ни в каком случае не меняла бы местожительства, потому что он вернется очень скоро. Этот ответ Ансельмо изумил Камиллу и привел ее в еще большее замешательство, так как ей нельзя было оставаться дома, а еще менее можно было уехать к родителям, потому что, оставаясь, она подвергала опасности свою честь, а уезжая, ослушивалась приказаний своего мужа. Наконец, она решила сделать то, что было наихудшим для нее: остаться дома и не избегать общества Лотарио, чтобы не дать повода для пересудов среди прислуги; и она уже сожалела о том, что писала мужу, боясь, не подумает ли он, что Лотарио заметил в ней вольности, побудившие его отнестись к ней без должного уважения. Но

твердо уверенная в своей добродетели, она, положившись на Бога и добрые свои намерения, решила дать молчаливый отпор всему, что Лотарио мог бы ей сказать, и вместе с тем не извещать мужа ни о чем больше, чтобы не вовлечь его в ссору и неприятности. Она даже стала придумывать, как бы ей лучше оправдать Лотарио перед Ансельмо, когда он спросит у нее о причине, побудившей ее написать письмо. С этими намерениями, более почтенными, чем рассудительными или достигающими своей цели, она на следующий день выслушала Лотарио, который в этот раз приступил к делу так страстно, что поколебал твердость Камиллы, и ей нужно было призвать на помощь всю свою добродетель, чтобы в глазах ее не выразилось то нежное сострадание, которое слезы и слова Лотарио пробудили в ее груди. Все это Лотарио подметил, и все это еще более воспламенило его. Наконец, он нашел нужным, – пользуясь временем и случаем, представленным ему отсутствием Ансельмо, – еще теснее обложить осажденную им крепость и потому повел атаку на ее самолюбие, восхваляя ее красоту, так как нет вещи, которая столь быстро ниспровергала и разрушала бы укрепленные башни тщеславия красивой женщины, как это самое тщеславие, когда им вооружится язык лести. И действительно, Лотарио подвел так рьяно и такими орудиями подкоп под скалу ее добродетели, что, если б Камилла была из бронзы, и то она не могла бы устоять. Лотарио плакал, умолял, обещал, льстил, настаивал и притворялся с таким чувством, с такими проявлениями искренности, что преодолел скромность Камиллы и торжествовал победу, которой менее всего ожидал и более всего желал. Камилла уступила, Камилла сдалась. Но что же удивительного в том, если и дружба Лотарио не устояла? Вот нагляд-

ный пример, показывающий нам, что любовную страсть можно победить только бегством, и никто не должен вступать в борьбу с столь могучим врагом, так как нужны божественные силы, чтобы победить в таких случаях человеческие силы.

Только одна Леонела знала об увлечении своей госпожи, потому что два вероломных друга и новых любовника не могли скрыть этого от нее. Лотарио решил не говорить Камилле о выдумке Ансельмо, и о том, как сам он доставил ему случай добиться успеха, – чтобы не уронить этим своей любви в ее глазах, и она не подумала, что он, только так, мимоходом, без внутреннего побуждения, домогался ее. Несколько дней спустя Ансельмо вернулся домой и не заметил, чего не достает у него здесь, а не доставало того, что он менее всего умел беречь, но чем он больше всего дорожил. Тотчас же отправился он к Лотарио и застал его дома. Они обняли друг друга, и Ансельмо спросил, какие он даст ему известия: о жизни ли, или о смерти.

– Известия, которые я могу тебе дать, о, друг Ансельмо, – сказал Лотарио, – те, что жена твоя достойна служить примером и образцом всем хорошим женщинам. Слова, которые я ей говорил, унес ветер; мои обещания она встретила с презрением, подарки не приняла, а над притворными моими слезами громко смеялась. Словом, являясь совершенством в смысле красоты, Камилла вместе с тем и сокровищница, в которой хранится целомудрие и в которой обитают благоразумие, скромность и все добродетели, делающие честную женщину достойной высших похвал и величайшего счастья. Возьми назад свои деньги, друг; вот они, мне не пришлось даже дотронуться до них, так как добродетель Камиллы не сдается на столь низкие вещи, как обещания и по-

дарки. Довольствуйся этим, Ансельмо, не стремись к новым испытаниям сверх уже сделанных, и так как тебе удалось пройти с сухими ногами по морю трудностей и подозрений, в которое нас повергают и могут повергнуть женщины, не пускайся опять в глубокую пучину новых беспокойств и не испытывай с другим кормчим прочность и силу того корабля, который небо послало тебе, чтобы переправляться с ним по житейскому морю, а считай, что ты вошел в безопасную гавань, укрепишься в ней на якорях приятного размышления и оставайся так, пока не придут требовать у тебя тот долг, от уплаты которого не освобождает никакая знатность происхождения или дворянская грамота.

Ансельмо был донельзя обрадован словами Лотарио и так им верил, словно изречения какого-нибудь оракула. Но, тем не менее, он просил его не отказываться от начатого предприятия, хотя бы ради одного только любопытства и времяпровождения, не прибегая уже к столь настойчивым мерам, как он это делал до сих пор. Он желает только одного, чтобы Лотарио в честь Камиллы, под именем Хлори, сочинил несколько хвалебных стихотворений. Со своей стороны, он сообщит Камилле, что друг его влюблен в одну даму, которую он называет именем Хлори, чтобы иметь возможность воспевать ее с должным уважением к ее добродетели. Если же Лотарио не хочет дать себе труд сочинять эти стихи, он предлагает сам написать их вместо него.

– Этого не нужно – сказал Лотарио, – потому что музы не так уже враждебно относятся ко мне, чтобы время от времени не посещать меня. Расскажи Камилле то, что ты сейчас придумал о моей мнимой любви; стихи же я сам напишу, и если они не будут так хороши, как заслуживал бы предмет их, по крайней мере,

они будут настолько хороши, насколько это окажется в моих силах.

Таким образом безрассудный муж сговорился с вероломным другом, и, вернувшись домой, Ансельмо спросил Камиллу о том, о чем к ее удивлению, он до сих пор еще не спрашивал ее, а именно: он пожелал узнать причину, почему она ему написала письмо, которое он получил от нее. Камилла ответила, что ей показалось, будто Лотарио смотрит на нее несколько более развязно, чем когда Ансельмо был дома, но теперь она этого не думает и уверена, что это ей только так показалось, потому что Лотарио избегает случаев видиться с ней и оставаться наедине. Ансельмо ответил, что она может вполне отбросить всякое подозрение, так как ему известно, что Лотарио влюблен в знатную сеньору из их же города, которую он воспевает под именем Хлори; а если бы он и не был влюблен, ей нечего опасаться, ввиду правдивости Лотарио и великой дружбы, связывающей его с Ансельмо. Если бы Лотарио не уведомил вскоре Камиллу о том, что его любовь к Хлори вымышлена, и что он рассказал о ней Ансельмо только для того, чтобы иметь возможность, время от времени воспевать Камиллу, она, без сомнения, попала бы в приводящие в отчаяние сети ревности, но так как она была вовремя предупреждена, тревога эта прошла над нею, только слегка задев ее.

На следующий же день, когда все втроем сидели за столом, Ансельмо попросил Лотарио продеklamировать некоторые из стихотворений, написанных им в честь возлюбленной его Хлори, и так как Камилла ее не знает, он смело может прочесть все, что пожелает.

– Даже если бы она и знала ее, – ответил Лотарио, – я бы ничего не скрыл, потому что, когда влюбленный восхваляет красоту своей дамы и упрекает ее в жестокости, он этим не бросает ни малейшей

тени на ее доброе имя. Но будь что будет, могу лишь сказать, что вчера я написал сонет на неблагодарность этой Хлори и вот он:

СОНЕТ

Когда весь мир, в сон сладкий
погруженный,

В ночной тиши покоится вокруг,
Несчастный я, – навек тобой
плененный,

Шлю небу плач и стон мой, милый
друг!

Когда заря взойдет и позлаченный
Востока край весь запыляет вдруг, –
Вновь слезы лью, тоскою
удрученный,

И вновь кляню жестокий свой недуг.
Когда с высот надзвездных к нам
роняет

Светило дня свой жаркий
луч, – больной

Тогда душа томится и страдает;
А ночь сойдет, – тоска еще сильней.
И вижу я, – к молитвам небо глухо,
И к ним вовек не склонит Хлори
слуха!

Сонет очень понравился Камилле, но еще более Ансельмо, который хвалил стихи и сказал, что сеньора, не отвечающая на такое искреннее чувство, чрезмерно жестокая, а Камилла спросила:

– Разве все то, что говорят влюбленные поэты, правда?

– Как поэты, они не всегда говорят правду, – ответил Лотарио, – но как влюбленные, они также медлят признаться в своем чувстве, как и правдивы.

– В этом не может быть сомнения, – сказал Ансельмо, чтобы подтвердить и поддержать мнение Лотарио в глазах Камиллы, столь же не обращавшей внима-

ния на хитрости Ансельмо, как и влюбленная уже в Лотарио. Итак, находя удовольствие во всем, что исходило от него, и к тому же уверенная, что его чувства и стихи обращены к ней, и она то и есть настоящая Хлори. – Камилла просила его, если он знает еще какой-нибудь сонет или другие стихи, сказать их.

– Я знаю еще один сонет, – ответил Лотарио, – но не думаю, что бы он был так же хорош, как первый, или точнее говоря, я думаю что первый не был так плох, как этот; но судите об этом сами, потому что вот он:

СОНЕТ

Да, смерть моя близка, и если вновь
моления

Отвергнешь ты мои, – она еще
верней, –

У ног твоих умру, но в смертное
мгновенье

Боготворить тебя я буду лишь
сильней!

Когда уйду в страну я мрака и
забвенья,

Утрачу славу, честь, мечты все юных
дней, –

Но сберегу в душе твое изображение,
Прекрасный облик твой,
запечатленный в ней!

Святыней я хранил его в дни
испытанья

И не могли любовь мою к тебе
сломить

Отпор суровый твой и все мои
страдания.

О, горе, чья судьба по океану плыть
В неведомой дали, где в мраке
бурной ночи

Ни гавань, ни маяк, – а гибель
смотрит в очи!

Ансельмо похвалил также и второй сонет, как хвалил и первый, и таким образом он продолжал добавлять звено к звену в той цепи, которою он опутывал и сковывал свой позор; потому что, когда Лотарио больше всего бесчестил его, он больше всего уверял друга, что честь его возносится все выше, и таким образом, с каждою ступенью, по которой Камилла спускалась до глубины своего унижения, она во мнении мужа своего все более и более поднималась к вершине добродетели и доброй славы. Между тем случилось так, что однажды, когда Камилла осталась наедине с своей горничной, она ей сказала:

– Мне совестно, друг Леонела, подумывать, как мало я умела ценить себя, и даже не заставила Лотарио долгим ожиданием купить полное обладание тем, что я отдала ему так скоро по собственной доброй воле. Боюсь, он презрительно отнесется к моей податливости или моему легкомыслию, не принимая в расчет стремительности, с которой он меня взял, лишив тем возможности сопротивляться ему.

– Не тревожься этим, сеньора моя, – ответила Леонела, – так как нет основания и причины, чтобы ценность вещи уменьшилась, если ее дают скоро, лишь бы только то, что дают, было само по себе хорошо и ценно; а даже принято говорить, что тот, кто дает скоро, дает вдвое.

– Но также принято говорить, – ответила Камилла, – что то, что стоит мало, мало и ценится.

– Это не относится к тебе, – ответила Леонела, – потому что любовь, как я слышала, иногда летает, а иногда ходит; с этим она быстро бежит, с тем идет медленно; некоторых охлаждает, иных воспламеняет, одного ранит, другого убивает; не успеет она вступить на поприще своих желаний,

как в то же мгновение уже и завершает его, добившись цели; утром, обыкновенно, она начнет осаду крепости, а к вечеру уже овладевает ею, потому что нет силы, которая могла бы противостоять ей. И раз это так, что же пугает тебя, или чего же ты боишься, если то же самое, должно быть, случилось и с Лотарио, так как средством покорить вас любовь избрала отсутствие моего господина. И оказалось необходимым, чтобы в его отсутствие произошло то, что решила любовь раньше, чем Ансельмо имел время вернуться, так как при нем дело не было бы доведено до конца, потому что у любви нет лучшего помощника для выполнения ее желаний, как случаи, и она пользуется им во всех своих делах, особенно же в начале. Все это я знаю очень хорошо, больше по собственному опыту, чем понаслышке, и когда-нибудь я расскажу тебе об этом, сеньора, – ведь, и я тоже из плоти, и в жилах у меня молодая кровь. А сверх того, сеньора Камилла, ты ведь уступила и отдалась не прежде того, как увидела в глазах, во вздохах, объяснениях, обещаниях и подарках Лотарио всю его душу, узнав из нее и из его прекрасных качеств, насколько он достоин, чтобы его любили. Если же это так, не давай робким и щепетильным мыслям овладевать твоим воображением и будь уверена, что Лотарио также высоко ценит тебя, как ты ценишь его. Живи, счастливая и довольная тем, что, если ты уже попала в сети любви, тот, кто тебя поймал в них, исполнен чести и достоинств, и у него не только есть четыре буквы, которые, как говорят, должны отличать всякого хорошего влюбленного¹, но и целая азбука. А нет, – послушай и убедишься, что я знаю ее наизусть. Он – как я вижу и могу судить о том: *ангелоподобный, богатый, велико-*

¹ Эти четыре буквы – четыре S, именно: *Sabio, Solo, Solícito, Secreto*, (умный, единственный, заботливый, сдержанный на словах), намек на несколько строчек из поэмы друга Сервантеса Люиса Бараона де Сото «Слезы Анжелики», в которых эти качества перечисляются.



Увидя Камиллу лежавшую на полу и обливающуюся кровью,
Лотарио кинулся к ней...

душный, добрый, гордый, единственный, жизнерадостный, искренний, красивый, любящий, мужественный, нежный, остроумный, признательный, рассудительный, скромный, талантливый, участливый, франтоватый, холостой, целомудренный, честный, шустрый, щедрый – ф не идет к нему, потому что это буква грубая; *э* не нужно, так как уже было *е*, а *я*¹ – *ревнитель твоей чести*.

Камилла рассмеялась над азбукой своей прислужницы и нашла, что Леонела более опытна в любовных делах, чем говорит. Та призналась в этом, открыв Камилле, что у нее есть ухаживатель, один молодой человек, хорошего происхождения, из их же города. Это очень смутило Камиллу; ее пугала мысль, чтобы этим путем честь ее не подверглась опасности. Она стала расспрашивать Леонелу, зашли ли они дальше разговоров, на что та без всякого стыда и с величайшею развязностью ответила, что, конечно, зашли; ведь, вещь известная, что проступки барынь вызывают нахальство в их служанках, и лишь только те заметят, что госпожи их споткнулись, им ничего не значит самим захромать, и так, чтобы все об этом узнали. Камилла не могла сделать ничего другого, как только попросить Леонелу не говорить тому, кого она называла своим любовником, о ее деле, и вести и свое собственное в такой тайне, чтобы ни Ансельмо, ни Лотарио ничего не узнали о нем. Леонела ответила, что она это и сделает; но сдержала свое обещание таким образом, что оправдала опасения Камиллы лишиться через нее своего доброго имени. Безчестная и дерзкая Леонела после того, как узнала, что поведение ее сеньоры не такое, какое было раньше, осмелилась ввести в дом и держать здесь своего любовника, уверенная, что, если бы ее госпо-

жа и увидела его, она не решится выдать ее, так как в числе дурных последствий, которые, между прочим, влекут за собой грехи барынь, они делаются рабынями собственных своих служанок и вынуждены покрывать их безнравственность и низости. То же случилось и с Камиллой. Не раз, а несколько раз видела она, что Леонела принимает своего любовника в одной из комнат ее дома и не только не осмеливалась бранить ее за это, а даже сама давала ей возможность прятать его и устраняла все препятствия с ее дороги, чтобы он не попался на глаза Ансельмо. Однако она не могла предотвратить того, чтобы Лотарио однажды не увидел его выходящим из ее дома на рассвете. Не зная, кто это такой, он сначала подумал, уж не привидение ли это, но увидав, как оно шагает, заботливо и осторожно прикрываясь и закутываясь плащом, Лотарио бросил свою глупую мысль и остановился на другой, которая привела бы их всех к гибели, если бы Камилла не нашла средства помочь беде. Лотарио и в голову не приходило, что человек, которого он видел выходящим в столь необычайный час из дома Ансельмо, явился туда для Леонелы; он даже вообще забыл, что существует на свете какая-то Леонела, и подумал, что Камилла, так легко и с такою готовностью отдавшись ему, поступила также и с другим. Вот те последствия, которые, между прочим, влечет за собой порочность дурной женщины; ее чести перестает доверять даже и тот, мольбам и упрямствам которого она уступила, и он воображает, что она еще с большею легкостью, чем ему, отдастся другим, и всякому подозрению в этом направлении он готов слепо верить. Весь здравый смысл Лотарио, казалось, в ту минуту изменил ему, и все благоразумные мысли исчезли из его головы,

¹ Азбука Леонелы не может быть буквально переведена на русский язык из-за несходства русской азбуки с латинской, а только более или менее приблизительно.

потому что, нисколько не задумываясь над тем, поступает ли он хорошо или умно, тотчас же, прежде чем Ансельмо встал, он весь горя нетерпением, ослепленный бешеною ревностью, терзавшей ему душу, умирая от желания отомстить Камилле, которая ничем его не оскорбила, помчался к Ансельмо, и сказал ему:

– Знай, Ансельмо, что уже давно я боролся с собой и изо всех сил сдерживался, чтобы не открыть тебе того, что уже невозможно и несправедливо дольше скрывать от тебя. Знай же, что крепость Камиллы сдалась и что она готова подчиниться всему, что бы я ни пожелал. Если же я до сих пор медлил открыть тебе эту горькую истину, то лишь потому, что хотел убедиться, легкомысленная ли это прихоть с ее стороны, или же она поступает так, чтобы испытать меня и убедиться в серьезности любви, которую я ей, с твоего позволения, выказывал. Я думал также, что, если б она была такою, какою должна быть, и какой мы оба считали ее, в таком случае она сама сообщила бы тебе о моих преследованиях. Но видя, что она медлит это сделать, я прихожу к заключению, что обещание, которое она мне дала, серьезно: именно в следующий твой отъезд из дому, она придет ко мне на свидание в уборную, где хранятся твои драгоценности (и действительно, Камилла обыкновенно виделась с ним там). Но я бы не хотел, чтобы ты поспешно бросился мстить; ведь, грех содеяв пока только лишь мысленно, и могло бы случиться, что в промежутке до времени его совершения Камилла переменит свое намерение и почувствует раскаяние. Так как ты до сих пор во всем, или же отчасти, следовал всегда моим советам, прими во внимание и следуй и тому, который я сейчас тебе дам, чтобы ты, не ошибаясь и зрело обсудив, мог бы поступить так, как найдешь наиболее для себя подходящим. Сделай вид, что уезжаешь на два или на

три дня из дому, как это уже не раз бывало, а между тем спрячься в своей уборной, где, благодаря драпировкам, которые там находятся, и другим вещам, ты можешь легко укрыться. Тогда ты увидишь своими собственными глазами, как я моими, что у Камиллы на уме. И если б это оказалось проступком, которого можно скорее опасаться, чем ждать его, ты за нанесенное тебе бесчестие сумеешь отомстить тайно, осторожно и умно!

Ансельмо был изумлен, смущен и поражен словами Лотарио, потому что слышал их как раз в то время, когда меньше всего ожидал их услышать, уверенный в том, что Камилла вышла победительницей из притворных ухаживаний за нею Лотарио, вследствие чего он стал уже наслаждаться славой ее победы. Долго молчал он, неподвижно устремив глаза на пол, и, наконец, сказал:

– Ты поступил, Лотарио, как я в праве был ждать от твоей дружбы. Во всем я должен следовать твоему совету; делай, что хочешь, и храни эту тайну, как этого требует столь неожиданное событие.

Лотарио обещал это сделать, но уходя от него, глубоко раскаялся в том, что сказал, – поняв, как глупо он поступил, так как и сам мог бы отомстить Камилле иным, менее жестоким и бесчестным способом. Он проклинал свое безумие, укорял себя за стремительность решения и не знал, к какому средству прибегнуть, чтобы исправить то, что он сделал, или найти какой-нибудь разумный исход. Наконец, он решил сказать обо всем Камилле, и так как всегда мог найти случай это сделать, он в тот же день отправился к ней и застал ее одну. Увидев, что она может свободно говорить с ним, она сказала ему:

– Знайте, друг Лотарио: у меня на сердце тревога, которая так его гнетет, что, кажется, оно готово разорваться в груди у меня и было бы чудо, если б это

не случилось; потому что бесстыдство Леонелы дошло до того, что она каждую ночь здесь в доме принимает своего любовника и остается с ним до рассвета, в ущерб доброму моему имени, так как всякий, кто увидел бы его выходящим в столь необычные часы из дома, мог бы подумать обо мне все, что угодно. И особенно мне досадно, что я не могу ни наказать, ни побранить ее, так как то обстоятельство, что она знает о моих с вами отношениях, налагает узду на мой язык и принуждает меня хранить молчание о ее связи. Но я боюсь, чтобы из всего этого не вышла бы какая-нибудь беда.

Сначала, когда Камилла так заговорила, Лотарио подумал, что это хитрость, с целью ввести его в заблуждение и уверить, будто человек, которого он видел выходящим из ее дома, приходил к Леонеле, а не к ней. Но увидав, что она плачет, огорчена и ищет у него помощи, он ей поверил; а поверив, окончательно смутился и раскаялся в своем опрометчивом поступке. Тем не менее, он просил Камиллу не тревожиться, так как он найдет средство обуздать наглость Леонелы. Затем он признался ей в том, что он сказал Ансельмо, подстрекаемый ярым бешенством ревности, и в том, как они оба условились, что Ансельмо спрячется в уборной, чтобы воочию убедиться в неверности к нему Камиллы. Вместе с тем, Лотарио попросил у нее прощения за свое безумие и совета, как все исправить и благополучно выбраться из столь запутанного лабиринта, в который завлекло их его неблагоразумие. Камилла сильно встревожилась, услышав сказанное ей Лотарио, и раздосадованная принялась осыпать его многими и справедливыми упреками, укоряя за дурные о ней мысли и за столь глупое и злое решение, к которому он пришел. Но так как от природы у женщины, и в дурном и в хорошем, более находчивый ум, чем у

мужчины, – хотя она и уступает ему, когда дело коснется обдуманного рассуждения, то Камилла тотчас же нашла средство исправить это, по-видимому, столь непоправимое дело. Она сказала Лотарио, чтобы он уговорил Ансельмо на следующий же день спрятаться там, где они условились, потому что из этого обстоятельства она думает извлечь ту выгоду, чтобы с этих пор они могли, без малейшего опасения и страха, наслаждаться друг другом. Не открыв ему вполне своего плана, она только предупредила его, чтобы он позаботился, когда Ансельмо будет спрятан, придти тотчас же, лишь только позовет Леонела, и на все, что Камилла ему скажет, пусть он отвечает так, как ответил бы, если б не знал, что Ансельмо подслушивает. Лотарио настаивал на более подробном объяснении ее намерения, чтобы он мог точнее исполнить все то, что окажется нужным.

– Повторяю, – ответила Камилла, – вам не о чем больше заботиться, как только отвечать мне на то, о чем я вас буду спрашивать.

Камилла не желала объяснить ему заранее, что собственно она имеет в виду, боясь, что он не захочет следовать ее плану, который казался ей таким хорошим, но придумает и отыщет другие, а они могут быть не столь удачными. С этим и ушел Лотарио; а на следующий день, Ансельмо, под предлогом посещения своего приятеля в деревне, уехал из дому, но тотчас же вернулся и спрятался в уборной, а это он мог сделать тем удобнее, что Камилла и Леонела нарочно предоставили ему благоприятный случай. Спрятавшись, Ансельмо терзался тем страшным душевным волнением, которое, – как легко можно представить себе, – должен испытывать тот, кто ожидает видеть собственными глазами смертельный удар, нанесенный его чести, потому что он готовился через несколько мгновений лишиться высшего

блага, которым, как он думал, он обладает в лице своей возлюбленной Камиллы. Вполне уверенные и твердо зная, что Ансельмо уже спрятался, Камилла и Леонела вошли в уборную, и не успела Камилла переступить порог, как она, глубоко вздохнув, сказала:

– Ах, Леонела друг, не лучше ли прежде, чем я приведу в исполнение то, о чем я не желала, чтобы ты узнала, из опасения, как бы ты мне не помешала, – не лучше ли было бы взять тебе кинжал Ансельмо, который я спрашивала у тебя, и пронзить им гнусное мое сердце. Но не делай этого, потому что не было бы справедливо, чтобы я несла наказание за чужую вину. Мне прежде всего хотелось бы знать, что такое видели во мне дерзкие и бесстыжие глаза Лотарио, что могло дать ему смелость открыться в столь низком желании, как то, которое он мне открыл на позор своему другу и к моему бесчестию. Подойди к окну, Леонела, и позови его, потому что, без сомнения, он уже ждет на улице, надеясь привести в исполнение гнусное свое намерение, – но раньше этого я приведу в исполнение мое, столько же жестокое, как и благородное решение.

– Ах, сеньора моя, – ответила ловкая и хорошо наученная Леонела, – что же ты хочешь делать с этим кинжалом? Не хочешь ли, быть может, лишит себя жизни, или же отнять ее у Лотарио? И то и другое, если оно у тебя на уме, привело бы лишь к потере доброго твоего имени и доброй твоей славы. Лучше бы тебе затаить обиду и не позволять злему этому человеку войти к нам в дом и найти нас здесь одних. Подумай, сеньора, ведь мы слабые женщины, а он мужчина, да и предприимчивый, а так как он придет с дурной целью, быть может, ослепленный страстью, прежде чем ты приведешь в исполнение свое намерение, он сделает то, что для тебя было бы хуже, чем отнять у тебя жизнь. Горе

сеньору моему Ансельмо, что он дал этому нахаду такую власть у себя в доме! Но если ты убьешь его, сеньора, – а я думаю, ты намерена это сделать, – как потом нам быть с ним, с мертвым?

– Как нам быть, друг мой? – переспросила Камилла, – мы его оставим, и пусть Ансельмо похоронит его, потому что, по справедливости, нельзя лишить его удовлетворения взять на себя труд закопать в землю собственный свой позор. Зови Лотарио, спеши, так как все время, что я медлю заслуженною мстостью за нанесенное мне оскорбление, мне кажется нарушением верности, которой я обязана моему супругу.

Все это слышал Ансельмо и с каждым словом, сказанным Камиллой, мысли его более и более перестраивались; когда же он услышал, что она решила убить Лотарио, он хотел открыться и выйти из своей засады, чтобы помешать этому; но его удержало желание посмотреть, чем кончится столь смелое и похвальное решение, и он был намерен выйти вовремя, чтобы предотвратить совершение этого поступка. Но тут с Камиллой случился глубокий обморок и Леонела, уложив ее на кровать, которая там стояла, начала горько плакать, говоря:

– Ах, несчастная я, если мне суждено испытать такое горе, что здесь, на руках у меня, умрет цвет благонравия в мире, венец добрых женщин, образец целомудрия! – К этому она добавила другие тому подобные вещи, так что всякий, кто ее слышал, счел бы ее за самую огорченную и преданную горничную в мире, а сеньору ее – за новую, гонимую судьбой Пенелопу. Но Камилла скоро оправилась от своего обморока и, придя в себя, сказала:

– Что ж ты, Леонела, не идешь звать самого вернейшего друга из друзей, которых когда-либо освещало солнце или ночь покрывала своим мраком? Скорей беги,

спеши, иди, чтобы из-за твоего промедления не угас огонь моего гнева, и справедливая месть, к которой я стремлюсь, не разрешилась одними лишь угрозами и проклятиями.

– Иду звать его, сеньора моя, – ответила Леонела, – но прежде ты должна дать мне этот кинжал, чтобы в отсутствие мое ты не сделала вещи, из-за которой пришлось бы всю свою жизнь проливать слезы тем, кто тебя любит.

– Будь спокойна, друг мой Леонела, я этого не сделаю, – ответила Камила, – потому что, какой бы я ни казалась в твоих глазах безрассудной и опрометчивой, отстаивая свою честь, все же я не доведу своего безрассудства и опрометчивости до такой степени, как та Лукреция, о которой говорят, что она лишила себя жизни, не совершив никакого проступка и не убив предварительно того, кто был виновником ее несчастья. Я умру, если мне суждено умереть, но не иначе, как получив удовлетворение и отомстив тому, из-за которого я должна была прийти сюда плакать над дерзостями его, возникшими без всякой моей вины.

Леонела заставила себя долго просить, прежде чем она пошла звать Лотарио; но, наконец, она ушла, а в ожидании ее возвращения, Камила, делая вид, что разговаривает сама с собой, сказала:

– Господи, помоги мне! Не умнее ли было бы, если б я отослала Лотарио, как это делала уже много раз, чем давать ему повод, как это делаю теперь, – считать меня бесчестной и дурной женщиной, хотя бы лишь до того времени, когда мне можно будет вывести его из его заблуждения. Без сомнения, это было бы лучше, но я не была бы отомщена, и честь моего мужа осталась бы не удовлетворенной, если б он так легко и таким гладким путем мог уйти отсюда, куда его завлекли низкие его желания. Пусть же изменник

заплатит жизнью за свое бесстыдное посягательство, и пусть узнает мир, – если б ему когда-либо довелось узнать об этом, – что Камила не только сохранила верность супругу своему, но отомстила тому, кто дерзнул оскорбить его честь. Тем не менее, я думаю, было бы лучше обо всем сказать Ансельмо; хотя я ему уже намекала об этом в письме, которое писала ему в деревню... Если же он тогда не поспешил принять меры против зла, на которое я указывала, это, по-видимому, произошло вследствие того, что по доверчивости и доброте своей он не хотел и не мог понять, чтобы в груди столь преданного ему друга могли таиться такие оскорбительные для чести его замыслы! И я сама долгое время не верила тому и не поверила бы никогда, если б он в своей наглости не дошел до того, что обнаружил предо мною низкие свои поползновения подарками, широко-вещательными обещаниями и неотступными слезами. Но зачем я говорю теперь все это? Разве смелое решение нуждается в каких-либо оправданиях? Конечно, нет! Итак, прочь изменников! Ко мне мщение! Пусть войдет сюда вероломный, пусть явится, приблизится, умрет, погибнет, – и пусть будет, что будет! Чистой была я отдана во власть тому, кого небо назначило мне в супруги, и чистой должна я расстаться с ним, даже если б мне пришлось омыться в моей безвинной крови и в преступной крови самого вероломного из друзей, которых когда-либо видел свет.

И говоря это, она ходила по комнате с обнаженным кинжалом такими необычайными и странными шагами и с такими жестами, что, казалось, лишилась рассудка и походила скорее на бешеного убийцу, чем на нежную женщину.

Ансельмо, стоявший за драпировкой, за которую он спрятался, видел все это и был крайне изумлен, а то, что он видел и слышал, казалось ему вполне достаточ-

ным, чтобы рассеять даже более сильные подозрения чем его, и он уже желал, чтобы Лотарио не явился и испытание не было доведено до конца, опасаясь, как бы не приключилось какое-нибудь неожиданное несчастье. Он хотел было показаться и выйти, чтобы обнять жену и все ей объяснить, но удержался, увидев, что Леонела вошла в комнату, ведя за руку Лотарио. Лишь только Камилла его увидела, она провела перед собой на полу кинжалом большую черту и сказала:

– Лотарио, заметь себе то, что я сейчас скажу: если ты осмелишься перейти через вот эту черту, или хотя бы приблизиться к ней, – в тот же миг, как я увижу, что ты собираешься это сделать, я вонжу себе в сердце этот кинжал, который держу в руках; прежде чем отвечать мне хоть слово, ты еще должен выслушать меня и потом уже можешь говорить, что найдешь нужным. Во-первых, Лотарио, я желаю, чтобы ты мне сказал, – знаешь ли ты мужа моего Ансельмо и какого ты о нем мнения, и во-вторых, затем спрашиваю тебя, знаешь ли ты меня? Ответ на это, не смущаясь и недолго задумываясь, что мне ответить, так как не очень затруднительно, то о чем я тебя спрашиваю.

Лотарио не был так неопытен, чтобы не догадаться с первой же минуты, когда Камилла сказала ему, чтобы он спрятал Ансельмо в уборной, что она собственно имела в виду, и поэтому он так ловко и хорошо сообразовался с ее намерениями, что они оба разыграли эту ложь лучше самой истины. Он ответил Камилле следующее:

– Не думал я, прекрасная Камилла, что ты позвала меня, чтобы спрашивать о вещах, столь далеких от намерения, с которым я сюда пришел. Если ты это делаешь, чтобы отсрочить обещанную мне милость, тебе следовало бы поступать таким образом раньше, так как ожидание желан-

ного блага тем мучительнее, чем ближе надежда овладеть им. Но чтобы ты не говорила, что я не отвечаю на твои вопросы, скажу, что знаю твоего супруга Ансельмо и мы дружны с ним с самых нежных лет; не хочу ничего говорить о нашей дружбе, столь хорошо известной тебе, чтобы самому не свидетельствовать о том оскорблении, которое нанести ему вынуждает меня любовь, это могучее оправдание самых величайших заблуждений. И тебя я знаю, и обладание тобою ставлю столь же высоко, как это делает и Ансельмо. Если бы это не было так, я, будучи тем, что я есть, не пошел бы из-за меньших чар, чем твои, против своего долга, против священных законов истинной дружбы, теперь из-за столь могучего врага, как любовь, нарушенных и погрязших мной.

– Если ты сознаешься в этом, – ответила Камилла, – смертельный враг всего, что по справедливости заслуживает любви, – с каким же лицом осмеливаешься ты явиться перед той, о которой ты знаешь, что она зеркало, в которое смотрится тот, о ком ты не должен был бы забывать, чтобы видеть, как мало причины у тебя оскорблять его! Но, ах, я несчастная! Я догадываюсь, что тебя побудило отнестись с таким неуважением к самому себе. Верно какое-нибудь легкомыслие мое, потому что назвать это нескромностью я не хочу, так как оно не могло произойти из обдуманного решения, а лишь только из какой-нибудь неосторожности, незаметно совершаемой женщинами, когда они уверены в том, что им нечего остерегаться. А если это не так, – скажи, о, изменник! – когда я отвечала на просьбы твои словом или знаком, которые могли бы возбудить в тебе хоть тень надежды на достижение твоих низких желаний? Когда твои слова любви не были строго и презрительно отвергнуты мною? Когда придавала я веру твоим многочисленным обещаниям, или

принимала еще более часто предлагаемые мне тобою подарки? Но, так как мне кажется, что никто не может долго упорствовать в любовном искательстве, если его не поддерживает надежда, я готова приписать себе вину твоей дерзости, потому что, без сомнения, какая-нибудь неосторожность с моей стороны питала столько времени твои предосудительные старания, и поэтому я хочу наказать себя и обрушить на себя кару, которую заслуживает твоя вина. А чтобы ты, видя, насколько я жестоко отношусь к себе, понял, что мне нельзя иначе отнестись и к тебе, я решила позвать тебя сюда, чтобы ты был свидетелем жертвы, которую я хочу принести опозоренной чести моего благородного супруга, оскорбленного тобою как нельзя более преднамеренно, а также оскорбленного и мною по неосторожности, состоявшей в том, что я не сумела избежать случая, если только он действительно представился, который поощрил в тебе дурные твои намерения. Повторяю, – подозрение, что какая-нибудь неосмотрительность с моей стороны пробудила в тебе твои безумные мысли, более всего меня мучит и за это я главным образом желаю покарать себя собственными руками, потому что, если б это сделал другой палач, может быть, вина моя стала бы еще более гласной... Но прежде, чем я это сделаю, я хочу, убивая себя, убить и увлечь с собой и того, чья смерть может вполне удовлетворить жажду мести, к которой я стремлюсь и на которую надеюсь, считая ее, – где бы она ни была выполнена, – за кару, обрушенную беспристрастным и неподкупным правосудием на того, кто довел меня до столь отчаянного шага.

И, говоря эти слова, она с неимоверной силой и быстротой бросилась на Лотарио с обнаженным кинжалом, с таким, казалось, пылким желанием вонзить ему в грудь этот кинжал, что даже у

него самого явилось сомнение, притворно ли это с ее стороны, или нет, и он был вынужден пустить в ход всю свою силу и ловкость, чтобы помешать Камилле ранить его. Она сумела так живо разыграть этот странный подлог и обман, что, желая придать ему окраску истины, вздумала оттенить его собственною своею кровью, так как, увидав, что ей нельзя, или притворяясь, что ей нельзя нанести удар Лотарио, она воскликнула:

– Если судьбе не угодно полностью удовлетворить мое справедливое желание, по крайней мере она не настолько могущественна, чтоб помешать мне удовлетворить его хоть отчасти.

И сделав усилие, чтоб вырвать из рук Лотарио кинжал, который он крепко держал, она замахнулась им и, направив острие его себе в такое место, где нельзя было нанести глубокой раны, слегка вонзила его повыше левой ключицы близ плеча и тотчас же упала на пол, как бы лишившись чувств.

Лотарио и Леонела были донельзя удивлены и смущены этим происшествием, все еще сомневаясь в истине его. Увидя Камиллу лежавшую на полу и обливающуюся кровью, Лотарио кинулся к ней, испуганный, тяжело дыша, чтобы выдернуть кинжал, но когда он увидел, до чего незначительна ранка, страх его исчез и он опять изумился уму, хладнокровию и ловкости прекрасной Камиллы. Чтобы со своей стороны достойно разыграть роль, приходившуюся на его долю, он разразился продолжительным и полным скорбисетованием над телом Камиллы, точно она была уже мертвая, осыпая проклятиями не только самого себя, но и того, кто был причиной всего случившегося. Зная, что его слушает его друг Ансельмо, он говорил такие вещи, что всякий, слышавший их, больше пожалел бы о нем, чем даже о Камилле, хотя бы и считал ее мер-

твой. Леонела подняла Камиллу и положила на кровать, умоляя Лотарио пойти привести кого-нибудь, кто бы мог тайно лечить ее; а также она спросила совета и мнения его, что сказать Ансельмо об этой ране ее госпожи, если б он случайно вернулся прежде, чем она вылечится. Лотарио ответил, пусть говорят, что хотят, так как он теперь не в состоянии дать какой-либо полезный совет. Он только велел ей поскорее остановить кровь, потому что сам он решил уйти туда, где люди больше не увидят его. С видом величайшего огорчения и волнения вышел он из дому и, очутившись один, вдали от всяких взоров, не переставал креститься, изумляясь искусству Камиллы и ловкости Леонелы. Он подумал, до чего, должно быть, теперь Ансельмо уверен в том, что его жена вторая Порция¹, и ему хотелось поскорее с ним увидеться, чтобы вместе отпраздновать обман и истину, так искусно переплетенные вместе, что этого нельзя было бы лучше вообразить себе.

Леонела, как сказано, остановила у своей сеньоре кровь, которой оказалось не больше, чем требовалось, чтобы придать ее обману правдоподобный вид, и обмыв вином рану, она перевязала ее, как сумела, говоря такие речи, пока она перевязывала ее, что если б им не предшествовали другие, они одни могли бы убедить Ансельмо в том, что его Камилла образец целомудрия. К словам Леонелы присоединились и слова Камиллы, называвшей себя трусливой и малодушной, потому что у нее не хватило мужества как раз в то время, когда мужество ей было наиболее необходимо, чтобы лишить себя жизни, ставшей ей столь ненавистной. Она спросила у своей прислужницы совета, говорить ей или нет обо всем случившемся дорогому своему супругу, но та посоветовала лучше не говорить ему, так как, сде-

лав это, она поставит его в необходимость отомстить Лотарио, а отомстить ему нельзя иначе, как подвергая и себя опасности, а хорошая жена не должна давать своему мужу повода для ссор, напротив, она должна их предупреждать, сколько возможно. Камилла ответила, что совет Леонелы кажется ей очень благоразумным и она ему последует; но во всяком случае надо придумать, что сказать Ансельмо относительно этой раны, которую он непременно увидит; на это Леонела отозвалась, что она даже и в шутку не умеет лгать.

– А я-то, сестра, – ответила Камилла, – разве я сумею? Никогда я не решусь ни сочинить, ни поддержать ложь, хотя бы это стоило мне жизни. Если же мы не в силах выпутаться из этого дела, не лучше ли нам сказать голую правду, чем быть пойманными во лжи?

– Не тревожься, сеньора, – ответила Леонела, – до завтра я подумаю, что нам сказать, а, быть может, оттого что рана на таком месте, удастся прикрыть ее так, чтобы Ансельмо не увидел ее, и авось благосклонное небо окажет нам помощь в столь справедливых и честных наших желаниях. Успокойся, сеньора моя, и постарайся придти в себя, чтобы господин мой не застал тебя столь взволнованной. Остальное же предоставь моим заботам и Господу Богу, который никогда не отказывает в своем покровительстве добрым намерениям.

Ансельмо слушал и смотрел с величайшим вниманием на представление трагедии гибели его чести, – трагедии, которую действующие в ней лица разыгрывали с столь удивительной и искренней страстью, что, казалось, они действительно превратились в тех лиц, которыми они прикидывались. С нетерпением ждал Ансельмо ночи, чтобы уйти из дому пови-даться с добрым своим другом Лотарио и

¹ Действующее лицо в драме Шекспира.

вместе с ним порадоваться драгоценной жемчужине, найденной им в столь ярко обнаружившейся верности его супруги. Две женщины постарались доставить ему как можно скорее случай и возможность выйти из дому, и, воспользовавшись этой возможностью, он тотчас же побежал к Лотарио и, застав его, так горячо принимался обнимать его, наговорил ему столько о своем счастье и осыпал Камиллу такими похвалами, что всего этого передать нельзя. Лотарио слушал, но не был в состоянии выказать какие-либо признаки радости, потому что не мог не вспомнить, как ужасно обманул своего друга и как несправедливо оскорбил его. Хотя Ансельмо и видел, что Лотарио не радуется, но подумал, верно это происходит оттого, что Камилла ранена, и тому причиной был Лотарио. Поэтому он между прочим сказал ему, чтоб он не огорчался случившимся с Камиллой, так как ее рана несомненно очень легкая, потому что госпожа и служанка сговорились скрыть ее от него, — следовательно, опасаться нечего, и

пусть же он веселится и радуется вместе с ним, так как, благодаря помощи и рвению его, он достиг величайшего счастья, какого лишь мог себе желать, и решил отныне не иметь других развлечений, как только писание хвалебных стихов в честь Камиллы, чтобы увековечить ее в памяти грядущих веков. Лотарио похвалил его доброе намерение и сказал, что и он со своей стороны поможет ему воздвигнуть столь великолепное здание. Таким образом Ансельмо оказался столь отменно обманутым человеком, какой только мог быть в мире. Он сам ввел за руку к себе в дом того, кого считал орудием своей славы, между тем, как он был похитителем его чести, — а Камилла принимала Лотарио с выражением неудовольствия на лице, но со смеющимся сердцем. Этот обман длился еще некоторое время, пока по прошествии немногих месяцев колесо судьбы не повернулось и злое дело, скрытое с таким искусством, не выступило наружу, а Ансельмо пришлось заплатить жизнью за безрассудное свое любопытство.





Глава XXXV

*В которой рассказывается о жестокой и необычайной битве
Дон Кихота с несколькими бурдюками красного вина, и
оканчивается повесть о Безрассудно-любопытном.*



ставалось дочитать еще немного в повести, как вдруг из каморки, в которой покоился Дон Кихот, выбежал страшно оторопевший Санчо Панса и громко закричал:

– Скорей, сеньоры, бегите и помогите моему господину, вступившему в самую сильную и ожесточенную битву, которую когда-либо видели мои глаза! Клянусь Богом – он нанес такой удар мечом великану, врагу сеньоры принцессы Микомиконны, что отрезал ему голову от туловища чисто-начисто, как репу.

– Что вы говорите, брат, – сказал священник, оставив недочитанным конец повести, – в уме ли вы Санчо? Как

могло случиться, черт возьми, то, что вы говорите, когда великан отсюда за две тысячи миль?

Но в эту минуту они услышали сильный шум в комнате и крик Дон Кихота:

– Стой, вор, злодей, трус! Теперь ты не уйдешь из моих рук, и твой палаш не поможет тебе.

И казалось, Дон Кихот наносил сильные удары мечом в стену.

– Незачем вам тут стоять и слушать, – сказал Санчо, – а надо скорей идти и разнять дерущихся, или же помочь моему господину, хотя теперь этого и не требуется, так как, без всякого сомнения, великан уже лежит мертвый и дает теперь отчет Богу за прожитую им и дурную его жизнь, потому что я видел,

как текла кровь по полу, а отрезанная голова, упавшая в сторону, была величиной с большой бурдюк вина.

– Пусть меня убьют, – сказал тогда хозяин постоялого двора, – если Дон Кихот или дон Черт не проткнул один из бурдюков с красным вином, которые стояли у изголовья его кровати, а разлитое вино должно быть показалось кровью этому доброму человеку.

Тотчас же бросился он в комнату, а за ним и все остальные. Здесь они увидели Дон Кихота в самом странном в мире наряде. На нем была одна лишь рубашка, не столь широкая спереди, чтобы вполне прикрыть ему бедра, сзади же еще на шесть дюймов короче. Ноги его были длинные, худые, волосатые и не весьма чистые; на голове виднелась красная, грязная шапочка, принадлежавшая хозяину двора. Вокруг левой руки было обернуто одеяло, против которого Санчо питал злобу, и он хорошо знал почему¹, а в правой руке он держал обнаженный меч, которым наносил удары во все стороны, сопровождая их восклицаниями, как будто он и в самом деле сражался с каким-нибудь великаном. Но лучше всего то, что глаза его были закрыты, так как он спал, и ему снилось, что он вступил в битву с великаном. Его воображение было так упорно устремлено на приключение, которое он собирался довести до конца, что ему приснилось, будто он уже прибыл в королевство Микомикон и вступил в битву со своим врагом; и он нанес столько ударов бурдюкам, в мыслях своих нанося их великану, что вся комната была залита вином. Увидав это, хозяин двора пришел в величайшую ярость, бросился на Дон Кихота со сжатыми кулаками и начал так его бить, что если б Карденио и священник не удержали его, сражение с великаном тут же бы окончилось.

Тем не менее, бедный рыцарь проснулся лишь тогда, когда цирюльник принес из колодца большой котелок холодной воды и окатил его сразу с головы до ног, а это хотя и разбудило Дон Кихота, но он не почувствовался еще настолько, чтобы сообразить, в каком он виде. Заметив, как он легко и скудно одет, Доротея не захотела войти смотреть на битву своего защитника с ее врагом. А Санчо между тем отыскивал голову великана по всему полу и, не найдя ее, сказал:

– Я уже знаю, что все в этом доме очаровано, потому что в прошлый раз, на этом самом месте, где я теперь стою, мне надавали множество пинков и ударов, и я не знал, кто дает их мне и никого не видел; теперь же не могу найти головы, хотя и видел собственными глазами, как она была отрублена и кровь текла из тела, точно из фонтана.

– О какой крови и о каком фонтане говоришь ты, враг Бога и его святых? – воскликнул хозяин двора. – Разве ты не видишь, вор, что эта кровь и этот фонтан не что иное, как прорванные бурдюки и красное вино, затопившее комнату? Желал бы я видеть плывущей в ад душу того, кто проткнул мои бурдюки!

– Ничего не знаю, – ответил Санчо, – знаю только: я буду так несчастлив, если не найду этой головы, – что мое графство растает, как соль в воде.

И Санчо бодрствующий был хуже своего господина спящего, – так сильно овладели им обещания, данные ему Дон Кихотом. Хозяин двора пришел в ярость при виде хладнокровия оруженосца и беды, натворенной его господином, и клялся, не быть уже тому, что случилось в прошлый раз, когда они уехали, ничего не заплатив; теперь никакие привилегии их рыцарства не избавят их от уплаты за все, что они должны, и даже за то, что

¹ Это было то одеяло, в котором подбрасывали Санчо вверх, как рассказано в главе XVII.

могут стоять пластыри, которые придется наложить на прорванные бурдюки. Священник держал за руки Дон Кихота, который, думая, что он уже завершил взятое им на себя дело и находится в присутствии принцессы Микомиконы, опустился на колени перед священником и сказал:

– Ваше величество, высокородная и достойная прославления сеньора, отныне впредь вы можете жить в полной безопасности, так как презренное это существо уже не в состоянии нанести вам какого-либо зла; и я также с сегодняшнего дня освободился от данного вам слова, потому что с помощью всевышнего Бога и благодаря поддержки той, которою я живу и дышу, мне удалось так хорошо исполнить свое обещание.

– Не говорил ли и я то же самое? – сказал Санчо, услышав это, – ведь, я же не был пьян; посмотрите, не посоллил ли уже впрок мой господин великана; с быками все благополучно¹ и мое графство не уйдет от меня.

Кто мог бы удержаться от смеха при виде безумия обоих их – и господина и слуги? Все смеялись, исключая хозяина двора, который посылал себя к черту. Наконец, цирюльник, Карденио и священник с немалым трудом добились того, что уложили в постель Дон Кихота, а он тотчас и заснул с признаками величайшего утомления. Они оставили его спать и вышли к дверям постоялого двора утешать Санчо Пансу в том, что он не нашел головы великана, хотя еще большего труда стоило им успокоить хозяина двора, который был в отчаянии от внезапной гибели своих бурдюков, а хозяйка громко вопила:

– В несчастную минуту и в недобрый час явился ко мне в дом этот стран-

ствующий рыцарь. Желала бы я, чтобы никогда мои глаза не видели его, который так дорого обошелся мне! В прошлый раз он уехал, не заплатив за ночлег и ужин, для него и для оруженосца, за солому и ячмень для лошади и для осла, говоря, что он рыцарь-искатель приключений, – да пошлет Бог злоключения ему и всем искателям приключений, сколько бы их ни было на свете! – и он не обязан платить за что бы то ни было: так, будто бы, это написано в правилах странствующего рыцарства. А теперь из-за него пришел вот тот сеньор, унес у меня мой хвост и возвратил мне его общипанным, с убытком больше чем на полреала, так как он уже не может служить для того, для чего предназначает его мой муж; в заключение и дополнение всего у меня протыкают бурдюки и проливают мое вино, хоть бы видеть мне пролитой его кровь! Но пусть он себе не воображает, – клянусь прахом моего отца и душой моей матери, – на этот раз они заплатят мне все до последнего гроша, или же меня не будут звать, как меня зовут, и я не буду дочерью того, чья я дочь.

Эти и тому подобные причитания хозяйка двора выкрикивала в величайшем гневе, причем ей вторила добрая ее служанка Мариторнес. Хозяйская же дочь молчала и только время от времени улыбалась. Священник водворил спокойствие, обещав хозяевам уплатить, насколько может, за все их убытки, и за бурдюки, и за вино, и в особенности за повреждение хвоста, который они так высоко ценят. Доротеа утешила Санчо Пансу, сказав: лишь только подтвердится, что его господин действительно отрубил голову великану, она, вступив в мирное владение своим королевством, обещает дать ему лучшее из графств в ее

¹ Ciertos son los toros – выражение, взятое из corrida – т.е. боя быков; оно должно означать, что сомневаться нечего, дело верное.

государстве. Санчо утешился этим и уговаривал принцессу не сомневаться в том, что он действительно видел голову великана, и как дальнейшее доказательство привел еще, что борода у него доходила до пояса; а если не находят голову, то потому только, что все, совершающееся в этом доме, происходит путем волшебства, как он в этом убедился прошлый раз, когда останавливался здесь. Доротеа ответила, что и она так думает, и пусть он не тревожится, потому что все пойдет хорошо и устроится к полному его удовольствию.

Когда все успокоились, священник пожелал дочитать повесть, так как он видел, что там осталось немного. Карденио, Доротеа и все остальные просили его докончить; и чтобы доставить удовольствие им всем, а также и самому себе, он продолжал читать рассказ, в котором говорилось следующее:

Вполне убедившись в добродетели Камиллы, Ансельмо с того времени повел беззаботную и счастливую жизнь. Камилла намеренно встречала Лотарио с суровым лицом, чтобы Ансельмо думал о ее чувстве к Лотарио противоположное тому, что было в действительности, и, желая еще больше подкрепить его в этом мнении, Лотарио просил разрешения не бывать у него в доме, так как неудовольствие, доставляемое Камилле его посещениями, чересчур очевидно. Но обманутый Ансельмо настоял, чтобы друг его не делал этого, и таким образом он на тысячи ладов являлся творцом собственного своего бесчестия, воображая при этом, что он создал свое счастье. Между тем нахальство Леонелы, видевшей, что никто не мешает ее связи, выросло до того, что она, не обращая ни на что внимания, дала полную волю своей страсти, уверенная, что ее сеньора не только покроет ее, а даже и укажет ей средство, как

с наибольшей безопасностью приводить в исполнение ее любовные затеи. Наконец, однажды ночью Ансельмо услышал шаги в комнате Леонелы и когда он захотел войти, чтобы посмотреть, кто там ходит, он почувствовал, что дверь держат; это обстоятельство еще более усилило его решимость открыть дверь, и он так сильно налег на нее, что она распахнулась, и в ту минуту, когда он вошел, он увидел, что какой-то человек выпрыгнул из окна на улицу. Бросившись поспешно за ним, чтобы настичь его или узнать, кто он такой, Ансельмо не мог сделать ни того, ни другого, потому что Леонела ухватилась за него, говоря:

– Успокойся, сеньор, не сердись и не преследуй того, кто выпрыгнул из окна: это дело касается меня и даже очень близко, потому что это мой супруг.

Ансельмо не поверил ей и, ослепленный гневом, выхватил кинжал, угрожая им Леонеле и требуя, чтобы она сказала ему всю истину, а если нет – он убьет ее. В страхе, сама не зная, что она говорит, Леонела воскликнула:

– Не убивай меня, сеньор, я сообщу тебе вещи столь важные, что ты не можешь и вообразить их себе.

– Говори сейчас же, – сказал Ансельмо, – а нет, готовься умереть.

– Сейчас мне это невозможно, – ответила Леонела, – я слишком смущена; оставь меня до завтра: тогда ты услышишь от меня такие новости, которые изумят тебя; и не сомневайся, что тот, кто выпрыгнул из окна, молодой человек здешнего города, давший мне слово жениться на мне.

Эти уверения успокоили Ансельмо, и он согласился ждать до срока, о котором просила его Леонела, так как ему и в голову не приходило, что он может услышать дурное о Камилле, будучи уверен и убежден в ее добродетели. Итак, он

вышел из комнаты, и запер в ней Леонелу, говоря ей, что не выпустит ее оттуда до тех пор, пока она не скажет ему все, что обещала сказать. Тотчас же отправился он к Камилле, сообщить ей, — как он это и сделал, — все то, что случилось с ее девушкой, и обещание, данное ею, рассказать ему какие-то необычайно важные вещи. Смутилась ли Камилла, или нет, — говорить об этом незачем; страх и ужас, охватившие ее, были так велики, что она, уверенная (и не без основания) в том, что Леонела расскажет Ансельмо все, ей известное, об ее измене, не имела мужества выждать, окажется ли ее подозрение верным, или нет, и в ту же ночь, — лишь только увидела, что Ансельмо заснул, — собрала лучшие драгоценности, бывшие у нее, а также немного денег, и никем не замеченная, ушла из дому и отправилась к Лотарио, которому рассказала все, что случилось, умоляя его, или укрыть ее в безопасном месте, или же бежать с нею вдвоем туда, где бы гнев Ансельмо не мог их настигнуть. Замешательство, в которое Камилла привела Лотарио, было так велико, что он не мог ответить ей ни слова, и еще менее сообразить, на что ему решиться. Наконец, он предложил Камилле отвезти ее в монастырь, в котором сестра его была игуменьей. Камилла согласилась, и с поспешностью, требуемой обстоятельствами, Лотарио отвез ее туда и оставил в монастыре, сам же тотчас же покинул город, не сообщив никому о своем отъезде.

Когда рассвело, Ансельмо, не заметив, что Камиллы нет около него, побуждаемый желанием узнать, что ему скажет Леонела, встал и пошел туда, где он ее запер. Открыв дверь, он вошел в комнату, но уже не нашел в ней Леонелы, а увидел за окном лишь несколько связанных вместе простынь, — доказательство и знак того, что она спустилась по ним

из окна и убежала. Тотчас же он, сильно раздосадованный, вернулся сообщить об этом Камилле, но не найдя ее ни в постели, ни во всем доме, был страшно поражен. Он спросил о ней домашнюю прислугу, однако никто не мог сообщить ему что-либо на его расспросы. Случайно в то время, как он искал Камиллу, он увидел, что сундуки ее раскрыты, и там не хватает большей части ее драгоценностей. Тут он окончательно понял свое несчастье, и что не Леонела была тому причиной; и тогда он, так и не кончив одеваться, печальный и задумчивый, поспешил к другу своему Лотарио, чтобы сообщить ему о своем несчастье. Но когда он его не застал, а прислуга сказала ему, что Лотарио в эту ночь скрылся из дому, взяв с собой все свои деньги, он чуть не сошел с ума. В довершение всего, когда он вернулся домой, он не нашел здесь никого из всех своих слуг и служанок, дом его стоял пустой и покинутый. Он не знал, что думать, что говорить, что делать, и мало-помалу ум у него стал мутиться. Размышляя, он увидел себя, лишенного в одно мгновение жены, друга и слуг, покинутого, как ему казалось, небом, расстилавшимся над ним, а главное лишенного чести, потому что в бегстве Камиллы он видел свою гибель. Наконец, долгое время спустя, он решил ехать в деревню к приятелю, у которого он жил, когда сам подал тот повод, от которого и возникло все его несчастье. Заперев двери своего дома, он сел верхом на лошадь и со стесненным сердцем пустился в путь; но едва проехал полдороги, как, подавленный своими мыслями, он был вынужден сойти с лошади и привязав ее к дереву, упал у ствола его на землю, испуская горькие и жалобные стоны. Здесь он пролежал почти до наступления ночи, когда увидел человека, едущего верхом из города. Поклонив-

шись ему, он спросил, какие новости во Флоренции? Горожанин ответил:

– Самые, что ни на есть, странные, каких уже давно не было слышно, потому что везде рассказывают, будто Лотарио, – этот столь преданный друг Ансельмо богатого, который жил близ Сан-Хуана, – увез этою ночью Камиллу, жену Ансельмо, и сам Ансельмо тоже исчез. Все это узнали от горничной Камиллы, задержанной сегодня ночью по приказанию губернатора, когда она спускалась на простынях из окна в доме Ансельмо. Не могу вам в точности передать, как все это случилось, знаю только, что весь город поражен этим событием, потому что никто не мог ожидать подобного поступка от столь нежной и задушевной дружбы этих двух молодых людей, – дружбы, бывшей, как говорят, такой необычайной, что Лотарио и Ансельмо не звали иначе, как только «два друга».

– Знают ли, быть может – спросил Ансельмо, – по какой дороге бежали Камилла и Лотарио?

– Ничего не знают, – ответил горожанин, – хотя губернатор и принял все меры, чтобы разыскать их.

– Поезжайте с Богом, сеньор, – пожелал Ансельмо.

– Оставайтесь с ним, – ответил горожанин и поехал своей дорогой.

Эти ужасные новости довели Ансельмо до такого состояния, что он не только чуть не сошел с ума, но и едва не покончил с собой. Наконец, он поднялся с трудом и добрался до дому своего приятеля, который еще ничего не знал о его несчастье. Но когда он увидел его, такого бледного, изможденного, изменившегося в лице, – он понял, что какое-то страшное горе угнетает его. Ансельмо пожелал тотчас же лечь в постель, и попросил дать ему письменные принадлежности. Так и сделали, оставив его в постели одного, потому что

он этого хотел, а также он желал, чтобы заперли двери. Когда он остался один, мысль о его несчастий до того мучительно овладела всем его существом, что он не устоял против своего горя и ясно понял: наступает конец его жизни. Итак, он решил дать отчет о причине своей странной смерти, и начал писать, но прежде, чем он успел закончить изложение того, что хотел, дыханье его прервалось, и он погиб жертвой горя, причиненного ему его безрассудным любопытством. Когда хозяин дома увидел, что уже поздно, а Ансельмо все еще никого не зовет, он решился войти к нему узнать, не сделалось ли ему хуже, и нашел его лежащего ничком, – одна половина тела в постели, а другая на письменном столе, на котором находился также и открытый, исписанный лист бумаги, а в руке он еще держал перо. Хозяин подошел к нему, окликнул его, взял за руку, но, видя, что он не отвечает и уже холодный, понял, что он умер. Изумленный и крайне огорченный, он позвал своих слуг, чтобы сообщить им о несчастье, постигшем Ансельмо, и, наконец, он прочел бумагу, которая, как он признал, была написана рукой Ансельмо, а в ней заключалось следующее:

Глупое и безрассудное желание отняло у меня жизнь. Если известие о моей смерти дойдет до слуха Камиллы, пусть она знает, что я простил ей, потому что она не была обязана делать чудеса, и я не должен был требовать от нее, чтобы она их делала. А так как я сам виновник своего бесчестия, то нет причин, чтобы...

На этом месте обрывалось письмо Ансельмо, из чего можно было заключить, что не успел он кончить своей фразы, как уже кончилась жизнь его. На следующий день приятель Ансельмо уведомил о его смерти родственников его, которые уже знали о несчастье, случившемся с ним, и о том, в каком мона-

стыре скрывается Камилла. Она чуть было не последовала за своим супругом в этом для всех неизбежном путешествии, не вследствие известия о его смерти, а вследствие того, что она узнала о своем отсутствующем друге. Говорят, что хотя она и овдовела, но не хотела покинуть монастырь, а еще менее – постричься в монахини, пока (спустя короткое время) не получила известия о том, что Лотарио убит в сражении, данном маршалом Лотреком великому капитану Гонсало Фернандесу Кордовскому в королевстве Неаполитанском, куда отправился поздно раскаявшийся друг Ансельмо. Как только Камилла узнала об этом, она постриглась и вскоре затем рассталась с

жизнью под жестоким гнетом печали и горя. Таков был конец всех их, проистекший из столь безрассудного начала.

– Мне нравится эта повесть, – сказал священник, – но я не могу убедить себя, чтоб это была правда; если же это вымысел, автор неудачно его придумал, так как нельзя себе представить, чтобы нашелся столь глупый муж, который захотел бы сделать такой опасный опыт, какой сделал Ансельмо. Если бы случай этот произошел между любовником и его дамой, – это можно было бы еще допустить; но между мужем и женой, – тут есть нечто едва ли возможное; что же касается изложения рассказа, я его нахожу удовлетворительным.





Глава XXXVI

В которой рассказывается о других редкостных событиях, случившихся на постоялом дворе.

В это время хозяин, стоявший у дверей постоялого двора, сказал:
— Вот подъезжает компания отборных гостей; если они останутся здесь, *gaudeamus tenemus*¹.

— Что это за люди? — спросил Карденио.

— Четверо верховых, — ответил хозяин, — и едут они на коротких стременах, с копьями и щитами в руках, и все с черными масками на лице², а среди них — женщина вся в белом, на дамском седле, тоже с маской на лице, и еще двое пеших слуг.

— Они очень близко? — спросил священник.

— Так близко, — ответил хозяин, — что уже подъезжают.

Услыхав это, Доротеа закрыла себе лицо, а Карденио ушел в комнату Дон Кихота, и едва они успели это сделать, как к постоялому двору подъехали те, о которых говорил хозяин. Четверо всадников, с виду стройные и изящные, спешились и подошли к даме, чтобы снять ее с седла; а один из них, взяв ее на руки, посадил на стул, стоявший у входа в комнату Дон Кихота, куда скрылся Карденио. Во все это время ни сеньора и никто из ее спутников не сняли с себя масок и не произнесли ни слова; только садясь на стул, женщина испустила глубокий вздох и уронила руки, как больной и теряющий сознание человек. Между тем слуги отвели лошадей в конюшню. Увидав это, священник, желая знать, какие это явились люди в та-

¹ Будем радоваться.

² В те времена, путешествуя, мужчины и женщины носили обыкновенно из тонкой и шелковой материи маски для защиты лица от солнца, пыли и ветра.

кой одежде и столь молчаливые, пошел вслед за слугами и спросил одного из них о том, что ему хотелось знать.

Слуга ответил:

– По чести, сеньор, я не сумею вам сказать, что это за люди. Знаю только, что они, по-видимому, знатные сеньоры, и в особенности тот, который снял с лошади даму. Говорю это потому, что все остальные относятся к нему с уважением и делают все, что он желает и приказывает.

– А сеньора – кто она такая? – спросил священник.

– И этого не могу вам сказать, – ответил слуга, – потому что всю дорогу я не видел ее лица; хотя слышал много раз, как глубоко она вздыхала и издавала такие стоны, что, казалось, с каждым из них она готова испустить дух. Не удивительно, если мы не знаем больше того, что я сейчас вам сказал, так как мой товарищ и я, мы не более двух дней сопровождаем этих господ; когда мы встретили их по дороге, они попросили и уговорили нас идти с ними до Андалузии, предложив хорошо нам заплатить.

– Слышали ли вы, как зовут кого-нибудь из них? – спросил священник.

– Нет, не слышали, – ответил слуга, – так как все они едут столь молчаливо, что это просто удивление, и раздаются только лишь вздохи и всхлипывания бедной сеньоры, возбуждающие в нас жалость, и мы твердо уверены, что куда бы ее ни везли, ее везут насильно. Насколько можно судить по ее одежде, она монахиня или скоро сделается ею, – последнее еще вероятнее. Быть может, именно потому, что ей против воли приходится идти в монастырь, она и едет такая грустная и печальная.

– Все может быть, – сказал священник, и, оставив их, вернулся туда, где была Доротеа, которая, услышав, что

дама в маске вздыхает, движимая врожденным ей состраданием, подошла к ней и сказала:

– Что с вами, сеньора моя? Что болит у вас? Может быть, это нечто такое, что женщины привыкли и умеют облегчать; в таком случае от всей души предлагаю вам мои услуги.

На эти слова огорченная сеньора ответила молчанием и, хотя Доротеа еще настойчивее возобновила предложение своих услуг, дама, тем не менее, продолжала безмолвствовать, пока, наконец, замаскированный кабальеро – тот, о котором слуга говорил, что все остальные повинуются ему – не подошел и не сказал Доротее:

– Не трудитесь, сеньора, предлагать что бы то ни было этой женщине, так как не в ее обычаях быть благодарной за то, что для нее делают, и не старайтесь добиться от нее ответа, если не желаете услышать из ее уст какую-нибудь ложь.

– Никогда я не говорила лжи, – воскликнула в это мгновение та, которая до тех пор молчала, – напротив, оттого, что я всегда была правдива и чужда лживых уверток, я и навлекла на себя столь великое мое несчастье. Призываю вас самих свидетельствовать об этом, потому что именно моя искренняя правдивость делает вас вероломным и лжецом.

Карденио ясно и отчетливо услышал эти слова, находясь вблизи той, которая их произнесла, потому что его отделила от нее лишь дверь комнаты Дон Кихота, и как только он услышал эти слова, он громко вскрикнул:

– Помогите мне, Боже! Что я слышу? Чей голос дошел до моего слуха?

При этом восклицании сеньора в маске вздрогнула, повернула голову и, не видя, кто говорит, встала, направляясь в соседнюю комнату. Но заметив это, ее спутник остановил ее и не дал ей

сделать ни шагу. От волнения и внезапного движения, маска из тафты упала с ее лица и обнаружила изумительную и необычайную красоту его, хотя оно было бледное и выражало испуг, так как, словно что-то отыскивая, глаза ее обращались во все стороны с такою стремительностью, которая придавала ей вид сумасшедшей. Эти проявления горя вызвали у Доротеи и всех, кто смотрел на нее, величайшую к ней жалость, хотя никто и не знал причины столь странного ее поведения. Ее спутник крепко схватил ее за плечи и был так занят этим делом, что не мог удержать маску из тафты, падавшую с его лица, и она действительно упала. Доротея, обнимавшая сеньору, увидела, подняв глаза, что тот, который тоже ее держит в своих объятиях, был ее супруг – дон Фернандо. Едва она узнала его, как из самой глубины ее груди вырвался продолжительный и жалостный стон, она упала навзничь, лишившись чувств, а если б около нее не оказался цирюльник, подхвативший ее на руки, она грохнулась бы на пол. Тотчас же бросился к ней священник и снял с нее вуаль, чтобы обрызгать ее водой, а лишь только он открыл ей лицо, дон Фернандо – потому что это он держал за плечи ту другую – узнал Доротею и словно обмер. Тем не менее, он не выпустил из рук Люсинды, которая старалась вырваться из его объятий, узнав по голосу Карденио, как и он узнал ее по голосу. Услыхав стон Доротеи, когда она упала в обморок, Карденио, думая, что это Люсинда, выбежал в испуге из комнаты Дон Кихота и первое, что он увидел, был дон Фернандо, державший в объятиях Люсинду. Дон Фернандо тотчас же узнал Карденио, и все трое – Люсинда, Карденио и Доротея – стояли в безмолвном изумлении, почти не понимая, что с ними случилось. Все они

молчали и смотрели друг на друга – Доротея на дону Фернандо, дон Фернандо на Карденио, Карденио на Люсинду, Люсинда на Карденио. Первая, прервавшая общее молчание, была Люсинда, которая обратилась к дону Фернандо со следующими словами:

– Оставьте меня, сеньор дон Фернандо, хотя бы только из чувства собственного достоинства, если не по другим причинам, и дайте мне прилечь к ограде, для которой я плющ, к опоре, от которой ни ваша докучливость, ни угрозы, ни обещания, ни подарки не могли оторвать меня. Вы видите теперь, какими неожиданными и для нас таинственными путями небо привело меня к моему истинному супругу, и вам хорошо известно ценой тысячи тяжелых испытаний, что только одна смерть в состоянии изгладить его из моей памяти. Пусть же столь громогласное объяснение мое превратит (если вы ни на что другое не способны) вашу любовь ко мне в бешенство и расположение ваше – в гнев. Отнимите у меня жизнь, так как, потеряв ее на глазах моего дорогого супруга, я буду считать, что прожила недаром. Быть может, смерть моя убедит его в том, что я сохранила ему верность до последнего трепетания жизни.

Между тем Доротея очнулась от своего обморока и слышала все, что говорила Люсинда, из слов которой она узнала, кто она такая.

Но видя, что дон Фернандо не выпускает Люсинду из своих объятий и не отвечает на ее просьбу, она собрала все свои силы, встала и, опустившись на колени перед доном Фернандо, проливая ручьи горьких и очаровательных слез, заговорила таким образом:

– Если, сеньор мой, лучи этого омраченного солнца, которое ты держишь в своих объятиях, не ослепили и не за-

тмили твои глаза, ты увидел уже теперь, что перед тобой на коленях стоит несчастная, пока тебе это будет угодно, и горестная Доротеа. Я – та смиренная крестьянка, которую ты по своей доброте, или же из прихоти, захотел поднять на такую высоту, чтобы она могла назваться твоей. Я та, которая, огражденная пределами невинности, вела счастливую жизнь, пока на призыв твоего неотступного ухаживания и твоей, казалось, искренней и сильной страсти, не раскрыла дверей своего уединения и не передала тебе ключей от своей свободы – дар, принятый тобой со столь малой признательностью, ясным доказательством чему служит то, что я была вынуждена очутиться здесь, в этом месте, где тебе пришлось встретиться со мной, а мне увидеть тебя в том положении, в каком я тебя вижу. Но, тем не менее, я не желала бы, чтоб ты вообразил, будто я пришла сюда путем моего бесчестия, так как привели меня сюда только горе и скорбь о том, что я забыта тобой. Ты желал, чтоб я была твоей, и желал это так рьяно, что, если б теперь ты и захотел, чтоб этого не было, невозможно тебе перестать быть моим. Прими во внимание, сеньор мой, что безграничная любовь моя к тебе может служить вознаграждением за красоту и знатность той, ради которой ты покинул меня. Ты не можешь принадлежать Люсинде, потому что ты мой, и она не может быть твоей, потому что она принадлежит Карденио. Тебе, – подумай о том, – окажется легче принудить себя полюбить ту, которая тебя боготворит, чем заставить ту, которая тебя ненавидит, полюбить тебя. Ты воспользовался моею опрометчивостью, ввел в искушение мою добродетель, мое происхождение было не безызвестно тебе и ты хорошо знаешь, как уступила я твоим желаниям; нет ни причины, ни повода

ссылаться тебе на какой-либо обман; и раз это так, как оно и есть, и ты христианин и рыцарь, зачем же ты, окольным путем столько уверток, откладываешь довести до конца мое счастье, положив ему начало? И если ты не хочешь, чтобы я была тем, что я есть – твоей истинной и законной женой, – по крайней мере, люби меня и возьми к себе рабыней; лишь бы только быть в твоей власти – и это я сочту за счастье и блаженство. Не допускай, покинув и отказавшись от меня, чтоб на всех перекрестках говорили и распространялись слухи о моем бесчестии; не уготовь такой печальной старости моим родителям, – это было бы плохой наградой за верную службу, которую они, как добрые вассалы, всегда несли твоим родителям. И если тебе кажется, что ты унизишь кровь свою, смешав ее с моею, подумай о том, как мало, или и вовсе нет знатных родов на свете, которые не шли бы тем же путем, и не происхождение женщины принимается в расчет в славных родах; тем более, что истинное благородство заключается в добродетели, и если ее не хватает у тебя, раз ты отказываешься в том, что мне принадлежит по справедливости, у меня окажется больше прав на благородство, чем у тебя. Наконец, сеньор, скажу в заключение: желаешь ли ты, или не желаешь, я твоя жена, свидетелями чего слова твои, которые не должны и не могут быть лживы, если ты гордишься тем, за что пренебрегаешь мною; свидетелями будут и подпись твоя, и небо, которое ты сам призывал удостоверить данное тобою обещание. Но даже, если б все эти свидетели молчали, не молчала бы твоя совесть, голос которой, ни для кого не слышный, раздавался бы громко среди веселий твоих, повторяя ту истину, которую я сказала тебе, и нарушая лучшие твои удовольствия и радости.

Эти и тому подобные доводы привела огорченная Доротея с таким глубоким чувством и с такими горькими слезами, что даже у спутников дона Фернандо, как и у остальных присутствующих, навернулись слезы. Дон Фернандо слушал ее, не отвечая ни слова, пока она не умолкла и не разразилась такими рыданиями и вздохами, что нужно было бы иметь железное сердце, чтобы не тронуться выражением такого горя. Люсинда смотрела на Доротею, чувствуя не менее сострадания к ее несчастью, чем удивления ее умом и красотой. Ей хотелось подойти к ней и сказать несколько слов утешения, но она не могла освободиться из рук дона Фернандо, который все еще крепко держал ее. После того, как он довольно долго и пристально смотрел на Доротею, он, исполненный смущения и раскаяния, раскрыл руки и, отпустив Люсинду, сказал:

– Ты победила, прекрасная Доротея, ты победила, так как невозможно, чтобы у кого-нибудь хватило духа отрицать столько истин, подкрепляющих одна другую!

В состоянии изнеможения, в котором находилась Люсинда, она чуть было не упала, когда ее отпустил дон Фернандо, но Карденио, бывши вблизи, так как он стоял за плечами дона Фернандо, чтобы тот не видел его, отбросив всякий страх и готовый на всякую опасность, кинулся к Люсинде, чтобы поддержать ее, и, приняв ее в свои объятия, сказал:

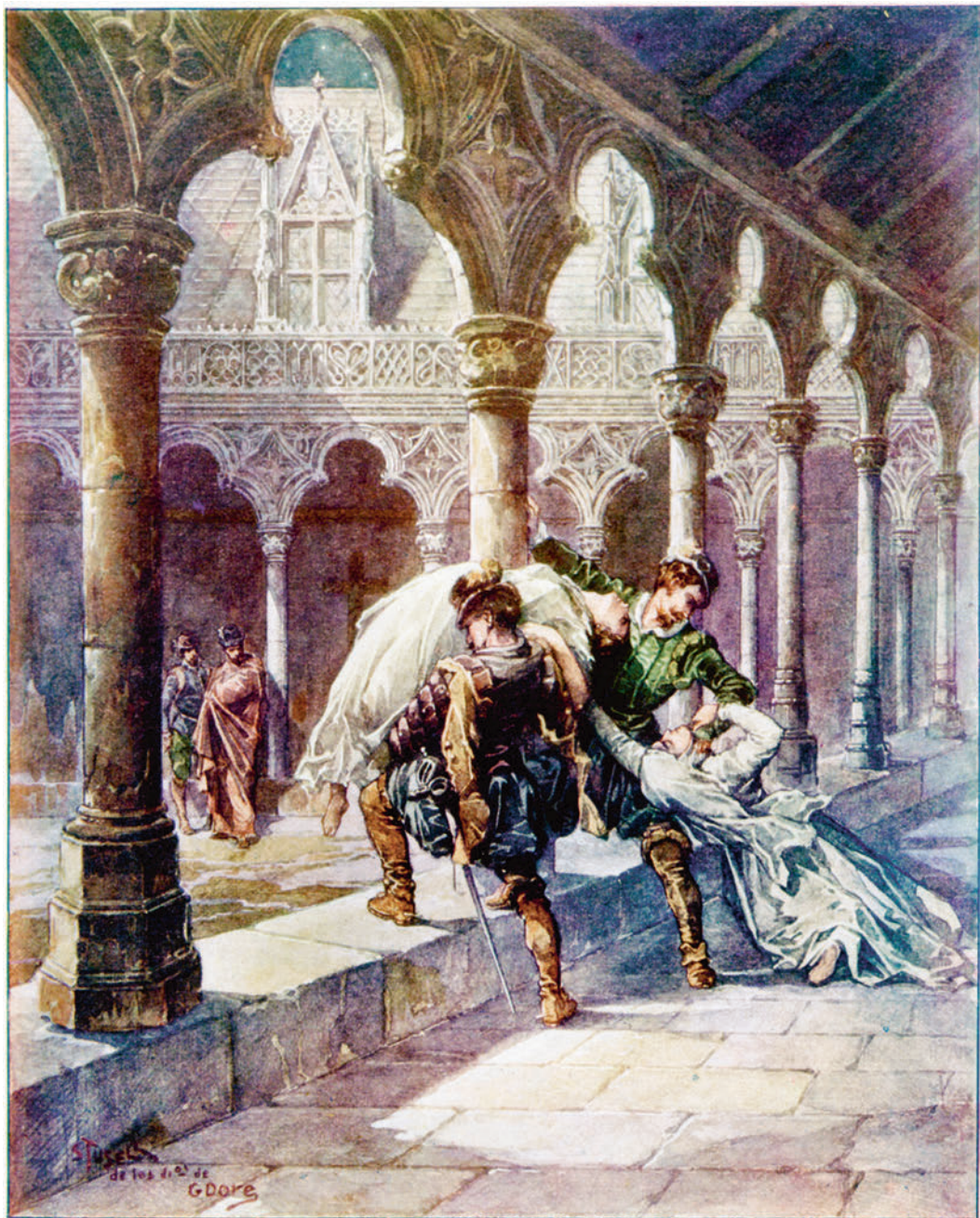
– Если милосердному небу угодно, и оно желает, чтобы ты нашла некоторое успокоение, неизменная, верная и прекрасная сеньора моя, нигде, думается мне, не найдешь ты его более надежным, чем в этих объятиях, которые теперь раскрылись для тебя, как они раскрывались и в те дни, когда еще судьбе угодно было, чтоб я мог называть тебя своей.

При этих словах Люсинда подняла глаза на Карденио и, начав с того, что узнала его по голосу, теперь удостоверившись зрением, что это он, почти вне себя и не обращая внимания ни на какие приличия, – обвила руками его шею и, прильнув лицом к его лицу, сказала:

– Да, вы, сеньор мой, вы – истинный повелитель этой вашей пленницы, сколько бы враждебная судьба ни противодействовала тому, и сколько ни обрушивалось бы угроз на эту жизнь, подерживаемую только вашей жизнью.

Это было странное зрелище для дона Фернандо и для всех присутствующих, изумленных столь непредвиденным происшествием. Доротея показала, что дон Фернандо побледнел и имеет намерение мстить Карденио, так как она видела, что он сделал движение рукой, будто хочет взяться за рукоять меча. Лишь только у нее мелькнула эта мысль, она с невероятной быстротой обняла его колени, целуя их и прижимаясь к ним так крепко, что он не мог двинуться, и, не прерывая своих слез, сказала ему.

– Что намерен ты делать при этом столь неожиданном событии, ты, единственное мое убежище? У ног твоих твоя супруга, а та, которую ты желал бы, чтобы она была ею, в объятиях своего мужа. Подумай, хорошо ли, или возможно ли тебе разрушить то, что небо устроило, или приличествует ли тебе желать возвыситься до себя и поставить на одном уровне с собой ту, которая, презрев всякие препятствия, полагаясь на свою правоту и постоянство, на глазах у тебя орошает слезами любви лицо и грудь своего истинного супруга? Прошу тебя ради Бога и умоляю ради собственного твоего достоинства, пусть это заявление, сделанное во всеуслышание, не только не воспламенит твоего



... Люсинда, лишь только увидела себя в его власти, упала в обморок...

гнева, а, напротив, так укротит его, что ты спокойно и мирно, без всякого препятствия со своей стороны, дозволишь этим двум влюбленным наслаждаться спокойствием и миром все время, пока небу будет угодно даровать их им. Этим ты докажешь великодушие твоего возвышенного, благородного сердца и свет увидит, что над тобою имеет больше власти разум, чем страсти.

Пока Доротея говорила это, Карденио, хотя он и держал в своих объятиях Люсинду, не спускал глаз с дона Фернандо, решив защищаться, если увидит, что тот делает какое-либо угрожающее движение, и оказывать сопротивление всем, кто бы ни напал на него, даже если бы это и стоило ему жизни. Но в это время к дону Фернандо подошли его друзья, а также священник и цирюльник, присутствовавшие при всем происходившем, не исключая и доброго Санчо Пансу, и все они окружили дона Фернандо, умоляя его не оставить без внимания слез Доротеи, и если то, что она говорила, правда, – в чем они не сомневаются, – не допустить, чтобы она обманулась в справедливых своих надеждах. Пусть он подумает и о том, что не случайно – как могло бы казаться – а по особому предопределению неба все они встретились в таком месте, где меньше всего можно было ожидать этого, и не упускал бы из виду, – добавил священник, – что только смерть может разлучить Люсинду с Карденио, и хотя бы их разлучило острое меча, они сочли бы свою смерть счастливой. В непоправимых же случаях верх мудрости в том, чтобы, преодолевая и побеждая самого себя, выказать великодушное сердце, дав по собственной доброй воле двум этим влюбленным разрешение наслаждаться счастьем, которое небо уже даровало им. Пусть вместе с тем он бросит взгляд также на

красоту Доротеи и увидит, что в этом отношении лишь очень немногие, или, вернее, ни одна женщина в мире, не может сравниться с нею, а тем более превзойти ее, и что к ее красоте присоединяется еще скромность и беспрдельная любовь к нему. А главное, пусть он вспомнит, если гордится тем, что он рыцарь и христианин: он не может не сдерживать данного им слова, – а сдержав его, исполнит свой долг перед лицом Бога и заслужит одобрение благомыслящих людей, которые знают и хорошо понимают, что исключительное право красоты, – хотя бы ею была одарена личность самого скромного происхождения, если только она соединена с целомудрием – возвыситься до какого угодно звания и положения без малейшего унижения для того, кто ее возвысил до себя и уравнивал с собою; и если исполняются могущественные требования страсти, лишь бы в них не замешался грех, – нельзя обвинять того, кто им подчиняется.

Словом, они к этим доводам добавили еще и другие, и их было столько, что мужественное сердце дона Фернандо, все же питавшееся благородной кровью, смягчилось и признало победу над собой истины, которую он не мог отрицать, хотя бы и желал. В доказательство того, что он сдался и уступил доброму совету, с которым к нему обратились, он наклонился к Доротее и, поцеловав ее, сказал:

– Встаньте, сеньора моя, так как не хорошо, чтобы лежала у ног моих та, которую я ношу в своем сердце, и если я до сих пор не дал доказательств того, что говорю, быть может, это случилось по велению неба, чтобы, увидев постоянное, с которым вы меня любите, я сумел ценить вас, как вы того заслуживаете. Все, чего я у вас прошу, – не укоряйте меня за мои дурные поступки и

мое пренебрежение к вам, потому что та же могучая сила и причина, побудившая меня сделать вас своей, вынудила меня стараться не быть вашим. А что это правда, – обернитесь и взгляните в глаза теперь уже счастливой Люсинды, и в них вы найдете извинение всех моих заблуждений. А так как она нашла и достигла того, чего желала, и я нашел в вас исполнение моих желаний, – пусть она живет спокойная и довольная долгие и счастливые годы со своим Карденио, как я буду молить небо позволить мне прожить их с моей Доротеей.

С этими словами он опять поцеловал ее и прижался лицом к ее лицу с такой искренней нежностью, что ему стоило большого труда сдержаться, чтобы слезы не явились несомненным признаком его любви и раскаяния. Но Карденио и Люсинда не сдержали своих слез, также как этого не сделали и почти все присутствовавшие, которые стали их проливать в таком изобилии, одни, радуясь своему счастью, другие чужому, что могло казаться, будто на них обрушилось какое-нибудь великое и тяжелое горе. Даже и Санчо Панса, и тот плакал, хотя он потом и говорил, что заплакал, только убедившись, что Доротея не оказалась, как он это думал, королевой Микомикона, от которой он ждал столько милостей. Еще некоторое время продолжалось вместе со слезами общее изумление, и затем Карденио и Люсинда подошли к дону Фернандо, опустили перед ним на колени и благодарили его за оказанную им милость в таких утонченно любезных выражениях, что дон Фернандо не знал, что ответить им; итак, он поднял их и поцеловал с большой учтивостью и нежностью. После того он попросил Доротеею рассказать ему, как она очутилась здесь, так далеко от своего родительского дома.

В коротких и удачно подобранных выражениях сообщила она ему все то, что перед тем рассказала Карденио. Дону Фернандо и его спутникам рассказ ее очень понравился, и они были бы готовы еще долго слушать ее, так увлекательно умела Доротея передать повесть своих страданий. Когда же она кончила, дон Фернандо сообщил случившееся с ним после того, как он нашел на груди Люсинды письмо, в котором она объявляла, что она жена Карденио и не может быть его женой. Он сказал, что хотел тогда убить ее и сделал бы это, если бы ее родители не удержали его, а затем он ушел из их дома, смущенный и рассерженный, решив отомстить при более удобном случае. На следующий день он узнал, что Люсинда исчезла из родительского дома, и что никому неизвестно, куда она бежала. Наконец, через несколько месяцев дошло до его сведения, что она находится в монастыре и желает остаться там всю жизнь, если ей не удастся провести ее с Карденио. Как только он узнал об этом, он сговорился с тремя кабальеросами и отправился с ними в монастырь, где находилась Люсинда, но не захотел говорить с ней, опасаясь, что если узнают о его приезде, монастырь будут лучше охранять. Итак, дождавшись дня, когда дверь в монастырь оказалась открытой, он поставил двух своих товарищей сторожить у этих дверей, а с третьим вошел в монастырь, отыскивая Люсинду, которую застал в монастырском коридоре разговаривающей с монахиней. Он схватил ее, не дав ей времени сопротивляться, и отвел в такое место, где можно было запастись всем необходимым, чтобы увезти ее дальше. Все это они могли проделать в полной безопасности, потому что монастырь стоял в поле, вдали от города. Рассказал он также, что Люсинда, лишь

только увидела себя в его власти, упала в обморок, а когда пришла в себя, только и делала, что плакала, стонала, не произнося ни слова; и таким образом, сопровождаемые молчанием и слезами,

они добрались до этого постоянного двора, что означало для него, как оказалось, добраться до небес, где все земные невзгоды прекращаются и всем им наступает конец.





Глава XXXVII

*В которой продолжается история знаменитой принцессы
Микомиконь, с другими забавными приключениями.*

Все это слышал Санчо с небольшой болью в душе, видя, что надежды его на получение графского или иного почетного титула исчезают и обращаются в дым, и что прелестная принцесса Микомикона превратилась в Доротею, а великан – в дон Фернандо, в то время как его господин покоится сладким сном, совершенно не заботясь о происходящем вокруг него. Доротея все еще не могла поверить, что выпавшее на ее долю счастье не приснилось ей. Подобные же мысли осаждали ум Карденио, и Люсинда была в таком же настроении, а дон Фернандо благодарил небо за оказанную ему милость и за то, что оно извлекло его из запутанного лабиринта, где он чуть было не потерял честь и душу. Словом, все находившиеся на постоялом дворе были довольны и рады счастливому исходу столь трудных

и казавшихся безнадежными обстоятельств. Священник, как человек умный, осветил все случившееся, как следовало, и поздравил каждого с достигнутым им счастьем; но более всех радовалась и торжествовала хозяйка постоялого двора, потому что Карденио и священник обещали ей заплатить за весь понесенный ущерб и все убытки, причиненные ей Дон Кихотом. Один только Санчо, как уже сказано, был огорчен, опечален и несчастлив. Итак, он с унылым видом вошел к своему господину, который только что проснулся, и сказал:

– Сеньор Печального Образа, ваша милость может теперь спать сколько угодно, не заботясь о том, чтобы убить великана и вернуть принцессе ее королевство, потому что все уже сделано и совершено.

– Охотно верю этому, – ответил Дон Кихот, – так как у меня с великаном

была самая чудовищная и ожесточенная схватка, какая навряд ли еще произойдет в моей жизни, и от одного удара наотмашь: крик, – голова его полетела на пол, и столько хлынуло крови, что ручьи ее текли по земле, точно вода.

– Точно красное вино, следовало бы лучше сказать вашей милости, – ответил Санчо, – потому что вам надо знать, если это еще не известно вашей милости, что убитый великан – проткнутый бурдюк, кровь – три ведра красного вина в его утробе, а отрубленная голова – блудница, которая меня родила, – и пусть все это вместе поберет сатана!

– Что ты говоришь, сумасшедший, – возразил Дон Кихот, – в рассудке ли ты?

– Пусть милость ваша встанет, – сказал Санчо, – и увидит, какую прекрасную историю вы натворили, и сколько нам придется заплатить; и увидит королеву, превращенную в обыкновенную даму по имени Доротея, и другие происшествия, которые, если вы окунетесь в них, изумят вас.

– Ничто в таком роде не изумит меня, – сказал Дон Кихот, – потому что, если ты хорошо припомнишь, еще и в прошлый раз, когда мы здесь останавливались, я говорил тебе, что все, случившееся здесь – волшебство, и не было бы ничего особенного, если бы и теперь повторилось то же.

– Всему этому я поверил бы, – сказал Санчо, – если б и подбрасывание меня вверх на одеяле оказалось в том же роде, но оно не оказалось им, оно было в действительности и взаправду, и я видел, что хозяин, – который и теперь здесь, – держал один конец одеяла и подбрасывал меня к небу, весело и оживленно, со столь же громким смехом, как и большой силой; а там, где можно узнать людей, я считаю, хотя я и грешный и глупый человек, что нет никакого волшебст-

ва, а только много синяков и очень много незадачи.

– Ну, хорошо, – сказал Дон Кихот, – Бог этому поможет, а ты дай мне одеться и я выйду отсюда, так как желаю видеть те происшествия и превращения, о которых ты говорил.

Санчо подал ему платье, а в то время, как он одевался, священник рассказал дону Фернандо и остальным о безумии рыцаря и о той хитрости, к которой они прибегли, чтоб сманить его с Реña Robre, где он воображал, что находится из-за пренебрежения к нему его дамы. Священник рассказал им также почти все приключения, о которых сообщил Санчо Панса, и они изумлялись и смеялись немало, потому что им, как и всем другим, казалось, что это самый странный род помешательства, какой только может овладеть расстроенным мозгом. Священник сказал также, что в виду счастливого события, случившегося с сеньорой Доротеей, приходится отложить дальнейшее выполнение их прежнего плана и надо придумать и изобрести что-нибудь другое, чтобы можно было увезти Дон Кихота домой, в село. Карденио посоветовал продолжать начатое, причем Люсинда могла бы взять на себя и разыграть роль Доротеи.

– Нет, – сказал дон Фернандо, – этого не надо, потому что я желаю, чтобы Доротея сама довела до конца свою выдумку; и если село этого доброго рыцаря не очень далеко отсюда, мне доставит большое удовольствие содействовать его излечению.

– Оно не более чем в двух дней пути отсюда.

– Если б оно было и дальше, я бы и туда с радостью поехал, лишь бы сделать столь доброе дело.

В это время вошел Дон Кихот, вооруженный всеми своими доспехами, с шлемом Мамбрино на голове, хотя и

изогнутым, с щитом, продетым на руку, и опираясь на свой шест или копье.

Дона Фернандо и остальных удивила столь странная фигура Дон Кихота и, глядя на его лицо, – длинное, сухое и желтое, – на все эти не соответствующие друг другу части его вооружения и на его полную достоинства осанку, они молча ждали, что он скажет. А он с величайшим спокойствием и серьезностью, устремив глаза на прекрасную Доротею, обратился к ней с такою речью:

– Я извещен, прелестная сеньора, этим моим оруженосцем, что ваше величие унижено и звание ваше уничтожено, так как из королевы и знатной особы вы обратились в простую девушку. Если это случилось по распоряжению короля-чернокнижника, – вашего отца, опасавшегося, что я не окажу вам необходимой и должной помощи, – я скажу, что он не знал и не знает и половины обедни и был мало сведущ в рыцарских историях, потому что, если бы он их читал так внимательно и продолжительно, как я читал и изучал их, то на каждом шагу видел бы, как другие, еще менее известные, чем я, рыцари, совершали куда более трудные подвиги. Ведь, нет ничего особенного в том, чтоб убить великанчика, каким бы он ни был надменным, так как несколько часов тому назад я вступил с ним в бой и... лучше замолчу, чтобы мне не сказали, что я лгу; но время, – разоблачитель всего на свете, – заговорит, когда менее всего будем ждать этого.

– Вы вступили в бой с двумя бурдюками вина, а не с великаном, – сказал тогда хозяин двора; но дон Фернандо велел ему молчать и ни в каком случае не прерывать речи Дон Кихота, который продолжал таким образом:

– Словом, я говорю, возвышенная и лишенная наследства сеньора, что если по причине, на которую я указал, отец ваш произвел эту метаморфозу с вашей

особой, не придавайте этому никакого значения, потому что на свете нет той опасности, через которую не проложил бы себе путь мой меч, и с помощью его я низвергну вашего врага и возложу вам на голову корону вашего королевства.

Ничего больше не сказал Дон Кихот и ждал, что ему ответит принцесса, а она, уже зная о решении дона Фернандо, чтобы она продолжала играть свою роль, пока не доведут Дон Кихота до его села, ответила с большой важностью и непринужденностью:

– Кто бы вам ни сказал, доблестный рыцарь Печального Образа, будто я изменилась и преобразилась по своему существу, сказал вам неправду, потому что я и сегодня остаюсь тем же, чем была вчера. Действительно, некоторые события произвели во мне перемену, так как они дали мне лучшее из всего, что я могла бы желать себе, но, несмотря на это, я не перестала быть такой, какой была и раньше, и придерживаться тех же намерений, какие у меня всегда были – прибегнуть к доблести вашей храброй и непобедимой руки. Так что, сеньор, пусть милость ваша вернет моему отцу, от которого я произошла на свет, его честь и считает его человеком рассудительным и сведущим, потому что, благодаря своей науке, он нашел такой легкий и верный путь помочь мне в моей беде. Если бы не вы, сеньор, я думаю, что никогда бы я не достигла счастья, которого я достигла, а что сказанное мною верно, в этом могу сослаться на свидетельство всех присутствующих здесь. Нам остается только отправиться завтра утром в путь, так как сегодня нельзя было бы ехать далеко. Что же касается счастливого окончания дела, на которое я надеюсь, я полагаюсь на Бога и на ваше мужественное сердце.

Вот что сказала умная Доротея, и Дон Кихот, выслушав ее, обернулся к Санчо и с

видом сильнейшего негодования объявил ему:

– Теперь я скажу тебе, Санчуэло, что ты самый большой плутище во всей Испании. Скажи, вор, бродяга, не ты ли говорил мне сейчас, будто эта принцесса превратилась в простую девушку, по имени Доротея, и голова, которую я, как думал, отрубил у великана, – та блудница, что родила тебя, и другие тому подобные нелепости, приведшие меня в величайшее смущение, когда-либо испытанное мною в жизни? Но клянусь (и он поднял глаза к небу и стиснул зубы), я готов так разгромить тебя, что от этого поумнели бы отныне впредь все лгуны оруженосцы, сколько бы их ни было у странствующих рыцарей.

– Успокойтесь, милость ваша, сеньор мой, – ответил Санчо, – очень возможно, что я ошибся относительно превращения сеньоры принцессы Микомиконь. Что же касается головы великана или, по крайней мере, прорванных бурдюков и того, что кровь была красное вино, я не ошибаюсь, клянусь Богом, потому что бурдюки стоят прорванные у изголовья постели вашей милости, а в комнате целое озеро красного вина. Если же нет, вы узнаете это, когда вам придется жарить яйца в масле¹, я хочу сказать, вы это увидите, когда его милость, сеньор хозяин здешнего постоялого двора, представит вам счет за убытки. Что же до остального, то есть, что сеньора королева осталась тем, чем была, я всей душою этому рад, потому что и я получу свою долю, как и всякий соседский сын².

– Теперь говорю тебе, Санчо, – ответил Дон Кихот, – что ты глуп; прости меня, и доволюно.

– Довольно, – подтвердил дон Фернандо, – и ни слова больше об этом; а так как сеньора принцесса говорит, что нам следует ехать завтра, потому что сегодня уже слишком поздно, – мы так и сделаем. Эту же ночь можно будет провести в приятной беседе до наступления дня, когда мы все поедем сопровождать сеньора Дон Кихота, так как желаем быть свидетелями доблестных и неслыханных подвигов, которые ему предстоит совершить, исполняя взятое им на себя великое предприятие.

– Этим мне следовало бы служить вам и сопровождать вас, – ответил Дон Кихот. – Очень вам признателен за оказанную мне милость и за ваше доброе мнение обо мне, которое постараюсь оправдать или заплачу за него жизнью и даже больше жизни, если б имел что-либо большее.

Еще многими любезностями и предложениями услуг обменялись Дон Кихот и дон Фернандо; но всему этому положил конец путешественник, который как раз в то время вошел на постоялый двор. Судя по одежде, он казался христианином, только что вернувшимся из страны мавров, так как на нем было нечто вроде кафтана из голубого сукна с короткими фалдами, полурукавами и без воротника³, панталоны из голубого полотна и шапка такого же цвета. Ноги были обуты в полусапоги цвета фиников, а мавританский короткий меч висел на перевязи, обхватывающей ему грудь. Позади него, верхом на осле, ехала женщина, одетая по-мавритански, с закутанным лицом и покрывалом на голове, сверх которого была надета маленькая шапочка из золотой парчи, а длинная мавританская мантия падала с ее

¹ Al freír de los huevos lo vera – общеупотребительное испанское выражение, означающее: «вы это увидите, когда придется расплачиваться за это».

² Испанская поговорка.

³ Обычный костюм пленных христиан, находившихся в неволе в Берберии.

плеч до ног. Мужчина был высокого роста, стройный, в возрасте немного более сорока лет, со смуглым лицом, длинными усами и окладистой бородой, словом, вид его был таков, что будь он лучше одет, его можно было бы принять за человека знатного и весьма хорошего происхождения.

Войдя, он спросил отдельную комнату и, по-видимому, огорчился, когда ему сообщили, что такой нет на постоялом дворе, а затем, подойдя к той, которая по одежде казалась мавританкой, он снял ее с осла. Люсинда, Доротеа, хозяйка, ее дочь и Мариторнес, привлеченные новым и никогда не виденным ими костюмом, окружили мавританку; а Доротеа, которая всегда была любезная, учтивая и догадливая, заметив, что оба, и она, и ее спутник, огорчены отсутствием отдельной комнаты, сказала:

– Не смущайтесь, сеньора, тем, что здесь нет никаких удобств: это свойство всех постоялых дворов; но, тем не менее, если вам угодно будет поместиться с нами (указывая на Люсинду), – быть может, за все ваше путешествие вы не встретите столь радушного приема.

Сеньора, закутанная покрывалом, ничего не ответила, а только встала со своего места и, скрестив руки на груди, наклонила голову и все туловище в знак благодарности. Из ее молчания они заключили, что, без сомнения, она мавританка и не умеет говорить на христианском языке. В это время вошел пленник, который до тех пор был занят другими делами, и, видя, что все окружили приехавшую с ним, а она на их вопросы ничего не отвечает, сказал:

– Сеньоры мои, эта девушка почти не понимает нашего языка и говорит только на своем родном языке, поэтому она не отвечала и не может ответить на то, что у нее спрашивали.

¹ Мавры были мусульмане.

– Мы не спрашиваем у нее ничего – ответила Люсинда, – а только предлагаем ей на эту ночь свое общество и часть комнаты, в которой мы устроимся, и где она найдет все удобства, возможные в здешнем помещении, с тем доброжелательством, которое обязывает нас служить всем иностранцам, нуждающимся в наших услугах, в особенности же, если нуждается в них женщина.

– За нее и за себя, – ответил пленник, – целую вам руки, сеньора моя, и, как и подобает, высоко ценю предлагаемую вами милость, которая при данных обстоятельствах и со стороны таких лиц, какими вы кажетесь, несомненно, весьма велика.

– Скажите мне, сеньор, – спросила Доротеа, – эта девушка христианка или мавританка¹? Так как одежда ее и молчание заставляют нас предполагать, что она то, чем бы мы не желали, чтобы она была.

– По одежде и происхождению она мавританка, но душой – величайшая христианка, потому что она исполнена сильнейшего желания сделаться ею.

– Значит, она еще не крещена? – спросила Люсинда.

– Не было времени для этого, – сказал пленник. – С тех пор, как она покинула Алжир, свою родину и местожительство, она не была еще в столь близкой опасности смерти, которая бы вынудила крестить ее прежде, чем она ознакомится со всеми обрядами, зная которые предписывается нашей Святою Матерью Церковью. Но если Богу будет угодно, вскоре она примет крещение с торжественностью, подобающею ее званию, более высокому, чем может казаться по ее и моей одежде.

Этими словами он возбудил во всех слушавших его желание узнать, кто такие мавританка и пленник, – но никто не

хотел спрашивать его об этом тогда же, хорошо понимая, что теперь им следует скорее доставить отдых, чем расспрашивать об их жизни. Доротеа взяла мавританку за руку и, усадив ее рядом с собой, попросила снять покрывало. Мавританка взглянула на пленника, как бы спрашивая его, что они говорят и что ей надо делать? Он сказал ей на арабском языке, что ее просят снять с лица покрывало, и она может исполнить эту просьбу. Итак, она сняла вуаль и открыла лицо до того прелестное, что Доротеа нашла ее красивее Люсинды, а Люсинда – красивее Доротеи, и все присутствовавшие признали: если бы кто-либо мог по красоте сравниться с ними обеими, то только мавританка, а некоторые даже ставили ее в иных частностях выше их. Но так как красота обладает прерогативой и особым преимуществом побеждать сердца и привлекать симпатии, тотчас же все почувствовали желание служить очаровательной мавританке и как-нибудь обласкасть ее. Дон Фернандо спросил пленника, как зовут мавританку, и тот ответил, что имя ее Лела Сораида. Лишь только она услышала это, тотчас же она поняла, о чем спросили христианина, и поспешно, с милой резвостью, воскликнула: – *Нет, нет Сораида, – Мария, Мария,* – давая им понять, что ее зовут Мария, а не Сораида. Слова ее и горячность, с которой она произнесла их, тронули некоторых до слез, в особенности женщин, которые по природе нежны и сострадательны. Люсинда поцеловала ее с искренней любовью и сказала: – *Да, да, Мария, Мария,* – а на это мавританка ответила: *Да, да, Мария – Сораида macange¹,* – что должно означать *нет*.

Между тем настала ночь, и по распоряжению тех, которые сопровождали

дона Фернандо, хозяин двора употребил все заботы и усилия, чтобы как можно лучше приготовить ужин, а когда настало время, все уселись за длинный стол, какие бывают в людских, потому что на постоялом дворе не было ни круглого, ни квадратного стола. На верхнем конце и самом почетном месте усадили, – хотя он и отказывался, – Дон Кихота, пожелавшего, чтобы рядом с ним села, так как он ее покровитель, сеньора Микомикона, затем сели Люсинда и Сораида, а против них дон Фернандо с Карденио, потом пленник и остальные кабальеросы, а рядом с дамами – священник и цирюльник. Итак, они принялись весело ужинать, и их веселье еще более возросло, когда они увидели, что Дон Кихот, перестав есть и движимый подобного же рода вдохновением, как то, которое его побудило произнести столь длинную речь за ужином с козопасами, обратился к ним с следующими словами:

– Поистине, сеньоры мои, если хорошенько рассудить, великие и неслыханные вещи видят те, кто принадлежит к ордену странствующего рыцарства. А если нет, кто из живущих на свете, войдя теперь в дверь этого замка и увидев нас, как мы здесь сидим, принял бы и счел нас за то, что мы едем на самом деле? Кто мог бы сказать, что эта сеньора, сидящая рядом со мной, великая королева, как это всем нам известно, и что я тот рыцарь Печального Образа, слава которого всюду провозглашается молвой? Не подлежит теперь уже сомнению, что это искусство и занятие превосходит все остальные, изобретенные людьми, и тем выше надо его ставить, чем большим опасностям оно подвержено. Прочь от меня те, которые скажут, что словесные науки выше оружия, так как я им объяв-

¹ *Macange* – в искаженном разговорном наречии Берберии, означает: «нет, никоим образом».

ляю, кто бы они ни были, что они не знают, что говорят. Довод, который такие люди обыкновенно приводят, и на который они более всего опираются, тот, что умственный труд выше физического труда и в военном деле упражняется только тело, как будто это занятие такое же, как и труд крючника, для которого исключительно требуется одна лишь физическая сила, или как будто в том, что мы, занимающиеся им, называем военным делом, не включены также и подвиги мужества, для выполнения которых требуется большой ум, или как будто военачальнику, на попечении которого находится целая армия или защита осажденного города, не надо работать так же и духом, как и телом. А если нет, посмотрим, можно ли путем одной лишь физической силы угадать и проникнуть в намерения неприятеля, в его планы и военные хитрости и избежать и предупредить затруднения и неминуемые опасности, – все это действия рассудка, в которых тело не принимает участия. А раз это так, и оружие тоже, как и словесные науки, требует ума, посмотрим, какой из этих двух умов больше работает – ум ли ученого или военного, – а это можно узнать по тому, к какому итогу и цели каждый из них стремится, так как то намерение следует ценить выше, которое поставило себе более благородную цель. Предмет и цель словесных наук, – я не говорю здесь о богословских науках, конечная цель которых направлять и вести души к небу, потому что с такой бесконечной целью, как эта, нельзя сравнить никакой другой, – я говорю о человеческих науках¹, цель которых упорядочить воздаятельное правосудие и дать всякому то, что ему надлежит, вводить хорошие законы и следить за их исполнением – цель, несомненно великодушная, возвышенная и

достойная великой похвалы, но не столь великой, как подобающая оружию, предмет и конечная цель которого – мир, то есть величайшее благо, какого только могут пожелать себе люди в этой жизни. Вот почему, первая благая весть, дошедшая до земли и до людей, была та, которую принесли ангелы в ночь, ставшую для нас днем, когда они пели в небесах: *«Слава в вышних Богу и на земле мир, в человецех благоволение»*. И привет, которому лучший из учителей земли и неба научил своих учеников и избранных, был: когда они входят в какой-нибудь дом, сказать: *«Мир дому сему»*. Много раз Он и сам им говорил: *«Мир мой даю вам, мир мой оставляю вам; мир да будет с вами»* – истинное сокровище и драгоценность, данные и завещанные такой рукой! – сокровище, без которого ни на небе, ни на земле не может существовать счастья! Этот мир и есть истинная цель войны, а война и оружие одно и то же. Итак, допустив эту истину, что цель войны – мир, и что цель эта стоит выше цели, к которой стремятся словесные науки, сравним теперь физические тяготы ученого с тяготами того, кто посвятил себя военному делу, и посмотрим, чьи тяжелее.

Дон Кихот произнес свою речь таким образом и в столь соответственных выражениях, что никто из слушавших его тогда не мог принять его за сумасшедшего, а напротив, так как большинство из них были рыцари, причастные к военному делу, они слушали его с большим удовольствием, а он продолжал следующим образом:

– Итак, говорю я, лишения учащегося или студента следующие: прежде всего бедность, не потому, чтобы все студенты были бедны, а потому что я хотел взять худший из случаев, – а сказав, что студент

¹ О словесных науках и вообще всяком знании, исключая богословия.

испытывает бедность, мне кажется, что я все сказал о тяжелой его доли, потому что кто беден, нет у того ничего хорошего. Эта бедность донимает студента разными путями: то голодом, то холодом, то наготой, то всем этим вместе взятым; но все же она не доходит до такой степени, чтобы он не ел вовсе, хотя бы ему и пришлось есть несколько позже, чем полагается, и едой его были бы остатки со стола богатых, или бы он испытывал верх студенческой бедности, – то, что они между собой называют: «*хождением на суп*»¹. Для них всегда найдется где-нибудь у соседей жаровня с горящими углями, или камин, у которого они могут, если и не вполне согреться, когда им холодно, то, по крайней мере, хоть несколько отогреться и, наконец, ночью они спят под кровом. Не хочу касаться других мелочей, как, например, недостатка рубашек, отсутствия изобилия башмаков, скудости и обветшалости одежды, а также не коснусь я и склонно-

сти их чрезмерно объедаться, когда счастливый случай пошлет им какую-нибудь пирушку. По этому пути, который я описал, – трудному и суровому пути, – спотыкаясь здесь, падая там, опять поднимаясь и вновь падая, – достигают они той ступени, к которой стремятся. А раз они достигли своего, то мы видим, как многие, которые, пройдя через эти Сирты и эти Сциллы и Харибды, точно их несла на крыльях своих благосклонная к ним судьба, я говорю, что мы видим, как они повелевали и управляли миром из своего кресла, променяв голод на сытость, холод на приятную свежесть, наготу на роскошные наряды, сон на циновках – на сладкий отдых на голландских простынях и парче, – награда, справедливо заслуженная их добродетелью. Но если их лишения сравнить и сопоставить с лишениями, испытываемыми сражающимися войском, то они останутся далеко позади них, как я сейчас объясню вам.



¹ *Andar a la sopa* («ходить на суп») назывался довольно распространенный обычай бедных студентов во времена Сервантеса ждать выдаваемую им похлебку у ворот монастырей. Таких студентов называли *сопистами*.



Глава XXXVIII

В которой приведена любопытная речь, произнесенная Дон Кихотом по поводу оружия и словесных наук.

Нродолжая свою речь, Дон Кихот сказал:
– Так как, говоря о студенте, мы начали с бедности и ее проявлений, посмотрим теперь, богаче ли солдат, и мы увидим, что в самой бедности никто не беднее его, потому что он должен довольствоваться одним лишь несчастным своим жалованием, выплачиваемым поздно или никогда, или же тем, что он награбит собственными руками с немалой опасностью для жизни и совести своей. При этом нагота его доходит иногда до того, что изрубленная куртка служит ему и парадной одеждой и рубашкой, и, находясь в открытом поле, среди зимы, он защищен от непогоды и стужи одним лишь дыхани-

ем своего рта, а так как оно выходит из пустого места, то я считаю достоверным, что оно должно выходить холодным, вопреки законам природы. Но, думаете вы, пусть он подождет, пока наступит ночь, чтобы отдохнуть от всех этих неудобств в приготовленной для него постели; а она никогда не грешит тем, что узка, разве только по собственной его вине, потому что он может себе отмерить сколько хочет футов на земле и ворочаться здесь во все свое удовольствие, не боясь измять простынь. И вот, после всего этого, наступает для него день и час получить высшую степень в своем искусстве: наступает день сражения, когда ему наденут на голову докторскую шапку с кисточкой¹, сделанную из корпии, чтобы вылечить рану от пули, которая, быть мо-

¹ *Borla* – буквально «кисточка», которая прикреплялась к университетской шапке и служила знаком докторской ученой степени.

жет, прошла у него через виски, или же искалечила ему ногу или руку¹. Если же и этого не случилось, и милосердное небо сохранило его живым и невредимым, он, вернее всего, останется таким же бедняком, каким был и прежде, и потребуются, чтобы одно сражение следовало за другим, одна битва за другой, и он из всех из них выходил победителем для того, чтобы несколько улучшилось его положение; а такие чудеса встречаются редко. Но скажите-ка мне, сеньоры, если вы когда-нибудь об этом думали, насколько число награжденных за военные действия меньше сравнительно с погибшими от них? Без сомнения, вы ответите мне, что между ними не может быть сравнения, – так как нельзя и исчислить мертвых, а награжденных живых можно сосчитать тремя цифрами².

Совершенно обратное мы видим среди прошедших курс наук³, так как благодаря жалованию – я не хочу сказать побочным доходам⁴ – они имеют, чем содержать себя; следовательно, хотя труд солдата и больше, вознаграждение его куда меньше. На это мне могут возразить, что легче вознаградить две тысячи ученых, чем тридцать тысяч солдат, потому что первые вознаграждаются должностями, которые силою вещей могут быть заняты только людьми их звания, в то время, как солдаты могут быть вознаграждены не иначе, как из средств сеньора,

которому они служат; и эта-то невозможность еще больше подтверждает доводы, приводимые мною. Однако, оставим это в стороне, так как это лабиринт, из которого трудно выбраться, и вернемся к превосходству оружия над словесными науками, – вопросу, до сих пор еще не решенному, судя по доводам, которые каждая из сторон приводит в свою пользу. Кроме тех, о которых я уже упоминал, словесные науки еще говорят, что без них и оружие не могло бы существовать, потому что и война тоже имеет свои законы и подчинена им, а законы входят в область словесных наук и людей пера. На это оружие отвечает, что без него не могли бы существовать и законы, так как оружием ограждаются государства, подерживаются королевства, охраняются города, достигается безопасность дорог и очищаются моря от пиратов, и в конце концов, если б не оружие, государства, королевства, монархии, города, сухопутные дороги и моря были бы обречены на жертвы смутам и жестокостям, которые ведет за собой война на то время, пока она продолжается и свободно пользуется своими правами и своею властью. К тому же, истина доказанная: все, что стоит дороже, и ценится и должно цениться выше. Чтобы отличиться и выдвинуться в словесных науках, приходится платить за это временем, бессонными ночами, голодом, наготой, головокружениями, несварени-

¹ Никто, лучше Сервантеса, знавшего все это по собственному опыту, не мог и не имел права говорить о лишениях солдата и тяжелом его положении – особенно тяжелом в Испании в царствование Филиппа II и его сына.

² То есть менее тысячи.

³ *letrados* – люди, прошедшие курс науки, адвокаты, должностные лица, доктора и. т. д.

⁴ В оригинале: *de faldas, que no quiero decir de mangas* – буквально: «благодаря полам одежды», я не хочу сказать рукавам; *Faldas* противопоставляется здесь *mangas*; первое должно означать определенное жалованье, второе – подношения, взятки. Во времена Сервантеса, когда подкуп был всеобщим явлением среди должностных лиц, было в обычае класть эту взятку в рукава их официальной одежды, а эти рукава делались в то время необычайно широкими.

ем желудка и другими тому подобными вещами, о которых я уже отчасти упоминал. Но если кто желает, пройдя по всем ступеням, сделаться хорошим солдатом, ему придется претерпеть то же, что и студенту, только в еще гораздо больших размерах, так что не может быть между ними и сравнения, потому что на каждом шагу солдат подвергается опасности лишиться жизни. Какой же страх перед нуждой или бедностью, постигнувший студента и мучающий его, может сравниться с тем, который овладевает солдатом, находящимся в осажденной крепости, когда он, стоя на посту или на часах где-нибудь в рavelине или на бастионе, слышит, что неприятель подводит мину по направлению того места, где он находится, но ни в каком случае не смеет ни на шаг уйти оттуда, или бежать от опасности, которая ему так близко угрожает. Единственное, что он может сделать, это дать знать о том, что происходит, своему начальнику, чтобы тот поправил дело какой-нибудь контрминой, а сам он должен стоять спокойно в страхе и ожидании, что вот-вот его без крыльев занесет под облака, и он низринется в бездну против своей воли. А если и эта опасность кажется незначительной, посмотрим, равняется ли ей или превосходит ее та, когда две враждебные галеры, встретившись в безбрежном море, сцепляются на abordаж, оставив солдату не более пространства, как только доску в два фута на носу корабля; и, тем не менее, видя перед собой столько угрожающих ему послов смерти, сколько на неприятельском корабле установлено пушек, отстоящих от его тела на длину копыя, и зная, что при первом неверном шаге ему придется посетить глубокие недра Нептуна, тем не менее, с бесстрашным сердцем, движимый одушевляющим его вселением чести, он решается быть мишенью всех этих огнестрельных ору-

дий и пытается перейти по узкому проходу на неприятельский корабль. И вот что заслуживает еще большего удивления – едва один упал туда, откуда ему уже нельзя будет подняться до конца мира, как уже другой занял его место; и если и этот упадет в море, которое как враг стережет его, за ним последуют еще и еще, один за другим, не давая даже времени умереть предыдущим, – величайшая доблесть и отвага, которую только мыслимо проявить во всех опасностях войны. Хвала благословенным векам, не знавшим ужасающей ярости этих дьявольских артиллерийских орудий, изобретатель которых, думаю мне, получает в аду награду за сатанинское свое изобретение, являющееся причиной того, что гнусная и трусливая рука отнимает жизнь у доблестного рыцаря; и того, что неведомо как и откуда, среди отваги и мужества, воодушевляющих и воспаляющих груди храбрецов, пронесется шальная пуля, пущенная, быть может, тем, который бежал, и испугался блеска огня при выстреле из проклятой машины, и эта пуля в одно мгновение уничтожает и пресекает мысли и жизнь того, кто заслуживал бы наслаждаться ею еще долгие и долгие годы. Вот почему, вспомнив об этом, я готов сказать: душа моя болит при мысли, что я избрал себе профессию странствующего рыцаря в столь отвратительный век, как тот, в котором мы теперь живем; так как, хотя никакая опасность не страшит меня, тем не менее, мне жутко думать, что порох и свинец могут отнять у меня случай прославиться и сделаться известным на всем пространстве земного шара доблестью руки моей и острием меча моего. Но пусть совершится то, что будет угодно небу, потому что настолько выше поставят меня, – если я достигну того, к чему стремлюсь, – насколько большим опасностям я подвергался сравнительно с опас-

ностями, которым подвергались странствующие рыцари прошлых веков.

Всю эту длинную тираду Дон Кихот произнес, пока остальные ели, не кладя себе ни куска в рот, несмотря на то, что Санчо Панса несколько раз напоминал ему, чтобы он ужинал, так как и после успеет сказать все, что пожелает. Тех, которые слушали его, охватило снова сострадание, при виде человека, обладавшего, как казалось, таким светлым умом, умеющего так хорошо рассуждать обо всех предметах, но терявшего бесповоротно рассудок, лишь только дело касалось его черного, как смоль, проклятого рыцарства. Священник заявил ему, что он совершенно прав во всем, что говорил в пользу оружия, и что сам он – священник – хотя и учился и имеет ученую степень, но держится того же мнения. Кончили ужинать, сняли со стола, и пока хозяйка, ее дочь и Мариторнес приводили в порядок чердак Дон Кихота Ламанчского, где решили уложить спать на эту ночь одних только женщин, – дон Фернандо попросил пленника рассказать им

историю своей жизни, которая не может не быть интересной и занимательной, судя уже по тому, что он приехал сюда в обществе Сораиды. На это пленник ответил, что очень охотно сделает то, о чем его просят, но опасается лишь одного: его повесть такого рода, что вряд ли может доставить им удовольствие, которое он желал бы доставить; тем не менее, подчиняясь их воле, он готов приступить к рассказу. Священник и остальные поблагодарили его и возобновили свои просьбы, а он, видя, что столь многие упрашивают его, сказал, что нет надобности в упрашивании там, где имеют власть требовать.

– Итак, – добавил он, – будьте внимательны, сеньоры, и вы услышите правдивую историю, с которой, быть может, не сравнится вымыслом, обыкновенно столь старательно и искусно сочиняемым.

После этих его слов, все уселись, храня глубокое молчание; а он, видя, что они молчат и ждут его рассказа, приятным и спокойным голосом начал так:





Глава XXXIX

В которой пленник рассказывает свою жизнь и приключения.

В одном местечке в Леонских горах получил начало свое наш род, к которому более щедрой и благосклонной оказалась природа, чем счастье, хотя среди бедноты тех мест отец мой все еще слыл за богача, и, действительно, был бы им, если бы он в той же степени умел сберечь свое состояние, как он расточал его. А эта его склонность быть щедрым и расточительным происходила оттого, что в молодости он был солдатом, так как солдатское звание – школа, в которой скупой делается щедрым, а щедрый – расточительным, и если и найдется несколько солдат-скряг, то это

словно чудовища, встречающиеся очень редко. Мой отец перешел границы щедрости и зашел в область расточительности, – вещь, не приносящая пользы женатому человеку, имеющему детей, которым предстоит наследовать его имя и состояние. У моего отца детей было трое, все сыновья, и все в возрасте, когда уже можно избрать себе род деятельности. Итак, отец, видя, – как он сам говорил, – что он не в состоянии сдерживать своих наклонностей, решил лишить себя повода и возможности быть расточительным и мотом, то есть он решил отказаться от своего состояния, а без состояния и сам Александр¹ должен был бы стать бережливым.

¹ Александр Македонский

Поэтому, однажды, позвав нас всех трех к себе в комнату, он обратился к нам приблизительно со следующими словами:

– Сыновья, чтобы сказать вам, что я люблю вас, достаточно знать и сказать, что вы мои дети; а чтобы понять, как плохо я вас люблю, достаточно знать, что я не умею жить так, чтобы сберечь ваше состояние. Но чтобы вы отныне впредь увидели, что я люблю вас, как отец, и не желаю разорить вас, словно отчим, я намерен сделать одну вещь, которую давно уже обдумывал и после зрелого размышления решил привести в исполнение. Вы в таком теперь возрасте, что вам необходимо подумать о выборе себе деятельности или, по крайней мере, такого рода занятия, которое в зрелых годах может доставить вам и честь и выгоду. Я надумал вот что: разделить мое состояние на четыре части; из них три отдать вам, – каждому ту, которая ему принадлежит, не делая между вами никакой разницы; четвертую же часть оставляю себе, чтобы жить и поддерживать существование мое в течение того остатка дней, которое небу будет угодно послать мне. Но мне бы хотелось, чтобы каждый из вас, получив во владение принадлежащую ему долю имущества, избрал бы одну из тех дорог, которую я вам укажу. У нас в Испании есть пословица, – по-моему, очень справедливая, как, впрочем, и все пословицы, так как они краткие изречения, извлеченные из долгого и мудрого опыта, – а та, которую я подразумеваю, гласит: – *Церковь, или море, или королевский дворец*, то есть, чтобы сказать яснее: кто желает преуспеть и быть богатым, пусть идет в духовное звание, или пустится в море, занимаясь торговлей, или же поступит на службу к королю в его дворце, потому что говорится: *лучше крохи короля, чем милости сеньора*. Говорю это по-

тому, что я желал бы, и такова моя воля, чтобы один из вас посвятил себя словесным наукам, другой – торговле, а третий служил бы королю на войне, так как попасть к нему на службу во дворец трудно, а война, хотя и не обогащает, зато может дать известность и славу. Через неделю я каждому из вас выплачу его часть наличными деньгами, не обсчитав никого ни на грош, как вы это и увидите на деле. А теперь скажите мне, согласны ли вы принять мое предложение и следовать моему совету?

Мне, как старшему, отец велел первому ответить, и я попросил его не отказываться от своего состояния и тратить его, как ему вздумается, так как мы молоды и сумеем сами кой-что приобрести себе, и в заключение я сказал, что готов подчиниться его желанию, избрать военную карьеру и служить в ней Богу и моему королю. Второй брат, сделав отцу те же предложения, как и я, решил ехать в Индию, взяв свою долю, и заняться там торговлей. Младший брат, – и как мне кажется, самый рассудительный, – сказал, что он желает вступить в духовное звание, или же отправиться кончать начатый им курс наук в Саламанке.

Когда мы таким образом условились, и каждый избрал себе свой род деятельности, отец поцеловал всех нас и в тот короткий срок, который был назначен им, исполнил то, что обещал, и вручил каждому из нас его часть, составлявшую, как я хорошо помню, три тысячи червонцев, потому что один наш дядя купил все имение, чтобы оно не вышло из нашего рода, заплатив за него наличными. В тот же день мы все трое простились с добрым нашим отцом, и так как мне казалось бесчеловечным оставить его, уже старого человека, со столь маленькими средствами, я уговорил его взять из моих трех тысяч две тысячи червонцев, потому что остав-

шейся тысячи было вполне достаточно, чтобы снабдить меня всем необходимым для солдата. Мои два брата, следуя моему примеру, тоже отдали отцу каждый по тысяче червонцев, так что у него оказалось четыре тысячи червонцев наличными деньгами сверх трех тысяч стоимости его части имения, которую он не захотел продать и оставил за собой. Итак, говорю я, мы простились с ним и с нашим дядей, о котором я упоминал, не без волнения и слез с той и другой стороны; и они поручили нам при всяком удобном случае извещать их о благоприятных или неблагоприятных событиях нашей жизни. Обещав сделать это, расцеловавшись с ними и получив их благословение, один из нас отправился в Саламанку, другой в Севилью, а я в Аликанте, где, как я узнал, находился генуэсский корабль, гружившийся там шерстью для Генуи.

Теперь будет двадцать два года, как я покинул дом моего отца, и в течение всего этого времени, хотя я и написал несколько писем, но не получил никаких известий ни об отце, ни о моих братьях. То, что случилось со мной за это время, я расскажу вам в кратких словах. Сел я на корабль в Аликанте и после благополучного плавания прибыл в Геную, а оттуда уехал в Милан, где запасся оружием и военной одеждой. Из Милана я решил ехать в Пьемонт, чтобы поступить там в солдаты, но по дороге в Александрию де-ла Палья¹ до меня дошло сведение, что знаменитый герцог Альба отправляется во Фландрию. Тогда я изменил намерение, поступил к нему на службу, участвовал в данных им сражениях, присутствовал при смерти графов Эгмонта и Горна, и достиг чина прапорщика под

командой одного знаменитого капитана из Гадалахары, которого звали Диего де Урбина. Через некоторое время после того, как я прибыл во Фландрию, было здесь получено известие о союзе, который его святейшество, папа Пий V, блаженной памяти, заключил с Венецией и с Испанией против общего врага их – турок, флот которых около этого времени овладел знаменитым островом Кипром, находившимся под владычеством венецианцев – злополучная и плачевная потеря! Стало известно, что главнокомандующим союзных войск будет светлейший дон Хуан Австрийский, побочный брат нашего доброго короля дона Филиппа II; носились также и слухи, о необычайно грандиозных военных приготовлениях, которые будто бы производились. Все это возбуждало и разжигало во мне стремление и желание участвовать в предстоявшем походе. И хотя у меня была надежда, и даже почти полная уверенность, что при первом же случае я буду произведен в капитаны, я решил бросить все и отправиться, как я это и сделал, в Италию. Счастливой моей судьбе было угодно, чтобы сеньор дон Хуан Австрийский как раз приехал тогда в Геную, откуда он отправился в Неаполь для соединения с венецианским флотом, что он затем и сделал в Мессине. Итак, скажу вам, что мне пришлось участвовать в том знаменитом сражении², будучи уже пехотным капитаном, а достигнул я почетного этого чина скорее благодаря счастливой судьбе, чем вследствие моих заслуг. И в тот день, который оказался столь счастливым для всего христианства, потому что весь свет и все народы были выведены из заблуждения, в кото-

¹ В те времена это была, – да и теперь еще остается, – сильная крепость на реке Танаро, возведенная в XII веке гвельфами и прозванная гибеллинами в насмешку *de la Paglia* – («Соломенная»).

² Морское сражение при Лепанто, в котором участвовал и сам Сервантес.

ром они пребывали, думая, что турки непобедимы на море, – в этот день, говорю я, когда гордость и надменность оттоманов была сломлена, среди стольких счастливых, находившихся там (потому что еще счастливее были убитые христиане, чем оставшиеся в живых), один я был несчастный, так как вместо того, чтобы надеяться – если б это происходило в дни римлян, – быть увенчанным каким-нибудь флотским венком, – я увидел себя в ту ночь, следовавшую за таким славным днем, с оковами на ногах и с кандалами на руках.

Случилось это следующим образом: когда Алжирский король, Эль-Учали, отважный и счастливый корсар, напал на главную мальтийскую галеру и восторжествовал над нею, так что в живых там остались лишь только три рыцаря и те тяжело раненные, – на помощь ей поспешила главная галера Хуана Андреа, на которой находился и я со своим отрядом. Исполняя то, что мне повелевал долг мой, я вскочил на неприятельскую галеру, которая, вырвавшись от нашей, взявшей ее на abordаж, помешала моим солдатам следовать за мной, вследствие чего я очутился один среди врагов, справиться с которыми я не мог, в виду того, что их было так много. Наконец, они побороли меня, всего покрытого ранами; и как вы, сеньоры, верно уже слышали, Эль-Учали удалось спастись со всей своей эскадрой, я же остался пленником в его власти, один печальный среди стольких веселых, один в плену среди стольких свободных, потому что в тот день пятнадцать тысяч христианских невольников, бывших гребцами в турецком флоте, получили желанную свободу. Меня увезли в Константинополь, где султан Селим назначил моего господина морским глав-

нокомандующим за то, что он исполнил свой долг в сражении, взяв в доказательство своего мужества знамя Мальтийского ордена. В следующем году, именно в 1572-м, я был при Наварине и греб на главной турецкой галере с тремя фонарями¹. И я видел здесь и заметил, что тогда был упущен случай захватить в порту весь турецкий флот, так как бывшие в нем левантинцы и янычары, уверенные, что на них нападут в самом порту, уже держали наготове свою одежду и *пассамаки*, – это их башмаки, – чтобы бежать тотчас на берег, не ожидая сражения, так велик был страх, внушенный им нашим флотом. Однако небо распорядилось иначе, – не вследствие небрежности или беззаботности генерала, который командовал нашими, а за грехи всего христианства и потому, что Богу угодно и Он дозволяет, чтобы всегда у нас были палачи, карающие нас. Итак, Эль-Учали укрылся в Модоне, – а это остров вблизи Наварина, – и, высадив здесь своих людей на берег, он укрепил вход в гавань и оставался себе там спокойно, пока сеньор дон Хуан не удалился. В этой экспедиции была захвачена галера под названием «*Добыча*», капитаном которой был один из сыновей знаменитого корсара Барбароссы. Взяла ее главная Неаполитанская галера, по имени «*Волчица*», а ею командовал тот перун войны, отец солдат, счастливый и непобедимый капитан, имя которого Алваро де Басан, маркиз де Санта-Крус, и я не могу воздержаться, чтобы не рассказать, каким образом произошло то, что «*Добыча*» сделалась нашей добычей. Сын Барбароссы был так жесток и так дурно обращался со своими пленниками, что как только сидевшие за веслами гребцы увидели приближающуюся к ним и настигающую их галеру «*Волчицу*», они

¹ Три фонаря на корме были в те времена отличительным знаком корабля, на котором находился главнокомандующий флотом.



Арабы отрубили ему голову и отнесли ее главнокомандующему турецким флотом...

все сразу бросили весла, схватили своего капитана, стоявшего на заднем баке и кричавшего им, чтобы они сильнее гребли, и, бросая его со скамьи на скамью, с кормы на нос, так его искушали, что едва он очутился за мачтою, как уже душа его очутилась в аду; до того велика была, – как я уже говорил, – жестокость, с которой он с ними обращался, и ненависть их к нему.

Мы вернулись в Константинополь и в следующем году, который был 1573-й, узнали, что дон Хуан Австрийский завоевал Тунис, отняв у турок это королевство, и отдал его Мулей Амету, – разрушив все надежды возратить себе престол Мулей Амида¹, самого жестокого и храброго мавра, когда-либо жившего на свете. Потеря Туниса была очень чувствительна для султана, и с лукавством, свойственным всем членам его династии, он заключил мир с венецианцами, которые еще больше его желали мира; а в следующем, 1574 году, турки напали на Голету и на форт вблизи Туниса, оставленный на половину недостроенным доном Хуаном. В то время, как все эти события происходили, я продолжал грести на галере, без всякой надежды достичь свободы, – по крайней мере, я не надеялся получить ее путем выкупа, так как решил не сообщать отцу моему известия о моем несчастье.

Наконец, пала Голета, пал и форт, так как осаждать эти два укрепления было собрано наемных турецких солдат семьдесят пять тысяч и более четырехсот тысяч мавров и арабов со всей Африки, и эта громадная рать была снабжена таким большим количеством военных припасов и орудий и таким множеством сапе-

ров, что своими руками и брошенными горстями земли они могли бы покрыть всю Голету и форт. Первой пала Голета, считавшаяся до тех пор неприступной крепостью, и пала она не по вине своих защитников, сделавших для защиты ее все, что они должны были и могли сделать, а благодаря легкости, с которою, как показал опыт, можно было возводить траншеи в этой песчаной пустыне. Обыкновенно находят воду на глубине двух футов, турки же не нашли ее и на глубине двух сажений. Итак, с помощью множества мешков, набитых песком, они возвели настолько высокие апроши, что они господствовали над крепостными стенами, и так как турки стреляли с высоты, командовавшей над крепостью, осажденные не могли защищаться и упорствовать в своей защите. По тогдашнему общему мнению, нашим не следовало запирались в Голете, и лучше было бы ждать врага в поле при высадке. Но те, которые так рассуждали, говорили необдуманно, доказывая свою неопытность в подобного рода делах, потому что, если и в Голете, и в форте было едва семь тысяч солдат, как же такое незначительное количество, хотя бы самых отважных храбрецов, могло выступить в открытое поле и взять верх над громадными силами неприятеля? И как можно удержать за собой твердыню, не получающую ни откуда подкрепления, тем более, когда ее осаждают враги, столь многочисленные и упорные, и находящиеся в собственной своей стране? Впрочем, многие, а также и я, придерживались того мнения, что небо оказало особенную милость и благоволение Испании, допустив, чтобы

¹ Мулей Амет или Магомет, и Мулей Амида были братья – сыновья Мулей Ассана, которому Карл V вернул Тунисский престол, отнятый у него Кейредином Барбаруссой. Тунис был завоеван турками в 1570 году, а в 1573 дон Хуан (в этом походе участвовал и Сервантес) взял город обратно и посадил на Тунисский престол Мулей Амета, сместив Мулей Амида, не пользовавшегося любовью народа.

турки уничтожили это гнездо и приют беззаконий, ненасытную эту моль и губку, всасывающую такое множество денег, которые здесь тратились без всякой пользы, – разве только для того, чтобы сохранить воспоминание о взятии этой крепости счастливейшей памяти непобедимым Карлом V, как будто для увековечения этой памяти, что уже и есть, и будет, – нуждались в этих камнях.

И форт тоже пал, но туркам пришлось брать его пядь за пядью, так как защищавшие его солдаты сражались так храбро и упорно, что за время двадцати двух штурмов, которые им пришлось выдержать, они убили более двадцати пяти тысяч неприятелей, а из трехсот защитников форта, оставшихся в живых и взятых в плен, все оказались ранеными; яркое и блестящее доказательство их отваги и доблести, и того, как они хорошо защищали и отстаивали крепость. Сдался на капитуляцию маленький форт или башня, стоявшая среди лагуны и находившаяся под начальством дона Хуана Саногера, валенсийского кабальеро и знаменитого воина. Был взят в плен и комендант Голеты дон Педро Пуэртокарреро, сделавший все, что было возможно, для защиты крепости и так близко принявший к сердцу падение ее, что он умер с горя по дороге в Константинополь, куда его вели пленником. Также был взят в плен и комендант форта, по имени Габрио Сервелон, миланский кабальеро, знаменитый инженер и доблестный воин. В двух этих крепостях погибло немало людей, пользовавшихся известностью, и в числе их также и некто Паган Андреа де Ориа, рыцарь ордена Святого Иоанна, – человек великодушный, что он и доказал необычайной щедростью к брату своему, знаменитому Хуану Анд-

реа де Ориа¹. Смерть его была еще более достойна сожаления, оттого что он был убит несколькими арабами, которым он доверился, когда уже видел, что форт погиб; они предложили провести его в мавританской одежде в Табарка – маленькую гавань или стоянку, принадлежавшую на том побережье генуэзцам, которые занимаются ловлей кораллов. Арабы отрубили ему голову и отнесли ее главнокомандующему турецким флотом, который оправдал на них нашу кастильскую пословицу: *«хотя бы измена и была на руку, но изменник ненавистен»*, – потому что, говорят, генерал велел повесить тех, которые принесли ему подарок, за то, что они не доставили рыцаря живым. В числе христиан, взятых в плен в форте, был также и некто по имени Педро де Агиляр, родом не знаю из какого местечка Андалузии, прапорщик крепостного гарнизона, превосходный солдат и человек редкого ума, в особенности же необычайно даровитый в том, что называют поэзией. Говорю это потому, что его судьба привела его на мою галеру, на одну скамью со мной, и сделала его невольником моего же хозяина; и прежде чем мы оставили форт, этот кабальеро сочинил два сонета вроде эпиграмм, один посвященный Голете, другой – форту; и право, охотно прочел бы их вам, так как я знаю их наизусть, и думаю, что они доставят вам скорее удовольствие, чем утомление.

Когда пленник называл дона Педро де Агилера, дон Фернандо переглянулся со своими товарищами и все трое улыбнулись; когда же он упомянул о сонетах, один из кабальеро сказал:

– Прежде чем продолжать, умоляю вашу милость, скажите мне, что случилось с этим доном Педро де Агилером, о котором вы упомянули?

¹ Паган де Ориа, вступив в орден Святого Иоанна де Калатрава, отдал все свои обширные родовые имения младшему своему брату, Хуану Андреа.

– Я знаю лишь то, – ответил пленник, – что по прошествии двух лет, которые он пробыл в Константинополе, он в одежде арнаута бежал с греческим шпионом, а затем мне неизвестно, вернулся ли он или нет себе свободу; хотя я думаю, что вернул, потому что, год спустя, я видел того грека в Константинополе, но не мог его спросить, удачно ли было их путешествие.

– Удачно, – ответил кабальеро, – потому что этот дон Педро – мой брат, и он теперь у нас на родине, здоров, богат, женат и имеет трех детей.

– Да будет благословен Бог, – воскликнул пленник, – за великую милость, которую он ему оказал, так как, по моему мнению, нет в мире счастья, равного возвращению утраченной свободы.

– Я знаю также, – продолжал рыцарь, – и сонеты, сочиненные моим братом.

– В таком случае скажите их нам, милость ваша, – попросил пленник, – потому что вы сумеете это сделать лучше, чем я.

– С удовольствием, – ответил кабальеро. – В сонете, посвященном Голете, говорится следующее:





Глава XL

В которой продолжается история пленника.

СОНЕТ

За свой подвиг святой, души
 славных бойцов,
 Вы от жизни земной и от дольного
 тления
 Вознеслись в горний край и
 блаженства селенья,
 Отряхнув, словно прах, свой
 телесный покров.
 Пыл геройский в груди, все вы шли
 на врагов,
 На несметных врагов в боевом
 упоеньи,
 Кровью их и своей обагряя
 в сраженьи
 Воды дальних морей и равнины
 песков.
 И не мужество вам – силы вам
 изменили,
 Победенные, вы хоть и пали в бою,

Но победным венком вы себя
 осенили.
 За кровавую смерть и за гибель свою
 На земле славу вы и бессмертье
 стяжали,
 В небесах светлый рай и блаженство
 познали.

– В таком же самом виде и я знаю
 этот сонет, – сказал пленник.

– А в сонете, посвященном форту, –
 продолжал кабальеро, – если я хорошо
 помню его, говорится следующее:

СОНЕТ

От этих диких мест и дальних
 берегов,
 От павших этих стен, где всюду
 разрушенье,
 В мир горний отойдя, нашли
 успокоенье
 Для душ своих святых три тысячи
 бойцов.

Сражались все они с безумьем
храбрецов, –
В душе горел огонь, в груди пылало
мщенье,
Но было тщетно все: проиграно
сражение!
Легли они в бою, и верх взял сонм
врагов.
Как много было тут и крови, и
страданий!
Как здешние места в былые времена¹
И в наши дни полны больных
воспоминаний!
Но чистых душ таких, суровая
страна,
Ты к небу никогда еще не отсылала,
Столь доблестных людей вовеки не
видала!

Сонеты показались недурными, и пленник был очень обрадован новостями, которые ему сообщили о его товарище, затем он продолжал свой рассказ, говоря:

– После взятия Голеты и форта, турки велели снести Голету; что же касается форта, он был в таком состоянии, что там нечего было разрушать. Чтобы скорее и с меньшим трудом достигнуть цели, турки минировали Голету с трех сторон, но никак не могли взорвать то, что, по-видимому, должно было быть наименее крепким, именно старые стены; а все то, что еще устояло из новых фортификационных работ, которые возвел эль Фратин², очень легко было уничтожено. Словом, флот турецкий вернулся в Константинополь, торжествующий и победоносный. Несколько месяцев спустя умер мой господин, Учали, которого обыкновенно называли *Учали Фартакс*, что на турец-

ком языке означает – «шелудивый ренегат», потому что в действительности он был болен паршой. У турок в обычае давать прозвища по какому-нибудь личному недостатку или качеству человека; и делают они это потому, что у них всего лишь четыре родовых имени потомков дома Оттоманов, – а остальные, как я уже говорил, получают фамилию и прозвища по своим телесным недостаткам или душевным качествам. Этот больной паршой просидел у весел невольником султана целых четырнадцать лет. Когда ему уже было за тридцать четыре года, он сделался ренегатом по злобе на одного турка, давшего ему пощечину, в то время как он греб веслами, и, чтоб иметь возможность отомстить ему, он отрекся от своей веры. Но доблесть его была так велика, что он, – не прибегая к низким путям и средствам, благодаря которым обыкновенно возвышаются любимцы султана, – сделался алжирским королем, и затем главнокомандующим флота, а это третья почетная должность в турецком государстве³. Родом он был калабриец, человек добрый и нравственный, и обращался со своими невольниками, которых под конец у него было три тысячи, с большой человечностью. После его смерти их распределили, как он указал в своем завещании, между султаном (который тоже наследует после всякого умершего и получает часть, как и остальные дети покойного) и его ренегатами. Я достался одному венецианскому ренегату, который был взят в плен Учали, будучи юнгой на корабле, и Учали так полюбил его, что он у него был одним из самых балованных его мальчиков; но потом он сделался одним из наиболее жестоких ренегатов, каких когда-либо видели. Его звали Ас-

¹ Это намек на битвы в этой местности, вблизи Карфагена, в древние времена.

² Прозвище Джакомо Палларо, итальянского инженера, бывшего на службе у Карла V.

³ Первые две должности: великий визирь и шейх-уль-ислам.

сан Ага; он очень разбогател и достиг звания Алжирского короля. С ним уехал и я из Константинополя в Алжир, чувствуя некоторое удовольствие при мысли, что я ближе к Испании, не потому, чтобы имел в виду написать кому-либо о своей тяжелой доле, а потому, что хотелось посмотреть, не будет ли мне более благоприятствовать счастье в Алжире, чем в Константинополе, где я на тысячи ладов делал попытки бежать, но все неудачно. В Алжире я надеялся найти другие средства достигнуть того, чего я так сильно желал, потому что меня никогда не покидала надежда добыть себе свободу. И если в том, что я изобретал, придумывал и приводил в исполнение, успех не отвечал моим ожиданиям, я, не впадая в уныние, тотчас же изыскивал и придумывал новую надежду, которая меня поддерживала, как бы она ни была мала и слаба. Так проводил я время, заключенный в тюрьме или помещении, которое турки называют *баньо*¹, где они запирают христианских пленников, как принадлежащих королю, так и составляющих собственность некоторых частных лиц, а также и так называемых пленников *альмасена*², или говоря иными словами, «пленников городского совета». Эти последние употребляются для общественных работ, предпринимаемых городом, и для других занятий. Такого рода пленникам трудно получить свободу, в виду того, что они принадлежат обществу, не имеют отдельного хозяина, и не с кем условливаться относительно их выкупа, хотя бы они и могли представить его. В *баньо*, как я уже говорил, посылают обыкновенно

своих невольников и некоторые частные лица, в особенности, если они подлежат выкупу, потому что их там хорошо содержат и надежно охраняют до получения за них денег. Также и невольники короля, подлежащие выкупу, не посылаются с остальной командой на работы, исключая тех случаев, когда их выкуп запаздывает. Тогда, чтобы побудить их настойчивее писать о присылке денег, их вместе с остальными невольниками посылают на работы и заставляют носить дрова, что вовсе не легкий труд. Меня тоже причислили к подлежащим выкупу, так как узнали, что я капитан; и хотя я и говорил о незначительности своих средств и неимении состояния, это нисколько не помогло, и я был занесен в список кабальеро и лиц, подлежащих выкупу. На меня надели цепи, скорее в знак ожидаемого выкупа, чем для более надежной охраны, и таким образом я проводил жизнь в этом баньо со многими другими кабальеро и знатными людьми, которых обделили и держали здесь для выкупа. Хотя по временам, или вернее, почти всегда нас дожимал голод и нагота, но еще большим мученьем для нас было видеть и слышать на каждом шагу никогда невиданные и неслыханные жестокости, которые мой господин учинял над христианами. Не проходило дня, чтобы он не приказывал одного повесить, другого – посадить на кол, третьему – отрезать уши; и все по весьма незначительным причинам, а часто и без всякой причины, так что и турки уже понимали, что он это делает лишь ради своего удовольствия и только потому, что по натуре своей он – палач

¹ *Bagnio* (баньо) нечто вроде барачков или здания для христианских невольников. По видимому, в стенах баньо им предоставлялась довольно большая свобода, у них было там нечто в роде часовен и алтарей, где зажигали свечи и пр., и где они могли молиться по обрядам христианской религии. Дозволялись им также и всякие развлечения: декламация стихов, разыгрывание комедий и т. п.

² *Almasen* – магазин, склад.

человеческого рода. Единственный кому повезло с ним, был испанский солдат, по имени Сааведра¹, которого, – хотя тот и наделал таких дел, что останутся в памяти тех людей долгие годы, и все с целью добыть себе свободу, – Ассан Ага ни разу не ударил, никогда не приказывал бить и не сказал ему дурного слова; а между тем, за самую маленькую из многих его провинностей, мы все боялись, что его посадят на кол, и он сам не раз боялся этого. Если б время позволило мне, я рассказал бы вам теперь кое-что из того, что делал этот солдат, и это куда больше заняло и удивило бы вас, чем моя собственная история.

Итак, говорю я, на двор нашей тюрьмы выходили окна дома одного богатого и знатного мавра, которые обыкновенно в мавританских домах, скорее похожи на бойницы или амбразуры, чем на окна, но даже и они были прикрыты частыми и плотными решетчатыми жалюзи. Однажды случилось так, что находясь с тремя другими моими товарищами на террасе² нашей тюрьмы, где мы для времяпровождения делали попытки прыгать с нашими цепями, будучи одни (так как остальные пленные христиане ушли на работу), я случайно поднял глаза и увидел, что из одного из этих маленьких решетчатых окошечек, о которых я говорил, показалась тростниковая палка, а на конце ее был привязан носовой платок. Палкой махали и двигали вниз и вверх, как бы давая нам знак подойти и взять ее. Мы заметили это, и один из бывших со мной подошел, чтобы посмотреть, опустят ли ее или что с нею сделают. Но лишь только он приблизился, палку приподняли вверх и замахали ею из стороны в сторону, подобно тому, как качают головой, желая сказать «нет».

Христианин отошел, – палку снова опустили и стали делать те же движения, как и раньше. Другой из моих товарищей пошел к палке, – с ним случилось то же, что и с первым. Наконец, пошел третий, и с ним повторилось опять то же, что и с первыми двумя. Увидав это, и мне захотелось испытать свое счастье; и лишь только я встал под палкой, ее опустили, и она упала в баню к моим ногам. Тотчас же я поспешил отвязать платок и увидел, что на платке был завязан узел, а в узле оказалось десять *сианисов* – это монеты низкопробного золота, обращающиеся у мавров и стоящие каждая десять испанских реалов. Был ли я доволен находкой, об этом нечего и говорить, так как радость моя была столь же велика, как было велико изумление при мысли, откуда мог к нам явиться такой подарок и в особенности мне, потому что из того, что палка не захотела опуститься ни для кого, кроме меня, было очевидно, что эта милость предназначалась мне. Я взял драгоценные свои деньги, сломал тростниковую палку, вернулся на террасу, взглянул на окошечко и увидел, как из него высунулась необычайно белая рука, которая открыла и быстро закрыла окно. Из этого мы поняли или вообразили себе, что какая-нибудь женщина, живущая в том доме, по-видимому, оказала нам это благодеяние. И в знак нашей благодарности, мы, по обычаю мавров, сделали *селям*, наклонив головы, перегнув туловище и положив руки на грудь. Немного спустя из того же окна показался маленький крест, сделанный из тростника, но тотчас же и скрылся. Этот знак убедил нас, что в доме, должно быть, живет пленная христианка, и это она благодетельствовала нас. Однако белизна руки и запястья на ней противоречили такому пред-

¹ Т. е. сам Сервантес.

² Т. е. на плоской крыше.

положению, и у нас явилась мысль, не христианская ли это ренегатка, одна из тех, которых так часто хозяева их берут в законные жены и даже считают это за счастье, так как они ставят их выше женщин своего народа.

Но во всех этих предположениях мы оказались далекими от истины; итак, с этого дня все развлечение наше состояло в том, что мы не сводили глаз с окна, в котором появилась палка, засиявшая для нас светлой звездой. Однако прошли добрых две недели, в течение которых мы не видели ни тростниковой палки, ни руки и никакого другого знака. И хотя за это время мы прилагали все старания, чтобы узнать, кто живет в том доме, и нет ли там христианской ренегатки, – никто не мог нам ничего сообщить, исключая того, что это дом знатного и богатого мавра, по имени Ахи-Морато, бывшего алкайда Ла Пата¹, должность, считающаяся у турок очень почетной. Но когда мы всего менее думали о том, что снова на нас польется дождь сианисов, мы вдруг увидели палку с привязанным к ней платком, а в платке – опять сверток, только побольше прежнего. Случилось это в то время, когда *баньо*, как и в первый раз, был безлюден и пуст. Мы повторили прежний опыт: каждый из трех моих товарищей, – те же, как и в тот раз – подходил к палке прежде меня, но никому, кроме меня, она не была отдана, потому что, едва я подошел, как палка упала. Я развязал узел и нашел в нем сок испанских червонцев, а также письмо, написанное по-арабски, и в конце его был поставлен большой крест. Поцеловав крест, я взял червонцы, вернулся на террасу, мы все сделали наш *селям*; рука появилась снова, я подал знак, что прочту письмо; окно закрылось. Мы были удивлены и обрадованы этим происше-

ствием; но никто из нас не понимал по-арабски, желание же наше узнать, что написано в письме, было очень велико, а еще больше было затруднение найти, кого-нибудь, кто бы прочел его нам. Наконец, я решил довериться одному ренегату, уроженцу Мурсии, который открыто признавал себя моим большим другом, и с ним мы еще раньше обменялись залогом, обязывавшими его хранить всякую тайну, которую ему доверяли; потому что некоторые ренегаты имеют обыкновение, когда они намереваются вернуться в христианскую страну, запастись свидетельствами от знатных пленников, в которых те в форме, какая окажется возможной, удостоверяют, что такой-то ренегат – человек хороший, делал всегда добро христианам и желает бежать при первом представившемся случае. Некоторые достают себе подобного рода свидетельства с хорошими намерениями; другие же пользуются ими на тот случай и с тем умыслом, – когда они отправляются грабить в христианские страны, – чтобы, потерпев кораблекрушение или попав в плен, они могли бы предъявить эти свидетельства, и сказать, что по ним можно судить о руководившем ими намерении, именно желании остаться в христианской стране и только с этой целью они сопровождали турок в их набеге. Таким образом, они спасаются от угрожающего им первого взрыва гнева и примиряются без неприятностей для себя с Церковью, а при ближайшей возможности возвращаются снова в Берберию, чтобы опять сделаться тем же, чем были раньше. Иные же, как я уже говорил, из пользующихся такого рода бумагами достают их действительно с искренним намерением и остаются навсегда в христианских странах. К числу таких ренегатов принадлежал и мой приятель, имевший от всех

¹ По-видимому – La Pata или Bata – крепость в двух милях от города Оран.

наших товарищей свидетельства, в которых мы ручались за него всем, чем могли. Если бы мавры нашли на нем эти бумаги, они бы не преминули сжечь его живым. Мне было известно, что он хорошо знает арабский язык и не только говорит на нем, но и пишет. Однако, прежде, чем вполне ему открыться, я его попросил прочесть записку, которую будто бы случайно нашел в одной из дыр в полу моего помещения. Он развернул бумагу и долго всматривался в нее, разбирая и бормоча сквозь зубы. Я спросил его, понимает ли он письмо, и он ответил, что очень хорошо, а если я желаю, чтобы он перевел мне его слово в слово, пусть ему дадут чернило и перо, чтобы он лучше мог это сделать. Мы тотчас же принесли ему то, что он просил, и он перевел понемногу и, когда кончил, сказал:

– Все написанное по-испански есть буквальный перевод того, что заключает в себе письмо, но я должен предупредить вас, что везде, где стоит: *Лела Мариен*, это означает – «Пресвятая Дева Мария».

Мы прочли письмо, и оно заключало в себе следующее:

– *Когда я была еще ребенком, у моего отца жила невольница, которая научила меня на моем языке христианской молитве и много рассказывала мне о Лела Мариен. Христианка умерла, и я знаю, что она пошла не в огонь, а к Аллаху, потому что после того я видела ее два раза, и она мне сказала, чтобы я отправилась в страну христиан, и там я увижу Лела Мариен, которая очень меня любит. Не знаю, как попасть туда. Многих христиан видела я из этого окна, но никто не показался мне рыцарем, кроме тебя. Я очень красива и молода, у меня много денег, и я могу взять их с собой. Подумай, не сумеешь ли ты устроить так, чтоб нам с тобой уехать, и ты будешь там моим мужем, если желаешь: а не желаешь, мне все равно,*

потому что Лела Мариен пошлет кого-нибудь, кто женится на мне. Я сама написала это: смотри, кому дашь читать. Не доверяйся никому из мавров, так как все они обманщики. Меня это очень огорчает, и я желала бы, чтобы ты никому не открывался, потому что, если отец мой узнает про письмо, он тотчас же бросит меня в колодезь и прикроет камнями. К тростниковой палке я привязала нитку: прикрепи к ней ответ, твой. Если у тебя не найдется никого, кто бы мог писать по-арабски – ответь мне по-испански, и Лела Мариен устроит так, что я пойму тебя. Да хранит тебя Она, Аллах и этот крест, который я целую, много раз, как тому научила меня невольница.

– Рассудите, сеньоры, имели ли мы причину удивляться и радоваться тому, что было написано в этом письме? И действительно, наше изумление и радость были так велики, что ренегат тотчас же догадался, что письмо найдено не случайно, а написано одному из нас, и потому он нас просил, если он верно предполагает, довериться ему и все ему сказать, так как он, чтобы добыть нам свободу, готов подвергнуть опасности свою жизнь. Говоря это, он вынул хранившееся у него на груди металлическое распятие и, обливаясь слезами, поклялся именем изображенного на этом кресте Бога, в которого он, хотя и грешник и дурной человек, искренно и беспредельно верит, хранить в строгой тайне то, что мы пожелали бы сообщить ему, потому что он думает и почти уверен, что через посредство той, которая написала эти строки и он, и все мы получим свободу, и он добьется того, чего так сильно желает, – возможности вернуться в лоно святой матери Церкви, от которой он, как гнилой член, отделен и отторгнут за свое невежество и свою греховность. Ренегат говорил это, проливая такие обильные слезы и с признаками



Наконец, я решил довериться одному ренегату, уроженцу Мурсии...

такого сильного раскаяния, что мы все единодушно согласились и решили сказать ему правду и дали ему обо всем подробный отчет, ничего не утаив от него. Мы показали ему окошечко, из которого появлялась тростниковая палка, и он отметил себе тот дом и обещал приложить особое и величайшее старание узнать, кто там живет. Вместе с тем мы решили, что было бы хорошо тотчас же ответить на письмо мавританки, раз у нас есть, кто может это сделать; и ренегат написал то, что я ему диктовал и теперь повторю вам слово в слово, так как из всех существенных подробностей случившегося со мной события ни одна не изгладилась из моей памяти и не изгладится, пока я буду жив. Словом, мы ответили мавританке следующее:

– *Да хранит тебя истинный Аллах, сеньора моя, а также благодатная Мариен, которая есть истинная Матерь Божия; это Она вложила в сердце твое желание уехать в христианские страны, потому что любит тебя. Попроси Ее, не будет ли Ей угодно научить тебя, как привести в исполнение Ее приказание: Она такая добрая, что сделает это. От моего имени и от имени всех тех христиан, которые здесь со мной, обещаю сделать для тебя все, что только в наших силах, и даже умереть за тебя. Не оставь написать мне и сообщить, что ты думаешь делать, и я всегда тебе отвечу, потому что великий Аллах послал нам пленного христианина, который так хорошо умеет говорить и писать на твоём языке, как ты это видишь из этих строк. Поэтому можешь без всяких опасений извещать нас обо всем, о чем желаешь. Относительно же твоих слов, что если б ты уехала в христианские страны, ты сделалась бы моей женой, – это обещаю тебе, как добрый христианин, и знай, что христиане лучше исполняют свои обещания,*

чем мавры. Да хранят тебя, моя сеньора, Аллах и Мариен, Мать Его.

Письмо было написано и запечатано, но мне пришлось ждать еще два дня, пока баньо не опустел как обыкновенно, и тотчас же я отправился к обычному месту на маленькой террасе посмотреть, не появится ли тростниковая палка, – что и не замедлило случиться. Как только я ее заметил, хотя и не мог видеть, кто ее держит, я показал письмо, желая дать понять, чтоб привязали нитку; но она уже оказалась привязанной; и я прикрепил к ней письмо, и вскоре затем появилась снова наша звезда с белым знаменем мира – с привязанным на палке платочком. Палка упала; я ее поднял и нашел в платке серебряными и золотыми монетами более пятидесяти червонцев, которые в пятьдесят раз увеличили нашу радость и укрепили в нас надежду добыть себе свободу. В ту же ночь вернулся наш ренегат и сообщил, что, по собранным им сведениям, в том доме действительно живет мавр, о котором нам говорили, зовут его Ахи-Морато; он в высшей степени богат и имеет единственную дочь, наследницу всего его состояния. По общему мнению, в городе она самая красивая женщина во всей Берберии и многие из вице-королей, приезжавших сюда, просили ее себе в жены, но она не пожелала выйти замуж. Он еще узнал, что у нее была невольница – христианка, теперь уже умершая, и все это согласовалось с тем, что было написано в письме. Мы стали тотчас совещаться с ренегатом, какой бы придумать план, чтобы увести мавританку и всем нам вернуться в христианские земли. Наконец, было решено, что мы подождем второго письма Со-раиды, – так звали ту, которая теперь хочет называться Марией, – так как мы хорошо понимали, что никто другой и

только она одна может указать нам выход из всех наших затруднений.

Когда мы пришли к этому решению, ренегат просил нас не тревожиться, потому что он расстанется с жизнью или добудет нам свободу. Четыре дня баньо был полон народа, вследствие чего палка не появлялась целых четыре дня, но по истечении этого времени, когда баньо по обыкновению опустел, она появилась с очень пузатым платком, обещавшим счастливейшие роды. Когда палка вместе с платком спустились ко мне, я нашел в свертке письмо и сто червонцев одним золотом, а не другими монетами. Ренегат был тут же, мы дали ему прочесть письмо, когда вернулись в свое помещение, и он сказал, что оно заключает в себе следующее:

– *Не знаю, сеньор мой, как устроить, чтобы нам уехать в Испанию, и Лела Мариен мне этого не сказала, хотя я просила ее о том. Можно будет вот что сделать: я дам вам через это окно множество денег золотом; выкупите себя ими – вы и ваши друзья – и пусть кто-нибудь из вас поедет в христианские страны, купит там барку и вернется за остальными. Меня он найдет в саду моего отца, у ворот Бабасона¹, близ морского берега, где я проведу все лето с моим отцом и моими слугами. Оттуда вы можете ночью похитить меня, ничего не опасаясь, и отвести на барку. Смотри, не забывай, что ты должен быть моим мужем, потому что иначе, я попрошу Мариен наказать тебя. Если ты никому не можешь доверить ехать за баркой, выкупи себя и поезжай сам; я знаю, ты скорей всякого другого вернешься, так как ты рыцарь и христианин. Постарайся узнать, где наш сад; а когда я увижу, что ты будешь*

прохаживаться по террасе, я буду знать, что в баньо никого нет и дам тебе много денег. Аллах да хранит тебя, сеньор мой.

Вот что заключало в себе второе письмо и что там говорилось. Услыхав в чем дело, каждый из нас выразил желание выкупиться, обещая поехать и вернуться со всевозможной точностью; и я тоже вызвался сделать это. Но всему воспротивился ренегат, говоря, что он ни в каком случае не согласится, чтобы кто-нибудь из нас один выкупился на свободу, пока мы не выкупимся все вместе, так как опыт научил его, как плохо освободившиеся исполняют обещания, данные ими в плену. Не раз знатные пленники прибегали к тому же способу: выкупают кого-нибудь и посылают с деньгами в Валенсию или в Майорку, чтобы оснастить там барку и вернуться за теми, кто его выкупил. Но никогда эти посланцы не возвращались, так как полученная свобода и опасение снова ее потерять изглаживали из их памяти взятые ими на себя обязательства. Чтобы подтвердить сказанное им, он в кратких словах сообщил нам случай, только что происшедший с несколькими христианскими кабальеро, – один из самых странных случаев, когда либо приключавшихся в этих местностях, где на каждом шагу происходят изумительные и достойные удивления вещи. В заключение ренегат сказал, что то, что можно и следует сделать, это – отдать ему предназначавшиеся для выкупа пленного христианина деньги, чтобы он купил в Алжире барку под предлогом, что сделается купцом и будет вести торговлю с Тетуаном и всем побережьем. А когда он будет собственником барки, он легко найдет способ вывести нас всех из баньо и уехать с нами

¹ *Babazon* – или «Ворота скорби», названные так потому, что здесь совершались казни. В настоящее время южные ворота Алжира, близ морского берега, известны под тем же названием.

в море, тем более, если еще мавританка, как она говорила, даст денег на выкуп всех, потому что, как только мы получим свободу, нет ничего легче, чем сесть на корабль, хотя бы среди белого дня. Наибольшее затруднение в том, что мавры не позволяют никому из ренегатов покупать или держать барку, а только большие корабли для морских разбоев, так как боятся, что купивший барку, – в особенности испанец, – делает это, имея в виду бежать в христианскую землю. Впрочем, он устранит это препятствие тем, что войдет в долю с каким-нибудь мавром-тагарином¹, как в покупке с ним барки, так и прибылей с товаров; и под этим прикрытием барка будет в его власти, после чего он считает, что все будет достижимо. Хотя мне и моим товарищам казалось предпочтительнее послать за баркой в Майорку, как говорила мавританка, но мы не смели противоречить ренегату, боясь, что, если мы не согласимся принять его предложение, он нас выдаст, подвергнет опасности лишиться жизни и обнаружит наше соглашение с Сораидой, за жизнь которой мы все отдали бы нашу. Итак, мы решили предать судьбу свою в руки Божьи и ренегата. В то же время был послан ответ Сораиде, в котором мы сообщали ей, что сделаем все, что она нам советует, потому что она так хорошо придумала, точно Лела Мариен все ей подсказала; от нее одной зависит, отложить ли это дело, или же тотчас приняться за выполнение его. Я подтвердил ей снова, что сделаюсь ее мужем, после чего на следующий же день, когда баньо оказался пустым, она посредством палки и платка дала нам в несколько приемов две тысячи червонцев золотом и письмо, в котором сообщала, что в первую *хума*, т. е. пятницу, – она уезжает в сад своего

отца, но до отъезда даст нам еще больше денег; в случае же и это окажется недостаточным, пусть мы сообщим ей и она нам даст столько, сколько мы пожелаем, так как у ее отца так много денег, что он ничего не заметит, тем более что все ключи в ее руках.

Мы дали ренегату пятьсот червонцев на покупку барки, а за восемьсот выкупился я, дав деньги одному купцу из Валенсии, который в то время был в Алжире. Он выкупил меня у короля на слово и взял к себе, обещав, с первым же кораблем, который придет из Валенсии, внести за меня выкуп, потому что, если б он сейчас внес деньги, то возбудил бы в короле подозрение, не была ли эта сумма уже давно в Алжире, а купец скрыл ее, пустив в оборот. Словом, мой господин был такой подозрительный, что я ни в каком случае не решился бы тотчас же выплатить ему деньги. В четверг, накануне той пятницы, когда прекрасная Сораида должна была ехать в сад, она дала нам еще тысячу червонцев и сообщила о своем отъезде, прося меня, если я выкуплюсь, сейчас же разыскать сад ее отца и, во всяком случае, придумать удобный предлог для того, чтобы пойти туда и повидаться с ней. Я ответил ей в кратких словах, что так и сделаю, и чтобы она не забыла поручить нас Леле Мариен во всех молитвах, которым научила ее пленная христианка. Сделав это, мы приняли меры внести выкуп и за остальных трех товарищей с тем, чтоб облегчить им выход из баньо, а также чтобы они, видя меня выкупленным, а себя нет, хотя и имеются для этого деньги, не встревожились бы, и дьявол не подсказал им сделать что-либо во вред Сораиде так как, хотя я и хорошо знал, что это за люди, и мог быть вполне спокоен на их счет, тем не менее, я не же-

¹ *Тагаринами* называли мавров, приехавших с границы, т. е. из Аррагонии; по-арабски – *thagr* значит «граница».

лал подвергать все дело риску. Поэтому я выкупил их тем же способом, как и себя, передав все деньги купцу, чтобы он с уверенностью и спокойно мог бы пору-

читься за нас, хотя мы не открыли ему ни нашего заговора, ни нашей тайны, вследствие опасности, которую это могло бы повлечь за собой.





Глава XLІ

В которой пленник продолжает свой рассказ.

Не прошло и двух недель, как уже наш ренегат купил очень хорошую барку, которая могла вместить более тридцати человек. Чтобы дело было вернее и чтобы придать ему подобающую окраску, он решил сделать, и действительно сделал, путешествие в местечко, называемое Сархел, отстоящее от Алжира на тридцать миль по направлению к Орану, где ведется большая торговля сушеными винными ягодами. Два или три раза совершил он эту поездку в обществе уже упомянутого мавра-тагарина. В Берберии называют *тагаринами* арагонских мавров, а гренадских — *мудехарес*, в королевстве же Фец мудехарес называются *елчес*, и тамошний король предпочтительно другим берет их на войну. Итак, говорю, всякий раз, как ренегат отплывал в своей барке, он бросал якорь в маленькой бухте, находившейся на расстоянии не более двух выстрелов из лука

от сада, в котором ждала Сораида; ренегат располагался здесь умышленно с своими гребцами, молодыми маврами, творя молитву¹, или разыгрывая в шутку то, что он собирался сделать в действительности; итак, он отправлялся в сад Сораиды и просил дать фруктов, а отец ее, не зная его, давал ему их. И хотя он и желал говорить с Сораидой, — как он потом мне сообщил, — и сказать ей, что он тот, кому я приказал отвезти ее в христианскую землю, и пусть она будет спокойна и довольна, — никогда ему это не удавалось, потому что мавританки не показываются ни мавру, ни турку, разве только отец или муж прикажет им это. С христианскими же пленниками им позволяют разговаривать и быть в общении, часто даже более, чем следовало бы. Да я бы и огорчился, если бы ему удалось говорить с нею, потому что, быть может, она встревожилась бы, услышав о своем деле из уст ренегата. Но Бог распорядился иначе и не дал нашему ренегату возможности привести в испол-

¹ *Zala* — молитва, которую добрый магометанин, где бы он не находился, творит пять раз на дню.

нение свое доброе намерение. А увидав, с какой безопасностью он ездит в Сархел взад и вперед и может бросать якорь, когда, как и где ему угодно, и что тагарин, его компаньон, не имеет другой воли, кроме руководимой им, я уже выкуплен, и остается только найти нескольких христиан, чтобы грести на веслах, – он просил меня подумать, кого я еще хочу взять с собой, кроме уже выкупленных, и уговориться с ними ехать в ближайшую пятницу, которую он назначил для нашего отъезда. Ввиду этого я переговорил с двенадцатью испанцами – все прекрасные гребцы и люди, которые могли свободно покинуть город. Нелегко было найти их именно в это время, потому что как раз двадцать кораблей ушли крейсировать в море и увезли с собой всех гребцов. И этих тоже не было бы, если бы их хозяин отправился на пиратство, а не остался дома, чтобы кончить постройку галеоты, находившейся на верфи. Я ничего не сказал моим гребцам, кроме того, что в следующую пятницу вечером они должны выйти из города поодиночке, втихомолку, направляясь к саду Ахи-Морато, и там ждать меня, пока я не приду. Каждому в отдельности дал я это приказание, предупредив, в случае если бы они увидели там еще других христиан, не говорить им ничего, исключая того, что я приказал ждать в этом месте.

Сделав это распоряжение, мне оставалось еще сделать нечто другое и самое важное для меня, а именно, известить Сораиду, в каком положении находится наше предприятие, чтоб она была подготовлена, поджидала нас и не испугалась, если бы мы появились неожиданно и раньше того времени, когда по ее расчетам могла прибыть барка с христианами. Итак, я решил идти в сад и посмотреть,

не удастся ли мне поговорить с нею. Под предлогом, что мне нужно собрать некоторые травы, я пошел туда накануне дня, назначенного для нашего отъезда. Первый, кого я встретил в саду, был отец Сораиды, заговоривший со мной на языке, на котором мавры говорят с пленными во всей Берберии, даже в Константинополе. Этот язык не мавританский, не кастильский и не какого-либо другого народа, а смесь разных языков, но которую мы понимаем¹. Итак, говорю я, он на этом языке спросил меня, что я ищу в его саду и чей я слуга. В ответ я сообщил, будто я невольник арнаута Мами (сказал я это, зная, что Мами был ему близким другом) и ищу разных трав для салата. Затем он спросил, на выкупе ли я или нет, и сколько мой господин просит за меня. Пока мы так разговаривали, вышла из беседки прекрасная Сораида, давно уже заметившая меня, и так как мавританки нимало не стесняются показываться христианам и не избегают их, – как я уже говорил, – она не затруднилась подойти туда, где я стоял с ее отцом, и даже отец ее, видя, что она замедлила шаг, сам позвал ее, и велел ей приблизиться. Было бы излишним, если бы я стал описывать красоту, изящество, богатый и роскошный наряд, в котором возлюбленная моя Сораида явилась тогда передо мной. Одно скажу, что вокруг ее прелестной шеи, в ее ушах и косах было больше жемчуга, чем волос на ее голове. На щиколотках ног, обнаженных по мавританскому обычаю, у нее были надеты два *каркаха* (так называются по-мавритански кольца или браслеты для ног) из чистейшего золота, украшенные таким множеством бриллиантов, что отец ее, – как она мне потом говорила, – ценил их в десять тысяч доблас², а те, которые она

¹ Так называемая *lingua franca*, состоящая, главным образом, из испанских и итальянских слов, и теперь еще употребляемая на Берберийском побережье.

² Мавританская старинная золотая монета, почти равная испанскому червонцу.

носила на кистях рук, стояли не меньше того. Жемчуга на ней было в изобилии, и самого лучшего, так как украшаться жемчугом – крупным и мелким – считается у мавританок наибольшей роскошью и изысканностью. Поэтому у мавров больше жемчужин и мелкого жемчуга, чем у всех остальных народов, а отец Сораиды славился тем, что имел их множество и наилучших в Алжире, а также и тем, что у него было двести тысяч испанских червонцев, и владела всем этим та, которая теперь моя владычица. Была ли она во всех этих украшениях прекрасна или нет, можно судить по тому, что осталось от ее красоты, после столь многих ее страданий. Какова же должна была быть эта красота в ее счастливые дни! Ведь, известно, что у некоторых женщин красота в зависимости от времени и дня, и в следствии некоторых обстоятельств, увеличивается или уменьшается; и естественно, что душевные волнения возвышают или понижают ее, хотя чаще всего они ее разрушают. Словом, говорю я, Сораида предстала тогда предо мной в таком роскошном наряде и до того восхитительная, что, по крайней мере, мне она показалась самой прекрасной из всех женщин, которых я когда-либо видел в жизни, и сверх того, приняв в соображение еще все, чем я был ей обязан, она представлялась мне богиней, сошедшей с неба на землю, для моего счастья и спасенья.

Лишь только она подошла к нам, отец сказал ей на своем языке, что я невольник его друга, арнаута Мами, и пришел набрать зелени для салата. Она заговорила со мной на той смеси языков, о которой я уже упоминал, спросила, кабальеро ли я и по какой причине не выкуплен? В ответ я сказал, что уже внес за себя выкуп и по величине его она может

судить о том, как высоко ценил меня мой бывший господин, потому что мне пришлось уплатить ему тысячу пятьсот *солтанис*¹. На это она ответила:

– Поистине, если б ты принадлежал моему отцу, я уговорила бы его не возвращать тебе свободы, хотя бы даже за тебя давали вдвое больше, так как вы христиане всегда лжете в том, что говорите, и представляетесь бедными, чтобы обмануть мавров.

– Может быть, это и так, сеньора, – ответил я: – но, говоря по правде, я поступил честно с моим господином и поступаю и буду так поступать со всеми на свете.

– А когда ты уезжаешь? – спросила Сораида.

– Думаю, что завтра, – ответил я, – так как здесь французский корабль, который завтра поднимет паруса, и я намерен ехать на нем.

– Не лучше ли было бы, – возразила Сораида, – подождать, чтобы пришли корабли из Испании и ехать с испанцами, а не с французами, которые не друзья ваши?

– Нет, – ответил я, – хотя, если действительно придет сюда, как о том идет слух, корабль из Испании, я бы его подождал; но все же вернее, что я поеду завтра, так как мое желание увидеть родину и тех, кого я люблю, столь сильно, что я не в состоянии ждать другого удобного случая, как бы он ни был хорош, если б пришлось из-за этого отложить мой отъезд.

– Должно быть, ты женат у себя на родине, – сказала Сораида, – и потому тебе так хочется ехать повидаться с твоей женой?

– Нет, – ответил я. – Я не женат, но дал слово жениться, когда вернусь на родину.

¹ *Soltanis* – от султана, как испанский реал от реу – король: золотая монета, стоимостью в 36 реалов, т.е. немногим больше, чем испанский escudo или червонец.

– Красива та дама, которой ты дал слово жениться? – спросила Сораида.

– Так красива, – ответил я, – что для того, чтобы восхвалить ее красоту и сказать тебе правду, могу лишь сообщить, что она очень похожа на тебя.

Над этими словами отец Сораиды от души рассмеялся и сказал:

– Клянусь Аллахом, христианин, твоя невеста должна быть необыкновенно красива, если она похожа на мою дочь, которая считается первой красавицей во всем королевстве. Посмотри на нее хорошенько, и ты увидишь, говорю ли я правду или нет.

В большей части этого разговора отец Сораиды служил нам переводчиком, как лучше знавший языки, потому что хотя Сораида и сама говорила на том ломаном языке, который, как сказано, был в употреблении там, все же она чаще объяснялась знаками, чем словами.

Пока мы вели эти и другие разговоры, прибежал мавр и громко крикнул, что через изгородь сада перескочили четыре турка и рвут фрукты, хотя они еще не созрели. Старик испугался, а также и Сораида, потому что страх перед турками у мавров почти всеобщий и как бы прирожденный, в особенности, страх перед солдатами, которые до того дерзки и пользуются такой властью над подчиненными им маврами, что обращаются с ними хуже, чем если бы они были их рабы. Итак, говорю я, отец сказал Сораиде:

– Дочь, иди в дом и запишись там, пока я пойду объясняться с этими собаками; а ты, христианин, собирай свои травы и уходи себе в добрый час! Пусть Аллах возвратит тебя благополучно на твою родину.

Я поклонился ему, и он ушел искать турок, оставив меня наедине с Сораидой, которая сделала вид, что идет туда, куда ей велел отец, но едва он успел скрыться

за деревьями сада, как она повернулась ко мне с глазами, полными слез, и сказала:

– *Тамехи* христианин, *тамехи*? – что означает: ты уезжаешь, христианин, уезжаешь?

Я ответил ей:

– Да, сеньора, уезжаю, но ни в каком случае не без тебя. В первую *хуму*¹ жди меня и не путайся, когда увидишь нас, потому что мы, вне всякого сомнения, уедем в христианские страны.

Я сказал это таким образом, что теперь она хорошо поняла весь разговор, который произошел между нами, и, обняв рукой меня за шею, она дрожащими шагами пошла по направлению к дому. Судьбе угодно было, – и нам могло бы прийтись очень плохо, если б небо не распорядилось иначе, – чтобы в то время, когда мы шли таким образом и в такой позе, – она, как я говорил, охватив рукой мою шею, – ее отец, который уже возвращался, выведя турок из сада, увидел нас и мы тоже заметили, что он нас увидел. Но Сораида, умная и находчивая, не отняла руки от моей шеи, напротив, еще больше прижалась ко мне, положила голову мне на грудь, согнув немного колени с явными и очевидными признаками, что ей делается дурно. С своей стороны и я сделал вид, будто против воли поддерживаю ее. Отец Сораиды поспешно бросился к тому месту, где мы стояли, и, увидав дочь в таком положении, спросил ее, что с нею. Но так как она ничего не ответила, он сказал:

– Верно, ее испугало появление этих собак, и она упала в обморок.

Он взял ее из моих объятий и прижал к своей груди, а она, глубоко вздохнув, с невысохшими еще от слез глазами стала говорить:

– *Амехи*, христианин, *амехи*! – т. е. уходи, христианин, уходи.

На это отец ее ответил:

¹ Пятница – воскресный день у мусульман.

– Нет нужды, дочь, чтобы христиан ушел: он не сделал тебе никакого зла; а турки уж ушли. Не пугайся же; тебе нет ни малейшей причины тревожиться, потому что турки, как я уже говорил тебе, ушли по моей просьбе той же дорогой, какой пришли.

– Это они, сеньор, напугали ее, как ты предполагал, – сказал я ее отцу; – но, раз она желает, чтобы я ушел, я не хочу огорчать ее. Оставайся с миром, и с твоего разрешения, я вернусь, если понадобится, в этот сад рвать зелень, потому что, по словам моего господина, нигде нет лучшей зелени для салата, как здесь.

– Приходи всякий раз, как захочешь; – ответил Ахи-Морато; – моя дочь говорила так не потому, что она недовольна тобой, или кем-либо из христиан, а только желая сказать, чтоб турки ушли, она вместо того сказала, чтоб ты ушел, или же, быть может, потому что тебе уже пора собирать свои травы.

После этого я простился с ними обоими и она, у которой, казалось, как бы разрывалось сердце, ушла с отцом. Я же под предлогом, что ищу травы, хорошенько и нимало не стесняясь, обошел весь сад и тщательно осмотрел все входы и выходы, охранение дома и все, что могло пойти нам на пользу при выполнении нашего предприятия.

Сделав это, я вернулся и сообщил обо всем, что произошло, ренегату и моим товарищам; и едва мог дожждаться часа, когда без всяких опасений буду наслаждаться счастьем, которое судьба мне посылала в лице прекрасной и очаровательной Сораиды. Время шло, и наконец, настал столь сильно желанный день и час, и так, как все точно исполнили план и распоряжения, к которым мы пришли после долгого обсуждения и зрелого размышления, все и удалось нам, как

нельзя лучше. В пятницу, на другой день после моего разговора в саду с Сораидой, ренегат наш с наступлением ночи бросил якорь почти против того места, где жила прекраснейшая Сораида. Христиане были предупреждены и спрятались в окрестностях сада. Все они с беспокойством и волнением ждали меня, сгорая от нетерпения напасть на барку, стоявшую у них перед глазами, так как они не знали об уговоре ренегата с нами и думали, что им придется с оружием в руках добыть и завоевать себе свободу, отняв жизнь у мавров, бывших на барке. Поэтому лишь только я и мои товарищи показались, все остальные, которые были спрятаны, увидав нас, вышли и подошли к нам. Это было уже в ту пору, когда городские ворота были заперты, и во всей окрестности не было видно ни души. Лишь только мы все соединились, мы стали обсуждать, что лучше: идти ли нам прежде за Сораидой, или же сначала овладеть маврами багаринос¹, сидевшими у весел на барке. Пока мы совещались об этом, к нам подошел ренегат и спросил, отчего мы медлим, ведь теперь как раз время, так как все его мавры ничего не подозревают, и большинство из них спит. Мы сказали ему, в чем у нас задержка, и он ответил, что самое важное овладеть баркой, и это может быть сделано с величайшей легкостью, не подвергая себя никакой опасности, а потом уже мы можем идти за Сораидой. Совет этот понравился всем нам, и таким образом, не медля больше, мы под предводительством ренегата подошли к барке, и он первый, вскочив в нее, выхватил свой палаш и крикнул на арабском языке: «Пусть никто не двинется с места, если желает остаться в живых!». Между тем уже почти все христиане вошли на барку. Мавры, не принадлежавшие к числу отважных, когда слышали,

¹ *Bagarinos* – так называли мавров, зарабатывавших себе хлеб, нанимаясь гребцами на галеры.



... положила голову мне на грудь, согнув немного колени
с явными и очевидными признаками, что ей делается дурно...

что так говорит их арраэс¹, страшно перепугались, и ни один из них не взялся за оружие, которого, впрочем, у них было мало или почти не было; они молча дали христианам связать себе руки, а те сделали это очень быстро, угрожая маврам, если только они возвысят голос, тотчас же всех перерубить.

После того, оставив половину наших сторожить на барке, мы остальные, с ренегатом во главе, пошли к саду Ахи-Морато, и счастливой судьбе было угодно, чтобы калитка, когда мы подошли к ней, так легко отворилась, будто и вовсе не была заперта. Таким образом, молча и в полной тишине, никем не замеченные, дошли мы до дому. Прекраснейшая Сораида ждала нас у окна и как только услышала, что идут поди, спросила тихим голосом, не назаряне ли мы, желая сказать или спросить, не христиане ли мы. Я ей ответил, что да, и чтобы она сошла вниз. Когда она узнала меня, она не колебалась ни минуты, а, не ответив ни слова, тотчас же поспешила вниз, открыла дверь и явилась перед нами такой красивой и роскошно одетой, что я не могу даже пытаться описать это. Как только я увидел ее, я взял одну из ее рук и стал целовать ее; ренегат последовал моему примеру, также как и два товарища мои; остальные же, хотя и не знали о причине, сделали тоже, что и мы, так что, казалось, мы все благодарим и признаем ее владычицей нашего освобождения. Ренегат спросил Сораиду на арабском языке, в саду ли ее отец? Она ответила, что да и что он спит.

– Нужно будет разбудить его, – сказал ренегат, – и увести с собой, как и все ценное из этого прекрасного сада.

– Нет, – ответила она, – моего отца нельзя никоим образом коснуться, а в этом доме нет ничего ценного, исключая того, что я беру с собой, а беру я

столько, что все вы будете богаты и довольны. Подождите немного и увидите.

С этими словами она вошла опять в дом, говоря, что очень скоро вернется, и чтобы мы стояли и не производили шума. Я спросил ренегата, о чем он с нею разговаривал, и когда он сообщил, я сказал ему, что, во всяком случае, надо делать только лишь то, что желает Сораида. Она вернулась как раз в это время, обремененная небольшим сундучком, наполненным таким множеством червонцев, что она с трудом несла его. Между тем, к несчастью, проснулся отец ее и, услышав какой-то шум в саду, он выглянул из окна, тотчас же увидел, что все бывшие в саду – христиане, и стал дико и яростно кричать по арабски:

– Христиане, христиане! Воры, воры!

Крики эти привели нас в величайший испуг и смятение; но ренегат, видя угрожавшую нам опасность и понимая, до какой степени важно кончить эту часть нашего предприятия, прежде чем произойдет переполох, с величайшей поспешностью поднялся туда, где находился Ахи-Морато; вместе с ним побежали и некоторые из наших. Я же не мог оставить Сораиды, которая, почти без чувств, упала мне на руки. Говоря кратко, те, что поднялись наверх, так быстро справились со своим делом, что через минуту они уже привели Ахи-Морато со связанными руками, и платком, засунутым ему в рот, не дававшим ему произнести ни слова, угрожая, если он издаст хоть один звук, лишить его жизни. Когда дочь увидела его, она закрыла глаза, чтоб не смотреть на отца, а он пришел в ужас, не подозревая, что она добровольно отдалась нам в руки; но так как ноги были нам тогда всего нужнее, мы, как можно скорее и осторожнее, поспешили на нашу барку, где те, которые там оставались, нетерпеливо нас ждали, опа-

¹ Arráez – капитан алжирского судна.



... и она, у которой, казалось, как бы разрывалось сердце, ушла с отцом...

саясь, не случилось ли с нами беды. Едва прошло два часа после наступления ночи, как мы уже все сидели в барке, где отцу Сораиды развязали руки и вынули платок из рта, а ренегат опять предупредил его, чтобы он не произносил ни слова, угрожая в противном случае убить его. Когда Ахи-Морато увидел тут же свою дочь, он начал тяжело вздыхать, особенно заметив, что я крепко держу ее в своих объятиях, а она остается спокойной: не защищается, не сопротивляется, не старается вырваться от меня. Тем не менее, он молчал, боясь, чтобы столь часто повторяемые ренегатом угрозы не были приведены в исполнение. Лишь только Сораида увидела себя в барке, а также и то, что мы взяли за весла, чтобы спустить их на воду, а отец ее и остальные мавры остаются связанными, она велела ренегату передать мне ее просьбу: оказать такую милость и отпустить мавров, а также вернуть свободу ее отцу, потому что она скорее бросится в море, чем будет свидетельницей, как отца, который так нежно любил ее, у нее на глазах и по ее вине увозят в плен. Ренегат передал мне ее слова, и я ответил, что с удовольствием согласен исполнить ее просьбу; но этому воспротивился ренегат, говоря, что не следует этого делать, так как если мы вернем им теперь свободу, они тотчас-же переполошат всю окрестность, поднимут тревогу в городе и добьются того, что за нами пошлют в погоню несколько легких фрегатов, отрежут нам путь на суше и на море, и нам окажется невозможным спастись; единственно, что можно будет сделать, это выпустить их на свободу, когда мы причалим к ближайшему христианскому берегу. С этим мнением все мы согласились, и Сораида, когда ей объяснили причины, почему нельзя сейчас же исполнить ее желание, удовлетворилась ими; и тотчас в радостном безмолвии и с веселой поспешностью, все наши сильные гребцы

взялись за весла и, поручая себя Богу, мы направились к островам Майорки, – ближайшей христианской земле. Но так как дул небольшой северный ветер, и море было беспокойно, то нельзя было держать курс на Майорку, и мы были вынуждены плыть вдоль берега, по направлению к Орану, весьма огорченные этим, так как мы опасались, что нас увидят из местечка Сархел, находящегося на берегу, в шестидесяти милях от Алжира. Мы боялись также встретить в этих местах какую-нибудь галеоту из тех, которые обыкновенно проходят здесь с товарами из Тетуана; хотя каждый из нас в отдельности и все мы вместе держались мнения, что, если нам встретится торговая галеота, – лишь бы только она не оказалась корсарским судном, – это не только не повлечет за собой нашей гибели, а, быть может, мы еще овладеем судном, на котором с большей безопасностью для себя доведем до конца свое путешествие. Все время, пока мы шли на веслах, Сораида лежала, спрятав голову в мои руки, чтобы не видеть отца, и я слышал, как она призывала нам на помощь Лелу Мариен.

Сделали мы, должно быть, около тридцати миль, когда рассвело, и мы оказались от земли на расстоянии трех выстрелов из кремневого ружья, но все кругом было совершенно пустынно, и некому было заметить нас. Тем не менее, работая веслами изо всех сил, мы направились в открытое море, теперь уже несколько утихнувшее. После того, как мы прошли около двух миль, было отдано приказание людям разделиться на четыре смены и поочередно грести, чтоб иметь возможность подкрепить свои силы едой, так как на барке был обильный запас провизии. Однако гребцы отказались от этого, говоря, что теперь не время отдыхать, и пусть уж лучше те, которые не гребут, покормят их, потому что они ни в каком случае не же-



... Сораида лежала, спрятав голову в мои руки...

лают выпускать весел из рук. Так и было сделано. Но тут поднялся свежий ветер, и мы были вынуждены бросить весла, натянуть паруса и взять направление к Орону, потому что не было возможности держаться другого курса. Все это было сделано с величайшей быстротой, и, таким образом, под парусами, мы шли больше восьми миль в час, опасаясь лишь одного: встречи с корсарским кораблем. Связанных мавров накормили, и ренегат утешил их, сообщив им, что их не оставят в плену, а при первом же удобном случае они получат свободу. То же было сказано и отцу Сораиды, который ответил:

– Всего другого я мог бы ждать от вашего великодушия и вашей правдивости, о, христиане, но, чтобы вы дали мне свободу, – не думайте, будто я так прост, что могу поверить этому. Никогда не подвергали бы вы себя опасности отнять ее у меня, чтобы так скоро вернуть ее, в особенности, зная, кто я такой, и какую большую выгоду для себя вы можете извлечь за мою свободу. Эту выгоду, – если вы определите ее размеры, – вы получите, и я предлагаю вам и готов уплатить все, что бы вы ни пожелали, за меня и за эту несчастную дочь мою, или хотя за нее одну, так как она самая большая и лучшая часть моей души.

Говоря это, он так горько заплакал, что возбудил во всех нас сострадание и вынудил Сораиду взглянуть на него. Увидев его слезы, она была до того растрогана, что поднявшись – она лежала у моих ног – подошла к отцу, обняла его, прильнула щекой к его щеке, и оба они залились столь горячими слезами, что многие из нас тоже последовали их примеру. Но когда отец ее увидел, что на ней такой роскошный наряд и так много драгоценностей, он сказал ей на своем языке:

– Что это значит, дочь моя? Вчера ночью, прежде чем с нами случилось

ужасное наше несчастье, я видел тебя в твоём обычном домашнем платье, а теперь, когда ты не имела времени переодеться, и я не принес тебе радостной вести, которую ты бы могла праздновать, наряжаясь и украшаясь, – я вижу на тебе самые роскошные одежды, какие я умел и мог дать тебе в то время, когда счастье более благоприятствовало нам? Ответь мне, потому что это меня приводит в большее изумление и смущение, чем даже самое несчастье, которое обрушилось на меня.

Все, что говорил мавр своей дочери, ренегат переводил нам, а она не отвечала ни слова. Но когда он увидел в углу барки сундучок, в котором дочь его обыкновенно хранила свои драгоценности и который, как он хорошо помнил, был оставлен им в Алжире и не перевезен в загородный сад, он еще более изумился и спросил ее, каким образом попал в наши руки этот сундучок, и что находится в нем. На это ренегат, не дожидаясь, что ответит ему Сораида, сказал:

– Не трудись, сеньор, спрашивать дочь свою Сораиду о столь многом, потому что, сообщив тебе одну вещь, я отвечу на все твои вопросы. Итак, знай, что она христианка и была пилой, распилившей наши цепи, и избавительницей нашей из плена. Находится она здесь по доброй своей воле, столь же довольная, как я думаю, видеть себя в этом положении, как тот, кто из мрака перешел в свет, от смерти к жизни, от мук к блаженству.

– Правда ли то, что он говорит, дочь моя? – спросил мавр.

– Правда, – ответила Сораида.

– Правда ли, – продолжал старик, – что ты христианка и предала отца своего в руки врагов его?

На это Сораида ответила:

– Правда, что я христианка, но, нет, не по моей вине попал ты в свое тепереш-

нее положение, потому что никогда мое желание не заходило так далеко, чтобы бросить тебя, или сделать тебе зло, а только чтобы сделать добро себе.

– Какое же ты сделала добро себе, дочь моя? – спросил мавр.

– Об этом, – ответила она, – узнай у Лела Мариен. Она лучше сумеет ответить, чем я.

Едва мавр услышал эти слова, как с неимоверной быстротой кинулся стремглав в море, где бы он непременно утонул, если бы широкое и обременительное платье, надетое на нем, не поддержало его некоторое время на воде. Сораида крикнула, чтобы его спасли, и мы все немедленно бросились к нему на помощь и, схватив его за верхнее одеяние, вытащили из воды наполовину захлебнувшегося и потерявшего сознание. Это привело в такое огорчение Сораиду, что она зарыдала над ним самыми горькими и неутешными слезами, как над мертвым. Мы повернули его лицом вниз, из него вышло много воды, и через два часа он, наконец, пришел в себя. Между тем ветер снова переменился, нас понесло течением к земле, пришлось гребсти изо всех сил, чтобы не прибило нас к ней; но счастливой судьбе нашей было угодно, чтобы мы вошли в бухту, образуемую небольшим мысом или косой, которую мавры называют *Cava rumia*, что на нашем языке означает *злая христианская женщина*. У мавров есть предание, будто в этом месте похоронена *Кава*¹, которая была причиной утраты Испании, и по-арабски кава – значит «злая женщина», а *румиа* – «христианка». Они даже считают за дурное предзнаменование при-

ставать здесь и бросать якорь, когда вынуждены к тому крайней необходимостью, без которой они этого никогда не делают. Но для нас это место было не убежищем злой женщины, а верной гаванью нашего спасенья, – до того разбушевалось море. Мы поставили на берегу часовых и, не выпуская ни на минуту весел из рук, принялись есть то, чем запасася ренегат, и от всей души молили Бога и Пресвятую Деву помочь нам и оказать свое покровительство, чтобы мы могли счастливым концом увенчать столь счастливое начало нашего предприятия. По настоятельной просьбе Сораиды было решено высадить здесь на берег ее отца и остальных, все еще связанных, мавров, потому что у нее уже не хватало сил, и ее нежное сердце не могло более выносить зрелище связанного отца и пленных земляков. Мы обещали сделать это перед самым нашим отъездом, так как не представляло ни малейшей опасности выпустить их на берег в этом пустынном и безлюдном месте. Молитвы наши не были столь тщетными, чтобы небо не услышало их, потому что ветер переменился на пользу нам, и море утихло, приглашая весело продолжать начатое нами путешествие. Увидав это, мы развязали мавров и спустили их одного за другим на берег к великому их изумлению. Когда же очередь дошла до отца Сораиды, который уже совершенно пришел в себя, он сказал:

– Как думаете вы, христиане, почему злая эта женщина радуется тому, что вы мне даете свободу? Думаете ли вы, что она радуется из сострадания ко мне? Конечно, нет, а только потому, что мое присутствие могло ей быть помехой в осуществлении

¹ Местная легенда о Кава румиа, не имеющая ни какого отношения к «La Cava», или Флоринде, злополучной дочери графа Юлиана, которая была причиной завоевания Испании маврами, тоже оказалась лишенной всякой исторической основы. Теперь доказано, что этот памятник не что иное, как мавзолей мавританского короля Иуба II и жены его Клеопатры, дочери царя Антония и знаменитой египетской королевы. Видевшие этот памятник говорят, что он даже более величественен, чем пирамиды.

ее дурных намерений. Не думайте также, что ее побудила переменить веру мысль, будто ваша вера лучше нашей; она сделала это, зная, что в вашей стране можно свободнее предаваться разврату, чем в нашей.

И обращаясь к Сораиде в то время, как я и другой христианин крепко держали его за руки, чтобы он не совершил какого-нибудь отчаянного поступка, он воскликнул:

– О, гнусное создание и введенная в обман девушка! Куда идешь ты, ослепленная и безумная, отдавшись во власть этих собак, наших естественных врагов? Да будет проклят час, когда ты была зачата! Да будут прокляты подарки и роскошь, в которых я взрастил тебя!

Видя, что он не очень скоро собирается кончить, я поспешил высадить его на берег; он и оттуда продолжал громко выкрикивать жалобы и проклятия, призывая Магомета, чтобы он просил Аллаха погубить, истребить и уничтожить нас. Когда же мы отплыли, распустив паруса, и не могли слышать слов его, мы еще видели его действия, именно: он вырывал себе бороду, рвал волосы на голове, катался по земле, а раз он сделал такое усилие и так громко возвысил голос, что мы еще слышали следующие его слова:

– Вернись, возлюбленная дочь, вернись! Сойди на берег! Я все тебе прощаю. Отдай деньги этим людям, потому что они уже присвоили их себе, и вернись утешить несчастного отца, который в этой печальной пустыне лишится жизни, если ты его покинешь.

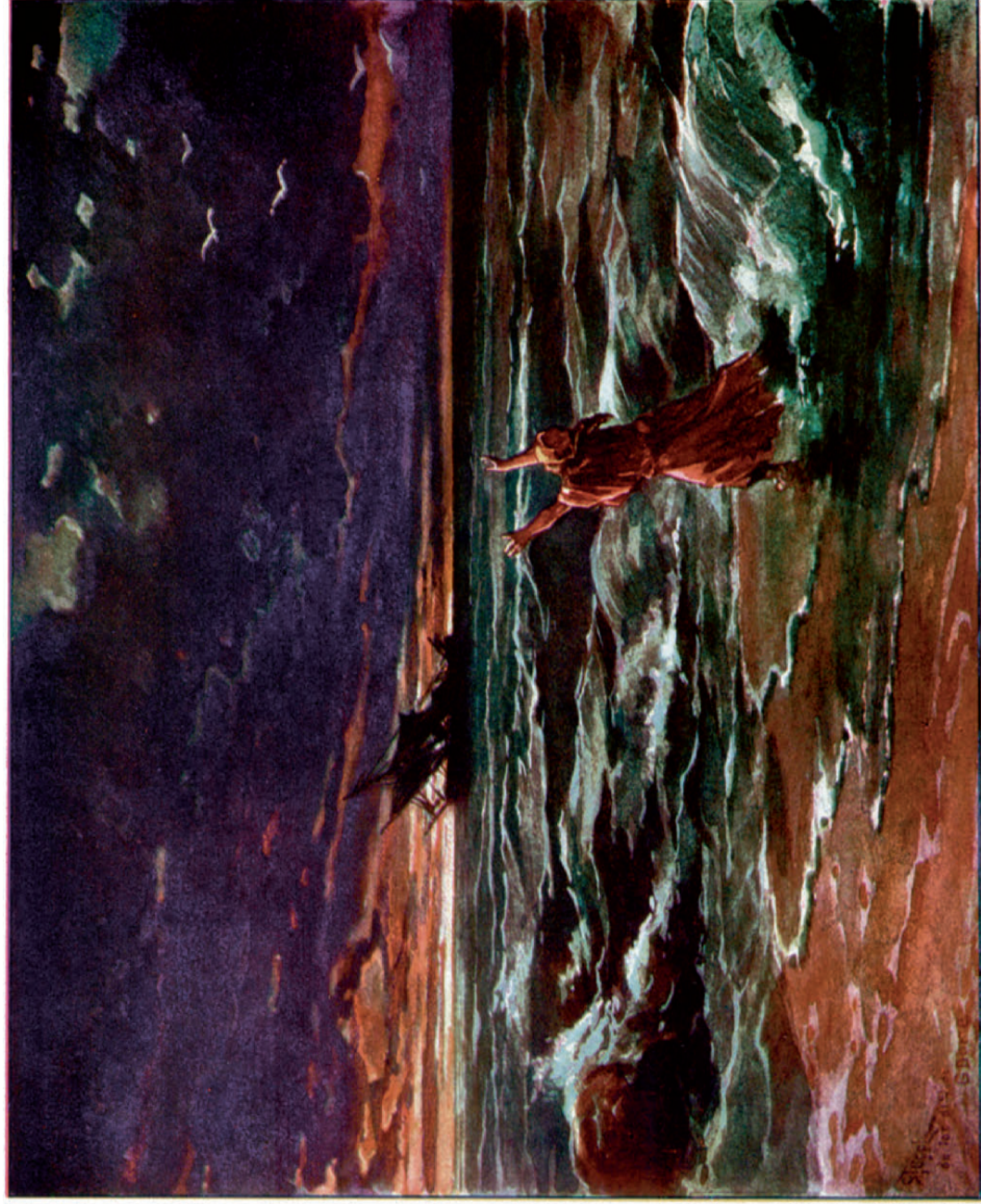
Все это слышала Сораида, и все это она глубоко чувствовала и оплакивала, но ничего не могла сказать и ответить, как только следующее:

– Дай-то Аллах, отец мой, чтоб Лела Мариен, ради которой я сделалась христианкой, утешила тебя в твоём горе. Аллаху известно, что я не могла ина-

че поступить, как поступила, и что эти христиане ничем не обязаны мне за мое доброе к ним расположение, потому что, хотя бы я и пожелала не ехать вместе с ними и остаться дома, мне это было бы невозможно, так велико было стремление моей души привести в исполнение дело, которое мне кажется столь же добрым, как тебе, возлюбленный отец, оно кажется дурным.

Она говорила это, когда отец ее не мог уже ее слышать, и мы не видели его больше; итак, утешая Сораиду, мы продолжали свое путешествие, которое попутный ветер нам очень облегчал, и мы уже наделялись на следующий день утром добраться до берегов Испании. Но так как счастье редко, или же никогда, не бывает полным и ясным, а его сопровождает или за ним следует какое-нибудь горе, нарушающее или смущающее его, так и теперь, по воле судьбы нашей, или, быть может, благодаря проклятиям, которые мавр послал вслед своей дочери (потому что их всегда нужно опасаться, от какого бы отца они ни исходили), вдруг, говорю я, плывя около трех часов ночи в открытом море с распушенными парусами и сложенными веслами, потому что попутный ветер избавлял нас от необходимости работать ими, мы увидели, при свете ярко сиявшей луны, круглое судно. Оно, натянув все паруса и несколько отклоняясь от ветра в сторону, шло наперерез нам и уже было так близко, что нам пришлось спустить парус, чтобы не столкнуться с ним, а они должны были налечь на руль, чтобы дать нам дорогу. С палубы встретившегося нам корабля нас спросили, кто мы, куда идем и откуда. Но так как вопросы были сделаны на французском языке, наш ренегат сказал:

– Не отвечайте никто, потому что, несомненно, это французские корсары, которые всех грабят.



... Сойди на берег! Я все тебе прощаю...

Вследствие такого предупреждения, никто не ответил ни слова, но едва мы прошли несколько вперед, оставив под ветром тот корабль, как вдруг они выстрелили из двух пушек, заряженных, как казалось, цепями, потому что одним выстрелом срезало нашу мачту, которая и упала вместе с парусами в море, и в то же мгновение раздался второй выстрел, и пуля ударила в середину нашей барки и пробила в ней большую дыру, не причинив другого вреда. Видя, что мы идем ко дну, мы стали громко звать на помощь и просить находящихся на корабле взять нас к себе, так как мы тонем. Тотчас же они убрали паруса и спустили шлюпку, или лодку, в которую вошло около дюжины французов, хорошо вооруженных аркебузами с зажженными фитилями, и таким образом они подъехали к нам; но увидев, что нас так мало, и что барка наша тонет, они нас взяли к себе в лодку, говоря, что это случилось с нами вследствие нашей невежливости, за то, что мы не ответили им. Ренегат наш взял сундук с богатствами Сораиды и бросил его в море, так что никто не заметил этого.

Наконец, мы все перебрались на корабль к французам, которые, расспросив нас обо всем, что они желали узнать, дочиста обообрали нас, точно они были смертельные наши враги; и у Сораиды отняли все, даже до застежек, которые у нее были на ногах; но меня не столько огорчало, что они таким образом обидели Сораиду, как мучил страх, что, сняв с нее богатые и роскошные ее украшения, они лишат ее наиболее драгоценного сокровища, и которое она сама ценила выше всего. Однако, вожделение этих людей не идет дальше денег, и алчность их никогда не насыщается ими, и на этот раз дошла до того, что они сняли бы с нас даже нашу невольничью одежду, если б могли извлечь из нее какую нибудь поль-

зу. Некоторые из корсаров высказали мнение, что всех нас следовало бы, завернув в парус, бросить в море, потому что они имели намерение вести торговлю в некоторых испанских гаванях, выдавая себя за бретанцев, и если бы они привезли нас туда живыми, их грабеж открылся бы и они подвергнулись бы за него наказанию. Но капитан, именно и обобравший мою возлюбленную Сораиду, объявил, что он довольствуется полученной им добычей и не желает заходить ни в какой испанский порт, а направится к Гибралтарскому проливу, который он думает пройти ночью, или когда окажется возможным, и возвратится в Ля-Рошель, откуда они отплыли. Итак, они согласились дать нам шлюпку с своего корабля, а также и все нужное для короткого путешествия, предстоявшего нам; это они и сделали на следующий же день уже в виду испанского берега, взглянув на который, мы совершенно забыли все наши огорчения и лишения, точно и не испытывали их – так велико счастье вернуть себе утраченную свободу!

Было около полудня, когда они нас посадили в шлюпку, дали нам с собой два бочонка воды и немного сухарей, а капитан, движимый, не знаю, каким порывом сострадания, в то время как прекрасная Сораида садилась в шлюпку, дал ей еще около сорока червонцев и не позволил своим людям снять с нее мавританское платье, которое вы теперь на ней видите. Мы вошли в шлюпку, поблагодарив их за добро, которое они нам оказали, и выражая им скорее признательность, чем злобу. Они ушли в открытое море по направлению к проливу; мы же, не устремляя взоров ни на какую другую путеводную звезду, кроме земли, лежавшей перед нами, так усиленно принялись грести туда и подошли при заходе солнца так близко, что уже надеялись высадить-



... как вдруг они выстрелили из двух пушек...

ся на берег еще до полного наступления ночи. Но так как луна не светила, небо было темное, и мы не знали местности, где находились, то нам казалось неблагоприятным тотчас же выходить на берег. Впрочем, некоторые из наших держались иного мнения, говоря, что следует пристать даже в том случае, если бы берег оказался голой скалой, удаленной от всякого человеческого жилья; таким образом мы избегнем угрожающей нам опасности встретиться с корсарскими кораблями из Тэтуана, которые проводят ночь в Берберии, а на рассвете оказываются уже у берегов Испании, обыкновенно захватывают здесь добычу и затем возвращаются спать домой к себе. Но из двух противоположных мнений было принято то, чтобы мало-помалу подойти к берегу и, если море будет спокойно и допустит это, высадиться там, где окажется возможным. Так мы и сделали. Около полуночи подошли мы к подножию громадной и высочайшей горы, настолько отстоящей от берега, что оставалось маленькое пространство для того, чтобы удобно высадиться. Мы врезались лодкой в песок, вышли на берег, поцеловали землю и со слезами сильнейшей радости благодарили Бога, Господа нашего, за безмерное милосердие, явленное Им во время нашего путешествия. Из лодки мы вынесли находившиеся там съестные припасы, вытащили ее на берег и поднялись довольно высоко на гору; но даже и там, мы все еще не могли хорошенько успокоиться и поверить, что земля, на которой мы стоим – христианская земля. Рассвело позднее, как мне казалось, чем мы желали бы. Мы, наконец, взобрались до вершины горы, чтоб посмотреть, не увидим ли оттуда деревню или какие-нибудь пастушьи хижины; но сколько мы

не напрягали зрения, ничего не видели: ни деревни, ни человека, ни тропинки, ни дороги. После того мы решили идти дальше, вглубь местности, так как не могло быть, чтобы нам не встретился вскоре кто-нибудь, кто бы дал нам сведения о том, где мы находимся. Больше всего огорчился я тем, что Сораида принуждена идти пешком по этим острым скалам, потому что хотя я иногда и брал ее себе на плечи, но мое утомление утомляло ее больше, чем отдых освежал ее; и так, она решительно отказалась, чтоб я давал себе этот труд, и с большим терпением и веселым лицом шла пешком, а я вел ее все время за руку.

Должно быть, мы прошли немного меньше четверти мили, как вдруг до нашего слуха донесся звук бубенчиков, – ясный признак того, что где-нибудь вблизи пасется стадо. Внимательно оглядываясь кругом, не покажется ли оно, – мы увидели мальчика-пастуха, сидевшего под пробковым деревом, где он с большим спокойствием и беззаботностью строгал своим ножом палочку. Мы позвали его, и он, быстро вскочив на ноги, увидел, как мы потом узнали, первыми ренегата и Сораиду, а так как на них была мавританская одежда, то он, думая, что все мавры Берберии гонятся за ним, с изумительной быстротой бросился бежать и повернул в лес, крича самым что ни на есть пронзительным голосом:

– Мавры, мавры в стране! Мавры, мавры! К оружию, к оружию!

Эти крики привели нас в большое смущение, и мы не знали, что делать. Но рассудив, что крики пастуха переполошат всю местность, и конная береговая стража¹ скоро явится узнать, в чем дело, мы решили, чтобы ренегат снял с себя турецкое платье и облекся в невольничью

¹ Стража эта была вооружена в те времена копьями и щитами и сидела на конях по-арабски, налегке.

куртку¹, которую ему тотчас же предложил один из наших, хотя сам остался в рубаше. Таким образом, поручив себя Богу, мы пошли по той же дороге, по которой, как мы видели, убежал пастух, все время ожидая, что вот-вот нам встретится конная береговая стража. И мы не ошиблись в своих предположениях. Не прошло и двух часов, как выйдя из чащи леса в долину, мы увидели около пятидесяти всадников, которые быстро, коротким галопом, неслись на нас. Лишь только мы их заметили, мы остановились, поджидая их, а когда они подъехали и вместо мавров, которых искали, встретили лишь несколько бедных христиан, они смутились, и один из них спросил нас, были ли мы причиной того, что пастух звал к оружию. Я ответил утвердительно и только что собрался рассказать о своих приключениях, о том, кто мы и откуда, как один из христиан, бывших с нами, узнал всадника, который обратился к нам с вопросом, и, не дав мне сказать ни слова больше, воскликнул:

– Благодарение Богу, сеньоры, за то, что Он нас привел в такое хорошее место, потому что, если я не ошибаюсь, земля, на которой мы стоим, – Велес-Малага², и если годы, проведенные мною в неволе, не отняли у меня памяти, мне кажется, что вы, сеньор, спрашивающий нас, кто мы такие, – Педро де Бустаманте, мой дядя.

Едва пленный христианин произнес эти слова, как всадник соскочил с лошади и бросился обнимать юношу, говоря:

– Племянник души моей и жизни моей! Я узнаю тебя, а мы-то уже тебя оплакивали, считая мертвым, я и сестра моя, твоя мать, и все твои родные, которые еще живы, так как Богу угодно было сохранить им жизнь, чтобы они могли

насладиться радостью свиданья с тобой. Мы уже знали, что ты в Алжире, а по признакам и приметам твоей одежды и одежды всей вашей компании, – я вижу, что вы спаслись каким-то чудом.

– Оно так и есть, – ответил юноша, и у нас будет достаточно времени все это рассказать вам.

Как только всадники узнали, что мы христианские пленники, они сошли с коней, и каждый из них предлагал нам свою лошадь, чтобы довезти нас до города Велес-Малага, отстоявшего оттуда мили на полторы. Некоторые из верховых отправились к тому месту, где, как мы указали, была оставлена нами лодка, чтобы отвезти ее в город. Другие же посадили нас на круп лошадей позади себя, а Сораида села позади дяди христианина. Все население города вышло нам на встречу, так как некоторые, приехавшие раньше, распространили весть о нашем прибытии. Они не удивлялись видеть ни освобожденных христиан, ни пленных мавров, потому что все жители этого побережья привыкли к зрелищу тех и других, а удивлялись они красоте Сораиды, которая в то время и при тех обстоятельствах достигла высшего своего блеска, как вследствие движения в дороге, так и от радости, что она уже в стране христианской и ничего ей больше не угрожает; а это вызвало на ее лице такие краски, что если меня только не ввела тогда в заблуждение любовь, я решился бы сказать, что во всем мире нельзя было найти более прекрасного существа; по крайней мере, я такого никогда не видел.

Мы прямо пошли в церковь, чтобы благодарить Бога за оказанную Им нам милость. И лишь только Сораида вошла туда, она сказала, что видит здесь лица,

¹ Gilescuelco – довольно длинная, обхватывающая талию, куртка с короткими и разрезными рукавами до локтей, открытая спереди.

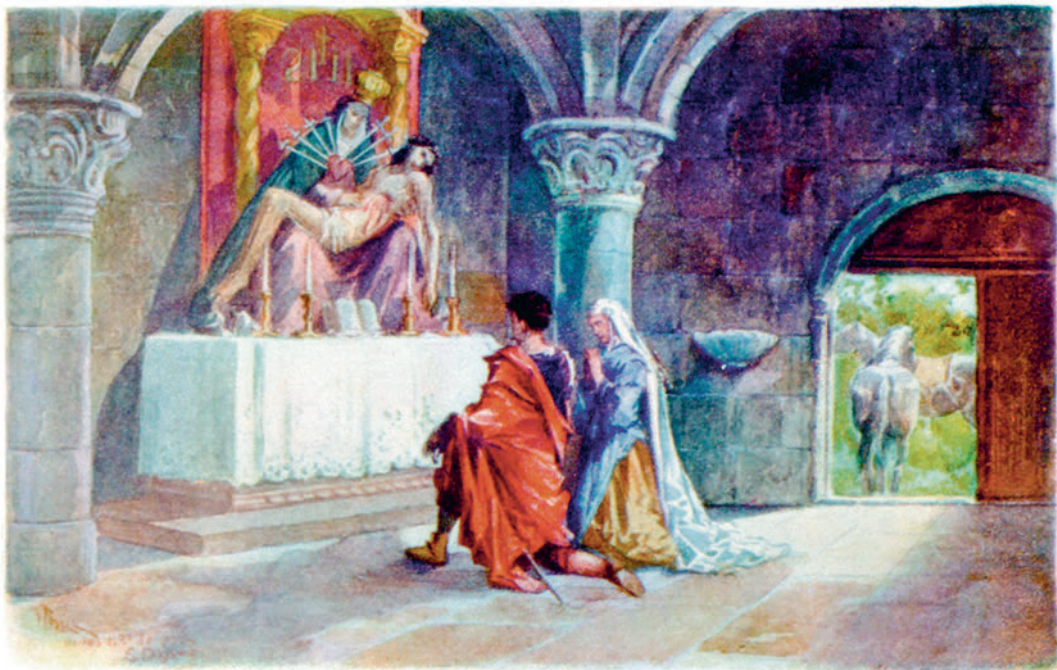
² Город около восемнадцати миль к востоку от Малаги, у подножия Сьерра де Алама.

похожие на лицо Лелы Мариен. Мы объяснили, что все это ее изображения, и ренегат постарался, как можно лучше, растолковать мавританке, что такое значат иконы, а также и то, что ей следует их благоговейно чтить, как изображения той самой Лелы Мариен, которая говорила с нею. Обладая тонким умом и способностью быстро и легко все схватывать и воспринимать, Сораида сразу же поняла то, что ей было сказано относительно икон. Из церкви нас увели и разместили в городе по разным домам, а христианин, приехавший с нами, взял ренегата, Сораиду и меня в дом к своим родителям, которые имели средний достаток и приняли нас так же радушно, как и собственного сына. Мы пробыли в Велесе шесть дней, после чего ренегат, собрав все нужные ему сведения, уехал в город Гренаду, чтобы там, через посредство святой инквизиции, вернуться в святейшее лоно церкви. Остальные же освобожденные христиане уехали, каждый куда ему казалось лучше. Только мы и остались, Сораида и я, с одними лишь теми червонцами, которыми учтивость француза наделила Сораиду. Часть этих денег я употребил на покупку животного, на котором она едет верхом, и служил ей до сих пор отцом и стремянным, но не супругом. Мы

теперь отправляемся дальше, намереваясь узнать, жив ли мой отец и посчастливилось ли кому-нибудь из моих братьев больше моего; хотя, раз небо сделало меня спутником Сораиде, мне кажется, что никакое другое счастье, как бы оно ни было велико, не может быть столь драгоценным для меня, как это. Терпение, с каким Сораида переносит неудобства, которые влечет за собой бедность, и выражаемое ею желание сделаться как можно скорее христианкой, так велико и искренно, что наполняет меня восхищением и побуждает служить ей всю мою жизнь; но радость, испытываемая мной при мысли, что я принадлежу ей, а она — мне, нарушается и портится тем, что я не знаю, найду ли я на моей родине уголок, где бы я мог приютить ее, и не внесли ли время и смерть такие изменения в жизнь и дела моего отца и братьев, что, в случае их бы не оказалось в живых, я едва ли найду кого-нибудь, кто бы меня знал.

Больше мне нечего, сеньоры, сообщить вам о моей истории, и предоставляю доброму вашему усмотрению судить о том, нашли ли вы ее занимательной и приятной. О себе же могу сказать, что желал бы ее рассказать короче, хотя опасение наскучить вам заставило меня умолчать о многих подробностях.





Глава XLII

В которой сообщается о том, что произошло еще на постоялом дворе, и о многих других вещах, заслуживающих быть рассказанными.

В закончив этими словами свой рассказ, пленник умолк, а дон Фернандо сказал ему:

— Могу вас уверить, сеньор капитан, умение, с которым вы рассказали эту удивительную историю, равняется новизне и занимательности сообщенных вами событий. Все тут в высшей степени любопытно, необыкновенно и полно неожиданностей, изумляющих и поражающих слушателей. Удовольствие, доставленное вашим рассказом, так велико, что если б утро следующего дня застало нас еще за тем же занятием, мы были бы рады начать слушать вас сызнова.

Сказав это, дон Фернандо и все остальные предложили капитану свои

услуги во всем, что в их силах, и в таких искренних и душевных словах и выражениях, что он не мог не поверить доброму их расположению. В особенности же дон Фернандо обещал ему, если он согласится с ним ехать, уговорить своего брата маркиза быть крестным отцом Сораиды, а он, со своей стороны, снабдит его всем нужным, чтобы он мог вернуться к себе на родину с подобающими ему приличием и достоинством. Пленник поблагодарил всех в самых учтивых выражениях, но не пожелал принять ни одного из их великодушных предложений.

Между тем уже наступила ночь, и, когда совершенно стемнело, к постоялому двору подъехала карета, а за нею несколько верховых, потребовавших ноч-

лега. В ответ хозяйка сказала, что на всем постоялом дворе нет и пяди незанятого места.

– Как бы то ни было, – объявил один из верховых, – но место должно найтись для сеньора судьи¹, который прибыл сюда.

Узнав о звании гостя, хозяйка смутилась и сказала:

– Сеньор, дело в том, что у меня нет постели. Если же его милость, сеньор судья, везет с собой постель, как должно быть это и есть, – то пусть он пожалует в добрый час, потому что и муж мой, и я, мы готовы уступить нашу собственную комнату, чтобы милость его могла устроиться в ней на ночь.

– Пусть будет так, в добрый час, – сказал стреманный.

Но в это время уже вышел из кареты человек, одежда которого тотчас же выдавала его звание и занимаемую им должность, потому что бывшее на нем длинное одеяние с круглыми развевающимися рукавами показывало, что он судья или оидор, как сказал слуга. Он вел под руку молодую девушку, на вид лет шестнадцати, одетую по-дорожному, но такую веселую, нарядную и красивую, что она всех привела в восторг. Если б на постоялом дворе не было Доротеи, Люсинды и Сораиды, можно было бы подумать, что другую такую красоту, как красота девушки, трудно было бы отыскать.

Дон Кихот находился тут же, когда приехали судья и молодая девушка, и как только он их увидел, он сказал:

– Милость ваша, вы можете спокойно войти и расположиться в этом замке, потому что, хотя тут и тесно, и неудобно, но нет той тесноты и неудобства в мире, где бы не нашлось места для оружия и для наук, и тем более, если спутницей и

предводительницей их является красота, как мы это видим в настоящем случае, когда наука, в вашем лице, является сопровождаемая прекрасной этой девушкой, перед которой не только должны распахнуться и открыться двери замков, но и расступиться скалы и сгладиться и склониться горы, чтобы оказать ей прием. Войдите, милость ваша, говорю я, в этот рай, так как вы найдете здесь звезды и солнца, чтобы сопутствовать небу, которое милость ваша привела с собой. Здесь вы найдете оружие на всей его высоте и красоту во всем ее блеске.

Судья, удивленный речью Дон Кихота, стал пристально рассматривать его и был столь же изумлен его наружностью, как и словами его. Но прежде чем нашелся, что ответить ему, он впал в новое удивление, когда увидел перед собой Люсинду, Доротею и Сораиду, которые, услышав о приезде новых гостей и узнав от хозяйки о красоте молодой девушки, пришли посмотреть на нее и встретить ее. Дон Фернандо, Карденио и священник приветствовали судью более просто и учтиво, чем Дон Кихот. Сеньор судья вошел в дом смущенный, как тем, что он видел, так и тем, что слышал, а красавицы, бывшие на постоялом дворе, приветствовали прекрасную девушку. Судья вскоре же разглядел, что все присутствующие здесь были люди хорошего общества и только фигура, лицо и манеры Дон Кихота продолжали приводить его в замешательство. После общего взаимного обмена любезностей и обсуждения удобств постоялого двора, пришли снова к прежнему решению, именно, чтобы женщины заняли уже упомянутое помещение на чердаке, а мужчины оставались вне его, как бы для охраны их. Судья был очень доволен тем, что его дочь, – так как

¹ *Oidor*, т.е. *слушающий* – название судьи в Испании; *audiencia* – называется суд, в котором он заседает.

та девушка была его дочерью, – поместится с этими сеньорами, и она охотно это сделала; с частью скудной постели хозяина и половины той, которую привез с собой судья, дамы устроились на эту ночь лучше, чем думали.

Пленник, который лишь только увидел судью, почувствовал, что у него сильно забилося сердце при блеснувшей у него в голове мысли, не его ли это брат, спросил одного из приехавших с ним слуг, как зовут его господина и не знает ли он, откуда тот родом. Слуга ответил, что его сеньор – лисенсиат Хуан Педро де Виедма и, насколько ему известно, он родом из местечка в Леонских горах. Это сведение и то, что он сам видел, окончательно убедили капитана, что судья – тот его брат, который, по совету отца, посвятил себя изучению словесных наук. Взволнованный и радостный, он отозвал в сторону дону Фернандо, Карденио и священника и рассказал о случившемся, утверждая, что этот судья – его брат. Слуга сообщил ему, что сеньор его едет в Индию, на должность судьи в Мексике, и, кроме того, что эта молодая девушка – дочь судьи, родив которую, мать ее умерла, а отец стал очень богат вследствие приданного жены, которое вместе с дочерью осталось у него в доме. Капитан спросил совета, как ему быть: открыться ли сразу брату, или не лучше ли сначала разузнать, как он его примет, если он ему откроется: не устыдится ли, видя его в такой бедности, или же встретит с сердечным участием.

– Предоставьте устроить это испытание мне, – сказал священник, – тем более, что нет причины сомневаться в том, чтобы ваш брат, сеньор капитан, не принял вас самым радушным образом, так как благоразумие и достоинство, проявляющиеся в его обращении, не дают права считать его ни надменным,

ни неблагородным, или думать, будто он не сумеет, как следует, отнестись к превратностям судьбы.

– Тем не менее, – сказал капитан, – я бы желал открыться ему не сразу, а каким-нибудь окольным путем.

– Говорю вам, – ответил священник, – я так поведу дело, что все мы останемся довольны.

Между тем подали ужинать, и все сели за стол, исключая лишь пленника и дам, которые ужинали отдельно, в своей комнате. Среди ужина, священник сказал:

– С такой же фамилией, как и ваша, сеньор судья, был у меня товарищ в Константинополе, где я провел несколько лет в плену, и товарищ этот один из самых доблестных солдат и капитанов во всей испанской пехоте, но он был настолько же несчастлив, насколько отважен и храбр.

– А как звали этого капитана, сеньор мой? – спросил судья.

– Звали его, – ответил священник, – Руи Перес де Виедма, и родом он был из местечка в Леонских горах. Передавал он мне об одном обстоятельстве, случившемся у него с отцом и братьями, и если бы не сообщил мне о том человек столь правдивый, как он, я счел бы все это за одну из тех басен, которые старухи рассказывают зимой, сидя у огня. Он говорил мне, будто его отец разделил свое состояние между тремя своими сыновьями, причем дал им некоторые советы, более мудрые, чем изречения Катона. Могу вам сказать, что совет, которому последовал мой товарищ, когда он ушел на войну, оказался для него столь удачным, что он через несколько лет благодаря своей храбрости и отваге без всякой другой поддержки, кроме собственных заслуг, возвысился до чина пехотного капитана и видел уже впереди себя надежду и

прямую дорогу сделаться вскоре фельд-мейстером¹. Но судьба вооружилась против него, так как именно там, где он мог надеяться на счастье и найти его, оно ему изменило, и он все потерял, потеряв свободу в тот достопамятный день, когда многие приобрели ее, – в день сражения при Лепанто. Я был взят в плен в Голете и уже потом, после разных приключений, мы сделали товарищами в Константинополе. Оттуда он уехал в Алжир, где, как я знаю, с ним случилось одно из самых странных приключений, какие только бывали на свете.

Священник, продолжая таким образом, рассказал вкратце все то, что случилось с Сораидой и капитаном. Судья следил за его рассказом с таким напряженным вниманием, с каким никогда не следил за показаниями в суде. Священник довел свой рассказ только до того места, когда французы ограбили ехавших в лодке христиан, оставив его товарища и прекрасную мавританку в крайней нужде и бедности. Дальше же будто бы он ничего не слышал о них и не знает, добрались ли они до Испании, или же французы увезли их во Францию.

Все, что говорил священник, слушал и капитан, стоявший вблизи и наблюдавший за всеми движениями своего брата. А этот последний, видя, что священник дошел до конца своего рассказа, глубоко вздохнул и с глазами, полными слез, воскликнул:

– О, сеньор! Если б вы знали, какие вы мне сообщили вести и как они глубоко взволновали меня, так что я вынужден обнаружить это слезами, которые, несмотря на все мое уменье сдерживаться, против воли выступают на моих глазах. Этот столь доблестный капитан, о котором вы говорите, – мой старший брат, и

он, – более мужественный и одаренный более высокими стремлениями, чем я и младший наш брат, – избрал себе почетное и славное военное поприще, а это и была одна из трех дорог, указанных нам нашим отцом, как вам рассказал ваш товарищ, а вам это показалось басней. Я избрал себе научное поприще, и на нем Бог и труды мои довели меня до положения, в котором вы меня видите. Младший мой брат живет в Перу и так богат, что деньгами, которые он выслал мне и моему отцу, он не только вернул полученную им долю наследства, но дал нам еще столько, что отец мой мог удовлетворить присущую ему склонность к щедрости, а я мог окончить университетский курс в более приличной обстановке и с большими удобствами и мог дойти до положения, в котором вы меня видите. Отец мой еще жив, но умирает от желания узнать, что случилось с его старшим сыном, и просит Бога в непрерывных молитвах о том, чтобы смерть не закрыла ему глаза раньше, чем он увидит в живых сына. Удивляюсь, как мой брат, всегда такой благоразумный, не позаботился в затруднениях и огорчениях своих, или же в счастливых событиях, дать знать о них отцу. Если бы он, или кто-нибудь из нас, узнали о случившемся с ним, не было бы надобности ждать чуда с палкой, чтобы внести за него выкуп. Теперь меня мучит одна лишь мысль, – вернули ли французы ему свободу, или не убили ли его, чтобы скрыть свой грабеж? Вследствие этого я буду продолжать путешествие не с той радостью, с какой я его начал, а с горем и печалью. О, добрый мой брат, как бы я хотел знать, где ты теперь, чтобы отыскать тебя и спасти от страданий, хотя бы ценой собственных своих! О, если б кто-нибудь принес нашему старику отцу

¹ Maestro de campo – чин выше полкового командира, так как под командой его было tercio, т.е. два или три полка пехоты.

известие о том, что ты жив, хотя и находишься в самых глубоких подземных темницах Берберии, так как и оттуда могли бы тебя выручить богатства его, мои и брата моего! О, прекрасная и великодушная Сораида! Кто вознаградит тебя за то добро, которое ты оказала моему брату? Кто будет присутствовать при возрождении твоей души и при этой свадьбе, которая всем нам доставила бы такое удовольствие!

Такие и тому подобные речи говорил судья и был до такой степени взволнован известиями, полученными им о брате, что все слушавшие его старались выразить ему сочувствие к его горю. Священник, видя, как хорошо ему удался его план, и исполнилось то, чего желал капитан, решил не томить дольше присутствующих, и потому, встав из-за стола и войдя в комнату, где была Сораида, взял ее за руку, а за ней последовали Люсинда, Доротея и дочь судьи. Капитан все еще стоял, выжидая, что хочет сделать священник, а этот последний, взяв и его также другой рукой, с ними обоими подошел туда, где был судья и остальные кабальеросы, и сказал:

– Осушите ваши слезы, сеньор оидор, и да исполнится желание ваше во всем его объеме, так как перед вами дорогой ваш брат и милая ваша невестка; взгляните – это вот капитан Виедма, а это – прекрасная мавританка, оказавшая ему столько добра; французские корсары, о которых я говорил, довели их до такого стесненного положения, чтобы вы могли обнаружить великодушие вашего благородного сердца.

Капитан бросился целовать брата, но тот положил ему обе ладони на плечи, чтобы на некотором расстоянии лучше разглядеть его, и лишь только он его узнал, так крепко прижал его к груди, проливая такие нежные и радостные слезы,

что большинство присутствовавших не могли не прослезиться вместе с ним. Слова, которые говорили друг другу братья, чувства, которые они испытывали, – их едва можно вообразить себе, а тем более нельзя их описать. То они вкратце давали друг другу отчет о своих приключениях, то обменивались выражениями самой сердечной привязанности, то судья обвинял Сораиду, то предлагал ей все свое состояние, то заставлял дочь свою целоваться с ней; то прекрасная христианка, то прекраснейшая мавританка снова вызывали у всех слезы. Дон Кихот все время стоял, не говоря ни слова, и внимательно следил за этими столь удивительными событиями, приписывая их химерам странствующего рыцарства. Наконец, они условились, чтобы капитан с Сораидой и с братом вернулись в Севилью и известили отца о том, что его сын найден и на свободе, чтобы он мог присутствовать на свадьбе и на крещении Сораиды, потому что судья не имел возможности отложить свое путешествие, так как он получил известие, что флот отойдет из Севильи в Новую Испанию через месяц, а упустить этот случай было бы для него крайне неудобно.

Словом, все были веселы и довольны, радуясь счастью, выпавшему на долю пленнику, и так как почти две трети ночи прошли, то решили разойтись и отправиться спать до утра. Дон Кихот предложил стоять на страже у замка, чтобы какой-нибудь великан или другой разнужданный негодяй не вздумал бы напасть на них, прельстившись великим сокровищем красоты, которое вмещал в себе этот замок. Дон Кихота поблагодарили за сделанное им предложение все те, которые его знали, а судье сообщили о странных его причудах, что очень позабавило его. Один только Санчо был в отчаянии оттого, что так долго медлят идти

спать, и один он устроился лучше всех, растянувшись на сбруе своего осла, которая обошлась ему так дорого, как мы это увидим ниже. Дамы отправились к себе в комнату; остальные же устроились, как могли, а Дон Кихот вышел из постоялого двора, чтобы встать на стражу перед замком, как он обещал. Случилось, однако, что незадолго до появления зари до слуха дам донесся такой мелодичный и прекрасный голос, что заставил всех их внимательно прислушаться, особенно же Доротею, которая не могла заснуть, а рядом с ней спала Клара де Визьма, – так звали дочь судьи. Никто не мог пред-

ставить себе, кто так прекрасно поет, и был слышен один только голос, без аккомпанемента какого бы то ни было инструмента. То им казалось, что поют на дворе, то словно в конюшне, и пока сеньоры, недоумевая, внимательно слушали пение, Карденио подошел к дверям комнаты и сказал:

– Кто не спит, слушайте; и вы услышите голос погонщика мулов, который чарует своим пением.

– Мы слушаем его, сеньор, – ответила Доротея, и после этого Карденио ушел, а Доротея напрягла все свое внимание и разобрала, что пели следующее:





Глава XLIII

В которой рассказывается занимательная история молодого погонщика мулов и другие странные происшествия, случившиеся на постоялом дворе.

По любви волнам безбрежным,
Мореход любви, плыву я,
Но не светит мне надежда,
Что могу войти я в гавань.
Путь держу я за звездою,
Что мне издали сияет
Лучезарней и прекрасней,
Чем все звезды Паливуру¹.
Но ведет куда, не знаю,
Та звезда, – плыву в смятении –
Беззаботный, полн заботы,
Устремясь к ней всей душою.
Недоступность без предела,
Благонравье через меру, –
Облака те, что скрывают
Блеск звезды от алчных взоров.
О, звезда! Твоим сияньем
Лишь одним живу, дышу я.
И в тот миг, как ты погаснешь,
В тот же самый миг умру я!..

Когда тот, кто пел, дошел до этого места, Доротее пришло на мысль, что было бы жаль, если бы Клара не услышала прекрасного этого голоса. Итак, толкая ее тихонько, она разбудила ее, сказав:

– Прости меня, дитя, что я тебя разбудила, но сделала я это, чтобы ты наслаждалась лучшим голосом, который, быть может, ты когда-либо слышала в своей жизни.

Клара проснулась и спросонья не поняла сначала, что ей говорила Доротее, и переспросила ее, в чем дело. Та повторила свои слова, после чего Клара стала внимательно прислушиваться, но едва услышала она две строчки, спетые певцом, как ее охватила такая странная дрожь, словно с ней приключился сильнейший припадок перемежающейся лихорадки, и, крепко обняв Доротее, она сказала:

¹ Кормчий Энея в Энеиде Вергилия.

– Ах, сеньора моей души и моей жизни, зачем вы разбудили меня! Самое большое счастье, которое теперь судьба могла бы послать мне, было бы закрыть глаза и уши, чтоб я не видела и не слышала этого несчастного певца.

– Что ты говоришь, дитя? Подумай, – тот, кто поет, как мне говорили, – погонщик мулов.

– Нет, он не погонщик мулов, – ответила Клара, – а обладатель сел и местечек, и тем местом, которым он владеет в моем сердце, он владеет так прочно, что если сам не откажется от него, оно останется за ним навеки.

Доротея была изумлена страстной речью молодой девушки, так как ей казалось, что слова эти далеко опередили то, что можно было бы ожидать от ее столь юных лет, и потому она сказала:

– Вы так говорите, сеньора Клара, что я не могу вас понять. Выразитесь яснее и объясните мне, что вы хотели сказать вашими словами о сердце, селах и местечках, и о том певце, голос которого вас так смутил? Впрочем, не говорите мне ничего теперь, потому что я не хотела бы, занявшись вашими тревогами, лишиться удовольствия еще раз услышать того, кто так прекрасно поет. Мне кажется, он запел новую песню и на новый мотив.

– В добрый час, – ответила Клара и, чтобы не слышать пения, заткнула себе уши руками, что тоже очень удивило Доротею. Но обратив внимание свое на пение, она услышала следующее:

Надежда сладкая моя!

Когда, преграды все свергая пред собою,

Отвага юная твоя

Ведет тебя тобой начертанной тропею,

Не унывай, – хотя б кругом

Грозила смерть и над тобой
гремел бы гром!

Не тот, кто в неге утопал,
Иль кто главу клонил пугливо в
день ненастья,

Восторг победы узнавал, –
Не тот вкусил, не тот и мог
изведать счастье,

С судьбой бороться кто не смел,
Чей пленный дух в ленивой, сонной
дреме млея.

Любовь права, что покупать
Дары свои ценой высокой
заставляет:

Все то, на чем ее печать, –
Богатый клад, наш лучший клад
собой являет!

Ведь, издавна все знают, – то,
Что стоит дешево, и ценится в ничто.
Устойчивость в любви порой
Берет там верх, где всем казалось
невозможно,

И я в борьбе с моей судьбой
Чрез грозный ряд препятствий
твердо, непреложно,

И безбоязненно пройду, –
И небо на земле, надеюсь, обрету!

Тут голос умолк, и Клара принялась опять всхлипывать и вздыхать. Все это разжигало желание Доротеи узнать причину столь сладостного пения и столь горьких слез; итак, она снова спросила Клару, что хотела та рассказать ей перед тем. Из опасения, чтобы ее не услышала Люсинда, Клара крепко прижалась к Доротее и, приблизив губы свои к ее уху так, чтобы быть уверенной, что никто другой не услышит ее, она сказала:

– Тот, кто поет, сеньора моя, сын одного кабальеро родом из Арагонского

королевства, владетель двух поместий, а жил он напротив дома моего отца в столице, и хотя мой отец и занавешивал всегда зимою окна наши полотном, а летом закрывал створчатыми ставнями, но не знаю, как и когда, этот кабальеро, еще ходивший учиться, увидел меня. Было ли это в церкви или в другом месте, не могу сказать, но как бы то ни было, он влюбился в меня и дал мне это понять из окон своего дома таким обилием знаков и слез, что я должна была поверить ему и даже полюбить его, хотя и не знала, чего он хочет от меня. В числе знаков, которые он мне делал, он часто соединял одну руку с другой, давая мне этим понять, что желал бы жениться на мне. Хотя я и была бы очень рада, если б это случилось, но в виду того, что я была одна, без матери, я не знала, с кем мне посоветоваться; итак, я оставляла все, как оно было, не выказывая ему другого благорасположения, кроме того, что в отсутствие моего и его отца, я приподнимала немного занавес или открывала ставни, так что он мог видеть меня всю, а это приводило его в такой восторг, что, казалось, он чуть ли не сходит с ума. Между тем подошло время отъезда моего отца, о чем он узнал, но не от меня, так как я не имела возможности говорить с ним, и он, как я потом слышала, заболел с горя. Поэтому я не могла его видеть в день нашего отъезда, чтобы проститься с ним, хотя бы только взглядом. Но после двухдневного путешествия, при входе на постоялый двор в одном селе, отстоящем отсюда на день езды, я вдруг увидела его у ворот в одежде погонщика мулов, и он сумел так хорошо переодеться, что, если б я не носила в душе его образа, то не могла бы узнать его. Узнав его, я очень удивилась и обрадовалась, а он взглянул на меня тайком от моего отца, от которого всегда прячется, когда проходит мимо нас по дороге и на

постоялых дворах, где мы останавливаемся. Но так как я знаю, кто он такой, и вижу, что из любви ко мне он идет пешком и так утомляется, я умираю от огорчения, и куда он – туда и глаза мои. Не знаю, какие у него намерения, и как он убежал от своего отца, который необычайно любит его, потому что он единственный его наследник и потому, что он заслуживает этого, как вы сами, милость ваша, убедитесь, когда увидите его. Еще могу сказать вам, что все, что он поет, он берет из своей головы, потому что, я слышала, он очень ученый и, кроме того, поэт; и вот еще что: всякий раз, как я его вижу или когда слышу, как он поет, я вся дрожу и всегда ужасно боюсь, чтоб мой отец не узнал его, и наши чувства не стали бы ему известны. Во всю жизнь я не сказала ему ни слова, но, тем не менее, люблю его так, что не могу жить без него. Вот, сеньора моя, все, что я имела вам сообщить об этом певце, голос которого вас так очаровал. Уже по одному этому вы можете судить, что он не погонщик мулов, как вы сказали, а властитель душ и местечек, как говорила я.

– Успокойтесь, сеньора донья Клара, – сказала тогда Доротея, целуя ее тысячу раз. – Успокойтесь, говорю я, и ждите, когда настанет утро, и тогда я с помощью Божьей надеюсь так устроить ваши дела, что они будут доведены до счастливого конца, вполне заслуженного добрым их началом.

– Ах, сеньора! – сказала донья Клара. – На какой счастливый конец можно надеяться, если отец его до того знатен и богат, что не взял бы меня, пожалуй, и в служанки к своему сыну, а не то что в жены. Выйти же замуж тайком от моего отца, этого я не сделаю ни за что на свете и желала бы только одного, чтобы тот молодой человек вернулся к себе и оставил меня. Быть может, не видя его, и на

таком большом расстоянии, какое поставит между нами путешествие, которое мы предприняли, теперешнее горе мое облегчится, хотя я знаю, что это придуманное мною лекарство, о котором я говорю, не очень-то мне поможет. Не понимаю, что за дьявол это устроил, или каким путем вошла в меня эта моя любовь, раз я еще так молода и он такой юный, – потому что, в самом деле, я думаю, мы с ним одного возраста, а мне еще нет шестнадцати лет и отец говорит, что они исполнятся лишь в день Святого Михаила.

Доротея не могла удержаться от смеха, слушая, как совсем по-детски говорила донья Клара, и она сказала ей:

– Давайте уснем, сеньора, на короткое время, которое, как я думаю, еще осталось от ночи, а Бог пошлет нам утро, и тогда все обернется хорошо, или же руки мои окажутся плохи.

После этих слов обе заснули, и на постоялом дворе воцарилась глубокая тишина. Не спали только хозяйская дочь и Мариторнес, ее служанка, так как они знали о причудах, которыми грешил Дон Кихот, а также и о том, что он стоит на страже у ворот постоялого двора верхом на коне и во всем вооружении; и они сговорились сыграть с ним какую-нибудь шутку, или, по крайней мере, хоть несколько развлечься, слушая его нелепости.

Дело в том, что на постоялом дворе не было ни одного окна, которое выходило бы в поле, исключая отверстия в чердачном помещении для соломы, из которого ее выбрасывали. У этого-то отверстия встали две полудевы¹ и увидели, что Дон Кихот сидит верхом на лошади, опираясь на свое копьё и испуская вре-

мя от времени столь глубокие и тяжкие вздохи, что, казалось, с каждым из них у него разрывается сердце. Одновременно с этим они слышали, что он говорит нежным, мягким и страстным голосом:

– О, моя сеньора, Дульсинея Тобоская! Венец всякой красоты, цвет и блеск ума, вместилище изящества, сокровищница добродетели! – словом, олицетворение всего самого достойного, благородного и восхитительного, что лишь существует на свете! Чем занята теперь милость твоя? Не обращены ли, быть может, твои мысли на плененного тобою рыцаря, который, только чтобы служить тебе, подвергается по доброй своей воле столь великим опасностям? Дай мне весть о ней, о, ты, святящая с тремя лицами²! Быть может, ты с завистью смотришь на ее лицо в то время, как, прогуливаясь по какой-нибудь галерее своих роскошных дворцов или прислонившись грудью к одному из балконов, она обдумывает, каким образом ей, не роняя своей добродетели и своего величия, облегчить муку, которую из-за нее терпит мое неболевшее сердце, какою радостью уврачуеет она мои страдания, заменит спокойствием тревоги мои, словом, как вернет меня от смерти к жизни, и какую награду даст мне за верную службу ей! И ты, солнце, которое, должно быть, уже торопишься седлать своих коней, чтобы рано встать и пойти взглянуть на мою повелительницу, умоляю тебя, лишь только ты ее увидишь, передай ей мой привет. Но, увидав ее и передав мой привет, берегись поцеловать ее в лицо, иначе я приревную тебя к ней сильнее, чем ты ревновал ту быстроногую и неблагодарную³, что заставила тебя так много бегать и потеть в доли-

¹ *Semi doncellas*, – в том смысле, что из двух одна лишь девушка, так как Мариторнес ею не была.

² Луна.

³ Т. е. Дафну – по мифологии.

нах Фессалии или на берегах Пеней, уж не помню, где ты тогда бегал, сгорая от любви и ревности.

Дон Кихот дошел до этого места своего столь грустного разглагольствования, когда хозяйская дочь тихонько позвала его и шепнула:

– Сеньор мой, подойдите-ка сюда, если вашей милости будет угодно.

На этот голос и обращение Дон Кихот повернул голову и при свете луны, сиявшей в то время во всем своем блеске, увидел, что его зовут из отверстия чердачного помещения, но отверстие это показалось ему окном, да еще с золоченой решеткой, как этому и следовало быть в столь богатом замке, каким ему казался постоялый двор. В ту же минуту его безумному воображению представилось, что снова, как и в прошлый раз, красивая девушка, дочь владелицы замка, побежденная любовью, старается увлечь его, и с этой мыслью, – чтобы не показаться невежливым и неблагодарным, – он повернул Росинанта, подъехал ближе к чердачному отверстию и, лишь только увидел двух девушек, сказал:

– Жалею вас, прекрасная сеньора, что вы любовные свои помыслы обратили туда, где невозможно вам найти такой ответ, какой заслуживали бы великие ваши достоинства и ваше изящество. Но вы не должны винить в этом злополучного странствующего рыцаря, которого любовь лишила возможности отдать свое расположение другой, кроме той, которая с первого же мгновения, как только его глаза увидели ее, сделалась неограниченной владычицей его души. Простите же мне, благородная сеньора, удалитесь к себе в комнату и будьте так добры не обнаруживать мне дальше ваших желаний, чтобы не заставить меня казаться вам еще более неблагодарным. Если из-за любви, которую вы ко мне питаете, вы найдете

во мне что-либо другое, чем бы я мог вас удовлетворить, – только бы это не была ответная любовь, требуйте от меня всего, и я клянусь сладкой моей отсутствующей неприятельницей немедленно исполнить вашу просьбу, хотя бы вы просили у меня локон с головы Медузы, у которой вместо волос были змеи, или даже солнечные лучи, собранные в склянку.

– Моей сеньоре ничего этого не нужно, господин кабальеро, – сказала тогда Мариторнес.

– Что же нужно вашей сеньоре, рассудительная дуэнья? – спросил Дон Кихот.

– Только одну из ваших прекрасных рук, – ответила Мариторнес, – чтобы она хоть этим успокоила страстное желание, приведшее ее сюда, к окну, с такой опасностью для ее чести, так как, если бы отец ее узнал о том, он, по меньшей мере, отрезал бы ей ухо.

– Посмотрел бы я, – ответил Дон Кихот, – но пусть он поостережется это делать, если не желает, чтобы его постиг самый гибельный конец, когда-либо выпадавший в мире на долю отца за то, что он позволил себе наложить руку на нежные члены своей влюбленной дочери!

Мариторнес не сомневалась, что Дон Кихот даст руку, которую она у него просила, и, решив в своем уме, что она сделает с нею, спустилась с чердака и побежала в конюшню, где взяла недоуздок осла Санчо Пансы и поспешно вернулась на чердак, как раз в то время, когда Дон Кихот встал ногами на седло Росинанта, чтобы достать до решетчатого окна, где, как он воображал, находится раненая им в сердце девушка, и, протягивая ей руку, сказал:

– Берите, сеньора, эту руку, или, вернее говоря, этот бич всех злодеев в мире. Берите эту руку, говорю я, к которой не прикасалась еще никакая женская рука и

даже рука той, что владеет всем моим существом. Даю я вам мою руку не для того, чтобы вы ее целовали, а чтоб посмотрели на сплетение ее сухожилий, на твердость мускулов, на широту и развитие вен и из всего этого могли бы вывести заключение, какая сила должна быть в этой руке.

– Сейчас увидим это, – сказала Мариторнес и, сделав мертвую петлю на недоуздке, набросила ее ему на кисть руки и, отойдя от отверстия, привязала другой конец ремня, как можно крепче, к засову чердачной двери.

Дон Кихот, почувствовав жесткую веревку вокруг кисти своей руки, сказал:

– Ваша милость, вы, кажется, скорее скоблите, чем гладите мою руку. Не обращайтесь так дурно с нею; не она вина того зла, которое моя воля причиняет вам. Нехорошо также, что вы на столь маленькую частицу обрушиваете весь свой гнев. Подумайте и о том, что, кто истинно любит, не мстит так жестоко.

Но уже некому было слушать все эти укоры Дон Кихота, потому что, лишь только Мариторнес привязала его, она и другая девушка убежали, умирая со смеху, оставив его привязанным таким образом, что он никак не мог освободиться. Стоял он, как было сказано, на спине Росинанта, просунув всю руку в отверстие помещения для соломы, с кистью руки крепко привязанной к засову дверей, чувствуя величайший страх и тревогу при мысли, что если Росинант двинется в ту или другую сторону, ему придется повиснуть на руке, итак, Дон Кихот не смел шевельнуться, хотя терпеливый и спокойный нрав Росинанта давал право надеяться на то, что он простоит, не двигаясь, целое столетие. Когда же рыцарь увидел, что он привязан, и дамы уже ушли, он вообразил, что все это дело волшебства, как и в прошлый раз, когда в том же самом замке его избил

очарованный мавр – погонщик мулов; и он про себя проклинал свое неразумие и неосторожность, так как, зная, что ему пришлось плохо в этом замке в первый раз, он решился заехать сюда вторично, между тем как у странствующих рыцарей правило, – если они взялись за заключение, и оно им не удалось, считать это знаком того, что оно предназначено не для них, а для других рыцарей, и им нет надобности браться за него вторично. Тем не менее, Дон Кихот тянул свою руку, чтобы посмотреть, нельзя ли ее освободить, но она была так хорошо привязана, что все его попытки оказались тщетными. Правда и то, что он тянул осторожно из опасения, чтобы Росинант не двинулся, и хотя ему очень хотелось опуститься и сесть в седло, но волей-неволей он должен был продолжать стоять или оторвать себе руку. То он мечтал для себя о мече Амадиса, против которого были бессильны всякие очарования; то проклинал злую свою судьбу; то разрисовывал себе в ярких красках утрату, которую потерпит мир от отсутствия его за то время, пока он очарован, а что он им был, в этом он ни мало не сомневался. То он снова вспоминал о возлюбленной своей Дульсинее Тобосской, то он звал доброго своего оруженосца Санчо Пансу, который, погруженный в сон, растянувшись на вьючном седле своего осла, не помнил в ту минуту и о матери, которая его родила; то он призывал себе на помощь волшебников Лиргандео и Алкифа; то молил о поддержке добрую свою приятельницу Урганду, и, наконец, его застало утро в таком отчаянии и упадке духа, что он ревел, как бык, потеряв надежду избавиться даже и днем от своей муки, потому что считал ее вечной, а себя очарованным, в чем еще больше убеждало его то, что Росинант во все время даже не шевельнулся. Он был уверен, что ему и



Но едва он лишь немного подвинулся, как обе крепко сжатые ноги Дон Кихота раздвинулись и соскользнули с седла...

его лошади придется, не пивши, не евши и не спавши, простоять таким образом до тех пор, пока не минует это дурное влияние созвездий, или же, пока другой, более мудрый волшебник, не снимет с них очарования.

Но он весьма ошибся в своем предположении, потому что, едва стало рассветать, как к постоялому двору подъехало четверо всадников, хорошо снаряженных и вооруженных, с винтовками на седельной луке. Они стали сильно стучать в запертые ворота постоялого двора, и Дон Кихот, увидав это со своей вышки, где он не переставал считать себя стоящим на страже, крикнул громким, надменным голосом:

– Рыцари и оруженосцы, или кто бы вы ни были! Вы не имеете права стучать в ворота этого замка, так как достаточно ясно, что в такие часы те, которые находятся в замке, или спят, или же не имеют обыкновения открывать ворота крепости прежде, чем солнце не обольет своими лучами всю землю. Отъезжайте дальше и подождите, когда окончательно рассветет, и тогда увидим, надо ли или нет открыть вам ворота.

– Какой, к черту, это замок, или какая это крепость, – сказал один из всадников, – чтобы мы должны были соблюдать такие церемонии? Если вы хозяин постоялого двора, то велите открыть нам. Мы проезжие и желаем только одного – покормить наших лошадей и ехать дальше, так как мы торопимся.

– Неужели вы, рыцари, полагаете, что я похож на хозяина постоялого двора? – спросил Дон Кихот.

– Не знаю, на кого вы похожи, но знаю, что вы говорите вздор, называя этот постоялый двор замком.

– Это замок, – сказал Дон Кихот, – и один из лучших во всей провинции и

в этом замке находятся люди, которые держали скипетр в руках и имели корону на голове.

– Лучше было бы наоборот, – сказал путешественник: – скипетром по голове и корона на руке¹. Должно быть – если на то пошло дело – здесь остановилась какая-нибудь труппа актеров, а у них часто бывают эти короны и скипетры, о которых вы говорите, потому что на таком маленьком постоялом дворе, где к тому же царит еще полная тишина, как здесь, я не поверю, чтобы останавливались люди, достойные короны и скипетра.

– Вы мало знаете свет, – возразил Дон Кихот, – так как вам ничего неизвестно о приключениях, обыкновенно случающихся со странствующими рыцарями.

Спутникам того, который задавал вопросы Дон Кихоту, прискучил их разговор; поэтому они снова стали стучать с величайшей яростью, так что все бывшие на постоялом дворе проснулись, а также и хозяин, который встал, чтобы пойти узнать, кто там стучит.

Между тем случилось, что одно из верховых животных, на которых приехали четверо стучавшиеся в ворота, подошло обнюхать Росинанта, который с грустно-задумчивым видом и с опущенными ушами держал, не шелохнувшись, на своей спине вытянувшегося во весь рост господина своего. Но так как Росинант, хотя и казался из дерева, а все же был из плоти и костей, у него не хватило сил оставаться непреклонным, и, в свою очередь, он стал обнюхивать того, кто подошел к нему с этой лаской. Но едва он лишь немного подвинулся, как обе крепко сжатые ноги Дон Кихота раздвинулись и соскользнули с седла, и он упал бы на землю, если б не повис на руке. А это причинило ему такую боль, что он подумал: или ему режут кисть,

¹ Он намекает на преступников, которым выжигали в виде клейма корону на руке.

или же отрывают всю руку до плеча, потому что, хотя он и повис так близко от земли, что чуть-ли не касался ее кончиками ног, но это обстоятельство служило лишь к ухудшению его положения, так как, чувствуя, как мало ему остается, чтобы встать всей ступней на землю, он напрягался и вытягивался изо всех сил, чтобы достать

до земли, подобно тем, которые подвергаются пытке *гarrucha*¹: поставленные так, будто касаются земли, они не касаясь ее в действительности, сами увеличивают свои страдания, так как напрягают все силы вытянуться, обманутые лъстящей им надеждой, что еще немного, и они достигнут до земли.



¹ Garrucha – одна из судебных пыток в Испании, состоявшая в том, что обвиняемый подвешивался на ремнях на одной руке, иногда на одной ноге, очень близко к земле, и оставался в таком положении столько времени, сколько назначал суд, пока от него не добивались признания.



Глава XLIV

В которой продолжаютя неслыханные приключения на постоялом дворе.

Действительно Дон Кихот поднял такой крик, что хозяин, поспешно открыв ворота постоялого двора, в испуге выбежал посмотреть, кто это так громко кричит, и бывшие за воротами сделали то же самое. Мариторнес, тоже проснувшаяся от этих криков, догадалась в чем дело, бросилась на чердак, где хранилась солома и так, что никто этого не заметил, отвязала недоуздок, державший Дон Кихота, который тотчас же и свалился на землю на глазах хозяина и приезжих. Все подбежали к нему спросить, что такое с ним, отчего он так громко кричал. А Дон Кихот, не говоря ни слова, снял веревку с кисти руки и, встав на ноги, взобрался на Росинанта, прикрываясь щитом, взял на перевес копье и, отъехав на довольно далекое расстояние, вернулся коротким галопом, говоря:

– Всякого, кто бы ни сказал, что я по справедливости был очарован, – лишь бы сеньора принцесса Микомикона дала мне на то разрешение, – я назову лжецом, потребую к ответу и вызову на поединок!

Вновь прибывшие путешественники были изумлены словами Дон Кихота, но хозяин вывел их из этого изумления, объяснив им, кто такой Дон Кихот, и что незачем обращать на него внимание, так как он не в своем уме. Приезжие спросили хозяина, не заходил ли случайно сюда юноша лет пятнадцати, одетый погонщиком мулов, с такими и такими-то приметами, и описали все приметы влюбленного в донью Клару. В ответ хозяин сказал, что на постоялом дворе у него теперь очень много народу, поэтому он не помнит, видел он или нет того, о ком они спрашивают, – а один из верховых, увидав карету, в которой приехал судья, сказал:

– Он непременно должен быть здесь, потому что вот карета, за которой, как нам сообщали, он идет вслед. Один из нас пусть останется здесь у ворот, а остальные войдут на постоялый двор и поищут его. И даже было бы хорошо, если б один из нас обошел кругом весь постоялый двор, чтоб он не мог уйти со двора через забор.

– Давайте так и сделаем, – сказал один из приезжих. И двое вошли во двор, один остался у дверей, а четвертый стал ходить вокруг постоялого двора. Все это видел хозяин, но не мог понять, что означают эти предпринятые ими меры, хотя он и подумал, не ищут ли того юношу, приметы которого они ему сообщили.

Между тем уже совсем рассвело, и поэтому, а также из-за шума, произведенного Дон Кихотом, все проснулись и стали подыматься, особенно же донья Клара и Доротеа, так как одна от волнения, что ее возлюбленный так близко, а другая из желания посмотреть на него, – очень плохо спали эту ночь. Дон Кихот, видя, что никто из четырех приезжих не обращает на него внимания и не отвечает на сделанный им вызов, изнемогал и неистовствовал от досады и бешенства, и если б он мог найти в уставе своего рыцарства, что странствующему рыцарю дозволяется начать и предпринять другое приключение, когда он дал слово и обещание не предпринимать ничего, пока не доведет до конца раньше обещанного, – он напал бы на всех четырех и, против их воли, заставил бы их дать ему ответ. Но так как он считал несоответствующим и неприличным для себя начинать новое предприятие, прежде чем он не вернет Микомиконе ее королевства, ему не оставалось ничего другого, как только молчать и спокойно ждать, чем кончатся поиски тех приезжих. Один из них нашел юношу, которого искал, крепко спавшего

рядом с погонщиком мулов и ни мало не воображавшего, что его могут искать, и тем менее еще – найти. Человек тот схватил его за руку, говоря:

– Несомненно, сеньор дон Люис, одежда, которая на вас, подходит как нельзя больше к вашему званию, и постель, на которой я вас вижу, – к той заботливости, с какою мать ваша воспитала вас.

Юноша, протирая себе заспанные глаза, пристально взглянул на того, кто держал его, и скоро признал в нем слугу своего отца, и это так сильно его испугало, что он долгое время не мог, или не хотел выговорить ни слова, а слуга продолжал:

– Теперь вам остается одно лишь, сеньор дон Люис, взять в руки терпенье и вместе с нами отправиться домой, если только ваша милость не желает, чтобы ваш отец и мой господин отправился на тот свет, так как ничего другого нельзя ждать от того горя, которое причинило ему ваше отсутствие.

– Но как же отец мой узнал, – спросил дон Люис, – что я ушел по этой дороге и в этой одежде?

– Студент, которому вы рассказали о своих намерениях, – ответил слуга, – сообщил о них вашему отцу. Сделал он это из чувства сострадания к горю нашего господина, когда вас не могли нигде найти. Итак, отец ваш послал за вами четверо верховых, и вот мы все здесь, к вашим услугам, более довольные, чем можно вообразить себе, успешным выполнением поручения, так как мы, вернувшись домой, приведем вас на глаза тому, кто так сильно вас любит.

– Случится лишь то, что я пожелаю, или что будет угодно небу, – ответил дон Люис.

– Что можете вы пожелать, или что может быть угодно небу, исключая того,

что вы согласитесь вернуться домой, – так как ничто другое немислимо.

Погонщик мулов, рядом с которым лежал дон Люис, слышал весь этот разговор и, встав, пошел сообщить обо всем, что случилось, дону Фернандо, Карденио и остальным, а они уже были одеты. Он сообщил им также, что тот человек называет юношу *доном*, и передал весь разговор, происшедший между ними, и то, что слуга настаивает, чтобы он вернулся домой к отцу, а юноша отказывается. Все это, вместе с тем, что им уже было известно о нем, именно: прекрасный голос, которым небо одарило его, – вызвали в них сильное желание подробнее узнать, кто он такой, а также оказать ему поддержку, если б против него захотели употребить силу. Поэтому они отправились туда, где молодой человек еще разговаривал и спорил со своим слугою. Между тем вышла из комнаты Доротеа, а за ней сильно смущенная донья Клара. Отозвав в сторону Карденио, Доротеа в кратких словах рассказала ему историю певца и доньи Клары, а он сообщил ей о том, что случилось: о приезде слуг, посланных отцом юноши, разыскивать его. Сказал он это не так тихо, чтоб донья Клара не могла услышать его слов, и они так взволновали ее, что, если б Доротеа не успела поддержать ее, она упала бы прямо на пол. Карденио просил Доротею вернуться с Кларой к себе в комнату, а он постарается все уладить; они так и сделали. Все четверо слуг, посланных отыскивать Дона Люиса, вошли уже теперь на постоялый двор и, окружив юношу, настаивали, чтобы он тотчас же, не медля ни минуты, вернулся домой утешить своего отца. Но он ответил, что никоим образом не может вернуться, пока не покончит с одним делом, от которого зависит его честь, жизнь и душа. Слуги стали теснить его, говоря, что ни за что не вернутся домой без него

и отвезут его туда по доброй его воле или силой.

– Этого вы не сделаете, – возразил дон Люис, – если не хотите увезти меня мертвым, хотя, как бы вы ни увезли меня, все равно вы лишите меня жизни.

В это время подошли уже на ссору большинство находившихся на постоялом дворе, в особенности же Карденио, дон Фернандо, его товарищи, судья, священник, цирюльник и Дон Кихот, которому казалось, что нет больше нужды стеречь замок. Карденио, знавший уже историю юноши, спросил тех, которые желали увезти его, что побуждает их увозить с собой этого молодого человека против его желания.

– Нас побуждает к тому, – ответил один из четырех, – желание вернуть жизнь его отцу, которому, – вследствие отсутствия этого кабальеро, – грозит опасность потерять ее.

На это дон Люис сказал:

– Считаю излишним, чтобы здесь распространялись о моих делах; я свободен и вернусь, если пожелаю, а если нет, – никто из вас не может принудить меня к тому силой.

– Вашу милость принудит к тому благоразумие, – сказал слуга, – если же у вашей милости его недостаточно, у нас хватит его настолько, чтобы исполнить то, для чего мы сюда приехали, и что велит нам наш долг.

– Давайте, исследуем это дело основательно, – сказал судья.

Но слуга, знавший его, потому что он был их соседом по дому, ответил:

– Разве, милость ваша, сеньор оидор, вы не узнаете этого кабальеро, сына вашего соседа, бежавшего из дома своего отца в одежде, столь неприличествующей его званию, как вы это сами можете видеть?

Судья взглянул тогда на юношу внимательнее и, узнав, обнял его и сказал:

– Что это за ребяческие выходки, дон Люис? Или же какие столь важные причины могли заставить вас путешествовать таким образом и в платье, столь мало подходящем к вашему общественному положению?

Слезы выступили на глазах у юноши, и он не мог ответить ни слова. Судья велел четырем слугам подождать, сказав им, что все устроится хорошо, и, взяв за руку дона Люиса, отошел с ним в сторону и спросил его, почему он предпринял путешествие сюда.

В то время, как судья предлагал ему этот и другие вопросы, у ворот постоялого двора раздались громкие крики, а причина их была та, что двое приезжих, которые провели ночь на постоялом дворе, видя, что все заняты желанием узнать, что такое ищут четверо слуг, возымели намерение уйти, не заплатив за ночлег. Однако, хозяин, следивший с гораздо большим вниманием за своими делами, чем за чужими, задержал их, когда они выходили из ворот, потребовал с них платы за постой и поносил их нечестное намерение такими словами, что побудил их ответить ему кулаками; и они принялись за это дело так усердно, что бедный хозяин был вынужден закричать и просить о помощи. Хозяйка и ее дочь не видели никого незнающего, кто мог бы им помочь, кроме Дон Кихота, и потому хозяйская дочь сказала ему:

– Помогите, ваша милость, сеньор рыцарь, доблестью, дарованной вам Богом, моему бедному отцу, которого двое злых людей молотят, как сноп хлеба.

На это Дон Кихот очень хладнокровно и с большим спокойствием ответил:

– Прекрасная девушка, ваша просьба не может быть в настоящее время принята во внимание, потому что мне воспрещено пускаться в новые приключения, пока я не доведу до конца одно,

исполнить которое я обязался данным мною словом. Но, чтобы услужить вам, я смогу сделать то, что сейчас скажу: бегите и передайте вашему отцу, чтобы он выдерживал это сражение насколько возможно и ни в каком случае не давал бы себя победить, пока я не испрошу разрешения у принцессы Микомикона помочь ему в его затруднительном положении, и, если она даст мне это разрешение, будьте уверены, что я выведу его из беды.

– Ах, грешная я! – воскликнула Мариторнес, стоявшая тут же, – прежде, чем ваша милость получит разрешение, о котором вы говорите, господин мой окажется уже на том свете!

– Дозвольте мне только, сеньора, получить разрешение, о котором я говорю, – ответил Дон Кихот, – а когда я его получу, не столь важно, если ваш господин и окажется на том свете, потому что я и оттуда достану его, наперекор всему миру, если б он воспротивился тому, или же, по меньшей мере, я так отомщу за вас тем, которые отправили его туда, что вы останетесь вполне довольны.

Не сказав больше ни слова, он подошел к Доротее, опустился перед нею на колени и попросил ее в выражениях рыцарских и отважных, не угодно ли будет ее величию дать ему разрешение оказать помощь и поддержку начальнику этой крепости, попавшему в великую беду. Принцесса охотно дала ему просимое разрешение, и он тотчас же, продев щит на руку, взялся за меч и поспешил к воротам, где двое постояльцев все еще наносили побои хозяину. Но лишь только Дон Кихот дошел туда, он вдруг остановился и стоял в недоумении, хотя Мариторнес и хозяйка спрашивали, отчего он медлит, и пусть же скорей окажет помощь их господину и мужу.

– Я медлю оттого, – сказал Дон Кихот, – что мне не дозволено обнажать меч

против оруженосного люда; но позовите сюда моего оруженосца. Санчо, – ему подобает и приличествует эта защита и мщение.

Это происходило у ворот постоялого двора, где пинки и кулачные удары так и сыпались, и все в ущерб хозяину и к величайшему гневу Мариторнес, хозяйки и ее дочери, приходивших в отчаяние при виде трусости Дон Кихота и печального положения, в котором оказался их муж, господин и отец.

Но оставим их там, потому что найдется, кто ему поможет, а нет, пусть молчит и терпит тот, кто отваживается на большее, чем позволяют ему его силы, и отойдем на пятьдесят шагов назад послушать, что ответил дон Люис судьбе, когда тот отвел его в сторону, спрашивая о причине его путешествия пешком и в столь жалкой одежде. На это юноша схватил его руки и крепко сжал, словно в знак того, что сильное горе давит ему сердце, и, проливая обильные слезы проговорил:

– Сеньор мой, я могу сказать вам только одно: с той минуты, когда по воле неба и благодаря нашему соседству я увидел сеньору донью Клару, вашу дочь и мою повелительницу, с той же минуты она сделалась неограниченной властительницей над моей волей, и если ваша воля, истинный отец и сеньор мой, не воспротивится тому, сегодня же она сделается моей супругой. Для нее покинул я дом отца моего, для нее надел я это платье, чтобы следовать за нею всюду, как стрела направляется к своей цели, или как мореход стремится за путеводной звездой. Она не знает о моих желаниях более того, что могли поведать ей иногда издали глаза мои, полные слез. Вам, сеньор, известно о богатстве и знатности моих родителей и то, что я единственный их наследник. Если вы

думаете, что это достаточные преимущества, чтобы вы могли решиться вполне осчастливить меня, то примите меня тотчас-же своим сыном, потому что, хотя бы даже мой отец, побуждаемый иными намерениями, отнесся бы неблагосклонно к тому счастью, которое я сумел себе отыскать, всемогущее время обладает большею властью переделывать и изменять события, чем человеческая воля.

Сказав это, влюбленный юноша умолк, а судья, слушавший его, был поражен, смущен и удивлен, как остроумным способом, каким дон Люис открыл ему свои чувства, так и тем положением, в котором он сам очутился, не зная, как ему поступить в столь неожиданных для него обстоятельствах. Поэтому он ничего другого не ответил, как только просил его пока успокоиться и убедить своих слуг не увозить его сегодня, чтобы иметь время хорошенько обсудить, что в интересах всех было бы лучше всего сделать. Дон Люис поцеловал ему руки насильно и даже оросил их слезами, что могло бы смягчить и мраморное сердце, а не только сердце судьи, который, как умный человек, сразу понял, на сколько этот брак был бы хорош для его дочери, хотя он и желал бы, если б оказалось возможным, осуществить его с согласия отца дон-Алюиса, а этот последний, как он знал, имел в виду доставить сыну высокое общественное положение.

Между тем двое проезжих уже помирились с хозяином, так как они, скорее благодаря увещаниям и добрым словам Дон Кихота, чем вследствие угроз, заплатили хозяину все, что он требовал от них. Слуги дон-Алюиса ждали, чем кончится разговор его с судьей, и к какому решению придет молодой их господин, как вдруг дьявол, который никогда не спит, повел дело таким образом, что в это са-

мое время на постоялый двор зашел цирюльник, у которого Дон Кихот отнял шлем Мамбрина, а Санчо Панса сбрую его осла, обменяв ее на сбрую своего Серого. В то время, как цирюльник отводил осла своего в конюшню, он здесь увидел Санчо Пансу, чинившего вьючное седло. Лишь только он увидел это седло, тотчас же он узнал его и отважно бросился на Санчо, говоря:

– А! Дон вор, попались вы мне в руки. Давайте-ка сюда мой таз и мое вьючное седло со всей сбруей, которую вы у меня украли!

Санчо, видя, что на него так неожиданно напали, и услышав обращенные к нему бранные слова, одной рукой схватился за седло, а другой нанес цирюльнику такой удар, что кровь потекла у него изо рта. Но, несмотря на это, цирюльник все же не выпустил из рук свою добычу и, крепко держа седло, закричал таким громким голосом, что все бывшие на постоялом дворе прибежали на этот шум и ссору.

– Сюда, во имя короля и правосудия! – кричал цирюльник. – Я желаю вернуть себе свою собственность, а этот вор, этот грабитель на больших дорогах хочет убить меня!

– Ты лжешь, – ответил Санчо, – я не грабитель на больших дорогах, потому что мой господин, Дон Кихот, взял добычу эту в честном бою.

Дон Кихот, присутствовавший тут же, был очень доволен, видя, как хорошо защищается и нападает его оруженосец, и с этого времени впредь он стал считать его человеком храбрым и решил в сердце своем, при первом же представившемся случае, посвятить его в рыцари, так как ему казалось, что он не осрамит рыцарское звание. В числе остальных доводов в свою защиту цирюльник во время ссоры, между прочим, сказал:

– Сеньоры, это вьючное седло так же несомненно мое, как и смерть, должником которой я состою перед Богом, и я знаю этот вьюк так хорошо, как если бы я сам его родил, и вот и осел мой в конюшне, который не даст мне солгать. А не верите, прикиньте к нему седло, и если оно не придется как вылитое, пусть я буду подлецом на всю жизнь. И еще вот что: в тот же самый день, когда у меня отняли вьюк, у меня отняли также и новый медный таз, ни разу не бывший в употреблении и стоивший добрых пол червонца.

Тут Дон Кихот не мог дольше сдержаться, чтобы не ответить, и, встав между двумя спорившими и разделив их, положил седло на землю, чтобы все могли видеть его, пока не выяснится истина и сказал:

– Все вы, милости ваши, видите несомненное и очевидное заблуждение, в которое впал этот добрый оруженосец, так как он называет тазом то, что было, есть и будет шлемом Мамбрино, который я у него отнял в честном бою и сделался его обладателем законным и дозволенным путем. Что же касается вьючного седла, я в это не вмешиваюсь; и относительно его могу сказать только то, что мой оруженосец Санчо просил у меня позволения снять сбрую с коня побежденного этого труса и украсить им своего коня. Я дал ему просимое разрешение, и он взял сбрую. Что же касается того, что сбруя превратилась во вьючное седло, не могу указать другой причины, кроме столь обычной, а именно: такого рода превращения часто случаются в делах рыцарства. А для подтверждения сказанного, беги, Санчо сын, и принеси сюда шлем, который добрый этот человек считает тазом.

– Ей Богу, сеньор, – сказал Санчо – если у нас нет другого доказательства

нашего мнения чем то, на которое указывает ваша милость, то шлем Малино¹ такой же таз, как и сбруя этого доброго человека вьючное седло.

– Делай то, что я тебе приказываю, – ответил Дон Кихот; – ведь, не все же вещи в этом замке находятся во власти волшебства.

Санчо пошел за тазом, принес его, и, как только Дон Кихот его увидел, он взял таз в руки и сказал:

– Посмотрите, ваши милости, с какими глазами мог этот оруженосец уверять, будто это вот таз для бритья, а

не шлем, как я говорил? Клянусь рыцарским орденом, к которому принадлежу: это тот самый шлем, который я у него отнял, и я ничего к нему не прибавлял, и не убавлял.

– В этом не может быть сомнения, – сказал Санчо, – так как с тех пор, что мой господин завоевал этот шлем, он надевал его в одном лишь сражении, когда освободил несчастных колодников, и не будь тогда у него этого таза-шлема, ему пришлось бы плохо, потому что в той схватке не было недостатка в бросании камнями.



¹ Санчо говорит Малино, вместо Мамбрино.



Глава XLV

В которой окончательно разъясняются сомнения по поводу шлема Мамбрино и вьючного седла, а также рассказывается и о других истинных происшествиях.

Что скажете вы теперь, милости ваши, сеньоры, – воскликнул цирюльник, – на то, что эти высокородные господа утверждают и даже настаивают, будто бы это не таз для бритья, а шлем?

– Тому, кто станет утверждать противное, – сказал Дон Кихот, – я докажу, что он лжет, если он рыцарь; а если он оруженосец, – что он тысячу раз лжет!

Наш цирюльник, который тоже присутствовал при всем этом, хорошо зная причуды Дон Кихота, захотел поощрить его сумасбродство и провести дальше шутку, чтобы заставить всех смеяться, и потому, обращаясь к чужому цирюльнику, он сказал:

– Сеньор цирюльник, или кто бы вы ни были, – знайте, что и я тоже принадлежу к вашей профессии, более

двадцати лет имею свидетельство о сдаче экзамена, и отлично знаком со всеми до одного инструментами цирюльничьего ремесла; сверх того, я был в моей молодости одно время солдатом и знаю также, что такое шлем, что такое шишак, и шлем с забралом, и другие вещи, относящиеся к военному делу, именно, к разного рода солдатскому оружию, и скажу с вашего позволения – всегда готовый подчиниться более вескому мнению, – что вот эта вещь, находящаяся тут перед нами и которую добрый тот сеньор держит в руках, – не только не цирюльничий таз, но так же далеко от того, чтобы им быть, как черное далеко от белого и правда от лжи. Вместе с тем я скажу, что, хотя это и шлем, но не полный шлем.

– Действительно, это не полный шлем, – объявил Дон Кихот, – потому что тут недостает половины его, именно – всего забрала.

– Совершенно верно, – сказал священник, который уже понял намерение своего приятеля цирюльника; то же самое подтвердил Карденио, дон Фернандо и его товарищи; и даже судья, – если б дело с доном Люисом не погрузило его в такое раздумье, с своей стороны поддержал бы эту шутку; но серьезные мысли, занимавшие его, до того им овладели, что он очень мало или вовсе не обратил внимания на все затеи.

– Помогите мне, Господи! – воскликнул тогда одаураченный цирюльник. – Возможно ли, чтоб столько почтенных людей утверждали, что это не таз, а шлем? Это такого рода вещь, которая могла бы привести в изумление целый университет, как бы он ни был умен. Ну, хорошо, если вот этот таз – шлем, и вьючное седло тоже должно быть конской сбруей, как сказал этот сеньор.

– Мне оно кажется вьючным седлом, – сказал Дон Кихот, – но я уже говорил, что в это я не вмешиваюсь.

– Вьючное ли это седло или конская сбруя, – заявил священник, – этот вопрос мы предоставляем решить Дон Кихоту, так как в рыцарских делах, эти сеньоры и я, мы должны уступить ему пальму первенства.

– Клянусь Богом, сеньоры мои, – сказал Дон Кихот, – столько и такие странные вещи приключились со мной в этом замке оба раза, когда я здесь останавливался, что я не отваживаюсь с уверенностью отвечать на какой бы то ни был вопрос относительно того, что в нем находится, так как я думаю, что все происходящее здесь совершается путем волшебства. В первый раз, очарованный мавр, пребывающий здесь, очень досаждал мне, и Санчо также досталось нема-

ло от некоторых из его свиты, а сегодня ночью я почти два часа провисел на этой руке, не понимая, как и каким образом я попал в такую беду. И поэтому вмешиваться в столь затруднительное дело и высказать о нем свое мнение значило бы подвергнуться опасности произнести опрометчивое суждение. Относительно того, что здесь говорилось, будто вот это таз, а не шлем, я уже ответил; что же касается решения вопроса, вьючное ли это седло или конская сбруя, я не осмеливаюсь высказать окончательного мнения, но предоставляю это благоусмотрению милостей ваших. Быть может, оттого, что вы не посвящены в рыцари, как я посвящен, волшебства этого замка не коснутся вас и вы, сохранив свободное разумение, будете в состоянии судить о происходящих здесь вещах, каковы они на самом деле и в действительности, а не так, как они мне представляются.

– Нет сомнения, – ответил на это дон Фернандо, – сеньор Дон Кихот сейчас очень хорошо сказал, что решение этого вопроса принадлежит нам; и чтобы все было более обосновано, я отберу тайно голоса этих сеньоров, а о том, что выйдет из этого, дам полный и ясный отчет.

Для всех, знакомых с причудами Дон Кихота, все происходившее казалось в высшей степени смешным; те же, которым ничего не было известно, сочли это за величайшую нелепость в мире, особенно же четверо слуг дона Люиса, не менее их и сам дон Люис, а также еще и трое приезжих, случайно зашедших на постоялый двор и с виду походивших на квадрильеро¹, какими они на самом деле и были. Но тот, кто больше всех пришел в отчаяние, был цирюльник, таз для

¹ Квадрильеросы – должностные лица Св. Эрмандады, узнавались по тому, что были вооружены самострелами; они были уполномочены совершать быстрый суд над разбойниками и грабителями на больших дорогах, пойманных на месте преступления.

бритья которого тут же на глазах у него превратился в шлем Мамбрино, и который не сомневался, что и вьючному седлу его предстоит превратиться в богатую конскую сбрую. И те и другие смеялись, видя, как дон Фернандо обходит всех и отбирает голоса, говоря им на ухо, чтобы они тихонько сказали ему мнение свое, вьючное ли седло или конская сбруя та драгоценность, о которой было столько препирательств; затем, собрав голоса у всех, знавших Дон Кихота, он громко заявил:

– Дело в том, добрый человек, что я уже устал собирать столько мнений, так как вижу, у кого бы я не спросил о том, о чем желаю узнать, все отвечают мне, что нелепо говорить, будто это вьючное седло осла, а не конская сбруя, да еще с породистого коня. Итак, вам придется вооружиться терпением, потому что наперекор вам и вашему ослу, это конская сбруя, а не вьючное седло, и вы очень дурно повели свое дело и потеряли его.

– Пусть я потеряю и царствие небесное, – сказал бедный цирюльник, – если вы все, милости ваши, не ошибаетесь; так же верно, как душа моя предстанет перед судом Божиим, верно и то, что это вьючное седло, а не конская сбруя; но законы клонят туда, и так далее¹, – больше ничего не скажу; и право же я не пьян, так как сегодня воздержался – если не от греха, – то от того, чтобы взять что-либо в рот.

Глупые речи цирюльника вызвали не меньше смеха, чем нелепости Дон Кихота, который теперь заявил:

– Здесь нечего больше делать, пусть каждый возьмет то, что ему принадлежит, и что кому Бог послал, Святой Петр благословит.

Один из четырех слуг сказал:

– Если это не преднамеренная шутка, никак не могу понять, чтобы люди, столь рассудительные или кажущиеся ими, как все здесь присутствующие, осмелились бы говорить и утверждать, что это вот не таз, а то вот не вьючное седло. Но так как я вижу, что они это и утверждают и говорят, мне ясно: тут какая-то тайна в этом упорном настаивании на утверждении, столь противоречащем тому, чему нас учит сама действительность и опыт; и поэтому клянусь тем то (и он отпустил очень крепкое словечко), что никто из всех живущих на свете не мог бы убедить меня, будто это не цирюльничий таз, а то не вьючное седло осла.

– Оно могло бы оказаться седлом ослицы, – сказал священник.

– Пусть себе, – ответил слуга, – не в этом дело, а в том, – вьючное ли это седло или нет, как вы, ваши милости, утверждаете.

Услышав это, один из только что прибывших куадрильеро, который присутствовал при этом споре и переговорах, воскликнул, исполненный гнева и досады:

– Так же верно, что это вьючное седло, как и мой отец – мне отец, и тот, кто сказал или скажет что-либо иное, должно быть пьян.

– Ты лжешь, как последний негодяй, – крикнул Дон Кихот и, подняв копьё, которое он никогда не выпускал из рук, нанес им по голове куадрильеро такой удар, что, если б тот не увернулся, он уложил бы его на месте. Копьё разлетелось вдребезги, ударившись о землю; остальные же куадрильеросы, видя, как плохо обходятся с их товарищем, стали громко звать на помощь Святую Эрмандаду. Хозяин, принадлежавший тоже к

¹ *Allá van leyes do quieren Reyes*, – законы клонят туда, куда желают короли – очень старинная испанская пословица, сложившаяся, судя по преданию, во времена короля Алфонса VI (1085–1109).

этому Братству, немедленно побежал за своим жезлом и мечом и встал рядом со своими товарищами. Слуги дона Люиса окружили молодого своего сеньора, чтобы он не убежал, воспользовавшись наставшей суматохой. Цирюльник, видя, что весь дом в таком переполохе, снова схватился за свой вьюк, тоже сделал и Санчо. Дон Кихот обнажил меч и бросился на куадрильеро; дон Люис приказал своим слугам оставить его и поспешить на помощь к Дон Кихоту, Карденио и дону Фернандо, которые все приняли сторону Дон Кихота. Священник кричал, хозяйка вопила, дочь ее вздыхала, Мариторнес плакала, Доротеа смутилась, Люсинда испугалась, а донья Клара упала в обморок. Цирюльник бил Санчо, Санчо тузил цирюльника; дон Люис, которого один из его слуг осмелился схватить за руку, чтобы он не убежал, нанес слуге такой удар кулаком, что рот у того наполнился кровью; судья взял его под свою защиту. Один из куадрильеро очутился под ногами у дона Фернандо, который, не стесняясь, измерял ими все его тело в свое удовольствие; хозяин стал снова громко звать на помощь Святую Эрмандаду, так что весь постоялый двор превратился в плач, крик, вопль, тревогу, испуг, ужас, бедствие, тумак, пинки, удары палками и ногами и кровопролитие. Среди этого хаоса, шума и сумятицы, Дон Кихоту пришла вдруг в голову мысль, что он окунулся в распри и раздор в лагере Аграманта¹, и поэтому он голосом, прогремевшим по всему постоялому двору, крикнул:

– Остановитесь все! Положите оружие, успокойтесь и выслушайте меня, если только дорожите жизнью!

Услышав этот громкий возглас, все утихло и Дон Кихот продолжал:

– Не говорил ли я вам, сеньоры, что замок этот очарован, и что должно быть легион демонов обитает в нем? В подтверждение сказанного я бы желал, чтобы вы собственными глазами своими убедились, что сюда перенесена и поселилась среди нас распря, бывшая в лагере Аграманта. Смотрите, как там сражаются из-за меча, здесь из-за коня, тут из-за орла, дальше из-за шлема, и все мы сражаемся и все не понимаем друг друга. Поэтому идите сюда, ваша милость, сеньор судья, и вы, милость ваша, сеньор священник, пусть один из вас изобразит собой короля Аграманта, а другой – короля Собрино, и восстановите среди нас мир; так как, клянусь именем всемогущего Бога, великое преступление, чтобы столько знатных людей, сколько нас здесь, убивали друг друга из-за таких ничего не стоящих причин.

Куадрильеросы, которые не понимали фразеологии Дон Кихота и видели, что с ними так сурово обошлись дону Фернандо, Карденио и их товарищи, не захотели успокоиться; цирюльник же был на все готов, так как во время схватки ему вырвали бороду и порвали его вьючное седло: Санчо, как верный слуга, при первом же слове своего господина тотчас же повиновался ему; четверо слуг дона Люиса тоже оставались спокойны, убедившись, как им мало пользы от обратного, и лишь один хозяин упорно настаивал, что следует наказать дерзость этого сумасшедшего, который на каждом шагу вносит переполох в его постоялый двор. Наконец, шум улегся и вьючное седло так и осталось, в воображении Дон Кихота до дня Страшного Суда – конской сбруей, таз – шлемом и постоялый двор – замком.

Теперь, когда был восстановлен мир, и все снова стали друзьями, благодаря увещаниям судьбы и священника, слуги

¹ Распря в лагере короля Аграманта, предводителя языческой армии при осаде Парижа, описана в XXVII песне «Неистового Роланда» Ариосто.

дона Люиса принялись опять настаивать, чтобы он немедленно ехал с ними домой, а пока он вел с ними переговоры, судья посоветовался с доном Фернандо, Карденио и священником, как ему лучше поступить в данном случае, и сообщил им все, что дон Люис сказал ему. Наконец, было решено, что дон Фернандо откроет слугам дона Люиса, кто он, и сообщит о своем желании, чтобы дон Люис ехал вместе с ним в Андалузию, где юноша будет принят его братом маркизом с тем вниманием и уважением, которые он заслуживает, так как всем известно о решении Дона Люиса не возвращаться теперь на глаза к своему отцу, хотя бы его и разорвали на куски. Узнав об общественном положении дона Фернандо и о решении дона Люиса, слуги так условились между собой: трое из них вернутся домой рассказать обо всем, что произошло отцу, четвертый же останется служить дону Люису и будет находится при нем, пока они все не вернутся за ним или не узнают, как им прикажет поступить его отец.

Таким образом, благодаря авторитету Аграманта и мудрости короля Собрино¹, улеглась эта вереница ссор; но заклятый враг согласия и противник мира², увидав, как он посрамлен и осмеян, и как мало он извлек выгоды из всего этого лабиринта смут, в который он завлек их, решил еще раз приложить свою руку и вызвать новые ссоры и распри. Дело в том, что куадрильеросы, узнав о звании людей, с которыми у них вышло столкновение, успокоились и устранились от ссоры, так как хорошо понимали, что, каков бы ни был исход битвы, все равно в проигрыше остались бы они. Но один из куадрильеро, тот самый, которого топтал и бил дон Фернандо, вспомнил, что в числе приказов об

аресте некоторых преступников, которые он имел при себе, был также и приказ о Дон Кихоте, которого Святая Эрмандада велела арестовать за то, что он освободил галерных невольников, как Санчо столь основательно и опасался того. Вспомнив о приказе, куадрильеро захотел убедить, подходят ли приметы к Дон Кихоту, и, вынув из-за пазухи пергаментный сверток, нашел в нем то, что искал, и, принявшись медленно читать его, – так как он не был искусным грамотеем, – при каждом слове, которое читал, смотрел на Дон Кихота и, сравнивая приметы приказа с наружностью рыцаря, убедился, что несомненно бумага относится именно к Дон Кихоту. Лишь только он убедился в этом, как, свернув пергамент, взял в левую руку приказ, а правой схватил за шиворот Дон Кихота с такой силой, что тот едва мог дышать, причем куадрильеро громко закричал:

– На помощь, во имя Святой Эрмандады! И чтобы вы видели, что я не шучу, прочтите приказ, которым повелевается арестовать этого разбойника на больших дорогах.

Священник взял приказ и убедился, что куадрильеро говорит правду, и что приметы подходят к Дон Кихоту, который, видя, как плохо обходится с ним этот низкий негодяй, вспыхнул страшным гневом и изо всех сил обеими руками схватил куадрильеро за горло так, что если бы товарищи того не поспели к нему на помощь, он расстался бы с жизнью прежде, чем Дон Кихот выпустил из рук свою добычу. Хозяин, который был обязан действовать своим товарищам по должности, тотчас же бросился к ним на помощь. Хозяйка, увидав, что ее муж опять ввязался в ссору, принялась снова кричать и ей

¹ Благодаря значению короля Аграманта и советам короля Собрино был, наконец, восстановлен мир в лагере осаждающих (Неистовый Роланд, песнь XXVII)

² т. е. дьявол.

вторили дочь ее и Мариторнес, прося помощи у неба и у всех, кто там был. Санчо, глядя на то, что происходит, сказал:

– Клянусь Богом! Правда то, что господин мой говорит о волшебстве в этом замке, так как нельзя прожить в нем и часу спокойно.

Дон Фернандо разнял куадрильеро и Дон Кихота и к обоюдному их удовольствию разжал им руки, которыми один крепко ухватился за ворот камзола, а другой – за горло своего противника. Но, тем не менее, куадрильеросы не переставали требовать своей добычи и содействия присутствующих, чтобы те связали его и передали бы в их руки, как к тому обязывает служба королю и Святой Эрмандаде, именем которой они снова просят о поддержке и помощи для ареста этого грабителя и разбойника по проселочным и большим дорогам. Дон Кихот рассмеялся, услышав эти слова, и с величайшим спокойствием сказал:

– Идите-ка сюда, грязный и подлый люд! Разбоем на больших дорогах называете вы дать свободу закованным в кандалы, выпустить на волю заключенных, помочь несчастным, поднять павших, поддержать нуждающихся? Ах, гнусные люди, заслуживающие своим низменным, жалким пониманием, чтобы небо скрыло от вас доблесть, заключающуюся в странствующем рыцарстве, и не дало уразуметь грех и невежество, в которых вы коснеете, не благоговей перед тенью, а тем более перед действительным присутствием странствующего рыцаря! Идите-ка сюда, вы, братья по воровству, а не члены братства, грабители на больших дорогах с разрешения Святой Эрмандады: скажите мне, кто тот неуч, подписавший приказ об аресте такого рыцаря, как я? Кто он, не знавший, что странствующие рыцари не подлежат никаким судебным учреждениям, что их

закон – меч, их привилегии – доблесть, их уставы – собственная их воля? Кто тот тупоумный, спрашиваю я опять, не ведавший, что нет той дворянской грамоты, которая давала бы такие права и льготы, какие приобретает странствующий рыцарь в тот день, когда его посвящают и он вступает в трудное отправление рыцарских обязанностей? Какой странствующий рыцарь платил подать, налоги, сбор на булавки королевы¹, дань королю, таможенные пошлины и речной сбор? Какой портной предъявлял ему счет за шитье платья? Какой кастелян, приняв в свой замок, заставил его платить за постой? Какой король не приглашал его за свой стол? Какая девушка не влюблялась в него и не отдавалась ему на полную волю и власть? И, наконец, какой был, есть и будет странствующий рыцарь на свете, у которого не хватит отваги и пылу дать четыреста палочных ударов четыремстам куадрильеро, если они встанут на его дороге?



¹ Сбор по случаю бракосочетания короля.



Глава XLVI

О замечательном приключении с куадрильеросами и о великой ярости нашего доброго рыцаря Дон Кихота.

Нока Дон Кихот это говорил, священник старался убедить куадрильеросов, что рыцарь не в своем уме, как они сами видят из его слов и поступков, и не за чем продолжать дело, потому что, если, они и арестуют его и уведут с собой, им тотчас же пришлось бы его выпустить, как сумасшедшего. Куадрильеро, имевший приказ об аресте, возразил, что судить о безумии Дон Кихота не его дело, а он обязан исполнять приказание своего начальника, и после того, как он арестует Дон Кихота, пусть себе выпускают его хоть триста раз.

— Тем не менее, — настаивал священник, — на этот раз, вы не должны его брать, и он и не даст себя взять, насколько я его знаю.

Словом, священник сумел столько наговорить им, а Дон Кихот сумел натворить столько безумств, что куадрильеросы были бы более безумны, чем он, если бы не поняли, чего недостает Дон Кихоту; итак, они сочли за лучшее оставить его в покое и даже согласились быть посредниками в примирении цирюльника и Санчо Пансы, которые все еще с большим ожесточением продолжали свою ссору. В качестве служителей правосудия, куадрильеросы уладили дело третьейским судом, и обе стороны, если и не вполне, по крайней мере кой в чем, были удовлетворены, так как они обменялись вьючными седлами, но не подпругами и недоуздами. Что же касается шлема Мамбрино, священник втихомолку, — так, чтобы Дон Кихот не знал, — заплатил цирюльнику за его таз восемь *реалов*, и тот дал ему рас-

писку в получении этих денег с обязательством ничего больше не вымогать за таз отныне и во веки, аминь.

После того как эти две ссоры – самые крупные и значительные – были улажены, оставалось только добиться согласия слуг дона Люиса на то, что бы трое из них вернулись домой, а один сопровождал дона Люиса туда, куда дон Фернандо пожелает увезти его. А так как, в угоду влюбленным и храбрым, бывшим на постоялом дворе, благоприятствующие им звезды и смягчившаяся судьба уже начали ломать копыя и устранять все затруднения, – судьба пожелала завершить дело и увенчать его счастливым концом, потому что слуги дона Люиса согласились исполнить его желание, а это так обрадовало донью Клару, что всякий, кто взглянул бы тогда ей в лицо, увидел бы, как душа ее ликует. Что касается Сорайды, хотя она и не вполне понимала происшествия, при которых она присутствовала, но радовалась и огорчалась смотря по тому, что она подмечала и уловляла на лицах остальных, особенно же на лице своего испанца, с которого она не сводила глаз и к которому стремилась вся ее душа. Хозяин постоялого двора, от внимания которого не ускользнули вознаграждение за убыток и подарок, которые цирюльник получил от священника, предъявил ему счет Дон Кихота, требуя также и уплату за прорванные бурдюки и пролитое вино, причем клялся, что не выпустит из постоялого двора ни Росинанта, ни осла Санчо до тех пор, пока не получит по счету до последнего гроша.

Умиротворил всех священник, а заплатил за все дон Фернандо, хотя и судья с полнейшей готовностью предлагал это сделать. И таким образом все остались довольны и успокоились, и постоялый

двор не напоминал уже собой раздора в лагере Аграманта, как сказал Дон Кихот, а настоящую тишину и мир времен Октавиана¹. Все это по общему мнению было достигнуто, благодаря добрым намерениям и выдающемуся красноречию священника и необычайной щедрости дона Фернандо.

Когда Дон Кихот увидел, что он свободен и избавлен от стольких ссор, как собственных, так и своего оруженосца, он подумал, что теперь хорошо было бы продолжать начатое путешествие и довести до конца великое приключение, совершить которое он был призван и избран. Итак, он с быстрой решимостью опустил на колени перед Доротеей, которая, однако, не позволила ему сказать ни слова, пока он не поднимется; повинаясь ей, он встал и сказал:

– Прекрасная сеньора, общеизвестная пословица говорит, что скорость и рвение – источник удачи, и во многих очень важных обстоятельствах опыт показал, что рвение уполномоченного доводит даже сомнительное дело до благополучного конца. Нигде, однако, истина эта не подтверждается столь блистательно, как в военном деле, где быстрота и натиск предупреждают замыслы неприятеля и одерживают победу прежде, чем противник успеет принять меры для своей защиты. Все это я говорю потому, высочайшая и драгоценная сеньора, что, как мне кажется, дальнейшее пребывание наше в этом замке бесполезно и даже может нам принести такой ущерб, что впоследствии он будет очень чувствителен для нас. Кто знает, может быть до сведения вашего врага великана через тайных и ловких шпионов дошло уже известие о том, что я еду истребить его, и промедление наше даст ему удобный случай укре-

¹ Рах Octaviana, или счастливую эпоху императора Августа, который в свое царствование имел возможность трижды записать храм Януса.

питься в каком-нибудь неприступном замке или крепости, против которых все мои старания и сила неутомимой руки моей могут оказаться бесполезными. Поэтому, сеньора, предупредим нашей быстротой, как я уже говорил, замыслы врага и отправимся немедленно в путь на добрую удачу, достижение которой в той полной мере, какую желает ваше величество, зависит от встречи моей, – которую не следует откладывать, – лицом к лицу с вашим противником.

Дон Кихот умолк, не сказал больше ничего, и стал спокойно ждать ответа прекрасной инфанты, а она, с величественным видом и подражая слогу Дон Кихота, сказала следующее:

– Благодарю вас, сеньор кабальеро, за выказанное вами доброе желание помочь мне в моем великом горе, что вполне приличествует рыцарю, призвание и обязанность которого оказывать поддержку сиротам и обездоленным; и дай-то небо, чтобы ваше и мое желание исполнилось для того, чтобы вы видели, что есть на свете признательные женщины! Что же касается нашего отъезда, пусть он состоится тотчас же, так как у меня нет другой воли, кроме вашей. Располагайте мною, как вам будет угодно, и как вы найдете нужным; потому что та, которая вручила вам защиту своей особы и поручила вашим рукам восстановление ее в ее владениях, не может желать идти против того, что повелевает вам ваша мудрость.

– Именем Бога клянусь, – сказал Дон Кихот, – если таким образом передо мной смиряется сеньора, я не хочу терять случая возвысить ее и возвести на наследственный ее престол. Пусть же отъезд наш совершится немедленно, так как меня прищипоривает желание и намерение скорей отправиться в путь, потому что принято говорить: в промедлении –

опасность. И раз небо не создавало, и ад не видел никого, кто мог бы испугать меня или заставить струсить, – седлай, Санчо, Росинанта, взнуздай своего осла, иноходца королевы, простимся с владельцем замка, с этими сеньорами и тотчас же едем отсюда.

Санчо, бывший тут же, сказал, качая головой.

– Ах, сеньор, сеньор, насколько еще хуже в деревеньке, чем о том звонят, – будь сказано с позволения почтенных чепцов!

– Что может быть худого в какой бы то ни было деревне, или же в городах все-го света, о чем могли бы звонить на посрамление мне, негодяй ты этакий?

– Если ваша милость сердится, – ответил Санчо, – я замолчу и не скажу того, что как хороший оруженосец обязан и как добрый слуга я должен сказать своему господину.

– Говори, что хочешь, – ответил Дон Кихот, – если твои слова не клонят к тому, чтобы внушить мне страх, так как, если ты боишься, ты поступаешь сообразно с тем, что ты такое, и если я не боюсь, я поступаю сообразно с тем, что я такое.

– Вовсе не то, грешник я перед Богом! – ответил Санчо, – а мне известно и я наверное знаю, что эта сеньора, которая называет себя королевой великого королевства Микомикон, королева не больше, чем моя мать, так как, если бы она была тем, за что выдает себя, не стала бы она, куда не поверни голову и в каждом углу, стучаться носом с неким из здешнего общества.

Доротея покраснела при этих словах Санчо, так как, действительно, ее супруг, дон Фернандо, тайком от других время от времени собирал с ее уст часть награды, заслуженной его любовью (это то и видел Санчо, которому подобная развяз-

ность казалась скорей приличествующей даме легкого поведения, чем королеве великого королевства), и она не могла и не хотела ничего ответить Санчо, но предоставила ему продолжать свою речь, что он и сделал следующим образом:

– Говорю это, сеньор, потому, что если в конце концов после того как мы пропутешествуем по большим дорогам и всяким тропинкам, проводя плохо ночи и еще хуже дни, тот, который уже здесь на постоялом дворе приятно развлекается, явится и соберет плоды наших трудов, незачем мне торопиться седлать Росинанта, выючить осла и взнуздывать иноходца, а было бы лучше нам оставаться спокойно, и пусть каждая блудница прядет свою пряжу, и мы будем обедать.

О, великий Боже! Каким ужасным гневом разгорелся Дон Кихот, когда услышал грубые слова своего оруженосца! Гнев его был так велик, что он прерывающимся голосом и заплетающимся языком, бросая пламя из глаз, воскликнул:

– О! Низкий негодяй, неосмотрительный, неучтивый, пошлый, злоязычный, наглый невежда, хулиТЕЛЬ и клеветник! Такие слова дерзнул ты сказать в моем присутствии и в присутствии знатных этих сеньор и такие гнусности и дерзости осмелился представить себе в своем грязном воображении? С глаз моих долой, чудище природы, склад лжи, скопище обманов, сточная труба мошенничества, изобретатель мерзостей, распространитель нелепостей, враг должного уважения к особам королевского дома, – с глаз моих долой и не показывайся мне никогда под страхом моего гнева.

И говоря это, он высоко поднял брови, надул щеки, сверкнул во все стороны глазами и изо всех сил топнул по земле правой ногой – все признаки кипевшего

внутри него гнева. Эти бешеные слова и движения Дон Кихота так смутили и напугали Санчо, что он был бы рад, если бы в ту минуту земля разверзлась под ним и поглотила бы его; и не зная, что ему делать, он повернул спину и удалился с глаз разгневанного своего господина. Но умная Доротея, так хорошо понимавшая причуды Дон Кихота, желая смягчить его гнев, обратилась к нему со следующими словами:

– Не волнуйтесь, сеньор рыцарь Печального Образа, из-за вздора, сказанного вашим добрым оруженосцем, потому что, быть может, он говорил его не без причины. Приняв во внимание его здравый смысл и христианскую совесть, нельзя допустить, чтобы он мог лжесвидетельствовать против кого бы то ни было. Итак, надо думать, нимало в том не сомневаясь, что раз в этом замке, – судя по тому, что вы, сеньор рыцарь, говорили, – все происходит и совершается путем волшебства, возможно, говорю я, что и Санчо, обманутый этим дьявольским наваждением, действительно видел то, что, по его словам, он видел, и что так оскорбительно для моей чести!

– Клянусь всемогущим Богом, – ответил на это Дон Кихот, – ваше величество попало как раз в точку. Несомненно, какое-нибудь злое видение представало перед глазами этого грешника Санчо и было причиной, что он видел то, что невозможно было видеть иначе, как только путем волшебства; потому что мне самому хорошо известна доброта и простосердечие этого несчастного, который неспособен оклеветать кого бы то ни было.

– Оно так и есть и так и будет, – сказал дон Фернандо, – поэтому, милость ваша, сеньор Дон Кихот, вы должны простить Санчо и вернуть его снова в лоно вашей благосклонности, *sicut erat un*

*principio*¹, прежде чем эти видения отняли у него здравый рассудок.

Дон Кихот ответил, что он прощает его, и священник пошел за Санчо, который явился очень смиренный и, встав на колени перед своим господином, попросил дать ему руку, что тот и сделал, позволив ему поцеловать ее, после чего рыцарь дал Санчо свое благословение, говоря:

– Теперь, Санчо, сын, ты окончательно убедился, насколько правда то, о чем я уже часто тебе говорил, именно, в этом замке все совершается путем волшебства.

– И я этому верю, – сказал Санчо, – исключая подбрасывания на одеяле, которое действительно произошло обычным путем.

– Не верь этому, – ответил Дон Кихот, – потому что, если б это было так, я отомстил бы за тебя тогда и даже и теперь; но ни тогда, ни теперь, я не мог этого сделать и не видел, кому отомстить за нанесенную тебе обиду.

Все пожелали знать, что это за история с подбрасыванием на одеяле, и хозяин постоялого двора рассказал им в точности все, касавшееся воздушных полетов Санчо Пансы, над чем они много смеялись, а Санчо сильно бы смутился, если бы его господин не стал снова уверять, что все было лишь волшебство, хотя простота Санчо никогда не доходила до того, чтобы он не считал несомненной и доказанной истиной, без всякой примеси обмана, что его подбрасывали на одеяле люди из плоти и костей, а не призраки, которые ему пригрезились или вообразились, как это думал и утверждал его господин.

Прошло уже два дня с тех пор, как все это знатное общество собралось на постоялом дворе, и так как им казалось, что уже пора уезжать, они стали придумывать способ, как бы освободить дон

Фернандо и Доротею от труда сопровождать Дон Кихота до его деревни, ради выдумки возвращения королеве Миконкона ее престола, и дать возможность священнику и цирюльнику увезти его, как они желали, чтобы постараться излечить его от безумия. И вот что они придумали: они вошли в соглашение с крестьянином, случайно проезжавшим мимо постоялого двора с возом, запряженным волами, повезти Дон Кихота таким образом: из деревянных прутьев они сделали нечто в роде клетки, достаточно просторной, чтобы Дон Кихот мог удобно поместиться в ней, и затем дон Фернандо, его товарищи, слуги дон Люиса и кюадрильеросы вместе с хозяином, – все под руководством и по распоряжению священника, – закрыли себе лицо масками, нарядились кто так, кто иначе, чтобы они могли показаться Дон Кихоту совсем другими людьми, чем те, которых он видел раньше в замке. Сделав это в полнейшей тишине, они вошли туда, где Дон Кихот лежал и спал, отдыхая от перенесенных им волнений. Подойдя к нему, спокойно спавшему и нисколько не ожидавшему подобного рода нападения, они крепко связали ему руки и ноги, так что, когда он в смятении проснулся, он не мог ни шевельнуться, ни сделать что-либо другое, как только удивляться и изумляться, видя перед собою столько странных лиц. Тотчас же у него родилась мысль, которую вечно деятельное и расстроенное его воображение постоянно подсказывало ему: – он подумал, что все эти фигуры – призраки очарованного замка, и, без сомнения, сам он также очарован, так как не может ни двинуться, ни защищаться, – словом все случилось так, как и предполагал священник, придумавший эту проделку. Из всех присут-

¹ Как это было раньше.

ствовавших один Санчо был в своем уме и в своем виде, и, хотя очень немногого недоставало, чтобы и он разделил недуг своего господина, — тем не менее, он не преминул узнать, кто все эти ряженные, но не смел раскрыть рта, пока не увидит, чем кончится плен и нападение на его господина, который тоже не говорил ни слова, ожидая развязки случившейся с ним беды.

А развязка была та, что в комнату внесли клетку, посадили Дон Кихота в нее и так крепко заколотили решетку гвоздями, что нельзя было ее оторвать, даже в два приема. Тотчас же подняли клетку на плечи, и когда они выходили из комнаты, послышался страшный голос, насколько сумел изобразить его таким цирюльник — не с выючным седлом, а тот, другой, — который сказал:

— *О, рыцарь Печального Образа, не огорчайся заточением, в котором находишься, — так должно было случиться, чтобы скорей завершилось приключение, на которое тебя подвигнула великая твоя отвага. Завершится же оно тогда, когда яростный лев Ламанчи и белая голубка Тобосы будут соединены воедино, после того, как они смиренно склонят гордые свои выи под сладкое ярмо брака, и из этого неслыханного союза произойдут на свет Божий мужественные львята, которые будут подражать мощным когтям доблестного своего отца, и это случится раньше, чем преследователь убегающей нимфы, в своем быстром и естественном течении, дважды посетит сияющие светила¹. И ты, о, благороднейший и самый покорный из оруженосцев, когда-либо имевших на перевязи меч, на подбородке бороду и обоняние в носу, — не тревожься и не смущайся, видя, как на глазах у тебя уносятся цвет странствую-*

щего рыцарства, потому что скоро, если только ваятелю вселенной будет угодно, ты себя увидишь так высоко вознесенным и возвеличенным, что сам себя не узнаешь, а также будут приведены в исполнение обещания, данные тебе твоим добрым господином. И я заверяю тебя от имени, мудрой Ментиронианы², что и жалованье ты свое получишь, как это и увидишь на деле. Шествуй по следам доблестного, но очарованного рыцаря, потому что необходимо тебе идти туда, где вам обоим надлежит быть. А так как мне больше ничего не дозволено сказать, — оставайся с Богом, я же вернусь туда, куда знаю.

Оканчивая пророчество, голос зазвучал так высоко и потом спустился таким нежным переливом, что даже соучастники шутки чуть было не поверили, что то, что они слышат, правда. Дон Кихот был утешен сделанным ему пророчеством, так как он тотчас же проник в смысл его и понял, что ему обещано соединиться законным и святым браком с его возлюбленной Дульсинеей Тобосской, из счастливой утробы которой выйдут львята, сыновья его, для вековечной славы Ламанчи. Искренно и твердо поверив этому, он возвысил голос и, испустив глубокий вздох, сказал:

— О, ты, кто бы ты ни был, предсказавший мне столь великое счастье, умоляю тебя, попроси от моего имени мудрого чародея, который заботится о моих делах, чтобы он не дал мне погибнуть в той тюрьме, в которой меня теперь увозят, прежде чем исполнятся столь радостные и несравненные обещания, как те, которые я здесь слышал. Лишь бы только они исполнились, — я сочту за блаженство страдания моей тюрьмы, за отраду цепи, надетые на меня, и эти доски, на которые меня кладут, покажутся мне не жестким

¹ Т. е. созвездия, а преследующий бегущую нимфу — бог Аполлон или бог солнца.

² От глагола *mentir* — «лгать».



... О, рыцарь Печального Образа,
не огорчайся заточением, в котором находишься...

полем сражения, а мягкой постелью и счастливым брачным ложем. Что же касается утешения моего оруженосца Санчо Пансы, я верю в его честность и доброе ко мне отношение, — он меня не покинет ни в счастье, ни в несчастье, потому что, если б даже моя или его злая судьба помешала мне дать ему в дар остров или что-либо другое равной же ценности, по крайней мере его жалование не уйдет от него, так как в моем завещании, уже

написанном мной, я точно определяю, сколько ему следует уплатить, не соответственно его многочисленным и добрым услугам, а по моим средствам.

Санчо Панса с большой почтительностью поклонился рыцарю и поцеловал обе его руки, — одну он не мог поцеловать, так как они были связаны вместе. Тотчас же призраки подняли клетку на плечи и устави́ли ее на повозку, запряженную волами.





Глава XLVII

*О странном способе, которым Дон Кихот был очарован
и о других замечательных событиях.*

Когда Дон Кихот увидел, что он посажен в клетку, а клетка поставлена на повозку, он сказал:

— Многие и очень значительные истории прочел я о странствующих рыцарях, но никогда не читал, не видел и не слышал, чтобы очарованных рыцарей возили таким образом и с такой медлительностью, как этого можно ждать от ленивых и тяжелых на подъем волов. Очарованных рыцарей всегда мчали по воздуху с неимоверной быстротой, окутанных темными облаками, или же на огненной колеснице, или на каком-нибудь гипогрифе и другом подобном звере — а что теперь меня везут на повозке, запряженной волами, это, как жив Бог, приводит меня в смущение!

Но, быть может, рыцарство и волшебства наших дней идут другим путем, чем в былые времена, а также, может быть, подобно тому, как я на свете новый рыцарь и первый, воскресивший уже забытую профессию странствующего рыцарства, тоже недавно изобрели новый род волшебства и другие способы возить очарованных. Что ты об этом думаешь, Санчо, сын?

— Не знаю, что мне думать об этом, — ответил Санчо, — потому что я не так начитан, как ваша милость в странствующих писаниях, но тем не менее, я готов утверждать и клясться, что все эти призраки, которые вертятся вокруг нас, не очень то добрые католики.

— Католики? — Отец мой! — ответил Дон Кихот. — Как могут они быть католи-

ками, если все они демоны, принявшие фантастические облики, чтоб сделать мне зло и привести меня в такое положение? Если же ты желаешь убедиться, что это правда, дотронься до них и пощупай их, и ты увидишь, что у них нет тела, а только воздух, нет в них вещества, а только призрачность.

– По чести, сеньор, – ответил Санчо, – я уже дотрагивался до них, и вот тот дьявол, который так хлопочет около нас: у него твердое, крепкое тело и есть еще другое свойство, совсем не похожее на то, которым, как я слышал, отличаются демоны; потому что говорят, будто от всех от них несет серой и другими скверными запахами, а этот, на расстоянии полмили, благоухает амброй.

Санчо говорил это о доне Фернандо, от которого, как от очень знатного сеньора, действительно должно было пахнуть, как говорил Санчо.

– Не удивляйся этому, Санчо друг, – ответил Дон Кихот, – так как я должен сказать тебе, что дьяволы многое знают, и хотя бы они и распространяли кругом себя запах, от них ничем не пахнет, потому что они – духи, а если от них и пахнет, то не может пахнуть чем-либо хорошим, а только дурным и зловонным. Причина та, что, где бы они ни были, они с собою несут ад и не могут найти никакого облегчения своим мукам, а так как благоуханье – вещь, доставляющая удовольствие и наслаждение, то и невозможно, чтобы от них благоухало. Если же тебе показалось, что от того демона, о котором ты говорил, несет амброй, – или ты ошибаешься, или же он желает обмануть тебя, чтобы ты его не принимал за демона.

Весь этот разговор слуга и господин вели между собой; и дон Фернандо и Карденио, опасаясь, чтобы Санчо окончательно не раскрыл их выдумки, – к чему он уже был очень близок, – реши-

ли поспешить с отъездом. Итак, отозвав в сторону хозяина постоянного двора, они велели ему оседлать Росинанта и осла Санчо, что хозяин очень быстро и исполнил. А между тем, священник уже договорился с куадрильеро, чтобы те сопровождали их до села за известную почтенную плату. Карденио повесил к седлу Росинанта с одной стороны лук и щит, с другой таз, и приказал знаком Санчо сесть на осла и взять за повод Росинанта; по обоим же сторонам повозки он поставил двух куадрильеросов с винтовками. Но прежде чем процессия двинулась, вышла хозяйка постоянного двора, ее дочь и Мариторнес, чтобы проститься с Дон Кихотом, притворяясь, что они плачут с горя над его несчастьем, – а Дон Кихот сказал им:

– Не плачьте, добрые мои сеньоры: такого рода несчастьям подвержены все рыцари, следующие призыванию, которому следую я, и если б эти бедствия не случились со мной, я не считал бы себя знаменитым странствующим рыцарем, потому что с рыцарями малого имени и славы никогда не приключаются подобные случаи, так как никто в мире не помнит о них. С доблестными же рыцарями это бывает потому, что заслугам и мужеству их завидуют многие князья и иные рыцари, которые стараются злыми путями погубить добрых. Но, тем не менее, добродетель так могущественна, что она сама по себе, несмотря на все чернокнижие, которое знал первый изобретатель его, Зороастр, выйдет победительницей из всех затруднений и прольет свой свет над миром, как проливает его солнце на небе. Простите мне, прекрасные сеньоры, если я по оплошности своей причинил вам какое-либо неудовольствие, так как, намеренно и умышленно, я никому никогда не причинял его; просите Бога, чтобы он избавил меня от этих оков, на



Когда Дон Кихот увидел, что он посажен в клетку,
а клетка поставлена на повозку...

которые осудил меня какой-нибудь злонамеренный чародей, и если я освобожусь от них, из моей памяти не изгладятся милости, которые вы мне в этом замке оказывали, и я сумею отблагодарить, служить вам и вознаградить за них, как они того стоят.

Пока этот разговор происходил между дамами замка и Дон Кихотом, священник и цирюльник прощались с доном Фернандо и его товарищами, с капитаном и его братом и со всеми столь довольными сеньорами, в особенности с Доротеей и Люсиндой. Все обнимались друг с другом, и обещали извещать о том, что с ними случится, а дон Фернандо дал священнику адрес, куда ему писать, чтобы узнать обо всем касающемся Дон Кихота, уверяя его, что нет вещи, которая доставила бы ему большее удовольствие, чем эти сведения; со своей стороны, он напишет священнику обо всем, что может ему доставить удовольствие, – как о своей свадьбе, так и о крестинах Сораиды, о судьбе дона Люиса и о возвращении Люсинды к ее родителям. Священник обещал точно исполнить то, о чем он его просил. Еще раз они обнялись друг с другом и еще раз взаимно обменялись предложениями услуг. Хозяин подошел к священнику и подал ему несколько исписанных листов, говоря, что он их нашел в подкладке чемоданчика, где лежала повесть о «*Безрассудно-любопытном*»; и так как собственник чемоданчика больше не возвращался сюда, то пусть священник возьмет все это себе, потому что он, хозяин, не умеет читать, и эти бумаги ему не нужны. Священник поблагодарил, раскрыл рукопись и увидел в самом ее начале слова: *Повесть о «Ринконете и Кортадилло»*¹, из чего он понял, что это какой-нибудь рассказ, и вывел заклю-

чение: если повесть о «*Безрассудно-любопытном*» была хороша, может и эта будет такой же и, пожалуй, еще обе написаны одним и тем же автором. Итак, он взял ее с собой, намереваясь при случае прочесть ее. Затем он сел верхом, а также и его друг цирюльник, оба в масках, чтобы Дон Кихот не узнал их сразу, и они поехали позади повозки, причем соблюдался следующий порядок: впереди ехала повозка, которою правил ее собственник; по сторонам ее шли, как уже было сказано, квадрильеросы со своими кремневыми ружьями, тотчас же затем следовал Санчо на осле, ведя в поводу Росинанта; а позади всех ехали священник и цирюльник на своих могучих мулах, с прикрытыми, как уже было сказано, лицами и с серьезной и важной осанкой, подвигаясь не быстрее того, чем это позволял медлительный шаг волов. Дон Кихот сидел в клетке со связанными руками, с вытянутыми ногами, прислонившись спиной к решетке, такой молчаливый и кроткий, точно это был не человек из плоти и крови, а каменное изваяние. Итак, безмолвно и медленно проехали они около двух миль, пока не добрались до поляны, которая показалась возчику удобным местом, чтобы здесь дать отдохнуть волам и покормить их. Он сказал об этом священнику, но цирюльник посоветовал ехать несколько дальше, так как он знал, что за холмом, который уже был виден по близости, есть другая долина, с более густой и лучшей травой, чем та, где они хотят остановиться. Совет цирюльника был принят и они снова продолжали свой путь.

В это время священник повернул голову и увидел, что за ними едет верхом шесть или семь человек хорошо одетых и снаряженных, которые быстро их до-

¹ Novella de Rinconete u Cortadillo – одна из повестей самого Сервантеса в «*Novelas Exemplares*», впервые напечатанная им в 1613 году.

гнали, потому что они ехали не лениво и медленно, как шли волю, а верхом на мулах каноников и с желанием поскорее добраться для сиесты¹ на постоялый двор, отстоявший меньше, чем на милю оттуда. Быстрые догнали медленных, и те и другие вежливо приветствовали друг друга, а один из подъехавших, оказавшийся каноником из Толедо и господином всех, которые его сопровождали, видя движущуюся в таком порядке процессию, состоявшую из повозки, куадрильеросов, Санчо Пансы, Росинанта, священника, цирюльника и, главным образом, Дон Кихота, сидевшего в клетке со связанными руками, не мог удержаться, чтобы не спросить, вследствие чего везут таким образом этого человека, хотя он уже догадался, увидав отличительные признаки куадрильеросов, что, должно быть, это какой-нибудь окаянный грабитель больших дорог, или же другого рода преступник, карать которого надлежало Святой Эрмандасе. Один из куадрильеросов, к которому он обратился с этим вопросом, ответил следующим образом:

– Сеньор, о том, почему везут таким образом этого кабальеро, спросите его самого, так как мы этого не знаем.

Дон Кихот слышал разговор и сказал:

– Быть может, вы, милости ваши, сеньоры рыцари, люди сведущие и опытные в делах странствующего рыцарства, и если это так, я вам сообщу о моих несчастиях, если же нет, – мне не зачем утомлять себя рассказом о них.

Между тем подъехали уже священник и цирюльник, и, увидав, что проезжие вступили в разговор с Дон Кихотом Ламанчским, они поспешили так

ответить, чтобы их хитрость не была открыта. На вопрос Дон Кихота каноник сказал ему:

– По правде говоря, брат, я больше знаю толк в рыцарских книгах, чем в «Sumulas» Вильяльпандо², так что, если суть в этом, вы можете спокойно сообщить мне все, что желаете.

– В добрый час, – ответил Дон Кихот, – раз это так, сеньор кабальеро, я желаю, чтобы вы знали, что меня везут в этой клетке очарованного, вследствие зависти и обмана злых чародеев, так как добродетель больше преследуется злыми, чем ее любят добрые. Я – странствующий рыцарь, и не из тех, чьи имена слава никогда не вспомнила, чтобы увековечить их в своих летописях. Я из тех, что наперекор и назло самой зависти и всем магам, сколько бы их не произвела Персия, браминов – Индия, и гинософистов – Эфиопия, внесут свое имя в списки храма бессмертия, чтобы оно служило примером и образцом для грядущих веков, и странствующие рыцари знали бы по чьим стопам им надо идти, если они желают достигнуть вершины и почетного апогея оружия.

– Сеньор Дон Кихот Ламанчский говорит правду, – сказал тогда священник, – потому что везут его очарованным в этой клетке не за его вину или проступок, а вследствие злобы тех, кого добродетель раздражает, а доблесть оскорбляет. Это, сеньор, – *рыцарь Печального Образа* – если вы, быть может, уже слышали о нем – доблестные подвиги и высокие деяния которого будут вписаны на твердой бронзе и вековечном мраморе, сколько бы зависть не старалась неумолимо омрачить их, а зложелательство – скрыть их.

¹ Полуденный отдых.

² La Suma de las Sumulas Гаспара Кардильо де Вильяльпандо, напечатанное в Алькала в 1557 г., было в то время общераспространенным руководством первых правил логики.

Когда каноник услышал, что и пленный и находящийся на свободе, говорят таким языком, он чуть было не сотворил крестного знамения от изумления и не мог понять, что это с ним приключилось, и изумление его разделяли и все ехавшие с ним. Но тут Санчо Панса, который приблизился послушать разговор, сказал, чтобы все разъяснить:

– Сеньоры, понравится ли вам, или не понравится то, что я скажу, но дело в том, что господин мой Дон Кихот так же очарован, как и моя мать. Он в полном рассудке, он ест и пьет и отправляет все свои нужды, как и остальные люди и как он это делал вчера, прежде, чем его посадили в клетку. А раз это так, как же хотят заставить меня поверить, что он очарован? Ведь, я слышал от многих людей, что очарованные не едят, не спят и не разговаривают, а мой господин, – если дать ему волю, – наговорил бы больше тридцати юристов. – И обернувшись, чтобы взглянуть на священника, он продолжал, говоря: – Ах, сеньор священник, сеньор священник! Думали ли вы, милость ваша, что я не узнал вас? Или же, что я не понимаю и не догадываюсь, к чему клонят эти новые очарования? Так знайте же, что я вас узнал, как бы вы не закрывали себе лицо, и хорошо вас понимаю, как бы вы не скрывали ваши хитрости. Одним словом, где властвует зависть, там не может жить добродетель, и где скупость, там не уживется щедрость. Проклят будь дьявол, – и если бы не ваше преподобие, мой господин был бы теперь женат на инфанте Микомикона, а я был бы, по крайней мере, графом, потому что меньшего я не мог бы ждать ни от доброты моего сеньора Печально-го Образа, ни от значительности моих услуг. Но я вижу теперь, правда то, что

у нас здесь говорят, будто колесо судьбы вертится быстрее мельничьего колеса, и те, что вчера были на верху величия, сегодня лежат на земле. Я огорчен только из-за моих детей и моей жены: когда они могли и должны были надеяться, что отец их войдет к ним в двери губернатором или вице-королем какого-нибудь острова или королевства, они увидят его входящим простым конюхом. Все это, сеньор священник, я сказал только потому, чтобы побудить ваше преподобие посовеститься так дурно обходиться с моим сеньором, и смотрите, остерегайтесь, не потребовал бы у вас в будущей жизни Бог отчета за это заточение моего господина и не обвинил бы вас за то, что сеньор мой Дон Кихот был лишен возможности оказывать помощь и делать добро в то время, когда он находился в заключении.

– Подправьте-ка мне эти лампы!¹ – сказал тогда цирюльник; – Как, и вы тоже, Санчо, член братства вашего господина? Как жив Бог, мне сдается, что и вам придется сесть заодно с ним в клетку и быть, как и он, очарованным, потому что вы заразились его причудами и его рыцарством. Не в добрую минуту отяжелели вы его обещаниями, и не в добрый час вбили себе в голову остров, который вы так сильно желаете.

– Ничем я не отяжелел, – ответил Санчо, – и не такой я человек, чтобы отяжелеть хотя бы от самого короля; хотя я и беден, я старый христианин и никому ничего не должен; и если я желаю островов, другие желают кой-чего другого, да еще похуже; и каждый сын своих дел; и будучи мужчиной, я могу сделаться папой, а тем более еще губернатором острова; к тому же и господин мой может завоевать их столько, что не будет знать, кому раздать их. Обратите внимание, как вы гово-

¹ *Adóbame esos candilos* – простонародное общеупотребительное выражение, означающее нечто вроде «полно», «довольно».

рите, милость ваша, сеньор цирюльник; потому что не вся сила в том, чтоб брить бороды, и есть разница между одним и другим Петром. Говорю это, потому что все мы знаем друг друга, и мне незачем подбрасывать фальшивую игральную кость¹; а что касается этого очарования моего господина, правда известна Богу и пусть все остается, как оно есть, потому что разворачивать еще хуже.

Цирюльник не пожелал ответить Санчо, чтобы он простодушными своими рассуждениями не обнаружил того, что цирюльник и священник так тщательно старались скрыть. Побуждаемый тем же опасением, священник попросил каноника проехать с ним немного вперед и тогда он объяснит ему тайну посаженного в клетку, а также расскажет и другие вещи, которые его позабавят.

Каноник так и сделал и, проехав с ним и со своими слугами вперед, внимательно стал слушать все, что ему рассказывал о нравах, жизни, безумии и привычках Дон Кихота священник, который вкратце сообщил ему о начале и причине помешательства рыцаря, обо всех случившихся с ним приключениях до того, как они его усадили в клетку, и о их намерении отвезти его на родину и посмотреть, не найдется ли какое-нибудь средство для излечения его от его умопомешательства. Каноник и его слуги снова изумились, слушая странную историю Дон Кихота, а, выслушав ее, каноник сказал:

– Действительно, сеньор священник, и я со своей стороны нахожу, что книги, называемые рыцарскими, приносят обществу вред, хотя я и сам, побуждаемый скукой и дурным вкусом,

прочел начало почти всех подобных книг, имеющихся в печати, но никогда не мог решиться которую-нибудь из них прочесть от начала до конца, потому что мне кажется, что все они более или менее повторение одного и того же, и что и в этой книге не больше заключается, чем в той, и в той нет лучшего чем в этой. По моему мнению, этот род писания и сочинительства очень близко подходит к разряду басен, называемых милезийскими², которые просто нелепые сказки, имеющие в виду только забавить, а не поучать, в противоположность апологическим басням, которые одновременно и развлекают и поучают. И даже если главная цель этих книг – забавлять, я не знаю, как они могут достигнуть этого, будучи переполнены столькими и такими чудовищными нелепостями. Наслаждение, воспринимаемое душой, должно, ведь, истекать из красоты и соразмерности, которую мы видим и созерцаем во всем, что глаза или воображение предъявляют нам; а то, что само в себе заключает безобразие или несоразмерность, не может доставить нам никакого удовольствия. Но, какая же красота, или какая же соразмерность частей с целым и целого частями, может заключаться в книге или в рассказе, где юноша шестнадцати лет обрушивается на великана вышиной с башню ударом меча и разрубает его на две половины, точно он сделан из сахарного теста с миндалем? Или, когда нам описывают битву, говоря, что со стороны неприятеля миллион сражающихся, а против них выступает один лишь герой рассказа, – и мы волей неволей, и как бы нам это не было трудно, должны

¹ Т. е. стараться провести меня.

² О милезийских баснях, положивших начало литературе вымысла, ничего другого не известно, кроме того, что они принадлежали к разряду «веселых» вещей и что юмор их состоял в непростойности.

верить, что этот рыцарь одержал победу единственно лишь благодаря доблести своей руки? Или, что можем мы сказать о той легкости, с которою какая-нибудь королева или наследная императрица бросаются в объятия странствующего и неведомого ей рыцаря? Какой ум, – если он только не вполне груб и неразвит – может удовольствоваться, читая, что высокая башня, наполненная рыцарями, плывет по морю, как корабль с попутным ветром, и сегодня ночует в Ломбардии, а завтра утром очутится во владениях священника Иоанна Индейского¹ или в какойнибудь другой стране, которую ни Птолемей никогда не открывал, ни Марко Поло не видел. И если мне на это скажут, что те, которые сочиняют подобные книги, пишут их, выдавая за вымысел и ложь, и потому не обязаны заботиться о точности и правде, я отвечу, что ложь тем лучше, чем она более похожа на истину, и тем более нравится, чем более заключает в себе возможного и вероятного. Вымышленные рассказы должны подходить к пониманию тех, кто их читает, и быть написаны так, чтоб, смягчая невозможное, сглаживая чрезмерное, делая доступным возвышенное, они бы удивляли, интересовали, возбуждали и забавляли таким образом, чтоб удивление и наслаждение шли рука об руку. А всего этого не может достигнуть тот, кто избегает правдоподобия и подражания действительности, в чем именно и заключается совершенство писания. Я не видел ни одной рыцарской книги с целым остовом вымысла, и всеми его членами, так чтобы середина соответствовала началу, а конец соответствовал началу и середи-

не, а составляют их из такого множества членов, что скорее кажется, будто бы имеют намерение создать химеру или чудовище, чем стройный образ. Сверх того, слог у них жесткий, описываемые подвиги – невероятны, любовь – непристойна, любезность – нагла, описания битв – растянуты, разговоры вздорны, путешествия нелепы, и наконец далеки от всякого ума и художественности, и поэтому они, как бесполезный люд, заслуживают быть изгнанными из христианского государства.

Священник слушал каноника с большим вниманием, и он показался ему человеком весьма рассудительным, который совершенно прав в том, что говорил. Итак, он ему сказал, что, будучи одного с ним мнения и питая злобу к рыцарским книгам, он сжег все принадлежавшие Дон Кихоту, а было их много; и сообщил также об устроенном им над книгами следствии, и о том, какие из них он предал огню, каким даровал жизнь. Каноник немало смеялся над этим и сказал:

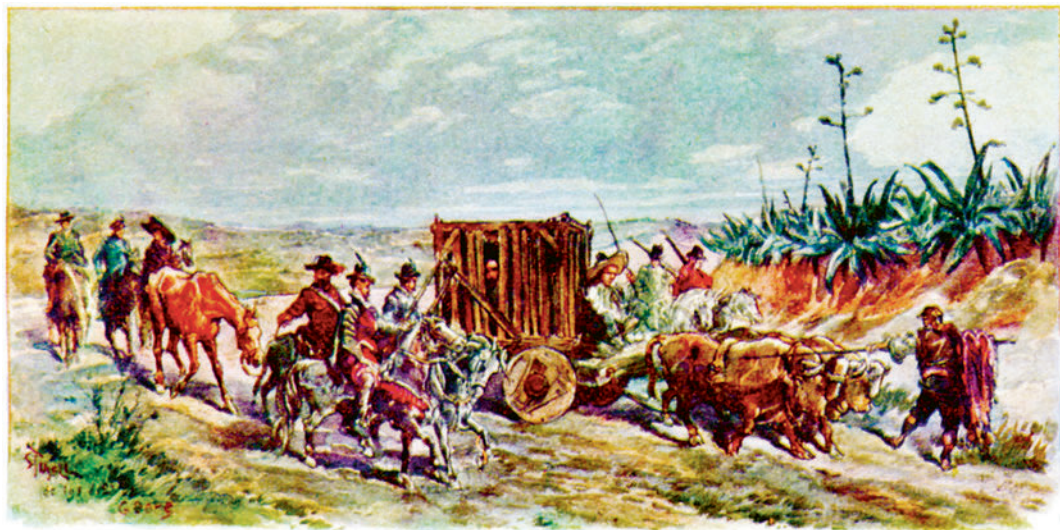
– Несмотря на все дурное, что он говорил о такого рода книгах, он находит в них одну хорошую сторону, а именно сюжет, дающий возможность талантливому человеку широко развернуться; здесь ему открывается обширное и просторное поле, где, без всякой помехи, может свободно разгуливать перо, описывая кораблекрушения, бури, состязания, сражения; рисуя доблестного полководца, одаренного всеми нужными для этого качествами; показывая нам его проницательным в предупреждении хитрости врагов, красноречивым оратором, умеющим воспламенять или сдерживать своих солдат; мудрым на совете,

¹ Столь распространенная в средние века легенда об Иоанне Индейском была предметом многих споров и исследований. Новейшая теория отождествляет Иоанна с Velin Taschi (XII век), основателем империи Каракитая, завоевавшего восточный и западный Туркестан и столица которого была в Бала-Сагуне, недалеко от Ташкента.

стремительным в исполнении, столь же стойким в обороне, как и в нападении; изображая то плачевное и трагическое событие, то веселое и неожиданное происшествие; тут прекраснейшую даму, добродетельную, умную и скромную; там рыцаря христианина, храброго и любезного; в одном месте бездушного, наглого хвастуна, в другом – учтивого принца, мужественного и мудрого; изображая верность и преданность вассалов, и возвышенность и великодушие сеньоров. Он может явиться то астрологом, то прекрасным космографом, то музыкантом, то государственным деятелем; а иногда, если пожелает, ему представится случай выказать себя и чернокнижником. Он может изобразить хитрости Улисса, благочестие Энея, доблести Ахилла, несчастья Гектора, измену Синона, дружбу Эвриала, щедрость Александра, мужество Цезаря, милосердие и справедливость Трояна, верность Зопира, мудрость

Катона; словом, все те достоинства, которые могут довершить образ выдающегося героя, то соединяя их в одном, то распределяя между многими. И если это будет сделано приятным слогом, при остроумном вымысле, который как можно ближе подходил бы к правде, автор несомненно создаст ткань, составленную из разнообразных и прекрасных нитей, и она, как только будет доведена до конца, явит такое совершенство и красоту, что достигнет высшей цели, к какой стремятся в произведениях, именно, одновременно и улаживать и поучать, как я уже говорил; потому что простор, предоставляемый подобного рода писанием, дает возможность автору выказать себя эпиком, лириком, трагиком, комиком и проявить себя во всех областях, которые заключает в себе сладостное и привлекательное искусство поэзии и красноречия; ведь, эпос может также быть написан как прозой, так и стихами.





Глава XLVIII

В которой каноник продолжает высказываться по поводу рыцарских книг и других тем, достойных острого его ума.



ак оно и есть, как говорит ваша милость, сеньор каноник, — сказал священник, — и поэтому заслуживают еще большего порицания те, кто до настоящего времени сочиняли подобного рода книги, не принимая в соображение ни здравого смысла, ни искусства и правил, которыми они могли бы руководствоваться и прославиться в прозе, как прославились в стихах два князя поэзии — греческой и латинской.

— Я со своей стороны, — возразил каноник, — поддался однажды искушению написать рыцарскую книгу, соблюдая в ней все условия, о которых я только что упоминал, и, говоря по правде, я написал уже больше ста листов. Желая испытать, отвечает ли написанное моей собственной оценке, я показал их людям, страстно увлекающимся такого рода чтением, как ученым и умным, так и другим — не-

веждам, находящим удовольствие лишь в том, чтобы слышать нелепости, — и от всех я получил лестное для меня одобрение. Но, тем не менее, я не продолжал писать, как потому, что мне это занятие казалось неподходящим для моего звания, так и убедившись в том, что простаков куда больше, чем умных, и хотя и лучше быть восхваленным немногими рассудительными, чем осмеянным многими глупцами, все же я не хочу подвергать себя сбивчивому суждению надменной толпы, которая по большей части именно и читает подобного рода книги. Но то, что главным образом побудило меня отложить эту работу и отказаться от мысли окончить ее, было одно мое соображение по поводу пьес, которые ставятся у нас на сцене. Если, — сказал я себе, — драматические произведения, которые теперь в моде, как основанные на вымысле, так и исторические, все, или большая их часть, общеизвестные не-

лепости, вещи, не имеющие ни головы, ни ног, а тем не менее публика слушает их с удовольствием, считая и признавая их хорошими в то время, как они очень далеки от этого; и если авторы, сочиняющие их, и актеры, играющие их, говорят, что они должны быть такими, потому что публика требует их такими, а не иными; и что пьесы, в которых соблюдены все правила и требования искусства, доставляют удовольствие лишь только трем, четырем рассудительным людям, которые их поймут, все же остальные неспособны вникнуть в них и уразуметь их достоинства и что, со своей стороны, они предпочитают заработать себе хлеб у многих, чем приобрести известность у немногих; то же самое случилось бы и с моей книгой после того, как я спалил бы себе брови, усиливаясь соблюдать вышеупомянутые правила, и оказался бы похожим на портного из Кантильо¹. И хотя я иногда и пытался убеждать актеров, что они ошибаются, придерживаясь такого рода мнения, и могли бы привлекать гораздо больше публики и приобрели бы больше славы, если бы давали не теперешние нелепые пьесы, а такие, которые удовлетворяли бы требованиям искусства, но они так непоколебимо держатся своего мнения, и так срослись с ним, что никакие доводы и даже сама очевидность не может заставить их отказаться от него. Как-то однажды я сказал одному из этих упрямых людей: «Послушайте, не помните ли вы, что несколько

лет тому назад в Испании давались три трагедии, написанные одним знаменитым нашим поэтом, и эти три трагедии были таковы, что все слушавшие их, как умные, так и глупые, как простолюдины, так и знатные люди, были изумлены, обрадованы и восхищены, и эти три пьесы дали больше денег актерам, чем тридцать лучших из написанных после них?»². – «Ваша милость, – ответил актер, о котором я говорю, – подразумевает без сомнения, – „Изабеллу“, „Филис“ и „Александр“»³. – «Они самые и есть – ответил я, – и посмотрите, соблюдены ли в них предписания искусства и помешало ли им это соблюдение казаться тем, чем они были, и всем понравиться; так что виновата не публика, требующая будто бы нелепостей, а те, которые не умеют изображать ничего другого. Ведь, нет же бессмыслицы ни в „Отомщенной неблагодарности“⁴, ни в „Нумансии“⁵, ни в „Купце – Любовнике“, ни в „Доброжелательной неприятельнице“⁶, ни в некоторых других драматических произведениях, написанных несколькими даровитыми поэтами к чести и славе себе и к выгоде тех, которые играли их пьесы». – К этим моим доводам я добавил еще несколько других и, как мне казалось, привел его в смущение, но не поколебал и не убедил настолько, чтобы он отказался от ошибочного своего взгляда.

– Вы, милость ваша, сеньор каноник, – сказал тогда священник, – затронули вопрос, пробудивший во мне

¹ *El sastre del Cantillo que ponía de su casa aguja y hilo* («портной из Кантильо, отдававший из дому иголки и нитки») – пословица, имеющая в виду тех, которые дают работу и материал, не имея надежды на вознаграждение.

² Эти три пьесы написаны Леонардо де Архенсола – современником и другом Сервантеса и не заслуживают тех чрезмерных похвал, которые им расточает Сервантес, равно как и их автор не заслуживал дружбы Сервантеса, за которую он так плохо отплатил ему.

³ Драма Лопе де Вега.

⁴ Трагедия Сервантеса.

⁵ Первая принадлежит перу Гаспара де Агиляра, вторая Франсиско де Таррега.

давнюю мою неприязнь к современным драмам, не уступающую ненависти моей к рыцарским книгам. Ведь драма, по мнению Тулио¹, должна быть зеркалом человеческой жизни, образцом нравов и изображением истины, – а теперешние модные драмы являются зеркалом нелепости, образцом глупости и изображением разврата. Какая может быть большая несообразность в предмете, о котором мы говорим, когда в первом явлении первого акта выносят ребенка в пеленках, а во втором акте этот ребенок уже мужчина с бородой? Какая большая несообразность, как изображение старика – храбрецом, юноши – трусом, лакея – красноречивым оратором, пажа – советником, короля – поденщиком, принцессы – судомойкой? А что скажу я о соблюдении времени и места, когда могли или могут случиться изображаемые действия, кроме того, что я видел драму, первый акт которой начинался в Европе, второй происходил в Азии, третий кончался в Африке, и будь пьеса четырехактная, то четвертый акт кончился бы в Америке, и таким образом драма разыгралась бы в целых четырех странах света? Если же главная задача драмы – подражание действительности, возможно ли, чтобы она удовлетворяла даже и посредственный ум, когда, при изображении действия, происходящего во времена Пипина и Карла Великого, – героем пьесы является император Гераклий, вступающий с крестом в Иерусалим и завоевывающий гроб Господний, подобно Готфриду Бульонскому, в то время, как бесконечный ряд лет отделяет одно событие от другого. Или же, если пьеса построена на вымысле, вводить туда историческую правду,

перемешанную с отрывками происшествий, случившихся с разными лицами в разное время, и все это без малейшей черты правдоподобия, а с очевидными во всех смыслах непростительными ошибками². Самое же худшее здесь то, что называются невежды, которые говорят, будто это то и есть совершенство в искусстве, а требовать чего-либо другого – значило бы искать только лакомств. Ну, а если мы поведем речь о духовных драмах? Каких чудес там не насочинено и сколько там апокрифических, непонятных вещей, причем деяния одного святого приписываются другому! И даже в светских драмах авторы позволяют себе творить чудеса, не по какой другой причине или другому соображению, кроме того, что по мнению их, такие чудеса или странные явления, как они это называют, вещь очень подходящая, чтобы невежественные люди могли изумляться и посещать театр. Все это делается в ущерб истине, с презрением к истории и даже к позору испанских драматургов, так как иностранцы, очень точно соблюдающие сценические законы, считают нас неучами и варварами, смотря на нелепые и бессмысленные драмы, которые мы сочиняем. Не было бы также достаточным оправданием сказать, что главная цель, которую преследуют благоустроенные общества, разрешая публичные представления, состоит в том, чтобы доставить народу приличную забаву и отвлечь его от дурных наклонностей, иногда порождаемых праздностью; а так как эта цель может быть достигнута всякой пьесой, хороша ли она или дурна, то незачем устанавливать правила, ни стеснять ими актеров и авторов, принуждая последних писать

¹ Изречение Цицерона.

² В одной из драм Лопе де Вега: – *La limpieza no manchada* («Незапятнанная чистота»), являются на сцену одновременно патриарх Иов, царь Давид, Иоанн Креститель и Саламанский университет.



Так оно и есть, как говорит ваша милость, сеньор каноник, — сказал священник...

свои пьесы, как того требуют правила, потому что, как я уже говорил, всякой пьесой, какая бы она ни была, достигается намеченная цель. На это я ответил бы, что цель эта достигалась бы несравненно, лучше хорошими пьесами, чем плохими, потому что, присутствуя на представлении художественной и хорошо написанной пьесы, зритель уходил бы из театра восхищенный шутками, вразумленный истинами, подивившись событиям, помня от мудрых изречений, предостереженный против коварства, наученный примерами, возмущенный пороками, влюбленный в добродетель, потому что хорошая пьеса возбудит все эти чувства в зрителе, как бы он ни был груб и непонятлив. И из всех невозможностей самое невозможное то, чтобы драматическое произведение, обладающее упомянутыми качествами, не забавляло, не нравилось, не удовлетворяло и не восхищало зрителя гораздо больше пьес, лишенных этих достоинств, как лишено их большинство сценических произведений, которые в настоящее время даются у нас¹. Не виноваты в этом и авторы, так как некоторые из них очень хорошо понимают, в чем они заблуждаются, и превосходно знают, что им следовало бы делать, но вследствие того, что пьесы обратились в товар для продажи, авторы говорят, и говорят справедливо, что актеры не покупали бы пьес, раз они были бы иного покроя и образца. Итак, поэт старается

приноровиться к тому, что требует актер, который платит ему за его произведение. А что это правда, видно из многих бесконечных пьес, сочиненных счастливейшим из испанских гениев, с таким изяществом, с таким остроумием, такими великолепными стихами, увлекательным языком, с таким глубоким чувством, наконец, отличающихся таким красноречием и возвышенным слогом, что слава поэта распространилась по всему миру², и только потому, что он приноравливался к вкусам актеров, не все его пьесы достигли, как некоторые из них, требуемой степени совершенства. Другие драматурги, сочиняя свои произведения, обращают так мало внимания на то, что они делают, что после представления актеры вынуждены бежать и удалиться из страха подвергнуться карам, как это случалось не раз, за изображение вещей, оскорбительных для королей, или для чести той или иной семьи. Все эти неудобства и многие другие, о которых я умалчиваю, могли бы быть устранены, если бы было в столице лицо, образованное и умное, которое рассматривало бы пьесы, предназначенные для представления, – и не только те, что даются в столице, но и все имеющие быть игранными в Испании, – так что без одобрения, печати и подписи такого лица, местная власть не могла бы разрешать никакой пьесы к представлению. Таким образом актеры заботились бы о посылке драматических произведе-

¹ Эта длинная речь, направленная против современной ему драмы, по-видимому, сатирическая выходка Сервантеса против Лопе де Вега. В своих же собственных пьесах Сервантес не очень то придерживался «правил», а в *El Rufián dichoso* «Счастливом негодяе» – пьесе, написанной после *Дон Кихота*, но никогда не игранной, он очень энергично настаивает на необходимости для современной драмы освободиться от «пут» столь тяжелых правил.

² Счастливейший гений, конечно, Лопе де Вега, бывший тогда в апогее своей славы и популярности. Слова Сервантеса, что не все пьесы Лопе – совершенство – хотя пилюля эта достаточно подслащена восторженными похвалами – показались почитателям Лопе преступлением. Эта именно глава *Дон Кихота* была, быть может, одной из главных причин ненависти Лопе де Вега к Сервантесу.

ний в столицу, и после того могли бы совершенно спокойно играть, а драматурги посвящали бы больше внимания и труда своим пьесам, помня, что они должны подвергнуть их строгой критике знатока; таким образом писались бы хорошие пьесы и было бы наилучшим образом достигнуто то, что требуется от них – и развлечение народа, и хорошая репутация испанских писателей, и выгода, и безопасность актеров, и уничтожение заботы о карательных мероприятиях. А если бы какому-нибудь другому лицу, или хотя бы тому же самому, поручили и просмотр рыцарских книг, которые вновь сочиняются, не подлежит сомнению, что некоторые из них могли бы достигнуть того совершенства, о котором говорила ваша милость, и обогатить наш язык изящным и драгоценным сокровищем красноречия, заставив старые книги меркнуть в блеске новых, которые бы появились для достойного времяпровождения не только праздных людей, но и самых занятых, потому что невозможно, чтобы лук оставался всегда натянутым, и не может слабая человеческая природа поддержать себя без какого-нибудь дозволенного развлечения.

Каноник и священник дошли до этого места своего разговора, когда цирюльник, догоняя их, подъехал к ним и сказал:

– Вот то место, сеньор, о котором я говорил, что нам хорошо будет держать тут сиесту, а волы найдут здесь свежее и обильное пастбище.

– Мне это тоже кажется, – сказал священник, и спросил каноника, что он думает делать, а тот ответил, что желает остаться с ними, соблазненный прекрасной долиной, развернувшейся перед их взорами. Итак, чтобы насладиться этим видом, а также разговором со священником, к которому он уже чувствовал расположение, и чтобы подробнее узнать о

подвигах Дон Кихота, каноник приказал нескольким из своих слуг отправиться на постоялый двор, бывший недалеко отсюда и принести поесть для всего общества что там найдется, так как он решил держать сиесту здесь после обеда. На это один из его слуг ответил, что на их выючном осле, высланном вперед и который теперь уже должен находиться на постоялом дворе, достаточно съестных припасов, так что не надо им ничего покупать, кроме ячменя для мулов.

– Если это так, – сказал каноник, – отведите туда наших мулов и приведите оттуда выючного осла.

Пока это происходило, Санчо, видя, что он может говорить со своим господином без постоянного присутствия священника и цирюльника, которых он считал подозрительными людьми, подошел к клетке, где находился его господин, и сказал:

– Сеньор, для облегчения моей совести я должен вам сказать кой-что касающееся вашего очарования, – именно, что те двое, которые едут с нами в масках на лице, – наш приходский священник и цирюльник; и я думаю, они сговорились между собой увезти вас таким образом из одной лишь зависти к вам за то, что ваша милость так сильно опередила их своими славными подвигами. Если же допустить, что дело обстоит именно так, из этого следует, что вы не очарованы, но обмануты и одурачены; в доказательство чего я бы желал спросить у вас одну вещь, и, если вы мне ответите так, как, думается мне, вы должны ответить, то вы дотронетесь до этого обмана рукой и убедитесь, что не в очарованьи дело, а в том, что у вас в голове не все дома.

– Спрашивай все, что хочешь, сын Санчо, – сказал Дон Кихот, – и я удовлетворю тебя и отвечу на всякий твой вопрос. Относительно же твоих слов,

будто те двое, что едут с нами, – священник и цирюльник – наши земляки и знакомые, весьма возможно, что они кажутся ими, но чтобы они действительно и на самом деле ими были, не верь этому ни в каком случае. Вот чему ты должен верить и что понять: если они, как ты говоришь, кажутся ими, это, вероятно, происходит оттого, что очаровавшие меня приняли их вид и подобие, так как волшебникам очень легко принять внешность, которую они пожелали бы. А приняли они внешность наших друзей, чтобы заставить тебя думать то, что ты думаешь, и завести в дебри таких предположений, из которых ты уже не выберешься, если бы и обладал клубком Тезея. Также могли они это сделать и для того, чтобы поколебать меня в моих понятиях, и я не мог бы сообразить, откуда на меня налетела эта беда, потому что, если, с одной стороны, ты мне говоришь, что меня сопровождают цирюльник и священник нашего села, а с другой стороны, я вижу себя посаженного в клетку, и знаю о себе, что никакой человеческой силе, кроме сверхъестественной, не удалось бы посадить меня в клетку, – что хочешь ты, чтобы я говорил или думал, кроме того, что способ моего очарования превосходит все, что я читал во всех историях, в которых речь идет о странствующих рыцарях, подвергшихся очарованиям? Итак, ты можешь спокойно и уверенно изгнать из своей головы мысль, будто они те, кем они тебе показались, потому что они так же мало то, что ты говорил, как я турок. А относительно твоего желания что-то спросить у меня, говори, и я отвечу тебе, хотя бы ты спрашивал меня до завтрашнего утра.

– Помоги мне, Пресвятая Богородица, – крикнул Санчо, возвысив голос, – возможно ли, чтобы милость

ваша была такая крепкоголовая, и так бы у вас высох мозг, чтобы вы не видели, что сказанное мною чистейшая истина, и что в вашем заточении и несчастьи больше участвует зложелательство, чем волшебство? Но раз это так, я докажу вам как нельзя яснее, что вы не очарованы. Скажите же мне – и да избавит вас Бог от этой пытки, и приведет вас в объятия сеньоры Дульсинеи, когда вы всего менее будете ожидать того...

– Брось заклинать меня, – сказал Дон Кихот, – и спрашивай все, что хочешь; я уже говорил тебе, что отвечу со всей возможной точностью.

– Об этом-то я и прошу вас, – возразил Санчо; – а хотел я узнать вот что: скажите мне, ничего не прибавляя и ничего не убавляя, одну лишь истину, как ее должны говорить и говорят те, что служат оружию, которому служит и ваша милость, под именем странствующих рыцарей.

– Повторяю тебе, что я ни в чем не солгу, – ответил Дон Кихот, – кончай же спрашивать, так как, право, ты мне наскучил, Санчо, столькими твоими увертками, упрасиваниями и предисловиями.

– Я говорю, – сказал Санчо, – что уверен в доброте и правдивости моего господина, и поэтому, раз мой вопрос относится к нашему делу, со всем должным уважением спрашиваю: с тех пор, как ваша милость сидит в клетке и, как вы думаете, очарована в этой клетке, не приходило ли вам, быть может, желание и охота сходить за большой или малой нуждой, как принято говорить?

– Ничего не понимаю, что такое значит ходить за нуждой, Санчо; выразишься яснее, если ты желаешь, чтобы я мог точно ответить тебе.

– Неужели же ваша милость не понимает, что значит ходить за большой

или малой нуждой? Ведь, дети в школе знают это. Итак, слушайте, я хотел спросить вас, не чувствовали ли вы желания сделать то, что никто другой не может сделать вместо вас?

– Да, да, – теперь я понимаю, Санчо. Много раз уже приходило мне это желание, и теперь, сейчас опять хочется; спаси меня от опасности, а то выйдет не совсем чистоладно.





Глава XLIX

Где сообщается о рассудительном разговоре, который Санчо вел с своим господином Дон Кихотом.



! – воскликнул Санчо; – теперь я вас поймал, это мне и хотелось знать, как душу и жизнь. Итак, слушайте сеньор, – можете ли вы отрицать, что когда человеку не по себе, у нас принято говорить: не знаю, что такое с этим или с тем-то; он не ест, не пьет, не спит, когда его спрашивают, отвечает невпопад, – право, он точно очарован. Из этого следует, что те, которые не едят, не пьют, не спят и не справляют других нужд, о которых я говорил, они-то и очарованы, а не те, у которых, как у вашей милости, есть желания, и которые пьют, когда им дают пить, едят, когда что подвернется под руку, и отвечают на все вопросы, которые им предлагают.

– Ты прав, Санчо, – сказал Дон Кихот, – но я уже говорил тебе, что бы-

вают разные способы очарования и, быть может, с течением времени все это изменилось, и теперь в обычае, чтобы очарованные делали все то, что я делаю, хотя прежде они этого и не делали; так что против обычаев данного времени нельзя ничего сказать и нельзя делать из этого никаких выводов. Я знаю и уверен в том, что я очарован, и этого достаточно для спокойствия моей совести, а она бы измучила меня, если бы я думал, что я не очарован и позволил засадить себя в эту клетку, как ленивец и трус, лишив помощи, какую бы я мог оказать, тех многих нуждающихся и беззащитных, которые, должно быть, в настоящее время имеют неотложную и крайнюю нужду в моей защите и помощи.

– Но тем не менее, – возразил Санчо, – я говорю, что для большей безопасности и уверенности было бы хорошо,

чтобы милость ваша попыталась выйти из этой тюрьмы, а я изо всех моих сил постараюсь содействовать вам и освободить вас из клетки; и попытайтесь снова сесть верхом на вашего доброго Росинанта, который как будто тоже очарован, такой идет он грустный и печальный. Сделав это, мы попытаем еще раз наше счастье, отправившись в поиски за приключениями, и если нам не повезет, всегда будет время вернуться в клетку, в которую я вам обещаю, честью верного и преданного оруженосца, сесть вместе с вашей милостью, если ваша милость была бы так несчастлива или я так глуп, что мы не сумели бы добиться того, о чем я говорю.

– Я готов поступить так, как ты говоришь, Санчо, брат, – ответил Дон Кихот; – и когда ты найдешь удобный случай устроить мое освобождение, во всем буду слушаться тебя; только увидишь, Санчо, как ты ошибаешься в своем суждении о моем несчастье.

В таких разговорах странствующий рыцарь и его злосчастный оруженосец проводили время, пока не добрались до места, где уже их ждали спешившиеся священник, каноник и цирюльник. Погонщик волов тотчас же выпряг своих животных и пустил их пастись во всю их волю в этой зеленой и мирной долине, свежесть которой приглашала насладиться ею не тех, что были заколдованы, как Дон Кихот, а столь рассудительных и здравомыслящих, как его оруженосец, который попросил священника позволить его господину выйти на время из клетки, потому что, если его не выпустят, тюрьма его не останется такой чистой, как того требует достоинство столь славного кабальера, как его господин. Священник понял, в чем дело, и ответил, что охотно исполнил бы просьбу Санчо, если бы не боялся, что господин его, уви-

дав себя на свободе, опять примется за прежнее и может уйти туда, где уже никто его не найдет.

– Я ручаюсь за то, что он не убежит, – ответил Санчо.

– И я тоже, и за все прочее, – сказал каноник, – в особенности, если он мне даст рыцарское слово не удаляться от нас без нашего согласия.

– Даю вам слово, – ответил Дон Кихот, который все это слышал; – и тем более, что тот, который, как я, очарован, не имеет возможности распоряжаться своей особой, как хочет, потому что во власти очаровавшего устроить так, чтобы он целых три столетия не двинулся с места, а если б он бежал, его словно вихрем вернут назад по воздуху; и раз это так, – добавил он, – они могут спокойно выпустить его, тем более, что это послужит всем им на пользу, потому что, если его не выпустят, он во всеуслышание объявляет, что не может удержаться, чтобы не оскорбить их обоняния, разве только они подальше отойдут. Каноник взял его за руку, хотя обе они еще были связаны, и, заручившись его обещанием и рыцарским словом, они выпустили его из клетки, чему он очень обрадовался и был в восхищении, видя себя на свободе. Первое, что он сделал, было потянуться всем телом, а потом он пошел туда, где стоял Росинант, и, хлопнув его ладонью раза два по бокам, сказал:

– Я еще надеюсь на Бога и Святую Его Матерь, цвет и зеркало коней, что мы уже скоро увидимся с тобою, как оба мы того желаем, ты – неся своего господина на своем хребте, а я верхом на тебе, исполняя ту обязанность, для которой Бог послал меня в мир.

И говоря это, Дон Кихот удалился с Санчо в сторону, в уединенное местечко, и вернулся оттуда очень облегченный и с более сильным желанием привести в ис-

полнение то, что ему советовал оружено-сец. Каноник смотрел на него и удивлялся странному роду его помешательства и тому, что в своих вопросах и ответах он выказывал самый ясный ум, и лишь только тогда, когда речь заходила о рыцарстве, он, как уже было сказано, терял стремени¹. Итак, движимый состраданием после того как все уселись на зеленой траве, ожидая съестных припасов, каноник сказал Дон Кихоту:

– Возможно ли, сеньор идадьго, что чтение пустых и ничтожных рыцарских книг так вами овладело, что перевернуло у вас рассудок, и вы способны верить, будто вы очарованы, и разным другим тому подобным вещам, столь же далеким от истины, как ложь далека от того, чтоб быть правдой? И неужели же возможно, чтоб нашелся такой человеческий ум, который вообразил бы себе, что на свете действительно существовало несметное количество Амадисов, вся эта толпа знаменитых рыцарей, все эти Трапезундские императоры, эти Феликсмарсы Гирканские, эти иноходцы, Эти странствующие девушки, эти змеи, драконы, великаны, все эти неслыханные приключения, разнородные очарования, сражения, чудовищные поединки, великолепные наряды, влюбленные принцессы, все эти оруженосцы, ставшие графами, остроумные карлики, любовные письма, ухаживания, доблестные женщины, и, наконец, все это множество таких нелепых вещей, какие заключаются в рыцарских книгах? О себе могу сказать, что, когда я их читаю, пока мне не придет в голову, что все в них ложь и бессмыслица, они доставляют мне некоторое удовольствие. Но как только я отдам себе отчет, что они такое,

я швыряю лучшие из них в стену и бросаю бы их и в огонь, если б он оказался у меня под рукой или поблизости, так как они вполне заслуживают подобного наказания за то, что это лжецы и обманщики, далекие от всех требований природы, а также и за то, что они основатели новых сект и нового образа жизни и побуждают невежественную толпу говорить и считать истиной все те нелепости, которые заключаются в этих книгах. И еще их дерзость так велика, что они осмеливаются смущать умы просвещенных и образованных идадьго, как это ясно видно из того, что они сделали с вашей милостью, которую довели до такого состояния, что оказалось необходимым засадить вас в клетку и везти на повозке, запряженной волами, как возят на показ с места на место льва или тигра, зарабатывая этим деньги. Итак, сеньор Дон Кихот, пожалейте самого себя, вернитесь в лоно здравого смысла, научитесь пользоваться разумом, которым небу было угодно так щедро наделить вас, употребите столь счастливое умственное дарование ваше на иное чтение, которое послужило бы на пользу душе вашей и к увеличению доброй вашей славы. Если, тем не менее, побуждаемый прирожденной вам склонностью, вы все-таки желали бы читать книги о великих подвигах и о рыцарстве, прочтите в Священном Писании Книгу Судей, и вы найдете там возвышенные истины и столь же правдивые, как и доблестные подвиги. В Португалии был Вириатус, в Риме – Цезарь, в Карфагене – Аннибал, в Греции – Александр, в Кастилии – граф Фернан Гонсалес², в Валенсии – Сид, в Андалузии – Гонсало Фернандес³, в Хересе – Гарсия Перес

¹ Perder les estribos – в виде метафоры.

² Живший в X веке, истинный основатель независимости Кастилии – герой бесконечного числа баллад и легенд.

³ «Великий Капитан», знаменитый полководец.

де Варгас¹, в Эстремадуре – Диего Гарсиа де Паредес, в Толедо – Гарсиласо², в Севильи – дон Манусель де Леон³; и чтение о доблестных их подвигах может развлекать, поучать, изумлять и восхищать самые возвышенные умы. Такое чтение было бы достойно светлого разума вашей милости, сеньор Дон Кихот, и благодаря ему вы обогатились бы знанием истории, полюбили бы добродетель, научились бы многому хорошему, привычки ваши улучшились бы, вы стали бы храбрым без опрометчивости, осторожным без трусости, все это во славу Божию, на пользу вам, и в прославление Ламанчи, откуда, как мне говорили, ваша милость ведет свой род и происхождение.

Дон Кихот с величайшим вниманием слушал речь каноника и, когда он увидел, что тот кончил, посмотрел пристально на него некоторое время и затем сказал:

– Мне кажется, сеньор идальго, будто вы словами своими имели в виду дать мне понять, что на свете никогда не было странствующих рыцарей и что все рыцарские книги лживы и обманчивы, бесполезны и вредны для общества, и я худо поступал, читая их, еще хуже, веря в них, и, хуже всего – подражая им тем, что избрал себе столь трудную профессию странствующего рыцарства, которому они учат. Кроме того, вы отрицаете, чтобы когда-либо на свете существовали Амадисы Галльские или Греческие и все остальные рыцари, которыми полны рыцарские книги.

– Все это точь в точь, как ваша милость только что передала, – сказал каноник.

На это Дон Кихот ответил:

– Ваша милость добавила еще, что рыцарские книги принесли мне большой

вред тем, что помутили мне рассудок и довели до клетки, и еще что для меня было бы полезнее исправиться, переменить род чтения и читать другие, более правдивые книги, которые лучше развлекают и вместе с тем поучают.

– Совершенно верно, – подтвердил каноник.

– Но я со своей стороны, – возразил Дон Кихот, – считаю, что лишенный рассудка и очарованный – вы, милость ваша, вы, который наговорили столько хулы против вещи, признанной всем миром и известной за такую истину, что тот кто ее отрицает, как ваша милость ее отрицаете, заслуживал бы ту же кару, какой по словам вашей милости вы подвергаете книги, когда вы их читаете, и они наводят на вас скуку. Потому что желать уверить кого-либо, будто на свете не существовало Амадиса и всех остальных странствующих рыцарей, которыми полны истории, все равно, что желать убедить, будто солнце не светит, лед не охлаждает и земля нас не держит. Ведь, какой же разумный человек в мире был бы способен убедить другого, что все касающееся инфанты Флорипес и Гюи Бургундского, и Фиерабраса у моста Мантибльского, случившееся во времена Карла Великого, неправда? Клянусь, что это также верно, как и то, что теперь день. Если же это ложь, должно быть ложью и то, что был Гектор, Ахилл, Троянская война, двенадцать пэров Франции, английский король Артур, до сегодняшнего дня еще превращенный в ворона и возвращения которого, не переставая, ждут в его королевстве. Тогда осмелятся также сказать, что и история Гуарино Мескино и сказание о «Поисках Святого Грааля» вымышлены, и что любовь

¹ Знаменитый герой, прославившийся при осаде Севильи.

² Тоже известный полководец, рыцарь, отличившийся при взятии Гренады.

³ Знаменитый герой, прославившийся в битве под Гренадой.

Дона Тристана к королеве Изольде, как и любовь Хиневры к Лансероту – апокриф; а между тем есть люди, которые почти помнят, что видели дуэнью Кинтаньону, бывшую лучшим виночерпием во всей Великобритании, и это так верно, что я и сам помню, как моя бабушка с отцовской стороны, увидав какую-нибудь дуэнью в почтенном головном уборе, говорила мне: «Эта вот, внучек, похожа на дуэнью Кинтаньону», – из чего я заключаю, что должно быть она была знакома с ней, или по крайней мере видела случайно какой-нибудь ее портрет. И кто же мог бы отрицать правдивость истории Пьера и красавицы Магалоны, когда до настоящего дня в королевском арсенале можно видеть болт, которым доблестный Пьер управлял деревянной лошастью, носившей его по воздуху, болт несколько больше дышла кареты? Рядом с ним хранится и седло Бабиеки, а в Ронсевале – рог Роланда, величиной с большое бревно, и из всего этого приходится сделать вывод, что были и двенадцать пэров, был и Пьер, был и Сид и другие подобные им рыцари из тех, о которых люди говорят, что они отправляются в поиски за приключениями. А если нет, пусть мне также скажут, будто неправда и то, что странствующим рыцарем был храбрый лужитанец Хуан де Лерма, который поехал в Бургундию и сражался в городе Рас со знаменитым сеньором де Шарни, которого звали Мосен Пьер, а затем в городе Базеле с Мосен Энрике де Реместан, и из обоих предприятий вышел победителем, покрыв себя славой и почетом. А приключения и поединки в Бургундии храбрых испанцев Педро Барба и Гутиерро Кихада (из рода которых я происхожу по прямой мужской линии), победивших сыновей графа Сен-Поля? Отрицайте также и то, что дон Фернандо де Гевара

ездил искать приключений в Германию, где он сражался с Мисер Юрхе – рыцарем из Австрийского Герцогского дома. Пусть скажут, что и турниры Суэро де Киньонес дель Пасо – басни, так же, как и предприятия Мосена Люиса де Фальсес против кастильского кабальеро дона Гонсало де Гусмана, и многие другие подвиги, совершенные христианскими рыцарями Испании и иных стран, и которые настолько достоверны и истинны, что, повторяю, тот, кто их отрицает, должен быть лишен всякого здравого смысла и сообразительности.

Каноник был изумлен, слушая эту смесь истины и лжи в речи Дон Кихота, так же как и его сведениями во всем, что касалось и относилось до подвигов странствующего рыцарства, и он возразил ему так:

– Не могу отрицать, сеньор Дон Кихот, что есть некоторая доля правды в том, что вы говорили, и в особенности в том, что касается испанских странствующих рыцарей. Я согласен также допустить и существование двенадцати пэров Франции, но не могу поверить, чтоб они совершили все те вещи, о которых пишет архиепископ Турпин. Истинно лишь то, что это были рыцари, избранные французскими королями, и их называли *пэрами*, потому что все они были *равны* доблестию, мужеством и знатностью происхождения, или, если этого и не было, то, по крайней мере, должно было быть; и это был орден в роде теперешних орденов Сантего или Калатравы, где также предполагается, что все члены есть или должны быть рыцарями достойными, доблестными и знатного происхождения; и как теперь говорят, рыцарь ордена Сан Хуана или Алькантара, в те времена говорили – рыцарь двенадцати пэров, потому что всегда было двенадцать во всем равных рыцарей, которые избира-

лись в этот военный орден. В том, что существовал Сид, нет сомнения, а также и в том, что существовал Бернардо дель Карпио, но чтобы они совершали приписываемые им подвиги, это, я думаю, подлежит весьма большому сомнению. Что же касается болта графа Пьера, о котором говорила ваша милость, будто он лежит рядом с седлом Бабиески в королевском арсенале, каюсь в своем грехе: я или так невежествен, или так близорук, что хотя и видел седло, но не видел болта, несмотря на то, что он столь велик, как говорит ваша милость.

– Тем не менее, он там находится, и это несомненно, – возразил Дон Кихот, – а как на дальнейшую примету ука-

зывают, что его держат в кожаном чехле, чтоб он не заржавел.

– Все может быть, – ответил каноник, – но клянусь моим духовным саном, я не помню, чтоб когда-либо видел его. И даже допустив, что он там находится, это ни мало не обязывает меня верить историям стольких Амадисов, или же историям великого множества других рыцарей, о которых повествуется в книгах, и не причина, чтобы человек, столь уважаемый, одаренный такими достоинствами и таким светлым умом, как ваша милость, поверил, что все эти удивительные нелепости, о которых рассказывается в бессмысленных рыцарских книгах, – истинные происшествия.





Глава I

Об остроумном споре Дон Кихота с каноником и о других событиях.

Вот так прекрасно, – ответил Дон Кихот, – книги, которые печатаются с разрешения королей и с одобрения тех, кто поставлен просматривать их, которые с таким наслаждением читают и которыми восхищаются великие и малые, бедные и богатые, ученые и неучи, простонародье и люди знатного происхождения, словом, всякого рода люди, какого бы они ни были звания и положения, эти книги по-вашему – ложь? А тем более еще, что они носят на себе такой отпечаток правды, сообщая нам об отце, матери, родине, о родственниках, о возрасте, местопребывании и деятельности, шаг за шагом и день за днем, та-

кого-то рыцаря или таких-то рыцарей? Молчите, милость ваша, не произносите подобной хулы и поверьте, что, говоря так, я советую вам поступить, как следует умному человеку; если же не верите, прочтите те книги, и вы убедитесь, какое удовольствие доставит вам их чтение. Потому что, скажите мне, есть ли большее наслаждение, как увидеть, скажем, к примеру, тут сейчас раскинувшееся перед нашими глазами большое озеро смолы, и кипит оно белым ключом, а в смоле плавает, пересекая друг другу дорогу, множество змей, ужей, ящериц, и других животных всех родов, ужасных и свирепых, а из озера подымается глубоко-печальный голос, и он говорит: «Кто бы ты ни был, рыцарь, ты, кото-

рый смотришь на страшное озеро, если хочешь достигнуть счастья, скрытого под этой черной водой, докажи мужество твоего доблестного сердца и бросься в середину черной и воспламененной жидкости, – так как, если ты этого не сделаешь, ты не удостоишься лицезреть великие чудеса, скрытые и заключающиеся в семи замках семи фей, там, в глубине этих черных волн». И едва рыцарь услышит страшный этот голос, он, ни на миг не рассуждая с собой и не размышляя об опасности, которой подвергается, даже не освободившись от тяжелого своего вооружения, поручив себя Богу и своей сеньоре, бросается в глубину кипящего озера, и когда он менее всего ожидает этого и не знает, что станет с ним, он очутится среди цветущих полей, с которыми и Елисейские никоим образом не могут сравниться. Здесь ему кажется, что и небо более прозрачно, и солнце сияет новым блеском. Его глазам представляется прекрасная роща, состоящая из таких зеленых и густолиственных деревьев, что их зелень радует зрение, а слух наслаждается сладким, необученным пением маленьких бесчисленных пестрых птичек, порхающих на переплетенных ветках деревьев. Тут он видит ручеек, прохладные воды которого кажутся ему жидким хрусталем и бегут по тонкому песку и белым камешкам, похожим на просеянное сквозь решето золото и чистый жемчуг. Там он примечает фонтан художественной работы из цветной яшмы и полированного мрамора, а дальше усматривает другой, сложенный как бы попросту из мелких, устричных раковин, и витых домиков улиток, белых и желтых, расположенных в каком-то кажущемся беспорядке и перемешанных с кусочками блестящего хрусталя и поддельных изумрудов, и все это являет такую пеструю соразмерность, что

искусство, подражающее здесь природе, по-видимому, торжествует над нею. Дальше неожиданно открывается перед ним укрепленный замок, или дивный дворец, стены которого из кованного золота, зубцы на стенах – из бриллиантов, ворота – из гиацинтов; словом, он так изумительно сооружен, что хотя материал, из которого он выстроен, не более не менее как алмазы, карбункулы, рубины, жемчуг, золото и изумруды, но искусство работы драгоценнее материала. А налюбовавшись всем этим, может ли быть более прекрасное зрелище, как увидеть вереницу молодых девушек, выходящих из ворот замка, в таких роскошных и ярких нарядах, что, если бы я стал их описывать, как это делается в рыцарских историях, я никогда бы не кончил; и затем та, которая кажется самой знатной из всех, берет за руку смелого рыцаря, бросившегося в пылающее озеро, и, не говоря ни слова, ведет его в роскошный замок или дворец, где его раздевают донага, как мать родила, купают в теплой воде, тотчас же натирают всего благоуханными мазями и надевают на него сорочку из тончайшего шелка, душистую и благовонную, – после чего другая знатная девушка подходит к нему и набрасывает на плечи мантию, которая по меньшей мере, говорят, стоит целого города и даже большего. И что может быть прекраснее, когда, как нам рассказывают, после всего этого еговедут в другой зал, где он видит столы, накрытые с таким вкусом, что он удивлен и изумлен. А когда ему льют на руки воду, перегнанную на амбре и душистых цветах, и усаживают его в кресло из слоновой кости? А когда все молодые девушки служат ему, храня чудесное молчание, и подают ему такие разнообразные и так вкусно приготовленные блюда, что он не знает, к которому из них протянуть

руку? А затем, какое удовольствие слушать музыку, пока он ест, не зная, кто играет и откуда раздаются звуки? Наконец, когда обед кончен, со стола убрано, и рыцарь сидит, прислонившись к стенке кресла, может быть, ковыряя в зубах, как это в обычае, вдруг в зал входит еще одна молодая девушка, прекраснее всех остальных, и она садится рядом с рыцарем и начинает рассказывать ему, что это за замок, как она в нем очарована, и еще другие вещи, которые приводят рыцаря в удивление, а читателя его истории в изумление. Не хочу дальше распространяться об этом, так как и из сказанного можно вывести заключение, что какое бы то ни было место в какой бы то ни было истории странствующего рыцаря должно возбудить удовольствие и удивление во всяком любом читателе. Поверьте мне, милость ваша, читайте, как я уже раньше говорил, эти книги, и вы увидите, что они разгонят тоску, если бы вы ее чувствовали, и благотворно действуют на ваше расположение духа, если бы оно было дурным. Про себя могу сказать: с тех пор, как я странствующий рыцарь, я отважен, любезен, щедр, благовоспитан, великодушен, участлив, смел, учтив, кроток, терпелив и легко переношу – трудности, заточение, очарование. Хотя я еще так недавно сидел запертый в клетке, подобно безумному, тем не менее, надеюсь доблестью руки моей, – если небо будет благоприятствовать мне и судьба не станет противодействовать, – через малое время сделаться королем какого-нибудь королевства, где мне можно будет выказать признательность и щедрость, которые сердце мое вмещает в себе, так как, по чести, сеньор, бедняк бессилен проявить добродетель щедрости относительно кого бы то ни было, если бы он и обладал ею в вы-

сочайшей степени; а признательность, которая ограничивается только желанием – вещь мертвая, как мертвая вера без дел. Вот почему я бы хотел, чтоб судьба доставила мне скорее случай сделаться императором, и я имел бы возможность выказать мои чувства, делая добро моим друзьям, в особенности этому бедному Санчо Пансе – моему оруженосцу, который лучший из людей в мире и я желал бы дать ему графство, как я это уже давно обещал; только я боюсь, что у него не хватит умения управлять своими владениями.

Едва Санчо услышал последние слова, сказанные его господином, как он воскликнул:

– Постарайтесь всеми силами, милость ваша, сеньор Дон Кихот, добыть мне это графство, много раз уже обещанное вашей милостью и которое я так давно жду, а я вам обещаю, что у меня хватит умения управлять им. Если же его у меня не хватило бы, то, как я слышал, на свете есть такие люди, которые берут в аренду владения сеньоров и платят им столько-то в год и сами уже заботятся об управлении, а сеньоры живут себе припеваючи¹ и тратят деньги, которые им выплачивают, не заботясь ни о чем другом. Так сделаю и я и не стану торговаться о большем или меньшем, а сейчас же отступлюсь от всего и буду проедать, как герцог, свои доходы, а там, хоть трава не расти.

– Это, брат Санчо, – сказал каноник, – относится только к пользованию доходами; что же касается отправления правосудия, заведывать этим обязан собственник владения, для чего требуются понимание, здравый смысл и особенно искреннее желание быть справедливым, потому что если этого не окажется в начале, то дело пойдет плохо и в середине и в конце и Бог имеет обыкновение

¹ Se está a pierna tendida – буквально, «сидит себе с вытянутыми ногами».



... и кипит оно белым ключом, а в смоле плавает, пересекая друг другу дорогу,
множество змей, ужей, ящериц, и других животных всех родов...

помогать добрым намерениям просто-душного, как и разрушать злые умыслы коварного.

– Не знаю я этих философий, – ответил Санчо Панса, – но знаю только, что желал бы так скоро получить графство, как сумел бы управлять им, потому что душа у меня не хуже, чем у всякого другого, а тела больше, чем у многих, и я был бы настолько же королем в своем государстве, как и всякий другой в своем; и будучи им, я делал бы то, что желаю; делая же то, что желаю, я доставлял бы себе приятное, и доставляя себе приятное, был бы доволен; если же кто доволен, ему нечего больше желать, и, если нечего желать, всему тут конец; лишь бы только явились мои владения, а там с Богом и да увидим мы себя, как говорил один слепою другому.

– Это не дурные «философии», как ты, Санчо, говоришь, – заявил каноник; – но тем не менее, можно было бы еще многое сказать по поводу графств.

На это Дон Кихот возразил:

– Не знаю, что еще можно было бы сказать; я руководствуюсь¹ только примером великого Амадиса Галльского, который оруженосца своего сделал графом *Insula Firme*; итак, я без всякого укора совети могу сделать графом Санчо Пансу, одного из лучших оруженосцев, когда-либо бывших у странствующего рыцаря.

Каноник был изумлен столь согласованными нелепостями, изложенными Дон Кихотом, умением, с которым он изобразил приключение рыцаря озера,

впечатлением, произведенным на него умышленной ложью прочитанных им книг, и, наконец, безрассудством Санчо, который так страстно ожидал получения графства, обещанного ему его господином.

Между тем, слуги каноника ходившие на постоялый двор, чтобы привести оттуда вьючного мула, вернулись, и когда они устроили стол из ковра и зеленой травы луга, все уселись в тени нескольких деревьев и ели тут, чтоб погонщик волов мог, как уже было сказано, воспользоваться удобствами этих мест. В то время, как они ели, вдруг послышался громкий шелест и звук бубенчиков, раздавшийся среди терновника и густого кустарника, который рос вблизи, и в ту же минуту они увидели, как оттуда выскочила премилая коза, шерсть которой была испещрена черными, белыми и серыми пятнами. За нею шел пастух, громко звавший ее и манивший обычными в таких случаях словами, чтобы заставить ее остановиться или вернуться в стадо. Бродяга – коза, испуганная и оробевшая, подбежала к обедавшим, как бы прося у них защиты, и остановилась здесь. Козопас подошел к ней, взял ее за рога и сказал ей, точно она была одарена речью и пониманием:

– Ах беглянка, беглянка, пегенькая, пегенькая! – как сильно вы все эти дни прихрамывали? Какие волки пугают вас, дочка? Не скажете-ли вы мне, в чем дело, красавица? Но что же это может быть, кроме того, что вы женского пола и не можете оставаться спокойной? К черту

¹ В третьем издании «Дон Кихота» (напечатанного в типографии Куэсты в 1608 г.) здесь вставлено следующее место: «только многими и различными примерами, которые можно было бы привести среди рыцарей моей профессии, оказывавших, – сообразно с верными и отменными услугами, полученными от своих оруженосцев, – им великие милости, делая их державными властителями городов и островов, а были и такие, чьи заслуги достигали столь высокой степени, что они имели даже чаяние стать королями. Но к чему я трачу время на это, когда предо мной столь знаменитый пример, данный великим и никогда достаточно не восхваленным Амадисом, который...», и т. д.



Здесь ему кажется, что и небо более прозрачно, и солнце сияет новым блеском...

ваши причуды и причуды всех тех, кому вы подражаете! Вернитесь, вернитесь, дорогая, потому что, если и не столь счастливая, по крайней мере, вы будете в безопасности у себя в загоне или с вашими подругами; и если вы, которая должна присматривать за ними и показывать им дорогу, блуждаете так без проводника и сбиваетесь с пути, что же станется с ними?

Слова козопаса рассмешили тех, кто их слышал, в особенности же каноника, который сказал:

– Прошу вас, брат, жизнью вашей, успокойтесь и не слишком торопитесь отводить эту козу в стадо, потому что если она, как вы говорите, женского пола, то будет следовать природным своим наклонностям, сколько бы вы не старались мешать ей. Возьмите вот этот кусок мяса, выпейте несколько глотков вина, и ваш гнев смягчится, а коза между тем отдохнет.

Говоря это, каноник подал пастуху на кончике ножа кусок жареного кролика. Козопас взял жаркое, поблагодарил, выпил вина, успокоился и сказал:

– Я бы не хотел, чтобы вы, милости ваши, приняли меня за простака, оттого что я так рассуждал с этим животным, потому что, по правде говоря, в сказанных мною словах кроется некоторая тайна. Я хотя и крестьянин, но не такой невежда, чтобы не знать, как надо разговаривать с людьми и как с животными.

– Этому я легко поверю, – сказал священник, – потому что знаю по опыту, что горы воспитывают ученых, а в пастушеских хижинах скрываются философы.

– Или же, по крайней мере, сеньор, – ответил пастух, – в них находят пристанище люди, наученные опытом, и чтобы вы могли этому поверить и словно осязать рукой – хотя меня и не просили, а я как бы сам напрашиваюсь – но, если

вам, сеньоры, не наскучит, и угодно будет на короткое время уделить мне ваше внимание, я расскажу вам истинное происшествие, подтверждающее и то, что говорил этот сеньор (он указал на священника), и мои слова.

На это Дон Кихот ответил:

– В виду того, что, случай этот, как мне кажется, имеет нечто вроде оттенка рыцарского приключения, я со своей стороны, брат, буду слушать вас очень охотно, а равно и все эти сеньоры, так как они весьма рассудительные люди и большие любители занимательных рассказов, которые удивляют, очаровывают и развлекают, как, несомненно, я думаю, это выйдет и с вашим рассказом. Итак, начинайте, друг, все мы слушаем вас.

– Исключая меня, – сказал Санчо, – потому что я с этим паштетом перейду туда, к ручейку, где намерен досыта наесться на три дня, так как я слышал от моего господина Дон Кихота, что оруженосец странствующего рыцаря должен есть, когда ему представится случай, до тех пор, пока он больше не в состоянии есть, – по той причине, что они нередко попадают в такой дремучий лес, откуда не удастся выбраться раньше шести дней, и если человек не был сыт по горло, или не имеет при себе сумки, наполненной съестными припасами, он может остаться там, как это часто и бывает, превращенный в высохшую мумию.

– Ты прав, Санчо, – сказал Дон Кихот, – ступай себе, куда хочешь и ешь, сколько можешь; что до меня, я уже сыт и мне недостает лишь одного – дать пищу моей душе, что я и сделаю, слушая рассказ доброго этого человека.

– И мы также дадим пищу душам нашим, – сказал каноник и просил козопаса приступить к обещанному рассказу.

Пастух раза два похлопал по спине козу, которую он держал за рога, гово-



... и усаживают его в кресло из слоновой кости...

ря: – Ложись здесь, возле меня, пегенькая, у нас еще довольно времени, чтобы вернуться в нашу овчарню.

Казалось, что коза поняла его слова, потому что, когда ее господин сел,

она спокойно разлеглась около него, глядя ему в лицо, как бы выражая этим, что внимательно слушает слова пастуха, который начал свою историю таким образом:





Глава LI

*В которой сообщается о том, что рассказал козопас
всем тем, кто увозил Дон Кихота.*

В трех милях от этой долины есть деревня, хотя и маленькая, а одна из самых богатых во всем округе, и там жил крестьянин очень уважаемый, и до такой степени, что, хотя всегда уважение идет во след богатым, его уважали больше за добродетели, которыми он обладал, чем за богатство, которое он нажил. Но самое большое его счастье, как он говорил, состояло в том, что у него была дочь – девушка такой необычайной красоты, редкостного ума и добродетели, что все, знавшие или видавшие ее, изумлялись неслыханным совершенствам, которыми небо и природа так щедро оделили ее. Уже девочкой была она красива, а с годами красота ее все более и более росла, и в шестнадцать лет достигла высшей своей точки. Слава о необычайной

красоте ее стала распространяться по всем соседним деревням; что я говорю по соседним деревням, – эта слава проникла не только в отдаленные города, но даже достигла и до дворцов королей и до слуха всевозможного рода людей, которые стали наезжать отовсюду, чтобы посмотреть на нее, как смотрят на редкостную вещь или на чудотворную икону. Отец берег ее и сама она берегла себя, потому что нет тех цепей, той стражи и замков, которые уберегли бы девушку лучше, чем собственная ее скромность. Богатство отца и красота дочери побуждали многих, как из того же местечка, так и приезжих, сватать ее себе в жены. Но отец, которому надлежало распорядиться судьбой такого необычайного сокровища, был смущен и не мог решить, кому передать его из бесчисленного множества докучавших

ему; и в числе этих, столь многих, одним из домогавшихся ее был и я, и основывал свои надежды на верный и хороший успех на том, что ее отец меня знал, так как я был родом из того же местечка, из уважаемой семьи, в цветущем возрасте, имел большое состояние и не был обижен умом. С такими же данными, как и я, сватался к ней еще и другой из нашего местечка, что и было причиной колебаний и нерешительности ее отца, которому казалось, что за кого бы из нас не вышла его дочь – она была бы хорошо пристроена. Чтобы выйти из этого затруднения, он надумал сказать обо всем Леандре (так называлась богатая, сделавшая меня таким бедняком), полагая, что раз достоинства обоих нас одинаковы, лучше всего предоставить любимой им дочери право выбрать того, кто ей больше нравится – пример, заслуживающий подражания всех родителей, имеющих в виду женить или выдать замуж своих детей. Я не говорю, чтоб им давали выбирать из дурных и низких вещей, а предлагали бы хорошие и из хороших предоставляли бы выбирать по их вкусу. Не знаю, какой выбор сделала Леандра, знаю только, что отец ее отговаривался перед нами обоими молодостью дочери и разными другими общими местами, которые ни к чему не обязывали его, но и не освобождали нас. Звали моего соперника Ансельмо, а меня зовут Эйхенио, – чтоб вы были осведомлены об именах действующих лиц этой трагедии, развязка которой еще не наступила, хотя не трудно предвидеть, что должно быть, она будет злополучной.

Около этого времени в нашем местечке появился некто Висенте де ла Роса, сын бедного крестьянина из нашей же деревни. Этот Висенте вернулся из Италии и разных других стран, где он служил солдатом. Его взял из дерев-

ни нашей мальчиком лет двенадцати капитан, проходивший тогда как раз со своим отрядом, и, по прошествии других двенадцати лет, он вернулся молодым человеком в щегольской пестрой и разноцветной солдатской одежде, обвешанный тысячью кусочков хрусталя и тоненькими стальными цепочками. Сегодня он надевал одно украшение, завтра другое, но все они, хотя и блестящие, были непрочны, незначительного веса и еще меньшей стоимости. Крестьяне, которые по природе склонны к злоречию, а, когда безделье представляет им к тому случай, являются воплощением злословия, подметили это, и подвели точный счет его нарядам и украшениям, из которого обнаружилось, что у него всего на всего только три костюма разных цветов с чулками и подвязками. Но он был так изобретателен с ними и умел придавать им такое разнообразие, что, если б их не сосчитали, нашлись бы люди, готовые поклясться, что видели у него больше десяти пар платья и двадцати султанов из перьев. И не сочтите неуместным и лишним то, что я так распространяюсь насчет его нарядов, потому что они сыграли выдающуюся роль в этой истории. Он садился на скамейке под большим тополем на площади села и увлекал всех нас рассказами о своих подвигах, так что мы слушали его с открытыми ртами. Не было на всем свете страны, где бы он, по его словам, не побывал, не было сражения, в котором он бы не участвовал. Он убил больше мавров, чем их имеется в Марокко и Тунисе, и у него было, будто бы, больше поединков, чем у Ганте и Луна, Диего Гарсиа де Паредес, и тысячи других, которых он называл; и отовсюду он вышел победителем, не пролив ни одной капли своей крови. А в другой раз, он показывал нам знаки от ран, хотя их и нельзя было разгля-



Не было на всем свете страны, где бы он, по его словам, не побывал

деть, и уверял нас, что это раны от ружейных пуль, полученные им в разных стычках и сражениях. Наконец, он с невиданным высокомерием говорил на *vos*¹ с равными себе, даже с теми из них, которые были хорошо знакомы с ним, и хвалился, что отец ему – его рука, его происхождение – его дела, и что в качестве солдата он и самому королю ничем не обязан. К этим его притязаниям присоединялось еще то, что он был немного музыкант и умел извлекать из гитары звуки такого рода, что некоторые уверяли, будто она у него говорит; но его таланты не ограничивались этим, потому что, сверх того, он еще был и поэтом и на каждую пустяковину, случавшуюся в селе, сочинял стихи в полторы мили длиной.

И вот этого-то солдата, которого я вам описал, этого Висенте де ла Роса, героя, щеголя, музыканта и поэта, Леандра часто видела и рассматривала из окна своего дома, выходившего на площадь. Яркие блески его наряда пленили ее, сочиненные им стихи, которые он всегда сам раздавал в двух десятках экземпляров, очаровали ее; до ее слуха дошли рассказы о подвигах, которые он приписывал себе, – словом, должно быть, дьявол так устроил, что она влюбилась в него еще раньше, чем в нем зародилась самонадеянная мысль домогаться ее. И так как из дел любви легче всех устраиваются те, на стороне которых желания женщины, Леандра и Висенте сговорились без всяких затруднений, и прежде чем у кого-либо из многочисленных ее поклонников зародилось какое-либо подозрение о ее намерении, она привела его уже в исполнение, покинув дом столь горячо любимого и чтимого ею отца, – матери у нее не

было, – и исчезнув из деревни вместе с солдатом, вышедшим из этого предприятия с большим торжеством, чем из всех остальных, которыми он так хвастал. Происшествие это изумило всю деревню и всех тех, до кого дошла весть о нем. Я был поражен, Ансельмо вне себя, отец пришел в отчаяние, родственники негодовали, правосудие встревожилось, куадрильеросы были поставлены на ноги. Они осмотрели все дороги, обыскивали леса, побывали везде, где только было мыслимо; через три дня нашли безрассудную Леандру в горной пещере, в одной лишь сорочке, без того множества денег и драгоценностей, которые она унесла с собой из дому. Ее привели к огорченному отцу и в его присутствии расспрашивали о случившемся с нею, и она, не колеблясь, созналась, что Висенте де ла Роса обманул ее и, дав ей слово жениться на ней, уговорил покинуть отцовский дом, сказав, что повезет ее в самый богатый и необычайный во всем мире город, именно, в Неаполь. И она, поверив дурным его советам и еще худшему обману, обобрала своего отца и доверилась солдату в ту ночь, когда ее хватились; а он ее завел в дикую, гористую местность и бросил в той пещере, где ее нашли. Она рассказала также, как солдат, не лишив ее чести, отнял все, что у нее было, и потом оставил ее в этой пещере и ушел, – обстоятельство, которое снова всех изумило.

Трудно было поверить в воздержание молодого парня, но она утверждала это так настойчиво, что в некоторой мере утешила неутешного своего отца, который не очень огорчился похищенными у него богатствами, так как дочери его оставили то сокровище, которое, раз оно утрачено, нет надежды

¹ Т. е. он говорил вместо *tu, ты, vos* – второе лицо множественного числа, желая этим показать, что он выше их.



...через три дня нашли безрассудную Леандру
в горной пещере, в одной лишь сорочке...

когда-либо вернуть назад. В тот самый день, когда Леандра была найдена, отец ее снова скрыл ее от наших глаз и увез в монастырь в ближайший город, надеясь, что время хоть отчасти изгладит дурную славу, которую его дочь навлекла на себя. Юные годы Леандры послужили оправданием ее вины, по крайней мере, в мнении тех, которым было безразлично, хороша ли она или дурна, а те, что знали, насколько она умна и проницательна, не приписали ее греха неопытности, а легкомыслию и прирожденной наклонности женщин, большая часть которых обыкновенно бывает безрассудными и непостоянными.

Когда засадили в монастырь Леандру, глаза Ансельмо ослепли, по крайней мере, в том смысле, что он перестал видеть что-либо могущее доставить ему удовольствие, и мои глаза померкли, не видя перед собой ни единого луча света и радости в отсутствие Леандры. Наше горе усиливалось, терпение истощалось, мы проклинали щегольство солдата и негодовали на отца Леандры за недостаток предусмотрительности. Наконец, Ансельмо и я, мы сговорились покинуть деревню и уйти в эту вот долину, где он пасет большое стадо овец, принадлежащее ему, а я, — не меньшее количество принадлежащих мне коз. Мы проводим здесь с ним нашу жизнь, среди деревьев, давая свободный выход нашим чувствам, и вместе поем то хвалу, то осуждение прекрасной Леандре, или же каждый из нас вздыхает наедине, воссылая к небу свои жалобы. Подражая нашему примеру, и многие другие поклонники Леандры явились в эти дикие горы и предаются здесь тем же занятиям, как и мы. Их так много, что эта местность превратилась в пастушескую Аркадию, до того здесь все полно пастухами и овчарнями, и всюду раздается лишь имя

прекрасной Леандры. Этот проклинает ее, называя сумасбродной, непостоянной, бесчестной; тот бранит за легкомыслие и ветреность; один извиняет и прощает ее, другой одновременно и оправдывает и осуждает, один прославляет ее за красоту, другой возмущается ее легкомыслием; наконец, все ее осуждают и все ее боготворят. Безумие их доходит до того, что иной жалуется на ее пренебрежение, не сказав с ней никогда ни слова, и даже некоторые оплакивают себя и терзаются бешеным недугом ревности, к которому она не дала ни малейшего повода, так как я уже говорил, что грех ее сделался известным раньше, чем желание совершить его. Нет углубления в скале, ни берега ручейка, ни тени под деревом, где бы не виднелся пастух, оглашающий воздух повестью о своих несчастьях. Эхо повторяет всюду, где только оно может зародиться, имя Леандры. «Леандра» раздается в горах, «Леандра» журчат ручейки, и Леандра держит нас всех сбитых с толку и очарованных, надеющихся без всякой надежды и боящихся, не зная, чего мы боимся.

Среди этих безумных, меньше всех выказывает здравого смысла, а на деле имеет его больше всех, мой соперник Ансельмо, который, имея много других причин, чтобы жаловаться, жалуется только на разлуку и под звуки рабеля, — на нем он изумительно играет, — поет о грустной своей судьбе стихами, обнаруживающими замечательный его поэтический талант. Я же иду по другой, более легкой дороге, а на мой взгляд, самой верной, и браню легкомыслие женщин, их непостоянство, двосудшие, лживость их обещаний, коварное вероломство, и, наконец, неразумие, выказываемое ими при выборе того, на кого устремляют они свои мысли и чувства. Это-то и был, сеньоры, повод к тем словам и речам, с

которыми я, идя сюда, обратился к своей козе, и о ней, так как она женского пола, я не высокого мнения, хотя она и лучшая коза из всего моего стада. Вот история, которую я вам обещал рассказывать. Если же я рассказал вам ее слиш-

ком пространно, то не буду скупиться и на то, чтобы служить вам. Здесь, поблизости, моя овчарня, и там у меня свежее молоко, вкуснейший сыр и спелые фрукты, столь же приятные на глаз, как и на вкус.





Глава LII

О ссоре Дон Кихота с козопасом и о редкостном приключении с бичующимися, счастливо завершенное рыцарем в поте своего лица.

Рассказ пастуха очень понравился всем, кто его слышал, и особенно канонику, который с чрезвычайным любопытством отметил манеру его изложения, далеко не напоминавшую грубого козопаса, а скорее тонко образованного человека, и сказал, что священник был прав, говоря, будто горы воспитывают ученых. Все присутствовавшие предлагали свои услуги Эйхенио, но наиболее щедрым в этом отношении оказался Дон Кихот, который сказал ему:

– Конечно, брат козопас, если бы я только имел возможность предпринять какое-нибудь приключение, не медля ни минуты отправился бы я в путь, чтобы сделать вам приятное, а именно, освободить Леандру из монастыря (где, вне всякого сомнения, ее удерживают против ее воли); сделал бы я это вопреки игуменьям и всех, кто пожелал бы воспрепятствовать мне. И я передал бы ее вам в руки, чтоб вы могли поступить с ней сообразно с вашей волей и желанием, соблюдая, однако, законы рыцарства, повелевающие не причинять никакой девушке какого бы то ни было насилия. Но я надеюсь на Бога, нашего Господа, что власть злобно-го чародея не столь велика, чтобы не восторжествовало над нею могущество другого чародея более благожелательного, и

тогда я обещаю вам свою защиту и поддержку, как к тому обязывает меня мое призвание, состоящее в том, чтобы оказывать помощь слабым и обездоленным.

Козопас пристально взглянул на него и, увидав жалкую одежду и странную наружность Дон Кихота, удивился и спросил цирюльника, сидевшего рядом с ним:

– Сеньор, кто этот человек, с такой фигурой и который говорит таким образом?

– Кто это может быть, – ответил цирюльник, – как не знаменитый Дон Кихот Ламанчский, отомститель за обиженных, защитник угнетенных, опора девушек, страх великанов и победитель в битвах?

– Это напоминает мне, – сказал козопас – то, что читаешь в книгах о странствующих рыцарях, которые делали все, что ваша милость говорит об этом человеке, хотя, насколько мне кажется, или милость ваша шутит, или же у этого кабальеро, по-видимому, совсем пусто в голове.

– Величайший вы негодяй! – сказал тогда Дон Кихот, – вы-то и есть пустоголовый и несостоятельный, а у меня голова такая полная, какой никогда не была та блудница – сын блудницы, – что произвела вас на свет!

Говоря таким образом, он схватил лежавший около него хлеб и так беш-

но и удачно бросил его в лицо козопаса, что этим ударом приплюснул ему нос. Но козопас, не признававший подобных шуток, видя, как с ним не в шутку плохо обходятся, кинулся, без всякого уважения к ковро, к скатерти и ко всем обедавшим, на Дон Кихота, схватил его обеими руками за горло и непременно задушил бы, если бы Санчо Панса не подоспел как раз во время и, схватив его за плечи, не отбросил бы навзничь на стол, ломая тарелки, разбивая стаканы, и разливая и разбрасывая все, что было на столе. Почувствовав себя свободным, Дон Кихот опять бросился на козопаса, который с окровавленным лицом, избитый и измолотый кулаками Санчо, ощупью искал на столе нож, чтоб произвести им кровавую расправу. Но каноник и священник остановили его, а цирюльник устроил так, что козопасу удалось подмять под себя Дон Кихота, на которого он обрушился таким градом ударов, что лицо бедного рыцаря оказалось столь же окровавленным, как и его собственное. Каноник и священник хохотали до упада, куадрильеры скакали от удовольствия, и все натравливали друг на друга бойцов, как это делают с собаками, которые грызутся. Один лишь Санчо Панса был в отчаянии, так как не мог вырваться из рук слуги каноника, державшего его, чтобы он не бросился на помощь к своему господину. Наконец, в то время, когда все были веселы, исключая двух противников, терзавших друг друга, они услышали такой печальный звук трубы, что он заставил их обернуть головы к тому месту, откуда, казалось, неслись эти звуки. Но

тот, кто больше всех взволновался, услышав их, был Дон Кихот; и хотя он и лежал еще против своей воли под козопасом и был порядочно избит, он сказал своему противнику:

– Брат дьявол, – так как невозможно, чтобы ты им не был, раз у тебя оказалось достаточно мужества и силы, чтобы подчинить себе мою силу и мое мужество, – прошу тебя о перемирии на один лишь час, ввиду того, что печальный звук трубы, который донесся до нашего слуха призывает меня, как мне кажется, к какому-нибудь новому приключению.

Козопас, уже утомившийся бить и быть битым, тотчас же бросил его, а Дон Кихот поднялся и, повернув глаза в ту сторону, откуда раздавались звуки трубы, увидел, что с холма спускается множество людей, одетых сверху донизу в белое, по обычаю кающихся и бичующихся¹. Случилось так, что облака в том году отказались орошать своей влагой землю, и во всех местечках округа были устроены процессии с молитвой и бичеванием, чтобы умолить Бога простереть длань своего милосердия и ниспослать дождь. С этой целью жители деревни, лежавшей вблизи оттуда, шли процессией к почтаемой ими пустыне, находившейся на склоне холмистой этой долины. При виде странной одежды кающихся Дон Кихот, позабыв, сколько раз и раньше еще ему случалось видеть то же самое, вообразил, что это какое-то приключение и только ему одному, в качестве странствующего рыцаря, надлежит предпринять его. Еще больше утвердило его в этой фантазии предположение, что статуя, которую они

¹ Бичующиеся (disciplinantes) были люди, которые в масках и в белых холщовых грубых одеждах устраивали процессии, за собственный счет, или по найму. Они шли, бичуя себя веревками, побужденные к тому религиозным рвением или же тщеславием. Но профессия эта уже стала падать в общественном мнении во времена Сервантеса, хотя публичные выступления наемных бичующихся по случаю траура или скорби были запрещены не раньше, как только столетие спустя.

несли, покрытую трауром, знатная сеньора, насильно увезенная бессовестными этими негодяями и разбойниками. Лишь только эта мысль мелькнула в его уме, он быстро бросился к Росинанту, который пасся вблизи, и, сняв висевшие на луке седла узду и щит, тотчас же взнуздав свою лошадь и затем, спросив у Санчо меч, вскочил на Росинанта и, прикрыв себя щитом, громким голосом крикнул всем присутствовавшим:

– Теперь, доблестное общество, вы увидите, как важно, чтобы в мире были рыцари, давшие обет странствующего рыцарства; теперь, говорю я, освобождение доброй этой сеньоры, которую везут там в плену, покажет вам, нужно ли почитать странствующих рыцарей!

И говоря это, он сжал икрами бока Росинанта, так как шпор у него не было, и во весь галоп (в этой правдивой истории мы еще не видели, чтобы Росинант когда-либо неся в карьер) поехал навстречу бичующимся, несмотря на то, что каноник, священник и цирюльник пытались остановить его. Это оказалось невозможным, а также не могли остановить его и слова Санчо, кричавшего ему вслед:

– Куда вы едете, сеньор Дон Кихот? Какие демоны в груди у вас побуждают вас идти против нашей католической веры? Обратите внимание, – несчастный я! – что это процессия бичующихся, а та сеньора, которую несут на пьедестале, благословеннейшее изображение Беспорочной Божией Матери. Подумайте, милость ваша, о том, что вы делаете, так как на этот раз, можно сказать, это не то, что вы знаете!¹

Но Санчо тщетно утруждал себя, потому что его господин так сильно

стремился догнать привидения в белых саванах и освободить даму в трауре, что ни слова не слышал, и хотя бы и слышал, все равно не вернулся бы, если б даже сам король приказал ему это. Подъехав к процессии, он остановил Росинанта, уже чувствовавшего желание немного отдохнуть, и угрожающим и хриплым голосом крикнул:

– Вы, которые закрываете себе лица, должно быть, оттого, что вы злые, остановитесь и выслушайте то, что я желаю вам сказать!

Первыми остановились те, которые несли статую, а один из четырех священнослужителей, певших молебен, увидав странную фигуру Дон Кихота, худобу Росинанта и другие подробности, замеченные и открытые им в Дон Кихоте, могущие вызвать смех, ответил ему:

– Сеньор брат, если вы желаете сказать нам что-нибудь, говорите поскорей, потому что эти братья идут, бичуя себя до крови, и мы не можем и не должны останавливаться и выслушивать что бы то ни было, разве только это так коротко, что можно сказать в двух словах.

– Скажу и в одном, – возразил Дон Кихот, – и вот оно: тотчас-же и немедленно освободите прекрасную эту сеньору, слезы и грустный вид которой ясно доказывают, что вы увозите ее против ее воли и нанесли ей великое оскорбление. Я, который родился на свет, чтобы исправлять такого рода обиды, не позволю вам сделать ни шагу, пока вы не вернете ей желанную и заслуженную ею свободу.

Из этих слов Дон Кихота все, слышавшие их, вывели заключение, что, должно быть, он сумасшедший, и разразились громким смехом. Но этот смех был точно порох, брошенный в пламя гнева

¹ Que no es lo que sabe. – По-видимому, у Санчо на уме поговорка: Cada uno hace lo que sabe; т. е. всякий делает то, что он хочет, намерен или привык делать, и он намекает, что на этот раз Дон Кихот делает нечто, к чему он не привык, или что он не намерен делать.



Один лишь Санчо Панса был в отчаянии...

Дон Кихота, потому что, не говоря ни слова, он обнажил меч и бросился к носилкам. Один из тех, которые их несли, оставив ношу товарищам, шагнул вперед навстречу Дон Кихоту, размахивая вилообразной палкой или шестом, которым он поддерживал носилки во время остановок. По этому шесту и пришелся сильный удар, нанесенный Дон Кихотом и разрубивший шест надвое; но обломком, оставшимся у него в руках, крестьянин обрушил такой увесистый удар на плечо Дон Кихота, как раз с той стороны, где был меч, и которая не могла быть защищена против крестьянской силы щитом, что бедный Дон Кихот упал на землю в очень печальном состоянии.

Санчо Панса, бежавший чуть не задыхаясь за своим господином по пятам, увидав, что тот упал, крикнул нападавшему на него, чтобы он не бил его больше, так как это бедный очарованный рыцарь, который во всей своей жизни никому не сделал зла. Но крестьянина остановил не крик Санчо, а то, что он увидел лежавшего недвижимо на земле Дон Кихота и подумал, что он его убил, отчего поспешно подоткнул под пояс длинное свое одеяние и бросился бежать по полю, как олень. В это время подошли и все остальные из общества Дон Кихота к месту, где он лежал; но участвовавшие в процессии, видя, что они бегут к ним, а с ними и куадрильеры со своими самострелами, боясь, чтобы не вышло чего худого, собрались в кружок около статуи Божьей Матери, и, надев на головы капюшоны, держа крепко в руках бичи, а священники факелы, ждали нападения, решив защищаться, и если окажется возможным, и напасть на своих противников. Но судьба отнеслась к ним более благосклонно, чем они думали, так как Санчо ничего другого не сделал, как только бро-

сился на тело своего господина и поднял над ним самый горький и уморительный в мире плач, думая, что Дон Кихот умер. Нашего священника узнал другой священник, бывший в процессии, и благодаря этому обстоятельству прекратились все опасения со стороны обоих отрядов. Один священник сообщил в двух словах другому, кто такой Дон Кихот; и он, также как и вся толпа бичующихся, подошли взглянуть, убит ли бедный кабальеро или нет, и слышали, что Санчо Панса, со слезами на глазах, говорил:

– О! цвет рыцарства, от одного лишь удара дубиной кончивший поприще столь хорошо потраченных тобою лет! О, честь рода своего, гордость и слава всей Ламанчи и даже всего мира, который, лишившись тебя, переполнится злодеями, не опасющимися быть наказанными за свои преступления! О! ты, более щедрый, чем все Александры¹, так как всего за восемь месяцев службы, ты дал мне лучший остров, который море опоясывает и окружает! О, ты, смиренный с надменными, горделивый со смиренными, отважный в опасностях, терпеливо выносивший оскорбления, влюбленный без причины, подражатель добрых, бич злых, враг всего низкого, – словом странствующий рыцарь, так как этим все сказано, что только можно сказать!

Под вопли и рыдания Санчо, Дон Кихот ожил, и первые слова, произнесенные им, были следующие:

– Тот, кто живет в разлуке с вами, сладчайшая Дульсинея, испытывает большие страдания, чем эти! Помогите мне, Санчо друг, сесть в очарованную повозку, потому что я не в состоянии держаться на седле Росинанта, так как все это плечо разбито у меня вдребезги.

– Это я сделаю с величайшей охотой, сеньор мой, – ответил Санчо, – и

¹ Александр Македонский.



Под вопли и рыдания Санчо, Дон Кихот ожил, и первые слова, произнесенные им, были следующие...

вернемтесь в мою деревню в обществе этих сеньоров, желающих вам добра, и там мы обдумаем план нового выезда, который принес бы нам больше чести и выгоды.

– Ты правильно рассудил, Санчо, – ответил Дон Кихот, – благоразумнее всего дать пройти дурному влиянию созвездий, которое теперь тяготит над нами.

Каноник, священник и цирюльник сказали, что рыцарь как нельзя лучше поступит, если исполнит то, о чем сейчас говорил; итак, от души позабавившись над простотой Санчо Пансы, они усадили Дон Кихота в повозку, как он раньше ехал; процессия выстроилась снова и продолжала свой путь. Козопас простился со всеми; квадрильеры отказались идти дальше, и священник заплатил им то, что было условлено; каноник попросил священника сообщить ему, что случится с Дон Кихотом, – излечится ли он от своего безумия или останется болен, – после чего он простился со священником и продолжал свое путешествие. Наконец, все распрощались, и каждый отправился своей дорогой, оставив священника и цирюльника одних с Дон Кихотом, Санчо Пансой и добрым Росинантом, который во всем, что ему пришлось пережить, выказал столько же терпения, как и его господин.

Возчик запряг своих волов, усадил Дон Кихота на вязанку сена и с обычной медлительностью поехал по дороге, которую ему указывал священник. Через шесть дней они добрались до деревни рыцаря, куда въехали в полдень, да еще в воскресенье, когда весь народ был на площади, через которую и проехала повозка Дон Кихота. Все сбежались смотреть, что такое в повозке, но когда они узнали своего земляка, то очень изумились, а один мальчик кинулся со всех ног

к ключнице и племяннице сообщить, что их дядя и господин едет худой и желтый, растянувшись на связке сена в повозке, запряженной волами. Было жалостно слышать крики, которыми разразились две добрые сеньоры, звуки шлепков, какими они себя награждали, проклятия, срывавшиеся с их уст на окаянные рыцарские книги, и все это возобновилось снова, когда Дон Кихот въезжал в ворота своего дома.

Услыхав весть о приезде Дон Кихота, прибежала и жена Санчо Пансы, знавшая уже теперь что муж ее служил у рыцаря оруженосцем, и лишь только она увидела Санчо, первым делом спросила его, здоров ли осел. Санчо ответил, что осел здоровее своего господина.

– Да будет благодарение Богу, – разила она, – который оказал мне такую великую милость; а теперь, скажите мне, друг, какую выгоду извлекли вы из вашей должности оруженосца? Какое платье привезли вы мне? Какие башмачки вашим детям?

– Ничего этого не привез я, жена, – ответил Санчо; – а привез другие вещи, более ценные и значительные.

– Очень рада этому, – ответила жена, – покажите-ка мне вещи, более ценные и значительные, друг мой, потому что я желаю видеть их, чтобы воздавалось это сердце мое, которое было таким печальным и грустным в долгие века вашего отсутствия.

– Покажу их вам дома, жена, – сказал Панса, – теперь же довольствуйтесь тем, что, если Богу будет угодно и мы еще раз отправимся в поиски за приключениями, вы увидите меня скоро графом или губернатором острова, и не такого, как здесь у нас, а лучшего, какой только можно найти.

– Дай-то Бог, муж мой, нам бы это очень пригодилось. Но скажи же мне,

что это такое насчет островов? Я не понимаю этого.

– Мед не для ослиного рта, – ответил Санчо; – узнаешь все в свое время, жена, и даже удивишься, когда твои вассалы будут тебя величать: *ваша милость, сеньора*.

– Что это ты, Санчо, говоришь о величании сеньорой, островах и вассалах? – спросила Хуана Панса; так звали жену Санчо, хотя они и не были сродни, но потому что в Ламанче обычай, чтобы жены принимали прозвище мужей¹.

– Не трудись, Хуана, узнать все так поспешно; довольно, что я говорю тебе правду, и зашей себе рот. Могу сказать тебе только одно мимоходом: нет более приятной вещи в мире, как хорошему человеку служить оруженосцем у странствующего рыцаря, искателя приключений. Правда, что большая часть встречающихся приключений выходят не такими, какие бы желал человек, потому что из ста, которые встретятся, девяносто девять оказываются обыкновенно неудачными и неблагоприятными. Знаю это по опыту, так как некоторые из них кончились для меня бросанием вверх на одеяле, другие тем, что я был избит; но все же вещь приятная поджидать приключения, проезжая по горам, бродя по лесам, влезая на скалы, посещая замки и живя на постоялых дворах в свое удовольствие, не платя ни одного мараведиса, черт возьми!

Пока этот разговор происходил между Санчо Пансой и женой его Хуаной Панса, ключница и племянница Дон Кихота встретили его, раздели и уложили на прежнюю его постель. Он смотрел на них искоса и не мог понять, где он находится. Священник поручил племянни-

це как можно заботливее ухаживать за своим дядей и хорошенько присматривать за ним, чтобы он еще раз не сбежал у них; и затем рассказал все, что нужно было сделать, чтобы привезти его домой. Тут обе женщины снова подняли крики, то осыпая проклятиями рыцарские книги, то прося небо низвергнуть в глубину бездны авторов столь великого множества лжи и нелепостей. Словом, они были смущены и напуганы мыслью, что могут опять остаться без своего дяди и господина, лишь только он почувствует себя немного лучше; и так оно и случилось, как они опасались.

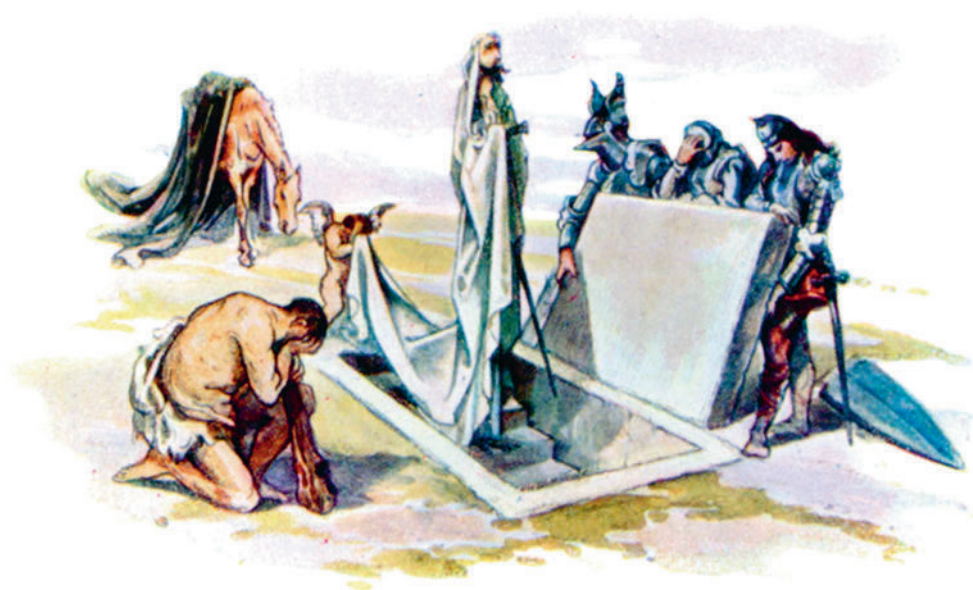
Но автор этой истории, хотя и разыскивал с любознательностью и рвением данные о подвигах, совершенных Дон Кихотом при третьем его выезде, не мог найти сведений о них, по крайней мере в достоверных сочинениях. Только предание сохранило в воспоминании жителей Ламанчи, что, выехав в третий раз из дому, Дон Кихот направился в Сарагосу, где он появился в нескольких знаменитых турнирах, происходивших в этом городе, и что здесь с ним случились события, достойные его великого мужества и светлого ума. Наш автор не мог бы ничего узнать о кончине и смерти Дон Кихота и так бы никогда и не узнал ничего, если б не встретился, благодаря счастливой случайности, со старым доктором, которому принадлежал свинцовый ящик, найденный им, по его словам, под развалинами фундамента древнего скита, который перестраивали. В этом ящике оказалось несколько пергаментов, исписанных готическим шрифтом, но кастильскими стихами, в которых повествовалось о многих подвигах Дон Кихота, воспевалась красота Дульсинеи

¹ Из этого следует, что в остальной Испании не было в обычае, чтобы жены принимали фамилию мужей. Даже и теперь жена в дворянских семьях сохраняет свое девичье имя, к которому присоединяется фамилия мужа уже в виде добавления.

Тобосской, вид Росинанта, верность Санчо Пансы и похороны самого Дон Кихота, с разными надгробными надписями и похвальными стихами на его жизнь и нравы. Те из них, которые можно было прочесть и разобрать, достойный доверия автор этой новой и никогда неслыханной истории и приводит здесь. И этот автор просит тех, кто прочтут их, – в награду за бесконечный труд, вложенный им на исследование и пересмотр всех ламанчских архивов для извлечения оттуда на свет Божий упомя-

нутых стихотворений, – об одном только: отнестись к ним с тем же доверием, с каким рассудительные люди относятся к рыцарским книгам, так высоко ценимым в мире. Этим он сочтет себя вполне вознагражденным и удовлетворенным и будет поощрен искать и отыскивать другие истории, если не столь правдивые, по крайней мере, столь же хорошо придуманные и занимательные.

Первые слова, написанные на пергаменте, найденном в свинцовом ящике были следующие:



Академики Аргамасиллы, местечка в Ламанче, на жизнь и смерть доблестного Дон Кихота Ламанчского, Нос scripserunt¹.

Мониконго², академик Аргамасиллы, на гробнице Дон Кихота.

ЭПИТАФИЯ

Безумец, что сумел Ламанчи в украшеньё
Трофеев больше дать, чем Криту дал Язон,
Носилось в облаках высоко чье мышленье –
(А лучше вширь и глубь его спускал бы он);
За доблесть кто руки и боевое рвенье
Был от Газты вплоть до Каты прославлен;
Кровавые стихи писал мечом в сраженьи,
Ужаснейшей из муз на веки полонен;
Чья слава вознеслась над славой Амадисов,
Чей пыл так грозен был, любовь так велика,
Что он собой затмил венец всех Вельянисов,
На Галаора мог смотреть уж свысока,
И мчался как стрела на Росинанте в бой –
Лежит здесь недвижим, под каменной плитой.

Паниагадо³, академик Аргамасиллы, *in laudem*⁴ Дульсиней
Тобосской.

СОНЕТ

Вот, Дульсиней здесь, – с лица черна, кругла,
Грудь высока, плотна; осанка – загляденье;
Тобосскою она царицею была,
Пылал к ней Дон Кихот – в ней видел рай, спасенье.
Из-за нее прошел (любовь его вела)
Монтельским полем он; бродил до одуренья
По склонам Черных гор, пока не довела
Судьба в Аранхуэс его в изнеможеньи:
Виною Росинанта, – Тяжкая беда

¹ Так написали.

² Monisongo – человек из Конго – как в те времена называли негров страны Конго в западной Африке.

³ Paniaguado от pan y agua («хлеб и вода»); буквально – тот, кому дают пить и есть, т. е. застольник. Все эти нелепые имена академиков Аргамасиллы, где не могло быть никакой академии, пародия на обычай тех времен членом литературных обществ именоваться между собой разными фантастическими прозвищами.

⁴ Во славу.

Ламанчи даму ту и рыцаря сразила:
 Их смерть похитила в цветущие года,
 Причем она ее всей красоты лишила,
 А он, – о славе чей гласят везде ваянья, –
 Он не избег любви коварства и страдания.

**Капричосо¹, умнейший академик Аргамасиллы, в похвалу
 Росинанта, коня Дон Кихота Ламанчского.**

СОНЕТ

На тот алмазный трон, куда пятой кровавой
 От века лишь вступал великий Марс один,
 Свой стяг уж водрузил с отвагой величавой
 Неистовый герой, Ламанчи паладин!
 Повесил здесь он меч свой с тонкою оправой,
 Непобедимый меч былых его годин,
 Которым он колол, рубил все с новой славой,
 Разил и побеждал строй вражеских дружин.
 Пусть Галлия своим Амадисом гордится;
 Потомками его и доблестью их дел,
 Ей давших блеск побед пусть Греция кичится, –
 Ламанчи краше всех, завидней всех удел.
 Беллоны² суд решил: венец лавровый ныне
 Наденет Дон Кихот, – и он его надел.
 Пусть славы блеск его не меркнет уж отныне:
 Ведь даже Росинанте дерзостным задором
 Превысил во сто раз Баярда с Брильядором³.

Бурладор⁴, академик Аргамасиллы, Санчо Пансе.

СОНЕТ

Вот Санчо Панса здесь – хоть ростом он и мал,
 Но духом он велик, и – чудное явление –
 Такой, как он, клянусь, на свете не бывал
 Оруженосец ввек, без лжи и измышленья!
 Лишь чуточку одну – и он бы графом стал.
 Но козни злых людей, врагов его стремленья
 Помехой были в том; век низкий воздвигал
 Не только его, и на ослов гоненья.
 И едет на осле (простите, если нет)

¹ Caprichoso, – чудной, искусный.

² Богиня войны.

³ Баярдо был конь Ринальдо де Монтальвана, Брильядоро – конь Роланда.

⁴ Burlador – насмешник, шутник.

Оруженосец сей столь кроткий и смиренный
 За рыцарем своим и Росинанту вслед.
 О! Суетность надежд людских! Покой блаженный
 Сулят они порой и вдруг, в одно мгновенье,
 Летят от нас, как дым, как тень, как сновиденье!..

**Качидьябло¹, академик Аргамасиллы, надпись на гробнице
 Дон Кихота.**

ЭПИТАФИЯ

Здесь в могиле рыцарь спит:
 Росинант и по стремнинам
 Нес его и по долинам;
 Был он весь помят, избит.
 Тут в земле еще зарыт
 Санчо Панса беспримерный;
 Он, – оруженосец верный
 Рядом с рыцарем лежит!

**Тикиток², академик Аргамасиллы, надпись на гробнице
 Дульсинеи Тобосской.**

Вечный отдых здесь нашла
 Дульсинея; но могила
 В прах и пепел превратила
 Красоту ее чела.
 Как стройна она была
 И на даму походила, Дон Кихота полонила,
 Славу родине дала!

Вот те стихотворения, которые можно было разобрать: остальные же, с буквами, источенными червями, были переданы академику, чтобы он по догадкам выяснил их смысл. Есть сведение, что он и добился этого ценою многих бессонных ночей и величайшего труда, и что он намерен издать их в свет в надежде на третий выезд Дон Кихота.

Forse altri cantera con miglior plettro³.

¹ Cachidiablo – (леший или одетый дьяволом, на половину одного цвета на половину другого, а также человек с дурными наклонностями) было прозвище знаменитого Алжирского корсара в царствование Карла V.

² Tiquitos – звукоподражание, вроде как динь-динь. Tiquitos – звонарь.

³ «Быть может, другие сплут на более вдохновенной лире!» – Это строка из «Неистового Роланда» Ариосто, которой поэт прощается с Анжеликой и Медором после их свадьбы.

ТОМ ВТОРОЙ

Оценочное свидетельство

Я, Эрнандо де-Валлехо, актуариус королевской канцелярии, из тех, которые присутствуют в Королевском Совете, удостоверяю, что сеньоры члены Совета, – рассмотрев книгу, написанную Мигелем де-Сервантес Сааведра, озаглавленную *Дон Кихот Ламанчский, вторая часть*, напечатанную с разрешения Его Величества, – оценили каждый лист книги в бумажной обложке в четыре мараведиса, а в книге семьдесят три листа, что по указанной цене составляет и доходит до двухсот девяносто двух мараведисов. Члены Совета приказали, чтобы это оценочное свидетельство было выставлено в начале каждой части упомянутой книги, дабы знали и была бы известна цена, которую следует требовать и платить, и никоим образом не могли бы превысить ее, как это явствует и видно из подлинного разрешения и документа, выданного на упомянутую книгу, остающегося у меня на руках, на который я и ссылаюсь. По постановлению указанных сеньоров членов Совета и по просьбе упомянутого Мигеля де-Сервантеса, я выдал настоящее свидетельство в Мадриде двадцать первого дня Октября месяца тысяча шестьсот пятнадцатого года.

Эрнандо де-Валлехо.

Свидетельство об опечатках

Просмотрев эту книгу, озаглавленную *Вторая часть Дон Кихота Ламанчского* и написанную Мигелем де-Сервантес Сааведра, я свидетельствую, что она не заключает в себе ничего, что можно было бы отметить, не соответствующего подлиннику.

Дано в Мадриде двадцать первого октября 1615 г.
Лисенсиат Франсиско Мурсиа де-Ла-Алана.

Одобрение

По поручению и приказанию сеньоров Королевского Совета я давал на просмотр книгу, о которой идет речь в этом мемориале: она не заключает в себе ничего ни против веры, ни против добрых нравов, и наоборот, скорее представляет собой вполне дозволенное развлечение с примесью большой доли нравственной философии. Разрешение печатать ее может быть дано.

Мадрид, пятого ноября, тысяча шестьсот пятнадцатого года.

Доктор Гутиерра де-Сетина.

Одобрение

По поручению и приказанию сеньоров Королевского Совета я просмотрел *вторую часть Дон Кихота Ламанчского* – сочинение Мигеля де-Сервантеса Сааведра. Она не заключает в себе ничего, направленного против нашей святой католической веры или против добрых нравов; скорее найдется многое, что может доставить приятное отдохновение и мирное развлечение, которые древние считали полезным для их республик; так как даже в строгой республике лакедемонян была воздвигнута статуя смеху, а в Фессалийских республиках ему посвящали празднества, как о том свидетельствует Паузаниас, по сообщению Босио (кн. 2, *De signis Eccles.* cap 10), для подбодрения унылых сердец и скорбных душ, о чем вспоминает и Туллий в первой песне *De Legibus*, и поэт, говоря:

*Interpone tuis interdum gaudia curis*¹.

Что и делает автор, мешая действительность с вымыслом, приятное с полезным, нравоучительное с шутивым, скрывая приманкой юмора жало порицания и успешно выполняя поставленную им себе задачу: изгнание рыцарских книг, так как при добром его рвении быстрое очищение нашей страны от ее заразной болезни – дело вполне достойное его выдающегося дарования, – на честь и славу нашего народа, и на удивление и зависть чужих стран.

Таково мое мнение, и т. д. В Мадриде 17 марта 1615 г.

Иосеф де-Вальдивельсо.

Одобрение

По поручению доктора Гутиерре де-Сетина, главного викария города Мадрида, столицы Его Величества, я просмотрел *Вторую часть остроумно-изобретательного рыцаря Дон Кихота Ламанчского* – сочинение Мигеля де-Сервантеса де-Сааведра – и не нахожу в этой книге чего-либо недостойного христианского рвения или несоответствующего приличию, и неподобающего достойным примерам и нравственным добродетелям; наоборот, она заключает в себе очень много учености, как в единстве хорошо задуманного вымысла для искоренения суетных и лживых рыцарских книг, заразительное влияние которых перешло все границы разумного, так и в плавности кастильского языка, неиспорченного скучной и вымученной аффектацией (недостаток, к которому справедливо чувствуют отвращение здравомыслящие люди). А в деле исправления злоупотреблений, – что по большей части и составляет цель

¹ Хотя иногда сменяя свою скорбь радостью.

книги и предмет остроумных рассуждений, заключающихся в ней, — автор так мудро придерживается законов христианского порицания, что всякий, зараженный болезнью, которую книга имеет в виду исцелить, с удовольствием, вместе со сладкими и вкусными лекарствами, впитает в себя, когда менее всего этого ждал, без малейшего принуждения и отвращения, и полезную ненависть к своему пороку, столько же на удовольствие себе, как и в исправление (вещь всего труднее достижимая). Было много писателей, которые, вследствие того, что не умели согласовать и перемешать полезное с приятным, грохнулись оземь со всем своим тяжким трудом; так как, будучи не в состоянии подражать Диогену в философии и мудрости, они дерзко, чтобы не сказать непристойно и слепо, стараются подражать ему в цинизме, предаваясь злословию и выдумывая такие события, которые никогда не случались, чтобы уделить место пороку и обрушиться на него своим грубым осуждением; и, быть может, они, открывая неведомые до тех пор пути, как отдаться этому пороку, могут сделаться таким образом, если не критиками, то, по крайней мере, наставниками этого порока. Такие писатели становятся ненавистны для умных людей, и их произведения теряют в публике всякий кредит, если они его имели, а пороки, которые они дерзко и безумно старались искоренить, будут процветать больше прежнего, так как не все нарывы способны одновременно принять и пластырь и прижигание; напротив, некоторые куда лучше допускают нежные и успокоительные лекарства, и применяя их, умному и ученому врачу удастся исцелить болезнь: способ, который часто гораздо лучше достигаемого путем сурового железа.

Совершенно иное мнение заслужили произведения Мигеля де Сервантеса, как в нашем народе, так и в чужих, потому что, как на чудо, желают взглянуть на автора книг, которые, как вследствие их благопристойности и чистоты, так и веселости и привлекательности, были приняты с всеобщим одобрением в Испании, Франции, Италии, Германии и Фландрии. Свидетельствую по истине, что 25 февраля нынешнего 1615 года, когда светлейший сеньор дон Бернардо де Сандовал и Рохас, Толедский кардинал-архиепископ, мой господин, делал ответный визит французскому послу, приехавшему вести переговоры по поводу бракосочетания французских принцев с испанскими принцессами, многие французские кабальеросы из свиты посла, столь же учтивые, как и просвещенные, и большие любители хороших литературных произведений, посетили меня и других капелланов моего сеньора кардинала, желая узнать, какие выдающиеся книги наиболее теперь у нас в ходу; и едва они, случайно взяв в руки ту книгу, которую я тогда просматривал, услышали имя Мигеля де Сервантеса, как дали волю языкам своим и стали распространяться о том, как произведения его ставятся высоко не только во Франции, но и в соседних странах: его *Галатея*, которую некоторые из них знали почти наизусть, и *Первая часть Дон Кихота и Новеллы*. Восхваления их были такие пламенные, что я предложил им повести их туда, где они могли бы увидеть автора, — предложение, принятое ими с тысячею изъяснений величайшей радости. Очень подробно расспрашивали они меня о его годах, занятиях, положении и состоянии. Я был вынужден ответить, что он старик, солдат, идадьго и беден. На это один из них сказал буквально следующие слова: *Но разве Испания не обогатила такого человека и не содержит его за счет государственного казначейства?* А другой из этих кабальеросов прервал его, говоря весьма остроумно: *Если нужда заставляет его писать, дай Бог, чтобы он никогда не жил в роскоши, так что, будучи сам беден, он обогатил бы весь мир своими произведениями.*

Мне кажется, что для цензуры мой отзыв несколько длинен. Некоторые скажут, что он приближается к границе льстивого восхваления; но истина того, что я вкратце

говору, уничтожает всякое недоверие по отношению к критике, а во мне – всякую заботу. Сверх того, по нынешнему времени не льстят тому, кто не имеет, чем набить рот льстеца, который, хотя и говорит нежно и лживо в шутку, требует, чтобы его вознаградили в серьез. Дано в Мадриде, двадцать седьмого февраля тысяча шестьсот пятнадцатого года.

Лицензиат Маркес Торрес.

Привилегия

Во внимание к тому, что от вас, Мигель де-Сервантес Сааведра, поступил к Нам доклад о том, что вы сочинили *Вторую часть Дон Кихота Ламанчского*, которую вы Нам представили, и эта книга – приятная нравственная история, и стоила вам много труда и прилежания, вы умоляли Нас приказать дать вам разрешение напечатать ее и привилегию на двадцать лет или сколько Нам угодно будет благоволить. Рассмотрев вашу книгу, члены Нашего Совета, во внимание к тому, что относительно нее были выполнены мероприятия, предписываемые Нашим прагматическим постановлением о книгопечатании, пришли к решению, что Мы должны повелеть выдать вам эту Нашу грамоту, и это решение Нами одобрено. Этой Нашей грамотой даем разрешение и право на время и срок полных десяти лет, считая с дня, которым помечена эта Наша грамота, вам или лицу, которое вы уполномочите, и никому другому, печатать и продавать вышеупомянутую книгу. И этой грамотой Нашей даем разрешение и право всякому типографщику в Нашем королевстве, уполномоченному вами, печатать в течение указанного срока по подлиннику, представленному в Наш совет и скрепленному подписью и росчерком Эрнандо де Валлехо, нашего актуариуса, из тех, которые присутствуют в совете; но с тем, чтобы предварительно и прежде, чем пустить книгу в продажу, вы представили бы ее членам совета вместе с подлинником, чтобы знать, соответствует ли издание подлиннику, или же вы должны удостоверить официальным путем, что назначенным по Нашему повелению корректором было проверено и исправлено упомянутое издание по подлиннику. И сверх того, типографщик, печатающий упомянутую книгу не должен печатать ни заголовка, ни первого листа и не должен вручать более одной книги вместе с подлинником автору или лицу, на средства которого печатается книга, ни какому-либо другому лицу, для производства упомянутых исправлений и оценки, до тех пор пока предварительно и раньше упомянутая книга не будет исправлена и оценена членами Нашего совета. И только, когда это будет сделано и не иначе, может быть напечатан упомянутый заголовок и первый лист, в который немедленно включается это Наше разрешение и одобрение, оценочное свидетельство и свидетельство об опечатках; и вы не имеете права продавать книгу, ни вы, ни другое какое-либо лицо, пока она не появится в вышеупомянутом виде, под страхом быть привлеченным к суду и подвергнуться наказаниям, заключающимся в законах и прагматических постановлениях по книгопечатанию, действующим в Нашем королевстве. И кроме того, в течение указанного срока никакое лицо, без полномочия от вас, не может ни печатать, ни продавать книгу под страхом что тот, кто печатал бы или продавал ее, лишится всего сделанного им издания, шрифта и приспособлений к печатанию, и сверх того подвергнется штрафу в пятьдесят тысяч мараведисов каждый раз, как закон будет нарушен им. Из упомянутого штрафа одна треть идет Нашему совету, другая треть – судье, который постановит приговор, и последняя треть – предъявителю обвинения. Повелеваем членам Нашего

совета, председателям и оидорам Наших судов, алькальдам, альгасиям Нашего дворца, двора и канцелярии и всяким иным судебным учреждениям во всех городах, местечках и селах Нашего королевства и владений, и каждому в пределах его юрисдикции, как ныне состоящим на службе, так и впредь имеющим быть назначенными, принять к сведению и исполнению эту Нашу грамоту, данную вам и оказанную вам милость, и не идти против нее, ни под каким видом не нарушая ваших прав под страхом лишиться Нашей милости и уплатить штраф в десять тысяч маведисов в пользу Нашего совета. Дана в Мадриде тридцатого дня марта месяца тысяча шестьсот пятнадцатого года.

Я КОРОЛЬ.

*По приказу Короля, Нашего повелителя
Педро де Контрерас.*

Посвящение графу де Лемос¹

Посылая Вашему Сиятельству не так давно мои комедии², напечатанные раньше, чем они появились на сцене, я говорил, если я хорошо помню, что Дон Кихот, надевая шпоры, собирается идти поцеловать руки вашего Сиятельства, а теперь скажу: он уже надел их и отправился в дорогу; и если он доедет, мне думается, я окажу этим маленькую услугу вашему Сиятельству, потому что меня со всех сторон торопят скорее прислать его, чтобы избавиться от горечи и тошноты, вызванной другим *Дон Кихотом*, который, под именем *второй части*, прикрывшись маской, прогуливался по свету.

И тот, кто выказал наибольшее желание получить моего Дон Кихота, был великий император Китайский; так как он, с месяц тому назад, написал мне на китайском языке письмо, посланное с нарочным, в котором он просит меня, или вернее говоря, умоляет послать Дон Кихота, потому что он желает основать Коллегию, где бы читался испанский язык, и хотел бы, чтобы книгой для чтения была там *История Дон Кихота*; и вместе с тем, он приглашает меня быть ректором этой коллегии. Я спросил вручителя письма: послал ли мне Его Величество какое-либо денежное вспомоществование? Он ответил, что нет, и в мысль это ему не приходило. – В таком случае, брат, – сказал я ему, – вы можете вернуться в ваш Китай через десять или двадцать часов, или в какой вам угодно будет срок, потому что мое здоровье недостаточно крепко, чтобы предпринять столь долгое путешествие; и сверх того, что я нездоров, у меня совсем нет денег, – и император за императора, монарх за монарха, – у меня в Неаполе есть великий граф Лемос, который без всяких дипломов, коллегий и ректорских мест, помогает мне, покровительствует и оказывает больше милостей, чем я мог бы желать.

С этими словами я отпустил его и прощаюсь и с вами, предлагая вашему Сиятельству *Испытания Персилеса и Сигисмунда*, книгу, которую я месяца через четыре доведу до конца, *Deo volente*; и которая будет или самой плохой, или самой лучшей из книг, написанных на нашем языке, – я хочу сказать из книг для развлечения; и должен добавить: я раскаиваюсь в том, что сказал *или самой плохой*, так как, по мнению моих друзей, книга эта достигнет высшей степени возможного совершенства. Пусть ваша Светлость возвратится в желаемом здравии, и Персилес будет готов поцеловать вам руки, а я ноги³, в качестве слуги вашего Сиятельства.

*Слуга вашего Сиятельства
Мигель де Сервантес Сааведра.*

¹ Дон Педро Фернандес де Кастро, граф Лемос и маркиз де Сарриа (род. в 1576, умер в 1622).

² Они, как известно, были напечатаны под заглавием: *Ocho Comedias y Ocho Entremeses* (восемь комедий и восемь интермедий) очень незадолго до появления второй части *Дон Кихота*.

³ *Beso los pies de Usted* – общеупотребительное выражение испанской учтивости, а не выражение недостойного раболепия.



ПРЕДИСЛОВИЕ

К читателю

Помоги мне Бог, с каким, должно быть, нетерпением, ждешь ты теперь, читатель знатный, а, может быть, и плебей, этого предисловия, думая найти в нем возмездие, ссору, поношения, направленные против автора второго *Дон Кихота*, того, говорю я, который, как слышно, был зачат в Тордесильясе и родился в Таррагоне¹. Но, по правде говоря, не могу доставить тебе этого удовольствия, потому, что хотя оскорбления пробуждают гнев даже и в самых смиренных сердцах, мое сердце состав-

ляет исключение из этого правила. Быть может, ты желал бы, чтобы я кинул ему в лицо *осла, болвана и подлеца*, но мне это и в голову не приходит. Пусть его грех будет ему наказанием, пусть он ест его со своим хлебом, и конец делу. Но то, чего я не мог не почувствовать, это его обвинение, что я стар и безрукий², точно в моей власти было остановить время, чтобы оно не проходило надо мной, или мое увечье родилось в питейном доме, а не в одном из наиболее славных дел, какое только видели прошедшие и настоящие века, или могут надеяться увидеть будущие³. Если мои раны и не блестят в глазах

¹ В подложной второй части *Дон Кихота*, напечатанной в Таррагоне, автор ее говорит, что он родом из Тордесильясе, что, конечно, такой же вымысел, как и имя, принятое им: Авеляянеда.

² Авеляянеда в злобном предисловии к своей книге смеется над увечьем *Дон Кихота*, говоря, что «язык его движется свободнее руки», что он столь же «стар, как башня Св. Сервантеса» — известная развалина близ Толедо.

³ Т. е. в сражении при Лепанто (1571 г.), где Сервантес отличился и был тяжело ранен в руку и грудь.

каждого, кто их видит, по крайней мере, на них с уважением смотрят те, кто знает, где они были приобретены, потому что солдат выглядит лучше мертвым на поле битвы, чем невредимым в бегстве. Я так проникнут этим, что если б мне теперь и предложили и осуществили невозможное, все же я бы скорей предпочел участвовать в том дивном сражении, чем не участвовать в нем и быть здоровым от ран. На лице и на груди солдата они – звезды, служащие путеводителем для других к небу славы и к желанию заслуженных похвал; и следует принять в соображение и то, что пишут не седидами, а мыслящими способностями, которые обыкновенно улучшаются с годами. Меня задело также и то, что он называет меня завистливым и объясняет, точно неучу, что такое зависть; между тем, как поистине и в действительности, из двух существующих родов зависти мне знакома лишь только святая, благородная и добродетельная. А раз это так, как оно на деле и есть, не похоже, чтобы я преследовал какое-либо духовное лицо, и тем более, если оно в довершение еще и член Святого Судилица¹; если же сказанное им он говорил относительно того лица, на кого он, по видимому, намекает, в таком случае он ошибается, как нельзя более, потому что я преклоняюсь перед гением этого человека, восхищаюсь его произведениями и его прилежанием, непрерывным и добродетельным. Однако, я действительно благодарен тому сеньору автору за его утверждение, будто мои *Новеллы* более сатиричны, чем примерны², но что они

хороши, а последнего нельзя было бы сказать о них, если бы они не были хороши во всем!

Думается мне, будто ты говоришь, что я очень сдержан и слишком остаюсь в пределах скромности, зная, что не следует добавлять огорчения огорченному, а испытываемое этим сеньором должно быть несомненно велико, так как он не дерзает выступить в открытом поле и под ясным небом, скрывая свое имя и измышляя себе родину, точно он виновен в государственной измене. Если тебе случайно бы пришлось познакомиться с ним, передай ему от меня, что я не считаю себя оскорбленным, потому что хорошо понимаю, что такое искушения дьявола, а одно из величайших искушений – внушить человеку мысль, будто он способен сочинить и напечатать книгу, с которой приобретет столько же славы, как и денег, и столько же денег, как и славы; а в подтверждение этого я хотел бы, чтобы ты, с своей милой и шутиливой манерой, передал бы ему следующий рассказ:

В Севилье был сумасшедший, помешавшийся на самой странной нелепости и причуде, какая когда-либо могла быть у сумасшедшего на свете. Дело в том, что он, выдолбив кусок тростника и закрутив его с одного конца, ловил какую-нибудь собаку на улице, или в другом месте, и, прижав ей одну заднюю лапу ногой, другую приподнимал рукой и, вставив как можно лучше тростник ей в известное место, дул в него, пока животное не делалось круглым, как шар; и держа собаку в таком положении, слегка

¹ Комизм здесь в том, что, как известно, инквизиция сама преследовала, а преследовать ее было весьма неудобно. Намекает тут Сервантес, по-видимому, на Лопе-де-Вега, который незадолго перед тем, около 1611–12 года принял духовный сан, уже после того, как он был женат два раза и вел очень веселый образ жизни, продолжая его вести и после того.

² Авелянеда намеренно игнорирует смысл прилагательного *exemplares*, которым Сервантес обозначил свои новеллы, названные им так потому, что как он говорит: «нет среди них ни одной, которая не могла бы служить полезным примером», т.е. из которой нельзя было бы извлечь полезной морали.

раза два хлопал ее ладонью по животу, и отпускал, говоря окружающим (которых всегда было много): – Думаете ли вы, милости ваши, что легкое дело надуть собаку? Думаете ли вы, милость ваша, что легкое дело написать книгу?

А если этот рассказ не подойдет к нему, передай, друг читатель, ему следующий, тоже о собаке и о сумасшедшем.

Был в Кордове другой сумасшедший, имевший обыкновение носить на голове обломок мраморной плиты, или какой-либо тяжеловесный камень, и, когда он встречал собаку, которая его не остерегалась, подходил к ней близко и сваливал тяжесть прямо на нее. Разъярившись, собака не переставала лаять и выть, убегая за три улицы. Случилось однажды, что среди собак, на которых он обрушивал тяжести, оказалась собака одного шапочника, которую хозяин ее очень любил. Падая, камень ушиб ей голову; раненое животное подняло страшный вой. Хозяин услышал это и, увидев, в чем дело, схватил аршин, бросился на сумасшедшего и избил его, не оставив живого места, говоря при каждом ударе, который он ему наносил: «Собака ты, вор! Мою-то таксу! Не видел ты разве, жестокосердый, что моя собака такса?». И повторив много раз слово «такса», он отпустил сумасшедшего, избив его чуть-ли не в стужень¹. Сумасшедший был умудрен этим уроком, удалился и больше

месяца не выходил на улицу, а по прошествии этого времени снова появился с прежней своей затеей и еще с более тяжелою ношей. Он подходил к месту, где лежала собака, и, пристально вглядываясь в нее, не решаясь, или не осмеливаясь свалить на нее камень, говорил: «Это такса – берегись!». Словом, какую бы собаку он не встретил, дога или шавку, он говорил, что это такса, и таким образом уже больше не сваливал на них камня. Быть может, тоже самое случится и с этим рассказчиком и он больше не осмелится сваливать тяжесть ума своего в книги, которые, если они плохи, тяжелее скал. Скажи ему также, что его угрозу лишить меня своей книгой дохода я ни в грош не ставлю, потому что, применив к себе знаменитую интермедию *Перпенденга*², я отвечу ему: *Да здравствует для меня el venticuatro, мой сеньор*³ и *Христос для всех!* Да здравствует великий граф Лемос, христианская добродетель которого и хорошо известная щедрость защищают меня против всех ударов злой моей судьбы, и да здравствует для меня высочайшее благоволение светлейшего архиепископа Толедского дона Бернардо де Сандовал и Рохас, хотя бы и не было типографских станков в мире, и хотя против меня печаталось бы больше книг, чем имеется букв в строках Минго Ревульго⁴. Эти два принца, не побуждаемые к тому ни лестью с моей стороны, ни

¹ *Necho un alheña. Alheña* – бирючина, было деревцо, корки которого, по словам Коваррубиас, мавры толкли в порошок, чтобы красить им себе волосы, откуда и произошло вышеприведенное выражение.

² Маленькая пьеса, из которой приведена эта цитата, затеряна и о ней нигде не упоминается, кроме этого места в *Дон Кихоте*.

³ Т. е. *двадцать четыре*. Так назывались регидоры или муниципальные чиновники Севильи, Гранады и Кордовы с тех пор, как число их королем Альфонсом Справедливым было сокращено с тридцати шести до двадцати четырех.

⁴ *Las Coplas de Mingo Revulgo* – произведение неизвестного поэта, где, под прикрытием пастушечьих аллегорий, заключается сатира на слабое и распущенное правление короля Энрико IV (1454–75). Комментарий к этим «Coplas» написал Фернандо де Пульгар.

другого рода хвалой, единственно лишь по собственной их доброте, – взяли на себя труд оказывать мне милость и покровительство, вследствие чего я считаю себя более счастливым и богатым, чем если бы благосклонная судьба обычным путем довела меня до своей вершины. Честь свою сохранить может и бедный, но не порочный. Бедность может омрачить благородство облаком, но не вполне затемнить его. А так как добродетель бросает от себя некоторый свет, хотя бы и сквозь щели и превратности стесненного положения, высокие и благородные умы отнесутся к ней с уважением, а, следовательно, и будут покровительствовать ей. Больше ты ему ничего не говори, и я ничего больше не скажу тебе, а только

попрошу принять во внимание, что эта *вторая часть Дон Кихота*, которую я тебе предлагаю, скроена из того же сукна, как и первая; и что в ней я даю тебе Дон Кихота во всем его объеме, и, под конец, умершего и похороненного, чтобы никто не дерзал вновь свидетельствовать о нем, так как и прежнего достаточно; и достаточно также и того, что честный человек рассказал историю этих остроумных безумств, не желая сызнова приниматься за них; потому что обилие вещей, хотя бы они и были хороши, приводит к тому, что их не ценят, а недостаток, даже и плохих вещей, придает им известную ценность.

Я забыл сказать тебе, чтобы ты ждал «*Персилеса*», которого я кончаю, а также вторую часть *Галатеи*¹.



¹ Эта вторая часть Галатеи, о которой не раз возвещал автор, не появилась и, по-видимому, затерялась вместе с некоторыми другими произведениями Сервантеса.



Глава I

*О том, что произошло у священника и цирюльника
с Дон Кихотом по поводу его болезни.*

Сид Амет Бененхели во второй части этой истории и третьем выезде Дон Кихота рассказывает, что священник и цирюльник не виделись с ним почти месяц, чтобы не возобновлять и не оживлять в его памяти недавних событий. Тем не менее, они часто навещали племянницу и ключницу его, поручая им как можно заботливее ухаживать за рыцарем и давать ему пищу подкрепляющую, и хорошо влияющую на сердце и на мозг, откуда, — если зрело судить — и происходило все его несчастье. Обе женщины заявили, что они это делали и будут делать с величайшей охотой и заботливо-

стью, так как замечают, что их сеньор по временам выказывает признаки того, что приходит в здравый ум. Известие это доставило тем двум большое удовольствие, потому что им казалось, что они хорошо поступили, привезя его очарованным в повозке, запряженной волами, как рассказано в последней главе первой части этой столь же значительной, как и точной истории. Поэтому они решили навещать его и удостовериться, действительно ли ему лучше, хотя и считали это едва ли возможным, и условились не касаться ни с какой стороны странствующего рыцарства, чтобы избежать опасности разбередить раны, едва только начавшие затягиваться.

Наконец, они зашли к нему и застали его сидящего на постели, одетого в камзол из зеленой байки, с красной толедской шапочкой на голове, до того худого и сморщенного, что он казался настоящей мумией.

Встретил он их очень любезно и на вопрос о его здоровье дал отчет о нем и о себе очень умно и в самых изысканных выражениях. Во время разговора они коснулись и так называемых государственных вопросов, и разных способов правления, уничтожая такое-то злоупотребление, исправляя другое, преобразуя один обычай, изменяя другой; и каждый из них трех являл из себя нового законодателя, современного Ликурга или только что вновь испеченного Солона. Они так преобразовали весь общественный строй, что, казалось, отдали его в кузницу, откуда и получили в совершенно новом виде. Дон Кихот говорил столь рассудительно и здраво обо всех предметах, о которых шла речь, что оба экзаменатора убедились, вне всякого сомнения, в том, что он здоров и в полном уме. При разговоре присутствовали ключница и племянница, которые не могли достаточно возблагодарить Бога, видя своего господина снова таким здравомыслящим. А священник, отступив от прежнего намерения не касаться предметов рыцарства, захотел основательно проверить, действительно ли исцеление Дон Кихота или только кажущееся. Итак, переходя от предмета к предмету, он стал рассказывать несколько новостей, дошедших из столицы, и, между прочим сказал, что утверждают, будто турок наступает с сильнейшим флотом, но и его намерение неизвестно и где собственно разразится столь тяжкая гроза; а в виду этого опасения, которое почти

ежегодно принуждает нас браться за оружие, все христианство в тревоге, и Его Величество озаботилось приказать принять меры для обороны берегов Неаполя, Сицилии и острова Мальты¹. На это Дон Кихот ответил:

– Его Величество поступил, как должен поступать всякий предусмотрительный воин, заблаговременно позаботившись об обороне своих владений, чтобы неприятель не застал его врасплох.

Едва священник услышал эти слова, как он сказал про себя: «Да защитит тебя Господь, бедный Дон Кихот, мне кажется, ты низвергаешься с вершины своего безумия в глубокую бездну своей простоватости». Но цирюльник, которому пришла в голову та же мысль, как и священнику, спросил Дон Кихота, в чем же заключается мера, применение которой он считал бы столь полезной, и не придется ли, может быть, внести и ее в список того множества неуместных предложений, которые обыкновенно доводятся до государей.

– Мое предложение, сеньор брадобрей, – сказал Дон Кихот, – вовсе не неуместное, а даже очень уместное.

– Я не о нем говорил, – возразил цирюльник, – но только опыт показал, что все или большинство предложений, делаемых Его Величеству, или неисполнимы, или нелепы, или принесли бы вред королю и королевству.

– Но мое предложение, – ответил Дон Кихот, – не только не неисполнимо, и не нелепо, а самое легко исполнимое, самое подходящее, удобное и простое, которое может лишь прийти на ум изобретателю проектов.

– Вы медлите сообщить его нам, сеньор Дон Кихот, – сказал священник.

¹ С середины 16-го до середины 17-го века морское могущество турок было очень значительным, и их умыслы нападения на берега Испании и Италии составляли постоянный предмет опасения и разговоров в упомянутых странах.

– Я бы не желал сообщать его здесь теперь, – ответил Дон Кихот, – чтобы завтра утром оно дошло до ушей членов королевского совета, и другой бы воспользовался признательностью и наградой за мои старания.

– Что меня касается, – сказал цирюльник, – даю вам слово здесь и перед лицом Божиим, что все, о чем бы вы не сообщили нам, ни король, ни Роке¹ и ни единый смертный не услышат ни слова, – клятва, которой я научился из романа о священнике, в предисловии предостерегающем короля против вора, похитившего у него сто дублонов и мула-иноходца.

– Не знаю этих историй, – сказал Дон Кихот, – но знаю, что клятва хороша, так как я уверен, что сеньор цирюльник – человек честный.

– Хотя бы он и не был им, – сказал священник, – он будет молчать, как немой, под страхом подвергнуться наказанию, к какому бы не приговорил его суд.

– А кто поручится мне за вас, сеньор священник? – спросил Дон Кихот.

– Мой сан, – ответил священник, – обязывающий меня хранить тайну.

– Клянусь, – сказал тогда Дон Кихот, – что же лучшее мог бы сделать Его Величество, как не объявить через глашатая приказание всем странствующим рыцарям, скитающимся по Испании, собраться в назначенный день в столице, и если бы даже их явилось туда не более полдюжины, в числе их мог бы найтись такой рыцарь, что одного его было бы достаточно для уничтожения всего могущества турок. Будьте внимательны, ваши милости, и следите за моим объяснением. Разве, быть может, новость для одиноко странствующего рыцаря уничтожить армию в двести тысяч человек, словно у всех у них, вместе взятых, одна лишь голова, или они сделаны из марципана?

А если нет, скажите мне, сколько историй наполнено подобными чудесами? Если б теперь были живы (в недобрый час для меня, – я не хочу сказать для кого-либо другого), знаменитый Белианис, или еще который-нибудь из бесчисленных потомков Амадиса Галльского, если, говорю я, кто-нибудь из них был бы жив теперь и выступил бы против турок, клянусь честью, я не желал бы быть на месте этих последних. Но Бог не покинет своего народа и пошлет ему рыцаря, если не столь доблестного, как прежние странствующие рыцари, то, по крайней мере, не уступающего им в мужестве: Бог слышит меня, и больше я ничего не скажу.

– Ах! – воскликнула тут племянница, – пусть убьют меня, если мой сеньор не желает снова сделаться странствующим рыцарем!

На это Дон Кихот ответил:

– Странствующим рыцарем я и умру, и пусть турок высаживается, где хочет, когда пожелает и в каком количестве может, а я еще раз повторяю: Бог меня слышит!

На это цирюльник сказал:

– Умоляю вас, ваши милости, позвольте мне сообщить вам маленькую историю, случившуюся в Севилье и как нельзя лучше подходящую сюда, отчего мне и хотелось бы рассказать ее вам.

Дон Кихот дал просимое разрешение, а священник и все остальные стали внимательно слушать. Цирюльник начал так:

– В доме умалишенных в Севилье находился человек, родственники которого засадили его туда, потому что он лишился рассудка. Имел он ученую степень по церковному праву, полученную им в Оссуне, но если б он получил ее и в Саламанке, он, как думают многие, все также сошел бы с ума. Этот человек

¹ Ni Rey ni Roque – общеупотребительное испанское выражение.

с ученою степенью, просидев несколько лет в доме умалишенных, вообразил, что он выздоровел и теперь в полном своем рассудке, и вообразив это, он написал архиепископу, умоляя его самым убедительным образом спасти его из столь бедственного положения, в котором он находится, так как Бог в милосердии своем вернул ему утраченный им разум, но родственники, желая воспользоваться его частью состояния, продолжают держать его в доме умалишенных и хотели бы, чтобы он, вопреки истине, оставался сумасшедшим до конца жизни. Архиепископ, убежденный полученными от него многими, хорошо составленными и весьма рассудительными письмами, приказал одному из своих капелланов узнать у директора дома умалишенных, правда ли то, что пишет ему лисенсиат, а также и самому поговорить с сумасшедшим, и если он увидит, что тот в здравом уме, увести его оттуда и выпустить на свободу. Капеллан отправился в дом умалишенных, но тут директор сказал ему, что человек тот еще болен и хотя он часто говорит очень умно, а в конце концов у него прорываются такие нелепости, что они намного перевешивают его умные речи, и капеллану легко будет самому удостовериться в этом, если он поговорит с больным. Капеллан решил так и сделать; его провели к умалишенному, и он поговорил с ним больше часу, и за все это время тот не сказал ни одного безрассудного или нелепого слова; напротив того, он говорил так умно, что капеллан не мог не поверить в полное выздоровление бывшего сумасшедшего. Между прочим, тот сказал ему, что директор – его враг, так как он не желает лишиться подарков, которые ему дают родственники больного за то, чтобы он выдавал его за сумасшедшего со светлыми промежутками; самое худшее в его несчастий то,

что у него большое состояние, и желая воспользоваться им, его враги клеветают на него и отрицают милость, оказанную ему Господом Богом, обратившим его вновь из животного в человека. Словом, он так говорил, что возбудил подозрение против директора, выставил своих родственников алчными и бесчеловечными людьми, а себя таким рассудительным, что капеллан решил взять его с собой, чтоб архиепископ видел его и самолично вник, где в этом деле правда. С таким хорошим намерением добрый капеллан просил директора велеть принести одежду, в которой лисенсиат был привезен в сумасшедший дом. Директор еще раз предупредил капеллана, чтобы он подумал о том, что хочет делать, так как вне всякого сомнения лисенсиат все еще сумасшедший. Но его предостережения и советы не привели ни к чему, и директор должен был повиноваться, узнав, что таково приказание архиепископа. Лисенсиата одели в прежнее, еще новое и приличное платье, и, лишь только он увидел, что одет, как здоровый человек, и с него сняли платье сумасшедшего, он стал просить капеллана оказать ему такое благодеяние и позволить идти проститься с его умалишенными товарищами. Капеллан ответил, что желает сопроводить его и посмотреть на больных, находящихся в доме. И действительно, они поднялись наверх, а с ними и некоторые из присутствовавших, и когда лисенсиат подошел к клетке, в которой находился буйный помешанный, – хотя тот в то время как раз был тих и спокоен, – он сказал ему:

– Брат мой, подумайте, не имеете ли что поручить мне, так как я ухожу домой, оттого что Богу по бесконечной его добrote и милосердию угодно было, хотя я этого и не заслуживаю, вернуть мне мой разум. Теперь я здоров и в полном

уме, так как для Бога нет ничего невозможного. Возлагайте великую надежду и упование на Него, потому что, раз Он мне вернул здравый рассудок, то вернет его и вам, если вы будете уповать на Него. Я позабочусь прислать вам каких-нибудь лакомств поесть, и вы непременно съешьте их, так как вам надо знать, что я, как человек, прошедший через то же самое, уверен, что все наши безумия происходят оттого, что у нас желудок пуст, а в мозгу ветер. Крепитесь, крепитесь, потому что малодушие в несчастьях расшатывает здоровье и ускоряет смерть.

Всю эту речь лисенсиата слышал другой сумасшедший, тоже в клетке, напротив буйного. Приподнявшись со старой камышевой циновки, на которой он лежал, как есть голый, он, громко крикнув, спросил, кто это уходит, выздоровев и в полном уме.

Лисенсиат ответил:

– Я, брат, я уйду: мне больше нет надобности оставаться здесь, за что я бесконечно благодарен Небу, оказавшему мне столь великую милость.

– Подумайте о том, что вы говорите, лисенсиат; и пусть не обманывает вас дьявол, – возразил сумасшедший. – Дайте отдых ногам и оставайтесь спокойно здесь, в вашем доме, чем и сэкономите себе обратное путешествие.

– Я знаю, что я здоров, – ответил лисенсиат, – и мне не придется возвращаться к прежним стоянкам.

– Вы то здоровы? – воскликнул сумасшедший. – Хорошо, пусть будет так! Идите себе с Богом, но, клянусь Юпитером, чью власть я олицетворяю на земле, что за тот один грех, который совершает сегодня Севилья, выпуская вас из этого дома и считая вас здоровым, я обрушусь на нее такой карой, память о которой не забудется во все века веков, аминь. Неужели ты, негодный лисенсиат,

тишка, не знаешь, что в моей власти это сделать, так как повторяю, я – Юпитер громовержец и держу в своих руках молниеносные снаряды, которыми я могу и привык угрожать миру и разрушать его. Но я только одним желаю наказать этот невежественный город, а именно: я не дам дождя ни ему, ни всей его области и окрестности в течение целых трех лет, считая со дня и минуты, когда я произношу эту угрозу. Ты свободен? Ты здоров? Ты в полном уме, а я сумасшедший? Я больной? Я связан? Скорей повешусь, но не дам идти дождю!

Крик и слова сумасшедшего привлекли внимание присутствовавших, и лисенсиат, обращаясь к капеллану и взяв его за руки, сказал:

– Не огорчайтесь, сеньор мой, и не обращайтесь внимания на то, что говорит этот сумасшедший, потому что, если он Юпитер и не желает дать дождя, я – Нептун, отец и бог вод, и пошлю дождь всякий раз, как мне это вздумается и покажется нужным.

На это капеллан ответил:

– Тем не менее, сеньор Нептун, было бы не хорошо раздражать сеньора Юпитера. Пусть ваша милость остается лучше дома, а в другой раз, когда нам будет удобнее и свободнее, мы приедем сюда за вашей милостью.

Директор и присутствовавшие рассмеялись, и смех их несколько смутил капеллана. Лисенсиата раздели, он остался в доме умалишенных, и рассказу конец.

– Так вот та история, сеньор цирюльник, – сказал Дон Кихот, – которая так кстати подходила к случаю, что вы не могли не рассказать ее? Ах, сеньор брадобрей, сеньор брадобрей! До чего слеп тот, кто ничего не видит через сито? И неужели вы, ваша милость, не знаете, что всякое сравнение ума с умом, мужества с мужеством, красоты с красо-

той, происхождения с происхождением всегда и неуместны и ненавистны. Сеньор цирюльник, я не Нептун, бог вод; я и не выдаю себя за умного человека, не будучи им, а только стараюсь убедить мир, в каком он находится заблуждении, не стремясь воскресить то счастливейшее время, когда процветал в нем орден странствующего рыцарства. Но развращенный наш век не заслуживает того, чтоб наслаждаться столь великим благом, каким наслаждались те времена, когда странствующие рыцари брали на себя и возлагали на свои плечи защиту королевств, покровительство девушкам, помощь сиротам и несовершеннолетним, кару заносчивым и награждение униженных. Большинство теперешних рыцарей предпочитает звону кольчуги и оружия шелест парчи и других дорогих шелковых тканей, в которые они одеваются. Нет теперь такого рыцаря, который спал бы вооруженный, с ног до головы в открытом поле, подвергаясь всей суровости непогоды; нет рыцаря, который, не вынимая ног из стремян, опираясь на копьё, только лишь, как говорится, вздремнул бы минутку, в чем прежде и состоял весь отдых странствующих рыцарей. Нет и такого, который, выйдя из лесу, углубился бы в горы, а спустившись оттуда, бродя по безлюдному и пустынному берегу моря, там, где оно почти всегда бурное, всегда волнующееся, увидав на берегу маленький челнок без весел, мачты, паруса и каких бы то ни было снастей, вскочил бы в него, с сердцем, полным отваги, вверяя себя неумолимым волнам глубокого моря, то подбрасывающим его к небесам, то низвергающим его в бездну, – и, встретив грудью неодолимый шквал, когда менее всего можно было ждать этого, очутился бы за три тысячи и более миль от того места, откуда он отплыл, и, когда он вы-

скочил здесь на берег далекой и неведомой страны, с ним приключились бы события, достойные быть занесенными не только на пергамент, но и на бронзу. Теперь лень торжествует над прилежанием, праздность над трудом, порок над добродетелью, заносчивость над доблестью, военная теоретика над военной практикой, и лишь только в золотой век и среди странствующих рыцарей, все это жило и процветало. А если не так, скажите, был ли кто добродетельнее и доблестнее знаменитого Амадиса Галльского? Был ли кто умнее Палмерина Английского? Привлекательнее и расторопнее Тиранта Белого? Благороднее Лизуарта Греческого? Кто больше рубился мечом и принимал ударов меча, как не дон Белианис? Кто был отважнее Периона Галльского или кто шел смелее навстречу опасностям, чем Феликмарт де Иркания? Кто был искреннее Эспландиана? Или более стремителен, чем Сиронхилио Фракийский, более храбр, чем Родоманте, более мудр, чем король Собрино, более удалой, чем Рейнальдос; кто был столь непобедим, как Рольдан, более великодушен и учтив, чем Руджiero, от которого происходят нынешние Феррарские герцоги, как это утверждает Турпин в своей космографии? Все эти рыцари и многие другие, которых я мог бы еще назвать, были, сеньор священник, странствующими рыцарями и славой и блеском рыцарства. Такими, или подобными им, желал бы я, чтобы были и те, которых я предлагал в своем проекте и, если б они нашлись, его величеству была бы оказана великая услуга, он был бы избавлен от больших трат, а турке пришлось бы рвать себе бороду. И вместе с тем, я желаю остаться у себя дома, потому что капеллан не берет меня с собой, и если Юпитер, как сказал цирюльник, не пошлет дождя, я здесь, и пошлю

его, когда мне вздумается. Говорю это, чтоб сеньор цирюльничий таз знал, что я его понял.

– Поистине, сеньор Дон Кихот, – сказал цирюльник, – я это говорил вовсе не с такой целью. Намерение мое, как свят Бог, было хорошее, и вашей милости незачем сердиться на меня.

– Сержусь ли я, или нет, – ответил Дон Кихот, – я сам знаю.

На это священник сказал:

– Хотя до сих пор я не говорил почти ни слова, но очень желал бы разъяснить сомнение, которое гложет и гнетет мою совесть и возникло из только что сказанного Дон Кихотом.

– На многое другое еще более важное, – ответил Дон Кихот, – сеньор священник имеет разрешение; итак, он может высказать свое сомнение, потому что неприятно иметь совесть, отягощенную сомнением.

– Пользуясь этим соизволением, – ответил священник, – скажу, в чем мое сомнение: я никоим образом не могу уверить себя, чтобы вся толпа странствующих рыцарей, о которых вы, ваша милость, сеньор Дон Кихот, упоминали, действительно бы существовала на свете и чтобы они были людьми из плоти и костей. Я скорее думаю, что все это лишь вымысел, басни и ложь, – сновиденья, рассказанные едва проснувшимися людьми, или, точнее говоря, наполовину дремлющими.

– Это еще другое заблуждение, – ответил Дон Кихот, – в которое впадали многие, не верующие, что такие рыцари существовали в мире, и уже часто с разными людьми и при разных обстоятельствах я старался вывести на свет истины это почти всеобщее заблуждение. Но иногда я не достигал своей цели, а в другие разы достигал, опираясь всегда на рамена правды, а правда эта столь достовер-

ная, что я мог бы сказать, что видел собственными своими глазами Амадиса Гальского: это был человек высокого роста, с белым лицом, обрамленным красивой, хотя и черной бородой, с выражением полунежным, полусуровым; на слова он был скуп, рассердить его было нелегко, а рассердившись, он быстро успокаивался. Подобно тому, как я описал Амадиса, я мог бы, мне кажется, обрисовать и изобразить всех странствующих рыцарей, о которых говорится в историях всего мира, так как вследствие суждения моего, что они были именно такими, как о них сообщается в историях, и, основываясь на подвигах, ими совершенных, на характере, обнаруженном ими, из всех этих данных можно, правильно философствуя, вывести, какие у них были черты, и какой цвет лица и рост.

– Как велик, по мнению вашей милости, сеньор мой Дон Кихот, был великан Морганте? – спросил цирюльник.

– Что касается великанов, – ответил Дон Кихот, – относительно того, существовали ли они, мнения расходятся, но Священное Писание, которое не может уклониться от истины ни на атом, свидетельствует о том, что они существовали, рассказывая нам историю этого громадного филистимлянина Голиафа, имевшего семь с половиной локтей высоты, что уже представляет собой непомерный рост. Также и на острове Сицилии были найдены столь большие берцовые и плечевые кости, что, несомненно, обладавшие ими должны были быть великанами, высокими, как башни; геометрия ставит это вне сомнения. Но, тем не менее, я не могу с уверенностью сказать, какого роста был Морганте, хотя представляю себе, что он не был чрезмерно велик; а думать это заставляет меня то обстоятельство, что в истории, в которой особенно подробно излагаются его поступ-

ки, говорится, будто он часто спал под кровлей. Если же он находил дома, в которых мог помещаться, из этого следует, что его рост не был непомерным.

– Совершенно верно, – сказал священник, забавлявшийся, слушая величайшие нелепости, которые говорил Дон Кихот, и спросил его, какими представляет он себе лица Рейнальдоса де Монтальбан, дона Рольдана и остальных двенадцати пэров Франции, так как они все были странствующими рыцарями.

– О Рейнальдосе, – ответил Дон Кихот, – я решусь сказать, что лицо у него было широкое, очень красное; глаза беспокойные, немного навывкате, он был вспыльчив и раздражителен до крайности и дружил с ворами и бродягами. Что же касается Рольдано, Ротоландо или Роланда (так как в историях он называется всеми этими именами), я думаю и уверен, что он был среднего роста, широкоплечий, с немного кривыми ногами, со смуглым лицом, рыжей бородой и волосами по всему телу, с грозным взглядом и отрывистой речью, но очень учтивый и благовоспитанный.

– Если Рольдан не был более привлекателен, чем вы его описали, – сказал священник, – неудивительно, что такая красавица, как сеньора Анхелика, бросила и отвергла его, увлеченная пылкостью, живостью и изяществом, какими, должно быть, обладал молодой мавр с только что выступившим пушком на лице, которому она отдалась; и она выказала свой ум, влюбившись в нежного Медора, а не в сурового Рольдана.

– Эта Анхелика, сеньор священник, – ответил Дон Кихот, – была моло-

дая девушка, довольно легкомысленная, ветреная и достаточно своенравная, наполнившая мир столько же молвой о проказах своих, как и о своей красоте. Она пренебрегла тысячью сеньоров, – тысячью храбрых и тысячью мудрых, – и удовольствовалась лишь безбородым пажем, не имевшим ни состояния, ни имени, кроме известности, которую доставила ему благодарность и верность в дружбе¹. Великий певец ее красоты, знаменитый Ариосто, не дерзая или не желая воспеть случившееся с этой сеньорой после низкого ее поступка (должно быть, это были не слишком-то целомудренные вещи), так и оставляет ее, говоря:

Как ей достался скипетр Катая
Споет получше лира пусть иная.

И, без сомнения, это было словно пророчество, потому что поэты называются также *vates*, что означает прорицатели. Истина эта ясно видна из того, что впоследствии один знаменитый андалузский поэт оплакал и воспел слезы Анхелики, а другой знаменитый и единственный кастильский поэт воспел ее красоту².

– Скажите мне, сеньор Дон Кихот, – вмешался тогда цирюльник, – не было ли среди стольких восхвалявших ее какого-либо поэта, написавшего сатиру против этой сеньоры Анхелики?

– Я уверен, – ответил Дон Кихот, – что если бы Сакрипанте или Рольдан были поэтами, они бы уж хорошенько намылили голову девушке, потому что поэтам свойственно и врожденно мстить сатирами или эпиграммами да-

¹ Речь идет о поисках Медором тела его друга Дардинела, во время которых он сам был ранен, и его сочли убитым, пока старания Анхелики не вернули его к жизни.

² Андалузский поэт, о котором идет речь, был Бараоно де Сото, написавший «*Las lagrimas de Angélica*» а кастильский поэт – Лопе де Вега, написавший «*La Hermosura de Angélica*», появившаяся в 1604 г.

мам своим с вымышленными или измененными именами, словом, тем, которых они избрали повелительницами своих дум, если они отвергли их или пренебрегли ими – мечь, конечно, недостойная великодушного сердца. Но до сих пор до моего сведения не дошло ни одного стиха, обесславливающего

сеньору Анхелику, которая внесла в мир столько смятения и смут.

– Это чудо, – сказал священник.

Но тут как раз они услышали, что ключница и племянница, еще раньше удалившиеся и не участвовавшие в разговоре, громко кричат на дворе, и все бросились на шум.





Глава II

В которой идет речь о замечательной ссоре, затеянной Санчо Пансой с ключницей и племянницей Дон Кихота, и о других забавных приключениях.

История повествует, что крики, слышанные священником, цирюльником и Дон Кихотом, исходили от племянницы и ключницы; весь этот шум был поднят ими из-за Санчо Пансы, который старался пробраться в дом, чтобы повидаться с Дон Кихотом, а дамы не пускали его и держали дверь:

– Что нужно бродяге этому здесь в доме? Возвращайтесь-ка к себе, брат; потому что это вы, а никто другой, отвлекаете нашего господина от его занятий, соблазняете его и уводите шататься по диким и пустынным местностям.

На это Санчо ответил:

– Ключница Сатаны! Соблазненный, отвлеченный от занятий и уведенный шататься по диким и пустынным местностям, это я, а не твой господин. Он таскал меня с собой по всему свету, и вы промахнулись как нельзя лучше: он увлек меня из моего дому льстивыми посулами, обещав мне остров, которого я и до сих пор жду.

– Подавись ты своими гнусными островами, Санчо проклятый! – сказала племянница. – И что такое острова? Можно ли их есть что ли, обжора ты этакий! Сластена!

– Их нельзя есть, – возразил Санчо, – но можно ими управлять и заведы-

вать, и это прибыльнее, чем управление четырьмя городами и доходы с четырех судейских должностей в столице.

– Тем не менее, – сказала ключница, – вы не войдете сюда, кошель всяких гадостей и мешок злости! Идите, управляйте своим домом, пашите свой лоскуток земли и забудьте о разных островах и островках!

Разговор этих трех лиц очень забавил священника и цирюльника, но Дон Кихот, боясь, чтоб Санчо не сболтнул чего, не выронил целую кипу своих шутивых нелепостей и не коснулся вещей, которые не очень-то послужили бы к его чести, – позвал его, приказав двум женщинам замолчать и впустить его. Санчо вошел, а священник и цирюльник простились с Дон Кихотом, в выздоровлении которого они теперь уже отчаивались, видя, как он упорно придерживается своих вздорных фантазий, и как он весь пропитан нелепостями злополучного своего рыцарства. Поэтому священник сказал цирюльнику:

– Увидите, кум, когда мы всего меньше будем ждать этого, наш идальго опять улетит из гнезда, чтобы странствовать по лесам и полям.

– Нимало не сомневаюсь в том, – ответил цирюльник, – но я еще не так удивляюсь безумию рыцаря, как простоте оруженосца, который до того непоколебимо верит в этот остров, что мне кажется все, какие только можно вообразить себе, разочарования не выбьют его у него из головы.

– Да поможет им Бог, – сказал священник, – и давайте быть настороже и посмотрим, чем кончится это сплетение безрассудств такого рыцаря и такого оруженосца, которые словно оба вылиты из одной и той же формы, потому что без-

умные выходки сеньора без нелепостей слуги не стоили бы гроша.

– Это правда, – сказал цирюльник, – и я был бы очень рад узнать, о чем они теперь рассуждают вдвоем.

– Будьте уверены, – ответил священник, – что племянница или ключница расскажут нам это потом; не такого они десятка, чтобы не подслушивать.

Между тем Дон Кихот заперся с Санчо в своей комнате и, когда они остались наедине, он сказал ему:

– Меня очень огорчает, Санчо, что ты говорил и говоришь, будто я выманил тебя из твоего домика, когда ты знаешь, что и сам я не сидел у себя дома. Вместе мы выехали, вместе жили и вместе странствовали: одно и то же счастье, одна и та же судьба выпала нам обоим на долю. И если тебя раз подбрасывали на одеяле, меня сто раз избивали – вот все преимущество, которое я имел пред тобой.

– Это было правильно, – ответил Санчо, – потому что, судя по словам вашей же милости, несчастья скорее принадлежность странствующих рыцарей, чем их оруженосцев.

– Ты ошибаешься, Санчо, – сказал Дон Кихот, – потому что по изречению: «quando caput dolet» и т. д.¹

– Я не понимаю другого языка, кроме моего родного, – ответил Санчо.

– Этим я хочу сказать, – заявил Дон Кихот, – что когда болит голова, страдают и все члены тела; итак, будучи твоим господином и повелителем, я – голова, а ты – часть меня, потому что ты мой слуга, и по этой причине всякая боль, которую я чувствую или буду чувствовать, должен чувствовать и ты, равно как и я чувствую твою боль.

– Так должно было бы быть, – сказал Санчо, – но когда они меня подбра-

¹ Quando caput dolet, caetera membra dolent – изречение Гиппократата: «когда болит голова, страдают и остальные члены».

сывали на одеяле, как часть тела, моя голова стояла по ту сторону забора и смотрела, не чувствуя ни малейшей боли, когда я летал по воздуху; и если члены тела вынуждены мучиться из-за боли головы, и ей следовало бы страдать из-за их боли.

– Не желаешь ли ты сказать, Санчо, – ответил Дон Кихот, – что я не страдал, когда тебя подбрасывали на одеяле? Если ты это думаешь, не думай и не говори этого, потому что я в тот раз больше страдал душой, чем ты телом. Но оставим это в стороне пока; наступит время, когда мы обсудим и правильно осветим это дело. А теперь скажи мне, Санчо друг, что говорят обо мне в селе? Какого мнения обо мне простонародье, какого идадьго и кабальеросы? Что они говорят о моей доблести, что о моих подвигах и что о моей учтивости? Какие идут разговоры о предпринятом мною деле воскресить и вернуть миру уже теперь забытый орден рыцарства? Словом, я, Санчо, желаю, чтобы ты рассказал мне, что об этом дошло до твоего слуха, и ты должен все это сказать, не преувеличивая хорошее и не сбавляя ни на йоту дурное, потому что обязанность верных вассалов всегда говорить своим сеньорам правду так, как она есть, в настоящем ее виде, не прикрашивая ее лестью и не скрывая ничего по другим суетным соображениям. Я желал бы, чтобы ты знал, Санчо, что, если бы до слуха государей всегда доходила голая истина без покрова лести, времена были бы иные и другие века можно было бы скорее назвать железными, чем наш, который, мне кажется, мог бы быть назван золотым. Пусть это послужит

тебе увещанием, Санчо, чтобы ты умно и правдиво довел до моего слуха все, что тебе известно о вещах, о которых я спрашиваю у тебя.

– Сделаю это очень охотно, сеньор мой, – ответил Санчо, – с условием, чтобы ваша милость не рассердилась на то, что я скажу, так как вы желаете, чтобы я вам говорил голую правду, не прикрывая ее иной одеждой, кроме той, в какой она дошла до моего сведения.

– Никким образом не рассержусь, – ответил Дон Кихот. – Ты можешь говорить свободно, Санчо, без всяких обиняков.

– Итак, первым делом скажу: простонародье считает вашу милость за величайшего безумца и меня не за меньшего простака. Идадьго говорят, что милость ваша, не ограничившись пределами идадьгии, присвоила себе титул *Дон*¹ и перескочила в кабальеро с четырьмя виноградными лозами и двумя яремами² пахоты, с заплатой сзади и другой спереди. А кабальеросы говорят, что не желают, чтобы идадьго вступали в соревнования с ними, особенно те идадьго, у которых нет в щите герба и которые чернят дымом башмаки свои и штопают черные чулки зеленым шелком.

– Это, – ответил Дон Кихот, – ни мало не относится ко мне, потому что я всегда хорошо одет и никогда у меня нет заплат; может, что и порвано у меня, но скорее от трения оружия, чем от времени.

– Что же касается доблести, учтивости, подвигов и предприятий вашей милости, мнения расходятся: одни говорят – сумасшедший, но забавный; другие – храбрый, но неудачливый; третьи –

¹ О злоупотреблении титулом *дон* много писалось в те времена и не раз упоминается о том же в Дон Кихоте. Титул *дон*, вместо *dominus*, вошел впервые в употребление в IX веке, и первоначально его давали только королям, князьям и епископам. В древних поэмах святых титуловали *дон*.

² *Iugadas* – участок земли, который может вспахать пара быков в день.

учтивый, но дерзкий; и здесь столько болтовни о разных вещах, что ни у вашей милости, ни у меня они не оставили живой косточки.

– Заметь, Санчо, – сказал Дон Кихот, – где бы ни существовала добродетель в выдающейся степени, там ее преследуют. Редко кто, или, вернее, никто из знаменитых людей прошлых веков не мог избежать жала клеветы и злобы. Юлий Цезарь – самый мужественный, умный и доблестный из всех полководцев – был объявлен честолюбцем и не совсем чистоплотным, как в одежде, так и в нравах. Про Александра, – которому его подвиги приобрели прозвище Великого, – говорили, что он имеет склонность к пьянству. О Геркулесе, совершившем столько великих трудов, рассказывают, будто он был сладострастен и изнежен. Дон Галаор, брат Амадиса Галльского, прослыл невозможным сластолюбом, а его брат – плаксой. Так что, о, Санчо, среди такого множества клевет на хороших людей, на распространяемые обо мне не стоит и обращать внимание, если это не больше того, что ты мне сообщал.

– Вот тут-то и загвоздка, клянусь телом моего отца! – ответил Санчо.

– Значит, есть еще что-то? – спросил Дон Кихот.

– Остается еще содрать кожу с хвоста, – ответил Санчо. – То, что я до сих пор сказал, было лишь сладкий торт и пряники; а если ваша милость желает знать все относительно злословья, взводимого на вас, я тотчас приведу к вам сюда человека, который расскажет вам обо всем, не пропустив ни на полушку; а именно, сегодня ночью приехал сын Бартоломео Карраско, учившийся в Саламанке теперь он бакалавр и, когда я при-

шел к нему, чтобы его приветствовать, он мне сказал, что история вашей милости уже вышла из печати и озаглавлена: «*Остроумно-изобретательный идальго Дон Кихот Ламанчский*»; и говорит он, там упомянули и обо мне под моим настоящим именем Санчо Панса, а также и о сеньоре Дульсине и о других вещах, происходивших у нас с вами наедине, так что я перекрестился от изумления, каким образом написавший историю мог все то узнать, что он написал.

– Уверю тебя, Санчо, – сказал Дон Кихот, – что автор нашей истории должно быть какой-нибудь мудрый волшебник, потому что от таких ничего не может быть скрытым из того, что они хотят написать.

– Но как же, – возразил Санчо, – может он быть мудрым и волшебником, если, судя по словам бакалавра Сансона Карраско (так зовут того, о котором я только что говорил), имя автора нашей истории – Сид Амат Беренхена¹.

– Это мавританское имя, – сказал Дон Кихот.

– Должно быть, что так, – ответил Санчо, – потому что я слышал, будто мавры большие охотники до беренхенас.

– Ты, должно быть, Санчо, – сказал Дон Кихот, – ошибаешься насчет прозвища этого Сиды².

– Очень может быть, – ответил Санчо. – Но если вашей милости угодно, чтобы я привел сюда бакалавра, то я слепаю за ним.

– Этим доставишь мне большое удовольствие, друг, – сказал Дон Кихот, – так как то, что ты сообщил мне, взволновало меня и я не смогу взять куска в рот, который пошел мне бы впрок, пока не узнаю, в чем дело.

¹ Санчо говорит berengena вместо Бененхели, а *беренхена* – огородное растение – демянка или бадиджан, которое в изобилии растет на юге Испании.

² *Сид* по-арабски значит сеньор.

– В таком случае я иду за бакалавром и приведу его, – сказал Санчо; и, оставив своего господина, он пошел разыскивать

бакалавра, с которым вскоре затем и вернулся, и у них втроем произошел очень забавный разговор.





Глава III

О смешном разговоре, который произошёл между Дон Кихотом, Санчо Пансой и бакалавром Сансоном Карраско.

Дон Кихот сидел, глубоко задумавшись, поджидая бакалавра Карраско, от которого надеялся услышать новости о себе самом, напечатанные в книге, как говорил Санчо, и не мог поверить, что история эта действительно существует, потому что кровь убитых им врагов не успела еще высохнуть на лезвии его меча, а уж желали, чтобы его высокие рыцарские подвиги появились в печати. Тем не менее, он подумал, что какой-нибудь мудрец, – друг или недруг ему, – искусством волшебства пропечатал о них; если друг – с целью возвеличить и вознести его подвиги над подвигами самых знаменитых странствующих рыцарей; если же недруг, с целью умалять его подвиги и поставить их ниже

самых ничтожных дел, написанных о каком-нибудь ничтожном оруженосце хотя, говорил он себе, подвиги оруженосцев никогда еще не были описаны; и если правда, что подобная история существует, раз в ней идет речь о странствующем рыцаре, она не может не быть возвышенной, прекрасной, великолепной и правдивой. Мысль эта несколько утешила его, но он снова огорчился, вспомнив, что ее автор мавр, судя по его имени – Сид, а от мавров нельзя ждать истины, потому что они все обманщики, выдумщики и фантазеры. Он боялся также, чтобы и о любви его не говорилось несколько непристойно, в ущерб и к унижению доброго имени его сеньоры Дульсиныи Тобосской, и желал, чтоб было заявлено о верности и уважении, которые он всегда к ней хранил, пренебрегая из-за

нее королевами, императрицами и молодыми девушками всех званий, и налагая узду на порывы своих природных влечений. Погруженного и поглощенного в эти и многия другие мысли, нашли его Санчо и Карраско, которых Дон Кихот принял с большой любезностью.

Бакалавр, несмотря на то, что его звали Сансоном, был не очень большого роста, хотя и очень большой проказник; бледный с лица, но с хорошими способностями, годов около двадцати четырех, круглолицый, с плоским носом и большим ртом – все признаки зловредных наклонностей и любви к насмешкам и шуткам, что он и доказал, увидав Дон Кихота, потому что он упал перед ним на колени, говоря:

– Дайте мне, ваше величие, сеньор Дон Кихот Ламанчский, вашу руку, потому что, клянусь одеждой св. Петра, которую я ношу, – хотя я и получил только первые четыре степени¹, милость ваша один из самых знаменитых странствующих рыцарей, какие только существовали, или могут существовать на всем земном шаре. Хорошо поступил Сид Амед Бененхели, написавший историю ваших подвигов, и вдвойне хорошо поступил тот знаток дела, который позаботился дать перевести эту историю с арабского языка на простой наш кастильский для развлечения человечества всего мира.

Дон Кихот заставил его встать и сказал ему:

– Значит, правда, что есть история обо мне, и ее сочинил мудрец и мавр?

– Такая это правда, сеньор, – сказал Сансон, – что я думаю до настоящего времени напечатано больше двенадцати тысяч книг этой истории, а если не так, – пусть о том свидетельствуют Пор-

тугалия, Барселона и Валенсия, где их печатали; и даже есть известие, будто ее печатают и в Антверпене, а мне сдается, что не найдется такого народа и не будет такого языка в мире, на который бы ее не перевели.

– Одна из вещей, – сказал тогда Дон Кихот, – которая может доставить наибольшее удовольствие добродетельному и выдающемуся человеку, – это видеть еще при жизни себя напечатанными, и в печати, с добрым именем в устах людей. Я говорю – с добрым именем, так как, если бы было обратное, никакая смерть не могла бы сравниться с этим.

– Если дело идет о доброй славе или о добром имени, – сказал бакалавр, – ваша милость получила пальму первенства перед всеми странствующими рыцарями, так как мавр на своем языке, а христианин на своем, позаботились как можно ярче изобразить доблесть вашей милости, отвагу в опасностях, терпение в невзгодах, мужество в несчастьи и при получении ран, а также целомудрие и сдержанность в столь платонической любви вашей милости к сеньоре донье Дульсинеи Тобосской.

– Никогда, – сказал Санчо Панса, – я не слышал, чтобы сеньору Дульсинею называли *Доньей*, а только лишь просто – сеньора Дульсинея Тобосская, и в этом история ошибается.

– Возражение это не имеет большого значения, – сказал Карраско.

– Нет, конечно, – подтвердил Дон Кихот. – Но скажите мне, милость ваша, сеньор бакалавр, которые из моих подвигов превозносятся более других в этой истории?

– Относительно этого, – ответил бакалавр, – существуют различные мне-

¹ Одеждой св. Петра называлась квази-духовная одежда, которую носили все студенты, имевшие и не имевшие в виду быть духовными лицами. А четыре духовные степени были: Ostiarius, Lector, Exorsista и Acolytus.

ния, как и вкусы бывают различные. Одни ставят выше всего приключение с ветряными мельницами, которых ваша милость приняла за Бриарея и гигантов, другие предпочитают приключение с валяльными мельницами. Одним нравится эпизод с двумя войсками, оказавшимися двумя стадами баранов; другие восхищаются историей с трупом, который везли хоронить в Сеговию; кто говорит, будто освобождение галерных невольников превосходит все остальное, а другие утверждают, что ничего не может сравниться с двумя великанами-бенедиктинцами и битвой с храбрым бискайцем.

– Скажите мне, сеньор бакалавр, – сказал тогда Санчо, – вошло ли также в историю приключение с янгуэзцами, когда нашему доброму Росинанту вздумалось пожелать запретного плода?¹

– Ничего мудрец не оставил, – ответил бакалавр, – на дне чернильницы. Он говорит обо всем и касается всего, даже и прыжков доброго Санчо на одеяле, когда его подбрасывали на нем.

– На одеяле я не делал прыжков, – возразил Санчо, – на воздухе делал их, и даже больше, чем желал бы.

– Мне представляется, – сказал Дон Кихот, – что нет той человеческой истории в мире, в которой не было бы превратностей и смен худого и хорошего, особенно же в тех историях, где речь о рыцарстве, которое не может быть всегда полно одними лишь успешными приключениями.

– Тем не менее, – ответил бакалавр, – некоторые, читавшие вашу историю, говорят, что были бы рады, если б ее авторы умолчали хоть о части бесконечных палочных ударов, полученных Дон Кихотом при различных столкновениях и стычках.

– Тут уже вступает правдивость истории, – заметил Санчо.

– Но они по справедливости могли бы также и умолчать об этих ударах, – сказал Дон Кихот, – потому что нет надобности записывать действия, которые не изменяют и не извращают исторической правды, а только клонят к унижению героя. По чести говоря, Эней не был столь благочестивым, как описывает Вергилий, и Улисс не был такой хитроумный, как его изображает Гомер.

– Это так, – возразил Сансон, – но одно дело писать, как поэт, и другое – писать, как историк. Поэт может рассказать или воспеть события не так, как они были, а как бы они должны были быть, историк же должен изобразить их не так, как они бы должны были быть, а как они действительно случились, ничего не прибавляя и не убавляя от истины.

– Если этот сеньор мавр стоит на том, чтоб говорить одну лишь правду, – сказал Санчо, – наверное среди палочных ударов, полученных моим господином, найдутся и полученные мною, потому что каждый раз, как снимали мерку со спины моего господина, – ее снимали со всего моего тела; но тут нечему удивляться, потому что, как говорит сам сеньор мой, боль головы должны разделять и члены тела.

– Вы плут, Санчо, – сказал Дон Кихот, – по чести, у вас нет недостатка в памяти, когда вы этого захотите.

– Если бы я и хотел забыть, – возразил Санчо, – полученные мною палочные удары, этого не допустили бы синяки, которые еще явственно видны на моих ребрах.

– Молчите, Санчо, – заявил Дон Кихот, – не прерывайте сеньора бакалавра, которого я умоляю продолжать

¹ Pedir cotufos en el golfo – просить сласти у моря.

рассказывать то, что еще обо мне говорится в упомянутой истории.

– И обо мне, – сказал Санчо, – потому что говорят, и я там одно из главных девиствующих лиц.

– Не девиствующих, а действующих лиц, Санчо, друг, – сказал Сансон.

– Нашелся у нас еще один поправщик слов? – удивился Санчо. – Если мы будем продолжать таким образом, то не доберемся до конца во всю жизнь.

– Пошли мне ее Бог плохую, – ответил бакалавр, – если вы, Санчо, не второе лицо в истории; даже есть люди, которые предпочитают слушать ваши речи, чем чьи бы то ни были в книге, хотя есть и такие, что говорят, будто вы были уж чересчур легковверны, приняв за истину губернаторство острова, обещанное вам сеньором Дон Кихотом, здесь присутствующим.

– Еще солнце видно на верхушке забора¹, – сказал Дон Кихот; – и по мере того, как Санчо становится старше, он, благодаря опыту, который дается с годами, делается все более и более способным и пригодным для губернаторства.

– Клянусь Богом, сеньор, – возразил Санчо, – островом, которым я не смогу управлять в теперешние мои годы, я не смог бы управлять и дожив до лет Мафусаила. Несчастье в том, что упомянутый остров застрял не знаю где, а не в том, чтобы у меня не хватило мозгов управлять им.

– Предоставьте это Богу, Санчо, – сказал Дон Кихот, – и все будет хорошо; быть может, даже лучше, чем вы думаете, так как без воли Божьей и лист не шевелится на дереве.

– Это правда, – подтвердил Сансон, – и если Богу будет угодно, у Санчо

окажутся тысячи островов для губернаторства, а не то, что один.

– Видал я здесь губернаторов, – сказал Санчо, – которые, на мой взгляд, не стоят подошвы моих башмаков, тем не менее их величают «señoría» и они едят на серебре.

– Но это не губернаторы островов, – возразил Сансон, – а других, более легко управляемых губернаторств, так как губернаторы, управляющие островами должны, по меньшей мере, знать грамматику.

– *Грамм*, – сказал Санчо, – это еще куда ни шло, но от «*тики*»² я отказываюсь, так как не понимаю этого слова. Однако, оставив губернаторства в руках Божьих, которые пусть направят меня туда, где я лучше всего могу служить Ему, – я скажу, сеньор бакалавр Сансон Карраско, мне очень по душе, что автор истории говорил обо мне таким образом, что сказанное им ни мало не обидно, потому что, клянусь честью доброго оруженосца, если б он сказал что-либо недостойное старого христианина, каков я есть, – нас слышали бы глухие!

– Это значило бы творить чудеса, – заметил Сансон.

– Чудеса или не чудеса, – сказал Санчо, – но пусть каждый подумает о том, как он говорит или пишет о людях, а не заносит без всякого разбора на бумагу, что ему взбредет в голову.

– Один из недостатков, в которых упрекают эту историю, – сказал бакалавр, – то, что автор включил в нее повесть, озаглавленную: *Безрассудно-любопытный*, не потому, что она плоха или плохо изложена, а потому, что она неуместна там и не имеет никакого отношения к истории его милости сеньора Дон Кихота.

¹ Aun hay sol en las bardas – испанская пословица, смысл которой – еще не поздно.

² Непередаваемая на русский язык игра слов; – гтапа – по-испански – «злак», это я знаю, говорит Санчо, но *тики* – не знаю.

– Готов биться об заклад, – сказал Санчо, – что собачий сын смешал капу-сту с корзиной¹.

– Теперь я скажу, – заявил Дон Кихот, – что автор моей истории был не мудрец, а невежда-говорун, который ошупью, без всякой подготовки принялся писать ее, думая, пусть себе выходит, что выйдет, как это делал Орбинеха, живописец из Убеда, который на вопрос: что он рисует, ответил: «то, что выйдет». Однажды он нарисовал таким образом и до того непохоже петуха, что рядом пришлось сделать надпись готическими буквами: *это петух*. В том же роде, вероятно, и моя история, для которой окажется нужным комментарий, чтобы ее могли понять.

– Ну нет, – ответил Сансон, – потому что она так ясна, что ничего затруднительного в ней не найти. Она в руках у детей; молодежь читает ее; люди в зрелом возрасте понимают ее; старики хвалят; словом, историю эту всякого рода люди так много перелистывали, читали, и так хорошо знают, что, лишь только увидят какую-нибудь худую клячу, – все в один голос говорят: «Вот Росинант»! Больше всех увлекаются этим чтением пажи. Нет той прихожей в доме сеньора, где бы не было «Дон Кихота»; не успеет один выпустить книгу из рук, как другой уже берет ее; некоторые выхва-

тывают ее насильно, другие просят дать. Одним словом, упомянутая история одно из наиболее приятных и наименее предосудительных развлечений, какие знали до настоящего времени, потому что в ней нет и тени непристойного слова, нет ни одной некатолической мысли.

– Писать иначе, – сказал Дон Кихот, – значило бы писать не истину, а ложь; тех же историков, которые заведомо лгут, следовало бы сжигать, как фальшивомонетчиков; и я не знаю, что побудило автора заняться новеллами и посторонними рассказами, когда у него было так много сказать обо мне без сомнения, он придерживался поговорки: *соломой и сеном* и т. д.², потому что, по чести, если бы он ограничился тем, что изложил бы мои мысли, вздохи, слезы, добрые намерения и предприятия, то получился бы том побольше, или такой же, как все произведения *Тостадо*³, взятые вместе. Словом, вывод, к которому я прихожу, сеньор бакалавр, тот, что для сочинения историй и книг, какого бы ни было рода, нужен широкий кругозор и зрелое суждение; говорить остроумные шутки и писать с юмором – удел выдающихся дарований. Самая искусная фигура в пьесе – фигура шута⁴, так как тот, кто желает казаться простаком не должен им быть. История священная вещь, потому что она должна быть прав-

¹ Berzas con capadlos – общеупотребительное выражение, означающее неразборчивое смешение вещей.

² Пословица эта читается так: De paja o de heno mi vientre lleno, «соломой ли, сеном ли, наполнен мой желудок»

³ *El Tostado* – буквально «поджаренный». Это прозвище, данное епископу Авильскому, дону Алонсо де Мадригал, жившему в середине XV-го века. Он был очень плодовитым писателем; одни лишь произведения его, написанные по-латыни, составляют 24 тома; кроме того, у него еще масса сочинений на испанском языке, не считая оставшихся в рукописях ненапечатанными. Его имя вошло в пословицу для всезнания и трудолюбия.

⁴ Bobo – впоследствии *gracioso*, – с самых ранних дней драмы необходимая и главнейшая фигура в комедиях; на его обязанности лежало вызывать в галлере смех и облегчать утомительность серьезных частей пьесы.

дива, а где правда, там и Бог, поскольку это касается правды; тем не менее бывают авторы, которые сочиняют и изговаривают книги, как пекут оладьи.

– Нет книги столь плохой, – сказал бакалавр, – в которой бы не было чего-либо хорошего.

– В этом нет сомнения, – возразил Дон Кихот, – но часто случается, что те, кто заслуженно пользуется и приобрел большую славу своими писаниями, отдавая их в печать, теряют всю свою славу или же она уменьшается¹.

– Причина этого та, – сказал Сансон, – что, так как печатные произведения просматриваются неспеша, ошибки в них легко видны, и тем их тщательнее разбирают, чем выше слава того, кто их написал. Люди, прославившиеся своей гениальностью, великие поэты, знаменитые историки – всегда, или очень часто, вызывают зависть в тех, кому доставляет удовольствие и особое развлечение разбирать произведения других, не выпустив ничего своего на свет Божий.

– Этому нечего удивляться, – сказал Дон Кихот, – потому что есть много богословов, которые сами не имеют данных говорить проповеди с кафедры, но отлично могут указывать недостатки и неумеренность в чужих проповедях.

– Все это так, сеньор Дон Кихот, – сказал Карраско. – Но я желал бы, чтобы подобного рода критики выказывали больше снисходительности и меньше придирчивости, не так усиленно останавливались на едва заметных пятнышках на ярком солнце порицаемого ими произведения, потому что, если *aliquando bonus dormitat Homerus*²,

пусть примут во внимание, как долго он бодрствовал, чтобы дать нам свет своего произведения с наименьшей, насколько он мог, тенью; и быть может, то, что им кажется плохо, лишь только те родинки на лице, которые иногда еще увеличивают его красоту. Итак, я говорю, что величайшему риску подвергается тот, кто печатает книгу, потому что из невозможного самое невозможное сочинить ее так, чтоб она удовлетворяла всех и нравилась всем, кто ее прочтет.

– Та, в которой речь обо мне, – сказал Дон Кихот, – верно мало кому понравилась.

– Скорее наоборот, потому что, как *stultorum infinimut est numerus*, так бесконечно и число тех, которым понравилась эта история; и некоторые укоряли и жаловались на автора за его недостаток памяти, потому что он забыл рассказать, кто был вор, укравший Серого у Санчо, об этом там ничего нет, и из того, что сказано, можно лишь заключить, что осел был украден; а вскоре затем мы видим Санчо верхом на том же осле, хотя неизвестно, откуда он у него взялся. Говорят также, что автор забыл сообщить, что сделал Санчо с теми ста червонцами, которые он нашел в ручном чемоданчике в Сьерра-Морена, так как о них нигде больше не упоминается, а многим хотелось бы знать, что он сделал с ними, или на что их истратил, и это один из существенных пробелов в книге.

Санчо ответил:

– Сеньор Сансон, мне теперь нельзя заниматься рассказами и отчетами, так как я чувствую столь большую слабость желудка, что если не подкреплю себя

¹ Из этих слов, как и из других в истории Дон Кихота, ясно видно, что в те времена авторы имели обыкновение сначала давать читать свои произведения в рукописи, а затем уже печатали их.

² Гораций – *De Arte poetica*.

двумя глотками старого вина, придется сесть на шип Святой Люсии¹. Вино у меня дома; моя пташка ждет меня; кончив есть, вернусь и удовлетворю вашу милость и весь свет относительно всего, что вы пожелаете спросить, как о пропaje осла, так и об израсходовании ста червонцев.

И не ожидая ответа и не сказав больше ни слова, Санчо ушел домой.

Дон Кихот просил и настаивал, чтобы бакалавр не уходил и пообедал вместе с ним, чем Бог пошлет. Бакалавр принял приглашение и остался. К обычным блюдам была прибавлена пара голубей, за обедом шел разговор о рыцарстве. Карраско подлаживался к причудам Дон Кихота, пир кончился, они держали сиесту; Санчо вернулся и разговор возобновился.



¹ La espina de Santa Lucia.



Глава IV

В которой Санчо Панса дает объяснение на все вопросы и сомнения бакалавра Сансона Карраско, и где сообщается и о других происшествиях, заслуживающих того, чтобы их послушать и рассказать.

Санчо Панса вернулся в дом к Дон Кихоту и, возвращаясь к прежнему разговору, сказал:

– Насчет того, что сеньор Сансон говорил, будто есть желающие знать, как, когда и кто украл моего осла, я отвечу, что в ту самую ночь, когда мы, спасаясь от святой Эрмандады, отправились в горы Сьерра-Морена после столь несчастного приключения с галерными невольниками и приключения с трупом, который везли в Сеговию, – мой сеньор и я, мы укрылись в чаще, где сеньор мой, опираясь на копье, а я, сидя на своем Сером, – оба изнуренные и оба избитые в недавней

драке, – мы так заснули, словно лежали на четырех пуховиках. В особенности я спал таким тяжелым сном, что некто, – кто бы он ни был, – имел возможность подойти ко мне, подставить под меня четыре подпорки, укрепив их к четырем углам вьючного седла, на котором я и остался лежать, а он увел из под меня Серого так, что я не почувствовал этого.

– Вещь эта не трудная и выдумка не новая, потому что то же самое случилось и с Сакрипанте, когда, во время осады при Альбрака, знаменитый вор, по имени Брунело, прибегнув к той же уловке, увел у него из-под ног его коня.

– Наступило утро, – продолжал Санчо, – и не успел я, просыпаясь, по-

тянутся, как подпорки подо мной раздвинулись, и я с грохотом упал на землю. Я посмотрел, где мой осел, – но его не оказалось. Слезы выступили на глазах у меня, и я разразился такими жалобами, что если автор нашей истории не поместил их в своей книге, он может быть уверен, что не поместил хорошую вещь. Спустя, не знаю сколько дней, когда мы ехали с сеньорой принцессой Микомикона, я узнал моего осла, а на нем верхом в цыганской одежде ехал Хинес де Пасамонте, этот обманщик и величайший мошенник, которого мы, – мой господин и я, – освободили от оков.

– Не в этом ошибка, – возразил Сансон, – а в том, что прежде, чем осел нашелся, автор говорит, что Санчо ехал на Сером.

– На это, – сказал Санчо, – не знаю, что ответить, разве только, что написавший историю ошибся или же это недосмотр наборщика.

– Так оно верно и есть, – согласился Сансон, – но что же случилось с теми ста червонцами?

– Они израсходованы, – ответил Санчо. – Я истратил их на пользу собственной моей особы и на пользу моей жены и моих детей, и только благодаря этим деньгам жена моя отнеслась спокойно к скитаньям и разъездам моим на службе у сеньора Дон Кихота; так как, если бы после столь долгого отсутствия я вернулся бы домой без гроша и без осла, жестокая буря ждала бы меня здесь. И, если еще что-нибудь хотят узнать от меня, я налицо и готов держать ответ перед самим королем, хотя никому нет дела вмешиваться в то, брал ли я что или не брал, тратил ли или не тратил; так как, если бы за удары, полученные мною во время этих скитаний, заплатили бы деньгами, хотя бы и оценили каждый удар не более чем в четыре мараведиса, – но-

вых ста червонцев было бы мало, чтобы уплатить мне только за половину. Пусть каждый засунет себе руку за пазуху и не называет черное белым, а белое черным, потому что всякий таков, каким его создал Бог, а часто даже и хуже того.

– Я позабочусь, – заявил Карраско, – предупредить автора истории, если он ее снова напечатает, не забыть того, что добрый Санчо сказал, так как значение книги вырастет от этого на добрую пядь.

– Нет ли еще чего-нибудь, что нужно было бы исправить в книге, сеньор бакалавр? – спросил Дон Кихот.

– Должно быть, есть, – ответил он, – но ничего, по-видимому, нет столь важного, как уже указанное.

– И, быть может, автор обещает и вторую часть, – спросил Дон Кихот.

– Да, обещает, – ответил Сансон, – но говорит, что он еще не нашел ее и не знает, у кого она, так что мы в сомнении, выйдет ли она или нет. И как вследствие этого, так и потому, что некоторые говорят, будто вторые части никогда не бывают хороши, а другие – что уже довольно писали о Дон Кихоте, и сомневаются, выйдет ли вторая часть; хотя иные, со скорее веселыми, чем мрачными наклонностями, говорят: давайте нам побольше Дон Кихотства, пусть Дон Кихот сражается, и Санчо Панса рассуждает, и что бы там ни было, мы удовлетворимся этим.

– А что решил делать автор?

– Что? – переспросил Сансон, – лишь только он найдет вторую часть истории, которую он с величайшим рвением разыскивает, тотчас же он отдаст ее в печать, к чему его побуждает скорее ожидаемая им выгода, чем желание каких бы то ни было похвал.

На это Санчо сказал:

– Итак, автор рассчитывает на деньги и выгоду? Было бы чудо, если бы он

достиг этого, так как у него на уме одно: спешить, спешить, подобно портному, накануне Пасхи, а работа наспех никогда не может дойти до совершенства, которое требуется. Пусть этот сеньор мавр, или кто он там ни на есть, позаботится о том, что он делает, так как я и мой сеньор, мы дадим ему столько материала¹ в руки, в деле приключений и разных происшествий, что он может сочинить не только вторую часть, а сто частей. Должно быть, этот добрый человек думает, что мы здесь заснули на соломе, но пусть нам поднимут ногу, чтоб подкопать ее, и тогда увидят, на какую мы хромаем. Я могу сказать лишь одно; что если б мой господин послушался моего совета, мы уже были бы с ним в открытом поле, искореняя зло и исправляя обиды, как это в обычае и в нравах у добрых странствующих рыцарей.

Едва Санчо успел произнести эти слова, как до слуха их донеслось ржание Росинанта, показавшееся Дон Кихоту счастливым предзнаменованием, так что он решил предпринять новый выезд дня через три или четыре. Сообщив о своем намерении бакалавру, он просил у него совета, в какую сторону ему ехать на этот раз. Тот ответил, что по его мнению, следовало бы ехать в Арагонское королевство, в город Сарагосу, где через некоторое время, в праздник Святого Георгия, должны произойти торжественные турниры, в которых он может покрыть себя славой, превзойдя всех арагонских рыцарей, что значило бы превзойти рыцарей всего света. Бакалавр хвалил Дон Кихота за в высшей степени почтенное

и доблестное его решение, предупреждая его быть осторожнее при встрече с опасностью, так как его жизнь принадлежит не ему, а всем тем, которые нуждаются в его защите и поддержке в своих несчастиях.

– Это-то и есть, о чем я всегда прошу его, сеньор Сансон, – сказал тут Санчо, – потому что мой господин кидается на сотню вооруженных людей, как жадный мальчик на полдюжину арбузов. Клянусь всем светом, сеньор бакалавр, есть время, когда следует нападать, и время, когда надо отступить, и не все же кричать без перерыва: «*Вперед, Сантьяго и Испания!*»². Тем более, что я слышал и, – кажется, если не ошибаюсь, – от самого господина моего, что посредине, между двумя крайностями – трусостью и безрассудной отвагой – истинное мужество; и если это так, я не желаю, чтобы он бежал, не зная почему, но чтобы он и не нападал, когда перевес силы требует иного. И прежде всего предупреждаю моего господина, если он возьмет меня с собой, то лишь на условии, что все, что касается сражения, он берет на себя одного, а я ничего другого не обязан делать, как только присматривать за его особой в том, что касается чистоты и снабжения его едой, потому что тут буду служить ему весело³, но думать, что я возьмусь за меч, хотя бы против грубых негодаев с бердышами и каской, – это значило бы думать несбыточное. Я, сеньор Сансон, не стремлюсь приобрести славу храбреца, а только лучшего и наиболее преданного из оруженосцев, когда-либо служивших странствующему рыцарю. Если господин

¹ Ripio – буквально щебень или маленькие камушки и известка, употребляемые каменщиками для наполнения щелей и скважин между камнями в постройке.

² Santiago y cierra España – старинный боевой клич испанцев.

³ Bailaré el aqua delante – буквально: «я заставляю плясать воду перед ним» – общепринятое выражение, которое будто бы произошло из обыкновения прислуги летом обрызгивать мостовую водой, чтобы доставить удовольствие господам своим.



...Наступило утро...

мой Дон Кихот взамен многих и добрых моих услуг пожелал бы дать мне какой-нибудь остров из тех многочисленных островов, на которые, как говорит его милость, он должен где-то там натолкнуться, буду ему очень благодарен за его великую милость. Если же он не даст мне острова, я останусь тем же, чем родился, и человеку не следует возлагать упование на других людей, а только на Бога, тем более, что хлеб мой покажется мне таким же вкусным, и даже, быть может, еще вкуснее, без губернаторства, чем будучи губернатором. И как могу я знать, не подставит ли мне в этих губернаторствах дьявол ножку так, чтобы я споткнулся, упал и сломал бы себе зубы? Санчо я родился, и Санчо думаю я умереть. Но, со всем тем, если, тихо да мирно, без больших забот и опасностей, небо наделит меня каким-нибудь островом, или чем другим в том же роде, не так я глуп, чтоб отказаться от него, потому что говорится также: *когда дают тебе телку, беги к ней с веревкой и если пришло счастье, – возьми его к себе в дом.*

– Вы, брат Санчо, – сказал Карраско, – говорили, как профессор, но со всем тем уповайте на Бога и на вашего сеньора Дон Кихота, который вам даст не только остров, но и целое королевство.

– Больше ли, меньше ли, это все одно и то же, – ответил Санчо, – хотя я могу сказать сеньору Карраско, что королевство, которое мой сеньор мне бы дал, не было бы брошено в рваный мешок, потому что я щупал себе пульс и вижу: я достаточно здоров, чтобы управлять королевствами и быть губернатором острова. Это я не раз и прежде говорил моему господину.

– Смотрите, Санчо, – сказал Сансон, – должности меняют нрав и, быть

может, видя себя губернатором, вы не захотите узнать мать, которая вас родила.

– Это могло бы случиться, – ответил Санчо, – с теми, которые родились среди мальв¹, но не с теми, у которых на душе, как у меня,росло четыре пальца жира старых христиан. Нет, присмотритесь лучше к моему характеру и вы увидите, могу ли я оказаться неблагодарным к кому бы то ни было.

– Дай то Бог! – сказал Дон Кихот. – Это видно будет, когда явится губернаторство; а мне кажется, что оно стоит у меня перед глазами.

Сказав это, Дон Кихот попросил бакалавра, если он поэт, сделать ему милость и сочинить какие-нибудь стихи на предполагаемую им разлуку с его сеньорой, Дульсинеей Тобосской, и обратить внимание, чтобы в начале каждой строчки стояла буква ее имени, так чтобы, когда стихи будут окончены, соединив все начальные буквы, вышло бы: *Дульсиния Тобосская*².

Бакалавр ответил, что, хотя он и не принадлежит к числу знаменитых испанских поэтов, которых, как говорят, не более трех с половиной, он не преминет написать просимые стихи, хотя при сочинении их встречается одно большое затруднение; дело в том, что букв, заключающихся в указанном имени, семнадцать, и если он напишет четыре строфы по четыре строчки в каждой, одна буква окажется лишней; если же их написать по пяти строк, – которые называют *decimas* или *redondillas*, – то неостанет трех букв. Тем не менее он постарается, как сумеет, проглотить одну букву так, чтобы в четырех строфах заключалось имя «Дульсиния Тобосская».

– Во всяком случае, это должно быть так, – сказал Дон Кихот, – потому что, если имя не будет проставлено ясно и

¹ En las malvas – подразумевая под этим, «среди сорной травы», «в канаве».

² Акrostих был поэтической выдумкой еще 9-го века.

точно, никакая женщина не поверит, что стихи написаны для нее.

Это дело так и порешили, и вместе с тем и то, что отъезда рыцаря состоится через восемь дней. Дон Кихот просил бакалавра сохранить это втайне, в особенности от священника, маэсе Николаса, и его племянницы и ключницы, чтобы они не

помешали осуществлению благородного и доблестного его решения.

Все это Карраско обещал, и затем простился, поручив Дон Кихоту сообщать ему при удобном случае о всех своих удачах и неудачах. Таким образом они расстались, и Санчо ушел готовить все нужное для их путешествия.





Глава V

Об остроумном и забавном разговоре, происходившем у Санчо Пансы с его женой Тересой Панса, а также и о других событиях, заслуживающих приятнейшего воспоминания.

Дойдя до пятой главы, переводчик этой истории объявляет, что он считает ее апокрифической¹, потому что Санчо Панса говорит здесь иным слогом, чем можно было бы ждать от его незначительного ума, и говорит вещи такие тонкие, которые переводчик не считает возможным, чтобы Санчо их знал. Но он не пропускает этой главы, а переводит ее, чтобы исполнить взятую им на себя обязанность; итак, он продолжает, говоря:

Санчо вернулся домой столь довольный и веселый, что его жена заметила ра-

дость его уже на расстоянии полета стрелы, и это побудило ее спросить его:

– Что с вами, Санчо друг, что вы идете такой веселый?

А он ответил ей:

– Жена, если бы Богу угодно было бы, я был бы очень рад не быть таким веселым, каким я вам кажусь.

– Не понимаю вас, муж мой, – ответила она, – и не знаю, что вы хотите сказать тем, что, если бы Богу угодно было, вы были бы рады не быть таким веселым, и хотя я и глупая, я не знаю, как можно находить удовольствие в том, чтобы не иметь удовольствия.

¹ Подложной.

– Вот что, Тереса, – ответил Санчо, – я весел, потому что решил снова поступить на службу к моему господину Дон Кихоту, который в третий раз собирается ехать на поиски приключений, и я опять еду с ним, так как меня заставляет это сделать нужда, вместе с надеждой, подбадривающей меня мыслью, что я могу найти другие сто червонцев подобно тем, которые мы уже истратили, хотя я и огорчен предстоящей мне разлукой с тобой и с моими детьми. И если б Богу было угодно дать мне насущный хлеб у меня дома, сидя с сухими ногами, так чтобы я не должен был скитаться по разным тропинкам и перекрестным дорогам, – а Богу легко было бы это сделать: стоило б ему только захотеть, – в таком случае радость моя была бы полнее и более действительной, так как теперешняя моя радость смешана с горем разлуки с тобой, поэтому я верно сказал, что был бы рад, если б по воле Божьей я не был таким веселым.

– Слушайте, Санчо, – сказала Тереса, – с тех пор, как вы стали членом странствующего рыцарства, вы говорите такими обиняками, что никто не может вас понять.

– Достаточно, жена, что меня понимает Бог, – ответил Санчо, – потому что Он все понимает, и на этом покончим дело. Не забудьте, сестра, что в эти три дня вам надо хорошенько присмотреть за Серым, чтобы он был в состоянии нести оружие. Удвойте ему порцию корма, позаботьтесь о его вьючном седле и остальной упряжи, так как мы едем не на свадьбу, а будем скитаться по свету, вступать в сражения и поединки с великанами, с драконами и привидениями, и слушать свист, рев, завыванье и мычанье; и даже все это было бы цветочки лаванды, если б нам не предстояло иметь дело с янгүэзцами и очарованными маврами.

– Охотно верю, муж мой, – сказала Тереса, – что странствующие оруженосцы не едят даром хлеб, и потому буду молить Господа нашего, чтобы Он скорей избавил вас от столь тяжелой доли.

– Говорю вам, жена, – ответил Санчо, – что, если б я не надеялся в скором времени сделаться губернатором острова, я здесь же упал бы мертвый.

– Ну, нет, муж мой, – сказала Тереса; – пусть курица живет, хотя бы у нее и был типун. Живите и вы, и черт побери все губернаторства, сколько бы их ни было на свете. Без губернаторства вышли вы из утробы своей матери; без губернаторства жили до сих пор и без губернаторства уйдете или вас унесут в могилу, когда на то будет воля Божья. Сколько таких, которые живут на свете без губернаторства и из-за этого не отказываются жить и считаться в числе людей. Лучшая приправа в мире – голод, а так как у бедных в нем нет недостатка, то они всегда едят с удовольствием. Только смотрите, Санчо, если бы вам случайно попало губернаторство, не забудьте меня и ваших детей. Обратите внимание, что Санчику уже исполнилось пятнадцать лет и ему следовало бы ходить в школу, если его дядя аббат думает воспитать его для церкви. Не забывайте также, что Марисанча, ваша дочь, не умрет от огорчения, если мы ее выдадим замуж, и мне даже сдается, что она не меньше желает себе мужа, чем вы желаете губернаторства; и в конце концов, лучше видеть дочь в плохом замужестве, чем на пышном содержании.

– По чести, – ответил Санчо, – если Бог пошлет мне что-нибудь вроде губернаторства, я намерен, жена моя, выдать замуж Марисанчу так блестяще, чтобы никто не подступался к ней иначе, как называя ее: «*ваша сеньория*».

– Ну, нет, Санчо, – ответила Тереса; – выдайте ее замуж за равного ей, и

это будет всего разумнее, так как, если вы от деревянных башмаков переведете ее к бальным туфлям и, вместо юбки из темно-серой, дешевенькой материи, нарядите ее в фижмы и модные шелковые платья, и вместо того, чтобы говорить ей: *Марика и ты* станут величать ее «*доньей такой и такой-то*» и «*вашей сеньори-ей*», девушка растеряется, и наделает на каждом шагу тысячу ошибок, выставив напоказ из каких грубых и неровных ниток соткано ее полотно.

– Молчи, глупая! – сказал Санчо. Все дело в том, чтобы она в два или три года привыкла к этому, а затем спокойствие и знатность придутся к ней, как вылитые. Если же нет, и это не важно, только бы она была «*ваша сеньория*», а там пусть будет, что будет.

– Держитесь, Санчо, своего сословия, – ответила Тереса; – не пытайтесь взобраться выше и помните пословицу, которая говорит: *утри нос сыну твоего соседа и возьми его к себе в дом*. Нечего сказать, прекрасная вещь было бы выдать нашу Марию замуж за какого-нибудь графича или рыцарища, который, когда ему взбредет в голову, будет худо обходиться с ней, обижать ее и называть деревенщиной, дочерью поденщика-крестьянина и бедной пряхи. Нет, не бывать этому, муж, пока я жива; не для этого растила я свою дочь! Доставайте денег, Санчо, а уж замужество нашей дочери предоставьте мне. Тут у нас есть Лопе Точо, сын Хуана Точо, здоровый, дюжий парень, и мы его знаем и я вижу, что он заглядывается на девушку. С ним, который ей ровня, брак ее будет счастлив, они останутся у нас на глазах, и мы будем жить все вместе: родители и дети, внуки и зятья; и мир и благословение Божье будут с нами. Не выдавайте мне ее замуж в этих столицах и пышных дворцах, где и ее не поймут, и она сама себя не поймет.

– Ступай-ка, сюда, скотина, – жена Вараввы! – сказал Санчо. – Почему ты хочешь ни за что, ни про что помешать мне выдать дочь мою замуж за того, кто мне даст внуков, которых будут величать «*señoría*»? Видишь ли, Тереса, я всегда слышал от старших, что тот, кто не умеет пользоваться счастьем, когда оно подойдет к нему, не должен жаловаться, если оно пройдет мимо него, и было бы нехорошо, чтобы теперь, когда оно стучится в нашу дверь, мы бы закрыли ее перед ним. Будем же плыть с дующим для нас попутным ветром.

(Вследствие такой его манеры выражаться и того, что Санчо говорит ниже, переводчик этой истории и выводит заключение, что настоящая глава апокрифическая).

– Не понимаешь разве ты, животное, – продолжал Санчо, – что было бы хорошо, если бы я так прямо и бултыхнулся в какое-нибудь выгодное губернаторство, которое вытащит нам ноги из грязи, и я выдал бы Марисанчу замуж, за кого пожелаю, и ты увидишь, как тебя будут называть: «*донья Тереса Панса*», и будешь сидеть в церкви на пышном ковре и подушках с драпировкой, к досаде и назло всем женам идалго нашего местечка? Если же нет, оставайтесь навсегда тем, что вы есть, не вырастая, не уменьшаясь, точно фигура, затканная на стенном ковре и не будем больше говорить об этом, потому что Санчика должна быть графиней, как бы ты меня не старалась разубедить.

– Знаете ли вы, что говорите, муж? – спросила Тереса; – и при всем том я боюсь, чтобы это графство моей дочери не было бы ее гибелью. Но делайте что хотите из нее; сделайте хотя бы герцогиню или принцессу; могу вам только сказать, что это не будет с моей воли и согласия моего. Всегда любила я

равенство, брат, и не могу видеть тщеславия, не имеющего под собой основания. При крещении назвали меня Тересой, ясно и просто, без всяких подвесок, бахромок и украшений в роде «дона» или «доньи». Отца моего звали Каскахо, а так как я ваша жена, меня зовут Тереса Панса, хотя собственно следовало бы звать Тересой Каскахо; но куда указывают законы, туда и идут короли¹, и я довольна и этим именем и незачем ставить над ним еще «дона», который так тяжеловесен, что я не в силах была бы носить его. И я не желаю давать повода говорить тем, которые видели бы меня одетой графиней или губернаторшей: «смотрите, как гордо идет свинопаска²! Вчера у нее не хватало еще пеньки для пряжи и к обедне она шла, покрыв себе голову, вместо мантии, кончиком юбки; а сегодня она уже в фижмах, с пряжками, и чванством, точно мы не знаем, кто она такая». Если Бог сохранит мне мои семь или мои пять чувств, или те, которые у меня есть, я не намерена давать повода, видеть меня в таком неприятном положении. Вы, брат, идите себе и делайтесь губернаторством или островом, и чваньтесь во все свое удовольствие, но ни дочь моя, ни я, клянусь жизнью моей матери, не уйдем ни на шаг из нашей деревни: честная женщина, как бы с сломанной ногой, сидит себе дома, а для добродетельной девушки работать – праздник. Идите с своим Дон Кихотом искать свои приключения и оставьте нас с нашими злоключениями, которые Бог исправит, если мы будем держать себя хорошо: и я не знаю, право, кто ему при-

цепил этого *Дона*, которого не было ни у его отца, ни у его деда!

– Теперь скажу, – возразил Санчо, – что в тебе сидит какой-нибудь злой дух. Господи помоги! Женщина! Сколько ты нанизала одну на другую вещей, у которых нет ни головы, ни ног! Какое отношение имеют Каскахо, пряжки, половицы и чванство к тому, что я говорю? Иди-ка сюда, полоумная и невежда (я могу назвать тебя так, потому что ты не понимаешь моих слов и бежишь от своего счастья): если б я сказал, чтобы дочь моя бросилась с башни вниз головою или чтобы она скиталась по свету, как это собиралась делать инфанта Уррака³, ты имела бы причину не соглашаться со мной; но если я в две минуты, скорей, чем нужно, чтобы открыть и закрыть глаза, прицепляю ей к плечам и «донью» и «сеньорию» и беру ее с жнива, и сажаю под балдахин на возвышение и на эстраду, где больше бархатных подушек, чем было мавров в роду Алмоадас Маррокских, почему ты не хочешь согласиться и не желаешь того, чего я желаю?

– Знаете ли почему, муж мой? – ответила Тереса; – из-за пословицы, которая говорит: «*Кто тебя покрывает, раскрывает тебя*». Над бедным человеком все глаза быстро скользят, а на богатом они останавливаются; и если этот богатый был когда то бедным, тут то начинаются сплетни, злословии, и что хуже всего, упорство злословящих; а их на этих улицах целые тучи, словно пчелиные рои.

– Заметь себе, Тереса, – ответил Санчо, – и слушай то, что я хочу теперь сказать тебе, быть может, ты этого нико-

¹ Известную пословицу: *Alla van leyes do quieren reyes*, Тереса провертывает, ставя *короли* вместо *законов*, и *законы* вместо *королей*.

² Разругеса – буквально тот, кто кормит свиней.

³ Намек на историю Урраки, дочери короля Фернандо I Кастильского, которая, услышав, что отец разделил королевство между своими тремя сыновьями, пригрозила странствовать по свету, отдаваясь направо и налево, после чего отец оставил ей город Самору.

гда еще не слышала во всю свою жизнь. Говорить я буду не от себя, так как все, что я имею в виду сказать, – изречения отца проповедника, который в прошлогоднем посту говорил проповеди у нас в селе, и он, насколько мне помнится, сказал, что все наличные вещи, те, на которые смотрят глаза, – лучше и сильнее представляются, рисуются, и запечатлеваются у нас в памяти, чем все то, что прошло. (Это второе место в речи Санчо, вследствие которого переводчик считает настоящую главу апокрифической, так как все сказанное Санчо превышает его способности).

– Вот почему, – продолжал Санчо, – когда мы видим какую-нибудь хорошо одетую особу с богатыми украшениями, сопровождаемую свитой слуг, это как-то невольно побуждает и заставляет нас отнестись к ней с почтением, хотя бы память в ту же минуту привела нас на ум низменное положение, в котором мы ее раньше видели; но эта низменность, – зависела ли она от бедности или от происхождения, – так как она прошла, то и не существует больше, и единственная существующая вещь та, которая у нас перед глазами. И если тот, кого счастье из ложбины его низкого звания вознесло на вершину благополучия, (эти самые выражения были сказаны отцом проповедником), окажется хорошо воспитанным, щедрым и учтивым со всеми, и не будет стараться встать на один уровень с теми, кто старинного дворянского рода, – будь уверена, Тереса, что никто не вспомнит, чем он был раньше, а будут чтить то, что он теперь, исключая лишь завистливых людей, от которых не застраховано никакое благоденствие.

– Не понимаю вас, муж мой, – ответила Тереса; – делайте, что хотите, и не

ломайте мне головы вашими речами и проповедями. Если уж вы пришли к такой революции сделать то, что говорите...

– Резолюции, должна ты сказать, жена, – прервал ее Санчо, – а не революции.

– Не начинайте только спорить со мной, муж, – ответила Тереса. – Я говорю, как Богу угодно, и больше ни о чем не забочусь; а говорю я только, что если вы настаиваете на том, чтобы сделаться губернатором, берите с собой своего сына Санчо и тотчас учите его губернаторствовать, так как хорошо, чтобы дети наследовали и знали ремесло своих родителей.

– Когда я получу губернаторство, – сказал Санчо, – я сейчас же велю его привезти по почте, а тебе пришлю денег, так как у меня не будет в них недостатка, потому что всегда найдутся люди, которые дадут деньги взаймы губернаторам, если у них нет своих; и одень ты Санчо так, чтобы скрыть, что он такое, и он казался бы тем, чем он должен был.

– Присылайте только денег, – сказала Тереса, – а я уж разукрашу его, как пальмовую ветвь¹.

– Итак, мы с тобой согласны в том, – сказал Санчо, – что нашей дочери предстоит быть графиней.

– В тот же день, когда я увижу ее графиней, – сказала Тереса, – я сочту что хороню ее. Но повторяю вам опять: делайте, что вам нравится, потому что, мы, женщины, родимся с этим бременем: повиноваться своим мужьям, хотя бы они и были тупицами.

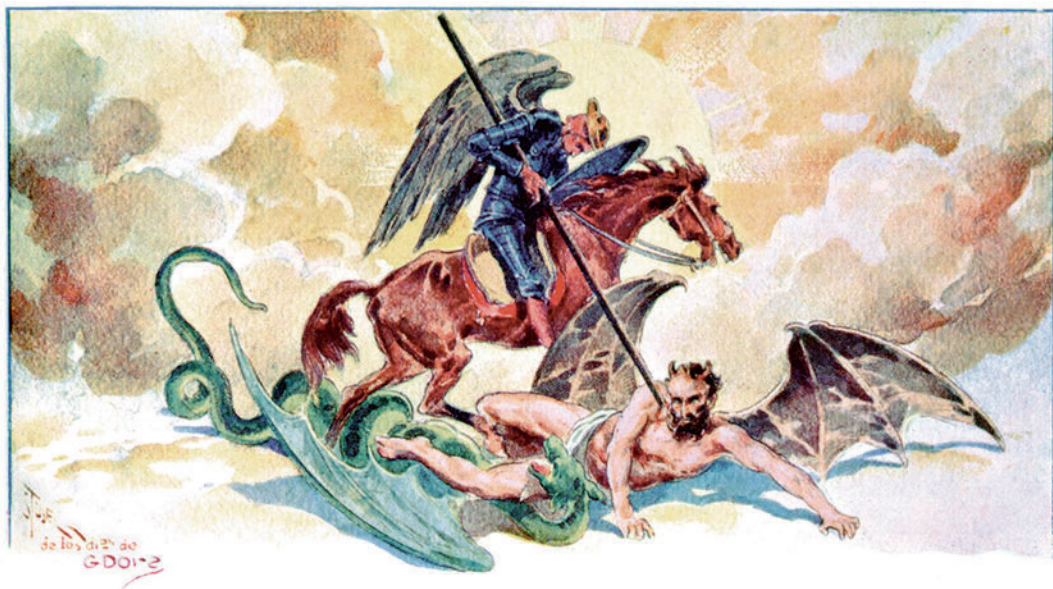
Сказав это, она залилась такими горькими слезами, точно уже видела перед собой свою Санчику мертвой и похороненной. Санчо утешал ее, говоря, что если он и сделает из дочери графиню,

¹ При некоторых религиозных торжествах в Испании носят в процессиях пальмовые ветви, нарядно украшенные живописью и позолотой.

то сделает это лишь как можно позже.
На этом кончился их разговор, и Санчо

вернулся к Дон Кихоту, чтобы заняться
приготовлениями к их отъезду.





Глава VI

О том, что произошло у Дон Кихота с его ключницей и племянницей, – одна из самых важных глав во всей истории.

В то время, как Санчо Панса и жена его Тереса вели между собой упомянутый безрассудный разговор, не оставались праздными племянница и ключница Дон Кихота, которые по тысяче признакам догадывались, что дядя и господин их собирается в третий раз вырваться из дому и вернуться к исполнению обязанностей своего, как им казалось, столь злополучного странствующего рыцарства. Всевозможными способами старались они отклонить его от дурного его намерения, но все это значило лишь проповедовать в пустыне и ковать холодное железо. Тем не менее, среди многих других доводов, которыми они старались убедить его, ключница сказала ему:

– Право, сеньор мой, если ваша милость не хочет взяться за ум и спокойно сидеть дома, а намерена опять, словно

душа на покаянии, скитаться по горам и долам в поисках за так называемыми приключениями, которые я называю злоключениями, мне остается лишь пойти и принести жалобу – воплем и криком Богу и королю, чтобы они пособили горю.

На это Дон Кихот сказал:

– Ключница, что ответил бы на твои жалобы Бог, я не знаю, и что ответил бы на них его величество, мне тоже неизвестно. Знаю только, что, если б я был королем, я уклонился бы отвечать на несметное количество безрассудных прошений, которые поступают ежедневно, потому что одной из величайших тягот королей, в числе многих других, то, что они обязаны выслушивать всех и всем отвечать, и оттого я и не желал бы, чтобы ему досаждали моими делами.

На это ключница спросила:

– Скажите нам, сеньор, при дворе его величества нет рыцарей?

– Есть, – ответил Дон Кихот; – и их много, и это хорошо, что они есть, для возвышения принцев и для блеска королевского величия.

– Почему бы и вам, ваша милость, – ответила ключница, – не сделаться одним из тех рыцарей, которые со всеми удобствами служат своему королю и повелителю, живя при дворе?

– Видишь ли, друг, – сказал Дон Кихот, – не все рыцари могут быть придворными, и не все придворные могут и должны быть странствующими рыцарями. Всего и всякого рода должно быть на свете, и хотя мы все рыцари, большая разница между одними и другими; потому что придворные, не выходя из своих комнат и не переступая порога дворцов, путешествуют по всему свету, только глядя на карту, не израсходовав ни гроша, не испытав ни жары, ни холода, ни голода, ни жажды. Но мы, настоящие странствующие рыцари, и в зной, и в холод, под открытым небом, подвергаясь непогоде и ночью и днем, верхом и пешком измеряем всю землю нашими собственными ногами. Мы знаем врага не только по картинкам, а сталкиваясь с ним лицом к лицу, и сражаемся с ним при всяких обстоятельствах и всяком удобном случае, не обращая внимания на разные ребячества или законы о поединках: одинаковой ли длины меч или копье у обоих противников; нет ли на ком охраняющей его частицы святых мощей, или какой-нибудь скрытой плутни, падает ли одинаково или нет на того и на другого солнечный свет, и церемонии в том же роде, которые в обычае, при дуэлях и не известны тебе, но хорошо известны мне. Кроме того, ты должна знать, что храбрый странствующий рыцарь, – если б он увидел десять великанов, головы которых не только

касаются облаков, но и превышают их, а ногами у каждого из них служат две высочайшие башни, руки кажутся мачтами самых могучих и громадных кораблей, а каждый глаз величиной с большое мельничное колесо и пылает ярче стекла в плавильной печи, – никоим образом не должен пугаться их, а напротив, должен с мужественною осанкою и неустрашимым сердцем идти им навстречу, вызвать их на бой и, если возможно, победить и уничтожить их даже в случае, если б они были вооружены кольчугами из чешуи той рыбы, чешуя которой, как говорят, тверже алмаза, и если б вместо мечей у них были острые клинки из дамаскской стали или железные булавы с остриями тоже из стали, какие мне приходилось не раз видеть. Все это говорю я тебе, ключница моя, чтобы ты видела разницу между одними и другими рыцарями; и было бы очень хорошо, если б все государи ставили выше этот второй, или точнее говоря, первый разряд странствующих рыцарей, потому что как мы читаем в их историях, среди них были и такие, что являлись спасителями не только одного, но и многих королевств.

– Ах, сеньор мой! – сказала тогда племянница, – обратите внимание, милость ваша, что все, что вы говорите о странствующих рыцарях, басни и ложь, и их истории, – если уж их не сжигают, – заслуживают того, чтобы на каждой из них поставили *Сан-бенито*¹ или другую отметку, по которой можно было бы узнать, что они постыдны и вредят добрым нравам.

– Клянусь Богом, поддерживающим мое существование, – сказал Дон Кихот, – если б ты не была родной моей племянницей, дочь сестры моей, я изобрел бы для тебя такое наказание за

¹ *Сан-бенито*, вместо *Saco-benito*, была одежда, в которую облакали осужденных инквизицией. Это был короткий желтый плащ с большим красным крестом спереди.

богохульство, которое ты произнесла, что весть об этом прогремела бы по всему свету. Как! Возможно ли, чтобы девочка, едва умеющая справиться с двенадцатью коклюшками для плетенья кружев, осмелилась опровергать и поносить истории странствующих рыцарей? Что сказал бы сеньор Амадис, если б он это услышал? Впрочем, он, наверное, простил бы тебя, так как он был самый кроткий и любезный из рыцарей своего времени, и сверх того, ревностный защитник девушек. Но твои слова мог бы слышать и такой рыцарь, от которого тебе бы пришлось плохо, так как не все рыцари вежливы и рассудительны, есть между ними и бездельники и неблаговоспитанные. Не все, называющие себя рыцарями, во всем и всегда рыцари. Некоторые из них настоящее золото, другие поддельное, и хотя все кажутся рыцарями, но не все могут выдержать испытание на пробном камне истины. Бывают низкие люди, которые надрываются, чтобы их приняли за рыцарей; бывают и гордые рыцари, которые словно жизнь свою кладут на то, чтобы показать себя низкими людьми; одни возвышаются, благодаря честолюбию или добродетели, другие унижаются вследствие слабохарактерности или пороков, и нужно обладать умением распознавать, чтобы отличить эти два рода рыцарей, столь схожих по имени, столь различных по действиям.

– Помогите мне, Боже, – сказала племянница, – чего вы только не знаете, сеньор дядя! Если бы когда-нибудь это оказалось нужным, вы могли бы взойти на кафедру и идти проповедовать на улицах, а тем не менее, вы впали в такое великое ослепление и в столь очевидное безумие, что воображаете себя доблестным, когда вы стары, сильным, когда вы слабы, думаете выпрямлять кривду, когда сами согнулись под бременем лет, а глав-

ное, считаете себя рыцарем, не будучи им, потому что хотя идалго и могут быть рыцарями, но не те, которые бедны.

– Много правды в том, что ты говоришь, племянница, – ответил Дон Кихот, – и я бы мог сказать тебе такие вещи относительно происхождения, которые удивили бы тебя, но, чтобы не смешивать божественного с человеческим, я умолчу о них. Видите ли, друзья мои, все существующие в мире роды можно разделить на четыре разряда, (будьте внимательны), именно, на следующие: одни, имевшие очень скромное начало, но которые крепки и росли, пока не достигли самой высокой вершины; другие, имевшие высокое начало, и сохранившие и продолжающие сохранять и поддерживать его на прежнем уровне, третьи, хотя и имевшие высокое начало, но кончившие незаметной точкой, как пирамиды, потому что они постепенно все уменьшались и уничтожались, пока не сошли на нет, подобно кончику пирамиды, который, сравнительно с основанием или подножием пирамиды, есть – ничто; наконец, четвертые, – и они самые многочисленные, – те, которые не имели ни хорошего начала, ни изрядной середины, и конец их будет безымянный, как это бывает со всеми обиденными людьми и простонародьем. Примером первых – тех, которые имели скромное начало и достигли величия, сохраняемого ими и до настоящего времени, может служить тебе Оттоманская династия, взявшая свое начало от простого, скромного пастуха, и достигшая вершины, на которой мы теперь ее видим. Примером второго разряда – тех, которые, получив высокое начало, сохранили его, хотя и не расширили, могут служить многие государи, ставшие таковыми по праву престолонаследия и хранящие его, ничего к нему не прибавляя и мирно держась в пределах своих владений. Тех, которые

начали с великого и кончили незаметной точкой, – тысячи примеров, потому что все египетские фараоны и Птолемей, римские Цезари и вся толпа (если можно так выразиться) бесчисленных принцев, монархов, сеньоров, – мидян, ассириян, персов, греков и варваров, – все эти роды и владения кончились незаметной точкой и сошли на нет, как они, так и те, которые дали им начало, потому что в настоящее время было бы невозможно найти их потомков, и если бы мы их и нашли, то лишь в простом и скромном звании. А о плебейских родах скажу только то, что они способствуют лишь умножению числа живущих на земле, и величие их не заслуживает иной славы и похвалы. Из всего сказанного я бы хотел, чтобы вы, дурочки мои, вывели заключение, что смешение, существующее среди родов, очень значительно, и те только являются знаменитыми и великими, представители которых отличаются добродетелями, богатством и щедростью. Я говорю: добродетелями, богатством и щедростью, потому что знатный человек, который порочен, был бы лишь знатным негодяем; богач, который не щедр, был бы лишь скупым нищим, потому что не то делает счастливым обладателя богатств, что он их имеет, а то, что он может их тратить, – не так, как ему вздумалось бы, а умея хорошо их тратить. Для бедного же рыцаря нет другого пути проявить себя рыцарем, как только путь добродетели: – он должен быть приветлив, благовоспитан, учтив, великодушен, услужлив, не должен быть гордым, высокомерным, злоречивым, и, главное, должен быть сострадательным, потому что, давая бедному с радостным сердцем два мараведиса, он выкажет себя столь же щедрым, как и тот, который под звон колоколов раздает

милостыню; и всякий, видя его украшенным вышеупомянутыми добродетелями, хотя бы он и не знал его, будет считать его и судить о нем, как о человеке хорошего происхождения; и было бы чудо, если бы он им не был; и всегда похвала была наградой добродетели и нельзя не хвалить добродетельных людей. Два пути, дочери мои, могут привести людей к достижению богатства и почестей: один путь – наука, другой – оружие. Я предпочитаю оружие наукам, и родился, судя по моим наклонностям к оружию, под влиянием планеты Марса; так что я почти вынужден идти по этой дороге и не могу не идти по ней наперекор всему свету; и вы будете тщетно утруждать себя, убеждая меня, чтобы я не желал того, что желает небо, приказывает судьба, требует разум, и главное, к чему я стремлюсь всей моей волей. Зная, как я их знаю, неисчислимые тяготы, соединенные со странствующим рыцарством, я также знаю, какие бесконечные блага достигаются им. Я знаю, что тропинка добродетели очень узка, а дорога порока широка и просторна; и знаю, что цель и конечный исход их различны, потому что широкая и просторная дорога порока кончается смертью, а узкий и трудный путь добродетели жизнью и не временной, а бесконечной; и я знаю, что как говорил наш великий кастильский поэт¹:

К бессмертия высокому престолу
Ведет суровый, тяжкий путь – никто
дойти

Туда не мог, кто отклонился долу.

– Ах, я, несчастная! – воскликнула племянница. – Мой сеньор еще и поэт, – все-то он знает, все-то он умеет! Бьюсь об заклад, если бы он захотел быть каменщиком, он сумел бы выстроить дом, как клетку!

¹ Гарсиласо де ла Вега. Эти несколько строк взяты из его элегии на смерть дона Бернардино Толедского, брата герцога Альбы.

– Уверяю тебя, племянница, – сказал Дон Кихот, – если бы рыцарские мысли не полонили все мои способности, нет той вещи, которую я бы не сделал и нет той редкости, которая не вышла бы из под моих рук, в особенности же клетки и зубочистки.

В это время позвали у дверей и на вопрос, кто там, Санчо Панса ответил,

что это он, и едва ключница услышала это, она убежала, чтоб не встретиться с ним, так сильно ненавидела она его. Племянница открыла ему дверь, а господин его, Дон Кихот, вышел к нему навстречу и принял его с открытыми объятиями; они оба заперлись в комнате рыцаря, где у них и произошел другой разговор, ни в чем не уступающий предшествующему.





Глава VII

О том, что произошло у Дон Кихота с его оруженосцем, и о других в высшей степени замечательных событиях.

Как только ключница увидела, что Санчо Панса заперся с ее господином, она тотчас же догадалась, к чему клонит дело, и подзревая, что результатом этого совещания явится решение третьего выезда, она, закутавшись в черную мантию и исполненная досады и смятения, пошла отыскивать бакалавра Сансона Карраско, так как ей казалось, что ему, столь недавнему другу ее господина, умеющему так хорошо говорить с ним, удастся убедить его отказаться от такого безрассудного намерения. Нашла она бакалавра, расхаживающего по двору своего дома, и лишь только увидела его, бросилась, вся взволнованная и дрожащая, к его ногам. Когда Карраско

увидел ее с такими признаками смятения и горя, он спросил:

– Что это, сеньора-ключница? Что случилось с вами? У вас как будто душа надрывается?

– Ничего не случилось, сеньор Сансон, кроме того, что господин мой так и ломится, – нет сомнения, что он ломится.

– Как ломится, сеньора? – прервал ее Сансон. – Может, он повредил себе какую-нибудь часть тела?

– Нет, нет, – ответила она. – Это он сам ломится в двери своего безумия. Я хочу сказать, бакалавр души моей, что он хочет опять бросить дом – это уже в третий раз, – чтобы искать по свету то, что он называет счастливыми событиями¹, хотя я не понимаю, как он может их называть так. В первый раз его привез-

¹ Ключница говорит *venturas* – счастливые события, происшествия, вместо *aventuras* – приключения.

ли к нам лежащего поперек осла, всего избитого; во второй раз он приехал на возу, запряженном волами, посаженный и запертый в клетке, куда, по его словам, он попал очарованный, и бедняга был в таком состоянии, что его не узнала бы мать, которая его родила: худой, желтый, с глазами, ввалившимися глубоко до самых перегородок мозга; и для того, чтобы вернуть ему хоть некоторый человеческий образ, я употребила более шестисот яиц, как это известно Богу, всему свету и моим курам, которые не дадут мне солгать.

– Этому я охотно поверю, – сказал бакалавр, – потому что ваши куры такие хорошие, упитанные и благовоспитанные, что они ни за что не сказали бы одной вещи вместо другой, если бы даже и лопнули от этого. Словом, сеньора ключница, нет ничего другого, и не случилось другой беды, кроме той, которую, как вы опасаетесь, может натворить сеньор Дон Кихот?

– Да, сеньор, – ответила она.

– В таком случае не беспокойтесь, – сказал бакалавр. – Ступайте в добрый час домой, приготовьте мне к завтраку что-нибудь горячее, а по дороге прочтите молитву святой Аполлонии, – если вы ее знаете, – потому что и я приду сейчас к вам, и вы увидите чудеса.

– Горе мне! – возразила ключница. – Вы, милость ваша, говорите, чтобы я прочитала молитву святой Аполлонии? Это было бы кстати, если б мой господин недомогал зубами, но, ведь, он недомогает мозгами.

– Я знаю, что говорю, сеньора ключница, – ответил Карраско, – ступайте домой и не затевайте со мной спора, – ведь, я, как вам известно, бакалавр Саламанки, а разве может кто переспорить нас?

После этих слов ключница ушла, а бакалавр тотчас же отправился к священ-

нику, чтобы держать с ним совет о том, о чем будет сообщено в свое время.

Когда Дон Кихот и Санчо заперлись, между ними произошел разговор, который история передает с большой точностью и правдивостью. Санчо сказал своему господину:

– Сеньор, я уже обломал мою жену, так что она отпускает меня с вашей милостью, куда вам будет угодно.

– Уломал, должен ты сказать, Санчо, – поправил его Дон Кихот, – а не обломал.

– Раз, или два раза, если я верно помню, – сказал Санчо, – я умолял вашу милость не поправлять моих слов, когда вы понимаете, что я хочу сказать; в случае же вы не понимаете, то скажите: Санчо, или там черт, я не понимаю тебя; если тогда я не сумею объяснить в чем дело, вы можете меня поправить, потому что я очень сдатлив.

– Не понимаю тебя, Санчо, – тотчас-же прервал его Дон Кихот; – решительно не понимаю, что значит: я очень *сдатлив*.

– Сдатлив значит, – ответил Санчо, – что я такой.

– Еще менее понимаю тебя теперь, – возразил Дон Кихот.

– Но если вы не можете меня понять, – ответил Санчо, – не знаю, как вам сказать; ничего больше не знаю; помогите мне, Боже!

– Вот теперь, – сказал Дон Кихот, – я, кажется, догадался в чем дело. Ты, верно, хотел сказать, что ты такой *податливый*, сговорчивый, добродушный, подчинишься всему, что я тебе скажу, и сделаешь все, что я укажу тебе.

– Готов биться о заклад, – сказал Санчо, – что вы с самого начала догадались и поняли меня, только вам хотелось меня смутить, чтобы услышать еще двести нелепостей.

– Может и так, – ответил Дон Кихот, – но, в самом деле, что же говорит Тереса?

– Тереса говорит, – сказал Санчо, – чтобы я хорошенько связал свой палец¹ с вашей милостью и пусть говорят бумаги, а бороды молчат, потому что, кто условится вперед, спокойствие найдет, и одно *бери* лучше двух *я дам тебе*; и, говорю я, хоть женский совет и дурен, а кто не слушается его, тот не умен.

– И я говорю то же самое, – ответил Дон Кихот, – продолжайте, друг Санчо, не останавливайтесь, сегодня у вас из уст сыплется точно жемчуг.

– Дело в том, – сказал Санчо, – как лучше известно вашей милости, чем мне, все мы подвержены смерти: сегодня мы живы, а завтра нас нет, и за бараном идет и барашек вослед, и никто не может обещать себе на этом свете больше часов жизни, чем Бог пожелает дать их ему; потому что смерть глуха, и, когда она стучится у дверей нашей жизни, она всегда спешит и ничто не может задержать ее, ни просьбы, ни сила, ни скипетры, ни митры, если судить по общему мнению и молве, и по тому, как нам говорят с кафедр.

– Все это верно, – сказал Дон Кихот, – но я не знаю, к чему ты клонишь?

– Я клоню к тому, – сказал Санчо, – чтобы ваша милость назначила мне определенное жалованье, которое бы шло мне каждый месяц, пока я на службе у вас, и выплачивалось из вашего имущества, так как я не хочу зависеть от милостей, которые приходят или поздно, или плохо, или никогда, а пусть мне Бог поможет тем, что мое. Словом, я хочу знать, что я зарабатываю, будет ли то много или мало, потому что курица

начинает класть с одного яйца, и из многих малых составляется одно большое, и пока кой-что приобретается, ничего не теряется. А если действительно случится (чему я не верю и чего не жду), что ваша милость подарит мне тот остров, который вы обещали, я не на столько неблагодарен и не такой скаредный, чтобы не согласится на оценку дохода с того острова и вычета из него в должном раз- мере моего жалования.²

– Санчо, друг! – ответил Дон Кихот, – иногда кошкой быть так же хорошо, как и крысой.

– Готов биться о заклад, – сказал Санчо, – что я не так сказал, но это ничего не значит, потому что ваша милость поняла меня.

– Я так хорошо понял тебя, – ответил Дон Кихот, – что проник в самую глубь твоих мыслей, и прекрасно вижу и знаю, в какую ты метишь цель бесчисленными стрелами твоих пословиц. Слушай, Санчо, я бы охотно назначил тебе жалованье, если б нашел в какой-нибудь из истории странствующих рыцарей пример, который указал и доказал бы мне хотя чрез крохотную щелку, сколько оруженосцы получали ежемесячно или ежегодно. Но я прочел все или большую часть рыцарских историй и не помню, чтоб какой-нибудь рыцарь назначил определенное жалованье своему оруженосцу; я знаю только, что все служили из милости, и когда менее всего ждали этого, – если судьба благоприятствовала их господам, – они награждались островом или чем-либо другим, столь же ценным, и по меньшей мере получали титул и положение. Если вы, Санчо, довольствуетесь этими надеждами и приложениями, со-

¹ *Que ate bien mi dedo*: смысл этих слов – чтобы хорошенько позаботился о своих интересах.

² Тут непередаваемая игра слов: Санчо говорит *gata* por cantidad вместо *gata* por cantidad; но слово *gata* значит «кошка», *rata* – «доля, часть», а также и «крыса», – что и вызывает ответ Дон Кихота.

гласны опять поступить ко мне на службу, в добрый час; но думать, что я могу отступить от освященного временем старинного обычая странствующего рыцарства, – значило бы думать невозможное. Так что, Санчо mio, вернитесь к себе домой и объясните вашей Тересе мое решение; если она даст свое согласие и вам по душе состоять при мне на милости, *bene quidem*; а если нет, мы, как и прежде, останемся добрыми друзьями потому что раз в голубятне нет недостатка в корме, не будет недостатка и в голубях; и заметь себе, сын, что добрая надежда стоит больше плохого имущества, и верный иск лучше дурной платы. Говорю таким образом, Санчо, чтобы вы видели, что и я, подобно вам, могу изливаться из себя целый дождь пословиц; словом, я хочу этим вам сказать и говорю, если вы не желаете служить мне, полагаясь лишь на мою милость, и не хотите делить со мной участь, которая выпадет на мою долю, то оставайтесь с Богом и да пошлет Он вам святость, а у меня не будет недостатка в оруженосцах более послушных, более заботливых, не столь неуклюжих и боязливых, как вы.

Когда Санчо услышал твердое решение своего господина, небо омрачилось в его глазах и крылья души его опустились, так как он был уверен, что без него его господин не уедет ни за какие сокровища в мире. Пока он еще стоял в раздумьи и нерешительности, вошел Сансон Карраско и с ним ключница и племянница, сгоравшие от желания узнать, какими доводами бакалавр убедит их сеньора не пускаться в новые поиски приключений. Сансон, этот отъявленный зубоскал, подошел к Дон Кихоту и, обняв его, как и в первый раз, громким голосом сказал;

– О, цвет странствующего рыцарства! О, яркосияющий свет оружия!

О, честь и зеркало испанского народа! Да соблаговолит всемогущий Бог во всем своем объеме, чтобы то лицо или те лица, которые ставят тебе препятствия или противятся третьему твоему выезду, сами не нашли выхода из лабиринта своих желаний и никогда не увидели исполнения своего злого умысла! – И, обращаясь к ключнице, он сказал; – Сеньора-ключница может не читать больше молитвы святой Аполлонии, так как я знаю, что в сферах твердо решено, чтобы сеньор Дон Кихот еще раз привел в исполнение возвышенные и неслыханные свои намерения; и я очень обременил бы мою совесть, если б не убеждал и не советовал этому рыцарю не сдерживать и не сковывать бездействием могущество храброй своей руки и доблесть мужественной души, так как промедлением он отдаляет от себя возможность выправлять кривду, защищать сирот, охранять честь девушек, служить опорой вдовам, оказывать помощь женам и совершать другие вещи в том же роде, которые входят в обязанность странствующего рыцарства, касаются его, зависят от него и связаны с ним. Итак, сеньор Дон Кихот мой, прекрасный и храбрый, пусть лучше сегодня, чем завтра, ваша милость и ваше величие отправляется в путь, и если б чего-либо недоставало для приведения в исполнение вашего намерения, я здесь к вашим услугам и готов поддержать вас моей особой и всем моим достоянием; и если б было нужно служить вашему великолепию оруженосцем, я счел бы это за величайшее счастье для себя.

Тогда Дон Кихот, обернувшись к Санчо, сказал:

– Не говорил ли я тебе, Санчо, что у меня будет больше, чем нужно мне, оруженосцев? Видишь, кто предлагает им быть? Никто другой, как несравненный бакалавр Сансон Карраско, вечный шут-

ник и отрада слушателей Саламанкских школ, здоровый телом, ловкий и гибкий, сдержанный, терпеливо переносящий как жару, так и холод, как голод, так и жажду, одаренный всеми качествами, нужными для оруженосца странствующего рыцаря. Но, да хранит меня небо, чтобы в угоду моему желанию я низверг и разбил колонну учености и сосуд наук и срубил высокую пальму благородных, свободных искусств. Пусть новый Сансон остается в своей отчизне и, делая ей честь, в то же время покрывает честью седины старых своих родителей, потому что я удовольствуюсь каким бы то ни было оруженосцем, раз Санчо не благоугодно ехать со мной.

– Нет, мне благоугодно – ответил Санчо, растроганный и с глазами полными слез, и продолжал: – Пусть не скажут про меня, сеньор мой: хлеб поделили и друг друга забыли. Я не происхожу из неблагодарного рода, так как весь свет знает, и в особенности мое село, кто были Панса, от которых я происхожу; и кроме того, я увидел и понял из многих добрых дел и еще более добрых слов, что желание ваше, сеньор, оказать мне милость, а если я пустился, более или менее в расчеты, относительно моего жалованья, то сделал это только в угоду моей жене, потому что если она возьмет себе в голову добиться чего-нибудь, нет той колотушки, которая крепче нажимала бы на обручи кадки, чем она нажимает на человека, когда хочет поставить на своем. Но в конце концов мужчина должен быть мужчиной, и женщина – женщиной, а так как я – мужчина везде, чего нельзя отрицать, – то хочу им быть и у себя дома, наперекор всем, кто бы стал возражать против этого. Итак, остается нам одно: пусть ваша милость приведет в порядок

свое завещание и приписку к нему, так чтобы нельзя было его выпаривать¹ и отправимся сейчас же в путь, чтобы не мучилась душа сеньора Сансона Карраско, который говорит, что его совесть велит ему убедить вашу милость ехать в третий раз скитаться по свету. И я снова предлагаю себя служить вашей милости верно и преданно, также хорошо, и еще лучше, чем все оруженосцы, служившие странствующим рыцарям в прошлые и настоящие времена.

Бакалавр был изумлен, услышав слог и манеру выражаться Санчо Пансы, потому что, хотя он и читал первую часть истории Дон Кихота, но не мог поверить, чтобы Санчо был действительно таким забавным, каким там изобразили его. Однако, услышав, как он говорил о завещании и приписки к нему, которых нельзя было бы выпаривать вместо того, чтобы сказать: нельзя оспаривать, – он поверил всему, что читал о нем, и убедился, что он один из самых неоспоримых простаков наших времен, подумав про себя, что таких двух безумцев как этот господин и его слуга, не видели еще на свете. Наконец, Дон Кихот и Санчо снова обнялись и стали опять друзьями, а с позволения и одобрения великого Карраско, который с этих пор сделался их оракулом, было решено, что через три дня состоится их отъезд, и за это время они сделают все необходимые приготовления к путешествию, а также отыщут настоящий шлем с забралом, который, – говорил Дон Кихот, – во что бы то ни стало он должен взять с собой. Сансон предложил ему такого рода шлем, зная, что один из его друзей не откажет дать ему свой, хотя он и более потемнел от ржавчины и пыли, чем блестел и светил от сверкающей отшлифованной стали.

¹ Игра слов, не переводимая на русский язык; Санчо говорит *revolcar* – «погрязнуть в пороке», «валяться в грязи», вместо *revocar* – «отменить», «оспаривать».

Проклятиям, которыми обе, и племянница и ключница, осыпали бакалавра, не было числа; они рвали на себе волосы, царапали лицо и на манер наемных плакальщиц рыдали над отъездом своего господина, как бы над его смертью.

Цель, которую преследовал Сансон, убеждая Дон Кихота пуститься в новое странствование, была – сделать то, что будет дальше рассказано в этой истории, и все по совету священника и цирюльника, с которыми он предварительно совещался.

Итак, в течение этих трех дней Дон Кихот и Санчо запаслись всем, что считали необходимым; и после того, как Санчо умиротворил свою жену, а Дон Кихот – племянницу и ключницу, они

при наступлении ночи, когда никто их не видел, кроме бакалавра, который пожелал проводить их с полмили от местечка, направились по дороге в Тобосо, – Дон Кихот на своем добром Росинанте, а Санчо на старом своем Сером; сумки были туго набиты съестными припасами, а кошелек – деньгами, которые Дон Кихот дал Санчо в виду всяких случайностей. Сансон обнял рыцаря, просил сообщать о своих удачах или неудачах, чтобы он мог горевать о тех и радоваться этим¹, как того требуют законы дружбы. Дон Кихот обещал исполнить его просьбу, и Сансон вернулся к себе в село, а остальные двое продолжали путь в великий город Тобосо.



¹ Незамеченный Дон Кихотом оттенок коварства: выходит так, что Сансон будет радоваться неудачам и горевать об удачах.



Глава VIII

В которой говорится о том, что случилось с Дон Кихотом, ехавшим на свидание с сеньорой своей Дульсинеей Тобосской.

Да будет благословен всемогущий Аллах! – говорит Амет Бененхели приступая к этой восьмой главе. – Да будет благословен Аллах! – повторяет он три раза и говорит, что воссылает эти благословения, потому что уже видит Дон Кихота и Санчо в открытом поле, и читатели забавной его истории могут рассчитывать, что с этого времени начнутся подвиги и причуды Дон Кихота и его оруженосца. Автор просит читателей забыть прежние рыцарские деянья изобретательно-остроумного идадьго и устремить свои взоры на те, которые впереди и теперь начнутся по дороге в Тобосо, как первые подвиги его начались в долине Монтисель. И, действительно, не многого просит он сравнительно с тем, что обещает; итак, он продолжает свой рассказ, говоря:

Дон Кихот и Санчо остались одни, но едва Сансон удалился, как Росинант начал ржать, а Серый стонать, и оба они – и рыцарь, и оруженосец, – сочли это за хороший знак и счастливейшее предзнаменование, хотя, если говорить правду, рев и стон Серого были сильнее ржания лошади, из чего Санчо заключил, что его счастье превысит и возьмет верх над счастьем его господина, не знаю, не основываясь ли на астрологии¹, которую он, быть может, изучил, хотя история и умалчивает об этом; только слышали, что он, когда спотыкался или падал, говорил: лучше было бы ему вовсе не выходить из дому, потому что спотыкание и падение не приводят ни к чему другому, как только к разорванному башмаку или к сломанным ребрам; и хотя и глупый, в этом он не очень был далек от истины. Дон Кихот сказал ему:

¹ Astrologia judiciaria, т. е. искусство предвидеть события и угадывать судьбу отдельных лиц, основанное на наблюдении природных явлений, в которое вера в те времена была всеобщей. Сервантес при всяком удобном случае высмеивает и это суеверие в числе других народных суеверий.

– Санчо друг, ночь надвигается быстро и более темная, чем нужно нам, чтобы мы могли еще при дневном свете добратся до Тобосо, куда я решил ехать прежде, чем предпринять какое-либо приключение. Там я заручусь благословением и милостивым позволением несравненной Дульсиней, и с этим позволением я думаю и уверен, что завершу и доведу до счастливого конца всякое опасное приключение, потому что ничего в жизни не может придать больше доблести странствующим рыцарям, как уверенность в благосклонности к ним их дам.

– И я это думаю, – сказал Санчо: – но считаю, что вашей милости будет затруднительно говорить и видаться с сеньорой Дульсиной наедине, и во всяком случае так, чтобы вы могли получить ее благословение, разве только она бросит вам его через забор двора, где я ее видел в первый раз, когда привез ей письмо с известием о нелепостях и безумствах, совершаемых вашей милостью в глубине Сьерра-Морена.

– Забором показалось тебе то место, Санчо, – спросил Дон Кихот, – где, или откуда, ты видел эту никогда достаточно не восхваленную красоту и изящество? Наверное, это было не что иное, как галереи, портики, аркады – или как их там называют – роскошных королевских дворцов.

– Все может быть, – сказал Санчо, – но мне показалось, что это был забор, если только память не изменяет мне.

– Тем не менее, мы поедем туда, Санчо, – возразил Дон Кихот. – Лишь бы только я увидел ее, мне все равно, будет ли это через забор или окно, или же через решетку или щель садовой ограды, потому что каждый луч, который исходит от солнца красоты ее, проникнет к моим глазам, осветит разум мой и укрепит

пит мое сердце так, что я буду единственным и не имеющим равного себе по мудрости и доблести.

– Но, по правде говоря, сеньор, – ответил Санчо, – когда я видел это солнце сеньоры Дульсиней Тобосской, оно не светило так ярко, чтобы бросать какие-либо лучи, и должно быть это происходило оттого, что ее милость в то время просеивала пшеницу, как я говорил, и поднявшаяся густая пыль, точно облако, ложилась кругом ее лица и затмевала его.

– Как! Ты все еще, Санчо, – сказал Дон Кихот, – продолжаешь говорить, думать, верить и настаивать, что моя сеньора Дульсиней просеивала пшеницу, хотя это такое занятие и такая работа, которая очень далека от всего, что делают и должны делать знатные лица, созданные и предназначенные для совершенно иных занятий и развлечений, по которым уже на расстоянии выстрела из арбалета можно видеть их высокое звание? Плохо помнишь ты, о, Санчо, эти стихи нашего поэта, в которых он описывает нам работы, какими занимались в тех хрустальных своих жилищах четыре нимфы, когда они вынырнули из любимого ими Тахо и сели на зеленом лугу изготавливать богатые ткани, описываемые изобретательно-остроумным поэтом, и которые были сплетены и сотканы из золота, шелка и жемчуга¹. И таким же образом, должно быть, была занята и моя сеньора, когда ты ее видел; разве только зависть, проявляемая каким-то злым волшебником ко всему, что меня касается, превращает и придает совершенно иные образы тому, что доставляет мне удовольствие. Итак, я боюсь, что и в истории о моих подвигах, которая, как говорят, напечатана, если автор ее какой-нибудь враждебный мне мудрец, – он мог заменить одну вещь

¹ Ода Гарсиласо де Вега (3-ья эклога); Сервантес, по-видимому, чувствует особенную любовь и уважение к Гарсиласо.



Санчо друт, нощь надвигается быстро и более темная, чем нужно нам...

другой и к одной правде примешать тысячи неправд, доставляя себе забаву рассказывать совершенно другие события, чем те, которые требуются продолжением истинной истории. О, зависть, корень бесконечных зол, и червоточина добродетелей! Все пороки, Санчо, ведут за собой что-то, не знаю, как бы вроде наслаждения, а зависть ведет за собой только недовольство, ненависть, бешенство!

– И я также говорю это, – ответил Санчо, – и думаю, что в том сказании или в истории, о которой нам сообщил бакалавр Карраско, будто видел ее, должно быть, и с моим добрым именем не очень то церемонятся и порастрясли его порядком, туда и сюда, во все стороны, подметая им, как говорится, все улицы. А между тем, клянусь честью хорошего человека, я не говорил дурно ни о каком волшебнике, и у меня нет такой удачи и счастья, чтобы могли бы мне завидовать. Правда, я немного насмешлив и имею некоторую склонность к лукавству. Но все это спрятано и скрыто под широким плащом моей, всегда естественной и ни мало не притворной простоты, и если не из-за чего другого, так только из за того, что я искренно и твердо верю, как я это и делаю, в Бога и во все, чего придерживается и во что верит святая римско-католическая церковь, и что я смертельный враг – какой я и есть – евреев, историки должны были бы смириться надо мной и хорошо обращаться со мной в своих писаниях. Но пусть говорят, что хотят, так как наг я родился, наг я есть, ничего не проигрываю и ничего не выигрываю и, хотя я и попал в книги и перехожу из рук в руки по всему свету, ни на грош не забочусь о том, что обо мне скажут.

– Это, Санчо, – ответил Дон Кихот, – похоже на то, что случилось с одним знаменитым современным поэтом, который, написав злую сатиру против дам легкого поведения, не включил в нее одну даму, относительно которой еще существовало сомнение, легкого ли она поведения или нет. Видя, что ее имени нет в списке этих дам, она пожаловалась поэту, спросив его, что же он видел такое в ней, что не включил ее в их число, и требовала, чтобы он дополнил свою сатиру, поместив и ее туда, а если же нет, пусть он остерегается ее гнева. Поэт исполнил ее желание и наговорил о ней в своей сатире вещей похуже тех, которые могли бы сказать дуэньи, а она осталась очень довольна, видя, что приобрела известность, хотя бы и позорную. Кстати можно припомнить еще и того пастуха, о котором рассказывают, что он поджег и сжег дотла знаменитый храм Дианы, считавшийся одним из семи чудес света, с единственной целью, чтобы имя его пережило века. И хотя было издано постановление, чтобы никто не упоминал его имени ни устно, ни письменно, и он не достиг бы таким образом своей цели, но все же, несмотря на это, стало известным, что его звали Геростратом. В том же роде является и случай, приключившийся в Риме с императором Карлом V и одним знатным римлянином. Император желал видеть знаменитый храм де ля Ротунда, в древности называвшийся храмом *Всех богов*, а теперь с большим правом «*Всех святых*» – здание, сохранившееся лучше остальных зданий, воздвигнутых язычеством в Риме, и наиболее ярко свидетельствующее о величии и великолепии его строителей¹. Крыша его выпуклая, похожа по форме на разрезанный пополам

¹ Это всем известный *Пантеон*, воздвигнутый Агриппой, зятем Августа, в честь Юпитера и всех богов. Он был обращен в христианскую церковь папой Бонифацием IV в 608 г., а в 830 г. папа Григорий II посвятил эту церковь «*всем святым*».

апельсин, и все здание необычайно громадных размеров и очень светлое, хотя свет падает в него только через одно окно, или, вернее, через круглое отверстие в куполе. Оттуда то император и рассматривал здание, а рядом с ним стоял знатный римлянин, объяснявший ему красоты и тонкости этого великолепного сооружения и его образцовой архитектуры. Когда они отошли от отверстия, знатный римлянин сказал императору: «Тысячу раз, священное ваше величество, приходило мне желание заключить в свои объятия ваше величество и броситься через это отверстие вниз, чтобы оставить по себе на свете вечную славу». – «Благодарю вас, – ответил император, – что вы не привели в исполнение такую злую мысль; и отныне впредь я не подвергну больше искушению вашу верность мне. Итак, приказываю вам никогда не говорить со мной и не быть там, где я буду находиться». – И с этими словами он отпустил его и оказал великую милость. Этим я хочу сказать, Санчо, что желание приобрести славу в высшей степени деятельное и могущественное побуждение. Как ты думаешь, что заставило Горация в полном вооружении броситься с моста в глубину Тибра? Из-за чего Муций сжег себе руку? Что побудило Курция низвергнуться в пылающую пучину, открывшуюся среди Рима? Что принудило Цезаря, наперекор всем зловещим предсказаниям, перейти через Рубикон? Или, обращаясь к более современным примерам: что заставило погрузить на дно корабли, просверлив в них дыры, и этим отрезать отступление высадившимся на берег нового света доблестным испанцам под предводительством благороднейшего Кортеса? Все эти и еще разные другие великие подвиги были, есть и будут достоянием славы, к которой люди стремятся, как к награде, и к доле бессмертия, заслу-

женной высокими деяниями; хотя мы, католики-христиане и странствующие рыцари, должны больше заботиться о вечной славе грядущих веков в эфирных областях неба, чем о суетной славе, приобретаемой в земной скоропреходящей жизни, так как слава эта, как бы она долго не длилась, должна кончиться с концом мира, срок которому уже предопределен. Итак, о, Санчо, действия наши не должны переходить за пределы, начертанные исповедуемой нами христианской религией. Убивая великанов, мы имеем в виду убивать надменность; зависть мы убиваем благородством и сдержанностью, гнев – душевным спокойствием; обжорство и сонливость – умеренностью в еде и бодрствованием; неводержанность и сладострастие, – верностью к тем, которых мы избрали властительницами наших дум; лень – скитанием по всем частям света в поисках приключений, которые могут нас сделать и делают нас, сверх того, что мы добрые христиане, еще и знаменитыми рыцарями. Вот, Санчо, те средства, которыми достигаются вершины похвалы, являющейся следствием доброй славы.

– Все, что ваша милость сказала до сих пор, – ответил Санчо, – я понял очень хорошо, но тем не менее хотел бы, чтобы милость ваша объяснила мне одно недомнение, которое только что сейчас пришло мне в голову.

– Недоумение – хотел ты, верно, сказать, Санчо, – поправил его Дон Кихот. – Спрашивай в добрый час, и я отвечу тебе, что сумею.

– Скажите мне, сеньор, – спросил Санчо, – эти Юлии или Августы и все эти знаменитые рыцари, о которых вы говорили и которые уже давно умерли, где они теперь?

– Язычники, – ответил Дон Кихот, – должно быть, находятся в аду; а

христиане, если они были добрые, в чистилище или в раю.

– Хорошо, – сказал Санчо, – но мне бы хотелось знать: перед гробницами, в которых лежат тела этих знатных сенсоров, есть ли там серебряные лампы, украшены ли стены их часовен костылями, саванами, париками, восковыми ногами и глазами¹, а если не этим, то чем же они украшены?

На это Дон Кихот ответил:

– Гробницами язычников служили большей частью роскошные храмы. Пепел сожженного труп Юлия Цезаря был положен под каменной пирамидой необычайной высоты, которую теперь в Риме называют иглой Святого Петра². Гробницей императора Адриана служил замок такой величины, как большое село, и его называли *Moles Hadriani*, а теперь он известен в Риме под именем замка Святого Ангела. Королева Артемиза похоронила своего супруга, короля Мавзолея, в гробнице, которую считали одним из семи чудес света. Но все эти, и многие другие гробницы, возведенные язычниками, не были украшены саванами и разными приношениями и символами, свидетельствующими о том, что в них похоронены святые.

– К этому-то я и метил, – объявил Санчо, – а теперь скажите мне, что больше: воскресить ли мертвого или убить великана?

– Ответ может быть только один, – сказал Дон Кихот: – конечно, воскресить мертвого.

– Вот я вас и поймал, – объявил Санчо. – Значит, слава тех, кто воскреша-

ет мертвых, дает зрение слепым, выпрямляет ноги хромым, возвращает здоровье больным, перед гробницей которых горят лампы, и часовни их наполнены набожными людьми, молящимися на коленях у их мощей, эта слава, и в настоящей и в будущей жизни, выше той славы, которую все языческие императоры и странствующие рыцари, сколько бы их ни было на свете, оставили и оставят по себе.

– Не оспариваю также и этой истины, – ответил Дон Кихот.

– Таким образом, эта слава, эти приношения, эти привилегии, как их называют, – сказал Санчо, – принадлежат останкам и мощам святых, которые, с одобрения и разрешения нашей святой матери Церкви, украшены лампадами, восковыми свечами, саванами, костылями, живописью, восковыми ногами и глазами, благодаря чему умножается благочестие и увеличивается их христианская слава. Останки святых, или их мощи, несут на плечах своих короли, прикладываются к кусочкам от их костей и украшают или обогащают ими свои домовые часовни и наиболее почитаемые ими алтари.

– Какое ты хочешь вывести заключение из всего сказанного тобой, Санчо? – спросил Дон Кихот.

– Вот какое, ответил Санчо. – Нам бы следовало сделаться святыми, и тогда мы бы скорее достигли славы, к которой стремимся; и заметьте сеньор, что вчера или третьего дня (случилось это столь недавно, что можно так выразиться) были возведены в святые и причтены к их лику два босоногих монаха³, а к желез-

¹ Часовен, украшенных таким образом, было множество в Испании.

² Египетский обелиск, поставленный Фонтаной в 1586 г. напротив церкви Св. Петра. Дон Кихот повторяет здесь народное сказание о том, будто бы под упомянутым обелиском похоронен пепел Великого Юлия Цезаря.

³ Эти двое были – Диего де Алькала, который умер в 1463 г. и был причислен к лику святых в 1588 г., также как и Педро де Алякантара, умерший в 1562 г.

ным цепям, которыми они опоясывали и истязали свое тело, теперь считается за большое счастье прикладываться и прикасаться, и они пользуются большим почетом, как говорят, чем меч Роланда, лежащий в арсенале нашего сеньора короля, которого да хранит Господь. Так что, сеньор мой, лучше быть бедным монахом какого бы то ни было ордена, чем доблестным странствующим рыцарем. Две дюжины покаянных ударов бичем перед Богом большая заслуга, чем две тысячи ударов копьем, нанесенных великанам, чудовищам или драконам.

– Все это так, – ответил Дон Кихот, – но не все мы можем быть монахами, и много дорог, по которым Бог ведет своих избранных на небо. Рыцарство – религия, и в раю есть святые рыцари.

– Да, – ответил Санчо. – Но я слышал, будто бы на небе больше монахов, чем странствующих рыцарей.

– Это оттого, – ответил Дон Кихот, – что число монахов больше числа странствующих рыцарей.

– Много странствующих, – сказал Санчо.

– Много, – согласился Дон Кихот, – но не многие из них заслуживают название рыцарей.

В таких и тому подобных разговорах провели они ночь и следующий день, и за это время с ними не приключилось ничего достойного упоминания, что немало огорчило Дон Кихота. Наконец, на другой день, при наступлении ночи, перед глазами их раскинулся великий город Тобосо, при виде которого радость наполнила душу Дон Кихота, а печаль – душу Санчо, оттого что он не знал, где жила Дульсинея, и никогда в жизни не видал ее, как не видал ее и его господин; так что оба они были взволнованы: один от ожидания видеть ее, другой, потому что не видел ее; и Санчо не мог и представить себе, что он будет делать, когда его господин пошлет его в Тобосо.

Наконец, Дон Кихот решил въехать в город лишь с наступлением ночи, а до тех пор они остановились под несколькими дубами, находившимися вблизи Тобосо, и когда назначенный срок настал, они въехали в город, где с ними приключились дела, очень похожие на дело¹.



¹ Cosas que à cosas llegan: – «дела, достигающие до дел».



Глава IX

В которой рассказывается то, что будет видно.

Как раз в полночь, на ниточку больше или меньше, Дон Кихот и Санчо, покинув рощицу, въехали в Тобосо. Все село было погружено в глубочайшее молчание, потому что жители спали, как говорится, не переводя духа. Ночь была довольно светлая, хотя Санчо и желал бы, чтобы она была донельзя темная, и темнота могла бы служить оправданием его глупости. Во всем местечке был слышен только лай собак, ошеломлявший уши Дон Кихота и смущавший сердце Санчо. Время от времени ревел осел, хрюкали свиньи, мяукали кошки, и эти разнообразные звуки только усиливались, благодаря ночной тишине. Все это влюбленный рыцарь счел за дурное предзнаменование, тем не менее, он сказал Санчо:

– Санчо сын, проводи меня во дворец Дульсинеи; быть может, мы еще застанем ее бодрствующей.

– В какой это дворец должен я вести вас, клянусь солнцем, – сказал Санчо, – когда тот, в котором я видел ее величие, был лишь совсем маленький домишка?

– Должно быть, – ответил Дон Кихот, – она тогда удалилась в небольшую пристройку своего королевского дворца, развлекаясь там наедине со своими девушками, как это в обычае и обыкновении у знатных дам и принцесс.

– Сеньор, – возразил Санчо, – если уж ваша милость желает, чтобы назло мне дом сеньоры Дульсинеи был королевским дворцом, такой ли теперь час, чтобы найти дверь открытой? И хорошо ли будет стучаться так, чтобы они услышали и открыли нам, и мы бы переполошили и встревожили всех людей? Не идем ли мы, быть может, в дом наших наложниц, как это делают развратные мужчины, которые приходят, зовут и входят во всякий час, как бы ни было поздно?

– Прежде всего отыщем, во что бы то ни стало, дворец, – возразил Дон Кихот, – а потом я скажу тебе, Санчо, что было бы хорошо нам сделать. И, вот, смотри, Санчо, – или глаза мои обманывают меня, или та большая темная груда, которая видна отсюда, должно быть и есть дворец Дульсинеи?

– Так пусть ваша милость ведет нас, – ответил Санчо; – может быть, оно

так и есть, хотя, если я и увижу его своими глазами и дотронусь до него руками, я также этому поверю, как и тому, что теперь день.

Дон Кихот поехал вперед и, проехав около двухсот шагов, увидел, что груда, которая отбрасывала от себя черную тень, была высокой башней. Он тотчас же понял, что здание это – не дворец, а церковь того местечка, и сказал:

– Мы наткнулись на церковь, Санчо!

– Вижу, – ответил Санчо. – Дай Бог, чтоб мы не наткнулись на свои могилы, так как нехорошее предзнаменование ходить по кладбищам в такие часы, и тем более, что я, насколько помню, говорил вашей милости, что дом этой сеньоры находится в глухом переулке.

– Будь проклят Богом, полоумный! – воскликнул Дон Кихот. – Где ты видел, чтобы королевские замки и дворцы были построены в глухих переулках?

– Сеньор, – ответил Санчо, – каждая страна имеет свои обычаи. Быть может, здесь в Тобосо обычай строить дома и большие здания в глухих переулках, и потому умоляю вашу милость, разрешите мне поискать по этим улицам и глухим переулкам, которые я тут вижу перед нами. Может случиться, что в каком-нибудь углу я и найду тот дворец, который хоть бы собаки съели, если мы должны так бегать и мучиться, разыскивая его.

– Говори с должным уважением, Санчо, – сказал Дон Кихот, – о вещах, имеющих отношение к моей сеньоре, и давай проведем наш праздник в мире, а, уронив ведро, не бросим за ним след и коромысло.

– Постараюсь сдержаться, – сказал Санчо. – Но откуда мне взять терпения и спокойно слушать, как каша милость требует, чтобы я, видевший только раз дом нашей госпожи, знал его всегда и ра-

зыскал его в полночь, когда вы сами, милость ваша, не находите его, хотя должны были видеть сотни тысяч раз.

– Ты доведешь меня до отчаянья, Санчо! – сказал Дон Кихот. – Слушай, еретик, не говорил ли я тебе тысячу раз, что во всю свою жизнь я никогда не видел несравненной Дульсинеи, никогда не переступал порога ее дворца и влюблен в нее только понаслышке и из-за молвы о ее великой красоте и великом уме?

– Я слышу это теперь, – возразил Санчо, – и скажу, что подобно тому, как ваша милость не видела ее, и я ее не видел.

– Этого быть не может! – воскликнул Дон Кихот: – так как, по крайней мере, ты мне говорил, что видел ее, когда она просеивала пшеницу, и привез мне ответ на письмо, которое я с тобой послал ей.

– Не обращайтесь на это внимания, сеньор, – сказал Санчо, – потому что я должен вас уведомить, что видел я ее и принес вам от нее ответ только лишь понаслышке, потому что точно также я могу сказать, что сеньора Дульсинея, как и ударить кулаком в небо.

– Санчо, Санчо! – ответил Дон Кихот, – есть время для шуток и время, когда шутки неуместны и неудобны. Вовсе не причина, если я говорю, что не видел и не разговаривал с повелительницей моей души, чтобы и ты повторял за мною, будто и ты не видел и не разговаривал с ней, в то время, когда это, как ты знаешь, совершенно наоборот.

Пока оба они разговаривали таким образом, они увидели, что мимо них кто-то прошел с двумя мулами, и по шуму, производимому плугом, тащившимся по земле, они заключили, что, должно быть, это землепашец, вставший рано, до рассвета, и отправляющийся на работу: оно так и было на самом деле. Землепашец

подошел к ним ближе, распевая следующий романс:

Плохо вам пришлось, французы,
В день охоты в Ронсевале.

– Пусть меня убьют, Санчо, – сказал Дон Кихот, услышав эти слова, – если с нами случится в эту ночь что-либо хорошее! Слышишь ли ты, что поет этот селянин?

– Слышу, – ответил Санчо. – Но какое отношение к нашему делу имеет охота в Ронсевале? Крестьянин мог бы петь и романс Калаиноса¹, и это было бы все тоже по отношению к тому, встретим ли мы удачу или неудачу в нашем предприятии.

Между тем землепашец поравнялся с ними, и Дон Кихот спросил его:

– Не можете ли вы мне сказать, добрый друг, – дай вам Бог всякого счастья, – где тут дворец несравненной Дульсинеи Тобосской?

– Сеньор, – ответил молодой парень, – я не здешний, всего только несколько дней живу в этом селе, где поступил на службу к богатому крестьянину, у которого я работаю в поле. Вот тут в доме напротив живет местный священник и пономарь, и оба они, или каждый из них, может дать вашей милости нужные сведения о сеньоре принцессе, потому что у них список всех жителей Тобосо; хотя я, со своей стороны, думаю, что во всем местечке нет ни одной принцессы. Знатных сеньор тут очень много, и каждая из них может себя считать принцессой в своем доме.

– Но в их числе, – сказал Дон Кихот, – должна быть и та, про которую я спрашивал.

– Может быть, – ответил парень, – и оставайтесь с Богом, так как заря уже

занимается. – И, погнав своих мулов, он не стал ждать дальнейших расспросов.

Санчо, видя, что его господин в недоумении и несколько раздосадован, сказал:

– Сеньор, день уже близок, и было бы с нашей стороны неосторожно, чтобы солнце застало нас на улице. Лучше нам уехать из города, и пусть скрылась бы ваша милость в каких-нибудь кустарниках здесь по соседству, а как только рассветет, я вернусь опять сюда и не оставляю уголка во всем местечке не обысканным, стараясь найти дом, замок или дворец моей сеньоры; и было бы большим несчастьем, если б я его не нашел. А найдя его, поговорю с ее милостью и сообщу, как и где осталась ваша милость, ожидая ее приказаний и решения. Таким образом вы можете повидаться с нею без ущерба для ее чести и доброго имени.

– Санчо, – ответил Дон Кихот, – ты в нескольких кратких словах сказал тысячи мудрых изречений. Совет, который ты только что дал мне, я одобряю и принимаю с величайшей готовностью. Идем, сын, и давай искать, где бы мне укрыться; ты же, как говорил, вернешься сюда, чтобы разыскать мою сеньору, увидеть ее и поговорить с нею, от ума и великодушие которой я жду самых дивных милостей.

Санчо горел нетерпением поскорее увезти своего господина из местечка, чтобы он не открыл его обмана относительно ответа Дульсинеи, привезенного им в Сьерра-Морена, – и потому он торопил отъездом, который и совершился немедленно. На расстоянии двух миль от села они нашли кустарник или лесок, в котором Дон – Кихот и укрылся, между тем как Санчо вернулся в город для

¹ Romance de Calainos – Колаиноса-мавра, сразившего Вальдуина и убитого Роландом – стал в Испании нарицательным выражением для бесполезной и легкомысленной болтовни о вещах, не имеющих значения. В этом соль замечания Санчо.

переговоров с Дульсиней, и во время этого посольства с ним приключились

такие вещи, которые требуют нового внимания и нового доверия.





Глава X

Где рассказывается о хитрости, к которой прибег Санчо Панса, чтобы очаровать сеньору Дульсинею, и о других событиях, столь же смешных, как и правдивых.

Дойдя до того, что он рассказывает в настоящей главе, автор этой великой истории говорит, что желал бы пройти ее молчанием, опасаясь, что ему не поверят, так как безумства Дон Кихота достигают здесь высшей точки и крайнего предела, которые только можно вообразить себе, и даже превосходят их на два выстрела из арбалета. В конце концов, хотя и не без страха и колебания, он записал их точь в точь так, как они совершены рыцарем, не прибавляя к истории и не убавляя от нее ни одного атома истины и не заботясь о том, что его могут упрекнуть в лживости: и он был прав, потому что, как бы не донимали истину, ее нельзя сломить и она всегда всплывет над ложью, как масло над водой. Итак, продолжая свою историю, автор говорит, что лишь только Дон Кихот укрылся в кустарнике, или в дубовой рощице, или

в лесу близ великого Тобосо, он приказал Санчо вернуться в город и не являться к нему на глаза до тех пор, пока он от имени его не переговорит с его сеньорой, прося ее разрешить плененному ею рыцарю повидаться с нею и соблаговолить дать ему свое благословение, чтобы, получив его, он мог надеяться на счастливейший исход всех своих битв и трудных предприятий. Санчо взялся исполнить то, что ему было приказано, и привезти такой же хороший ответ, как он привез его в первый раз.

— Иди, сын, — сказал Дон Кихот, — и не смущайся, когда предстанешь перед яркими лучами того солнца красоты, на поиски которого ты отправляешься. Счастливейший ты из всех оруженосцев в мире! Храни в памяти и не дай из нее улетучиться, как она тебя примет, изменится ли в лице, когда ты передашь ей мое поручение, взволнуется ли, услышав мое имя, не откинется ли она на подуш-

ки, если ты случайно застал бы ее сидящей на богатой эстраде, соответственно ее высокому званию. А если она примет тебя стоя, обрати внимание: не переступит ли она с одной ноги на другую, не повторит ли два или три раза ответа, который даст тебе, не изменит ли его из мягкого в жесткий, из сурового в нежный; не поднимет ли руки к волосам, чтоб поправить их, хотя бы они и не были в беспорядке. Словом, сын, наблюдай за всеми ее действиями и движениями, потому что, если ты мне точно перескажешь, как все было, я по этим признакам разгадаю, что она скрывает в тайниках своего сердца относительно всего, касающегося моей любви; так как ты должен знать, Санчо, – если ты этого не знаешь, – что внешние действия и движения, проявляемые влюбленными, когда речь идет о их любви, самые надежные вестники, несущие известия о том, что происходит в глубине их души. Иди, друг, и пусть руководит тобой звезда, счастливее моей, и несет тебе лучшую удачу, чем та, которую я жду, оставаясь здесь между страхом и надеждой, в этом горьком уединении, в котором ты меня оставляешь.

– Я поеду и вернусь скоро, – сказал Санчо, – а вы, милость ваша, сеньор мой, подбодрите маленькое это сердечко, которое, должно быть, у вас теперь не больше ореха, и не забывайте, что принято говорить: мужественное сердце побеждает злую долю; и где нет окороков, там нет для них и крючков; а также говорят: где меньше ожидаешь, там и выскакивает заяц. Говорю это потому, что, если сегодня ночью мы не нашли дворцов или замков нашей сеньоры, надеюсь теперь найти их, когда меньше всего этого жду, а найдя их, лишь предоставьте мне, а я уж справлюсь с ней.

– Слушай, Санчо, – сказал Дон Кихот, – ты всегда притягиваешь в разгово-

ре свои пословицы так за волосы, что да пошли мне Бог получше удачу в том, чего я желаю.

После этих слов, Санчо повернулся и погнал Серого, а Дон Кихот остался сидеть на лошади, опираясь на стремяна и на свое копые, исполненный смутных и печальных дум. Там мы его и оставим и последуем за Санчо Пансой, который удалился не менее смущенный и задумчивый от своего господина, чем каким тот оставался, и до такой степени, что едва он выехал из лесу и, повернув голову, заметил, что уже не видать Дон Кихота, он тотчас же слез с осла, уселся под деревом и начал сам с собою говорить следующим образом:

– Теперь посмотрим, Санчо брат, куда это отправляется ваша милость? Не на поиски ли за каким-либо ослом, которого вы потеряли? – Совсем нет. – Что же вы едете искать? – Я еду искать ни мало, ни много, принцессу, а в ней солнце красоты и все небо, вместе взятое. – Где же вы думаете найти то, о чем вы говорите, Санчо? – Где в великом городе Тобосо. – Хорошо, а от имени кого едете вы отыскивать ее? – От имени знаменитого рыцаря Дон Кихота Ламанчского, который искореняет зло, дает есть тому, кого мучает жажда, и пить тому, кто чувствует голод. – Все это очень хорошо. А знаете ли вы, где она живет, Санчо? – Мой господин говорит, что она живет в королевском дворце или в великолепном замке. – Быть может, вы когда-нибудь ее видели? – Ни я, ни мой господин, мы никогда ее не видели. – А не думаете ли вы, что было бы умно и справедливо, если бы жители Тобосо, узнав о том, что вы явились к ним с намерением сманить их принцесс и взбунтовать их дам, пришли бы все и так измолостили бы вам палками ребра, что не оставили бы ни одной косточки целой. – Действительно,

они были бы совершенно правы, если б только не приняли в соображение, что я послан, и следовательно: – Вы посланец, друг мой, – на вас вины нет никакой¹. Не очень-то полагайтесь на это, Санчо, потому что Ламанчский народ также вспыльчив, как и почтен, и никому не позволяет шутить шутки над собой. Как жив Бог, если они почуют вас, могу сказать, плохо вам придется! – Убирайся вон, сын блудницы; молния, падай подалее! – Нет, я не пойду искать трех ног у кошки ради чужого удовольствия; тем более, что разыскивать Дульсинею в Тобосо все равно что разыскивать Марику в Равенне или бакалавра в Саламанке. Дьявол, дьявол впутал меня во все это дело и никто другой!

Этот разговор Санчо вел с самим собою, и вывод из него был тот, что он сказал себе:

– Ну, хорошо! Против всего, ведь, есть средства, исключая лишь смерти, под иго которой, как бы нам ни было тяжело, а всем придется пройти, оканчивая жизнь. Этот мой господин, как я в том убедился из тысячи признаков, – сумасшедший, которого следовало бы связать: и я также не далеко ушел от него и даже еще более сумасшедший, чем он, потому что следую за ним и служу ему, – если справедлива пословица, которая говорит: *«скажи мне с кем ты водишься, и я скажу тебе, кто ты такой»*, и другая: *«не с кем ты родился, а с кем ты ужился»*. А будучи сумасшедшим, каким он и есть, и его сумасшествие такого рода, что большей частью он принимает одну вещь за другую: белое считает черным, а черное – белым, как это было, когда он говорил, что ветряные мельницы – великаны, мулы монахов – дромадеры, и стада баранов – войска неприятеля, и еще

многие другие вещи в том же роде, – не очень-то трудно будет заставить его поверить, что первая крестьянка, которая попадется мне здесь навстречу, и есть сеньора Дульсинея. А не поверит он, я поклянусь; и если он будет клясться, я поклянусь снова; если он будет настаивать, я еще больше буду настаивать и, что там ни случись, а я останусь при своем. Быть может, своим упорством я добьюсь того, что он больше не станет посылать меня с такими поручениями, видя, что за плохие подарки я ему привожу; или, быть может, он вообразит себе, как я это и думаю, что какой-нибудь злой волшебник из тех, которые, по его словам, ненавидят его, так превратил ее образ на беду и горе ему.

Этими мыслями успокоил Санчо Панса свой ум и считал теперь дело свое благополучно оконченным. Он остался там сидеть до после обеда, чтобы Дон Кихот мог подумать, будто он употребил это время на проезд в Тобосо и обратно; и все сложилось для него так удачно, что, когда он встал, чтобы сесть на своего Серого, он увидел, что из Тобосо, по направлению к нему, едут три крестьянки на трех ослах или ослицах (этого автор не выясняет), хотя есть скорее основание думать, что это были ослицы, потому что обыкновенно на них ездят деревенские женщины; но так как это не очень важно, то нам незачем и останавливаться, чтобы выяснить этот вопрос. Словом, лишь только Санчо увидел крестьянок, он быстрой рысью поскакал к своему сеньору Дон Кихоту, которого застал вздыхающим и произносящим тысячи влюбленных жалоб. Увидав его, Дон Кихот воскликнул:

– Какую весть несешь ты мне, Санчо, друг? Нужно ли мне отметить этот день белым или черным камнем?

¹ Две строчки из старинного романа, превратившиеся в общеупотребительное разговорное выражение.

– Лучше было бы, – ответил Санчо, – если б милость ваша отметила бы его красным графитом, как это делается в университетских списках, чтобы просматривающие их скорее увидели то, что им нужно¹.

– В таком случае, – сказал Дон Кихот, – ты привез мне хорошие вести?

– Такие хорошие, – ответил Санчо, – что вашей милости ничего другого не остается, как только пришпорить Росинанта и выехать в открытое поле повидаться с сеньорой Дульсинеей Тобосской, которая с двумя прислужницами едет на свиданье с вашей милостью.

– Святой Боже! Что это ты говоришь, Санчо друг? – воскликнул Дон Кихот. – Смотри, не обманывай меня и не старайся ложной радостью спугнуть действительную мою печаль.

– Какая мне польза обманывать вашу милость? – сказал Санчо. – Тем более, что вам так легко проверить истину моих слов. Пришпорьте лошадь, сеньор, поезжайте, и вы увидите принцессу, нашу повелительницу, нарядную и разодетую, словом, такой, какой она есть. Прислужницы ее и она – все они один лишь блеск золота, жемчуга, бриллиантов, рубинов, и на них невиданная парча, более чем в десять сгибов². Волосы распущены по плечам и кажутся солнечными лучами, и ими играет ветер, а что всего лучше: они едут верхом на трех пегих одноходцах, которых краше и на свете нет.

– Иноходцах, хотел ты верно сказать. Санчо.

– Небольшая разница, – ответил Санчо, – одноходцы ли, или иноходцы; но на чем бы они не ехали, они едут как самые блестящие сеньоры, каких только можно пожелать, в особенности госпожа

моя, принцесса Дульсинея, которая поражает все чувства.

– Едем, Санчо сын! – ответил Дон Кихот. – И в награду за эту столь же неожиданную, как и радостную весть, я обещаю дать тебе лучшую добычу, которую приобрету в первом встретившемся мне приключении; если же это тебя не удовлетворит, то подарю тебе жеребят, которых принесут мне в этом году мои три кобылы, оставленные, как ты знаешь, на общественных лугах нашего местечка, чтобы ожеребиться там.

– Держусь лучше жеребят, – сказал Санчо, – потому что будет ли еще хороша добыча первого нашего приключения, не очень-то верно.

Между тем они уже выехали из лесу и увидели приближающихся трех крестьянок. Дон Кихот окинул глазами всю дорогу до Тобосо и, не видя на ней никого, кроме этих трех девушек, он очень смутился и спросил Санчо, оставил ли он Дульсинею с прислужницами уже за городом?

– Как за городом? – ответил тот. – Быть может, у вашей милости глаза позади головы, если вы не видите, что они едут нам навстречу, сияя как солнце в полдень?

– Ничего я не вижу, Санчо, – сказал Дон Кихот, – кроме трех крестьянок на трех ослах.

– Спаси меня, Господи, от лукавого! – воскликнул Санчо. – Возможно ли, чтобы три иноходца, или как их там зовут, белые, как только что выпавший снег, казались вашей милости ослами? Клянусь Богом живым, я вырвал бы себе всю бороду, если б это была правда.

– Но говорю тебе, друг Санчо, так же верно, что это ослы или ослицы, как

¹ Ученые, получившие докторский диплом в испанских университетах, отмечались в списках красным графитом.

² De mas de diez altos.

верно и то, что я Дон Кихот, а ты Санчо Панса; по крайней мере, мне так кажется.

– Молчите, сеньор, – сказал Санчо, – и не говорите таких слов. Протрите себе хорошенько глаза и идите свидетельствовать свое почтение владычице ваших дум, которая уже приближается.

И говоря это, он поехал вперед, чтобы приветствовать трех крестьянок, слез с Серого, взял за недоуздок осла одной из них, и, встав перед нею на колена, сказал:

– Королева, принцесса и герцогиня красоты, не будет ли благоугодно вашему высочеству и величию оказать милость и благосклонность плененному вами рыцарю, который стоит вот там, превращенный в камень мрамор, смущенный и безжизненный, видя себя в великолепном вашем присутствии. Я – Санчо Панса, оруженосец его, а он – много скитавшийся рыцарь Дон Кихот Ламанчский, называемый еще рыцарем Печального Образа.

В это время Дон Кихот уже опустил рядом с Санчо на колени и пристально смотрел, вытаращив от изумления и ужаса глаза, на ту, которую Санчо называл королевой и сеньорой; и так как он не видел перед собой никого другого, кроме крестьянки, и к тому же очень некрасивой, с круглым лицом и плоским носом, он стоял смущенный и пораженный, не смея открыть рта. Крестьянки тоже были в высшей степени изумлены, увидав этих двух, столь непохожих друг на друга людей, которые стояли перед ними на коленях и не хотели пропустить их подругу. Но задержанная ими прервала молчание, крикнув резко и сердито:

– Сойдите с дороги, да поскорее! И дайте нам проехать, потому что мы торопимся.

На это Санчо ответил:

– О, принцесса и всемогущая повелительница Тобосо! Неужели велико-

душное наше сердце не смягчается, видя на коленях перед величественным вашим присутствием опору и столб странствующего рыцарства.

Услышав это, одна из остальных двух крестьянок сказала:

– Стой, поскребу скребницей тебя, осел моего свекра! – смотрите, как эти сеньоритосы являются сюда подтрунивать над деревенскими девушками, точно мы не умеем, как они, откалывать шутки! Ступайте своей дорогой, дайте нам ехать своей, и будьте здоровы!

– Встань, Санчо, – сказал тогда Дон Кихот, – я вижу, что судьба, не насытившись еще моими страданиями, заградила все пути, откуда могло бы проникнуть хоть некоторое утешение в несчастную душу, заключающуюся в моем теле. И ты, о, предел всякого совершенства, которого только можно пожелать, вершина человеческой прелести, единственное утешение опечаленного сердца, боготворящего тебя, – если злобный волшебник, последующий меня, и покрыл мои глаза туманом и катарактами, и только для них одних, а не для других, превратил и изменил твою несравненную красоту и твое лицо во внешность бедной крестьянской девушки; если он не превратил также и мою наружность в наружность чудовища, чтобы сделать меня отвратительным в твоих глазах, – не откажись взглянуть на меня нежно и любовно, признав в моем подчинении и коленопреклонении перед твоей изуродованной красотой то смирение, с которым душа моя боготворит тебя.

– Рассказывай это моему дедушке, – ответила крестьянка. – Нашел любительницу слушать пустую трескотню. Отойдите-ка в сторону, дайте нам дорогу, и мы скажем вам спасибо!

Санчо посторонился и пропустил ее, донельзя довольный тем, что он так



В это время Дон Кихот уже опустился рядом с Санчо на колени и пристально смотрел, вытаращив от изумления и ужаса глаза...

отлично выпутался из своего затруднения. Лишь только крестьянка, игравшая роль Дульсинеи, увидела себя свободной, она ткнула своего *однохода* заостренной палкой, бывшей при ней, и быстро понеслась по лугу. Как только ослица почувствовала острие палки, которою ее кольнули сильнее, чем обыкновенно, она стала делать такие скачки, что сбросила сеньору Дульсинею на землю. Дон Кихот, увидав это, кинулся поднимать ее, а Санчо – поправлять и подтягивать вьючное седло, соскользнувшее под живот ослицы. Когда седло было поправлено, Дон Кихот хотел было взять очарованную свою сеньору на руки, чтобы посадить ее на ослицу, но дама, поднявшись с земли, избавила его от этого труда, так как, отойдя несколько шагов, она разбежалась, положила обе руки на бока ослице и легче сокола вскочила на вьючное седло, сев на него по-мужски.

– Клянусь Роком! – воскликнул Санчо, – сеньора повелительница наша легче кобчика и могла бы научить самого ловкого уроженца Кордовы или Мексики, как следует ездить верхом на коротких стременах! Одним прыжком перескочила она через задний арчак, без шпор заставляет бежать своего иноходца, как зебру, и прислужницы ее ни в чем не уступают ей, все они летят, как ветер!

Так оно действительно и было, потому что, увидав Дульсинею верхом, остальные устремились за нею и ускакали во весь опор, не повернув головы, пока не проехали полмили.

Дон Кихот проводил их глазами и, когда они исчезли из виду, он обратился к Санчо, говоря:

– Санчо, что ты скажешь теперь? Как меня ненавидят волшебники! Посмотри, до чего простирается против меня их злоба и гнев: пожелали отнять у меня счастье лицезреть мою сеньору

в настоящем ее виде! Поистине, я родился быть образцом несчастливца, быть мишенью и целью, в которые метили и попадали бы стрелы злой судьбы. Обрати также внимание, Санчо, что эти предатели не удовлетвоались изменением и превращением моей Дульсинеи, а изменили и превратили ее в столь низкое и уродливое существо, каким была та крестьянка. Вместе с тем они отняли у нее и то, что всегда так свойственно знатым сеньорам, а именно: благоухание от постоянного их пребывания среди амбры и цветов. Потому что, я должен тебе сказать, Санчо, когда я бросился к Дульсинеи, чтобы посадить ее на ее иноходца (как ты говоришь, – хотя он мне показался ослицей), на меня пахло от нее таким запахом сырого чеснока, что он ударил мне в голову и отравил мне душу.

– О, низкий сброд! – воскликнул тогда Санчо. – О, злобные и гнусные волшебники, которых я хотел бы видеть всех нанизанными за жабры, как сардинки на веревке! Вы многое знаете, многое можете и много делаете зла! Довольно было бы с вас, мошенники, что вы превратили жемчуг очей моей сеньоры в жемчуг пробкового дерева, ее волосы из чистейшего золота – в щетины рыжего бычачьего хвоста, и наконец, все черты ее из прекрасных преобразили в уродливые, – не коснувшись ее запаха, так как из него, по крайней мере, мы могли бы узнать, что скрывается под скверной этой корой; хотя, говоря по правде, я вовсе не видел ее безобразия, а только ее красоту, которая еще была подчеркнута и усовершенствована родимым пятном над ее губой справа, вроде усов, с семью или восемью рыжими волосиками, точно золотые нити, длиною более, чем в пядь.

– Судя по соответствию, – сказал Дон Кихот, – которые имеют подобные родимые пятна на лице с пятнами на

теле, у Дульсинеи должно быть такое же пятно на мягкой части бедра, которая соответствует стороне, где у нее родинка на лице. Но волосы, как ты их описал, слишком длинны для родимых пятен.

– Я должен сказать вашей милости, – возразил Санчо, – что эти волосы так шли к ней, будто она с ними родилась.

– Верю тебе, друг мой, – ответил Дон Кихот, – потому что природа не могла создать в Дульсинее ничего, что не было бы совершенно и закончено, так что, если бы у нее было сто таких родимых пятен, как ты описал, на ней они не оказались бы родимыми пятнами, а лунной и сверкающими звездами¹. Но скажи мне, Санчо, то, что мне показалось вьючным седлом и что ты поправлял, было ли это плоское седло или седло со спинкой?

– Нет, – сказал Санчо, – это было лишь седло с короткими стремянами² и

с попоной, стоящей полцарства, так оно было роскошно.

– А я то из всего этого ничего не видел, Санчо! – пожалел Дон Кихот. – Теперь я опять скажу и повторю тысячу раз, что я несчастнейший из людей!

Плут Санчо едва сдерживался от смеха, слушая нелепости своего господина, столь тонко обманутого им. Наконец, после других еще разговоров, которыми они обменялись друг с другом, оба сели на своих животных и поехали по дороге в Сарагосу, куда надеялись приехать вовремя, чтобы попасть на торжественные празднества, происходившие ежегодно в этом знаменитом городе.

Но прежде, чем они туда доехали, с ними случились происшествия столь многочисленные, значительные и новые, что заслуживают быть описанными и прочитанными, как это и будет видно ниже.



¹ Здесь непередаваемая игра слов; luna – родимое пятно, luna – луна.

² Арабское седло.



Глава XI

О странном приключении, случившемся с доблестным Дон Кихотом при встрече с колесницею или колымагаю Смерти и ее придворным штатом.

В глубокой задумчивости ехал Дон Кихот своей дорогой, размышляя о плохой шутке, которую сыграли с ним волшебники, превратив сеньору Дульсинею в столь безобразную крестьянку, и он не мог придумать, к какому ему прибегнуть средству, чтобы вернуть ей первоначальный ее вид. Эти мысли всецело овладели им, так что он, не заметив этого, отпустил поводья Росинанта, и лошадь, почувствовав предоставленную ей свободу, останавливалась на каждом шагу, чтоб пощипать зеленую травку, которая в изобилии росла на этих лугах. Санчо вывел его из оцепенения, сказав:

— Сеньор, печаль создана не для животных, а для людей, но, если люди чрезмерно предаются ей, они обращаются

в животных. Прибодритесь, ваша милость, придите в себя, подберите поводья Росинанта, развеселитесь, встряхнитесь и обнаружьте ту живость, иметь которую приличествует странствующим рыцарям. Что это такое, черт возьми? Что это за упадок духа? Здесь ли мы, или во Франции? Пусть сатана унесет всех Дульсинею на свете, потому что благополучие одного странствующего рыцаря дороже, чем всякие превращения и очарования в мире.

— Молчи, Санчо, — сказал Дон Кихот не очень-то слабым голосом, — молчи, говорю я, и не произноси богохульств против этой очарованной сеньоры, так как в ее беде и горести виноват я один: из той зависти, которую злые питают ко мне, родилось и ее несчастье.

— И я то же говорю, — ответил Санчо. — Кто знал ее раньше и видит те-

перь, в том сердце не может не плакать, поверь!¹

– Ты-то можешь это действительно сказать, Санчо, – заявил Дон Кихот, – так как ты видел ее в полном блеске ее красоты, потому что волшебство не распространилось на тебя, не отуманило твоих взоров и не скрыло от них ее прелести. Против одного меня и против моих глаз направлена вся сила его яда. Но, при всем том, Санчо, я сейчас вспомнил одну вещь, а именно: ты плохо описал мне ее красоту, так как, если я не ошибаюсь, ты сказал, что ее глаза точно жемчуг, а глаза, похожие на жемчуг, скорее могут быть у леща, а не у дамы. Насколько мне кажется, глаза Дульсинеи должны быть, как зеленые изумруды: большие, открытые, с двумя небесными дугами, которые служат ей бровями. А тот жемчуг, возьми его у глаз и перенеси на зубы, так как ты, Санчо, без сомнения ошибся, приняв глаза ее за зубы.

– Все может быть, – ответил Санчо, – потому что ее красота меня привела в такое же смущение, в какое привело вашу милость ее безобразие. Но предадим все это в руки Божьи, так как один Он знает, какие вещи должны случиться в этой долине плача, на этом злобном свете, в котором мы живем, и где едва ли найдется что-нибудь без примеси коварства, лжи и плутовства. Одна вещь смущает меня, сеньор мой, больше всего остального: что нам делать, когда ваша милость победит великана или другого рыцаря, и вы ему прикажете идти и предстать пред красотой сеньоры Дульсинеи, – где найдет ее бедный тот великан или бедный и несчастный побе-

жденный рыцарь? Мне кажется, что я их вижу, как они бродят, точно истуканы², отыскивая сеньору Дульсинею; и даже если б они ее встретили посреди улицы, они не узнали бы ее, как и моего отца.

– Быть может, Санчо, – сказал Дон Кихот, – волшебство не простирается до того, чтобы отнять у побежденных и явившихся к ней великанов и рыцарей возможность узнать Дульсинею. Но над одним или двумя первыми, которых мне удастся победить и послать ей, мы сделаем опыт: видят ли они ее или нет, – приказав им вернуться и дать мне отчет о том, что у них вышло в этом отношении.

– Я скажу, сеньор, – возразил Санчо, – что мне понравилось только что сказанное вашей милостью; с этой уловкой мы узнаем то, что нам желательно узнать; если окажется, что сеньора Дульсинея превращена только в глазах вашей милости, несчастье скорее будет вашим, чем ее. Но лишь бы только она была счастлива и благополучна, а мы уж как-нибудь пробьемся здесь и постараемся проводить время так хорошо, как только можно, отыскивая наши приключения и предоставив времени заняться ее приключениями, так как время – лучший врач для этого и для других еще больших злополучий.

Дон Кихот только что хотел ответить Санчо, но сделать это помешала ему неожиданно выехавшая на середину дороги колымага, нагруженная самыми разнообразными и странными людьми и фигурами, какие только можно вообразить себе. Тот, который правил мулами и служил возницей, был безобразный демон. Сама колымага была совершенно открытая и не имела ни верха, ни зонта.

¹ По видимому, эти две строки – отрывок из какой-нибудь старинной песни, между прочим они встречаются в «Селестине».

² Baupanes – буквально: фигуры вооруженных людей, которые ставили на стены крепости, чтобы обмануть осаждающих, будто все это солдаты.

Первой предстала перед глазами Дон Кихота фигура смерти в человеческом облике, рядом с нею виднелся ангел с большими раскрашенными крыльями; с другой ее стороны стоял император с короной на голове, казавшейся золотой. У ног смерти сидел бог, называемый Купидоном, без повязки на глазах, но с колчаном, луком и стрелами. Тут же был и рыцарь, вооруженный с ног до головы, исключая лишь того, что на нем не было ни шлема, ни шишака, а шляпа, украшенная разноцветными перьями. С этими лицами ехали еще и другие в различных костюмах и разных видах. Все это, представ перед ними так внезапно, некоторым образом смутило Дон Кихота и наполнило страхом сердце Санчо. Но тотчас же Дон Кихот обрадовался, подумав, что ему встретилось новое и опасное приключение. С этой мыслью и с душой, готовой идти на встречу какой бы то ни было опасности, он встал перед колымагой и громким и угрожающим голосом сказал:

– Возница, кучер, дьявол или кто бы ты ни был! Немедля отвечай мне: кто ты? куда едешь, и кто эти люди, которых ты везешь в своей колымаге, скорее похожей на барку Харона, чем на обыкновенную повозку?

На это дьявол, остановив колымагу, ответил очень учтиво:

– Сеньор, – мы актеры из труппы Ангуло Эль Мало¹ и сегодня утром, в восьмой день после праздника Тела

Господня, играли в селе, находящемся за тем вот холмом, ауто²: «Смерть и ее придворный штат», а вечером должны играть ее в местечке, которое видать отсюда. Но так как это очень близко и чтобы избавить себя от труда раздеваться и одеваться, мы едем в тех-же костюмах, в каких играли. Вот этот молодой человек изображает смерть; тот – ангела; эта женщина, – жена автора, – изображает королеву; вот тот человек – солдата; следующий – императора, а я – дьявола. Я одно из главных действующих лиц в ауто, так как играю в нашей труппе первые роли. Если вашей милости угодно узнать еще что-нибудь о нас, спросите меня, и я сумею ответить вам со всей нужной точностью, потому что, раз я дьявол, ничего не скрыто от меня.

– Клянусь честью странствующего рыцаря! – воскликнул Дон Кихот, – лишь только я увидел эту колымагу, я вообразил себе, что мне предстоит великое приключение, а теперь скажу, что нужно дотронуться рукой до всего видимого, чтобы не впасть в заблуждение. Поезжайте себе с Богом, добрые люди, справляйте свой праздник и припомните, не найдется ли у вас чего-нибудь такого, в чем бы я мог быть вам полезен, так как я сделал бы это от души и с величайшей охотой, потому что еще ребенком я любил пантомимы³, а в молодости страстно увлекался фарандулой⁴.

Пока они так разговаривали, судьбе угодно было, чтобы к ним подошел

¹ Angulo el Malo – названный так, чтобы отличить его от другого Ангуло, его современника, знаменитого комического актера – был известный директор бродячей труппы во времена Сервантеса. Этот последний упоминает о нем в одной из своих новелл: в «Разговоре собак».

² Autos (или Farsas) Sacramentales – самые популярные пьесы в те времена в Испании, игравшиеся прямо на улице.

³ Caratula – нечто вроде балета, пантомимы.

⁴ Farandula – собственно один из восьми родов тогдашней драмы, перечисляемых Августинном де Рохас (комическим актером и современником Сервантеса) в его «Viaje Eutretenida».



Приближаясь к Дон Кихоту, скоморох этот стал фехтовать палкой, бить пузырями по земле...

один из актеров труппы, одетый шутом, со множеством бубенчиков. Он держал в руках палку, к верхнему концу которой было привязано три надутых бычачьих пузыря. Приближаясь к Дон Кихоту, скоморох этот стал фехтовать палкой, бить пузырями по земле, и делать громадные скачки, звеня всеми бубенчиками. Страшный этот призрак до того испугал Росинанта, что он, закусив удила, так что Дон Кихот не был в состоянии его остановить, понесся по полю с большей быстротой, чем этого когда-либо можно было бы ждать от строения его костяка. Санчо, подумав, что господину его грозит опасность быть сброшенным с лошади, соскочил со своего Серого и побежал во весь дух, желая оказать ему помощь. Но когда он к нему подоспел, Дон Кихот уже лежал на земле и рядом с ним лежал Росинант, который свалился на землю вместе со своим господином, – обычный конец и заключение всякой отваги Росинанта и его резвости. Но едва Санчо соскочил со своего осла, как дьявол-плясун вскочил на Серого, и стал бить его пузырями. Не столько боль от ударов, сколько шум и испуг заставили Серого лететь вскачь через поле по направлению местечка, куда ехали актеры на праздник. Санчо, видя бегство осла своего и падение своего господина не знал, которой из этих двух бед надо помочь сперва, но наконец, так как он был верный оруженосец и верный слуга, любовь к господину взяла у него верх над привязанностью к ослу; хотя каждый раз, когда он видел, как пузыри поднимались в воздухе и падали на бока его Серого, он чувствовал ужас и муки смерти и скорей желал бы, чтобы эти удары падали лучше на зрачки его глаз, чем на малейший волосок из хвоста его осла. В этом недоумении и тревожении подбежал он к месту, где лежал Дон

Кихот, в худшем состоянии, чем он мог того желать, и, помогая ему взобраться на Росинанта, Санчо сказал:

– Сеньор, дьявол увел с собой Серого.

– Какой дьявол? – спросил Дон Кихот.

– Тот, с пузырями, – ответил Санчо.

– Так я его отниму у него, – сказал Дон Кихот; – даже если б он скрылся с ним в самых глубоких и темных безднах ада. Иди за мной, Санчо, потому что колымага едет медленно, и я мулами возмещу тебе пропажу твоего осла.

– Незачем вам давать себе этот труд, – сказал Санчо. – Укротите гнев свой, милость ваша, потому что, как мне кажется, дьявол отпустил Серого, и он возвращается к нам.

Так и было на самом деле, потому что дьявол, в подражание Дон Кихоту и Росинанту, свалился с Серого и пошел пешком в местечко, а осел вернулся к своему хозяину.

– Тем не менее, – сказал Дон Кихот, – было бы недурно за невежество этого дьявола отомстить кому-нибудь из сидящих в колымаге, хотя бы самому императору.

– Пусть ваша милость выбросит из головы эту мысль, – ответил Санчо, – и последует моему совету: никогда не связываться с актерами, так как этот народ пользуется всегда особым покровительством. Я видел актера, арестованного за два убийства, и, тем не менее, его выпустили на свободу здорового и невредимого. Верьте мне, милость ваша, так как это люди веселые, доставляющие удовольствие, все им оказывают милости, все их защищают, помогают им и относятся к ним с уважением, в особенности же к тем из них, которые принадлежат к королевским и привилегированным труппам, где они или большая их часть,

судя по одежде и осанке, кажутся чуть ли не настоящими принцами¹.

– Тем не менее, – ответил Дон Кихот, – этот комедиант-дьявол не уйдет от меня, похваляясь, хотя бы ему покровительствовал и весь человеческий род!

Сказав это, он повернул лошадь по направлению к колымаге, бывшей уже вблизи того местечка, куда они ехали, и громким голосом закричал:

– Остановитесь! Подождите, всеelay, праздничная толпа, потому что я хочу проучить вас, как надо обращаться с ослами и животными, на которых ездят оруженосцы странствующих рыцарей!

Дон Кихот кричал так громко, что сидевшие в колымаге услышали и поняли его, и, угадав по словам намерение того, кто их произносил. Смерть мгновенно выскочила из колесницы, а за нею вслед император, возница, дьявол и ангел, а также и королева, и Купидон не отстали от них. Все они запаслись камнями и, построившись в ряд, стали ждать Дон Кихота, чтобы встретить его ударами кремневых камней. Дон Кихот, увидав, что они выстроились таким отважным эскадроном, с поднятыми вверх руками, готовые из всех сил метнуть в него камнями, – остановил Росинанта и стал обдумывать, как бы сразиться с ними с наименьшей для себя опасностью. В то время, как он это обдумывал, к нему подъехал Санчо и, видя, что он собирается ринуться на хорошо выстроившийся отряд, сказал:

– Было бы безумием пускаться в такое предприятие. Подумайте, милость

ваша, сеньор мой, о том, что против хлебки из булыжника, да еще в таком изобилии, нет на свете обороняющего оружия, разве только укрыться и спрятаться под колпаком медного колокола. А также вам следует подумать и о том, что скорее безрассудство, чем доблесть, одному человеку нападать на армию, в которой находится Смерть, где лично сражаются императоры и которой оказывают поддержку добрые и злые ангелы. И если это соображение не побудит вас оставаться спокойным, пусть подействует то, что среди всех находящихся там, – хотя они и кажутся королями, принцами и императорами, – нет ни одного странствующего рыцаря.

– Теперь, действительно, Санчо, – сказал Дон Кихот, – ты попал в настоящую точку, которая и может, и должна заставить меня отказаться от принятого мною решения. Я не должен и не могу обнажать своего меча, – как я уже много раз и прежде говорил тебе, – против тех, кто не посвящен в рыцари. Дело это касается тебя, Санчо, и если ты желаешь отомстить за оскорбление, нанесенное твоему Серому, я отсюда помогу тебе мудрым и полезным советом.

– Сеньор, – ответил Санчо, – зачем мстить кому бы то ни было, потому что добрым христианам не приличествует мстить за свои обиды, тем более, что я уговорю моего осла передать свою обиду на усмотрение моей воли, состоящей в том, чтобы мирно прожить весь остаток дней моих, которые Богу будет еще угодно уделить мне.

¹ Безчинства, которые позволяли себе труппы актеров, – вообще пользовавшиеся в то время в Испании величайшей популярностью, – достигли такой степени, что несмотря на покровительство наиболее высокопоставленных чинов и самого короля, в особенности Филиппа IV, страшно увлекавшегося театром, оказалось необходимым ограничить всего шестью труппами число привилегированных трупп, члены которых назначались королевским советом и не могли играть без специального разрешения. Впоследствии число этих трупп возросло до двенадцати.

– Если таково твое решение, – ответил Дон Кихот, – Санчо добрый, Санчо умный, Санчо христианин, Санчо искренний, оставим этих призраков и поедем искать лучших и более существенных приключений, потому что, мне кажется, эта страна такого рода, что в ней не может быть недостатка в многочисленных и самых изумительных приключениях.

Тотчас же Дон Кихот дернул за поводья Росинанта, а Санчо сел на своего

осла; Смерть и весь ее летучий отряд возвратились в колымагу и продолжали свое путешествие. Этим счастливым концом увенчалось страшное приключение с колесницей Смерти, вследствие столь благодетельного совета, данного Санчо Пансой его господину, с которым на следующий день случилось новое приключение с влюбленным и странствующим рыцарем, – приключение не менее достойное удивления, чем предшествующее.





Глава XII

О страшном приключении, случившемся с доблестным рыцарем Дон Кихотом и храбрым рыцарем Зеркал.

Ночь, следовавшую за днем встречи их со Смертью, Дон Кихот и его оруженосец провели под несколькими высокими и тенистыми деревьями, причем Санчо уговорил рыцаря поесть из тех запасов, что Серый вез на себе. Во время ужина Санчо сказал своему господину:

– Сеньор, каким бы я оказался глупым, если бы выбрал себе в награду добычу первого приключения, которое ваша милость довела до конца, а не жеребят от ваших трех кобыл. Право же, право, воробей в руках лучше, чем коршун на лету.

– Тем не менее, – ответил Дон Кихот, – если б ты, Санчо, дал мне сразиться, как я того хотел, ты в качестве добычи получил бы, по крайней мере, золотую корону императора и разрисованные крылья Купидона, и то и другое я бы отнял у них, несмотря ни на какое сопротивление, и отдал бы тебе в руки.

– Скипетры и короны театральных императоров, – сказал Санчо, – никогда не бывают из золота, а только из мишуры или из фольги.

– Это правда, – согласился Дон Кихот, – так как было бы неподходящим, чтоб театральные украшения были настоящие, а не поддельные и для виду, как и сама драма, к которой я бы желал, чтобы ты, Санчо, относился хорошо и был расположен к ней, следовательно и к тем, кто играют и сочиняют драмы, потому что все они орудия великого блага для общества и ставят перед нами зеркало, ярко отражающее явления человеческой жизни; и нет другого изображения, кроме драматических произведений и актеров, которое более живо передавало бы то, что мы есть и чем мы должны бы быть. А если это не так, – скажи мне, не видел ли ты представления пьес, где выведены короли, императоры, папы, рыцари, дамы и всякие другие действующие лица? Один играет негодяя, дру-

гой – лгуна, этот вот – купца, тот – солдата, кто-нибудь остроумного простака, другой глупого влюбленного, а когда кончится пьеса, и будут сняты костюмы, все актеры опять равны между собой.

– Да, я видел это, – сказал Санчо.

– Вот то же самое, – продолжал Дон Кихот, – происходит и в комедии, и на сцене этого мира, где некоторые играют роль императоров, другие роль пап, – словом, все те же роли, которые могут быть введены в драму, – но когда наступает конец этой пьесы, то есть, когда кончается их жизнь, смерть снимает со всех различавшую их одежду, и все становятся равными в могиле.

– Прекрасное сравнение, – сказал Санчо, – хотя и не столь новое, чтобы я не слышал его много раз и в разное время, как и сравнение с шахматной игрой: пока игра длится, каждая фигура имеет свое особое значение, а как только игра кончится, всех их смешивают, соединяют, опрокидывают и бросают в мешок, что очень похоже на то, как жизнь кладут в могилу.

– С каждым днем, Санчо, – сказал Дон Кихот, – ты делаешься менее простоватым и более умным.

– Да, – ответил Санчо, – что-нибудь от ума вашей милости должно ведь пристать и ко мне. Бесплодные и сухие поля, – если их унавозить и обработать, – дают хороший урожай. Этим я хочу сказать, что разговоры вашей милости были удобрением, упавшим на бесплодную почву моего тощего ума, – а обработка – время, проведенное мною на службе у вас и в общении с вами. Поэтому, надеюсь, из меня произрастут хорошие плоды, которые не сойдут и не удалятся с пути хорошего воспитания, данного вами моему иссушенному уму.

Дон Кихот рассмеялся над аффектированной манерой Санчо выражаться,

и ему показалось, что он действительно прав, говоря о своих успехах, так как время от времени его разговор приводил Дон Кихота в изумление; хотя всякий раз или большей частью, когда Санчо желал сказать что-нибудь возвышенным слогом и особенно доказательно, речь его кончалась тем, что он с вершины своей простоты низвергался в бездну своего невежества. Но в чем он выказывал наибольшее изящество и хорошую память – было в употреблении им пословиц, приходились ли они или не приходились кстати к тому, о чем шла речь, как это можно было видеть и отметить в течении этой истории.

В этих и других разговорах прошла большая часть ночи, и Санчо пожелал опустить затворы своих глаз, как он выражался, когда ему хотелось спать. Сняв сбрую с Серого, он дал ему пастись свободно и во всю его волю. Росинанта он не расседлал, так как его господин положительно и раз навсегда приказал ему, пока они в открытом поле или спят не под кровлей, никогда не расседлывать Росинанта, – это был старинный обычай, установленный рыцарями, которого они всегда придерживались: снять с лошади уздечку и повесить ее на арчак седла; но снять с лошади седло – ни в каком случае! Так и сделал Санчо, и пустил пастись лошадь, как и Серого, дружба которого с Росинантом была так исключительна и непоколебима, что существует предание, переходящее от отца к сыну, будто автор этой правдивой истории написал о дружбе Росинанта и Серого несколько отдельных глав; но чтобы сохранить приличие и достоинство, подобающие столь героической истории, он не включил их в нее: хотя он иногда и забывает это свое намерение и пишет, что лишь только эти два животных сойдутся, тотчас же они принимаются тереться друг о друга,



В этих и других разговорах прошла большая часть ночи...

– Из чего же, милость ваша, заключается, – спросил Санчо, – что это приключение?

– Я не хочу сказать, – заявил Дон Кихот, – что это уже целое приключение, а только начало его, потому что так обыкновенно начинаются приключения. Но, слушай, мне кажется, он настраивает лютню или гитару и, судя по тому, как он откашливается и прочищает себе горло, он, по-видимому, собирается петь.

– Надо думать, это так и есть, – ответил Санчо, – и, должно быть, он – влюбленный рыцарь.

– Нет ни одного из странствующих, который бы не был влюблен, – сказал Дон Кихот. – И послушаем его, потому что, если он будет петь, мы по этой нитке доберемся и до клубка его мыслей, так как от избытка сердца уста говорят.

Санчо хотел было возразить своему господину, но голос рыцаря Леса, не особенно хороший и не очень плохой, помешал ему. Оба стали внимательно слушать его, и слышали следующее.

СОНЕТ

Сеньора, дайте мне лишь только
указанье,

И воле вашей я мгновенно покорюсь!

Как свято буду чтить все ваши я
желанья,

Как безраздельно им, как слепо
подчинюсь!

Угодно ль вам, чтоб в прах надежды
и мечтанья

Разбил бы я свои? – Разбить их я
клянусь.

Угодно ль, чтоб тая в груди любви
страданья,

Призвал я смерть к себе? – Я смерти
не боюсь!

Даю я душу вам, даю ее всецело, –
Она мягка, как воск, и, как алмаз,
тверда.

Державною рукой на ней чертите
смело

Веления свои, их врезав
навсегда.

И знайте, что стереть те оттиски нет
силы

Во всей вселенной, – нет и власти у
могилы!

Рыцарь Леса кончил пение громким вздохом, вырвавшимся у него, по-видимому, из глубины души, и вскоре затем он заговорил жалобным голосом:

– О, прекраснейшая и самая неблагодарная из женщин всего мира! Неужели ты, светлейшая Касильдеа де Вандалия, можешь допустить, чтобы этот плененный тобой рыцарь исчах и погиб в непрерывных скитаньях и тяжких, суровых трудах? Не довольно ли того, что признать тебя первой красавицей в мире я заставил всех рыцарей Наварры, леонских, тартесийских, кастильских и, наконец, всех рыцарей Ламанчи.

– Ну, это-то уж нет, – сказал Дон Кихот, – потому что я сам из Ламанчи, и я никогда этого не признавал, и не мог, и не должен был признать вещь, клонящую к ущербу красоты моей сеньоры: а этот рыцарь, ты видишь, Санчо, он бредит. Но послушаем еще; быть может, он выскажется яснее.

– Наверное выскажется, – ответил Санчо, – потому что, по-видимому, он собрался излить свои жалобы целый месяц кряду.

Однако случилось иное, потому что рыцарь Леса, услышав, что вблизи него говорят, не продолжал своих сетований, а поднялся и спросил громким, но учтивым голосом:

– Кто там? Что такие за люди? Из числа ли тех, что радуются, или из числа тех, что печалются?

– Из числа тех, что печалются, – ответил Дон Кихот.

– В таком случае идите ко мне, – сказал рыцарь Леса, – и будьте уверены, что встретитесь с самой печалью, с самой горестью.

Услышав такой трогательный и вежливый ответ, Дон Кихот подошел к нему, а также и Санчо. Скорбящий рыцарь взял Дон Кихота за руку и сказал.

– Садитесь сюда, сеньор рыцарь, так как, чтобы узнать, что вы принадлежите к числу тех, кто исповедует странствующее рыцарство, для меня было достаточно найти вас здесь, в этом месте, где уединение и ночной туман составляют вам общество, – естественное ложе и обычный приют странствующих рыцарей.

На это Дон Кихот ответил:

– Действительно, я рыцарь того ордена, о котором вы говорили, и хотя душа моя – жилище печали, несчастья и горести, тем не менее, они не спугнули из нее сострадание к чужому несчастью. Судя по тому, что вы только что пели, я вывел заключение, что ваши страдания влюбленные, – я хотел сказать, что они проистекают от вашей любви к той прекрасной неблагодарной, о которой вы упоминали в своих жалобах.

И, говоря так, оба рыцари уже сидели рядом на жесткой земле в добром мире и согласии, как будто им не предстояло, когда лучи развита переломят тьму, проломать друг другу головы.

– Быть может, – спросил рыцарь Леса Дон Кихота, – и вы, сеньор кабальеро, тоже, на счастье, влюблены?

– К несчастью, влюблен, – ответил Дон Кихот; – хотя страдания, поро-

ждаемые возвышенною любовью следует скорее считать за счастье, чем за несчастье.

– Это правда, – сказал рыцарь Леса; – если б только пренебрежение наших сеньор не мутило бы нам ум и рассудок, потому что, когда оно чрезмерно, оно похоже на месть.

– Никогда не видел я пренебрежения от моей сеньоры, – сказал Дон Кихот.

– Нет, по чести, нет! – воскликнул Санчо, стоявший тут же, – потому что наша сеньора кротка, как ручная овечка, и мягче масла.

– Это ваш оруженосец? – спросил рыцарь Леса.

– Да, – ответил Дон Кихот.

– Никогда не видел я оруженосца, – возразил рыцарь Леса, – который бы осмелился говорить, когда говорит его господин; по крайней мере, вот мой оруженосец, – такой рослый, как его отец, и нельзя доказать, чтобы он когда-либо раскрыл рот, когда я говорю.

– А по чести, – сказал Санчо, – я говорил и могу говорить не перед таким еще, а поболее... Но оставим это, еще хуже, если расшевелить.

Оруженосец рыцаря Леса, взяв Санчо за руку, сказал:

– Пойдемте-ка мы вдвоем туда, где нам можно поговорить, как оруженосцам, обо всем, о чем нам захочется, и оставим этих наших господ сеньоров ломать копья, рассказывая друг другу истории своей любви; так как наверное рассвет застанет их за этим занятием, и еще и тогда они не кончат его.

– В добрый час! – сказал Санчо, – а я расскажу вашей милости, кто я, чтобы вы видели, можно ли меня зачислить в дюжину самых болтливых оруженосцев.

С этими словами оба оруженосца удалились, и между ними произошёл | столь же забавный разговор, насколько разговор их господ был серьёзен.





Глава XIII

В которой продолжается приключение с рыцарем Леса, а также и остроумный, необычайный и достопримечательный разговор, происходивший между двумя оруженосцами.

Рыцари и оруженосцы поделились друг от друга; и у последних разговор зашел об их жизни, а у первых – об их любви; но история передает сначала разговор слуг и затем переходит к разговору их господ. Итак, она повествует, что когда они удалились на некоторое расстояние от рыцарей, оруженосец рыцаря Леса сказал Санчо:

– Тяжелую жизнь ведем и переживаем, сеньор мой, мы, оруженосцы странствующих рыцарей; вот уж правда, что мы едим хлеб в поте лица, а это одно из проклятий, которыми Бог наказал наших прародителей.

– Также можно было бы сказать, – добавил Санчо, – что мы едим его в ознобе нашего тела, потому что кто больше несчастных оруженосцев странствующего рыцарства подвержен зною и холоду?

И не было бы еще так плохо, если б мы имели что есть, так как при хлебе и горе легче. Но иногда проходит и день и два, а нам ничего не попадает на зубы, разве только ветер, когда он дует.

– Это все можно вынести и перенести, – сказал оруженосец Леса, – в надежде на предстоящую нам награду, потому что, если странствующий рыцарь, которому оруженосец служит, не слишком несчастлив, оруженосец через короткое время по меньшей мере будет награжден хорошим губернаторством на каком-нибудь острове или превосходным графством.

– Я, – возразил Санчо, – уже сказал моему господину, что довольствуюсь губернаторством какого-нибудь острова, и он так щедр и благороден, что обещал мне его много и много раз.

– Я, – объявил оруженосец Леса, – удовлетворюсь, получив каноникат, и

мой господин заручился уже одним из них для меня.

– Как так? – сказал Санчо, – значит, господин вашей милости нечто вроде рыцаря от духовного ведомства, если он может оказывать такие милости добрым своим оруженосцам. А мой только лишь мирянин, хотя, помнится, некоторые умные, – а на мой взгляд злонамеренные люди, – советовали ему постараться сделаться архиепископом, но он желает лишь одного – быть императором; и тогда я дрожал от страха, не вздумал бы он вдруг перейти к церкви, потому что я не считаю себя годным иметь церковный приход, так как должен признаться вашей милости, что, хотя, судя по наружности, я человек, но в делах церковных – просто-напросто скотина.

– А по правде говоря, милость ваша заблуждается, – сказал оруженосец рыцаря Леса, – потому что островные губернаторства не все хорошего сорта; из них одни какие-то кривые, другие – жалкие, третьи – горемычные, и наконец и самое пышное и хорошо поставленное губернаторство влечет за собой тяжелое бремя забот и неудобств, и тот несчастный, кому губернаторство выпадает на долю, должен взять это бремя на свои плечи. Было бы куда лучше, если б мы, занимающиеся этой проклятой службой, вернулись каждый к себе домой и там развлекались более приятными делами, как, например, охотой и рыбной ловлей. Ведь, где же на свете найдется такой бедный оруженосец, который не имел бы лошади, пары борзых собак и удочки, чтобы позабавиться ими у себя в деревне?

– У меня нет недостатка во всем этом, – ответил Санчо; – правда, лошади я не держу, но зато у меня есть осел, стоящий вдвое больше лошади моего гос-

подина; и пусть пошлет мне Бог плохую Пасху, и даже ближайшую, если я согласился бы променять на его лошадь моего осла, хотя бы мне дали в придачу еще четыре четверика ячменя. Быть может, милость ваша сочтет за шутку, что я так высоко ценю своего Серого, – по масти мой осел серый. Что же касается борзых собак, в них не будет у меня недостатка, потому что в нашем местечке их вдоволь, и тем более, что тогда охота особенно приятна, когда она ведется на чужой счет.

– Искренно и по правде говоря, – ответил слуга рыцаря Леса, – я, сеньор оруженосец, надумал и решил бросить эти нелепые рыцарские затеи, вернуться к себе в деревню и воспитывать моих деток, а их у меня трое, и они точно три жемчужины востока.

– А у меня их двое, – сказал Санчо, – и такие, что я бы мог их смело представить хоть самому Папе, в особенности девочку, которую я взращиваю с тем, чтобы она была графиней, если Богу будет угодно, хотя и против воли ее матери.

– А сколько лет этой сеньоре, которая взращивается с тем, чтобы быть графиней? – спросил оруженосец Леса.

– Пятнадцать лет, а может быть, на два года больше или меньше, – ответил Санчо, – но она высокая, как копье, свежа, как апрельское утро, и сильна, как носильщик тяжестей.

– Все это качества, – ответил оруженосец Леса, – не только чтобы быть графиней, но доньей и нимфой в зеленом лесу. О, блудница, дочь блудницы¹, какие должно быть у плутовки мышцы!

На это Санчо ответил несколько раздражительно:

– Ни она не блудница, ни ее мать не была ею, и ни одна из них двоих с Божьей помощью не сделается ею, пока я жив; и

¹ В те времена в Испании слово рута – «блудница», было до того общеупотребительное, что оно чуть ли не превратилось даже в ласкательное.

говорите повежливее, потому что, если милость ваша выросла среди странствующих рыцарей, которые – сама учтивость, ваши слова мне кажутся не очень подходящими.

– О, как ваша милость, сеньор оруженосец, плохо понимает хвалебные возгласы, – ответил оруженосец Леса. – Как, разве вы не знаете, что, когда какой-нибудь рыцарь нанесет удачный удар копьём быку во время боя на площади, или же кто-нибудь сделает что-нибудь особенно хорошо, в народе принято говорить: «О, блаженный сын блаженны, как он отменно сделал свое дело»! И то, что, судя по словам, кажется порицанием, выходит на деле большой похвалой. Отрекитесь, сеньор, от сыновей и дочерей, поступки которых не заслуживали бы того, чтобы родителям их воздавали подобную похвалу.

– Да, я отрекаюсь, – ответил Санчо; – и в таком смысле и по этой самой причине ваша милость может навесить целый непотребный дом на шею мне, моим детям и моей жене, потому что все, что они делают и говорят, в высшей степени заслуживает подобных похвал. И чтобы опять свидеться с ними, я прошу Бога избавить меня от смертного греха, а это тоже самое, как если бы Он избавил меня от опасной службы оруженосца, на которую я вторично попал, введенный в обман и прельщенный кошельком со ста червонцами, найденным мной однажды в глубине Сьерра-Морена; и дьявол то и дело сует мне везде перед глазами – и там, и здесь, и всюду – мешок, наполненный червонцами, так что на каждом шагу мне представляется, будто я щупаю его руками и уношу домой, помещаю свой капитал, получаю с него доходы и живу, как принц; и когда

я думаю об этом, мне становится легким и необременительным всякий труд, который мне приходится выносить с этим простофилей моим господином, о котором я верно знаю, что он больше безумный, чем рыцарь.

– Поэтому-то и говорят, – ответил оруженосец Леса, – что алчность прорывает мешок, и если речь зашла о наших господах, то и я скажу: в мире нет другого большего безумца, чем мой господин, потому что он из тех, о которых говорят, *чужие заботы убивают осла*, так как, чтобы вернуть рассудок другому рыцарю, потерявшему его, он сам его теряет и отправляется искать то, что, не знаю, найди он это, не ударит ли его по хрюкалу.

– Быть может, он влюблен?

– Да, – сказал оруженосец Леса, – в какую-то Касильдею де Вандалия, самую сырую¹ и самую прожаренную сеньору, которую только можно найти на всем свете. Но он хромает не только на одну эту ногу, а внутри у него бурлят еще и другие вещи, и они обнаружатся скоро, – прежде чем пройдет несколько часов.

– Нет той гладкой дороги, – сказал Санчо, – на которой не встретишься бы какая-нибудь колея или выемка. В других домах варят бобы, а у меня их целые котлы: у безумия, видно, больше друзей и застольников, чем у ума; и если правда то, что обыкновенно говорится: иметь товарищей в беде и в затруднении, дает нам часто облегчение, – и я тоже могу утешиться с вашей милостью, потому что вы служите господину, который такой же глупый, как и мой.

– Он глупый, но храбрый, – сказал оруженосец Леса, – и еще более плут, чем глупый и храбрый.

– А мой-то нет, – ответил Санчо, – я хочу сказать, он немало ни плут; у него

¹ Cruda – «жестокая» и «сырая» – тут непередаваемая игра слов: оруженосец намекает, что дама эта вымышленная и любовь его господина притворная.

душа, что прозрачная вода: никому он не может сделать зла, всем делает лишь добро, и нет у него ни малейшей злобы. Дитя может убедить его, что в полдень ночь, и за эту то простоту я люблю его, как собственную душу, и не могу решиться бросить его, несмотря на все его безумные выходки.

– Тем не менее, брат и сеньор, – сказал оруженосец Леса, – если слепой ведет слепого, обоим грозит опасность свалиться в яму. Для нас лучше было бы скорей вернуться к себе домой и заняться своими делами; потому что тот, кто ищет приключения, не всегда находит удачные.

Санчо выплевывал время от времени нечто вроде клейкой и несколько сухой слюны. Увидав и заметив это, сострадательный оруженосец Леса сказал:

– Мне кажется, что мы с вами так долго разговаривали, что язык у нас прилип к гортани; но у меня есть отделитель мокроты, висит он на седельной луке моей лошади, нечто очень хорошее.

Сказав это, он ушел, но скоро вернулся с большим бурдюком вина и с паштетом длиной в поларшина, и это не преувеличение, так как внутри паштета оказался белый кролик таких размеров, что Санчо, взяв его в руки, подумал, что это целый козел, а не то что козленок, и, увидав его, воскликнул:

– Такие-то вещи возите вы с собой, сеньор?

– Что же вы думали? – ответил тот. – Разве я, быть может, какой-нибудь оруженосец, цена которому лишь хлеб да вода? Я везу с собой на лошади запасы получше, чем иной генерал в походе.

Не заставляя себя просить, Санчо ел, набивая рот в темноте огромными кусками, и сказал:

– Ваша милость, действительно, оруженосец верный и преданный, неви-

данный, неслыханный, великодушный и щедрый, как это доказывается этим пиром, который, если и не явился сюда путем волшебства, но, по крайней мере, на это похоже; – а не то, что я, бедный и злополучный, у которого в дорожных сумках всего лишь немного сыру такого жесткого, что им можно бы пробить череп великану, а за компанию с ним еще четыре дюжины сладких рожков и столько же дюжин лесных и грецких орехов, и все это благодаря скупости моего господина, из-за мнения, которого он держится, и устава, которому он следует: будто бы странствующие рыцари должны питаться и довольствоваться только сухими плодами и полевыми травами.

– Клянусь честью, брат, – ответил оруженосец Леса, – мой желудок не устроен для чертополоха, лесных груш и горных кореньев. Пусть все это наши господа оставят себе вместе со своими мнениями и рыцарскими уставами, и пусть они едят, что хотят. Я всегда вожу с собой провизию, и этот вот бурдюк с вином висит у меня на всякий случай на арчаке седла, и так он мне дорог, и так я его люблю, что редкая минута пройдет, чтобы я тысячу раз не обнял и не поцеловал его.

Сказав это, он передал бурдюк Санчо, который, приподняв его, приложил ко рту, созерцая четверть часа звезды, и, кончив пить, наклонил голову в сторону и, испустив глубокий вздох, воскликнул: – О, сын блудницы, плут, вот так католическое вино!

– Видите ли, – сказал оруженосец Леса, услышав восклицание Санчо, – и вы похвалили вино, назвав его сыном блудницы.

– Сознаюсь, – сказал Санчо, – что нimalo не обидно называть кого бы то ни было сыном блудницы, если имеется в виду похвала. Но скажите мне, сеньор,

ради всего вам дорогого на свете, это вино не из Сиудад ли Реаль¹?

– Превосходнейший знаток вина! – воскликнул оруженосец Леса; – действительно оно оттуда и ему уже немало лет.

– О последнем мне не зачем было говорить, – сказал Санчо; – неужели вы думали, что от меня скрылось, какого оно качества? Неправда ли, сеньор оруженосец, хорошо иметь такой тонкий врожденный дар, как у меня – различать всякое вино, – так что, если мне дадут его только понюхать, я сейчас скажу, из какой оно местности, какого сорта, какого качества, сколько ему лет, каким оно подверглось изменениям и другие подробности, касающиеся вина. Удивляться этому нечего, потому что в моей семье с отцовской стороны было два лучших знатока вина, которых Ламанча могла указать в течение долгих лет; в доказательство чего расскажу вам, что с ними однажды случилось. Как-то раз им дали попробовать вино из бочки, желая узнать их мнения о качестве, годах, добротности и недостатках вина. Один отведал его кончиком языка, а другой только поднес к носу. Первый сказал: вино отзывается железом, а второй добавил: оно еще больше отзывается Кордовской кожей. Хозяин вина уверял, что бочка совершенно чистая, и ручался, что

там нет никакой примеси, которая могла бы дать вину вкус железа или кожи. Тем не менее оба знаменитых знатока продолжали настаивать на том, что сказали. Время шло, вино продавалось, и когда опорожнилась бочка, на дне ее нашли маленький ключик, висевший на кожаном ремешке. Теперь ваша милость видит, способен ли тот, кто происходит из такого рода, высказывать свое мнение в подобных случаях.

– Оттого-то я и говорю, – сказал оруженосец Леса, – что нам следует бросить поиски приключений, и раз у нас есть свой домашний хлеб, к чему нам искать сладких тортов; вернемся лучше в свои хижины, где Бог и найдет нас, если ему будет угодно.

– Я буду еще служить моему господину, пока мы не приедем с ним в Сарагосу, а после того мы все объяснимся друг с другом.

Наконец, два добрых оруженосца так много говорили и так много пили, что оказалось нужным, чтобы сон связал им языки и умерил их жажду, потому что утолить ее было невозможно. Итак, оба они, обняв почти пустой бурдюк, с недожеванными кусками во рту, заснули, и мы пока их так и оставим, чтобы рассказать то, что произошло между рыцарем Леса и рыцарем Печального Образа.



¹ Вино Сиудад Реаль – столицы Ламанчи – считалось в то время самым лучшим.



Глава XIV

Закрывающая в себе продолжение приключения с рыцарем Леса.

История повествует, что среди разговоров, которые рыцарь Леса вел с Дон Кихотом, рыцарь Леса сказал Дон Кихоту:

– Словом, сеньор рыцарь, я хочу, чтобы вы знали, что моя судьба или, вернее говоря, собственный мой выбор побудил меня влюбиться в несравненную Касильдею де Вандалия. Называю я ее несравненной, потому что ей нет равной, как по величине роста, так и по знатности положения и совершенству красоты. Эта та Касильдеа, о которой я рассказываю, за мои добрые чувства к ней и честные намерения, отплатила тем, что

как Геркулеса мачеха его, подвергла меня многочисленным и разнообразным опасностям, обещая по окончании каждой из них, что лишь только я преодолело следующую, для меня настанет исполнение моих надежд; но длинная цепь трудов моих росла звено за звеном, так что им теперь уже нет числа, и я не знаю, которое же из них окажется последним и положит начало исполнению моих чистых намерений. Однажды она велела мне пойти и вызвать на поединок эту знаменитую Севильскую великаншу, по имени Хиральда¹, которая столь доблестна и сильна, точно она сделана из бронзы, и никогда не двигаясь с места, все же самая подвижная и ветреная женщина в мире.

¹ Хиральда – всем известная бронзовая статуя, играющая роль флюгера на вершине высокой башни Севильского Собора. Эта статуя, вышиной в 14 футов держит в одной руке пальмовую ветвь, а в другой маленький квадратный флаг, который и служит флюгером. Поставленная на вершине древней той башни в 1568 г., она являет собой прекраснейший памятник мавританского искусства.

Я пришел, увидел, победил ее, и принудил остановиться и стоять на одной точке (потому что более недели дули только лишь северные ветры). В другой раз Касильдеа приказала мне взвесить древние камни могучих быков Гисандо¹ – предприятие, которое приличнее было бы поручить носильщикам тяжестей, чем рыцарям. В следующий раз она приказала мне броситься и низвергнуться в пещеру Кабра², – неслыханная и ужасная опасность! – и принести ей точные сведения о том, что скрывает в себе эта земная пропасть. Я остановил движение Хиральды; взвесил быков Гисандо; низвергся в пропасть Кабра и извлек на свет Божий то, что было скрыто в ее глубине и все еще надежды мои как были, так и остались мертвыми, ее же требования и пренебрежение ко мне, как были живы, так и до сих пор живы. Наконец, не так давно она велела мне объехать провинции всей Испании и вынудить у странствующих рыцарей, скитающихся по ним, признание, что из всех живущих в настоящее время на свете красавиц, одна ее красота наиболее совершенная, а я – самый храбрый и влюбленный рыцарь в мире. Чтобы выполнить это предприятие, я объездил уже большую часть Испании и победил многих рыцарей, которые осмелились противоречить мне. Но то, чем я больше всего хваюсь и горжусь, это – что я победил в поединке столь знаменитого рыцаря Дон Кихота Ламанчского и заставил его признать, что моя Касильдеа красивее его Дульсинеи. И одной этой

победой, я считаю, что победил всех рыцарей в мире, потому что тот Дон Кихот, о котором я говорю, всех их победил, а так как я его победил, то известность его, слава и честь перешли ко мне и передались мне, потому что:

Чем выше побежденного все ставят,
Тем больше победителя прославят³.

Так что бесчисленные подвиги упомянутого Дон Кихота теперь уже отнесены на мой счет и принадлежат мне.

Дон Кихот был в высшей степени изумлен, слушая эти речи рыцаря Леса, тысячу раз порывался сказать ему, что он лжет, и уже на кончике языка у него так и вертелись слова *вы лжете*. Но он сдержал себя, как только мог, чтобы заставить того собственными устами сознаться во лжи, и потому очень спокойно сказал ему:

– Что вы, ваша милость, сеньор рыцарь, победили большинство странствующих рыцарей Испании и даже всего света – против этого я не возражаю, но что вы победили Дон Кихота Ламанчского, в этом я сомневаюсь; быть может, это был кто-нибудь другой, похожий на него, хотя мало таких, которые были бы похожи на него.

– Как я не победил его? – возразил рыцарь Леса. – Клянусь небом, которое висит над нами, что я сражался с Дон Кихотом, победил его и заставил сдаться. Это человек высокого роста, с худощавым лицом и длинным, тощим телом, с проседью, с орлиным, несколь-

¹ Быками Гисандо называются четыре уродливые гранитные глыбы, несколько похожие на фигуры животных; шести или семи футов длины, четырех – вышины и двух футов ширины и находятся они в провинции Авила. На камнях этих есть следы надписей, которых теперь нельзя разобрать. Антикварию держатся разных взглядов относительно того, что изображают эти фигуры. Подобные им имеются еще и в разных других местностях Испании.

² Пещера Кабра находится в провинции Кордова; предполагают, что это шахта старинных копей.

³ Эти две строки, слегка измененные, приведены Сервантесом из «La Agraupana» – Эрсильи.

ко загнутым носом и большими усами, черными и висячими. Сражается он под прозвищем рыцаря Печального Образа, оруженосцем у него служит крестьянин по имени Санчо Панса. Он обременяет собою чресла и правит поводьями знаменитого коня, по имени Росинант, и, наконец, повелительница его дум некая Дульсинея Тобосская, когда-то известная под именем Алдонсы Лоренсо, подобно моей даме, имя которой Касильдеа, а родом она из Андалузии, – поэтому я называю ее Касильдеей де Вандалия¹. Если всех этих примет недостаточно, чтобы доказать истину моих слов, вот тут мой меч, который принудит поверить само неверие.

– Успокойтесь, сеньор кабальеро, – сказал Дон Кихот, – и выслушайте то, что я имею сказать вам. Знайте же, что этот Дон Кихот, о котором вы говорите, лучший мне друг на свете, и до такой степени он мне друг, что я в праве сказать: он все равно, что я. По столь точным и достоверным признакам, сообщенным мне вами о нем, я не могу сомневаться, что он тот самый и есть, которого вы победили; с другой стороны, я вижу собственными глазами и осязаю собственными руками невозможность того, что это был он, разве только, – так как у него много врагов среди волшебников и в особенности один постоянно преследует его, – кто-нибудь из них принял его облик, чтобы дать себя победить и лишить его славы, которую рыцарские подвиги приобрели ему на всем пространстве земной поверхности. В подтверждение сказанного я желаю, чтобы вы знали, что эти волшебники, – его враги, – не более, как два дня тому назад, превратили облик и личность прекрасной Дульсины Тобосской в облик грязной, уродливой крестьянки и таким же путем, вероятно, превратили

они и Дон Кихота. Если же всего этого недостаточно, чтобы убедить вас в истине сказанного мною, – перед вами стоит сам Дон Кихот, готовый отстаивать истину эту с оружием в руках, пешком или верхом или как вам будет угодно.

С этими словами он встал, и, взявшись за рукоять меча, ждал решения рыцаря Леса, который тоже очень спокойно ответил:

– Хороший плательщик не тревожиться о своих залогах: тот, кто уже однажды, сеньор Дон Кихот, был в состоянии победить превращенного в вас, может надеяться справиться с вами и в настоящем нашем виде. Но так как нехорошо, чтобы рыцари совершали свои военные подвиги в темноте, подобно разбойникам и негодяям, подождем наступления дня, чтобы солнце видело наши дела. И пусть будет условием нашей битвы, чтобы побежденный подчинился воле победителя, который может сделать с ним, что хочет, подразумевая, конечно, чтобы требования его не противоречили рыцарской чести.

– Я более чем доволен этим условием и уговором, – ответил Дон Кихот.

И говоря так, они пошли к своим оруженосцам, которых нашли храпевшими и в той самой позе, в какой их застиг сон. Они разбудили их и велели держать наготове лошадей, потому что, как только солнце взойдет, оба рыцаря должны вступить в кровавый и страшный поединок. Услыхав это известие, Санчо был изумлен и поражен, потому что боялся за безопасность своего господина, наслышавшись о подвигах рыцаря Леса от его оруженосца. Но, не говоря ни слова, оба оруженосца пошли искать свой табун, так как все три лошади и Серый, уже обнюхав друг друга, держались вместе. По дороге оруженосец Леса сказал Санчо:

¹ Vandalia – древнее название Андалузии.

– Надо вам знать, что по обычаю Андалузии свидетели поединка тех, которые дерутся, не могут присутствовать при нем сложа руки и бездействовать в то время, как противники сражаются. Говорю это, желая предупредить вас, что, пока наши сеньоры будут драться, мы тоже должны это делать и должны избить друг друга варебезги.

– Обычай этот, сеньор оруженосец, быть может, и в ходу среди драчунов и буянов, о которых вы говорите, но что касается оруженосцев странствующих рыцарей, об этом и думать нечего. По крайней мере, я не слышал от моего господина о таком обычае, а он наизусть знает все уставы странствующего рыцарства. Но если и допустить, что это верно, и такое особое правило действительно существует, чтобы оруженосцы сражались в то время как сражаются их сеньоры, – все же я не подчинился бы этому правилу, а лучше заплатил бы штраф, который мог быть налагается на таких миролюбивых, как я, оруженосцев, потому что я уверен, он не будет больше двух фунтов воска¹; и я предпочитаю лучше уплатить его, так как знаю, что это обойдется мне дешевле корпии, нужной на перевязку для моей головы, которую я уже мысленно вижу разбитой и расколотой пополам. И тем более еще для меня сражаться невозможно потому, что у меня нет меча, и я его всю жизнь не носил.

– Против этого я знаю хорошее средство, – сказал оруженосец Леса. – У меня с собой два полотняных мешка одинаковой величины. Возьмите вы один, а я возьму другой, и мы будем сражаться ударами полотняных мешков, и оружие будет у нас равное.

– Таким способом, в добрый час, – ответил Санчо, – потому что подобного

рода битва послужит скорее к тому, чтобы очистить нас от пыли, чем ранить.

– Нет, это будет иначе, – возразил другой, – так как в мешки, чтобы их не унесло ветром, мы положим с полдюжины хороших, гладких кремневых камней одинакового веса; и таким образом мы будем биться мешками, не нанося друг другу ни боли, ни вреда.

– Клянусь телом отца моего, – воскликнул Санчо, – посмотрите, какой соболий мех и какие шары из рыхлой ваты задумал он положить в те мешки, чтобы не разбить нам черепа и не истолочь кости в порошок? Но хотя бы вы и наполнили мешки шелковыми коконами, знайте, сеньор мой, что я не буду сражаться! Пусть наши господа сражаются, и в полное свое удовольствие, а мы давайте есть и пить, потому что и так уже время заботится отнять у нас жизнь без того, чтобы мы сами отыскивали средства, как покончить с ней до ее срока и предела, и прежде, чем она сама, созревшая, упадет.

– Тем не менее, – сказал оруженосец Леса, – мы все-таки должны сражаться, по крайней мере, хоть полчаса.

– Вовсе нет, – ответил Санчо, – я не буду ни столь невежлив, ни столь неблагодарен, чтобы завести ссору, как бы она ни была незначительна, с человеком, с которым я пил и ел, тем более, что я не чувствую ни капли злобы, ни гнева. Кому же, черт возьми, может прийти в голову драться просто так себе, ни за что, ни про что.

– Против этого, – сказал оруженосец Леса, – у меня самое подходящее средство, – и вот оно: прежде чем мы вступим с вами в сражение, я подойду к вашей милости и угощу вас тремя или четырьмя такими пощечинами, что вы свалитесь к моим ногам и этим спосо-

¹ Обычный штраф, налагавшийся на членов духовных братств за нарушение устава, – так как воск этот употреблялся на свечи для праздничных и торжественных дней.

бом я разбужу в вас гнев, хотя бы он спал крепче сурка.

– Против такой шутки я знаю другую, которая не уступит ей. Я возьму дубину и прежде, чем ваша милость успеет пробудить мой гнев, я так усыплю вас ударами дубины, что больше он и не проснется, разве на том свете, где знают, что я не такой человек, который позволил бы, чтобы чья-либо рука прогулялась по моему лицу; и каждый пусть заботится о своей стреле¹, хотя лучше было бы, чтобы каждый уснул в себе гнев, так как чужой души никто не знает, и кто идет стричь, случается, сам остриженный возвращается, и Бог благословляет мир и проклинает ссоры, потому что, если уж кошка, преследуемая, травимая и раздраженная, превращается в льва, я, будучи человеком, Бог знает, во что могу превратиться. Итак, теперь же доведу до сведения вашей милости, сеньор оруженосец, что запишу на ваш счет все зло и весь вред, которые могли бы произойти от нашей ссоры.

– Хорошо, – ответил оруженосец Леса, – пошли нам Бог день, а там уж видно будет.

Между тем, уже начали чирикать на деревьях тысячи всякого рода пестрых птичек, и, казалось, они своим разнообразным веселым пением встречали и приветствовали молодую зарю, которая у всех портиков и балконов Востока сбросила уже покрывало с прекрасного своего облика и стряхивала с кудрей мириады расплавленных жемчужин, в дивной влаге которых купаясь, растения, казалось, тоже испускали и разбрасывали кругом целый дождь мелкого белого бисера. С ив слетала вкусная манна, родники смеялись, ручьи журчали, рощи

радовались и луга обогащались с появлением зари.

Но едва лишь дневной свет дал возможность видеть и различать предметы, как первое, что представилось глазам Санчо Пансы, был нос оруженосца Леса такой величины, что, казалось, тень от него падала почти на все его тело. Действительно, говорят, будто этот нос был неслыханных размеров, по середине украшен горбом, весь в бородавках, цвета зелено-фиолетового, как бадижданы, и спускался он на два пальца ниже рта. Величина носа, цвет его, бородавки и горб так безобразили лицо оруженосца Леса, что у Санчо, когда он увидал все это, задрожали руки и ноги, как у ребенка в припадке эпилепсии, и он порешил в своем сердце лучше позволить нанести себе хоть двести пощечин, чем дать разбудить свой гнев и вступить в бой с этим чудовищем. Дон Кихот тоже хотел взглянуть на своего противника, но на нем был уже надет шлем и спущено забрало, так что рыцарь не мог видеть его лица и заметил только, что это человек крепко сложенный и невысокого роста. Сверх лат на нем была надета туника или камзол из материи, казавшейся тончайшим золотом, осыпанной маленькими лунообразными сверкающими зеркалами, что придавало ему необычайно роскошный и великолепный вид. Над шлемом его развевалось множество зеленых, желтых и белых перьев; копьё, которое он прислонил к дереву, было очень большое, увесистое и снабженное стальным острием, длиной более чем в пядь.

Все это Дон Кихот заметил и рассмотрел, и из того, что видел и отметил, вывел заключение, что упомянутый рыцарь, должно быть, большой силы. Но

¹ *Cada uno mire por el virote* – общеупотребительное выражение, будто бы взявшее свое начало в охоте за кроликами, где каждый, выпустив стрелу, должен был позаботиться тотчас отыскать ее.

это не испугало его, как Санчо Пансу, напротив, он, изящно приосанившись, обратился к рыцарю Зеркал, говоря:

– Если пылкое ваше желание сражаться, сеньор рыцарь, не погасило в вас учтивость, – именем ее прошу вас приподнять немного забрало, чтобы я мог видеть, соответствует ли мужество вашего лица всей остальной вашей фигуре.

– Выйдите ли вы побежденным или победителем из этого поединка, сеньор кабальеро, – ответил рыцарь Зеркал, – у вас окажется и времени и досуга более, чем надо, чтобы видеть меня. Если же я теперь не исполняю вашего желания, то потому лишь, что мне кажется, я бы нанес великое оскорбление прекрасной Касильдеи де Вандалия, если бы промедлил хоть настолько, сколько нужно, чтобы поднять мое забрало, не заставив вас раньше признать то, что, как вам известно, я требую от вас.

– Но пока мы садимся на наших коней, – сказал Дон Кихот – вы бы могли мне сказать, тот ли я Дон Кихот, про которого вы говорили, будто победили его.

– На это мы вам ответим¹, – сказал рыцарь Зеркал, – что вы похожи на рыцаря, которого я победил, как яйцо на другое яйцо; но раз вы говорите, что вас преследуют волшебники, я не осмелюсь утверждать, тот ли вы самый или нет.

– Этого с меня достаточно, – ответил Дон Кихот, – чтобы убедиться в вашем заблуждении; а чтобы вполне вывести вас из него, пусть приводят наших лошадей и в меньший срок, чем тот, который вам нужен был бы для поднятия вашего забрала, – если Бог, моя сеньора и рука моя меня поддержат, – я увижу ваше лицо, а вы увидите, что я не побежденный Дон Кихот, за которого вы меня принимаете!

На этом оборвав свой разговор, они сели на коней, и Дон Кихот повернул Росинанта, чтобы отъехать на необходимое расстояние и потом поскакать навстречу своему противнику; тоже сделал и рыцарь Зеркал. Но Дон Кихот не отъехал и двадцати шагов, как услышал, что его зовет рыцарь Зеркал, который после того, как каждый из них приостановился на полдороге, сказал ему:

– Не забудьте, сеньор рыцарь, что, по условию нашего поединка побежденный, как я уже раньше говорил, отдает себя во власть победителя.

– Я знаю это, – ответил Дон Кихот, – но с тем, чтобы побежденному были предложены и предъявлены лишь такие требования, которые не противоречили бы законам рыцарства.

– Это само собой разумеется, – ответил рыцарь Зеркал.

В эту минуту необычайный нос оруженосца Леса представился и глазам Дон Кихота, который был поражен этим зрелищем не менее Санчо, и до того, что подумал: не чудовище ли перед ним, или же человек новой породы, еще невиданной в мире. Санчо, видя, что его господин отъехал, чтобы поскакать навстречу своему противнику, не захотел оставаться наедине с носатым оруженосцем из опасения, чтобы одним щелчком, данным этим носом его носу, не был положен конец их бою, и он не очутился на земле от первого его удара или от одного страха. Поэтому он побежал за своим господином, схватил одно из стремян, и когда ему показалось, что уже время поворачивать, он сказал Дон Кихоту:

– Умоляю вашу милость, сеньор мой, прежде чем вы повернете, чтобы встретиться с вашим противником, помогите мне влезть на то пробковое де-

¹ *A eso vos respondemos* – старинная формула ответов кастильских королей на петиции Кортесов т. е. собрания испанских народных представителей.

рево, откуда мне будет удобнее и лучше, чем с земли, виден доблестный поединок, предстоящий вашей милости с этим рыцарем.

– Скорее я думаю, Санчо, – сказал Дон Кихот, – что ты желаешь вскарабкаться выше и подняться на подмости, чтобы в безопасности смотреть на бой быков.

– Говоря по правде, – ответил Санчо, – чудовищный нос этого оруженосца меня изумляет, наполняет ужасом, и я не решаюсь оставаться вблизи него.

– Его нос такого рода, – сказал Дон Кихот, – что, если б я не был тем, что я есть, он мог бы испугать и меня. Иди, я помогу тебе влезть туда, куда ты желаешь.

В то время, когда Дон Кихот оставался, чтобы помочь Санчо влезть на пробковое дерево, рыцарь Зеркал, отъехав на такое расстояние, которое ему показалось достаточным, и думая, что Дон Кихот сделал тоже, не ожидая звука трубы или другого какого сигнала, который бы известил о начале боя, повернул свою лошадь, не более быстроходную и пылкую, чем Росинант, во весь ее карьер, оказавшийся умеренною рысью, и поскакал навстречу своему врагу. Но увидав его занятым тем, что он подсаживал на дерево Санчо, рыцарь Зеркал придержал поводья и остановился посреди пути, за что его лошадь была ему донельзя благодарна по той причине, что уже не могла двигаться. Дон Кихот, которому показалось, что его враг летит прямо на него, всадил шпоры свои крепче в тощие бока Росинанта и заставил его так нестись, что в этот единственный раз Росинант хоть в некотором роде бежал галопом, потому что в остальные раза он только шел рысцой; и с этой, никогда не виданной яростью Дон Кихот доскакал туда, где рыцарь Зеркал всаживал своей лошади шпоры

до самых кнопок, но не мог сдвинуть ее ни на один палец с того места, где она на всем бегу остановилась. В такой удобный момент и при таких благоприятных обстоятельствах застал Дон Кихот своего противника, стесненного лошадью и занятого копьем, которого он или не умел, или не имел времени взять наперевес. Нимало не обращая внимания на его затрудненное положение, Дон Кихот беспрепятственно и без всякой опасности для себя налетел на рыцаря Зеркал с такой силой, что против его воли сбросил его через лошадь навзничь на землю, и падение его было столь ужасное, что он, не двигая ни рукой, ни ногой, лежал, по-видимому, словно мертвый. Едва Санчо увидел, что рыцарь упал, как он тотчас-же спустился с дерева и поспешно подбежал к своему господину, который, сойдя с Росинанта, нагнулся над рыцарем Зеркал и отстегнул ремни его шлема, чтобы посмотреть, умер ли он, а в случае, если он жив, дать ему приток воздуха, и увидел – кто может сказать, что он увидел, не вызвав удивления, изумления и ужаса в слушателях? Он увидел, – говорит история, – как есть лицо, фигуру, наружность, физиономию, словом, весь портрет и подлинное изображение бакалавра Сансона Карраско. И лишь только он это увидел, он громко крикнул:

– Беги, Санчо и посмотри на то, чему ты и увидя, все же не поверишь. Скорей, сын, и заметь себе, что может сделать магия, на что способны волшебники и кудесники.

Санчо подбежал, и лишь только он увидел лицо бакалавра Сансона Карраско, он стал тысячу раз креститься и осенять себя крестным знаменьем. Между тем сброшенный с лошади рыцарь не подавал признаков жизни, и Санчо сказал Дон Кихоту:

– Я того мнения, сеньор мой: вам без дальнейших размышлений следовало бы поглубже всадить меч в рот этому мнимому Сансону Карраско; быть может, вы бы убили таким образом кого-нибудь из ваших врагов волшебников.

– Ты правильно говоришь, – сказал Дон Кихот, – потому что, чем меньше врагов, тем лучше!

И он обнажил меч, чтобы привести в исполнение совет и внушение Санчо. Но тут как раз подбежал к ним оруженосец рыцаря Зеркал, уже без носа, так безобразившего его наружность, и громко крикнул:

– Подумайте о том, что вы делаете, сеньор Дон Кихот! Тот, который лежит у ваших ног, – бакалавр Сансон Карраско, ваш друг, и я его оруженосец.

– А нос? – увидав его без прежнего его уродства, спросил Санчо.

– Он у меня в кармане, – ответил тот и, сунув руку в правый карман, достал оттуда лакированный, маскарадный нос из папки, такого размера и вида, какие были описаны, и когда Санчо поближе взглянул на оруженосца, он громким и удивленным голосом крикнул:

– Пресвятая Богородица, помоги мне, – не Томé ли это Сесиал, мой сосед и кум?

– Еще бы не он, – ответил снявший свой нос оруженосец. – Я Томé Сесиал, кум и друг Санчо Пансы и сейчас расскажу вам о тайнах, хитростях и планах, вследствие которых я попал сюда, а пока уговорите и упрсите вашего господина, чтобы он не тронул, не обидел, не ранил и не убил бы лежащего у ног его рыцаря Зеркал, потому что, вне всякого сомнения, этот отважный и неосторожный бакалавр Сансон Карраско, земляк наш.

Между тем рыцарь Зеркал пришел в себя, и когда Дон Кихот увидел это, он

приставил к лицу его острое обнаженного меча своего и сказал:

– Вы умрете, рыцарь, если не признаете, что красота несравненной Дульсинеи Тобосской куда выше красоты вашей Касильдеи де Вандалия; сверх того, вы должны, – если сохраните жизнь после этого сражения и падения, – обещать мне отправиться в город Тобосо и представиться там от моего имени сеньоре Дульсинее, чтобы она располагала вами, как ей заблагорассудится. Если же она предоставит вас вашей воле, вы вернетесь и разыщете меня, – так как следы моих подвигов могут служить вам указанием и приведут вас туда, где я буду находиться, – и вы мне сообщите тогда все, что произошло между вами и ею: условия, которые – согласно уговору нашему перед поединком – не переступают уставов рыцарства.

– Признаю, – сказал упавший с лошади рыцарь, – что рваный и грязный башмак сеньоры Дульсинеи Тобосской стоит больше дурно причесанной, хотя и чистой бороды Касильдеи, и я обещаю отправиться к сеньоре Дульсинеи и, представившись ей, вернуться к вам, и дать вам полный и обстоятельный отчет о том, чего вы от меня требуете.

– Вы должны также признать и поверить тому, – добавил Дон Кихот, – что рыцарь, которого вы победили, не был и не мог быть Дон Кихотом Ламанчским, а был другой, похожий на него, равно как я признаю и верю, что вы, хотя и кажетесь бакалавром Сансоном Карраско, не он, а другой, похожий на него, и мои враги придали вам его облик и вид, чтобы я умерил пыл моего гнева и с кротостью пользовался бы славой своей победы.

– Все это я признаю, сознаю и умею, как вы это сознаете, признаете и разумеете, – ответил упавший рыцарь, – но прошу вас, позвольте мне встать,

если боль от падения допустит это, потому что я приведен в очень плохое состояние.

Ему помогли встать Дон Кихот и его оруженосец Томé Сесиал, с которого Санчо не сводил глаз, и которому задавал вопросы, а по ответам на них ясно увидел, что действительно это Томé Сесиал, как он и говорил. Но впечатление, произведенное на него уверениями господина его, что волшебники превратили внешность рыцаря Зеркал во внешность бакалавра Карраско, не дало ему пове-

рить той истине, которая стояла у него перед глазами. Словом, господин и слуга остались при своем заблуждении; а рыцарь Зеркал и его оруженосец, угрюмые и унылые, расстались с Дон Кихотом и Санчо, намереваясь отыскать какое-нибудь местечко, где можно было бы вправить ребра и прикладывать к ним припарки. Дон – Кихот и Санчо продолжали путь свой по направлению к Сарагосе, где история и оставляет их, чтобы сообщить, кто такой был рыцарь Зеркал и его долгоносый оруженосец.





Глава XV

В которой рассказывается и сообщается, кто такой был рыцарь Зеркал и его оруженосец.

Дон Кихот ехал в высшей степени довольный, гордый и тщеславный тем, что победил такого доблестного рыцаря, каким он считал рыцаря Зеркал, и, полагаясь на данное ему этим последним рыцарское слово, он надеялся узнать, продолжается ли еще превращение его сеньоры, так как побежденный рыцарь, под страхом перестать быть рыцарем, должен был вернуться и сообщить, что произошло у него с сеньорой Дульсинеей.

Но Дон Кихот думал одно, а рыцарь Зеркал другое, хотя его единственной мыслью пока было лишь желание найти место, где бы могли, как уже было сказано, обложить его припарками. А история повествует, что, когда бакалавр Сансон Карраско советовал Дон Кихоту вернуться к оставленному им рыцарству и снова им заняться, он сделал это потому, что перед тем имел совещание со свя-

щенником и цирюльником насчет того, к каким можно было бы прибегнуть мерам, чтобы заставить Дон Кихота оставаться тихо и мирно дома, так, чтобы его не тревожили больше злополучные его поиски приключений. Совещание это привело к единогласному решению всех принять предложение, сделанное Карраско: не препятствовать выезду Дон Кихота, так как удержать его дома казалось невозможным, но чтобы Сансон поехал вслед за ним в виде странствующего рыцаря и вступил с ним в поединок, так как не могло быть недостатка в поводах для вызова его, а победить Дон Кихота казалось очень легкой задачей. Перед битвой они могли бы сговориться и условиться, чтобы побежденный подчинился беспрекословно воле победителя; итак, победив Дон Кихота, рыцарь-бакалавр должен был потребовать, чтобы он вернулся к себе домой, в местечко, и не покидал бы его в течение двух лет, или до тех пор,

пока не получит другого приказа. Было ясно, что Дон Кихот, будучи побежденным, несомненно все исполнит, чтобы не преступить и не нарушить законов рыцарства; и могло случиться, что во время своего затворничества он забыл бы безумные свои фантазии, или представился бы случай найти подходящее лекарство против его помешательства. Карраско взялся за это, а быть его оруженосцем предложил себя Томé Сесиал, кум и сосед Санчо Пансы, человек веселый и умная голова. Сансон вооружился, как уже было сказано, а Томé Сесиал приладил на естественном своем носу еще и фальшивый, маскарадный, чтобы его кум не узнал его, когда они встретятся. И таким образом они поехали по той же дороге, как и Дон Кихот, и едва не застали его за приключением с колымагой смерти; наконец встреча с ним последовала в лесу, где и случилось то, что внимательный читатель уже прочел. И если бы не удивительные фантазии Дон Кихота, вообразившего себе, что бакалавр не бакалавр, – сеньор бакалавр навсегда лишился бы возможности получить степень лисенсиата, вследствие того, что он не нашел и гнезд там, где думал найти птиц.

Томé Сесиал, видя как плохо исполнились желания их и к какому дурному концу привело их путешествие, сказал бакалавру:

– Конечно, сеньор Сансон Карраско, мы получили то, что заслужили. Легко придумать и затеять предприятие, но часто бывает трудно довести его до конца. Дон Кихот – сумасшедший, мы – в здравом уме; он уехал невредимый и смеясь, ваша милость осталась избитой и грустной. Рассудим теперь, кто больший безумец, – тот ли, кто является таковым помимо своей воли, или тот, кто стал им по доброй воле?

На это Сансон ответил:

– Разница между этими безумцами та, что безумный помимо своей воли останется им навсегда, а ставший безумцем по своей воле перестанет им быть, лишь только он пожелает.

– Если это так, – сказал Томé Сесиал, – я был безумным по своей доброй воле, когда предложил сделаться оруженосцем вашей милости, а теперь по той же моей доброй воле хочу перестать им быть и вернусь к себе домой.

– Поступайте, как знаете, – ответил Сансон, – но думать, что я вернусь домой, пока не измолочу палкой Дон Кихота, это значило бы думать невозможное, и теперь не желание вернуть ему потерянный рассудок побудит меня разыскать его, а желание мести, так как сильная боль в моих ребрах не позволяет мне носиться с более сострадательными мыслями.

Среди таких разговоров они оба добрались до местечка, где, по счастью, нашелся костоправ, который и принял за лечение несчастного Сансона. Томé Сесиал вернулся домой, покинув бакалавра, а тот остался придумывать, как бы ему лучше отомстить Дон Кихоту. В свое время история вернется к нему, теперь же она не может не последовать за Дон Кихотом, чтобы развлечься с ним.





Глава XVI

О том, что приключилось с Дон Кихотом и одним рассудительным кабальеро Ламанчи.

Довольный, радостный и ликующий, как уже было сказано, продолжал Дон Кихот свое путешествие, воображая себя, благодаря последней своей победе, самым доблестным рыцарем, какого мир мог предъявить в том столетии. Ему казалось, что все приключения, которые отныне могут встретиться ему, уже завершены и доведены им до счастливого конца. Волшебства и волшебников он ни во что не ставил, не помнил о бесчисленных палочных ударах, полученных им во время его рыцарства, о граде камней, которым была выбита у него половина зубов, о неблагодарности галерных невольников, о дерзости янгуэзов, и их побоях дубинами; словом, он говорил себе, что, если б он нашел способ, искусство или средство снять чары со своей сеньоры Дульсиней, он не позавидовал бы величайшему счастью, которого достиг или мог достигнуть самый счастливый из странствующих рыцарей прежних веков. Ехал он весь погруженный в эти мечты, когда Санчо ему сказал:

– Не странно ли, сеньор, что у меня все еще до сих пор перед глазами чудовищный нос кума моего Томé Сесиала?

– Быть может, ты, Санчо, воображаешь, что рыцарь Зеркал был действительно бакалавр Карраско, а его оруженосец – твой кум Томé Сесиал?

– Не знаю, что вам ответить на это, – сказал Санчо, – знаю только, что те сведения, которые он мне дал о моем доме, о моей жене, и детях, никто другой не мог дать мне, кроме его одного, и лицо его, когда он снял свой нос, было точь-в-точь лицо Томé Сесиала, как я бесконечное число раз видел его у нас в деревне и в четырех стенах моего собственного дома; и голос его был тоже совершенно его голосом.

– Давай поговорим с тобой, Санчо, – ответил Дон Кихот; – иди-ка сюда и скажи, по какой причине могло случиться, чтобы бакалавр Сансон Карраско явился странствующим рыцарем, вооруженным, как для нападения, так и для обороны, чтобы вступить со мною в бой? Был ли я, может быть, когда-нибудь ему врагом? Дал ли я ему когда-нибудь повод питать ко мне злобу? Соперник ли я ему,

или занимается ли он военным делом, чтобы завидовать славе, приобретенной мною на этом поприще?

– Но что скажем мы, сеньор, – ответил Санчо, – о сходстве рыцаря этого, кто бы он ни был, с бакалавром Карраско, а его оруженосца с моим кумом Томé Сесиал? Если это волшебство, – как ваша милость говорит, – не было разве на свете других двух людей, на которых они могли бы быть похожи?

– Все это, – ответил Дон Кихот, – хитрости и уловки тех злых волшебников, преследующих меня, которые, предвидя, что я должен был остаться победителем в поединке, придали побежденному рыцарю внешность моего друга, бакалавра, с той целью, чтобы дружба, которую я к нему питаю, встала между острием моего меча и силой руки моей и умерила бы справедливый гнев, проснувшийся в моей душе, и таким образом сохранилась бы жизнь того, который коварством и обманом хотел лишить меня жизни. Как доказательство этого вспомни, Санчо, то, что тебе хорошо известно по опыту, – а он не может ни обмануть, ни солгать, – как волшебникам легко превратить одно лицо в другое, делая из прекрасного уродливое, а из уродливого прекрасное, так как еще нет двух дней, что ты собственными глазами видел красоту и изящество несравненной Дульсинеи во всем ее совершенстве и природном состоянии, я же видел ее лишь в образе уродливой, грязной и грубой деревенской девушки с гнойными глазами и дурным запахом изо рта. И если злобный волшебник осмелился произвести такое ужасное превращение, ничего особенного нет в превращении им Сансона Карраско и твоего кума с целью вырвать из рук моих славу победы. Но тем не ме-

нее я утешаюсь мыслью, что в конце концов, под каким бы то ни было обликом, я остался победителем моего врага.

– Бог знает правду всего, – заметил Санчо. И так как он знал, что превращение Дульсинеи было его хитростью и плутовством, доводы господина не очень-то убедили его, но он не захотел возражать, чтобы у него не выскочило какое-нибудь слово, которое открыло бы его обман.

Они еще были заняты этими разговорами, когда их догнал человек, ехавший сзади них по той же дороге верхом на очень статной, чубарой кобыле. На нем был надет габан¹ из тонкого зеленого сукна, отороченный красно-бурым бархатом, а на голове у него была бархатная шапочка того же цвета. Сбруя на кобыле его была деревенской моды, седло с короткими стремянами, и то и другое темно-зеленого и коричневатого цвета. Через плечо у него свешивался мавританский палаш на широкой перевязи – зеленой с золотом; полусапоги его были из того же материала, как и перевязь; шпоры не были позолочены, а покрыты налетом зеленоватого лака, но так блестели и так хорошо были отполированы, что, подходя под стать ко всей одежде, они казались лучше, чем если бы были из чистого золота. Когда путешественник подъехал к Дон Кихоту и Санчо, он учтиво поклонился им и, прищипорив кобылу, проехал было мимо, но Дон Кихот сказал ему:

– Сеньор щеголь, если милость ваша едет по той же дороге, как и мы, и вам не очень к спеху, я счел бы за милость с вашей стороны поехать вместе.

– Говоря по правде, – ответил хозяин кобылы, – я бы не проехал так спешно мимо, если б не боялся, что общество моей кобылы встревожит вашего коня.

¹ Габан – плащ с рукавами и капюшоном, которые надеваются в Испании в деревнях и во время путешествия.

– Вы спокойно можете, сеньор, – сказал тогда Санчо, – придержать поводья вашей кобылы, потому что наш конь, самый благонравный и благовоспитанный во всем мире, никогда в подобных случаях он не делал ничего непристойного и единственный раз, когда он позволил себе сделать нечто подобное, господин мой и я, мы поплатились за это седмирично. Повторяю снова, ваша милость может, если желает, остановиться, потому что, хотя бы вашу кобылу поднесли ему на блюде, и то бы наш конь, – в этом я уверен, – не приблизился к ней.

Путешественник придерживал поводья, удивляясь фигуре и лицу Дон Кихота, схавшего без шлема, который Санчо вез в виде ручного чемоданчика на переднем арчаке вьючного седла Серого; и если всадник в зеленом плаще внимательно рассматривал Дон Кихота, то и Дон Кихот еще с большим вниманием рассматривал всадника в зеленом плаще, так как тот казался ему человеком серьезным и почтенным. На вид ему казалось лет пятьдесят, волосы его были с небольшой проседью, лицо с орлиным носом, выражение полувеселое, полусерьезное; наконец, одежда и вся его внешность обличали в нем человека с большими средствами. А о Дон Кихоте Зеленый Плащ подумал, что никогда еще в жизни ему не приходилось встречать человека в таком роде и с такой наружностью. Его привели в изумление длина лошади, высокий рост всадника, сухощавость и желтизна его лица, вооружение, обращение и осанка, словом фигура и картина, с незапамятных времен уже невиданные в той местности. Дон Кихот тотчас же заметил внимание, с которым рассматривал его путешественник, и сквозь его недоумение прочел его желание; и так как он был столь учтивый и всегда столь готовый сделать всем приятное, он, прежде чем

путешественник что-либо спросил его, пошел ему навстречу, говоря:

– Этот внешний облик мой, на который ваша милость так внимательно смотрит, столь нов и вне всего обычного, что я не удивился бы, если бы он вызвал в вас удивление. Но ваша милость перестанет удивляться, когда я вам скажу, как я и говорю, что я – рыцарь из числа тех, про которых люди выражаются, будто они ищут свои приключения. Я покинул родину, заложил свое имение, распрощался со всеми удобствами и бросился в объятья судьбы, чтобы она унесла меня, куда ей будет угодно. Я желал воскресить мертвое странствующее рыцарство и уже некоторое время тому назад, спотыкаясь здесь, падая там, опрокинутый в одном месте, вставая в другом, я выполнил значительную часть своего намерения, помогая вдовам, защищая девушек, поддерживая жен, сирот и несовершеннолетних – истинный и настоящий долг странствующих рыцарей. Итак, за мои доблестные многочисленные и христианские подвиги я заслужил уже попасть в печать почти у всех или у большинства народов на земле. Напечатаны тридцать тысяч томов истории моей и очевидно, что она будет напечатана еще тридцать тысяч тысячей раз, если небо не воспротивится тому. Наконец, чтобы все высказать в нескольких словах, или в одном слове, скажу вам, что я – Дон Кихот Ламанчский, называемый иначе «Рыцарем Печального Образа». И хотя собственная похвала унижает, я иногда вынужден обращаться к ней, конечно только в том случае, когда нет никого другого, который мог бы провозглашать ее. Так что, сеньор кабальеро, ни эта лошадь, ни щит, ни копье, ни оруженосец, ни все мое вооружение, ни желтизна моего лица, ни сильная худоба моя не могут удивлять вас отныне

впредь, после того как вы узнали, кто я и какой занимаюсь профессией.

Сказав это, Дон Кихот умолк, а Зеленый Плащ, судя по тому, как он медлил ответить, казалось, не нашел сразу подходящего ответа; но после довольно продолжительного промежутка он сказал:

– Вам удалось, сеньор рыцарь, по недоумению моему верно отгадать мое желание, но вам не удалось уничтожить удивление, вызванное во мне вашей внешностью, потому что, хотя вы и сказали, сеньор, что, узнав, кто вы такой, я перестану удивляться, этого однако не случилось; напротив того, теперь, когда я это знаю, я еще более удивлен и изумлен. Как, возможно ли, что в настоящее время на свете есть странствующие рыцари и в печати существуют истории о настоящих рыцарских подвигах? Не могу себе представить, чтобы в настоящее время в мире нашелся кто-либо, который помогал бы вдовам, защищал бы девушек, чтит бы замужних женщин и покровительствовал бы сиротам, – я никогда бы этому не поверил, если бы не увидел вашей милости собственными глазами. Да будет благословенно небо, потому что благодаря этой, как ваша милость говорит, уже появившейся в печати истории возвышенных и истинных ваших рыцарских подвигов, будут преданы забвению бесчисленные книги о вымышленных рыцарях, которыми был наполнен свет, столь во вред добрым нравам, и столь в ущерб и к подрыву хороших сочинений.

– Многое можно бы сказать, – ответил Дон Кихот, – относительно того, вымышлены или нет истории странствующих рыцарей.

– Но кто же может сомневаться в том, – ответил Зеленый Плащ, – что истории эти вымышлены?

– Я сомневаюсь, – ответил Дон Кихот, – но оставим это пока. Если наше пу-

тешество продлится, надеюсь, я сумею с Божьей помощью убедить вашу милость, как плохо вы поступаете, плывя по течению с теми, которые считают доказанным, будто эти истории вымышлены.

Последняя слова Дон Кихота возбуждали в путешественнике подозрение, не сумасшедший ли встретившийся ему рыцарь, и он ждал, не подтвердят ли и другие признаки эту мелькнувшую у него в голове мысль. Но прежде, чем у них завязался какой-либо другой разговор, Дон Кихот попросил его сказать, кто он, потому что уже с своей стороны, он сообщил ему о своем положении и образе жизни.

На это Зеленый Плащ ответил:

– Я, сеньор рыцарь Печального Образа, родом из одного местечка, где, если Богу угодно, мы с вами сегодня пообедаем. Мои средства довольно значительны; имя мое – дон Диего де Миранда. Я провожу жизнь свою в обществе моей жены, моих детей и друзей моих; занимаюсь охотой и рыбной ловлей, но не держу ни сокола, ни борзых собак, а только приманную куропатку или смелого африканского хорька. Имею я около шести дюжин книг, частью на испанском языке, частью на латинском; одни книги – исторического содержания, другие – религиозного. Рыцарские же книги никогда не переступали порога моего дома; охотнее я читаю светские книги, чем книги религиозного содержания, раз они доставляют приличное развлечение, улаждают своим слогом, нравятся и привлекают вымыслом, – хотя подобных книг мало в Испании. Иногда я обедаю у моих соседей и друзей и очень часто приглашаю их к себе; у меня за столом все чисто, хорошо подано и далеко не скупо. Я и сам не люблю злословить, и не позволяю и другим делать это в моем присутствии; никогда не стараюсь выве-

дать, как живут другие, и не допытываюсь о делах посторонних; каждый день бываю у обедни; делюсь своим достатком с бедными, не хвастаясь добрыми делами, чтобы не дать доступа в мое сердце лицемерию и тщеславию, – врагам, так вкрадчиво овладевающим даже самым испытанным сердцем. Я стараюсь помирить тех, которые, как мне известно, не в ладах, почитаю Божью Матерь, и не перестаю уповать на бесконечное милосердие нашего Господа Бога.

Санчо очень внимательно слушал сообщение о жизни и занятиях идадьго; и так как ему показалось, что такая жизнь добрая и святая, и тот, кто ее ведет, должно быть, делает чудеса, он соскочил с своего Серого и с величайшей поспешностью подбежал к идадьго, ухватился за правое его стремя и с благоговейным сердцем и почти со слезами поцеловал ему ноги раз, и несколько раз.

Увидав это, идадьго спросил его.

– Что вы делаете, брат? Что это за поцелуи?

– Позвольте мне целовать, – ответил Санчо, – так как, мне кажется, милость ваша – первый святой, верхом на лошади на коротких стременах, которого я видел во всю свою жизнь.

– Я не святой, – ответил идадьго, – а большой грешник; это вы, брат, должно быть, очень добры, как то доказывает ваша простота.

Санчо вернулся на выючное седло своего осла, вынудив столь глубоко-грустного господина своего рассмеяться и возбудив опять удивление в дон Диго. Дон Кихот спросил идадьго, сколько у него детей, добавив, что одной из вещей, которую древние философы, лишенные

познания истинного Бога, считали высшим благом, было: обладать природными дарованиями, дарами счастья, иметь много друзей и много добрых детей.

– У меня, сеньор Дон Кихот, – сказал идадьго, – всего лишь один сын, и, если бы его не было, быть может, я считал бы себя счастливее; и не потому, чтобы он был дурной, а потому что он не так хорош, как я бы этого желал. Ему восемнадцать лет, из них шесть он провел в Саламанке, изучая греческий и латинский языки; а когда я пожелал, чтобы он занялся другими науками, я нашел его до того напитанным поэзией (если только ее можно назвать наукой), что я никак не могу заставить его обратиться к изучению права, которое я желал бы, чтобы он изучил, или же богословия – этой королевы всех наук. Мне бы хотелось, чтобы он был славой своего рода, потому что мы живем в такое время, когда наши короли блестяще награждают добродетельных и достойных писателей, так как словесные науки без добродетели – жемчуг в куче навоза. Целые дни сын мой проводит, обсуждая, хорошо ли или дурно выразился Гомер в таком то стихе в *Илиаде*, оказался ли Марциал неприличным или нет в такой-то эпиграмме, следует ли понимать таким или иным образом такие-то стихи Вергилия. Словом, он весь погружен в книги указанных поэтов, а также Горация, Персия, Ювенала и Тибулла, потому что современных испанских писателей он не очень-то ценит; но, несмотря на все нерасположение, выражаемое им к испанской поэзии, мысли его в настоящее время заняты сочинением глоссы¹ на четыре строки,

¹ *Justa literaria* – были весьма в ходу в те времена. Задавались темы, обыкновенно состоявшие из четырех строк, и над этими строками соискатели должны были упражнять поэтическое свое искусство, расширяя и варьируя заданную тему. Сервантес тоже принимал участие в подобных поэтических турнирах и несколько раз выходил из них победителем.

которые ему прислали из Саламанки, и, я думаю, для какого-нибудь литературного состязания.

На все это Дон Кихот ответил:

– Дети, сеньор, – частица внутреннего существа своих родителей, и поэтому мы должны их любить, хороши ли они или нет, как мы любим души, которые дают нам жизнь. На родителях лежит обязанность направить их с малолетства на путь добродетели, благовоспитанности и добрых христианских нравов, чтобы, придя в возраст, они были опорой старости своих родителей и славой своего потомства. Что же касается того, чтобы принуждать их изучать ту или иную науку, я не считаю это благоразумным, хотя нет и вреда, если добрым словом убеждать их; а когда им не надо учиться *pane lucrando*¹, – и студент так счастлив, что небо дало ему родителей, избавляющих его от этого – на мой взгляд, следовало бы им предоставить заниматься той наукой, к которой они чувствуют наибольшую склонность. И хотя поэзия менее полезна, чем усладительна, она не из тех, которые бесчестят приверженцев своих. Поэзию, сеньор идадьго, можно, как мне кажется, уподобить девушке нежной, очень юной, одаренной всяким совершенством красоты, которую многие другие девушки – именно, все остальные науки – стараются обогатить, придать ей изящество, украсить ее; и она должна пользоваться всеми ими и все они должны заимствовать у нее блеск. Но это такого рода девушка, которая не желает, чтобы ее хватали руками, таскали по улицам, выставляли на показ на площади или в углах дворцов. Она создана из таких химических свойств, что кто умеет обращаться с нею, превратит ее в чистейшее золото, которому цены нет. Тот, кто обладает ею, должен заботливо

охранять ее и не допускать ее носиться по грязным пасквилям и нечестивым сонетам; она никоим образом не должна быть продажной, а могут продаваться только поэтические произведения: героические поэмы, горестные трагедии или веселые и искусные комедии. Она не должна отдавать себя в руки скоморохов или невежественной черни, неспособной понять и оценить сокровищ, которые заключаются в ней. Вы не думайте, сеньор, что я называю чернью людей плебейского и скромного происхождения; нет, всякий, кто невежествен, хотя бы он был сеньор и князь, может и должен быть причислен к категории черни. Итак, тот, который, обладая указанными мною качествами, отдастся и посвятит себя поэзии, сделается известным, и его имя будут чтить образованные народы всего мира. Относительно же того, сеньор, что вы сказали, будто ваш сын не очень-то ценит испанскую поэзию, на мой взгляд он не прав в этом, и вот почему: великий Гомер не писал по-латыни, так как он был грек, и Вергилий не писал по-гречески, потому что он был римлянин. Словом, все древние поэты писали на том языке, который они всосали вместе с молоком своей матери, и они не отправлялись в поиски за иностранными языками, чтобы на них излагать возвышенные свои мысли. А раз это так, следовало бы, чтобы этот обычай распространился у всех народов, и чтобы не умаляли немецкого поэта потому лишь, что он пишет на своем языке, или кастильского, или даже бискайского, потому что они пишут на своем. Ваш сын, сеньор, насколько я представляю себе это, должно быть, не относится дурно к испанской поэзии, а только к поэтам, не знающим ни других языков, ни других наук, с помощью которых они могли бы украсить, пробудить и обогатить свои

¹ С целью зарабатывать себе хлеб.

дарования. Но даже и тут может быть заблуждение, потому что, по весьма основательному мнению, поэтом рождаются, – иными словами из чрева матери настоящий поэт выходит уже поэтом; и с этой своей склонностью, дарованной ему небом, он, без всякого учения и искусства, сочиняет вещи, подтверждающие, насколько был прав сказавший: *Est deus in nobis* и т. д.¹). Я скажу также, что прирожденный поэт, который в помощь себе призывает искусство, будет куда выше и лучше поэта, желающего быть им, опираясь лишь только на знание искусства. Причина та, что искусство не превосходит природу, а только совершенствует ее; так что природное дарование в соединении с искусством и искусство в соединении с природным дарованием производят самого совершенного поэта. В заключение своей речи, сеньор идальго, скажу, что вашей милости следует предоставить своему сыну идти туда, куда его ведет звезда его, потому что, будучи таким хорошим студентом, каким он должно быть и есть, и уже счастливо поднявшись на первую ступень наук, какою является знание языков, с помощью их он взберется и на вершину словесных наук, которые также приличествуют идальго и рыцарю и также украшают его, делают ему честь и возвеличивают, как епископа митра, или судейская тога – ученых юристов. Браните, милость ваша, своего сына, если он напишет пасквилы, позорящие чужую честь, и накажите его, и их разорвите; но если он будет писать сатиры вроде сатир

Горация, в которых, как это так изящно делал латинский поэт, порицается вообще порок, – хвалите его, потому что поэту дозволено писать против зависти и бичевать в своих стихах завистников, также как и другие пороки, только никого не называя; хотя есть поэты, которые, лишь бы сказать язвительную вещь, готовы подвергнуться опасности быть изгнанными на острова Понта². Если поэт целомудрен в своих нравах, он будет им также и в своих стихах. Перо – язык души: какие были мысли, зачатые в ней, такими будут и его писания. А когда короли и принцы видят дивную науку поэзии в людях даровитых, добродетельных и возвышенных, они уважают их, ценят и обогащают, и даже венчают листьями дерева³, на которое не обрушивается и молния, как бы в знак того, что никто не должен оскорблять людей, чье чело увенчано и украшено таким венком.

Зеленый Плащ был приведен в изумление рассуждениями Дон Кихота, и до того, что уже готов был изменить свое прежнее мнение относительно его сумасшествия. Но среди их разговора, Санчо, которому он не очень пришелся по вкусу, отошел с дороги в сторону попросить немного молока у пастухов, которые там же вблизи доили своих овец; и как раз в то время, когда идальго хотел возобновить беседу с Дон Кихотом, восхищенный его умом и здравым смыслом, рыцарь, подняв голову, увидел, что по дороге, по которой они ехали, подвигается крытый фургон с королевскими флагами, и,

¹ Овидий сказал это в шестой книге своих *«Fasti»*: «*Est Deus in nobis, agitante calescimus illo*» т. е. в нас есть бог, действием которого мы горим.

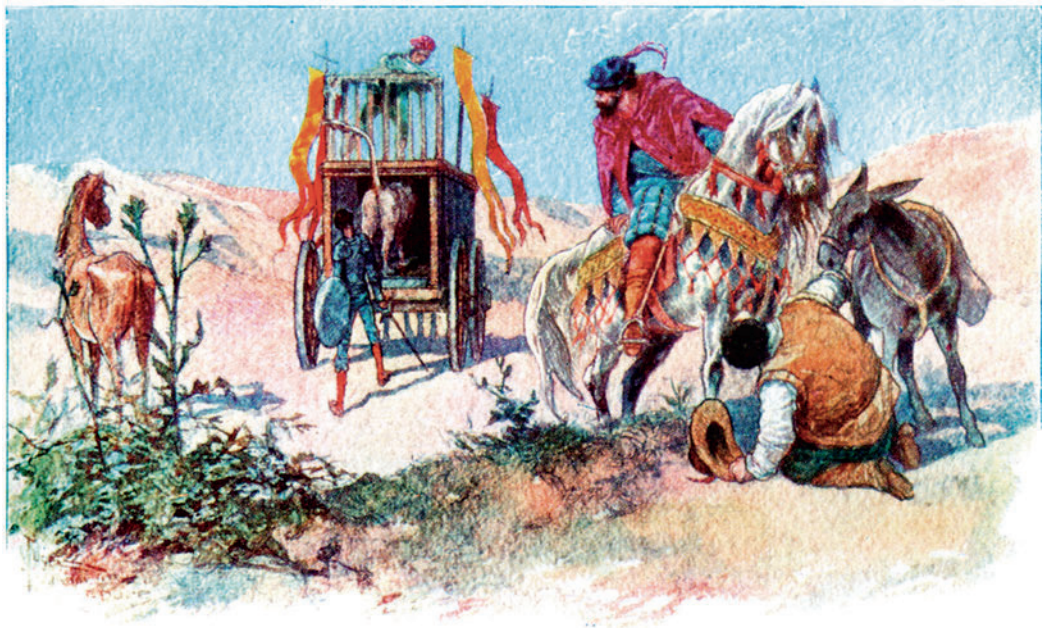
² Намек на Овидия, сосланного однако не на острова, а на берег Понта, и по собственному его свидетельству не за то, что написало его перо или сказал его язык, а за то, что видели его глаза.

³ Лаврового дерева, которое, по мнению древних, не подвергается опасности быть сожженным молнией (Плиний). По этой причине император Тиберий, очень боявшийся молнии, всегда носил во время грозы по словам Светония на голове лавровый венок.

вообразив, что это, должно быть, новое приключение, он громким голосом позвал Санчо, чтобы тот подал ему шлем. Санчо, услышав, что его зовут, бросил па-

стухов и, погнав своего Серого, поспешно подъехал туда, где находился его господин, с которым и случилось ужасное и необычайное приключение.





Глава XVII

В которой обнаружился высший и крайний предел, до которого достигла и могла достигнуть неслыханная доблесть Дон Кихота, в счастливо завершенном им приключении со львами.

Но словам истории, когда Дон Кихот крикнул Санчо, чтобы он принес ему шлем, тот был как раз занят покупкой творога, который ему продавали пастухи, и в замешательстве от поспешного зова своего господина не знал, что делать с творогом, или в чем его нести; итак, чтобы не лишиться того, за что он уже заплатил, ему пришлось в голову положить творог в шлем Дон Кихота, что он и сделал, и, приняв эту меру предосторожности, подъехал к своему сеньору узнать, что тот желает, а увидав его, Дон Кихот сказал:

– Дай мне, друг, этот шлем, потому что, или я мало понимаю в приключениях, или то, что там вот надвигает-

ся, – приключение такого рода, которое должно принудить и принуждает меня взяться за оружие.

Зеленый Плащ, услышав это, стал смотреть во все стороны, но ничего не увидел, кроме повозки, ехавшей им на встречу, с двумя или тремя маленькими флагами, заставившими его думать, что в этой повозке, должно быть, везут королевскую казну, и он так и сказал Дон Кихоту. Но тот не поверил ему, всегда предполагая и воображая, что все, случаемся с ним – лишь приключения и одни только приключения; поэтому он и ответил идадьго:

– Если враг уличен, он наполовину побежден; и ничего я не потеряю, приняв меры предосторожности, так как по опыту знаю, что у меня есть враги яв-

ные и незримые, и я не ведаю, ни где, ни когда, ни в какое время, ни в каком они виде нападут на меня.

И обернувшись к Санчо, он попросил у него шлем, который тот, не успев вынуть оттуда творог, был вынужден подать ему, как он был. Дон Кихот взял шлем и, не взглянув, что в нем, с величайшей поспешностью опрокинул его себе на голову; но раз на творог стали надавливать и нажимать, сыворотка из него потекла по всему лицу и по бороде Дон Кихота, а это так поразило его, что он сказал Санчо:

– Что это такое, Санчо? Мне кажется, или череп у меня размягчился, или мои мозги тают, или же я с головы до ног обливаюсь потом, и если это пот, то, право, не от страха. Нимало не сомневаюсь, что приключение, предстоящее мне теперь, будет ужасное. Дай мне, если у тебя найдется, чем вытереться, потому что обильный пот слепит мне глаза.

Санчо промолчал и подал своему господину платок, и вместе с тем поблагодарил Бога, что его сеньор не понял, в чем дело. Дон Кихот вытер себе лицо и снял шлем, чтобы посмотреть, что там такое, что, казалось, холодит ему голову, и увидав эти белые комки в шлеме, он их поднес к носу и, понюхав, сказал:

– Клянусь жизнью моей сеньоры Дульсиней Тобосской, – это творог, который ты мне сюда положил, изменник, разбойник и наглый оруженосец.

На это Санчо ответил с величайшим хладнокровием и искусным притворством:

– Если это творог, дайте мне его, ваша милость, и я его съем; но лучше пусть ест его дьявол, который, должно быть, туда его положил. Чтобы я осмелился загрязнить шлем вашей милости? Вот так нашли дерзкого! Клянусь честью, сеньор, данный мне Богом разум гово-

рит мне, что, должно быть, и меня также преследуют волшебники, как творение и принадлежность вашей милости; и они верно положили сюда эту пакость, чтобы ваше терпенье превратилось в гнев, и вы по обыкновению намяли мне бока. Но, поистине, они на этот раз промахнулись, так как я доверяю здравому смыслу моего господина, который принял во внимание, что у меня нет ни творога, ни молока, ни другого чего-либо подобного, и, если бы я имел их, то скорее положил бы себе в желудок, чем в шлем.

– Все может быть, – ответил Дон Кихот.

Идальго в зеленом плаще все это видел и удивлялся всему, в особенности же, когда Дон Кихот, хорошенько вытерев себе голову, лицо, бороду и шлем надел этот последний, хорошенько укрепился на стременах, и, обнажив меч и взяв копьё, сказал:

– Теперь будь, что будет, я здесь и готов храбро сразиться хотя с самим Сатаной.

В это время к ним подъехал фургон с флагами, при котором никого не было, кроме одного лишь возницы, управлявшего мулами, и человека, сидевшего на передке фургона.

Дон Кихот преградил дорогу фургону и сказал:

– Куда вы едете, братья? Что это за фургон? Что вы везете в нем и что это за флаги такие?

На это возница ответил:

– Фургон мой, везу я в нем в клетке двух сильных львов, которых генерал из Орана посылает в столицу в подарок его величеству; флаги эти королевские и обозначают то, что везут его добро.

– Львы большие? – спросил Дон Кихот.

– Такие большие, – ответил человек, схавший на передке фургона, – что нико-

гда еще не привозили таких больших из Африки в Испанию. Я сторож львов и возил других, но подобных этим – никогда. Тут самец и самка; самец в передней клетке, а самка в задней, и теперь они голодные, потому что сегодня еще ничего не ели; поэтому пусть милость ваша даст нам дорогу, так как мы должны скорей добраться туда, где можно будет покормить львов.

На это Дон Кихот ответил, слегка улыбаясь:

– Львята мне? Мне львята? И в такое время? Но клянусь Богом, сеньоры, которые их посылают сюда, увидят, такой ли я человек, чтобы испугаться львов. Слезайте-ка, добрый человек, и раз вы сторож львов, откройте клетки их и выпустите оттуда этих зверей, потому что здесь, среди этого поля я покажу им, кто такой Дон Кихот Ламанчский, наперекор и назло волшебникам, пославшим их мне.

– Та, та! – сказал тут про себя идальго, – добрый наш рыцарь дал нам теперь доказательство кто он такой. Без сомнения, твоя размягчил ему череп и разжижил мозги.

Между тем Санчо подошел к идальго и сказал ему:

– Сеньор, именем Бога прошу вас, устройте так, милость ваша, чтобы мой господин Дон Кихот не сражался с этими львами, потому что, если он это сделает, они всех нас растерзают здесь.

– Но разве ваш господин такой сумасшедший, что вы боитесь и думаете, что он свяжется с такими дикими зверями?

– Он не сумасшедший, – ответил Санчо, – а безумно отважный.

– Я сделаю так, чтобы он не был им, – обещал идальго и, подойдя к Дон Кихоту, который настаивал, чтобы сторож львов открыл клетки, сказал ему:

– Сеньор рыцарь, странствующие рыцари должны предпринимать лишь приключения, допускающие какую-либо надежду на счастливый исход, а не такие, которые совершенно и окончательно лишены ее, так как храбрость, вступающая в область безрассудства, скорее похожа на безумие, чем на доблесть; и тем более, что эти львы вовсе не идут против вашей милости, – это им и во сне не снилось, – а их везут в подарок его величеству, и потому было бы не хорошо задерживать их или препятствовать их путешествию.

– Пусть милость ваша, сеньор идальго, – ответил Дон Кихот, – отправляется к себе домой заботиться о своей ручной куропатке и о своем смелом африканском хорьке и предоставляет каждому исполнять свою обязанность; это вот моя, и я знаю, идут ли против меня эти сеньоры львы, или нет.

И обратившись к сторожу львов, он ему сказал:

– Клянусь, дон Мошенник, если вы сейчас же и немедленно не откроете клетки, этим копьем пришибу вас к повозке.

Возница, видя решимость вооруженного привидения, сказал ему:

– Сеньор мой, не будет ли угодно вашей милости дозволить мне из чувства сострадания отпрячь моих мулов и вместе с ними укрыться в безопасном месте, прежде чем выпустят львов, так как если растерзают моих мулов, то я погиб на всю жизнь, потому что у меня нет другой собственности кроме этого вот фургона и этих мулов.

– О, маловерный, – ответил Дон Кихот, – слезай, отпрягай мулов и делай, что хочешь, так как ты скоро увидишь, что напрасно тратил силы и мог бы избавить себя от этого труда.

Возница слез, распряг мулов с большой поспешностью, а сторож львов сказал громким голосом:



Это побудило идадьго пришпорить кобылу, Санчо – Серого.

– Все вы, присутствующие здесь, будьте свидетелями, как против моей воли и лишь только по принуждению я открываю клетки и выпускаю львов, а также и того, что я заявляю этому сеньору: все несчастья и убытки, которые дикие звери могут причинить, будут поставлены и вписаны на его счет так же, как и мое жалованье и все следуемое мне. А вы, милости ваши, сеньоры, прячьтесь в безопасное место, пока я еще не открыл клетки, так как за себя я уверен, что мне львы не сделают зла.

Еще раз идадьго пытался уговорить Дон Кихота не совершать такого безумного поступка, потому что настаивать на подобной нелепости, значило бы искушать Бога; но Дон Кихот возразил, что сам знает, что делает. Идадьго ответил, чтобы он хорошенько подумал, так как он наверное заблуждается.

– Теперь, сеньор, – сказал Дон Кихот, – если ваша милость не желает быть свидетелем того, что по вашему мнению должно кончиться трагедией, пришпорьте серую в яблоках кобылу и уезжайте в безопасное место.

Услышав это, Санчо со слезами на глазах стал умолять Дон Кихота отказаться от такого предприятия, по сравнению с которым и приключение с ветряными мельницами и история с валяльными и, наконец, все подвиги, совершенные им в течение всей его жизни, были лишь сладкий торт и пряники.

– Знайте, сеньор, – говорил Санчо, – что здесь нет ни волшебства, ни чего-либо подобного, так как я видел через решетку и щели клетки коготь настоящего льва и заключаю из этого, что лев, у которого такой коготь, должен быть больше горы.

– Страх, – сказал Дон Кихот, – покажет его тебе, по меньшей мере, больше чем полмира. Удались, Санчо, и оставь

меня; и если бы я умер здесь, ты знаешь наш давнишний уговор: отправься к Дульсинее – больше ничего не скажу тебе.

К этим словам он добавил еще другие, которые окончательно отняли всякую надежду на то, что он может отказаться от своего безумного предприятия. Зеленый Плащ хотел было воспротивиться силой, но он видел, что оружие их неравное, и счел неблагоприятным вступать в бой с сумасшедшим, каковым проявил себя уже теперь со всех точек зрения перед ним Дон Кихот, который снова торопил сторожа львов, повторяя свои угрозы. Это побудило идадьго пришпорить кобылу, Санчо – Серого, возницу – своих мулов и все постарались как можно дальше уехать от фургона, прежде чем львы будут выпущены из клеток. Санчо оплакивал смерть своего сеньора, потому что, на этот раз, был твердо уверен, что ему не миновать когтей львов; он проклинал свою судьбу и называл злополучным тот час, когда ему пришлось на ум опять вернуться служить своему господину. Но слезы и жалобы его не помешали ему подгонять Серого, чтобы подальше отъехать от фургона. Сторож львов, видя, что те, которые бежали, уже на далеком расстоянии, снова стал просить и предостерегать Дон Кихота, как и раньше просил и предостерегал его; рыцарь ответил, что слышит, но не обращает ни малейшего внимания на просьбы и предостережения, и что все они бесполезны; пусть он лучше торопится. Пока сторож львов все еще медлил открыть первую клетку, Дон Кихот обсуждал, не будет ли лучше повести битву пешим, чем сидя на лошади, и наконец решил сражаться пешим, опасаясь, чтобы Росинант не испугался, увидав львов. Поэтому он соскочил с лошади, взял на перевес копье, продел на руку щит и, обнажив меч, с изумительной от-

вагой и сердцем, исполненным мужества, подошел размеренным шагом к повозке, поручая себя от всей души Богу и вместе с тем и сеньоре своей Дульсине.

Надо знать, что автор правдивой этой истории, дойдя до этого места, восклицает и говорит:

– О, мужественный и выше всякой похвалы доблестный Дон Кихот Ламанчский, зеркало, в которое могут смотреться храбрецы всего мира, второй и новый дон Мануэль де Леон, слава и честь всех испанских рыцарей! Какими словами передам я этот столь ужасающий подвиг, или какими доводами заставляю я поверить в него грядущие поколения? Где найти похвалы, которые оказались бы несоответствующими и не должными тебе, хотя бы они были более гиперболичны, чем все существующие на свете гиперболы? Пеший, один, бесстрашный, великодушный, в руках лишь только меч, и не из тех острых с собачкой на клинке¹, с щитом, не из весьма светлой и блестящей стали, – стоишь ты, ожидая и подстерегая двух самых диких львов, которых когда-либо произвели африканские леса. Пусть твои собственные подвиги восхваляют тебя, доблестный ламанчец, а я прерываю здесь мою речь, так как у меня не хватает слов превозносить твои деяния!

Здесь кончается приведенное нами обращение автора, и он вновь принимается за прерванную нить истории, говоря:

Когда сторож львов увидел, что Дон Кихот уже стоит перед клеткой и ждет, и ему не удастся избежать необходимости выпустить из клетки льва – самца, под страхом впасть в немилость негодующего и отважного рыцаря, сторож раскрыл настежь первую клетку, где, как

уже сказано, находился лев, оказавшийся необычайной величины и отвратительного, ужасающего вида. Первое, что лев сделал, было перевернуться в клетке, в которой он находился; затем он протянул лапу и весь вытянулся, открыл пасть, зевнул, не спеша, и, высунув язык около двух пядей длины, протер себе им глаза и умыл морду. Сделав это, он выставил голову из клетки и стал осматриваться во все стороны глазами, сверкающими, как горящие угли – зрелище и поза, которые могли бы внушить ужас самой неустрашимости. Но Дон Кихот не спускал глаз с льва, желая лишь одного, чтобы тот спрыгнул с фургона и попался бы ему в руки, которыми он думал разорвать его на куски, – до такой степени достигло его, превышающее всякую меру и никогда не виданное, безумие. Но великодушный лев, более учтивый, чем надменный, не обращая внимание на ребячества и чванство, осмотревшись, как уже было сказано, во все стороны, повернулся спиной и, показывая Дон Кихоту свои седлищные части, с большим хладнокровием и спокойствием растянулся в своей клетке. Увидав это, Дон Кихот приказал сторожу бить его палкой и раздражать, чтобы выгнать из клетки.

– Я этого не сделаю, – ответил сторож, – потому что, если я его раздражу, первого, кого он растерзает, буду я сам. Довольствуйтесь, милость ваша, сеньор рыцарь, тем, что сделано, потому что это верх всякой храбрости, и второй раз не испытывайте судьбу. Дверь у льва открыта; в его воле выйти или нет; но раз он не вышел до сих пор, он не выйдет теперь и во весь день. Величие души вашей милости выяснилось уже вполне. Ни один храбрый витязь, – насколько я это понимаю, – не обязан сделать больше того,

¹ Perillo – собачка, – клеймо на клинках знаменитого оруженосца XVI века, Юлиана дель Реи в Толедо, городе, со времен мавров славившемся во всей Европе клинками шпаг и мечей.

как только вызвать своего врага и ждать его на поле битвы; если же противник не явится, позор ложится на него, а ждавший приобретает венец славы.

– Это правда, – ответил Дон Кихот, – запри, друг, дверь и засвидетельствуй лучшим образом, каким только можешь, то, что я здесь делал на твоих глазах, именно; как ты открыл клетку льва, я его ждал, он не вышел; я ждал его опять, он опять не вышел и снова улегся. Большого я не обязан делать. Прочь волшебства! И да благоприятствует Бог разуму, и правде, и истинному рыцарству! Запри дверь, как я уже говорил, пока я дам беглецам и отсутствующим знак вернуться, чтобы они из уст твоих услышали об этом моем подвиге.

Сторож львов так и сделал, а Дон Кихот, прикрепив к острию копья платок, которым он вытирал себе лицо от твoroжного дождя, начал звать тех, что все еще продолжали бежать, на каждом шагу оборачивая голову, теснясь все вместе и предводительствуемые идадьго. Но Санчо, увидав сигнал белого платка, сказал; – Пусть убьют меня, если мой господин не победил диких зверей, потому что он нас зовет.

Они все остановились и, узнав в том, который им делал знаки, Дон Кихота и утратив несколько свой страх, мало помалу приблизились настолько, что ясно услышали, как их звал рыцарь. Наконец, они добрались до фургона, и когда очутились близ него, Дон Кихот сказал вознице:

– Впрягите опять ваших мулов, брат, и продолжайте ваше путешествие, – а ты, Санчо, дай им два червонца, один сторожу, а другой вознице, в вознаграждение за то, что они из-за меня остановились.

– Я дам им червонцы с величайшей охотой, – ответил Санчо, – но что же случилось со львами – живы они или нет?

Тогда сторож львов подробно и не торопясь рассказал об исходе битвы, подчеркивая при этом, как только мог и умел, мужество Дон Кихота, увидав которого лев струсил, не пожелал и не дерзнул выйти из клетки, хотя сторож держал долго дверь открытой. И только когда он сказал этому рыцарю, что раздражить льва и заставить его силой выйти из клетки, как рыцарь этого желал – значило бы искушать Бога, тот очень неохотно и против своего желания позволил, наконец, запереть дверь клетки.

– Как ты смотришь на это, Санчо? – спросил Дон Кихот. – Есть ли волшебства, которые устоят против истинной доблести? Волшебники могут отнять у меня счастье, но отнять храбрость и мужество им невозможно.

Санчо выдал червонцы; возница запряг мулов; сторож львов поцеловал руку Дон Кихота за полученную от него милость и обещал рассказать об его доблестном подвиге самому королю, когда он увидит его при дворе.

– Но если бы случайно его величество спросил – сказал Дон Кихот, – кто совершил этот подвиг, скажите, что *Рыцарь Львов*, так как отныне впредь я желаю, чтобы таким образом было изменено, переменено, переделано и превращено прежнее мое прозвище «Рыцаря Печального Образа», и в этом я следую древнему обычаю странствующих рыцарей, которые меняли свои прозвища, когда они этого желали, или когда им казалось, что это соответствует случаю.

Фургон продолжал свой путь, а Дон Кихот, Санчо и Зеленый Плащ свой.

Во все это время дон Диго де Миранда не сказал ни слова, внимательно следя и подмечая действия и слова Дон Кихота, который казался ему одновременно безумным-здравомыслящим и сумасшедшим, близким к здравому смыслу.

До его сведения не дошла еще первая часть истории Дон Кихота, так как, если бы он ее прочел, удивление, в которое его приводили действия и слова рыцаря, прекратилось бы, потому что он тогда бы знал род его помешательства; но так как он не был известен ему, он одну минуту считал рыцаря здравомыслящим, а вслед затем сумасшедшим, потому что то, что он говорил, было последовательно, изящно и хорошо сказано, а то, что он делал, было нелепо, опрометчиво и безумно. И он сказал себе: «Может ли быть большее безумие, как надеть на голову шлем, полный творога и вообразить, что волшебники размягчили ему череп? Может ли быть большее безрассудство и сумасшествие, как во чтобы то ни стало желать сразиться со львами?». От этих размышлений и разговора с самим собой его отвлек Дон Кихот, сказав:

– Кто усомнится, сеньор дон Диего де Миранда, что вы, милость ваша, считаете меня про себя человеком нелепым и сумасшедшим? И неудивительно, если это так, потому что мои поступки не могут свидетельствовать о чем-либо ином. Но тем не менее, я желал бы, чтобы наша милость знала, что я не такой уже сумасшедший и не такой нелепый, как, должно быть, я вам показался. Прекрасным является мужественный рыцарь, когда он, на глазах своего короля, среди большой площади, наносит удачный удар копьем могучему быку. Прекрасен и рыцарь, вооруженный сверкающими доспехами, выступающий на бой в веселых турнирах в присутствии дам; прекрасны и все те рыцари, которые военными упражнениями или подобными им развлекают, оживляют и, если можно так выразиться, делают честь двору своего государя. Но прекраснее всех их странствующий рыцарь, который по пустыням и безлюдным местам, на перекрестках,

в лесах и горах ищет опасных приключений, с намерением довести их до желанного и счастливого конца, только чтобы приобрести великую и прочную славу. Прекраснее кажется, говорю я, странствующий рыцарь, оказывающий помощь вдове в каком-нибудь пустынном месте, чем придворный рыцарь, ухаживающий за молодой девушкой в городе. Все рыцари имеют свои особые обязанности: придворный пусть служит дамам, украшает двор своего короля пышной одеждой, поддерживает бедных рыцарей роскошными блюдами своего стола, устраивает состязания, участвует в турнирах и выказывает себя благородным, щедрым, великодушным и, главное, добрым христианином; и таким образом он исполнит в точности возложенные на него обязанности. Но странствующий рыцарь пусть исследует и захоластья и край света, проникает в самые запутанные лабиринты, добываясь на каждом шагу невозможного, подвергаясь в безлюдных пустынях летом жгучим лучам солнца, а зимой – суровой неблагосклонности и стужи ледяного ветра; пусть его не страшат львы, не пугают чудовища, не ужасают драконы, так как разыскивать одних, сражаться с другими и побеждать всех – главная и настоящая его задача. И я, – так как мне выпала судьба быть одним из числа странствующих рыцарей, – не могу не задаваться всем тем, что, по моим понятиям, есть выполнение моего призвания. Поэтому, напасть на львов, как я это сделал, было прямым моим долгом, хотя я и понимал, что отвага моя безрассудная, так как я хорошо знаю, что такое доблесть: это добродетель, которая находится между двух порочных крайностей: трусостью и безрассудной дерзостью. Но менее плохо будет, если доблестный поднимется и дойдет до безрассудной отваги, чем если он унижится и опустится

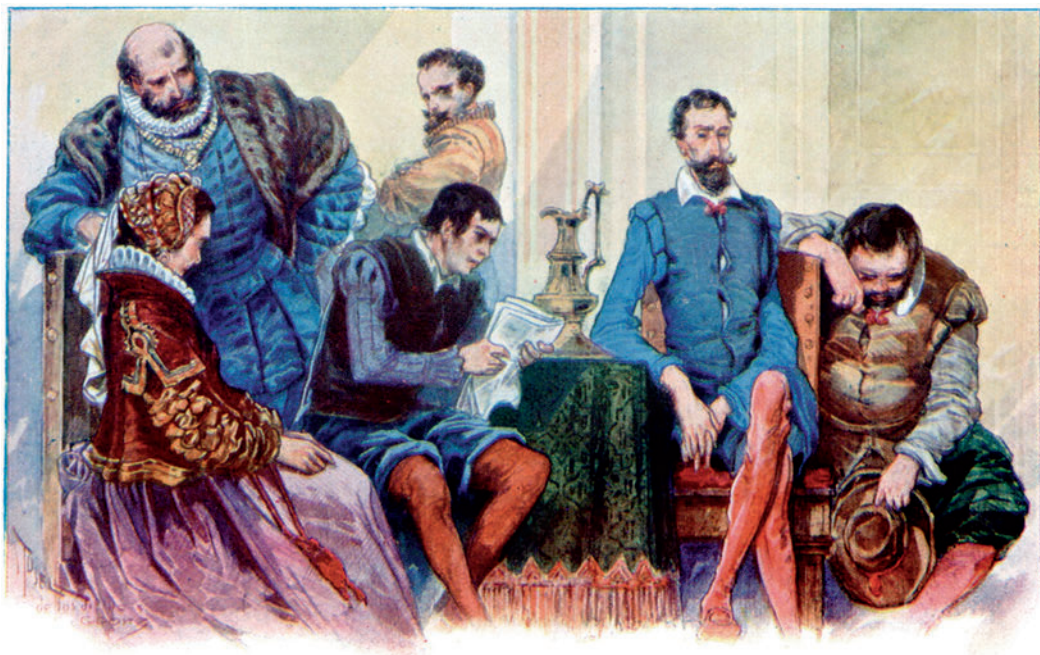
до трусости, потому что, подобно тому, как расточителю легче быть щедрым, чем скряге, также и безрассудно-отважному легче стать истинно-доблестным, чем трусу подняться до настоящего мужества. А относительно искания приключений, поверьте мне, милость ваша, сеньор дон Диго, что лучше терять игру, имея на руках одной картой больше, чем одной картой меньше, так как все же приятнее звучит в ушах, когда слышишь: *такой то рыцарь – безрассудно-отважен*, чем если б сказали: *такой то рыцарь – робок и труслив*.

– Говорю, сеньор Дон Кихот, – ответил дон Диго, – что все, что ваша милость сказала и сделала, точно взвешено на весах самого разума, и я уверен, если б

уставы и законы странствующего рыцарства затерялись, их обрели бы в груди вашей милости, как в настоящем их вместилище и архиве. Но надо нам спешить, так как становится поздно – чтобы поскорее добраться до моей деревни и дома, где ваша милость отдохнет от перенесенных трудов, которые, если и не коснулись тела, то коснулись духа, а иногда это влечет за собой и утомление тела.

– Считаю приглашение ваше за великую милость и честь, сеньор дон Диго, – ответил Дон Кихот. И прищипорив сильнее прежнего лошадей, они около двух часов пополудни добрались до деревни и дома дон Диго, которого Дон Кихот именовал рыцарем Зеленого Плаща.





Глава XVIII

О том, что случилось с Дон Кихотом в замке или в доме рыцаря Зеленого Плаща и о других необычайных вещах.

Дон Кихот увидел, что дом дон-диго де Миранда просторный, как это бывает обыкновенно в деревнях, с гербом¹, хотя и на необтесанном камне, высеченном над входной дверью; с винным погребом на переднем дворе, подвалом в портике, и множеством глиняных кувшинов, расставленных здесь же кругом, которые, так как они были из Тобосо², вновь напомнили рыцарю его очарованную и превращенную Дульсинею. Глубоко вздохнув и не обращая внимания, что он говорит или кто перед ним, он воскликнул:

Мне тяжело видеть вас, о, милые
залог,
Что радость мне несли, когда то Бог
хотел!³

— О, тобосские кувшины, напомнившие мне сладкий предмет величайшей моей душевной горечи!

Эти слова услышал поэт — студент, сын дон-диго, вышедший вместе с матерью принять гостя, и мать и сын были изумлены, увидав странную фигуру Дон Кихота, который, сойдя с Росинанта, с величайшей учтивостью подошел к сеньоре, прося дать ему руки, чтобы поцеловать их, а дон-диго сказал:

¹ Обычай высекать герб над входной дверью был очень распространенный в северной Испании и во всей Кастилии и такие дома назывались *casas solares*.

² Это большие кувшины для вина, сделанные из скважистой глины (*toba*), которыми славится Тобосо.

³ Эти две строки заимствованы Сервантесом из сонета Гарсиласо де ля-Вега.

– Примите, сеньора, с свойственным вам радушием сеньора Дон Кихота Ламанчского, который здесь перед вами. Это странствующий рыцарь, самый доблестный и храбрый, какой только есть на свете.

Сеньора, которую звали доньей Кристиной, приветствовала гостя с величайшей благосклонностью и любезностью, а Дон Кихот свидетельствовал ей свое почтение в самых учтивых и изысканных выражениях. Почти тот же самый обмен вежливостями произошел у него и со студентом, которого Дон Кихот, судя по разговору его, счел за умного и живого юношу.

Автор описывает здесь подробно всю обстановку в доме дона Диго, перечисляя то, что в те времена заключал в себе дом богатого, сельского дворянина; но переводчик этой истории решил пройти молчанием эти и тому подобные незначительные мелочи, так как они не отвечают главной цели истории, больше основывающей свою силу на правде, чем на холодных отступлениях.

Дон Кихота повели в зал; Санчо снял здесь с него вооружение: рыцарь остался в замшевом камзоле, в широких коротких фламандских панталонах, и то, и другое было испачкано ржавчиной и загрязнено оружием. На шее у него был надет фламандский отложной воротник, не крахмальный и без кружев, на студенческий лад; ноги были обуты в полусапоги финикового цвета и навощенные башмаки. Он опоясал себя добрым своим мечом, висевшим у него на перевязи из кожи морского волка, так как существует мнение, будто Дон Кихот долгие годы страдал почками¹; и поверх всего накинул короткий плащ из хорошего

серого сукна. Но еще раньше этого он пятью или шестью ведрами воды (так как относительно числа ведер существует некоторое разногласие) вымыл себе голову и лицо, хотя вода оставалась до самого конца цвета сыворотки, благодаря обжорству Санчо и покупки им злосчастного творога, который так выбелил его господина. В только что описанном костюме, Дон Кихот, с изящной осанкой и отважным видом, вышел в другой зал, где его ожидал студент, чтобы занять его, пока накрывают на стол, так как, по случаю приезда столь благородного гостя, сеньора донья Кристина хотела показать, что она и умеет и может хорошо принять тех, которые приезжают к ней в дом. В то время как Дон Кихот еще снимал с себя доспехи, дон Лоренсо (так звали сына дона Диго) воспользовался случаем, чтобы спросить отца:

– Кто же, собственно, сеньор, этот рыцарь, которого ваша милость привела к нам в дом? Его имя, фигура и то, что вы его называли странствующим рыцарем, изумило нас – меня и мою мать.

– Не знаю, что и сказать тебе, сын; – ответил дон Диго. – одно лишь могу сказать: я видел, как он совершал величайшие в мире безумства и слышал от него такие умные и рассудительные речи, которые заглаживают и вычеркивают его поступки. Поговори ты с ним, пощупай пульс тому, что он знает, и так как у тебя светлый ум, реши вопрос о его здравомыслии или безумии, что на твой взгляд подойдет ближе к истине, хотя, говоря по правде, я считаю его скорее сумасшедшим, чем в здравом уме.

После этого дон Лоренсо ушел заниматься, как было сказано, Дон Кихота, и между другими разговорами, кото-

¹ Не материал, из которого была сделана перевязь (tahali), а манера ее носить, считалась полезной для почек, так как эта перевязь носилась через правое плечо вместо пояса кругом талии.



О, тобосские кувшины, напомнившие мне сладкий
предмет величайшей моей душевной горечи!

рые они вели, Дон Кихот сказал дону Лоренсо:

– Сеньор дон Диего де Миранда, отец вашей милости, говорил мне о выдающихся дарованиях и о тонком уме, которыми обладает ваша милость и в особенности о том, что вы большой поэт.

– Поэт, может быть, – ответил дон Лоренсо, – но большой – об этом и речи быть не может. Правда, что я несколько склонен к поэзии и к чтению хороших поэтов, но не в такой степени, чтобы я мог присвоить себе название большого поэта, как говорил мой отец.

– Скромность ваша мне нравится, – сказал Дон Кихот; – потому что нет поэта, который бы не был заносчив и не думал бы о себе, что он величайший в мире поэт.

– Нет правила без исключения, – ответил дон Лоренсо: – и, быть может, найдутся и такие, которые, будучи поэтами, не считают себя ими.

– Мало таких, – ответил Дон Кихот. – Но скажите мне, милость ваша, какими это стихами вы заняты теперь, которые, как мне говорил ваш отец, несколько затрудняют и тревожат вас? Если это какая-нибудь глоса¹, я сам кой-что понимаю в искусстве писать глосы и был бы рад послушать ваше произведение; а если вы пишете эти стихи для литературного состязания, постарайтесь, милость ваша, получить вторую премию, потому что первая дается всегда из благорасположения или ради знатного имени; вторая же дается только лишь по заслугам, так что третья делается второй, а первая по этому счету окажется третьей, подобно ученым степеням, которые даются в университетах; но, тем не менее, получивший первую премию важное лицо.

«До сих пор, – подумал про себя дон Лоренсо, – я еще не могу вас считать сумасшедшим. Посмотрим, что будет дальше», – и он громко сказал:

– По-видимому, ваша милость посещала высшие школы. Какую вы изучали науку?

– Науку странствующего рыцарства, – ответил Дон Кихот; – она столь же хороша, как и наука поэзии, и даже на два дюйма лучше ее.

– Не знаю, что это за наука, – ответил дон Лоренсо, – до сих пор до меня не доходило сведений о ней.

– Это наука, – ответил Дон Кихот, – включающая в себя все, или большинство наук, существующих в мире, потому что тот, кто занимается ею, должен быть юристом и знать законы воздаятельного и распределительного права², чтобы за каждым признать то, что ему принадлежит и что подобает ему. Он должен быть и богословом, чтобы суметь, где это потребуется, дать ясный и убедительный отчет о том, что такое христианская вера, которую он исповедует. Он должен быть и врачом, и в особенности знатком трав, чтобы в пустынях и безлюдных местностях находить травы, имеющие свойство исцелять раны, потому что странствующий рыцарь не может на каждом шагу разыскивать кого-нибудь, кто бы перевязал их ему. Он должен быть и астрологом, чтобы по звездам узнавать ночью, который час и в какой части света и в каком климате он находится. Он должен знать математику, потому что на каждом шагу у него явится надобность в ней. И оставив в стороне, что он должен быть украшен всеми добродетелями – богословскими и кардинальными – я скажу, – спустившись к другим мелочам, – он должен уметь плавать, как говорят, пла-

¹ Glosa – род стихотворения – в данном случае стихотворные вариации на заданную тему.

² Justicia distributiva и commutativa – техническое выражение времен Сервантеса.

вала рыба Николас или Николао¹. Он должен уметь подковать лошадь и починить седло и сбрую. Возвращаясь к более возвышенным предметам, – он должен хранить верность Богу и своей даме, должен быть целомудрен в помыслах, благоприличен в словах, великодушен в поступках, доблестен в подвигах, терпелив в трудах, сострадателен к нуждающимся и, наконец, он должен быть поборником истины, даже если бы ему пришлось отдать жизнь для защиты ее. Из всех этих качеств, больших и малых, и образуется хороший странствующий рыцарь; итак, сеньор дон Лоренсо, милость ваша может видеть, презренная ли та наука, которую проходит изучающий и исповедующий ее рыцарь, и можно ли поставить ее на один уровень с наиболее значительными науками, преподаваемыми в гимназиях и школах?

– Если это так, – ответил дон Лоренсо, – я скажу, что наука эта стоит впереди всех других.

– Как, *если* это так! – воскликнул Дон Кихот.

– Я хотел сказать, – ответил дон Лоренсо, – что сомневаюсь, были ли, и есть ли и теперь странствующие рыцари, да еще украшенные столькими добродетелями?

– Много раз говорил я то, что скажу сейчас, – возразил Дон Кихот, – именно: большинство людей на свете держатся того мнения, что никогда и не было странствующих рыцарей; и так как мне кажется, что, если небо путем чуда не откроет им ту истину, что были и теперь есть рыцари – всякий, какой бы я ни

приложил труд убеждать их в том, был бы бесполезен, что не раз доказал мне опыт. Итак, не желаю останавливаться теперь, чтобы извлечь вашу милость из заблуждения, которое вы разделяете со столь многими. Намерен я сделать одно лишь: просить небо, чтобы оно вывело вас из вашего заблуждения и дало бы вам уразуметь, как полезны и необходимы свету были странствующие рыцари в прошлые века, и как полезны были бы они ему и в настоящее время, если б еще были в обычае. Но за грехи людей торжествуют теперь лень, праздность, невоздержность и роскошь.

«Вот наш гость и проговорился, – подумал тогда про себя дон Лоренсо, – но, тем не менее, он благородный сумасшедший, и я был бы презренный глупец, если б думал иначе».

Тут разговор их был прерван, потому что их позвали обедать. Дон Диего спросил сына, какое он вынес впечатление относительно состояния ума их гостя, на что сын ответил ему:

– Все врачи и знатоки, сколько бы их не было на свете, не извлекут его из тумана его безумия. Он безумец сложный², полный светлых промежутков.

Сели за стол, и обед оказался таким, какой, по словам дон Диего, он имел обыкновение подавать своим гостям – опрятный, обильный и вкусный. Но то, что более всего понравилось Дон Кихоту, была изумительная тишина, царившая во всем доме, который казался настоящим картезианским монастырем. Когда убрали со стола, прочли молитву и подали воду для рук. Дон Кихот на-

¹ El peje Nicolás или Pesce Cola – уроженец Катании, знаменитый пловец, живший в XV веке. Он имел обыкновение большую часть жизни проводить в воде, переплывая из Сицилии на материк и обратно. Рассказывают, будто однажды, когда неаполитанский король дон Фадрике бросил золотую чашу в Харибду, рыба Николас нырнул за чашей, а после того его никто уже больше не видел.

² Entreverado loco – буквально «перемешанный».

стоятельно просил дона Лоренсо сказать стихи, написанные им на литературное состязание. На это тот ответил ему:

– Чтобы вы не сочли меня за одного из тех поэтов, которые, когда их просят прочесть стихи, отказываются, а когда их не просят, они выливают их, как из ведра, я прочту вам мою глосу, за которую не надеюсь получить какой-либо премии, и написал ее только, чтобы изощрить свой ум.

– Один мой приятель и не глупый, – сказал Дон Кихот, – держался мнения, что никому не следует утруждать себя сочинением стихов на заданную тему, по той причине, говорил он, что никогда глоса не может вполне отвечать тексту; часто, или даже почти всегда, она далеко отстает от намерения и цели, заключающихся в заданном тексте, и к тому же правила глосы чрезмерно строги, не дозволяют ни вопросов, ни: *он сказал*, ни: *я скажу*, ни употребления отлагательных существительных, ни изменения смысла с другими еще ограничениями и стеснениями, которыми связаны пишущие глосы, как это должно быть известно вашей милости.

– Поистине, сеньор Дон Кихот, – сказал дон Лоренсо, – я желал бы поймать вашу милость на плохой латыни, и не могу, потому что вы скользите у меня из рук, как угорь.

– Не понимаю, – ответил Дон Кихот, – что ваша милость говорит или имеет в виду сказать относительно моего высказывания.

– Выясню впоследствии, – сказал дон Лоренсо, – теперь же пусть ваша милость слушает внимательно стихи и заданную тему, которая такова:

Коль былое б вновь настало,
Я б иного не желал;
Иль грядущее б узнал,
Сняв с него я покрывало.

ГЛОСА

Ведь на свете все минует –
Миновал и счастья сон;
И судьба уж не дарует
Радость мне былых времен, –
А о ней душа тоскует.
Долгий ряд ненастных лет
Не видал я счастья свет:
В мгле мне солнце не сияло.
А как сердце бы взыграло
Коль былое б вновь настало!

Не ищу богатств, улады,
Лавров, пальм я, иль венков;
Лишь былой судьбы отрады
Жажду я – ее даров;
Рушить к ним хочу преграды,
Чтоб затихла боль страданья
И не жгло б воспоминанье,
Чтоб окончилось ненастье,
Дней былых вернулось счастье, –
Я иного б не желал!

Но нельзя вернуть былого,
Нет на свете силы той:
Что прошло – вовеки снова
Не воскреснет – ждать иного
Было б тщетною мечтой.
Дни бегут и исчезают:
И назад не возвращает
Их лоток времен. –
Коль взяла
Он былое и умчал,
Хоть грядущее б я знал!

Жить в тревогах и сомненье
На огне весь век гореть –
Непосильное мученье;
Лучше б сразу умереть:
Смерть несет от мук спасенье.
Но что ждет, увито мглой,
За доской нас гробовой?
Вот та мысль, что устрашала,
И с грядущего мешала
Часто снять нам покрывало.

Когда дон Лоренсо кончил читать свою глосу, Дон Кихот встал и, взяв его

за правую руку, громким голосом, похожим на крик, сказал:

– Клянусь небом в самой его выси, вы – благородный юноша, лучший поэт на земном шаре и заслуживаете быть украшенным лаврами ни от Кипра, ни от Гаэты, как сказал один поэт¹, которому да простит Господь, – а от академий Афин, если б они еще существовали и от ныне существующих в Париже, Болонье и Саламанке. Дай-то небо, чтобы судей, которые не назначат вам первую премию, своими стрелами пронзил Феб, и музы никогда не переступали порога их дома. Прочтите мне, сеньор, если будете столь добры, еще некоторые из более значительных ваших стихотворений, – мне хотелось бы со всех сторон пощупать пульс удивительному вашему таланту.

Нужно ли сказать, что дон Лоренсо был очень доволен, слушая похвалы Дон Кихота, хотя и считал его за сумасшедшего? О, могущество лести! Как далеко ты простираешься, как обширны пределы твоего приятного ведомства! Истину этого подтвердил и дон Лоренсо, так как он снизошел к просьбе и желанию Дон Кихота и прочел ему следующий сонет на легенду или сказание о Пираме и Тисбе:

COHET

Пробила Тисба щель в докучливой
стене,

И мнит Пирам, – пред ним блеск
райского виденья;

Хоть щель узка, мала, но счастлив он
вполне.

Из Кипра Бог любви им шлет
благословенье.

Не может в щель пройти звук
 голоса, — одне

Прошли там души их, священное
веле́нье

Любви исполнив тем; и властно
в тишине

Пылает страсти их могучее влеченье.
 Но тщетны все мечты. Их повесть,
вот она:

Отвага Тисбы их обоих погубила, –
В один и тот же миг несчастных
смерть сразила.

Убил один их меч и участь их одна:
Обоих прах один лишь камень
накрывает,

Одно предание обоих воскрешает.

– Благословен Бог, – сказал Дон Кихот, прослушав сонет дон Лоренсо, – что среди бесчисленного множества зачавших поэтов я увидел такого превосходного², как вы, ваша милость, сеньор мой, что доказывается художественным строением вашего сонета.

Четыре дня пробыл Дон Кихот в доме дона Диго, принятый, как нельзя лучше, а по истечении этого времени он просил позволения уехать, выразил дону Диго крайнюю признательность за все его милости и радушное угощение, которые он видел в его доме. Но так как странствующему рыцарю не приличествует проводить долгие часы в лени и роскоши, он желает вернуться к исполнению своего призвания, отыскивая приключения, которыми, как до него дошли сведения, здешняя местность изобилует; на что он и намерен употребить время, пока не настанет день турниров в Сарагосе, куда лежит прямой его путь. А до этого еще он должен спуститься в пещеру Монтесинос, о которой столько и такие удивительные вещи рассказывают в этих окрестностях, а также он желал бы увидеть и исследовать место зарождения,

¹ Здесь какой-то намек, который не удалось выяснить, — по-видимому, дело идет о нескольких бессмысленных строчках плохого поэта.

² Непередаваемая по-русски игра слов на словах: *consumido* – *consumado*.

настоящих источников семи озер, называемых обыкновенно озерами Руидера. Дон Диго и его сын похвалили рыцаря за столь достойные его намерения и просили взять из дома их и имущества все, что ему понравится, так как они готовы служить ему, чем только могут, к нему их обязывают, как и его личные высокие качества, так и столь благородная его профессия. Настал, наконец, день отъезда рыцаря, столь же радостный для Дон Кихота, как печальный и горестный для Санчо Пансы, который чувствовал себя, как нельзя лучше, среди изобилия дома дона Диго и не желал возвращения к голоду, обычному в лесах и пустынных местностях, и к скудости своих плохо снабженных дорожных сумок. Тем не менее он набил и наполнил их всем, что ему казалось нужным. Прощаясь, Дон Кихот сказал дону Лоренсо:

– Не знаю, говорил ли я вашей милости, а если говорил, повторю еще раз – в случае бы вы желали сократить путь и затруднения к достижению недосыгаемой вершины храма славы, вам необходимо сделать лишь одно: оставить в стороне узкую тропинку поэзии и перейти на самую узкую из всех тропинок, на тропинку странствующего рыцарства, однако достаточную, чтобы в мгновение ока сделаться императором.

Этими словами Дон Кихот твердо установил вопрос о своем безумии, и в особенности, когда он еще добавил следующее:

– Богу известно, как охотно я бы взял с собой дона Лоренсо, чтобы научить его щадить покорившихся, укрощать и попираť ногами надменных, – добродетели свойственные профессии, к которой я принадлежу; но так как юный возраст его не предъявляет такого требования и похвальные его занятия не допустят этого, то я довольствуюсь тем, что предупреждаю вашу милость: в качестве поэта вы могли бы сделаться знаменитым, если будете руководствоваться больше чужим мнением, чем собственным, потому что нет такого отца или матери, которым их дети казались бы уродливыми, и это обольщение бывает еще сильнее относительно детей нашего ума.

Снова отец и сын удивились запутанным речам Дон Кихота, то умным, то безрассудным, а так же настойчивости и упорству, которые им всецело владели, лишь только дело касалось поисков его злополучных приключений, бывших концом и целью всех его желаний. Обменявшись еще раз предложениями услуг и любезностями, и, заручившись разрешением хозяйки замка, Дон Кихот и Санчо отбыли на Росинанте и Сером.





Глава XIX

*В которой рассказывается приключение влюбленного пастуха,
а также и другие истинно забавные события.*

Дон Кихот еще недалеко отъехал от деревни дона Диего, когда он встретил двух не то духовных лиц, не то студентов и двух крестьян, и все четверо ехали на осликах. Один из студентов нес как бы в ручном чемоданчике завернутое в узел из клеенчатого зеленого холста, как казалось, что-то красное и белое и две пары толстых чулок, а у другого было всего-навсего лишь две новых фехтовальных рапиры с их кнопками. Крестьяне везли вещи, по которым можно было видеть и заключить, что они едут из большого города, где сделали покупки и везут их к себе в деревню. Как студенты, так и крестьяне впали в такое же изумление, какое охватывало всех, кто в первый раз видел Дон Кихота, и они умирали от желания узнать, кто этот человек, столь непохожий на остальных людей. Поклонившись им и услышав, что путь их туда же, куда едет и он, Дон Кихот предложил им себя в спутники, попросив ехать не-

много потише, так как их ослицы бегут скорее его лошади; а чтобы побудить их к этому, он вкратце сообщил им, кто он, какое его призвание и профессия, что он странствующий рыцарь и едет искать приключений во всех частях света; сказал он им также, что его имя Дон Кихот Ламанчский, а прозвище *Рыцарь Львов*. Для крестьян все это было тоже, как если бы он говорил с ними на греческом или тарабарском языке, но не для студентов, которые тотчас же заметили, что с мозгами Дон Кихота дело плохо. Тем не менее они на него смотрели с удивлением и один из них сказал:

— Если вы, ваша милость, сеньор рыцарь, не едете по заранее определенному пути, как этого обыкновенно и не делают те, что отправляются в поиски за приключениями, то поедемте с нами, ваша милость: вы увидите одну из лучших и самых богатых свадеб, которые до настоящего времени праздновались когда-либо в Ламанче, и на много миль в окружности.

Дон Кихот спросил, не свадьба ли это какогонибудь принца, что он так превозносит ее.

– Нет, – ответил студент, – это свадьба крестьянина с крестьянкой: он самый богатый во всей той местности, – она самая красивая, какую когда-либо видели люди. Приготовления к этой свадьбе необычайные и неслыханные, так как ее отпразднуют на лугу, примыкающем к деревне невесты, которую для отличия зовут Китериа Прекрасная, а жениха ее – Камачо Богатый; ей восемнадцать лет, ему двадцать два, – парочка очень подходящая, хотя некоторые всезнайки, наизусть помнящие генеалогию целого света уверяют, будто род прекрасной Китерии имеет преимущество над родом Камачо. Но теперь уже на эти вещи не обращают внимания, потому что богатство может прикрыть еще и не такие изъяны. Этот Камачо в самом деле очень щедр и он задумал весь луг покрыть навесом из ветвей и листвы, так что солнцу будет трудно проникнуть через него, если оно захочет посетить зеленую траву, покрывающую землю. Камачо устраивает там также и танцы, как со шпагами, так и с бубенчиками, которыми в его селе умеют в совершенстве бряцать и позвякивать; о сапатеодорах¹ я ничего не скажу, потому что он их столько позвал, что просто диво. Но ничто из сейчас упомянутого и ничто из многого другого, о чем я не упоминал, не сделают этой свадьбы столь достопамятной, как то, что, сдастся мне, натворит на ней доведенный до отчаяния Басилио. Этот Басилио – пастух из той же деревни,

как и Китериа. Домик его родителей бок о бок с домом родителей Китерии, что дало повод Амуру воскресить снова уже забытую в мире историю любви Пирама и Тисбы, потому что Басилио влюбился в Китерию с самого раннего детского возраста, и она отвечала его чувству тысячью невинных знаков своего к нему расположения, и настолько, что любовь двух детей Китерии и Басилио служила развлечением для всей деревни. А когда они выросли, отцу Китерии вздумалось запретить Басилио столь привычный ему вход в дом, и чтобы избавить себя от мук недоверия и подозрения, он решил выдать дочь замуж за богатого Камачо, так как ему казалось неподходящим выдать ее за Басилио, которого природа более щедро наделила своими дарованиями, чем счастье своими. Потому что, если говорить правду, без зависти, он самый ловкий парень, какого мы знаем – превосходнейший метальщик брусков, великолепный борец, замечательный игрок в мяч; бегает как олень, прыгает лучше козы, и бьет кегли² как по волшебству; поет как жаворонок, играет на гитаре так, что она точно говорит, а сверх всего, владеет и мечом в совершенстве.

– Уже за одно это совершенство, – прервал его тут Дон Кихот, – Басилио заслуживал бы жениться не только на прекрасной Китерии, но и на самой королеве Хиневре, если б она еще была жива, наперекор Лансароту и всем тем, которые захотели бы оспаривать ее у него.

– Сказали бы вы это моей жене, – вмешался тут Санчо Панса, до тех пор

¹ Танец со шпагами – *de espadas* – его считают наследием карфагенян – был очень популярен среди крестьян в Кастилии. Танцуют его со множеством фигур, в белых рубахах со шпагами наголо. Танец с бубенчиками (*cascabeles*) был так назван оттого, что верхняя часть ног танцующего была окружена рядом бубенчиков, которыми он позвякивал в такт инструментам. *Сапатеадорос* (*Zarateadores*) от зарата – башмак, танцоры, которые, танцуя, стучали башмаками о пол, а по подошвам башмаков били ладонями рук.

² *Bolos* – игра, похожая на кегли.

молча слушавший разговор, – она допускает одно лишь, чтобы каждый женился только на равной себе, придерживаясь пословицы, которая говорит: овца к овце подходит вполне. Очень бы мне хотелось, чтобы этот добрый Басилио, которого я уже начинаю любить, женился на сеньоре Китерии. И пошли Господь долгий век и доброго спокойствия (чуть было я не сказал наоборот) тем, кто мешает людям жениться, когда они любят друг друга.

– Если б все, которые любят друг друга, женились бы, – сказал Дон Кихот, – родители были бы лишены права выбора и не могли бы выдавать своих дочерей замуж, когда и за кого следует. А если б предоставить дочерям выбирать себе мужей, нашлись бы такие, которые выбрали бы слугу отца, а иная и первого встречного на улице, который ей показался бы красивым и хорошо одетым, хотя и был бы лишь самый непутевый забияка. Ведь любовь и страсть ослепляют легко глаза разума, столь необходимые при выборе, а в браке подвергаешься еще большей опасности ошибиться, и необходима величайшая осторожность и особенная милость неба, чтобы удачно выбрать. Тот, кто собирается предпринять продолжительное путешествие, если он благоразумен, прежде чем пуститься в путь, ищет себе верного и приятного спутника, который бы сопровождал его. Почему не сделает этого и тот, которому предстоит путешествовать всю жизнь до смерти и тем более, если этот спутник должен сопровождать его и в постели, и за столом, и всюду, как жена сопровождает мужа? Общество жены не товар, который, раз он куплен, можно его и вернуть, и выменять, и обменять, – это дополнение неотделимое, и которое будет длиться, пока длится жизнь; это петля, которая, раз она накинута на шею,

превращается в гордиев узел, и если коса смерти не разрубит его, то его нельзя развязать. Еще гораздо больше мог бы я сказать по этому поводу, если б мне не мешало желание, испытываемое мною, узнать, не остается ли что еще сказать сеньору лисенсиату относительно истории Басилио?

На это студент, бакалавр или лисенсиат, как его называл Дон Кихот, ответил:

– Мне ничего больше не осталось рассказать, за исключением, что с той минуты, как Басилио узнал, что прекрасная Китерия выходит замуж за Камачо богатого, никто не видел, чтобы он когда-либо улыбнулся и не слышал от него связанных слов. Он всегда печален и задумчив и говорит сам с собою, а это явный и верный признак того, что он потерял рассудок. Ест он мало и спит мало, и ест он только плоды, и спит – если он спит – лишь в поле, на голой земле, как дикое животное. Время от времени он взглянет на небо, а затем неподвижно устремляет глаза свои на землю, в таком оцепенении, что он просто кажется одетой статуей, одежду которой развеивает ветер. Словом, он так ясно выказывает, как страшно терзается его душа, что все мы, которые знаем его, боимся, не будет ли «да», произнесенное завтра прекрасной Китерией, его смертным приговором.

– Бог устроит все к лучшему, – сказал Санчо, – так как, посылая боль, Бог посылает от нее и лекарство; и никто не знает, что ждет впереди: от сегодня и до завтра не мало часов, а в один час, и даже в одну минуту – может обрушиться дом; и я видел, что одновременно шел и дождь, и светило солнце. Иной, что с вечера лег в постель здоровый, не может и двинуться на следующий день. И пусть мне скажут, есть ли кто на свете, который мог бы похвастать, что он вбил гвоздь в колесо фортуны? Конечно, нет;

и между «да» и «нет» женщины я бы не отважился воткнуть и кончика булавы, потому что ему не нашлось бы там места. Знай я только, что Китериа любит Басилио искренно и от всего сердца, и я предскажу ему целый мешок счастья, потому что, как я слышал, любовь смотрит в очки, сквозь которые медь кажется золотом, бедность – богатством, и гной в глазах – жемчугом.

– Когда ты остановишься, Санчо, будь ты проклят! – сказал Дон Кихот. – Раз ты начнешь нанизывать пословицы и сказки, за тобой не уследить и самому Иуде, – побрал бы он тебя! Скажи мне, животное, что знаешь ты о гвоздях, или о колесах, или о чем бы то ни было?

– О, если меня не понимают, – ответил Санчо, – не удивительно, что и мои изречения считают нелепыми, – но это неважно. Я понимаю себя и знаю, что не сказал много глупостей в том, что говорил, а только вы, ваша милость, сеньор мой, всегда китикуете мои слова, а также и мои поступки.

– Критикуете, следовало тебе сказать, – поправил его Дон Кихот, – а не китикуете, искажитель хорошего языка, покарай тебя Бог!

– Не будьте так требовательны ко мне, милость ваша, – ответил Санчо, – ведь вам известно, что я не воспитывался при дворе и не учился в Саламанке, чтобы знать, следует ли добавить или выпустить какую-нибудь букву в моих словах. Так что, – помоги мне Бог, – нельзя же принудить жителя Саего¹ говорить, как говорит житель Толедо, и, может быть,

найдутся и жители Толедо, которые насчет тонкого разговора тоже не высоко летают.

– Это верно, – сказал лисенсиат, – потому что те, которые выросли в кожевнях в Сокодове² не могут говорить так хорошо, как те, что почти целый день прогуливаются по монастырским коридорам Толедского собора, – а все они – жители Толедо. Язык правильный, чистый, изящный и ясный можно встретить лишь среди интеллигентных придворных, если б они даже и родились в Махалаонде³; говорю интеллигентных, потому что есть многие, которых нельзя так назвать, а здравый смысл – грамматика хорошего языка в соединении с привычкой. Я, сеньоры, в наказание за грехи изучал в Саламанке каноническое право и несколько горжусь тем, что могу излагать свои мысли ясным, простым и выразительным языком.

– Если б вы еще больше, чем своим красноречием не гордились умением владеть рапирой, которую вы везете с собой, – сказал другой студент, – вы стояли бы первым по ученым степеням, а не в хвосте, как теперь.

– Слушайте, бакалавр, – ответил лисенсиат, – вы держитесь самого ошибочного мнения относительно искусства владеть шпагой, считая его бесполезным.

– Для меня это не только мнение, а твердо установленная истина, – возразил Корчуэло, – и если вы хотите познать это на собственном опыте, при вас рапиры, места здесь довольно, у меня крепкие мускулы и такая сила, что в соединении

¹ Саего – довольно дикая местность близ г. Ледесма, между Саморой и Сиудад-Реал, жители которой пользовались утвердившейся за ними репутацией говорить таким же грубым языком, какая у них грубая одежда, а носят они только лишь одно «*Sayo*» – нечто вроде дорожного плаща без пуговиц с широкими рукавами. Что касается Толедо, – всегда считалось, что его жители говорят самым образцовым и чистым кастильским языком.

² Старинная площадь в Толедо.

³ Majalahonda – маленькая деревня на расстоянии шести или семи миль от Мадрида на северо-восток.

с мужеством, в котором тоже у меня нет недостатка, я заставляю вас признать, что я не ошибаюсь. Слезайте с осла, пустите в ход ваши размеренные шаги, ваши круги, ваши углы и всю вашу фехтовальную премудрость, а я надеюсь, что вы увидите у меня звезды среди белого дня благодаря моим грубым, простым приемам, на которые я после Бога и возлагаю свои надежды, и думаю, что еще не родился тот человек, который заставил бы меня показать ему спину, и нет никого на свете, кого бы я не мог побороть.

– Что касается того, чтобы показать или не показать спины, в это я не вхожу, – ответил фехтовальщик, – хотя может случиться, что на том месте, куда впервые ступит ваша нога, для вас раскроется могила. Я хочу сказать, что вы можете здесь же остаться мертвым, благодаря искусству, которое вы презираете.

– Сейчас увидим это, – ответил Корчуэло и, соскочив очень быстро со своего осла, он с неистовством схватил одну из рапир, которые лисенсиат вез на своем осле.

– Это не должно произойти так, – воскликнул тут Дон Кихот, – потому что я желаю быть посредником в вашем фехтовании и судьей в этом столько раз ставившемся и не разрешавшемся спорном вопросе.

И сойдя с Росинанта и взяв копье, он встал посреди дороги в то время, когда лисенсиат с изящными движениями и ровным шагом пошел на встречу Корчуэло, который бросился на него, метая, как говорится, молнии из глаз. Другие два спутника их – крестьяне – остались сидеть на своих ослицах, изображая собою зрителей этой смертоносной трагедии. Ударам сверху вниз, слева направо, снизу вверх и обеими руками, которые наносил

своему противнику Корчуэло, не было числа, и они падали чаще и быстрее, чем град и градины. Он нападал, как разъяренный лев, но ловкий удар по его рту, прикрытым кнопкой, острием рапиры лисенсиата, останавливал его в разгаре его бешенства, принуждая целовать рапиру, точно это были мощи, хотя и не с тем благоговением, с каким должны целовать и обыкновенно целуют мощи. Наконец, лисенсиат ударами рапиры пересчитал все пуговицы на короткой рясе, в которую был одет студент, разорвав полы этой рясы полосками, словно хвосты полипа. Два раза сбил он ему шляпу с головы и так утомил его, что тот от досады, гнева и бешенства, схватив рапиру за рукоятку, бросил ее в воздух с такой силой, что один из крестьян свидетелей, деревенский писец, который пошел ее отыскивать, дал потом показание, что он отшвырнул ее от себя почти на три четверти мили, и это показание служит и служило ясным доказательством той истины, как сила побеждается искусством. Измученный Корчуэло сел, а Санчо подошел к нему и сказал:

– По чести говоря, сеньор бакалавр, – если милость ваша послушается моего совета, отныне впредь вам не следует никого вызывать фехтоваться с вами, а только бороться или метать бруссы: для этого у вас подходящие возраст и сила. Что же касается тех, которых называют фехтовальщиками, я слышал, что они могут просунуть острие меча в ушко иголки.

– Мне приятно, – ответил Корчуэло, – что я свалился с моего осла¹, и на опыте узнал истину, от которой был так далек.

С этими словами он поднялся, пошел, обнял лисенсиата и они стали еще

¹ De haber caído de mi burro – общепринятое испанское выражение, означающее, что кто-либо выведен из заблуждения.

лучшими друзьями, чем были до того; не пожелали они и ждать писца, который отправился искать рапиру, так как думали, что он их задержит, и потому решили продолжать путь, чтобы во время приехать в деревню Китерии, откуда они все были. Остальную дорогу лисенсиат разъяснял им преимущество фехтовального искусства такими убедительными примерами, такими математическими выкладками и доказательствами, что все убедились в превосходстве этой науки, а Корчуэло вылечился от своего упорства.

Наступили сумерки, но прежде, чем они доехали, всем им показалось, что вблизи села небо усеяно бесчисленными сверкающими звездами. Они слышали также смешанные и сладкие звуки разных инструментов, словно флейт, тамбуринов, кимвалов, бубен и литавров; а когда они подъехали ближе, то увидали, что большой свод из листвы и насаженных деревьев при входе в село, весь иллюминирован огнями, и они не гасли от ветра, который тогда и не дул, а если и дул, то лишь так нежно, что не имел даже силы колыхать листву деревьев. Музыкан-

ты, – им предстояло быть увеселителями свадьбы, – расхаживали теперь группами по этой приятной местности, одни танцуя, другие напевая песни, третьи играя на различных перечисленных нами инструментах, – словом казалось, что по всему луку сверкает радость и резвится веселье. Многие другие были заняты тем, что строили подмости, с которых на следующий день можно было удобно смотреть на представления и танцы, имеющие произойти здесь в этом месте, назначенном для празднования свадьбы богатого Камачо и похорон Басилио.

Дон Кихот отказался заехать в село, хотя его просили о том как крестьянин, так и бакалавр; но он привел себе оправдание вполне по его мнению основательное, что у странствующих рыцарей в обычае лучше спать под открытым небом, в полях и лесах, чем в населенных местах, хотя бы и под золоченой крышей. И поэтому он отъехал немного в сторону от дороги, против желания Санчо, у которого еще хранилось в воспоминании прекрасное угощение и помещение в доме или замке дона Диого.





Глава XX

*В которой рассказывается о свадьбе богатого Камачо
и приключении с бедным Басилио.*

Едва белая Аврора дала время сияющему Фебу осушить зноем жгучих лучей своих расплавленный жемчуг на золотых ее волосах, как Дон Кихот, стряхнув с себя лень, поднялся и позвал своего оруженосца Санчо, который все еще храпел. Увидав это, Дон Кихот, прежде чем разбудить его, сказал:

— О ты, счастливейший из всех живущих на земной поверхности, так как, не питая зависти и не возбуждая ее, ты спишь себе, спокойный духом; ни волшебники не преследуют тебя, ни волшебства тебя не пугают. Спи, говорю я снова, и скажу еще сто раз: к непрерывному бодрствованию тебя не вынуждает ревность к твоей даме, твоему сну не мешают заботы о неуплаченных долгах, или мысль о том, что делать тебе, чтобы на следующий день прокормить себя самого и свою маленькую и нуждающуюся

семью. Тебя не тревожит честолюбие, не томит суетная пышность мира, так как предел твоих желаний простирается не дальше заботы о твоём осле, потому что заботу о своей особе ты возложил на мои плечи — противовес и бремя, возложенные природой и обычаями на господ. Спит слуга, а господин его бодрствует, думая о том, как пропитать его, улучшить его положение и оказать ему милости. Тревога при виде того, что небо становится словно медным, не орошая землю необходимой ей влагой, гнетет не слугу, а господина, который в засуху и голод должен поддержать того, кто ему служит во время плодородия и изобилия.

На все это Санчо ничего не ответил, потому что спал и не проснулся бы так скоро, если бы Дон Кихот не растормошил его острием своего копья. Наконец, он проснулся, еще сонный и ленивый, и поворачивая голову во все стороны, сказал:

– Из того зеленого свода несется, если не ошибаюсь, испарение и запах, скорее похожий на жареные ломти ветчины, чем на свежесрезанный тростник и тимьян. Свадьба, начинающаяся такими запахами, клянусь знамением креста, должна оказаться пышной и великолепной.

– Довольно, обжора, – сказал Дон Кихот – вставай и пойдем на эту свадьбу, чтобы посмотреть, что сделает отвергнутый Басилио.

– Пусть делает, что хочет, – ответил Санчо, – не был бы он беден, то женился бы на Китерии. Не иметь за душой ни гроша и хотеть жениться выше облаков? По чести, сеньор, на мой взгляд, бедному следовало бы довольствоваться тем, что он может получить, и не искать сластей на дне моря. Я готов прозакладывать руку, что Камачо мог бы засыпать реалими Басилио, а если это так, – как оно должно быть и есть, – очень глупа была бы Китерия, если бы отказалась от нарядов и драгоценностей, которые Камачо, должно быть, ей дал и может ей дать, чтобы всему этому предпочесть метание брусьями и фехтование Басилио. За лучшее метание брусьями и самый искусный удар шпагой не дадут и полкварты вина в таверне. Способности и таланты, которые нельзя обратить в деньги, пусть их берет граф Дирлос¹; но когда такого рода таланты выпадают на долю того, у кого есть деньги, я бы пожелал себе жизнь, столь же хорошую, какими кажутся они. На хорошем фундаменте можно построить и хорошее здание, а самая лучшая основа и фундамент в мире – это деньги.

– Именем Бога прошу тебя, Санчо, – сказал тогда Дон Кихот, – прекрати

свое многословие, так как мне кажется, если бы тебе давали продолжать болтовню, которую ты на каждом шагу начинаешь, у тебя не оставалось бы времени ни поесть, ни поспать, потому что ты бы его все истратил на разговоры.

– Если бы у вашей милости была хорошая память, – возразил Санчо, – вы бы не забыли статей нашего уговора перед тем, как мы в последний раз выехали из дому; и одна из них была, что вы позволите мне говорить все, что я захочу, лишь бы только я не говорил ничего против ближнего или должного уважения к вашей милости; и до сих пор мне кажется, я ничем не нарушил этой статьи.

– Я не помню, Санчо, – ответил Дон Кихот, – подобной статьи, но, допустив, что была такая, я желаю, чтобы ты замолчал и ехал со мной, потому что звуки инструментов, которые мы слышали вчера вечером, начинают снова оживлять долины и, без сомнения, брак состоится в утренней прохладе, а не в послеобеденной жаре.

Санчо сделал то, что ему приказал его господин, и, оседлав Росинанта и наладив вьючное седло на Серого, оба они сели верхом и шагом поехали по направлению к беседке из деревьев. Первое, что бросилось в глаза Санчо, был целый бык, насаженный на вертел из целого ствола вяза, а в огне, над которым его должны были жарить, пылала большая гора дров. Шесть глиняных горшков, стоявших кругом очага, не были вылиты из формы обыкновенных горшков, так как это было шесть средней величины винных кувшинов², и в каждом из них была бойня мяса. Они поглощали и

¹ Граф Dirlos был одним из героев романсов, – брат Дурандарте. Эти слова в устах Санчо доказывают только, как во времена Сервантеса крестьяне в Испании были хорошо знакомы с романами и воспеваемыми в них героями.

² Tinajas – глиняная посуда из Тобосо, кувшины шести или семи футов вышины и столько же ширины – род больших мисок, в которых в Ламанче держали вино.



На все это Санчо ничего не ответил, потому что спал и не проснулся бы так скоро, если бы Дон Кихот не растормошил его острием своего копья...

вбирали в себя целых баранов, которые в них были едва заметны, как будто это были голуби. Зайцам, с содранной с них шкурой, и ощипанным курам, висевшим на деревьях и ждущих очереди быть похороненными в горшках, не было числа. Неимоверное количество птиц и дичи разных родов было развешено на деревьях, чтобы их охлаждал воздух. Санчо насчитал больше шестидесяти бурдюков с вином в каждом из них заключалось больше семи галлонов, и все они, как потом оказалось, были наполнены дорогим вином. Здесь лежали груды самого лучшего белого хлеба, вроде того, как обыкновенно лежат горы пшеницы на токах; сыры, сложенные в клетку, как кирпичи, составляли стену; а в двух котлах с оливковым маслом – больше тех, какие бывают в красильнях – жарили пирожное, которое вынимали оттуда двумя громадными лопатами, когда оно было готово, и погружали его в другой котел, стоявший рядом, наполненный очищенным медом. Поваров и поварих было более пятидесяти; все чисто одетые, все деятельные и все довольные. В обширной утробе быка была зашита дюжина нежных молочных поросят, чтобы придать мясу хороший вкус и мягкость. Приправы всевозможных родов, по-видимому, были закуплены не фунтами, а арробами¹, и все были выставлены для осмотра в большом ящике. Словом, приготовления к свадьбе были на деревенский лад, но в таком изобилии, что их хватило бы для прокормления армии.

Все это Санчо Панса видел, все созерцал и ко всему чувствовал нежность. Первые пленили его и возбудили желание громадные горшки с мясом, из которых он с величайшей охотой отделил

бы себе малую толику. Затем он увлекся бурдюками с вином и наконец «*фруктами*» сковород², если можно назвать сковородами столь пузатые котлы. И так как он не в состоянии был терпеть дольше и не имел возможности сделать что-либо другое, он подошел к одному из столь деятельных поваров, и учтивыми словами, в которых слышался голод, попросил у него позволения обмокнуть ломоть хлеба в один из великанов-горшков.

– Брат, – ответил ему на это повар, – сегодняшний день не из тех, благодаря богатому Камачо, над которыми имеет власть голод. Спешитесь, посмотрите, нет ли по близости где черпака, и снимите себе в виде пены одну или две куры, и да пойдут они вам на пользу.

– Не вижу ни одного черпака, – ответил Санчо.

– Подождите, – сказал повар, – грешник я, но какой же вы, должно быть, нерешительный и жеманный! – И сказав это, повар схватил котелок, опустил его в один из глиняных великанов, вытащил оттуда трех кур и двух гусей и сказал, оборачиваясь к Санчо:

– Кушайте, друг, и разговейтесь этой пеной, пока не настанет час обеда.

– Не знаю во что мне это положить, – заявил Санчо.

– Так берите себе котелок и все, – ответил повар, – потому что богатства и радости Камачо хватит на это.

Пока Санчо был занят таким образом, Дон Кихот смотрел, как в ограду въезжали около двенадцати крестьян, верхом на прекраснейших кобылах, покрытых богатыми и яркими попонами и со множеством бубенчиков на нагрудниках. Все эти всадники – нарядно и по-праздничному одетые – проехали

¹ Arrobas – испанский вес до 36 фунтов.

² Frutas de sartén – шуточное выражение для всякой испанской «fritura», т. е., оладей, молочных блинов, и т. д.



...приготовася к свадьбе были на деревенский лад, но в таком изобилии, что их хватило бы для прокормления армии...

по дугу стройной толпою с радостными кликами и возгласами: – Да здравствуют Китерия и Камачо! Он столь же богатый, как она прекрасна, – а она прекраснее всех в мире!

Услышав это, Дон Кихот подумал про себя:

«Ясно, что люди эти не видели моей Дульсинеи Тобосской, потому что, если бы они ее видели, они были бы несколько осторожнее в похвалах этой своей Китерии».

Вскоре затем с разных сторон свода из веток стали входить многочисленные и разнородные группы танцоров, в том числе и группа танцоров со шпагами, состоящая из двадцати четырех молодых парней, с виду статных и ловких, одетых в тонкое, ослепительной белизны полотно, с головами, повязанными шелковыми платками разных цветов. К их предводителю, проворному и живому юноше, обратился один из двенадцати верховых на кобылах, спрашивая, не ранен ли кто из танцоров?

– До сих пор, никто, слава Богу, не ранен, – ответил он, – и мы все невредимы. – И тотчас же он начал переплетаться с остальными товарищами, выделявая так много поворотов и с такой ловкостью, что хотя Дон Кихот часто видел подобного рода танцы, но никогда не казались они ему столь удачными, как теперь. Также понравилась рыцарю и другая, только что появившаяся группа танцующих, состоящая из очень красивых девушек, столь юных, что на вид ни одна не была моложе четырнадцати или старше восемнадцати лет, одетых все в платья из зеленой материи, с волосами или заплетенными в косы, или распущенными, но у всех такого ярко-золотистого цвета, что эти волосы могли бы соперничать с лучами солнца; на головах их были надеты венки из жасмина, роз, амаранта и

жимолости. Девушками предводительствовал почтенный старец и древняя матрона, но более бодрые и быстрые, чем можно было ждать от их лет. Наигрывала девушкам заморская волынка, и они – со скромностью на лицах и в глазах и с ловкостью в ногах – выказали себя лучшими танцовщицами в мире. Затем появился, составленный из восьми нимф, фигурный танец, один из так называемых *говорящих*. Нимфы были разделены на два отряда – одним предводительствовал бог *Купидон*, а другим *Богатство*. Первый был украшен крыльями, луком и колчаном со стрелами, второй одет в роскошные, ярких цветов, ткани из золота и шелка. У нимф, следовавших за Амуром, имелся на плечах белый пергамент, на котором крупными буквами были написаны их имена. Первая нимфа титуловалась *Поэзия*, вторая *Ум*, третья *Знатность рода*, четвертая *Доблесть*. Таким же образом были отмечены и те, которые сопутствовали *Богатству*. Надпись первой нимфы гласила *Щедрость*, второй *Подарки*, третьей *Сокровище*, четвертой *Мирное Обладание*. Впереди всех их двигался деревянный замок, который везли четыре дикаря, одетые в плющ и пеньку, окрашенную в зеленый цвет, и до того похожие на настоящих дикарей, что Санчо чуть было не испугался, увидав их. На переднем фронте замка и на каждой из четырех его сторон было надписано: *Замок стыдливости*. Играли четыре искусных флейтиста и тамбуриста. Танец открыл Купидон; проделав две фигуры, он поднял глаза и, прицелившись из лука в девушку, появившуюся на зубчатой стене замка, обратился к ней со следующими словами:

Бог любви я всемогущий,
Всем известный, вездесущий:
В безднах, в воздухе живущий
На вершинах, в глубинах,



Подождите, – сказал повар, – грешник я, но какой же вы,
должно быть, нерешительный и жеманный!

В облаках, в морских волнах.
Я во веки непреложно
Всюду властвовал, где можно,
И преград нигде не знал:
Даже то, что невозможно,
Пожелав, я достигал.

Окончив этот куплет, Амур выпустил стрелу на верхушку замка и вернулся на свое место. Тотчас же выступило *Богатство* и тоже протанцовало две фигуры; тамбурины умолкли и оно сказала:

Не любовь мной верховодит,
Хоть подчас и руководит.
Я сильней, знатнее я:
В изумление приводит
Родословная моя.
Я – Богатство; увлекаю
Стольких я, и привлекаю
Как магнитом род людской.
Но отныне посвящаю
Весь свой пыл тебе одной.

Богатство удалилось и тогда выступила *Поэзия*, которая, протанцевав свои фигуры, как и предшествующие двое, подняла глаза на девушку в замке, говоря:

Душу в сладостных сонетах.
Чувством истинным согретых,
Шлет поэзия – любя,
Ласку шлет тебе в приветах,
Нежных, радостных, дитя!
Если ты мое служенье
Не отвергнешь, – вдохновенье
Я тебе свое несусь
И тебя я в песнопеньи
Выше звезд превознесу!

Поэзия отошла, а со стороны *Богатства* выступила *Щедрость* и, протанцевав свои фигуры, сказала:

Щедрость я. Не признавая
Мотовства, совсем не зная

Низкой скупости, всегда
Я, дары свои давая,
Им была совсем чужда;
Но тебе на прославленье
Я желаю прегрешенье
Мотовства познать:
Полюбив, не преступленье
Что имеешь – все отдать!

Таким образом появлялись и удалялись все действующие лица обоих отрядов, и каждое из них танцевало, что ему следовало, и говорило свои стихи, некоторые изящные, другие смешные; но у Дон Кихота в памяти (которая у него была очень хороша) сохранились только вышеприведенные куплеты. После того нимфы обеих групп смешались все друг с другом, то сплетаясь в хороводы, то опять расходясь и проделывая это с непринужденной грацией и изяществом; и всякий раз, как проходил Амур перед замком, он пускал туда на вышку стрелу, а *Богатство* бросало золоченые шары¹. Наконец, после того, как они достаточно долго танцевали, *Богатство* вынуло сделанный из шкуры большой пестрой кошки громадный кошель, который, казалось, был набит деньгами, и бросило его с размаха в замок. От этого удара повалились и рассыпались стены замка, и молодая девушка, бывшая в нем, стояла теперь без прикрытия и защиты. Богатство с своей свитой приблизилось и, накинув ей на шею тяжелую золотую цепь, делало вид, что берет ее, покоряет и ведет в плен. Когда Амур и его приверженцы это увидели, они сделали попытку освободить молодую девушку, и все это происходило под звуки тамбуринов, и танцуя в такт музыки. Враждующих примирили дикари, которые необычайно быстро и ловко подняли и сложили стенки замка, опять заперли туда молодую де-

¹ *Alcancías* – арабское слово и арабская игра, заимствованная испанцами; это и глиняные шары, которыми иногда перекидывались всадники в конных играх.



Также понравилась рыцарю и другая, только что появившаяся группа танцующих, состоящая из очень красивых девушек...

вушку, и таким образом окончился танец к великому удовольствию зрителей. Дон Кихот спросил одну из нимф, кто сочинил танец и научил их ему. Она ответила, что сочинил его их деревенский приходский священник, у которого большие способности для подобных выдумок.

– Готов биться о заклад, – сказал Дон Кихот, – что этот бакалавр или приходский священник больше друг Камачо, чем Басилио, и что он более склонен писать сатиры, чем служить вечерню. Очень искусно включил он в танцы таланты Басилио и богатство Камачо.

Санчо Панса, который все это слушал, заявил:

– Король мой – петух; я держусь Камачо.

– Словом, – сказал Дон Кихот, – сейчас видно, Санчо, что ты грубый человек, – один из тех, которые кричат: *да здравствует победивший!*

– Не знаю из каких я, – ответил Санчо, – но хорошо знаю, что с горшков Басилио я никогда не сниму такой пены, какую я снял с горшков Камачо. – И показав ему котелок, наполненный гусями и курами, он вытащил оттуда одну из них и принялся есть с большим рвением и аппетитом, говоря: – Бог с ними, с этими талантами Басилио! Ты стоишь столько, сколько имеешь, и сколько ты имеешь, столько ты стоишь. На свете всего лишь два происхождения и рода, как говорила одна моя бабушка: имущие и неимущие, а она сама всегда держалась имущих. По теперешним временам, мой сеньор Дон Кихот, щупают пульс скорее тому, кто что имеет, чем кто что знает: осел, покрытый золотом, выглядит лучше коня, на котором вьючное седло. Так что повторяю опять: я держу сторону Камачо, с горшков которого можно снять обильную пену гусей, кур, зайцев и кроликов, а с горшков Басилио, если б что и попало

под руку или ногу, разве только лишь выжимки из виноградных отбросов.

– Кончил ты свое разглагольствование, Санчо? – спросил Дон Кихот.

– Придется его кончить, – ответил Санчо, – так как я вижу, что оно надоело вашей милости, а если бы не это, у меня накроено материала хоть на три дня.

– Дай-то Бог, Санчо, – сказал Дон Кихот, – чтоб я увидел тебя немым, прежде чем я умру.

– Тем шагом, каким мы идем, – ответил Санчо, – прежде чем ваша милость умрет, я уже буду жевать землю и тогда, быть может, я и буду таким немым, что не скажу ни слова до конца мира или, по крайней мере, до дня страшного суда.

– Если б оно так и случилось, о, Санчо, – сказал Дон – Кихот, – никогда твоё молчание не перевесит того, что ты говорил, говоришь и будешь говорить в течение своей жизни; тем более, что в порядке вещей и вероятнее всего день моей смерти настанет раньше твоей смерти. Итак, я никогда не надеюсь увидеть тебя немым, ни даже когда ты пьешь или спишь, а больше этого ничего не могу сказать.

– По чести, сеньор, – ответил Санчо, – нельзя доверять костлявой – я хочу сказать смерти, которая также охотно пожирает ягненка, как и барана, а от нашего священника я слышал, что она одинаково попирает ногой, как высокие башни королей, так и низкие хижины бедняков. У этой сеньоры более могущества, чем жеманства, она ни мало не брезглива, ест все, берет все и наполняет свои сумки людьми всякого рода, возраста и сословия. Это не жница, которая держит сесту, потому что она во все часы и жнет и режет, как сухую так и зеленую траву, и, по-видимому, не жуёт, а проглатывает и поглощает все, чтобы не находилось перед нею, так как у нее собачий голод,

который ничем не насытишь; и хотя у нее нет живота, а кажется, будто у нее водянка, и она жаждет выпить жизнь всех, кто живет, как выпивают кружку холодной воды.

– Довольно, Санчо, – сказал тогда Дон Кихот, – держись хорошенько и не споткнись, так как, по правде, то, что ты сказал о смерти на свой деревенский лад, все это мог бы сказать и хороший проповедник. Говорю тебе, Санчо, если б ты имел столько же знания, сколько у тебя природных данных, ты мог бы подняться до кафедры и по всему миру идти говорить хорошие проповеди.

– Хорошо проповедует тот, кто хорошо живет, – ответил Санчо, – и я не знаю других богословий¹.

– И ты не нуждаешься в них, – ответил Дон Кихот, – но я не могу ни понять,

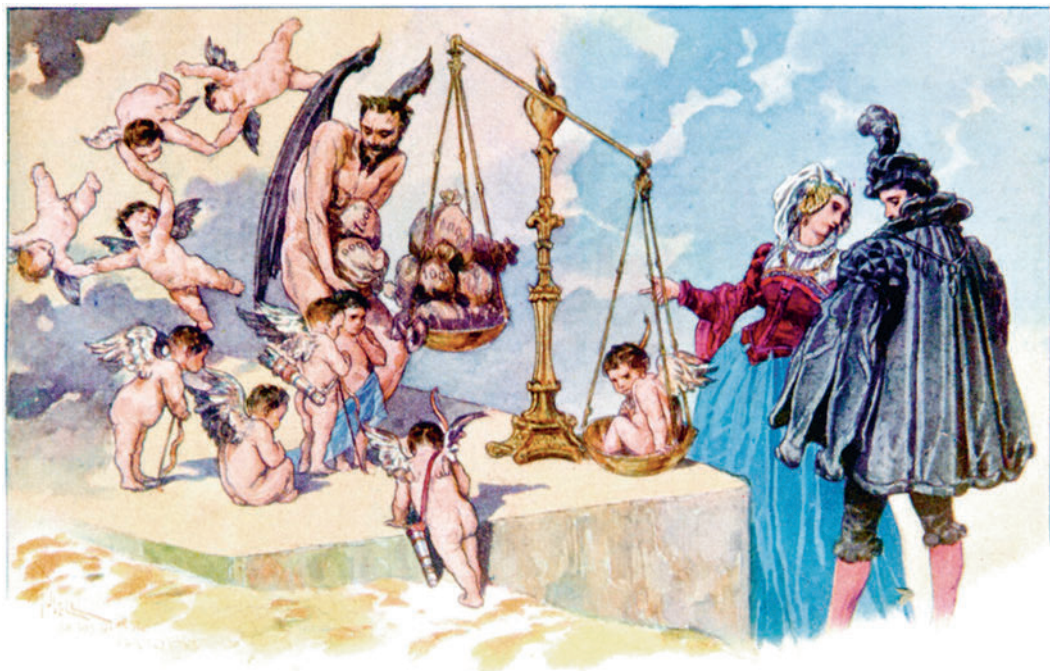
ни постичь, каким образом, раз начало премудрости страх Божий, ты, который боишься больше ящерицы, чем Его, знаешь столько.

– Заботьтесь, милость ваша, о своих рыцарствах, – ответил Санчо, – и не беритесь судить о страхах или доблестях других людей, так как и у меня такой же надлежащий страх Божий, как и у всякого другого соседского сына, и дайте мне, милость ваша, справиться с этой вот пеной, потому что все остальное праздные слова, в которых с нас спросят отчет в будущей жизни.

И говоря это, он сделал новое нападение на свой котелок, и с такой рьяностью, что разбудил ее и в Дон Кихоте, который, без сомнения, помог бы ему, если бы не помешало то, о чем необходимо рассказать дальше.



¹ Tologias вместо *teologías* – говорит Санчо.



Глава XXI

*В которой продолжается повествование о свадьбе
Камачо и о других приятных событиях.*

В то время как Дон Кихот и Санчо вели разговор, сообщенный в предыдущей главе, слышались громкие крики и большой шум; а исходил он и производили его сидевшие верхом на кобылах, так как они во весь опор и с громкими возгласами мчались навстречу жениху и невесте, которые, окруженные тысячею различных инструментов и веселых затей, приближались, сопровождаемые священником, всей родней с той и другой стороны и наиболее почетными лицами окрестных местечек, все в праздничных нарядах. А когда Санчо увидел невесту он сказал:

— По чести, одета она не как крестьянка, а как изящная придворная дама. Клянусь Богом, если я не ошибаюсь, патены на ее шее¹, богатые кораллы, и вместо зеленого сукна из Куэнка на ней бархат в тридцать ниток, и обычная отделка из белого полотна, клянусь, она у нее из атласа. А посмотрите на ее руки, украшенные кольцами из черного янтаря, — не так ли? Пусть мне никогда не будет удачи, если эти кольца не из золота — и хорошего золота — оправленные в жемчуг, белее творога, из которых каждая жемчужина должна стоить зеницу ока. О, дочь блудницы, какие волосы у нее, — если только они не накладные — во всю свою жизнь не видел я таких длинных и

¹ Patenas — круглые, плоские подвески из золота или серебра, которые крестьянки носили на шею в некоторых испанских провинциях; в настоящее время эти патены носят лишь цыганки.

светло-золотистых! А что сказать против ее осанки, ее роста! Поневоле сравнишь ее с движущейся пальмой, обвешанной гроздьями фиников, так как на них очень похожи драгоценности, которыми украшены ее волосы и шея. Клянусь душой моей, это герой-девушка, и может пробраться через отмели Фландрии¹.

Дон Кихот рассмеялся над деревенскими похвалами Санчо Пансы, но и ему показалось, что за исключением сеньоры своей Дульсинеи Тобосской он еще никогда не видал такой красавицы. Прекрасная Китерия шла несколько бледная, должно быть, вследствие бессонной ночи, которую всегда проводят невесты, готовясь к свадьбе. Шли они по направлению к эстраде, возведенной в конце луга и украшенной коврами и ветками, где должен был произойти обряд венчания, и оттуда же им предстояло смотреть на танцы и игры. Когда они уже дошли до этого места, они услышали позади себя шум и громкий голос, воскликнувший:

– Подождите немного, столь же то ропливые, как и неразумные люди!

На этот крик и возглас все обернули головы и увидели того, кто его издал, – это был человек, одетый, казалось, в черную суконную накидку, отделанную огненно-красными полосами. На голове у него был венок (как тотчас же все увидели) из траурного кипариса, а в руках большая палка. Когда он подошел ближе, в нем узнали пригожего Басилио и ждали в изумлении, чем кончатся крики и слова его, опасаясь, чтобы не вышло чего дурного от появления его в такое время. Наконец, он подошел утомленный, еле переводя дух, и, встав перед обручен-

ными, воткнул палку свою с стальным наконечником в землю. Побледнев и устремив глаза на Китерию, он дрожащим, хриплым голосом проговорил следующие слова:

– Ты хорошо знаешь, неблагодарная Китерия, что по священному закону, который мы исповедуем, ты не можешь, пока я жив, выйти замуж за другого. И вместе с тем, тебе неизвестно, что, выжидая пока время и мои старания могли улучшить мое положение, я всегда хранил к тебе уважение, требуемое твоею честью; но ты, отбросив все свои обязательства ко мне и моим честным желаниям, решила обладание тем, что принадлежит мне, отдать другому, чье богатство не только для него щедрый дар судьбы, но и причина неслыханного счастья. И чтобы он пользовался им в полной мере (не потому чтобы он, по моему мнению, заслуживал его, а потому что небесам было угодно дать его ему), я своей рукой отдаю преграды и устраню препятствие, которое могло бы помешать его счастью, и, устранив себя, сойду с его дороги. Да здравствует, да здравствует богатый Камачо с неблагодарной Китерией на долгие и счастливые годы, и пусть умрет, умрет бедный Басилио, бедность которого обрезала крылья его счастью и его уложила в могилу.

И говоря это, он схватился за палку, воткнутую в землю, причем одна половина ее осталась в земле, и оказалось, что она служила ножнами для спрятанной в ней средней величины шпаги; и всадив ее тем, что можно было бы назвать рукоятью, к земле, Басилио с быстротой и твердой решимостью бросился на нее,

¹ Los bancos de Flandes – песчаные отмели, обрамляющие побережье Фландрии – были в старинные времена ужасом мореплавателей и вечным источником тревоги и опасности для испанцев в их попытках владеть морем, окаймляющим Нидерландское побережье. Отсюда выражение – пройти отмели Фландрии стало означать: «справиться с какой-нибудь большой трудностью», а также и то, что это хорошо одаренный от природы человек.

так что в одно мгновение окровавленное острие с половиной лезвия вышло позади его плеч, и несчастный, плавая в крови, лежал распростертый на земле, пронзенный собственным своим оружием. Друзья его тотчас подбежали к нему, чтобы оказать ему помощь, оплакивая его несчастье и горькую участь; и Дон Кихот, сойдя с Росинанта, тоже бросился помогать ему и, подхватив его на руки, увидел, что он еще дышит. Они хотели было вытащить шпагу из его раны; но священник, бывший тут, сказал, что этого не следует делать, пока он не исповедуется, потому что, лишь только вынуть меч из раны, он тотчас же умрет. Придя немного в себя, Басилио слабым и грустным голосом сказал:

– Если б ты, жестокая Китерия, в эту тяжкую, последнюю минуту моей жизни пожелала дать мне свою руку, став моей супругой, я бы думал, что безрассудство мое может найти себе оправдание, так как благодаря ему я достиг счастья быть твоим.

Услышав эти слова, священник сказал раненому, чтобы он лучше позаботился о спасении своей души, чем об уладах тела, и искренно просил у Бога прощения в грехах своих и своего отчаянного поступка. На это Басилио ответил, что он ни за что не исповедуется прежде, чем Китерия не даст ему свою руку, обещая сделаться его женой; эта радость укрепит его силы и даст ему возможность исповедоваться. Услышав просьбу умирающего, Дон Кихот громким голосом объявил, что просьба эта справедлива и разумна, и к тому же легко исполнима, так как сеньору Камачо не меньше чести получить прекрасную Китерию вдовой доблестного Басилио, чем если бы он ее получил из рук ее отца. Тут все сводится лишь к тому, чтобы Китерия произнесла свое «да», которое не будет иметь дальней-

ших последствий, раз брачным ложем этой свадьбы явится могила.

Все это слышал Камачо, приведенный в такое изумление и смущение, что он не знал, что делать или сказать. Но друзья Басилио до того неотступно настаивали и умоляли его, чтобы он не препятствовал Китерии отдать руку Басилио, дабы не погибла его душа, покинув в отчаянии этот мир, что они побудили и даже принудили его сказать: если Китерия решится дать руку Басилио, он не препятствует ей, так как это значило бы отложить лишь на несколько минут исполнение его желания. Тогда они сейчас же бросились к Китерии, одни с мольбами, другие со слезами, третьи с убедительными доводами, упрашивая ее отдать руку свою бедному Басилио.

Но она, холоднее мрамора и неподвижнее статуи, казалось, не умела, не могла и не хотела произнести ни слова, и так и не ответила бы ничего, если бы священник не сказал ей, чтобы она скорей решала, что думает делать, потому что, готовясь покинуть тело, душа Басилио уже питает на его устах и нет времени ждать колеблющихся решений.

Тогда прекрасная Китерия, не говоря ни слова, оробевшая, печальная и встревоженная, подошла к тому месту, где лежал Басилио с уже закатившимися глазами; его дыхание было короткое, прерывистое, он шептал сквозь зубы имя Китерии и, по всей видимости, готовился умереть как язычник, а не как христианин. Наконец, Китерия, подойдя к нему, встала подле него на колени и не словами, а только знаком попросила у него его руку. Басилио открыл глаза, взглянул на нее пристально и сказал:

– О, Китерия, ты, выказывающая мне сострадание в то время, когда сострадание твое является лишь ножом, окончательно отнимающим у меня жизнь, так



Для такого тяжелораненого, – сказал тогда Санчо Панса, – этот молодой парень что-то уж слишком много говорит...

как я не имею сил перенести счастье, которое ты мне даруешь, сделав меня своим избранником, и нет у меня возможности облегчить страдание, так быстро покрывающее глаза мои страшным мраком смерти! Об одном лишь умоляю тебя, о, роковая звезда моя – чтобы ты взяла мою руку и отдала мне свою – не из снисхождения и не для того, чтобы снова обмануть меня, – а объявила бы и сказала, что, не насилуя своей воли, ты отдаешь и доверяешь мне руку свою, как законному своему супругу, потому что было бы нехорошо, если бы в такую минуту, как эта, ты обманула меня или лицемерила с тем, кто всегда относился к тебе с полной правдивостью.

Говоря эти слова, он несколько раз впадал в глубокий обморок, так что присутствующие, при каждом его обмороке, думали, что он испускает дух. Китерия, с виду вся скромность и стыдливость, взяв за правую руку Басилио, сказала:

– Никакое насилие не было бы в состоянии склонить мою волю, и потому с самой полной свободой, которой я располагаю, даю тебе мою руку, как законная твоя супруга и принимаю твою, если ты дашь ее мне по свободной воле с сознанием, не омраченным и не расстроенным несчастьем, в которое повергнула тебя твой опрометчивый поступок.

– Да, даю тебе руку, – ответил Басилио, – с сознанием не омраченным и нерасстроенным, а в полном уме и ясном рассудке, каким наделило меня Небо. И таким образом отдаю и вручаю себя тебе в качестве твоего супруга.

– А я отдаю себя тебе в качестве супруги, – ответила Китерия, – все равно, проживешь ли ты долгие годы, или же отнесут тебя сейчас из моих объятий в могилу.

– Для такого тяжелораненого, – сказал тогда Санчо Панса, – этот моло-

дой парень что-то уж слишком много говорит. Пора бы ему бросить свои любовные истории и позаботиться о своей душе, которая, как мне кажется, засела у него скорее на языке, чем собирается покинуть его тело.

Как только Басилио и Китерия соединили свои руки, мягкосердечный священник со слезами на глазах благословил их брак, прося Небо упокоить душу отходящего в лучшую жизнь новобрачного; но этот последний, лишь только получил благословение, быстро вскочил на ноги и с необычайной ловкостью вытащил шпагу из своего тела, служившего ей ножнами. Все присутствующие были поражены, а некоторые из них, более простодушные, чем проницательные, начали громко кричать: «Чудо, чудо!» Но Басилио возразил:

– Не чудо, не чудо, а хитрость, хитрость!

Священник, пораженный и вне себя, подбежал, чтобы обеими руками ощупать рану Басилио и увидел, что шпага не прошла через тело и ребра его, а через выдолбленную железную трубку, наполненную кровью и очень искусно приставленную к его груди, причем кровь была так приготовлена, как потом узнали, чтобы она не свертывалась. Словом, священник, Камачо и все присутствующие увидели, что они обмануты и одурачены. Молодая же не выказала ни малейшего признака неудовольствия, напротив, услышав, что этот брак, свершенный путем обмана, не может считаться действительным, она сказала, что подтверждает его вновь, из чего все заключили, что комедия была разыграна с согласия и ведома обоих. Это привело в такую ярость Камачо и его друзей, что они решили тотчас же отомстить Басилио и, обнажив мечи, бросились на него; но и в защиту его обнажилось по-



...а богатый Камачо, чтобы показать, что он не питает злобы за сыгранную с ним шутку,
и ни во что не ставит, пожелал, чтобы праздника шли своим чередом...

чти столько же других мечей, в то время, как Дон Кихот, верхом на Росинанте, с поднятым копьём и хорошо прикрыв себя щитом, оказался впереди всех, заставив дать себе дорогу. Санчо, – ему такого рода дела никогда не нравились и не доставляли удовольствия – искал убежища среди великанов горшков, с которых он снял столь приятную пену, считая это место как бы священным, перед которым все должны чувствовать уважение. Дон Кихот кричал громким голосом:

– Остановитесь, сеньоры, остановитесь, так как несправедливо мстить за обиды, которые любовь наносит нам. Не забывайте, что любовь и война – это одно и то же; и подобно тому, как на войне принятой дозволено прибегать к военным хитростям и уловкам, чтобы победить врага, так и в любовных стычках и соперничествах допускаются хитрость и обман, к которым прибегают, чтобы достигнуть желаемой цели, лишь бы только это не делалось во вред и к бесчестию предмета любви. Китерия принадлежала Басилио, а Басилио – Китерии по справедливому и благосклонному определению небес. Камачо богат и может купить себе свое удовольствие, когда, где и как пожелает. У Басилио же одна только эта овечка и никто, как бы он ни был могуществен, не отнимет ее у него, потому что тех, кого соединил Бог, человек не должен разъединять; кто же попытается это сделать, тому пришлось бы пройти сначала чрез острие этого копья.

Вместе с тем он размахивал им так ловко и с такой отвагой, что возбудил страх во всех, кто не знал его. Пренебрежение Китерии так сильно запечатлелось в воображении Камачо, что он тотчас же изгнал ее образ из своего

ума и потому легко уступил увещаниям священника, который был человек благоразумный и с добрыми намерениями, и ему удалось успокоить и умиротворить Камачо и его сторонников. В доказательство этого они вложили свои мечи в ножны, порицая скорее Китерию за ее легкомыслие, чем Басилио за его обман; и Камачо заявил, что если Китерия любила Басилио, будучи девушкой, она продолжала бы его любить, будучи замужней женщиной, и он должен благодарить Небо скорее за то, что оно отняло ее у него, чем за то, что оно дало ее ему. Так как и Камачо и его сторонники примирились и утешились, сторонники Басилио тоже успокоились, а богатый Камачо, чтобы показать, что он не питает злобы за сыгранную с ним шутку, и ни во что ее не ставит, пожелал, чтобы празднества шли своим чередом, точно он и в самом деле обвенчался. Но Басилио, его жена и сторонники их отказались присутствовать на этих празднествах и отправились в деревню Басилио, так как и бедные, если они добродетельны и умны, найдут людей, уважающих их, защищающих и следующих за ними, как и у богатых есть такие, которые льстят и составляют их свиту. Они увели с собой Дон Кихота, считая его за человека достойного и мужественного. У одного лишь Санчо душа омрачилась горем, когда он увидел, что ему нельзя присутствовать при блестящем пиру и празднествах Камачо, которые длились до глубокой ночи; унылый и печальный, следовал он за своим господином, ехавшим с компанией Басилио, и таким образом оставил позади себя египетские котлы¹, хотя и уносил их с собой в душе, так как пена с них, бывшая у него в котелке, но которую он уже

¹ Про которые, выйдя из Египта, евреи вспоминали в пустыне, говоря: «когда мы сидели у мясных котлов, когда мы ели хлеба досыта»... (Исход гл. XVI.).

почти всю съел и истребил, напоминала ему о великолепии и обилии тех благ, которые он утратил. Итак, задумчивый

и огорченный, хотя и не чувствуя голода, не слезая с своего Серого, ехал он по следам Росинанта.





Глава XXII

В которой сообщается о великом приключении в пещере Монтесинос, в центре Ламанчи, доведенное до счастливого конца доблестным Дон Кихотом Ламанчским.

Новобрачные приняли и угощали Дон Кихота радушно и обильно, чувствуя себя обязанными ему за рвение, выказанное им в защите их дела, и наравне с мужеством ценили и ум его, считая его Сидом по оружию и Цицероном по красноречию. Добрый Санчо подкреплял свои силы в течение трех дней за счет новобрачных, от которых узнали, что у Басилио не было предварительного уговора с прекрасной Китерией относительно притворного нанесения им себе раны, а это была лишь хитрость Басилио, и от нее он ждал того счастливого исхода, который действительно и получился. Правда, он признался, что сообщил о своем намерении некоторым из своих друзей, чтобы они могли вовремя покровительствовать его намерению и поддержать его обман.

– Нельзя и не следует называть обманом, – сказал Дон Кихот, – то, что имеет в виду благородную цель, а соединить браком двух влюбленных – самая превосходная цель. Но при этом не следует забывать, что величайший враг, которого имеет любовь, это голод и беспрерывная нужда; потому что любовь есть вся радость, веселие и счастье, тем более, когда влюбленный обладает предметом своей любви, а нужда и бедность являются их отъявленными и упорными врагами. Все это, продолжал рыцарь, он говорит с целью повлиять на сеньора Басилио, чтобы побудить его бросить упражнения в талантах, в которых он достиг такого искусства, так как, хотя они и дают ему славу, они не дают денег, и постараться добыть себе состояние трудом и дозволенными средствами, а в них не может быть недостатка у людей осмотрительных и умных. Почтенный бедняк

(если только бедный может быть почтенным), обладая красивой женой, обладает сокровищем, отняв которое, отнимают у него честь и губят ее. Красивая и добродетельная жена, муж которой беден, заслуживает быть увенчанной лаврами побед и пальмами торжества. Сама по себе красота привлекает желания всех тех, кто ее видит и знает, и как на лакомую приманку устремляются на нее королевские орлы и другие высоколетающие птицы; но если к такой красоте присоединяются еще нужда и стесненные обстоятельства, то даже вороны, коршуны и другие хищные птицы нападают на нее. И та красавица, которая остается твердой при всех этих нападениях, вполне заслуживает называться короной своего мужа¹.

– Примите в соображение, рассудительный Басилио, – добавил Дон Кихот, – что по мнению не знаю уж какого мудреца, во всем мире существует всегда лишь только одна хорошая женщина, и он советовал всякому думать и быть уверенным, что эта единственная хорошая женщина его жена, и таким образом жить счастливым. Я не женат и до сих пор мне и в голову не приходило быть им, – тем не менее я бы отважился дать совет тому, кто спросил бы его у меня, как искать ему женщину, на которой он хотел бы жениться. Первое, что я ему посоветовал бы, это обратить больше внимания на ее добрую славу, чем на состояние, потому что хорошая женщина приобретает добрую славу не только потому, что она хорошая, а также и потому, что она и кажется хорошей; так как вольность и распущенность на людях больше вредят чести женщины, чем тайные проступки. Если ты введешь в свой дом хорошую женщину, тебе легко будет поддержать ее в ее добродетели и даже возвысить в этом отношении; но если ты введешь к

себе в дом дурную женщину, тебе доставит большой труд исправлять ее, потому что не очень то осуществимо перейти от одной крайности к другой. Я не говорю, что это невозможно, но считаю это трудным.

Все это Санчо слышал и сказал себе: «Этот господин мой, когда я скажу что-нибудь толковое и существенное, обыкновенно говорит, что я мог бы взять в руки кафедру и идти проповедовать по всему миру вещи, а я скажу о нем, что когда он начинает нанизывать изречения и давать советы, он не только мог бы взять в руки кафедру, но и по две на каждый палец, и пойти по всем площадям проповедовать, что кому требуется. Черт бы тебя взял странствующим рыцарем, столько ты знаешь вещей! А я-то в душе своей думал, он может знать только то, что касается его рыцарства, но нет той вещи, где бы он не клюнул и куда бы не окунул своей ложки».

Санчо бормотал себе это под нос, довольно громко, и господин его, услышав его, спросил:

– Что ты там ворчишь, Санчо?

– Я ничего не говорю и не ворчу, – ответил Санчо, – а только сказал про себя, что желал бы услышать то, что ваша милость сейчас говорила, прежде чем я женился; быть может, я теперь бы сказал: отвязанный бык удобно лижет себя.

– Разве твоя Тереса так плоха, Санчо? – спросил Дон Кихот.

– Она не очень плоха, – ответил Санчо, – но и не очень хороша, по крайней мере не так хороша, как я бы этого желал.

– Ты дурно поступаешь, Санчо, – сказал Дон Кихот, – говоря дурно о своей жене, которая все же мать твоих детей.

– Мы не остаемся в долгу друг перед другом, – ответил Санчо, – потому

¹ Цитата эта из Соломона: – «добродетельная жена – корона своего мужа».

что и она говорит дурно обо мне, когда ей это вздумается, в особенности же, когда она начнет меня ревновать, тогда с ней не справится и сам сатана!

Словом, они провели три дня у новобрачных, где их угощали и прислуживали им, как королям. Дон Кихот попросил фехтовальщика лисенсиата добыть ему проводника, который провел бы его в пещеру Монтесинос, потому что у него сильное желание исследовать ее и убедиться собственными глазами, правду ли говорят во всей этой местности относительно чудес, скрытых в указанной пещере. Лисенсиат сказал, что даст ему в проводники одного своего двоюродного брата, известного ученого и большого любителя рыцарских книг, который с величайшим удовольствием доведет его до входа в пещеру и покажет ему также и озера Руидера, знаменитые не только во всей Ламанче, а даже и во всей Испании. Сказал он ему также, что он может вести с его двоюродным братом приятные беседы, так как это молодой человек, который умеет сочинять книги для печати и посвящает их принцам.

Одним словом, двоюродный брат явился верхом на жеребой ослице, выючное седло которой было покрыто пестрым ковром или дерюгой. Санчо оседлал Росинанта, взнуздal своего Серого, хорошенько снабдил запасами свои дорожные сумки, которым в товарищи годились и сумки двоюродного брата, тоже доверху плотно набитые, и, поручив себя Богу и простившись со

всеми, они пустились в путь по направлению к знаменитой пещере Монтесинос. Дорогой Дон Кихот спросил двоюродного брата, какого рода и характера его занятия, его профессия и ученые его труды. На это тот ему ответил, что по профессии он гуманист; его занятия и труды сочинение книг для печати, и все они приносят большую пользу и не меньше развлечения государству. Одна из этих книг озаглавлена: «*Книга нарядов*» – в ней он описывает семьсот три наряда с их цветами, девизами и шифрами, и из нее придворные рыцари могут черпать и выбирать во время торжеств и празднеств все, что им понравится, не будучи вынужденными ни у кого нищенски выпрашивать сведения и не имея нужды ломать себе голову, – как принято говорить, – чтобы придумывать такие наряды, которые соответствовали бы их желаниям и намерениям, так как, – продолжал он, – я и ревнивому, и отвергнутому, и позабытому и находящемуся в разлуке даю то, что каждому приличествует и подойдет хорошо и без погрешности¹. У меня есть еще другая книга, которую я думаю озаглавить «*Метаморфозы*» или «*Испанский Овидий*». Вымысел здесь новый и редкостный, так как, подражая Овидию в комическом тоне, я описываю, что такое была Хиральда Севильская и ангел Магдалены², сточная труба Весингерра в Кордове³, быки Гисандо, Сьерра-Морена, фонтаны Легонитос и Лавапьес в Мадриде⁴, не забыв и фонтанов дель Риохо, дель Каньо Дорадо и де ла При-

¹ *Mas justas que pecadoras*. Здесь на слове *justas*, имеющим двойное значение: *подходящее* и *праведное* – непередаваемая в переводе игра слов.

² Ангел св. Магдалены, подобно Хиральде Севильской – бронзовая фигура помещенная в виде флюгера на колокольне церкви св. Магдалены в Саламанке.

³ Открытая водосточная труба, через которую избыток воды из фонтана, называемого El Rotgo в Кордове, отводился в Гвадалквивир.

⁴ Эти фонтаны славились в те времена чистотой и прекрасным вкусом воды.



Словом, они провели три дня у новобрачных, где их угощали и прислуживали им, как королям...

ора¹. И все это с относящимися к ним аллегориями, метафорами и превращениями, так что в одно и то же время эта книга и забавляет, и удивляет, и поучает. Есть у меня еще книга, которую я назвал «Добавлением к Вергилию Полидору»², где идет речь об изобретениях; тут масса учености и труда, потому что весьма существенные вещи, которые пропустил Полидор, я исследую и объясняю изящным слогом. Вергилий забыл сообщить нам, кто первый в мире получил катар, кто первый прибег к втираниям для лечения от французской болезни, – а я это объясняю очень точно и подтверждаю ссылками более, чем на двадцать пять авторов. Судите теперь, милость ваша, добросовестно ли я работал, и принесет ли эта книга пользу всему миру.

Санчо, который очень внимательно слушал рассказ двоюродного брата, спросил его:

– Вот что, сеньор, – и да пошлет вам Бог хорошей удачи в печатании ваших книг, – не можете ли вы мне сказать, – наверное, вы это знаете, потому что вы все знаете, – кто первый в мире почесал у себя в голове? По моему разумению, должно быть, наш праотец Адам.

– Да, вероятно оно так и есть, – ответил двоюродный брат, – потому что не подлежит сомнению, что у Адама была голова и были волосы, а раз это так, и он был первый человек в мире, должно быть, иногда он и чесал у себе в голове.

– И я тоже так думаю, – согласился Санчо, – но теперь скажите мне, кто был первый вольтижер в мире?

– По правде говоря, брат, – ответил тот, – этого я не в состоянии сейчас же

решить, мне надо изучить этот вопрос, и я это и сделаю, как только вернусь к своим книгам, и дам вам ответ, когда мы в следующий раз встретимся, так как мы видимся с вами не в последний же раз.

– Вот что, сеньор, – заявил Санчо, – не трудитесь над разрешением этого вопроса, потому что мне только что пришел в голову ответ на него. Знайте же, что первым вольтижером в мире был Люцифер: когда его изгнали или низвергли из рая, и он сделал прыжок до глубины ада.

– Вы правы, друг мой, – согласился двоюродный брат.

А Дон Кихот сказал:

– Этот вопрос и этот ответ не взяты из твоей головы, Санчо, а ты их слышал от кого-нибудь.

– Полноте, сеньор, – ответил Санчо, – клянусь честью, если я начну спрашивать и отвечать, я не кончу до завтрашнего дня. Поверьте, для того, чтобы спрашивать нелепости и вздор, мне нет нужды идти искать помощи у соседей.

– Ты сказал больше того, Санчо, чем сам понимаешь, – заявил Дон Кихот, – потому что есть люди, которые утомляются, изучая и исследуя вещи, а эти вещи, будучи исследованы и изучены, не имеют ни на грош цены ни для ума, ни для памяти.

В этих и других приятных разговорах у них прошел весь день, а ночевать они остановились в небольшой деревеньке, и двоюродный брат сказал Дон Кихоту, что оттуда до пещеры Монтесинос не более двух миль, и если он решил побывать в ней, то надо запастись веревками, чтобы обвязать его ими и спуститься на них вглубь пещеры. Дон Кихот объявил,

¹ Все эти три фонтана находились в то время в Прадо в Мадриде, теперь же они частью переделаны или же высохли.

² Полидору Вергилий был итальянский ученый, живший в 16 веке, родом из Урбино, автор очень распространенной в то время и часто переводимой книги, озаглавленной «*De Inventoribus Rerum*».



От шума и стука вылетело оттуда бесконечное
множество большущих воронов и ворон...

что если бы ему даже пришлось спуститься в глубь ада, он все же доведет дело до конца. Поэтому они купили около ста сажень веревок и на следующий день в два часа по полудни добрались до пещеры, вход в которую, хотя и широкий и просторный, но весь зарос дикими фиговыми и кизилковыми деревьями, терновником и кустарником, до того густыми и переплетенными между собой, что они совершенно затемняли и скрывали его. Увидав пещеру, Дон Кихот, двоюродный брат и Санчо спешились, и тотчас же последние двое крепко-накрепко обвязали Дон Кихота веревками, а пока они его обвязывали, Санчо сказал:

– Обратите внимание на то, что вы хотите сделать, сеньор мой. Не хороните себя заживо и не проникайте туда, где вы изобразите собой бутылку, которую спускают в колодец, чтобы ее охладить. К тому же не вас касается и не дело милости вашей исследовать то, что должно быть похуже подземной тюрьмы.

– Вяжи и молчи, – ответил Дон Кихот, – потому что такое предприятие, как это, Санчо друг, было предназначено для меня.

Тогда проводник сказал:

– Умоляю вашу милость, сеньор Дон Кихот, смотрите хорошенько и исследуйте, как бы сотней глаз, все, что встретится вам в пещере; быть может, там окажутся такие вещи, что я их помещу в мою книгу о превращениях.

– Не беспокойтесь: барабан в руках у хорошего барабанщика, – сказал Санчо.

После этих слов, и когда кончили обвязывать Дон Кихота (а обвязали его не поверх вооружения, но поверх камзола), рыцарь сказал:

– С нашей стороны было неосмотрительно не запастись маленьким колокольчиком, который следовало при-

вязать к той же веревке близко ко мне, и по звону его узнали бы, что я все еще спускаюсь и жив. Но так как это теперь уже невозможно, пусть рука Божья поведет меня.

Тотчас же он встал на колени и тихим голосом вознес молитву к небу, прося Бога помочь ему в этом, по-видимому, опасном и неслыханном приключении, после чего он громко воскликнул:

– О, повелительница моих действий и поступков, несравненная и светлейшая Дульсинея Тобосская, если возможно, чтобы до слуха твоего достигли просьбы и мольбы этого твоего счастливого поклонника, именем неслыханной красоты твоей умоляю тебя внять им, так как я прошу лишь не отказать мне в благосклонности и покровительстве твоём теперь, когда я так в них нуждаюсь. Я собираюсь устремиться, низвергнуться и погрузиться в бездну, которая здесь зияет предо мной, только ради того, чтобы мир узнал, – раз ты мне благоволишь, – что нет невозможности, которую бы я не предпринял и не довел до конца!

Говоря это, он приблизился к пещере, но увидел, что нельзя войти туда и спуститься иначе, как только открыв себе проход силою рук или ударами меча. Итак, обнажив меч, он стал резать и рубить непроходимый кустарник, заслонявший вход в пещеру. От шума и стука вылетело оттуда бесконечное множество большущих воронов и ворон, такими густыми полчищами и так стремительно, что они опрокинули на землю Дон Кихота; и если б он был столь же хорошим толкователем предзнаменований, как христианином – католиком, он счел бы это за дурной знак и отказался бы дать себя заточить в подобном месте.

Наконец, он встал, и видя, что не вылетает больше ни воронов, ни ночных птиц, ни летучих мышей, которые



... они увидели, что глаза его закрыты, как у спящего...

тоже вылетели вместе с воронами, Санчо и двоюродный брат отпустили веревку и стали спускать рыцаря в страшную пещеру. А когда он начал спускаться, Санчо послал ему благословение и, делая над ним тысячу крестных знамений, сказал:

– Да направит тебя Бог и скала Франции, совместно с Троицей Гаэты¹, цвет, сливки и пенки странствующих рыцарей! Вот ты и спускаешься, бахвал мира, стальное сердце, медные руки! Еще раз да направит тебя Бог и пусть Он вернет тебя целым, невредимым и вне опасности к свету этой жизни, который ты оставляешь, чтобы похоронить себя в том мраке, который ты ищешь.

Почти такие же мольбы и воззвания были произнесены и двоюродным братом. Спускаясь, Дон Кихот громко кричал, чтобы они больше и больше надавали ему веревки, и они это по-немногу и делали; а когда возгласы его, раздававшиеся из пещеры, как из трубы, смолкли, все сто сажень веревки были уже спущены. Им показалось тогда, что следовало бы поднять вверх Дон Кихота, так как они не могли уже спускать его ниже. Тем не менее, они подождали около получаса, по истечении которого стали тянуть назад веревку очень легко и без всякой тяжести, – признак, заставивший их придти к заключению, что Дон Кихот остался на дне пещеры; а так как и Санчо это думал, он горько плакал и тянул веревку с большой поспешностью, чтобы узнать, так ли это. Но когда они, как им казалось, вытащили немногим больше восьмидесяти сажень веревки, то почувствовали тяжесть, что чрезвычайно их обрадовало. Наконец,

при десяти саженьях, они ясно увидели Дон Кихота, и Санчо подал ему голос, говоря:

– Добро пожаловать, милость ваша, сеньор мой, а мы уже думали, что вы остались там на племя.

Но Дон Кихот не отвечал ни слова, и, вытащив его совсем, они увидели, что глаза его закрыты, как у спящего. Они положили его на землю и развязали, и, тем не менее, он не просыпался. Однако, они так ворочали и переворачивали его, так трясли и двигали, что по прошествии довольно долгого времени он пришел в себя, потягиваясь, как будто проснувшись после глубокого и долгого сна. Взглянув кругом себя во все стороны как бы испуганно, он сказал:

– Бог да простит вам, друзья, что вы лишили меня самого сладостного и приятнейшего существования и зрелища, какого ни один смертный не видел и не испытывал. Действительно, теперь я вполне понял, что радости земной жизни мелькают, как тень, и проходят, как сон, или вянут, как полевые цветы. О, несчастный Монтесинос! О, тяжело раненый Дурандарте! О, злополучная Белерма! О, плачущая Радиана и вы, не знавшие светлой доли дочери Руидера, волнами вод своих доказывающие, сколько слез пролили прекрасные ваши глаза!

Санчо и двоюродный брат слушали слова Дон Кихота, произносившего их так, как будто бесконечное горе вырывает их у него из души. Они стали умолять его объяснить им то, что он сказал, и рассказать, что он видел в том аду.

– Адом называете вы его? – спросил Дон Кихот, – не называйте его так,

¹ Скалой Франции назывался лесистый холм вблизи Сиудад Родриго, на вершине которого был найден одним французом чудотворный образ Божией Матери в 1434 г. С течением времени здесь был выстроен монастырь. Троицей Гаэты называлась монастырская церковь, выстроенная королем Фердинандом Арагонским на вершине мыса близ Гаэты.

потому что он не заслуживает этого, как вы сейчас и увидите.

Он попросил чтобы ему дали чтонибудь поесть, так как чувствует сильнейший голод. Разостлали на зеленой траве дерюгу с выючного седла двоюродного брата, вынули запасы из дорожных

сумок и втроем, в добром мире и согласии, одновременно позавтракали и поужинали. Когда сняли дерюгу-скатерть, Дон Кихот Ламанчский сказал:

– Никто не вставай, и все слушайте меня со вниманием.





Глава XXIII

Об изумительных вещах, о которых превзошедший себя Дон Кихот рассказал, будто он их видел в глубокой пещере Монтесинос, но невероятность и необъятность которых дает повод считать это приключение апокрифическим.

Было около четырех часов пополудни, когда солнце, прикрытое облаками, с умаленным светом и слабыми лучами, позволило Дон Кихоту, не томясь зноем, рассказать своим двум благородным слушателям то, что он видел в пещере Монтесинос, и он начал свой рассказ следующим образом:

— На двенадцатой или четырнадцатой сажени глубины этого подземелья по правую руку есть выем и достаточное место для того, чтобы там вместились большая повозка, запряженная мулами. Слабый луч светит туда издали из нескольких трещин или дыр, выходящих на поверхность земли. Этот выем или местечко я увидел в то время, когда я уже устал и мне надоело, вися на веревке привязанным к ней, спускаться вниз

в это темное пространство, не имея верной и определенной дороги перед собой, и потому я решил войти в это углубление и там немного отдохнуть. Я закричал вам, прося не спускать больше веревки, но, должно быть, вы меня не слышали. Тогда я собрал всю веревку, которую вы продолжали спускать, и, сложив ее в винтообразную кучу, сел на нее задумчивый, размышляя, что мне делать, чтобы достигнуть до дна, не имея уже ни малейшей поддержки. Среди этих размышлений и этого смущения вдруг, помимо моей воли, на меня напал глубокий сон. И когда я менее всего этого ждал, не знаю, как и почему, я проснулся и очутился среди самого прекрасного, приятного и очаровательного луга, какой может создать природа или могла бы вообразить себе наиболее яркая человеческая фантазия. Я раскрыл глаза, протер их и увидел, что

не сплю, а в самом деле бодрствую. Тем не менее я ощупал себе голову и грудь, чтобы убедиться, я ли это сам, который нахожусь здесь, или же какой-нибудь суетный, подложный призрак. Но осязание, чувство и связные размышления, которые я делал про себя, все это подтверждало, что я был там такой же, какой я теперь перед вами. Вдруг глазам моим представился королевский великолепный дворец или алькасар¹, стены которого казались сделанными из прозрачного, чистого хрусталя, и когда раскрылись две большие створчатые половинки его дверей, я увидел, что из них выходит и направляется ко мне почтенный старец, одетый в отливающую в фиолетовый цвет мантию из байки, которую он волочил за собой по земле. Грудь и плечи его были покрыты широкой повязкой из зеленого атласа, какие носят члены университетов. На голове у него была черная миланская шапочка, и белоснежная борода спускалась ему на грудь. Он не имел при себе никакого оружия, а только держал в руках четки, шарики которых были больше грецких орехов, а каждый десятый шарик – величиной с страусовое яйцо. Осанка, походка, важный и

почтенный вид старика, все это порознь и вместе взятое удивило и изумило меня. Он подошел ко мне и первое, что сделал, было – крепко поцеловать меня, и тотчас же он сказал:

– Долгие века уже, доблестный рыцарь, Дон Кихот Ламанчский, мы, пребывающие в этом очарованном уединении, надеялись видеть тебя здесь, чтобы ты мог поведать миру, что заключает и таит в себе эта глубокая пещера, называемая пещерой Монтесинос, в которую ты спустился – подвиг, предназначавшийся только лишь твоему непобедимому мужеству и твоей изумительной доблести. Идем со мной, светлейший сеньор, я хочу показать тебе чудеса, что хранит в себе прозрачный этот дворец, которого я и есть алкаид и бессменный главный страж, потому что – я сам Монтесинос, именем которого названа эта пещера².

Не успел он мне сказать, что он Монтесинос, как я спросил его, правда ли то, что рассказывают там на земле, будто он вырезал маленьким кинжалом сердце из груди своего большого друга Дурандарте и отнес это сердце сеньоре Белерме, как о том просил его Дурандарте перед смертью³. Он ответил мне, что все это

¹ Alcázar – укрепленный замок, и в поэзии королевский дворец или замок.

² Montesinos – как о том повествуется в древних испанских рыцарских романах – был сын графа Гримальтоса, одного из паладинов при дворе Шарлеманя, несправедливо обвиненного в измене графом Томильясом, и изгнанного из своего отечества. Когда он бежал с женой через горы, у них родился сын Монтесинос, названный так потому, что он родился в горах (montes). Ребенок был взят на воспитание отшельником и до 15 лет прожил в уединении, после чего он поехал в Париж. Встретив здесь предателя Томильяса, он убил его в присутствии короля; и после того, как невинность отца его была доказана, этот последний снова был призван ко двору. Сделавшись одним из двенадцати пэров Франции, Монтесинос женился на владетельнице замка Рочафрида, знатной испанке Розафлорида, и жил счастливо с ней в ее замке, развалины которого существуют еще теперь близ пещеры Монтесинос. В настоящее время эта пещера, имеющая до 30 саженей глубины, посещается довольно часто, пастухи прячутся в нее от стужи и дурной погоды.

³ Дурандарте был двоюродный брат Монтесиноса и брат графа Дирлоса, тоже одного из героев Карловинской эпопеи. Он был убит в сражении при Ронсевале и по словам испанских романов, умирая на руках Монтесиноса, умолял его вырезать у него из груди сердце и отнести его сеньоре Белерме.

верно, за исключением кинжала, потому что это был не кинжал и не маленький, а ручной стилет, острее шила.

– Должно быть, – сказал тогда Санчо, – стилет этот был от Рамона де Осес, что в Севилье.

– Не знаю, – продолжал Дон Кихот; – но навряд ли он мог быть от этого оружейника, потому что Рамон де Осес жил чуть ли не вчера, а событие в Ронсевале, где случилось это несчастье, произошло много лет тому назад; впрочем, эта справка не имеет никакой важности: она не изменяет и не нарушает истины и хода истории.

– Совершенно верно, – сказал двоюродный брат; – продолжайте ваш рассказ, милость ваша, Дон Кихот, я слушаю вас с величайшим удовольствием в мире.

– Не с меньшим удовольствием рассказываю и я, – ответил Дон Кихот; – итак, говорю, что почтенный Монтесинос повел меня в хрустальный дворец, где в зале нижнего этажа, донельзя прохладной, всей алебастровой, – стояла мраморная гробница необычайно искусной работы. Поверх гробницы лежал рыцарь, распростертый во весь рост, не из бронзы, мрамора или яшмы, как это обыкновенно бывает на других гробницах, а из настоящей плоти и костей. Правая его рука (которая, как мне показалось, несколько покрыта волосами и мускулистая – признак того, что хозяин ее обладает большой силой) лежала у него на области сердца; и прежде чем я обратился с вопросом к Монтесиносу, он, заметив удивление мое при виде человека, лежавшего на гробнице, сказал:

– Это мой друг Дурандарте, цвет и зеркало влюбленных и доблестных рыцарей своего времени. Его держит здесь

заколдованным, как и меня и многих других рыцарей, сеньор Мерлин, этот французский волшебник, про которого говорят, что он был сыном дьявола, но я думаю, что он им не был, а как принято говорить, знал немного больше, чем дьявол. Как и почему он нас очаровал, никому неизвестно, и он откроет это, когда настанет тому время, – а настанет оно, как мне кажется, уже скоро. Изумлен я вот чем: я также верно знаю, как и то, что теперь день, что Дурандарте умер у меня на руках и, когда он испустил последнее дыхание, я вынул собственноручно у него из груди его сердце; поистине оно, должно быть, весило фунта два, потому что, как говорят естествоиспытатели, кто имеет большое сердце – одарен большим мужеством, чем тот у кого оно маленькое¹. Но раз это так, и рыцарь этот действительно умер, – как же может быть, что он жалует и вздыхает время от времени, как будто он живой?

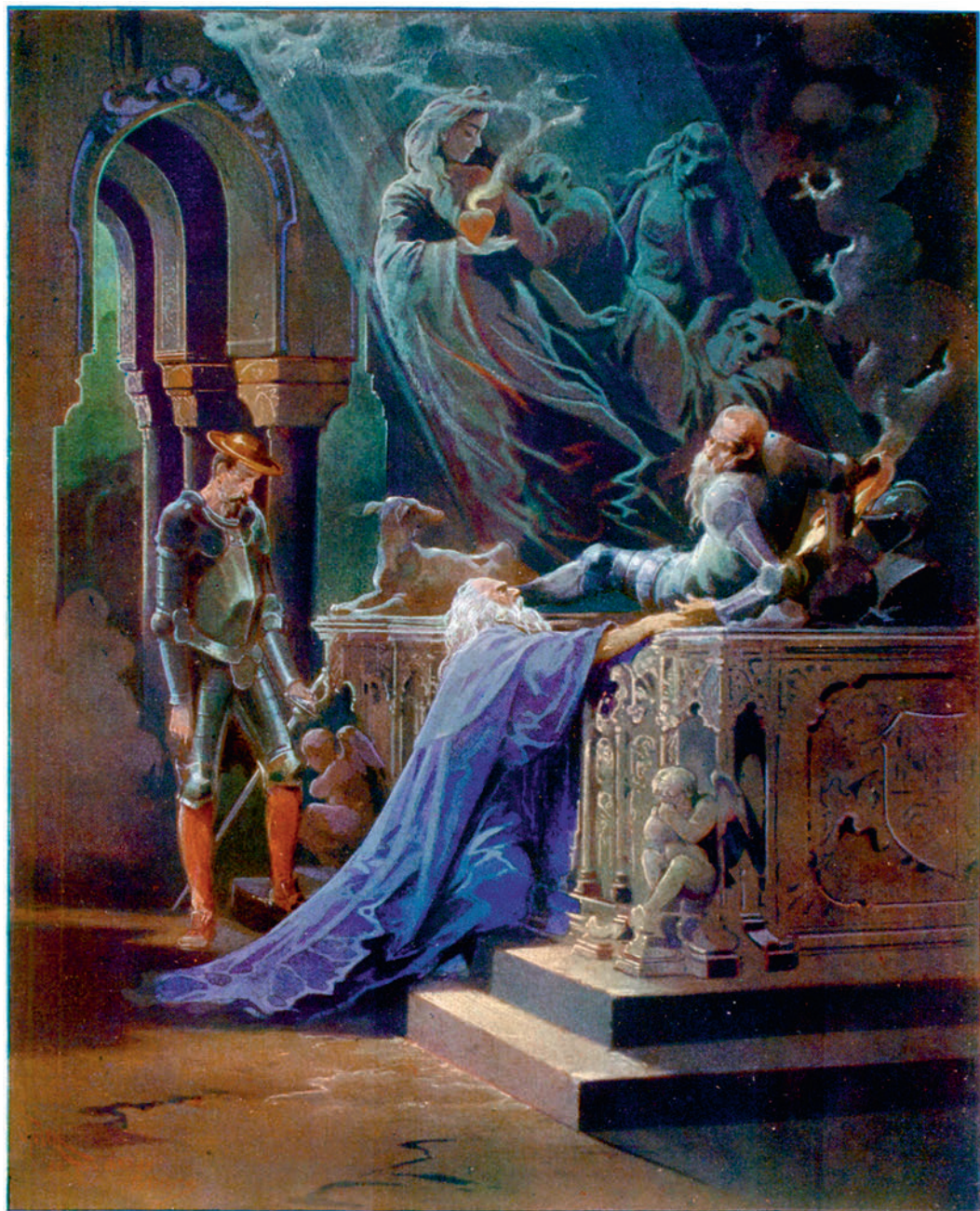
Когда Монтесинос сказал это, несчастный Дурандарте громким голосом вскрикнул:

О, кузен мой Монтесинос!
Шлю последнюю вам просьбу:
Лишь закроет смерть мне очи
И душа покинет тело,
Отнесите к ней – к Белерме –
Тотчас же мое вы сердце,
Из груди его мне вынув
Иль кинжалом, иль мечом.

Услышав это, почтенный Монтесинос встал на колени перед несчастным и со слезами на глазах сказал:

– Давно уже, сеньор Дурандарте, дорогой мой двоюродный брат, исполнил я то, что вы мне приказали в злополучный день нашей гибели: я вынул у вас сердце,

¹ Не таково мнение Плиния; он говорит наоборот, что животные, у которых большое сердце, как, например, заяц, осел, мышь – трусливы, в то время как у которых сердце маленькое, как, например, лев – очень храбры.



Давно уже, сеньор Дурандарте, дорогой мой двоюродный брат, исполнил
я то, что вы мне приказали в злополучный день нашей гибели...

сделав это как можно лучше, не оставив ни малейшей частицы его у вас в груди; я его вытер кружевным платочком и во весь дух уехал с ним во Францию, сначала уложив вас в недрах земли с такими обильными слезами, что их хватило бы обмыть мне руки и смыть с них кровь, которой они покрылись, когда я рылся у вас во внутренностях. И в виде еще большего подтверждения, двоюродный брат души моей, – скажу, что в первом же местечке, куда я приехал после Ронсевала, я посыпал немного солью ваше сердце, чтобы оно не пахло дурно, и если не свежее, по крайней мере хоть сухое, предстало перед очами сеньоры Белермы, которую вместе с вами, со мной, с вашим оруженосцем Раданом и с дуэньей Рюидерой и ее семью дочерьми, двумя ее племянницами и многими другими из ваших знакомых и друзей, нас держит здесь очарованными мудрый Мерлин уже долгие годы, и хотя прошло более пятисот лет, никто из нас еще не умер. Только нет уже Рюидеры и ее дочерей и племянниц, так сильно плакавших, что, должно быть, из сострадания к ним, Мерлин превратил их во столько же лагун, называемых теперь в стране живых и в провинции Ламанча лагунами Рюидера; семеро из них принадлежат испанским королям, а два озера – рыцарям святейшего ордена, который называют орденом Сан-Хуана¹. Гадиана, ваш оруженосец, также оплакивавший несчастье ваше, был превращен в реку, названную его именем и, когда она пробралась на поверхность земли и увидела солнце другого неба, ею овладело сильнейшее горе, так как она удалялась от вас, и поэтому она вновь погрузилась

в недра земли. Но невозможно совершенно изменить естественное свое течение, вот почему время от времени она выходит наружу и показывается там, где солнце и люди ее видят². В нее вливают свои воды упомянутые озера и с ними и многими другими, которые еще вливаются в нее, она, величественная и пышная, входит в Португалию. Но тем не менее, где бы река эта не текла, всюду носит она с собою грусть и печаль и не заботится о том, чтобы растить в своих водах вкусных и ценных рыб, а только лишь грубых и безвкусных, вовсе непохожих на рыб золотого Тахо. И то, что я теперь вам говорю, о, двоюродный мой брат, я говорил вам уже много раз, но так как вы не отвечаете мне, я боюсь, что вы не верите мне, или не слышите меня, и это так меня огорчает, как одному Богу известно. Некоторую новость хочу я вам теперь сообщить, которая, если и не облегчит вашей скорби, но ни в каком случае не увеличит ее. Знайте же, что здесь перед вами (откройте ваши глаза и вы увидите его) тот великий рыцарь, о котором мудрый Мерлин столько пророчествовал, тот самый Дон Кихот Ламанчский, говорю я, что снова и с большей пользой, чем в былые века, воскресил уже забытое в нынешние времена странствующее рыцарство, и может быть, благодаря ему и с его помощью, с нас будут сняты чары, так как великие подвиги предназначены для великих людей!

– А если б это и не было так, – ответил достойный жалости Дурандарте слабым, чуть слышным голосом, – если б это и не было так, о, двоюродный брат мой, я скажу: терпение и перетасуйте карты.

¹ Орден этот имел много поместий в Ламанче, в том числе и село Рюидера.

² У Гадианы течение изменчивое, отклоняющееся. Пройдя Аргамасилью, река эта углубляется в землю и течет под землей около 20 миль, затем выходит опять на поверхность между Вилларубио и Дэмиэль в виде двух озер, которые называют: Los ojos de Guadiana (глаза Гадианы).



Монтесинос сказал мне, что все, участвующие в
процессии, слуги Дурандарте и Белермы...

И, повернувшись на другой бок, он вернулся к своему привычному молчанию, не говоря больше ни слова.

В это время послышался громкий плач и рыдания, сопровождаемые глухими вздохами и тяжелыми стонами. Я повернул голову и сквозь хрустальные стены увидел, как по другому залу проходила процессия, состоявшая из двух рядов прекраснейших молодых девушек, одетых в траур, с белыми тюрбанами на голове по турецкому обычаю. В конце шествия и замыкая его, шла дама, которая и казалась ею по своей степенности, тоже одетая вся в черное, с белой вуалью, такой широкой и длинной, что она целовала землю. Тюрбан, надетый на ее голове, был вдвое выше самого высокого из всех остальных тюрбанов; брови ее были сросшиеся, нос немного плоский, рот большой, но губы алые; ее зубы, которые иногда обнажались, казались редкими и неровными, хотя они были белые, как очищенный миндаль. В руках она держала тонкий полотняный платок, а в нем – насколько я мог разглядеть – мумиеобразное сердце, так оно высохло и съезжилось. Монтесинос сказал мне, что все, участвующие в процессии, слуги Дурандарте и Белермы, которые были очарованы здесь вместе со своими господами, а та, в чьей руке завернутое в полотняный платок сердце, – сеньора Белерма. Четыре дня в неделю она со своими девушками устраивает такое шествие, и они поют, или, точнее говоря, рыдают надгробные песни над трупом и над несчастным сердцем двоюродного брата. Если же она мне показалась несколько некрасивой, или не такой красивой, как про нее шла слава, причиной тому плохие ночи и еще худшие дни, которые она проводит в этом очаровании, что можно видеть по большим кругам под ее глазами и болезненному цвету ее лица. Эта

желтизна его и синева под глазами не происходят от месячного недомогания, обычного женщинам, так как уже много месяцев и даже лет этого недомогания у нее не было, и даже не появлялось у ее дверей, – а от мук, испытываемых ее сердцем из-за того другого сердца, которое она постоянно держит в руках и которое воскрешает и возобновляет в ее памяти несчастье злополучного ее возлюбленного. И если бы не это, едва ли могла бы сравниться с нею по красоте, изяществу и уму великая Дульсинея Тобосская, столь прославленная во всех здешних местах и даже во всем мире.

– Довольно, сеньор дон Монтесинос, – сказал я тогда, – рассказывайте, милость ваша, историю свою как следует; вы, ведь, знаете, что всякое сравнение ненавистно, и потому незачем и сравнивать кого бы то ни было с кем бы то ни было. Несравненная Дульсинея Тобосская есть то, что она есть, а сеньора донья Белерма то, что она есть и была – и все тут.

На это он ответил мне:

– Сеньор Дон Кихот, да простит мне ваша милость, так как я признаю, что был неправ и нехорошо сказал, говоря, что сеньора Дульсинея едва ли сравнится с сеньорой Белермой, потому что с меня было достаточно подметить, не знаю по каким признакам, что вы, ваша милость, ее рыцарь, для того, чтобы я скорее прикусил себе язык, чем сравнил ее с кем бы то ни было, разве только с самим небом.

Это удовлетворение, данное мне великим Монтесиносом, успокоило мое сердце от испытанного им потрясения, когда я услышал, что сеньору мою сравнивают с Белермой.

– А я так удивляюсь, – сказал Санчо, – как это ваша милость не накинулась на старикашку, не перемолола ему ребра пинками и не вырвала у него всю бороду до последнего волоска.

– Нет, Санчо друг, – ответил Дон Кихот, – мне не приличествовало так поступать, потому что все мы обязаны выказывать уважение старикам, хотя бы они и не были рыцарями, а в особенности, если они рыцари, да к тому же еще очарованы. Я хорошо знаю, что мы не остались в долгу друг у друга и по другим многим вопросам и ответам, которыми мы с ним обменялись.

Тогда двоюродный брат заметил:

– Не знаю, сеньор Дон Кихот, как вы, ваша милость, в такое короткое время, которое вы пробыли там внизу, видели столько вещей и так много говорили и отвечали.

– Как давно я спустился в пещеру? – спросил Дон Кихот.

– Не многим больше часа, – ответил Санчо.

– Этого быть не может, – возразил Дон Кихот, – потому что при мне там наступила ночь и настало утро, и три раза вновь наступала ночь и сменялась она утром, так что, по моему счету, я три дня пробыл в тех отдаленных и скрытых от наших глаз местах.

– Мой господин, должно быть, говорит правду, – сказал Санчо, – так как если все случившееся с ним случилось путем волшебства, быть может то, что нам кажется час, там кажется словно три дня и три ночи.

– Так оно, должно быть, и есть, – ответил Дон Кихот.

– И вы, ваша милость, сеньор мой, ели что-нибудь во все это время? – спросил двоюродный брат.

– Ни одной крохи не было у меня во рту, – ответил Дон Кихот, – и я и не был голоден, даже и не думал им быть.

– А очарованные едят? – спросил двоюродные брат.

– Не едят, – ответил Дон Кихот; – они и не имеют твердых испражнений,

хотя полагают, что у них растут ногти, борода и волосы.

– Быть может, очарованные спят, сеньор? – спросил Санчо.

– Конечно нет, – ответил Дон Кихот, – по крайней мере в те три дня, которые я провел с ними, никто из них не закрыл глаза, также как и я.

– Сюда как раз кстати, – сказал Санчо, – подходит пословица: скажи мне с кем ты водишься, и я скажу тебе, кто ты такой. Ваша милость водилась с очарованными, которые не едят и не спят, и что же тут удивительного, если вы не ели и не спали, пока были в их обществе? Но простите мне, ваша милость, сеньор мой, если я скажу, что из всего, что вы нам сообщили, побрал бы меня Бог, – только что хотел сказать, побрал бы меня черт, – я ни одному слову не верю.

– Как не верите! – воскликнул двоюродный брат. – Неужели же сеньор Дон Кихот лжет? Если б даже он и захотел это сделать, у него не было бы времени избрести и сочинить этот миллион лжи.

– Я и не думаю, чтобы мой господин лгал, – ответил Санчо.

– А если нет, что же ты думаешь? – спросил Дон Кихот.

– Я думаю, – ответил Санчо, – что этот Мерлин или эти волшебники, которые очаровали всю ораву, о которой ваша милость говорит, будто вы ее видели и разговаривали с ними там внизу, начинили вам голову или память всеми этими пустяками, которые вы нам рассказали, и всем тем, что вам еще осталось рассказать.

– Все это могло бы быть, Санчо, – ответил Дон Кихот, – но этого не было, потому что то, что я рассказал, я видел моими собственными глазами и осязал моими собственными руками. Но что скажешь ты, когда я сообщу теперь, что среди бесчисленного множества других

вещей и чудес, которые мне показывал Монтесинос (и которые я на досуге и в свое время расскажу тебе в продолжение нашего путешествия, потому что не все они здесь уместны), он указал мне на трех крестьянок, скакавших и прыгавших как козы по восхитительным тем лугам? Едва я взглянул на них, как в одной из них узнал Дульсинею Тобосскую, а в остальных двух – тех самых крестьянок, которые сопровождали ее и с которыми мы говорили при выезде из Тобосо. Я спросил Монтесиноса, знает ли он их? Он мне ответил, что нет, но предполагает, что, должно быть, это какие-нибудь знатные очарованные сеньоры, потому что они лишь несколько дней тому назад появились на этих лугах, и чтобы я не удивлялся этому, так как и многие другие очарованные сеньоры прежних и настоящих времен находятся здесь в разных и странных образах и в числе их он узнал королеву Хиневру и ее дуэнью Кинтаньону, которая наливала вино Ланселоту, когда он вернулся из Бретаньи.

Когда Санчо Панса услышал, что господин его говорит таким образом, ему казалось, что он или сойдет с ума, или умрет от смеха, так как, зная правду относительно мнимого очарования Дульсинеи, – дело, в котором он разыграл роль чародея и единственного свидетеля – он окончательно понял, что господин его несомненно не в своем уме и в полном смысле слова сумасшедший. Итак он сказал ему:

– При плохих обстоятельствах, в еще худшее время и в злосчастный день вы, милость ваша, дорогой хозяин мой, спустились вниз, в другой мир и в недобрую минуту встретились там с сеньором Монтесиносом, который нам вернул вас в таком измененном виде. Здесь у нас ваша милость была в полном своем рассудке, каким вам его дал Бог, и вы го-

ворили изречения и давали советы на каждом шагу, не то что теперь, когда вы рассказываете величайшие бессмыслицы, какие только можно вообразить себе.

– Так как я тебя знаю, Санчо, – сказал Дон Кихот, – я не обращаю внимания на твои слова.

– Как и я на слова вашей милости, – возразил Санчо, – хотя бы вы и побили меня или убили за то, что я сказал или еще скажу, если вы не исправите или не измените свои. Но скажите мне, милость ваша, теперь, когда мы с вами в мире, как и почему вы узнали сеньору, нашу госпожу? И если вы с нею разговаривали, что она вам сказала и что ответила вам?

– Узнал я ее потому, – заявил Дон Кихот, – что на ней была та же одежда, как и тогда, когда ты мне ее показал. Я заговорил с ней, но она не ответила мне ни слова, напротив, обернулась ко мне спиной и так быстро убежала, что ее не настигла бы и стрела. Я хотел догнать ее и сделал бы это, если бы Монтесинос не посоветовал мне не давать себе такого труда, так как он будет напрасным, тем более, что приближался час, когда я должен был выйти из пещеры. Он сказал мне также, что с течением времени мне будет сообщено, как снять чары с него, Белермы, Дурандарте и всех тех, которые там находились. Но больше всего огорчило меня из тех вещей, которые я там видел и подметил, то, что, пока Монтесинос мне это говорил, вдруг незаметно для меня подошла одна из двух спутниц несчастной Дульсинеи и с глазами, полными слез, тихим и печальным голосом сказала: «Моя сеньора Дульсинея Тобосская целует руки вашей милости, просит милость вашу сообщить, как вы себя чувствуете, и, будучи в большой нужде, вместе с тем умоляет вашу милость самым неотступным образом, не сообразоволив ли вы дать ей взаймы под залог вот этой канифасовой

новой юбки, которая у меня в руках, полдюжины реалов, или сколько у вас при себе найдется, потому что она дает слово вернуть вам их как можно скорее». Подобное послание удивило и смутило меня, и, обратившись к сеньору Монтесинос, я спросил его: «Возможно ли, сеньор Монтесинос, чтобы очарованные знатные сеньоры терпели нужду?». – На это он ответил мне: «Поверьте, милость ваша, сеньор Дон Кихот Ламанчский, то, что называют нуждой встречается всюду, распространяется на всех, застигает всех и не щадит и очарованных, а раз сеньора Дульсинея Тобосская посылает просить эти шесть реалов и дает залог, который по-видимому, стоит того, вам остается только послать ей деньги, так как не подлежит сомнению, что она находится в очень стесненном положении».

«Залога я не возьму, – ответил я, – но не могу дать и того, что она просит, потому что у меня всего четыре реала». И я отдал ей эти последние (это были те самые, что ты, Санчо, дал мне на днях, чтобы подать милостыню бедным, которых мы встретим на дороге), и сказал: «Сообщите, друг мой, вашей сеньоре, что я огорчен до глубины души ее стесненным положением и желал бы быть Фукаром¹, чтобы помочь ей, и прошу передать, что я не могу и не должен чувствовать себя здоровым, когда я лишен возможности

наслаждаться лицезрением ее и ее рассудительным разговором, и что я, как можно настоятельнее, умоляю милость ее, не будет ли ей благоугодно дозволить повидаться с нею и приветствовать ее этому пленному ее слуге и истомленному дорогой рыцарю? Скажите ей также, что, когда она меньше всего будет этого ждать, она услышит, что я дал клятву и обет подобный тому, который дал маркиз Мантуанский, желая отомстить за племянника своего Бальдуина, когда он его нашел умирающим в горах, – а именно, он клялся не есть хлеба на скатерти, со многими пустяковинами, которые он добавил к этому, пока не отомстит за него. И так поступлю и я: не дам себе покоя и объезжу все семь частей света, более старательно, чем это сделал инфант дон Педро Португальский², пока я не сниму с нее очарования.

«Все это и еще более того, милость ваша обязана сделать для моей сеньоры, – ответила мне девушка» и, взяв четыре реала, вместо того чтобы сделать мне реверанс, она сделала прыжок в воздух ровно в два аршина вышины.

– Святой Боже, – громким голосом воскликнул тогда Санчо, – возможно ли, чтобы нечто такое происходило на свете, и волшебники и волшебства имели такую силу, чтобы здравый ум моего господина превратился в столь нелепое

¹ Фуггеры – по испански Fucages – были Ротшильды того времени. Родом из Швейцарии, они основались в Аугсбурге в середине 15 века и были очень влиятельными и значительными банкирами и финансистами. Подобно Медичи они оказывали покровительство искусству и литературе. Они помогали Карлу V в его войнах, и были приглашены им открыть отделение своего дома и в Испании. Здесь им были даны богатые монополии, например, серебряные руды в Орнатосе и Гадалканале, ртутные в Альмадене и др. Но два самых известных из семьи этой в Испании были Маркос и Кристоаль Фукар, по имени которых названа улица в Мадриде, где они жили. Богатство Фукаров сделало имя их нарицательным: быть Фукаром означало то же, что быть Крезом.

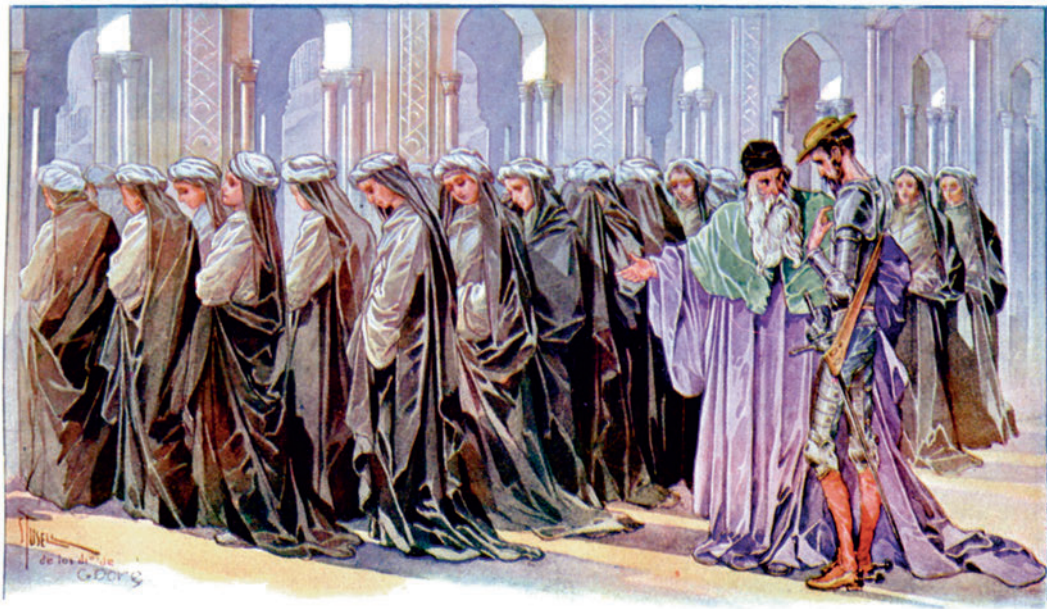
² Дон Педро Португальский, брат Энрико Мореплавателя, в 1424 г. отправился в путешествие и посетил все известные тогда государства Востока. Книга о его путешествии была переведена на испанский в 1595 г.

безумие? О, сеньор, сеньор, именем Бога прошу вас, подумайте о себе, милость ваша, придите в себя ради своей чести и не верьте в этот вздор, который расстроил и расслабил вам рассудок.

— Оттого что ты, Санчо, меня очень любишь, ты так и говоришь, — сказал Дон Кихот, — и так как ты неопытен в де-

лах мира, всякая вещь, сопряженная с затруднениями, кажется тебе невозможной. Но настанет время, как я уже говорил, и я скажу тебе кой-что из того, что я видел там внизу, и из-за этих вещей ты поверишь и тому, что я теперь рассказал, и истина которых не подлежит ни возражению, ни оспариванию.





Глава XXIV

В которой рассказывается тысяча незначительных вещей, столь же нелепых, как и необходимых для истинного понимания этой великой истории.

Tот, кто перевел эту великую историю с подлинника той, которую написал ее первый автор, Сид Амет Бененхели, говорит, что, дойдя до главы о приключениях в пещере Монтесинос, он на полях ее нашел написанные собственноручно Аметом следующие слова:

«Я не в состоянии понять и не могу убедить себя, чтобы с доблестным Дон Кихотом произошло точь-в-точь все то, что написано в предшествующей главе. Причина та, что все до того случившиеся с ним приключения были возможны и правдоподобны, но в этом приключении в пещере я не вижу ни малейшего повода считать его истинным, так далеко заходит он за все пределы здравого смысла. А думать, что Дон Кихот солгал, раз он был самым правдивым идальо и самым

благородным рыцарем своего времени, мне невозможно, так как он не сказал бы лжи, хотя бы его и изрешетили стрелами. С другой стороны, я принимаю в соображение, что он рассказал и передал свою историю со всеми упомянутыми выше подробностями и что в такое короткое время он не мог сочинить столь великое множество нелепостей, и если это приключение кажется апокрифическим, вина в том не моя. Итак, не утверждая, истина ли это или ложь, я записываю его. Ты же, читатель, будучи умным, рассуди все сам, как тебе лучше покажется, — а я и не должен и не могу сделать большего, хотя считают за достоверное, что перед кончиной и смертью своей Дон Кихот отрекся от приключения в пещере и сказал, что он выдумал его, так как ему казалось, что оно и соответствует и хорошо подходит к приключениям, о которых он

читал в рыцарских книгах». И он продолжает, говоря:

Двоюродного брата изумили, как дерзость Санчо Пансы, так и терпение его господина, и он решил, что удовольствие, доставленное рыцарю лицемерием сеньоры Дульсинеи Тобосской, хотя и очарованной, привело его в то мягкое расположение духа, которое он тогда выказал, потому что, если бы не это, Санчо наговорил ему такие слова и речи, за которые его следовало бы измолоть палками, так как действительно двоюродному брату показалось, что Санчо уже слишком дерзок со своим господином, и он обратился к этому последнему с следующими словами:

– Я, сеньор Дон Кихот Ламанчский, считаю день, проведенный с вашей милостью, как нельзя лучше употребленным, так как я приобрел в это время четыре вещи: первое – я познакомился с вашей милостью, что считаю величайшим для себя счастьем; второе – я узнал, что заключает в себе пещера Монтесинос с превращениями Гадияны и лагун Рюидера, а это мне очень пригодится для *«Испанского Овидия»*, которым я теперь занят; третье – я узнал о древности карт, которые, по меньшей мере, были в употреблении уже во времена императора Карла Великого, как это можно вывести из слов, по вашему рассказу произнесенных Дурандарте, когда после долгой речи, обращенной к нему Монтесиносом, он проснулся, говоря: *«терпение и перетасуйте карты!»*. Этим словам и выражениям он не мог научиться, когда был очарован, а лишь раньше, когда он им не был, живя во Франции и в эпоху

упомянутого Карла Великого. Указание это как нельзя более кстати подходит мне для другой книги, которую я теперь пишу, именно: *«Дополнения к Вергилию Полидору об изобретениях в древности»*; и я думаю, что в своей книге он позабыл написать о картах, что я теперь и сделаю, и это будет иметь большое значение, тем более, что я могу сослаться на такой почтенный и достоверный авторитет, как сеньор Дурандарте. В четвертых – я узнал с достоверностью о происхождении реки Гадияны, до сих пор неизвестной никому из людей.

– Вы правы, милость ваша, – сказал Дон Кихот, – но я желал бы знать, если с помощью Божью вы получите разрешение печатать эти книги – в чем я сомневаюсь – кому думаете вы их посвятить?

– В Испании есть и вельможи и гранды, которым можно будет посвятить их, – сказал двоюродный брат.

– Немного их, – ответил Дон Кихот, – и не потому, чтобы они этого не заслуживали, а потому, что они неохотно соглашаются принимать посвящения, чтобы не обязывать себя признательностью, на которую как будто имеют право рассчитывать авторы книг за свой труд и учтивость. Одного принца я знаю, который мог бы возместить недостаток остальных в такой полной мере, что, если бы я решился сказать в какой, быть может, я пробудил бы зависть более, чем в четырех великодушных сердцах¹. Но оставим это до другого более благоприятного времени, и давайте лучше искать, где нам приютиться сегодня на ночь.

– Недалеко отсюда, – сказал двоюродный брат, – есть скит, в котором

¹ По-видимому, здесь намек на графа де Лемоса, которому Сервантес посвятил вторую часть *Дон Кихота*, как и ранее свои *«Novelas Exemplares»*, хотя щедрость графа по отношению к Сервантесу и не была особенно велика, тем не менее, покровительство, оказанное ему им, было достаточно, чтобы возбудить зависть в некоторых его друзьях и соперниках, как, например, в братьях Архенсола.

живет пустынник; прежде, как говорят, он был солдатом. Его считают добрым христианином и, сверх того, умным и обязательным человеком. Рядом со скитом у него маленький домик, который он построил на собственные средства, и хотя этот дом очень маленький, все же он может вместить в себя гостей.

– Не держит ли, быть может, этот отшельник кур? – спросил Санчо.

– Редко кто из отшельников не держит их, – ответил Дон Кихот, – потому что нынешние не таковы, какими были жившие в египетских пустынях, которые одевались в пальмовые листья и ели дикие коренья. Но незачем выводить заключение, будто, говоря хорошо об одних, я порицаю других, а я имел в виду лишь сказать, что нынешние послушания во многом уступают суровости и строгости тогдашних. Но тем не менее все отшельники очень хороши, – по крайней мере, я их считаю хорошими, – и даже толкуя в самую худшую сторону, менее зла делает лицемер, притворяющийся добрым, чем открытый грешник.

Пока они так разговаривали, они увидели пешехода, который шел по направлению к ним, и, быстро шагая, бил палкой мула, нагруженного кольями и алебардами. Поравнявшись с ними, он поклонился и прошел дальше. Дон Кихот сказал ему:

– Остановитесь, добрый человек, так как, по-видимому, вы спешите больше, чем это нужно вашему мулу.

– Я не могу останавливаться, сеньор, – ответил тот человек, – потому что оружие, которое, как вы видите, я везу, должно пойти в дело завтра же; итак, я вынужден спешить. Прощайте. Если же вы желали бы знать, зачем я везу оружие, на постоялом дворе, несколько дальше этого скита, я намерен ночевать сегодня, и если вы едете по той же самой дороге,

вы меня найдете там, где я и расскажу вам всякие чудеса. Еще раз прощайте!

И он так поспешно погнал мула, что Дон Кихот не имел времени спросить, какие это чудеса он собирается рассказать им; и так как он был несколько любопытен, и им всегда владело желание узнать новые вещи, он распорядился тотчас же ехать с тем, чтобы провести ночь на постоялом дворе, не заезжая к отшельнику, у которого желал остановиться двоюродный брат.

Так и сделали, – все сели верхом и втроем направились по прямой дороге к постоялому двору, куда они и приехали незадолго перед наступлением ночи. По дороге двоюродный брат предложил Дон Кихоту заехать к пустыннику выпить глоток вина. Едва услышал Санчо об этом, как уже и повернул туда Серого, и тоже самое сделали и Дон Кихот и двоюродный брат. Но злая судьба Санчо так устроила, что отшельника не было дома; по крайней мере это объявила служанка-отшельница, которую они застали в ските. Они попросили у нее дорогого вина, а она ответила, что ее господин не имеет его; если же они желают дешевой воды, она даст им ее очень охотно.

– Если б мне доставило удовольствие пить воду, – ответил Санчо, – по дороге есть колодцы, где бы я удовлетворил это желание. О, свадьба Камачо и обилие в доме дона Диго, сколько раз придется мне вспоминать вас!

После этого они уехали из пустыни, направляясь к постоялому двору, и вскоре встретили по дороге юношу, который шел впереди них, не очень спеша, так что они его догнали. Он нес на плече шпагу, а на ней висел узел или сверток, по-видимому с его платьем, и, как казалось, там у него были штаны или широкие панталоны, короткий плащ и несколько рубашек. На нем был надет бархатный

камзол, кой-где потертый, а из-под него была выпущена рубашка. Чулки были шелковые, башмаки с четырехугольными носками по столичной моде. Лет юноше можно было дать восемнадцать или девятнадцать, лицо веселое, ловкий и поворотливый на вид, он шел, распевая сегодилы¹, чтобы разогнать скуку одинокой дороги. Когда они подъехали к нему, как раз он кончал песенку, которую двоюродный брат заучил наизусть, и, как говорят, в ней было следующее:

Гонит на войну меня
Бедность и нужда, –
Были б деньги в кошельке
Не пошел бы никогда.

Первый, который заговорил с ним, был Дон Кихот, сказавший ему:

– Очень налегке путешествуете вы, милость ваша, сеньор щеголь. Куда вы идете? Сообщите нам, если на то будет у вас охота.

Юноша ответил:

– Путешествую так налегке из-за жары и бедности, а иду я на войну.

– Как так из-за бедности? – спросил Дон Кихот, – из-за жары – это еще понятно.

– Сеньор, – ответил юноша, – я несу в этом узле бархатные панталоны, парные к моему камзолу; если бы я их испортил в дороге, то не мог бы надеть их в городе, а купить другие мне не на что. Итак, по этой вот причине, и чтобы освежиться, иду я в таком виде, пока не доберусь до некоторых пехотных рот, менее чем в двенадцати милях отсюда, в которые я и запишусь солдатом, а оттуда уже не будет недостатка в способах передвижения до места отплытия нашего, которое, как слышно, будет в Карфаген. Я желаю лучше иметь господином и повелителем

своим короля и служить ему на войне, чем служить какому-нибудь скряге при дворе.

– Ваша милость получает, быть может, какую-нибудь добавочную стипендию? – спросил двоюродный брат.

– Если бы я служил испанскому гранду или высокопоставленному лицу, – ответил юноша, – я бы непременно получал ее. В этом и заключается выгода службы у такого рода лиц, что из пажей попадешь сразу в поручики или в капитаны, или же получаешь хорошее содержание. Но я, несчастный, служил всегда у искателей мест и у разного прошлого люда, получая такое жалкое и ничтожное вознаграждение, что половина его уходила на уплату за один накрахмаленный воротник и было бы чудо, если бы паж-искатель приключений мог бы добиться хоть какой-нибудь удачи.

– Но, скажите мне, Бога ради, друг, – спросил Дон Кихот, – неужели за все годы вашей службы пажем вы не могли нажить себе хоть ливрею?

– Мне давали их две, – ответил паж, – но, как отнимают рясю у того, кто бросает монастырь, не дав монашеского обета, и возвращают ему собственное платье, так и мне господа мои возвращали мою прежнюю одежду, лишь только кончались дела, из-за которых они приезжали в столицу, потому что они тотчас же уезжали домой и увозили с собой и ливрею пажа, в которую наряжали его только из тщеславия.

– Замечательная *espilocheria*², как говорят итальянцы, – сказал Дон Кихот, – но, тем не менее, я считаю за счастье, что вы оставили двор с таким хорошим намерением, как ваше, потому что нет на свете ничего более почетного и более выгодного, как прежде всего служить Богу,

¹ Испанские песенки.

² *Spilorceria* – скряжничество, скарденность по итальянски.

а затем своему королю и природному повелителю, в особенности же в военной профессии, которою достигают если не большего богатства, то, по крайней мере, большей чести, чем занимаясь словесными науками, как я это уже не раз говорил; потому что, хотя словесные науки приводили чаще к благосостоянию и майоратам, чем оружие, все-таки оружие имеет в себе, не знаю, что-то такое, что ставит его выше словесных наук, и сопровождается, не знаю, каким-то, что ли, блеском, исходящим из него и возвышающим его над всем остальным. А то, что я сейчас собираюсь вам сказать, сохраните в своей памяти, так как оно принесет вам много пользы и поддержит в ваших трудах, – именно: изгоните из ваших мыслей представление о разных злополучьях, которые могут приключиться с вами, так как худшее из них – смерть, а если смерть почетная, то лучшая из всех вещей умереть. Спросили у Юлия Цезаря, этого доблестного Римского Императора, какая смерть наилучшая? Он ответил, что неожиданная, внезапная и непредвиденная, – и хотя он ответил как язычник и человек лишенный познания истинного Бога, тем не менее, он хорошо сказал, говоря, что пренебрегает чувством человеческого страха; так как, допустив, что вас в первой стычке или атаке убьют пушечным ли выстрелом или взрывом мины, что ж – всем придется умереть, и делу конец. А по Теренцию, солдату куда лучше пристало умереть на поле битвы, чем бежать, оставшись живым и невре-

димым; и тем больше приобретет чести добрый солдат, чем больше он окажет послушания своему ротному или тому, кто будет начальствовать над ним. И обратите внимание, сын, что для солдата почетнее пахнуть порохом, чем мускусом, и что если старость застигнет вас в этой профессии, хотя и покрытого ранами, изувеченного и без ног, то, по крайней мере, при вас будет честь, и такая честь, которую и бедность не может умалить; тем более, что теперь уже принимаются меры и прилагаются заботы к тому, чтобы старые и изувеченные солдаты были пристроены, и их участь облегчена¹, так как нехорошо, чтобы с ними поступали как поступают те, которые освобождают и отпускают на волю своих негров, когда они стары и не могут больше служить, и выгоняя их из дому с именем свободных людей, делают из них рабов голода, от которого они не могут освободиться до своей смерти. Теперь не скажу вам больше ничего, но садитесь на круп этой моей лошади, пока мы не доедем до постоялого двора, где вы поужинаете со мной, а завтра вы будете продолжать свой путь, и дай вам Бог столько благополучия, как того заслуживают ваши намерения.

Паж отказался от приглашения сесть позади Дон Кихота на его лошадь, но не отказался от приглашения поужинать вместе с ним на постоялом дворе и тогда Санчо, говорят, сказал про себя:

– Помоги мне, Боже! Вот так сеньор у меня! Возможно ли, чтобы человек, который в состоянии сказать так мно-

¹ Это лишь горькая ирония, так как никакого призрения старых и увечных солдат не было в Испании во времена Сервантеса, а до этого додумались там лишь только полтора века спустя после смерти Сервантеса. В царствование Филиппа II и его сына, Испания была переполнена нищими, старыми и увечными солдатами, которым давали отставки, не давая пенсий. В 1598 г. доктор Христобал Эррера, главный врач испанских галер, тщетно подавал петиции, указывая на зло существующего порядка вещей и на бедствие тех, которые были ранены и изувечены на службе своему отечеству. Хотя кортесы и поддерживали это предложение Эррера, но король не дал своего согласия.

го и такие хорошие вещи, как он сейчас говорил, сообщал бы, будто он видел невозможные нелепости, какие он рассказывает о пещере Монтесинос? Хорошо, хорошо, время все покажет!

Когда уже стало смеркаться, они доехали до постоялого двора, и Санчо не без удовольствия увидел, что его сеньор принимает на этот раз постоялый двор именно за то, что он и был, а не за замок, как

он это обыкновенно делал. Не успели они войти на постоялый двор, как Дон Кихот тотчас же спросил хозяина про человека с кольями и алебардами. Хозяин ответил, что этот человек в конюшне и заботится там о своем муле. Тоже сделали и двоюродный брат и Санчо, которые отвели своих животных в конюшню, предоставив в ней Росинанту лучшее стойло и лучшее место.





Глава XXV

В которой сообщается о приключении с ослиным ревом и о забавном приключении с хозяином театра марионеток, также как и о замечательных предсказаниях обезьяны-отгадчицы.

Дон Кихот не давал испечься хлебу¹, как принято говорить, и не мог дожидаться, пока не услышит и не узнает о чудесах, рассказать которые обещал человек, везший оружие. Он отправился искать его туда, где по словам хозяина тот находился, и, увидав его, попросил тотчас же сообщить ему все, что он обещал, когда он его спрашивал дорогой. Человек ответил:

– Так спешно и стоя на ногах, не могу рассказать вам об обещанных чудесах. Позвольте мне, милость ваша, добрый мой сеньор, задать корм животному

моему и тогда я сообщу вам вещи, которые вас удивят.

– Это нас долго не задержит, – сказал Дон Кихот, – потому что я помогу вам во всем.

И он так и сделал: просеял ему ячмень и вычистил ясли, – любезность, побудившая человека рассказать с большой охотой то, о чем его просили. Крестьянин сел на каменную скамейку, Дон Кихот рядом с ним, и, имея перед собой аудиторию и сенатом двоюродного брата, пажу, Санчо Пансу и хозяина, рассказчик начал так:

– Знайте же, милости ваши, что в местечке, отстоящем на четыре с по-

¹ No se le socia el ran – общеупотребительное испанское выражение, означающее сильное нетерпение.

ловиной мили от этого постоянного двора, случилось, что у местного рехидора¹, вследствие лукавства и обмана одной его служанки (рассказывать это длинная история), пропал осел; и хотя рехидор этот употребил всевозможные усилия, чтобы отыскать его, но осла не нашли.

Прошло недели две по общему голу су и молве, как пропал осел, когда потерпевший пропажу рехидор стоял на площади, и другой рехидор из того же местечка сказал ему: – Дайте мне, кум, награду: ваш осел появился. – Дам вам ее с удовольствием, кум, и хорошую, – ответил рехидор, – но скажите, где появился мой осел? – В лесу на горе, – ответил кум, нашедший осла. – Сегодня утром я видел его там без вьючного седла или какой бы то ни было сбруи, и был он такой худой, что одна жалость была смотреть на него. Хотел я его взять и привести к вам, но он до того одичал, что когда я подошел к нему, он убежал и скрылся в самой чаще леса. Если желаете, чтобы мы пошли с вами вдвоем искать его, дайте мне только отвести эту ослицу домой и я сейчас же вернусь. – Вы мне окажете большое одолжение, – ответил хозяин пропавшего осла, – и я постараюсь отплатить вам той же монетой. – Со всеми этими подробностями и совершенно так же, как я вам это рассказываю, рассказывают это дело и все те, которые хорошо о нем осведомлены.

Словом, оба рехидора, пешком, взяв друг друга под руку, отправились в лес; но дойдя до того места и урочища, где они надеялись найти осла, они там не нашли его, и он не показывался нигде в тех местах, сколько они не искали. Итак, убедившись, что он не появляется, рехидор, который его видел, сказал другому: – Слушайте, кум, мне пришла в голову мысль, благодаря которой мы

непрерывно отыщем это животное, хотя бы оно сокрылось даже в недрах земли, а не то что в чаще лесистых гор. Дело в том, что я умею изумительно хорошо кричать по ослиному и, если и вы умеете это хоть сколько-нибудь, считайте, что дело наше сделано. – Хоть сколько-нибудь, говорите вы, кум, – отозвался другой рехидор, – клянусь Богом, я в этом искусстве не уступаю никому, даже самим ослам. – Сейчас увидим это, – объявил другой рехидор, – так как я вот что придумал: вы идите по одной стороне леса, а я по другой, так что мы обойдем и исследуем его всего, и время от времени вы закричите по-ослиному, и я сделаю то же самое; и не может быть, чтобы осел нас не услышал и не ответил нам, если он только здесь, в лесу. – На это хозяин пропавшего осла ответил: – Право, кум, скажу, что ваша выдумка превосходна и вполне достойна большого вашего ума.

Когда оба они по уговору разошлись в разные стороны, случилось так, что почти в одно и то же время, и тот и другой заревел по ослиному, и каждый из них, введенный в заблуждение криком другого, побежал искать осла, думая, что это он кричит, а встретившись, потерявший осла сказал: – Возможно ли, кум, что это не осел мой кричал? – Нет, это я кричал, – ответил тот. – Теперь я скажу, – объявил хозяин пропавшего осла, – что между вами, кум, и ослем нет никакой разницы относительно ослиного рева, потому что в жизни своей я не видел и не слышал ничего более похожего. – Эти похвалы и лестные отзывы, – ответил изобретатель выдумки, скорее заслужены вами и приличествуют вам, кум, чем мне, так как, клянусь Богом, создавшим меня, вы вдвое лучше всякого опытного и превосходного ревуна по ослиному во всем мире, потому что звук у вас высокий, тон

¹ Старшина, член городского управления.

полный и в такт, переливы частые и быстрые, словом, я признаю себя побежденным, передаю вам пальму первенства и знамя этого редкостного искусства. – Теперь скажу, – ответил хозяин осла, – что отныне впредь я возгоржусь и буду думать: и я кой-что значу, потому что у меня есть талант, так как, хотя я и знал, что реву хорошо, я никогда не думал, что достигаю такого совершенства, как вы говорите. – Я скажу теперь также, – ответил второй, – что есть на свете редкостные способности, пропадающие даром, и напрасно наделены ими те, которые не умеют извлекать из них пользы. – Наши способности, – ответил хозяин осла, – исключая разве лишь такие случаи, как сейчас, не могут нам пригодиться в других случаях, и дай только Бог, чтобы мы на этот раз извлекли из них пользу. – Сказав это, они опять разошлись и занялись ревом, на каждом шагу вводя друг друга в заблуждение и опять встречаясь, пока не условились, что будут по два раза к ряду реветь, чтобы знать, что это ревут они, а не осел. Итак, издавая на каждом шагу двойной рев, они обошли всю гору, но пропавший осел ни разу не отозвался, ни едином даже знаком. И как же бы он мог, бедный и погибший, отозваться, если они нашли его в самой густой чаще леса съеденного волками? Увидав это, его хозяин сказал: – А я-то удивлялся, что он не откликается, так как, если бы он был жив, он непременно бы откликнулся, услышав нас, иначе он не был бы ослом. Но я вознагражден за весь труд, потраченный на розыски его, хотя я и нашел его мертвым, услышав, как вы хорошо ревете, кум. – Это не диво, кум, – ответил другой, – ведь, если игумен хорошо поет, и монашек от него не отстают. – После того, огорченные и охрипшие, они вернулись в свою деревню, где рассказа-

ли друзьям, соседям и знакомым о том, что с ними случилось во время поисков осла, причем каждый превозносил умения другого реветь по-ослиному. Все это скоро узналось и распространилось по окрестным селам, а дьявол, который не спит, – так как он любит сеять и разбрасывать, где только может, ссоры и раздор, разнося ветром клевету и из ничего создавая химеры, – устроил и сделал так, что жители других деревень, увидав кого-нибудь из нашего местечка, начинали реветь по-ослиному, давая нам как бы пощечину ослиным ревом наших рехидоресов. Это переняли и мальчики, что равнялось тому, как если б оно попало в руки и уста всем дьяволам в аду, и ослиный рев стал распространяться из деревни в деревню до такой степени, что жителей деревни ослиного рева все так же знают, как знают и отмечают белых от негров. Последствия несчастной этой шутки дошли до того, что уже много раз осмеянные выходили вооруженные и в замкнутых рядах сражаться против насмешников, и удержать их от этого не может ни король, ни Роке¹, ни страх, ни стыд. Завтра или в другой ближайший день, мне думается, что жители моего села, то есть села ослиного рева, выйдут сражаться против жителей другого села, отстоящего от нашего на две мили; это одно из тех, где больше всего нас преследуют, – и чтобы мы были хорошо снаряжены, я и везу купленные нами копья и алебарды, которые вы видели. Вот те чудеса, о которых я говорил, что расскажу вам о них, и если они вам не показались такими, других я не знаю. – И этим добрый человек закончил свою речь.

Тут как раз вошел в дверь постоялого двора человек, весь одетый в замшу – чулки, панталоны и камзол – и громким голосом спросил:

¹ Ni Rey ni Roque – общеупотребительное испанское выражение.

– Сеньор хозяин, найдется у вас местечко? К вам просятся ночевать отгадчица-обезьяна и театр с представлением освобождения Мелисендры.

– Клянусь моим телом, – сказал хозяин, – вот и сеньор маэсе Педро: нас ждет веселый вечер.

Я забыл сказать, что у этого маэсе Педро левый глаз и почти вся половина левой щеки были закрыты пластырем из зеленой тафты, – знак, что, должно быть, вся эта сторона лица у него болела.

– Добро пожаловать, милость ваша, сеньор маэсе Педро, – продолжал хозяин. – Где же ваша обезьяна и театр марионеток, что я не вижу их?

– Они подъедут сейчас, – сказал человек одетый в замшу. – Я пошел вперед узнать, найдется ли для нас место.

– Я бы отказал самому герцогу Альба, чтобы очистить место сеньору маэсе Педро, – ответил хозяин. – Пусть является обезьяна и театр, так как сегодня у меня на постоялом дворе приезжие, которые заплатят за представление и за искусство обезьяны.

– В добрый час, – ответил тот с пластырем. – Я сбавлю цену и буду считать, что мне хорошо заплатили, если окупятся мои расходы, и я сейчас пойду и прикажу ехать сюда тележке, где у меня обезьяна и театр. – С этими словами он ушел из постоялого двора. Тогда Дон Кихот спросил хозяина, кто такой этот маэсе Педро и что за театр и обезьяна у него? На это хозяин ответил:

– Маэсе Педро – знаменитый марионеточный актер, уже давно разъезжающий по Арагонской Ламанче, показывая марионеточное представление Мелисендры, освобожденной доблестным доном Гаиферосом. Это представление – одно из самых занимательных и наилучше разыгранных, какие за многие годы видели в нашей части королевства. Вместе с тем,

маэсе Педро имеет при себе обезьяну, одаренную самыми редкими качествами, которые когда-либо встречались у обезьян или которые можно вообразить себе и у людей, потому что, когда у этой обезьяны спрашивают что-нибудь, она внимательно прислушивается к вопросу и тотчас же, вскочив на плечо своему хозяину, говорит ему на ухо ответ на то, что у нее спросили, а маэсе Педро тотчас же повторяет громко сказанное ему обезьяной. О прошлом она говорит больше, чем о будущем, и хотя не всякий раз и не всегда попадает верно, все же по большей части она не ошибается, так что уж мы начинаем думать, не сидит ли в ней Дьявол. Два реала цена за каждый ответ, если обезьяна ответит, я хочу сказать, если ответит за нее ее хозяин после того, как она пошепчет ему что-то на ухо. Вот почему и думают, что этот маэсе Педро очень богат; он *galantuomo*, как говорят в Италии, хороший товарищ и ведет самую приятную в мире жизнь, – болтает за шестерых, пьет за двенадцатерых и все насчет своего языка, своей обезьяны и театра.

В это время вернулся маэсе Педро, а в тележке ехали театр и обезьяна, большая, бесхвостая, с седалищем точно из войлока, но не дурной наружности. Едва Дон Кихот увидел ее, как он ее спросил:

– Скажите мне, милость ваша, сеньора-отгадчица, какую мы рыбу поймает? Что с нами будет? И вот вам мои два реала. – И он приказал Санчо дать эти деньги маэсе Педро, который, отвечая за обезьяну, сказал:

– Сеньор, это животное не отвечает и не дает сведений о будущем; о прошедшем она кой-что знает, а также немного и о настоящем.

– Клянусь вином, – сказал Санчо, – я не дал бы ни гроша, чтобы мне сказали, что со мною было, так как кто же может



Скажите мне, милость ваша, сеньора-отгадчица,
какую мы рыбу поймает? Что с нами будет?

это лучше знать, чем я сам? А платить за то, чтобы мне сказали то, что я сам знаю, – было бы большой глупостью. Но так как обезьяна знает и настоящее, вот мои два реала и скажите мне, сеньора-обезьяночка, что теперь делает жена моя, Тереса Панса, и чем она занята?

Маэсе Педро отказался взять деньги, говоря:

– Я не желаю получать вперед плату, еще не оказав никакой услуги.

Он хлопнул два раза правой рукой по левому плечу, и обезьяна одним прыжком вскочила туда и, приблизив свой рот к уху своего господина, стала поспешно щелкать зубами, проделав это приблизительно в течение времени нужного для прочтения «Credo», а затем одним прыжком соскочила на землю. Тотчас же, с величайшей поспешностью маэсе Педро бросился на колени перед Дон Кихотом и, обняв его ноги, сказал:

– Целую эти ноги совершенно так, как бы целовал два Геркулесовых столба, о, знаменитый воскреситель уже ввергнутого в забвение странствующего рыцарства! О, никогда достаточно, как бы следовало, не превознесенный рыцарь Дон Кихот Ламанчский, защита слабых, поддержка готовых пасть, опора павших, посол и утешение всех несчастных!

Дон Кихот был изумлен, Санчо поражен, двоюродный брат вне себя от удивления, паж ошеломлен, человек с ослиным ревом приведен в недоумение, хозяин двора смущен, и, наконец, все были испуганы, услышав слова хозяина театра, который продолжал таким образом:

– А ты, о, добрый Санчо Панса, лучший оруженосец лучшего в мире рыцаря, радуйся, потому что добрая твоя жена Тереса здорова, и как раз теперь она расчесывает целый фунт льна, и еще в подтверждение скажу тебе, что рядом

с нею стоит кувшин со сломанными краями и в нем достаточное количество вина, которым она развлекается во время работы.

– Этому я охотно верю, – ответил Санчо, – потому что она у меня честнейшая женщина и, если б не была ревнива, я не променял бы ее на великаншу Андандона, которая, по словам господина моего, была очень рассудительная и бережливая хозяйка. А моя Тереса из тех, что ни в чем себе не отказывают, хотя бы и в ущерб своим наследникам.

– Теперь я скажу, – заявил тогда Дон Кихот, – что тот, кто много читает и много путешествует, видит многое и многое узнает. Говорю это потому, что кто бы мог когда-либо уверить меня, что на свете есть обезьяны, которые отгадывают, как я это видел теперь собственными глазами. Ведь, я же действительно и есть тот самый Дон Кихот Ламанчский, о котором говорило это доброе животное, хотя оно слишком распространилось в похвалах мне, но каков бы я ни был, я благодарю небо за то, что оно наделило меня добрым и мягким сердцем, всегда готовым делать всем добро и никому не делать зла.

– Если бы у меня были деньги, – сказал паж, – я спросил бы сеньору обезьяну, что случится со мной в предстоящем мне путешествии?

На это ответил маэсе Педро (который поднялся и не стоял больше на коленях перед Дон Кихотом):

– Я уже говорил, что это маленькое животное не отгадывает будущего; если оно отгадывало бы его, я не посмотрел бы на то, что у вас нет денег, так как, чтобы услужить сеньору Дон Кихоту, здесь присутствующему, я бы отказался от всякой корысти в мире. А теперь, оттого что я в долгу у него, и чтобы сделать ему удовольствие, я расставляю здесь мой

театр марионеток и безвозмездно позабавлю всех находящихся на постоялом дворе.

Услыхав это, хозяин был в высшей степени обрадован и указал место, где можно было расставить театр марионеток, к чему тотчас и было приступлено.

Дон Кихот не очень-то был доволен отгадываньем обезьяны, потому что ему казалось, что обезьяне не подобает отгадывать ни будущее, ни прошедшее; и пока маэсе Педро устанавливал театр, Дон Кихот удалился с Санчо в один из уголков конюшни и здесь сказал ему так, чтобы другие не слышали его:

– Вот что, Санчо, я про себя хорошенько обсудил эту удивительную способность обезьяны, и на мой взгляд господин ее, маэсе Педро, несомненно вошел в договор, подразумеваемый или формальный, с дьяволом.

– Если это наковальня¹, да еще дьявола, – сказал Санчо, – она наверное должна быть очень грязная; но какая же польза этому маэсе Педро держать такие наковальни?

– Ты не понимаешь меня, Санчо, я хотел только сказать, что он вступил в какую-нибудь сделку с дьяволом, чтобы тот одарил его обезьяну этой способностью, благодаря которой он зарабатывает себе хлеб; а сделавшись богатым, он отдаст свою душу демону, на что и рассчитывает этот всеобщий враг человечества. Меня побуждает думать это то, что обезьяна отгадывает только прошедшее и настоящее, а знание дьявола не может простирается дальше этого, так как о будущем он знает лишь только предположительно, и то не всегда, потому что одному Богу принадлежит знать времена

и мгновения, и для Него одного нет ни прошедшего, ни будущего, а все настоящее. Если же это так, как оно на самом деле и есть, – ясно, что обезьяна говорит с помощью дьявола, и я удивляюсь, как еще не донесли на нее священному судилищу, не допросили ее и не вынудили у нее признания, чьей силой она отгадывает; потому что, не подлежит сомнению, что обезьяна эта не астролог, и что ни она, ни ее господин не составляли и не умеют составить тех фигур, которые называются астрологическими,² и теперь в таком всеобщем употреблении в Испании, что нет той горничной, ни пажа, ни чеботаря, который бы не мнил, что он также легко может составить астрологическую фигуру, как поднять с земли упавшего карточного валета, губя свою ложью и невежеством изумительную истину науки. Я знаю сеньору, которая спросила у одного из подобного рода астрологов, затяжелеет и ощенится ли маленькая комнатная собачонка ее, и сколько и какого цвета принесет она щенков? На это сеньор астролог, составив астрологическую фигуру, ответил, что сучка затяжелеет и принесет трех щенков, одного зеленого, другого красного цвета, а третьего пегого, но под тем лишь условием, если эта самая сучка понесет между одиннадцатью и двенадцатью часами дня или ночи и чтобы это пришлось на понедельник или на субботу. Случилось же так, что два дня спустя сучка околела от несваренья желудка, а сеньор отгадчик заручился во всем местечке славой самого сведущего астролога, как это обыкновенно бывает со всеми или с большей частью этих составителей астрологических фигур.

¹ Санчо ошибся в словах *расто* – «договор» и *ratio* – «двор». Конечно, невозможно перевести буквально подобные вещи, а, насколько удастся, приблизительно.

² Соорудить астрологическую фигуру означало поставить гороскоп соответственно с указаниями астрологии или науки звезд, которая была в большом ходу во времена Сервантеса.

– Тем не менее, я бы желал, – сказал Санчо, – чтобы ваша милость велела маэсе Педро спросить свою обезьяну, правда ли то, что приключилось с вашей милостью в пещере Монтесиноса, потому что мне лично кажется, – да простит мне ваша милость, – что это было лишь обман или сонное видение.

– Все может быть, – ответил Дон Кихот, – я сделаю то, что ты мне советуешь, хотя мне, не знаю почему, кажется несколько странным это делать.

Пока они так разговаривали, к ним подошел маэсе Педро, искавший Дон Кихота, чтобы сказать ему, что театр в порядке, и не угодно ли его милости пойти посмотреть на представление, потому что оно того стоит.

Дон Кихот сообщил ему свою мысль и попросил его, чтобы он тотчас же спросил обезьяну относительно некоторых вещей, случившихся с ним в пещере Монтесинос, – приснились ли они ему или это была действительность, так как ему кажется, что тут смесь и того и другого.

Маэсе Педро, не ответив на это ни слова, пошел принести обезьяну и, поставив ее перед Дон Кихотом и Санчо, сказал ей:

– Слушайте, сеньора обезьяна, этот вот рыцарь желает знать, были ли некоторые вещи, случившиеся с ним в пещере, называемой Монтесинос, ложью или истиной. – Затем он сделал обезьяне обычный знак рукой, и она вскочила к нему на левое плечо и как будто сказала ему что-то на ухо, после чего тотчас же маэсе Педро заявил:

– Обезьяна говорит, что часть вещей, виденных вашей милостью в упомянутой пещере или случившихся с нею там ложны, а часть их правдоподобны, и это одно лишь она знает и ничего больше по этому вопросу. Если же ваша милость

желает знать больше, она ответит на все, что вы спросите, в будущую пятницу; так как теперь ее сила иссякла и не вернется до пятницы, как я сказал.

– Не говорил ли я, – воскликнул Санчо, – что я не мог убедить себя, будто все, что вы, милость ваша, сеньор мой, рассказали нам о приключениях с вами в пещере, была правда, хотя бы и наполовину.

– События скажут это, Санчо, – ответил Дон Кихот; – потому что время, разведчик всех вещей, не оставит ни одной, чтобы не вывести ее на свет Божий, хотя бы она была скрыта в недрах земли, а пока довольно об этом, и пойдем смотреть на театр доброго маэсе Педро, так как, мне кажется, этот театр должен заключать к себе нечто новое.

– Как *нечто*, – возразил маэсе Педро, – шестьдесят тысяч новостей заключает в себе этот мой кукольный театр. Говорю вашей милости, мой сеньор Дон Кихот: – это одна из самых достопримечательных вещей, какие только можно видеть на свете в настоящее время, и *operibus credite et non verbis*¹; а теперь займемся делом, потому что становится уже поздно, а нам много надо сделать, сказать и показать.

Дон Кихот и Санчо послушались его и отправились туда, где театр марионеток был уже расставлен, открыт и наполнен со всех сторон зажженными восковыми свечами, которые придавали ему великолепный и блестящий вид.

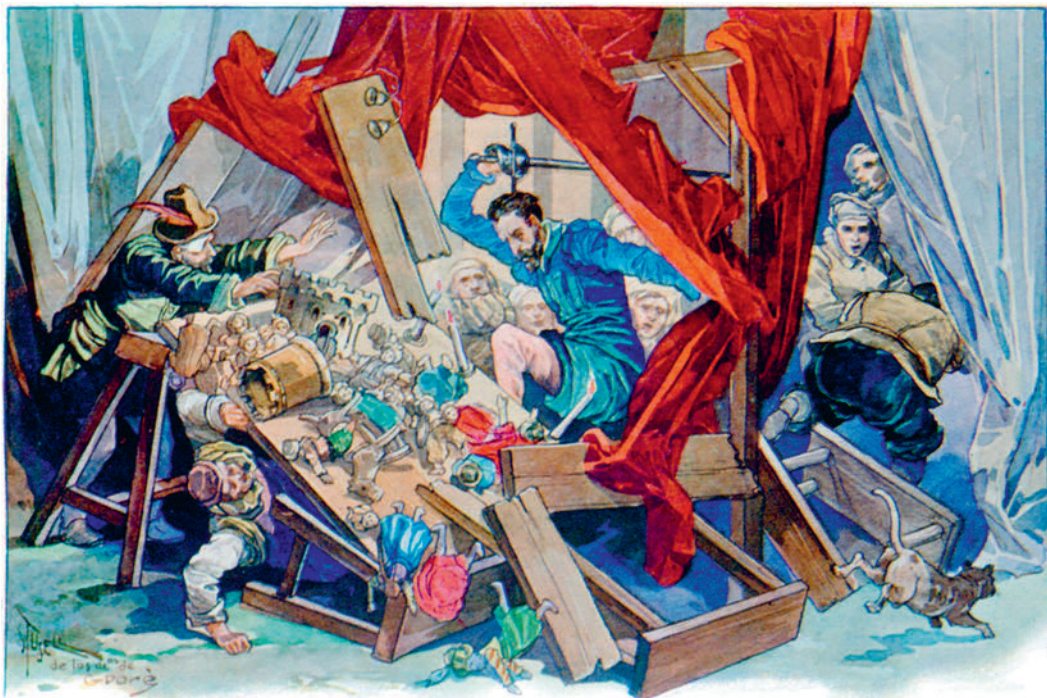
Дойдя до него, маэсе Педро поместился внутри, потому что это он приводил в движение марионеток, а снаружи был поставлен мальчик, слуга маэсе Педро, изображавший собой толкователя и объяснителя тайн этого кукольного театра. В руках он держал палочку, которою указывал на фигуры, когда они

¹ Верьте делам, а не словам

появлялись. После того, как все бывшие на постоялом дворе сели против сцены, а некоторым пришлось стоять, причем Дон Кихот, Санчо, паж и двоюродный

брат заняли лучшие места, толкователь стал говорить то, что услышит или увидит всякий, кто прослушает или прочтет следующую главу.





Глава XXVI

Продолжение забавного приключения с хозяином кукольного театра, а также и другие действительно интересные происшествия.

Все умолкли, тирийцы и троянцы¹, – я хочу сказать, что взоры зрителей марионеточного театра были прикованы к устам толкователя его чудес, как вдруг за сценой раздался звон литавров и труб и громкая артиллерийская пальба². Но все это скоро прекратилось, и тогда мальчик, возвысив голос, сказал:

– Истинная эта история, имеющая быть представленной здесь, перед вами, милости ваши, заимствована из французских хроник и испанских романсов, которые у всех на устах, и поются на ули-

цах старыми и малыми. Здесь идет речь о том, как сеньор дон Гаиферос освободил свою супругу Мелисендру, находившуюся в Испании в плену во власти мавров, в городе Сансуэнья, потому что так назывался тогда город, который теперь называют Сарагосой. Взгляните, милости ваши, вот там дон Гаиферос сидит, играя в шашки³, как о том и говорится в песне:

В игру углубленный – сеньор Гаиферос
Совсем позабыл о своей Мелисендре.

– А это действующее лицо, которое появилось там с короной на голове и скипетром в руках, – император Карл

¹ «Tyrii, Troesque Conticuere omnes, intentique ora tenebant». Начало 2-й песни Энеиды, именно: «Тирийцы и троянцы все замолчали и напряженно насторожили слух».

² Во времена Карла Великого, конечно, не существовало артиллерии – это анахронизм.

³ *Jugando a las tablas*. *Las tablas* была старинная испанская игра – любимое развлечение героев испанских романсов – вероятно, нечто в роде шашек, триктрака, домино и т. д.

Великий, мнимый отец упомянутой Мелисендры, и он, рассердившись при виде праздности и беспечности своего зятя, вышел бранить его, и заметьте, как резко, с какой запальчивостью он это делает, – так и кажется, что сейчас он нанесет ему скипетром полдюжину ударов, и даже есть писатели, которые утверждают, будто он действительно нанес ему удары, и даже очень полновесные. А после того, как он насказал ему много вещей об опасности, угрожающей его чести, если он не постарается вернуть свободу своей супруге, он, говорят, кончил так:

Все вам я высказал, – так не забудьте ж!

Обратите также внимание, милости ваши, как император повертывает спину и оставляет раздосадованного дон Гаифероса одного. И посмотрите, – рыцарь отбрасывает, вскипев гневом, далеко от себя стол и игральные кости, требуя, чтобы ему скорей принесли его доспехи, и просит двоюродного своего брата, дон Ролдана, одолжить ему меч Дуриндан. Но дон Ролдан не соглашается дать ему свой меч, а предлагает ему себя в товарищи в трудном предприятии, на которое Гаиферос решился. Однако, доблестный и разгневанный дон Гаиферос отказывается от этого предложения, говоря, что и один он сумеет освободить из плена супругу свою, даже если б она была скрыта в самых глубоких недрах земли. Сказав это, дон Гаиферос идет одевать доспехи, чтобы тотчас же отправиться в путь. Теперь, милости ваши, обратите свои взоры на появившуюся там вот башню. Предполагается, что это одна из башен алька́сара в Сарагосе, которая называется теперь Альхаферия¹, а дама, показавшаяся на балконе этой башни, хотя на ней и мавританская одежда, – это

и есть несравненная Мелисендра, часто выходившая на тот балкон смотреть на дорогу, ведущую во Францию, причем она мысленно переносилась в Париж, к своему супругу, и этим утешала себя в своем заточении. Заметьте также один новый случай, который сейчас приключится, – быть может, никогда не виданный вами. Видите ли вы там мавра, который тихонько, на цыпочках, положив палец на губы, подкрадывается сзади к Мелисендре? Теперь смотрите, как он целует ее прямо в губы, и как поспешно она отплевывается и вытирает себе губы белым рукавом своей сорочки; как, вне себя и полная негодования, вырывает прекрасные свои волосы, точно они виноваты в нанесенном ей оскорблении. Взгляните также, как тот стройный мавр, стоявший в галлерее, – это король Марсилио де Сансуэнья, увидав как дерзко поступил мавр, несмотря на то, что он ему двоюродный брат и большой его любимец, – сейчас же приказывает схватить его, дать ему двести палочных ударов и провести через самые людные городские улицы, с глашатаями впереди и палачами позади. Взгляните сюда, откуда уже идут выполнять приговор, едва лишь был совершен проступок, так как у мавров нет ни предания суду, ни допроса, ни вызова свидетелей, как это делается у нас.

– Дитя, дитя, – прервал его тогда громким голосом Дон Кихот, – не сворачивайте с прямого пути вашего рассказа и не заводите нас в перекрестки и закоулки, так как, чтобы вполне выяснить истину, нужны многие доказательства за и против.

А изнутри театра сказал также и маэсе Педро:

– Не уклоняйся, мальчик, в сторону, а делай то, что этот сеньор тебе при-

¹ Aljafería – дворец или крепость Мавританских королей Арагонии, которая перестроенная и очень измененная, еще теперь существует за воротами Сарагосы.

казывает, – оно будет вернее. Тяни свою песенку попросту и не берись за контрапункты, а то могут лопнуть струны.

– Я так и сделаю, – ответил мальчик и продолжал, говоря:

– Фигура, появившаяся здесь вот верхом, вся закутанная в гасконский плащ, сам Гаиферос, а там вот его супруга, которая, отомщенная за дерзость влюбленного в нее мавра, с лицом повеселевшим и более спокойная вышла на балкон башни и говорит со своим супругом, думая, что это какой-нибудь путешественник, с которым она обменивается словами и речами, приведенными в романсе, где говорится:

Рыцарь, если путь ваш в Францию,
Там о Гаиферосе узнайте,

но я не стану приводить всего их разговора, потому что многословие порождает скуку. Довольно и того, что вы видите, как дон Гаиферос открывается Мелисендре, а веселые ее жесты дают нам понять, что она его узнала; после чего она спускается с балкона, чтоб сесть на коня позади возлюбленного своего супруга. Но, – о, несчастная, – она зацепилась кончиком нижней юбки за одну из железных решеток балкона и осталась висеть на воздухе, не имея возможности спуститься на землю. Однако, смотрите, – милосердное небо посылает помощь в самые трудные минуты, так как дон Гаиферос подъехал близко и, не обращая внимания, разорвется или нет ее богатая юбка, схватил Мелисендру, снял ее с балкона и затем в мгновение ока усадил по-мужски верхом на круп своей лошади. Он велит ей крепко держаться, обхватив руками его шею так, чтобы они скрещивались у него на груди, и она бы не могла упасть, потому что сеньора Ме-

лисендра не была привычна к такого рода езде. Слышите ли, как конь заржал и этим выказывает радость нести на спине своей столь доблестную и прекрасную ношу, как его господина и госпожу. Посмотрите, как они, свернув в другую сторону, покидают город, и веселые и бодрые направляются по дороге в Париж. О, поезжайте с миром, несравненная чета истинных влюбленных! Достигайте в безопасности столь дорогого вам отечества, и пусть судьба не ставит никаких помех вашему счастливому путешествию! Пусть взоры ваших друзей и родных увидят, как мирно и спокойно вы насладитесь остальными днями вашей жизни (да будут они столь же продолжительны, как дни Нестора!).

Здесь маэсе Педро снова возвысил голос, и сказал:

– Попроще, мальчик, не залетай слишком высоко, – всякая аффектация вещь плохая.

Юный толкователь ничего не ответил, но продолжал, говоря:

– Не оказалось недостатка в праздных глазах, которые всегда все видят, и от которых не ускользнуло и нисхождение, и восхождение Мелисендры. Тотчас же об этом дали знать королю Марсилио, а он приказал бить в набат; и вот, смотрите, как его приказание поспешно выполняется, потому что уже весь город дрожит от колокольного звона, гудящего на всех башнях мечетей.

– Вовсе нет, – сказал тогда Дон Кихот, – относительно колоколов, это большая неточность со стороны маэсе Педро, так как у мавров не было колоколов, а только литавры и нечто вроде дульсаин¹, похожих на наши гобои²; и этот звон колоколов в Сансуэньо – несомненно величайшая нелепость.

¹ *Dulzainas* – употребляется и теперь еще в Валенсии, – это загнутый инструмент с очень резким звуком.

² *Murumia* – нечто в роде гобоя.

Услыхав это, маэсе Педро прекратил колокольный звон и сказал:

– Не обращайтесь внимания, милость ваша, сеньор Дон Кихот, на пустяки и не ищите совершенства, потому что его нельзя найти. Разве у нас, в Испании, не даются почти ежедневно тысячи представлений, полных тысячи противоречий и нелепостей, и, тем не менее, они имеют прекраснейший успех, идут их смотреть и не только рукоплещут им, но и восхищаются ими? Продолжай, мальчик, и пусть себе говорят, что хотят, потому что, лишь бы я наполнил себе кошелёк, хоть представляя больше несообразностей, чем солнце имеет атомов.

– Вы правы, – согласился Дон Кихот, а мальчик продолжал, говоря:

– Смотрите, какая многочисленная и блестящая кавалькада выезжает из города в погоню за двумя влюбленными христианами-католиками, – сколько труб трубят, сколько звучат дульсаин, в какое множество литавров и тамбуринов бьют! Но я боюсь, что их настигнут и привезут назад, привязанных к хвосту собственного их коня, а это было бы ужасное зрелище!

Когда Дон Кихот увидел такое множество мавров и услышал весь этот шум, ему показалось, что следовало бы оказать помощь беглецам, и, вскочив со стула, он громким голосом воскликнул:

– Никогда не допущу я, чтобы в моем присутствии и пока я жив, было бы нанесено такое оскорбление столь знаменитому рыцарю и доблестному влюбленному, как дон Гаиферос! Остановитесь вы, низкий сброд! Не следуйте за ними и не преследуйте их, иначе, вы будете сражаться со мной. – И одновременно говоря и делая, он обнажил меч, бросился к театру марионеток и с ярым и невиданным бешенством обрушился ударами меча на кукольную мавритан-

скую толпу, опрокидывая одних, обезглавливая других, калеча этого, уничтожая того; и среди многих других ударов мечем размахнулся одним сверху вниз так, что если б маэсе Педро не нагнулся, не съехался и не притаился, Дон Кихот отрубил бы ему голову легче, чем если б она была сделана из теста и марципана. Маэсе Педро кричал во весь голос:

– Остановитесь, милость ваша, сеньор Дон Кихот! Обратите внимание, что эти мавры, которых вы уничтожаете, разбиваете и убиваете, не настоящие мавры, а только фигурки из картона. Подумайте, – грешный я, – ведь, вы уничтожаете и разрушаете все мое имущество!

Но тем не менее Дон Кихот продолжал сыпать, словно дождем, ударами меча направо и налево, сверху и снизу. Наконец, в меньший промежуток времени, чем нужно на прочтение двух «*Credo*», он опрокинул весь театр, разрубил в куски и дребезги все шнуры, блоки и фигуры, тяжело ранил короля Марсилио, а императору Карлу Великому рассек пополам корону и голову. Весь синклит зрителей взволновался: обезьяна убежала на крышу постоялого двора, двоюродный брат испугался, паж струсил, и даже Санчо Панса был охвачен величайшим страхом, – так как он потом, когда миновала буря, клялся, что никогда не видел господина своего в столь бешеном гнев. После того, как он довел до конца полное опустошение кукольного театра. Дон Кихот несколько успокоился и сказал:

– Желал бы я здесь, перед собой, видеть всех тех, которые не верят и не хотят верить, до какой степени странствующие рыцари полезны в мире! Если б я не оказался тут, что случилось бы с добрым доном Гаиферосом и прекрасной Мелисендрой? Наверное эти собаки догнали бы их уже теперь и нанесли бы им злейшее

оскорбление. И потому, да здравствует странствующее рыцарство над всем живущим на земле!

– Да здравствует оно в добрый час, – проговорил тогда слабым голосом маэсе Педро, – и умирай я, потому что я так несчастлив, что могу сказать вместе с королем доном Родриго:

Вчера я был властитель всей Испании,
Сегодня ж не могу назвать своим
Хотя б единого зубца я башни.

Полчаса, – нет, полминуты тому назад, я был обладателем королей и императоров; конюшни мои были полны множеством лошадей; сундуки несчетным количеством пышных нарядов, а теперь я вижу себя безутешным, униженным, бедным, нищим, и что хуже всего, лишенным своей обезьяны, – так как, по чести говоря, прежде чем она попадет опять в мои руки, мне придется потеть до двадцатого пота. И все из-за безрассудной ярости этого сеньора кабалеро, о котором говорят, будто он покровительствует сиротам, защищает угнетенных и совершает и другие дела милосердия, и только на мне одном великодушные его намерения потерпели неудачу, – да будут благословенны и прославленны небеса в высочайших их сферах! Словом, именно рыцарю Печального Образа было суждено обезобразить все мои фигуры!

Жалобы маэсе Педро тронули Санчо Пансу и он сказал ему:

– Не плачь, маэсе Педро, и не горюй, ты этим надрываешь мне сердце. Знай, господин мой Дон Кихот такой добросовестный христианин, что, если он тебе нанес ущерб, он и сумеет, и пожелает удовлетворить, и заплатить тебе за все с большой для тебя выгодой.

– Если бы сеньор Дон Кихот уплатил мне за какую-нибудь часть убытка, который он мне нанес, я остался бы до-

волен; и его милость облегчила бы себе совесть, потому что не может спастись тот, кто против воли собственника удерживает его добро и не возвращает ему.

– Верно, – сказал Дон Кихот, – но до сих пор не знаю, чтобы я удерживал что-либо ваше, маэсе Педро?

– Как не знаете, – ответил маэсе Педро, – а все эти обломки, лежащие, на сухой и бесплодной почве, – кто их разбросал и уничтожил, как не могучая сила вашей непобедимой руки? Все эти мертвые тела, кому они принадлежали, как не мне? И чем я существовал, как не ими?

– Теперь я окончательно убедился в том, – сказал Дон Кихот, – что уже много раз думал: именно эти волшебники, преследующие меня, только и делают, что сначала ставят перед моими глазами образы в настоящем их виде, а потом мгновенно изменяют и превращают их, как им желательно. Говорю вам истинно и правдиво, сеньоры, слушающие меня, – все, что происходило здесь, казалось мне происходящим на самом деле и в действительности. Мелисендра была для меня как есть живой Мелисендрой, Гаиферос – литым Гаиферосом, Марсилио – живым Марсилио, Карл Великий – живым Карлом Великим. Оттого я так и разгорелся гневом, и исполняя свое призвание странствующего рыцаря, захотел оказать помощь и покровительство тем, которые спасались бегством и с этим добрым намерением я сделал то, что вы видели. Если же все случилось наоборот, вина не моя, а тех злых, которые меня преследуют. Тем не менее, за эту свою ошибку, хотя она и не вытекала из дурного умысла, – присуждаю себя сам к уплате всех убытков. Пусть же маэсе Педро посмотрит, сколько он желает получить с меня за уничтоженные марионетки, так как я уплачу за них тотчас же полновесной и наличной кастильской монетой.



Но я боюсь, что их настигнут и привезут назад,
привязанных к хвосту собственного их коня...

Маэсе Педро поклонился ему, говоря:

– Я не ждал меньшего от неслышанного христианства доблестного Дон Кихота Ламанчского, истинного заступника и покровителя всех нуждающихся и бедствующих бродяг. Пусть же сеньор хозяин постоянного двора, а также и великий Санчо будут оценщиками и посредниками между вашей милостью и мною, относительно того, что стоят, или могут стоять сложенные марионетки. – Хозяин и Санчо согласились быть оценщиками, и тогда маэсе Педро, подняв с пола короля Марсилио Сарагосского без головы, сказал:

– Вы сами видите, что уже невозможно вернуть этого короля в первоначальное его состояние, и поэтому мне кажется, – хотя я готов подчиниться иному лучшему решению, – что за смерть, гибель и уничтожение его мне следует четыре с половиной реала.

– Дальше, – сказал Дон Кихот.

– Вот за эту трещину сверху донизу, – объявил маэсе Педро, взяв в руки расколотого императора Карла Великого, – мне кажется, не будет много, если я спрошу пять реалов с четвертью.

– Это не мало, – заметил Санчо.

– Но и не много, – возразил хозяин двора; – отбросим дробь и остановимся на пяти реалах.

– Дайте ему все пять с четвертью, – сказал Дон Кихот, – в такой большой беде, как эта, четверть реала больше или меньше, ничего не значат; пусть только маэсе Педро скорей кончает, потому что подходит время ужина и я уже чувствую некоторые признаки голода.

– Вот за эту фигуру, – сказал маэсе Педро, – у которой недостает носа и одного глаза – это прекрасная Ме-

лисендра – я попрошу, и мне кажется не будет много, два реала и двенадцать мараведисов.

– Было бы черт знает что такое, – воскликнул Дон Кихот, – если б Мелисендра со своим супругом не оказалась теперь, по крайней мере, уже на французской границе, потому что конь, на котором они ехали, не бежал, а летел, как мне казалось; итак, не зачем продавать мне кошку вместо зайца и предъявлять безносую Мелисендру в то время, как настоящая Мелисендра, если хорошенько вникнуть в дело, забавляется со своим супругом во Франции, лежа в постели. Помогите Богу каждому получить свою собственность, сеньор маэсе Педро, и пойдем все дорогой прямой с чистой душой. А теперь продолжайте.

Маэсе Педро, видя, что Дон Кихот опять отклоняется в сторону и снова возвращается к прежнему своему безрассудству, не хотел выпустить его из рук и сказал:

– Должно быть, это не Мелисендра, а какая-нибудь из ее прислужниц, и поэтому, если мне за нее заплатят шестьдесят мараведисов, я останусь доволен и буду считать, что мне хорошо заплатили.

Таким образом, он продолжал назначать цену за многие другие изувеченные марионетки, а посредники-судьи сбавляли ее несколько, но так, что обе стороны остались вполне довольны. Общий итог достиг сорока и трех четвертей реала. Деньги эти Санчо тотчас же уплатил маэсе Педро, но тот попросил еще два реала за предстоящий ему труд разыскать свою обезьяну.

– Дай ему эти два реала, – сказал, Дон Кихот, – если и не на то, чтобы поймать обезьяну, так на то, чтобы¹ выпить за ее здоровье. Я был бы готов дать

¹ el mono sino la mona – тут непередаваемая по-русски игра слов: *mona* не только «обезьяна» женского рода, но и «опьянение, хмель».

двести реалов вознаграждения лицу, которое принесло бы мне достоверное известие о том, что сеньора донья Мелисендра и сеньор дон Гаиферос уже во Франции и среди всех своих.

– Никто не мог бы вам вернее сказать это, как моя обезьяна, – заявил маэсе Педро, – но никакой черт не поймает ее теперь, хотя я думаю, что привязанность и голод заставят ее вернуться ко мне сегодня ночью, а Бог пошлет утро, и все виднее будет.

Словом, гроза с кукольным театром миновала, и все дружно и в добром согласии поужинали на деньги Дон Кихота, который был в высшей степени щедр. Еще до рассвета уехал с постоялого двора человек, который вез копыя и алебарды, а когда рассвело, пришли проститься с Дон Кихотом двоюродный брат и паж; первый имел намерение вернуться

к себе в село, второй – продолжать свой путь; желая помочь ему в этом, Дон Кихот подарил ему дюжину реалов. Маэсе Педро не захотел вступать в новые препирательства с Дон Кихотом, которого он хорошо знал, и таким образом, встав до восхода солнца и взяв с собой остатки своего театра и обезьяну, он также отправился искать свои приключения. Хозяин двора, не знавший Дон Кихота, был изумлен, настолько же его безумием, насколько и его щедростью. В заключение Санчо заплатил ему прекрасно, по приказанию своего господина, и, простившись с хозяином, они около восьми часов утра уехали из постоялого двора и пустились в дорогу, где мы их и оставим, потому, что так надлежит, чтобы воспользоваться случаем рассказать другие вещи, нужные для выяснения, знаменитой этой истории.





Глава XXVII

В которой дается отчет о том, кто был маэсе Педро и его обезьяна, а также и о неудаче Дон Кихота в приключении с ослиным ревом, которое окончилось не так, как он думал и желал.

Сид Амёт, летописец великой этой истории, начинает настоящую главу следующими словами: «*клянусь как христианин-католик*», причем переводчик его замечает, что Сид Амёт, говоря, что он клянётся, как христианин-католик, будучи мавром, – каким он несомненно был, – желал лишь этим сказать, что подобно тому, как христианин-католик, клянясь, клянётся или должен клясться говорить лишь одну правду и говорит ее во всем, что сообщает, так и он, Амёт, будет говорить правду, словно клялся в ней, как христианин-католик, во всем, что напишет о Дон Кихоте, в особенности же говоря о том, кто был маэсе Педро, и кто его обезьяна-отгадчица, приводившая в изумление все окрестные местечки своею способностью отга-

дывать. Затем он говорит, что кто читал первую часть этой истории, наверно, помнит Хинеса де Пасамонте, которого в числе других галерных невольников Дон Кихот освободил в Сьерра-Морена – благодеяние, за которое его так плохо отблагодарили и еще хуже отплатили те злые, одаренные дурным нравом люди. Этот Хинес де Пасамонте, которого Дон Кихот называл Хинесильо де Парापилья, именно и украл у Санчо Пансы его Серого, а по ошибке наборщиков сообщение, когда и как это случилось, не попало в первую часть Дон Кихота, что заставило многих приписать это обстоятельство плохой памяти автора. Словом, Хинес украл осла, когда Санчо, сидя на нем верхом, заснул, причем Хинес прибегнул к хитрости и способу, употребленному Брунелом, когда он, во время осады Адъбраки, украл из под ног Сакрипанте

его коня. А потом Санчо вернул себе своего осла, как уже было рассказано. Этот самый Хинес, опасаясь попасть в руки правосудия, разыскивавшего его, чтобы наказать за бесконечные его проступки и мошенничества, – а их было столько, и они были такого рода, что он сам написал о них объемистую книгу, – решил перебраться в Арагонское королевство; и, покрыв себе пластырем левый глаз, занялся профессией хозяина марионеточного театра, так как это занятие и показывание фокусов он знал в совершенстве. Случилось, что от некоторых освобожденных из неволи христиан, вернувшихся из Берберии, он купил эту обезьяну, которую научил, делая ей известный знак, скакать к нему на плечо и что-то бормотать или делать вид, что она что-то бормочет ему на ухо. Подготовленный таким образом, он перед тем, как войти в какое-нибудь село со своим театром и своей обезьяной, узнавал в ближайшем к нему местечке, или у того, кто мог дать ему самые точные сведения, какие особенные происшествия случились в том селе и с кем. Запомнив хорошенько все это, первое, что он делал, было давать представление кукольного театра, играя то одну, то другую пьеску, но непременно лишь забавные, интересные и хорошо известные всем. Когда кончалось представление, он предлагал присутствующим удостовериться в способностях его обезьяны, говоря, что она умеет отгадывать настоящее и прошедшее, а что касается будущего, за это она не берется. За каждый вопрос он спрашивал по два реала; а с некоторых брал дешевле, смотря по обстоятельствам; и так как иногда он останавливался у домов, где жили люди, о случившемся с которыми он знал, хотя у него ничего не спрашивали, чтобы не платить ему, он делал знак обезьяне и тотчас же говорил, будто она сообщила

ему такую или такую-то вещь, которая подходила, словно вылитая, к данному случаю; этим он приобрел неимоверное доверие и все бегали за ним. В другие раза, будучи очень не глупым, он отвечал так, что ответы как нельзя лучше подходили к вопросам; и в виду того, что никто не исследовал их точнее и не настаивал, чтобы он объяснил, как отгадывает его обезьяна, он всех их приводил в замешательство и набивал свой большой кожаный кошель. Лишь только Хинес вошел на постоялый двор, он тотчас же узнал Дон Кихота и Санчо, и, узнав их, ему было легко вызвать изумление в рыцаре, Санчо Пансе и всех бывших с ними. Но это стоило бы ему дорого, если бы Дон Кихот опустил немного ниже руку, когда он отрубил голову королю Марсилио и уничтожил всю его кавалерию, как о том было рассказано в предшествовавшей главе. Вот что нам нужно было сообщить о маэсе Педро и его обезьяне.

Возвращаясь к Дон Кихоту Ламанчскому, скажу, что он, выехав из постоянного двора, решил сначала осмотреть все побережье реки Эбро и все его окрестности, прежде чем направиться в город Сарагосу, так как до турниров, которые должны были произойти там, у него оставалось еще довольно много времени. Он пустился в путь с этим намерением и ехал целых два дня, не встретив ничего заслуживающего быть записанным, пока, наконец, на третий день, в то время, когда он въезжал на холм, он услышал громкий гул барабанов, труб и выстрелы из огнестрельного оружия. Сначала он подумал, что тут проходит какой-нибудь полк солдат, и чтобы посмотреть, он прищипорил Росинанта и въехал на гору. Поднявшись на ее вершину, рыцарь у ее подножия увидел, как ему показалось, более двухсот человек, вооруженных разного рода оружием – имен-

но: копьями, самострелами, бердышами, алебардами, пиками, несколькими винтовками и многими круглыми щитами.

Рыцарь спустился с холма и настолько приблизился к отряду, что ясно видел знамена, различал цвета и мог на них разглядеть изображения, в особенности же одно изображение на знамени или штандарте из белого атласа, на котором очень искусно и чрезвычайно похоже был нарисован осел из породы маленьких сардинских ослов, стоявший с приподнятой вверх головой, с открытым ртом и высунутым языком, в таком виде и положении, точно он издает рев, а кругом него были написаны большими буквами следующие два стиха:

Два алькальда не сплошали,
По ослиному кричали.

По этому признаку Дон Кихот заключил, что, должно быть, те люди – жители села ослиного рева. Он так и сказал Санчо и прочитал ему надпись на знамени, а также добавил, что тот, кто сообщил им об этом случае, ошибся, сказав, что по-ослиному кричали два рехидора, так как, судя по стихам на знамени, они были алькальдами¹. На это Санчо Панса ответил:

– Сеньор, это неважно, потому что легко может быть, что рехидоры, кричавшие по-ослиному, сделали со временем алькальдами своего местечка, и так их можно называть обоими титулами; тем более, что для правды истории безразлично, были ли ревуны алькальдами или рехидорами, если только они действительно ревели по-ослиному, потому что одинаково хорошо может реветь, как алькальд, так и рехидор.

Словом, Дон Кихот и Санчо узнали и поняли, что жители села, над которы-

ми издевались, вышли сражаться с жителями села, издевавшимися над ними более, чем следовало бы и чем приличествовало добрым соседям. Дон Кихот подъехал к ним к немалому огорчению Санчо, которому никогда не нравилось быть замешанным в подобного рода приключениях. Отряд принял его в свою середину, думая, что это кто-нибудь из их сторонников. Приподняв забрало, Дон Кихот с изящным видом и осанкой проехал к штандарту с ослом, и здесь кругом него собрались вожаки армии, чтобы взглянуть на него, потому что их охватило обычное изумление, которое испытывали все те, кто впервые видели его. Заметив, с каким вниманием они его рассматривают, ничего не говоря и ни о чем не спрашивая, Дон Кихот, желая воспользоваться этим молчанием, прервал свое молчание и, возвысив голос, сказал:

– Добрые сеньоры, умоляю вас, как только могу настоятельнее, не прерывать речь, с которой я желаю обратиться к вам, пока вы не увидите, что она вас раздражает или противна вам – потому что, если это случится, при малейшем с вашей стороны знаке я наложу печать на мои уста и буду держать язык на привязи.

Все они сказали, пусть он говорит, что желает, так как они охотно выслушают его. Получив это разрешение, Дон Кихот продолжал таким образом:

– Сеньоры мои, я – странствующий рыцарь, профессия моя – оружие, призвание – помогать нуждающимся в помощи и оказывать покровительство угнетаемым. Несколько уже дней тому назад, узнал я о вашем несчастье и о причине, вынуждающей вас на каждом шагу браться за оружие, чтоб отомстить вашим врагам. И обсудив не раз, а много раз в своем уме ваше дело, я нахожу,

¹ Алькальд был по должности выше рехидора и собственно говоря в местечке мог быть только один алькальд, а рехидоров несколько.



Сеньоры мои, я – странствующий рыцарь, профессия моя – оружие...

что согласно с законами дуэли, вы ошибаетесь, считая себя оскорбленными, так как никакое единичное лицо не может оскорбить целый город, разве только он обвинит в предательстве совокупно всех его обитателей, потому что не знает, кто собственно из них совершил предательство, в котором он обвиняет. Пример этого мы имеем в лице дона Диего Ордоньес де Лара, бросившего обвинение всему городу Саморе, так как он не знал, что лишь один Веллидо Дольфос совершил предательство, убив короля своего; итак, он вызвал их всех, и ответ и месть касалась всех; хотя, по правде говоря, сеньор дон Диего зашел немного далеко и даже очень переступил границы вызова, так как ему незачем было клясть мертвых, воду, хлеб и тех, что еще не родились, а также и некоторые другие подробности, которые там приведены¹. Но оставим это, потому что, когда гнев прорывает плотину, у языка нет ни отца, ни друга, ни узды, чтоб остановить его. А раз признано, что отдельное лицо не может оскорбить целое королевство, провинцию, город, республику и область, вполне очевидно, что не за чем

прибегать к мести и принимать подобный вызов за оскорбление, так как оно вовсе не есть оскорбление. Нечего сказать, было бы прекрасно, если бы жители «Релоха»² на каждом шагу бились насмерть с теми, которые им дали это прозвище, или же, если бы делали это *касолеросы, беренхеросы, китоловы, мыловары*³, и все остальные, названия и прозвища которых здесь на устах у мальчишек и праздного люда. Нечего сказать, было бы прекрасно, если бы все эти именитые города рассердились и стали бы мстить, постоянно обращая меч свой в чистильщика человеческих внутренностей, при всякой ссоре, как бы она ни была незначительна. Нет, нет! – Бог этого не хочет и не позволяет! Благоразумные люди и благоустроенные государства должны лишь из-за четырех причин братья за оружие, обнажать мечи и подвергать опасности жизнь и имущество свое. Первая – для защиты своей веры; вторая – для защиты своей жизни, – это человеческий и божеский закон; третья – для защиты своей чести, своей семьи и имущества своего; четвертая – на службе своего короля в справедливой войне, и

¹ Вызов Лара – очень хорошо известный инцидент во время осады Саморы и составляет предмет целого поэтического цикла в романах Сида. Король Кастильский Санчо II, осаждавший город Самору, который принадлежал его сестре Урраке, был изменнически убит Веллидо Дольфосом, пригласившим его на тайное свидание по делу о сдаче крепости. Один из вассалов Санчо, дон Диего Ордоньес де Лара явился после того перед неприятельским лагерем и вызвал на бой всех жителей Саморы за смерть короля Санчо, и т. д.

² Эти прозвища городов произошли вследствие некоторых особенностей или случаев в их истории, или шуток, касавшихся их. *La Reloja* – (*Релоха*) или «город часов» – отождествляют с городком *Эспартинас* в округе Севильи, и получил он это прозвище, как рассказывают, будто бы за то, что его жители, которые завели у себя искусно сделанные городские часы, до того их закутали, охраняя от солища и пыли, что они перестали ходить.

³ *Cazoleros* – (*касолерос*) называли жителей Вальядолида – тех, которые симпатизировали Кассалле, – известному еретику, сожженному в Вальядолиде в 1559 г. *Беренхенеросы* – те, что едят *беренхену* т.е. бадиджаны (баклажаны), – жители Толедо, прославившиеся страстью своей к бадиджанам, росшим у них в садах. *Китоловы* – жители Мадрида, прозванные так из-за старинной истории: они будто бы вооруженные отправились все убивать кита, который по слухам появился в Мансанаресе, а кит этот оказался вьючным ослиным седлом, унесенным вниз течением реки. Кто были мыловары – неизвестно.

если пожелаем, то мы добавим еще и пятую причину (которая может считаться второй), а именно: для защиты своего отечества. К этим пяти причинам, как к главным, могут быть добавлены и некоторые другие, если они справедливы и благоразумны, и вынуждают нас братья за оружие. Но братья за него из-за пустяков и вещей, скорее смешных и забавных, чем оскорбительных, – придает тому, кто это делает, такой вид, будто он лишен всякого здравого смысла. Тем более, что несправедливая месть (потому что справедливой никакая месть быть не может) – есть прямое нарушение снятой заповеди, исповедуемой нами, и которая нам велит делать добро нашим врагам и любить ненавидящих нас; заповедь, исполнение которой хотя и кажется нам несколько трудным, но только лишь тем из нас, кого меньше влечет к Богу, чем к миру, и больше влечет к плоти, чем к духу. Ведь, Иисус Христос, истинный Богочеловек, который никогда не лгал, не мог и не может лгать, – будучи нашим законодателем, сказал, что «иго его – благо, и бремя его легко»; и поэтому Он не мог бы предписать нам то, что было бы невозможно исполнять. Так что, сеньоры мои, ваши милости и по божеским и по человеческим законам обязаны успокоиться.

– Черт меня побери, – сказал тогда про себя Санчо, – если этот мой господин не богослов; а если нет, то он похож на богослова, как одно яйцо на другое.

Дон Кихот остановился, чтоб перевести дух, и видя, что все кругом него еще молчат, он хотел продолжать свою речь и сделал бы это, если бы не впутался Санчо со своим остроумием. Увидав, что его господин остановился, он перехватил у него слово и сказал:

– Мой сеньор, Дон Кихот Ламанчский, одно время носивший про-

звище *рыцаря Печального Образа*, а теперь – *рыцаря Львов*, – очень рассудительный идалго, знающий и латынь, и свой язык, словно бакалавр, и во всем, что он делает и советует, он поступает, как превосходный солдат, которому до кончика ногтей известны все правила и законы так называемой дуэли. Итак, ничего другого не остается вам делать, как только следовать тому, что он говорит, а если оказалась бы ошибка, я беру всю вину на себя, тем более, что уже было сказано: приходить в бешенство из-за того только, что услышишь ослиный рев, – не умно. И я помню, когда я был мальчиком, я кричал по-ослиному сколько и когда мне вздумается, и никто не бранил меня за это, а ревел я по-ослиному так ловко и так искусно, что на мой рев отзывались своим ревом все ослы нашего села, из-за чего я не переставал быть сыном моих родителей, людей в высшей степени почтенных. И хотя моему искусству завидовали многие из самых лучших моих односельчан, я не обращал на это ни на грош внимания. А чтоб вы убедились, что я говорю правду, подождите и послушайте, так как эту науку, все равно как умение плавать, раз ей научишься, никогда не забудешь.

И тотчас же, приставив руку к носу, Санчо так громко заревел по-ослиному, что все окрестные долины огласились его ревом. Но один из стоявших вблизи него, подумав, что он над ними издевается, поднял дубину, которую держал в руках, и нанес ему такой удар, что мгновенно свалил его на землю. Увидав Санчо в столь плохом положении, Дон Кихот с поднятым копьём бросился на того, кто ударил Санчо, но между ними двумя кинулось столько народу, что Дон Кихоту оказалось невозможным отомстить. Напротив, видя, что на него самого сыплется град камней, и ему угрожают ты-

сячи натянутых самострелов и столько же винтовок, он повернул Росинанта, и во весь его галоп уехал от них, поручая себя всем сердцем Богу и прося Его избавить от этой опасности, страшась на каждом шагу, чтоб какая-нибудь пуля не попала ему в спину и не прошла навывлет из груди, и ежеминутно переводя дыхание, чтоб посмотреть, не угасает ли оно; однако люди, бывшие в отряде, удовлетворялись тем, что привели его в бегство, и не стреляли по нему. Санчо, — едва он пришел в себя, — они посадили на его осла и предоставили ему ехать за

господином своим, хотя он еще не был в состоянии править; но Серый шел сам по следам Росинанта, без которого он не мог пробыть ни минуты. Отъехав на порядочное расстояние, Дон Кихот повернул голову и увидал, что едет Санчо, и стал его ждать, когда заметил, что никто не преследует его. А люди вооруженного отряда оставались там до ночи и, так как их противники не вышли к ним на бой, они вернулись в свое село, веселые и радостные; а если б был им известен древний обычай греков, они, на том самом месте, водрузили бы трофей.





Глава XXVIII

Где речь о вещах, которые – по словам Бененхели – узнает тот, кто прочтет эту главу, если прочтет ее внимательно.

Доблестный бежит, когда измена обнаружена, и благоразумный герой бережет себя для лучшего случая. Эта истина оправдалась на Дон Кихоте, который, уступая ярости крестьян и злым намерениям негодующего вооруженного отряда, показал ему пятки, поднимая пыль и забыв о Санчо и об опасности, в которой он его оставил, и удалился настолько, насколько ему казалось нужным, чтобы быть здоровым и невредимым. Санчо следовал за ним, лежа поперек своего осла, как уже было сообщено. Наконец, он догнал его, когда уже пришел в себя, и, догнав, упал с Серого

к ногам Росинанта весь взволнованный, ушибленный и избитый. Дон Кихот спешил, желая осмотреть его раны, но, увидав, что он с ног до головы цел, сказал ему достаточно сердито:

– В недобрый час показали вы, Санчо, свое искусство реветь по-ослиному, и где же вы слышали, что в доме повешенного хорошо говорить о веревке? Какой аккомпанемент можно было ждать на вашу музыку ослиного рева, как не удары дубиной? Благодарите еще Бога, Санчо, что они вас благословили палкой, а не сделали *per signum crucis*¹ на вас ножом.

– Я не в состоянии отвечать теперь, – возразил Санчо, – и мне кажется

¹ Крестного знамения.

ся, что за меня достаточно ясно говорит избитая спина моя. Сядемте верхом и уедем отсюда. О моем ослином реве я умолчу, но не могу умолчать о том, что странствующие рыцари бегут, оставив во власти врага добрых своих оруженосцев, измолотых, как порошок бирючины или как пшеничное зерно.

– Не бежит тот, кто отступает, – ответил Дон Кихот, – так как ты должен знать, Санчо, что доблесть, не опирающаяся на благоразумие, называется безумной отвагой, а подвиги безумно-отважного приписываются скорее его удаче, чем мужеству. Итак, я признаю, что отступил, но не бежал; и в этом я подражал многим доблестным людям, сберегавшим себя для лучших времен, чем и полны истории, о которых я теперь умолчу, так как они и тебе не принесут пользы, и мне не доставят удовольствия.

Между тем Санчо уж взобрался на своего Серого с помощью Дон Кихота, который тоже сел на Росинанта, и они направились тихим шагом в тополевою рощицу, видневшуюся на расстоянии четверти мили оттуда. Время от времени Санчо выпускал глубокие вздохи и болезненные стоны, а когда Дон Кихот спросил у него о причине столь горького его сокрушения, он ответил, что с основания спинного хребта до последнего шейного позвонка у него все болит, так что он чуть не теряет сознания.

– Причина этой боли, – ответил Дон Кихот, – заключается, без сомнения, в том, что палка, которой тебя ударили, была очень длинная и широкая, и попала по всей твоей спине, захватив те части, которые у тебя болят; а если бы она попала дальше, боль была бы еще сильнее.

– Ей Богу, – воскликнул Санчо, – ваша милость вывела меня из большого сомнения и разъяснила мне его в самых

милых выражениях! Клянусь моим телом, неужели причина моей боли столь таинственна, что оказалось нужным объяснить мне, что у меня болит все то, куда попала палка? Если бы у меня болели щиколотки, еще можно было бы стараться отгадать, отчего они заболели, а если болят места, по которым меня били, тут кажется и гадать то нечего. По чести говоря, сеньор господин мой, чужая беда висит на волоске, – и каждый день для меня открывается все больше, как мало я могу ждать от сообщества с вами: так как, если в этот раз вы дали меня избить палкой, в другой раз, и еще сто раз мы вернемся к подбрасываньям на одеяле, и к другим играм, которые, если они теперь нагрели мне спину, в другой раз доберутся и до моих глаз. Гораздо лучше я бы сделал (только я варвар и не сделаю ничего хорошего во всю мою жизнь), гораздо лучше я бы сделал, повторяю снова, если б вернулся к себе домой, к моей жене и к моим детям и содержал бы ее и воспитывал бы их тем, что Богу было бы угодно послать мне, а не шел бы вслед за вашей милостью по непроходимым дорогам, по путям и тропинкам, где их нет и следа, плохо пивши и еще хуже евши. Затем поговорим о спанье: отмерьте, брат оруженосец, себе семь футов земли, – и если желаете больше, отмерьте еще столько же; это вполне в вашей власти, – и растянитесь во все свое удовольствие. Пусть бы я увидел сожженным и обращенным в порошок первого, который пустился в это странствующее рыцарство или, по крайней мере, первого, который пожелал быть оруженосцем у таких глупцов, какими, должно быть, были все прежние странствующие рыцари. О теперешних не говорю ничего, так как по той причине, что ваша милость в их числе, я их уважаю и я знаю также, что ваша милость

во всем, что говорит и думает, еще на градус более сведущая, чем сам дьявол.

– Готов биться о хороший заклад, Санчо, – сказал Дон Кихот, – что теперь, когда вы говорите, и никто вас ни останавливает, у вас ничего не болит во всем вашем теле. Говорите; сын мой, все, что вам взбредет в голову и попадет на язык, так как, ради того чтобы вы не чувствовали боли, я сочту за удовольствие досаду, которую на меня наводят ваши дерзости. И если вы уже так сильно желаете вернуться к себе домой, к вашей жене и к детям, Боже сохрани, чтобы я вам помешал в этом. У вас мои деньги, – рассчитайте, сколько времени прошло с тех пор, как мы в третий раз выехали из нашего местечка, подумайте, сколько вы можете и должны получать в месяц жалованья и уплатите его себе из собственных рук.

– Когда я служил у Томэ Карраско, – ответил Санчо, – отца бакалавра Сансона Карраско, хорошо известного вашей милости, – то получал в месяц два червонца и кроме того харчи. Не знаю сколько мне следует получать с вас, хотя хорошо знаю, что у оруженосца странствующего рыцаря больше дела, чем у работника землепашца. Ведь мы, работающие у крестьян, сколько бы не работали днем и как бы нам не было плохо, вечером получаем теплый ужин и спим в постели, в которой я не спал с тех пор, как служу вашей милости, исключая короткого времени, проведенного нами в доме дона Диго де Миранда, а также угощения, которое я получил, сняв пену с горшков-великанов Камачо, и когда я ел, пил и спал в доме Басилио. Все же остальное время я спал на жесткой земле под открытым небом, подвергаясь тому, что называют суровостью непогоды, и питался я оскребками сыра и хлебными корками, пил одну лишь воду

из ручьев и источников, встречавшихся нам в пустынных местах, где мы с вами скитались.

– Я признаю, – заявил Дон Кихот, – что все, что ты говоришь, Санчо, правда, – но сколько же, по вашему мнению, должен я вам заплатить сверх того, что вы получали у Томэ Карраско?

– На мой взгляд, – сказал Санчо, – если бы ваша милость прибавила мне еще по два реала в месяц, я бы считал, что мне хорошо платят. Это относится к жалованью за услуги мои; что же касается возмещения за данное мне слово и обещание вашей милости наградить меня губернаторством острова, было бы справедливо, чтобы вы прибавили мне еще шесть реалов, что в общем составило бы тридцать реалов.

– Очень хорошо, – возразил Дон Кихот; – и соразмерно с жалованием, которое вы себе назначили и временем нашего отъезда из села, – именно двадцать пять дней – разочтите, Санчо, сколько я всего вам должен и уплатите, как я уже говорил, себе из собственных рук.

– О, клянусь моим телом! – воскликнул Санчо, – ваша милость очень ошибается в своем счете, потому что относительно обещанного острова надо считать с того дня, как ваша милость впервые обещала мне его, по настоящую минуту.

– Сколько же времени тому назад я вам обещал остров, Санчо? – спросил Дон Кихот.

– Если мне не изменила память, – ответил Санчо, – должно быть, прошло более двадцати лет, тремя днями больше или меньше.

Дон Кихот ударил себя ладонью по лбу и от души рассмеялся, говоря:

– Не прошло и двух месяцев за все время наших разъездов и путешествия

моего в Сьерра-Морена, а ты говоришь, Санчо, что уже двадцать лет, как я обещал тебе остров? Теперь я скажу, что ты хотел бы все мои деньги, которые у тебя находятся, истребить себе на жалованье; и если это так, и тебе это по вкусу, с этого часа бери мои деньги, и пусть они идут тебе на добрую пользу, так как, чтобы избавиться от столь дурного оруженосца, я рад буду остаться бедным и без гроша. Но скажи мне, искажитель правил оруженосцев странствующего рыцарства, где ты видел или читал, чтобы какой-нибудь оруженосец странствующего рыцаря торговался со своим господином, говоря: вы должны дать мне столько или столько то в месяц жалования, чтобы я служил вам? Окунись, окунись, негодяй, трус и чудовище, – всем этим ты мне кажешься, – окунись, говорю я, в *mare magnum*¹ рыцарских историй и, если найдешь там, что хоть один оруженосец говорил или думал то, что ты сейчас говорил, ты можешь пригвоздить это мне ко лбу и в придачу можешь четыре раза отпечатать свои пять пальцев на моем лице в знак презрения. Поверни за поводья или за недоуздок Серого и возвращайся к себе домой, потому что ни одного шагу дальше отсюда ты не сделаешь со мной. О, хлеб, плохо отпеченный! О, обещания, дурно помещенные! О, создание, более похожее на животное, чем на человека! Теперь, когда я думал дать тебе положение, и такое, чтобы тебя наперекор твоей жене называли «сеньория», ты бросаешь меня? Теперь ты уходишь, когда я пришел к твердому и властному решению сделать тебя обладателем лучшего острова в мире? Словом, как ты сам говорил не раз, – мед не для и т. д.² Осел

ты есть, ослом ты будешь и ослом останешься до конца своей жизни, так как я про себя думаю, что последний твой час настанет раньше, чем ты увидишь и поймешь, что ты животное.

Санчо смотрел на Дон Кихота, не спуская с него глаз все время, пока тот осыпал его этими упреками, и почувствовал такое раскаяние, что слезы выступили у него на глазах, и он слабым и печальным голосом сказал:

– Сеньор мой, признаю, что для того, чтобы быть вполне ослом, мне недостает лишь одного – хвоста. Если вашей милости угодно привесить его мне, я сочту, что он тут у места и буду служить вам за осла во все дни моей остальной жизни. Простите мне, милость ваша, сжальтесь над моим неразумием и примите во внимание, что знаю я мало, и если говорю много, это происходит скорей от слабости, а не от злобы. Но кто грешит и исправляется, на милость Божью полагается.

– Я бы удивился, Санчо, если бы ты не примешал в свой разговор какой-нибудь пословицы. Ну, хорошо, прощаю тебя, только с тем, чтобы ты исправился и впредь не был бы таким любителем собственной выгоды; а старайся расширить свои кругозор и ободрить и поддерживать себя надеждой на исполнение моих обещаний, которое, хотя бы и замедлилось, но не невозможно.

Санчо ответил, что он так и сделает, хотя бы ему пришлось черпать силу из своей слабости. После того они въехали в тополевую рощу, и Дон Кихот расположился у подножия вяза, а Санчо у подножия бука, – так как эти и тому подобные деревья всегда имеют подножие и не имеют рук. Санчо провел ночь мучительно, потому что боль от удара

¹ Великое море.

² Мед, не для рта осла, – поговорка, уже приводившаяся в истории Дон Кихота.

дубиной чувствовалась сильнее в ночной сырости, а Дон Кихот провел ее в непрерывных воспоминаниях. Тем не менее, сон закрыл обоим им глаза, а с

появлением зари они продолжали свой путь, направляясь к берегам знаменитого Эбро, где с ними приключилось то, что будет рассказано в следующей главе.





Глава XXIX

О знаменитом приключении с заколдованной баркой.

Спустя два дня, по их числению, после выезда из тополевой рощицы, Дон Кихот и Санчо добрались до реки Эбро. Вид ее доставил величайшее удовольствие Дон Кихоту: он созерцал и любовался красотой берегов, прозрачностью волн, спокойным течением реки и обилием ее хрустальной влаги; и это восхитительное зрелище воскресило в его памяти тысячи влюбленных мечтаний. Особенно же и более всего останавливался он мысленно на том, что видел в пещере Монтесинос, так как, хотя обезьяна маэсе Педро и сказала ему, что часть тех вещей — истина, а часть — ложь, рыцарь клонил больше к тому, что все было истиной, совершенно в противоположность Санчо, который всех их считал за одну сплошную

ложь. В то время, как они ехали таким образом, они увидели небольшую барку без весел и всяких других снастей, привязанную у берега к стволу дерева. Дон Кихот оглянулся во все стороны и, не видя нигде никого, соскочил, не долго думая, с Росинанта и велел также и Санчо сойти с Серого и покрепче привязать обоих животных вместе к стволу какого-нибудь вяза или ивы, которые там росли. Санчо спросил его о причине столь внезапного спешивания и привязывания животных. Дон Кихот ответил:

— Ты должен знать, Санчо, что эта барка, находящаяся здесь, как нельзя более ясно и так, что ничего другого это и не может означать, зовет и приглашает меня сесть в нее и плыть в ней на помощь какому-нибудь рыцарю или другому, попавшему в несчастье знатному лицу, которое, должно быть, находится

в большой опасности. Это совершенно в духе рыцарских книг и действующих, и появляющихся в них волшебников. Когда какой-нибудь рыцарь попадет в беду, из которой он не может быть выведен иначе, как только рукой другого рыцаря, хотя тот и находился бы от него на расстоянии двух или трех тысяч и даже более миль, волшебники отправляют его на облаке, или посылают ему барку, в которую он садится, и скорее, чем в мгновение ока, уносят его по воздуху, или переправят по морю туда, куда желают, и где его помощь необходима. Так что, о, Санчо, – эта барка прислана сюда для той же цели, и это столь же верно, как и то, что теперь день; а прежде, чем он минует, привяжи вместе Серого и Росинанта, и предадим себя в руки Божии, так как отклонить меня отплыть отсюда не могли бы просьбы всех босоногих монахов¹.

– Если это так, – ответил Санчо, – и ваша милость на каждом шагу желает увязнуть в этих, – не знаю, назвать ли мне их безрассудствами, – то ничего другого не остается, как только повиноваться и преклонить голову по пословице: делай то, что господин твой велит, и садись с ним за стол. Тем не менее, для облегчения своей совести, я считаю нужным предупредить вашу милость, что, насколько мне кажется, эта барка не из заколдованных, а принадлежит какому-нибудь местным рыбакам, так как здесь в этой реке ловят лучшую железнину в мире.

Санчо говорил это, пока он привязывал животных, оставляя их под покровительством и защитой волшебников с великой болью в душе. Дон Кихот сказал, чтобы он не огорчался тем, что Росинант и Серый останутся здесь без

призора; тот, кто их самих проведет по столь *longincuos*² путям и дорогам, порадеет и о их животных.

– Ничего не понимаю в этом логикуос, – сказал Санчо, – и во всю свою жизнь не слышал такого слова.

– Лонгинькуос, – ответил Дон Кихот, – значит *отдаленные*; неудивительно, что ты не понял этого слова, так как ты не обязан знать по-латыни, как некоторые, имеющие притязание знать латынь, а между тем нимало не знающие ее.

– Животные наши уже привязаны, – заявил Санчо. – Что же нам теперь делать?

– Что? – переспросил Дон Кихот, – осенить себя крестным знаменем и сняться с якоря: я хочу сказать, – войти в барку и обрезать веревку, которою барка привязана.

Говоря это, Дон Кихот вскочил в барку, Санчо последовал за ним, они обрезают веревку, и барка медленно отошла от берега. Увидав, что они уже отчалили от него аршина на два, Санчо начал дрожать, боясь, что ему угрожает гибель, но сильнее всего огорчало его слышать рев Серого и видеть, как Росинант изо всех сил старался оторваться от привязи. Обращаясь к своему господину, он сказал:

– Серый ревет, опечаленный разлукой с нами, а Росинант старается оторваться от привязи, чтобы броситься за нами вплавь. О! дражайшие друзья! Оставайтесь с миром, и пусть безумие, которое нас разлучает, обратится скорей в раскаяние и вновь приведет нас к вам.

Проговорив это, Санчо так горько заплакал, что Дон Кихот, рассерженный и раздосадованный, сказал ему:

¹ Frailes descaltos особенно уважались тогда за их будто бы святость.

² Longincuos – отдаленные.

– Чего ты боишься, трусливое создание? О чем ты плачешь, сердце из рыхлого теста? Кто тебя преследует, или кто тебе угрожает, мышьяная ты душа? Или чего недостает тебе, нуждающийся среди лона изобилия? Быть может, ты пешком и босой поднимаешься по Рифейским¹ горам, а не сидишь, как эрцгерцог, на скамейке, плывя по тихим волнам этой столь прекрасной реки, из которой мы в скором времени выйдем в открытое море? Теперь мы уже, по меньшей мере, отплыли семьсот или восемьсот миль, и если бы у меня была здесь астролябия² для измерения долготы, я бы тебе точно сказал, как далеко мы отъехали, хотя я или ничего не понимаю, или мы уже прошли или скоро пройдем равноденственную линию, отделяющую и отрезающую на две равные половины расстояние между двумя противоположными полюсами.

– А когда мы доберемся до этой лени³, о которой говорит ваша милость, – спросил Санчо, – сколько мы тогда проедем?

– Много, – ответил Дон Кихот, – потому что из трехсот шестидесяти градусов, заключающихся в земном и водяном шаре по исчислению Птолемея, который был величайшим из известных космографов, мы проедем половину, добравшись до линии, о которой я говорил.

– Ей Богу, – сказал Санчо, – ваша милость приводит мне в свидетели того,

что говорит, очень милую особу, какого то *графа с космами*, и вдобавок еще *Птолу, Мей* или не знаю как⁴.

Дон Кихот рассмеялся над толкованием, данным Санчо словам: космограф и Птолемей, и сказал:

– Знай, Санчо, испанцы и те, что отплывают из Кадикса в восточную Индию, считают одним из признаков, по которым они узнают, что проехали упомянутую мною равноденственную линию, то обстоятельство, что у всех, кто находится на корабле, умирают вши, – ни одной не останется, и на всем корабле не найти ни единой, хотя бы на вес золота⁵. Итак, Санчо, ты можешь провести рукой по своему бедру, и, если поймашь что-нибудь живое, мы освободимся от этого сомнения; а если нет, тогда мы проехали линию.

– Не верю я ничему этому, – сказал Санчо, – тем не менее, сделаю то, что ваша милость мне приказывает, хотя не знаю, какая необходимость делать такого рода опыты, когда я вижу своими собственными глазами, что мы не отъехали от берега и на пять аршин и не спустились ниже двух аршин оттуда, где стоят животные, потому что вот Росинант и Серый на том самом месте, где мы их оставили. И если хорошенько всмотреться, как я теперь это делаю, клянусь вам, что мы едем и двигаемся медленнее муравьев.

– Сделай, Санчо, исследование, о котором я тебе говорил, и не заботься о дру-

¹ Рифейские горы помещались древними географами в самой северной части Скифии.

² Инструмент, бывший тогда в употреблении, чтобы измерять широту; теперь он заменен квадрантом и секстантом.

³ Леña – дерево, говорит Санчо, вместо linea – линии.

⁴ Точно передать здесь игру слов невозможно.

⁵ Это столь удивительное сообщение – неподтвержденное другими исследователями – принадлежит Аврааму Ортелиусу в его «*Theatrum Orbis Terrarum*», испанский перевод которого был напечатан в Антверпене в 1612 г., где автор утверждает, будто бы тотчас же после того, как они прошли Азорские острова, мореплаватели удостоверились, что избавились от блох, клопов и всяких других насекомых.

гом, так как ты не знаешь, что такое колурии, линии, параллели, зодиаки, эклиптики, полюсы, солнцестояние, равноденствие, планеты, знаки, градусы и измерения, из которых состоят небесные и земные сферы; потому что, если бы ты знал все эти вещи, или часть их, ты бы ясно видел, сколько мы уже проехали параллелей, сколько видели знаков зодиака и сколько теперь оставляем позади себя созвездий. Повторяю тебе опять, пощупай себя и поищи, так как мне думается, что ты чище белого и гладкого листа бумаги.

Санчо поискал у себя, и тихо и осторожно пощупав рукой в углублении под левой коленкой, он поднял голову, посмотрел на своего господина и сказал:

– Или опыт неверный, или же мы не доехали еще намного миль до того места, о котором говорит ваша милость.

– Как так, – спросил Дон Кихот, – разве ты нашел что-нибудь?

– И даже нескольких, – ответил Санчо. И, отряхивая пальцы, он вымыл всю руку в реке, по которой барка тихо скользила, движимая ни какой-либо таинственной силой или скрытым волшебником, а самим течением воды, до тех пор еще спокойным и тихим. Вскоре они заметили несколько больших водяных мельниц, стоявших среди реки: и едва Дон Кихот усмотрел их, как он громким голосом сказал Санчо:

– Видишь ли, о, друг, перед нами уже открывается город, замок или крепость, где, должно быть, находится тот угнетенный рыцарь, или же та попавшая в беду королева, инфанта или принцесса, на помощь которой я послан сюда.

– О каком там, черт возьми, городе, крепости или замке говорит милость ваша, сеньор, – спросил Санчо, – неужели вы не видите, что это водяные мельницы, стоящие на реке, куда привозят молотъ пшеницу?

– Молчи, Санчо, – сказал Дон Кихот, – потому что, хотя они и кажутся мельницами, но это не мельницы, и я уже говорил тебе, что посредством волшебства все вещи превращаются и меняют естественный свой вид. Я не хочу этим сказать, что они действительно превращаются из одного существа в другое, но что это так кажется, чему может служить примером превращение Дульсинеи – единственного убежища моих надежд.

Между тем барка попала в середину течения и стала двигаться не столь медленно, как до того. Мельники, бывшие в водяных мельницах, увидав, что барка, плывшая по реке, близка к тому, чтобы быть втянутой в водоворот под мельничьи колеса, поспешно вышли из мельниц и многие из них с длинными шестами, чтобы оттолкнуть ее; а так как они вышли осыпанные мукой, с лицами и одеждой покрытыми мучной пылью, наружность их была не очень привлекательна. Они громко кричали, говоря:

– Черти, а не люди, куда вы плывете? С ума вы сошли, что ли? Хотите вы утонуть и быть размолотыми вдребезги этими колесами?

– Не говорил ли я тебе, Санчо, – сказал тогда Дон Кихот, – что мы доехали до того места, где я должен показать все могущество и силу моей руки? Видишь, какие разбойники и негодяи высыпали мне навстречу? Смотри, сколько чудовищ идет против меня, смотри, сколько уродливых физиономий издеваются над нами. Подождите, сейчас увидите, негодяи!

И встав на ноги в барке, он стал громким голосом угрожать мельникам, говоря:

– Злобный и еще более опрометчивый сброд, отпустите на волю и верните свободу тому лицу, которое вы держите в заточении в этой вашей крепости или

тюрьме, высокого ли оно или низкого происхождения, и какого бы то ни было звания или положения, потому что я – Дон Кихот Ламанчский, называемый иным именем рыцарь Львов, которому по воле высоких небес суждено довести это приключение до счастливого конца.

И говоря это, он обнажил меч и стал махать им в воздухе, угрожая мельникам; – а они, слыша, но не понимая этих нелепостей, старались своими шестами удержать барку, уже подхваченную водоворотом, мчавшимся под мельничные колеса. Санчо встал на колени, набожно моля небо спасти их от столь очевидной опасности, и оно сделало это посредством рвения и проворства мельников, которые, упираясь шестами в барку, остановили ее, но не так однако, чтобы она не опрокинулась и Дон Кихот и Санчо не упали бы в воду. К счастью своему, Дон Кихот умел плавать, как гусь, хотя тяжесть его доспехов два раза погружала его на дно, и если бы не мельники, которые бросились в воду и вытащили их оттуда вместе, точно груз, там для обоих настала бы Троя¹. Когда их доставили на землю, более промокших, чем томящихся жаждой. Санчо, стоя на коленях, сложив руки и подняв глаза к небу, просил Бога в долгой и теплой молитве избавить его отныне впредь от дерзостных затей и предприятий его господина. Между тем явились и рыбаки, которым принадлежала барка, разбитая вдребезги мельничными колесами. Увидав, что она разбита, они бросились раздевать Санчо и требовать от Дон Кихота, чтобы он им заплатил за барку. Рыцарь, с большим спокойствием, – точно ничего с ним не случилось, – сказал мельникам и рыбакам, что он очень охотно заплатит за барку, но только с условием,

чтобы они без всяких оговорок вернули свободу особе или особам, заточенным у них в замке.

– О каких особах и о каком замке говоришь ты, безрассудный человек? – спросил один из мельников. – Не желаешь ли ты, быть может, отнять у нас тех, что приходят к нам на мельницу молоть пшеницу?

– Довольно, – сказал себе Дон Кихот; – тот проповедовал бы здесь в пустыне, кто желал бы просьбами побудить этот сброд сделать какое-либо доброе дело. В этом приключении, должно быть, встретились враждебно два волшебника и один мешает тому, что затевает другой; один послал мне барку, другой опрокинул ее. Да поможет здесь Бог, так как весь этот мир одно лишь сплетение враждебных друг другу сил. Я не могу ничего больше сделать.

И, возвысив голос и глядя на водяные мельницы, он продолжал, говоря:

– Друзья, кто бы вы ни были, заточенные в этой темнице, простите меня; так как к моему и к вашему несчастью, я не могу избавить вас от вашей беды. Должно быть, это приключение предназначено другому рыцарю.

Сказав это, он вступил в соглашение с рыбаками и заплатил им за барку пятьдесят реалов, которые Санчо очень неохотно им отдал, говоря:

– Еще две поездки на барке, подобные этой, и все наше достояние очутится на дне реки.

Мельники и рыбаки стояли в изумлении, глядя на эти две фигуры, столь несходные, как им казалось, с другими людьми, и никак не могли взять в толк, что такое означают слова и вопросы, с которыми Дон Кихот обращался к ним. Решив, что это сумасшедшие, они оста-

¹ Или иными словами их гибель – намек на фразу Вергилия: *fuimos Troes fuit Ilium* – Энеида, 2-я песня.



... и если бы не мельники, которые бросились в воду и вытащили их оттуда вместе, точно груз, там для обоих настала бы Троя.

вили их и ушли – мельники на мельницу, а рыбаки в свои хижины. Дон Кихот и Санчо возвратились к своим живот-

ным и к тому, чтобы ими быть¹; на этом и кончилось приключение с заколдованной баркой.



¹ А *ser bestias* – тут игра слов – *bestia* не только животное, но и люди, сбитые с дороги, лишенные на время рассудка.



Глава XXX

О том, что произошло у Дон Кихота с прекрасной охотницей.

Весьма недовольные и в дурном расположении духа вернулись к своим животным рыцарь и оруженосец, особенно же Санчо, для которого посягнуть на его денежный запас равнялось посягновению на его душу, и ему казалось, что все, что он вынужден отдать оттуда, то же, как если бы он отдал зеницы глаз своих. Они, наконец, сели верхом, не говоря ни слова, и удалились от знаменитой реки; Дон Кихот весь погруженный в мысли о своей любви, а Санчо – в мысли о своем возвеличении, казавшемся ему тогда еще очень далеким, так как, не смотря на свою простоту, он хорошо

понимал, что все поступки его господина, или же большая их часть, были безрассудны, и он искал случая, чтобы, не входя ни в какие расчеты и не прощаясь с своим сеньором, уйти от него и вернуться домой. Но судьба устроила дела совершенно иначе, чем он опасался.

Случилось так, что на следующий день, при заходе солнца и выезжая из лесу, Дон Кихот бросил взгляд на зеленый луг, в конце которого увидел много народу и, подъехав поближе, рассмотрел, что это соколиная охота¹. Еще больше приблизившись, он среди охотников увидел прекрасную сеньору, верхом на великолепном коне или иноходце сверкающей белизны, украшенном

¹ Соколиная охота позволялась в то время лишь принцам и людям знатного рода.

зеленой сбруей и седлом в серебряной оправе. Эта сеньора была тоже вся одета в зеленое и так нарядно и богато, что казалась воплощением самого великолепия. На левой руке она держала сокола, из чего Дон Кихот заключил, что это очень знатная сеньора, должно быть, госпожа всех этих охотников, как оно на самом деле и было. Итак, он сказал Санчо:

– Беги, сын Санчо, и скажи той сеньоре на иноходце и с соколом, что я, рыцарь Львов, целую руки ее великой красоты, и если ее высочество разрешит мне, то сам явлюсь поцеловать ей руки и служить ей, поскольку дозволят мне силы и пожелает ее светлость. Только смотри, Санчо, говори обдуманно и постарайся не приплетать к своему посольству какую-нибудь из твоих пословиц.

– Нашли переплетчика¹, нечего сказать, – ответил Санчо; – и вы говорите это мне, которому уже не впервые отправляться послом к знатым и могущественным сеньорам?

– Кроме твоего посольства к сеньоре Дульсинее, – сказал Дон Кихот, – я не знаю, чтобы ты еще куда-нибудь ездил послом, по крайней мере, пока ты у меня на службе.

– Это правда, – ответил Санчо, – но хорошего плательщика не тревожит внесенный им залог и где: в доме обилие заведется, быстро ужин подается; я хочу сказать, что мне не надо ничего ни говорить, ни указывать, так как я на все способен и несколько готов ко всему.

– Верю этому, Санчо, – сказал Дон Кихот, – ступай же в добрый час, и да поможет тебе Бог.

Санчо пустил осла во всю прыть, заставив Серого выйти из обычного ему хода, и, доехав туда, где находилась пре-

красная охотница, он спешился, опустился пред нею на колени и сказал:

– Прекрасная сеньора, этот рыцарь, которого вы там видите, называемый *Рыцарем Львов*, – мой господин, а я его оруженосец, и дома меня зовут Санчо Панса. Этот самый *Рыцарь Львов*, недавно еще называвшийся *Рыцарем Печального Образа*, послал меня сказать вашему высочеству, не будет ли вам угодно дать ему разрешение с вашего согласия, одобрения и благоволения, явиться сюда для выполнения его желания, которое, как он говорит и я это думаю, заключается ни в чем ином, как только в том, чтобы служить вашей высочайшей надменности и красоте, потому что, дав просимое разрешение, ваше высочество сделает вещь, которая обратится на пользу ей, а он сочтет ее за величайшую милость и радость.

– Не подлежит сомнению, добрый оруженосец, – ответила сеньора, – что вы свое поручение исполнили со всеми формальностями, требуемыми такого рода посольствами. Встаньте, так как не годится, чтобы оруженосец столь знаменитого рыцаря, как рыцарь *Печального Образа*, – о котором мы здесь уже много слышали, – стоял бы на коленях. Встаньте, друг, и скажите вашему сеньору, чтобы он в добрый час посетил нас, и мы – я и мой муж – будем очень рады ему и ждем его в загородном нашем доме, здесь поблизости.

Санчо встал, столь же восхищенный красотой доброй сеньоры, как и ее изысканной вежливостью и учтивостью и более всего сказанным ею, будто она уже слышала о его господине *Рыцаре Печального Образа* – и если она его не назвала *Рыцарем Львов*, то, должно быть, лишь потому только, что он так недавно принял это прозвище.

¹ Непередаваемая по-русски игра слов.



...и, подъехав поближе, рассмотрел, что это соколиная охота...

Герцогиня (титул которой еще не известен) спросила его:

– Скажите мне, брат оруженосец, ваш господин не тот ли, о котором напечатана история, озаглавленная: «*Остроумно-изобретательный идальго, Дон Кихот Ламанчский*», и который избрал повелительницей своих дум некую Дульсинею Тобосскую?

– Он самый и есть, сеньора, – ответил Санчо, – а его оруженосец, что изображен, как говорят, или должен быть изображен в той истории и которого зовут Санчо Панса, – это я, если меня не подменили в колыбели, я хочу сказать, если меня не подменили в печати.

– Всему этому я очень рада, – сказала герцогиня. – Идите, брат Панса, и передайте вашему сеньору, что он будет дорогим и желанным гостем в моих владениях, и ничто другое не могло бы доставить мне большего удовольствия.

С таким благоприятным ответом Санчо вернулся в величайшем восторге к своему господину, которому рассказал все, что знатная сеньора говорила ему, превознося до небес в своих деревенских выражениях необычайную ее красоту, ее величайшее изящество и учтивость. Дон Кихот приосанился на своем седле, укрепился хорошенько на стремянах, поправил забрало и, прищпорив Росинанта, с милой отвагой двинулся вперед, чтобы поцеловать руки герцогини, которая, приказав позвать герцога – мужа своего, – рассказала ему о посольстве Дон Кихота, в то время как он сам подъезжал к ним. Так как и герцог, и герцогиня прочли первую часть истории Дон Кихота и из нее узнали о необычайных его причудах, они ждали его с величайшим нетерпением и желанием познакомиться с ним, решив подчиняться его прихотям, соглашаться со всеми его взглядами и в течение того

времени, которое он проведет у них, обращаться с ним, как приличествует обращаться со странствующим рыцарем, выполняя весь, принятый в таких случаях, церемониал, о котором они читали в рыцарских книгах, а читать их они были большие охотники.

Между тем Дон Кихот подъехал к приподнятым забралом, и когда он сделал движение, собираясь сойти с лошади, Санчо поспешил к нему, чтобы подержать стремя, но был так несчастлив, что, когда слезал с Серого, нога его запуталась в одной из веревок вьючного седла, так что он не мог высвободить ее и повис на воздухе, лицом и грудью касаясь земли. Дон Кихот, который не привык сходить с лошади иначе, как чтобы ему держали стремя, думая, что Санчо уже делает это, качнулся всем телом вперед и увлек с собою седло Росинанта, бывшее, по-видимому, плохо подтянутым. И седло, и он упали на землю, что привело рыцаря в величайшее смущение, и он сквозь зубы послал немало проклятий по адресу несчастного Санчо, нога которого все еще оставалась застрявшей в путах. Герцог приказал своим охотникам помочь рыцарю и его оруженосцу, и они поспешили поднять Дон Кихота, который сильно ушибся при падении и теперь, прихрамывая и как мог, подошел преклонить колени перед их светлостями. Но герцог не хотел этого дозволить, а, напротив, он сам соскочил с лошади, обнял Дон Кихота и сказал ему:

– Мне очень прискорбно, сеньор рыцарь Печального Образа, что первые шаги ваши в моих владениях оказались такими неудачными, как мы это видели; но небрежность оруженосцев бывает иногда причиной даже худших случайностей.

– Та, которая приключилась со мной, когда я вас увидел, доблестный

принц, – сказал Дон Кихот, – не может быть названа несчастной, – хотя бы мое падение остановилось лишь только в самой глубине бездны, так как и оттуда меня вывела бы и вознесла честь, которую я имел, видеть вас. Мой оруженосец – будь он проклят Богом – лучше умеет развязывать язык, чтобы говорить зло, чем подтягивать подпругу и подвизывать седло так, чтобы оно держалось крепко. Но в каком бы я ни был виде, – упавший или вставший, пешком или верхом, – я всегда готов служить вам и моей сеньоре герцогине, достойной вашей супруге и достойной владычице красоты и всемирной княгине учтивости.

– Осторожнее, мой сеньор, Дон Кихот Ламанчский, – сказал герцог, – там, где есть сеньора донья Дульсинея Тобосская, нет места восхвалению других красавиц.

В это время Санчо уже освободился из своих пут и, находясь поблизости, прежде чем его господин ответил, он сказал:

– Нельзя отрицать, а приходится подтвердить, что сеньора Дульсинея Тобосская очень красива; но заяц выскакивает там, где меньше всего его ждешь, и я слышал, говорили, будто то, что называется природой, подобно горшечнику, который делает посуду из глины, и тот, кто сделал один красивый глиняный сосуд, может сделать их два, и три, и сто. Говорю это потому, что сеньора герцогиня, по чести, не уступает нисколько в красоте госпоже моей, сеньоре Дульсинеи Тобосской.

Дон Кихот обратился к герцогине, говоря:

– Ваше высочество может представить себе, что ни у одного странствующего рыцаря в мире не было более

болтливого и забавного оруженосца, чем мой; и он докажет вам истину моих слов, если высочайшей вашей светлости угодно будет принять, на несколько дней, мои услуги.

На это герцогиня ответила:

– Что добрый Санчо забавен, я очень ценю: – это признак, что он умен, так как шутка и веселость, как вашей милости, сеньор Дон Кихот, хорошо известно, не уживаются с тупоумием, и если добрый Санчо весел и забавен, отныне провозглашаю его умным.

– И говоруном, – добавил Дон Кихот.

– Тем лучше, – сказал герцог, – много шуток нельзя сказать в немногих словах, а чтобы не терять время на них, едемте с нами, великий рыцарь Печального Образа.

– *Рыцарь Львов*, следовало сказать вашему Величеству, – поправил Санчо, – так как уже нет теперь печального образа.

– Пусть же образ¹ его будет львиный, – продолжал герцог, – итак, говорю я, просим сеньора Рыцаря Львов ехать с нами, в один мой замок, здесь поблизости, где будет оказан прием, по праву приличествующий столь высокому лицу, и какой мы, я и герцогиня, оказываем обыкновенно всем странствующим рыцарям, приезжающим к нам в замок.

Между тем Санчо уже поправил и хорошенько подтянул седло у Росинанта, на которого Дон Кихот сел, а герцог – на прекрасную лошадь; между ними обоими ехала герцогиня, и все вместе направились к замку. Герцогиня велела Санчо ехать рядом с ней, так как его остроты доставляли ей бесконечное удовольствие. Санчо не заставил себя

¹ Игра слов, непередаваемая на русский язык.

просить и, вмешавшись среди них трех, явился четвертым в разговоре, к великому увеселению герцога и герцогини, ко-

торые сочли для себя большим счастьем принять в своем замке такого странствующего рыцаря и такого оруженосца¹.



¹ Tal caballero andante y tal escudero andado – непередаваемая на русский язык игра слов; *andante* – «странствующий» и *andado* – «изношенный, бывший в употреблении»; это последнее слово применяется большею частью лишь к вещам.



Глава XXXI

В которой идет речь о многих и важных вещах.

Веселие Санчо достигло высшей своей ступени, когда он увидел себя, как ему казалось, в дружеском общении с герцогиней, и уже он рисовал себе, как найдет в ее замке то, что нашел в доме дона Диего и Басилио, а так как он был всегда любитель хорошей жизни, он хватал за чупрун всякий случай угоститься, когда и где бы он ему не представился.

История повествует, что прежде, чем они доехали до загородного дома или замка, герцог уехал вперед и дал всем своим слугам приказание, как им обращаться с Дон Кихотом. Лишь только рыцарь вместе с герцогиней подъехали к воротам, тотчас же выбежало два лакея или конюха в длинных и падающих им до пят, называемых утренними, одеждах из тончайшего малинового ат-

ласа и, подхватив на руки Дон Кихота, так что никто не видел и не слышал, шепнули ему:

– Пусть ваше высочество поможет сойти с лошади сеньоре герцогине.

Дон Кихот так и хотел сделать, и между ним и герцогиней произошел по этому поводу обмен утонченных любезностей; в конце концов, однако, победило упорство герцогини, и она не пожелала сойти или дать себя снять с иноходца иначе, как только с помощью герцога, говоря, что не считает себя достойной утруждать такого знаменитого Рыцаря столь бесполезным бременем. Наконец, явился герцог и снял ее с лошади, и когда они вошли в большой двор, появились две красивые девушки, набросили на плечи Дон Кихота длинную мантию из тончайшего алого сукна, и в одно мгновение все галереи двора наполнились

герцогскими служителями и служанками, громко восклицавшими: «Добро пожаловать, цвет и сливки странствующих рыцарей!». И все они, или большая их часть, обрызгивали из флакончиков душистой водой Дон Кихота и герцогскую чету, что весьма удивило Дон Кихота; и это был первый день, когда он вполне поверил и сознал себя истинным странствующим рыцарем, а не фантастичным, видя, что с ним обращаются так, как он читал, что обращались в былые века с подобными рыцарями.

Позабыв о своем Сером, Санчо шел, точно пришитый к герцогине, и вместе с нею проник в замок; но, чувствуя угрызения совести, что он оставил Серого одного, он подошел к почтенной дуэнья, которая вместе с другими вышла встречать герцогиню, и шепнул ей:

– Сеньора Гонсалес, или как зовут вашу милость?!

– Меня зовут доньей Родригес де Грихальби, – ответила дуэнья, – Что вам угодно, брат?

На это Санчо сказал:

– Я бы желал, чтобы ваша милость сделала мне одолжение и вышла за ворота замка, где вы увидите моего серого осла, и будьте так добры приказать отвести его в конюшню, или же отведите его сами, так как бедняга очень пуглив и никоим образом не может остаться один.

– Если господин также умен, как его слуга, – ответила дуэнья, – хорошую мы сделали находку. Ступайте, брат, и черт побери вас и того, кто в недобрый час привел вас сюда. А за своим ослом присмотрите сами, так как мы – дуэньи этого дома и не привыкли к подобного рода занятиям.

– Но, право же, – возразил Санчо, – я слышал, как мой господин, который

по части историй – колдун, рассказывал о Лансароте, что, когда тот вернулся из Бретани, *сеньоры, ухаживали за ним, а дуэньи за его конем*; что же касается моего осла, то я не променял бы его на коня сеньора Лансарота.

– Брат, если вы шут, – сказала дуэнья, – поберегите свои шутки для тех, кому они понравятся и кто вам заплатит за них, потому что от меня вы можете получить только фигу.

– И это хорошо, – ответил Санчо, – так как она будет очень спелая, и, если считать лета, вы-то уж не потеряете взятки, за недостатком очков в ваших картах¹.

– Сын блудницы, – воскликнула дуэнья, вспыхнув гневом, – стара я или нет, я дам отчет в этом Богу, а не вам, негодаям, наевшийся чеснока!

Она крикнула слова эти так громко, что герцогиня услышала их, повернула голову и, увидя свою дуэнью такой взволнованной, с такими сверкающими глазами, спросила, с кем она бранится.

– А вот с ним, – ответила дуэнья, – с этим добрым человеком, который весьма настоятельно просил меня пойти отвести в конюшню его осла, оставленного им у ворот замка, и он привел мне в пример, что так, не знаю где, поступали какие-то сеньоры, ухаживавшие за неким Лансеротом, а дуэньи – за его конем, и сверх всего, в добрый конец, он меня называл старой.

– Это я бы сочла, – сказала герцогиня, – за самое большое оскорбление, какое только можно было бы нанести мне. – И, обратившись к Санчо, она проговорила:

– Заметьте, Санчо друг, что донья Родригес еще очень молода и этот головной убор она носит скорее ради значе-

¹ *Quinolas* – карточная игра, в которой выигрывал тот, у кого на руках оказывались четыре карты наиболее значительные или с наибольшим числом очков.



Пусть ваше высочество поможет сойти с лошади сеньоре герцогине.

ния своей должности и обычая, а не из-за своих лет.

– Пусть все те, которые мне еще суждено прожить, будут несчастливы, – ответил Санчо, – если я это имел в виду. Я только сказал это потому, что любовь моя к ослу очень уж велика, и мне казалось нельзя поручить его человеку более сострадательному, чем сеньоре донье Родригес.

Дон Кихот, который все слышал, обратился к Санчо, говоря:

– Подходящий ли это разговор здесь, в таком месте?

– Сеньор, – ответил Санчо, – каждому приходится говорить о том, что ему нужно, где бы он не находился. Здесь я вспомнил о Сером и здесь говорил о нем; и если б вспомнил в конюшне, говорил бы там.

На это герцог сказал:

– Санчо вполне прав, и винить его не за что. Серому будет задано столько корму, сколько он в состоянии съесть, и пусть Санчо не беспокоится, потому что за ослом его будут ухаживать так же, как и за ним самим.

Среди этих занимательных для всех, кроме Дон Кихота, разговоров, они поднялись вверх по лестнице, и рыцаря ввели в залу, убранную богатейшими тканями из парчи и золота. Шесть девушек сняли здесь с него доспехи и служили ему пажами, все предупрежденные и наученные герцогом и герцогиней, что им делать и как обращаться с Дон Кихотом, чтобы он думал и видел, что с ним обращаются так, как с странствующим рыцарем. Когда с него сняли доспехи, Дон Кихот остался в узких штанах и замшевом камзоле, высокий, сухой и длинный, с такими ввалившимися щеками, что они внутри точно лобызали друг друга, – фигура, над которой прислуживавшие ему девушки, если б они из всех сил не ста-

рались скрыть свое веселье (это было одним из самых строгих приказаний, данных им их господами), умерли бы от смеха. Они просили его позволить дать себя обнажить, чтобы надеть на него рубашку, но он не согласился, говоря, что рыцарям столь же приличествует стыдливость, как и храбрость. Тем не менее, сказал он, они могут передать рубашку Санчо; и после того, как он заперся с ним в комнате, где стояла роскошная постель, он здесь разделся и надел рубашку. Увидав себя наедине с Санчо, он обратился к нему со словами:

– Скажи мне, новоиспеченный шут и давнишний олух, хорошо ли было с твоей стороны оскорблять и бесчестить столь почтенную и достойную уважения дуэнью? Подходящее ли было время вспоминать о своем Сером, или же сеньоры эти такого рода, что допустят терпеть голод и нужду животным, когда они так радушно принимают их хозяев? Ради Бога, Санчо, сдерживайся и веди себя так, чтобы не заметили по нитке, из какой толстой и грубой пряжи ты соткан. Знай, грешник ты этакий, что тем более уважают господина, чем почтеннее и воспитаннее его слуги, и одно из наибольших преимуществ, которые принцы имеют перед остальными людьми то, что служащие им так же хороши, как и они сами. Разве ты не понимаешь, этакий ты глупец, – а я несчастный, – что, увидав в тебе грубую деревенщину или же пошлого шута, могут подумать, что и я какой-нибудь обманщик или самозванный рыцарь? Нет, нет, Санчо друг, избегай подводных этих камней, потому что кто спотыкается, как говорун и шутник, падает при первом же ложном шаге и спускается до постыдного скоморошества. Обуздывай свой язык, взвешивай и обдумывай слова свои, прежде чем они выскользнут у тебя изо рта, и помни, что

мы добрались в такое место, откуда с помощью Божьей и мужества моей руки предстоит нам уехать, увеличив в три и в пять раз свою славу и имущество.

Санчо как нельзя искреннее обещал своему господину зашить себе рот или откусить язык прежде, чем сказать неуместное или необдуманное слово и просил не беспокоиться, так как через него никогда не откроют, кто они.

Дон Кихот оделся, опоясал себя перевязью с мечом, накинул на плечи яркочерную мантию, надел на голову шапочку из зеленого атласа, которую ему дали девушки, и в этом наряде вышел в большую залу, где он нашел расставленных на два фланга, поровну как с одной, так и с другой стороны, девушек, все снабженные нужными приборами, чтобы подать ему умыть руки, и они сделали это со многими реверансами и церемониями. Затем появились двенадцать пажей с маэстресала¹ во главе, чтобы отвести Дон Кихота к столу, так как герцог и герцогиня уже ждали его. Окружив его, пажи с большой торжественностью и пышностью повели его в другой зал, где был накрыт богато убранный стол, но только на четыре прибора. Герцогиня и герцог подошли к дверям зала, чтобы встретить его, и с ними суровый с виду священник из тех, которые властвуют в делах принцев, – из тех, которые, сами не родившись принцами, не умеют научать тех, кто ими родился, как себя вести принцами; из тех, которые желали бы, чтобы мелочностью их душ измерялось

величие души высших сего мира; из тех, которые, имея в виду указать тем, кем они руководят, как им быть бережливыми, делают из них скряг². Из числа этих-то, говорю я, должно быть, был и тот суровый с виду священник, который вместе с герцогом и герцогиней вышел навстречу Дон Кихоту. Они обменялись с ним тысячью любезностей, и наконец, взяв его с собой, повели к столу. Герцог пригласил рыцаря сесть во главе стола, и хотя Дон Кихот отказывался, хозяин так настаивал, что гостю пришлось уступить. Духовное лицо поместилось против Дон Кихота, а герцог и герцогиня – по обе его стороны. Санчо присутствовал при всем этом в высшей степени удивленный и изумленный почестями, оказываемыми его сеньору герцогской четой; и заметив множество церемоний и упрасиваний, которыми обменялись герцог с Дон Кихотом относительно того, чтобы рыцарь занял почетное место за столом, Санчо сказал:

– Если милость ваша позволит, я расскажу историю, случившуюся в моем селе по поводу этих мест за столом.

Едва Санчо это выговорил, как Дон Кихота бросило в дрожь, так как он не сомневался в том, что его оруженосец скажет величайшую нелепость. Санчо взглянул на своего господина, понял его и сказал:

– Не бойтесь, милость ваша, сеньор мой, что я собьюсь с дороги или скажу что-нибудь неуместное или необдуманное; я не забыл советов, которые не так

¹ Maestresala – занимал важную должность в знатном доме: на его обязанности лежал присмотр всего, касающегося столовой, стола, служивших в столовой пажей, и в старые времена он должен был отвеживать от каждого блюда, подаваемого его сеньору.

² Во времена Сервантеса почти у всех грандов и знатных лиц были домашние духовники, которые вмешивались во все их дела и управляли всем их домом большею частью не соответственно духовному своему званию. Кроме общих черт, присущих многим духовникам, некоторые биографы говорят, будто Сервантес здесь рисует духовника герцога Бехара или же герцога Виллаэромоса.

давно милость ваша мне давала насчет того, чтобы говорить много или мало, хорошо или дурно.

– Ничего этого я не помню, – ответил Дон Кихот, – говори, что хочешь, только говори скорей.

– Но то, что я собираюсь сказать, – заявил Санчо, – истина, как и то, что мой господин не дал бы мне солгать.

– Что меня касается, – ответил Дон Кихот, – лги себе, сколько хочешь, я тебя не останавливаю, но сперва подумай о том, что ты собираешься сказать.

– Я так хорошо думал и обдумал это, – сказал Санчо, – что теперь я в полной безопасности, как звонарь на колокольне, что и видно будет на деле.

– Хорошо было бы, – сказал Дон Кихот, – если б ваши высочества распорядились, чтобы убрали отсюда этого глупца, который наговорит тысячу нелепостей.

– Клянусь жизнью герцога, – сказала герцогиня, – я не отпущу Санчо ни на шаг от себя. Мне он очень нравится, потому что он очень рассудительный.

– Пусть будут рассудительными дни вашей святости, – сказал Санчо, – за ваше доброе мнение обо мне, хотя я его и не заслуживаю. А хочу я вам рассказать вот что. Пригласил один идадьго из моего села, – очень богатый и знатный, так как он происходил из дома Аламос де Медина дель Кампо, и женился на донье Менсия де Киньонес, которая была дочерью дона Алонсо де Мараньон, рыцаря ордена де Сантьяго, потонувшего в Эррадуре, и из-за него много лет тому назад в нашем местечке произошла ссора, в которой, если я не ошибаюсь, был замешан сеньор мой Дон Кихот, а также тогда был ранен повеса Тамарильо – сын кузнеца Бальбастро. Разве все это неправда, сеньор господин мой? Скажите, прошу вас жизнью вашей, чтобы эти сеньоры

не сочли меня за какого-нибудь лживого болтуна.

– До сих пор, – отозвалось духовное лицо, – я вас считаю скорее за болтуна, чем за лгуна; за что я сочту вас дальше, этого я не знаю.

– Ты ссылаешься на столько свидетелей и указываешь столько примет, что я не могу не согласиться: должно быть, ты говоришь правду. Продолжай и сократи свой рассказ, потому что тем путем, каким ты идешь, не кончить его тебе и в два дня.

– Ему не надо сокращать рассказа, – заявила герцогиня, – чтобы доставить мне удовольствие; пусть напротив он рассказывает его по-своему, хотя бы и не кончил в шесть дней; и если окажется их столько, они будут для меня лучшими, которые я когда-либо провела в жизни.

– Итак, я говорю, сеньоры мои, – продолжал Санчо, – что этот самый идадьго, которого я так же хорошо знаю, как свои руки, потому что мой дом отстоит от его дома лишь на расстояние выстрела из лука, пригласил к себе обедать бедного, но почтенного земледельца.

– Дальше, брат, – сказала тогда духовное лицо, – по дороге, которой вы идете, вы не остановитесь с вашим рассказом и на том свете.

– Менее чем на полдороге туда, останавлиюсь, если Богу будет угодно, – ответил Санчо. – Итак, я говорю, что когда этот земледелец пришел в дом упомянутого идадьго, пригласившего его, – да упокоит Господь его душу, – потому что он уже умер смертью ангела, – но меня при этом не было, так как я в то время ушел жать в Темблесе...

– Заклинаю вас жизнью вашей, сын, вернитесь скорее из Темблесе, и кончайте скорее свой рассказ не похоронив идадьго, если не желаете еще других похорон.

– Дело в том, – сказал Санчо, – что когда оба они собирались сесть за стол, – мне кажется, что я вот теперь их вижу, как нельзя более ясно.

Герцогу и герцогине доставляло большое удовольствие неудовольствие, высказываемое священником из-за многословия и остановок, с которыми Санчо рассказывал свою историю; а Дон Кихот сгорал от гнева и бешенства.

– Итак, говорю, – продолжал Санчо, – когда эти двое, как я сказал, собрались сесть за стол, земледелец спорил с идадьго, чтобы тот сел на почетное место во главе стола, а идадьго настаивал, чтобы земледелец занял это место, говоря, что в его доме надо подчиняться его воле. Но земледелец, гордившийся своей учтивостью и хорошим воспитанием, ни за что не соглашался, пока, наконец, идадьго не рассердился и, положив ему обе руки на плечи, силой усадил его, говоря: – *Садитесь же, деревенщина, ведь куда бы я ни сел, я буду главой для вас* – Вот мой рассказ, и я, право, думаю, что он вовсе не некстати здесь.

Дон Кихот то и дело менялся в лице тысячью оттенков, и, сквозь смуглый цвет его лицо казалось пестрым и похожим на яшму. Герцог и герцогиня всеми силами удерживались от смеха, чтоб не вывести окончательно из себя Дон Кихота, так как они отлично поняли злой намек Санчо. А чтобы переменить разговор и помешать Санчо сказать еще новые нелепости, герцогиня спросила Дон Кихота, какие у него известия о сеньоре Дульсине, и посылал ли он ей за последнее время в подарок великанов или разбойников, так как не может быть, чтобы он не победил многих из них.

На это Дон Кихот ответил:

– Сеньора моя, мои несчастья хотя и имели начало, никогда не будут иметь конца. Великанов я побеждал, плутов и

разбойников посылал ей; но где им найти ее, если она очарована и превращена в самую уродливую крестьянку, которую только можно вообразить себе?

– Не знаю, – сказал Санчо Панса, – мне она кажется самым красивым созданием в мире, по крайней мере, я хорошо знаю, что по легкости и уменью скакать она не уступит канатному плясуну. По чести, сеньора герцогиня, она вскакивает с земли на ослицу, точно она кошка.

– Видели вы ее очарованной, Санчо? – спросил герцог.

– Видел ли я ее? – переспросил Санчо, – кто же, черт возьми, как не я первый, подумал о деле с очарованием? Она так же очарована, как и мой отец.

Духовное лицо, услышав разговор о великанах, разбойниках и волшебствах, догадалось, что, должно быть, перед ним тот самый Дон Кихот Ламанчский, историю которого герцог так охотно читал, за что духовник часто его упрекал, говоря, что безрассудно читать подобные нелепости. И, убедившись в том, что его подозрения справедливы, он, исполненный гнева, обратился к герцогу, говоря:

– Вашей Светлости, сеньор мой, придется держать ответ перед Богом за то, что этот добрый человек делает. Этот Дон Кихот, или дон Сумасшедший, или как бы он ни назывался, по моему, вовсе не такой безумец, как ваша Светлость желает, чтобы он им был, давая ему случай в руки продолжать сумасбродства и причуды свои.

И, обратившись к Дон Кихоту, он сказал:

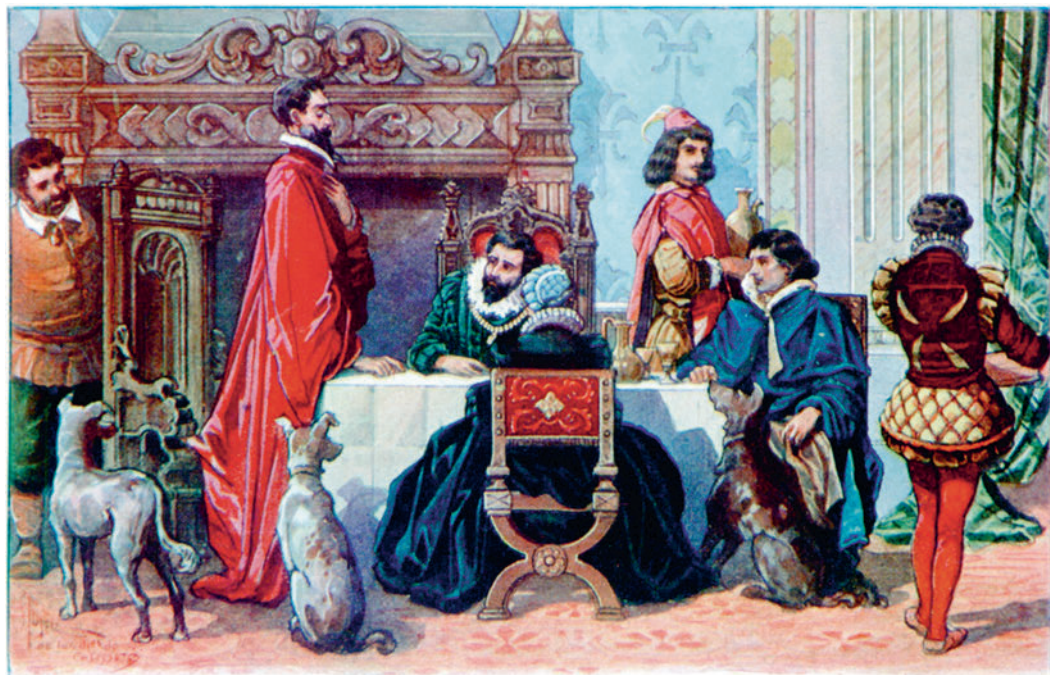
– А вы, кувшинная душа, кто вам вбил в голову, что вы странствующий рыцарь, побеждаете великанов и берете в плен злодеев? Ступайте себе в добрый час и в такой же говорю вам: вернитесь домой, воспитывайте детей своих, если они у вас есть, заботьтесь о своем имени

и бросьте скитаться по свету, глотая ветер и давая повод смеяться всем, кто вас знает и не знает. Где же, – будь сказано в недобрый час, – видели вы, что когда-либо были или теперь есть странствующие рыцари? Где же есть великаны в Испании, или разбойники в Ламанче, или очарованные Дульсиней и все несметное

количество нелепостей, которые про вас рассказывают?

Дон Кихот слушал внимательно слова этого почтенного человека и, видя, что он уже замолчал, не обращая внимания на герцогскую чету, с разгневанным и взволнованным лицом встал и сказал... Но этот ответ заслуживает отдельной главы.





Глава XXXII

*Об ответе, который Дон Кихот дал своему порицателю,
и о других серьезных и веселых происшествиях.*

Встав и дрожа с ног до головы, как человек, принявший ртуть¹, Дон Кихот, волнуясь и заикаясь, сказал:

– Место, где я нахожусь, присутствие вот этих знатных лиц, и уважение, которое я всегда имел и имею к сану вашей милости, сдерживают и связывают по рукам мой справедливый гнев; итак, вследствие того, что я сейчас сказал, а также зная, – как и все это знают, – что оружие носящих рясы то же самое, как и оружие женщин – именно язык, я буду сражаться моим языком в равном бою с вашей милостью, от которой можно было бы ждать скорее добрых советов, чем гнус-

ных упреков. Благочестивое и благожелательное порицание должно проявляться иным образом и иными путями. Порицая меня публично и столь резко, вы, по меньшей мере, перешли все границы доброго увещевания, так как это последнее основано скорее на мягкости, чем на резкости. И нехорошо, ничего не зная о грехе, за который порицаешь, бранить совершившего его без дальнейших околичностей глупцом и сумасшедшим. Если не так, скажите мне, милость ваша, за которое из моих безумств, замеченных вами, вы осуждаете и порицаете меня, и велите мне вернуться домой, заняться хозяйством и заботой о жене и детях, даже не зная, есть ли они у меня? И разве ничего другого не тре-

¹ Temblando come un azogado. См. примеч. Часть I, глава XIX.

буется, как войти, каким бы то ни было путем, в чужие дома, чтобы властвовать над его хозяевами, и воспитавшись в четырех стенах какой-нибудь семинарии, не видав света дальше, чем на двадцать или на тридцать миль в окрестности, – развязно предписывать законы рыцарству и судить о странствующих рыцарях? Или, быть может, бесполезное занятие и дурно потраченное время то, которое тратится, странствуя по свету не в поисках сладостей жизни, а в поисках тернистого пути, по которому доблестные поднимаются к престолу бессмертия? Если бы меня причислили к глупцам рыцари, великодушные, возвышенные, высокорожденные, я бы счел это за неисправимое оскорбление; но если меня считают простаком книжники, которые никогда не вступали на путь рыцарства и не следовали по нему, до этого мне нет дела ни на грош. Рыцарь я есть, и рыцарем умру, если будет угодно Всевышнему. Некоторые идут по обширному поприщу надменного честолюбия, другие – низкой и рабской лести, иные – вводящего в обман лицемерия, и очень немногие – по дороге истинной веры; а я, руководясь моей звездой, иду по узкой тропе странствующего рыцарства и, исполняя свое призвание, презираю земные блага, но не честь. Я мстил за угнетенных, исправлял зло, карал дерзость, побеждал великанов и попираю ногами чудовищ. Я влюблен, но настолько лишь, насколько это обязательно для странствующего рыцаря, и будучи влюбленным, принадлежу не к числу порочных, а к числу воздержных, платонических. Намерения мои направлены всегда к хорошей цели, именно, делать всем добро и никому не делать зла. Заслуживает ли тот, кто так думает, кто так поступает и кто так живет, именоваться глупцом, скажите вы,

ваши высочества, светлейший герцог и герцогиня.

– Клянусь Богом, хорошо сказано! – воскликнул Санчо, – не говорите ничего больше, милость ваша, сеньор мой и господин, в свою защиту, так как больше этого ничего в мире нельзя ни сказать, ни придумать, ни настаивать. К тому же, если этот сеньор отрицает, – как он это отрицал, – что на свете и были, и есть странствующие рыцари, что удивительного, если он ничего не знает о вещах, о которых он говорил?

– Быть может, – спросил священник, – вы, брат, тот Санчо Панса, которому, как говорят, господин его обещал губернаторство острова?

– Да, я тот и есть, – ответил Санчо, – тот, который заслуживает его не хуже другого. Я принадлежу к тем, о которых говорят: к Добрым пристал и сам добрым стал; а также: ни с кем ты родился, а с кем ты ужился; и еще: кто к хорошему дереву прислоняется, хорошей тенью прикрывается. Я прислонился к хорошему господину и уже долгие месяцы пребываю в его обществе, и делаюсь подобным ему, если Богу угодно будет; и да здравствует он, и да здравствую я, так как ни у него не будет недостатка в империях, которыми он будет управлять, ни у меня в островах, – где я буду губернаторствовать.

– Конечно, нет, Санчо друг, – сказал тогда герцог, – потому что я от имени сеньора Дон Кихота предлагаю вам губернаторство одного из принадлежащих мне островов, и довольно таки значительного.

– Встань на колени, Санчо, – сказал Дон Кихот, – и поцелуй ноги его светлости за оказанную тебе милость.

Санчо так и сделал; но видя это, духовник поднялся из-за стола страшно рассерженный и сказал:

– Клянусь рясой, надетой на мне, я вынужден признать, что ваша светлость столь же безрассудна, как и эти два грешника. Как же не быть им безумными, если те, кто в здравом уме, превозносят их безумие! Оставайтесь, ваша светлость, с ними, но пока они будут у вас, я предпочитаю сидеть дома, избавляя себя от труда порицать то, что я не могу изменить.

И не говоря больше ни слова, он бросил ешь и ушел, не обращая внимания на просьбы герцогской четы; впрочем, герцог не очень-то и настаивал, так как ему мешал говорить смех, вызванный у него столь безрассудным гневом священника. Кончив смеяться, герцог сказал Дон Кихоту:

– Вы, милость ваша, сеньор рыцарь Львов, ответили так великолепно, что нет вам больше повода желать удовлетворения в том, что хотя и могло бы казаться, но никоим образом не есть оскорбление, потому что подобно тому, как не могут оскорблять женщины, не могут оскорбить и духовные лица, как это вашей милости лучше моего известно.

– Совершенно верно, – сказал Дон Кихот, – и причина та, что кто не может быть оскорбленным, не может и оскорбить никого. Женщины, дети и духовные лица, так как они не в состоянии защищаться, хотя бы их и обидели, не могут быть оскорблены, потому что между обидой и оскорблением именно и существует эта разница, как лучше моего известно вашей светлости. Оскорбление идет со стороны того, кто его может нанести, кто наносит его и поддерживает, а обиду может причинить всякий без того, чтобы обида превратилась в оскорбление. Например, идет кто-нибудь спокойно по улице; на него набрасывается человек десять вооруженных

и бьют его палкой; – он обнажает меч и исполняет свой долг; но многочисленность его противников препятствует и не позволяет ему выполнить свое намерение, то есть отомстить им. Этот человек будет обижен, но не будет оскорблен. Тоже может подтвердить и другой пример: к человеку, стоящему спиной, подходит кто-нибудь сзади и наносит удар палкой, но, ударив его, не ждет, а убегает; пострадавший бросается за ним, однако не может догнать его. Получивший удар палкой окажется обиженным, но не оскорбленным, потому что оскорбление необходимо поддерживать. Если тот, кто ударил, хотя бы он это и сделал коварным образом, обнажил бы меч, остался на месте и ждал бы своего врага, побитый был бы одновременно и обижен, и оскорблен; обижен – потому что его изменнически ударили; оскорблен, – так как тот, кто это сделал, поддержал сделанное им, остался спокойно на месте и не бежал. Итак, по законам проклятой дуэли я могу быть обиженным, но не оскорбленным, потому что дети, также как и женщины, не помнят зла, не могут бежать, и нет им причины оставаться ждать; тоже и посвятившие себя служению святой религии, потому что эти три разряда людей не имеют оружия, ни наступательного, ни оборонительного; и хотя по законам природы они вынуждены защищать себя, но не вынуждены нападать на кого бы то ни было. И если я только что говорил, что мог бы считать себя обиженным, теперь я скажу, что никоим образом, потому что тот, кто не может быть оскорблен, тем менее может оскорбить. По этой причине я не должен обижаться и не обижаюсь тем, что тот добрый человек мне говорил, а только желал бы, чтобы он подождал немного, и я мог бы дать ему понять, в каком он заблуждении,

думая и говоря, что на свете не было и нет странствующих рыцарей. Если б это услышал Амадис, или кто-либо из его бесчисленных потомков, я знаю, что его милости пришлось бы плохо.

– И я тоже клянусь в этом, – сказал Санчо, – они угостили бы его таким ударом меча, что раскололи бы сверху донизу, как гранатовое яблоко или перезрелую дыню. Не такие они были, чтобы спокойно сносить подобного рода шутки! Клянусь крестным знаменем, если бы Рейнальдо де Монтальбан услышал речи этого человечка, он так шлепнул бы его по рту, что тот целых три года не сказал бы больше ни слова; только пусть бы он тронул их, и он увидел бы, что не ушел бы из их рук.

Герцогиня умирала со смеху, слушая слова Санчо, и ей казалось, что он более забавен и более сумасшедший, чем его господин, и многие в то время придерживались этого же мнения. Наконец, Дон Кихот успокоился, обед кончился, и когда сняли скатерть, в столовую вошли четыре девушки, – одна с серебряным тазом, другая с рукомойником, тоже серебряным, третья с двумя, очень тонкими и необычайной белизны полотенцами, а четвертая, у которой были до локтей засучены рукава, держала в своих белых руках (а они несомненно были белые) круглый кусок неаполитанского мыла. Девушка с тазом подошла к Дон Кихоту и подставила изящным движением ему под бороду таз. Рыцарь, не говоря ни слова, хотя и удивленный такой церемонией, подумал, что, должно быть, в обычае той местности, мыть вместо рук бороду. Поэтому он, как только мог, вытянул свою бороду, и тотчас же полилась вода из кувшина, а девушка с мылом торопливо намылила ему бороду, покрыв точно снежными хлопьями – потому что мыльная пена была так же бела, как снег – не

только бороду, но и все лицо послушного рыцаря, и глаза его, так что он был вынужден их закрыть. Герцог и герцогиня, которых не предупредили обо всем этом, ждали, чем кончится столь странное омовение. Девушка-цирюльник, покрыв лицо и бороду Дон Кихота слоем мыльной пены толщиной в три вершка сделала вид, что ей не хватило воды, и велела девушке с кувшином пойти принести ее, так как сеньор Дон Кихот подождет. Девушка так и сделала, и рыцарь остался сидеть с самой странной и возбуждающей смех наружностью, которую только можно вообразить себе. Все присутствовавшие, – а их было немало, – смотрели на него с его вытянутой на поларшина необычайно смуглой шеей, с закрытыми глазами и с бородой густо намыленной, – и было большим чудом и доказательством ума, что они могли удержаться от смеха. Девушки, придумавшие эту шутку, стояли, опустив глаза, не смея взглянуть на своих господ, а тех разбирала и досада, и смех, и они не знали, что им делать: – наказать ли прислугу за дерзость, или же наградить за удовольствие, доставленное им зрелищем Дон Кихота в таком виде. Наконец, вернулась девушка с рукомойником, и омовение Дон Кихота окончилось; та прислужница, у которой были полотенца, тщательно вытерла и высушила ему бороду, и все четыре девушки, низко поклонившись ему и сделав глубокий реверанс, собрались уходить; но герцог, боясь, чтобы Дон Кихот не заметил, что над ним подшутили, подозвал девушку с тазом и сказал ей:

– Идите, вымойте и меня, только смотрите, чтобы у вас хватило воды.

Догадливая и ловкая девушка подошла к герцогу и, подставив ему под бороду таз, как она это сделала с Дон Кихотом, быстро намылила, вымыла, вытерла и осушила ему бороду, и, сделав

реверанс, все они удалились. После узнали, что герцог клялся, если бы они не вымыли его, как вымыли Дон Кихота, он наказал бы их за дерзость, которую, однако, они умно исправили, намылив и ему бороду.

Санчо внимательно следил за церемониями этого омовения и сказал про себя: «Помоги Боже! Не в обычае ли в этой местности мыть бороды также и оруженосцев, как и рыцарей, потому что, клянусь Богом и душой моей, мне это очень нужно; и даже если бы прошлись по моей бороде бритвой, я бы это счел за еще большее благодеяние».

– Что вы говорите про себя, Санчо? – спросила герцогиня.

– Я говорю, сеньора, – ответил он, – что при других княжеских дворах я всегда слышал, будто, снимая скатерть, подают воду для рук, а не щелок для бороды; и поэтому хорошо долго жить, чтобы многое видеть, но говорят также что тот, кто долгую жизнь живет, не мало горя познает, хотя пройти через одно из таких омовений скорее удовольствие, чем горе.

– Не печальтесь, друг Санчо, – сказала герцогиня, – я распоряжусь, чтобы мои девушки вымыли вам бороду и даже всего вас в щелоке, если бы это понадобилось.

– Я удовольствуюсь одной бородой, – ответил Санчо, – по крайней мере теперь, а там, со временем, как Бог даст.

– Слышите, дворецкий, – сказала герцогиня, – о чем просит добрый Санчо, и исполните его желание в точности.

Дворецкий ответил, что он во всем готов служить сеньору Санчо, и с этими словами он ушел обедать и увел с собою Санчо. Герцог, герцогиня и Дон Кихот остались сидеть за столом, разговаривая о многих и различных вещах, име-

ющих, однако, отношение к военному делу и к странствующему рыцарству. Герцогиня обратилась к Дон Кихоту с просьбой описать и изобразить, – так как, по-видимому, у него хорошая память, – красоту и внешность сеньоры Дульсинеи Тобосской, которая, судя по распространившейся молве о ее красоте, несомненно должна быть самым очаровательным созданием на всем земном шаре и даже во всей Ламанче. Дон Кихот глубоко вздохнул, услышав о желании герцогини, и сказал:

– Если бы я мог вынуть свое сердце и выложить его здесь перед глазами вашего высочества, на столе и на блюде, язык мой был бы избавлен от труда говорить то, что едва можно вообразить себе, так как ваша светлость увидела бы запечатленным там образ сеньоры Дульсинеи; но как могу я отважиться изобразить и описать, точка в точку и черта за чертой, красоту несравненной Дульсинеи? Это бремя, требующее иных плеч, чем мои, предприятие, заняться которым надлежало бы кисти Паррасия, Тимантеса и Апеллеса и резцу Лизиппа, чтобы нарисовать ее на полотне и изобразить в мраморе и бронзе, и цicerоновское или демосфеновское красноречие, чтобы восхвалить ее.

– Что означает демосфеновское, сеньор Дон Кихот? – спросила герцогиня. – Это слово такое, которого я еще никогда в жизни не слышала.

– Демосфеновское красноречие, – ответил Дон Кихот, – все тоже, как если бы сказать красноречие Демосфена, равно и цicerоновское красноречие означает красноречие Цицерона, так как эти два человека были величайшими ораторами в мире.

– Оно так и есть, – сказал герцог, – а вы выказали свое невежество в этом вопросе. Тем не менее, сеньор Дон Кихот

доставил бы нам большое удовольствие, если бы описал сеньору Дульсинею, так как, я уверен, даже в наброске слегка и в общих очертаниях, она выйдет у него такой, что самые красивые позавидуют ей.

– Я непременно бы это сделал, – ответил Дон Кихот, – если бы недавно приключившееся с нею несчастье не изгладило из моей памяти представление о ней. Несчастье же это таково, что я скорей готов оплакивать ее красоту, чем описывать ее, так как вы должны знать, ваши высочества, что, когда я, некоторое время тому назад, отправился к ней, чтобы поцеловать ей руки и заручиться ее благословением, благоволением и разрешением для третьего моего выезда, я нашел ее не такой, какой искал. Нашел я ее заколдованной и превращенной из принцессы в крестьянку, из красавицы в уроду, из ангела в дьявола, из благоуханной в чумную, из утонченной в грубую, из скромной в попрыгунью, из света в тьму, – словом, из Дульсинеи Тобоской в крестьянку из Саего¹.

– Помоги Боже, – воскликнул тут громким голосом герцог, – кто же тот, который сделал столько зла миру? Кто отнял у сеньоры Дульсинеи красоту, радовавшую ее, изящество, составлявшее ее прелесть, и скромность, делавшую ей честь?

– Кто? – ответил Дон Кихот, – кто же иной, как не злобный волшебник, из числа многих завистливых, преследующих меня – проклятое это племя, рожденное в мир, чтобы затмевать и уничтожать подвиги добрых, и возвеличивать и окружать блеском дела злых? Волшебники преследовали меня, волшебники преследуют меня и будут преследовать до тех пор, пока они меня и мои высокие рыцарские подвиги не

свергнут в глубокую бездну забвения; и они вредят мне и ранят меня там, где видят, что для меня наиболее чувствительно, так как отнять у странствующего рыцаря его даму, значит отнять у него глаза, которыми он смотрит, солнце, освещающее его, и опору, которая его поддерживает. И раньше я часто говорил, и теперь повторяю снова, что странствующий рыцарь без дамы все равно, что дерево без листьев, здание без фундамента и тень без того тела, которое ее бросает.

– Ничего нельзя возразить против этого, – сказала герцогиня, – но если, тем не менее, можно верить истории сеньора Дон Кихота, недавно при всеобщем одобрении появившейся на свет Божий, из нее, – если я верно помню, – можно заключить, что ваша милость никогда не видела сеньору Дульсинею, и такой сеньоры и нет на свете, а она просто напросто создание фантазии, так как она родилась и возникла в воображении вашей милости, и вы сами украсили ее теми прелестями и совершенствами, какими пожелали.

– По этому поводу можно было бы многое сказать, – ответил Дон Кихот. – Бог знает, есть ли Дульсинея на свете или нет ее, фантастична ли она или нет, – это такие вещи, исследование которых не может быть доведено до самого основания. Не я создал ее, и не в моем воображении родилась она, хотя и носится перед моими глазами такой, какой приличествует быть сеньоре, одаренной качествами, которые могут прославить ее на весь мир; а именно она должна быть прекрасна без пятнышка, горда без высокомерия, влюблена, но в пределах скромности, любезна из учтивости, учтива по благовоспитанности и, наконец, знатного происхождения, так как при благородной кропи красота

¹ Смотри примечание о Саего в главе XIX.

блещет и сияет на более высоких ступенях совершенства, чем в красавицах низкого происхождения.

– Это так и есть, – подтвердил герцог, – но пусть сеньор Дон Кихот даст мне разрешение сказать ему то, к чему меня вынуждает история его подвигов, которую я читал, а из нее следует, что, если даже допустить существование Дульсины в Тобосо или вне его, и то, что красота ее достигает той высочайшей степени совершенства, как ваша милость описала нам, но, относительно знатности происхождения, она не может встать на один уровень ни с Орианами, ни с Аластрахареями¹, ни с Мадасимами и другими, подобными, которыми полны истории, хорошо известные вашей милости.

– На это я могу сказать, – ответил Дон Кихот, – что Дульсина – дочь своих дел, что добродетели облагораживают кровь, и добродетельного низкороджденного нужно уважать и ценить больше порочного высокороджденного; сверх того, у Дульсины есть такого рода герб, который может дать ей притязания подняться хотя бы до сана королевы с короной и скипетром, так как достоинства красивой и добродетельной женщины в состоянии совершить еще большие чудеса, чем эти, и хотя не формально, а по существу в ней самой заключается самая завидная судьба.

– Признаю, сеньор Дон Кихот, – заявила герцогиня, – что во всем, что сказала ваша милость, вы стоите твердой ногой, и как говорится, со свинцовым отвесом в руках, и что отныне впредь я поверю и заставляю верить всех в моем доме, даже если бы понадобилось, и герцога, моего сеньора, что в Тобосо есть Дульсина, что она жива и поныне,

знатного происхождения и достойна того, чтобы такой рыцарь, как сеньор Дон Кихот, служил ей, а это наивысшее, что я умею и могу сказать в похвалу ей. Но я не могу не высказать некоторое сомнение и не могу не чувствовать какую-то, словно, досаду против Санчо Пансы. Сомнение мое заключается в том, что в вышеуказанной истории сообщается, будто упомянутый Санчо Панса застал упомянутую сеньору Дульсину, когда он ей отвез письмо от имени вашей светлости, за просеиванием пшеницы, и к тому же, как повествует история, это была красная пшеница, подробность, вызывающая во мне сомнение в знатности происхождения сеньоры Дульсины.

На это Дон Кихот ответил:

– Сеньора моя, я должен сказать вашему высочеству, что все, или большая часть вещей, случающихся со мной, выходят из обычных пределов происшествий, случающихся с другими странствующими рыцарями, не знаю, благодаря ли неисповедимым велениям судьбы, или же вследствие злобы, питаемой ко мне каким-либо завистливым волшебником. Теперь уже доказано, что все или большинство знаменитых странствующих рыцарей были наделены разными преимуществами: одни не могли подвергнуться очарованию, другие обладали таким неуязвимым телом, что их нельзя было ранить, как, например, знаменитый Роланд, один из двенадцати пэров Франции, о котором рассказывают, будто его могли ранить только на подошве левой ноги, и никаким иным оружием, только острием толстой булавки. Итак, когда Бернардо дель Карпио убил его в Ронсевале, он, видя, что ничего не может поделаться с ним мечем, поднял его на руках с земли и задушил, вспомнив

¹ Аластрахарея была дочь Амадиса Галльского, Мадасима – королева, Ориана возлюбленная Амадиса.

тогда, как Геркулес задушил ужасного великана Антея, который, как говорили, был сыном Земли. Из сказанного я хотел бы вывести заключение, что, быть может, и я обладаю каким-нибудь из подобных же преимуществ, – не тем, чтобы меня нельзя было ранить, так как опыт уже не раз доказал мне, что у меня тело нежное и вполне уязвимое, – не тем, чтобы я не мог быть очарован, так как я уже видел себя посаженным в клетку, куда никакая власть в мире не была бы в состоянии засадить меня, если б не могущество волшебства. Но с тех пор, как я освободился от него, я склонен думать, что уже никакое волшебство не может нанести мне вреда; и таким образом эти волшебники, видя, что они не в состоянии устремить низкие свои проделки на меня, устремляют месть свою на то, что мне всего дороже, и хотят лишать меня жизни, отравив жизнь Дульсинеи, которую я дышу. Поэтому я думаю, что когда мой оруженосец явился к ней с поручением от меня, они превратили ее в крестьянку, занятую столь грубой работой, как просеивание пшеницы; но я уже говорил, что та пшеница вовсе не была красная и не пшеница, а жемчужины Востока. В доказательство этой истины, сообщу вашим великолепиям, как недавно, проезжая через Тобосо, я не мог найти там дворцов Дульсинеи, а вскоре затем, когда оруженосец мой Санчо ее увидел в настоящем ее облике, – то есть, самой первой красавицей в мире, – она явилась передо мной грубой и уродливой крестьянкой и говорила очень глупо, хотя она и олицетворение ума. А так как я не очарован, и не могу им быть по здравому рассуждению, то очарована, оскорблена, превращена, искажена и изменена она;

на ней отомстили мне мои враги и из-за нее мне придется жить, проливая беспрерывные слезы, пока, наконец, я не увижу ее в первоначальном ее виде. Все это я сказал, чтобы никто не обращал внимания на слова Санчо о просеивании и чистке пшеницы Дульсинеей, так как, если они превратили ее в моих глазах, не удивительно, что они и ему подменили ее. Дульсинея знатна, хорошего происхождения, из благородных родов Тобосо, которые там многочисленны, древние и превосходные; и не подлежит сомнению, что от них не малая доля перешла и к несравненной Дульсинеи, из-за которой родное ее село будет славным и достопамятным в грядущих веках, как это случилось с Троей, благодаря Елене, с Испанией, благодаря Каве¹, но только более похвальным образом и более почетной славой. С другой стороны, я желал бы обратить внимание ваших высочеств на то, что Санчо Панса – один из самых забавных оруженосцев, когда-либо служивших странствующему рыцарю. Иной раз он проявляет простоту до того остроумную, что разобраться в том, прост ли он или же остроумен доставляет немалое удовольствие. У него бывают выходки такого рода, что его можно было бы принять за плута, и рядом такие оплошности, которые подтверждают его глупость. Он во всем сомневается и всему верит. Когда мне кажется, что он бесповоротно погружился в бездну глупости, он появляется с такими умными вещами, которые возносят его к небесам. Словом, я бы не променял его на другого оруженосца, хотя бы мне дали в придачу целый город; и поэтому я в сомнении, хорошо ли будет послать его на губернаторство, которое ваше высочество пожаловали ему,

¹ Сава (Кав) – имя, данное маврами Флоринде, дочери графа Юлиана, которая явилась причиной завоевания арабами Испании.

хотя я и усматриваю в нем некоторую способность к управлению, и если б еще немного отшлифовать ему ум, он также успешно справился бы с каким угодно губернаторством, как король с следующими ему податями. Тем более, что по разным примерам нам известно, что не требуется ни большого искусства, ни большой учености для того, чтобы быть губернатором, так как у нас в Испании их сотня, – которые едва умеют читать, а губернаторствуют они, как соколы¹. Вся суть дела в том, чтобы иметь хорошие намерения и доброе желание всегда поступать по справедливости, потому что не будет недостатка в людях, которые дадут им совет и укажут, что делать, как в случаях, когда губернаторы люди военные, не ученые и чинят суд с помощью заседателей. Я посоветовал бы ему подкупов не брать и нрав своих не уступать, и еще другие маленькие вещи, которые пока храню про себя, и в свое время выскажу их на пользу Санчо и к выгоде острова, которым он будет управлять.

На этом месте разговор герцога, герцогини и Дон Кихота был прерван дошедшими до их слуха громкими голосами и большим шумом во дворце, и вдруг в зал вбежал Санчо, сильно испуганный, с кухонной тряпкой вместо нагрудника, а за ним много мальчиков или вернее говоря, кухонных плутов, и другой мелкий люд. Из них один нес маленькую лоханку с водой, по цвету и недостатку чистоты которой видно было, что это помои. Тот, с лоханью, следовал за Санчо и преследовал его, стараясь изо всех

сил поднести и подставить ему лоханку под бороду, а другой поваренок делал вид, что хочет вымыть ее ему.

– Что это такое, братцы, – спросила герцогиня, – что это такое? Что вы хотите делать с этим добрым человеком? Как? И вы не приняли во внимание, что он назначен губернатором?

На это плут-цирюльник ответил:

– Сеньор этот не желает дать себя умыть, как это у нас в обычае, и как умылся герцог мой господин и сеньор его господин.

– Нет, я желаю, – ответил Санчо сильно разгневанный, – но я хотел бы, чтобы это делали более чистыми полотенцами, более чистой водой и не такими грязными руками, потому что нет такой большой разницы между мной и моим господином, чтоб его мыли водой ангелов², а меня щелоком дьявола. Обычаи разных стран и княжеских дворцов тогда лишь хороши, когда они не причиняют неприятности, а обычаи омовения, который в употреблении здесь, хуже бичеванья кающихся³. Борода у меня чистая, я не нуждаюсь в такого рода освежении, и тому, кто подойдет ко мне, чтобы вымыть или прикоснуться хоть до одного волоска на моей голове, – я хочу сказать в моей бороде, – говоря с должным уважением, я нанесу такой удар кулаком, что он застрянет у него в черепе, потому что все эти церемонии и намыливания похожи скорее на издевательства, чем на любезность, оказываемую гостям.

Герцогиня умирала со смеху, видя гнев Санчо и слушая его речи; но Дон

¹ Очевидно ирония.

² *Agua de angeles* – вода ангелов – так называлась вода, надушенная амброй и разными другими эссенциями; она употреблялась для полоскания рта и мытья рук в те времена за столом знатных людей.

³ У кающихся было тогда в обычае бичеваться в страстную неделю, на улицах, очищая себя таким образом от грехов, и в народе это называли *jabonadura* – «намыливанием».

Кихоту не доставило большого удовольствия смотреть на Санчо, украшенного такой скверной пестрой тряпкой и окруженного столь многочисленным кухонным штатом; итак, отвесив глубокий поклон герцогу и герцогине, как бы спрашивая у них разрешения говорить, он спокойным голосом обратился к этому сброду с словами:

– Гей, вы, сеньоры кабальеросы, – пусть милости ваши оставят в покое этого малого и вернутся туда, откуда пришли или куда им будет угодно, потому что оруженосец мой так же чист, как и всякий другой, а эти лоханки для него не подходящая посуда. Послушайтесь моего совета и оставьте его в покое, так как ни он, ни я не понимаем такого рода шуток.

Санчо перехватил у своего господина слово и продолжал, говоря:

– Пусть только подойдут шутить шутки над деревенщиной, и я так же стерплю это, как и то, что теперь ночь. Пусть несут сюда гребень, или что хотят, и скребут мне эту бороду, и если выищут что-нибудь оскорбительное для чистоты, пусть остригут меня крест накрест.

Тогда герцогиня, не переставая смеяться, заявила:

– Санчо Панса во всем прав, что он говорил, и будет прав во всем, что скажет. Он чист и, как он говорит, не имеет надобности мыться; и если наш обычай ему не нравится, душа его в его власти; тем более, что вы, служители чистоты, оказались чрезмерно нерадивыми, небрежными, и не знаю, не сказать ли мне дерзкими, когда для такой особы и для такой бороды, вместо таза и рукомойников из чистого золота и голландских полотенец, принесли деревянную лохань и кухонные тряпки. Но, несомненно, вы люди злые, невоспитанные и не можете, этаким

вы негодяи – скрыть своей зависти к оруженосцам странствующих рыцарей.

Плуты поваренки и даже мажордом, бывший вместе с ними, подумали, что герцогиня действительно говорит серьезно; итак, они сняли тряпку с груди Санчо и, оставив его в покое, ушли смущенные и сконфуженные. Как только Санчо увидел, что спасся от этой величайшей, как ему казалось, опасности, он бросился на колени перед герцогиней и сказал:

– От больших сеньор ждешь и больших милостей; за ту, которую ваше высочество мне теперь оказала, я не могу отплатить меньшим, как только желанием видеть себя посвященным в странствующие рыцари, чтобы всю свою жизнь отдать на служение столь знатной сеньоре. Я крестьянин; имя мое – Санчо Панса; я женат, имею детей и служу оруженосцем. Если чем-либо из всего этого могу служить вашему высочеству, не успеет ваша светлость приказать, как уже приказание будет исполнено мной.

– Сейчас видно, Санчо, – сказала герцогиня, – что вы научились быть учтивым в школе самой учтивости, – сейчас видно, хотела я сказать, что вы воспитались под руководством Дон Кихота, который не может не быть сливками учтивости и цветом церемонии или церемоний, как вы говорите. Да будет благо такому господину и такому слуге: один – путеводная звезда странствующего рыцарства, другой – звезда оруженосческой верности. Встаньте, Санчо, друг, я заплачу вам за вашу учтивость тем, что попрошу сеньора моего, герцога, чтобы он как только можно скорей наделил вас обещанным им вам губернаторством.

На этом прекратился разговор, и Дон Кихот ушел для послеобеденного отдыха. Герцогиня же попросила Санчо, если ему не особенно хочется спать,

провести время сиесты с нею и с ее девушками в очень прохладной зале. Санчо ответил, что хотя он действительно имеет обыкновение спать летом четыре или пять часов после обеда, но, в угоду ее светлости, он изо всех сил постарается не спать сегодня и придет к ней, повинувшись ее приказанию.

С этими словами он ушел. Герцог же подтвердил прежнее свое распоряжение, чтобы обращение с Дон Кихотом, как со странствующим рыцарем, не отступало ни на одну точку от церемониала, по которому, как рассказывают, обходились с старинными странствующими рыцарями.





Глава XXXIII

О приятном разговоре герцогини и ее девушек с Санчо Пансой, заслуживающем быть прочитанным и отмеченным.

История повествует затем, что Санчо на этот раз не держал сиесты, а, чтобы сдержать свое слово, пошел после обеда к герцогине, которая, находя удовольствие слушать его, велела ему сесть рядом с собой, хотя Санчо только по благовоспитанности не соглашался садиться. Но герцогиня сказала ему, чтобы он сел, как губернатор, и говорил, как оруженосец, так как ради того и другого он заслуживает даже кресла Сиды Руи Диаса Кампеадора¹. Санчо пожал плечами, повиновался и сел, и все девушки и дуэньи герцогини окружили его, в глубоком молчании, готовясь вни-

мательно слушать то, что он скажет. Но первой заговорила герцогиня, сказав:

– Теперь, когда мы здесь одни, и никто нас не слышит, я бы желала, чтобы сеньор губернатор разъяснил мне некоторые мои сомнения относительно уже напечатанной истории сеньора Дон Кихота. Одно из этих сомнений следующее: раз добрейший Санчо вовсе не видел Дульсинеи – я хочу сказать сеньоры Дульсинеи Тобосской – и не передавал ей письма сеньора Дон Кихота, которое осталось в записной книжке в Сьерра-Морена, – как же он дерзнул выдумать ответ ее, и то обстоятельство, будто застал ее за просеиванием пшеницы; – между тем все это была насмешка и ложь,

¹ Escaño – (нечто в роде скамьи со спинкой) Сиды, о которой говорится не мало в поэме и романах, воспевающих этого героя. Сид овладел этой скамьей или креслом – оно было из слоновой кости – в числе прочей добычи в Валенсии; в прежнее время оно было собственностью Толедского короля, мавра Алимаймоиа.

наносящая лишь ущерб доброму имени несравненной Дульсинеи и ни мало не соответствующая должности и преданности добрых оруженосцев.

Не говоря ни слова, Санчо встал со стула и потихоньку, наклонив тело вперед, приложив палец к губам, обошел всю залу, приподнимая занавесы, и, сделав это, тотчас же снова сел и сказал:

– Теперь, сеньора моя, когда я убедился, что никто не слышит нас исподтишка, а только слышат присутствующие здесь, я без страха и боязни отвечу вам на то, что вы у меня спросили, и на все то, что вы спросите. Первым делом скажу, что считаю моего господина Дон Кихота как есть настоящим сумасшедшим, хотя он иногда и говорит вещи, на мой взгляд и по мнению всех, кто его слышит, – такие умные и попадающие в столь верную колею, что и сам сатана не мог бы их лучше сказать. Тем не менее, я истинно и не сомневаясь решил про себя, что он полоумный. И так как это засело у меня твердо в голове, я и осмеливаюсь уверять его в разных небывальщинах, подобно ответу Дульсинеи на его письмо и того, что случилось шесть или восемь дней тому назад и еще не попало в историю, а именно: очарование сеньоры доньи Дульсинеи, так как я уверил его, что она очарована, хотя это и не более правда, чем холмы Убеды¹.

Герцогиня просила его рассказать об этом очаровании или проказе его, и Санчо сообщил все, точь-в-точь как оно случилось, что доставило немалое удовольствие его слушательницам. Продолжая разговор, герцогиня сказала:

– То, что добрый Санчо рассказал мне, пробудило в моей душе одно сомне-

ние, и какой-то шопот доходит до моих ушей и говорит мне: если Дон Кихот Ламанчский безрассудный, полоумный и сумасшедший, а Санчо Панса, его оруженосец, все это знает, и, тем не менее, служит ему, следует за ним и полагается на его суетные обещания, без сомнения, он должен быть еще более сумасшедшим и безрассудным, чем его господин. А раз это так, как оно на самом деле и есть, плохо же ты рассчитала, сеньора герцогиня, если ты этому Санчо Пансе дашь в управление остров, потому что тот, кто не умеет управлять собой, как сумеет он управлять другими?

– Ей Богу, сеньора, – сказал Санчо, – это сомнение зародилось в вас совершенно правильно, и скажите ему, ваша милость, чтобы оно говорило ясно, или как ему будет угодно, так как я знаю, что оно говорит правду. Если б я был умен, я давно бы уже бросил моего господина. Но это моя судьба, и в этом мое несчастье. Я не могу иначе, должен следовать за ним: мы из одного местечка, я ел его хлеб, я его люблю; он благодарный, дал мне своих ослят, а главное, я преданный; итак, невозможно, чтобы нас разлучило что-либо иное, кроме вот того, с косою и лопатой². Если же ваше высочество не желает, чтобы мне дали обещанное губернаторство, Бог создал меня без губернаторства, и, может быть, если мне его не дадут, это будет на благо моей совести, так как, хотя я и прост, а все же понимаю пословицу: *На собственную беду его, народились у муравья крылья*. И может случиться, что Санчо-оруженосец скорее попадет на небо, чем Санчо-губернатор; такой же хороший хлеб пекут здесь, как и во Франции, и ночью все кошки серы;

¹ Por los cerros de Ubeda – общеупотребительная в Испании фраза, означающая по толкованию Covarrubias что-либо не существующее или не имеющее никакого отношения к вопросу.

² Смерть.

и достаточно несчастлив человек, до двух часов пополудни не имевший ни крошки во рту, и нет желудка, который был бы на пядь больше другого и мог бы быть наполнен, как принято говорить, соломой и сеном; и для маленьких полевых птичек поставщик и кормилец Бог. Больше греют четыре аршина толстого куэнского сукна, чем четыре аршина тонкого сеговийского сукна¹, и покидая этот мир и ложась в лоно земли, той же узкой тропой пройдет принц, как и поденщик, и тело папы не займет в земле больше места, чем тело дьячка, несмотря на то, что первый выше второго, потому что, ложась в могилу, все мы теснимся и сжимаемся, или нас заставляют тесниться и сжиматься, не спрашивая, желаем ли мы или нет; и – покойной ночи! – И я повторю снова, если ваша светлость не пожелает дать мне остров, как глупому, я, как умный, сумею не огорчаться этим; и я слышал, говорят: за крестом стоит дьявол, и не все то золото, что блестит, и крестьянин Вамба² был взят от волов, сохи и конской сбруи, чтобы сделать из него короля Испании, и от парчи, развлечений и богатств взяли короля Родриго и отдали его на съеденье змеям (если только не лгут стихи старых романсов).

– Нет, они не лгут, – сказала тогда дуэнья донья Родригес, тоже бывшая в числе слушательниц Санчо. – Ведь, есть романс, в котором говорится, что короля Родриго³ живого, как есть живого, посадили в могилу, наполненную жабами, змеями и ящерицами, и через два дня король из глубины могилы слабым и жалобным голосом проговорил:

Уже едят, едят меня,
Там, где всего грешил я больше.

И судя по этому, сеньор этот вполне прав, говоря, что он лучше хотел бы быть крестьянином, чем королем, если ему предстоит быть съеденным гадами.

Герцогиня не могла удержаться от смеха, видя простоту своей дуэньи, и не могла не удивиться рассуждениям и разговорам Санчо, и она сказала ему:

– Добрый Санчо знает, что раз рыцарь что-нибудь обещал, он непременно исполнит, даже если бы это стоило ему жизни. Герцог, мой сеньор и муж, хотя он и не из странствующих, тем не менее рыцарь: итак, он исполнит данное им слово относительно обещанного острова, наперекор всякой людской зависти и злобе. Пусть Санчо ободрится, потому что, когда он всего менее будет этого ждать, он увидит себя сидящим на престоле своего острова и государства и возьмет в руки бразды своего губернаторства, пока не променяет его на другое, лучшее, которое даст ему золотые горы. То, что я ему ставлю на вид – это обратить внимание, как он будет управлять своими васалами, помня, что все они преданные и благородные люди.

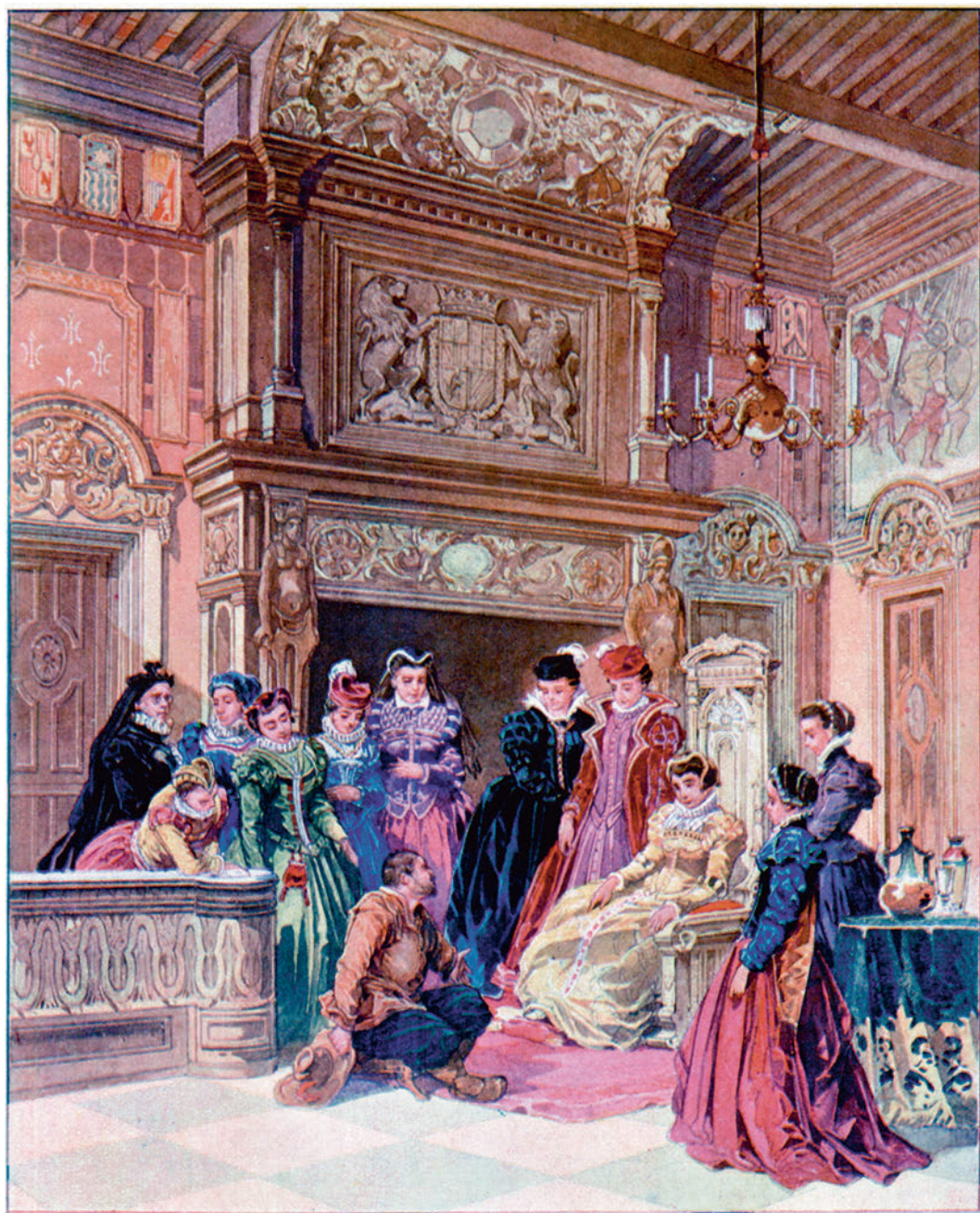
– Относительно того, чтобы хорошо управлять ими, – сказал Санчо – мне нечего ставить этого на вид, так как я по своей природе сострадатель и чувствую жалость к бедным, и у того, кто сам себе месит хлеб и печет, никто пусть его не крадет, и клянусь знамением креста, мне не подбросят фальшивую игральную кость. Я старая собака и понимаю всякое «тус, тус»⁴, и умею во время бодрствовать и

¹ В Куэнке сукно было самое грубое и дешевое, а сеговийское самое тонкое и дорогое.

² Вамба – (царствовал с 672 по 680 г.) один из самых мудрых королей Испании был, по общераспространенному мнению, взят от плуга, чтобы стать королем. Однако историк Мариана утверждает, что это не верно: Вамба был королевского происхождения и принадлежал к одному из самых знатных готских родов.

³ Родриго последний готский король, побежденный в битве при Гуадалете (711–712).

⁴ Подманивая собак, испанцы говорят *tus, tus* или *suz, suz*.



Тогда Санчо Панса сообщил ей от слова до слова то,
что уже было сказано об этом приключении...

не соглашусь, чтобы мне бросали пыль в глаза, потому что знаю, где меня давит башмак. Говорю это, так как для добрых у меня будет помощь и протянутая рука, а для злых не будет ни доступа, ни дороги. Мне кажется, что относительно управления все дело в том, чтобы начать, и могло бы случиться, что, пробыв две недели губернатором, я стал бы себе грызть пальцы по нем, и знал бы лучше эту должность, чем полевые работы, на которых я вырос.

– Вы правы, Санчо, – сказала герцогиня, – так как никто не рождается ученым: из людей делают епископов, а не из камней. Но возвращаясь к недавнему нашему разговору об очаровании сеньоры Дульсинеи, я считаю достоверным и даже более того – несомненным, что пришедшая в голову Санчо мысль подшутить над своим господином, уверив его, что крестьянка – Дульсинея, и если господин его не узнает ее, то, должно быть, лишь потому, что она очарована, – все это была затея одного из волшебников, преследующих сеньора Дон Кихота, потому что, на самом деле, и по правде говоря, я из достоверного источника знаю, что крестьянка, вскочившая на ослицу, была и есть Дульсинея Тобосская, а добрый Санчо, вообразив, что он обманул, был сам обманут. Нельзя сомневаться в этой истине более, чем в каких-либо других вещах, которых мы никогда не видели. Пусть же сеньор Санчо Панса знает, что также и у нас здесь есть волшебники, которые расположены к нам и говорят нам о том, что происходит на свете, искренно и правдиво, без лжи и обмана; и пусть Санчо поверит мне, что крестьянка-скакуня была и есть Дульсинея Тобосская, и она также очарована, как и мать, которая ее родила. И когда мы менее всего будем ожидать этого, мы ее увидим в настоящем ее облике, и Санчо тогда выйдет из заблуждения, в котором находится.

– Все это весьма возможно, – сказал Санчо Панса, – и теперь я готов верить и тому, что господин мой рассказывал о случившемся с ним в пещере Монтесинос, где, как он говорит, он видел сеньору Дульсинею Тобосскую в том самом платье и той одежде, в которой я сказал, будто видел ее, когда я очаровал ее только ради моего удовольствия. А, должно быть, все было наоборот, как вы, ваша милость, сеньора моя, говорите, потому что от моего глупого разума нельзя было и не было повода ждать, чтобы в одну минуту я сочинил такой хитрый обман, и не думаю также, что мой господин до того сумасшедший, чтобы столь жалкие и ничтожные убеждения, как мои, могли его заставить поверить в такую небывалую вещь. Но, сеньора, было бы нехорошо, если б ваша доброта вследствие этого считала меня злонаправленным, – ведь, такая тупица, как я, не обязан проникать в намерения и злые хитрости этих сквернейших волшебников. Я выдумал все это, только чтобы уйти от брани моего господина Дон Кихота, а не с намерением обидеть его, и если вышло наоборот, на небе Бог, который судит сердца.

– Это правда, – согласилась герцогиня, – но скажите мне теперь, Санчо, что такое вы говорили о пещере Монтесинос? Мне было бы приятно знать это.

Тогда Санчо Панса сообщил ей от слова до слова то, что уже было сказано об этом приключении. Выслушав это, герцогиня сказала:

– Из этого происшествия можно заключить, что, если великий Дон Кихот говорит, будто видел в пещере ту же крестьянку, которую Санчо видел при выезде из Тобосо, нет сомнения, что это и есть Дульсинея, и что здешние наши волшебники очень деятельны и в высшей степени любознательны.

– Это говорю и я тоже, – сказал Санчо Панса, – и если сеньора моя, Дульсинея Тобосская, очарована, тем хуже для нее; и не мне тягаться с врагами моего господина, которых у него, должно быть, очень много, и, должно быть, они очень злые. По правде говоря, та, которую я видел, была крестьянка, за крестьянку я принял ее и за крестьянку счел; если же это была Дульсинея, то незачем ставить мне этого на счет, и мне нет дела до того, и нет надобности ссориться из-за этого со мной. Нельзя же на каждом шагу приставать ко мне с разными *если* и *почему*. *Санчо сказал это, Санчо сделал, Санчо пошел, Санчо вернулся*, точно Санчо первый встречный, а не тот самый Санчо Панса, который уже в книгах гуляет по всему свету, как мне говорил Сансон Карраско, который, по крайней мере, бакалавр Саламанкского университета, а такие люди не могут лгать, исключая случаев, когда им это уже очень хочется или они находят в том расчет. Так что упрекать меня не за что; и так как у меня добрая слава, – а судя по тому, что я слышал от моего господина, доброе имя лучше больших богатств, – пусть мне упакут на плечи это губернаторство и увидят чудеса, потому что, кто был хорошим оруженосцем, тот будет и хорошим губернатором.

– Все, что добрый Санчо только что сказал, – заявила герцогиня, – как есть настоящие изречения Катона, или, по меньшей мере, они извлечены из недр произведения самого Микаэля Верино¹, *florentibus occidit annis*. Словом, словом, говоря на манер Санчо: под плохим плащом случается, добрый пьяница скрывается.

– По правде говоря, сеньора, – ответил Санчо, – никогда в жизни не пил я от порочности; от жажды, это бывало, так как я не хочу лицемерить. Я пью, когда есть охота пить, а когда ее нет, если мне поднесут, я тоже пью, чтобы не показаться жеманным или дурно воспитанным, потому что, какое же нужно иметь мраморное сердце, чтобы не чокнуться с приятелем, когда он провозгласит чье-либо здоровье? И хотя я и ношу башмаки, я их не пачкаю², тем более, что оруженосцы странствующих рыцарей почти всегда пьют одну лишь воду, так как они вечно скитаются по лесам, рощам и лугам, по горам и скалам, нигде не находя и капли вина, даже если б отдали за нее хоть свой глаз.

– Я этому верю, – сказала герцогиня, – и теперь пусть Санчо идет отдыхать, а потом мы поговорим с ним обстоятельнее и распорядимся, чтобы ему поскорей упаковали бы на плечи, как он говорит, губернаторство.

Санчо снова поцеловал руку герцогини и просил ее оказать ему такую милость и велеть хорошенько присматривать за его Серым, потому что он свет его очей.

– Кто такой Серый? – спросила герцогиня.

– Это мой осел, – ответил Санчо; – чтобы не называть его этим именем, я обыкновенно называю его Серым. И вот эту сеньору дуэнью я просил, когда вошел в замок, позаботиться о нем, а она так рассердилась, словно я ей сказал, что она некрасивая или старая. Между тем, было бы и лучше и приличнее для дуэньи присматривать за ослами, чем блистать в залах. Господи помоги, до чего зло от-

¹ Микаэль Верино, автор детской книжки «*De puerorum moribus disticha*» по образцу «*Disticha*» Катона – умер 17-ти лет и Политиен написал эпитафию о нем, начинающуюся словами *florentibus* и т. д.

² *Aunque las calzo no las ensucio* – смысл такой: хотя я и пью, но я не пьяница.

носился к этим сеньорам идальго из моего местечка!

– Должно быть, это был какой-нибудь грубый крестьянин, – возразила донья Родригес, – потому что, если бы это был идальго, да еще хорошего происхождения, он превозносил бы дуэний выше меры!

– Теперь довольно, – сказала герцогиня, – помолчите донья Родригес, а сеньор Панса пусть успокоится. Заботу о его Сером я беру на себя, и так как он для Санчо – сокровище, я ставлю его выше зениц моих глаз.

– Достаточно для Серого стоять в конюшне, – ответил Санчо, – потому что встать выше зениц глаз вашего вельможества, хотя бы на одно мгновение, – ни он, ни я, мы не достойны этого; и я так же согласился бы на это, как и на то, чтобы нанести себе удары кинжалом, потому что, хотя мой господин и говорит, что в делах учтивости лучше сдать картой больше, чем картой меньше, но

в учтивости к животным и ослам надо держать в руках весы и знать меру.

– Пусть Санчо, – сказала герцогиня, – берет с собой своего осла на губернаторство и он может там ухаживать за ним, как ему будет угодно, и даже может освободить его от работы.

– Не думайте, милость ваша, сеньора герцогиня, что вы сказали что-то небывалое, – ответил Санчо, – потому что я не раз уже видел ослов, отправлявшихся на губернаторство, и если я возьму с собой и моего, в этом не будет ничего особенного.

Слова Санчо рассмешили и позабавили герцогиню; и отослав его отдыхать, она пришла к герцогу дать ему отчет о том, что произошло у нее с Санчо; тут они вдвоем сговорились и составили план сыграть с Дон Кихотом шутку, которая была бы замечательной и вполне в рыцарском духе и они изобрели несколько шуток и таких подходящих и остроумных, что они лучшие приключения, описываемые в великой этой истории.





Глава XXXIV

Где рассказывается о полученном сведении, каким образом снять очарование с несравненной Дульсинеи Тобосской, что и составляет одно из наиболее знаменитых приключений этой книги.

Герцог и герцогиня находили большое удовольствие в разговорах с Дон Кихотом и Санчо Пансой; и еще более укрепившись в своем намерении сыграть с ними несколько шуток, с оттенком и видом приключений, они воспользовались тем, что Дон Кихот рассказал им о пещере Монтесинос, чтобы подготовить ему достопримечательное приключение. Но то, что больше всего удивляло герцогиню, была простота Санчо, заходившая так далеко, что он поверил, как в непреложную истину в то, будто Дульсинея Тобосская действительно была очарована, между тем, как сам он был и волшебник и обманщик в этом деле. Итак, дав распоряжения слугам, что им делать, дней шесть спустя герцог и герцогиня взяли с собой рыцаря и Санчо на большую охоту в сопровожде-

нии стольких доезжачих и охотников, как это впору коронованному государю. Дон Кихоту дали охотничий костюм, а также и Санчо, из тончайшего зеленого сукна, но рыцарь не пожелал надеть его, говоря, что в ближайшие дни должен вернуться к суровой профессии оружия и не может возить с собой гардероба и выючных животных. Санчо, напротив, взял то, что ему дали, с намерением продать при первом же случае. Когда назначенный день настал, Дон Кихот надел свои доспехи, а Санчо новый свой костюм, и, сидя верхом на Сером, с которым он не захотел расстаться, хотя ему предлагали верховую лошадь, он вмешался в толпу охотников. Герцогиня явилась великолепно одетая, а Дон Кихот, по правилам вежливости и любезности, взялся за узду ее коня, хотя герцог не хотел допустить этого. Наконец, они приехали в лес, раскинувшийся

между двумя высокими горами, где, после того, как были назначены стоянки и расставлены тенета и сети, а люди распределены по разным местам, – началась охота, такая шумная и с такими криками и возгласами, что нельзя было расслышать друг друга из-за лая собак и звуков охотничьих рогов. Герцогиня спешила и с острой рогатиной в руках заняла место, где, как она знала, обыкновенно выбегали некоторые дикие кабаны. Герцог и Дон Кихот тоже спешили и встали по обе стороны герцогини. Санчо завернул сзади всех, не слезая с Серого, оставить которого он не решился, боясь, чтобы с ним не случилось какого-нибудь несчастья. И едва они заняли места, окруженные с обеих сторон расставленными многочисленными слугами, они увидели, что прямо на них бежит, выгнанный собаками и преследуемый охотниками, громадный кабан, скрежещущий зубами и клыками и метаящий пену изо рта. Увидав его, Дон Кихот продел на руку щит и, обнажив меч, выступил вперед, на встречу кабану; также поступил и герцог, держа в руках рогатину, но герцогиня опередила бы их всех, если б герцог не остановил ее. Один лишь Санчо, увидав неистового зверя, соскочил с Серого, бросился изо всех сил бежать и пытался влезть на высокий дуб. Но это ему не удалось, потому что, когда он уже взобрался до половины и схватился за сук, чтобы вскарабкаться на вершину, он был так несчастлив и судьба так не благоприятствовала ему, что ветвь обломилась под ним, и, падая, он зацепился за выступивший сук, на котором и повис в воздухе, не имея возможности спуститься на землю. В таком положении, видя, что зеленое охотничье платье его рвется, и опасаясь, если лютое животное направится сюда, чтобы оно не достало его, Санчо принялся издавать такие крики и звать так пронзи-

тельно на помощь, что все слышавшие, но не видевшие его, подумали, не в зубах ли он уже у какого-нибудь дикого зверя. Наконец, кабан с большими клыками пал под ударами рогатин многих охотников, и Дон Кихот, обернувшись на крик Санчо и узнав по голосу, что это он, увидел его висящим на дубе головою вниз, а рядом с ним стоял Серый, который не покинул его в беде. Сид Амет говорит здесь, что он редко видел Санчо Пансу без Серого, или Серого без Санчо – так велика была дружба и привязанность, существовавшая между ними обоими. Дон Кихот подошел и отцепил Санчо; когда тот увидел себя свободным и стоящим на земле, он осмотрел свой разорванный охотничий костюм, и огорчился до глубины души, так как думал, что, обладая этим платьем, он обладает целым майоратом. Между тем увесистого кабана взвалили на вьючного мула и, украсив его стеблями розмарина и миртовыми ветками, повезли, как победную трофею, к большим охотничьим палаткам, разбитым в лесу, где уже столы были накрыты и подан такой роскошный и превосходный обед, что по нем можно было судить о богатстве и великолепии угощавшего им. Санчо, показывая герцогине дыры на разорванном его платье, сказал:

– Если б мы охотились на зайцев или маленьких птичек, наверное платье мое уцелело бы. Не знаю, какое удовольствие ждать животное, которое, если оно достанет вас клыками, может лишить вас жизни. Помню, что слышал, как в одном старинном романсе поется:

Пусть тебя съедят медведи,
Как великого Фавилу¹.

– Это был готский король, – сказал Дон Кихот, – который, охотясь за красивым зверем, был съеден медведем.

¹ Фавила был сын и преемник Пелая, который первый сдержал поток.

– Я именно и говорю, – ответил Санчо, – что не следовало бы принцам и королям подвергать себя подобной опасности ради удовольствия, которое, на мой взгляд, не может быть удовольствием, так как оно состоит в том, чтобы убить животное ни в чем не повинное.

– Вы ошибаетесь, Санчо, – ответил герцог, – потому что охота на хищных зверей – занятие, из всех остальных наиболее подходящее и необходимое для королей. Охота – изображение войны: в ней есть и стратегия, и военные хитрости, и засады, с тем, чтобы, не подвергаясь опасности, победить врага. На охоте терпят сильнейший холод, невыносимый жар; разгоняется лень и сон, крепнут физические силы, и члены становятся гибкими. Наконец, это занятие, которое никому не приносит вреда, а многим доставляет удовольствие. И лучшее здесь то, что этого рода охота не всем доступна, как остальные, исключая лишь соколиной, которая тоже существует только для королей и знатных сеньоров. Поэтому, Санчо друг, измените свой взгляд, а когда будете губернатором, займитесь охотой, и вы увидите, как один хлеб покажется вам за сто¹.

– Ну, нет, – ответил Санчо, – добрый губернатор как бы со сломанной ногой сидит дома. Было бы прекрасно, если бы к нему пришли по делу люди утомленные, – а он, знай, забавляется себе в лесу! Этакое губернаторство не добром помянешь. По чести, сеньор, охота и разные развлечения скорее для лентяев, чем для губернаторов.

То, чем я думаю развлекаться это – игрой в козыри² на Пасху, по воскресениям, и в праздники – катанием шаров; а все эти охоты и заботы о них не по душе мне, да и против моей совести.

– Дай то Бог, Санчо, чтоб оно так и было, потому что от слова до дела – расстояние большое.

– Пусть себе будет, какое хочет, – ответил Санчо, – хорошего плательщика не тревожит внесенный им залог; и лучше если Бог помощь дает, чем если кто рано встает; и брюхо приводит в движение ноги, а не ноги брюхо. Я хочу сказать, что если Бог поможет мне и я буду делать то, что должен с добрым намерением, нет сомнения, я буду губернаторствовать лучше, чем кричит³. А не верят, пусть положат мне палец в рот и увидят укушу ли я его или нет...

– Будь проклят Богом и всеми его святыми, Санчо окаянный! – воскликнул Дон Кихот. – Когда же настанет день, как я уже не раз повторял тебе, когда я услышу, что ты будешь говорить без пословиц, толково и связно. Ваши величия, сеньоры мои, не слушайте этого глупца, а то он размелет вам душу не только между двумя, а между двумя тысячами пословиц, которые он так уместно и кстати приводит, как дай Бог ему здоровья или мне, если бы я желал слушать их.

– Пословицы Санчо Пансы, – сказала герцогиня, – хотя и многочисленнее пословиц греческого Командора⁴, но они не менее ценны за краткость изречений.

¹ Фраза, означающая – вам будет от этого в сто раз лучше.

² Triunfo envidado – карточная игра, нечто вроде игры в козыри, была в большом ходу в деревнях в Испании того времени.

³ Mejor que un gerifalte – на жаргоне gerifalte означал «вор», – по-видимому это была тогда ходячая шутка насчет губернаторов.

⁴ Фернан Нуньес де Гусман, которого называли Греком, потому что он хорошо знал этот язык и преподавал его в университете в Алкале и Саламанке и «Командором», так как он имел это звание в ордене Сантьяго, автор лучшего собрания испанских пословиц, числом более шести тысяч. Самое раннее издание их относится к 1555 г.

О себе могу сказать, что они мне больше нравятся, чем другие, хотя те были бы приведены более уместно и более кстати.

В этих и других занимательных разговорах, они вышли из палатки в лес, и в осмотре нескольких охотничьих сторожек у них быстро прошел день и стала спускаться ночь, не такая ясная и светлая, как этого можно было ждать по времени года, потому что стояла середина лета, а эта ночь принесла с собой какой-то полумрак, очень пригодный для целей герцога и герцогини. Лишь только стало сильнее смеркаться, перед тем, как наступила полная темнота, внезапно показалось, будто весь лес, со всех четырех сторон в пламени и тотчас же раздалась тут и там, ближе и дальше, звуки бесчисленного множества труб и других военных инструментов как бы кавалерийских отрядов, проходящих через лес. Блеск огня, звук воинственной музыки чуть не ослепили и не оглушили всех окружавших, герцога и герцогиню и даже всех бывших в лесу. Затем раздалось бесконечное множество *лелилиес*¹ – крик мавров, когда они вступают в бой. Трубы и рожки играли, барабаны били, флейты звучали, все это одновременно и до того шумно и непрерывно, что надо было быть бесчувственным, чтобы не лишиться чувств от смешанного звука стольких инструментов. Герцог был поражен, герцогиня потрясена, Дон Кихот удивлен, Санчо дрожал, и наконец даже сами участники шутки оторопели. Вместе с испугом воцарилось общее молчание, и в это время подъехал к ним верхом почтальон, в одежде дьявола, трубя вместо трубы в громадный изогнутый рог, из которого исходили хриплые и ужасные звуки.

– Эй, брат гонец, – сказал герцог, – кто вы такой, откуда, и что за военный люд проходит через лес?

На это гонец ответил, глухим и наводящим ужас голосом:

– Я – дьявол и ищу Дон Кихота Ламанчского. Люд, который там проходит, состоит из шести отрядов волшебников, везущих на триумфальной колеснице несравненную Дульсинею Тобосскую. Она едет заколдованная и с нею веселый француз Монтесинос, чтобы дать указания Дон Кихоту, как могут быть сняты чары с упомянутой сеньоры.

– Если б вы были дьяволом, как говорите и как на то указывает ваша внешность, вы бы сразу узнали рыцаря Дон Кихота Ламанчского, так как он стоит перед вами.

– Клянусь Богом и моей совестью, – сказал дьявол, – я об этом не подумал; у меня в голове столько разных мыслей, что о главном, из-за чего я сюда явился, я и позабыл.

– Без сомнения, – заявил Санчо, – этот дьявол, должно быть, человек честный и добрый христианин, так как, если бы он не был и тем, и другим, он не стал бы клясться Богом и совестью, – и я теперь думаю, что даже и в аду бывают, должно быть, хорошие люди.

Тут дьявол, не сходя с лошади и обращая взоры на Дон Кихота, сказал:

– К тебе, рыцарю Львов (желал бы я видеть тебя в их когтях), послал меня несчастный, но храбрый рыцарь Монтесинос, поручив сказать, чтобы ты его ждал на том месте, где я тебя найду, так как он везет с собой ту, которую зовут Дульсинеей Тобосской, и желает сообщить тебе, каким способом ты можешь снять с нее чары. А так как я приехал сюда только для этого, то не зачем мне дольше медлить здесь. Пусть дьяволы, подобные мне, останутся с тобою, а добрые ангелы – с этими сеньорами.

¹ Боевой крик мавров был *ла ила илла ла* (la iláh illa illáh – нет Бога, кроме Бога), который испанцы превратили в *ле ли ли* (lilili).

Сказав это, он затрубил в свой чудовищный рог, повернулся и уехал, не дожидаясь ни от кого ответа. Все снова изумились, в особенности же Санчо и Дон Кихот. Санчо, видя, что вопреки истине желают, чтобы Дульсинея была очарована, а Дон – Кихот потому, что он все еще не был уверен, правда ли или нет то, что случилось с ним в пещере Монтесиноса. В то время как он был погружен в эти размышления, герцог спросил его.

– Предполагаете ли вы, ваша милость, сеньор Дон Кихот, ждать Монтесиноса здесь?

– Отчего же нет? – ответил рыцарь. – Я буду ждать здесь, и безбоязненно, хотя бы и весь ад ополчился на меня.

– Но я, если я увижу другого дьявола и услышу звуки другого такого рога, останусь ждать здесь, как и во Фландрии, – сказал Санчо.

Между тем ночь стала еще темнее, и в лесу начало мелькать много огоньков, совершенно так, как мелькают на небе сухие испарения земли, которые в наших глазах кажутся падающими звездами. Послышался также и страшный шум, наподобие того, которое производится громоздкими колесами без спиц больших фургонов, запряженных волами, от пронзительного, непрерывного скрипа которых, как говорят, убегают волки и медведи, если они встретятся по дороге. Ко всей этой буре добавилась еще другая, более ужасная: а именно казалось, что как будто в четырех концах леса происходят, одновременно, четыре атаки или сражения, потому что в одном месте гудел как бы глухой гром артиллерийской пальбы, в другом раздавались выстрелы из ружей, чуть ли не вблизи слышались голоса сражающихся, а вдали носился мавританский клич «лелилиес». Словом, – рога, трубы, флейты, литавры, кимвалы, барабаны, пальба из пушек и

выстрелы из ружей и главное пронзительный скрип фургонов, – все это вместе взятое производило такой смутный и ужасающий шум, что Дон Кихот должен был собрать все свое мужество, чтобы вынести его. Но мужество Санчо не выдержало, – он в обмороке упал на землю, на складки юбок герцогини, которая прикрыла ими его и поспешно приказала брызнуть ему в лицо водой.

Так и сделали, и Санчо пришел в себя как раз в то время, когда колесница, скрипя колесами, подъехала к тому месту, где все были в сборе; ее везли четыре ленивых вола, покрытых черными попонами, и на каждом рогу у них был прикреплен большой зажженный восковой факел, а на колеснице было приделано высокое сиденье, занятое почтенным старцем, с бородой белее снега, такой длинной, что она спускалась ему ниже пояса. Одет он был в широкую мантию из черной клеенки, и так как колесница была освещена бесконечным множеством свечей, можно было хорошо разглядеть и различить все, что в ней было. Старика сопровождали два уродливых дьявола, облаченных в такую же черную клеенку. Лица их были до того отвратительны, что Санчо, бросив на них взгляд, тотчас же закрыл глаза, чтобы не видеть их больше.

Лишь только фура достигла места, где все они стояли, старец поднялся с высокого своего сидения и громким голосом сказал: «*Я мудрый Лиргандео*». И тотчас же колесница проехала дальше, а старец не проронил больше ни слова. За нею появилась другая колесница, точно такая же, как и первая, но с другим стариком на высоком сиденье, который, приказав кучеру остановиться, и голосом не менее громким, чем первый старец, воскликнул: «*Я мудрый Алкиф, большой друг Урганды Неведомой*». После этих слов тотчас же колесница дви-

нулась дальше. Затем появилась третья такого же устройства, но тот, кто сидел на троне, не был стариком, как остальные, а плотным мужчиной неприятной наружности, который, когда колесница подъехала, тоже, как и те двое, поднялся и еще более сильным и дьявольским голосом проговорил: «*Я волшебник Аркалус, смертельный враг Амадиса Галльского, и всей его родни*». С этими словами он проехал дальше.

После того, как эти три колесницы отъехали не на очень далекое расстояние и там остановились, прекратился надоедливый скрип их колес. И тотчас же послышался уже не скрип, а звук мелодичной, сладостной музыки. Санчо

очень обрадовался ей и счел ее за хорошее предзнаменование; итак, он сказал герцогине, от которой не отходил ни на шаг и ни на пядь:

– Сеньора, где музыка, там не может быть ничего дурного.

– Не может быть его и там, где огонь и свет, – ответила герцогиня.

На это Санчо сказал: – Огонь дает свет и ярко пылают костры, подобно тем, которые окружают нас здесь, но легко могло бы быть, что они нас сожгут; музыка же всегда признак веселья и ликованья.

– Это мы еще увидим, – сказал Дон Кихот, который слышал все это. И он сказал верно, как выяснится в следующей главе.





Глава XXXV

В которой продолжается рассказ об указании, полученном Дон Кихотом относительно снятия чар с Дульсинеи, и сообщаются и другие изумительные происшествия.



ни увидели, как под такт приятной музыки приближается к ним колесница из числа тех, которые называют триумфальными, запряженная шестью серыми мулами, покрытыми попонами из белого полотна. На каждом из этих мулов сидел верхом кающийся, тоже одетый весь в белое с восковым зажженным факелом в руках. Колесница была в два и даже в три раза больше предыдущих, а по бокам ее и спереди находились еще двенадцать кающихся, в белых как снег одеждах и все с горящими факелами в руках, – зрелище, которое одновременно и приводило в изумление, и пугало. На колеснице сидела на высоком троне нимфа, окутанная тысячу покровов из серебряной ткани, усеянной бесчисленным множеством сверкавших золотых лепестков, что делало наряд ее, если не богатым, то, по крайней мере, блестящим. Лицо ее было прикрыто легким и прозрачным шелковым газом, так

что, несмотря на ниспадавшие складки, сквозь эту ткань виднелось очаровательное личико девушки и, благодаря множеству зажженных факелов, можно было различить красоту ее и года: она не достигла еще двадцати лет, но ей не было и менее семнадцати. Рядом с ней сидела фигура, облаченная в длинное одеяние из тех что называют *росагантес*¹, ниспадавшее до ног, а голова ее была покрыта черной вуалью. Когда колесница эта остановилась против герцога, герцогини и Дон Кихота, звуки флейт умолкли, а также и звуки лютней и арф, раздававшиеся с колесницы, и, поднявшись, фигура в длинном одеянии распахнула его и сбросив вуаль, открыла лицо, как есть настоящей смерти, – костлявой и, до того ужасной, что Дон Кихот вздрогнул. Санчо испугался, и герцогская чета тоже сделала движение отвращения. Когда живая эта смерть поднялась и выпрямилась, она несколько сонным голосом, и не очень быстродвигающимся языком, заговорила следующим образом:

¹ Rozagantes – буквально «волочащееся по полу»; так называлась одежда которую носили лишь самые знатные люди.

Я тот Мерлин, о ком молва гласила,
Что будто был отцом его сам дьявол –
(И эту ложь уж время осватило) –
Я князь волшебств и магии властитель,
Хранилище науки Зороастра,
И тех времен, и тех веков соперник,
Что блеск деяний омрачить стремится
Отважных, храбрых рыцарей, к которым,
Любовь питал я, и теперь питаю.
Хоть нрав иных волшебников и магов,
Иных кудесников – жестокий, грубый,
К злорадству и к насмешкам очень склонный,
Мой нрав – иной: он мягкий, нежный – людям
Желаю я всегда добро лишь делать.
В пещерах Дита¹ мрачных и туманных,
Где я душой был погружен в черчение
Фигур магических и вещих знаков, –
Ко мне донесся горький плач и голос
Прекрасной, несравненной Дульсиней.
Узнал я о ее глубоком горе,
О злобном превращенье столь прекрасной
Сеньоры – в безобразную крестьянку.
Горя с ней и дух свой заточивши
В скелет вот этот страшный и ужасный,
Сто тысяч разных книжек просмотрел я
Моей науки черной, сатанинской.
И вот к тебе пришел открыть лекарство
От той беды и скорби той великой.
О, слава, честь ты всех, на ком доспехи
Из яркой стали, как алмаз, сверкают,
Маяк, сиянье, свет, магнит и кормчий
Всех тех, кто, сон с себя стряхнув презренный,
Покинув ложе праздности и неги,
Отважно отдают себя призыванью
Кровавого и тяжкого оружия!
Тебе я говорю, о, муж, достойно
Никем еще во век не восхваленный.
О, Дон Кихот, столь храбрый, как и мудрый,
Звезда Испании, Ламанчи слава,
Тебе я говорю, – очарованья
С прекрасной Дульсиней снять возможно
Одним лишь средством: пусть оруженосец
Твой Санчо даст три тысячи и триста
Себе ударов плетью, обнаживши
Седалище свое, – да так, чтоб было
Ему от тех ударов страшно больно.
Решили так виновники несчастья,
Творцы беды и горя Дульсиней,
И вам сказать о том явился я, сеньоры.

¹ Судьбы – рока.



Я тот Мерлин, о ком молва гласила,
Что будто был отцом его сам дьявол...

– Клянусь, чем угодно, – воскликнул тогда Санчо, – не то, что три тысячи ударов плетью, но и трех ударов не дам себе, как не нанес бы себе и трех ударов кинжалом. Черт побери такой способ снимать чары. Я не знаю, какое отношение имеет мое седалище к очарованиям. Клянусь Богом, если сеньор Мерлин не найдет другого средства снять чары с сеньоры Дульсинеи Тобосской, она может лечь в могилу очарованной.

– Возьму я вас, дон Негодяй, наевшийся чесноку, – сказал Дон Кихот, – привяжу к дереву голым, как вас родила мать, и дам не три тысячи триста, а шесть тысяч шестьсот ударов, да таких полновесных, что от них вам не отвертеться и тремя тысячами тремястами изворотов. И не отвечайте мне ни слова, а то вырву у вас душу из тела.

Услыхав угрозы рыцаря, Мерлин сказал:

– Этого не должно быть, так как удары, которые доброму Санчо предостит получить, должны быть нанесены им самим и добровольно, а не насильно, и лишь тогда, когда он пожелает, потому что срок ему не назначен. Но ему позволяется, если бы он желал сбавить наполовину ударов свое бичевание, дать их нанести чужой руке, хотя бы она и была несколько тяжелая.

– Ни чужая, ни своя, ни тяжелая и никакая рука не дотронется до меня, – сказал Санчо. – Быть может, я родил сеньору Дульсинею Тобосскую, что мои ягодицы должны расплачиваться за прегрешение ее глаз? Иное дело сеньор, господин мой, составляющий часть ее существа, потому что на каждом шагу он говорит про нее: жизнь моя, душа моя, поддержка и опора моя, – он может и должен бичевать себя ради нее, и взять

на себя всю заботу, и все, что потребуется для снятия с нее чар. А чтобы я себя бичевал, – *abernuncio*¹.

Санчо не успел договорить последних слов, как серебристая нимфа, сидевшая рядом с призраком Мерлина, поднялась и, сбросив с себя прозрачную вуаль, открыла лицо, показавшееся всем чрезвычайно красивым, и с мужской развязностью и не очень-то женственным голосом она сказала:

– О, злосчастный оруженосец с кувшинной душой, с сердцем из пробкового дерева и внутренностями из булыжника и кремня, – если бы тебе, бесстыжий негодяй, велели броситься вниз с высокой башни, – если бы тебя, враг человеческого рода, просили съесть дюжину жаб, две дюжины ящериц и три дюжины змей, – если бы тебя убеждали резать жену свою и детей острым, смертоносным ятаганом, – не удивительно было бы, если бы ты выказал отвращение и непреклонность воли. Но придавать такое значение трем тысячам тремстам ударам бичом в то время, как нет ученика, в сиротских бесплатных школах, как бы он не был слаб, который не получал бы столько же ежемесячно, – изумляет, поражает и приводит в ужас сострадательные сердца тех, которые это слышат, и даже всех тех, кто услышат об этом в грядущие времена. Обрати, о, презренное жестокосердое животное, обрати, говорю я, свои глаза перепуганного филина на зрачки моих глаз, похожих на сверкающие звезды, и ты увидишь, как из них капля за каплей, ручей за ручьем текут слезы, проводя борозды, колеи и тропинки на прекрасных полях моих щек! Сжался, коварное и злонамеренное чудовище, над тем, что мои цветущие годы – ведь, я не достигла еще второго десятка, мне всего лишь де-

¹ Санчо говорит *abernuncio* вместо *abrenuncio* – латинское слово «отказываюсь», вошедшее в Испанию во всеобщее употребление.

вятнадцать, и нет еще полных двадцати лет – вянют и чахнут под грубой оболочкой крестьянки, и если я сегодня явилась сюда в этом виде, то по особой лишь милости, оказанной мне присутствующим здесь сеньором Мерлином, единственно лишь с целью, чтобы красота моя могла смягчить тебя, так как слезы тоскующей красавицы обращают скалы в вату и тигров в овец. Бичуй, бичуй плетью упитанное свое тело, неукротимое животное, разбуди от сна ленивый дух свой, который поощряет тебя только есть и все больше есть, и верни нежность моей кожи, кротость моему сердцу и красоту лицу моему. И если ты не хочешь смягчиться ради меня, или не хочешь сдать-ся на разумные доводы, сделай это ради бедного рыцаря, что стоит около тебя. Ради твоего господина, говорю я, душа которого, я вижу, уже встала у него поперек горла, менее чем на расстоянии десяти пальцев от губ, и ждет только твоего ответа, – сурового или нежного, чтобы выйти у него изо рта, или вернуться внутрь.

Услыхав это, Дон Кихот пощупал себе горло и сказал, обращаясь к герцогу:

– Клянусь Богом, сеньор, Дульсинея сказала правду, так как я чувствую, что душа у меня стоит поперек горла, как выстрел арбалета.

– Что вы на это скажете, Санчо? – спросила герцогиня.

– Скажу сеньора, – ответил Санчо, – все то же, что уже говорил – *abrenuncio*.

– *Abrenuncio* должны вы сказать, Санчо, а не так, как вы говорите, – поправил его герцог.

– Оставьте меня, ваше высочество, – ответил Санчо, – я теперь не в таком состоянии, чтобы обращать внимание

на тонкости, или на то, чтоб было одной буквой больше или меньше, потому что я до того смущен этими ударами, которые должны мне дать, или я сам должен себе дать, что не знаю, что говорю или делаю. Но я желал бы слышать от сеньоры, – моей сеньоры Дульсинеи Тобосской, – где она научилась такому способу просить, как она просит? Она явилась сюда и требует от меня, чтобы я рассек себе тело ударами бича, и называет меня при этом *кувшинной душой, неукротимым животным* и целой вереницей бранных слов, которые пусть терпит дьявол. Быть может, тело мое из бронзы, или мне есть дело до того, будут ли сняты с нее чары или нет? Какую корзину белья, какие рубахи, платки и носки, – хотя носков я и не ношу, – принесла она мне, чтобы смягчить меня? Ровно ничего, и только лишь брань за бранью, хотя ей хорошо известна пословица, которая здесь в ходу, что нагруженный золотом осел легко взбирается на гору, и что подарки пробивают скалы; и – Бога проси, а молотом стучи; и одно «бери» лучше двух «я дам тебе». А затем еще и сеньор мой господин, который должен был бы погладить меня и приласкать, чтобы я сделался мягок, как шерсть и как взбитая вата, говорит, что, если я попадусь ему в руки, он голого привяжет меня к дереву и удвоит число ударов бичом. Эти огорченные сеньоры должны были бы принять во внимание, что они не только просят бичевать себя плетью оруженосца, но и губернатора, как если б кто сказал: пей с вишнями¹. Пусть же они в недобрый час научатся просить и упрашивать, научатся быть вежливыми, так как разные времена бывают, и человек не всегда в хорошем настроении. Теперь я вне себя от горя, видя, что зеленое мое

¹ *Come quien dice, bebe con guindas* (буквально «пить с вишнями») – общеупотребительное выражение, означающее, что удваивается, усиливается совершенство того, о чем просишь или что делаешь, например, как бы положить мед на варенье и т. п.

охотничье платье порвано, а тут еще приходят и требуют, чтобы я, по доброй своей воле, бил бы себя плетью, хотя такая мысль столь же чужда мне, как и мысль сделаться кациком¹.

– Право, друг Санчо, – сказал герцог, – если вы не сделаетесь мягче зрелой винной ягоды, вы не получите своего губернаторства. Нечего сказать, хорош был бы я, если бы послал моим островитянам жестокого губернатора с каменным сердцем, которое не могут тронуть ни слезы огорченных девушек, ни просьбы рассудительных, могущественных и древних волшебников и мудрецов. Словом, Санчо, вы должны или сами бичевать, или дать себя бичевать, или же вам не быть губернатором.

– Сеньор, – спросил Санчо, – не дадут ли мне два дня на размышление о том, что для меня лучше?

– Нет, никоим образом, – сказал Мерлин, – здесь, немедленно, и не сходя с места, это дело должно быть решено. Дульсинея или вернется в пещеру Монтесиноса и опять будет превращена в крестьянку, или будет отвезена в теперешнем ее виде в Елисейские поля, где и останется ждать, пока число ударов не будет доведено до конца.

– Слушайте, добрый Санчо, – сказала герцогиня, – будьте мужественны и покажите себя признательным за хлеб, который вы ели у господина Дон Кихота, а ему мы все должны служить и быть благодарны за его добрые наклонности и возвышенное рыцарство. Скажите, сын – да, я согласен на бичевание, и пусть черт уберется к черту, и страх к малодушному, потому что храброе сердце преодолевает злую судьбу, как вы это хорошо знаете.

На эти слова Санчо не ответил прямо, а, обращаясь к Мерлину, спросил его:

– Скажите, милость ваша, сеньор Мерлин, тот гонец дьявол, который принес моему господину весть от сеньора Монтесиноса, приглашал ждать его здесь, потому что он явится сюда и сообщит ему средство, как снять чары с сеньоры Дульсинеи Тобосской; но до сих пор мы не видели ни Монтесиноса, ни подобного ему.

Мерлин ответил на это:

– Дьявол, друг Санчо, неужда и величайший плут. Я послал его разыскать вашего господина не с поручением от имени Монтесиноса, а от моего имени, так как Монтесинос сидит у себя в пещере, обдумывая или, лучше сказать, ожидая снятия с него чар, потому что для этого еще предстоит содрать шкуру с хвоста². Если он вам что-нибудь должен, или у вас какое-нибудь дело к нему, я его приведу и доставлю к вам туда, куда вы пожелаете. А теперь, дайте, наконец, свое согласие на то бичевание, и поверьте мне, что оно принесет вам большую пользу, как для души, так и для тела; для души, потому что вы этим совершите доброе дело, для тела, так как я знаю, что вы от природы полнокровны и выпустить немного крови вам не повредит.

– Много докторов на свете: даже волшебники и те доктора, – сказал Санчо, – но если уж все меня уговаривают, – хотя лично я не вижу ни малейшей в том надобности, – скажу, что согласен дать себе три тысячи триста ударов, только с тем условием, что могу их нанести себе, как и когда захочу, и чтобы мне не определяли ни дни, ни сроки; а я постараюсь уплатить этот долг мой, как можно скорей, чтобы мир наслаждался красотой

¹ Главой индейского племени.

² *Aun le falta la cola por desollar* – общеупотребительное испанское выражение, смысл которого: – самая трудная часть задачи еще впереди.



Между тем стало быстро приближаться веселое смеющееся утро.

сеньоры Доньи Дульсинеи Тобосской, так как, по-видимому, обратно тому, что я думал, она в самом деле красива. И вот еще одно условие: я не обязан бичевать себя до крови, и если некоторые из ударов спугнут только мух, их тоже надо принять в счет. Item, если б я ошибся в числе ударов, сеньор Мерлин, – так так он все знает, – должен позаботиться сосчитать удары и сообщить мне, сколько их не достает и сколько лишних.

– О лишних не придется извещать вас, – ответил Мерлин, – потому что, как только их будет отсчитано требуемое количество, тотчас же и внезапно с сеньоры Дульсинеи Тобосской спадут чары, и она явится к доброму Санчо с признательностью, чтобы поблагодарить его и даже наградить за доброе дело. Так что вам незачем сомневаться относительно лишних или недостающих ударов; и да сохранит меня небо ввести кого-либо в обман, хотя бы даже на один волос с его головы.

– Итак, отдавая себя в руки Божии, – сказал Санчо, – я даю согласие на свое несчастье – и говорю, что принимаю эпителию на указанных условиях.

Не успел Санчо произнести этих слов, как снова раздались звуки флейты,

снова слышались бесчисленные ружейные выстрелы, а Дон Кихот бросился на шею Санчо, осыпая тысячью поцелуев его щеки и лоб. Герцог, герцогиня и все присутствующие выказали величайшее удовольствие, а колесница с Мерлином и Дульсинеей тронулась в путь, и, проезжая мимо них, прекрасная Дульсинея наклонила голову перед герцогом и герцогиней и сделала глубокий реверанс Санчо. Между тем стало быстро приближаться веселое смеющееся утро. Полевые цветы приподняли свои стебли и раскрыли чашечки, а хрустальные воды ручейков бежали, журча по белым и серым камешкам, неся свою дань ожидавшим их рекам. Радостная земля, ясное небо, прозрачный воздух, яркий свет – все это, отдельно и вместе взятое, служило явным признаком того, что день, уже наступивший на край одежды зари, будет тихим и ясным. Герцогская чета, довольная, как охотой, так и тем, что их намерение было столь хорошо и удачно выполнено, вернулась в свой замок, решив продолжать свои шутки, так как они доставили им больше удовольствия, чем вся остальная окружающая их действительность.





Глава XXXVI

В которой повествуется о странном и невообразимом приключении дуэньи Долориды или иным именем – графини Трифальди, а также приводится письмо, написанное Санчо Пансой своей жене Тересе Панса.

У герцога был мажордом, с игривым и острым умом, он-то и изображал Мерлина и устроил во всех подробностях предшествующее приключение, сочинил стихи и поручил одному из пажей сыграть роль Дульсинеи. Затем, при содействии своих господ, он придумал еще новую затею, самую странную, какую только можно вообразить себе. На следующий день после охоты, герцогиня спросила Санчо: приступил ли он к выполнению эпитемии для снятия чар с Дульсинеи. Он ответил, что да, приступил, и этою ночью уже дал себе пять ударов. Герцогиня спросила: чем он их дал? И он сказал, что рукой.

– Это, – возразила герцогиня, – скорее шлепки, а не бичевание. Мне кажется, что мудрый Мерлин не будет доволен вашей снисходительностью к себе. Доброму Санчо следует приобрести какой-нибудь бич с колючками или с веревочными узлами, которые дали бы себя хорошо почувствовать, потому что кровью запечатлевают грамоту¹, и освобождение столь знатной сеньоры, как Дульсинея, не может достаться дешево. Заметьте также, Санчо, что дела милосердия, которые выполняются холодно и вяло, не заслуга, и ничего не стоят.

На это Санчо ответил:

– Дайте мне, ваша светлость, какой-нибудь бич или подходящий кусок веревки, и я буду им бичевать себя, только,

¹ La letra con sangre entra – испанская пословица.

чтобы не было черезчур больно, так как я должен сказать вашей милости, что хотя я и крестьянин, но тело мое больше похоже на мягкую вату, чем на жесткий камень, и нехорошо было бы, чтобы я себя истреблял из-за чужого дела.

– Хорошо, – ответила герцогиня, – я дам вам завтра бич, который будет для вас как раз подходящим, и поладит с нежным вашим телом, точно родной брат.

На это Санчо сказал: – Слушайте, ваше величие, сеньора души моей, я написал письмо моей жене, Тересе Панса, и даю в нем отчет обо всем, что случилось со мной после того, как я расстался с ней. Письмо у меня тут за пазухой и только еще надо надписать адрес на нем. Я желал бы, чтобы ваша мудрость прочла это письмо, так как мне кажется, что оно написано по-губернаторски, я хочу сказать так, как должны писать губернаторы.

– Кто сочинил вам это письмо? – спросила герцогиня.

– Кто мог его сочинить, как не я сам грешный? – ответил Санчо.

– И вы сами написали его? – спросила герцогиня.

– И не думал, – ответил Санчо, – потому что я не умею ни читать, ни писать, хотя могу ставить свою подпись.

– Давайте письмо сюда, – сказала герцогиня, – не сомневаюсь, что вы выказали в нем всю полноту и все достоинства своего ума.

Санчо достал из-за пазухи исписанный лист бумаги, и взяв его, герцогиня увидела, что там стоит следующее:

Письмо Санчо Пансы к Тересе Панса, его жене.

«Если меня отменно наказали плетьюми, зато я важно проехался верхом¹: если у меня хорошее губернаторство, зато оно и стоит мне хороших ударов бичом. Ты этого не поймешь теперь, Тереса моя; в другой раз вникнешь. Ты должна знать, Тереса, что я решил, чтобы ты ездила в карете², это самая подходящая вещь для тебя, потому что передвигаться иначе значило бы двигаться на манер кошек. Жена губернатора ты, и смотри, чтобы никто не наступал бы тебе на ногу. Посылаю тебе при этом зеленое охотничье платье, которое мне подарила сеньора герцогиня: устрой так, чтобы из него вышла юбка и лиф для нашей дочери. Дон Кихот, мой господин – судя по тому, что мне пришлось слышать о нем в здешней местности – умный безумец и забавный сумасшедший, и говорят, я ни в чем не уступаю ему. Мы побывали в пещере Монтесинос, и мудрый Мерлин обратился ко мне, чтобы я снял чары с Дульсинеи Тобосской, что зовется у нас Алдонса Лоренсо. От трех тысяч трехсот ударов бичом без пяти, которыми я должен себе наградить, она освободится от чар, как мать, которая ее родила. Не говори об этом никому ничего, потому что, если ты вынесешь дело свое на свет, одни скажут, что оно белое, а другие, что черное. Через несколько дней уезжаю на губернаторство, куда отправляюсь с величайшим желанием набрать себе денег, и мне говорят, что все новые

¹ По видимому, фраза эта взята из народной пословицы тех времен, перенятой от какого-нибудь вора, которого после наказания плетьюми возили, – как тогда это делалось, – верхом на осле по всем улицам города.

² Экипажи были тогда в Испании новостью, так как впервые они там появились лишь в 1546 г., но мода эта так быстро распространилась, что уже в 1567 г. кортесы издали *pragmática* (постановление), запрещавшее езду их на улицах. В 1578 г., другим постановлением кортесы требовали, чтобы каждый экипаж был запряжен не менее, чем четверкой лошадей, – с целью увеличением расходов уменьшить число экипажей.

губернаторы едут с этим самым желанием. Я пощупаю пульс, как там идут дела, и извещу тебя, переезжать тебе ко мне или нет. Серый здоров и очень тебе кланяется, и я и не думаю расставаться с ним, хотя бы меня сделали турецким султаном. Герцогиня, моя сеньора, тысячу раз целует тебе руки, а в ответ ты ей поцелуй их две тысячи раз, так как нет ничего, что стоило бы меньше и было бы дешевле, по словам моего господина, как учтивое обхождение. Богу не было угодно уделить мне другой ручной чемоданчик с другими червонцами, как в прошлый раз, но не огорчайся этим, моя Тереса, – так как в безопасности тот, кто звонит на колокольне и все отмоется в щелоче губернаторства. Меня сильно опечалило только то, что говорят, будто, когда я отвещаю губернаторства, я съем себе руки по нем, и если бы это случилось, недешево обошлось бы мне оно, хотя калеки и безрукие собирают хороший доход с милостыни. Итак, тем ли или иным путем, но ты будешь богата и счастлива. Дай Бог тебе это, сколько Он может, и да хранит и меня, чтобы я служил тебе.

Из этого замка 20-го июля 1614г.

Твой муж губернатор, Санчо Панса.

Когда герцогиня прочла письмо, она сказала Санчо:

– В двух вещах добрый губернатор сбивается немного с пути; первое, когда он говорит или дает понять, что получил губернаторство за удары бичом, которые он должен нанести себе, тогда как ему известно, и он не может этого отрицать, что герцог, мой сеньор, обещал ему губернаторство в то время, когда никому в мире не снились еще эти удары бичом; во-вторых, он выказывает себя в письме очень алчным, а я не желала бы, чтобы он им был, так как алчность разрывает мешок и алчный губернатор плохо чинит суд.

– Я вовсе не хотел этого сказать, – ответил Санчо, – и если вашей милости кажется, что письмо написано не так, как следует, лучше разорвать его и написать новое; но, пожалуй, оно выйдет еще хуже, если опять дадут мне сочинять его из моей головы.

– Нет, нет, – ответила герцогиня, – письмо это хорошее, и я желаю, чтобы герцог прочел его.

С этими словами они пошли в сад, где в тот день решили обедать. Герцогиня показала герцогу письмо Санчо, и оно доставило ему большое удовольствие.

Обед кончился, и когда со стола была снята скатерть, герцогская чета довольно долго развлекалась занимательными разговорами с Санчо. Вдруг раздались донельзя грустные звуки флейты и глухой нестройный барабанный бой. Все казались озадаченными этой смутной, воинственной и печальной музыкой, в особенности же Дон Кихот, который не мог усидеть на месте от сильнейшего волнения; про Санчо можно сказать только то, что страх загнал его в обычное его убежище, именно рядом с герцогиней или у ее юбок, так как действительно и на самом деле раздавшиеся звуки были необычайно печальны и унылы. В то время, как все они были в таком напряженном ожидании, они увидели, что в сад вошли два человека в траурных одеждах, таких длинных, что они волочились у них по земле, и они били в два большие барабана, также покрытых трауром. Рядом с ними шел флейтист, в черной, как смоль, одежде. За этими тремя лицами выступал человек гигантского роста, нельзя сказать одетый, а укутанный в самую, что ни на есть, черную мантию, с чудовищно-длинным шлейфом. Поверх одежды его опоясывала и охватывала очень широкая, также черного цвета перевязь, а на перевязи висел необычайных разме-

ров ятаган с черной отделкой и черными ножнами. Лицо великана было прикрыто прозрачным, черным вуалем, сквозь который можно было различить длиннейшую, белую, как снег, бороду. Шел он в такт барабанного боя, размеренной и торжественной походкой. Словом, его громадный рост, его гордая осанка, его чернота, и свита сопровождавшая его, – все это могло поразить и поразило всех тех, которые смотрели на него, не зная, кто он такой. Упомянутой размеренной и торжественной походкой подошел он к герцогу, который, как и все остальные, бывшие там, ожидал его стоя, и опустился перед ним на колени. Но герцог ни за что не согласился позволить ему говорить, пока он не поднимется. Чудовищное пугало так и сделало и, встав с колен, откинуло с своего лица вуаль, обнаружив самую ужасную, длинную, белую и густую бороду, которую когда-либо видели человеческие глаза, и тотчас же из широкой и могучей груди его вырвался и высвободился сильный, звучный голос, и, устремив глаза на герцога, старик сказал:

– Светлейший и высочайший сеньор, – меня зовут Трифальдин – Белая борода. Я – оруженосец графини Трифальди, называемой иначе дуэньей Долоридой. От имени ее имею передать следующее поручение вашему величеству: не будет ли угодно великолепию вашему дать ей разрешение явиться сюда и рассказать вам о постигшей ее беде, одной из самых необычайных и удивительных, какую наиболее мрачное воображение в мире не могло бы себе представить. Но прежде всего она желала бы знать, находится ли тут, в замке у вас, доблестный, никем не побежденный рыцарь Дон Кихот Ламанчский, отыскивая которого, она, воздерживаясь от всякой пищи, прошла пешком из королевства Кандая до ваших владений, что должно и может

быть приписано лишь чуду или же силе волшебства. У ворот этой крепости или загородного дома, ждет она вашего разрешения войти сюда. Я кончил.

Проговорив это, он закашлялся и, проведя обеими руками по своей бороде, сверху вниз, стал спокойно ждать ответа герцога, который сказал ему:

– Добрый оруженосец Трифальдин – Белая борода! Давно уже имеем мы сведения о несчастьи, постигшем сеньору графиню Трифальди, которая, благодаря волшебникам, вынуждена называться дуэньей Долоридой. Вы можете сказать ей, изумительный оруженосец, чтобы она вошла сюда, к нам, и что здесь находится доблестный рыцарь Дон Кихот Ламанчский, от великодушного образа мыслей которого она может с полной уверенностью ждать себе всякой помощи и всякого покровительства. Вы можете сказать ей также от моего имени, что, если бы она нуждалась и в моем покровительстве, я не откажу в нем, так как оказывать его меня обязывает рыцарское мое звание, нося которое я должен покровительствовать всякого рода женщинам и в особенности дуэньям и вдовам, обиженным и униженным, к каким должна принадлежать и ее сиятельство – графиня.

Услышав это, Трифальдин преклонил колени до земли, затем, дав знак флейтисту и барабанщикам снова заиграть, при тех же звуках и той же походкой, какой вошел, он удалился из сада, оставив всех в изумлении от его появления и вида. Обернувшись к Дон Кихоту, герцог сказал:

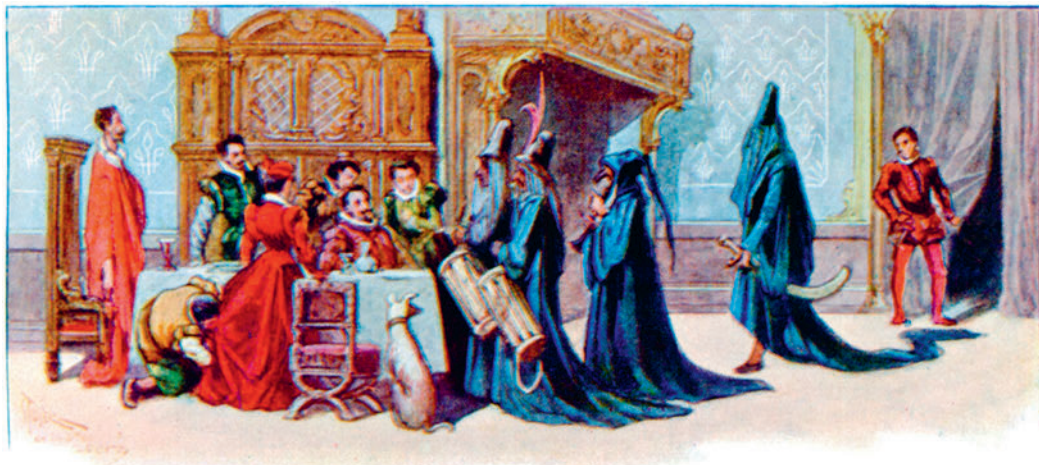
– Наконец, знаменитый рыцарь, мрак злобы и невежества не может заслонить и омрачить блеск доблести и добродетели. Говорю это к тому, что не успела еще ваша доброта пробыть и недели в этом замке, как уже являются искать вас

из далеких и отдаленных стран не в каретах и не на верблюдах, а пешком и постясь, огорченные и униженные, – уверенные, что найдут в этой могучей руке избавление от их горестей и страданий, благодаря подвигам, слава о которых распространилась по всей земной поверхности.

– Я бы желал, сеньор герцог, – ответил Дон Кихот, – чтобы здесь присутствовал тот благословенный церковник, который в прошлый раз за обедом выказал столько злобы и нерасположения к странствующим рыцарям. Теперь он собственными глазами мог бы убедиться в том, нужны ли эти рыцари миру или нет. По крайней мере он мог бы, так сказать, осязать руками ту истину, что безгранично огорченные и безутешные, во всех важных случаях и огромных несчастьях, не идут искать помощи в домах ученых, или у сельских дьячков, ни у ры-

царя, никогда не выезжавшего из пределов своего местечка, ни у праздного придворного, который охотнее занимается собиранием новостей, чтоб их всюду разнести и пересказать, а не стремится совершить такие поступки и подвиги, о которых другие могли бы рассказывать и их описывать. Поддержку в горестях, помощь в несчастьи, покровительство девушкам, утешение вдовам – ни у кого не найти в такой степени, как у странствующих рыцарей, и за то, что я один из них, я возношу бесконечную благодарность небу и приветствую всякие труды и тревоги, которые могут встретиться мне при выполнении столь почетного призвания. Пусть же идет эта дуэнья и просит все, что желает, потому что я добуду ей исцеление от ее бед силой руки моей и отважной решимостью мужественного моего сердца.





Глава XXXVII

Продолжение знаменитого приключения дуэньи Долориды.

Дерцог и герцогиня были в высшей степени довольны, видя, как хорошо Дон Кихот идет навстречу их намерению. Но Санчо сказал:

– Я бы не желал, чтобы эта сеньора дуэнья поставила какие-либо преграды обещанию моего губернаторства, так как я слышал от одного толедского аптекаря, который говорил, словно щегленок¹, что где только замешаны дуэньи, там нельзя ждать добра. Помогите мне Боже, как он их терпеть не мог, тот аптекарь! Из этого я заключаю, что если все дуэньи надоедливы и зловредны, к какому бы сословию и положению они не принадлежали, каковы же должны быть дуэньи doloridas², подобные этой графини трех юбок³ или трех хвостов, потому что в моей местности юбки и хвосты, хвосты и юбки – одно и то же.

– Молчи, Санчо друг, – сказал Дон Кихот, – так как эта сеньора дуэнья явилась из столь далеких стран, отыскивая

меня, то она не может принадлежать к числу тех, о которых говорил аптекарь. Тем более, что она графиня, а если графини служат дуэньями, то лишь только у королей и императриц, потому что дома у себя они очень знатные сеньоры, и у них есть свои собственные дуэньи.

На это донья Родригес, тут же присутствовавшая, сказала: – На службе у нашей сеньоры герцогини есть дуэньи, которые могли бы быть графинями, если бы это было угодно судьбе, но, ведь, известно: как короли пожелают, так закон и исполняют, и пусть никто не говорит дурно о дуэньях, в особенности о пожилых и девушках; хотя я и не принадлежу к их числу, но вполне вижу и хорошо понимаю, сколько преимуществ у девушки-дуэньи перед дуэньей-вдовой, и тот, кто нас остриг, у того ножницы остались в руках.

– Тем не менее, – возразил Санчо, – у дуэний есть столько чего остричь, по мнению моего цирюльника, что лучше было бы не размешивать риса, хотя бы он и пригорел.

¹ Говорить и петь, как щегленок, было, надо думать, простонародным выражением, относительно тех, кто говорил гладко и плавно.

² Doloridas – огорченные.

³ Намекая на Имя Trifaldi – что приводит на ум tres faldas – три юбки.

– Оруженосцы всегда нам враги, – ответила донья Родригес, – так как, будучи домовыми передних и видя нас на каждом шагу, они все время, что не молятся (а такого времени у них без конца), тратят на сплетни о нас, перебивая нам косточки и зарывая наше доброе имя. Но я говорю этим движущимся чурбанам, что назло им мы будем жить на свете и в знатных домах, хотя бы мы и умирали с голоду и прикрывали наше тело – нежное ли оно или не нежное – черным монашеским облачением¹, как прикрывают или завешивают ковром навозную кучу в дни торжеств и процессий. По чести, если бы мне позволили и я имела время, я разъяснила бы не только присутствующим, но и всему миру, что нет той добродетели, которая не заключалась бы в дуэнье.

– Я думаю, – сказала герцогиня, – что моя добрая донья Родригес права, и даже как нельзя более. Но ей следует выждать подходящий случай, чтобы постоять и за себя, и за других дуэний, и опровергнуть дурное мнение того низкого аптекаря и вырвать с корнем то, которое великий Санчо Панса хранит в своей груди.

На это Санчо ответил: – С тех пор, как хмель губернаторства ударил мне в голову, причуды оруженосца исчезли из нее, и за всех дуэний в мире я не дал бы и одной дикой фиги.

Разговор о дуэньях продолжался бы, если бы снова не раздались звуки флейты и барабанов, возвещавшие им, что донья Долорида приближается.

Герцогиня спросила герцога, не следует ли пойти ей навстречу, так как она графиня и знатная особа.

– Поскольку она графиня, – сказал Санчо, прежде чем успел ответить гер-

цог, – я стою за то, чтобы ваши величия шли ее встретить, но поскольку она дуэнья, на мой взгляд вам не надо делать и шага.

– Кто спрашивал твоего мнения, Санчо? – сказал Дон Кихот.

– Кто, сеньор? – отозвался Санчо. – Я сам сказал его, так как могу иметь его, как оруженосец, изучивший правила учтивости в школе вашей милости, – самого учтливового и благовоспитанного рыцаря во всей учтивости; в этих вещах, судя по тому, что я слышал от вашей милости, одинаково можно проиграть, имея на руках картой больше, или картой меньше, и умный понимает с полуслова.

– Так оно и есть, как говорит Санчо, – сказал герцог, – мы посмотрим, что представляет из себя эта графиня и, судя потому, отмерим степень учтивости, которая надлежит ей.

В это время вошли в сад, как и в первый раз, барабанщики и флейтист. Здесь автор заканчивает короткую эту главу и начинает следующую, где продолжается то же приключение, – одно из самых замечательных в нашей истории.



¹ Костюм дуэньи состоял неизменно из черного платья, несколько сходного с монашеским, и высокого белого головного убора – тоса.



Глава XXXVIII

В которой сообщается рассказ дуэньи Долориды о ее несчастной судьбе.

Вслед за печальными музыкантами стали входить в сад дуэньи, числом до двенадцати, в два ряда, все одетые в широкие траурные монашеские платья, по-видимому из валенной саржи, а на головах у них были уборы и покрывала из тонкой белой кисеи, такие длинные, что из под них виден был лишь рубец их черных платьев. Позади дуэний шла графиня Трифальди, и ее вел за руку Трифальдин – Белая борода, ее оруженосец. Она была одета в тончайшую черную байку с некрученным ворсом, потому что, если бы он был крученный, из каждой ворсинки получилось бы зерно величиной с горошину хорошего Мартосского¹ сорта. Хвост ее или шлейф, или называйте его, как хотите, имел три конца, которые несли три пажа, тоже одетые в траур, и изображавшие собой красивую математическую фигуру с тремя острыми углами, составленными тремя концами шлейфа, вследствие чего, все, видевшие треххвостый шлейф, догадывались, что вероятно благодаря ему она и зовется графиней *Трифальди*, все равно, как если б сказать графиня трех юбок. Бененхели говорит, что действительно это верно, и что настоящее ее имя было графиня *Лобу-*

*на*², так как в графстве ее водилось много волков и если б, вместо волков, там водились лисицы, ее назвали бы графиней Сорруна³, потому что у помещиков тех местностей в обычае брать свое прозвище от вещи, или вещей, встречающихся в особенном изобилии у них во владениях; но эта графиня, чтобы особенно подчеркнуть новизну своего шлейфа, отбросив прозвище *Лобуна*, приняла название *Трифальди*. Двенадцать дуэний и графиня шли торжественным шагом, как в процессии; лица их были покрыты черными вуалями, но не прозрачными, как вуаль Трифальдина, а такими густыми, что сквозь них ничего не просвечивало. Лишь только появился отряд дуэний, – герцог, герцогиня, Дон Кихот и все смотревшие на эту медленнодвигающуюся процессию – встали. Двенадцать дуэний остановились, образуя проход, через который Долорида выступила вперед, не оставляя руки Трифальдина. Увидав это, герцог, герцогиня и Дон Кихот прошли шагов двенадцать, навстречу ей. Преклонив колена, Долорида голосом скорее густым и хриплым, чем нежным и мягким, сказала:

– Не будет ли благоугодно вашим высочествам не расточать так много учтивости этому своему слуге, я говорю этой

¹ Мартос – маленький городок в Андалузии, знаменитый, по-видимому, величиной своего гороха, этого любимого овоща южных испанцев.

² Lobo – волк.

³ Zorra – лисица.

своей служанке, потому что, будучи столь огорченной, я не сумею, как бы следовало, ответить на вашу любезность по той причине, что странное и никогда не виданное несчастье мое унесло разум мой, не знаю куда и, должно быть, далеко, так как чем больше я его ищу, тем меньше нахожу его.

– Тот был бы лишен разума, сеньора графиня, – ответил герцог, – кто по вашей внешности не сумел бы догадаться о ваших достоинствах, которые, не заглядывая дальше, заслуживают всех сливок учтивости и всего цвета благовоспитанности. – И, взяв ее за руку, он помог ей подняться и усадил на стул рядом с герцогиней, которая точно также приняла ее с величайшей любезностью. Дон Кихот молчал, Санчо умирал от желания увидеть лицо Трифальди, или какой-нибудь из многих ее дуэний, но это было невозможно, пока они не откроют его сами по собственной воле и доброму желанию. Все оставались спокойны и хранили молчание, выжидая, кто первый его прервет, а сделала это дуэнья Долорида следующими словами:

– Я уверена, могущественнейший сеньор, прекраснейшая сеньора и умнейшие присутствующие, что мое наиглубочайшее горе найдет в ваших наидоблестнейших сердцах столь же нежную, как и великодушную отзывчивость, потому что горе мое таково, что оно в состоянии размягчить мрамор, расплавить алмазы и разрушить сталь самых ожесточенных в мире сердец. Но прежде, чем рассказ об этом моем горе коснется вашего слуха – чтобы не сказать ваших ушей, – я бы желала быть поставленной в известность, находится ли здесь, в этом обществе, кружке или собрании наибоеспорочнейший рыцарь Дон Кихот Наиламанчский и его наиворуженейший Панса?

– Панса здесь; – воскликнул Санчо прежде, чем кто-либо другой мог собрать-

ся ответить дуэнье. – И дон Накихотнейший тоже здесь; поэтому вы, – наидолориднейшая дуэнейшая, можете все сказать, что вам наиугоднейше, так как мы все наиготовейшие и наирасположеннейшие быть вашими слугами.

Тут Дон Кихот встал и, обращаясь к дуэнье, сказал:

– Если ваши горести, опечаленная сеньора, заключают в себе надежду получить облегчение, через мужество или доблесть какого-нибудь странствующего рыцаря, все мои силы, хотя слабые и малые, я готов употребить на служение вам. Я – Дон Кихот Ламанчский, призвание которого состоит в том, чтобы оказывать помощь всем нуждающимся, и раз это так, – как оно и есть на самом деле, – вам не нужно, сеньора, ни снискивать благоволения, ни приискивать вступления, а просто и без околичностей рассказать о вашем несчастье, так как те, которые слушают вас, сумеют, если не помочь, то по крайней мере сочувствовать вам.

Услышав это, дуэнья Долорида сделала вид, что хочет броситься, и действительно бросилась к ногам Дон Кихота и, стараясь обнять их, сказала:

– Простираюсь ниц перед этими ногами и ступнями, о, непобедимый рыцарь, потому что они – опора и столбы странствующего рыцарства. Эти ноги хочу я лобызать, так как от шагов их вполне зависит избавление от моего несчастья. О, доблестный странствователь, истинные подвиги которого заслоняют и далеко оставляют за собой все сказочные подвиги Амадисов, Эспландианов и Белианисов! – И оставив Дон Кихота, она обратилась к Санчо Пансе и, взяв его за руки, сказала ему:

– О, вернейший из всех оруженосцев когда-либо служивших странствующему рыцарю в настоящее ли время или в прошлые века, ты, чья доброта про-

стирается дальше бороды Трифальдина, моего спутника, здесь присутствующего! Ты вправе гордиться тем, что, служа великому Дон Кихоту, служишь как бы всему сонму рыцарей, когда-либо носивших на свете оружие. Заклинаю тебя всем, к чему обязывает тебя наинадежнейшая твоя добродота, будь благосклонным заступником моим перед твоим господином и проси его оказать помощь этой наипокорнейшей и наинесчастнейшей графине!

На это Санчо ответил:

– Так ли велика и длинна, сеньора, моя добродота, как борода вашего оруженосца, это меня очень мало заботит. Лишь бы только душа моя была при бороде и усах, когда она покинет этот свет; вот что всего важнее, а о здешних бородах я мало или вовсе не беспокоюсь. Но и без этих ваших заискиваний и вымаливаний попрошу моего господина (так как знаю, что он меня любит и тем более теперь, когда я ему нужен для одного дела), чтобы он помог вашей милости и покровительствовал во всем, где может. Пусть ваша милость выгрузит свое горе и расскажет нам его, и даст действовать, так как мы все поймем друг друга.

Герцог и герцогиня помирали со смеху, потому что знали, в чем была суть всего этого приключения, и мысленно хвалили за остроумие и искусство притворяться Трифальди, которая снова села и сказала:

– Славным королевством Кандая, расположенным между великой Трапобаной и Южным морем, две мили от мыса Коморин, правила королева донья Магунсия, вдова короля Арчиписла, ее сеньора и супруга. От брака с ним они прижили, и у них родилась инфанта Антономасия – наследница престола. Эта-то инфанта Антономасия росла и воспиталась под моим надзором и наставлением, так как я была самой почтенной и знатной из дуэний ее

матери. Итак, дни шли и уходили, и девочка Антономасия достигла возраста четырнадцати лет, и такого величайшего совершенства красоты, что природа не могла создать ничего очаровательнее. И нельзя сказать, чтобы за то она обидела ее умом: она была столь же умна, как и прекрасна, а была она самой прекрасной в мире и осталась ею и до сих пор, если только завистливый рок и непреклонные Парки не обрезали нити ее жизни. Но верно они этого не сделали, потому что небеса не могут допустить, чтобы земле был нанесен такой ущерб, каким бы он оказался, если бы раньше времени был сорван виноград с самой прекрасной в мире виноградной лозы. В эту красавицу, которую недостойный язык мой не в состоянии превознести так, как она того заслуживала бы, влюбилось бесконечное число принцев, как местных, так и иностранных, а среди них осмелился вознести мысли свои к небу такой красоты также и простой рыцарь, бывший при дворе, полагаясь на свою молодость и храбрость, на многочисленные свои таланты и дарования, и на живость и проницательность своего ума. Потому что я должна сообщить вашим высочествам, если только этим не наскучу: он так играл на гитаре, что она у него, казалось, говорила, и кроме того он был поэт, хороший танцор и умел делать птичьи клеточки, и одним этим последним искусством он мог бы заработать себе хлеб, если бы его принудила к тому крайность; и всех этих дарований и талантов достаточно для того, чтобы сокрушить гору, а не то, что нежную девушку. Но его изящество и мужество, его таланты и дарования очень мало или вовсе не способствовали бы ему взять крепость моей девочки, если бы наглый вор не прибег прежде всего к средству подчинить себе меня и овладеть моей волей так, чтобы я оказалась дурным комедантом и вручила ему ключи от крепо-

сти, охранять которую я была поставлена. Словом, он обольстил мой ум и покорила мою волю, не знаю какими игрушками и безделушками, которые он мне дарил. Но то, что окончательно склонило меня и отдало в его власть, было несколько романсов, слышанные мною, когда он их пел однажды ночью у решетчатого окна, выходившего в маленькую улицу, где он стоял, и если я верно помню, в них говорилось следующее:

Милый недруг мой, – я счастья ждал.
Ты ж мне пытку в душу заронила,
И чтоб боль ее сильнее сразила,
Хочешь ты, чтоб молча я страдал.

Стихи эти показались мне чистым жемчугом и голос его – сахарным сиропом, и после того, я хочу сказать, с тех пор, поняв, в какую я попала беду из-за этих и других тому подобных стихов, я вывела заключение, что из хороших, благоустроенных государств следовало бы изгонять поэтов, как советовал Платон, по крайней мере развращающих, потому что они пишут стихи не такие, как стихи о маркизе, Мантуанском, что забавляют женщин и детей и вызывают у них слезы, а такие острые, которые как нежные шипы пронзают вам душу и ранят ее, точно молнией, оставляя платье неприкосновенным.

И он запел снова:

Смерть, – приди ко мне тайком,
нежданной,
Чтоб шагов твоих не слышал я,
И чтоб счастье смерти столь
желанной
Не вернуло б к жизни вновь меня.

И в этом роде он пел еще другие куплеты и четверостишия, которые, когда их поют, чаруют, а когда их читают, восхищают. И тем более еще, когда поэты снисходят к сочинению такого рода стихов, которые тогда были в ходу в Кандае, их называют *сегидильяс*¹. От этих стихов запляшет душа, польется смех, задвигается тело, одним словом, по всем ощущениям пробежит точно ртуть. И поэтому я говорю, сеньоры мои, что таких трубадуров следовало бы по справедливости ссылать на острова ящериц². Но виноваты не они, а те простяки, которые восхваляют их, и глупые женщины, которые им верят; и если бы я была такой доброй дуэньей, какой мне следовало бы быть, меня не растрогали бы выдумки его бессонниц³, я не приняла бы за правду такие фразы, как, например: «*Я живу умирая, горю во льду, зябну в огне, надеюсь без надежды, ухожу и остаюсь*» и другие невозможности в том же роде, которыми полны их писания. А когда они обещают *Феникса Аравии, корону Ариадны*⁴, *коней солнца, жемчуг юга, золото Тибара*⁵, *бальзам Панкая*⁶,

¹ Seguidillas – размер, которым написаны большинство испанских народных песен; короткие строки, рифмующиеся чаще всего ассонантами (созвучием): первая строчка с третьей – и вторая с четвертой.

² По словам Торкемада в его «Jardín de Flores», – «Острова ящериц» были необитаемые острова, куда в старинное время ссылались преступники.

³ Trasnuchados соусерто; – trasnochado, употреблено тут, по-видимому, в двойном смысле: «вымученный» и «изношенный, поблекший». Сервантес осмеивает здесь начинавшую входить тогда в моду изысканность и натянутость в поэзии, называемый культизм (cultismo), введенной Гонгорой в 1605 г.

⁴ Корона Ариадны, по мифологии сделанная Вулканом из золота и индийских драгоценных камней, была затем возведена в созвездие.

⁵ Tíbar – древнее название одной реки в Африке, славившейся лучшим золотом.

⁶ Rapasa – область в счастливой Аравии, знаменитая своим ладаном; родина феникса, по Плинию.

тут-то они больше всего дают простора перу, так как им ничего не стоит обещать то, чего они никогда не могут, да и не думают исполнить. Но куда я уклоняюсь? Ах, я несчастная! Какое безрассудство, или какое безумие побуждает меня говорить о чужих ошибках, когда столько есть что сказать о своих собственных? Ах, несчастная я еще раз, потому что не стихи его поработили меня ему, а моя простота, – не его пение смягчило меня, а мое легкомыслие. Великое мое невежество и малая моя осторожность открыли дорогу и расчистили тропинку для дон Клавихо, – это имя упомянутого кабальеро, – и так как я была посредницей, он очутился однажды, и очень много раз в спальне обманутой – не им, а мною – Антономасии под именем законного супруга, потому что, хотя и грешница, я не позволила бы ему приблизиться и к краю подошвы ее башмаков, если бы он не был ее мужем. Нет, нет, это ни за что! Брак должен предшествовать подобного рода делам, которые я устраиваю. На этот раз явилась одна лишь загвоздка – неравенство положения, так как дон Клавихо был простым кабальеро, а инфанта Антономасия – наследницей престола, как я уже говорила. Некоторое время любовная их история, благодаря моей предусмотрительности и ловкости, оставалась скрытой до тех пор, пока всем не показалось, что вскоре все обнаружится, вследствие не знаю какого-то опухания живота Антономасии. Опасаясь этого, мы устроили втроем совещание и решили, что прежде, чем дурная новость появится на свет Божий, дон Клавихо попросит викария обвенчать его с Антономасией, основываясь на письменном обещании инфанты вый-

ти за него замуж, составленном мною так ловко и имеющем такую силу, что даже силы Самсона не могли бы расторгнуть этого обязательства. Все нужные меры были приняты, викарию было предъявлено письменное обязательство; он выслушал исповедь Антономасии; она во всем откровенно призналась, и викарий распорядился отдать ее под надзор очень почтенного придворного алгасиля¹.

Тут Санчо сказал: – Также и в Кандае есть придворные алгасили, поэты и сегидильясы? Узнав об этом, могу поклясться, что везде на свете одно и то же. Но торопитесь, милость ваша, сеньора Трифальди, так как уже поздно, и я умираю от желания узнать конец этой столь длинной истории.

– Я потороплюсь, ответила графиня.



¹ *Alguacil* – одно из многих слов, заимствованных испанцами у арабов, у которых алгасиль означал высокопоставленное должностное лицо. До 14-го столетия христиане обозначали этим словом судей первой инстанции, а с течением времени оно стало означать судебного пристава – и в этом смысле *alguacil* употребляется теперь.



Глава XXXIX

В которой Трифальди продолжает рассказывать свою изумительную и достопамятную историю.

Кажбое слово, сказанное Санчо, доставляло столько же удовольствия герцогине, сколько досады Дон Кихоту, который велел ему молчать, и тогда сеньора Долорида продолжала свой рассказ, говоря:

– Наконец, после долгих допросов и переговоров, видя, что инфанта настаивает на своем решении, не меняя и не отступая от первоначального своего показания, викарий решил дело в пользу дона Клавиho и отдал ему инфанту, как законную его супругу, что причинило королеве, донье Магунсии, матери инфанты Антономасии, такое горе, что мы три дня спустя похоронили ее.

– Она, должно быть, умерла? – спросил Санчо.

– Без сомнения, – ответил Трифальдин, – так как в Кандае не хоронят живых, а только мертвых.

– Не раз уже, сеньор оруженосец, – ответил Санчо, – хоронили человека в обмороке, думая, что он мертвый; и на мой взгляд королеве Магунсии скорее следовало бы упасть в обморок, чем умереть, так как, сохранив жизнь, можно многое исправить и не столь ужасен был проступок Инфанта, чтобы принимать его так близко к сердцу. Если б еще эта сеньора вышла замуж за кого-нибудь из своих пажей или другого придворного служителя, как это делали многие, судя по тому, что я слышал, – беда была бы непоправимой; но что она вышла замуж за такого знатного и умного рыцаря, как нам его описали здесь, право, право, хотя это и была глупость, но не такая большая, как думают; потому что, по словам моего господина, – который здесь присутствует и не даст мне солгать, – подобно тому, как из ученых делают епископов, так из рыцарей – и тем более, если они странствующие ры-

цари – могут быть сделаны короли и императоры.

– Ты прав, Санчо, – подтвердил Дон Кихот, – потому что странствующий рыцарь, если у него окажется хоть на два вершка счастья, имеет полную возможность сделаться самым могущественным государем в мире. Но пусть сеньора Долорида продолжает свой рассказ, так как мне кажется, что ей осталось сообщить горькое в этой до сих пор сладкой истории.

– Действительно осталось горькое, – ответила графиня, – и такое горькое, что по сравнению с ним чертово яблоко покажется сладким, а олеандр¹ – вкусным. Итак, когда королева умерла, а не упала в обморок, – мы ее похоронили; но только что успели ее засыпать землей и сказать ей последнее прощание, как вдруг, – *quis talia fando, temperet a lacrymis?*² – верхом на деревянном коне явился на могиле королевы великан Маламбруно, двоюродный брат Магунсии, который сверх того, что был жесток, был еще и волшебник. Пользуясь своим искусством, он, желая и отомстить за смерть двоюродной сестры своей Магунсии, и наказать как дерзость дону Клавихо, так и легкомыслие Антономасии, тут же на могиле очаровал их, превратив ее в бронзовую обезьяну, а его в ужасного крокодила из неизвестного металла. И между ними стоит колонна, тоже из металла, с надписью на ней на сирийском языке, которая, переведенная на кандайский, а теперь и на испанский язык, заключает в себе следующее изречение: «*Эти двое отважных влюбленных не получают обратно прежнего своего вида, до тех пор, пока доблестный Ламанец не вступит со мной в поединок, так как судьба только*

для одного его великого мужества хранит это столь неслыханное приключение».

Совершив все сказанное, Маламбруно выхватил из ножен свой широкий и необычайно длинный палаш и, схватив меня за волосы, сделал вид, будто собрался перерезать мне горло и одним взмахом отрубить голову. Я страшно испугалась; голос застрял у меня в горле я была донельзя поражена. Но тем не менее я подбодрилась, как могла, и дрожащим, чуть слышным голосом наговорила ему так много и таких вещей, которые заставили его отсрочить исполнение столь строгой кары. Наконец, он распорядился, чтобы привели к нему всех дворцовых дуэний, тех самых, которые теперь перед вами, и после того, как он подчеркнул нам нашу вину, преувеличивая ее, и строго осудил образ мыслей дуэний, их злые хитрости, все их худшие проделки и на плечи всех взвалил мой проступок, он сказал, что не желает предавать нас смертной казни, а присуждает к другому, более длительному страданию, которое окажется для нас нескончаемой гражданской смертью. В ту минуту и в то самое мгновение, когда он произнес эти слова, мы почувствовали, как у нас на лице расширились поры, и в них появилась боль, точно от укола иголками. Тотчас же мы руками прикоснулись к своим лицам, которые оказались такими, какими вы сейчас их увидите.

И немедленно Долорида и остальные дуэни сняли вуали, закрывавшие их лица, обросшие бородами – некоторые рыжими, другие черными, а иные седыми, при виде которых герцог и герцогиня были изумлены, Дон Кихот и Санчо поражены, и все, присутствующие – приведены в удивление.

¹ Tuera (чертово яблоко) – плод *Cuscuta colosynthis*, – adelpha (олеандр) – это *Nerium oleander* – листья которого ядовиты.

² Кто при этом рассказе сможет удержаться от слез? – Вергилий, Энеида II.

Трифальди продолжала:

– Таким образом наказал нас коварный плут Маламбруно, покрыв белизну и нежность наших лиц этой жесткой щетиной. Уж лучше бы небу было угодно, чтобы он своим непомерным палашом отрубил нам прежде головы, чем омрачать блеск нашего лица этим безобразящим их руном; потому что, если хорошо вникнуть в дело, сеньоры мои (то, что я сейчас скажу, мне следовало бы говорить с глазами, обращенными в фонтаны, но мысль о нашем несчастье и моря слез, которые до настоящего времени лились из моих глаз, отняли у них влагу и сделали их сухими, как зрелые

хлебные колосья, и поэтому я и говорю без слез), – итак, скажу я, куда может пойти дуэнья с бородой? Какой отец или какая мать почувствует к ней жалость? Кто окажет ей помощь? И если и тогда даже, когда у нее гладкая кожа и она терзает себе лицо тысячью разных мазей и притираний, едва ей удастся найти кого-нибудь, кому она понравилась бы, – что ей делать, когда она покажет лицо, обращенное в лес? О, дуэньи и подружки мои, мы родились в несчастное мгновение и в недобрый час зачали нас наши родители!

И говоря это, она упала, по всем признакам, казалось, в обморок.





Глава XL

*О вещах, касающихся и относящихся к этому приключению
и к этой достопамятной истории.*

В самом деле и по правде говоря, все те, которым нравятся такие истории, как эта, должны быть признательны Сиду Амету, ее первому автору, за точность, с которой он сообщает мельчайшие ее подробности, не пренебрегая ни одной, как бы она ни была незначительна, чтобы выставить ее в самом определенном свете. Он изображает мысли, раскрывает намерения, отвечает на молчаливые вопросы, разъясняет сомнения, предупреждает возражения и, наконец, удовлетворяет во всех подробностях самую пытлившую любознательность. О, наиславнейший автор! О, счастливый Дон Кихот! О, знаменитая Дульсинея! О, остроумнейший Санчо Панса! Все вместе и каждый в отдельности живите бесконечные века на

удовольствие и всеобщую забаву живущих на свете!

История повествует затем, что, лишь только Санчо Панса увидел Долориду, упавшую в обморок, он сказал:

— Клянусь, как честный человек, и памятью всех моих предков Панса, что никогда я не слышал и не видел и мой господин мне никогда не рассказывал и ему и в голову не приходило подобного приключения, как это. Тысячи дьяволов побрали бы тебя, чтобы хуже не проклинать, волшебник и великан Маламбруно! И ты не мог найти другого рода наказания для этих грешниц, как только прицепить им бороды? Как, разве не лучше и не удобнее ли для них было отрезать им половину носа с середины и до верха, чем награждать их бородой, хотя бы и пришлось им из-за этого гнусавить? Я готов

биться о заклад, что у них нечем платить даже за бритье.

– Это правда, сеньор, – ответила одна из двенадцати дуэний, – у нас нет средств, чтобы давать себя брить, и потому некоторые из нас, как к дешевому способу, прибегают к смоле или пластырям из смолы, которые они прикладывают к лицу и потом, когда мы сразу рванем пластырь, у нас подбородки оказываются гладкими и чистыми, как дно каменной ступки. Хотя в Кандае и есть женщины, которые ходят из дома в дом, чтобы выщипывать волосы, выравнивать брови и готовить и другие снадобья для женщин, мы, дуэнии нашей сеньоры, никогда не соглашались пользоваться их услугами, так как от большинства из них несет сводничеством и даже не первого сорта, а третьестепенным¹. И если Дон Кихот не поможет нам, мы так с бородами и ляжем в могилу.

– Я бы вырвал собственную свою бороду в земле мавров², – сказал Дон Кихот, – если бы не избавил вас от ваших бород.

В это время Трифальди очнулась от обморока и сказала:

– Звук этого обещания, доблестный рыцарь, достиг до слуха моего среди обморока и был причиной того, что я очнулась, и ко мне возвратилось полное сознание. Итак, вновь умоляю вас, знаменитый странствующий и неукротимый сеньор, пусть благосклонное ваше обещание превратится в дело.

– За мной остановки не будет, – ответил Дон Кихот. – Скажите, сеньора, что мне предпринять, так как душа моя вполне готова служить вам.

– Дело в том, – ответила Долорида, – что отсюда до королевства Кандая,

если ехать сухим путем пять тысяч миль, двумя больше или меньше; если же путешествовать по воздуху и по прямой линии, то лишь три тысячи двести двадцать семь миль. Надо еще знать, что Маламбруно мне говорил, будто он, когда судьба приведет нас встретиться с рыцарем, нашим избавителем, пошлет ему коня куда лучше и без недостатков, какие бывают у наемных кляч, так как это будет тот самый деревянный конь, на котором доблестный Пьер увез прекрасную Магалону. Конь этот управляется втулкой, которая у него во лбу, и служит уздой, и он летит по воздуху с такой быстротой, что кажется, будто сами дьяволы несут его. Эта лошадь по древнему преданию, была сооружена мудрым Мерлином. Он одолжил ее своему другу Пьеру, и на ней Пьер совершал большие путешествия, и, как я уже говорила, похитил прекрасную Магалону, посадив ее позади себя на крупе и несясь по воздуху, оставив всех, смотревших на них с земли, стоять, как дураков. Мерлин одолаживал этого коня только тем, кого он любил, или кто лучше платил; а после великого Пьера и до сих пор мы не знаем, чтобы кто-либо садился на него. С того времени и достал его Маламбруно путем своего искусства и держит в своей власти, пользуясь им для путешествий, которые он совершает в разных частях света; сегодня он тут, завтра во Франции, а на следующий день в Потоси. Лучше же всего то, что конь этот не ест, не спит, не изнашивает подков и, не имея крыльев, несется по воздуху такой спокойной иноходью, что сидящий на нем может в руках своих держать чашку, наполненную водой, не пролив из нее ни одной капли, до такой степени ровно и плавно бежит

¹ Тут непередаваемая на русский язык игра слов *tercera* и *prima*. *Терсера* значит «*третьестепенная*», а также и *сводница*; *prima* «*первая*», а также «*главная*».

² Быть без бороды считалось у мавров бесчестьем, позором и признаком самого низкого звания.

конь, почему прекрасная Магалона так охотно и ездил на нем.

На это Санчо сказал:

– Насчет спокойной и ровной езды, нет лучше моего Серого, и хотя он и не несется по воздуху, а только ходит по земле, я не променяю его ни на каких иноходцев в мире.

Все рассмеялись, и Долорида продолжала:

– Этот самый конь, если только Маламбруно действительно желает положить конец нашему несчастью, явится сюда к нам, около получаса спустя после наступления ночи, так как Маламбруно объявил мне, что в знак того, что я действительно нашла рыцаря, которого я искала, будет мне послан конь со всеми удобствами и быстротой.

– А сколько человек могут поместиться на этом коне? – спросил Санчо.

Долорида ответила:

– Двое, – один на седле, другой на крупе лошади; и большей частью эти двое суть рыцарь и его оруженосец, когда нет похищенной девушки.

– Мне хотелось бы знать, сеньора Долорида, – сказал Санчо, – как зовут того коня?

– Зовут его, – ответила Долорида, – не так как лошадь Белерофонте, которую звали *Пегасом*; не так, как лошадь Александра Великого, – которую звали *Буцефалом*, или как лошадь неистового Роланда, имя которой было *Брильядор*, а также не *Байярдом*, как называлась лошадь Реинальдос де Монтальбана, ни *Фронтинном*, как звали лошадь Рухеро, ни *Боотес*, ни *Перитоа*, как, говорят, звали коней солнца. Имя его также и не *Орелиа*, как звали лошадь, на которой несчастный Родриго, последний готский король, сидел верхом в сражении, где он потерял жизнь и королевство.

– Готов биться о заклад, – сказал Санчо, – что, так как они не дали ему ни одного из знаменитых имен столь известных лошадей, точно также они не дали ему и имени лошади моего господина, *Росинанта*, – которое в том смысле, что оно подходящее, превосходит все, только что названные имена.

– Это правда, – ответила бородатая графиня, – но имя коня Маламбруно тоже очень подходящее, так как зовут его Клавиленьо¹ Быстроногий, а это имя соответствует как нельзя лучше и тому, что он сделан из дерева, а также и втулки, которая у него во лбу, и той быстроте, с которой он бежит. Так что относительно имени он может соперничать с знаменитым Росинантом.

– Имя это недурное, – сказал Санчо, – но какими поводями или недоуздом управляют конем?

– Я уже говорила, – ответила Трифальди, – что им управляют втулкой во лбу, и когда рыцарь, сидящий на коне верхом, поворачивает втулку в ту или в другую сторону, этим он заставляет идти коня, куда хочет, по воздуху ли, или же задевая землю и словно подметая ее, или же по среднему пути, которого ищут и которого следует держаться во всех благоразумных поступках.

– Я желал бы видеть этого коня, – сказал Санчо; – но думать, что я сяду на него, на седло ли или позади, все равно, что искать груш на вязе. Вот было бы хорошо, если бы от меня, который едва может держаться на своем Сером и на вьючном седле более мягком, чем шелк, требовали сесть на круп из дерева без всякой подушки или подстилки? Клянусь, я не намерен измолоть себя, чтобы избавить кого-то от бороды. Пусть каждый сбривает ее себе, как умеет, а я и не думаю сопровождать моего господина

¹ Clavileño от clavo – «втулка» и leño – «дерево».

в таком далеком путешествии, тем более, что не должно быть, чтобы нуждались во мне для бритья этих бород, как нуждаются для снятия чар с сеньоры Дульсинеи.

– Нет, нуждаются, друг, – ответила Трифальди, – и настолько, что без вашего присутствия, как мне известно, мы ничего не можем сделать.

– Караул, – крикнул Санчо, – какое дело оруженосцам до приключений их сеньоров? Им, видите ли, достанется вся слава, за то, что они совершат, а нам – весь труд? Клянусь моим телом, если б еще историки говорили: такой-то рыцарь довел до конца такое и такое-то приключение, но с помощью такого-то своего оруженосца, без которого ему невозможно было бы довершить дело; а они пишут себе просто: дон Паралипоменон Три звездочки преодолел приключение с шестью чудовищами, и даже не называют личность оруженосца, который присутствовал при всем этом, точно его и не было на свете! Снова повторю теперь, сеньоры: господин мой может ехать один, и желаю ему всякого успеха; а я останусь здесь в обществе моей сеньоры герцогини, и может случиться, что, когда он вернется, дело сеньоры Дульсинеи подвинется на одну треть и пятую часть, так как я намерен, в свободное и незанятое время, надавать себе такую уйму ударов, что на том месте не расти уже больше волосам.

– Тем не менее, вам придется сопровождать своего господина, добрый Санчо, если это окажется нужным, – сказала герцогиня, – потому что вас попросят об этом достойные люди, так как не оставаться же лицам этих сеньоров столь волосатыми, из-за вашего ненужного страха, что, конечно, было бы постыдной вещью.

– Опять закричу «караул», – возразил Санчо. – Если б еще это дело милосердия предстояло сделать для каких-

нибудь заключенных девушек, или для девочек в сиротских приютах, – человек мог бы подвергнуть себя кой-каким трудам; но столько претерпеть, чтобы избавить дуэний от их бород! Да будь я проклят, – лучше хочу видеть их всех с бородами от самой большой до самой маленькой, от самой жеманной до самой развязной.

– Не очень то вы мило относитесь к дуэням, Санчо друг, – сказала герцогиня, – и близко сходитесь во мнении о них с вашим толедским аптекарем; но, по чести, вы не правы, так как в доме у меня такие дуэньи, которые могли бы служить образцом для дуэний; и тут моя донья Родригес, которая не даст мне сказать что-либо иное.

– Пусть ваша светлость говорит иное, – ответила Родригес, – потому что Бог ведь знает истину всего, и хорошие или дурные, бородатые или гладкие мы дуэньи, также и нас родили наши матери, как и других женщин; и раз Бог бросил нас в мир, Он и знает для чего, а я полагаюсь больше на Его милосердие, чем на чью бы то ни было бороду.

– Теперь довольно, сеньора Родригес, – сказал Дон Кихот; – и, надеюсь, сеньора Трифальди и компания, что небо взглянет сострадательным оком на ваши горести, и Санчо сделает то, что я прикажу ему. Лишь бы только явился Клавиленьо, и предо мной предстал Маламбруно, так как я знаю, что нет бритвы, которая с такой легкостью сбрила бы бороды вашей милости, как меч мой сбреет голову с плеч Маламбруно, потому что Бог терпит злых, но не вечно.

– Ах, – воскликнула тут Долорида, – пусть все звезды небесных сфер смотрят благосклонными очами на ваше величие, доблестный рыцарь, и прольют в вашу душу всякое благополучие и отвагу, чтобы вы были щитом и опорой

оклеветанного и презираемого племени дуэний, ненавидимых аптекарями, поносимых оруженосцами и осмеиваемых пажами! Пусть горе поразит то жалкое создание, которое в цвете лет не пойдёт лучше в монахини, чем в дуэньи! Несчастные мы дуэнии, потому что, хотя бы мы происходили по прямой мужской линии от самого Гектора Троянского, наши сеньоры не перестанут швырять нам в лицо *ты*¹, как будто они думают сделаться от этого королевами. О, великан Маламбруно, хотя и волшеб-

ник, ты свято держишь данное тобою обещание, – присылай же нам скорей несравненного Клавильньо, чтобы положить конец нашей беде, так как, если начнутся жары и бороды наши останутся при нас, горе и гибель нам!

Трифальди проговорила это с таким чувством, что исторгла слезы из глаз всех присутствующих, и даже глаза Санчо наполнились слезами, и он решил в сердце своем следовать за своим господином до самого края света, если от этого зависит снятие руна с почтенных этих лиц.



¹ В оригинале *vos* – «вы»; буквальный перевод сделал бы непонятной жалобу дуэньи, так как *vos* – второе лицо множественного числа и *tu* – второе лицо единственного числа, со времен Сервантеса сильно изменили свое значение. Тогда к низшим обращались с местоимением *vos*. В настоящее время считалось бы обидным говорить кому либо *ты*, за исключением близких друзей или родственников. Во всеобщем употреблении в Испании теперь обращение друг к другу с словом *vuestra merced*, сокращенное в *usted*, к какому бы слою общества не принадлежали говорящие. *Vos* совсем вышло из употребления, – новейшая же форма *vos* в ходу лишь в государственных документах или когда король обращается к кортесам.



Глава XLI

О появлении Клавиленьо и об окончании затянувшегося этого приключения.

Между тем наступила ночь и вместе с нею то, вперед назначенное, время, когда должен был появиться знаменитый конь Клавиленьо – промедление чего уже вызвало нетерпение в Дон Кихоте, которому казалось, что Маламбруно медлит посылать коня, потому ли что он или не тот рыцарь, для которого предназначено это приключение, или же Маламбруно не осмеливается вступить с ним в поединок. Но вот, – вдруг вошли в сад четыре дикаря, окутанные сплошь зеленым плющем, и на плечах они несли большую деревянную лошадь. Поставив ее на землю, один из дикарей сказал:

– Пусть на эту махину сядет тот, кто обладает мужеством.

– Я не сяду на нее, – сказал Санчо, – так как у меня нет мужества, да я и не рыцарь.

Но дикарь продолжал, говоря:

– И пусть оруженосец – если таковой имеется у рыцаря – садится на круп лошади, с полным доверием к доблестному Маламбруно, потому что, кроме меча его ничто иное, и никакое коварство не угрожает ему. Требуется лишь одно, – повернуть втулку, вделанную у коня на шее, и он унесет их по воздуху туда, где их ожидает Маламбруно. Но чтобы высота и великолепие дороги не вызвали у них головокружения, им надо ехать с завязанными глазами до тех пор, пока конь не заржет. Это будет знаком, что они кончили свое путешествие.

Сказав это, дикари оставили Клавиленьо и удалились изящной поступью по той же дороге, по которой пришли. Лишь только Долорида увидела коня, она почти со слезами сказала Дон Кихоту:

– Доблестный рыцарь, обещания Маламбруно исполнены, конь здесь, наши бороды растут и каждая из нас,

каждым волоском их умоляет тебя – обрить и остричь нас, потому что теперь требуется только одно, чтобы ты сел на коня с своим оруженосцем и положил счастливое начало твоему необычайному путешествию.

– Я сделаю это, сеньора графиня Трифальди, от всей души и с величайшей охотой, не забывая о том, чтобы достать седельную подушку и не надевая шпор, чтобы не задержаться, – так велико желание мое видеть вас, сеньора, и всех этих дуэний выбритыми и гладкими.

– А я не сделаю этого, – объявил Санчо, – ни с величайшей, и ни с какой охотой, и никак, а если бритье это не может быть произведено, без того, чтобы я влез на круп, мой господин волен искать себе другого оруженосца, который будет сопровождать его, а эти сеньоры – другой способ сделать гладкими их лица, так как я не колдун, чтобы находить удовольствие развезжать по воздуху. И что скажут мои островитяне, когда узнают, что их губернатор прогуливается вместе с ветром? И вот еще что: так как отсюда в Кандаю три тысячи и несколько миль, то, если лошадь утомится, или великан рассердится, нам понадобится лет шесть, чтобы вернуться сюда, – и тогда не будет ни острова, ни островитян на свете, которые бы меня знали. А так как принято говорить, что опасность – в промедлении, и когда дают тебе телку, беги к ней с веревкой, пусть меня простят бороды этих сеньор; но святому Петру хорошо в Риме, я хочу сказать, что мне хорошо здесь, в этом доме, где мне оказывают столько милостей, и от хозяина которого я жду такого великого блага, как увидеть себя губернатором.

На это герцог ответил:

– Санчо друг, остров, который я вам обещал, не может ни сдвинуться с места, ни убежать; у него такие глубокие кор-

ни, вросшие в недра земли, что никто и тремя взмахами не может ни вырвать, ни сместить их; и так как вы знаете, что и мне известно о том, что нет такого рода высшей должности, за получение которой не приходилось бы платить какой-нибудь подкуп, более или менее значительный, – тот, который я желаю получить за это губернаторство, это, – чтобы вы ехали с вашим господином, Дон Кихотом, увенчать и окончить достопамятное это приключения. И, вернетесь ли вы на Клавиленью так скоро, как это обещает быстрота его бега, или же вас настигнет превратная судьба и вы возвратитесь пешком, как паломник, заходя из дома в дом, из постоянного двора в постоянный двор, вы всегда найдете ваш остров, когда вы вернетесь, там, где вы его оставили и ваших островитян всегда столь же готовыми принять вас своим губернатором, как и раньше, и мое благорасположение к вам останется все тем же. Не сомневайтесь в этой истине, сеньор Санчо, так как это значило бы нанести явное оскорбление моему желанию служить вам.

– Довольно, сеньор, – воскликнул Санчо, – я бедный оруженосец и не могу нести на своих плечах столько учтивостей; пусть господин мой садится; пусть мне завяжут глаза и поручат меня Богу, и скажите мне, могу ли я, – когда мы поднимемся в те высоты, – помолиться нашему Господу или призвать ангелов, чтобы они охраняли меня.

На это Трифальди ответила:

– Санчо, вы спокойно можете поручить себя Богу, или кому пожелаете, потому что Маламбруно, хотя и волшебник, но христианин, и применяет свои волшебства осмотрительно и умно, никого не затрагивая.

– В таком случае, – заявил Санчо, – да поможет мне Бог и святейшая Троица Гаэты!

– Со времени достопамятного приключения с валяльными мельницами, – сказал Дон Кихот, – я никогда не видел Санчо в таком страхе, как теперь; и если бы я был столь суеверным, как иные, его малодушие могло бы пробудить в моем сердце некоторую тревогу. Но идите-ка сюда, Санчо, потому что с разрешения этих сеньоров я желал бы сказать вам несколько слов наедине.

И отойдя с Санчо в сторону, под деревья, он взял его за обе руки и сказал:

– Ты видишь, Санчо брат, какое нас ожидает продолжительное путешествие, и Богу одному известно, когда мы еще вернемся из него, и сложатся ли так наши дела, чтобы мы могли располагать подходящим случаем и досугом. Поэтому я желал бы, чтобы ты теперь пошел к себе в комнату, как будто ты идешь искать что-нибудь нужное для путешествия, и в мгновение ока нанес бы себе, – в счет трех тысяч и трехсот ударов бичем, которые ты обязался нанести себе, – по крайней мере, пятьсот. Таким образом, делу было бы положено начало, а ты знаешь, что начатое дело можно считать на половину оконченным.

– Клянусь Богом, – сказал Санчо, – ваша милость, должно быть, рехнулись; это выходит вроде того, как говорят: ты видишь, я спешу и спрашиваешь меня о девственности¹. Теперь, когда мне предстоит сидеть на голой доске, милость ваша желает, чтобы я истерзал себе седалище. Право, право, милость ваша, нехорошо это с вашей стороны. Едем брить этих дуэний, а когда вернемся, обещаю вашей милости, также верно, как то, что я тут стою, столь неотлагательно выполнить мое обязательство, что милость

ваша останется довольна; больше я ничего не скажу.

Дон Кихот ответил:

– Этим обещанием, добрый Санчо, ты успокоил меня, и я верю, что ты исполнишь его, так как действительно, хотя ты и прост, но ты человек правдивый².

– Я не зеленый, а смуглый, – сказал Санчо, – но, хотя и был бы пегий, все же сдержал бы свое слово.

После того они вернулись, чтобы сесть на Клавиленьо, и, садясь на него, Дон Кихот сказал:

– Завяжите себе глаза, Санчо, и садитесь, так как тот, кто прислал за нами из столь отдаленных стран, не захочет обмануть нас уже потому, что он мало извлек бы для себя чести, обманув тех, кто ему доверился. И даже, если бы все случилось наоборот того, что я думаю, славу подвизавшихся таким подвигом не сможет омрачить никакая злоба.

– Едем, сеньор, – сказал Санчо, – так как бороды и слезы этих дуэний вонзились мне в сердце, и я не съем ни куска, который пошел бы мне впрок, пока не увижу их в первоначальной их гладкости. Садитесь, ваша милость, и завяжите вы первый себе глаза, потому что если я должен ехать на крупе, ясно, что тот, кто в седле, садится первым.

– Это верно, – ответил Дон Кихот, и, вынув из кармана носовой платок, он попросил Долориду хорошенько завязать ему глаза; а после того, как она это сделала, тотчас же он снял повязку, говоря:

– Если мне не изменяет память, я прочел у Вергилия историю Троянского Палладиума; это был деревянный конь, поднесенный греками в дар богине Пал-

¹ En priesa me ves y doncellez me demandas – по-видимому, общепринятое выражение.

² Санчо ошибочно понимает утонченное слово *veridico* (правдивый), сказанное его господином, принимая его за слово *verde* – зеленый, и отвечает – no soy verde, sino moreno – я не зеленый, а смуглый.

ладе, а внутри него притаились вооруженные рыцари, которые впоследствии были причиной полнейшей гибели Трои. Итак, было бы хорошо посмотреть сперва, нет ли чего в животе и у Клавиленьо.

– Это не нужно, – сказала Долорида, – так как я ручаюсь за него, и знаю, что в душе у Маламбруно нет следа ни коварства, ни предательства. Садитесь, милость ваша, сеньор Дон Кихот, на коня без малейшего страха, и пусть вся ответственность падет на мне, если с вами случится что-либо дурное.

Дон Кихот подумал, что дальнейшие возражения по поводу его безопасности могут быть истолкованы в ущерб его мужеству, и потому, не сказав больше ни слова, он сел на Клавиленьо и взялся за втулку, которая легко повертывалась; и так как у него не было стремян, и его ноги висели, он как нельзя более напоминал фигуру фламандского ковра, нарисованного или вытканного, изображающего сцену из римской истории. Неохотно и медлительно уселся на коня и Санчо, и устраиваясь, как можно лучше, на крупной лошади, нашел его в достаточной мере жестким и ни мало не приятным. Поэтому он попросил герцога, если возможно, одолжить ему какуюнибудь подушку или валик, хотя бы с кушетки герцогини, или с постели одного из пажей, так как круп этого коня скорее как бы из мрамора, чем из дерева.

На это Трифальди сказала, что Клавиленьо не выносит никакого рода упряжи или украшения, и единственно, что Санчо может сделать, это сесть по-дамски, потому что тогда ему не будет так жестко. Санчо так и сделал и, попрощавшись, дал завязать себе глаза;

но после того, как их завязали ему, снял повязку, взглянул нежно и со слезами на всех, бывших в саду, просил их поддержать его в этой его беде несколькими «paternostres» и «avemarias», чтобы Бог послал и им кого-нибудь, кто помолился бы за них, если бы они попали в подобное же тяжкое положение.

На это Дон Кихот сказал:

– На виселице ты, что ли, вор, или настал последний предсмертные час твой, что ты прибегаешь к такого рода просьбам? Разве ты, бездушное и трусливое создание, не занимаешь то самое место, которое занимала прекрасная Магалола, и с которого она сошла не в могилу, а взошла на французский престол, если истории не лгут? А я, который нахожусь рядом с тобой, не могу я разве приравнять себя к доблестному Пьеру, попиравшему то самое место, которое я теперь попираю? Завязывай, завязывай себе глаза, трусливое животное, и не говори ни слова об овладевшем тобой страхе, по крайней мере, в моем присутствии.

– Пусть завяжут мне глаза, – ответил Санчо, – и так как не желают, чтобы я поручил себя Богу, ни чтобы другие это сделали за меня, что же удивительного в том, если я боюсь, нет ли здесь какого-нибудь легиона дьяволов, которые унесут нас с собой в Перальвилью¹?

Обоим им завязали глаза, и Дон Кихот, чувствуя, что все обстоит так, как следует, дотронулся до втулки. Едва он прикоснулся к ней пальцами, как все дуэньи и все присутствовавшие в саду возвысили голос, говоря:

– Да хранит тебя Бог, доблестный рыцарь, а также и тебя, храбрый оруженосец! Вот, вот, вы уже несетесь по воз-

¹ *Перальвилью* было село близ Сиудад Реал, служившее издревле центром отправления правосудия святой Эрмандады и местом, где преступники подвергались смертной казни: их убивали, выпуская в них стрелы. Вот почему Перальвилью получило иносказательное значение и сделалось синонимом места ужасов – ада.

духу, рассекая его быстрее стрелы! Вот вы уже начинаете изумлять и поражать всех, кто смотрит на вас отсюда с земли! Держись крепче, мужественный Санчо, ты качаешься; смотри, не упади, падение твое было бы хуже падения отважного юноши, пытавшегося править колесницей своего отца – солнца.

Санчо слышал эти голоса и, прижимаясь к господину своему и обхватив его руками, сказал:

– Сеньор, как они говорят, что мы поднялись так высоко, если их голоса доходят до нас, и кажется, будто они говорят тут, около нас?

– Не бери этого во внимание, Санчо, потому что так как все эти происшествия и полеты совершаются вне обычного течения вещей, ты, на расстоянии тысячи миль, увидишь и услышишь то, что пожелаешь; и не прижимайся ко мне так крепко, а то еще столкнешь меня. Право, не знаю, с чего ты смущаешься и пугаешься, потому что я готов клясться, что во всю свою жизнь не ездил на коне с более спокойной поступью. По-видимому, мы как-будто не двигаемся с места. Изгони всякий страх, друг, потому что все идет, как должно идти, и ветер дует у нас за кормой.

– Это верно, – сказал Санчо, – потому что с одного бока я чувствую такой свежий ветер, точно на меня дуют из тысячи мехов.

Оно на самом деле так и было, потому что на него дули из нескольких больших мехов. Приключение это герцог, герцогиня и мажордом придумали так хорошо, что ничего не было упущено ими для доведения его до совершенства.

Дон Кихот, тоже почувствовав дуновение воздуха, сказал:

– Вне всякого сомнения, Санчо, мы, должно быть, уже достигли второй воздушной сферы, где зарождаются град и снег. Громы, молнии и перуны зарождаются в третьей сфере, и если мы таким образом будем подниматься все выше, скоро мы очутимся в области огня¹, – а я не знаю, как мне повернуть эту втулку, чтобы нам не подняться туда, где мы можем сгореть.

В это время пучками пакли, которые легко было и зажечь и потушить, привязанными к трости, им издали подогревали лица, и Санчо, почувствовав жар, сказал:

– Пусть убьют меня, если мы уже не на том месте, где огонь, или очень близко от него, потому что большая часть моей бороды у меня обгорела; и я бы хотел, сеньор, снять повязку с глаз и посмотреть, где мы.

– Не делай этого, – ответил Дон Кихот, – и вспомни истинное происшествие с лисенсиатом Торральва², которого дьяволы несли по воздуху верхом на палке с завязанными глазами. Через двенадцать часов он долетел до Рима и сошел на Торре де-Нона – это одна из улиц города – и видел там всю сумятицу и нападение на Бурбона и смерть его. А на другой день утром он уже был в Мадриде, где и дал отчет обо всем, виденном им. Он сказал также, что когда он таким образом летел по воздуху, дьявол приказал ему открыть глаза, и он их открыл и, как ему показалось, увидел себя так близко от луны, что мог бы дотронуться до нее рукой; но не осмелился взглянуть вниз на землю,

¹ Дон Кихот говорит здесь соответственно системе Птолемея, которая была тогда всеми принята в Испании.

² Ученый доктор Торральва, практиковавший в Риме и занимавшийся также хиромантией и т. д. был по обвинению в колдовстве арестован инквизицией в 1528 г. и подвергнут пытке, в которой признался, будто он колдун, и был казнен в 1531 г.

опасаясь, что у него закружится голова. Поэтому нам незачем, Санчо, развязывать себе глаза, так как тот, кто взял нас на свое попечение, позаботится о нас, и, быть может, мы толчками поднимаемся в высоту, чтобы оттуда сразу спуститься в королевство Кандая, как это делает сероголовый сокол или кречет, спускаясь на цаплю, чтобы схватить ее, как бы высоко он ни поднялся. И хотя нам и кажется, что нет еще получаса, как мы оставили сад, но поверь мне, что, должно быть, проехали мы уже немалый путь.

– Не знаю об этом ничего, – ответил Санчо Панса, – могу сказать только одно, что, если сеньора Магалланес или Магалона довольствовалась этим крупом, тело ее, должно быть, не было очень нежным.

Весь этот разговор двух храбрецов слышали герцог, герцогиня и бывшие с ними в саду, и он доставил им необычайное удовольствие; и желая завершить это неслыханное и столь искусно придуманное приключение, они поднесли к хвосту Клавиленью зажженный пучок пакли, а так как вся лошадь была напичкана ракетами и петардами, она с необычайным треском взлетела на воздух, сбросив наполовину опаленных Дон Кихота и Санчо. К тому времени уже из сада исчез весь бородатый отряд дуэний, а также Трифальди, те же, которые остались в саду, лежали распростертые на земле, будто в обмороке. Дон Кихот и Санчо поднялись в плохом состоянии и, осмотревшись кругом, были изумлены, видя себя в том же саду, откуда они поехали, и увидав столько людей, лежащих на земле.

Удивление их еще усилилось, когда они в одном из углов сада заметили воткнутое в землю длинное копьё, а на нем, на двух зеленых шелковых шнурах, висел белый, гладкий пергамент, на котором большими золотыми буквами было написано следующее:

«Знаменитый рыцарь Дон Кихот Ламанчский довел до конца и завершил приключение с графиней Трифальди, называемой иначе дуэньей Долоридой и компанией, уже одним тем, что предпринял его. Маламбруно объявляет, что он доволен и удовлетворен во всем, чего желал; и подбородки дуэний уже чисты и гладки; королевская чета – дон Клавихо и Антономасия – возвращены в первобытное свое состояние; и когда бичевание оруженосца будет выполнено, белая горлица увидит себя свободной от моровых кречетов, преследующих ее, и поспешит в объятья дорогого, воркующего своего голубка; потому что так постановил мудрый Мерлин, архиволишебник всех волшебников.»

Когда Дон Кихот прочел надпись на пергаменте, он ясно понял, что здесь идет речь о снятии чар с Дульсиной, и, вознося глубочайшую благодарность небу за то, что с столь малой опасностью он совершил такой великий подвиг, вернув лицам почтенных дуэний, – которых уже не было в саду, – прежнюю, гладкую их кожу, он подошел к герцогу и к герцогине, которые еще лежали на земле и не пришли в себя. Взяв за руку герцога, он сказал:

– Смелей, добрый сеньор! Побольше мужества, потому что уже все приключение кончилось без ущерба кому бы то ни было, как это ясно видно из надписи, висящей там, на копьё.

Герцог, мало-помалу, и как человек, просыпающийся от тяжелого сна, стал приходить в себя, и подобным же образом пришла в себя и герцогиня, и все лежавшие на земле в саду, с такими признаками удивления и испуга, что почти можно было бы подумать, что с ними в действительности приключилось то, что они так хорошо умели изобразить в шутку. Герцог прочел надпись на перга-

менте с наполовину закрытыми глазами и затем, с открытыми объятиями, подошел к Дон Кихоту и обнял его, сказав, что он лучший из рыцарей, живших в каком бы то ни было веке. Санчо искал Долориду, чтобы посмотреть какое у нее лицо без бороды, и так ли она красива без нее, как это обещала молодецкая ее наружность. Но ему сказали, что едва только Клавиленьо, охваченный пламенем, спустился с высоты на землю, весь отряд дуэний с Трифальди во главе исчез, и они были все чисто выбритые и без щетин. Герцогиня спросила Санчо, что он пережил во время продолжительного своего путешествия. На это Санчо, ответил:

– Я чувствовал, сеньора, что мы, как говорил мой господин, летим в области огня и захотел немного открыть глаза. Но сеньор мой, у которого я попросил разрешения это сделать, не позволил мне, а я, движимый присущим мне любопытством и желанием знать то, что мне не позволяют и запрещают, тихонько, так что никто этого не заметил, отодвинул чуточку около носа платок, которым были завязаны мои глаза, и через это отверстие посмотрел на землю. Мне показалось, что вся она не больше горчичного зерна, а люди, ходившие по ней, не многим больше ореха, – из чего можно вывести заключение, как высоко, должно быть, мы тогда поднялись

На это герцогиня сказала:

– Санчо друг, подумайте о том, что вы говорите. Верно вы видели не землю, а только людей, которые по ней ходили. Ясно, что если земля показалась вам с горчичное зерно, а каждый человек величиной с орех, то один человек должен был покрыть собой весь земной шар.

– Это верно, – ответил Санчо, – но тем не менее, я смотрел на землю из щелки и видел ее всю.

– Заметьте, Санчо, – сказала герцогиня, – что из щелки нельзя видеть целиком то, на что смотришь.

– Я не знаю ничего об этих смотрах, – возразил Санчо, – я знаю только, что было бы хорошо, если бы ваша сеньория поняла, раз что мы летели по воздуху силой волшебства, силой того же волшебства я мог видеть всю землю и всех людей, откуда бы не смотрел на них. И если вы этому не верите, ваша милость точно также не поверит и тому, что, отодвинув повязку с глаз до бровей, я так близко увидел подле себя небо, что не оставалось и полутора пядей между ним и мной; и могу всячески поклясться, сеньора моя, что небо необъятно велико; и случилось, что мы летели мимо места, где находятся семеро козочек¹; и клянусь Богом и душой моей, так как в детстве у себя в деревне я был козопасом, лишь только я увидел этих козочек, меня разобрало такое желание позабавиться с ними чуточку, что если б я этого не сделал, кажется, я тут же и умер бы. И вот, не говоря никому, а также и моему господину ни слова, я тихонько и на цыпочках, слез с Клавиленьо и забавлялся с козочками, – которые что твоя гвоздика, – почти три четверти часа, а Клавиленьо не двинулся с места ни на шаг.

– Но пока добрый Санчо забавлялся с козами, – спросил герцог, – чем же был занят сеньор Дон Кихот?

На это Дон Кихот ответил:

– Так как все происшествия и приключения совершаются вне обыкновенного течения вещей, неудивительно, что Санчо рассказывает то, что он рассказывает. Про себя могу сказать, что не сдвигал повязки с глаз ни вниз, ни вверх, и не видел ни неба, ни земли, ни моря, ни песков. Я действительно чувствовал, что пронесся через область воздуха и коснулся сферы огня, но чтобы мы пронеслись

¹ Речь идет о созвездии Плеяд, состоящем из семи звезд.

дальше этой сферы, не могу этому поверить, потому что, так как область огня расположена между атмосферой луны и самой отдаленной областью воздуха, мы не могли, не сгорев, добраться до неба, где находятся семеро козочек, о которых говорит Санчо; и так как мы не сгорели, то, или Санчо лжет, или это ему приснилось.

– Я и не лгу, и мне это не приснилось, – ответил Санчо; – если же вы мне не верите, спросите у меня приметы тех коз, и тогда видно будет, говорю ли я правду, или нет.

– Так опишите же нам эти приметы, Санчо, – сказал герцог.

– Две козочки, – ответил Санчо, – были голубые, две – красные, две – зеленые, и одна – пегая.

– Это новая порода коз, – сказал герцог, – и в этой нашей области земной не в моде такие цвета, я хотел сказать, козы таких цветов.

– Дело достаточно ясное, – сказал Санчо; – должна же быть разница между небесными и земными козами.

– Скажите мне, Санчо, – спросил герцог, – видели ли вы там среди этих коз какого-нибудь козла?

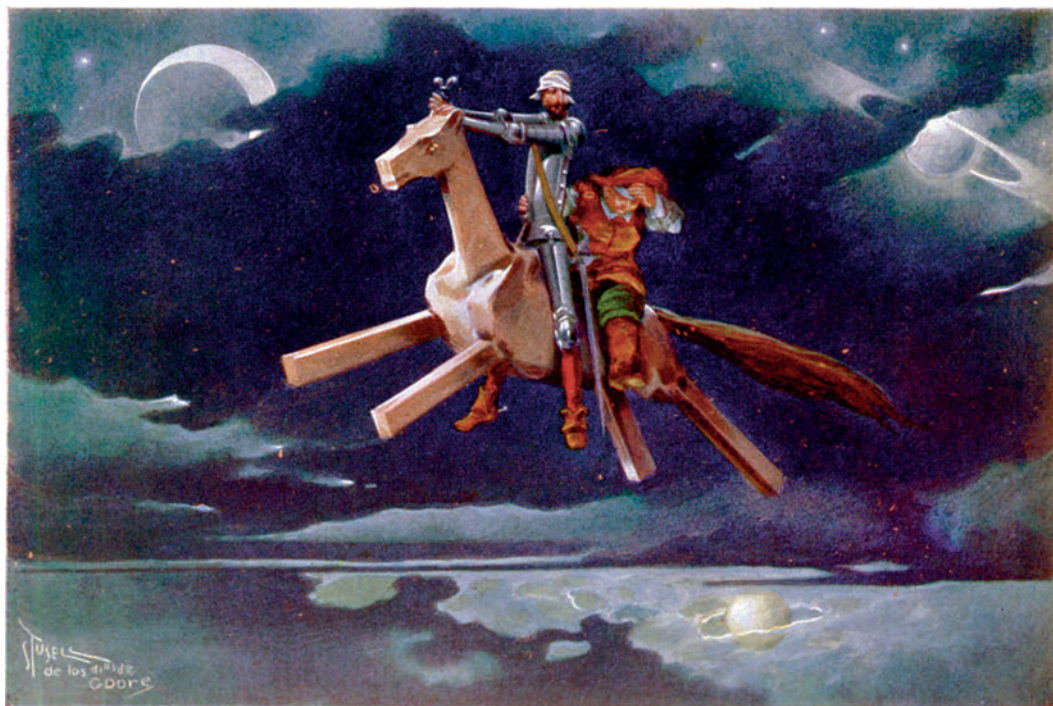
– Нет, сеньор, – ответил Санчо. – Но я слышал, что ни один козел¹ никогда не прошел через рога луны.

Они не пожелали больше расспрашивать Санчо о его путешествии, так как им казалось, что он непрочь прогуляться по всем небесам и сообщить им сведения о том, что происходит там, не двинувшись ни на шаг из сада. Словом, таков был конец приключения дуэньи Долориды, которое дало повод герцогу и герцогине посмеяться не только в то время, но и на всю их жизнь, а Санчо оно дало бы повод к рассказам на целые века, если б он их прожил. Дон Кихот, подойдя к Санчо, сказал ему на ухо:

– Санчо, так как вы желаете, чтобы поверили тому, что вы видели на небе, я хотел бы, чтобы вы поверили и тому, что я видел в пещере Монтесиноса, – больше ничего не скажу.



¹ Игра слов: cabrón – «козел» и «рогоносец».



Глава XLII

О советах, данных Дон Кихотом Санчо Пансе перед тем, как он уехал губернаторствовать на остров, и о других весьма важных вещах.

Герцог и герцогиня были так довольны веселым и счастливым окончанием приключения с дуэньей Долоридой, что решили продолжать свои шутки, видя какой у них подходящий субъект под руками, принимавший все всерьез; итак, объяснив своим слугам и вассалам план свой и снабдив их наказом, как им держаться с Санчо во время его губернаторства на обещанном острове, в следующий же день после путешествия на Клавиленьо, герцог сказал Санчо, чтобы он собрался и приготовился ехать губернаторствовать, так как его островитяне ждут его, как майского дождя. Санчо поклонился ему и сказал:

— С тех пор, как я спустился с неба, и с тех пор, как я с его высокой верши-

ны взглянул на землю и увидел ее такой маленькой, мое желание, прежде столь сильное, быть губернатором, несколько охладело, так как что за великое дело повелевать на горчичном зернышке, и что за почет или могущество властвовать над полдюжиной людей, величиной с лесной орех, — потому что мне показалось, будто их не больше этого на всей земле. Если бы вашей сеньории было угодно дать мне самую маленькую частичку неба, хотя бы не более полмили, я охотнее взял бы ее, чем самый большой остров в мире.

— Видите ли, друг Санчо, — сказал герцог, — я никому не могу дать частичку неба, хотя бы величиной с ноготь, так как одному Богу предоставлена раздача этих милостей и даров. То, что я могу вам дать, я вам даю, то есть остров чудесный

и прелестный, круглый и ровный и необычайно плодородный и доходный, где, если вы сумеете взяться за дело, вы сможете земными сокровищами приобрести себе небесные.

– Ну, хорошо, – ответил Санчо, – пусть так, дайте мне остров, а я постараюсь быть таким губернатором, чтобы вопреки негодям попасть на небо; и не из алчности хотел бы я покинуть мои бедные хижинки и подняться в высокие хоромы, а от желания испытать, какой такой вкус быть губернатором.

– Если вы хоть раз испытаете это, Санчо, – сказал герцог, – вы съедите себе все руки, стремясь к губернаторству, такая сладчайшая вещь повелевать и видеть, как вам подчиняются. Я уверен, что когда ваш господин сделается императором, – а он несомненно сделается им, судя по тому, как идут его дела, – его нельзя будет оторвать от власти и в глубине души он будет жалеть и печалиться о времени, которое он упустил, чтобы сделаться императором.

– Сеньор, – ответил Санчо, – я воображаю себе, что вещь хорошая повелевать, хотя бы над стадом рогатого скота.

– Пусть меня похоронят с вами, Санчо, все-то вы знаете, – сказал герцог, – и я надеюсь, что вы окажетесь таким губернатором, как этого можно ждать от вашего благоразумия: и оставим это теперь. Примите к сведению, что завтрашний день вам предстоит отправиться на губернаторство, а сегодня вечером снабдят вас приличной губернатору одеждой, которую вы возьмете с собой, и также всеми необходимыми для вашего отъезда вещами.

– Пусть одевают меня, как угодно, – сказал Санчо, – но как бы меня ни одели, все же я останусь Санчо Пансой.

– Это правда, – ответил герцог, – но одежда должна соответствовать занимаемому положению или должности, так как было бы нехорошо, если бы ученый юрист одевался, как солдат, или солдат, как священник. Вы, Санчо, будете одеты наполовину ученым, наполовину военным, потому что на острове, который я вам даю, также необходимо оружие, как и наука, и наука, как и оружие.

– Наука хромает у меня, – сказал Санчо, – потому что я даже не знаю азбуки, но довольно и того, что у меня в памяти «Христос»¹, чтобы быть хорошим губернатором. Что касается оружия, я буду держать в руках то, которое мне дадут, до тех пор, пока не свалюсь; и да поможет мне Бог.

– С такой хорошей памятью, – сказал герцог, – Санчо не может ни в чем ошибиться.

Тут подошел Дон Кихот и, узнав, что случилось и как спешно предстоит Санчо уехать на губернаторство, он с разрешения герцога взял Санчо за руку и отправился с ним в свою комнату с намерением посоветовать ему, как вести себя в его должности. Войдя в комнату, он запер за собою дверь и, почти насильно заставив Санчо сесть рядом с собой, спокойным голосом сказал ему:

– Возношу бесконечную благодарность небу, Санчо друг, за то, что раньше и прежде, чем я встретил удачу, счастье встретило и приветствовало тебя. Я, который надеялся наградить тебя за твои услуги, когда судьба мне улыбнется, вижу, что сделал лишь первый шаг по дороге к благоденствию; ты же, до времени и против законов обычного расчета, видишь свои желания увенчанными. Другие подкупают, надоедают, хлопочут, встают рано, подают прошения,

¹ В старинных испанских букварях впереди азбуки было изображение большого креста, который дети называли «Христом».

настаивают и все же не получают того, чего они домогались; а явится иной и, не зная, как и почему, получает ту должность и назначение, которые столь многие оспаривали. Здесь кстати и уместно изречение: получение должности зависит от удачи или неудачи. Ты, которого я, вне всякого сомнения, считаю тупицей, не вставая спозаранку, не проведя ночей без сна, не дав себе никакого труда, лишь потому только, что тебя коснулось дыхание странствующего рыцарства, без всяких хлопот, видишь себя, как ни в чем не бывало, губернатором острова. Все это, говорю тебе, о, Санчо, чтобы ты не приписывал своим заслугам полученную тобою милость, и воздал бы благодарение небу, которое устроило все столь благоприятно для тебя, а затем воздай благодарность и могуществу, заключающемуся в профессии странствующего рыцарства.

С сердцем, расположенным верить тому, что я сказал тебе, внимай, о, сын, этому твоему *Катону*¹, который желает дать тебе советы и быть твоей путеводной звездой и вожаком, чтобы провести тебя и направить в безопасную гавань того бурного моря, в котором ты собираешься плавать, потому что должности и высокие назначения не что иное, как губочайшая пучина всевозможных тревог.

Во-первых, о, сын, ты должен бояться Бога, потому что в страхе Божьем коренится мудрость, а, будучи мудрым, ты не можешь ни в чем ошибаться.

Во-вторых, тебе следует обратить взоры свои на то, что ты такое, стараясь познать себя самого, а это самое трудное знание, которое можно вообразить себе. Познав самого себя, ты не будешь

надуваться как лягушка, которая хотела сравняться с волком, так как, если ты это сделаешь, воспоминание о том, что ты пас свиней у себя в селе, явится как бы безобразными павлиньими ногами при распутившемся хвосте твоего безумия².

– Это правда, – сказал Санчо, – но я пас свиней, когда еще был маленьким мальчуганом; потом, когда стал старше, я пас гусей, а не свиней. Но мне кажется, что это не относится к делу; ведь не все, которые управляют государствами, происходят из королевского рода.

– Это верно, – ответил Дон Кихот, – и поэтому те, что происходят не из знатного рода, должны важность занимаемой ими должности соединять с мягкой кротостью, которая, направляемая мудростью, спасла бы их от злобной клеветы, от которой не спасает никакое положение.

Гордись, Санчо, смиренностью своего рода и не считай унижительным говорить, что ты производишь из крестьян; так как видя, что ты не смущаешься, никто не попытается смущать тебя; и цени выше то, что ты добродетелен и беден, чем если бы ты был знатный грешник. Очень многие из числа лиц, родившихся в низком сословии, достигли до высшей должности, – папской и императорской, – и я бы мог привести тебе столько примеров этой истины, что тебе надоело бы слушать меня.

Помни, Санчо, если ты избереешь добродетель средством и будешь гордиться лишь совершением добродетельных поступков, тебе незачем будет завидовать тем, у кого предки – вельможи и принцы, потому что кровь наследуется, а добродетель приобретается, и добродетель сама

¹ Катон, – автор «*Disticha*» – трактата о нравственности, имел громадный авторитет в те времена в Испании и считался синонимом мудрого советчика.

² Говорят, будто тщеславие распускающего свой хвост павлина, укрощается всякий раз, как только он взглянет на уродливые свои ноги.

по себе имеет такую ценность, какой кровь не имеет.

Раз это так, – как оно на самом деле и есть, – если случайно, когда ты будешь на своем острове, кто-нибудь из твоих родственников посетит тебя, не отрекайся от него и не оскорбляй его; напротив, приветствуй, обласкай и угости, потому что этим ты сделаешь угодное небу, которое желает, чтобы никто не презирал созданное им, и ты исполнишь также и то, что составляет твою обязанность в отношении к законам природы.

Если ты возьмешь с собой свою жену (так как нехорошо, чтобы те, которые стоят во главе правления, оставались бы долго без собственной жены), учи ее, наставляй и поднижай от природной ее грубости: потому что все, что приобретает умный губернатор, теряет и губит вульгарная и глупая женщина.

Если б ты овдовел (вещь, которая может случиться) и выбрал бы себе подругу соответственно занимаемой тобою должности, – не выбирай такую, которая служила бы приманкой и удочкой – *капюшоном*¹, в который кладут подношения, так как, истинно говорю тебе, за все, что возьмет жена судьи, мужу ее придется дать ответ в день страшного суда, и после смерти он заплатит вчетверо за все, на что не обращал внимания при жизни. Не руководствуйся никогда законом произвола², который в таком ходу у невежд, воображающих, что они очень проникательны.

Пусть слезы бедняка находят в тебе больше сострадания, но не более справедливости, чем показания богача. Старайся раскрыть истину, как среди обе-

щаний и подарков богатых, так и среди рыданий и докучливых просьб бедняка.

Там, где может и должно найти себе место беспристрастие, не обрушивай всю суровость закона на преступника, потому что слава строгого судьи не выше славы милостивого судьи.

Если б тебе случилось склонить жезл правосудия, сделай это не под давлением подарков, а под давлением сострадания.

Когда тебе случится решать тяжбу какого-нибудь врага, отврати мысли свои от твоей обиды и сосредоточь их на одной лишь справедливости.

Пусть не ослепляет тебя личная страсть в чужом деле, потому что ошибки, в которые ты при этом впадешь, чаще всего окажутся непоправимыми, а если их можно будет поправить, то лишь только насчет доверия к тебе и насчет твоего имущества.

Если какая-нибудь красивая женщина пришла бы искать у тебя правосудия, отврати взоры свои от ее слез, слух твой от ее вздохов и рассмотри на досуге суть того, о чем она просит, если не желаешь, чтобы твой разум потонул в ее слезах, и честь твоя в ее вздохах.

Того, кого тебе предстоит наказать на деле, не оскорбляй на словах, так как для несчастного достаточно мук наказания без добавления жестоких речей.

На обвиняемого, которого тебе придется судить, смотри как на бедного человека, подверженного всем слабостям нашей развращенной природы и, насколько тебе можно будет, не обижая противной стороны, окажи ему сострадание и милосердие, потому что, хотя все свойства, приписываемые Богу, равны,

¹ Намек на ходячее в Испании выражение: *no quiero, no quiero, mas echadmelo en la capilla* – «не желаю, не желаю, а положите мне в капюшон». Судья и должностные лица носили в то время мантии с капюшонами.

² *La ley del ensaје* – неписанный закон, личное, произвольное мнение и толкование, которое сам судья дает закону.

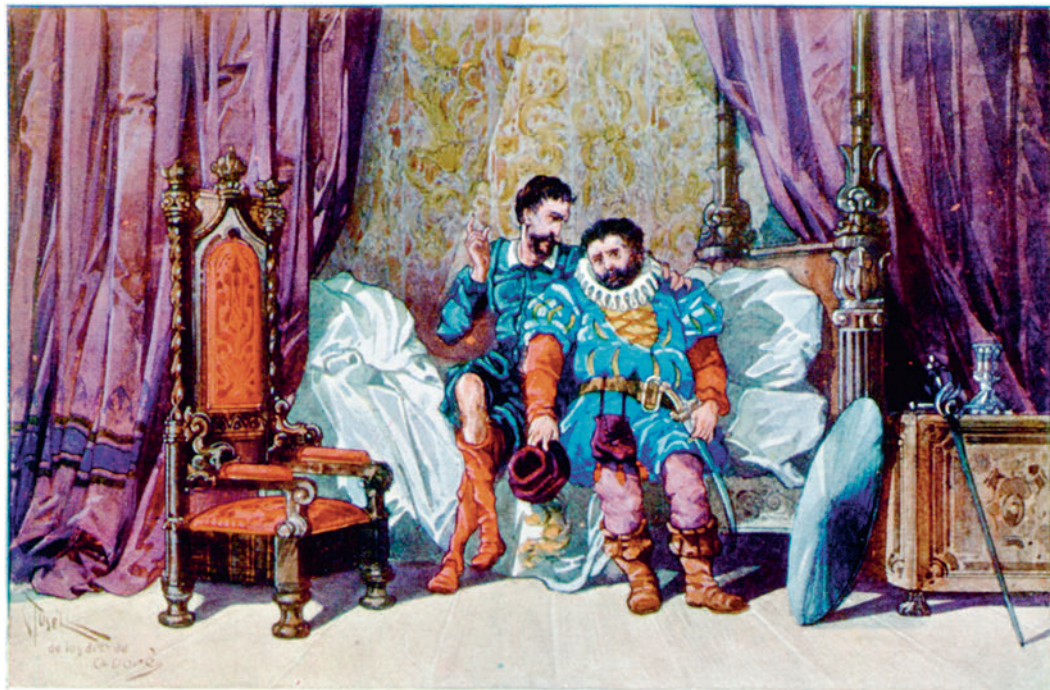
все же в наших глазах милосердие блещет и сверкает ярче справедливости.

Если ты будешь следовать этим правилам и наставлениям, Санчо, дни твои будут долги, слава твоя будет вечной, награда – велика, счастье – неиссякаемо. Ты женишь детей своих по своему желанию; у них и у внуков твоих не будет недостатка в почестях и титулах; ты бу-

дешь жить в мире и среди благоволения людей, и в последних жизненных шагах твоих тебя настигнет смерть в глубокой, покойной старости и милые, нежные ручки праправнуков закроют тебе глаза.

То, что я до сих пор говорил тебе – наставления, как украсить душу твою; выслушай теперь наставления, которые послужат к украшению твоего тела.





Глава XLIII

Дальнейшие советы, данные Дон Кихотом Санчо Пансе.

Кто, услышав предыдущие советы, данные Дон Кихотом, не принял бы его за человека очень умного и еще более благомыслящего? Но как уже не раз было говорено, в течение великой этой истории, наш рыцарь сбивался с пути лишь тогда только, когда дело касалось рыцарства; в остальных же своих разговорах он проявлял ясное и свободное от предрассудков разумение, так что на каждом шагу его поступки вызывали недоверие к его суждениям, а суждения – к поступкам. Что же касается второго от-

дела советов, данных им Санчо Пансе, тут он проявил большую склонность к остроумию и довел и свою рассудительность, и свое безумие до высокой точки. Санчо слушал его с величайшим вниманием, стараясь сохранить в памяти его советы, чтобы следовать им, так как с помощью их он надеялся благополучно разрешиться от бремени своего губернаторства. Итак, Дон Кихот продолжал, говоря:

– Что касается того, как ты должен управлять собой и своим домом, Санчо, первое, что я возлагаю на тебя, это быть чистоплотным; и чтобы ты стриг себе

ногти, не давая им чрезмерно отрастать, как это делают некоторые, воображающие в своем невежестве, что длинные ногти придают их рукам красоту, как будто этот отросток и излишек, который они не обстригают, может быть назван ногтями, в то время как это скорее когти пустельги – ловца ящериц¹; свинское и чудовищное злоупотребление.

Не ходи, Санчо, распоясавшись и небрежно, потому что неряшливость в одежде служит признаком вялости духа, если только эта неряшливость и небрежность не притворство, как думали о Юлии Цезаре².

Рассчитай хорошенько, что тебе может дать твоя должность; и если твои доходы позволяют тебе одевать своих слуг в ливреи, сшей им приличную и удобную, а не пышную и яркую ливрею, и распредели ее между твоими слугами и бедными. Я хочу сказать: если тебе придется одеть шесть пажей, одень трех, и еще трех бедняков; и так у тебя будут пажи на небе и на земле до этого нового способа одевать своих слуг в ливреи еще не додумались тщеславные люди.

Не ешь ни чеснока, ни лука³, чтобы запах не обнаружил твоей грубости. Ходи не торопясь, говори спокойно, но не так, чтобы казалось, будто ты сам себя слушаешь, потому что всякого рода аффектация – вещь нехорошая.

За обедом ешь немного, за ужином еще меньше, так как в мастерской желудка вырабатывается здоровье всего тела.

Будь умерен в напитках, помня, что с излишком выпитое вино не хранит тайн и не исполняет обещаний.

Старайся, Санчо, не жевать сразу на обе щеки и не *эрутар*⁴ в присутствии кого бы то ни было.

– Слово эрутар я не понимаю, – сказал Санчо.

А Дон Кихот ответил:

– Эрутар, Санчо, значит рыгать, а рыгать одно из самых гадких слов на испанском языке, хотя оно и очень выразительно. Поэтому утонченные люди прибегли к латинскому языку и вместо *рыгать* говорят *эрутар*, вместо *отрыжка* говорят *эрутасия*. И если б кто и не понимал этих выражений, нет нужды, потому что частое их повторение введет их со временем в общее употребление, так что они сделаются легко понятными; и это-то и называют обогащать язык, над которым властвует толпа и обычай.

– По правде говоря, сеньор, – сказал Санчо, – из ваших советов и поучений я намерен сохранить в моей памяти совет не рыгать, потому что я делаю это очень часто.

– Эрутар, Санчо, а не рыгать, – правил его Дон Кихот.

– Отныне впредь буду говорить эрутар, – ответил Санчо, – и по чести я не забуду этого.

– А также, тебе, Санчо, не следует вплетать в свои разговоры бесчисленное множество пословиц, как ты это

¹ Cernícalo lagartijero – самый низкий род ястреба, добыча которого ящерицы, мыши и т. д.

² Говорят, что Цезарь в молодости и во время выборов являлся небрежно одетый с тем будто бы, чтобы заручиться расположением толпы.

³ Во всей Испании, особенно на юге, много едят и до такой степени любят чеснок и лук, что испанец и чеснок сделались почти неразрывными представлениями.

⁴ *Erutar* – слово, заимствованное Сервантесом из латинского языка и впервые употребленное им здесь. В «Дон Кихоте» Сервантес ввел несколько таких слов, вошедших потом во всеобщее употребление.

обыкновенно делаешь, потому что хотя пословицы – краткие, нравоучительные изречения, но ты часто притягиваешь их так за волосы, что они кажутся не столько изречениями, сколько бессмыслицей.

– Пусть Бог поможет этому, – сказал Санчо, – потому что я знаю больше пословиц, чем книга; и их теснится у меня столько во рту, когда я говорю, что они друг с другом дерутся, чтобы вместе выскочить оттуда; а язык выбрасывает первые попавшиеся ему, хотя бы они и не были кстати. Но я постараюсь отныне впредь говорить только такие, которые приличествуют важности моей должности, так как где обилие в доме заведется, быстро ужин подается; что сделано, того не воротишь; в безопасности тот, кто звонит на колокольне и для того, чтобы дать и иметь, надо разум иметь.

– Так, Санчо, – сказал Дон Кихот, – сшивай на живую нитку, вдевай, вставляй, нанизывай поговорку за поговоркой; никто тебе не мешает: мать меня наказывает, а я стегаю волчок свой. Я говорю тебе, чтобы ты удерживался от пословиц, а в одну минуту ты здесь отслужил из них целое молебствие, также подходящее к тому, о чем мы говорили, как и холмы Убеда¹. Слушай, Санчо, я не говорю, что пословица, когда она приведена кстати, – вещь плохая, но нанизывать и нагромождать их вкривь и вкось делает речь слабой и пошлой.

Когда едешь верхом, не откидывая тела на арчак седла и не держи ног, словно они деревянные, вытянутыми далеко от живота лошади, но и не сиди так вяло,

чтобы казалось, будто ты едешь на своем Сером; так как верховая езда из одних делает рыцарей, а из других конюхов.

Пусть сон твой будет умерен, потому что тот, кто не встает с солнцем, не наслаждается днем; и заметь себе, о, Санчо, что прилежание есть источник удачи, а противоположность его – лень – никогда еще не достигала цели, поставленной себе благим намерением.

Последний совет, который я хочу тебе дать теперь, хотя он и не относится к украшению тела, но я бы желал, чтобы ты сохранил его в памяти, так как думаю, что он окажется не менее полезным тебе, чем предыдущие мои советы, именно: никогда не вдавайся в споры по поводу родословных, по крайней мере не делай между ними сравнений, так как не подлежит сомнению, что из числа тех, которых сравнивают, один род должен оказаться наилучшим, и тот, который ты унизишь, возненавидит тебя, а тот, который вознесешь, ничем не вознаградит тебя.

Твоя одежда пусть состоит из плотно прилегающих брюк, длинного полукафтана и плаща, еще несколько длиннее, а грегуэско² и в мыслях не имей носить, потому что они не приличествуют ни рыцарям, ни губернаторам.

Вот, Санчо, то, что пока пришло мне в голову посоветовать тебе. Со временем и смотря по обстоятельствам, я еще дам тебе советы и наставления, если ты позаботишься известить меня, в каком положении находятся твои дела.

– Сеньор, – ответил Санчо, – я хорошо вижу, что все, что милость ваша

¹ Испанское выражение, означающее полнейшую неуместность.

² Gregüescos, – так назывались бывшие в то время в моде широкие со складками, подбитые у бедер ватой или соломой панталоны, над которыми тогда много смеялись; но эта мода все-таки долго продолжалась и обошла всю Европу. Судя по названию, она, должно быть, была введена в Испанию из Греции.

говорила мне, вещи хорошие, святые и полезные; но что за прок мне будет от них, если я ни одной не упомяну. Правда, не растить себе ногтей и жениться во второй раз, если к тому представится случай, – это крепко сидит у меня в голове, но остальной весь винегрет, вся эта путаница и сумятица, я их теперь уже не помню и не буду о них помнить больше, чем о прошлогодних облаках; итак, вы должны будете мне дать их письменно; потому что, хотя я ни писать, ни читать не умею, но дам их своему духовнику, чтобы он запечатлел их в памяти и повторил бы мне, когда окажется нужным.

– Ах, грешник я! – сказал Дон Кихот, – как не к лицу губернатору не уметь читать и писать! Потому что, ты должен знать, о, Санчо, что когда человек не умеет читать, или когда он левша, приходится предположить, либо что он родился в самой бедной и низкой среде, или же он был так испорчен и безнравствен, что на него не могли повлиять ни хороший пример, ни хорошее преподавание. Неграмотность – большой в тебе недостаток, и я желал бы, чтобы ты, по крайней мере, научился хоть подписывать свое имя.

– Это я умею, – сказал Санчо, – потому что, когда я был старшиной в моем селе, я научился выводить несколько букв вроде того, как ставят метки на товарных тюках, и мне говорили, что из этих букв выходит мое имя. А тем более, что я притворюсь, будто у меня правая рука увечная, и заставляю другого подписывать за себя; так как против всего есть средство, исключая лишь против смерти; а имея в руках власть и палку, я буду делать, что хочу; тем более, что тот, у кого отец алькальд¹,...и когда я буду гу-

бернатором – а это побольше, чем быть алькальдом, – пусть себе идут ко мне и поиграют в прятки; пусть осмеивают меня и клеветают на меня, потому что они придут стричь, а вернуться стриженными; и если к кому Бог благоволит, о том весь дом говорит; и глупости, сказанные богатым человеком, считаются на свете мудрыми изречениями, а так как я буду богат, когда сделаюсь губернатором, и вместе с тем щедрым, каким я намерен быть, то во мне не заметят никаких недостатков; сделайте медом и вас съедят мухи; сколько ты имеешь, столько ты и стоишь, говорила одна моя бабушка; и не добраться тебе мстью до того, у кого поместье.

– О, будь ты проклят Богом, Санчо, – сказал тогда Дон Кихот, – пусть заберут тебя шестьдесят тысяч дьяволов, и тебя и твои пословицы! Целый час ты их нанизывал, и каждой из них доставлял мне новую пытку. Уверяю тебя, что эти пословицы когда-нибудь доведут тебя до виселицы; из-за них вассалы твои лишат тебя губернаторства, или среди них начнутся мятежи. Скажи мне, невежда, где ты их находишь, или как ты их применяешь, безумный? Ведь, чтобы привести одну пословицу и применить ее кстати, я тружусь и потею, точно копаю землю.

– Ей Богу, сеньор господин наш, – возразил Санчо, – ваша милость беспокоится из-за сущих пустяков. Каким дьяволам мешает, если я пользуюсь своим достоянием? Ничего у меня другого нет, никакого другого имущества, только лишь пословицы и еще пословицы, и как раз теперь на ум мне пришло целых четыре, которые подходят сюда, как нельзя лучше, или как груши к кор-

¹ Эта поговорка, которую Санчо не оканчивает, гласит: El que tiene el padre alcalde seguro va a juicio – у кого отец алькальд, тому безопасно идти судиться.

зине, – но я их не скажу, потому что хорошее молчание зовется Санчо¹.

– Только этот Санчо не ты, – сказал Дон Кихот, – так как ты не только не умеешь хорошо молчать, а прескверно болтаешь и прескверно упрямисься. Тем не менее, я желал бы знать, какие это такие четыре пословицы пришли тебе на ум, которые были бы здесь кстати, потому что, сколько я ни ищу в своей памяти, – а она у меня хорошая, – я не нахожу в ней ни одной пословицы.

– Какие могут быть лучше, – сказал Санчо, – следующих: *не клади пальцев между двумя зубами мудрости и уходите из моего дома, что вам нужно от моей жены?* – на это не может быть ответа; и *ударится ли кувшин о камень или камень о кувшин, придется плохо кувшину*. – Все эти пословицы подходят до волоска; так как никому не следует тягаться с губернатором или с тем, кто начальствует, иначе придется плохо, как и тому, кто кладет палец в рот между двумя зубами мудрости, – если же это и не зубы мудрости, а просто коренные зубы, – все равно; и против того, что сказал бы губернатор, нельзя ничего возражать, как и против того, если б кто сказал: *Уходите из моего дома, и что вам надо от моей жены?* Что же касается кувшина и камня, и слепой это узреет. Поэтому тот, кто видит спицу в чужом глазу, пусть лучше видит бревно в своем глазу, чтобы нельзя было сказать о нем: *мертвая испугалась обезглавленной*, и вашей милости хорошо известно, что глупый знает больше в своем доме, чем умный в чужом.

– Ну, нет, Санчо, – сказал Дон Кихот, – потому что глупый ни в своем, ни в чужом доме ничего не знает по той причине, что на фундаменте глупо-

сти нельзя возвести здания ума. А пока оставим все это, Санчо, так как, если ты будешь плохо губернаторствовать, вина будет твоя, а стыд – мой. Но я утешаю себя тем, что исполнил мой долг, дав тебе советы настолько искренно и рассудительно, насколько был в состоянии; этим я выполнил и свое обязательство и обещание. Да руководит тебя Бог, Санчо, и правит тобой в твоём правлении, а меня избавит от опасения, тревожащего меня, что ты перевернешь весь остров вверх дном, – вещь, которую я мог бы предотвратить, открыв герцогу, кто ты такой и сказав ему, что весь этот твой жир и вся эта твоя маленькая особа не что иное, как мешок, напичканный пословицами и плутнями.

– Сеньор, – возразил Санчо, – если вашей милости кажется, что я не пригоден для губернаторства, тотчас же я откажусь от него; потому что одна пылинка под ногтем души моей дороже мне, чем все мое тело, и простым Санчо я так же хорошо проживу на хлебе с луком, как и губернатором на куропатках и каплунах, тем более, что, пока мы спим, мы все равны, – великие и малые, богатые и бедные. И если ваша милость вникнет в это, то увидит, что вы одни, милость ваша, навели меня на мысль губернаторствовать, потому что я также мало знаю о губернаторстве островов, как и ястреб, и если вы думаете, что, когда я сделаюсь губернатором, меня к себе унесет черт, я лучше хочу, как Санчо, попасть на небо, чем губернатором угодить в ад.

– Клянусь Богом, Санчо, – сказал Дон Кихот, – за одни эти последние слова, которые ты сказал, я считаю, что ты заслуживаешь быть губернатором

¹ Пословица: *al buen callar llaman Sancho*, или в более старинной форме *sage* (вместо *sabio* – умный, знающий) а также и *Santo*.

тысячи островов. У тебя хорошие природные наклонности, без которых никакая наука не поможет. Поручи себя воле Божьей и старайся не ошибаться в первоначальном намерении: я хочу сказать, имей всегда в душе твердое и непре-

клонное желание быть справедливым во всех делах, которые тебе представятся, потому что небо всегда благоприятствует добрым стремлениям. А теперь пойдем обедать, так как я думаю, что герцог и герцогиня уже ждут нас.





Глава XLIV

О том, как Санчо Панса уехал на губернаторство, и о странном приключении, случившемся в замке с Дон Кихотом.

Говорят, что в подлинном оригинале этой истории читается, что Сид Амел, дойдя до настоящей главы, — которую его переводчик перевел не так, как автор ее написал, — обращался к самому себе с чем-то вроде жалобы на то, что он взялся за такую сухую историю, поставленную в такие узкие рамки, как история Дон Кихота, так как ему представлялось, что он должен всегда говорить в ней лишь только о Дон Кихоте и о Санчо, не отваживаясь пускаться в отступления и другие эпизоды, более серьезные и занимательные. И он говорил, что если ум, рука и перо вечно заняты описанием одного и того же предмета и приходится говорить устами лишь немногих лиц, — это труд невыносимый, плоды которого не идут на пользу автора, и потому, чтобы избежать этого неудобства, он в первой части обратился к выдумке нескольких

новелл, какими были: «Безрассудно-любопытный» и повесть «О пленном капитане», которые как бы отделены от истории, в то время, как остальные рассказанные там случаи произошли с самим Дон Кихотом и не могли быть опущены. Он подумал также, — говорит он, — что многие, сосредоточив свое внимание на подвигах Дон Кихота, не уделят его вовсе повестям и пробегут их или поспешно, или со скукой, не заметив ни их изящества, ни искусства, что, однако, выступило бы очень ярко, если б эти повести появились отдельным изданием, не связанные с безумными выходками Дон Кихота и нелепостями Санчо. Итак, в этой второй части он не пожелал вставлять отдельных или вводных повестей, а только несколько эпизодов, которые, казалось, истекали из самих событий, действительно случившихся, и даже и те в ограниченном количестве, не тратя больше слов, чем требовалось, для объяснения их. А в виду того,

что он ограничивает себя и сдерживается в узких пределах повествования, имея достаточно способностей, дарования и ума, чтобы рассуждать о целой вселенной, он просит не пренебрегать его трудом и воздать ему хвалу не за то, что он пишет, а за то, о чем он воздержался писать.

И тотчас он продолжает свою историю, говоря, что Дон Кихот, отобедав в тот день, когда он давал советы Санчо, вечером дал их ему написанными, чтобы он отыскал кого-нибудь, кто прочел бы их ему. Но едва он дал их Санчо, как тот их потерял и они попали в руки герцогу, который передал их герцогине и оба они вновь удивлялись, как безумию, так и уму Дон Кихота. Итак, продолжая свои шутки, они послали Санчо еще в тот же вечер с большой свитой в местечко, которое для него должно было изобразить остров. Случилось, что тот, кому поручили это дело, был мажордомом герцога, очень умным и остроумным, а остроумие не может быть там, где нет ума, – и тем самым, который так забавно, как было рассказано, сыграл роль графини Трифальди. С такими способностями, да к тому же наставленный герцогом и герцогиней, как ему обращаться с Санчо, он изумительно справился с своей задачей. Итак, говоря, я, случилось, что лишь только Санчо увидел мажордома, лицо его показалось ему точь-в-точь лицо Трифальди и, обращаясь к господину своему, он сказал:

– Сеньор, или меня пусть черт унесет отсюда, где я стою, как верующий и праведный, или же ваша милость должна согласиться со мной, что лицо вот этого герцогского мажордома точь-в-точь лицо Долориды.

Дон Кихот внимательно посмотрел на мажордома и, разглядев его, сказал Санчо:

– Нет надобности, чтобы черт унес тебя, Санчо, ни как праведника, ни как

верующего (хотя я и не знаю, что ты этим хочешь сказать), так как действительно лицо Долориды как есть лицо мажордома. Но из этого не следует, чтобы мажордом был Долоридой, потому что, если бы он был ею, в этом бы заключалось большее противоречие, и теперь не время производить подобные исследования, так как это завело бы нас в безвыходные лабиринты. Верь мне, друг, нам нужно очень настоятельно просить нашего Господа, чтобы Он обоих нас избавил от злых колдунов и от злых волшебников.

– Это не шутка, сеньор, – возразил Санчо, – потому что я только что перед тем слышал, как он говорил, и мне казалось, что голос Трифальди звучит у меня в ушах. Хорошо, я буду молчать теперь, но не перестану все время внимательно следить, не откроется ли еще чего-нибудь, что подтвердит или уничтожит мое подозрение.

– Так ты и должен поступать, Санчо, – сказал Дон Кихот, – и извести меня обо всем, что узнаешь в этом деле, и обо всем том, что случится с тобой на твоём губернаторстве.

Наконец, Санчо уехал в сопровождении множества народа, одетый в судейское платье, поверх которого еще был накинута широкий плащ из темно-коричневого волнистого камлота и шапка из той же материи. Сидел он верхом на муле, на коротких стременах, а сзади него, по приказанию герцога, шел Серый с блестящим выючным седлом и шелковой сбруей. Санчо время от времени оборачивал голову, чтобы взглянуть на своего осла, в обществе которого он ехал до такой степени довольный, что не поменялся бы с германским императором. Прощаясь с герцогом и герцогиней, он поцеловал у них руки, получил благословение своего господина, которое тот дал ему со слезами, и Санчо принял его всхлипывая.

Предоставь, любезный читатель, доброму Санчо ехать счастливо и мирно, и жди две *фанегас*¹ смеха, которые будут вызваны у тебя, когда ты узнаешь, как он себя вел на своей должности. А пока внимай сведениями, о том, что случилось с его господином в ту ночь, потому что, если ты и не рассмеешься над этим, по крайней мере губы твои искривит обезьянья улыбка, так как приключения Дон Кихота должны быть почтены или удивлением, или смехом.

Итак, рассказывается дальше, что едва Санчо уехал, как Дон Кихот почувствовал свое одиночество, и если бы он мог отменить назначение Санчо на должность и отозвать его с губернаторства, он бы это сделал. Герцогиня заметила его печаль и спросила, отчего он такой грустный; если из-за отсутствия Санчо, в доме у нее довольно оруженосцев, дуэний и девушек, которые могут служить ему, исполняя малейшее его желание.

– Совершенно верно, сеньора моя, – ответил Дон Кихот, – отсутствие Санчо меня огорчает; но не это главная причина моей видимой печали. Что же касается многих предложений, сделанных мне вашей светлостью, я только выбираю и принимаю доброе желание, с которым они были сделаны, – а что до остального, умоляю вашу светлость согласиться и позволить, чтобы в моей комнате я один был себе слугою.

– Право, сеньор Дон Кихот, – сказала герцогиня, – это не должно быть так, потому что служить вам будут четыре из моих девушек, красивые как цветы.

– Для меня, – ответил Дон Кихот, – они не будут подобны цветам, а подобны шипам, которые вонзятся в мою душу. Скорее они сумеют летать, чем войдут в мою комнату, они, или кто-либо похожий на них. Если же ваше высочество

желает продолжать оказывать мне милости, хотя я и не заслуживаю их, оставьте меня поступать по своему и позвольте за дверьми моей комнаты служить мне себе самому, ставя этим преграду между моими желаниями и моим целомудрием; и я не хотел бы потерять этой привычки из-за щедрости, которую ваше величие желает оказать мне. Словом, я лучше буду спать одетый, чем допущу, чтобы кто-либо раздел меня.

– Довольно, довольно, сеньор Дон Кихот, – ответила герцогиня, – говорю вам, что дам приказание, чтобы в комнату вашу не влетела бы муха, а не то, чтобы вошла девушка. Не такой я человек, чтобы из-за меня омрачилась скромность сеньора Дон Кихота, так как теперь я хорошо вижу, что из числа многих его добродетелей ярче всех сияет стыдливость. Раздевайтесь, ваша милость, и одевайтесь наедине и по своему, как и когда пожелаете: никто вам в этом не помешает, потому что в вашей комнате вы найдете всю нужную утварь для потребностей того, кто спит с запертой дверью, чтобы никакая естественная надобность не принудила его отворять ее. Да здравствует тысячу веков великая Дульсинея Тобосская, и да распространится имя ее по всему земному шару, так как она заслужила любовь столь доблестного и стыдливого рыцаря, и пусть благосклонное небо пробудит в душе нашего губернатора Санчо Пансы желание скорее окончить бичевание свое, чтобы мир мог снова насладиться красотой столь знаменитой сеньоры!

На это Дон Кихот ответил:

– Ваше высочество говорило так, как и подобает вам, потому что в устах добрых сеньор ни одна женщина не должна быть плохая; и более счастливой и более прославленной будет в мире Дульсинея оттого, что ваше высочество

¹ Fanegas – испанская мера в четыре четверика.



...он поцеловал у них руки, получил благословение своего господина, которое тот дал ему со слезами и Санчо принял его всхлипывая...

ее похвалила, чем от всех похвал, которые могли бы уделить ей самые красноречивые люди в мире.

– А теперь, сеньор Дон Кихот, – ответила герцогиня, – час ужина настал и герцог, должно быть, уже ждет нас. Идемте, милость ваша, поужинаем, и ложитесь пораньше, потому что путешествие, совершенное вами вчера в Кандаю, не было столь кратким, чтобы не причинить вам некоторого утомления.

– Я не чувствую ни малейшего утомления, сеньора, – ответил Дон Кихот, – и мог бы поклясться вашей милости, что никогда во всей моей жизни не ездил на таком спокойном животном, с таким прекрасным ходом как Клавиленьо. Не знаю, что могло побудить Маламбруно расстаться с столь быстроногим и превосходным конем и сжечь его так ни с того, ни с сего.

– Можно предположить, – ответила герцогиня, – что, раскаявшись в зле, сделанном им Трифальди и компании, а также и другим лицам, раскаиваясь в преступлениях, совершенных им в качестве колдуна и мага, он захотел уничтожить все орудия своего волшебства, и как главное из них, причинившее ему наибольшее беспокойство, потому что он на нем скитался из страны в страну – он сжег Клавиленьо, чтобы пепел его и победный трофей пергамента увековечили доблесть великого Дон Кихота Ламанчского.

Дон Кихот еще раз поблагодарил герцогиню и, поужинав, ушел к себе в комнату один, не согласившись, чтобы кто-либо вошел служить ему, так сильно боялся он встретить повод, который бы побудил или принудил его утратить стыдливое целомудрие, хранимое им

в честь своей дамы Дульсини, имея всегда перед собою в воображении добродетель Амадиса, этого цвета и зеркала странствующих рыцарей. Он запер за собой дверь, разделся при свете двух восковых свечей, и в то время, как снимал чулки, – о, злоключение, незаслуженное таким человеком! – у него вырвались ни вздохи, ни что-либо другое, что могло бы бросить подозрение на чистоту его нравов, – а около двух дюжин петель на его чулке, который стал похож на решетчатую ставню. Добрый сеньор наш страшно огорчился и охотно заплатил бы унцию серебра, если б мог тотчас же достать полдрахмы зеленого шелка, я говорю зеленого, так как чулки его были зеленого цвета. Тут Бененхели, продолжая рассказ свой, восклицает: – О, бедность, бедность! Не знаю, какая причина побудила великого кордуанского поэта¹ назвать тебя святым непризнанным даром. Я хотя и мавр, но хорошо знаю из общения, которое я имел с христианами, что святость заключается в милосердии, смирении, в вере, послушании и бедности. Однако, со всем этим, скажу, что должен иметь очень много близкого с Богом тот, кто согласится довольствоваться тем, что он беден, если только это не та бедность, о которой один из величайших святых говорит: *Владейте всеми предметами так, будто вы не владеете ими*², и это называют быть нищими духом. Но ты, вторая бедность (именно та, о которой я говорю), отчего ты предпочитаешь обрушиваться на идадьго и людей знатного происхождения больше, чем на остальных? Зачем принуждаешь ты их самих чернить себе башмаки, и, устраиваешь так, что пуговицы на полукафтах их бывают одни шелковые, другие

¹ Хуан де Мена, известный испанский поэт, писавший в правление Хуана II и умерший в 1456 г.

² Ап. Павел. Послание к Коринфянам, VII, 31.

волосяные, третьи стеклянные? Почему воротники их большей частью смяты, а не разглажены и не накрахмалены (из чего можно видеть, что употребление крахмаленных и открытых воротников – обычай давний). И он продолжает: – Несчастный знатнорожденный, который дает маленькие подачки своей чести, плохо пообедав при закрытых дверях, делая лицемеркой зубочистку, с которой он выходит на улицу, не съев ничего, что могло бы заставить его чистить у себя в зубах! Несчастный тот, говорю я, честь которого до того пуглива, что он думает, будто за версту видна заплата на его башмаках, пот на его шляпе, дыры на плаще его и голод в его желудке.

Все это пришло на ум Дон Кихота, когда петли его чулка порвались, но он утешился, увидав, что Санчо оставил ему дорожные сапоги, которые он и решил надеть на следующий день. Наконец, он улегся в постель, грустный и задумчивый, как вследствие того, что ему недоставало Санчо, так и вследствие непоправимого несчастья с его чулками, которые он бы охотно заштопал, хотя бы шелком другого цвета, что и есть величайший признак нужды, испытываемой бедствующим идалго. Он потушил свечи, но было жарко, и он не мог заснуть. Встав с постели, Дон Кихот приоткрыл немного решетчатое окно, выходившее в прекрасный сад, и, открывая его, он услышал и заметил, что в саду ходят люди и разговаривают. Стал он внимательно прислушиваться, а бывшие в саду возвысили голос, так что он мог различить следующие слова:

– Не проси, Эмеренсия, чтобы я спела что-нибудь, ты ведь знаешь, что с той минуты, как этот чужеземец явился в замок, и глаза мои увидели его, я уже не могу петь, а только могу плакать, и тем более не могу петь, что сон госпожи моей скорее чуткий, чем крепкий, а я за все со-

кровища в мире не хотела бы, чтобы она нас застала здесь. Но даже допустив, что она будет спать и не проснется, зачем мне петь, если новый этот Эней, явившийся в наши края только для того, чтобы посмеяться надо мной, не проснется и не услышит моего пения?

– Не заботься об этом, Алтисидора друг, – ответили ей, – потому что, без сомнения, герцогиня и все в доме теперь уже спят, исключая лишь повелителя твоего сердца и смутителя души твоей, так как я сейчас слышала, что он открыл решетчатое окно свое и, следовательно, он не спит. Спой, скорбящая моя, сладким и тихим голосом, под звуки арфы. Если же герцогиня нас услышит, мы можем свалить вину на жару.

– Дело не в этом, о, Эмеренсия, – ответила Алтисидора, – а в том, что я не желала бы, чтобы мое пение обнажило мое сердце и чтобы те, которым неведома могучая сила любви, сочли бы меня за легкомысленную и несдержанную девушку. Но пусть будет, что будет; лучше краска стыда на лице, чем рана в сердце.

С этими словами она стала очень нежно наигрывать на арфе. Услышав это, Дон Кихот был поражен, так как в ту же минуту у него промелькнуло в голове бесконечное множество приключений подобного же рода, с окнами, решетками и садами, с пением, признаниями в любви и обмороками, о чем он читал в своих головокружительных рыцарских книгах. Тотчас же он вообразил себе, что какая-нибудь из девушек герцогини влюбилась в него, а скромность вынуждает ее держать эту свою любовь в тайне. Он боялся, что не устоит против нее, но мысленно решил не дать себя победить; итак, поручив себя всем сердцем и всей душой своей сеньоре Дульсенеи Тобосской, он решил слушать музыку; а чтобы дать им знать, что он стоит у окна, он притворно

чихнул, и это очень обрадовало девушек, так как они ничего другого не желали, как только чтобы их услышал Дон Кихот.

Наладив и настроив арфу, Алтисидора запела следующий романс:

О, ты, что меж простынь голландских
В постели мягкой растянувшись
Во весь свой рост, лежишь и крепким
Спишь сном от ночи до рассвета,
Из всех ты рыцарей, рожденных
В Ламанче, самый храбрый, сильный,
И больше чтим и драгоценней,
Чем все сокровища востока.
Склони свой слух к скорбящей деве
Цвела она беспечно, мирно,
Пока огонь твоих двух солнцев –
Очей твоих – не сжег ей душу.
Искал свои ты приключения, –
Нашел чужие ты страдания.
Наносишь раны ты, лекарство ж
От них больной ты дать не хочешь.
Скажи мне, юноша, отважный,
– Дай Бог тебе во всем удачу, –
В степях ты Ливии воспитан,
В горах ли Хака отдаленных
Был вскормлен грудью ты змеей,
И были няньками твоими
Стремнины дикие и скалы,
Дубрав косматых мрак и ужас?
Гордиться может Дульсинея, –
Та дева тучная с румянцем, –
Что сердце яростное тигра
Она смягчить твое сумела.
За то ее и будут славить
От Хепареса до Харамы,
От Тахо вплоть до Мансареса,
От Писуэрга до Арланса.
Охотно с ней я б поменялась,
В придачу ей еще дала бы
Свой наилучший, самый пестрый
Наряд с бахромкой золотою.
О, если я в твоих объятьях
Лежать могла б иль хоть стоять бы
Вблизи твоей постели, щеткой
С твоих волос счищая перхоть!

Но знаю, столь великой чести
Не стою я: с меня, смиренной,
Довольно, если б ты позволил
Погладить мне свои хоть ноги.
О, сколько я тебе дала бы
Расшитых туфель и ермолок,
Штанов как много из Камчатки,
Плащей голландских самых тонких;
О, сколько б я жемчужин крупных
Дала б тебе с орех чернильный.
Им равных нет – и оттого их
Зовут единственными в мире.
Нерон Ламанчи, не смотри ты
С высот скалы своей Тарпейской
На тот пожар, что в бедном сердце
Ты сам зажег и раздуваешь.
Дитя я, птенчик нежный, – лет мне
Всего четырнадцать не больше, –
Еще не стукнуло пятнадцать,
Клянусь в том Богом и душою.
Стройна, пряма я, не хромаю,
И руки целы, без увечья –
И точно лилии повисли,
Земли касаясь, мои косы;
Что клюв орлиный рот мой, – зубы
Топазы желтые; немного
Приплюснут нос, – красую этой
Я до небес могу хвалиться.
А голос мой, его ты слышишь,
Как сладок он и как он звучен.
Взяла и ростом я прекрасным,
Немного ниже он, чем средний.
Все эти прелести и чары
Добычей пусть твоею будут.
Служанка здесь я, в этом замке,
И имя мне Алтисидора.

На этом кончилось пение тяжело раненой в сердце Алтисидоры и началось смятение соблазняемого ею Дон Кихота, который, испустив глубокий вздох, подумал про себя: «Какой я несчастный странствующий рыцарь, что ни одна девушка не может взглянуть на меня, чтобы не влюбиться! Какая горестная судьба несравненной Дульсинеи, которой не



На этом кончилось пение тяжко раненой в сердце Алтисидоры
и началось смятение соблазняемого ею Дон Кихота...

хотят дать спокойно насладиться моей беспримерной верностью! Что вам надо от нее, королевы? Зачем вы преследуете ее, императрицы? Отчего вы мучаете ее, девушки пятнадцати и четырнадцати лет? О, дайте, дайте несчастной торжествовать, радоваться и гордиться той судьбой, которую ей уделила любовь, подчинив ей мое сердце и отдав в ее собственность душу мою. Знайте же, влюбленная толпа, что для одной лишь Дульсины я мягок, как тесто, для нее – я сахарное пирожное; для всех же остальных – кремь; для нее я – мед, а для вас – колоцинтовый сок¹. Для меня одна лишь Дульсина – прекрасна, умна, целомудренна, изящна и знатного рода; все же остальные – некрасивы, глупы,

легкомысленны и низкого происхождения. Принадлежать лишь ей и никому больше, для этого природа послала меня в мир. Пусть плачет или поет Алтисидора, пусть приходит в отчаяние та мадама, из-за которой меня избили в замке очарованного мавра, я должен принадлежать Дульсине, вареный или жареный, чистый, благовоспитанный и целомудренный, – наперекор могуществу всех волшебников на свете.

И с этими словами он захлопнул окно и, раздосадованный, с тяжелым сердцем, точно с ним случилось какое-нибудь большое несчастье, он лег в постель, где мы его пока и оставим, так как нас зовет великий Санчо Панса, желающий вступить на свое знаменитое губернаторство.



¹ Очень горький, горче полыни.



Глава XLV

*О том, как великий Санчо Панса вступил во владение своим островом
и каким образом он начал там губернаторствовать.*



ты, непрерывный раз-
ведчик антиподов, фа-
кел вселенной, око неба,
сладостный двигатель
кантимплоров!¹. Здесь
Тимбрий², там Феб; то
стрелок, то врач! Отец поэзии, изобре-
татель музыки; ты, который всегда вос-
ходишь, и хотя кажется, будто ты захо-
дишь, но этого никогда не бывает! К тебе
обращаюсь я, о, солнце, при содействии
которого человек порождает человека, –
тебя призываю я оказать мне поддержку

и осветить мрак ума моего, чтобы я мог
во всех подробностях изложить рассказ о
губернаторстве великого Санчо Пансы;
так как без тебя я чувствую себя слабым,
робким и смущенным.

Итак, я говорю, что Санчо Панса со
всей своей свитой прибыл в местечко
с населением около тысячи жителей, –
одно из самых значительных местечек,
принадлежавших герцогу. Ему сообще-
ли, что оно называется островом Бара-
тариа³, потому ли что действительно
оно так и называлось, или же вследствие

¹ Cantimplora называлась медная посуда с длинным горлышком или графин, служивший для освежения вина, воды и других жидкостей. Это высокопарное воззвание к солнцу под разными его именами, по видимому, пародия какого-нибудь места из произведения одного из тогдашних поэтов.

² Pater est Thimibroeus Apollo – Вергилий, Georgic. IV.

³ Barata – собственно обманная, мошенническая торговая сделка. Barear – отдать за гораздо меньшую цену, чем вещь стоит. Barateria – обман, мошенничество.

багато или дешевой цены, по которой губернаторство досталось Санчо. Когда он подъехал к воротам обнесенного стенами города, ему навстречу вышел весь городской совет, звонили в колокола, и жители проявили всеобщую радость. С большой торжественностью отвели Санчо в собор, чтобы воздать благодарение Богу, и с некоторыми комическими церемониями передали ему ключи города и признали его несменяемым губернатором острова Баратариа. Одежда, борода, тучность и маленький рост нового губернатора удивили тех, которые не знали подкладки всей этой истории и даже и тех, которые ее знали, – а их было немало. Наконец, когда Санчо вывели из церкви, его привели к судейскому креслу, посадили на него, и мажордом герцога сказал ему:

– Сеньор губернатор, здесь старинный обычай, что тот, кто вступает в обладание знаменитым этим островом, обязан дать ответ на поставленный ему вопрос, несколько запутанный и трудно разрешимый. Смотря по ответу, народ ощупает и определит пульс ума своего нового губернатора, и, сообразно с этим, или радуется или огорчается его приездом.

В то время, как мажордом говорил это, Санчо рассматривал ряд больших букв, выведенных на стене против его кресла, и так как он не умел читать, он спросил, что это за рисунки там на стене.

– Сеньор, – ответили ему, – на стене записан и отмечен день, в который милость ваша вступила во владение этим островом и надпись эта гласит: *Сегодня, такого-то числа, такого-то месяца и года вступил во владение этим островом сеньор дон Санчо Панса, и да насладится он им долгие годы.*

– А кого называют здесь доном Санчо Пансой? – спросил Санчо.

– Вашу милость, – ответил мажордом, – потому что на остров не приезжал никакой другой Санчо, кроме того, который сидит на этом кресле.

– В таком случае, брат, – ответил Санчо, – заметьте себе, что я вовсе не *дон*, и никто во всем моем роду не был им. Зовут меня просто-напросто Санчо Панса, и Санчо звали моего отца, Санчо звали деда; и все мои предки были Панса, без добавки *дона* или *доньи*. Мне сдается, что на этом острове должно быть больше донов, чем камней. Но довольно, Бог видит душу мою, и может случиться, если губернаторство мое продлится дня четыре, я сумею выполоть всех этих донов, которые по своей многочисленности должны надоесть, как москиты¹. Пусть мне теперь предложит свой вопрос сеньор мажордом, и я ему отвечу, как сумею лучше, огорчится ли народ или не огорчится.

В эту минуту в судебный зал вошли два человека, один одетый крестьянином, а другой портным, потому что он держал в руках ножницы, и портной сказал:

– Сеньор губернатор! Я и этот крестьянин, мы пришли к вашей милости по той причине, что этот добрый человек вчера явился ко мне в мастерскую, – так как я, с позволения присутствующих, патентованный портной, да будет благословен Бог, – и дав в руки мне кусок сукна, он спросил меня: – Сеньор, достаточно ли тут сукна, чтобы сделать мне из него шапку? – Смерив сукно, я сказал, что достаточно. Должно быть, он вообразил, как я полагаю, и, по-видимому, справедливо, что, без сомнения, я хочу украсть у него часть сукна, основывая это свое подозрение на собственной злобе и на дурном мнении вообще о портных. Поэтому он сказал мне, чтоб я хорошенько посмотрел, не хватит ли тут сукна на две шап-

¹ О злоупотреблениях титулом «дон» в Испании говорилось уже несколько раз.

ки? Отгадав его мысли, я ответил, что *да*, хватит. А он, гарцуя все дальше на своем проклятом предубеждении, требовал все больше шапок, и я поддакивал ему, пока мы не дошли до пяти шапок. Теперь он как раз пришел за ними, и я отдавал их ему; но он не хочет мне платить за работу, напротив требует, чтобы я заплатил ему или вернул его сукно.

– Все это так ли, брат? – спросил Санчо крестьянина.

– Да, сеньор, – ответил крестьянин, – но пусть милость ваша прикажет ему показать те пять шапок, которые он мне сшил.

– Охотно, – ответил портной. И тотчас же, вынув из-под плаща руку, он показал пять шапочек, надетых на концах пяти его пальцев, и сказал:

– Вот те пять шапок, которые этот добрый человек требует от меня, и клянусь Богом и совестью моей, что у меня не осталось ни кусочка его сукна, и я дам мою работу на осмотр ремесленных инспекторов.

Все присутствовавшие рассмеялись над многочисленностью шапок и над столь странной тяжбой. Санчо немного поразмыслил и сказал:

– Мне кажется, что в этой тяжбе нет нужды в долгом промедлении; ее можно тотчас же решить по здравому смыслу. Итак, вот приговор мой: портной теряет плату за работу, а крестьянин сукно; шапки же отдаются на пользу заключенных в тюрьме и всему делу конец.

Если следующий приговор Санчо относительно кошелька пастуха вызвал удивление присутствующих, этот его приговор возбудил в них смех, но приказание губернатора было приведено в ис-

полнение. Затем на суд к нему явились два старика. Один держал в руках тростник, в виде палки, а другой, не имевший ничего, сказал:

– Сеньор, этому доброму человеку я дал несколько времени тому назад взаймы десять червонцев золотом, желая оказать ему одолжение и сделать доброе дело, с условием, чтобы он вернул мне деньги, когда я их спрошу у него. Много времени прошло, и я не спрашивал их, чтобы не поставить его в еще более затруднительное положение, чем то, в котором он находился, когда я одолжил ему эти деньги. Но так как мне казалось, что он нимало не заботится о возвращении мне долга, я напоминал ему о нем раз и несколько раз. Однако он не только не возвращает мне денег, но даже отказывается от своего долга и говорит, что я никогда не давал ему взаймы указанных десяти червонцев; и если я их и давал ему, то он уже вернул мне их. У меня нет свидетелей ни того, что я давал ему деньги, ни того, что он вернул их мне, так как он их и не возвращал. Если же он присягнет, что вернул их мне, я готов простить ему долг здесь и перед Богом.

– Что ответите вы на это, добрый старик с палкой? – спросил Санчо.

– Я признаю, сеньор, – сказал старик, – что он дал мне взаймы те деньги. Но, милость ваша, опустите ваш жезл, потому что, раз он требует моей присяги, я готов присягнуть, что действительно и на самом деле отдал и вернул ему его деньги.

Губернатор опустил свой жезл¹, а старик с палкой, передав ее другому старику, чтобы он ее подержал, пока он присягает, словно она его очень затрудняла,

¹ Vara – жезл, который всякий судья в те времена должен был держать в руках, при исполнении им судейских обязанностей, и который служил отличительным признаком занимаемой им должности. Сверху на этом жезле был крест, на котором присягали свидетели и тяжущиеся.

тотчас же положил руку на крест жезла и присягнул в том, что действительно получил взаймы те десять червонцев, которые теперь у него требуют, но он отдал их из рук в руки своему заимодавцу; а тот, по невниманию, снова требует их у него. Услыхав это, великий губернатор спросил заимодавца, что возразит он на слова своего противника? Тот ответил, что, вероятно, должник его сказал правду, так как он считает его за честного человека и доброго христианина, и что, быть может, он забыл, как и когда он ему вернул деньги, но с этого времени впредь он никогда ничего не будет с него требовать. Должник взял у заимодавца свою палку и вышел с опущенной головой из суда. Санчо, увидав это, и то, что он, не сказав ни слова, ушел, а также увидав кротость истца, склонил голову на грудь и, положив указательный палец правой руки на брови и нос, просидел так, словно задумавшись, некоторое время и затем поднял голову и приказал вернуть старика с палкой, который уже ушел. Его вернули, а Санчо, увидав его, сказал ему:

– Дайте ка мне, добрый человек, эту палку, она мне нужна.

– Очень охотно, – ответил старик, – возьмите, сеньор, – и передал ему палку.

Санчо взял ее и, отдавая второму старику сказал:

– Идите себе с Богом. Теперь вы получили свои деньги.

– Получил, сеньор? – спросил старик, – но разве эта тростниковая палка стоит десяти червонцев?

– Да, – сказал губернатор, – если же нет, я – самая большая тупица в мире и теперь видно будет, довольно ли у меня мозгов, чтобы править хоть целым королевством.

И он приказал тут же на глазах у всех сломать и расколоть палку. Так и сделали, и внутри ее нашли десять червонцев

золотом. Все были крайне изумлены и сочли своего губернатора за нового Соломона. Его спросили, как он узнал, что в этой палке спрятаны десять червонцев, и он ответил, что, когда старик перед присягой отдал своему противнику палку, а затем присягнул, что он действительно и на самом деле отдал ему свой долг, и, присягнув, тотчас же взял у него обратно палку, тогда ему пришло на ум, что, должно быть, в палке требуемые деньги. Из этого, сказал он, можно вывести заключение о тех, которые правят, что, хотя они и были бы глупцами, их решениями иногда руководит Бог. А кроме того он однажды слышал, как сельский их священник рассказывал о подобном же случае, и у него такая хорошая память что если б он не забывал всего того, что желал бы помнить, лучшей памяти не найти на всем острове. Словом, один старик ушел пристыженный, а другой получил свой долг; присутствующие же были изумлены, и тот, кто записывал слова, действия и движения Санчо, не мог решить, считать ли и выдавать его за глупца или за умного.

Лишь только кончилась эта тяжба, на судбище явилась женщина, крепко державшая человека, одетого как богатый пастух, и она громко кричала:

– Правосудие! Сеньор губернатор, правосудие! И если я его не найду на земле, я пойду искать его на небе! Сеньор губернатор души моей, этот вот злой человек набросился на меня среди поля и воспользовался моим телом, как если б это была плохо вымытая тряпка, и, – о, я несчастная! – он отнял у меня то, что я берегла более двадцати трех лет, защищая мое сокровище от мавров и христиан, от земляков и чужестранцев, – и всегда была я тверда, как пробковое дерево, и сохраняла себя в целости, как саламандра в огне, или как шерсть на терновни-



Что ответите вы на это, добрый старик с палкой? – спросил Санчо.

ке, для того, чтобы этот добрый человек явился теперь ощупывать меня своими чистыми руками.

– Надо еще исследовать, чистые ли руки этого ухаживателя или нет, – сказал Санчо и, обратившись к тому человеку, спросил его, что может он сказать и ответить на обвинения этой женщины. А он весь смущенный ответил:

– Сеньоры, я бедный свинопас и сегодня утром вышел из этого местечка, продав четырех (будь сказано с вашего позволения) свиней и за них с меня взяли пошлинами и вымогательствами не многим меньше, чем вся их стоимость. Возвращаясь к себе в деревню, я встретился на дороге с этой доброй дуэньей, и дьявол, который все запутывает и перепутывает, устроил так, что мы с ней позабавились. Я ей заплатил, что следовало, а она осталась недовольна и, схватив меня, не отпустила, пока не привела сюда. Она говорит, что я взял ее силой, и ажет, клянусь присягой, которую я готов принять и приму; вот вам вся правда, и я ни на волос не отступил от нее.

Тогда губернатор спросил его, есть ли у него при себе несколько денег серебром. Пастух ответил, что есть около двадцати дукатов в кожаном кошельке за пазухой. Санчо велел ему достать этот кошелек и со всем содержимым передать его истице и он, весь дрожа, так и сделал; женщина взяла кошелек и, отвесив тысячу низких поклонов кругом и моля Бога за жизнь и здоровье сеньора губернатора, который так заботится о бедных сиротах и девушках, радостная ушла с судбища, крепко держа кошелек обеими руками, хотя сперва посмотрела, действительно ли там есть серебро. Едва вышла она, как Санчо сказал пастуху, который уже ручьями проливал слезы, и глаза и душа которого устремились вслед за кошельком его: – Идите, добрый человек, за

этой женщиной и отнимите у нее кошелек, желает ли она или нет, и вернитесь с нею сюда.

Говорил он это не дураку и не глухому, потому что пастух вскочил тотчас же, как молния, и побежал исполнять то, что ему было приказано. Все присутствующие удивились и с нетерпением ждали конца этой тяжбы. Немного спустя вернулись человек и женщина, еще крепче схватившись и сцепившись друг с другом, чем в первый раз. У нее был поднят подол, в котором она прятала кошелек, а пастух силился отнять его у нее. Но это оказалось невозможным, так сильно защищалась женщина, громко кричавшая:

– Правосудие перед Богом и людьми! Посмотрите, милость ваша, сеньор губернатор, до чего дошло бесстыдство и дерзость этого злодея: – он среди народа, посреди улицы хотел отнять у меня кошелек, который ваша милость приказала ему дать мне.

– Отнял он его у вас? – спросил губернатор.

– Как отнял? – ответила женщина. – Я скорей дала бы отнять жизнь свою, чем кошелек! Нашли какую малютку! Других бы котов пришлось науськать на меня, а не этого несчастного замараху. Клещами и молотками, стамесками и долотами нельзя было бы вырвать у меня из рук этот кошелек, даже и львиным когтям: скорей можно было бы вырвать у меня душу из середины тела.

– Она права, – сказал мужчина, – и я признаю себя побежденным и утомленным и сознаюсь, что у меня не хватит силы отнять у нее кошелек.

С этими словами он ее оставил.

Тогда губернатор сказал женщине:

– Покажите, почтенная и доблестная женщина, этот кошелек.

Она тотчас же подала ему кошелек, а губернатор вернул его пастуху и сказал

столь сильной, но не изнасилованной женщине:

– Сестра моя, если бы вы то же мужество и ту же храбрость, которые вы проявили теперь, защищая этот кошелек, хотя бы наполовину проявили, защищая свое тело, силы Геркулеса не хватило бы изнасиловать вас. Ступайте себе с Богом и в добрый час, и не показывайтесь на всем этом острове и на шесть миль в его окружности под страхом наказания двумястами ударов бичом. Уходите тотчас же, говорю я, шарлатанка, бесстыдница и обманщица!

Женщина испугалась и ушла с опущенной головой и очень недовольная, а губернатор сказал пастуху:

– Добрый человек, идите себе с Богом в вашу деревню с вашими деньгами, и отныне впредь, если не хотите лишиться их, постарайтесь, чтобы вам не приходило на ум забавляться с кем бы то ни было.

Пастух поблагодарил его, как нельзя хуже, и ушел; а присутствующие пришли опять в изумление от решений и приговоров нового своего губернатора. Все это было отмечено его летописцем и немедленно сообщено герцогу, который с большим нетерпением ожидал о нем известий. Но оставим теперь доброго Санчо, так как мы очень спешим к его господину, встревоженному пением Алтисидоры.





Глава XLVI

Об ужасном испуге, причиненном Дон Кихоту колокольчиками и кошками во время любовного приключения влюбленной в него Алтисидоры.

Мы оставили великого Дон Кихота, погруженного в мысли, вызванные у него влюбленной в него Алтисидорой. Он

лег в постель с этими мыслями, но они, точно блохи, не давали ему ни на минуту ни уснуть, ни отдохнуть; к этому присоединилась еще и забота о чулках, которые отказывались служить ему. Однако, так как время быстротечно и нет той преграды, которая могла бы удерживать его, оно неслось верхом на часах и быстро настало утро. Увидев это, Дон Кихот покинул мягкую перину, проворно облекся в замшевый свой наряд и надел дорожные сапоги, чтобы скрыть злоключение с чулками. Поверх всего он накинул яркочерный плащ, на голову надел зеленую бархатную шапочку с отделкой из серебряного галуна, через плечо перекинул перевязь с своим добрым, острым мечом; взял в руки большие четки, которые всегда имел при себе, и очень торжественной и важной походкой направился в зал, где герцог и

герцогиня находились уже одетые, и, казалось, ждали его; и когда он проходил через галерею, здесь стояла Алтисидора и другая девушка, ее подруга, нарочно поджидая его. Лишь только Алтисидора заметила Дон Кихота, она сделала вид, что падает в обморок, но ее подруга подхватила ее на руки и стала быстро расшнуровывать ей платье. Увидев это, Дон Кихот, подойдя к ним, сказал:

– Я уже знаю, какая причина этих припадков.

– Но я не знаю ее, – ответила подруга Алтисидоры, – потому что Алтисидора самая здоровая девушка из всего здешнего дома, и я никогда не слышала от нее ни единого ах, во все время, что я ее знаю. Пусть постигнет гибель всех странствующих рыцарей, сколько бы их ни было на свете, если они все такие неблагодарные! Уходите, милость ваша, сеньор Дон Кихот, потому что бедная девушка не придет в себя, пока ваша милость здесь.

На это Дон Кихот ответил:

– Устройте так, милость ваша, сеньора, чтобы этой ночью мне в комнату положили лютню, и я, насколько сумею,

утешу эту огорченную девушку, так как при начале любви быстрое разочарование является обыкновенно хорошо испытанным средством.

И с этими словами он ушел, чтоб не возбудить подозрений в тех, которые увидели бы его там. Не успел он отойти, как упавшая в обморок Алтисидора, придя в себя, сказала своей подруге:

– Нужно будет положить ему в комнату лютию; наверное Дон Кихот желает нам сыграть что-нибудь, и музыка эта будет не плохая, раз она исходит от него.

Они тотчас же отправились к герцогине сообщить ей о случившемся и о том, что Дон Кихот просил лютию. Герцогиня весьма обрадовалась этому и сговорила с герцогом и со своими девушками сыграть с рыцарем шутку, которая была бы скорее смешной, чем опасной, и очень довольные, они стали ждать ночи, наступившей также быстро, как наступил день. Герцог и герцогиня провели его в приятных разговорах с Дон Кихотом; и герцогиня в этот день действительно и на самом деле отправила одного из своих пажей, – того, который в лесу играл роль очарованной Дульсинеи, – к Тересе Панса с письмом к ней ее мужа Санчо Пансы и с узлом платья, который он оставил, чтобы ей переслали его; и герцогиня поручила пажу подробно сообщить ей обо всем, что у него произойдет с Тересой. После того, как это было сделано и наступило одиннадцать часов ночи, Дон Кихот нашел в своей комнате гитару. Он настраивал ее, открыл решетчатое окно и услышал, что в саду ходят люди. Проведя пальцами по струнам гитары и окончательно настроив ее, как можно лучше, он откашлялся, прочистил себе горло и тотчас, несколько сиплым, хотя и верным голосом, спел следующий романс, который он сам в тот же день сочинил.

Часто мощь и сила страсти
С петель душу нам срывает. –
Ей орудьем служит праздность
И досуг ей помогает.
Есть одно противоядье
От любовного томленья:
Шить, вязать, искать в работе
И в занятиях исцеленья.
Пусть все девушки, что склонны
Выйти замуж, так и знают: –
Их приданое – их скромность
И она их украшает.
Всякий странствующий рыцарь,
Все в дворцах что обитают, –
С легкомысленными шутят,
В жены – скромных выбирают.
Хоть порою у хозяйки
С гостем страсть мелькнет от скуки, –
Но закат той страсти близок:
Он наступит в час разлуки.
А любовь, что нынче вспыхнет
И уж завтра угасает,
Никогда следов глубоких
На душе не оставляет.
Как картину на картину
Рисовать не подобает,
Так и образ той, что любишь,
Остальных всех вытесняет.
Врезан в сердце столь глубоко
Дульсинеи лик прекрасный,
Что его стереть, изгладить –
Был бы труд совсем напрасный.
Ярко светит постоянство,
Дух влюбленных возвышает:
В единении с любовью
Чудеса он совершает.

Дон Кихот дошел до этого места в своем пении, которое слушали герцог и герцогиня, Алтисидора и почти все слуги замка, как вдруг из верхней галереи, выходявшей как раз над самым окном Дон Кихота, спустили веревку, на которой было привешено более ста бубенчиков и тотчас затем вытряхнули большой мешок, наполненный кошка-

ми, у которых тоже были привязаны к хвостам бубенчики, только поменьше. Звон бубенчиков и мяуканье кошек производили такой отчаянный шум, что даже герцог и герцогиня, которые изобрели эту затею, были поражены, а Дон Кихот, испугавшись, пришел в полнейший ужас. Случаю было угодно, чтобы две или три кошки вскочили через окно к нему в комнату и метались здесь из стороны в сторону, так что казалось, точно целый легион дьяволов забрался сюда. Они потушили свечи, горевшие в комнате, и носились по ней, отыскивая себе выход. Веревка с привязанными к ней большими бубенчиками продолжала то опускаться, то подниматься, и большинство людей в замке, не зная в чем дело, были перепуганы и изумлены. Дон Кихот поднялся, обнажил свой меч, стал наносить им удары по окну и громким голосом кричал:

– Прочь, злобные волшебники! Прочь, сборище колдунов! Я – Дон Кихот Ламанчский, против которого ваши злые намерения бессильны и недействительны!

И затем, повернувшись к кошкам, которые бегали по его комнате, он принялся наносить им удары. Они бросились к окну и выскочили из него, но одна, которую удары меча Дона Кихота уж очень теснили, прыгнула ему в лицо и вцепилась ему в нос зубами и когтями до того, что Дон Кихот от боли закричал изо всей силы. Услышав это, герцог и герцогиня догадались в чем дело, бросились к нему поспешно в комнату и, открыв ее бывшим у них ключом, увидели, что бедный рыцарь изо всех сил сражается, чтобы оторвать кошку, вцепившуюся ему в лицо. Войдя в комнату со свечами, они увидели неравную битву; герцог хо-

тел разнять сражающихся, но Дон Кихот громким голосом закричал:

– Пусть никто не отнимает его у меня, пусть дадут мне биться в рукопашном бою с этим демоном, с этим колдуном, с этим волшебником, потому что я сам покажу ему, кто такой Дон Кихот Ламанчский.

Но кошка, не обращая внимания на эти угрозы, рычала и цеплялась за него еще крепче. Наконец, герцог оторвал ее и выбросил за окно: а Дон Кихот остался с расцарапанным лицом и не совсем неповрежденным носом, хотя и очень раздосадованный, почему не дали ему окончить битву, которую он так непреклонно вел с этим негодяем-волшебником. Послали за маслом де Апарисио¹, и сама Алтисидора лилейно-белыми руками своими наложила повязку на все его раны и, накладывая ее, сказала тихим голосом:

– Все эти несчастья случаются с тобой, рыцарь Каменного сердца, за твой грех закоснелости и упрямства. Дай-то Бог, чтобы твой оруженосец Санчо забыл бичевать себя и очарование не было снято со столь любимой тобой Дульсинеи, и чтобы ты никогда не мог насладиться ею и не разделил бы никогда с нею супружеского ложа, по крайней мере, до тех пор, пока жива я, которая боготворю тебя.

На все это Дон Кихот не ответил ни слова, а только испустил глубокий вздох, и тотчас растянулся на постели и поблагодарил герцога и герцогиню за их милость не потому, чтобы этот кошачий сброд, с их бубенчиками и волшебством, внушил ему страх, а потому, что он увидел доброе намерение герцогской четы прийти ему на помощь.

Герцог и герцогиня оставили его отдыхать и ушли, огорченные дурным исходом изобретенной ими шутки, так

¹ Aceite de Aparicio – декокт разных медицинских снадобий, названный так по имени его изобретателя, как говорят одни, или настойка из зверобоя, как утверждают другие.



Уходите, милость ваша, сеньор Дон Кихот, потому что бедная
девушка не придет в себя, пока ваша милость здесь.

как они не думали, что приключение это могло обойтись так дорого и тяжело Дон Кихоту. Оно стоило ему пяти дней заключения в комнате и лежания в постели, где с ним случилось другое приклю-

чение, более приятное, чем последнее, но историк не хочет теперь рассказывать его, чтобы вернуться к Санчо Пансе, который оказался очень деятельным и забавным в своем губернаторстве.





Глава XLVII

Заключает в себе продолжение рассказа о том, как Санчо Панса вел себя на своем губернаторстве.

История повествует, что из суда Санчо повели в роскошный дворец, где в большой зале был накрыт королевский и очень изящный стол. Лишь только Санчо вошел в зал, заиграли гобои, и к нему подошли четыре пажа, чтобы подать ему умыть руки, что он и проделал с большим достоинством. Музыка умолкла, и Санчо сел на верхний конец стола, так как не было другого стула, а на всем столе не было другого прибора. Рядом с Санчо поместился, стоя, какой-то человек, который оказался потом доктором, а в руках у него был маленький жезл из китового уса. Сняли дорожную белую скатерть, которой были прикрыты фрукты и множество блюд с различными яствами, стоявшие на столе. Кто-то, на вид вроде студента, прочел благослове-

ние, паж надел на Санчо украшенный кружевами нагрудник, другой паж, исполнявший обязанности маэстресала, подал ему блюдо с фруктами¹. Но едва Санчо проглотил кусок, как человек с маленьким жезлом прикоснулся им до блюда, которое с большой поспешностью унесли. Впрочем маэстресала тотчас же подал ему второе блюдо, и Санчо только что собрался отведать его, но прежде, чем он успел прикоснуться к нему и взять в рот хоть кусочек, маленький жезл уже дотронулся до блюда, и его унесли с той же поспешностью, как и блюдо с фруктами.

Увидав это, Санчо изумился и, окинув глазами всех бывших в зале, спросил, должен ли он обедать как фокусник? На это человек с жезлом ответил ему:

– Вы, сеньор губернатор, должны обедать так, как это принято и в обычае и на других островах, где есть губерна-

¹ В старинные времена, в больших домах обед начинался свежими фруктами, а кончался сухими фруктами и вареньем.

торы. Я, сеньор, – доктор и получаю жалование на этом острове, чтобы состоять врачом при губернаторах, о здоровье которых я забочусь гораздо больше, чем о своем собственном, и днем и ночью изучаю и исследую комплекцию губернатора, чтобы суметь вылечить его, если бы он заболел. Главная моя обязанность – присутствовать при обедах и ужинах губернатора и позволять ему есть лишь то, что на мой взгляд может быть полезно ему, устраняя все, что по моему мнению может ему повредить и плохо подействовать на его желудок. Я велел унести блюдо с фруктами потому, что оно чрезмерно сырое, а блюдо с другими яствами я тоже велел убрать, так как это кушанье чрезмерно горячит, и в нем много пряностей, усиливающих жажду, а тот, кто много пьет, тратит и истребляет коренную влагу, составляющую суть жизни.

– В таком случае вот то блюдо с жареными куропатками, которые, как мне кажется, очень вкусны, не может повредить мне?

На это доктор ответил:

– Куропаток сеньор губернатор не отведаст, пока я жив.

– Но почему же? – спросил Санчо.

– Потому что, – ответил доктор, – учитель наш Гиппократ, путеводная звезда и свет медицины, говорит в одном из своих афоризмов: *Omnis saturatio mala, perdices autem pessima*¹. Что означает: всякое пресыщение вредно, а вреднее всего пресыщение куропатками.

– Если это так, – сказал Санчо, – пусть же из всех блюд, стоящих здесь на

столе, сеньор доктор выберет те, которые наиболее мне полезны и наименее вредны, и дайте мне их есть, не притрагиваясь к ним вашей палочкой; потому что, клянусь жизнью губернатора, – и дай мне Бог насладится ею, – я умираю с голода, и отказывать мне в пище, – наперекор доктору и что бы он там ни говорил, – скорее значило бы отнять у меня жизнь, чем продолжить ее.

– Вы правы, милость ваша, сеньор губернатор, – ответил доктор, – итак, по моему мнению вашей милости не следует есть тех вот шпигованных кроликов, потому что кушанье это неудобоваримо для желудка. А эту телятину, если бы она не была вареная и тушеная, еще можно было бы вам отведасть, но теперь никак нельзя.

– Вот то большое блюдо, там дальше, – сказал Санчо, – от которого идет такой пар, мне кажется, что это *olla podrida*², и при разнообразии овощей и говядины в таких «*olla podrida*» верно тут найдется что нибудь вкусное и полезное для меня.

– Absit! – сказал доктор, – пусть подалее отыдет от нас столь дурная мысль. Нет ничего на свете менее питательно-го *olla-podrida*. Пусть ею наслаждаются каноники, ректоры коллегий, гости на деревенских свадьбах, и да остается свободным от нее обед губернаторов, на котором уместны только самые утонченные и изысканные блюда! Причина этого та, что всегда, где бы то ни было и кем бы то ни было, простые лекарства больше ценятся, чем сложные, так как в простых нельзя ошибиться, а в сложных легко

¹ Собственно Гиппократ говорит: *Omnis saturatio mala, panis autem pessima*, – т. е. вреднее всего пресыщение хлебом, а не куропатками.

² Блюдо это было когда-то национальным блюдом в Испании; теперь оно попадает лишь изредка. *Olla* – горшок, в котором варится еда, – *podrida* (перезрелая); – оттого, что говядина, овощи и приправа варились до тех пор, пока не разваливались, как перезрелые фрукты. Теперь в Испании подается только «*olla*», – нечто родственное французскому «*pot-à-feu*».



Absit! – сказал доктор, – пусть подальше отыдет от нас столь дурная мысль.

можно, изменив количество тех предметов, из которых они готовятся. Но я знаю, *что* сеньору губернатору, если он желает сохранить и укрепить свое здоровье, следует теперь съесть сотню маленьких бисквитных трубочек¹ и несколько тоненьких ломтиков айвы, – и то и другое очень полезно для желудка и способствует пищеварению.

Услышав это, Санчо откинулся на спинку кресла и, пристально устремив взгляд на доктора, серьезным тоном спросил его, как его зовут и где он учился?

На это доктор ответил:

– Зовут меня, сеньор губернатор, доктором Педро Ресио де Агуэро², а родом я из местечка Тиртеафуэра³, которое находится по правую руку, если идти из Каракуэлы в Альмодовар дель Кампо; докторскую же степень я получил от Оссунского университета.

На это Санчо, весь вспыхнув гневом, ответил:

– Итак, сеньор доктор Педро Ресио де мал Агуэро⁴, родом из Тиртеафуэра – местечка, находящегося по правую руку, если идти из Каракуэлы в Альмодовар дель Кампо, получивший ученую степень от Оссунского университета, – вон отсюда сейчас, с глаз долой! А иначе клянусь солнцем, я возьму дубину и так расправлюсь ею со всеми докторами, начиная с вас, что у меня ни один из них не останется на всем острове, по крайней мере

из числа тех, которые покажутся мне невеждами, потому что знающих, умных и осторожных докторов я поставлю выше головы своей и буду их чтить, как божественных людей. Повторяю опять, вон отсюда, Педро Ресио, – в противном случае, я возьму стул, на котором сижу, и разобью его вдребезги о его голову; и пусть требуют у меня отчета за это *en residencia*⁵, так как я оправдаюсь, сказав, что сделал угодное Богу, лишив жизни дурного врача, который был палачом общества. И дайте мне что-нибудь поесть, не то берите назад ваше губернаторство, так как должность, которая не кормит того, кто занимает ее, не стоит и двух бобов.

Доктор испугался, увидав, до какой степени рассердился губернатор, и только что он собрался уйти из зала, как в эту минуту раздался на улице почтовый рожок, и маэстресала, выглянув из окна, повернул голову и сказал:

– Едет посланец от моего сеньора герцога; он везет, должно быть, какое-нибудь важное приказание.

Гонец вошел в зал, весь запыхавшийся и в поту, и вынув письмо из-за пазухи, передал его в руки губернатора. Санчо же отдал его мажордому, которому приказал прочесть надпись, а она гласила: *Дону Санчо Пансе, губернатору острова Баратариа, в собственные руки, или в руки его секретаря.*

Услышав это, Санчо спросил: – Кто же тут мой секретарь?

¹ Suplicaciones – продавались на улицах в Мадриде во времена Сервантеса.

² Rescio – значит «упрямый, несговорчивый», agüero – «предзнаменование, предвещание».

³ Tirteafuera, – буквально «убирайся вон». И теперь в Испании совершенно на том же месте, как сказано, имеется деревенька этого имени.

⁴ Дурное предзнаменование.

⁵ Pidenme en residencia. По старинному испанскому закону в Fuero Juzgo всякое должностное лицо, оставляя должность, обязано было пробыть в течение, по крайней мере, месяца в главном губернском городе, чтобы можно было произвести следствие по его деятельности, проверить все счета и выслушать показания публики. Это называлось быть «en residencia», так что слово residencia стало означать и суд.

Один из присутствовавших ответил:

– Я, сеньор, потому что я умею читать и писать, и я – бискаец¹.

– С этим добавлением, – сказал Санчо, – вы могли бы быть секретарем самого императора. Откройте письмо и посмотрите, что там написано.

Новоиспеченный секретарь так и сделал и, прочитав письмо про себя, сказал, что речь идет в нем о таком деле, о котором надо переговорить наедине с губернатором. Санчо велел очистить залу, так чтобы в ней остались только мажордом и маэстресала; и когда доктор и остальные удалились, тотчас же секретарь прочел письмо, в котором говорилось следующее:

До моего сведения дошло, сеньор дон Санчо Панса, что некоторые мои враги и враги этого острова намерены произвести яростное на него нападение, не знаю в какую ночь. Вам следует бодрствовать и быть на страже, чтобы не застали вас врасплох. Я знаю также от достоверных шпионов, что четыре переодетых человека пробрались в город, намереваясь убить вас, так как они опасаются вашего выдающегося ума. Откройте глаза, всматривайтесь в тех, кто явится говорить с вами, и не ешьте того, что вам предложат. Я озабочусь прийти вам на помощь, если бы вы попали в затруднительное положение, и во всем поступайте так, как этого можно ждать от вашего ума.

*Дано здесь 16-го Августа
в четыре часа утра.
Ваш друг Герцог.*

Санчо был поражен, а также и присутствующие выражали свое удивление. Но губернатор обратился к мажордому, говоря:

– То, что теперь нужно сделать и сделать тотчас же, это посадить в тюрьму доктора Ресио, потому что, если кто-либо имеет в виду убить меня, так это он, да еще самым продолжительным, мучительным способом – голодной смертью.

– И мне также кажется, – сказал маэстресала, – что вашей милости не следовало бы ничего есть из всего, что наставлено здесь на столе, потому что это приношения монахинь, а, как принято говорить, за крестом стоит дьявол.

– Не отрицаю этого, – сказал Санчо, – и теперь пусть мне дадут кусок хлеба и фунта четыре винограда, потому что в нем не может быть яда, и, право, я не в силах выносить больше голода, и если нам надо быть готовыми к битвам, которыми нам угрожают, то следует хорошенько подкрепить себя едой, потому что не сердце несет кишки, а кишки несут сердце. И вы, секретарь, ответьте герцогу, сеньору моему, и скажите, что все, что он приказывает, будет исполнено, не отступая ни на йоту от его приказа. И напишите еще от моего имени, что я целую руки сеньоры герцогини и умоляю ее не забыть послать с особым гонцом письмо мое и узел с платьем жене моей Тересе Панса. Я сочту это за великую милость с ее стороны и постараюсь служить ей всем, что только будет в моих силах. Попутно вы можете еще вставить в письмо, что я целую руку у моего господина сеньора Дон Кихота Ламанчского, чтобы он видел, что я благодарен за хлеб его и вы, как хороший секретарь и хороший бискаец, можете добавить еще от себя все то, что пожелаете и что покажется вам уместным. А теперь пусть уберут эти скатерти и дадут мне поесть, а я уже справлюсь со всеми шпионами, убийцами и волшебниками,

¹ Над бискайцами трунило большинство писателей того времени из-за массы занимаемых ими придворных должностей, в особенности мест секретаря королей.

сколько бы их не напало на меня и на мой остров.

Между тем в комнату вошел паж и сказал:

– Пришел крестьянин, который желает поговорить с вашей сеньорией о деле крайне важном, как он уверяет.

– Что за странные люди, – сказал Санчо, – все эти просители. Возможно ли, чтобы они были столь глупы и не понимали бы, что в такие часы, как теперь, не время заниматься делами. Быть может, мы, правители, мы, судьи, – не люди из плоти и костей и нам не следует давать необходимого, требуемого природой отдыха, или же они желали бы, чтобы мы были сделаны из камня, мрамора? Клянусь Богом и моею совестью, если губернаторство мое продолжится долго (а мне сдается, что этого не будет), я вразумлю многих из таких деловых людей. Но теперь скажите доброму этому человеку, пусть он войдет, только удостоверьтесь сначала, не из шпионов ли он и не из убийц ли моих?

– Нет, сеньор, – ответил паж, – потому что он кажется хрустальной душой: или я мало понимаю, или он такой хороший, как хороший хлеб.

– Вам нечего бояться, – сказал мажордом, – потому что мы здесь все.

– Нельзя ли было бы, маэстресала, – спросил Санчо, – теперь, когда тут нет доктора Педро Ресио получить мне поесть что-нибудь основательное и более питательное, хотя бы кусок хлеба и луковицу?

– Сегодня вечером ужин вознаградит вас за неимение обеда и ваша светлость останется довольна, – сказал маэстресала.

– Дай то Бог, – ответил Санчо.

В это время вошел крестьянин с очень приятной наружностью и на расстоянии тысячи миль легко было видеть,

что он хороший и добрейший человек. Первым делом он спросил:

– Кто здесь сеньор губернатор?

– Кто же может им быть, – ответил секретарь, – как не тот, кто сидит там на стуле.

– В таком случае склоняюсь перед лицом его, – сказал крестьянин и, встав на колени, попросил у него руку, чтобы поцеловать ее. Но Санчо не допустил этого и велел ему встать и объяснить, что ему надо. Крестьянин так и сделал и сказал:

– Я, сеньор, крестьянин родом из Мигель Турра, местечка в двух милях расстояния от Сиудад Реал.

– Что это, другой Тиртеафуэра? – спросил Санчо. – Но, говорите, брат; я могу вам сказать, что очень хорошо знаю Мигель Турра, и оно не далеко от моего села.

– Дело в том, сеньор, – продолжал крестьянин, – что я женат милостью Божьей и с дозволения и разрешения святой римско-католической церкви. У меня два сына студента; из них младший готовится в бакалавры, старший – в лисенсиаты. Я – вдовец, потому что жена моя умерла или, вернее говоря, ее убил плохой доктор, который давал ей слабительное в то время, как она была беременна, – и если б Богу было угодно, чтобы она родила и ребенок ее был сыном, он у меня готовился бы на доктора, чтобы он не мог завидовать своим братьям, бакалавру и лисенсиату¹.

– Так что, – сказал Санчо, – если б ваша жена не умерла, или если бы ее не убили, вы теперь не были бы вдовцом?

– Да, сеньор, никоим образом не был бы им, – ответил крестьянин.

– Быстро мы подвигаемся, – возразил Санчо. – Продолжайте, брат, теперь скорее время спать, чем заниматься делами.

¹ Бакалавр – первая ученая степень, лисенсиат – вторая, доктор – третья и последняя.

– Итак, я говорю, – сказал крестьянин, – что тот мой сын, которому предстоит быть бакалавром, влюбился в нашем же местечке в девушку по имени Клара Перлерины, дочь Андреа Перлерино¹, богатейшего земледельца, и это их имя, Перлеринес, перешло к ним от их предков, по той причине, что все в их роду паралитики, и, чтобы скрасить свое имя, они называют себя Перлеринес. Но, говоря по правде, девушка та словно жемчужина Востока, и если посмотреть на нее с правой стороны, она похожа на полевой цветок; с левой она уже не так хороша, потому что тут у нее не хватает глаза, которого она лишилась от оспы. И хотя на лице у нее много больших оспин, но те, которые ее любят, говорят, что это не оспины, а могилки, в которых похоронены души ее поклонников. Она до того чистоплотна, что из опасения запачкать себе лицо, держит нос, как говорится, вздернутым кверху; так и кажется, будто он убегает от ее рта. Тем не менее, она чрезвычайно хороша, потому что рот у нее очень большой и, если бы не недостаток десяти или двенадцати передних и коренных зубов, этот рот мог бы считаться и сойти за один из самых красивых ртов. О губах я ничего не могу сказать, потому что они такие нежные и тонкие, что, если б было в обычае намазывать губы, из них мог бы выйти целый большой клубок. А так как у этих губ не тот цвет, который бывает обыкновенно у губ, они кажутся просто изумительными, потому что в них вкраплены голубые, зеленые и фиолетовые пятна. Да простит мне сеньор губернатор, что я так подробно расписываю качества той, которая рано или поздно будет моей невесткой, потому что я к ней хорошо отношусь и она не кажется мне некрасивой.

– Расписывайте, что хотите, – сказал Санчо, – мне нравится живопись и,

если б я пообедал, для меня не было бы лучшего десерта, как нарисованный вами портрет.

– Этим могу служить вам, – сказал крестьянин, – но придет время и чего у нас нет, может оказаться, и я говорю, сеньор, что, если б я мог описать изящество и высокий рост ее, вы бы удивились; но не могу этого сделать по той причине, что она искривлена и горбата, и коленки подходят у нее к подбородку. Тем не менее сейчас видать, что, если б она выпрямилась, ее голова достала бы до потолка. И она бы наверное уже отдала руку своему бакалавру, но только она не может протянуть ее, так как она сведена; тем не менее, по широким и вогнутым внутрь ногтям можно видеть красоту и изящество ее рук.

– Ну, хорошо, – сказал Санчо, – обратите внимание, брат, что вы уже рисовали ее с ног до головы, – чего же вы теперь хотите? Говорите, в чем дело без изворотов и обиняков, без болтовни и растягивания.

– Я желал бы, сеньор – ответил крестьянин, – чтобы ваша милость оказала мне такое благодеяние и дала бы мне рекомендательное письмо к отцу моей невестки, прося его, чтобы он согласился, и свадьба эта состоялась, так как мы с ним равны и по дарам судьбы, и по дарам природы, потому что, говоря вам правду, сеньор губернатор, мой сын одержим бесами и не проходит дня, чтобы три или четыре раза не мучили его злые духи. А оттого, что он однажды упал в огонь, у него лицо все сморщилось, как пергамент, и глаза у него немного слезятся и гноятся; но душа его ангельская и, если бы он не накидывался на себя и не бил себя кулаками, – он был бы святой.

– Не желаете ли вы еще чего-либо, добрый человек? – спросил Санчо.

¹ Тут игра слов: *perla* и *perlesia* – «жемчуг» и «паралич».

– Я желал бы еще одного, – сказал крестьянин, – только не осмеливаюсь сказать... Но так и быть, – не сгнивать же этому у меня в желудке, будь, что будет. Говорю, сеньор, что я желал бы, чтобы ваша милость дала мне триста или шестьсот червонцев в помощь для приданого моему бакалавру; я говорю в помощь для устройства собственного хозяйства, потому что, наконец, надо им жить у себя, не подвергаясь неприятностям со стороны тестя и тещи.

– Подумайте, не желаете ли еще чего-нибудь, – сказал Санчо, – и пусть не удерживает вас высказать это ни робость, ни стыд.

– Нет, больше ничего, – ответил крестьянин. Но не успел он проговорить этих слов, как губернатор встал, схватил стул, на котором сидел, и воскликнул:

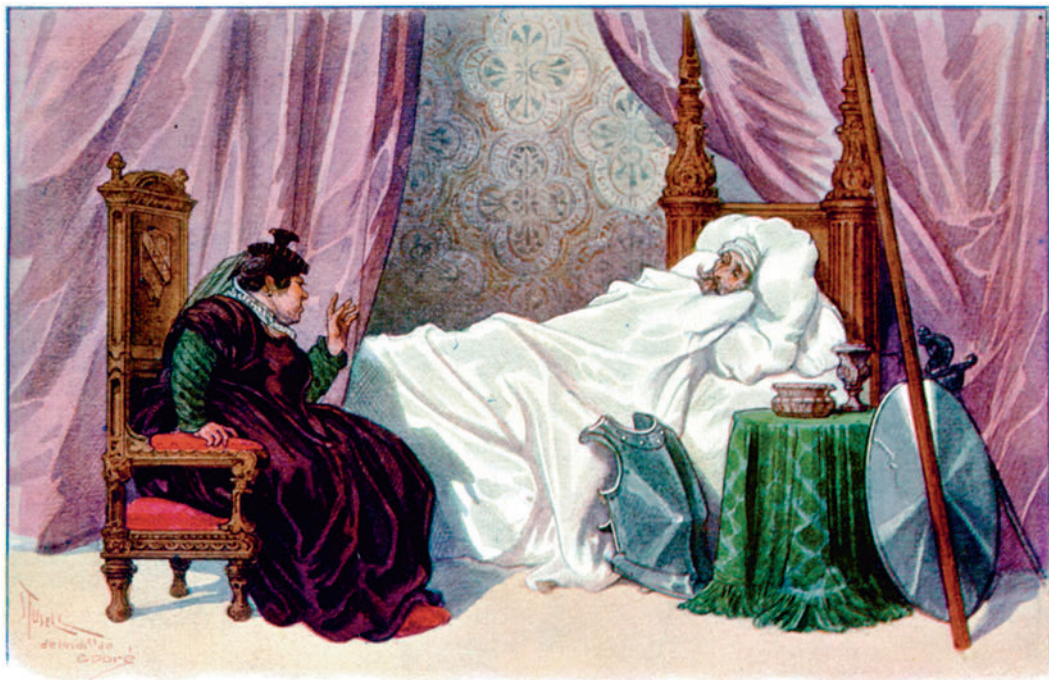
– Клянусь тем и этим, дон Увалень, грубый и необтесанный, что, если вы сейчас же не уйдете отсюда и не скроетесь с глаз моих, я проломаю и расколю вам голову вот этим стулом. Сын блудницы, плут, живописец черта, ты в такие часы приходишь просить у меня шестьсот червонцев? Откуда я их возьму, бездельник? И если б я их даже имел, почему я дал

бы их тебе, обманщик и болван? Что мне за дело до Мигель Турра и до всего рода Перлеринес? Ступай с глаз моих долой, говорю я, не то, клянусь жизнью сеньора моего герцога, я сделаю то, что обещал. Должно быть, ты вовсе не из Мигель Турра, а какой-нибудь плут, которого сам ад прислал сюда, чтобы искушать меня. Скажи ты мне, окаянный, еще нет и полутора суток, что я губернаторствую, а ты уже воображаешь, что у меня накопилось шестьсот червонцев!

Маэстресала дал знак крестьянину, чтобы он уходил, и тот это сделал и вышел из комнаты с опущенной головой и, по-видимому, боясь, чтобы губернатор не привел в исполнение своей угрозы, так как плут очень хорошо сыграл свою роль.

Но оставим Санчо с его гневом и да будет мир всюду, и вернемся к Дон Кихоту, оставленному нами с забинтованным лицом, занятого лечением кошачьих ран, которые не зажили у него в течение восьми дней. А в один из этих дней с ним случилось то, что Сид Амет обещает рассказать с точностью и правдивостью, с какими он привык передавать все происшествия этой истории, как бы они ни были незначительны.





Глава XLVIII

О том, что произошло у Дон Кихота с доньей Родригес, дуэньей герцогини, а также и о других событиях, заслуживающих быть записанными и увековеченными.

Чрезвычайно огорчен и раздосадован был тяжко раненный Дон Кихот с забинтованным лицом, отмеченным не рукой Божьей, а когтями кошки, — злоключения, присущие странствующему рыцарству. Шесть дней провел он, никому не показываясь. За это время, однажды ночью, когда он лежал с открытыми глазами и бодрствовал, размышляя о своих несчастьях и о преследованиях Алтисидоры, он услышал, что дверь его комнаты открывают ключом, и тотчас же вообразил себе, что влюбленная девушка пришла брать приступом его целомудрие и принудить его изменить верности, которую он обязан был хранить к своей даме Дульсинее Тобосской.

— Нет, — сказал он, поверив в действительность собственной фантазии (и сказал так громко, что его могли слышать), — величайшей красавице в мире не удастся побудить меня перестать боготворить ту, образ которой врезан и запечатлен в середине сердца моего и в самых сокровенных моих недрах, будь ты, сеньора моя, превращена в пропахшую луком¹ крестьянку, или в нимфу золотого Тахо, ткущую из скрученного золота и шелка ткани, и пусть Мерлин или Монтесинос держат тебя, где хотят, так как где бы ты ни была, ты — моя, и где бы я ни был, я всегда был и буду твоим.

В ту самую минуту, когда он договаривал эти слова, открылась дверь. Он встал на постели во весь свой рост, с ног до головы укутанный в одеяло из желто-

¹ Cebolluda — что может означать и пропахшую луком и круглую и плотную, как лук.

го атласа; на голове у него был большой ночной колпак¹, лицо и усы забинтованы, – лицо из-за кошачьих царапин, усы, чтобы они не растрепались и не обвисли; и в этом наряде он казался самым странным привидением, которое только можно было вообразить себе. Устремив глаза на дверь и ожидая, что войдет побежденная им и опечаленная Алтисидора, он увидел, что вошла почтеннейшая, дуэнья с белой ниспадающей складками вуалю, такой длинной, что она покрывала и укутывала ее с ног до головы. В левой руке дуэнья держала зажженную свечу, сгоревшую до половины, а правой рукой прикрывала от света свои глаза и без того защищенные очень большими очками. Шла она тихонько, осторожно передвигая ноги. Дон Кихот наблюдал за нею со своей сторожевой вышки и, когда он увидел ее одежду и заметил ее безмолвие, он подумал, что какая-нибудь ведьма или колдунья идет в этом наряде совершить над ним какое-нибудь злое дело, и он принялся поспешно творить крестное знамение. Видение приближалось, а когда оно дошло до середины комнаты, оно подняло глаза и заметило, как торопливо крестится Дон Кихот; и если рыцарь испугался, видя эту фигуру, то фигура пришла в ужас, увидав его, так что едва она взглянула на него, такого длинного, желтого, окутанного одеялом, всего в бинтах, обезображивающих его, она громко вскрикнула, говоря:

– Иисусе, что это я вижу! – и от испуга выронила из рук свечу. Очутившись в темноте, она повернулась, чтобы уходить, но от страха запуталась в юбках и грохнулась на пол.

Испуганный Дон Кихот сказал тогда:

– Заклинаю тебя, привидение, или кто бы то ни было, откройся мне, кто

ты и что тебе от меня нужно. Если ты – томящаяся душа, скажи, и я сделаю для тебя все, что будет в моей власти, так как я – христианин-католик и охотно делаю всем добро. С этой целью и вступил я в орден странствующих рыцарей, к которым принадлежу, и обязанность которого делать добро распространяется также и на души, находящиеся в чистилище.

Растерявшаяся дуэнья, услышав, что ее заклинают, по собственному страху догадалась о страхе Дон Кихота и ответила тихим и печальным голосом:

– Сеньор Дон Кихот (если только милость ваша – Дон Кихот), я не призрак, не привидение и не душа из чистилища, как, должно быть, думает милость ваша; я – донья Родригес, почетная дуэнья сеньоры герцогини, и пришла к вам с одной из тех нужд, в которых ваша милость обыкновенно оказывает помощь.

– Скажите мне, сеньора донья Родригес, – спросил Дон Кихот, – быть может, милость ваша пришла ко мне для какого-нибудь сводничества? Потому что заявляю вам, что я ни на что подобное не гожусь, благодаря несравненной красоте моей сеньоры Дульсинеи Тобосской. Словом, говорю вам, сеньора донья Родригес, если милость ваша отложит и оставит всякие любовные поручения, можете пойти, зажечь свою свечу и, когда вы вернетесь, мы поговорим с вами обо всем, что вам угодно и что доставит вам удовольствие, исключая, как я уже сказал, всяких нежных подзадориваний².

– Чтобы я, сеньор мой, взяла какое-либо подобное поручение! – ответила дуэнья; – плохо меня знает милость ваша. Да и годы мои еще не столь пожилые, чтобы я занималась такими ребячествами, потому что, слава Богу, душа у меня еще держится в теле, и передние и

¹ Galocha – старинного фасона колпак, плотно прилегающий к голове.

² Incitativo melindre – буквально *melindre*, означает нечто вроде оладий с медом.



Чрезвычайно огорчен и раздосадован был тяжко раненный Дон Кихот с забинтованным лицом...

коренные зубы целы во рту, за исключением очень немногих, которых я лишилась из-за флюсов, столь обычных в этой Арагонии. Но подождите меня немного, милость ваша; я пойду, зажгу свечу и вернусь рассказать о моих огорчениях вам, избавителю от всех бед в мире.

И не дожидаясь ответа, она вышла из комнаты, где Дон Кихот остался ждать ее, спокойный и задумчивый. Но тотчас же ему пришли на ум тысячи мыслей по поводу этого нового приключения и ему показалось, что он плохо сделал и еще хуже рассудил, подвергаясь опасности нарушить обет, данный им своей даме, и он сказал себе: – Кто знает, не задумал ли столь коварный и хитрый дьявол обмануть меня с дуэньей, так как он не мог этого сделать с императрицами, королевами, герцогинями, маркизами и графинями? Потому что много раз и от многих умных людей я слышал, что, если он может, он скорее подsunет вам плосконосу, чем с греческим носом¹. И кто знает, не пробудят ли во мне это уединение, этот подвернувшийся случай и эта тишина желаний, которые спят во мне, и не заставят ли они меня на склоне лет пасть там, где я никогда не спотыкался? В подобных случаях лучше отступить, чем ждать сражения. Но, должно быть, я не в здравом уме, если думаю и говорю такие нелепости, потому что мыслимо разве, чтобы дуэнья в белом головном уборе, тучная и с очками на глазах, могла бы вызвать или возбудить какие-либо сладострастные желания, хотя бы даже в самом развращенном сердце в мире? Да разве найдется на всем свете дуэнья, у которой было бы здоровое тело? Найдется ли на земном шаре дуэнья, которая

не была бы навязчива, дерзка и жеманна? Итак, прочь ватага дуэний, бесполезных для какого бы то ни было человеческого удовольствия! О, как хорошо поступала та сеньора, о которой рассказывают, что у нее, при входе в ее приемную, красовались две деревянные фигуры дуэний с очками на глазах и перед ними швейные подушечки, будто они сидят и работают, и эти статуи служили столь же хорошо для сохранения приличия в ее комнатах, как и настоящие дуэньи.

Говоря это, Дон Кихот встал с постели, намереваясь запереть дверь и не впускать донью Родригес. Но как раз, когда он собрался запереть дверь, сеньора Родригес уже возвратилась, держа в руке зажженную свечу из белого воска, и увидав вблизи Дон Кихота, укутанного в одеяло, с повязкой на лице и в ночном колпаке или ермолке на голове, она опять испугалась и, отступив шага на два, сказала:

– В безопасности ли я, сеньор Дон Кихот, так как не считаю весьма благоприятным признаком, что ваша милость встала с постели?

– То же самое и мне следовало бы спросить вас, сеньора, – ответил Дон Кихот; – итак, я спрашиваю – в безопасности ли я от нападения и насилия?

– От кого или против кого требуете вы этой безопасности для себя? – сказала дуэнья.

– Требую я ее от вас и против вас, – ответил Дон Кихот, – потому что ни я не из мрамора, ни вы не из бронзы, и теперь не десять часов утра, а полночь и даже, я думаю, несколько больше, и находимся мы с вами в комнате, более уединенной и замкнутой, чем, должно быть, была пе-

¹ Намек на поговорку: *Si la podemos dar roma, no la damos aguileña* – «если можем дать ее с плоским носом, не дадим с греческим носом»; причем *roma* – с плоским носом, – т.е. некрасивая женщина, считалась в народе более опасной для мужской добродетели, – чем красивая.



– Иисусе, что это я вижу!

щера, где коварный и отважный Эней наслаждался прекрасной и сострадательной Дидоной. Но дайте мне, сеньора, вашу руку, потому что я не желаю другого, большего удостоверения, чем собственное мое воздержание и целомудрие, и то, которое представляет мне столь почтенный головной ваш убор.

Говоря это, он поцеловал правую свою руку и взял ее руку, которую она подала ему, проделав ту же церемонию. Тут Сид Амет вставляет в скобках замечание и говорит, что он клянется именем Магомета, что отдал бы лучшую из двух имеющихся у него мантий¹ за то, чтобы видеть, как эти двое, взявшись за руки, прошли вместе от дверей к кровати.

Наконец, Дон Кихот лег на свою постель, а сеньора Родригес села на стул, несколько поодаль от него, не снимая своих очков и не выпуская из рук свечи. Дон Кихот свернулся под одеялом и закутался в него так плотно, что только лицо осталось открытым. После того, как они оба успокоились, первый прервал молчание Дон Кихот, который сказал:

– Теперь вы, милость ваша, сеньора донья Родригес, можете изложить мне и излить передо мной все, чем наполнено огорченное ваше сердце и чем озабочен ваш ум, так как я выслушаю вас целомудренными ушами и помогу вам милосердными делами.

– Верю этому, – сказала дуэнья, – потому что от приятной и изящной наружности вашей милости нельзя было ждать ничего иного, как только лишь такого христианского ответа. Дело в том, сеньор Дон Кихот, что, хотя милость ваша и видит меня сидящей здесь на этом стуле и

находящейся в самом сердце Аррагонии, в одежде увядающей и беспомощной дуэньи, я родом из горной местности Овидо и происхожу из семьи, которая находится в родстве с самыми знаменитыми семьями той местности. Однако несчастливая судьба моя и беззаботность моих родителей, которая привела их к раннему разорению – не знаю, как и почему, – были причиной того, что я должна была уехать ко двору в Мадрид и здесь родители мои в миролюбивых видах и чтобы уберечь от еще худших несчастий устроили меня в качестве горничной у одной знатной сеньоры. Я должна сказать вам, милость ваша, что в изготовлении тонкой бахромы и в шитье белья никто не мог во всю мою жизнь превзойти меня. Родители мои оставили меня в услужении и вернулись к себе на родину, а несколько лет спустя они, должно быть, отправились на небо, так как они всегда были добрыми католиками – христианами. Я осталась сиротой, довольствуясь скудным жалованием и незначительными подарками, которые обыкновенно делают горничным во дворцах. Около этого времени влюбился в меня, – к чему я не подала ему ни малейшего повода, – один из оруженосцев, человек уже пожилой, с бородой и представительной наружностью, а сверх всего такой же идальго, как и король, потому что он был горец². Мы не умели вести наши любовные дела так скрытно, чтобы они не дошли до сведения моей сеньоры, которая во избежание всяких сплетен поженила нас с разрешения и одобрения святой матери римско-католической церкви. От этого брака у нас родилась дочь, чтобы отнять у меня вся-

¹ Almalafas – мавританский плащ, покрывающий все тело, вроде теперешних бурнусов.

² Всякий уроженец Астурийских гор, – в знак того, что Астурия родина Пелаяо и колыбель испанской монархии и государства, – считает себя идальго и не ниже короля. Отсюда и произошло присловье: en siendo montañeses todos somos hidalgos – будучи горцами – мы все идальго.

кое счастье, – если когда-либо оно у меня было, – не потому, что я умерла от родов, которыми я разрешилась своевременно и благополучно, а потому, что вскоре после рождения нашей дочери умер муж мой от приключившегося с ним испуга, и будь у меня время рассказать об этом вашей милости, я знаю, что вы очень удивились бы.

Тут дуэнья начала горько плакать и сказала:

– Простите мне, ваша милость, сеньор Дон Кихот, но я не в силах сдержаться, потому что всякий раз, что я вспоминаю моего несчастливца, слезы текут у меня из глаз. Помогите мне, Боже, с какой гордостью возил он мою сеньору позади себя на крупе могучего мула, черного, как смоль, так как в то время еще не были в употреблении ни кареты, ни носилки, которые, как говорят, теперь в ходу, – а сеньоры ездили на мулах, сидя сзади своих оруженосцев. Но одного не могу не рассказать вам, чтобы вы убедились в благовоспитанности и обходительности моего доброго мужа. При въезде в улицу Сан-Яго в Мадриде, – а эта улица несколько узкая, – случилось, что как раз навстречу им шел столичный алькальд с двумя альгасиями впереди него; итак, лишь только мой добрый оруженосец увидел его, он повернул мула, готовясь сопровождать алькальда. Сеньора моя, сидевшая на крупе, сказала ему тихо: – Что вы делаете, несчастный, – не видите вы разве, что я здесь. – Из вежливости алькальд попридержал свою лошадь и сказал: – Поезжайте своей дорогой, сеньор, так как мне следовало бы сопровождать сеньору донью Касильду (это было имя моей госпожи). Тем не менее, муж мой, держа шапку в руках, настаивал

на том, чтобы ему сопровождать алькальда. Увидав это, сеньора, исполнившись гневом и досадой, вытащила большую булавку, или, я думаю, это было шило, и воткнула ему его в чресла, так что мой муж громко вскрикнул и до того скорчился всем телом, что вместе с госпожой своей упал на землю. Двое из ее лакеев подбежали, чтобы поднять ее, и тоже сделал и алькальд с альгасиями. Ворота Гадалахара¹ всполошились, я хочу сказать, вся бывшая там праздная толпа. Госпожа моя ушла пешком, а мой муж отправился в цирюльню, говоря, что у него насквозь проткнуты все внутренности. Слух об учтивости моего мужа наделал столько шуму, что мальчишки бегали за ним по улицам, и из-за этого, а также и потому, что он был немного близорук, госпожа моя отказала ему от места. Это огорчение, не сомневаюсь в том, было причиной его смерти.

Я осталась беспомощной вдовой, имея на руках дочь, красота которой росла, как пена морская. Наконец, оттого, что я пользовалась славой искусной белошвейки, моя госпожа герцогиня, недавно лишь перед тем вышедшая замуж за моего господина герцога, пожелаала взять меня с собой в королевство Арагонию, а также и дочь мою. Здесь, пока дни шли и проходили, росла моя дочь и вместе с ней росло все изящество мира. Она поет, как жаворонок, танцует, как мысль, пляшет, как безумно-веселящаяся, читает и пишет, как школьный учитель, и считает, как скряга. О чистоте ее я ничего не скажу, потому что текучая вода не чище ее; теперь ей, должно быть, если я не ошибаюсь, шестнадцать лет пять месяцев и три дня, одним, быть может, больше или меньше. Словом, в эту-то мою девочку

¹ La Puerta de Guadalajara было знаменитым местом в старом Мадриде – Центр сплетен, буйств, место сборища празднующих, нищих и т. д. вроде того, как теперь в Мадриде Puerta del Sol.

влюбился сын богатейшего земледельца, который живет в одном из сел моего господина герцога, очень недалеко отсюда. Не знаю право, как и каким образом, но они сошлись, и, дав ей обещание жениться, он соблазнил ее, а теперь отказывается сдержать свое обещание. И хотя герцог, господин мой, знает это, потому что я не раз, а несколько раз жаловалась ему и просила его приказать тому земледельцу жениться на моей дочери, но герцог глух к моим просьбам, едва выслушивает их и все потому, что отец обманщика необычайно богат и дает герцогу деньги взаймы, и иногда выручает его из разных его безрассудств, поэтому он не хочет раздражать его или доставить ему какую-либо неприятность. Вот я и желала бы, сеньор мой, чтобы ваша милость взяла на себя поправить эту беду, путем ли просьб, или путем оружия, потому что, как весь свет говорит, ваша милость родилась для того, чтобы мстить за обиды, восстанавливать правду и защищать несчастных. Пусть ваша милость вспомнит сиротство моей дочери, ее красоту, молодость, все те хорошие качества, о которых я вам говорила, так как клянусь Богом и моею совестью, из всех девушек, что живут у моей сеньоры герцогини, нет ни одной, которая стоила бы подошвы ее башмаков; а та, которую зовут Алтисидорой и считают самой веселой и развязной среди них, по сравнению с моей дочерью не может подойти к ней на две мили. Я хотела бы, чтобы вы знали, сеньор мой, что не все золото, что блестит, потому что в Алтисидории больше чванливости, чем красоты, и больше распущенности, чем скромности. Кроме того, она еще и не очень то здорова, потому что у нее что-то вроде испорченного

дыхания, так что нельзя и минуты стоять близко около нее; даже моя сеньора герцогиня... но я лучше помолчу, так как принято говорить, что и у стен есть уши.

– Что такое с сеньорой герцогиней? Прошу жизнью моей, скажите, сеньора донья Родригес, – спросил Дон Кихот.

– Заклинаемая таким образом, – сказала дуэнья, – не могу не ответить на ваш вопрос, иначе как по всей правде. Вы видели, милость ваша, сеньор Дон Кихот, красоту моей сеньоры герцогини – эту тонкую кожу ее лица, гладкую, точно отполированное лезвие меча; эти две щеки, словно из молока и кармина: на одной из них будто солнце, на другой – луна, и это изящество ее походки, как она идет, ступая по земле, точно презируя ее, и так и кажется, что всюду она разливает кругом себя здоровье, куда бы не шла. Знайте же, милость ваша, что за это она должна быть благодарна прежде всего Господу Богу, а потом двум фонтанам в обеих ее ногах, откуда вытекают все дурные соки, которыми, как говорят доктора, она полна.

– Святая дева! – воскликнул Дон Кихот, – возможно ли, что у сеньоры герцогини два таких водопровода? Я бы этому не поверил, если бы мне это сказали босоногие монахи, но раз сеньора донья Родригес говорит, должно быть оно так и есть, хотя из таких отверстий и в таких местах не должны бы истекать дурные соки, а лишь жидкая амбра. Право, я теперь верю, что подобного рода фонтаны¹ вещь очень важная для здоровья.

Едва Дон Кихот произнес эти слова, как дверь в его комнату с шумом раскрылась и неожиданный стук этот до того испугал донью Родригес, что у нее из рук упала свеча и в комнате как принято говорить, стало темно, как в волчьей пасти.

¹ Эти *fuentes* были в то время в большом ходу у мужчин и женщин для излечения некоторых болезней, а также и для цвета лица. Это было нечто вроде заволок на руках, на ногах и на затылке. (*Practica de fuentes y sus utilidades*, Madrid, 1657).

Тотчас же бедная дуэнья почувствовала, что две руки схватили так сильно ее за горло, что она не могла пикнуть, в то время, как кто то другой, не говоря ни слова, быстро поднял ее юбку и, по-видимому, туфлей стал наносить ей такое множество ударов, что это внушало одну жалость. Хотя Дон Кихот и чувствовал жалость, но не шевельнулся на своей постели, не зная, что это такое, и лежал спокойно, тихо и молча, опасаясь, чтобы и до него не дошла очередь этой экзекуции. И опасения его оказались не напрасными, потому что, бросив избитую в лоск дуэнью, которая не смела крикнуть, молчаливые палачи подошли к Дон Кихоту и, сняв с него одеяло и простыни, стали так силь-

но и больно щипать его, что он был вынужден защищаться ударами кулаков, и все это в удивительном безмолвии. Сражение продолжалось почти полчаса; – затем привидения удалились, донья Родригес оправила свои юбки и, оплакивая свое несчастье, вышла из дверей, не сказав ни слова Дон Кихоту, который, весь исципанный, чувствуя боль во всем теле, смущенный и задумчивый остался в своей комнате один. Мы там его и оставим, мучимого желанием узнать, кто был тот злой волшебник, который привел его в такое состояние. Но это будет сказано в свое время, теперь же Санчо зовет нас и того же требует также и правильное изложение истории.





Глава XLIX

О том, что случилось с Санчо Пансой при обходе им своего острова.

Мы оставили великого губернатора, раздосадованного и разгневанного на крестьянина – живописца и плута, который, наученный мажордомом, как этот последний был научен герцогом, – подшутил над Санчо. Но Санчо храбро держался против всех, несмотря на свою простоту, грубость и невежество, и сказал всем, оставшимся с ним, и доктору Педро Ресио, который после того, как было прочитано секретное письмо герцога, снова вернулся в зал:

– Теперь я действительно понимаю, что судьи и губернаторы должны быть, или должны были бы быть, из бронзы, дабы не чувствовать назойливости просителей, которые во все часы и во всякое время хотят, чтобы их выслушивали и занимались ими, и заботятся только о соб-

ственном своем деле и ни о чем другом на свете. Если же бедный судья не выслушает их и не займется ими, или потому, что он не может, или потому, что это не время, назначенное для выслушивания просьб, тотчас они проклинают его, и ропшут, и злословят на него, и даже рвут на части всю его родню. Глупый деловой человек, безрассудный деловой человек, не торопись так, жди подходящего часа и назначенного времени для хлопот о своих делах. Не приходи во время обеда или во время сна, потому что и судьи – люди из плоти и костей, и должны дать природе то, что по естественному ходу вещей она требует от них, исключая лишь меня, так как мне не дают ничего есть, благодаря сеньору доктору Педро Ресио Тиртеафуэра, который стоит тут перед нами и желает, чтобы я умер с голоду, уверяя, что такая смерть есть жизнь, – дай Бог подобную жизнь ему и всей его породе, –

я говорю, всей породе плохих докторов, так как хорошие доктора заслуживают пальм и лавров.

Все, знавшие Санчо Пансу, удивлялись, слыша, что он так изящно говорит, и не знали чему это приписать, разве только тому, что должности и серьезные обязанности или изощряют или приглушают умы. Наконец, доктор Педро Ресио Агуэро де Тиртеафуэра обещал дать ему поужинать вечером, даже хотя бы он нарушил все афоризмы Гиппократата. Губернатор остался этим доволен и ждал с величайшим нетерпением наступления ночи и ужина; хотя, как ему казалось, время не двигалось с места и остановилось, чем не менее настал столь желанный им час, когда ему дали на ужин рубленное мясо с луком и вареные телячьи ножки от несколько уже старого теленка. Санчо набросился на все с большим удовольствием, чем если бы ему подали миланских франколинов¹, римских фазанов, Соррентской телятины, куропаток из Морона или гусей из Лавахоса². Ужиная, он сказал, обратясь к доктору:

– Смотрите, сеньор доктор, отныне впредь, не заботьтесь о том, чтоб давать мне есть всякие лакомства или изысканные блюда, потому что это значило бы срывать с петель мой желудок, привыкший к козлятине, говядине, ветчине, сушеному мясу³, брюквам и луку, и если ему случайно дают какую-нибудь другую – дворцовую пищу, – он принимает ее брезгливо и иногда даже с отвращением. Что маэстресале следовало бы

сделать, это – подавать мне блюдо, которое называют olla podrida⁴; и чем больше оно podrida, тем лучше пахнет, и он может наложить туда и набросать всего, что только захочет, лишь бы оно было съедобно, – за это я буду ему очень благодарен и отплачу ему когда-нибудь. И пусть никто не шутит шуток со мной, так как мы или существуем или не существуем; будем все жить и будем есть в добром мире и согласии, потому что, когда Бог посылает рассвет, для всех рассветает. Я буду управлять этим островом, не отказываясь от законных прав своих, не принимая подношений ничьих, и пусть каждый смотрит во все глаза и следит за собственной стрелой, потому что я доведу до общего сведения, что дьявол в Кантильяне⁵, и если дадут к тому повод, то увидят чудеса, – а нет, станьте медом и мухи будут есть вас.

– Не подлежит сомнению, сеньор губернатор, – сказал маэстресала, – что вы, милость ваша, вполне правы в том, что сказали, и я заявляю от имени всех островитян этого острова, что они готовы служить вашей милости со всякой исправностью, любовью и благожелательностью, потому что мягкий способ правления, выказанный нам вашей милостью с самого начала, не дает им повода думать или делать что-либо, что могло бы быть во вред вашей милости.

– Верю этому, – ответил Санчо, – и они были бы глупцами, если б иначе поступали или думали, и снова повторяю: пусть позаботятся о моем питании и питании моего Серого, потому что это са-

¹ Птица, родственная куропатке, обычная в Южной Европе, и которая там очень ценится.

² Фазаны были в то время в Испании очень редкой птицей и считались доступными лишь для стола королей и знатных принцев. Морон дикая лесистая местность по дороге из Севильи в Ронда.

³ Cescina – мясо слегка посоленное и сушеное на солнце; в то время обычная пища крестьян.

⁴ Podrida – испорченное, гнилое.

⁵ Присловье довольно неизвестного происхождения. Кантильяна – село близ Севильи.

мое важное и существенное в этом деле. А когда настанет время, пойдем делать обход, потому что я намерен очистить этот остров от всякого рода скверности и от разных бродяг, лентяев и беспутных людей; так как я хочу, чтобы вы знали, друзья, что праздные и ленивые люди в государстве то же самое, что трутни в улье: они съедают мед, приготовленный пчелами-работницами. Я намерен покровительствовать земледельцам, сохранить идальго их привилегии, награждать добродетельных и, главным образом, уважать религию и честь духовенства. Что вы скажете на это, друзья? Говорю ли я дельно или болтаю вздор?¹

– Ваша милость говорит до такой степени дельно, сеньор губернатор, – ответил мажордом, – что я изумлен видеть, что человек без всякого образования, как ваша милость, – потому что, мне думается, вы не получили никакого образования, – говорит такие вещи и так много вещей, полных изречений и поучений, столь превышающих все, что ожидали от ума вашей милости и пославшие нас, и мы, прибывшие сюда. Каждый день видишь что-нибудь новое на свете: шутки обращаются всерьез и насмешники оказываются осмеянными.

Ночь наступила и губернатор поужинал с разрешения доктора Ресио. Приготовившись идти в обход, Санчо вышел в сопровождении мажордома, секретаря, маэстресала и летописца, на обязанности которого лежало записывать всякие его действия, и столько альгасилей² и актуариусов, что из них можно было бы составить средней величины батальон. Тут

же среди них, окруженный ими всеми, шел Санчо с своим жезлом, так что любо было смотреть. Пройдя несколько улиц, они слышали лязг ножей и, поспешив к тому месту, увидели, что дерутся два человека, которые, заметив блюстителей порядка, бросили сражаться, и один из них крикнул:

– Сюда, во имя Бога и короля! Как, дозволено ли, чтобы в этом городе грабили народ и нападали бы на людей среди улицы?

– Успокойтесь, добрый человек, – сказал Санчо, – и сообщите мне причину этой ссоры, так как я губернатор.

Другой – его противник – сказал:

– Сеньор губернатор, я объясню вам все, как можно короче. Вашей милости надо знать, что этот дворянин только что выиграл в игорном доме, вот напротив, – более тысячи реалов, а какими способами одному Богу известно. Я присутствовал при игре его и в нескольких сомнительных случаях склонял решение дела в его пользу, против всякого веления моей совести. Он встал из-за стола с своим выигрышем, и хотя я ждал, что он даст мне, по крайней мере, какой-нибудь золотой в вознаграждение³, как принято и в обычае давать столь значительным людям, подобным мне, которые присутствуют при игре, чтобы смотреть, правильно играют или нет, и чтобы поддерживать несправедливые требования и предупреждать ссоры, – он положил в карман свои деньги и ушел из игорного дома. Я пошел за ним раздосадованный, и вежливыми и добрыми словами просил его дать мне, по крайней мере, восемь

¹ O quíebrome la cabeza – буквально: «или я проламываю себе голову».

² Полицейской стражи.

³ *barato* называлась мзда, которую давали выигравшие игроки. Обыкновенно они давали их зрителям, державшим их сторону; такого рода зрителей называли *bargeros* или *mirones*, которых подразделяли на *pedagogos* или *gansos*, учивших играть новичков, и *doncayres*, которые знаками и другими способами помогали выигрывать и за это ждали вознаграждения.

реалов, так как ему известно, что я человек почтенный и не имею ни должности, ни профессии, потому что родители мои ничему меня не научили и ничего не оставили мне в наследство. А плут этот, который не менее вор, чем Како, и не менее обманщик, чем Андрадилья¹, не захотел дать мне больше четырех реалов, из чего вы, милость ваша, сеньор губернатор, ясно видите, как мало у него стыда и совести. Но, по чести, если б милость ваша не подоспела, я бы заставил его изрыгнуть весь выигрыш и он узнал бы, насколько веса перевешивали.

– Что вы на это скажете? – спросил Санчо.

И другой ответил, что все сказанное его противником верно и что он не пожелал дать ему больше четырех реалов, потому что часто давал ему подачки; и те, которые ожидают «barato», – благосклонную мзду, – должны бы быть учтивы и принимать с веселым лицом то, что им дают, а не вступать в пререкания с выигрывающими, если они не знают наверно, что те пройдохи, и что то, что они выиграли, выиграно ими путем обмана. Лучшим доказательством того, что он честный человек, а не вор, как говорит его противник, служит именно обстоятельство, что он не захотел ему ничего дать, так как шулера всегда данники «mirones», которые их хорошо знают.

– Это верно, – подтвердил мажордом; – решайте, милость ваша, сеньор губернатор, что нам делать с этими людьми?

– Надо сделать вот что, – сказал Санчо: вы, выигравший, честный, или нечестный, или ни то, ни другое, – тотчас же дайте этому вашему рубаке сто реалов и кроме того раскошесьте на тридцать реалов для бедных, заключенных в тюрь-

ме, а вы, у которого нет ни занятия, ни профессии и который праздно шатается на этом острове, берите немедленно эти сто реалов и завтра в течение дня удалитесь с этого острова в десятилетнее изгнание, под страхом, если б вы вернулись сюда раньше срока, докончить его на том свете, так как я повешу вас на виселице, или, по крайней мере, палач это сделает по моему приказанию, и пусть никто не возражает мне, не то он почувствует мою руку.

Одинь раскошелился, другой положил деньги в карман; последний покинул остров, а первый отправился домой, и губернатор сказал:

– Или у меня не окажется власти, или же я закрою эти игорные дома, так как мне сдается, что они приносят большой вред.

– Этот вот игорный дом, по крайней мере, – заметил один из актуариусов, – вашей милости не удастся закрыть, так как его содержит знатное лицо и то, что он ежегодно теряет, несравненно больше того, что он выручает от карт. На других притонах, низшего разряда, милость ваша может показать свою власть, так как именно они приносят наибольший вред и скрывают в себе наибольшие злоупотребления, потому что в игорных домах знатных кабальеро и сеньоров, отъявленные шулера не осмеливаются упражняться в своих плутнях. И в виду того, что порок карточной игры получил самое широкое распространение, уж лучше, чтобы играли в знатных домах, чем в доме какого-нибудь служащего, куда заманивают несчастного после полуночи и с живого сдирают кожу.

– Вот что, актуариус, – заявил Санчо, – я знаю, что можно многое сказать по этому поводу.

¹ Andradilla был какой-нибудь прославившийся в старину мошенник, о котором ничего больше неизвестно.

В это время к ним подошел один из дозорных, задержавший молодого человека, и сказал:

– Сеньор губернатор, этот юноша шел навстречу нам, и лишь только он заметил дозорных, как повернул спину и побежал словно серна, – явный признак, что он, должно быть, преступник. Я бросился за ним, и, если б он не споткнулся и не упал, никогда бы мне не удалось настигнуть его.

– Отчего ты бежал? – спросил Санчо.

На это юноша ответил:

– Сеньор, чтобы избавиться от ответов на те многие вопросы, которые служители правосудия предлагают.

– Какое твоё ремесло?

– Я ткач.

– Что ты ткешь?

– Железные наконечники для копий с благосклонного разрешения вашей милости.

– Вы разыгрываете шутника, хотите со мной шутки шутить? Хорошо! А куда вы шли теперь?

– Сеньор, подышать воздухом.

– Где же дышат воздухом на этом острове?

– Где он есть.

– Прекрасно, вы отвечаете очень впопад; вы юноша рассудительный. Но считите, что я воздух, дую вам за кормом и направляю вас в тюрьму. Эй, взять его и отвести, потому что я заставляю его спать там эту ночь без воздуха.

– Клянусь Богом, – сказал юноша, – ваша милость также заставит меня спать в тюрьме, как и сделает меня королем.

– Но почему же я не заставляю тебя спать в тюрьме? – спросил Санчо. – Нет у меня власти, что ли, приказать взять тебя или выпустить, когда и как мне будет угодно?

– Какая бы ни была власть вашей милости, все же она не так велика, чтобы заставить меня спать в тюрьме.

– Как не так велика? – возразил Санчо. – Уведите его тотчас же туда, где он увидит собственными глазами, как сильно он заблуждается, даже если бы тюремщик захотел выказать ему преступную снисходительность, так как я на тюремщика наложу штраф в две тысячи червонцев в случае, он даст тебе выйти из тюрьмы хот на шаг.

– Все это смешно; – ответил юноша, – дело в том, что меня не заставят спать в тюрьме все люди, сколько бы их ни жило теперь на земле.

– Скажи мне, дьявол, – спросил Санчо, – есть ли у тебя какой-нибудь ангел, который выведет тебя из тюрьмы и снимет с тебя оковы, которые я намерен приказать надеть на тебя?

– Вот что, сеньор губернатор, – ответил с веселым, непринужденным видом юноша, – давайте рассмотрим дело и доберемся до сути. Предположим, что милость ваша прикажет отвести меня в тюрьму; там мне наденут ручные и ножные кандалы и бросят в подземелье; на тюремщика наложат тяжелое наказание, если б он выпустил меня из тюрьмы, и он исполнит все, как ему прикажут; тем не менее, если я не пожелаю спать и буду бодрствовать всю ночь, не смыкая глаз, будет ли ваша милость в состоянии, несмотря на свою власть, заставить меня спать, раз я не хочу?

– Конечно, нет, – сказал секретарь, – этот юноша хорошо доказал свою мысль.

– Так что, – спросил Санчо, – вы бы не спали только из-за того, чтобы выполнить свое желание, а не ради того, чтобы идти против моего желания.

– Нет, сеньор, – сказал юноша, – это мне и в голову не приходило.

– Тогда идите с Богом, – сказал Санчо, – идите спать к себе домой, и пошли вам Бог хорошего сна, так как я не желаю лишить вас его. Но советую вам отныне впредь не шутить с правосудием, потому что вы наткнетесь на какое-нибудь такое, которое вашей шуткой стукнет вас по голове.

Юноша ушел и губернатор продолжал свой обход. Немного погодя явились два дозорных, которые вели задержанного ими человека, и сказали:

– Сеньор губернатор, вот этот, что кажется мужчиной, не есть мужчина, а женщина и не дурная собой, переодетая в мужское платье.

Подняв повыше два или три фонаря, при свете их все увидели лицо девушки, лет около шестнадцати или немного меньше. Волосы ее были собраны в сетку из золота и зеленого шелка, такую прекрасную, как тысячи жемчужин. Они оглядели ее с головы до ног и увидели, что на ней были шелковые чулки телесного цвета и подвязки из белой тафты, окаймленные золотой бахромой и мелким жемчугом; панталоны ее были зеленые, затканые золотом, а из под куртки ее или полукафтанья из той же материи, открытой спереди, виднелся камзол из тончайшей ткани, белой с золотом; башмаки ее были белые и мужские. За поясом у нее не было меча, а только богатейший кинжал, и на пальцах у нее было много очень дорогих колец. Словом, девушка понравилась всем, но никто из них не знал ее, и местные жители говорили, что они не могут и представить себе, кто она такая; и те, которые были посвящены в шутки, разыгрываемые над Санчо, удивились еще более других, так как это приключение и эта встреча не была подстроена ими; итак, они, недоумевая, ждали, чем кончится дело. Санчо был поражен красотой девушки и спросил ее, кто она,

куда она шла, и какая причина побудила ее переодеться в мужское платье. Опустив глаза в землю, она с величайшей застенчивостью и стыдливостью ответила:

– Не могу сказать, сеньор, во всеуслышание того, что для меня так важно держать в тайне. Одну вещь желала бы, чтоб вы поняли: я не воровка и не преступница, а несчастная девушка, которую ревность заставила нарушить приличие, требуемое скромностью.

Услыхав это, мажордом сказал Санчо:

– Прикажете, сеньор губернатор, всем удалиться, чтобы эта сеньора с меньшим стеснением могла бы сказать то, что желает.

Губернатор приказал это, и все отошли в сторону, за исключением мажордома, маэстресала и секретаря. Увидав, что они одни, девушка сказала:

– Сеньоры, я дочь Педро Переса Масорка, откупщика шерсти в этом селе, который часто бывает в доме моего отца.

– Это не пройдет, сеньора, – сказал мажордом, – я очень хорошо знаю Педро Переса и знаю, что у него нет детей, ни сыновей, ни дочерей; и к тому же вы говорите, что он ваш отец, и тотчас же добавляете, что он часто бывает в доме вашего отца.

– И я тоже заметил это, – сказал Санчо.

– Вот что, сеньоры, я в смущении и не знаю, что говорю, – ответила девушка; – истина та, что я дочь Диэго де ла Лана, которого вы сеньоры, должно быть, все знаете.

– Вот это подходит, – ответил мажордом, – так как я знаю Диэго де ла Лана и знаю, что он знатный и богатый идальго, что у него сын и дочь, и что после того, как он овдовел, нет ни одного человека во всем местечке, который мог бы сказать, что он видел лицо его доче-

ри, потому что он держит ее взаперти, не позволяя даже солнцу взглянуть на нее, и при всем том идет молва, что она необычайно красива.

– Все это верно, – ответила девушка, – дочь его – я; говорит ли молва правду или нет о моей красоте, в этом, сеньоры, вы уже могли разобраться, так как видели меня. – И сказав это, она принялась горько плакать.

Тогда секретарь наклонился к маэстресала и шепнул ему на ухо:

– Не подлежит сомнению, что с этой бедной девушкой, должно быть, случилось нечто очень серьезное, если она, будучи столь знатного происхождения, в такой одежде и в такие часы скитается по улицам.

– В этом не может быть сомнения, – ответил маэстресала; – тем более, что ее слезы подтверждают это подозрение.

Санчо стал утешать ее, как умел, и попросил рассказать без всякого опасения все, что с нею случилось, потому что они постараются помочь ей изо всех сил и всеми возможными средствами.

– Дело в том, сеньоры, – ответила она, – что мой отец держал меня взаперти десять лет, то есть с тех пор, как мать мою поглотила земля. Обедню служат у нас дома в богатой молельне, и я во все эти годы днем видела лишь солнце на небе, а ночью луну и звезды; я не знаю, что такое улицы, площади, храмы и даже люди, исключая моего отца, брата и арендатора Педро Переса; и оттого, что он у нас бывает в доме, мне пришлось в голову сказать, будто он мой отец, чтобы не называть имени настоящего моего отца. Это заточение и это запрещение мне выходить из дому, хотя бы только в церковь, уже много дней и месяцев приводило меня в отчаяние, – я хотела видеть свет или, по крайней мере, тот город, где я родилась, потому что это желание, как мне

кажется, не противоречит уважению, которое знатные девушки должны хранить к себе самим. Когда я слышала рассказы о бое быков, о состязании в бросании палок и о представлениях в театрах, я просила моего брата, – а он на год моложе меня, сообщить мне, что это за вещи и еще многие другие, которых я не видела; он объяснял, как лучше умел; но это еще сильнее воспламенило во мне желание самой все увидеть. Словом, чтобы сократить повесть о моей гибели, скажу, что я умоляла и просила моего брата, – лучше бы я никогда не просила и не умоляла его! – И тут она снова ударилась в слезы. Мажордом сказал ей;

– Продолжайте, милость ваша, сеньора, и dokonчите рассказывать нам, что с вами случилось, так как ваши слова и слезы держат нас всех в недоумении.

– Рассказывать мне осталось уже немного, – ответила девушка; – хотя еще много слез придется мне пролить, потому что плохо обдуманнные желания не могут привести к иным, как только подобного рода последствиям.

Красота девушки глубоко запечатлелась в душе маэстресала, он еще раз поднял выше свой фонарь, чтобы взглянуть ей в лицо и ему показалось, что из глаз ее катятся не слезы, а мелкий жемчуг или луговая роса, и он пошел еще дальше и сравнил их с лучшим жемчугом востока и от души желал, чтобы несчастье ее не было столь велико, как можно было заключить по ее слезам и вздохам. Губернатора приводила в отчаяние медлительность, с которой девушка рассказывала свою историю, и он попросил ее положить конец их нетерпению и сообщить, в чем собственно дело, так как уже поздно, и им остается еще обойти большую часть города. Среди подавленных рыданий и прерывающихся вздохов, она сказала:

– Несчастье мое ни в чем ином, и горе мое ни что иное, как только то, что я попросила моего брата одеть меня в мужскую одежду, в одно из его платьев, и ночью, когда отец наш будет спать, взять меня с собой посмотреть город. Побужденный моими мольбами, он снизошел к моему желанию, и, надев на меня этот костюм, сам нарядился в мое платье, которое идет к нему, точно вылитое, потому что у него нет и пушка на подбородке и он как раз похож на самую красивую девушку. Сегодня ночью, около часа тому назад, немногим больше или меньше, мы вышли с ним из дому и, руководимые нашим юным и безрассудным желанием, обошли весь город, и только что собирались вернуться домой, как увидели идущую навстречу нам толпу людей, и брат мой сказал: – Сестра, это должно быть обход; окрыли свои ноги и беги за мной из всех сил, так как, если нас узнают, нам будет плохо! – Говоря это, он повернул назад и пустился, – не скажу бежать, а лететь. Я же менее, чем через шесть шагов, упала от испуга, и тогда подошел слуга правосудия, который привел меня сюда, милости ваши, где я, как бы дурная и своенравная, стою пристыженная перед столькими людьми.

– Итак, сеньора, – сказал Санчо, – с вами не случилось никакого другого несчастья, и вас не увлекла из дому ревность, как вы нам говорили в начале своего рассказа?

– Ничего другого со мной не случилось и меня не увлекла из дому ревность, а только желание увидеть свет, и оно не простиралось дальше желания увидеть улицы этого города.

Справедливость показания девушки была окончательно подтверждена появлением двух дозорных, которые привели ее брата, пойманного одним из них, когда он пустился бежать. На нем была надета

лишь нарядная юбка и мантилья из голубой камковой материи с отделкой из тонких, золотых кружев, а на голове не было никакого убора или украшения, исключая волос, которые казались золотыми кольцами, такие они были русые и кудрявые. Губернатор, мажордом и маэстресала отошли с ним в сторону, и так, чтобы сестра его не слышала, спросили, отчего на нем такой наряд? Он, не менее, чем она, смущаясь и стыдясь, рассказал то же самое, что рассказала им и его сестра, и это доставило величайшее удовольствие влюбленному маэстресала. Но губернатор сказал им:

– Конечно, сеньоры, это было большим ребячеством с вашей стороны; однако, сообщая о подобном безрассудстве и отваге незачем было прибегать к такой растянутости, проливать столько слез и испускать столько вздохов. Если бы вы сказали: – мы, такой и такая то, ушли из дома отца прогуляться, прибегнув к этой хитрости только из любопытства, не имея никакого иного намерения, – рассказ был бы кончен, без всяких вздохов, слез и тому подобного.

– Это правда, – ответила девушка, – но милости ваши должны знать, что охватившее меня смущение было столь велико, что я не была в состоянии понять, как мне следует поступать.

– Ничего не потеряно, – сказал Санчо, – пойдемте, мы проводим вас к дому вашего отца; быть может, он еще не хватился вас. И отныне впредь не будьте такими детьми и не рвитесь так видеть свет, потому что хорошая девушка, как бы со сломанной ногой сидит дома, и женщина и курица когда по свету шатаются, легко теряются; а та, которая стремится видеть, стремится также, чтобы и ее видели, – больше ничего не скажу.

Юноша поблагодарил губернатора за милость, которую он желал им оказать,

отведя их домой, и таким образом все отправились туда, а это было не очень далеко. Дойдя до своего дома, юноша бросил в решетчатое окно камешек и тотчас к ним сошла вниз девушка, ожидавшая их, и открыла им дверь, и они вошли, оставив всех удивленными как красотой и изяществом их, так и желанием увидеть свет ночью, не выходя из своего города; но они приписали все это их юному возрасту.

Сердце маэстресала было пронзено насквозь, и он решил тотчас же на следующий день идти просить ее себе

в жены у ее отца, уверенный в том, что тот не откажет ему, потому что он слуга герцога. Даже и Санчо возымел желание и мысль женить юношу на своей дочери Санчике, и решил своевременно завести переговоры об этом, полагая, что дочь губернатора может выбрать себе кого угодно в мужья. На этом окончился обход в ту ночь, а два дня спустя кончилось и губернаторство Санчо, благодаря чему все его планы оказались расстроеными и уничтоженными, как мы это и увидим дальше.





Глава I

В которой объясняется, кто были волшебники и палачи, отишлепавшие дуэнью и ищицапавшие и исцарапавшие Дон Кихота; а также и то, что случилось с пажем, который отвез письмо к Тересе Панса, жене Санчо Пансы.

Сид Амёт, точнейший исследователь малейших подробностей этой истинной истории, говорит, что когда донья Родригес вышла из спальни, чтобы идти в комнату Дон Кихота, другая дуэнья, спавшая с ней вместе, услышала это; и так как все дуэньи любительницы все знать, слышать и обнюхывать, она пошла за нею вслед так тихо, что добрая Родригес не заметила этого. И лишь только дуэнья увидела, что Родригес вошла в комнату Дон Кихота, она, чтобы не изменять общему всем дуэньям

обычаю сплетничать, тотчас же отправилась к сеньоре герцогине довести до ее сведения, что донья Родригес находится в спальне Дон Кихота. Герцогиня сказала о том герцогу и попросила у него разрешения для себя и Алтисидоры пойти и посмотреть, что этой дуэнье нужно от Дон Кихота. Герцог дал просимое разрешение, и обе, безмолвно и с величайшей осторожностью, шаг за шагом, добрались до двери комнаты и встали так близко, что слышали все, что там говорилось. Но когда герцогиня услышала, что донья Родригес вынесла на улицу тайный Аранхуэс¹ ее фонтанов, она не могла этого

¹ El Aranjuez de sus fuentes – Аранхуэс – оазис в пустыне, знаменитый королевский сад и дворец, в 30 милях от Мадрида, прославленный большим количеством и богатством вод его фонтанов, тем более замечательным, что вся окрестность отличается безводностью, так как протекающий там Мансанерес очень мелководен.

стерпеть, равно как и Алтисидора; итак, взбешенные и исполненные желания мести, они ворвались в комнату, наделили Дон Кихота щипками и отшлепали дуэнью туфлей, как о том уже было рассказано, потому что оскорбления, нанесенные красоте и тщеславию женщин, пробуждают в них самый сильный гнев и воспламеняют их жаждой мести. Герцогиня рассказала герцогу о том, что случилось, и это очень позабавило его. Преследуя свое намерение подшутить над Дон Кихотом и развлечься этим, герцогиня послала пажу, – того самого, который играл роль Дульсиней в хитрой затее о снятии с нее чар, позаботиться о чем Санчо совершенно забыл, занятый своим губернаторством, – к Тересе Панса с письмом ее мужа и еще другим письмом, от самой герцогини, приложив к нему в подарок Тересе большую нитку дорогих кораллов. История повествует, что паж был очень умен и сметлив и, желая услужить своим господам, весьма охотно отправился в деревню Санчо. Перед въездом туда, он увидел много женщин, мывших белье в ручье, и спросил их, не сумеют ли они ему сказать, живет ли в этой деревне женщина, называемая Тереса Панса, жена некоего Санчо Пансы, оруженосца рыцаря по имени Дон Кихот Ламанчский. Услыхав этот вопрос, одна из девушек, мывших белье, поднялась и сказала:

– Эта Тереса Панса – моя мать, и тот Санчо мой отец, а этот рыцарь – наш господин.

– В таком случае, идем, девушка, – сказал паж, – и покажите мне вашу мать, потому что я везу ей письмо и подарок от вашего отца.

– Сделаю это с величайшей охотой, сеньор, – ответила девушка, кото-

рой на вид казалось лет четырнадцать, не многим больше или меньше. И оставив белье, которое она мыла, одной из своих товарок, не покрыв себе голову и не обувшись, потому что она была босая и с распущенными волосами, девушка быстро побежала перед лошадью пажу и сказала:

– Идемте, милость ваша, потому что наш дом при самом въезде в село, и мать моя там и в большом огорчении, оттого что она уже давно не имеет известий от моего сеньора отца.

– Но я везу ей такие хорошие, – сказал паж, – что она от всей души может возблагодарить Бога за них.

Наконец, прыгая и скача, добралась девочка до села и, не войдя еще в дом, она громко крикнула у дверей:

– Выходи, мама Тереса, выходи, выходи, – тут приехал сеньор, который привез письма и другие вещи от моего доброго отца.

На этот ее зов вышла Тереса Панса, с куделью очесок в руках, которую она пряла, в серой юбке, такой короткой, как будто ей подрезали ее в наказание за нескромный образ жизни¹, в корсетике тоже серого цвета и в белой рубашке. Она не была очень стара, хотя ей казалось за сорок лет, но она была сильна, свежа, крепка и смугла. Увидав дочь и рядом с ней пажу верхом на лошади, она спросила:

– Что это такое, дитя? Кто этот сеньор?

– Слуга сеньоры доньи Тересы Панса, – ответил паж.

И говоря это, он быстро соскочил с лошади и с большим смирением опустился на колени перед сеньорой Тересой, говоря:

¹ Короткие юбки были наказанием, налагаемым на женщин легкого поведения, и считались признаком нескромной жизни; обычай этот был очень старинный, вероятно восточного происхождения, и о нем не раз упоминается в испанских балладах.

– Дайте мне ваши руки, милость ваша, сеньора моя, донья Тереса, как законная и собственная жена сеньора дона Санчо Пансы, истинного губернатора острова Баратарии.

– Ах, сеньор мой, не делайте этого, встаньте с колен, – ответила Тереса, – я ни мало не дворцовая дама, а бедная крестьянка, дочь крестьянина батрака, и жена странствующего оруженосца, а вовсе не губернатора.

– Ваша милость, – ответил паж, – достойнейшая жена архидостойнейшего губернатора, и в доказательство этой истины получите, милость наша, это письмо и этот подарок.

Тотчас же он вынул из кармана нитку кораллов с золотыми крючками и надел ей кораллы на шею, говоря:

– Вот это письмо от сеньора губернатора, а другое письмо, которое при мне, и эти кораллы от моей сеньоры герцогини, пославшей меня к вашей милости.

Тереса стояла ошеломленная, и не менее того дочь ее; наконец, девочка сказала:

– Пусть убьют меня, если наш господин, Дон Кихот не замешан в этом деле. Должно быть, он дал отцу губернаторство или графство, которое он столько раз ему обещал.

– Совершенно верно, – ответил паж, – потому, что из уважения к сеньору Дон Кихоту, сеньор Санчо в настоящее время губернатор острова Баратарии, как вы и увидите из этого письма.

– Прочтите мне его, милость ваша, сеньор дворянин, – сказала Тереса, – потому что, хотя я умею прясть, но читать ни крошки не умею.

– И я тоже не умею, – сказала Санчика, – но подождите меня здесь, я побегу, позову кого-нибудь, кто прочтет

его, самого ли священника, или бакалавра Сансона Карраско, которые охотно придут, чтобы узнать новости о моем отце.

– Незачем звать кого бы то ни было, – сказал паж, – потому что, хотя я не умею прясть, я умею читать и прочту вам письмо.

Таким образом он прочел им письмо Санчо, которое не приводится здесь, так как оно уже было нами сообщено; и затем он достал письмо герцогини, в котором заключалось следующее:

Друг Тереса – прекрасные качества вашего мужа Санчо, – доброта его и ум, – побудили и вынудили меня просить моего мужа, чтобы он ему дал губернаторство одного острова из числа многих, принадлежащих герцогу. У меня есть сведения, что он губернаторствует, как кричат, чем я очень довольна и, следовательно, и герцог, мой сеньор, и я возношу благодарение небу за то, что не ошиблась, избрав вашего мужа на губернаторство, так как надо знать сеньоре Тересе, что великое затруднение найти на свете достойного губернатора, и пошли мне Бог столько же хорошего, как хорошо губернаторствует Санчо. Вместе с тем посылаю вам, дорогая моя, нитку кораллов с золотыми крючками. Мне бы доставило истинное удовольствие, если бы это была нитка жемчуга Востока, но кто дает тебе кость, не желает тебя видеть мертвой. Настанет время, когда мы познакомимся и будем беседовать друг с другом; и Богу известно, что еще может случиться. Кланяйтесь от меня вашей дочери Санчике и скажите ей от моего имени, чтобы она была наготове, так как я намерена выдать ее замуж за человека знатного, когда она менее всего будет ждать этого. Мне говорили, что в деревне у вас есть

большие, жирные желуди¹. Пришлите мне их дюжины две; и я буду очень ценить их за то, что они от вас. И если бы вам что-нибудь понадобилось, нужно только лишь открыть рот, и тотчас же он будет наполнен; и да хранит вас Бог. Из этого местечка, ваш друг, который очень вас любит.

ГЕРЦОГИНЯ

– Ах, – сказала Тереса, прослушав письмо, – какая добрая, простая и снисходительная сеньора! С такими сеньорами пусть бы меня похоронили, а не с женами идалго здешних мест, которые воображают, что оттого, что они жены идалго, ветер не должен прикоснуться к ним. И в церковь они идут с такой фантазией, будто они как есть королевы, так и кажется, что они считают за бесчестье взглянуть на крестьянку. А видите ли, вот эта добрая сеньора, несмотря на то, что она герцогиня, называет меня своим другом и обходится со мною, как с равной, и пусть я ее увижу равной с самой высокой колокольной во всей Ламанче. Что же касается желудей, сеньор мой, я пошлю ее светлости их гарнец и таких крупных, что могут приходить на них смотреть, как на зрелище и чудо. Теперь же, Санчика, угости хорошенько этого сеньора; присмотри за его лошадей, принеси из конюшни яйца, нарежь побольше свиного сала и мы зададим ему обед, как принцу, так как добрые вести, которые он привез, и милое его лицо вполне этого заслуживают. А я между тем выйду из дому рассказать моим соседкам о нашей радости, а также отцу священнику и цирюльнику маэсе Николас, которые и есть и были такими друзьями твоего отца.

– Да, я все сделаю, мать, – ответила Санчика, – но смотрите, вы должны мне дать половину этой нитки кораллов, потому что я не считаю мою сеньору герцогиню такой безрассудной, чтобы она вам одной послала всю нитку.

– Вся она будет твоей, дочь, – ответила Тереса, – только дай мне поносить ее несколько дней на шее, потому что, право, она как будто радует мне сердце.

– Вы обрадуетесь также, – сказал паж, – когда увидите узел, который у меня здесь в ручном чемоданчике: в нем платье из самого тонкого сукна, которое губернатор только один раз надевал на охоту и все как есть посылает сеньоре Санчике.

– Да здравствует он для меня тысячу лет! – воскликнула Санчика, – и столько же и тот, кто привез его мне, а если надобно, то даже и две тысячи лет.

После того Тереса вышла из дому, с письмами в руке и с кораллами на шее, и шла, постукивая пальцами по письмам, как будто это был тамбурин, и встретив случайно священника и Сансона Карраско, она начала плясать, говоря:

– По чести, теперь нет больше бедных родственников! У нас маленькое губернаторство! Пусть затеет со мной ссору самая расфуфыренная жена идалго, и я отделаю ее под лоск!

– Что это, Тереса Пансы? Что это за безумные выходки? Какие это у вас бумаги в руках?

– Это ни мало не безумные выходки, а письма герцогинь и губернаторов, а на шее у меня – дорогие кораллы, с Ave Maria и Pater-nostres² из ковального золота, и я губернаторша.

– Клянусь Богом, мы не понимаем вас, Тереса, и не знаем, что вы хотите сказать.

¹ Желуди в Испании, особенно в Ламанче, гораздо больше и по вкусу куда слаще, обыкновенных наших желудей; их едят там с давнего времени.

² Из этого следует, что это было не ожерелье, а четки из кораллов.

– А вот, посмотрите здесь, – ответила Тереса и дала им письма. Священник прочел их вслух так, чтобы и Сансон Карраско их слышал; и Сансон и священник смотрели друг на друга, изумленные тем, что прочли. Бакалавр спросил, кто принес ей эти письма. Тереса ответила, пусть с нею пойдут в дом к ней и там увидят гонца – юношу красивого, как сосна золотая, который привез им другой еще подарок, но дороже этого. Священник снял у нее с шеи кораллы, смотрел и рассматривал их, и убедившись, что это действительно дорогие кораллы, снова удивился и сказал:

– Клянусь рысью, одетой на мне, не знаю ни что сказать, ни что думать об этих письмах и этих подарках: с одной стороны, я вижу и уверен в том, что кораллы эти дорогие, с другой стороны, читаю, что герцогиня просит прислать ей две дюжины желудей.

– Проверим весы, – сказал Карраско; – пойдем теперь и посмотрим на того, кто привез эти письма, потому что он разъяснит затруднения, которые нам представляются.

Так они и сделали, и Тереса вернулась с ними. Они застали пажу за просеиванием ячменя для своей лошади, а Санчика тем временем нарезывала на ломти сало, чтобы взбить на них яйца и дать на обед пажу, внешность которого и красивый наряд вполне удовлетворили священника и бакалавра. После того, как они вежливо поклонились ему и он им, Сансон попросил его сообщить им известия о Дон Кихоте и о Санчо Пансе, так как,

хотя они и читали письма Санчо и герцогини, тем не менее они смущены и никак не могут понять, что это за губернаторство у Санчо, тем более, что речь идет об острове, между тем как все или большинство островов на Средиземном море принадлежат его величеству королю.

На это паж ответил:

– Что сеньор Санчо Панса – губернатор, это не может подлежать сомнению. Остров ли или нет та местность, где он губернаторствует, не мое дело. Достаточно, что это местечко более чем в тысячу жителей: а относительно желудей скажу, что моя сеньора герцогиня так проста и снисходительна, что ей ничего не значит попросить крестьянку прислать ей желудей, потому что ей случалось посылать просить у соседки одолжить ей гребенку, и я желал бы, чтобы ваши милости знали, что аррагонские сеньоры, хотя они столь знатного происхождения, не так щепетильны и надменны, как кастильские сеньоры; они куда проще в обращении с людьми.

Посреди этого разговора вошла Санчика с полным подолом яиц, и спросила пажу:

– Скажите мне, сеньор, быть может, мой сеньор отец носит узкие панталоны¹ с тех пор, как он губернатор?

– Я не обратил на это внимания, – сказал паж; – но должно быть, он их носит.

– Боже мой! – воскликнула Санчика, – вот так было бы зрелище посмотреть на отца в этих узких брюках! Не странно ли, что с тех пор, как я роди-

¹ Pedorreras или calzas atacadas были панталоны до колен, закрученные на бедрах, набитые соломой или шерстью и очень узкие, лежавшие в обтяжку на ногах. Вошли они в моду в начале правления Филиппа II, который в числе прочих обвинений против сына своего дон Карлоса, выставил и то, что инфант носил в своих calzas atacadas спрятанные пистолеты. Pedorreras часто осмеивались в испанских комедиях; несколько раз королевскими указами запрещалось носить их; но эта мода просуществовала долгие годы еще и после смерти Сервантеса.

лась, я желала видеть отца моего в узких штанах?

– Милость ваша, если будет жива, увидит его в таких «педорерас», – сказал паж. – Ей Богу, дело идет к тому, что ваш отец будет разъезжать в «папаиго»¹, если только его губернаторство продлится хоть два месяца.

Священник и бакалавр хорошо видели, что паж подтрунивает, но дорогие кораллы, а также охотничье платье, присланное Санчо (так как Тереса уже успела показать им его), сбивали их с толку; и они не могли воздержаться от смеха, услышав желание Санчики, и еще более, когда Тереса сказала:

– Сеньор священник, разужайте-ка здесь, нет ли кого, кто бы ехал в Мадрид или в Толедо, чтобы он купил мне круглые фижмы², подходящие и готовые, самые что ни на есть модные и лучшие, так как, право же, право, я должна, сколько могу, делать честь губернаторству моего мужа; и в случае я соскучусь, то поеду в столицу и заведу себе там карету, как и все прочие, потому что та, у которой муж губернатор, очень легко может и завести себе и держать карету.

– А почему же и нет, мама; – сказала Санчика, – дал бы Бог, чтобы это случилось лучше сегодня, чем завтра, хотя бы и говорили те, которые видели бы меня сидящей с моей сеньорой матерью в карете: – *Смотрите на это ничтожество, на дочь навешегося чесноку, смотрите как она уселась и развалилась в карете, точно она папесса*. Но пусть они топчутся по грязи, а я буду ехать

себе в карете, с ногами, поднятыми над землей. Несчастный год и несчастный месяц для всех злословящих, сколько бы их не было на свете, и пусть люди смеются, лишь бы мне было тепло. Хорошо я говорю, мама моя?

– Еще как хорошо, дочь, – ответила Тереса. – Все эти счастливые события и больше того мне напророчил добрый мой Санчо, и ты увидишь, дочь, что он не остановится и сделает меня графиней, потому что в благополучии самое главное это начать, и как я часто слышала, добрый твой отец (он столько же отец пословиц, как и твой) говорил: когда тебе дадут телку, беги с веревкой; когда тебе дают губернаторство, держи его крепко; когда тебе дают графство, вцепись в него; и когда приманивают тебя чем-нибудь хорошим, проглоти его. И никогда не спи, а отвечай, лишь только счастье и удача стучатся к тебе в дверь.

– И что за дело мне, – добавила Санчика, – если будут говорить те, кто увидит меня расфранченной и в пышном наряде: собака увидела себя в полотняных штанах³ и остальное?

Услышав это, священник сказал:

– Не могу не думать, что все члены семьи Панса родятся каждый с мешком пословиц в теле. Никого из них я не знал, который не сыпал бы ими, и ежедневно и во всех своих разговорах.

– Это правда, – сказал паж, – так как губернатор Санчо говорит их на каждом шагу, и хотя многие из них бывают неуместны, тем не менее они до-

¹ Papahigo – нечто вроде тесно прилегающего, закрывающего шею и все лицо, за исключением глаз, капюшона, который путешественники носили для защиты лица, от ветра и холода, а также нечто вроде маски, употреблявшейся знатными людьми.

² Фижмы с обручами, нечто вроде кринолина, женская мода, на которую сильно нападали проповедники.

³ Vióse el perro en bragos de cerro y no conocio a su compañero, – «собака увидела себя в полотняных штанах и не узнала своей товарищи» – очень старинная испанская поговорка.

ставляют удовольствие, и моя сеньора герцогиня и сеньор герцог очень восхищаются ими.

– Неужели вы, милость ваша сеньор мой, – сказал бакалавр, – все еще утверждаете, что действительно Санчо – губернатор, и что на свете есть герцогиня, которая посылает сюда подарки и пишет письма? Потому что, хотя мы и брали в руки эти подарки и читали эти письма, но верить им не можем, а думаем, что это одно из многих приключений Дон Кихота, нашего земляка, который воображает, что все делается путем волшебства; и поэтому я готов сказать, что желал бы дотронуться до вас и ощупать вашу милость, чтоб убедиться, не призрак ли вы посол, или действительно человек из плоти и крови?

– Сеньоры мои, – сказал паж, – я ничего больше не могу сказать о себе, кроме того, что я действительно посол, что сеньор Санчо Панса на самом деле губернатор, и что мои сеньоры, герцог и герцогиня, могут дать и дали такое губернаторство, и что я слышал, что упомянутый Санчо Панса губернаторствует как нельзя более доблестно. Есть ли тут волшебство или нет, пусть милости ваши разбираются в этом между собой, потому что я ничего больше не знаю, клянусь в том жизнью моих родителей, которые еще живы, и которых я очень люблю и уважаю.

– Может быть, оно и так, – сказал бакалавр, – но – *dubitat Augustinus*¹.

– Пусть кто хочет, тот и сомневается, – ответил паж; – но я сказал правду, а она всегда всплывает над ложью, как масло всплывает над водой, если же не верите мне – *operibus credite et non verbis*². Пусть кто-нибудь из вас, милости ваши,

поедет со мной, и он увидит глазами то, чему не верят ваши уши.

– Мне следует ехать с вами, – сказала Санчика; – посадите меня, милость ваша, сеньор мой, сзади себя на лошадь, и я с величайшей охотой отправлюсь повидаться с моим сеньором отцом.

– Дочерям губернаторов, – возразил паж, – неприлично путешествовать одним по большим дорогам, а их должны сопровождать кареты или носилки и большая свита слуг.

– Клянусь Богом, – ответила Санчика, – я также хорошо могу ехать на ослице, как и в коляске; нашли жеманницу!

– Молчи девочка, – сказала Тереса, – потому что ты не знаешь, что говоришь. Этот сеньор прав, так как иные времена, иные и поступки.

Когда Санчо был Санчо, ты была – Санча; когда он губернатор, ты – сеньора; и не знаю, права ли я или нет?

– Сеньора Тереса более права, чем даже думает, – сказал паж, – но дайте мне поесть и тотчас отпустите меня, потому что я намерен вернуться еще сегодня вечером.

На это священник сказал:

– Пойдемте, милость ваша, ко мне пообедать³, так как у сеньоры Тересы больше доброго желания, чем возможности принять столь достойного гостя.

Паж отказывался, но в конце концов, должен был для своей же пользы согласиться, а священник очень охотно увел его к себе, чтобы иметь случай на досуге расспросить о Дон Кихоте. Бакалавр предложил Тересе написать ответ на полученные ею письма, но она не пожелала, чтобы он вмешивался в ее дела, так как считала его несколько насмеш-

¹ Сомневается Августин.

² Верьте делам, а не словам.

³ *Nacer penitencia conmigo* – буквально: принести покаяние, исполнить эпитимию.

ником; итак, она дала маленький хлебец и пару яиц служке, умевшему писать, и он под ее диктовку написал два письма, одно ее мужу, а другое герцогине, сочи-

ненные ею из собственной ее головы, и они оказались не из худших, приведенных в этой великой истории, как мы увидим ниже.





Глава LI

О дальнейшем губернаторствовании Санчо Пансы и о других происшествиях, в том виде, как они случились.

Настал, наконец, день, следовавший за ночью губернаторского обхода, которую маэстресала провел без сна, потому что мысли его были заняты наружностью, изяществом и красотой переодетой девушки, а мажордом употребил остаток этой ночи на то, чтобы написать герцогу и герцогине обо всем, что Санчо Панса делал и говорил, одинаково удивленный, как его поступками, так и его речами, потому что слова его и действия являлись какою то пестрою смесью ума и глупости.

Сеньор губернатор встал, наконец, с постели, и по распоряжению доктора Педро Ресио ему подали на завтрак немного варенья и четыре глотка холодной воды, все такое, что Санчо охотно

променял бы на кусок хлеба и гроздь винограда. Но видя, что это скорее приключение, чем свободная воля, Санчо покорился, к великому огорчению души своей и неудовольствию своего желудка, потому что Педро Ресио уверил его, будто легкая пища, принятая в незначительном количестве, оживляет ум и особенно необходима людям, облеченным властью и занимающим высокие должности, где от них требуются не столько физические силы, сколько умственные. Из-за этой софистики Санчо терпел голод, и такой голод, что он втайне проклинал губернаторство и даже того, кто дал его ему. Тем не менее со своим голодом и сухим вареньем он занял в тот день судейское кресло, и первое представившееся ему дело был вопрос, предложенный на его рассмотрение одним чужеземцем,

в присутствии мажордома и всей остальной его свиты. Вопрос этот заключался в следующем:

– Сеньор, – сказал спрашивавший, – глубокая речка разделяет на две части одно и то же владение (и будьте внимательны, милость ваша, потому что дело это весьма важное и несколько затруднительное); итак, я говорю, на этой реке имеется мост, а на конце моста стоит виселица и нечто вроде присутственного места, где обыкновенно заседали четверо судей, занятых применением закона, изданного собственником реки, моста и владения и заключавшегося в следующем: – «Если кто-либо перейдет с одного берега на другой через этот мост, он перед тем должен показать под присягой, куда он идет и с какой целью; и если он скажет правду, его должны пропустить, если же он солжет, его без всякого снисхождения повесят на стоящей тут же виселице». Зная этот закон и суровые его условия, многие проходили через мост, и так как ясно было, что, давая клятву, они говорили правду, судьи свободно пропускали их. Но случилось, что когда привели к присяге одного человека, он присягнул и клялся, что идет умереть на стоящей на мосту виселице и только с этой целью. Судьи совещались между собой по поводу этой присяги и сказали: – Если мы свободно пропустим этого человека, он солгал в том, в чем клялся, и сообразуясь с законом, должен умереть; а если мы его повесим, мы поступим незаконно, так как он клялся, что идет умереть на этой виселице и, значит, сказал истину, и по этому же закону, он должен быть свободно пропущен. Вот и спрашивается, у милости вашей, сеньор губернатор: что делать с этим человеком судьям, так как они до сих пор в сомнении и недоумении? Услышав об остром и возвышенном уме вашей милости, они

прислали меня умолять от их имени вашу милость высказать свое мнение в столь спутанном и сомнительном вопросе.

На это Санчо ответил:

– Без сомнения, эти сеньоры судьи, которые прислали вас ко мне, могли бы избавить себя от такого труда, потому что я человек скорее тупой, чем остроумный. Но, тем не менее, повторите мне еще раз все ваше дело так, чтобы я мог понять его, и, быть может, тогда я и попаду в точку.

Спрашивавший повторил то, что он уже говорил, раз и второй раз, и Санчо сказал:

– Мне кажется, что я объясню вам это дело в мгновение ока, и вот как: человек тот присягнул, что идет умирать на виселице, и если он умрет на ней, он сказал правду и по закону должен свободно перейти через мост. Если же его не повесят, он солгал, и по тому же самому закону, заслуживает быть повешенным.

– Совершенно верно, как объяснил сеньор губернатор, – ответил посланный; – и что касается правильного изложения и понимания дела, не может быть больше никакого вопроса или сомнения.

– Тогда я скажу теперь, – ответил Санчо, – чтобы ту часть человека, которою он истинно клялся, пропустили бы перейти через мост, а ту, которою он лгал, повесили бы и таким образом, будет буквально исполнено условие перехода через мост.

– Но, сеньор губернатор, – возразил посланец, – пришлось бы разделить того человека на две части, на лживую и на правдивую; а если его разделить, – он несомненно должен умереть и таким образом не будет достигнуто то, что требуется законом и что необходимо, чтобы закон был исполнен.

– Слушайте, сеньор, добрый человек, – сказал Санчо, – или я болван, или

же этот прохожий, о котором вы говорите, имеет одинаковое право, как умереть, так и жить и перейти через мост, потому что если правда спасает его, то ложь, равным образом, осуждает его. Если же это так, как оно и есть, на мой взгляд, то скажите этим сеньорам, которые вас ко мне послали: так как причины осудить его и оправдать совершенно одинаковы, пусть свободно пропустят его, потому что делать добро всегда более похвально, чем делать зло, и я подписал бы это своим именем, если бы умел подписываться. И я в этом деле говорил не от себя, а мне пришло на память одно наставление, которое, в числе многих других, мне дал мой господин, сеньор Дон Кихот, вечером, накануне того дня, когда я сделался губернатором этого острова, именно: если правосудие в сомнении, следует всегда склоняться и опираться на милосердие; – и Богу было угодно, чтобы теперь я вспомнил об этом наставлении, так как в данном случае оно подходит, как нельзя лучше.

– Совершенно верно, – ответил мажордом, – и мне кажется, что сам Ликург, который дал законы лакедемонянам, не мог бы придумать лучшего решения, чем то, которое придумал великий Панса. Пусть на этом и кончится судьбище сегодняшнего утра, а я сделаю распоряжение, чтобы сеньор губернатор покушал в полное свое удовольствие.

– Об этом только я и прошу, и тогда пойдет игра, – сказал Санчо, – пусть дадут мне есть, и пусть дождем льются на меня дела и вопросы: я живо их порешу и сбуду с рук!

Мажордом сдержал свое слово, полагая, что было бы бременем на его совести, дать умереть от голода столь мудрому губернатору, тем более, что он намеревался этой же ночью покончить с ним, сыграв последнюю шутку, которую ему было

поручено сыграть с ним. Случилось так, что когда губернатор пообедал в тот день против всех правил и афоризмов доктора Тиртеафуэра и когда как раз снимали скатерть, к нему приехал гонец с письмом Дон Кихота. Санчо велел секретарю прочесть это письмо про себя и если он не найдет в нем ничего такого, что должно остаться тайной, пусть прочтет его тогда вслух. Секретарь повиновался и, бегло прочитав письмо, сказал:

– Его вполне можно прочесть вслух, потому что то, что сеньор Дон Кихот пишет вашей милости заслуживало бы быть напечатанным и записанным золотыми буквами. В письме говорится вот что:

Письмо Дон Кихота Ламанчского к Санчо Пансе, губернатору острова Баратариа.

Когда я ожидал услышать известие о твоих промахах и нелепостях, Санчо друг, до меня дошли вести о твоих мудрых действиях, за что я вознес особую благодарность небу, которое может с навозной кучи возвысить бедняка и глупцов сделать умными. Мне говорят, что ты губернаторствуешь, как будто ты человек, а будучи человеком держишься словно ты животное, до того велико смирение, выказываемое тобой.

И я желал бы, чтобы ты принял во внимание, Санчо, что часто бывает нужно и необходимо для поддержания авторитета занимаемой должности идти против смирения сердца, потому что одежда и обращение лица, занимающего высокий пост, должны соответствовать требованиям этого последнего, а не той мерке, к которой его склоняет прирожденный, ему смиренный нрав. Одевайся хорошо, потому что даже и разукрашенная палка не кажется палкой. Я не говорю, чтобы на тебе были драгоценности, и ты носил бы роскошные наряды, или чтобы

будучи судьей, ты одевался как военный; но чтобы ты носил одежду требуемую твоей должностью, и она была бы всегда чиста и в порядке. Чтобы приобрести благорасположение населения, которым ты управляешь, ты должен, в числе других вещей, соблюдать следующие две: первая – быть со всеми учтивым, хотя это я и раньше уже говорил тебе и второе – принять меры для снабжения в изобилии населения жизненными припасами, так как нет вещи, которая более угнетала бы душу бедных людей, как голод и нужда. Не издавай много законов, а если бы ты издал некоторые, постарайся, чтобы они были хороши, и главное, чтобы их исполняли и они соблюдались; потому что законы, которые не исполняются, все равно как бы не существуют и напротив, это доказывает, что принц, обладавший умом и властью, чтобы издать закон, не обладал нужным мужеством, чтобы заставить его соблюдать; а законы, которые устрашают, но не исполняются, похожи на чурбана, – короля лягушек, который сначала пугал их, а со временем, они стали презирать его и садились ему на спину.

Будь отцом для добродетели и отчимом для пороков. Не будь всегда строгим, или всегда снисходительным, а избери середину между этими двумя крайностями – в этом высшее проявление мудрости.

Посещай тюрьмы, бойни и площади, потому что присутствие губернатора в этих местах имеет большое значение: оно утешает заключенных, надеющихся на скорое освобождение из тюрьмы; оно – пугало для мясников, принуждая их иметь тогда верные весы, и наводит ужас и на базарных торговков по той же причине.

Не выказывай себя алчным, хотя бы ты, случайно, и был им, (чего я не думаю) или женолюбивым и обжорой, потому что, если население и те, которые имеют

дело с тобой, узнают о слабой твоей стороне, они туда направят огонь своих батарей, пока не низвергнут тебя в бездну твоей гибели.

Обсуди и вновь обсуди, рассмотри и вновь рассмотри советы и наставления, которые я тебе дал письменно перед отъездом твоим на губернаторство; и увидишь, как ты найдешь в них, если будешь следовать им, добавочную опору, которая облегчит тебе затруднения и тягости, на каждом шагу встречающиеся губернаторам.

Напиши герцогу и герцогине и вырази себя им благодарным, потому что неблагодарность – дочь высокомерия и один из худших грехов, известных нам; и человек, благодарный тем, кто ему сделал добро, доказывает, что он будет благодарен и Богу, дававшему ему столько благ и продолжающему давать их ему.

Сеньора герцогиня послала нарочного с твоим охотничьим платьем и еще одним подарком жене твоей Тересе Панса, и мы ежеминутно ждем от нее ответа. Я был немного нездоров из-за неких кошачьих царапин, полученных мною не к украшению моего носа; но ничего худого из этого не вышло, потому что если есть волшебники, которые преследуют меня, то есть и такие, которые заступаются за меня. Сообщи, действительно ли имел какое-либо отношение к делу Трифальди, как ты это подозревал, находящийся при тебе мажордом; и обо всем, что с тобой случится, сообщай мне, потому что расстояние не далеко; тем более, что я скоро намерен распространиться с праздною жизнью, которую я здесь веду, так как я не родился для нее. Мне представилось одно дело, которое, я думаю, лишит меня расположения герцога и герцогини, но хотя это меня очень тревожит, но ни мало не трогает, потому что, в конце концов, я должен сообразоваться скорей

с моим призванием, чем с их желанием, согласно с известным изречением: Amicus Plato, sed magis amica peritas¹. Говорю тебе это по-латыни, так, как полагаю, что с тех пор, как ты стал губернатором, ты научился латыни. С этим поручаю тебя Богу, который да хранит тебя, и бережет от всякой беды. Твой друг,

Дон Кихот Ламанчский.

Санчо выслушал письмо с большим вниманием, и оно было очень восхваляемо и сочтено за весьма рассудительное всеми, которые слышали его. Тотчас же Санчо встал из за стола и, позвав секретаря, заперся с ним в своей комнате, и не откладывая дольше, решил немедленно ответить своему сеньору Дон Кихоту. Он сказал секретарю, чтобы тот, ничего не добавляя и ничего не пропуская, писал бы то, что он ему продиктует. Секретарь так и сделал и ответное письмо Санчо к Дон Кихоту заключало в себе следующее:

Письмо Санчо Пансы к Дон Кихоту Ламанчскому.

У меня столько дел и занятий, что нет даже времени почесать себе в голове или обрезать ногти, почему они у меня такие длинные, что помоги Господи. Говорю это, сеньор души моей, чтобы вы не удивлялись, что до сих пор я не дал вам известия о том, хорошо ли или плохо мне живется на моем губернаторстве, где я большие терплю от голода, чем тогда, когда мы с вами вдвоем скитались по лесам и пустынным местам.

Мой сеньор, герцог, писал мне, предупреждая, что на этот остров пробралось несколько шпионов, чтобы меня убить. До сих пор я ни одного не открыл, кроме некоего доктора, находящегося здесь в городе и получающего жалование, чтобы

умерщвлять всех губернаторов, сколько бы их не приехало сюда. Зовут его доктор Бедро Ресю, он родом из Тиртеафуэра, и вы видите, милость ваша, какое это имя², и не прав ли я, опасаясь умереть от руки его. Упомянутый этот доктор говорит сам про себя, что он не лечит болезни, когда она появится, а только предупреждает ее, чтобы она не появлялась, и лекарства, которые он употребляет, диета и снова диета, так чтобы человек превратился в кости и кожу, как будто исхудание не похуже болезнь, чем лихорадка. Словом, он морит меня голодом, а я умираю от досады: потому что, когда я ехал на губернаторство, я думал есть горячее, пить холодное и услаждать тело отдыхом на голландских простынях и пуховиках, а приехал нести епитимью, точно я отшельник; и так как я несу ее не по доброй воле, то полагаю, что в конце концов черт поберет меня.

До сих пор я не получал никаких доходов: ни жалования, ни взяток, – и не могу представить себе, к чему все это поведет, так как здесь мне говорили, что губернаторы, которые едут на этот остров, прежде, чем вступить в него, получают от жителей, в подарок или взаймы, много денег, и это в обычае у всех едущих на губернаторство, и не у одних у них.

Делая прошлой ночью обход, я встретил очень хорошенькую девушку в мужской одежде и брата ее в женской. В девушку влюбился мой маэстресала, и в мечтах своих избрал ее, как он говорил, себе в жены, я же избрал себе в зятя ее брата. Сегодня, оба мы хотим поговорить о своих намерениях с их отцом, неким Диего де ла Алана, идальго и, таким старым христианином, что лучше желать нечего.

Я посещаю базары, как ваша милость мне это советует, и вчера я накрыл тор-

¹ Платон мне друг, но больший друг мне правда.

² Намек на дурное предзнаменование имени Tirteafera, – смотри примечание главы XLVII.

говку, продававшую свежие орехи, и, удивившись, что она меру свежих орехов смешала с мерой старых, пустых и гнилых, я все орехи отобрал у нее и велел передать в приют для бедных мальчиков, которые сумеют разобраться в них, и я присудил ее, чтобы она не являлась на базар в течение двух недель. Мне говорили, что я поступил превосходно. Могу лишь сказать вашей милости, что в этом городе идет молва, будто нет народа хуже базарных торговков, потому что все они бесстыдны, бессовестны и наглы, и я верю этому, судя по тому, что я видел в других городах.

Относительно того, что сеньора герцогиня написала жене моей Тересе Панса и послала ей подарок, о котором говорит ваша милость, очень этому рад и постараюсь в свое время выказать ей мою признательность. Поцелуйте, милость ваша, ей руки от моего имени и скажите ей что я говорю: она не бросила свои благодарения в дырявый мешок, как и увидит это на деле. Я бы не хотел, чтобы ваша милость имела неприятное столкновение с герцогом и герцогиней, потому что, если вы рассоритесь с ними, очевидно, что это послужит не на пользу мне. И было бы не хорошо, чтобы вы, милость ваша, советуя мне быть благодарным, сами не выказывали бы признательности тем, которые осыпали вас такими многочисленными милостями и с таким радушием угощают вас в своем замке.

Что касается кошачьих царапин, я ничего не понимаю, но думаю, что, должно быть, это одна из тех злых шуток, которые злобствующие волшебники обыкновенно разыгрывают над вашей милостью. Я узнаю это, когда мы с вами увидимся. Желал бы я послать что-нибудь вашей милости, но не знаю что послать, разве несколько клистирных трубок с пугырями, которые на этом острове осо-

бенно хороши. Впрочем, если еще продолжится мое губернаторство, я непременно постараюсь прислать вам что-нибудь, таким или иным путем¹. Если жена моя, Тереса Панса, напишет мне, заплатите за почту и пришлите мне ее письмо, потому что у меня сильнейшее желание узнать, что делается дома, что делают моя жена и дети. И затем, да избавит Бог вашу милость от злонамеренных волшебников, а мне даст мирно и счастливо довести до конца мое губернаторство, в чем я сомневаюсь, так как думаю, что придется оставить его, вместе с жизнью, судя по тому, как доктор Педро Ресио со мной обращается.

Слуга вашей милости
Санчо Панса, губернатор.

Секретарь запечатал письмо и тотчас же отправил его с гонцом, а те, что разыгрывали над Санчо шутки, собрались и сговорились, как покончить с его губернаторством. Этот вечер Санчо провел в том, что он издал несколько распоряжений относительно благоустройства местечка, о котором он воображал, что это остров. Он повелел, чтобы не было в государстве перекупщиков съестных припасов и чтобы ввоз вина отовсюду был свободен, с условием обозначать место вывоза, для назначения цены по достоинству, качеству и доброй славе вина, а тот, кто разведет его водой или подменит наименование его, лишается жизни. Он сбавил цены на обувь, в особенности на башмаки, так как ему казалось, что прежние цены – непомерно высокие; назначил таксу на жалование прислуге, которая без удержу неслась по пути корыстолюбия; предписал самые строгие наказания для тех, что поют непристойные и соблазнительные песни, днем ли или ночью; и приказал, чтобы ни один слепой не пел куплетов о чудесах, если у него

¹ De haldas o de mangas. Смотри примечание, часть I, глава XXXVIII.

не имеется достоверное свидетельство, что эти чудеса истинные, потому что ему казалось, что большинство чудес, о которых поют слепые, вымышлены в ущерб истинным чудесам. Он выдумал и создал должность альгасия бедных, — не для того, чтобы преследовать их, а чтобы убедиться, действительно ли они бедные,

потому что под маской притворной бедности и притворного увечья скрываются часто дерзкие злодеи и здоровые пьяницы; словом, Санчо издал столько хороших распоряжений, что до сегодняшнего дня они сохраняются в той местности и названы: «*Конституция великого губернатора Санчо Пансы*».





Глава LII

В которой рассказывается приключение второй дуэньи Долориды или огорченной, иначе называемой доньей Родригес.

Сид Амет повествует, что когда Дон Кихот оправился от кошачьих царапин, ему стало казаться, что жизнь, которую он ведет в этом замке, совершенно противоречит обязанностям исповедуемого им рыцарского ордена; итак, он решил просить у герцогской четы позволения ехать в Сарагосу, потому что уже приближались празднества, и он надеялся выиграть доспехи, которыми награждались на тех турнирах победители. Когда он однажды сидел за обеденным столом с герцогом и герцогиней и только что собирался привести в исполнение свое намерение и попросить разрешения уехать, он вдруг увидел, что в двери большого зала входят две

женщины, закутанные, как потом оказалось, с ног до головы в траур. Одна из них, подойдя к Дон Кихоту, бросилась ему в ноги, растянувшись во всю длину на полу и прижимаясь губами к ногам рыцаря, издавала такие жалобные, такие глубокие и такие горестные стоны, что все, видевшие и слышавшие ее, пришли в смущение. И хотя герцог и герцогиня подумали, что верно эта какая-нибудь шутка, которую слуги их хотят сыграть над Дон Кихотом, тем не менее, при виде того, как неудержимо женщина вздыхает, стонет и плачет, их охватила тревога и сомнение, пока наконец Дон Кихот, побуждаемый состраданием, не поднял женщину с пола и не заставил ее открыться и отбросить покрывало с заплаканного ее лица. Она так и сделала, и оказалось то,

чего они никогда бы не подумали, потому что открылось лицо доньи Родригес, дуэньи дома; а другая в трауре, была ее дочь, обманутая сыном богатого крестьянина. Все те, кто ее знал, были удивлены и больше всех – герцог и герцогиня, которые, хотя и считали ее глупой и простодушной¹, но не в такой степени, чтобы делать подобные безрассудства. Наконец, донья Родригес, обращаясь к своим господам, сказала:

– Не будет ли угодно вашим светлостям дать мне разрешение поговорить немного в отдельности с этим рыцарем, так как мне это необходимо, чтобы удачно выпутаться из одного дела, в которое вовлекла меня наглость злонамеренного негодяя.

Герцог ответил, что даст ей просимое разрешение, и она может говорить в отдельности с Дон Кихотом, сколько ей угодно. Тогда, обращая лицо и голос к Дон Кихоту, она сказала:

– Несколько дней тому назад я довела до вашего сведения, доблестный рыцарь, об оскорблении и предательстве, содеянными одним негодным крестьянином над дорогой, горячо любимой моей дочерью, вот этой несчастной, которая стоит рядом со мной; и вы обещали мне вступить за нее и исправить зло, которое было ей нанесено. А теперь до меня дошло известие, будто вы хотите покинуть этот замок, в поисках добрых приключений, которые да пошлет вам Господь; итак, я просила бы прежде, чем вы ускользнете на большую дорогу, вызвать на поединок того необузданного крестьянина и принудить его жениться на моей дочери, в исполнение данного им ей обещания сделаться ее супругом, перед тем и прежде, чем он соблазнил ее; так как думать, чтобы герцог, сеньор мой,

добыл бы мне справедливость, значило бы ждать груш от вяза, по тем причинам, которые я уже изложила вашей милости без всяких обиняков. И да пошлет Господь вашей милости побольше здоровья и да не оставит и нас без своей помощи.

На эти слова Дон Кихот ответил с большим достоинством и торжественностью:

– Добрая дуэнья, умерьте свои слезы или, вернее говоря, осушите их и воздержитесь от вздохов, потому что я беру на себя заботу помочь вашей дочери, которая лучше бы сделала, если б не поддавалась так быстро обещаниям влюбленных, очень легко даваемым, а очень редко выполняемым ими. Итак, с разрешения герцога, моего сеньора, я тотчас поеду разыскивать этого бездушного юношу, и когда найду, вызову и убью его, в случае он отказался бы исполнить данное им слово; потому что главная обязанность моей профессии: снисходить к смиренным и карать заносчивых, я хочу сказать, помогать несчастным и истреблять угнетателей.

– Нет надобности, – сказал герцог, – чтобы милость ваша давала себе труд разыскивать крестьянина, на которого жалуется добрая эта дуэнья. А также нет надобности вашей милости просить у меня разрешения вызвать его на поединок, потому что я считаю, что вы уже вызвали его и беру на себя дать ему знать об этом вызове, заставить его принять его и явиться сюда, в мой замок, где я обоим вам отведу удобное место для поединка, с соблюдением всех тех условий, которые в подобных случаях соблюдаются и должны быть соблюдены, обеспечивая каждому из вас в равной степени справедливость, как это обязаны делать все принцы, предоставляющие свобод-

¹ De buena pasta – буквально: «из хорошего рыхлого теста»; – иными словами кроткого, смиренного характера.

ное поле сражения тем, которые дерутся на дуэли в пределах их владений.

– Основываясь на этом поручительстве и с доброго разрешения вашего высочества, – ответил Дон Кихот, – я здесь же объявляю, что на этот раз отрекаюсь от моего дворянства, и низвожу и ставлю себя на один уровень с простым званием оскорбителя, делаюсь ровней ему, давая ему право сражаться со мной. Таким образом, хотя он и отсутствует, я его вызываю на поединок и обвиняю в том, что он поступил дурно, обманув эту беднягу, которая была девушкой, а теперь по его вине перестала ею быть, и что он должен исполнить данное им обещание сделаться законным ее супругом, или же умереть в испытании на поединке.

И тотчас же, сняв с руки перчатку, он бросил ее посреди зала, а герцог поднял ее, говоря, что, как он уже сказал, он принимает вызов от имени своего вассала, назначает срок поединка через шесть дней от сегодняшнего дня, местом поединка площадь перед замком, и оружием – то, которое обыкновенно употребляется рыцарями, именно: копье, щит и все вооружение, с кольчугой и остальными предметами, без обмана, хитрости или волшебства – все осмотренное и освидетельствованное судьями поединка. Но прежде всего надо, чтобы эта добрая дуэнья и эта нехорошая девушка передали в руки сеньора Дон Кихота право мстить за них, потому что иначе ничего не может быть сделано, и вызов не может считаться действительным.

– Я передаю ему это право, – сказала дуэнья Родригес.

– И я тоже, – добавила ее дочь, вся в слезах, пристыженная и смущенная.

Когда таким образом сговорились, и герцог уже придумал, что ему делать, женщины, одетые в траур, удалились, и герцогиня приказала отныне впредь не

считать их за служащих ей, а за странствующих сеньор, явившихся в замок просить правосудия. Таким образом, им отвели отдельное помещение и служили им, как иностранкам, к изумлению прочих прислуг, которые не знали, на чем остановится глупость и развязность доньи Родригес и ее злополучной дочери.

В это время, чтобы увенчать праздник и хорошо завершить обед, вошел в зал паж, отвозивший письма и подарки Тересе Панса, жене губернатора Пансы. Приезду его очень обрадовались герцог и герцогиня, желавшие узнать, что с ним случилось во время его путешествия; когда его спросили об этом, паж ответил, что он не может говорить так при всех и в коротких словах, и не угодно ли будет их светлостям отложить это дело до того времени, когда они останутся с ним наедине, а пока они могут развлечься письмами. И, вынув два письма, он передал их в руки герцогине. На одном стояла надпись: *Письмо моей сеньоре герцогине, такой-то, не знаю откуда*; а на другом письме: – *Моему мужу Санчо Пансе, губернатору острова Баратариа, которому да пошлет Бог более долгие годы, чем мне.*

Герцогиня не могла дождаться, когда наконец, как принято говорить, испечется хлеб, и сгорала от нетерпения прочитать свое письмо. Распечатав его, она прочла его про себя, и увидав, что можно сделать это вслух, чтобы и герцог и все присутствующие познакомились с содержанием его, она прочла нижеследующее:

Письмо Тересы Панса герцогине.

Весьма порадовало меня, сеньора моя, письмо, которое ваше высочество написало мне, так как, говоря по правде, я его желала. Коралловая нитка очень красива, и охотничье платье моего мужа не уступает ей. Что ваша светлость сделала губернатором мужа моего Санчо доставило

большое удовольствие всему нашему селу, хотя никто этому не верит, в особенности не верит священник, цирюльник маэсе Николас и бакалавр Сансон Карраско; но мне это все равно, потому что, раз оно действительно так, как оно и есть, – пусть каждый говорит себе, что желает. Хотя, если уже говорить правду, и я тоже бы не поверила этому, не будь кораллов и платья, так как здесь, в селе, все считают моего мужа тупоголовым и, за исключением стада коз, не могут себе представить, чем он еще был бы годен управлять. Да поможет ему Бог и поставит его на такой путь, как это нужно его детям. Я, сеньора души моей, решила, с позволения вашей милости, впустить к себе в дом светлые дни, отправиться ко двору и развезжать там в карете, чтобы колоть этим глаза тысяче завистников, которые уже имеются у меня. Итак, умоляю ваше сиятельство, прикажите мужу моему послать мне немного денегонок, и даже довольно много, потому что в столице расходы большие, так как хлеб стоит там реал, а фунт мяса тридцать мараведисов, и это просто диво. Если же он не желает, чтобы я ехала в столицу, пусть во время даст мне знать, потому что ноги так и пляшут у меня; до того мне хочется в дорогу. И мои подруги и соседки говорят, если я и дочь моя зададим блеск и треск в столице, муж мой делается более известным через меня, чем я через него, так как неизбежно многие будут спрашивать: – Кто те сеньоры в этой карете? – и мой слуга ответит: – Жена и дочь Санчо Пансы, губернатора острова Баратариа. – Таким образом, Санчо делается известным, меня будут уважать – и в Рим для всего¹. Мне так досадно, как только может быть досадно, что в этом году не было сбора желудей

в нашем селе, тем не менее, посылаю вашему высочеству около полмеры, которые я сама ходила собирать в лес и выбирала, один к одному, более крупных, чем эти, я не могла найти; но желала бы, чтобы они были величиной со страусовое яйцо.

Пусть ваше великолепие не забудет написать мне и я позабочусь ответить вам, извещая о моем здоровье и обо всем том, о чем можно сообщать вам из этого местечка, где и остаюсь, моля Господа нашего сохранить ваше величие и не забыть и меня. Дочь моя Санчика и мой сын целуют руки вашей милости. Та, которая больше желала бы видеть вашу светлость, чем писать ей, слуга ваша.

Тереса Панса.

Велико было удовольствие, доставленное всем, слушавшим письмо Тересы Панса, в особенности же герцогской чете, и герцогиня спросила у Дон Кихота его мнение, хорошо ли будет распечатать письмо, присланное губернатору, потому что, как ей кажется, оно должно быть крайне интересное. Дон Кихот сказал, что он распечатает его, чтобы доставить им удовольствие; и он так и сделал и увидел, что в письме говорилось следующее:

Письмо Тересы Панса к ее мужу Санчо Пансе.

Твое письмо я получила. Санчо души моей, и говорю, и клянусь тебе, как христианка-католичка, что не доставало лишь двух вершков, чтобы я сошла с ума от счастья. Знаешь, брат, когда я услышала, что ты губернатор, я думала, что тут же упаду мертвой от восторга, потому что тебе известно, говорят, внезапная радость также убивает, как и великое горе. Санчика, дочь твоя, обмочилась, не почувствовав этого, чисто от

¹ A Roma por todo – присловица, весьма понятная, так как в те времена, из Рима шли индульгенции или отпущение грехов.

одного удовольствия. Платье, которое ты прислал, лежало передо мной, кораллы, присланные моей сеньорой герцогиней, я надела на шею, письма я держала в руках, а посланный был тут же, и, тем не менее, я думала и мне казалось, что то, что я вижу и держу в руках, лишь сон; так как кто же мог думать, что козопас сделается губернатором островов? Но ты знаешь, друг, что мать моя говорила: надо долго жить, чтобы многое видеть, потому говорю это, что надеюсь больше увидеть, если проживу дольше, так как не намерена перестать жить, пока не увижу тебя откупщиком или сборщиком податей; ведь это такие должности, что хотя дьявол унесет с собой тех, кто их дурно исполняет, в конце концов они все же дают и приносят немало денег. Моя сеньора герцогиня передаст тебе о моем желании отправиться в столицу; подумай об этом и сообщи мне свое мнение, так как я постараюсь делать тебе там честь, разъезжая в карете.

Священник, цирюльник, бакалавр и даже ключарь церкви, никак не могут поверить, что ты губернатор и говорят, что все это обман или дело волшебства, вроде всех тех, которые случаются с Дон Кихотом, твоим господином. И Сансон говорит, что он пойдет разыскивать тебя и выбьет из твоей головы губернаторство, и из мозгов Дон Кихота его безумие, а я только и делаю, что смеюсь, смотрю на мою коралловую нитку и придумываю, как бы скроить из твоей охотничьей одежды платье для нашей дочери. Послала я немного желудей моей сеньоре герцогине и желала бы, чтобы они были из золота. Пришли мне несколько ниток жемчуга, если их носят на этом острове. Новости из нашего местечка такие: Барруэка выдала замуж свою дочь за плохенького живописца, приехавшего в село,

искать какой ни на есть работы. Городской совет приказал ему нарисовать герб его величества на дверях аюнтамиенто¹. За это он спросил два червонца, и ему их дали вперед. Проработал он восемь дней, по истечении их не нарисовал ничего и сказал, что у него нет охоты рисовать такие безделушки. Деньги он вернул назад и тем не менее женился, в качестве хорошего работника. Правда, он уже бросил кисть, взялся за лопату и ходит в поле, как дворянин. Сын Педро де Лобо получил духовную степень, и ему выбрили на голове кружок, так как он готовится сделаться священником. Мингилля, внучка Минго Сильватто, узнала об этом и ищет в суде на него, потому что он ей дал обещание жениться на ней. Злые языки даже говорят, будто она беременна от него, но он это упорно отрицает. В этом году у нас нет оливок, и нельзя найти ни капли уксуса во всем селе. Здесь приходила рота солдат и увела с собой трех девушек из нашего местечка, не скажу тебе кого; быть может они вернутся и найдется, кто возьмет их себе в жены, с их хорошими или дурными клеймами.

Санчика плетет на коклюшках кружева; она зарабатывает ежедневно чистоганом восемь мараведисов, которые и кладет в копилку, в вспоможение своему приданому, но теперь, когда она дочь губернатора, ты наделишь ее без того, чтобы она работала.

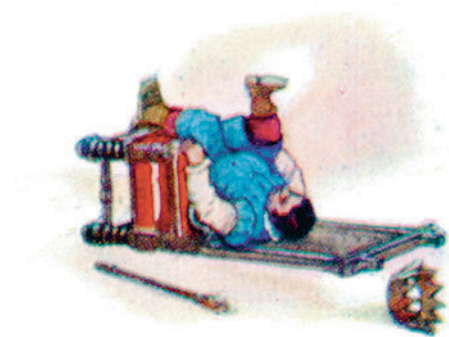
Фонтан на нашей площади высох. Молния ударила в позорный столб и пусть бы их всех свалило молнией. Жду ответа от тебя и твоего решения о моей поездке в столицу. И да хранит тебя Бог более долгие годы, чем меня, или столько же, так как я не желала бы оставить тебя на этом свете без себя.

Твоя жена
Тереса Панса.

¹ Ayuntamiento – городской совет.

Письма вызвали восторг, смех, одобрение и изумление, а в довершение всего прибыл и гонец, который привез письмо Санчо к Дон Кихоту. И это письмо прочли также при всех и стали сомневаться относительно глупости губернатора. Герцогиня удалилась к себе, чтобы узнать от паж, что с ним случилось в деревне Санчо. Паж рассказал ей очень подробно обо всем, не упустив ни

одного обстоятельства, и передал ей желеуди и сверх того кусок сыра, который Тереса ему расхвалила, сказав, что он очень хорош и даже лучше сыров Трончона¹. Герцогиня приняла эти подарки с величайшим удовольствием, с которым мы и оставим ее, чтобы рассказать конец губернаторства великого Санчо Пансы, цвета и зеркала всех островных губернаторов.



¹ Сыры Трончона в провинции Теруэль очень славились тогда, как теперь славятся сыры Бургоса и Астурии.



Глава LIII

О тревожном конце и заключении губернаторства Санчо Пансы.

Думать, что в этой жизни все вещи остаются всегда в одном и том же положении, было бы думать неправильно; скорее, кажется, что все в ней идет кругом, я хочу сказать совершает круговорот. Лето следует за весной, осень за летом, зима за осенью и весна за зимой, и таким образом время вертится непрерывным колесом. Только одна человеческая жизнь спешит к своему концу быстрее времени, без надежды на возобновление, разве только в будущей жизни, у которой нет предела, ограничивающего ее. Так говорит Сид Амет, философ магометанский, потому что мысль о быстротечности и превратности настоящей жизни и продолжительности вечной, на которую надеются, — ее поняли многие, не озаренные светом веры, а только светочем природы. Но здесь наш автор

говорит это по поводу быстроты, с которою кончилось, погибло, уничтожилось, исчезло, как тень и дым, губернаторство Санчо. Когда он, на седьмую ночь своего губернаторства, лежал в постели, насытившись не хлебом и вином, а только произнесением приговоров и суждений, изданием статуты и постановлений, а сон на зло и вопреки голоду стал смыкать ему веки, вдруг он услышал такой громкий гул голосов и звон колоколов, что, казалось, весь остров рушится. Санчо сел на постели и стал внимательно прислушиваться, пытаясь угадать, какая могла быть причина столь великого смятения. Но он ни только не мог узнать этого, а так как к шуму голосов и звону колоколов присоединились и звуки бесчисленных труб и барабанов, он еще сильнее смутился, и его охватил испуг и страх. Соскочив с постели, Санчо надел туфли, оттого что пол был сырой, и не набро-

сив на себя утреннего верхнего платья или чего-либо подобного, он подошел к двери своей спальни и тут увидел, что по коридору к нему направляется более двадцати человек, с зажженными факелами в руках и обнаженными мечами, и все они кричали громким голосом:

– К оружию, к оружию, сеньор губернатор, к оружию! На остров напало бесчисленное множество врагов, и мы погибли, если ваш ум и мужество не выручат нас из беды.

С этим шумом и смятением они добрались до места, где стоял Санчо, изумленный и пораженный всем, что он слышал и видел, и когда они дошли до него, один из них сказал:

– Вооружитесь тотчас же, ваша светлость, если вы не хотите сами погибнуть и погубить весь остров.

– К чему мне вооружаться, – ответил Санчо, – и что я понимаю в военном деле, и в оказании помощи? Эти вещи лучше было бы предоставить моему господину, сеньору Дон Кихоту, который со всем этим справится и приведет все в порядок в мгновение ока, потому что я, грешник перед Богом, ничего не понимаю в этой сумятице.

– Ах, сеньор губернатор, – сказал другой, – что это за хладнокровие такое? Вооружитесь, милость ваша, здесь у нас с собой оружие, как для обороны, так и для нападения; выходите на площадь и будьте нашим вождем и полководцем, так как по праву вы им должны быть, будучи нашим губернатором.

– Вооружайте же меня в добрый час, – сказал Санчо.

И тотчас же ему подали два больших щита¹, которые они принесли с собой, и прикрепили их ему поверх рубашки, не дав надеть что-либо другое; один щит спереди, другой – сзади, и через отвер-

стия, проделанные в них, они просунули его руки, и связали щиты очень крепко веревками, так что он стоял, как замуравленный и заколоченный между двумя досками, прямой, как веретено, и не будучи в состоянии согнуть колени и сделать шаг. Ему дали в руки копье, на которое он оперся, чтобы быть в состоянии стоять. Когда его так оборудовали, ему сказали, чтобы он шел и вел их, и всех подбодрял, так как, если он будет их путеводной звездой, фонарем и светочем, то дела их кончатся благополучно.

– Как могу я несчастный идти, – ответил Санчо, – если мне нельзя согнуть колен, потому что мне мешают эти доски, которые так крепко пришиты к моему телу. Вам придется сделать одно: взять меня на руки и положить поперек, или же поставить к какому-нибудь потаенному выходу из крепости – и я буду охранять его или этим копьем, или моим телом.

– Идите, сеньор губернатор, – сказал другой, – скорее страх, чем эти доски, мешает вам ходить. Довольно, встрепетесь, так как уже поздно, число врагов растет, крики становятся громче и опасность усиливается.

Услышав эти увещания и укоры, бедный губернатор попытался двинуться, но грохнулся при этом так сильно на землю, что ему показалось, будто он разбился вдребезги. Лежал он, точно черепаха, заключенная и прикрытая своей скорлупой, или как большой окорок, приготовленный для соления, между двумя досками, или же как лодка, опрокинутая вверх дном на песке. А эти насмешники, хотя и видели, что он упал, не почувствовали к нему никакого сострадания, напротив, потушив свои факелы, они принялись еще громче и торопливее кричать и звать к оружию, и топтали бедного Санчо, на-

¹ Payeses – род древнего щита, прикрывавший все тело солдата.

нося ему бесчисленные удары по прикры-
вавшим его щитам, так что, если б он не
согнулся и не засунул голову между двумя
щитами, пришлось бы очень плохо бед-
ному губернатору, который, защемлен-
ный в узком этом пространстве, вновь и
вновь обливался потом и от всего сердца
молил Бога спасти его из этой опасности.
Одни спотыкались на него, другие падали,
а был и такой, который вскочил на него,
простоял довольно долго и оттуда, точно
с высоты сторожевой башни, руководил
отрядами и громким голосом кричал:

– Сюда, наши! С этой вот стороны
враги нападают особенно яростно! Ох-
раняйте этот выход из крепости! Запри-
те те ворота! Сбросьте штурмовые лес-
ницы! Несите сюда гранаты, кипящую
смолу и деготь в котлах с маслом! Барри-
кадируйте улицы матрасами!

Словом, он поспешно перечислял
все военные принадлежности, орудия и
приспособления, употребляемые для за-
щиты города против нападения. А избитый
Санчо, который все это слышал и все
терпел, говорил про себя:

– О, если бы Господу было угодно,
чтобы неприятель скорей завладел этим
островом и я оказался бы мертв или вне
великой этой муки.

Небо вняло его молитве, и когда он
менее всего надеялся на то, он услышал
голоса, кричавшие: «Победа! Победа!
Неприятель бросился бежать! Эй, сень-
ор губернатор, вставайте, милость ваша,
и идите наслаждаться победой, и делить
добычу, отнятую у врагов силой непобе-
димой этой руки».

– Поднимите меня, – сказал жалоб-
ным голосом измученный Санчо.

Ему помогли встать, и лишь только
он очутился на ногах, он сказал:

– Неприятеля, которого я будто бы
победил, пусть пригвоздят мне ко лбу.
Не желаю делить вражеской добычи, а

прошу и умоляю какого-нибудь друга,
если он у меня есть, дать мне глоток вина,
потому что все пересохло у меня внутри,
и утрите этот пот, так как я плаваю в воде.

Они вытерли его, принесли ему
вина, развязали щиты, и он сел на свою
постель и от страха, испуга и утомления
упал в обморок.

Участники сыгранной с ним шутки
стали уже раскаиваться, что зашли в ней
слишком далеко; но так как Санчо при-
шел в себя, это умерило огорчение, выз-
ванное у них его обмороком. Он спросил,
который час; они ответили, что уже рас-
светает. Он замолчал и, не говоря больше
ничего, начал одеваться, весь погружен-
ный в безмолвие; и все смотрели на него
и ждали, к чему приведет поспешность, с
которой он одевается. Наконец, он одел-
ся и медленно, потому что был избит и
не мог скоро двигаться, пошел в конюш-
ню, куда за ним последовали все, бывшие
с ним. Подойдя к своему ослу, он обнял
его, поцеловал в лоб поцелуем мира, и, со
слезами на глазах, сказал:

– Иди сюда, товарищ и друг мой,
соучастник моих испытаний и горестей.
Когда я был всегда вместе с тобой и не
имел других мыслей, кроме заботы о по-
чинке твоей сбруи и питания твоего ма-
ленького тела, счастливо протекали мои
часы, мои дни и годы! Но с тех пор, как
я тебя покинул и поднялся на башни че-
столюбия и тщеславия, в душу мою про-
никли тысячи страданий, тысячи тревог
и четыре тысячи печалей.

И в то время, как он так говорил,
он собственноручно седлал своего ослы,
а все кругом него молчали. Кончив сед-
лать Серого, Санчо с большим трудом и
усилиями взобрался на него и, обращая
свои слова и речи к мажордому, секретарю,
маэстресала, доктору Педро Ресио и
многим другим присутствовавшим там,
он сказал:



Как могу я несчастный идти, – ответил Санчо...

– Дайте мне дорогу, сеньоры мои, и отпустите к прежней моей свободе, дайте мне вернуться к прежней моей жизни, чтобы я воскрес от этой теперешней смерти. Я не родился ни быть губернатором, ни защищать острова и города от врагов, которые бы пожелали напасть на них. Я лучше умею пахать и копать землю, подрезывать и подвязывать виноградные лозы, чем издавать законы, или защищать области и королевства. Святому Петру хорошо живется в Риме, – я хочу сказать этим, что всякому хорошо, когда он занимается делом, для которого родился. Серп больше подходит к моей руке, чем губернаторский жезл; я предпочитаю наестся досыта тюрей¹, чем быть подчиненным милости дерзкого доктора, морящего меня голодом; и я предпочитаю растянуться под тенью дуба летом, укутаться пастушьим тулупом из двух овечьих шкур зимой, сохраняя свою свободу, чем спать на голландских простынях и носить соболи с тяготами губернаторства. Оставляйтесь себе с Богом, милости ваши, и скажите герцогу, моему сеньору, что наг я родился, и наг я остался, ничего не теряю и не выгадываю. Я хочу сказать, что, не имея гроша, вступил я в это губернаторство и без гроша ухожу из него, не так как уходят губернаторы других островов. Дайте мне дорогу и отпустите меня; я еду прикладывать себе пластыри, так как думаю, что у меня все ребра переломаны, благодаря неприятелю, который сегодня ночью ходил по мне.

– Не уезжайте, сеньор губернатор, – сказал доктор Ресию, – потому что я дам вашей милости питье против падения

и ушибов, и оно тотчас же вернет вам прежнее ваше здоровье и силу, и, что касается еды – обещаю вашей милости исправиться и позволить вам есть в изобилии все, что вы пожелаете.

– Слишком поздно, – ответил Санчо, – теперь я также соглашусь остаться, как и сделаться турком. Таких шуток не шутят дважды. Клянусь Богом, я также останусь на этом губернаторстве или приму другое, хотя бы его мне поднесли между двух блюд, как и полечу к небу без крыльев. Я из рода Панса, которые все упрямы, и если они раз сказали нечет, то и будет нечет, хотя бы и был чет, – наперекор всему свету. Пусть останутся в этой конюшне муравьиные крылья², поднявшие меня на воздух, чтобы ласточки и другие птицы склевали меня, и вернемся снова на землю, чтобы ходить по ней твердой поступью, потому что, если ног моих и не украсят башмаки из узорчатой кордуанской кожи, для них найдутся грубые, веревочные альпаргаты³. Каждая овца иди с себе подобной, и никто не протягивай ногу дальше своей простыни; и теперь пустите меня, потому что становится поздно.

На это мажордом сказал:

– Сеньор губернатор, мы очень охотно дали бы вашей милости уехать, хотя нам и будет грустно потерять вас, потому что ваш ум и христианский образ действия заставляют нас желать вашего присутствия. Но хорошо известно, что всякий губернатор должен прежде, чем уехать из местности, где он губернаторствовал, подвергнуться *residencia*⁴. Пусть милость ваша сделает это относительно

¹ Gazpachos – обычная и любимая пища крестьян на юге Испании; она состоит из кусков хлеба, размоченных в смеси воды, уксуса и масла, и подправлена огурцами, томатами и другими овощами.

² Намек на пословицу – у муравья на беду его выросли крылья, и птицы его склевали.

³ Обычная обувь испанских крестьян, нечто в роде веревочных лаптей.

⁴ Dar residencia – т. е. дать отчет в своем правлении; смотри примечание к главе XLVII.



Иди сюда, товарищ и друг мой, соучастник моих испытаний и горестей...

тех десяти дней, которые вы пробыли здесь губернатором, и тогда уезжайте себе с миром.

– Никто не может этого требовать от меня, – сказал Санчо, – без распоряжения герцога, моего сеньора. Я еду теперь к нему и ему дам я точный отчет обо всем. Тем более, что раз уезжаешь, как я это делаю, нагим, – не нужно других доказательств, что я управлял, как ангел.

– Клянусь Богом, великий Санчо прав, – сказал доктор Ресио, – и я держусь мнения, что мы должны отпустить его, так как герцог будет бесконечно рад его видеть.

Все согласились с этим и отпустили его, но перед тем предложили ему сопровождать его и взять с собой все, что бы он ни пожелал, для услаждения себя и для удобства путешествия. Санчо сказал, что ему ничего не надо, исключая лишь немного ячменя для Серого, и полкуса сыра и полхлеба для него самого; потому что, так как путь не дальний, ему незачем брать с собою ни больших, ни лучших запасов. Все обнялись с ним, и он со слезами обнял всех, оставив их исполненных удивления, как от слов его, так и от решения, столь твердого и рассудительного.





Глава LIV

В которой говорится о вещах, касающихся лишь этой истории и никакой другой.

Лерцог и герцогиня решили дать ход вызову, сделанному Дон Кихотом их вассалу по уже сообщенному нами поводу, но так как молодой парень был во Фландрии, куда он бежал, чтобы не иметь тещей донью Родригес, они решили заменить его лаксем-гасконцем, по имени Тосилос, научив его сперва хорошенько всему тому, что предстоит ему делать. Два дня спустя герцог сказал Дон Кихоту, что его противник явится через четыре дня и, вооруженный по-рыцарски, выступит на поле сражения в подтверждение того, что девушка лжет в половину или даже во всю бороду¹, если говорит, что он дал ей слово жениться на ней. Дон Кихоту известие это доставило большое удовольствие, и он дал самому себе слово выказать в этом деле чудеса храбрости, считая за большое счастье, что ему представился случай показать этим сеньорам, как велика сила могучей его руки. Итак, в смятении и радости ждал он, когда пройдут эти четыре дня, которые в его нетерпении казались ему четырьмя веками.

Дадим им пройти и мы, как даем и другим вещам, и вернемся к Санчо, который, не веселый и не грустный, ехал на Сером к своему господину, чье общество нравилось ему больше губернаторства всех островов на свете. Случилось так, что, отъехав не очень далеко от острова, на котором он губернаторствовал (так как он не позаботился проверить, было ли островом, городом, пригородом или местечком то, чем он управлял), он увидел, что по дороге, по которой он едет, шли шесть паломников с посохами в руках, из числа тех иностранцев, которые просят милостыню пением. Приблизившись к нему, они встали в ряд и все вместе громким голосом принялись петь на своем языке, то, что Санчо не мог понять, за исключением одного слова, которое они ясно произносили, а именно: «милостыня» — из чего он понял, что пением своим, они просят милостыню. И так как, по словам Сида Амета, он был крайне сострадателен, то он и вынул из дорожной сумки своей полхлеба и полсыра, которыми он запасся, и отдал их им, показывая знаками, что у него нет

¹ «Лгать в бороду» было старинной формулой отрицания, когда был брошен вызов.

ничего другого. Они охотно взяли хлеб и сыр, говоря: – гелте, гелте¹.

– Не понимаю, – сказал Санчо, – что вы просите, добрые люди.

Тогда один из них вытащил из-за пазухи кошелек и показал его Санчо, который и уразумел, что у него просят денег. Приставив к горлу большой палец и подняв руку вверх, он дал им понять, что у него нет ни гроша, после чего, подгоняя Серого, он проехал посреди них. Но в то время, как он проезжал, один из паломников, всмотревшись в него с большим вниманием, бросился к нему, обнял за талию и громким голосом, на хорошем кастильском языке сказал:

– Помоги мне Бог, что это я вижу? Возможно ли, что я держу в своих объятьях моего дорогого друга, доброго моего соседа, Санчо Пансу? Да, это несомненно так, потому что я и не сплю и еще пока не пьян.

Санчо удивился, что его называет по имени и обнимает чужеземный паломник, и после того, как, не говоря ни слова, он с большим вниманием всмотрелся в него, все же он его не узнал. Видя его смущение, паломник сказал:

– Неужели ты, Санчо Панса, брат, не узнаешь твоего соседа, мавра Рикоте, лавочника в твоём селе?

Тогда Санчо еще внимательнее посмотрел на него и стал припоминать черты его лица, и наконец, узнав его вполне, не сходя с осла, обнял его руками за шею, говоря:

– Какой черт узнал бы тебя, Рикоте, в смешном наряде, который ты на себя надел? Скажи мне, кто тебя офранцузил и как ты решаешься вернуться в Испанию, где, – если тебя увидят и узнают, – тебе придется очень плохо?

– Если ты меня не выдашь, Санчо, – ответил паломник, – я в безопасности, так

как в этой одежде никто меня не узнает; но свернем с дороги, в ту тополевую рощицу, где товарищи мои хотят поесть и отдохнуть, и ты тоже закусишь с ними, потому что все они – милые люди, и у меня будет досуг рассказать тебе то, что случилось со мной после того, как я уехал из нашего села, повинуясь указу его величества, грозившему столь суровыми карами несчастным моим землякам, как ты это слышал.

Санчо так и сделал; Рикоте поговорил с остальными паломниками, и они пошли по направлению тополевой рощи, довольно отдаленной от большой дороги. Тут они бросили свои посохи, сняли с себя паломничьи капюшоны и плащи и остались в одних камзолах. Все оказались очень благообразны и молоды, исключая лишь Рикоте, который уже был в пожилых летах. У всех были котомки, по-видимому, хорошо снабженные, по крайней мере, возбуждающими предметами, такими, которые вызывают жажду на расстоянии двух миль. Они растянулись на земле и, устроив скатерть из дерна, разложили на ней хлеб, соль, ножи, орехи, куски сыра, обглоданные кости окорока, которые, если их нельзя было жевать, то можно было хоть пососать. Вынули они также какое-то черное кушанье, называемое, как они говорили, *кабиаль*² и приготавливаемое из рыбьих яичек, – большой возбудитель жажды. Не было у них недостатка и в оливках, хотя сухих и без всякой приправы, но очень вкусных и хорошо сохранных. Самым прекрасным зрелищем, выделявшимся на поле сражения пиршества, были шесть фляжек из козьей кожи, наполненных вином, потому что каждый из паломников вынул свою из котомки, даже и добрый Рикоте, превратившийся из мавра в немца или германца, вынул

¹ На воровском жаргоне это означает деньги, как объяснено в словаре испанской академии.

² Икра.

свою фляжку, которая по величине могла бы соперничать со всеми пятью остальными вместе взятыми. Они начали есть с большим рвением, но нисколько не торопясь и смакуя каждый кусочек, который они брали кончиком ножика, и очень понемногу от всего; и затем, все вместе и сразу, подняли руки и фляжки вверх и, приложившись ртом к их горлышку, пригвоздив глаза к небу, так что казалось, будто они целятся в него, и покачивая из стороны в сторону головами, в знак испытываемого ими удовольствия, они пробыли в таком положении довольно долгое время, переливая в свои желудки содержимое фляжек. Все это Санчо видел и *ничто не огорчало его*¹, напротив, придерживаясь хорошо известной ему пословицы: *будешь в Риме, – подражай римлянам*, он попросил у Рикоте фляжку и прицелился, как остальные, и не с меньшим удовольствием, чем они. Четыре раза оказалось возможным подымать вверх фляжки, но на пятый раз, этого уже нельзя было сделать, так как они были пусты и более сухи, чем ковыль, и это омрачило веселие, которое паломники до тех пор выказывали. Время от времени кто-нибудь из них брал Санчо за руку и говорил на ломаном испанском языке: *Испанец и немец все один хороши компаньон!* – и Санчо в том же духе отвечал: *Хорош компаньон, клянусь Бог*, – и раздражался затем хохотом, продолжавшимся чуть ли не с час. Он забыл тогда обо всем, что случилось с ним в его губернаторстве потому, что над временем и мгновениями, когда едят и пьют, по

большей части заботы имеют мало власти. В конце концов, когда они прикончили с вином, появился сон, овладевший всеми ими, и они заснули здесь же, на своих зеленых столах и скатертях. Только Рикоте и Санчо бодрствовали, потому что они больше ели и меньше пили. Рикоте отвел Санчо в сторону, они сели с ним у подножия букового дерева, оставив паломников погруженными в сладкий сон, и Рикоте, ни разу не прибегая к мавританскому языку, чистым кастильским языком сказал следующее:

– Ты хорошо знаешь, о, Санчо Панса, сосед и друг мой, в какой ужас и страх привел всех нас, мавров, указ и предписание², изданное по желанию короля против лиц нашего народа. По крайней мере я испытал этот ужас и страх в такой степени, что, мне казалось, еще раньше, до истечения срока³, назначенного для переселения из Испании, вся строгость кары уже выполнена надо мной и моими детьми. Поэтому я рассудил и, на мой взгляд, благоразумно (как это делает человек, который знает, что через такой-то срок он должен выехать из дома, в котором он живет, и приискивает себе другой, куда бы он мог переехать), я рассудил, говорю я, уехать один и без семьи из села и искать, куда бы я мог перевезти своих с удобствами и без той поспешности, с какою потом выехали из Испании остальные мавры; потому что я хорошо видел, как и все наши старики, что изданные постановления не только угрозы, как некоторые говорили, а действительные законы, кото-

¹ Строчка из старинного испанского романа о Нероне, который смотрел на пожар Рима с Тарпейской скалы, в то время как дети и старики восклицали: *y el de nada se dolia* – «и его ничто не огорчало».

² Указ, изгонявший мавров из Валенсии, был издан в сентябре 1609 г. Вторым указом в декабре 1609 г. мавры изгонялись из Гранады, Мурсии и Андалузии, третьим – в 1610 г. из Кастилии и Эстремадуры и последним в 1614 г. из всей Испании.

³ Срок, назначенный для переселения мавров с их женами и детьми, был тридцатидневный, кой-где, например, в Севилье, по усердию местного начальства сокращенный до двадцати дней.

рые будут своевременно приведены в исполнение в назначенный срок. Думать так вынуждало меня и то обстоятельство, что мне было известно об опасных и нелепых намерениях наших одноплеменников, которые были таковы, что мне казалось, будто внушение свыше побудило его величество привести в исполнение столь доблестное решение¹, не потому, чтобы мы все были виновны, – так как некоторые из нас были искренние и стойкие христиане, – но их было так мало, что они не могли противостоять тем, которые не были ими, и не хорошо было бы вырастить на груди змею и держать врагов внутри дома. Словом, на нас справедливо обрушилась кара изгнания, – не суровая и мягкая, по мнению некоторых, а по нашему мнению, самая ужасная, которой только можно было подвергнуть нас. Где бы мы ни были, мы плачем об Испании, потому что, как бы то ни было, но мы родились в ней, и она – наше отечество. Нигде не находим мы приема, соответствующего нашему несчастью. В Берберии и во всех частях Африки, где мы надеялись, что к нам отнесутся хорошо, встретят нас радушно, окажут нам поддержку и ласку, – нас всего более оскорбляют и всего хуже обращаются с нами. Не знали мы своего счастья, пока не потеряли его, и наше почти всеобщее желание вернуться в Испанию так велико, что большинство из тех, – а их много, – которые знают испанский язык, как я, возвращаются сюда, бросая жен и детей беззащитными на чужбине, до того безгранична любовь наша к Испании; и теперь я сам понимаю и знаю по опыту то, что принято говорить: *сладка любовь к родине*.

Уехал я, как сказано, из нашего местечка и отправился во Францию; и хотя

нас там хорошо приняли, но мне хотелось побывать и в других странах. Я поехал в Италию, а оттуда в Германию, и мне показалось, что тут можно жить всего свободнее, так как жители не обращают внимания на мелочи; каждый живет, как хочет, потому что в большей части Германии царит свобода совести. Я приобрел дом в местечке близ Аугсбурга, присоединился к этим паломникам, из которых многие имеют обыкновение ежегодно являться в Испанию для посещения ее святынь, считая их своей Индией, самой надежной своей жатвой и вернейшей прибылью. Они исхаживают почти всю Испанию, и нет того города, где бы их, как говорится, не накормили и не напоили и, по меньшей мере, не дали бы хоть реала деньгами. К концу путешествия они, таким образом, набирают более ста эскудо, которые, обменяв на золото и спрятав их в пробуравленных посохах, или в заплатах своих плащей, или иным каким-нибудь способом, уносят из королевства и переправляют в свою страну наперекор пограничной страже и страже в гаванях, где их подвергают обыску. Теперь мое намерение, Санчо, достать клад, который я закопал перед своим отъездом; и я могу это сделать безопасно, так как он вне города. Затем я напишу или сам поеду из Валенсии к моей дочери и моей жене, а они, как я знаю, находятся в Алжире, и придумаю способ перевезти их в какую-нибудь французскую гавань, а оттуда переправить в Германию, где мы и подождем, как Богу будет угодно распорядиться нашей судьбой. Ведь, в конце концов, Санчо, я верно знаю, что Рикота, моя дочь, и Франсиска Рикота, жена моя, обе христианки-католички, и хотя я сам не совсем христианин, все же я больше

¹ Многие упрекали Сервантеса в том, будто он высказывается здесь за изгнание мавров из Испании; но всякому, кто внимательнее вдумается в достаточно дипломатический рассказ Рикоте, станет ясно, что симпатии Сервантеса на стороне угнетенного народа.

христианин, чем мавр, и усердно молю Бога, чтобы он отверз очи моего ума и открыл мне, как лучше служить ему. Однако то, чему я удивляюсь, это – не знаю почему, моя жена и дочь уехали в Берберию, а не во Францию, где они могли бы жить как христиане.

На это Санчо ответил:

– Видишь ли, Рикоте, по-видимому, это не зависело от их воли, потому что их увез с собой Хуан Тиописе, брат твоей жены, а так как он, должно быть, отъявленный мавр, он и уехал в более безопасное для себя место. И я могу сказать тебе еще и другую вещь, именно: я думаю, что ты напрасно будешь искать то, что закопал, потому что до нас дошел слух, будто у твоего шурина и у твоей жены, при осмотре на границе, отобрали много жемчуга и много денег золотом, которые они хотели увезти с собой.

– Очень может быть, – ответил Рикоте, – но я знаю, Санчо, что они не тронули моего клада, так как я им не открыл, где он находится, опасаясь какого-нибудь злоключения. И поэтому, Санчо, если ты хочешь идти со мной и помочь мне вырыть клад и спрятать его, я дам тебе двести червонцев, которыми ты можешь облегчить свою нужду, потому что мне, как ты знаешь, известно, что нужда твоя не малая.

– Я бы это сделал, – ответил Санчо, – но я вовсе не корыстолюбив; так как, если бы я им был, я не выпустил бы сегодня утром из рук одну должность, где бы я мог возвести стены моего дома из золота, и прежде чем прошло бы шесть месяцев, я стал бы есть на серебре. Итак, по этой причине, и потому, что, как мне кажется, я бы изменил своему королю, помогая его врагам, я не пойду с тобой, хотя бы ты, – вместо двухсот червонцев, которые

обещаешь мне, – дал бы мне здесь чисто-ганом четыреста червонцев.

– От какой это должности ты отказался, Санчо? – спросил Рикоте.

– Я отказался от губернаторства одного острова, – ответил Санчо, – и такого острова, что, по чести, другого подобного ему не найти на расстоянии трех выстрелов.

– А где находится этот остров? – спросил Рикоте.

– Где? – ответил Санчо, – две мили отсюда, и называется он островом Баратариа.

– Молчи, Санчо, – сказал Рикоте, – потому что острова там, на море, а на суше их не бывает.

– Как не бывает? – возразил Санчо, – говорю тебе, Рикоте друг, что сегодня утром я уехал оттуда, а вчера я там губернаторствовал во всю свою волю, как сагитарий¹; но, тем не менее, я оставил эту должность, потому что мне губернаторство показалось опасной вещью.

– И что же ты выгадал на своем губернаторстве? – спросил Рикоте.

– Я выгадал то, – ответил Санчо, – что понял, что я не гоюсь ничем управлять, кроме разве стада рогатого скота, – и что богатства приобретаются на этих губернаторствах лишь ценой потери отдыха и сна, и даже пищи, потому что на островах губернаторы должны мало есть, в особенности, если у них имеются доктора, которые следят за их здоровьем.

– Я не понимаю тебя, Санчо, – сказал Рикоте; – но мне все, что ты говоришь, кажется бессмыслицей, потому что кто дал бы тебе управлять островами? Не было разве на свете людей более годных, чем ты, быть губернаторами? Молчи, Санчо, приди в себя и подумай, не пойдешь ли ты со

¹ Сагитарий на воровском жаргоне означал: мошенник, человек, подвергнутый публичному наказанию; поэтому губернаторствовать, как сагитарий, означает тоже, что и «кречет» «сокол» и т. д.

мной, как я уже говорил, помочь мне вырыть спрятанный мною клад, потому что он так велик, что на самом деле его можно назвать кладом, и тебе я дам столько, что тебе можно будет прожить на это, как я уже говорил.

– И я уже говорил тебе, Рикоте, – ответил Санчо, – что не хочу; довольствуйся тем, что я не выдам тебя. Продолжай в добрый час свой путь и дай мне продолжать мой, так как я знаю: хорошо нажитое теряется, и плохо нажитое теряется – оно, а с ним и его хозяин.

– Не хочу настаивать, Санчо, – сказал Рикоте, – но скажи мне, был ли ты в нашем селе, когда оттуда уезжали моя жена, дочь и шурин.

– Да, я там был, – ответил Санчо, – и могу сказать тебе, что, уезжая, дочь твоя глядела такой красавицей, что все в селе ходили смотреть на нее и говорили: она самое прекрасное создание в мире. А она шла в слезах, обнимала всех своих подруг и знакомых, всех приходивших смотреть на нее, и просила помолиться за нее Богу и Пресвятой Божьей Матери. Делала она это с таким чувством, что заставила и меня плакать; а я не привык быть большим плаксою. По чести говоря, многие хотели ее укрыть у себя, пойти за ней и увезти ее с дороги; но их удерживал только страх перед королевским указом. Особенно же выказал себя страстно огорченным дон

Педро Григорио, тот молодой юноша, богатый владетель майората, которого ты знаешь и про которого говорят, что он был влюблен в твою дочь. С того времени, как она уехала, он больше не показывался в нашем селе, и мы все думаем, что он поехал за нею, чтобы похитить ее; но до сих пор ничего неизвестно.

– Всегда подозревал я, – сказал Рикоте, – что кабальеро этот влюблен в мою дочь; но так как я доверял добродетели Рикоты, то мысль, что он ее любит, не тревожила меня. Ведь и ты верно слышал, Санчо, что мавританские женщины редко или никогда не заводят романов с истыми христианами; и моя дочь, которая, как я думаю, была более склонна сделаться христианкой, чем быть влюбленной, не обратила, вероятно, внимание на ухаживание этого сеньора майоратного владельца.

– Дай-то Бог, – ответил Санчо, – потому что иначе было бы нехорошо для них обоих. А теперь дай мне уехать отсюда, Рикоте друг, потому что я еще сегодня вечером желал бы прибыть туда, где находится мой господин Дон Кихот.

– Да хранит тебя Бог, Санчо брат, – сказал Рикоте, – потому что мои товарищи уже просыпаются, и нам пора продолжать наш путь.

После того они поцеловались, и Санчо сел на своего Серого, а Рикоте взял свой посох, и они расстались.





Глава LV

О том, что случилось с Санчо, а также и о других вещах, лучшие которых ничто быть не может.

Вследствие того, что Санчо потерял много времени с Рикоте, он не имел возможности доехать в тот же вечер до замка герцога, хотя находился всего в какой-нибудь полмили от него, когда его застигла несколько темная и застланная облаками ночь. Но так как стояло лето, это не очень обеспокоило его, и отъехав в сторону от дороги, он намеревался дожидаться утра; однако, его неудачной, несчастливой судьбе угодно было, чтобы, отыскивая место, где ему лучше устроиться на ночь, он и Серый упали в глубокую и очень темную яму, находившуюся между несколькими весьма старыми строениями. Падая, Санчо от всей души поручил себя Богу, воображая, что он, не останавливаясь, будет падать, пока не очутится на дне бездны. Но этого не

случилось, так как немногим больше, чем через три сажени Серый очутился уже на земле, а Санчо остался сидеть на нем, не получив ни раны, ни ушиба. Он ощупал все свое тело и задержал дыхание, чтобы убедиться, цел ли он, и не пробуравлена ли у него где-нибудь на теле дыра. Увидав, что он неприкосновенен, невредим и здоровьем католик¹, он не мог достаточно возблагодарить Господа Бога за оказанную ему милость, потому что в самом деле ему почудилось, будто он разбился вдребезги. Санчо ощупал руками также и стены ямы, чтобы посмотреть, не окажется ли возможным выбраться оттуда без чужой помощи; но стены были гладкие и не было ни малейшего выступа, что сильно огорчило Санчо, особенно, когда он услышал, как Серый стал жалобно и заунывно стонать; и это было не удивительно, так как он жаловался не без

¹ Católico de salud, – часто употреблявшееся выражение: быть католиком считалось у испанцев верхом всякой доброкачественности и добротности.

причины, потому что был действительно в довольно плохом состоянии.

— Ах, — сказал Санчо Панса, — сколько неожиданных происшествий случаются на каждом шагу с теми, кто живет на этом злополучном свете! Кто бы мог подумать, что тот, который вчера еще восседал на престоле губернаторства острова, давая приказания своим слугам и вассалам, увидит сегодня себя похороненным в подземелье, и не будет иметь никого, кто бы оказал ему поддержку, ни единого слуги и вассала, которые пришли бы ему на помощь. Здесь мы должны будем погибнуть от голода, я и мой осел, если мы раньше не умрем, он — от ушибов и переломов, а я — с горя. Во всяком случае, я не буду так счастлив, как был господин мой Дон Кихот Ламанчский, когда он сошел и спустился в пещеру Монтесиноса, где он нашел тех, которые угощали его лучше, чем дома, потому что, вероятно, стол был уже накрыт для него и постель ждала его. Там предстали перед ним прекрасные и приятные виденья, а я увижу здесь, думается мне, только жаб и змей. Несчастный я! До чего довело меня мое безрассудство и мои фантазии! Отсюда достанут мои кости, когда небу будет угодно, чтобы меня нашли — чистые, белые, обглоданные, и вместе с ними и кости моего доброго Серого; и по ним, быть может, узнают, кто мы такие, по крайней мере те, которым известно было, что никогда Санчо Панса не расставался со своим ослом, ни осел с Санчо Пансой! Еще раз говорю; — злополучные мы, так как жестокая наша судьба не пожелала, чтобы мы умерли у себя на родине, среди своих, где, если бы и нельзя было избежать этого несчастья, не было бы недостатка в близких, которые пожалели бы о нас и в последние мгновения нашей жизни закрыли бы нам глаза. О, товарищ и друг мой, как плохо плачу я тебе

за твои добрые услуги! Прости меня и проси судьбу, как сумеешь, спасти нас из ужасной беды, в которую мы оба с тобой попали, и я обещаю надеть тебе на голову лавровый венок, чтобы ты мог походить на увенчанного лаврами поэта, и буду давать тебе двойную дачу корма.

Таким образом жаловался Санчо Панса, и осел слушал его, не отвечая ни звука, до того мучился и страдал бедняга. Наконец, когда Санчо провел всю эту ночь в горьких жалобах и сетованиях, настал день, и при сиянии и свете его Санчо убедился, что выбраться из этого колодца без посторонней помощи — самая невозможная из всех невозможностей; и он начал снова жаловаться и кричать, надеясь, не услышит ли его кто; однако все его крики были истрачены в пустыне, потому что во всей той окрестности не было ни одного человека, который мог бы его услышать, и тут он окончательно счел себя погибшим. Серый лежал на спине, но Санчо Пансе удалось кой-как поднять его на ноги, на которых тот едва мог держаться. Вынув из дорожных сумок, тоже разделившись их участь во время падения, кусок хлеба, он дал ослу, и тот отнесся к этому одобрительно, а Санчо сказал ему, точно осел понимает его: «Наличность хлеба все горести облегчает и печали уменьшает». Тут он заметил с одной стороны ямы отверстие, в которое, согнувшись и съездившись, мог пройти человек. Санчо Панса подошел ближе и, присев на корточки, влез туда и увидел, что внутри было просторно и широко, а видеть это он мог, так как сквозь то, что можно было бы назвать крышей, пробивался солнечный луч, который все освещал. Он рассмотрел, что этот ход, расширяясь и увеличиваясь, приводил к обширному углублению. Увидав это, Санчо вернулся туда, где был осел, и, взяв ка-



О, товарищ и друг мой, как плохо плачу я тебе за твои добрые услуги!

мень, стал откапывать им землю в первом отверстии, так что скоро расширил его настолько, что осел легко мог пройти, и это Санчо заставил его сделать. Затем, взяв за недоуздок, он пошел вперед по этой пещере, чтобы посмотреть, нет ли выхода с другой стороны. То он шел в темноте, то в едва мерцающем свете, но все время со страхом.

«Да поможет мне всемогущий Бог, – говорил он про себя; – то, что я считаю несчастьем, мой господин Дон Кихот счел бы скорее за приключение. Ему эти глубины и подземные темницы показались бы цветущими садами и дворцами Галианы¹, и он надеялся бы выйти из этого мрака и этой тесноты на какой-нибудь зеленый луг. Но я несчастный, лишенный помощи, не обладающий мужеством, на каждом шагу я думаю, что у меня под ногами внезапно откроется еще другая, более глубокая пропасть, которая и поглотит меня: добро пожаловать беда, лишь бы ты была одна!».

Таким образом и в таких размышлениях, прошел он, как ему показалось, немногим меньше полмили, когда он заметил смутный свет, похожий на дневной, проникавший с какой то стороны и доказывавший, что эта дорога, – которую он считал дорогой на тот свет – имеет выход.

Здесь Сид Амел Бененхели оставляет Санчо и возвращается к Дон Кихоту, который, взволнованный и радостный, ожидал назначенного дня поединка с похитителем чести дочери доньи Родригес, намереваясь исправить несправедливость и обиду, предательски нанесенные ей. Случилось, что, когда он выехал однажды утром, чтобы поупражняться и подготовиться к предстоящему ему на

следующий день бою, в то время, как он прищпорил Росинанта, пустив его вскачь или коротким галопом, лошадь ногами попала так близко к отверстию пещеры, что, если бы рыцарь не остановил ее, натянув изо всех сил поводья, он непременно свалился бы в подземелье. Но, в конце концов, он все же остановил ее и не упал; а затем, подъехав еще несколько ближе, взглянул, не слезая с лошади, в эту пропасть; и пока он смотрел, он услышал исходивший оттуда громкий крик и, внимательно прислушавшись, мог разобрать и понять, что кричавший говорил следующее:

– О, вы, наверну! Нет ли какого-нибудь христианина, который меня слышит? Или какого-нибудь сострадательного рыцаря, который сжалился бы над заживо похороненным грешником и несчастным низвергнутым губернатором?

Дон Кихоту показалось, что он слышит голос Санчо Пансы, и это изумило и поразило его, и, возвысив свой голос как только мог, он сказал:

– Кто там внизу? Кто там жалуется?

– Кто же может быть тут, или кто может жаловаться, – послышался ответ, – как не беспомощный Санчо Панса, губернатор, за грехи и к несчастью своему, острова Баратариа, и бывший оруженосец знаменитого рыцаря Дон Кихота Ламанчского?

Когда Дон Кихот услышал это, его изумление удвоилось и волнение усилилось, так как ему пришла в голову мысль, что Санчо Панса, должно быть, умер и душа его томится здесь. Увлеченный этим соображением, он сказал:

– Заклинаю тебя всем, чем могу заклинять тебя в качестве христианина-каатолика, скажи мне, кто ты такой; и если

¹ До сих пор видны развалины в Толедо на берегу Тахо, которые по преданию считаются развалинами дворца Галианы, – дочери мавританского короля Галафрэ и сестры знаменитого Марсилио, – в которую будто бы в бытность свою в Толедо влюбился Карл Великий.

ты – томящаяся душа, скажи мне, что ты желаешь чтобы я сделал для тебя, потому что раз призвание мое помогать и покровительствовать нуждающимся на этом свете, я готов помочь и покровительствовать нуждающимся и с того света, которые не могут сами себе помочь.

– Судя по вашим словам, – ответил ему, – вы, милость ваша, должно быть, мой господин Дон Кихот Ламанчский, и также по звуку голоса, это вы без сомнения и никто другой.

– Я Дон Кихот, – ответил Дон Кихот, – тот, который считает своим призванием помогать и поддерживать в их нуждах живых и мертвых. Поэтому скажи мне, – кто ты, возбудивший во мне изумление, потому что, если ты мой оруженосец Санчо Панса и умер, – и так как дьяволы не унесли тебя в ад, и ты благодаря милосердию Божьему находишься в чистилище, – наша святая мать, римско-католическая церковь, обладает достаточными вспомогательными средствами, чтобы избавить тебя от мук, которые ты претерпеваешь, и я с своей стороны буду ходатайствовать вместе с нею, насколько у меня хватит имущества. Поэтому откройся мне вполне и скажи, кто ты.

– Клянусь, тем и этим, – ответили ему, – клянусь рождением всякого, кого бы ни было угодно указать вашей милости, сеньор Дон Кихот Ламанчский, что я, оруженосец ваш Санчо Панса, и что я во всю свою жизнь еще не умирал; но, покинув мое губернаторство, по обстоятельствам и причинам, рассказывать о которых требуется побольше времени, – я сегодня ночью упал в это подземелье, где и нахожусь, и со мною Серый, который не даст мне солгать, – для свидетельства о чем он здесь со мною.

И казалось, осел как будто понял сказанное Санчо, потому что в ту же мину-

ту он начал так рьяно реветь, что рев его раздавался эхом по всей пещере.

– Превосходный свидетель, – сказал Дон Кихот, – я узнаю этот рев, точно я родил его, и слышу также и твой голос, добрый мой Санчо. Подожди меня, я поеду в замок герцога, который здесь вблизи и приведу людей, а они вытащат тебя из этого подземелья, куда, должно быть, ввергли тебя твои грехи.

– Поезжайте, милость ваша, – сказал Санчо, – и возвращайтесь скорей, прошу вас именем единого Бога, потому что я не в силах быть здесь заживо похороненным и умираю от страха.

Дон Кихот оставил его и поехал в замок – сообщить герцогу и герцогине о происшествии с Санчо Пансой, чему они сильно удивились, хотя хорошо поняли, что, должно быть, он упал в одно из отверстий пещеры, существовавшей там с незапамятных времен; но они не могли объяснить себе, как он покинул губернаторство без того, чтобы они не были уведомлены о его приезде. Наконец, как говорят, принесли веревки и канаты, и с помощью многих людей и с большим трудом вытащили Серого и Санчо Пансу из мрака на свет Божий. Один студент увидел это и сказал:

– Таким образом должны были бы покидать свои губернаторства все дурные губернаторы, подобно тому, как выходит этот грешник из глубины пропасти, умирая с голоду, бледный, и должно быть, без гроша в кармане.

Санчо услышал это и ответил:

– Восемь или десять дней тому назад, злословящий брат, вступил я на губернаторство острова, куда я был послан, и за все эти дни ни разу, ни на один час я не наелся досыта хлебом; и доктора только и делали, что преследовали меня, и неприятели переломали мне кости. Я не имел времени ни подношений брать, ни

налогов собирать; и раз это так, а оно так и есть – я не заслужил, насколько мне кажется, быть удаленным с губернаторства подобным образом. Но человек предполагает, а Бог располагает, и Бог знает лучше всего, что хорошо для каждого; и какое время, такое и испытание; и пусть никто не говорит, этой воды я не напьюсь, потому что где думают найти ветчину, не находят и крюков для нее; и Бог понимает меня; и довольно теперь, я ничего больше не скажу, хотя бы и мог.

– Не сердись, Санчо, и не огорчайся тем, что ты можешь услышать, потому что этому не было бы конца, – сказал Дон Кихот. – Иди себе с спокойной совестью, и пусть говорят, что хотят; а желать привязать языки злоречивых людей, все равно что желать запереть открытое поле воротами. Если губернатор оставляет губернаторство, разбогатев, про него говорят, что он был вор; если же оставляет его бедняком, говорят, что он был ни на что не годен и глупец.

– Без сомнения, – сказал Санчо, – на этот раз меня скорее сочтут за глупца, чем за вора.

Разговаривая таким образом, они, окруженные мальчишками и другим народом, добрались до замка, где герцог и герцогиня в одной из галлерей уже ждали Дон Кихота и Санчо, который не захотел подняться наверх к герцогу, пока сперва не устроит в конюшне Серого, потому что, говорил он, осел провел очень плохую ночь на постоялом дворе. И затем Санчо поднялся повидаться с герцогом и с герцогиней, перед которыми встал на колени, говоря:

– Я, сеньоры, так как этого желали ваши высочества, без всякой заслуги с моей стороны отправился губернаторствовать на вашем острове Баратария, куда я приехал нагой и нагой и остался; ничего я не потерял и ничего не выгадал. Хо-

рошо или дурно я губернаторствовал, на это есть там свидетели, которые скажут, что желают. Я разъяснял сомнительные вопросы, решал тяжebные дела, все время умирая с голоду, так как этого желал доктор Педро Ресио, родом из Тиртеафур-эра, врач островской и губернаторский. Неприятель напал на нас ночью, и после того, как он привел нас в большое смятение, жители острова говорят, что они сохранили свободу и одержали победу благодаря доблести моей руки: дай им Бог по столько спасения, по сколько они говорят правду! Словом, за это время я измерил тяготы и обязанности, которые ведет за собой губернаторство, и по моему расчету нашел, что плечи мои не могут их снести. Бремя это не для моей спины, и стрелы не для моего колчана. Поэтому, прежде чем губернаторство посадило бы меня на мель, я решил посадить на мель губернаторство, и вчера утром оставил остров таким, каким я нашел его; с теми же улицами, домами и крышами, что там были, когда я туда въехал. Ни у кого я не взял займы ничего, не имел доли ни в какой прибыли предприятий, и хотя и собирався издать несколько полезных законов, но не издал их, опасаясь, что они не будут соблюдаться, а в таком случае, все равно, – изданы ли они или не изданы. Я покинул остров, как говорил, лишь в обществе одного моего Серого; упал я в яму, пошел по ней дальше, пока сегод-ня утром, при солнечном свете не увидал выхода, но не из столь легких, потому что, если б небо не послало мне моего господина Дон Кихота, я там и остался бы до конца света. Так что, сеньоры мои, герцог и герцогиня, перед вами губернатор ваш Санчо Панса, который в течение десяти дней пребывания своего на губернаторстве пришел лишь к уразумению, что не дал бы и медного гроша, чтобы быть губернатором не только острова,

а даже и целого света. С этой уверенностью, целуя ноги вашим милостям и подражая играм детей, когда они говорят: *соскочи ты и дай мне место*, я делаю скачок с губернаторства и перехожу опять на службу к моему сеньору Дон Кихоту, потому что у него, если я и ем хлеб в тревоге, по крайней мере наедаюсь досыта, а для меня лишь бы я был сыт, все равно чем, морковью или куropатками.

Этим Санчо закончил свою длинную речь, а пока он ее говорил, Дон Кихот то и дело опасался, не скажет ли

он сотни тысяч нелепостей; когда же увидел, что тот кончил, сказав их очень мало, он вознес в сердце своем благодарение небу. Герцог обнял Санчо и заявил, что до глубины души огорчен тем, что он так скоро бросил свое губернаторство, но постарается дать ему в своих владениях другую, менее ответственную и более выгодную должность. Герцогиня также обняла его и велела хорошенько угостить, потому что, по всем признакам, он приехал сильно избитый и еще хуже обиженный.





Глава LVI

О чудовищной и никогда не виданной битве, произошедшей между Дон Кихотом Ламанчским и лакеем Тосилосом, в защиту чести дочери дуэньи доньи Родригес.

Герцог и герцогиня не рас-
каивались в шутке, сыгран-
ной над Санчо Пансой по
поводу дарованного ему
губернаторства, тем более,
что в тот же день вернулся
и мажордом и рассказал им в мельчайших
подробностях почти все поступки и сло-
ва, совершенные и сказанные Санчо в те
дни. Наконец, он передал им, в несколько
разукрашенном виде, отчет о нападении
на остров, о страхе, испытанном Санчо, и
об его отъезде, что доставило им не мало
удовольствия. А затем история повест-
вует, что настал день, назначенный для
поединка; и после того, как герцог раз и
несколько раз наставлял своего лакея То-
силоса, как он должен поступать с Дон
Кихотом, чтобы победить его, не убив и
не ранив, он велел снять железные острия
с копий, сказав Дон Кихоту, что христи-
анское чувство, которое он высоко ценит,

не допускает, чтобы эта битва велась с та-
ким большим риском и опасностью для
жизни. Он просит их удовольствоваться
тем, что дает им свободное место для сра-
жения в своих владениях, хотя и вопреки
постановлению святого собора, запреща-
ющего подобные поединки, и не желал
бы, чтобы дело было доведено до послед-
ней крайности. Дон Кихот ответил, пусть
его светлость устраивает подробности по-
единка, как ему будет угодно, он во всем
подчинится ему.

Наконец наступил роковой день. На
площади, перед замком, — где по приказа-
нию герцога была возведена просторная
эстрада, на которой были приготовлены
места для судей поединка и для дуэний,
матери и дочери, в качестве истцов, — сте-
клось со всех окрестных местечек и сел,
множество народу, чтобы посмотреть на
столь новое зрелище боя, так как в этой
местности ничего подобного не видели и

не слышали ни бывшие еще в живых, ни те, что уже умерли.

Первый показался за барьером на поле сражения церемониймейстер, который осмотрел все пространство, отведенное под поединок и обошел его всего, чтобы убедиться, нет ли какого-либо обмана или скрытого предмета, о который можно было бы споткнуться и упасть. Затем вошли дуэньи и сели на свои места. Они были закутаны до самых глаз, и даже до груди, густыми вуалями и, видимо, очень волновались, так как Дон Кихот уже появился на месте поединка.

Немного спустя, сопровождаемый многими трубачами, показался с одной стороны площади, верхом на могучем коне, под которым дрожала земля, великий лакей Тосилос, с опущенным забралом, в крепких и сверкающих латах. Лошадь его была, по-видимому, фрисландской породы, плотная, пегая и на каждой ноге у нее виднелась большущая щетка. Доблестный воин был хорошо наставлен герцогом, своим господином, как ему надо поступать с доблестным Дон Кихотом, и предупрежден, чтобы он ни в каком случае не убивал его и постарался бы увернуться от первого столкновения, избегая опасности причинить ему смерть, которая была неизбежна, если б они столкнулись друг с другом на полном карьере. Тосилос проехался по площади и, приблизившись к месту, где сидели дуэньи, немного приостановился, рассматривая ту, которая требовала его себе в супруги.

Распорядитель поединка вызвал Дон Кихота, уже бывшего на площади, и, стоя рядом с Тосилосом, спросил дуэний, согласны ли они передать Дон Кихоту Ламанчскому защиту своего права. Они ответили, что да, согласны, и что все, что он сделает в данном случае, они призна-

ют хорошо сделанным, окончательным и действительным. В это время герцог и герцогиня уже уселись на галерею, откуда видна была вся отгороженная для поединка площадь, а с наружной стороны ограды теснилась громадная толпа, стремившаяся видеть грозное и никогда не виданное зрелище. Сражающимся было поставлено условием: если Дон Кихот победит, противник его должен жениться на дочери доньи Родригес; если же он будет побежден, то боец освобождается от исторгнутого у него обещания и от всякого другого удовлетворения. Церемониймейстер поделил между ними солнце¹ и указал каждому из них его место. Забили барабаны, звуки труб наполнили воздух, земля задрожала под ногами; сердца громадной толпы зрителей были взволнованы у одних страхом, у других надеждой на хороший или на дурной исход поединка. Наконец, поручая себя от всей души Господу Богу и сеньоре Дульсинея Тобосской, Дон Кихот стал ждать условленного знака начала поединка. Но у нашего лакея были совсем иные мысли; он думал лишь о том, о чем я сейчас скажу. По-видимому, когда он глядел на свою неприятельницу, она показалась ему самой красивой женщиной, когда-либо виденной им в жизни, и слепой мальчик, которого здесь обыкновенно называют Амуром, не захотел упустить представившегося ему случая возторжествовать над душой лакея и внести ее в список своих победных трофеев. Таким образом, подойдя к нему тихонько, так что никто его не видел, он вонзил бедному лакею в левый бок стрелу в два аршина длины и пронзил ему насквозь сердце. Сделать это он мог вполне безопасно для себя, потому что Амур невидим, и входит и выходит, где желает, без

¹ Поделить солнце, т.е. позаботиться о сражающихся, чтобы солнце было как раз посреди них обоих – составляло одну из главных обязанностей распорядителя поединка.

того, чтобы кто-либо потребовал у него отчета в его действиях.

Итак, говоря я, когда был подан знак к наступлению, наш лакей плавал в водостроге, думая о красоте той, которую он уже сделал властительницей своей свободы, и потому он не обратил внимания на звук трубы, как это сделал Дон Кихот, который, лишь только услышал этот звук, устремился со всей быстротой, на какую был способен Росинант, на своего противника; и увидав это, добрый его оруженосец Санчо, сказал:

– Бог да руководит тобой, сливки и цвет странствующих рыцарей; Бог да пошлет тебе победу, потому что справедливость на твоей стороне.

И хотя Тосилос видел, что Дон Кихот устремляется на него, он не двинулся ни на шаг с своего места, а громким голосом позвал распорядителя поединка, и когда тот подошел к нему, чтобы узнать в чем дело, он его спросил:

– Сеньор, этот поединок происходит из-за того, женюсь ли я или нет на той сеньоре?

– Так оно и есть, – ответили ему.

– Слушайте же, – продолжал лакей, – я чувствую угрызения совести и сильно отяготил бы ее, если б продолжал этот поединок. Итак, я говорю, что признаю себя побежденным и желаю, не откладывая, жениться на этой сеньоре.

Распорядитель поединка был крайне удивлен словами, сказанными Тосилосом, и так как он был одним из посвященных в это дело, он не знал, что ему ответить. Дон Кихот остановился на полпути, видя, что его противник не едет ему на встречу. Герцог не мог понять причины, почему остановился поединок, но распорядитель явился к нему и сообщил о словах, сказанных Тосилосом, что в высшей степени удивило и рассердило герцога. Пока все это происходило, Тосилос подъехал к ме-

сту, где сидела донья Родригес, и громким голосом сказал:

– Сеньора, я готов жениться на вашей дочери и не хочу добиваться препирательствами и распрей того, что могу получить мирным путем, не подвергая себя опасности быть убитым.

Когда мужественный Дон Кихот услышал эти слова, он сказал:

– Если это так, я сдержал свое обещание и теперь освобожден от него. Пусть они себе женятся в добрый час, и раз Господь Бог дал ее ему, Святой Петр пусть благословит их.

Герцог спустился на площадь перед замком и, подойдя к Тосилосу, спросил его:

– Правда ли, рыцарь, что вы признаете себя побежденным, и что, чувствуя угрызения совести, вы хотите жениться на этой девушке?

– Да, сеньор, – ответил Тосилос.

– Он поступает очень хорошо, – сказал тогда Санчо Панса, – так как то, что ты должен дать мышке, дай кошке, и ты избавишься от хлопот.

Тосилос стал расстегивать свой шлем, прося поскорей помочь ему в этом, потому что у него захватывает дыхание, и он не может быть заточенным столь долго в таком тесном помещении. С него поспешно сняли шлем, и тогда обнаружилось и стало явным лакейское его лицо. Увидав это, донья Родригес и дочь ее закричали громким голосом:

– Это обман, это обман! Тосилоса, лакея нашего сеньора герцога, подсунили нам вместо настоящего жениха. Мы требуем правосудия перед лицом Бога и короля против такого коварства, чтобы не сказать плутовства.

– Не горячитесь, сеньоры, – заговорил Дон Кихот, – потому что это и не коварство, и не плутовство, а если оно и так, то виноват не герцог, а злые вол-

шебники, преследующие меня. Завидуя славе, которую я бы приобрел этой своей победой, они превратили лицо вашего жениха в лицо человека, который, как вы говорите, служит лакеем у герцога. Примите мой совет и вопреки злобе моих врагов выходите за него замуж, так как нет сомнения, что он тот самый и есть, которого вы желаете получить себе в мужа.

Когда герцог это услышал, он чуть не дал выхода всему своему гневу в громком взрыве хохота и сказал:

– Происшествия, случающиеся с сеньором Дон Кихотом, так необыкновенны, что я готов поверить, будто этот мой лакей – не лакей мой: но прибегнем к следующей хитрости и уловке: отложим свадьбу, если они желают, на две недели и будем держать под замком этого человека, относительно которого мы в сомнении. Быть может, он за это время примет снова первоначальный свой вид, потому что злоба, питаемая волшебниками против сеньора Дон Кихота, не может продолжаться так долго, тем более, что все эти их хитрости и превращения не очень то идут волшебникам в прок.

– О, сеньор, – сказал Санчо, – у этих разбойников вошло в обычай и обыкновение превращать одни вещи в другие, когда они касаются моего господина. Одному рыцарю, которого он, некоторое время

тому назад, победил, и который назывался рыцарем Зеркал, волшебники придали вид бакалавра Сансона Карраско, нашего земляка и большого приятеля, а сеньору Дульсинею Тобосскую превратили в грубую крестьянку. Итак, мне кажется, что и этому лакею придется умереть и жить лакеем во все дни его жизни.

На это дочь Родригес сказала:

– Кто бы ни был тот, кто просит меня себе в супруги, я признательна ему, потому что лучше желаю быть законной женой лакея, чем обманутой любовницей рыцаря, хотя тот, который обманул меня, не рыцарь.

Словом, все эти переговоры и происшествия кончились тем, что решили держать Тосилоса взаперти, чтобы убедиться, чем завершится его превращение. Всеми была провозглашена победа Дон Кихота, хотя большинство было опечалено и недовольно, что эти столь долгожданные противники не изрубили друг друга в куски, совершенно так, как мальчишки сердятся, когда осужденный к виселице, которого они ждали, не показывается, оттого что он помилован истцом или правосудием. Толпа разошлась, герцог и герцогиня вернулись в замок, Тосилоса заперли, донья Родригес и дочь ее остались очень довольны, что тем или иным путем, но дело кончится свадьбой, и Тосилос надеялся на то же самое.





Глава LVII

В которой речь о том, как Дон Кихот простился с герцогом, и что произошло у него с девишкой герцогини, умной и развязной Алтисидорой.

Дон Кихоту казалось, что хорошо было бы расстаться с праздной жизнью, которую он вел в этом замке, так как он считал, что очень виноват, лениво замыкаясь среди бесконечных угощений и пиров, устраиваемых для него, как для странствующего рыцаря, герцогом и герцогиней; и ему казалось, что придется дать небу строгий отчет за эту его праздность и уединение. Итак, он однажды попросил разрешения у герцога и герцогини уехать от них. И они дали ему просимое разрешение, выказывая большое огорчение, что он покидает их. Герцогиня дала Санчо письма его жены, над которыми он пролил слезы, говоря:

— Кто бы мог подумать, что такие великие надежды, как те, которые были вызваны в сердце жены моей, Тересы Панса, известием о моем губернаторстве, кончатся тем, что я теперь снова вернусь к тягостным приключениям моего господина Дон Кихота Ламанчского? Но тем не менее я рад видеть, что Тереса моя вела себя так, как ей следовало, послав герцогине желудей, потому что, если б она их не послала, я был бы очень огорчен, а она выказала бы неблагодарность. То, что меня утешает, это мысль, что подношение это не может быть названо подкупом, потому что я тогда уже был губернатором, когда она прислала желуды, и в порядке вещей, чтобы те, которые получили какую-нибудь милость,

выражали свою признательность, хотя бы и пустяками. Верно то, что наг я поступил на губернаторство, и наг оставил его; поэтому я могу с спокойной совестью сказать, а это не мало: наг я родился, наг я остался, ничего не потерял и ничего не выгадал.

Так говорил сам с собой Санчо в день отъезда, а Дон Кихот, простившись накануне вечером с герцогом и герцогиней, выехал рано утром, в полном вооружении на площадь перед замком. Вся прислуга смотрела на него с галереи и даже герцогская чета вышла еще раз взглянуть на него. Санчо сидел на своем Сером, с своими дорожными сумками, чемоданчиком и съестными припасами, в высшей степени довольный, так как герцогский мажордом, игравший роль Трифальди, передал ему кошелек с двумястами червонцев для покрытия путевых их расходов, но этого еще Дон Кихот не знал. В то время, как все глаза были устремлены на Дон Кихота, вдруг среди других дуэний и девушек герцогини, тоже смотревших на рыцаря, раздался голос, и развязная и остроумная Алтисидора жалобным тоном заговорила:

Слушай, злой, жестокий рыцарь!
Придержи коня немного,
Не терзай ему так ребер,
Ты, что им столь плохо правишь!
Знай, обманщик, – не бежишь ты
От змеи шипящей, лютой,
А от кроткого ягненка,
Что овцой не скоро будет.
Насмеялся ты над девай, –
Столь прекрасной не видали
Ни в горах своих Диана,

Ни в лесах своих Венера.
Жестокий Вирено¹ и беглый Эней, –
Товарищем будь ты Варавве, злодей!
Ты в когтях своих проклятых,
О, чудовище, уносишь
Сердце девушки смиренной,
Но в любви отменно нежной;
Три платка еще уносишь
Ты моих, и с ног подвязки,
А те ноги, точно мрамор
Самый гладкий, белый, черный.
Вздохов тысячу уносишь:
Выл бы в них огонь, могли бы
Сжечь Трой тысячу, когда бы
Столько Трой на свете было.
Жестокий Вирено и беглый Эней,
Товарищем будь ты Варавве, злодей!
Пусть в железо, иль в булыжник
Обратится сердце Санчо,
И во веки он не снимет
С Дульсиней чар жестоких.
Пусть несчастная томится
За проступок твой; – бывает
Что у нас в стране невинный
За виновного страдает.
Всех твоих пусть приключений
Цвет и сливки обратятся
В злоключенья; радость – в горе;
Верность – в пошлое забвенье.
Жестокий Вирено и беглый Эней,
Товарищем будь ты Варавве, злодей!
Пусть корят тебя изменой
От Севильи до Марчены
От Гранады вплоть до Лохи
И от Лондона до Англии.
Сядешь ли играть в *рейнадо*².
Иль в пикет, иль хоть в *примеро*,
Пусть вовек бы ты не видел
Королей, тузов, семерок.
Если срежешь ты мозоли,

¹ Вирено или Бирено, герцог Зеландии, бросил благотельницу и возлюбленную свою, Олимпию, на безлюдном острове, о чем повествуется в 9-й и 10-й песнях «Неистового Роланда» Ариоста, а Эней бросил, как известно, Дидону.

² Рейнадо, как и примеро, было игрой в карты, в которой семерка считалась высшей картой, затем шел туз и король.

Пусть из ран тех кровь польется;
Будешь рвать себе ты зубы,
Все пусть корни остаются.
Жестокий Вирено и беглый Эней,
Товарищем будь ты Варавве, злодей!

В то время, как огорченная Алтисидора жаловалась таким образом, Дон Кихот смотрел на нее и, не ответив ей ни слова, повернулся к Санчо, говоря:

– Заклинаю тебя жизнью твоих предков, Санчо мой, скажи мне правду, не взял ли ты случайно тех трех платков и подвязки, о которых говорит влюбленная эта девушка?

На это Санчо ответил:

– Три платка я взял, но подвязки как на холмах Убеда¹.

Герцогиня удивилась поступку Алтисидоры, потому что, хотя она считала ее смелой, остроумной и развязной, но все же не до такой степени, чтобы позволить себе подобную выходку; и так как герцогиня не была предупреждена об этой шутке, ее удивление еще более возросло. Но герцог, желая поддержать забаву, сказал:

– Сеньор рыцарь, мне кажется с вашей стороны нехорошо, что вы, встретив в этом моем замке такой радушный прием, каким вы здесь пользовались, позволили себе увезти по меньшей мере три платка, а быть может, еще и подвязки моей девушки. Это признак недоброго сердца и поступок, не соответствующий вашей славе. Верните ей ее подвязки, а если нет, я вызываю вас на смертный бой, не опасаясь, чтобы негодяи волшебники превратили меня или изменили бы мне лицо, как они это сделали с моим лакеем Тосилосом, с тем, который должен был вступить с вами в поединок.

– Боже упаси, – сказал Дон Кихот, – чтобы я обнажил меч против ва-

шей светлейшей особы, от которой я получал столько милостей. Платки я верну, так как Санчо говорит, что они у него, но подвязок не могу вернуть, потому что ни я, ни он не брали их, и если эта ваша девушка поищет хорошенько в своих ящиках, она наверно там найдет их. Сеньор герцог, я никогда не был вором и не думаю сделаться им во всю мою жизнь, если рука Господня не покинет меня. Девушка эта говорит, – сама она в том признается, – как влюбленная, и я ни мало не виноват в этом, и потому мне не в чем просить прощения ни у нее, ни у вашей светлости, которую умоляю иметь лучшее мнение обо мне, и прошу у вас снова разрешения продолжать мой путь.

– Дай Бог вам столь счастливую пути, сеньор Дон Кихот, – сказала герцогиня, – чтобы мы всегда слышали лишь добрые известия о ваших подвигах; и поезжайте себе с Богом, так как чем дольше вы здесь остаетесь, тем сильнее разгорается огонь в груди моих девушек, которые на вас смотрят; а Алтисидору я накажу так, что она отныне впредь не позволит себе ни лишних взглядов, ни слов.

– Одно лишь слово, не больше, желала бы я, чтобы ты выслушал от меня еще, о, доблестный Дон Кихот, – сказала тогда Алтисидора, – именно, я прошу у тебя извинения относительно похищения подвязок, потому что, клянусь Богом и душой моей, они надеты у меня на ногах, и я впала в ту же ошибку, как тот, который сидел верхом на осле и искал его.

– Не говорил ли я этого? – сказал Санчо; – не доставало только, чтобы я прятал краденные вещи. Если бы я этого желал, то нашел бы прекраснейший случай во время моего губернаторства.

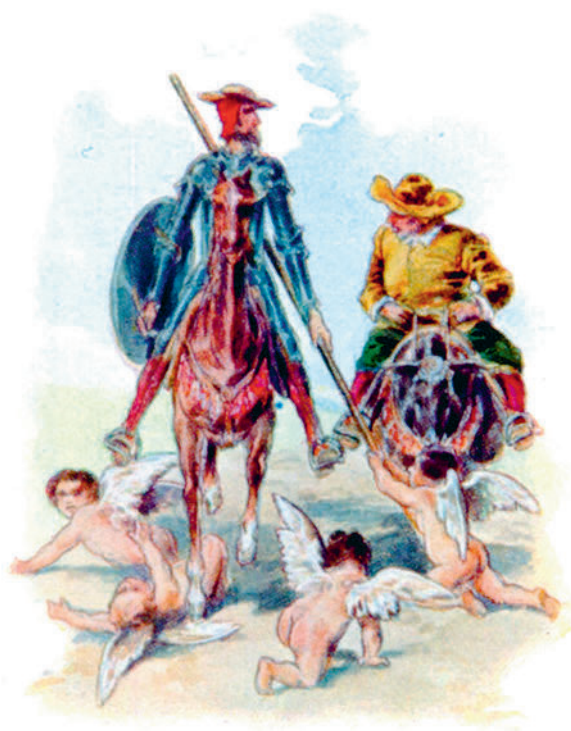
¹ Присловье, означающее, как уже было говорено, что это и в голову не приходило.



Итак, он однажды попросил разрешения у герцога и герцогини уехать от них.

Дон Кихот, наклонив голову, раскланялся с герцогом, герцогиней и всеми, стоявшими кругом, и повернув поводья

Росинанта, он вместе с Санчо, следовавшим за ним на Сером, вышел из замка, направляя свой путь к Сарагосе.





Глава LVIII

В которой речь о том, как на Дон Кихота посылалось столько приключений, что одни теснили других.

Когда Дон Кихот увидел себя в открытом поле, свободным и избавленным от ухаживаний Алтисидоры, ему показалось, что он опять в своей стихии и что силы его обновились для выполнения им своих рыцарских предприятий; и, обернувшись к Санчо, он сказал:

– Свобода, Санчо, одно из самых драгоценных даров, которым небо наделило людей. С свободой не могут сравниться сокровища, заключающиеся в недрах земли или скрытые в морях. За свободу, также как за честь, можно и должно ставить на карту жизнь; и наоборот, лишение свободы есть величайшее зло, которое только может обрушиться на человека. Говорю это, Санчо,

потому, что ты хорошо видел роскошь и изобилие, предоставленные нам в только что покинутом нами замке. Но среди этих столь вкусных пиров и как снег холодных напитков, мне казалось, что я терплю муки голода, потому что я не наслаждался ими с той свободой, как если б все это было мое собственное, ведь обязанности, которые налагаются оказываемыми благодеяниями и милостями, – это узы, связывающие свободу духа. Счастлив тот, кому небо дало кусок хлеба, и он не должен благодарить за него никого, кроме самого неба!

– Несмотря на все, только что сказанное вашей милостью, заявил Санчо, – было бы нехорошо с нашей стороны не почувствовать благодарности за те двести червонцев золотом, который мне дал

мажордом герцога в маленьком кошельке, я ношу его на сердце в виде пластыря¹ и утешителя против всего, что могло бы случиться, так как не всегда мы найдем замки, где нас будут угощать, а иногда попадем на постоялые дворы, где нас побьют палками.

В этих и других разговорах странствующий рыцарь и его оруженосец двигались дальше, когда, проехав немного более мили, они увидели что на траве зеленого лужка, разослав свои плащи, обедали человек двенадцать, одетых как крестьяне. Около них виднелось нечто вроде белых простынь, которыми что то было прикрыто; некоторые были натянуты стоймя, а другие лежали плоско и в небольшом расстоянии друг от друга. Дон Кихот подошел к тем, которые ели, и, сперва учтиво поклонившись им, спросил их, что такое прикрыто этими полотнищами.

Один из них ответил:

– Сеньор, под этими полотнищами лежат скульптурные изображения святых, предназначенные для придела, который мы устраиваем в деревенской нашей церкви. Мы несем их закрытыми, чтобы они не выцвели, и на плечах, чтобы не сломались.

– Если вы разрешите, – сказал Дон Кихот, – я буду рад видеть эти изображения, так как раз их несут с такою заботливостью, они, без сомнения, должны быть, хороши.

– Еще бы они не были хороши, – сказал другой; – а не верите, я скажу вам, что они стоят, так как, говоря по правде, нет ни одного, который бы не стоил более пятидесяти червонцев; и чтобы ваша милость видела, что это правда, подождите немного, и вы собственными глазами убедитесь в этом.

И, встав, он бросил есть и пошел снять покрывало с первого образа, который оказался святым Георгием, изображенным верхом на коне, с драконом, свернувшимся у ног лошади, с копьем, пронзившим пасть дракона и тем отважным видом, с которым обыкновенно изображают этого святого. Весь образ казался одним золотым пламенем, как принято говорить. Взглянув на него, Дон Кихот сказал:

– Это был один из лучших странствующих рыцарей всего небесного воинства. Его называли дон святой Георгий, и сверх того он был защитником девушек. Посмотрим этот другой.

Человек раскрыл второй, и он оказался изображением святого Мартина верхом на коне, делившего свой плащ с бедняком. Едва Дон Кихот увидел его, как он тотчас же сказал:

– Этот рыцарь тоже был одним из христианских искателей приключений, и я думаю, что он скорее отличался щедростью, чем доблестью, как ты это можешь видеть, Санчо, из того, что он делит свой плащ с бедняком и дает ему половину плаща; и без сомнения, в то время стояла зима, так как иначе он бы отдал ему весь плащ, судя по тому, насколько он был сострадателен.

– Должно быть, это было не так, – сказал Санчо, – а он верно придерживался пословицы, которая говорит: чтобы дать и жалеть, надо ум иметь.

Дон Кихот засмеялся и попросил, чтобы сняли еще одно полотнище, под которым оказался образ покровителя Испании верхом, с окровавленным мечем, попирающего мавров и топчущего их головы. Увидав это, Дон Кихот сказал:

– Этот действительно рыцарь и из воинства Христова; он называется дон

¹ Pitima, по объяснению Коваррубиаса, – пластырь, который клали на сердце, чтобы укротить и успокоить его.

Сан Диего Матаморос¹, – один из самых доблестных святых и рыцарей, которые когда-либо были на свете и имеются теперь на небе.

Затем сняли еще одно полотно, под которым оказался святой апостол Павел, упавший с лошади, с изображением всех подробностей, какими обыкновенно живописуется в картинах его обращение. Когда Дон Кихот увидел его точно живым, так что казалось, будто Христос говорит с ним, а Павел отвечает, он сказал:

– Это был величайший враг, которого церковь Господа нашего имела в то время, и величайший защитник, которого она когда-либо будет иметь: странствующий рыцарь по жизни своей, мирный святой по смерти, неутомимый работник в винограднике Господнем, учитель язычников, школой которому служили небеса, а профессором и наставником сам Иисус Христос.

Больше образов не было. Итак, Дон Кихот велел снова покрыть их и сказал тем, которые их несли:

– Я считаю за хорошее предзнаменование, братья, что мне удалось видеть то, что я видел, так как эти святые и рыцари исповедовали то, что и я исповедую, – а именно – призвание оружия. Единственная разница между ними и мною – та, что они были святые и сражались по-небесному, а я грешник и сражаюсь по-человечески. Они завоевали небо силою рук своих, так как небо берется силой², а я до сих пор не знаю, что я завоевал силою моих страданий; но если б моя Дульсинея Тобосская избавилась от тех мучений, которые она претерпевает, судьба моя стала бы удачливей, разум мой восстановился бы, и быть может, я бы направил шаги свои

по лучшей дороге, чем та, по которой я теперь иду.

– Да услышит это Бог, а грех пусть будет глухим, – сказал на это Санчо.

Крестьяне были удивлены как фигурой Дон Кихота, так и его словами, не понимая и половины того, что он хотел сказать. Кончив есть, они подняли на плечи образа и, простившись с Дон Кихотом, продолжали свое путешествие. Санчо был снова поражен, – точно он впервые видел своего господина, – его ученостью, и ему казалось, что нет той истории или того события в мире, которые он бы не мог, как говорится, перебирать по пальцам и которые не были бы запечатлены в его памяти; и Санчо сказал рыцарю:

– По правде говоря, сеньор, господин наш, если то, что случилось с нами сегодня, может быть названо приключением, оно было одно из самых лучших и сладостных, какие встретились нам во все время наших скитаний. Кончилось оно без палочных ударов, без всякой тревоги; нам не пришлось ни обнажать мечей, ни приминать землю нашими телами, ни умирать с голоду. Благословен Бог, допустивший меня видеть все это собственными глазами!

– Ты прав, Санчо, – сказал Дон Кихот, – но ты должен принять во внимание, что и времена бывают разные, да и не все идет одним и тем же чередом. То, что обыкновенно простонародье называет предзнаменованиями, которые не основаны ни на каких естественных законах, рассудительный человек должен считать и рассматривать за счастливые случайности. Кто-нибудь из подобных вещунов, встав рано утром и выйдя из дому, встречается с монахом ордена блаженного Св. Франциска, поворачивает спину, точно

¹ Истребитель мавров.

² Царствие небесное силою берется (Ев. от Матф, глава 11, стр. 12).

он встретил грифона¹, и возвращается домой. Другой, какой-либо Мендоса², просыплет соль на столе, и немедленно у него рассыплется грусть на сердце, как будто природа обязана давать предупреждения о грядущих несчастьях путем столь незначительных вещей, как выше указанные. Человек рассудительный и христианин не должен такими пустяками пытаться выведывать волю небес. Сципион вступает в Африку и спотыкается, сходя на берег; солдаты его считают это за дурное предзнаменование; но он, целуя землю, восклицает: – Ты не можешь уйти от меня, Африка, потому что я держу тебя в моих объятьях. – Итак, Санчо, встреча с этими иконами была для меня счастливейшим событием.

– Я тоже думаю это, – ответил Санчо, – но я желал бы, чтобы ваша милость сказала мне, по какой причине испанцы, когда они вступают в сражение, призывая этого святого Диего Матаморос, восклицают: – Сантьяго и замкни Испанию³! Разве, Испания открыта, что ли и потому ее нужно замкнуть? Или что это за такая церемония?

– Ты донельзя прост, Санчо, – ответил Дон Кихот. – Видишь ли, Бог дал Испании в защитники и покровители этого великого рыцаря Красного креста, особенно в страшных стычках бывших у испанцев с маврами, и поэтому они при-

зывают его и обращаются к нему, как к защитнику своему, во всех сражениях, предпринимаемых ими, и часто они видели его воочию, сокрушающим, попирающим, уничтожающим и убивающим полки агарян⁴. Об этом я мог бы тебе привести много примеров, рассказанных в правдивых испанских летописях.

Переменив разговор, Санчо сказал своему господину:

– Я изумлен, сеньор, развязностью Алтисидоры, девушки герцогини. Должно быть, жестоко ранил и пронзил ее тот, кого называют Амуром; говорят, что это слепой мальчик, который, хотя он с гнойными глазами, или вернее, вовсе незрячий, если изберет мишенью сердце, как бы оно мало ни было, он попадет в него и насквозь пронзит своими стрелами. Слышал я также, что о стыдливость и скромность девушек любовные стрелы притупляются и ослабевают, но об эту Алтисидору они, по-видимому, скорее оттачиваются, чем притупляются.

– Заметь, Санчо, – сказал Дон Кихот, – что любовь не признает препятствий, не проявляет благоразумия в своих действиях, и у нее такие же свойства, как и у смерти: она одинаково врывается, как в роскошные дворцы королей, так и в скромные хижины пастухов; и когда она совершенно овладевает душой, первое, что она делает, – это отнимает у нее

¹ Баснословное животное.

² Не совсем ясно почему речь идет именно о Мендосе при упоминании об этом суеверии, но и Кеведо говорит о просыпанной соли в связи с Мендосом.

³ Santiago у siegga España – старинный боевой клич испанцев, взявший свое начало, по легендарному преданию, со времен сражения при Клавихо, под предводительством короля Рамиро I, около 846 г., когда Сантьяго появился на поле битвы, верхом на белом коне, держа в руках белое знамя с красным крестом. Святой, по сказанию, много содействовал победе: 60 тысяч мавров было убито. С этого события Святой Яго и сделался покровителем Испании. Siegga España означает собственно: «Нападай, (атакуй) Испания». А у Санчо игра слов на двойном значении слова сеггаг – «*занирай*», также как и (менее употребительное) – «нападай, атакуй».

⁴ Считали, что мавры, как принадлежащие к племени арабов, происходят от Агари и Измаила.

страх и стыд. Таким образом, Алтисидора, лишенная стыда, разоблачила свои желания, которые вызвали в моей груди скорее смущение, чем жалость.

– Замечательная жестокость! – сказал Санчо, – неслыханная неблагодарность! Про себя я могу сказать, что я сдался и подчинился бы ей при малейшем ее слове любви. Дочь блудницы! – И что за мраморное сердце! Какие внутренности из бронзы! Какая душа из грубой штукатурки! Но я не могу представить себе, что же увидела эта девушка в вашей милости, чтобы так подчиниться и покориться вам! Какое изящество или видная осанка, какое остроумие или же красота лица, – какая из этих вещей, взятых в отдельности или все вместе, пленили ее? Право, право, часто, я смотрю на вашу милость, начиная с кончика носа до последнего волоса на голове, и вижу больше вещей, которые могут скорей испугать, чем очаровать; и так как я слышал тоже, что красота первое и главное качество, вызывающее любовь, а в вашей милости никакой красоты нет, я не могу понять, во что же влюбилась бедняжка?

– Заметь, Санчо, – ответил Дон Кихот, – что есть два рода красоты: одна – красота души, а другая – тела. Красота души обитает и проявляется в уме, в нравственности, в хорошем поведении, в щедрости и в благовоспитанности; а все эти качества встречаются, или ими может обладать человек некрасивый; и когда внимание устремлено на этого рода красоту, а не на красоту тела, любовь обыкновенно разгорается с большей силой и продолжительностью. Я хорошо знаю, Санчо, что я некрасив, но знаю также и то, что я не безобразен, а для хорошего человека достаточно не быть уродом, чтобы его сильно любили, лишь бы

он обладал теми душевными качествами, о которых я тебе говорил.

Рассуждая и разговаривая таким образом, они въехали в лес, раскинувшийся в стороне от дороги, и вдруг Дон Кихот неожиданно для себя увидел, что он запутался в сетях из зеленых ниток, раскинутых между деревьями, и, не будучи в состоянии придумать, что это такое, он сказал Санчо:

– Мне кажется, Санчо, что это приключение с сетями окажется одним из наиболее удивительных, которые только можно вообразить себе. Пусть убьют меня, если это не волшебники, которые меня преследуют и желают запутать в этих сетях и остановить мое путешествие, как бы из мести за суровость, выказанную мной Алтисидоре. Но я довожу до их сведения, что, хотя бы эти сети, вместо зеленых ниток, состояли из самых твердых алмазов, или были крепче тех сетей, в которых ревнивый бог кузнецов запутал Венеру и Марса, – я разорвал бы их, словно они были бы из тростника или бумажной пряжи.

И когда он собрался проехать вперед и все это разорвать, внезапно перед ним предстали, выйдя из за деревьев, две прекраснейшие пастушки, – по крайней мере, они были одеты, как пастушки, только их куртки и юбки были из богатой парчи – юбки их, говорю я, были из роскошного золотого шаби¹. Волосы их были распущены по плечам и по ярко золотистому блеску могли бы поспорить с лучами самого солнца; головы их были украшены венками, сплетенными из зеленого лавра и красного амаранта. Им с виду казалось не менее пятнадцати и не более восемнадцати лет. Это было зрелище, которое привело Санчо в удивление, Дон Кихота в смущение, и заставило солнце остановиться в своем течении.

¹ Блестящая шелковая материя, нечто вроде муара.

Все четверо стояли молча и недоумевая. Наконец, одна из двух пастушек заговорила первая и сказала Дон Кихоту:

– Остановитесь, сеньор кабальеро, и не рвите этих сетей, которые растянуты здесь не во вред вам, а в забаву нам, и так как я знаю, что вы нас спросите, зачем они растянуты здесь и кто мы такие, я хочу сказать вам это в кратких словах. В одной деревне, около двух миль отсюда, где живет много людей хорошего происхождения, много идалго и богачей, друзья и родственники уговорились, чтобы с сыновьями, женами и дочерьми, соседями, близкими и всей родней, мы бы отправились повеселиться сюда, в это место, одно из самых очаровательных во всей окрестности, решив образовать новую пастушью Аркадию, девушки – одевшись пастушками, а молодые люди – пастухами. Мы выучили наизусть две эклоги, одну – знаменитого поэта Гарсиласо, другую – превосходнейшего Камоэнса, на его родном португальском языке, но мы их до сих пор еще не представляли. Вчера был первый день, что мы сюда прибыли. Здесь мы расставили, среди кустов, на берегу многоводного ручья, оплодотворяющего все эти луга, несколько палаток, из тех, что называются походными. В прошлую ночь мы растянули между этими деревьями сети, чтобы обмануть глупеньких, маленьких птичек, которые, когда спугнуть их шумом, могут попасться в них. Если вам, сеньор, угодно быть нашим гостем, мы окажем вам щедрый и радушный прием, потому что теперь в это место не проникнет ни забота, ни печаль.

Она умолкла и не промолвила больше ни слова, а Дон Кихот ответил ей, сказав:

– Наверное, прекраснейшая сеньора, Актеон не мог почувствовать большего удивления и изумления, когда он неожиданно увидел купающуюся в водах

Диану, чем удивился я, увидав вашу красоту. Хвалю ваши планы развлечений и благодарю за ваше приглашение; и если я могу в чем-либо служить вам, приказывайте в полной уверенности, что я исполню ваши приказания, потому что профессия моя состоит в том, чтобы выказывать себя признательным и творить благо для всякого рода людей и в особенности для столь знатных, какими вы являетесь. И если б эти сети, которые занимают лишь небольшое пространство, занимали всю поверхность земного шара, я бы искал новые миры, чтобы пройти, не разорвав этих сетей. А чтобы вы отнеслись с некоторым доверием к этим моим столь громким словам, знайте, что тот, кто даст обещание – не менее, чем Дон Кихот Ламанчский, если только это имя дошло до ваших ушей.

– Ах, подруга души моей, – воскликнула тогда вторая пастушка, – какое великое счастье выпало на нашу долю! Видишь ли этого сеньора, вот тут перед нами? Так знай же, что это самый доблестный, самый влюбленный и самый учтивый рыцарь, какой лишь есть на свете, если только не лжет и не обманывает нас история его подвигов, имеющаяся в печати и которую я читала. Готова биться о заклад, что этот добрый человек с ним, некто Санчо Панса, его оруженосец, чьи шутки нельзя сравнить ни с какими другими.

– Это верно, – сказал Санчо, – я и есть тот шутник и тот оруженосец, о ком говорит ваша милость, а этот сеньор – мой господин, сам Дон Кихот Ламанчский, о котором говорит и повествует история.

– О, – воскликнула другая, – уприсим его, друг, остаться, потому что наши отцы и братья будут бесконечно рады ему, так как и я слышала о его доблестях и забавности все то же, что и ты сказала;



Если вам, сеньор, угодно быть нашим гостем, мы
окажем вам щедрый и радушный прием...

и сверх того, о нем говорят, что он самый постоянный и самый верный из всех, когда-либо известных влюбленных, что дама его некая Дульсинея Тобосская, и ей во всей Испании дают пальму первенства по красоте.

– И справедливо дают ей, – сказал Дон Кихот, – если только не заставит усомниться в том ваша несравненная красота. Но не трудитесь, сеньоры, удерживать меня, так как неотложные обязанности моей профессии ни в коем случае не позволяют мне отдыхать.

В это время к тому месту, где находились все четверо, подошел брат одной из пастушек, тоже одетый пастухом, столь же богато и пышно, как и пастушки. Они сообщили ему, что тут с ними – доблестный Дон Кихот Ламанчский, а другой – его оруженосец, Санчо, о которых он имеет сведения, так как читал их историю. Изящный пастух предложил Дон Кихоту свои услуги, и попросил его пойти к ним в палатки. Дон Кихоту пришлось уступить и согласиться. Явились загонщики, началась птичья ловля, и сети наполнились разного рода птичками, обманутыми цветом сетей, и попадавшими в опасность, которую пытались избежать.

Более тридцати человек было собрано в этом месте, все богато одетые пастухами и пастушками, и тотчас же им сообщили, кто такой Дон Кихот и его оруженосец, что доставило им большое удовольствие, потому что все знали о нем по его истории. Затем они отправились в палатки; нашли столы накрытыми – богато, обильно и изящно; почтили Дон Кихота, усадив его на почетное место, и все смотрели на него и удивлялись, что видят его. Наконец, когда сняли скатерть со стола, Дон Кихот очень спокойно высил голос и сказал:

– Хотя к величайшим грехам, совершаемым людьми, некоторые причи-

сляют гордость, я причисляю к ним неблагодарность, основываясь на том, что, как обыкновенно говорят, ад наполнен неблагодарными. Этого греха, насколько мне было возможно, я старался избегать с той минуты, как стал владеть разумом. И если я не могу отплатить добрыми делами за оказанные мне добрые дела, я заменяю это желанием совершить их; и если и этого недостаточно, я разглашаю о них во всеуслышание, так как тот, кто говорит об оказанных ему благодеяниях и разглашает о них, отплатил бы за них такими же добрыми делами, если б мог: потому что, по большей части принимающие по своему положению ниже дающих. Таким образом, Бог стоит превыше всех, потому что даяния людские не могут сравниться с даяниями Божьими, до того они бесконечно далеки от них. И эту то скудость и незначительность пополняет, в известной мере, благодарность. Так и я, благодарный за милость, которая была здесь оказана мне, не имея возможности воздать той же мерой, ограниченный тесными пределами моих сил, предлагаю то, что я в состоянии сделать и что в моей власти. Итак, я говорю, что в течение целых двух дней, среди большой дороги, ведущей в Сарагосу, я буду утверждать и отстаивать, что эти сеньоры, переодетые пастушками, самые красивые и учтивые девушки в мире, за исключением лишь одной несравненной Дульсинеи Тобосской, единственной владычицы моих дум, – не в оскорбление будь сказано всем лицам обоего пола, слушающих меня.

Тут Санчо, с большим вниманием слушавший речь Дон Кихота, громким голосом воскликнул:

– Возможно ли, что на свете есть люди, которые осмеливаются говорить и клясться, что этот мой господин

сумасшедший? Скажите, милости ваши, сеньоры пастухи и пастушки, какой сельский священник, как бы он ни был умен и учен, мог бы сказать то, что сказал мой господин? И какой странствующий рыцарь, как бы он ни был прославлен за доблесть, мог бы предложить то, что мой господин предложил здесь?

Дон Кихот обернулся к Санчо, и с пылающим от гнева лицом сказал ему:

– Возможно ли, о, Санчо, чтобы на всем земном шаре нашелся человек, который не сказал бы, что ты не глупец, подбитый глупостью, с не знаю какой бахромой лукавства и плутовства? Кто позволил тебе вмешиваться в мои дела и исследовать, в здравом ли я уме или сумасшедший? Молчи и не возражай мне, а седлай Росинанта, если он расседлан. Мы немедленно поедем приводить в исполнение то, что было предложено мною, и так как справедливость на моей стороне, ты можешь считать побежденными всех тех, которые вздумали бы мне противоречить.

И с великим бешенством и с выражением негодования встал он со стула, повергнув в изумление присутствующих и возбудив в них сомнение, считать ли его за сумасшедшего или за человека в здравом уме? Наконец, они стали уговаривать его не осуществлять своего предложения, так как его чувства благодарности не подлежат ни малейшему сомнению, и нет нужды в новых доказательствах его доблести, потому что достаточно и тех, о которых повествуется в истории его подвигов. Тем не менее, Дон Кихот настоял на своем намерении, и сев верхом на Росинанте, продел на руку щит, взял копье и выехал на середину большой дороги, пролегавшей вблизи зеленого луга. Санчо последовал за ним верхом на Сером, сопровождаемый всем обществом пастушек и пастухов,

желавших видеть, чем кончится заносчивый и неслыханный вызов рыцаря.

Итак, Дон Кихот, сидя верхом на Росинанте, как уже было сказано, встал посреди дороги и пронзил воздух следующими словами:

– О вы, прохожие и путешественники, рыцари, оруженосцы, пешеходы или всадники, проезжающие по этой дороге или имеющие проехать по ней в течение двух дней, знайте, что Дон Кихот Ламанчский, странствующий рыцарь, находится здесь, утверждая, что красота и учтивость нимф, обитательниц этих лесов и лугов, превосходит всякую красоту и учтивость в мире, исключая лишь красоты властительницы моей души Дульси-неи Тобосской. Поэтому, пусть тот, кто держится иного мнения, явится сюда, так как я жду его здесь.

Два раза повторил он эти самые слова, и два раза они не были услышаны никаким искателем приключения. Но судьба, которая продолжала устраивать его дела все лучше и лучше, распорядилась так, что вскоре на дороге показалась толпа всадников. Многие из них имели копыя к рукам, и все ехали гурьбой шумно и очень торопливо. Едва заметили те, что были с Дон Кихотом, как, повернув спину, все убежали далеко в сторону от большой дороги, так как поняли, что если они останутся, им может угрожать опасность. Только один Дон Кихот с неустрашимым сердцем остался на своем посту, а Санчо Панса заслонил себя боками Росинанта. Толпа копыеносцев приблизилась, и один из них, схавший впереди, стал громким голосом кричать Дон Кихоту:

– Прочь с дороги, дьявол, а не человек, или же эти быки растопчут тебя.

– Эй, низкий сброд, – ответил Дон Кихот, – меня не испугают никакие быки, хотя бы и самые лютые, из когда-

либо выращенных на берегах Харамы¹. Признайте, разбойники, все вместе взятые, истину того, что я провозгласил здесь; а если нет – сражайтесь со мной.

Погонщик не имел времени ответить, а Дон Кихот сойти с дороги, если бы он и пожелал, так как стадо диких быков, вместе с прирученными², множеством погонщиков и других людей, которые вели их в местечко, где на следующий день предстоял бой быков, налетели на Дон Кихота, на Санчо, Росинанта и Серого, сбросив всех их на землю и откинув далеко. Санчо лежал ушибленный, Дон Кихот ошеломленный, Серый помятый и Росинант не многим лучше его. Но, наконец, все поднялись, и Дон Кихот с большой поспешностью, спотыкаясь здесь, падая там, побежал за стадом, громко крича:

– Остановитесь и подождите, сброд разбойников, потому что вас ждет один рыцарь, не придерживающийся обычая и мнения тех, которые говорят: для бегущего врага стройте мост из серебра³.

Но из-за этих его слов не остановились торопившиеся беглецы и обратили также мало внимания на его угрозы, как на прошлогодние облака.

Утомление заставило Дон Кихота остановиться и, более взбешенный, чем отомщенный, сел он на дороге, поджидая Санчо, Росинанта и Серого. Они подошли; господин и слуга сели снова верхом, и не вернувшись, чтобы проститься с мнимой или поддельной Аркадией, они скорее со стыдом, чем с удовольствием, продолжали свой путь.



¹ Харамы – река, впадающая в Тахо, и быки, возвращенные на пастбищах по берегам Харамы, всегда считались самыми лютыми и свирепыми.

² *Mansos cabestros* – волы, специально к тому приученные и называемые *cabestros*, идут во главе быков, отводимых с пастбищ для боя быков, а сторожа этих быков сидят верхом и имеют копыя в руках.

³ Слова, приписываемые великому военачальнику, Гонсалесу де Кордова.



Санчо лежал ушибленный, Дон Кихот ошеломленный,
Серый помятый и Росинанте не многим лучше его



Глава LIX

Где рассказывается необычайное происшествие, которое случилось с Дон Кихотом, и может быть сочтено за приключение.



т пыли и утомления, вынесенных Санчо и Дон Кихотом из неучтывого обращения с ними быков, избавил их светлый и прозрачный ручей, который они нашли в тенистой чаще деревьев. Здесь, на берегу его, отпустив пастись на свободе, без узды и недоузка, Серого и Росинанта, сели оба истоптанные быками, – господин и слуга. Санчо прибер к кладовой своих дорожных сумок и вынул оттуда то, что он имел обыкновение называть своим *кормом*¹. Он выполоскал себе рот, а Дон Кихот вымыл лицо, и когда они освежи-

лись таким образом, в них снова укрепился изнуренный их дух. Дон Кихот не ел единственно от огорчения, а Санчо не осмеливался дотронуться до лежащих перед ним яств единственно из вежливости, ожидая, чтобы господин его первый отведал от них². Но видя, что, углубленный в свои размышления, рыцарь забыл поднести хлеб ко рту, Санчо не сказал ни слова, а, отбросив все правила благовоспитанности, принялся набивать себе желудок хлебом и сыром, лежавшими перед ним.

– Ешь, Санчо друг, – сказал Дон Кихот, – поддерживай свою жизнь; она для тебя имеет больше ценности, чем моя

¹ Condumio – старинное деревенское выражение; по объяснению Коваррубиаса то, что едят с хлебом, чаще всего вареное мясо, но также яйца, виноград, рыба и т. д.

² Hacer la salva – т. е. отведать первый кусок пищи; это в домах принцев и вельмож лежало на обязанности maestresala, для удостоверения господ, что нет яда в блюдах.

для меня; и предоставь мне умереть под тяжестью моих мыслей и под ударами моих несчастий. Я, Санчо, родился, чтобы жить, умирая, а ты, – чтобы умереть, насядаясь. И чтобы ты видел, что я говорю тебе правду, взгляни на меня – пропечатанного в книгах, славного своим оружием, учтвого в своих поступках, уважаемого принцами, возбуждающего любовь в девушках; и, в конце концов, когда я ждал палм, триумфов и венков, заслуженных и приобретенных моими доблестными подвигами, я увидел себя сегодня утром истоптанным, смятым и измолотым ногами скверных и грязных животных. Эта мысль притупляет мои зубы, ослабляет челюсти, вызывает онемелость в руках и окончательно отнимает у меня всякую охоту есть; так что я думаю уморить себя голодом: из всех смертей самая жестокая смерть.

– Таким образом, – сказал Санчо, не переставая торопливо жевать, – милость ваша не одобрит пословицы, гласящей: *пусть жизнь Марты изжита, да умрет она сыта*. Я, по крайней мере, и не думаю убивать себя сам, напротив, хочу поступать, как башмачник, который вытягивает зубами кожу до тех пор, пока не дотянет ее туда, куда хочет. Я буду, питая себя, дотягивать жизнь мою, пока она не дойдет до конца, предназначенного ей небом. Знайте, сеньор, что нет большего безумия, как впадать в отчаяние, подобно тому, как это делает ваша милость; уж поверьте мне, покушайте, и лягте немного поспать на зеленом матрасе этих трав; а проснувшись, вы увидите, что почувствуете некоторое облегчение.

Дон Кихот так и сделал, потому что ему казалось, что Санчо рассуждает скорее, как философ, чем как безумец, и он сказал ему:

– Если ты, о, Санчо, желаешь сделать для меня то, что я сейчас тебе скажу, облегчение мое будет еще вернее и мое огорчение уменьшится; а именно: пока я буду спать, послушавшись твоих советов, ты отойди немного отсюда в сторону и, обнажив свое тело, нанеси себе поводами Росинанта триста или четыреста ударов в счет тех трех тысяч с лишком, которые ты должен нанести себе для снятия чар с Дульсинеи; так как не может не возбудить жалость то, что эта бедная сеньора остается очарованной из-за твоей беззаботности и небрежности.

– На это можно бы многое ответить, – заявил Санчо; – давайте ляжем теперь оба спать, а там *пусть скажет Бог, что будет*¹. Знайте, милость ваша, что нанести себе хладнокровно удары плетью – вещь жестокая, и тем более еще, если эти удары падают на тело, плохо упитанное и того хуже вскормленное. Пусть потерпит сеньора моя Дульсинея, и когда она менее всего будет ждать этого, она увидит меня изрешеченного ударами; и пока не умрешь продолжаешь жить, – я хочу сказать, что я все еще обладаю жизнью, вместе с желанием исполнить то, что я обещал.

Дон Кихот поблагодарил его за это и поел немного, а Санчо много; и оба они легли спать, предоставив двум верным товарищам и друзьям, Росинанту и Серому, в полную их волю и без всякого стеснения, пастись на густой траве, которой изобиловал этот дуг. Они проснулись довольно поздно, снова сели верхом и продолжали путь свой, торопясь доехать до постоянного двора, который виднелся на расстоянии около мили оттуда. Я говорю, что это был постоянный двор, потому что, Дон Кихот так назвал его, противно своему обыкновению назы-

¹ Общеупотребительное испанское выражение, равнозначное «Бог знает, что случится» или «видно будет, что Бог даст».

вать все постоялые дворы замками. Приехав туда, они спросили хозяина, есть ли у него помещение¹. Ответ был: да есть, со всеми удобствами и хорошим столом, какой они могли бы найти в Сарагосе. Они спешили, и Санчо снес свою кладовую съестных припасов в комнату, ключ от которой хозяин отдал ему. Санчо отвел животных в конюшню, задал им корм, и пошел посмотреть, какие Дон Кихот, сидевший на скамейке, даст приказания, вознося при этом особенную благодарность небу за то, что господину его постоялый этот двор не показался замком. Подоспело время ужина; они отправились к себе в комнату. Санчо спросил хозяина двора, что он может дать им поесть. Хозяин ответил: пусть будет мерилом этого их желание, пусть они спрашивают все, чего захотят, так как этот постоялый двор снабжен вдоволь и дичью, и домашней птицей, и морской рыбой.

– Не нужно так много, – ответил Санчо, – пары жареных цыплят с нас довольно, потому что мой господин неженка и ест мало, да и я не слишком большой обжора.

Хозяин ответил, что у него нет цыплят, так как коршуны их истребили.

– Пусть тогда, – сказал Санчо, – сеньор хозяин прикажет зажарить курицу, только помоложе.

– Курицу, отец мой! – ответил хозяин; – право, право, вчера я послал в город продать более пятидесяти кур; но, за исключением кур, закажите милость ваша все, что угодно.

– В таком случае, – сказал Санчо, – у вас, конечно, найдется телятина или козлятина?

– Как раз теперь ни того, ни другого, – ответил хозяин, – у нас нет, потому

что все вышло; на следующей же недели будем иметь ее и в изобилии.

– Легче нам от этого теперь, что ли? – возразил Санчо. – Готов биться о заклад, что все эти недостатки будут восполнены обилием имеющихся у вас свинного сала и яиц.

– Клянусь Богом, – ответил хозяин, – гость мой обладает самым милым хладнокровием. Я ему говорю, что у меня нет ни молодок, ни кур, а он хочет, чтобы у меня были яйца. Обсудим, если желаете, другие деликатесы, но перестаньте требовать от меня кур.

– Клянусь телом моим, – сказал Санчо, – решим же чем-нибудь. Скажите мне, наконец, что у вас есть, и бросимте эти рассуждения.

– Сеньор гость, – сказал хозяин двора, – то, что действительно и на самом деле есть у меня, это пара коровьих копыт, похожих на телячьи ножки, или пара телячьих ножек, похожих на коровьи копыта. Они сварены с горохом и приправлены луком и свиным салом; и как раз в настоящее время говорят: *съешь меня, съешь меня*.

– С этой минуты я считаю их своими, – сказал Санчо, – и пусть никто не дотронется до них, и я заплачу за них лучше, чем кто-либо другой, потому что для меня это самая что ни на есть вкусная вещь, и мне все равно коровьи ли это копыта или же телячьи ножки.

– Никто не дотронется до них, – сказал хозяин двора, – потому что другие проезжие, остановившиеся у меня, такие знатные люди, что везут с собой повара, дворецкого и кладовую с съестными припасами.

– Если дело идет о знатности, – сказал Санчо, – нет никого, более

¹ *Si hai posada*. Это первый необходимый вопрос, с которым приходится обращаться к хозяину *venta* (постоялого двора), так как помещений немного. Что касается еды, то обыкновенно путешественники привозят ее с собой.



– Ешь, Санчо друг, – сказал Дон Кихот, – поддерживай свою жизнь; она для тебя имеет больше ценности, чем моя...

знатного, чем мой господин; но занимаемая им должность не позволяет ему иметь при себе ни кладовых, ни буфетов. Мы с ним возьмем да растянемся среди луга и наедаемся досыта желудями или кизилом.

Вот разговор, который Санчо имел с хозяином постоялого двора; но дальше он не пожелал ему отвечать, потому что тот уже спрашивал его, что за должность или занятия были у его господина.

Час ужина настал, Дон Кихот пошел к себе в комнату, хозяин принес им варено, как оно было, и рыцарь поудобнее уселся кушать. В другой комнате, рядом с той, в которой находился Дон Кихот, отделенной от нее лишь тонкой перегородкой, Дон Кихот услышал, что кто-то сказал:

– Заклинаю вас жизнью вашей, милость ваша, сеньор дон Херонимо, пока нам принесут ужин, прочтите еще одну главу из второй части *Дон Кихота Ламанчского*¹.

Едва Дон Кихот услышал, что произнесли его имя, как он вскочил на ноги и стал с изощренным вниманием прислушиваться к тому, что говорили о нем; и он услышал, что дон Херонимо, к которому обратились, ответил:

– Зачем вы, милость ваша, дон Хуан, хотите, чтобы мы читали эти нелепости? Тому, кто прочел первую часть *истории Дон Кихота Ламанчского*, не может доставить удовольствие читать эту вторую ее часть.

– Тем не менее, – ответил дон Хуан, – хорошо было бы прочесть ее, так как нет той плохой книги, в которой не нашлось бы чего-нибудь хорошего. Что мне больше всего не нравится в ней, это то, что здесь Дон Кихот изображен уже разлюбившим Дульсинею Тобосскую.

Услыхав это, Дон Кихот, исполненный негодования и гнева, возвысил голос, говоря:

– Кто бы ни сказал, что Дон Кихот Ламанчский забыл или может забыть Дульсинею Тобосскую, я докажу ему равным оружием, что он очень далек от истины; потому что несравненная Дульсинея Тобосская не может быть забытой, и в сердце Дон Кихота нет места забвению. Его девиз – постоянство, и его призвание – нежно и по доброй своей воле хранить его.

– Кто тот, что отвечает нам? – спросили из другой комнаты.

– Кто же это может быть, – заявил Санчо, – как не сам Дон Кихот Ламанчский, который стоит за все, что сказал, а также и за то, что скажет, потому что хорошего плательщика не тревожит внесенный им залог.

Едва Санчо договорил эти слова, как дверь в комнату открылась, и вошли два кабальеро – такими они казались – и один из них, бросившись на шею к Дон Кихоту, сказал ему:

– Ни внешность ваша не противоречит вашему имени, ни ваше имя не находится в противоречии с вашей внешностью. Не подлежит сомнению, что вы, сеньор, истинный Дон Кихот Ламанчский, магнит и утренняя звезда странствующего рыцарства, вопреки и назло тому, кто желал завладеть вашим именем и уничтожить ваши подвиги, как это сделал автор книги, которую я здесь передаю вам. – И он вложил ему в руки книгу, бывшую в руках у его товарища, а Дон Кихот взял ее, и не говоря ни слова, начал перелистывать. Несколько спустя, он вернул книгу, говоря:

– В том немногом, что я видел, я нашел у этого автора три вещи, заслу-

¹ Речь идет о подложной *второй части* Дон Кихота, сочинение Авелланеды, напечатанной в 1614 г. в Таррагоне.



— Дульсинея осталась девственницей, моя любовь
к ней более постоянна, чем когда-либо...

живающие порицания. Первая – несколько слов, которые я прочел в предисловии¹; вторая – что язык здесь арагонский, так как иногда автор не ставит артиклей²; и третья – которая больше всего доказывает его невежество – это та, что он ошибается и уклоняется от истины в самой существенной вещи истории: он здесь говорит что жена Санчо Пансы, моего оруженосца, называется Мари Гутьеррес, но она так не называется, а зовут ее Тереса Панса³; и кто ошибается в столь существенной вещи, как эта, внушает опасение, что он может ошибаться и во всем остальном в истории.

На это Санчо заявил:

– Нечего сказать, превосходный историк! Хорошо, должно быть, ему известны наши дела, если он Тересу Панса, жену мою, называет Мари Гутьеррес. Возьмите-ка снова книгу, сеньор, и посмотрите, упоминается ли там обо мне и не переменили ли и мое имя.

– Судя по словам вашим, которые я сейчас слышу, друг, – сказал дон Херонимо, – вы, без сомнения, Санчо Панса, оруженосец Дон Кихота.

– Да, я оруженосец его, – ответил Санчо, – и горжусь этим.

– В таком случае, по чести говоря, – ответил кабальеро, – этот новый автор не обходится с вами с той благопристойностью, которая просвечивает во всей вашей особе: он изображает вас

обжорой, глупым и нимало не остроумным, совсем непохожим на того Санчо, который описан в первой части истории вашего господина.

– Да простит ему Бог это! – сказал Санчо. – Пусть бы он меня оставил в моем углу, не вспоминая обо мне вовсе, потому что, кто извлекать звуки умеет, пусть извлекает звуки из струн, а святому Петру хорошо и в Риме.

Оба кабальероса просили Дон Кихота перейти к ним в комнату и ужинать с ними, так как они хорошо знают, что в этом постоялом дворе нет ничего подходящего для его особы. Дон Кихот, который всегда был учтив, снизошел к их просьбе и ужинал с ними. Санчо остался с варевом и полной неограниченной властью⁴; он сел во главе стола, а с ним и хозяин двора, который, не менее Санчо, любил свои телячьи ножки и свои коровьи копыта.

Во время ужина, дон Хуан спросил Дон Кихота, какие у него известия о сеньоре Дульсинея Тобосской; не вышла ли она замуж, не родила или не беременна ли; или же, оставшись девственницей, сохраняя целомудрие и доброе свое имя, не забывает о влюбленных помышлениях сеньора Дон Кихота.

На это он ответил:

– Дульсинея осталась девственницей, моя любовь к ней более постоянна, чем когда-либо; наши отношения с ней в прежнем положении, красота ее прев-

¹ Нет сомнения, это те слова Авелланеда, – упрекавшего Сервантеса в том, что он старый и однорукий – на которые с таким достоинством Сервантес отвечает в предисловии ко второй части Дон Кихота.

² Арагонские писатели действительно имели обыкновение не ставить артиклей (el, la) перед существительными.

³ Ясно, что это ирония.

⁴ *Sop meo mixto imperio* – юридический термин из древне-римского гражданского уложения. *Megum mixtum imperium* – высшая власть, вверенная монархом судьбе или должностному лицу. Итак, Санчо была вверена высшая власть над коровьими копытами, вместо его господина.

ращена в уродливую наружность грубой крестьянки.

И тотчас же он подробно рассказал им об очаровании сеньоры Дульсины, и о том, что произошло в пещере Монте-синоса, а также о предписании, данном ему мудрым Мерлином для снятия с нее чар, именно, чтобы Санчо себя бичевал. Величайшее наслаждение доставило обоим кабальеросам слушать, как Дон Кихот рассказывал о необычайных событиях его истории, и они были столь же изумлены его нелепостями, как и изящной манерой рассказывать. То он казался им рассудительным человеком, то он ускользал опять в безумие, и они не были в состоянии решить, на какую его поставить степень между здравым умом и сумасшествием. Санчо кончил ужинать и, оставив хозяина пьяного¹, вошел в комнату, где находился его господин, и, войдя туда, сказал:

– Пусть меня убьют, сеньоры, если автор той книги, которая у вас здесь, милости ваши, желает, чтобы мы были с ним друзьями². И раз он уже называет меня, как ваши милости говорят, обжорой, мне бы хотелось чтобы он не называл меня еще и пьяницей.

– Да, он называет вас и так, – сказал дон Херонимо, – но я не помню, как собственно он это делает, хотя знаю, что слова его оскорбительны, и, кроме того, лживы, что ясно видно из физиономии доброго Санчо, стоящего здесь передо мной.

– Поверьте мне, милости ваши, – сказал Санчо, – что Санчо и Дон Кихот этой истории, должно быть, совсем другие, чем изображенные в истории, сочи-

ненной Сидом Аметом Бененхели, которые и есть мы: мой господин – доблестный, мудрый и влюбленный, и я – простак, забавник, не обжора и не пьяница.

– И я так думаю, – сказал дон Хуан, – и если бы было возможно, следовало бы издать приказ, чтобы никто не смел писать о делах великого Дон Кихота, исключая первого его автора Сида Амета, подобно тому, как Александр приказал, чтобы никто не смел писать портреты его, кроме Апеллеса.

– Пусть кто хочет изображает меня, – сказал Дон Кихот, – но не обезображивает³, так как терпение часто ослабевает, если его слишком обременяют оскорблениями.

– Ни одного, – сказал дон Хуан, – нельзя нанести сеньору Дон Кихоту, за которое он бы не мог отомстить, разве только он отразит его щитом своего терпения, который, как мне кажется, у него велик и силен.

В этих и других разговорах прошла значительная часть ночи; и хотя дон Хуан желал бы, чтобы Дон Кихот прочел больше из той книги, имея в виду услышать, как он будет распространяться о ней, но рыцаря не могли убедить в том. Он просил считать, будто уже прочел книгу, нашел в ней все глупым, и не желает, чтобы автор, случайно узнав, что рыцарь держал в руках его книгу, был польщен мыслью, будто рыцарь читал ее: от вещей непристойных и грязных нужно отвращать мысли, а тем более глаза.

Кабальеросы спросили Дон Кихота, куда он решил ехать. Он ответил, что в Сарагосу, чтобы присутствовать на тур-

¹ Dejando hecho equis al ventero. Если человек пьян, говорят фамильярно hacer equis – «делать X», потому что ноги его перекрещиваются друг с другом от слабости, делаясь похожими да букву X.

² Que no comamos buenas migas juntos – буквально: «чтобы мы не ели хорошие крохи вместе».

³ Тут игра слов на retratar и maltratar, которую точно нельзя перевести на русский язык.

нирах с выдачей победителю доспехов турнира, устраиваемых в этом городе, обыкновенно ежегодно.

Дон Хуан сказал ему, что в этой новой истории рассказывается, как Дон Кихот, – кто бы он ни был, – находится в Сарагосе на турнире на копьях – лишенный изобретательности, бедный затеями, донельзя бедный платьем, хотя богатый глупостями.

– По этой самой причине, – ответил Дон Кихот, – моей ноги не будет в Сарагосе, и таким образом я выставлю на показ перед всем миром лживость этого современного историка, и пусть люди увидят, что я не тот Дон Кихот, о котором он говорит.

– Вы поступите очень хорошо, – сказал дон Херонимо; – есть также турниры и в Барселоне, где сеньору Дон Кихоту можно будет выказать всю свою доблесть.

– Это я и намерен сделать, – ответил Дон Кихот, – и прошу вас, милости

ваши, позвольте мне, так как уже время, идти лечь в постель; и примите и считайте меня в числе лучших ваших друзей и слуг.

– И меня также, – добавил Санчо, – быть может, и я могу на что-нибудь пригодиться.

С этими словами они простились друг с другом, и Дон Кихот и Санчо ушли в свою комнату, оставив дону Хуана и дону Херонимо в изумлении от смеси здравого рассудка и безумия, проявленных рыцарем; и они действительно поверили, что это и были настоящие Дон Кихот и Санчо, а не те, которых описал их арагонский автор.

Дон Кихот встал рано и, постучав в перегородку соседней комнаты, простился с угостившими его кабальеросами. Санчо заплатил хозяину двора великолепно и посоветовал ему меньше расхваливать провизию в своем постоялом дворе или лучше запастись ею.





ГЛАВА LX

О том, что случилось с Дон Кихотом по пути в Барселону.

Утро было прохладное, и день обещал быть таким же, когда Дон Кихот уехал из постоялого двора, предварительно узнав, какой самый прямой путь в Барселону, минуя Сарагосу – до того велико было его желание выставить лжецом этого нового историка, который, как говорили, так оклеветал его. Случилось затем, что более чем в течение шести дней с ним не произошло ничего, заслуживающего быть записанным; а в конце этого времени, когда он ехал в стороне от дороги, ночь застигла его среди густолиственных дубов или же пробковых деревьев, так как на этот счет Сид Амет не придерживается точности, столь свойственной ему в других случаях. Господин и

слуга сошли с своих животных и расположились у стволов деревьев, и Санчо, позавтракавший в этот день, немедленно вошел в ворота сна. Но Дон Кихот, которому воображение мешало спать гораздо более, чем голод, не мог сомкнуть глаз. Напротив, он в мыслях носился и переносился по тысяче разных мест. То ему казалось, что он находится в пещере Монтесиноса; то он видел, как скачет и садится на свою ослицу превращенная в крестьянку Дульсинея; то в ушах его звучали слова мудрого Мерлина, сообщавшего ему при каких условиях надо действовать и к каким прибегнуть мерам, для снятия чар с Дульсинеи. Он приходил в отчаяние при мысли о нерадивости и малой сострадательности Санчо, своего оруженосца, потому что, как он

помнил, тот нанес себе всего лишь пять ударов – число несоразмерное и ничтожное сравнительно с бесконечным множеством еще недостающих ударов; и это вызвало в нем такое сильное огорчение и такую досаду, что он пришел к следующему выводу:

– Если Александр Великий разрубил гордиев узел говоря: все равно, что разрубить, что развязать, и, тем не менее, остался всеобщим повелителем Азии, тоже случится и теперь в деле снятия чар с Дульсинеи, если я сам буду бичевать Санчо наперекор ему; потому что, раз, условие этого средства состоит в том, чтобы Санчо получил три тысячи и столько то ударов, какое мне дело, сам ли он нанесет их себе или же другой нанесет их ему, если суть состоит в том, чтобы он их получил, откуда бы они не взялись. – С этою мыслью он подошел к Санчо, предварительно взяв поводья Росинанта и сложив их так, что можно было стегать ими, и стал отстегивать у Санчо подтяжки, хотя полагают, что у того была только одна передняя, на которой держались его широкие панталоны. Но едва он принялся за это, как Санчо проснулся вполне и, глядя во все глаза, сказал: – Что это такое? кто меня трогает и снимает подтяжки?

– Это я, – ответил Дон Кихот, – я пришел навестить твои упущения и облегчить мое беспокойство. Я пришел стегать тебя, Санчо, и уплатить отчасти долг, который ты взял на себя. Дульсинея погибает; ты живешь в беззаботности; я умираю от желания; и поэтому расстегнись по доброй воле, так как моя воля нанести тебе в этом уединенном

месте, по крайней мере, две тысячи ударов бичом.

– Ну, нет, – сказал Санчо, – потише, ваша милость, а нет, клянусь истинным Богом, что нас услышат глухие. Удары, которые я обязался нанести себе, должны быть нанесены по доброй моей воле, а не насильно; а теперь у меня нет охоты бичевать себя. Довольно и того, что я даю вашей милости слово бить и истязать себя, когда мне это заблагорассудится.

– Этого нельзя предоставить одной твоей любезности, Санчо, – сказал Дон Кихот, – потому что сердце у тебя жесткое, и хотя ты и грубый крестьянин, а тело у тебя нежное.

И говоря так, он старался и прилагал все усилия снять с него штаны. Видя это, Санчо вскочил на ноги, бросился на своего господина, обхватил его руками и, дав ему подножку, повалил на землю, лицом вверх. Поставив ему правое колено на грудь, он держал его руки своими руками так, что Дон Кихот не мог ни двинуться, ни шевельнуться. Дон Кихот сказал ему:

– Как, изменник? Ты восстаешь против своего господина и природного повелителя? Дерзаешь идти против того, хлеб которого ты ешь?

– Я не смещаю и не ставлю короля¹, – ответил Санчо, – а помогаю самому себе, потому что я сам себе сеньор. Пусть милость ваша обещает мне быть спокойным и не предлагать мне бичевать себя теперь, и тогда я освобожу и отпущу вас; а если нет:

Здесь умрешь ты, изменник,
Враг доньи Санча².

¹ Ni quito Rey ni pongo Rey, pero ayuda a mi señor, – пословица, источником, которой послужили, как говорят, слова, сказанные Бертраном Дюгескленом, когда он оказал помощь Эприку Транстамарскому в его борьбе с королем доном Педро.

² Санчо приводит эти строки из романа об убийстве Мударрой изменника Руи Веласкеса (A cazar va don Rodrigo) один из наиболее старинных романсов (Duran, v. I).

Дон Кихот обещал ему это и клялся жизнью своих мыслей не дотронуться до волоска одежды Санчо и предоставить полной и свободной его воле и желанию бичевать себя, когда ему будет угодно. Санчо встал и отошел на довольно порядочное расстояние от того места; здесь, прислонившись к другому дереву, он почувствовал, что кто-то дотрагивается до его головы, и, подняв руки, ощупал чьи-то ноги в башмаках и чулках. Санчо задрожал от страха, подошел к другому дереву, но и там случилось тоже. Он громко закричал, призывая Дон Кихота прийти к нему. Дон Кихот так и сделал и спросил его, что случилось и чего он так испугался, а Санчо ответил, что все эти деревья полны человеческих ступней и ног. Дон Кихот дотронулся до них, тотчас же догадался, что это могло быть, и сказал Санчо:

– Тебе нечего бояться, потому что эти ноги и ступни, к которым ты дотрагиваешься и не видишь их, без сомнения принадлежат каким-нибудь разбойникам и преступникам, повешенным на этих деревьях; потому что здесь правосудие имеет обыкновение, когда их поймает, вешать их по двадцати и тридцати сразу, из чего я вывожу заключение, что, должно быть, мы уже недалеко от Барселоны.

Это так и было, как он предположил. Когда стало светать, они подняли глаза и увидели, что гроздьями на этих деревьях были тела разбойников. Теперь уже рассвело, и если мертвые испугали их, не менее нагнали на них страха более сорока живых разбойников, которые их внезапно окружили и сказали им на каталонском языке, чтобы они стояли, не

двигаясь, и ожидали, пока не явится их атаман. Дон Кихот был пеший, лошадь его разнуздана, копьё прислонено к дереву, словом, он был лишен возможности защищаться; итак, он счел за лучшее скрестить руки и наклонить голову, приберегая себя для более подходящего времени и случая. Разбойники бросились грабить то, что было на Сером, и обобрали все, что нашли в сумках и в дорожном чемоданчике. Счастье Санчо, что червонцы герцога и те, которые он вез с собой из дому были у него спрятаны в поясе, надетом на голом теле. Но, тем не менее, эти добрые люди очистили бы его и так бы тщательно обыскали, что даже посмотрели бы, не спрятано ли у него чего-нибудь между кожей и телом, если б в это время не подъехал их атаман. Ему казалось около тридцати четырех лет; был он здоровый, выше среднего роста, с виду суровый, с лица смуглый. Он ехал верхом на могучем коне, одетый в кольчугу, с четырьмя пистолетами по бокам, из тех, которые в той местности называются *pedreñales*¹. Он увидел, что его оруженосцы (потому что так называют тех, которые занимаются этой профессией) собираются обобрать Санчо Пансу, и приказал им не делать этого; они тотчас же повиновались ему, и таким образом ускользнул от них пояс. Атаман удивился, увидав копьё, прислоненное к дереву, щит, лежащий на земле, и Дон Кихота в доспехах и задумчивого, с такой печальной и грустной фигурой, точно изображение самой печали. Подойдя к нему, он сказал:

– Не будьте так печальны, добрый человек, потому что вы не попали в руки какого-нибудь жестокого Озириса², а

¹ Pedreñales – называемые так потому, что приводились в действие кремнем (pedernal) вместо фитиля. В то время они были лишь недавно изобретены.

² Osiris – по-видимому, вместо Бузирис; египетский король, жестокость которого была так велика, что вошла в пословицу.

в руки Роке Гинарт¹, который скорее сострадателен, чем жесток.

– Печаль моя не оттого, – ответил Дон Кихот, – что я попал во власть к тебе, о, доблестный Роке, славе которого нет пределов на земле, а оттого, что беззаботность моя была так велика, что твои солдаты взяли меня врасплох, – тогда как я обязан по правилам странствующего рыцарства, к которому принадлежу, всегда быть на страже и во всякое время быть собственным своим часовым. Потому что я должен сказать тебе, о, великий Роке, что, если б они нашли меня верхом на коне, с щитом и копьем в руках, не очень-то легко было бы им принудить меня сдаться, так как я Дон Кихот Ламанчский, тот, молвой о подвигах которого полон весь мир.

Роке Гинарт тотчас же понял, что недуг Дон Кихота соприкасается больше с безумием, чем с доблестью, и хотя он иногда и слышал о нем, но никогда не считал за истину рассказы о его подвигах и не мог поверить, чтобы подобные причуды овладели душой человека. И он был в высшей степени доволен, что встретил его, чтобы убедиться вблизи в том, о чем он слышал издали. И по этому он сказал:

– Доблестный рыцарь, не досадуйте и не считайте злополучной судьбой ту, которая теперь выпала вам на долю, так как может случиться, что в этих испытаниях неудача ваша обратится в удачу; потому что небо удивительными, неслыханными, окольными, для людей непостижимыми путями поднимает павших и обогащает бедных.

Дон Кихот собирался поблагодарить его, когда позади них раздался шум, точно несся целый табун лошадей; но оказалось, что мчалась всего одна лошадь, на которой ехал верхом во весь карьер юноша, на вид около двадцати лет, в зеленой шелковой одежде, обшитой золотыми позументами, в широких панталонах, коротком камзоле, с шляпой, загнутой на валлонский манер; в навощенных, узко-обхватывающих ногу сапогах, с золоченными шпорами; с кинжалом и мечом, с маленькой винтовкой в руках, и двумя пистолетами, воткнутыми за пояс. Услышав шум, Роке обернул голову и увидал эту красивую фигуру, которая подскакав к нему, проговорила:

– Я отыскивал тебя, о, доблестный Роке, чтобы найти в тебе, если не спасение, то, по крайней мере, облегчение в моем несчастье; и не желая держать тебя в недоумении, потому что я вижу, что ты не узнал меня, я тебе скажу, кто я. Я Клаудиа Херонима, дочь Симона Форте, твоего близкого друга, который заклятый враг Клаукеля Торрельяса, а этот последний также и твой враг, потому что он принадлежит к враждебной тебе партии². А ты знаешь, что у этого Торрельяса есть сын, и его зовут дон Висенте Торрельяса или, по крайней мере, его так звали два часа тому назад. Итак, чтобы сократить рассказ о моем несчастье, я сообщу тебе в кратких словах, чем он виноват передо мной. Он увидел меня, ухаживал за мной; я слушала его, влюбилась в него тайком от моего отца, так как нет женщины, как бы она ни жила уединенно и как бы ни была осмотрительна, у кото-

¹ Роке Гинарт, – или настоящее имя его Педро Рочагинарда, – был современник Сервантеса, каталонец, предводитель шайки разбойников, пользовавшийся в свое время большой славой – человек великодушный, сострадательный, который брал у богатых и давал бедным, словом, скорей филантроп, чем разбойник.

² В то время, как и в предшествующие века, Каталония отличалась яркими междоусобиями, существовавшими среди знатных родов.



Он громко закричал, призывая Дон Кихота прийти к нему...

рой не нашлось бы с избытком времени осуществить и привести в исполнение мятежные свои желания. Словом, он обещал мне быть моим супругом, а я дала ему слово быть его женой, но дальше этого мы не зашли. Вчера же я узнала, что, забыв свое обязательство ко мне, он женится на другой и что сегодня утром он будет венчаться; известие это помutilо мой разум и положило конец моему терпению. А так как отец мой был в отъезде, я имела возможность одеться в платье, которое вы видите, и, пришпорив моего коня, догнала дону Висента около мили отсюда; и не останавливаясь, чтобы высказать упреки или слушать оправдания, я выстрелила в него из этой винтовки и сверх того из этих двух пистолетов, и я думаю, что всадила в тело его более двух пуль, открыв двери, через которые честь моя, смоченная в его крови, могла быть спасена. Там я оставила его среди его слуг, которые не посмели и не могли выступить на его защиту. Пришла я искать тебя, чтобы ты переправил меня во Францию, где у меня есть родственники, у которых я могу жить, и вместе с тем просить тебя защитить моего отца, чтобы многочисленные друзья дон Висенте не осмелились обрушиться на него жестокою местью.

Роке, пораженный изяществом, смелостью, стройной фигурой и приключением прекрасной Клаудии, сказал ей:

– Пойдем, сеньора, посмотрим, умер ли твой враг, и затем решим, что лучше тебе предпринять.

Дон Кихот, внимательно прислушавшийся к тому, что говорила Клаудия и что ответил Роке Гинарт, сказал:

– Пусть никто не берет на себя труд защищать эту сеньору, так как я беру его на себя. Пусть мне дадут моего коня и мое оружие и ждут меня здесь, потому что я поеду искать этого кабальеро, и

мертвого или живого заставлю его сдерживать слово, данное им такой красоте.

– Пусть никто не сомневается в этом, – сказал Санчо, – так как у моего сеньора счастливая рука в деле устройства свадеб, потому что не очень давно он заставил жениться одного, который тоже не хотел сдерживать слова, данного им девушке, – и если бы волшебники, преследующие моего господина, не превратили внешность того человека в внешность какого-то лакея, теперь та девушка не была бы уже девушкой.

Роке, который был более занят мыслями о приключении с прекрасной Клаудией, чем разговором господина и слуги, не слушал их, и приказав своим оруженосцам вернуть Санчо все то, что они ограбили с Серого, он велел им удалиться в то место, где они провели прошлую ночь, и тотчас же поспешно уехал с Клаудией отыскивать раненого или убитого дону Висенте.

Они доехали до места, где Клаудия встретила его, но не нашли здесь ничего, кроме недавно пролитой крови. Однако, оглядываясь во все стороны они заметили несколько человек на склоне холма и решили, как оно и было на самом деле, что это, должно быть, дон Висенте, которого его слуги, живого или мертвого, несли, чтобы лечить его или похоронить. Они поспешили нагнать их, и им это нетрудно было сделать, так как те двигались очень медленно. Они увидели дону Висенте на руках его слуг, которых он слабым и чуть слышным голосом просил дать ему умереть здесь, потому что боль от ран не позволяет нести его дальше. Клаудия и Роке соскочили с коней и подошли к нему. Слуги испугались, увидав Роке, а Клаудия смутилась при виде дону Висенте. Итак, она подошла к нему, наполовину растроганная, наполовину суровая, и, взяв его за руки, сказала:

– Если б ты мне дал свою руку, согласно нашему уговору, ты бы никогда не попал в такое положение.

Раненый кабальеро открыл свои почти уже погасшие глаза и, узнав Клаудию, сказал:

– Я вижу, прекрасная и обманутая сеньора, что это ты меня убила – кара и не заслуженная, и не вызванная моими намерениями, которыми я, также как и моими поступками, никогда не желал и не мог оскорбить тебя.

– Значит, неправда, – воскликнула Клаудиа, – что ты сегодня утром ехал венчаться с Леонорой, дочерью богатого Балвастро?

– Конечно, нет, – ответил дон Висенте; – злополучная судьба моя должна была принести тебе эти известия, чтобы ты, ревнуя, отняла у меня жизнь, но раз я ее теряю на твоих руках и в твоих объятьях, я считаю свою долю счастливой. И чтобы убедить тебя в этой истине, пожми мне руку и прими меня, если ты желаешь, своим супругом, так как я не могу дать тебе другого большего удовлетворения за оскорбление, которое, как ты думаешь, я нанес тебе.

Клаудиа пожала ему руку, и сердце ее так сжалось, что она упала в обмороке на окровавленную грудь дона Висенте, а его охватили судороги смерти. Роке был смущен и не знал, что ему делать. Слуги побежали за водою, чтобы брызнуть ею им в лицо, и, принеся ее, стали обливаться ею. Клаудиа пришла в себя от обморока, но дон Висенте не пришел в себя от своего пароксизма, так как жизнь угасла в нем. Когда Клаудиа увидела это и поняла, что ее дорогой супруг лежит бездыханный, она стала раздирать воздух рыданиями, терзала небо жалобами, рвала на себе волосы, распустив их по ветру, царапала себе лицо собственными руками, со всеми проявлениями горя и

страдания, какие только может выказать измученное сердце.

– О, жестокая, опрометчивая женщина, – восклицала она, – как быстро ты решила привести в исполнение свое столь злое намерение! О, бешенная сила ревности, к какой отчаянной крайности доводишь ты того, кто дает тебе убежище в своей груди! О, супруг мой, злополучная судьба которого, оттого, что ты была моим сокровищем, привела тебя вместо брачного ложа к могиле!

До того ужасны и печальны были сетования Клаудии, что они извлекали слезы из глаз Роке, не привыкших проливать их в каких бы то ни было случаях. Слуги плакали; Клаудиа ежеминутно падала в обморок; и все кругом казалось жилищем скорби и местопребыванием несчастья. Наконец, Роке Гинарт приказал слугам дона Висенте отнести его труп в местечко его отца, бывшее вблизи, чтобы похоронить его. Клаудиа сказала Роке, что она желает удалиться в монастырь, в котором игуменьей была ее тетка, и намерена окончить там дни свои в обществе другого лучшего и вечного жениха. Роке похвалил ее за доброе намерение и предложил сопровождать, куда бы она не пожелала, и защищать ее отца против родственников дона Висенте и против всего света, если б кто-либо вздумал нанести ему обиду. Клаудиа решительно отказалась, чтобы Роке сопровождал ее, и, поблагодарив его за его предложения, как сумела, простилась с ним, плача. Слуги дона Висенте унесли его труп, и Роке вернулся к своим товарищам. Так кончилась история любви Клаудии Херонимо. Что же тут удивительного, если ткань ее плачевной истории была соткана непобедимыми и жестокими силами ревности?

Роке Гинарт нашел своих оруженосцев там, куда он приказал им ехать,

и между ними и Дон Кихота верхом на Росинанте. Он держал им речь, которую старался убедить их отказаться от своего образа жизни, столь же опасного для души, как и для тела. Но так как большинство из них были гасконцы, народ грубый и необузданный, речь Дон Кихота не очень то им понравилась. Когда Роке приехал, он спросил Санчо Пансу, вернули ли и отдали ли ему драгоценности и алмазы, которые его люди взяли с Серого. Санчо ответил, что вернули, и только недостает трех платков, стоящих трех городов.

– Что это ты говоришь, приятель, – сказал один из присутствовавших. – Платки эти у меня, и они не стоят и трех реалов.

– Совершенно верно, – согласился Дон Кихот, – но мой оруженосец оценил их, как сказал, ради того лица, которое дало их мне.

Роке Гинарт приказал немедленно вернуть платки и велел людям своим встать в ряд и принести сюда всю одежду, все драгоценности и деньги и все то, что было ими награблено после последнего дележа. Затем, быстро сделав оценку, и то, чего нельзя было разделить, обратив и переведя на деньги, он распределил это между всем своим отрядом так справедливо и благоразумно, что ни на йоту не перешел за предел строгого воздаятельного правосудия. Когда это было сделано, причем все остались довольны, удовлетворены и награждены. Роке сказал Дон Кихоту:

– Если бы я не соблюдал такой точности с этими людьми, невозможно было бы жить с ними.

На это Санчо ответил:

– Судя потому, что я здесь видел, справедливость – такая хорошая вещь, что нельзя не руководствоваться ею даже среди самих воров.

Услышав это, один из оруженосцев поднял ружье, прикладом которого он без сомнения проломил бы голову Санчо, если бы Роке Гинарт не крикнул ему, чтоб он остановился.

Санчо испугался и решил не разжигать более губ, пока он будет среди этих людей. Между тем прибежал один или несколько из тех оруженосцев, которые были расставлены часовыми на дорогах, чтобы выслеживать проходивших и проезжавших по ним путешественников и давать знать атаману о том, что происходит, и сказал:

– Сеньор, недалеко отсюда, по дороге, ведущей в Барселону, приближается большая толпа людей.

На это Роке ответил:

– Разглядел ты, из тех ли они, что нас ищут, или из тех, которых мы ищем?

– Они из тех, которых мы ищем, – ответил оруженосец.

– Тогда идите все, – сказал Роке, и приведите мне их сюда тотчас же, и чтобы никто из них не ускользнул.

Они сделали так, как им приказали; Дон Кихот, Санчо и Роке остались одни, ожидая, кого приведут оруженосцы. Между тем Роке сказал Дон Кихоту:

– Наш образ жизни должен казаться сеньору Дон Кихоту совсем необычайным; странные приключения, странные события, и все полны опасности. И я не удивляюсь, если это ему кажется так, потому что я действительно признаю, что нет образа жизни более беспокойного или более тревожного, чем наш. Меня привели к нему, не знаю, какие желания мести, обладающие властью смущать самые уравновешенные умы. Я по природе своей сострадателен и благожелателен, но, как я уже говорил, желание отомстить за нанесенное мне оскорбление, так пригибает к земле все мои добрые наклонности, что я упорствую на этом по-



Он держал им речь, которую старался убедить их отказаться от своего образа жизни, столь же опасного для души, как и для тела...

прище вопреки и на зло тому, что чувствую. И как одна бездна ведет к другой, и один грех к другому, совершаемые мною мести так переплелись между собой, что я не только свои, но и чужие беру на себя. Однако милостью Божьей, хотя я и вижу себя среди лабиринта моих заблуждений, я не теряю надежды выбраться из него в безопасную гавань.

Дон Кихот был удивлен, услышав, что Роке говорит так рассудительно и хорошо, потому что он думал, что среди тех, кто занимается такой профессией, как воровство, убийство и грабеж на больших дорогах, не может быть никого, кто бы говорил разумно; и он ответил:

– Сеньор Роке, начало выздоровления лежит в понимании болезни и в готовности больного принимать лекарства, прописанные ему врачом. Ваша милость больна, болезнь ваша известна вам, и небо, или лучше говоря Бог, который наш врач, применит к вам лекарства и они вылечат вас; но они вылечивают обыкновенно лишь мало-помалу, а не внезапно и чудом. К тому же, рассудительные грешники ближе к исправлению, чем глупые. И так как ваша милость высказала в своих словах свой здравый ум, вам остается только сохранять бодрость духа и надежду на выздоровление больной вашей совести. Если же ваша милость желает сократить путь и легко повернуть на дорожку спасения, идемте со мной, и я научу вас быть странствующим рыцарем, а на этом пути приходится терпеть столько бед и злоключений, что, если принять их за епитимию, они во мгновение ока приведут вас в рай.

Роке рассмеялся над советом Дон Кихота и, переменяв разговор, рассказал ему трагическое приключение Клаудии Херонимо, которое очень огорчило Санчо, потому что красота, отвага и предпримчивость молодой девушки весьма

понравились ему. В это время вернулись оруженосцы с добычей, приведя с собой двух кабальеросов верхом, двух пеших странников и карету, в которой сидели женщины, сопровождаемые шестью, или около того, слугами верхом и пешком; кроме того, тут были и два погонщика мулов, – служители кабальеросов. Оруженосцы окружали их всех, и побежденные и победители хранили молчание, ожидая, чтобы заговорил великий Роке Гинарт. Он спросил кабальеросов, кто они такие, куда едут и сколько у них при себе денег. Один из них ответил:

– Сеньор, мы оба капитаны испанской пехоты, наши роты в Неаполе, мы едем в Барселону, чтобы отплыть на четырех галерах, которые, как говорят, стоят там, ожидая приказа отправиться в Сицилию. Мы имеем при себе двести или триста червонцев, считаем себя богатыми и едем довольные, так как обычная бедность солдат не допускает больших сокровищ.

Роке предложил странникам те же вопросы, как и капитанам, и они ответили ему, что шли с намерением сесть на корабль, чтобы отплыть в Рим, и что у них обоих найдется до шестидесяти реалов. Роке пожелал также узнать, кто едет в карете, куда, и сколько у них денег, и один из верховых, сопровождавших карету, сказал:

– В карете едут сеньора донья Гиомар де Киньонес, жена председателя Неаполитанского суда, с маленькой дочерью, с служанкой и дуэньей. Мы шестеро слуг сопровождаем ее, а денег у нас шестьсот червонцев.

– Так что, – сказал Роке Гинарт, – мы имеем уже тут девятьсот червонцев и шестьдесят реалов, а солдат у меня, должно быть, около шестидесяти. Считите сколько придется на каждого, потому что я плохой счетчик.



– Наш образ жизни должен казаться сеньору Дон Кихоту совсем необычайным...

Услышав это, разбойники возвысили голос, говоря:

– Да здравствует Роке Гинарт на многия лета, назло плутам, ищущим его гибели!

Капитаны выказали признаки огорчения; сеньора председательница суда опечалилась, и не очень то обрадовались также и странники, видя, что у них собираются отнять их имущество. Роке продержал их некоторое время в недоумении, но, не желая продлить их огорчение, которое уже можно было различить на расстоянии выстрела из мушкета, он, обернувшись к капитанам, сказал:

– Ваши милости, сеньоры капитаны, будьте столь любезны одолжить мне шестьдесят червонцев, а госпожа сеньора председательница восемьдесят, чтобы удовлетворить этот отряд, сопровождающий меня, так как поп тем и живет, что обедню поет. Затем вы можете тотчас продолжать свое путешествие, свободные и никем не тревожимые, с охранной грамотой, которую я вам дам, чтобы, если б вас встретили другие из некоторых моих отрядов, расставленные в этих окрестностях, они не сделали вам зла, потому что не в моих намерениях обижать солдат или какую-либо женщину, в особенности если они знатного рода.

Капитаны благодарили Роке целым потоком красноречивых слов за его учтивость и щедрость, за каковые они сочли то, что он оставил им их собственные деньги. Сеньора донья Гиомар де Киньоньес готова была выскочить из кареты, чтобы поцеловать руки и ноги великому Роке; но он не допустил этого никоим образом, напротив, попросил у нее прощение за обиду, которую он ей нанес, вынужденный к тому точными обязательствами своей нечестивой профессии. Сеньора супруга председателя суда велела одному из своих слуг тотчас же

отдать восемьдесят червонцев, которые пришлось на ее долю, а капитаны уже уплатили свои шестьдесят. Странники собрались было отдать все бедные гроши свои, но Роке сказал им, чтобы они не беспокоились. Затем он обратился к своим людям, говоря:

– Из этих червонцев на каждого из вас приходится по два, и остается еще лишних двадцать. Десять из них пусть дадут этим странникам, и остальные десять этому доброму оруженосцу, чтобы он мог рассказывать хорошее об этом приключении.

И вынув писчие принадлежности, которые он всегда имел при себе, Роке дал им охранную грамоту для начальников его отрядов, и простившись с ними, отпустил их на свободу, исполненных удивления к его великодушию, благородному обращению и странным его поступкам, считая его скорей похожим на Александра Великого, чем на знаменитого грабителя на больших дорогах.

Один из оруженосцев сказал на своем гасконско-каталонском языке:

– Этот наш капитан скорее похож на монаха, чем на разбойника! Если отныне впредь он пожелает выказывать себя щедрым, пусть он это делает с своим имуществом, а не нашим.

Несчастный сказал эти слова не так тихо, чтобы Роке не услышал их, и тот, обнажив меч, рассек ему почти на двое голову, говоря:

– Так я наказываю дерзких болтунов и наглецов!

Всех охватил ужас и никто не осмелился сказать ни слова, до того они привыкли подчиняться ему. Роке отошел в сторону и написал письмо одному своему другу в Барселоне, уведомляя его о том, что как раз теперь у него находится знаменитый Дон Кихот Ламанчский, тот странствующий рыцарь, о котором



– Так я наказываю дерзких болтунов и наглецов!

так много говорят; и он может сообщить ему, что это самый забавный и рассудительный человек в мире, и что через четыре дня – именно в праздник святого Иоанна Крестителя – он доставит Дон Кихота на городскую набережную в полном вооружении, верхом на его коне Росинанте, а также и его оруженосца Санчо, верхом на осле. Пусть он даст знать об этом друзьям своим Ниароссам, чтобы они могли развлечь-

ся с ним, и он желал бы, чтобы этого удовольствия были лишены его враги Каделлы; хотя это невозможно оттого, что безумие и ум Дон Кихота, и остроты его оруженосца Санчо Пансы неизбежно доставят развлечение всему свету. Роке отправил это письмо с одним из своих оруженосцев, который, обменяв одежду разбойника на крестьянское платье, явился в Барселону и передал письмо по принадлежности.





Глава XLІ

О том, что случилось с Дон Кихотом при въезде его в Барселону, и о других вещах, в которых больше правдивости, чем рассудительности.

Три дня и три ночи пробыл Дон Кихот у Роке, и если бы он пробыл у него триста лет, и тогда не было бы у него недостатка, на что смотреть и чему удивляться в его образе жизни. Тут они проводили утро, там обедали; иногда бежали, не зная от кого; в другой раз ждали, не зная кого. Спали, стоя на ногах, и прерывали свой сон, переходя с места на место. Только и делали, что расставляли лазутчиков, прислушивались к часовым, раздували фитили своих винтовок, хотя у них их было мало, так как у всех были кремневые ружья. Роке проводил ночи отдельно от своих людей, в местах и убежищах неизвестных им, так как многочисленные приказы, изданные вице-королем Барселоны и угрожавшие его

жизни, внушали ему страх и тревогу. Он не мог никому довериться, опасаясь, что собственные его люди могут или убить его, или предать в руки правосудия, — жизнь, без сомнения, невеселая и тягостная. Наконец, по непроездным дорогам, по проселочным и тайным тропинкам, Роке, Дон Кихот и Санчо, и с ними еще шесть оруженосцев, отправились в Барселону. Прибыли они сюда на набережную в ночь накануне праздника Иоанна Крестителя, и Роке, обняв Дон Кихота и Санчо, которому он отдал десять червонцев, обещанных, но еще не врученных ему, простился с ними, обменявшись тысячью предложений услуг с обеих сторон. Роке уехал, а Дон Кихот остался ждать дня так как бы, то есть верхом на лошади; и недолго спустя стал показываться на балконах Востока лик Авроры,

радуя травы и цветы, но не слух, хотя в ту же минуту стали радовать и слух звуки многочисленных гобоев и литавр, звон бубенчиков и «*трап, трап!*», «*дорогу, дорогу!*»¹ всадников, которые, казалось, едут из города. Заря уступила свое место солнцу, лик которого, шире круглого щита, медленно поднимался с края горизонта. Дон Кихот и Санчо стали оглядываться во все стороны и впервые увидели море. Оно показалось им необычайно большим и обширным, куда обширнее лагун Руидера, виденных ими в Ламанче. Они увидели и галеры, стоявшие у набережной; убрав свои тенты, они разукрасились вымпелами и флагами, которые трепетали по ветру и, склоняясь к волнам, целовали их; а внутри галер гремели горны, трубы и гобои, наполнявшие вблизи и вдали воздух сладостными и воинственными звуками. Затем галеры начали двигаться и производить нечто вроде стычек на спокойном лоне вод, и за одно с ними занялись почти тем же самым множество кабальеросов, выехавших из города на прекрасных конях и в роскошных костюмах. Солдаты на галерах палили из ружей, и на их пальбу отвечали тем же солдаты, расставленные на городских стенах и фортах, а тяжелая артиллерия разрывала воздух своим ужасным грохотом, на который отвечали пушки с бортов галер. Веселое море, радостная земля, прозрачный воздух, лишь время от времени затуманенный дымом от пальбы, казалось, вливал и зарождал внезапное веселие среди людей. Санчо не мог себе представить, как эти громады, двигавшиеся по морю, могли иметь столько ног.

В это время с криком, гиканьем и громкими восклицаниями всадники

в роскошных костюмах подскакали к тому месту, где находился смущенный и удивленный Дон Кихот, и один из них, тот, который был предупрежден письмом Роке, сказал громким голосом Дон Кихоту:

– Добро пожаловать в наш город, зеркало, маяк, звезда и магнит странствующего рыцарства во всем его объеме. Добро пожаловать, говорю я, доблестный Дон Кихот Ламанчский! Не подложный, вымышленный, апокрифический, недавно изображенный в лживых историях, а истинный, законный и настоящий, которого Сид Амет Бененхели, цвет историков, описал нам.

Дон Кихот не ответил ни слова, но кабальеросы и не ждали от него ответа, а кружась и гарцуя со всеми остальными бывшими с ними всадниками, они стали скакать кругом Дон Кихота, который, обращаясь к Санчо, сказал:

– Ясно, что эти сеньоры нас узнали; готов биться о заклад, что они прочли нашу историю, а также и недавно напечатанную историю арагонца.

Опять всадник, говоривший с Дон Кихотом, обратился к нему и сказал:

– Ваша милость, сеньор Дон Кихот, поедemте с нами; мы все, слуги ваши и большие друзья Роке Гинарта.

На это Дон Кихот ответил:

– Если учтивость порождает учтивость, ваша, сеньор кабальеро, дочь или близкая родственница учтивости великого Роке. Ведите меня, куда желаете, так как у меня не будет другой воли, кроме вашей, и тем более, если вам угодно пользоваться моими услугами.

Не менее учтивыми словами, чем эти, ответили ему кабальеросы и, окружив его, они при звуках гобоев и литавр

¹ Тгара, тгара, апарта, апарта – звукоподражание. Что касается *playa* – набережной или прибрежья, – по-видимому, она, во времена Сервантеса, была вне города, не так, как теперь, составной его частью.



Роке уехал, а Дон Кихот остался ждать дня
так как был, то есть верхом на лошади...

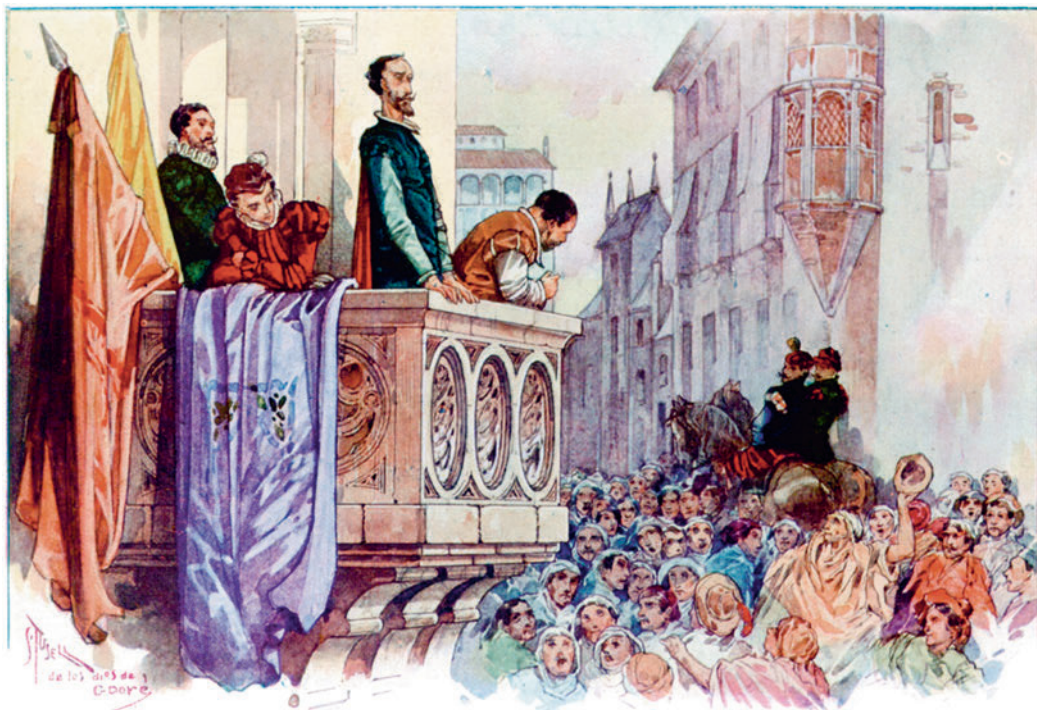
вместе с ним направились в город. При въезде в него по воле злого духа, устраивающего все злое, и мальчишек, которые злее, чем злой дух, двое из них, буйные и дерзкие, протиснулись через толпу и, один подняв хвост осла, а другой Росинанта, положили и прикрепили к ним несколько пучков дикого терна. Бедные животные почувствовали эти странные шпоры и, прижимая хвосты, увеличили свою пытку, так что, проделав тысячи скачков, они сбросили на землю своих всадников. Дон Кихот, раздосадованный и оскорбленный, поспешил снять

плюмаж с хвоста своей клячи, а Санчо с хвоста своего осла. Кабальеросы, сопровождавшие Дон Кихота, хотели было наказать мальчишек за их дерзость, но это было невозможно, потому что те скрылись среди тысячи других, следовавших за ними. Дон Кихот и Санчо сели опять верхом и с теми же сочувствующими им изъятиями радости и музыкой доехали до дома своего проводника, а дом этот был большой и великолепный, каким должен быть дом богатого кабальеро. Тут мы пока и оставим всех их, так как этого желает Сид Амёт,





Кабальеросы, сопровождавшие Дон Кихота, хотели было наказать мальчишек за их дерзость, но это было невозможно...



Глава LXII

Где речь о приключении с очарованной головой и о других ребячествах, о которых нельзя не рассказать.

Хозяин Дон Кихота, по имени дон Антонио Морено, богатый и рас-судительный кабальеро, любил всякие прилич-ные и тонкие развлечения. Лишь только он увидел Дон Кихота в доме у себя, он стал придумывать, ка-ким бы образом заставить его выказать свои нелепости без ущерба для него, так как не шутка то, что причиняет боль, и ничего не стоят те развлечения, кото-рые наносят вред третьему лицу. Пер-вое, что он сделал, было распорядиться, чтобы сняли с Дон Кихота его доспехи, и затем он вывел его в узком, верблю-жьего цвета камзоле его (который мы

уже не раз описывали и изображали) на балкон, выходивший на одну из главных городских улиц, на виду у всего народа и мальчишек, глазевших на него, как на обезьяну¹. Снова перед ним стали гар-цевать всадники в роскошных одеждах, точно они облеклись в них только ради него одного, а не ради увеселений этого праздничного дня, и Санчо был донель-зя рад, потому что ему казалось, что он, неожиданно и не зная как, нашел другую свадьбу Камачо, другой дом, как дом до-на Диго де Миранда, другой замок, как замок герцога. В тот день у дона Антонио обедали некоторые из его друзей, и все они выказывали почтение Дон Кихоту и обращались с ним, как с странствующим

¹ Обезьяны, посаженные на цепь на балконах, были, в те времена, как говорят, обычным зрелищем.

рыцарем, вследствие чего он, полный гордости и тщеславия, не мог прийти в себя от удовольствия. Что касается Санчо, его остроты были так многочисленны, что вся домашняя прислуга и все, кто слушал его, были точно прикованы к его устам. Сидя за столом, дон Антонио сказал Санчо:

– У нас здесь, добрый Санчо, имеются сведения, будто вы такой любитель бланманже и фрикаделек¹, что, если вы их не доедите, то прячете за пазуху для другого дня.

– Нет, сеньор, это неправда, – ответил Санчо, – потому что я более чистоплотен, чем обжорлив, и сеньор мой Дон Кихот, здесь присутствующий, хорошо знает, что с пригоршней желудей или орехов мы с ним вдвоем обходились неделю. Правда, если когда-нибудь случается, что мне дают телку, я бегу с веревкой; я хочу сказать, что я ем то, что мне дают, и беру время, как оно есть; и кто бы ни сказал, что я страшный обжора и не чистоплотен, пусть услышит от меня, что он промахнулся; и я сказал бы это иным образом, если б не мое уважение к почтенным бородам, которые я вижу здесь, за столом.

– Нет сомнения, – сказал Дон Кихот, – что воздержанность и чистоплотность, с которою Санчо ест, могут быть записаны и выгравированы на бронзовых дощечках, чтобы о них осталась вечная память в грядущих веках. Правда, когда он голоден, он кажется несколько обжорой, так как ест быстро и жует сразу обеими челюстями. Но чистоту он всегда соблюдает донельзя точно, и в то время, как он был губернатором, он научился

есть так жеманно, что ел виноград и даже гранатовые зерна вилок.

– Как, – воскликнул дон Антонио, – Санчо был губернатором?

– Да, – ответил Санчо, – губернатором острова, называемого Баратариа. Десять дней губернаторствовал я там, как нельзя лучше, и за это время лишился спокойствия и научился относиться с пренебрежением ко всем губернаторствам в мире. Я сбежал оттуда, упал в пещеру, где считал себя погибшим, и выбрался из нее живым только благодаря чуду.

Дон Кихот подробно рассказал весь эпизод губернаторства Санчо, чем доставил немалое удовольствие слушателям. Когда со стола сняли скатерть, дон Антонио взял за руку Дон Кихота и пошел с ним вместе в отдельную комнату, где не было другого убранства, кроме лишь стола, как казалось из яшмы, поддерживаемого ножкой тоже из яшмы, а на столе была поставлена голова, по-видимому, из бронзы, на подобие поясных бюстов римских императоров. Дон Антонио прошелся с Дон Кихотом по всей комнате, обошел также несколько раз кругом стола, после чего сказал:

– Теперь, сеньор Дон Кихот, когда я убедился, что нас никто не видит и не слышит, и дверь заперта, я хочу сообщить вам одно из самых удивительных приключений, или вернее говоря, новинок, которые только можно вообразить себе – с условием что то, что я скажу вашей милости, вы должны хранить в наиболее сокровенных глубинах тайны.

– Клянусь в том, – ответил Дон Кихот; – и даже, для большей безопасности, опущу туда каменную плиту; потому что

¹ Manjar blanco – была еда, состоявшая из толченого мяса цыплят, риса, миндаля, сахара, все это приправленное молоком; и теперь еще это блюдо в употреблении в Испании и Португалии. Фрикадельки делались тоже, как и у нас, из рубленого мяса, в виде катышков или орехов. Во II главе *Дон Кихота* Авелланеды рассказывается о Санчо, будто он прячет в карман несколько фрикаделек и четыре куска бланманже, которые не досел, и жаркое.

я желал бы, чтобы вы знали, ваша милость, сеньор дон Антонио (так как имя этого последнего было уже известно рыцарю), что говорите с человеком, который, хотя и имеет уши, чтобы слышать, не имеет языка, чтобы болтать. Итак, ваша милость, можете спокойно излить то, что у вас на сердце, в мое сердце и быть уверенным, что вы укрыли все это в пучинах молчания.

– Полагаясь на ваше обещание, – ответил дон Антонио, – я приведу в изумление милость вашу тем, что вы увидите и услышите, и доставлю также некоторое облегчение и себе от той тяжести, которую я испытываю, не имея никого, кому я бы мог сообщить мои тайны, а они не такого рода, чтобы можно было поверять их всем.

Дон Кихот недоумевал и ждал, к чему приведут эти предупреждения. Тогда дон Антонио, взяв его за руку, провел его по бронзовой голове, по всему столу и по ножке из яшмы, поддерживавшей стол, и затем сказал:

– Эта голова, сеньор Дон Кихот, была сделана и изобретена одним из величайших волшебников и кудесников, когда-либо бывших на свете, – я думаю, он был поляк по происхождению и ученик знаменитого Ескотильо¹, про которого рассказывают столько чудес. Поляк тот был здесь у меня в доме и за тысячу червонцев, которые я ему дал, соорудил эту голову, обладающую свойством и способностью отвечать на все вопросы, предлагаемые ей на ухо. Он нарисовал местоположение, начертил знаки, изучил созвездия, отметил точки и наконец довел голову до совершенства, как мы это увидим завтра, потому что по пятницам она молчит, и так как сегодня

пятница, нам придется ждать до завтра. За это время ваша милость может решить, о чем вы пожелаете спросить голову, так как я по опыту знаю, что она говорит правду, что бы ни отвечала.

Дон Кихот был изумлен свойством и способностью головы, но не очень был склонен поверить дону Антонио; впрочем, так как до произведения опыта осталось столь мало времени, он не захотел ничего сказать, а только поблагодарил дона Антонио за то, что он доверил ему столь великую тайну. Они вышли из комнаты, дверь которой дон Антонио запер на ключ, и вернулись в зал, где находились остальные кабалеросы. За это время Санчо рассказал им многие из приключений и происшествий, случившихся с его господином.

В тот же вечер повели Дон Кихота гулять не в вооружении, а в домашнем костюме, и в длинной епанче² из краснобурого сукна, от которой в это время года вспотел бы сам лед. Слугам было дано приказание занимать Санчо так, чтобы не выпустить его из дому. Дон Кихот ехал верхом не на Росинанте, а на высоком муле, с спокойным ходом, украшенном богатой сбруей. На рыцаре была одета епанча, а к спине, так что он этого не заметил, прикрепили пергамент, на котором большими буквами было написано: *Это Дон Кихот Ламанчский*. Едва началась прогулка, как записка привлекла взоры всех прохожих и проезжих, и, слыша, как они читали: «*Это Дон Кихот Ламанчский*», рыцарь удивлялся, видя, что все, кто только ни смотрит на него, знают его и называют его по имени; и обернувшись к дону Антонио, схавшему рядом с ним, он сказал:

¹ Этот Escotillo (маленький шотландец) был уроженец Пармы, живший в Фландрии в 1579–84 г. Его считали астрологом, волшебником и кудесником.

² Balandrán – длинная, широкая верхняя одежда, которую обыкновенно носили священники.



Настала ночь, все вернулись домой, и здесь открылся бал с дамами...

– Велико преимущество, которое странствующее рыцарство заключает в себе, так как оно дает известность и славу на всем земном пространстве тому, кто его исповедует. А не верите, то посмотрите, милость ваша, сеньор дон Антонио, даже мальчишки этого города, никогда меня не видевшие, знают меня.

– Так оно и есть, сеньор Дон Кихот, – ответил дон Антонио, – ведь, подобно тому, как огонь нельзя спрятать и скрыть, так и добродетель не может остаться в неизвестности, а доблесть, проявляемая в военной профессии, превосходит сиянием и блеском все остальные.

Случилось так, что в то время, как Дон Кихот ехал под гул вышеупомянутых приветственных восклицаний, один кастильянец, прочитавший надпись на спине рыцаря, возвысил голос, говоря:

– Черт побрал бы тебя, Дон Кихот Ламанчский! Как? Ты добрался даже и сюда и не умер от бесчисленных палочных ударов, которые ты несешь на твоих плечах? Ты – сумасшедший, и если бы был сумасшедшим один, ты и сидел взаперти со своим безумием, не так-то еще было бы плохо; но ты имеешь свойство обращать в шутов, безумных и глупцов всех тех, кто водится и знается с тобой. А кто не верит, пусть только взглянет на этих сеньоров, сопровождающих тебя! Вернись к себе домой, полоумный, присматривай за своим хозяйством, за женой и детьми, и брось все эти дурачества, которые пожирают твой мозг и сушат твой ум.

– Брат, – сказал дон Антонио, – ступайте своей дорогой и не давайте советов тем, которые их у вас не просят. Сеньор Дон Кихот Ламанчский в полном рассудке, и мы, сопровождающие его, тоже не безумные. Добродетель нужно чтить, где бы она ни встретила. Ступайте себе

в недобрый для вас час и не суйтесь туда, где вас не спрашивают.

– Ей Богу, вы правы, милость ваша, – сказал кастильянец, – так как давать добродетели этому человеку советы все равно, что ударять голой рукой об острие; но тем не менее, я чувствую великую жалость, что ясный ум, проявляемый, как говорят, во всех остальных вещах этим сумасшедшим истекает целиком через канал его странствующего рыцарства; и пусть та неудача, которую мне пожелала ваша милость, обрушится на меня и на всех моих потомков, если с этого дня впредь, – хотя бы я прожил дольше, чем Мафусаил, – я дам советы кому бы то ни было, хотя бы их и просили у меня.

Советчик удался, прогулка продолжалась, но так велико было скопище мальчишек и народа, читавших надпись, что дону Антонио пришлось снять ее, под видом, что он снимает что-то другое.

Настала ночь, все вернулись домой, и здесь открылся бал с дамами, потому что жена дон Антонио, очень знатная и веселая, красивая и умная сеньора, пригласила своих приятельниц прийти к ней почтить их гостя и позабавиться никогда не виданными его причудами. Многие пришли, ужин был роскошный, и бал начался около десяти часов вечера. В числе дам были две, несколько шаловливого и насмешливого нрава, и хотя вполне порядочные, но довольно свободного обращения, когда дело шло о шутках, которые забавляли бы, не причиняя никому неприятности. Эти две дамы так неустанно и ревностно приглашали танцевать Дон Кихота, что измолостили ему не только тело, но и душу. Стоило посмотреть на фигуру Дон Кихота, длинного, тощего, худого, желтого, в узкой, стесняющей его одежде, неумелого, и главное, неповоротливого. Барышни как бы украдкой ухаживали за ним, и он тоже, как бы втихомолку, пре-



Эти две дамы так неустанно и ревностно приглашали танцевать
Дон Кихота, что измолости ему не только тело, но и душу...

небрегал ими; но, видя себя очень сильно осаждаемым их любезностями, он сказал: – *Eugite, partes adversae*¹. Оставьте меня в покое, своенравные мысли! Отойдите, сеньоры, укротите свои желания, потому что королева моих желаний, несравненная Дульсиня, не позволяет ничьим иным желаниям, кроме ее, поработить и подчинить меня себе.

И говоря это, он сел посреди залы на пол, разбитый и измученный столь великим упражнением в танцах. Дон Антонио приказал взять его на руки и отнести в постель, и первый, кто подошел к нему, был Санчо, который сказал ему:

– В недобрый час танцевали вы, сеньор, господин наш. Не думаете ли вы, что все храбрые люди, – танцовщики и все странствующие рыцари – канатные плясуны. Говорю вам, что, если вы это думаете, вы ошибаетесь; иной человек отважится скорее убить великана, чем сделать прыжок в воздух. Если бы еще дело шло о пляске с топанием², я бы мог заменить вас, потому что я пляшу, как кричит, но уж танцевать, – тут я шагу не сделаю.

Этой речью и тому подобными словами Санчо рассмешил бывших на балу; и он уложил своего господина в постель, прикрыв его, чтобы тот, вспотев, избавился от своей танцевальной простуды.

На следующий день дон Антонио решил сделать опыт с очарованной головой и заперся в комнате, где находилась голова, с Дон Кихотом, Санчо, двумя своими друзьями и двумя сеньорами, так сильно измучившими танцами Дон Кихота и которые эту ночь оставались с женою дона Антонио.

Он рассказал им о свойствах, которыми обладала голова, просил хранить тайну и сообщил, что сегодня впервые

он испытывает очарованную голову. Никому, кроме двух друзей Антонио, не была известна суть этого очарования, и если б дон Антонио перед тем не открыл ее этим своим друзьям, они были бы также удивлены, как и остальные, потому что не удивиться было невозможно, до такой степени искусно и хитро была она придумана.

Первый, который приблизился к уху головы, был сам дон Антонио, и он сказал пониженным голосом, но не настолько, чтобы нельзя было услышать его:

– Открой мне, голова, силой свойств, которые скрыты в тебе, какие у меня мысли теперь?

И голова, не шевеля губами, ясным и звучным голосом ответила, так что все ее слышали:

– Я не сужу о мыслях.

Услыхав это, все были изумлены, тем более, что ни в комнате и нигде около стола не было ни одного человеческого существа, которое могло бы ответить.

– Сколько нас здесь? – спросил снова дон Антонио, и ему ответили тем же голосом, и не спеша:

– Ты и твоя жена, двое твоих друзей, две приятельницы твоей жены, знаменитый рыцарь, по имени Дон Кихот Ламанчский, и его оруженосец, которого зовут Санчо Панса.

Тут изумление началось снова, и у всех от изумления и испуга волосы встали дыбом. Отойдя от головы, дон Антонио сказал:

– Этого с меня довольно, чтобы я убедился, что не был обманут тем, который продал тебя мне, голова мудрая, голова говорящая, голова отвечающая, и удивительная голова. Пусть пойдет кто-нибудь другой и спрашивает, что захочет.

¹ «Сгиньте, враждебные силы» – формула заклинания бесов из католического молитвенника.

² Заратеаг – деревенская пляска, когда башмаком топают о пол и ударяют по башмаку ладонью.

А так как женщины обыкновенно торопливы и любопытны, первая, которая подошла к голове, была одна из двух приятельниц жены дона Антонио, и она спросила у нее следующее:

– Скажи мне, голова, что мне делать, чтобы быть очень красивой?

И ей ответили:

– Будь очень целомудренна.

– Я больше ничего не спрашиваю, – заявила вопрошавшая.

Тотчас же подошла ее подруга и сказала:

– Я бы хотела знать, голова, любит ли меня мой муж или нет?

И ей ответили:

– Всмотрись в поступки его по отношению к тебе и ты это узнаешь.

Замужняя отошла, говоря:

– Этот ответ не нуждался в вопросе, потому что, действительно, поступками доказывается любовь того, кто совершает их.

Затем подошел к столу один из друзей Антонио и спросил голову: – Кто я такой?

И ему было отвечено:

– Ты это знаешь.

– Я не это спрашиваю у тебя, – сказал кабальеро, – а скажи мне, знаешь ли ты меня?

– Да, я знаю тебя, – был ответ; – ты дон Педро Норис.

– Больше я ничего не хочу спрашивать, так как и этого достаточно, чтобы понять, о, голова, что ты все знаешь.

Когда он отошел, к столу приблизился второй друг Антонио и спросил:

– Скажи мне, голова, какие желания у моего сына, наследника майората?

– Я уже говорил – ответили ему, – что я не сужу о желаниях; но, тем не менее, могу тебе сказать, что желание твоего сына похоронить тебя.

– Это, – заявил кабальеро, – то, что я вижу глазами и осязаю пальцами¹, и больше мне не о чем спрашивать.

К столу подошла жена дона Антонио и сказала:

– Я не знаю, голова, что спросить у тебя; мне хотелось бы только знать, долгие ли годы еще буду я наслаждаться жизнью с моим мужем?

И ей ответили:

– Да, еще долгие годы, потому что его здоровье и воздержанность обещают ему много лет жизни, которую люди обыкновенно сокращают своею невоздержанностью.

После того подошел Дон Кихот и спросил:

– Скажи мне ты, который отвечаешь, было ли действительно или сном то, что я рассказал о случившемся со мной в пещере Монтесиноса? Будет ли доведено до конца бичевание Санчо, моего оруженосца? Совершится ли снятие чар с Дульсинеи?

– Что касается пещеры, – послышался ответ, – об этом многое можно было бы сказать; тут всего вдоволь. Бичевание Санчо будет подвигаться неспеша вперед. Снятие чар с Дульсинеи достигнет должного выполнения.

– Большого я не хочу знать, – сказал Дон Кихот; – лишь бы я увидел, что с Дульсинеи сняты чары, я счел бы, что всякое счастье, которое я только мог бы пожелать себе, сразу посетило меня.

Последним вопрошавшим был Санчо и вот что он спросил:

– Не получу ли я, голова, быть может, другое губернаторство? Выберусь ли я из тяжелого положения оруженосца? Доведется ли мне увидеть мою жену и моих детей?

На это ему ответили:

¹ Испанская поговорка.

– Ты будешь губернаторствовать в своем доме, и если вернешься в него, увидишься с своей женой и детьми и, перестав служить, перестанешь быть оруженосцем.

– Прекрасно, ей Богу, – воскликнул Санчо Панса, – все это я мог бы сказать себе и сам; и пророк Перогрульо¹ не мог бы сказать больше того.

– Животное, – сказал Дон Кихот, – что же ты хотел, чтобы тебе ответили? Не достаточно ли и того, что ответы, данные этой головой, соответствуют тому, что у нее спрашивают.

– Достаточно, – ответил Санчо, – но я желал бы, чтобы она говорила яснее и сказала больше.

Этим кончились вопросы и ответы, но не изумление, охватившее всех, исключая лишь двух друзей дона Антонио, которые знали, в чем дело. А в чем оно было, Сид Амет Бененхели пожелал тотчас же выяснить, чтобы не держать в недоумении весь свет, вызвав предположение, будто в голове заключалось какое-нибудь волшебство или необычайная тайна. Итак, он говорит, что Антонио Морено, в подражание другой голове, которую он видел в Мадриде, изобретенной одним гравировальщиком на меди, сделал эту голову у себя в доме, чтобы забавляться и приводить в недоумение людей, не знавших в чем дело. Устройство ее было следующее: доска на столе была деревянная, разрисованная и лакированная под яшму, и точно также была сделана ножка, и четыре орлиных лапы, выступавшие из нее, чтобы придать ей больше устойчивости. Голова, походившая на бюст и фигуру римского императора, была бронзирована, а внутри вся пустая, также как и верхняя

доска стола, в который она так плотно была вставлена, что не было и признака соединения. Ножка стола точно также была пустая, соответствуя и подходя к груди и горлу головы и все это было так устроено, что сообщалось с другой комнатой, находившейся под той, где была голова. Через всю эту пустоту ножки, стола, груди и горла бюста проходила жестяная труба, так плотно вделанная, что никто не мог ее видеть. В нижней комнате, приходившейся под верхней, находился тот, кто должен был отвечать, приложив рот к жестяной трубе, так что голос шел, как по рупору, сверху вниз и снизу вверх, и слова раздавались ясно и отчетливо: и таким образом было невозможно узнать обман. Племянник дона Антонио, умный и находчивый студент, давал ответы, и так как дядя заранее сообщил ему, кто в тот день придет с ним в комнату, ему легко было с быстротой и точностью ответить на первый вопрос. На остальные же он отвечал наугад и, как умный человек, умно. И Сид Амет говорит кроме того, что эта изумительная машина просуществовала около десяти или двенадцати дней; но так как по городу разнеслась молва, что дон Антонио держит в доме у себя очарованную голову, которая отвечает всем, предлагающим ей вопросы, то, из опасения, чтобы это не дошло до слуха неусыпной стражи нашей веры, он объяснил в чем дело инквизиторам, которые приказали ему уничтожить голову и больше не заниматься этой затеей, чтобы не смущать невежественную толпу. Но во мнении Дон Кихота и Санчо голова осталась волшебной и дающей ответы, больше к удовлетворению Дон Кихота, чем Санчо. Кабальеросы из Барселоны, чтобы

¹ Перогрульо был очень проницательный астуриец, который только пророчествовал о том, что ему было хорошо известно, и что уже случилось, так что *пророчество* или *истина* Перогрульо стало означать все общеизвестное и неподлежащее сомнению.



– Скажи мне ты, который отвечаешь, было ли действительно или сном то, что я рассказал о случившемся со мной в пещере Монтесиноса?

сделать приятное дону Антонио, развлечь Дон Кихота и дать ему удобный случай выказать свои причуды, решили устроить карусель или скачку с кольцами, но предположение это не осуществилось по причине, о которой будет сказано дальше.

Дон Кихот пожелал пройтись по городу запросто и пешком, опасаясь, что если он поедет верхом, его будут преследовать мальчишки; итак, он и Санчо с двумя другими слугами, которых дал ему дон Антонио, вышли прогуляться. Случилось, что, проходя по улице, Дон Кихот, подняв глаза, увидел выставленную на одной двери крупными буквами надпись: *Здесь печатаются книги*. Это очень обрадовало его, так как до тех пор он никогда не видел типографии и ему хотелось посмотреть, как там все устроено. Он вошел со всей своей свитой и увидал, как вынимают листы из машины в одном месте, выправляют в другом, набирают здесь, читают корректуру там, – словом, как производится вся процедура, которую можно видеть в больших типографиях. Дон Кихот вошел в одно типографское отделение и спросил рабочих, что они тут делают; те объяснили ему, он удивился и пошел дальше. Между прочим, он подошел к одному рабочему и спросил, что он делает. Рабочий ответил: – Сеньор, этот вот кабальеро, – и он указал на человека с очень представительной наружностью и довольно важным видом, – перевел на наш кастильский язык итальянскую книгу и я набираю ее для печати.

– Как озаглавлена эта книга? – спросил Дон Кихот.

На это автор ответил:

– Сеньор, по итальянски книга эта озаглавлена «Le bagatelle».

– А что означает Le bagatelle на кастильском языке? – спросил Дон Кихот.

– Le bagatelle, – ответил автор – все равно, как если бы мы по-кастильски сказали *Los juguetes*¹, и хотя эта книга по заглавию очень скромная, она содержит и заключает в себе вещи весьма хорошие и существенные.

– Я, – сказал Дон Кихот, – немного знаю по-итальянски и могу похвалиться тем, что пою некоторые стансы Ариосто. Скажите мне, милость ваша, сеньор мой (спрашиваю я это не потому, что желал бы подвергнуть испытанию познания ваши, а только из любопытства и не более того), встречали ли вы когда-нибудь в вашей книге, слово *pignata*.

– Да, часто, – ответил автор.

– А как вы, милость ваша, переводите это слово на кастильский язык? – спросил Дон Кихот.

– Как же перевести его иначе, – ответил автор – если не словом *olla*².

– Клянусь моим телом, – воскликнул Дон Кихот, – ваша милость далеко ушла в знании итальянского языка. Я готов поставить немалый заклад, что, где итальянец говорит *piace*, ваша милость переводит на кастильский язык *нравится*, а где он скажет *piu*, вы говорите *больше*, и его *su* переводите словом *вверх*, – а *gui* – *вниз*.

– Да, конечно, – сказал автор, – потому что все это соответствующие выражения.

– Я готов поклясться, – заявил Дон Кихот, – что вы, милость ваша, неизвестны свету, который всегда противится увенчанию избранных умов и трудов, достойных похвал. Сколько способностей погибает здесь! Сколькими талантами пренебрегают! Сколько добро-

¹ Пустяки, безделицы.

² Горшок.

детелей не ценят ни во что! Но, тем не менее, мне кажется, что переводить с одного языка на другой – если только не с греческого и латинского, этих королей всех языков, – похоже на то, как если кто смотрит на фламандские ковры с изнанки, где, хотя и видны фигуры, но они полны нитками, затемняющими их, и нет той гладкости и свежести, как с лица. Переводы с легких языков не могут служить доказательствами ни ума, ни красноречия, как не выказывает ни того, ни другого тот, кто переводит или переписывает одну бумагу с другой. Но я этим не хочу утверждать, что труд переводчика не заслуживает похвалы, потому что человек мог бы заниматься другими, худшими вещами, приносящими ему еще менее пользы. Я исключаю отсюда двух знаменитых переводчиков, одного, – доктора Кристобала де Фигероа с его *Pastor Fido*¹ и другого – дона Хуана де Хаурегги с его *Aminta*, где оба они таким удачным образом заставляют сомневаться, перевод ли это или оригинал. Но скажите мне, милость ваша, печатаете вы эту книгу на свой счет или вы уже продали право издания какому-нибудь книгопродавцу?

– Я печатаю ее на свой счет, – ответил автор, – и надеюсь выручить по крайней мере тысячу червонцев от первого издания, которое выйдет в двух тысячах экземпляров и будет в мгновение ока распродано по шести реалов за книгу.

– Ваш расчет совершенно правильный, – ответил Дон Кихот, – но вполне ясно, что вы не знаете всех уловок и хитростей издателей и их соглашений друг с другом. Даю вам слово, что когда вы

увидите себя обремененным двумя тысячами экземпляров книги, у вас так занеет все тело, что вы ужаснетесь, и в особенности, если книга ваша несколько вне обычной колеси и нимало не пикантная.

– Так что же, – сказал автор, – не желаете ли вы, милость ваша, чтоб я отдал ее книгопродавцу, который заплатит мне за право издания три мараведиса и еще подумает, что оказывает мне милость, давая эти деньги? Я печатаю мои книги не для того, чтобы приобрести славу, так как я уже известен свету своими произведениями. Желаю я прибыли, потому что без нее слава не стоит и полгроша.

– Дай Бог вашей милости удачи в полной мере, – сказал Дон Кихот, и пошел дальше в другое отделение. Тут он увидел, что читают корректуру одного из листов книги, озаглавленной *Свет души*², и, взглянув на нее, он сказал:

– Вот такие-то книги, хотя их и немало в том же роде, должны бы печататься, потому что грешников, которые нуждаются в них, очень много, и требуется беспредельное количество света для стольких, находящихся во тьме.

Он прошел дальше и увидел, что и тут также читают корректуру другой книги, и на его вопрос, как она озаглавлена, ему ответили: – *Вторая часть остроумно-изобретательного идальго Дон Кихота Ламанчского*, сочинение такого-то, родом из Тордесильяса.

– Я уже слышал об этой книге, – сказал Дон Кихот, – и, говоря по правде и по совести, думал, что ее уже сожгли и обратили в пепел за ее нелепость; но день святого Мартина³ наступит и для нее, как и для всякой свиньи. Потому

¹ *Pastor Fido* – произведение итальянского поэта Гуарини, *Аминта* – Тассо.

² *Luz del alma Cristiana* и т. д. – сочинение монаха Фелипе де Менесес, напечатанное впервые в 1556 г.

³ Намек на испанскую пословицу – *a cada puerca viene su San Martino*, взявшую свое начало из обычая убивать свиней в день св. Мартина для копчения ветчины.

что вымышленные истории настолько хороши и увлекательны, насколько они соприкасаются с правдой или подобием ее; а истинные истории тем лучше, чем они ближе к истине.

С этими словами и признаками некоторой досады он вышел из типографии. В тот же самый день, дон Антонио решил показать ему галеры, находившиеся

в гавани, чему Санчо очень обрадовался, так как никогда в жизни не видал их. Дон Антонио послал сказать куатральбо¹, что после обеда приведет своего гостя, знаменитого Дон Кихота Ламанчского, о котором уже знали и куатральбо и все жители города. О том, что произошло с ним на галерах, будет рассказано в следующей главе.



¹ Cuatralbo – начальник эскадры в четыре галеры.



Глава XLIII

*О беде, случившейся с Санчо Пансой при посещении галер,
и новое приключение прекрасной мавританки.*

Размышлял Дон Кихот над ответом очарованной головы очень усиленно, но ни одно из этих размышлений не раскрыло ему обмана, а все они сосредоточивались лишь на обещании, которое он считал достоверным, о снятии чар с Дульсинеи. Отсюда он исходил и снова возвращался сюда, радуясь про себя в надежде скоро увидеть исполнение этого обещания. А Санчо, как было сказано, хотя и ненавидел губернаторство, тем не менее, чувствовал желание снова повелевать и видеть, что ему повинуются: – такую уж беду ведет за собою власть, хотя бы она была лишь шуточная.

Наконец, после обеда хозяин дома дон Антонио Морено и его два друга, а также Дон Кихот и Санчо отправи-

лись осматривать галеры, Куатральбо, извещенный о посещении двух знаменитостей, Дон Кихота и Санчо, был рад их видеть; и лишь только они прибыли на берег, как все тенты на галерах были подняты и раздались звуки горн. Тотчас же спустили на воду шлюпку, устланную богатыми коврами и подушками из красного бархата. И лишь только вступил в нее Дон Кихот, как с борта главной галеры раздался пушечный выстрел, также как и с остальных галер, и когда Дон Кихот поднялся по трапу с правой стороны, вся команда приветствовала его, как тогда было в обычае приветствовать знатных лиц при их появлении на галерах троекратным возгласом: У, у, у! – Куатральбо – или генерал, потому что мы будем так называть его, а он был знатный кабальеро родом из

Валенсии, – подал руку Дон Кихоту и, обняв его, сказал:

– Сегодняшний день я отмечу белым камнем, так как это, думается мне, один из лучших дней во всей моей жизни, потому что я сегодня увидел сеньора Дон Кихота Ламанчского; этот день и эта отметка будут всегда напоминать нам, что в нем сосредоточивается и заключается вся доблесть странствующего рыцарства.

Дон Кихот ответил в не менее любезных выражениях, чрезвычайно обрадованный тем, что его принимают с таким почетом. Все они вошли на корму, которая была богато разукрашена; и сели на боковых скамейках. Боцман¹ прошелся по шкафуту² и дал свистком сигнал команде снять одежду³, что и было исполнено мгновенно. Увидав столько голых людей, Санчо был поражен, и еще более поразился, когда увидел, что натянули тент с такой быстротой, что ему показалось, будто все черти были там на работе. Но это было лишь сладким тортом и пряниками по сравнению с тем, что я сейчас скажу. Санчо сидел на кормовом столбе⁴ на штирборте⁵ рядом с крайним гребцом⁶, который, уже наученный, что ему делать, схватил его и поднял на руки; и тогда вся команда уже на ногах и наготове, начиная с штирборта, стала передавать его из рук в руки и он перелетал с такой быстротой со скамьи на скамью, что у бедного Санчо потемнело в глазах, и он несомненно подумал, что его уносят самые настоящие

дьяволы; и они не остановились, пока не переправили его по всему бакборду⁷ и снова не доставили на корму.

Бедняга был весь измят, задышался, обливался потом и не мог понять, что такое случилось с ним. Дон Кихот, видевший полет без крыльев Санчо, спросил генерала, в обычае ли у них проделывать такого рода церемонии со всеми теми, кто в первый раз посещает галеры; потому что, если, быть может, оно действительно так, он не намерен подчиняться этому обычаю, не желает проделывать такого рода упражнения и клянется именем Бога, что, в случае кто-нибудь подойдет к нему, чтобы схватить его и принудить летать, он ударом ноги выбьет из него душу. И говоря это, он встал и взялся за рукоять меча. В это мгновение спустили тент и с сильнейшим шумом уронили реи вниз. Санчо подумал, что небо соскочило с своих петель и обрушивается ему на голову, и, опустив ее в страшном испуге, он ее спрятал между ногами. И Дон Кихоту это тоже не нравилось, потому что и он вздрогнул, втянул в себя плечи и побледнел. Команда подняла рею с той же быстротой и тем же грохотом, с каким она ее спустила, делая все это молча, точно у них не было ни голоса, ни дыхания. Боцман дал знак поднять якорь и, вскочив в проход между скамейками, засмоленным ремнем или плетью из бычачьих жил принялся стегать по плечам команду, и мало-помалу

¹ *Comitre* – начальник над галерными невольниками.

² *Srujia* – проход по борту, идущий с носа до кормы корабля между скамейками для гребцов. Здесь находились низшие офицеры и матросы, приставленные к парусам.

³ *Fuera gora!* – приказ, даваемый гребцам подготовительно к тому, чтобы они взяли за весла. Галерные невольники были приучены работать на веслах голые по пояс.

⁴ *Estanterol*.

⁵ Штирборт – правая сторона судна.

⁶ *Junto al espalder do la mana derecha*. *Espalder* был одним из двух отдельных гребцов, сидевших выше всех остальных на маленьких скамейках спиной к корме и производивший первый удар веслом.

⁷ Бакборт – левая сторона судна.

галера стала подвигаться в море. Когда Санчо увидел столько красных ног (такими он счел весла), он подумал про себя: «Вот это действительно волшебство, а не то, о чем говорит мой господин. В чем же провинились эти несчастные, что их так бьют? И каким образом этот один человек, расхаживающий здесь, посвистывая, имеет дерзость стегать столько людей? Теперь я скажу, что это ад или по меньшей мере чистилище».

Дон Кихот, видевший с каким вниманием Санчо всматривается в то, что происходило кругом, сказал ему:

– Ах, Санчо друг! И как бы живо и с каким малым трудом вы могли, если бы пожелали, обнажить тело свое с поясицы и поместившись среди этих сеньоров покончить со снятием чар с Дульсинеи! Ведь, среди страданий и мук столь многих, вы не почувствовали бы так сильно своего страдания. Сверх того, могло бы случиться, что мудрый Мерлин счел бы каждый из этих ударов, оттого что он нанесен такой мощной рукой, за десять из тех, которые, в конце концов, вам придется же нанести себе.

Генерал только что хотел спросить, что это за такие удары, и что это за снятие чар с Дульсинеи, когда один матрос сказал:

– С Монхуича¹ дают сигнал, что на море видно весельное судно, идущее с западной стороны.

Услылав это, генерал вскочил на шкэфут и крикнул:

– Гребите живее, дети мои, не дайте уйти судну! Это, должно быть, какой-нибудь бригадин² алжирских корсаров, о котором нам дают сигнал с крепости.

Остальные три галеры подошли к главной, чтоб узнать, какие будут даны приказания. Генерал велел двум галерам выйти в море, а он, на двух остальных, будет держаться берега, потому что таким образом корсарское судно не ускользнет от них. Команда налегла на весла и так бешено двинула вперед галеры, что, казалось, они летели. Те, которые вышли в открытое море, увидели на расстоянии двух миль судно и по виду его заключили, что оно четырнадцати или пятнадцати весельное, и на самом деле оно так и было. Лишь только судно заметило галеры, оно стало убегать, рассчитывая и надеясь уйти благодаря быстрому своему ходу. Но бригадину не повезло, так как главная галера была одним из самых быстроходных судов, которые когда-либо плавали в море, и поэтому она стала так живо настигать его, что бывшие на бригадине ясно поняли, что они не могут спастись. Убедившись в том, арраес³ приказал экипажу бросить весла и сдать, чтобы не раздражать начальника, командовавшего галерами. Однако судьба, направлявшая дело иначе, так распорядилась, что, когда главная галера подошла уже столь близко, что бывшие на бригадине могли слышать голоса кричавших им, чтобы они сдались, два *торакиса*⁴, или

¹ Monjuich – крепость на возвышенности с правой стороны Барселоны, была весьма хорошей сторожевой башней, откуда издали видно было приближение корсаров.

² Bergantin – судно, по конструкции невысокое, с четырехугольным парусом и одной мачтой, скорее быстроходное, чем боевое. Галеры поднимались куда выше над уровнем воды и не имели четырехугольных парусов.

³ Командир алжирского судна.

⁴ Тогақи и Тигсо, по-видимому, одно и то же слово. Турки, как более воинственное племя, составляли боевой отряд на корсарских галерах; мавры и арабы были моряками, а христианские пленники – гребцами.

иными словами два пьяных турка, находившиеся на бригантине в числе других двенадцати турок, выстрелили из своих ружей и убили двух солдат, стоявших на баке¹ нашего корабля. Увидав это, генерал поклялся не оставить в живых ни одного из всех, кого он возьмет на судне, и когда он яростно бросился на него в атаку, бригантин ускользнул у него из под весел. Галера опередила бригантин на порядочное расстояние, и бывшие на судне увидели, что они погибли; пока галера поворачивала, они распустили парус и снова с парусом и на веслах пытались уйти. Но им не столько принесло пользы их старание, сколько навредила им их дерзость, так как главная галера настигла их, когда они прошли несколько больше, чем полмили, и сцепившись на abordаж, всех их взяли в плен живыми. В это время подошли остальные две галеры, и все четыре, вместе с своей добычей, вернулись к берегу, где громадная толпа народа поджидала их, желая посмотреть, что они везут. Генерал бросил якорь недалеко от берега и, увидав, что на набережной стоит вице-король города, он приказал спустить на воду шлюпку, чтобы привезти вице-короля, и спустить рею, чтобы немедленно повесить арраеса и всех турок, взятых на бригантине, а было их около тридцати шести человек, все крепкие, здоровые люди, большая часть из них турецкие мушкетеры. Генерал спросил, кто из них арраес бригантина, и один из пленников ответил ему на испанском языке (потом выяснилось, что это был испанский ренегат):

– Этот молодой человек, сеньор, которого вы тут видите, наш арраес, – и он указал ему на одного из самых красивых и изящных юношей, какого только

может себе нарисовать человеческое изображение. На вид ему казалось не более двадцати лет. Генерал спросил его:

– Скажи мне, проклятая собака, что побудило тебя убить моих солдат, когда ты видел, что невозможно тебе уйти? Это ли уважение, которое оказывают главным галерам? – Не знаешь ты разве, что безрассудность не есть доблесть? Сомнительные надежды могут побудить людей быть отважными, но не безрассудными.

Арраес хотел ответить, но генерал не мог выслушать его ответа, так как должен был встретить вице-короля, который уже сходил на галеру, и вместе с ним кой-кто из его свиты и некоторые лица из города.

– У вас была удачная охота, сеньор генерал? – спросил вице-король.

– Такая удачная, – ответил генерал, – что ваше сиятельство увидит ее сейчас висящей на этой рее.

– Как так? – спросил вице-король.

– По той причине, – ответил генерал, – что они, вопреки всякому закону и против всякого военного права и обычая, убили двух моих солдат, из лучших, которые были на этих галерах, и я поклялся повесить всех, кого я возьму в плен, и в особенности этого юношу – арраеса бригантина.

И он указал ему на того, руки которого уже были связаны, и на шее накинута веревка в ожидании грозившей ему смерти.

Вице-король посмотрел на юношу, и тот показался ему таким красивым, изящным и кротким, что красота юноши послужила ему в то мгновение рекомендательным письмом. Вице-король почувствовал желание спасти его от смерти, поэтому спросил его:

– Скажи мне, арраес, ты по происхождению турок, мавр или ренегат?

¹ Argumbadas – бастионы с каждой стороны бака или фор-кастеля, за прикрытием которых обыкновенно устанавливали отряд искусных и метких стрелков.

На это юноша ответил тоже на испанском языке:

– Я ни турок, ни мавр и ни ренегат.
– В таком случае кто же ты? – сказал вице-король.

– Женщина христианка, – ответил юноша.

– Женщина и христианка, в такой одежде и в такой должности! Всему этому можно скорей изумиться, чем поверить.

– Отложите, о, сеньоры, – сказал юноша, – казнь мою; вы немного потеряете, отсрочив вашу месть, пока я не расскажу вам историю моей жизни.

Кто мог обладать столь жестким сердцем, которое не смягчилось бы от этих слов, или, по крайней мере, не захотел бы хоть выслушать то, что несчастный и достойный жалости юноша желал сообщить? Генерал сказал ему, пусть он говорит все, что угодно, но не надеется добиться прощения за признанную его вину. Получив это разрешение, юноша начал так свой рассказ:

– Происходя от этого более несчастного, чем благоразумного народа, на который за последнее время пролилось целое море бедствий, я родилась дочерью мавританских родителей. Во время несчастья, постигшего наш народ, двое моих дядей увезли меня в Берберию, и мне ни мало не помогло то, что я объявила себя христианкой, какою я на самом деле и есть, и не из числа притворных и кажущихся, а истинных католичек. Никакой не было мне пользы от того, что я открылась в этой истине лицам, которым был поручен надзор над исполнением нашего горького изгнания, и мои дяди тоже не захотели этому поверить, считая мои слова за ложь и выдумку, ради того чтобы остаться в стране, в которой я родилась. Итак, скорее силой, чем по

доброй воле, они увезли меня с собой. Мать моя была христианка, и отец, человек рассудительный, тоже ни более ни менее, как христианин. Я с молоком матери всосала христианскую веру и была воспитана в хороших правилах. Ни этими своими правилами, ни по языку, как мне кажется, я не была похожа на мавританку. Рядом и одновременно с этими добродетелями, – так как я их считаю таковыми, – росла и красота моя, если только я обладаю красотой; и хотя моя осмотрительность и уединение были очень велики, все же, должно быть, не настолько, чтобы не имел возможность меня видеть один молодой кабальеро, по имени дон Гаспар Грегорио, старший сын и наследник майората знатного кабальеро, имение которого было рядом с нашим местечком. Как он увидел меня, как нам удалось говорить друг с другом, как страстно влюбился он в меня, и я была увлечена им, долго было бы рассказывать, и тем более в такое время, когда я боюсь, что скоро мне стянет горло жесткая веревка, угрожающая мне. Итак, я скажу только, что дон Грегорио пожелал сопровождать меня в нашем изгнании. Он смешался с маврами, ехавшими из других мест, так как очень хорошо знал мавританский язык, и во время путешествия подружился с моими двумя дядями, которые увозили меня с собой; потому что отец мой, благоразумный и предусмотрительный, лишь только услышал о первом королевском повелении о нашем изгнании из Испании, уехал из нашего местечка и отправился искать другое в чужих государствах, где бы мы могли приютиться. Он спрятал и зарыл большое количество жемчуга и драгоценных камней и несколько денег в золотых дублонах и крусадос¹ в месте, которое

¹ Crusado была старинная испанская монета золотом, серебром и медью времен Фердинанда и Изабеллы, стоящая около 7 песетас.

известно только мне одной. Он мне вел никоим образом не дотрагиваться до зарытого им сокровища в случае, если бы нас выслали в изгнание раньше, чем он вернется. Я так и сделала и, как уже говорила, уехала с моими дядями и другими родственниками и друзьями в Берберию, и место, где мы поселились, был Алжир, а это равнялось тому, как если бы мы поселились в самом аду. До короля дошли слухи о моей красоте, и молва донесла ему о моем богатстве, что отчасти было для меня благополучием. Он призвал меня к себе, спросил, из какой я местности Испании, и какие я привезла с собой деньги и драгоценности. Я ему сказала, из какого я местечка, и что драгоценности и деньги там зарыты; но их можно добыть, если я сама вернусь за ними. Все это я сказала ему в надежде поддѣйствовать на его алчность, так, чтобы он не увлекся моей красотой и не обратил на нее внимание. В то время, как он вел со мной эти разговоры, пришли ему сообщать, что у меня есть спутник, и это самый прекрасный и статный юноша, какого только можно представить себе. Я сейчас же поняла, что речь идет о доне Гаспаре Грегорио, красота которого превосходит самую величайшую красоту, какую только можно воспеть. Я смутилась при мысли об опасности, угрожавшей дону Грегорио, так как среди этих варваров турок красивый мальчик или юноша больше ценится и ставится выше, чем женщина, как бы она ни была красива. Тотчас же король приказал, чтобы его привели к нему, потому что он желает его видеть, и спросил меня, правда ли то, что говорят об этом юноше. Тогда, словно по наитию свыше, я ответила, что да, правда; но только он должен знать, что это не юноша, а женщина, как и я, и что я умоляю его позволить мне пойти к ней и переодеть ее в свойственное ей платье, чтобы красота ее могла бы

появиться во всем своем блеске, и она с меньшим смущением предстала бы перед ним. Он сказал, чтобы я шла себе в добрый час, а на следующий день мы поговорим с ним, какие принять меры, чтоб я вернулась в Испанию и привезла зарытое там сокровище. Я поговорила с доном Грегорио, рассказала ему об угрожающей ему опасности, если он явится в мужском виде, передела его мавританкой, и в тот же вечер повела к королю, который, увидав его, пришел в восхищение и возымел намерение сохранить ее для подарка султану. А чтоб избежать опасности, которой она могла подвергнуться среди женщин его гарема, и боясь самого себя, он велел поместить ее в дом знатных мавританок, которые бы и присматривали и ходили за ней, куда ее тотчас же и отвели. То, что мы оба почувствовали (так как я не могу отрицать, что люблю его), предоставляя судить тем, которые, любя, были вынуждены к разлуке. Вслед затем король решил, чтобы я вернулась в Испанию на этом бригантине и чтобы меня сопровождали двое природных турок, те самые, которые убили ваших солдат. Со мною поехал также и этот испанский ренегат (и она указала на того, кто говорил первый), о котором я хорошо знаю, что он – тайный христианин и ехал с более сильным желанием остаться в Испании, чем вернуться в Берберию. Остальная же команда бригантина – мавры и турки, и вся их обязанность – грести на веслах. Эти двое турок, алчные и дерзкие, не исполнили данного им приказа высадить меня и этого ренегата в припасенной нами раньше христианской одежде на первый испанский берег, куда мы пристанем. Они захотели сперва крейсировать около этих берегов и, если окажется возможным, захватить какую-нибудь добычу, опасаясь, если они нас сначала высадят на берег, то мы, вследствие ка-

кой-нибудь приключившейся с нами случайности, можем выдать, что в море бригаantin, и если на этом берегу окажутся галеры, они его заберут в плен. Сегодня ночью мы приблизились к этому побережью и так как не предполагали, что здесь есть четыре галеры, мы были открыты и с нами случилось то, что вы знаете. Таким образом, дон Грегорио остается в женском платье среди женщин, в явной опасности погибнуть, а я со связанными руками стою здесь, ожидая, или вернее говоря, страшась лишиться жизни, которая уже томит меня. Вот, сеньоры, моя грустная история, столь же правдивая, как и несчастная. То, о чем я вас прошу, – это дать мне умереть, как христианке, потому что, как я уже говорила, я ни мало не повинна в той вине, в которую впали мои соплеменники.

Сказав это, она умолкла с глазами полными горьких слез, вызвавших также слезы и в глазах многих из присутствующих.

Вице-король, добрый и сострадательный, подошел к ней и, не говоря ни слова, собственноручно развязал веревки, связывавшие красивые руки мавританки.

Но в то время, как мавританка-христианка рассказывала свою удивительную историю, один старый странник, вошедший на галеру вместе с вице-королем, не сводил с нее глаз, и едва мавританка кончила свой рассказ, как он бросился к ее ногам и, охватив их и, прерывая слова свои тысячью вздохов и рыданий, сказал:

– О, Ана Феликс, несчастная дочь моя, я твой отец Рикоте, который вернулся искать тебя, потому что без тебя я не в состоянии жить, ведь ты же душа моя!

Услышав это, Санчо раскрыл глаза и поднял голову, которую он держал опущенной, задумавшись над недавним несчастным своим путешествием, и, взгля-

нув на странника, он узнал в нем того самого Рикоте, которого он встретил в день своего отказа от губернаторства; и он убедился также, что это действительно дочь Рикоте. А она, так как у нее уже были развязаны руки, бросилась обнимать отца своего, смешивая свои слезы с его слезами. Обращаясь к генералу и вице-королю, старик сказал:

– Вот, сеньоры, дочь моя, менее счастливая по своей судьбе, чем по имени; зовут ее Ана Феликс, по фамилии Рикоте; и она столь же прославилась своей красотой, как и моим богатством. Я уехал из своего отечества искать в чужих странах, где бы нам приютиться и поселиться. Найдя такой приют в Германии, я вернулся сюда в этой одежде странника, в обществе других немцев, желая разыскать мою дочь и вырыть большие богатства, которые я скрыл. Я не нашел моей дочери, но нашел свои сокровища и везу их с собой; а теперь, по странному стечению обстоятельств, которых вы были свидетелями, я нашел еще больше обогащающее меня сокровище – возлюбленную мою дочь. Если наша незначительная вина и слезы ее и мои могут через строгость вашего правосудия открыть двери милосердия, сделайте это для нас, которые никогда не имели в мыслях оскорбить вас и никоим образом не были прикосновенны к намерениям тех из наших соплеменников, которые справедливо были изгнаны.

Тогда Санчо сказал:

– Я хорошо знаю Рикоте; и знаю, что он говорит правду по отношению к тому, что Ана Феликс его дочь; что же касается остальных безделиц, об отъезде и возвращении, о том, что у него были хорошие или дурные намерения, я в это не вмешиваюсь.

Все присутствующие были поражены этим странным происшествием, и генерал сказал:

— Да, слезы ваши не дадут мне выполнить мою клятву. Живите, прекрасная Ана Фёликс, столько лет, сколько их вам определено небом, и пусть понесут наказание за свое преступление те, которые его совершили.

И он велел тотчас же повесить на рее двух турок, убивших его солдат. Но вице-король настоятельно просил генерала не вешать их, так как их проступок был скорее безумием, чем дерзостью. Генерал исполнил то, о чем его просил вице-король, потому что тяжело выполнять месть хладнокровно, когда остыл гнев. Затем начали придумывать план для освобождения дона Грегорио от угрожающей ему опасности. Рикоте предложил на это более двух тысяч червонцев, которые он имел в жемчугах и драгоценностях. Обсуждались и многие другие проекты, но лучше всех оказался предложенный упомянутым испанским ренегатом: он

вызвался вернуться в Алжир на небольшой барке с шестью скамьями и гребцами-христианами, так как он знал где, как и когда можно и должно высадиться, и знал также и дом, в котором находился дон Гаспар. Генерал и вице-король сомневались, можно ли положиться на ренегата и доверить ему христиан-гребцов. Но Ана-Фёликс поручилась за него и ее отец Рикоте сказал, что он готов заплатить выкуп за христиан в случае, если бы они попали в плен. Тогда проект ренегата был принят, вице-король высадился на берег, а дон Антонио Морено взял с собою мавританку и ее отца, причем вице-король поручил ему угощать их и лелеять, как только это ему окажется возможным, предлагая с своей стороны все, что у него в доме для их угощения, — так велико было благорасположение и сострадание, которые красота Аны Фёликс вселила в его душу.





Глава LXIV

Где сообщается о приключении, доставившем Дон Кихоту больше огорчений, чем все остальные, случившиеся с ним до тех пор.

История повествует, что жена дона Антонио Морено была как нельзя более довольна видеть у себя в доме Ану Фёликс. Она приняла ее в высшей степени любезно, столь же восхищенная, ее красотой, как и ее умом, потому что мавританка отличалась в высшей степени и тем и другим; и все жители города, точно по колокольному звону, стекались смотреть на нее. Дон Кихот сказал дону Морено, что проект, который был одобрен ими для освобождения донна Грегорио, не хорош, так как он представляет скорее опасность, чем удобство, и лучше было бы высадить его – Дон Кихота – в Берберию, вооруженного и верхом на коне, потому что он освободил бы донна Грегорио вопреки всему мавританскому племени, как дон Гаиферос освободил свою жену Мелисендру.

– Заметьте, ваша милость, – сказал Санчо, услышав это, – что сеньор дон Гаиферос увез свою супругу с суши, и повез ее во Францию тоже по суше, но здесь, если бы случилось нам освободить донна Грегорио, у нас нет сухого пути везти его в Испанию, так как посредине море.

– На все есть лекарство, исключая лишь смерти, – ответил Дон Кихот; – если барка подойдет к морскому берегу, мы можем отплыть на ней, хотя бы весь свет воспротивился тому.

– Ваша милость очень хорошо это разрисовывает и объясняет, сказал Санчо, – но от слова до дела расстояние большое, и я держусь ренегата, который кажется мне человеком хорошим и очень доброй души.

Дон Антонио сказал, что если ренегат не выполнит успешно взятого им на себя поручения, тогда придется прибегнуть к плану высадки в Берберию великого Дон Кихота. Спустя два дня, ренегат в легкой барке с шестью веслами с каждой стороны, и самой мужественной командой, отплыл в Алжир; а еще два дня спустя галеры отправились в Левант, но перед тем генерал попросил вице-короля быть столь любезным и уведомить его, как относительно освобождения донна Грегорио, так и о делах Аны Феликс, и вице-король обещал исполнить эту просьбу.

Однажды утром, когда Дон Кихот вышел прогуляться по набережной, вооруженный всеми своими доспехами,

потому что, как он часто говорил, *оружие было его украшение, а битва отдых*, и он без них не мог оставаться ни на минуту, он увидел, что к нему приближается рыцарь, также в полном вооружении, весь в белых доспехах, а на щите его было изображение блестящей луны. Подойдя к Дон Кихоту настолько, что тот мог слышать его голос, он, обращая речь свою к нему, громко сказал:

– Доблестный рыцарь и никогда еще достойно не восхваленный Дон Кихот Ламанчский, я – рыцарь Белой луны, неслыханные подвиги которого, быть может, напомнят тебе обо мне. Явился я сюда сразиться с тобой и испытать силу твоей руки с тем, чтобы заставить тебя признать и провозгласить, что моя дама, кто бы она ни была, несравненно красивее твоей Дульсиныи Тобосской. Эта истина, если ты ее согласишься безотлагательно признать, спасет тебя от смерти, а меня от труда причинить ее тебе, и если ты сразишься со мной, и я одержу над тобой победу, я не потребую другого удовлетворения кроме того, что, сложив оружие и воздерживаясь от поисков приключений, ты отправишься и удалишься к себе в село сроком на год и все это время ты проживешь, не прикасаясь к своему мечу, в мирной тишине и полезном для тебя спокойствии, так как это необходимо для умножения твоего имущества и для спасения твоей души. Если же ты победишь меня, моя голова будет в твоём распоряжении, оружие мое и мой конь станут твоей добычей, и к твоей славе перейдет слава моих подвигов. Рассуди, что лучше для тебя, и ответь тотчас же, потому что весь сегодняшний день я назначил на то, чтобы покончить с этим делом.

Дон Кихот был поражен и изумлен, как высокомерием рыцаря Белой Луны, так и причиной, по которой тот его вы-

зывал на поединок, и ответил ему спокойно и с строгим видом:

– Рыцарь Белой Луны, подвиги которого до сих пор еще не доходили до моего сведения, я готов клясться, что вы никогда не видели знаменитой Дульсиныи, так как, если б вы ее видели, я знаю, что вы не стали бы делать этого вызова, потому что тогда вы убедились бы, что не было и не может быть красоты, которую мыслимо было бы сравнить с ее красотой. Итак, не говоря даже, что вы лжете, а только, что вы заблуждаетесь в своем изложении, я принимаю с упомянутыми вами условиями ваш вызов и принимаю его немедленно, чтобы не прошел день, который вы назначили, и только исключая из условия, чтобы ко мне перешла слава ваших подвигов, потому что я не знаю, каковы они и какого рода; я же довольствуюсь славой собственных моих подвигов, таких, каковы они есть. Выберите себе часть площади, которую пожелаете, я сделаю тоже; и что кому даст Бог, пусть благословит Святой Петр!

Из города увидели рыцаря Белой Луны и сообщили вице-королю, что он о чем-то переговаривается с Дон Кихотом Ламанчским. Вице-король, думая, что это какое-нибудь новое приключение, изобретенное доном Антонио Морено или каким-нибудь другим кабальеро, живущим в городе, поехал немедленно на набережную с доном Антонио и многими другими кабальеросами, сопровождавшими его, и прибыл как раз в то время, когда Дон Кихот поворачивал Росинанта, чтобы отмерить себе поле, сколько ему требовалось. Увидав, что оба рыцаря готовы ринуться друг на друга, вице-король стал между ними, спрашивая их, какая причина побудила их вступить в столь внезапный бой. Рыцарь Белой Луны ответил, что дело идет о первенстве красоты, и в кратких словах повторил

ему сказанное им Дон Кихоту и то, что условия поединка приняты обеими сторонами. Вице-король подошел к дону Антонио и спросил его тихонько, знает ли он рыцаря Белой Луны, или, быть может, это какая-нибудь шутка, которую хотят сыграть с Дон Кихотом. Дон Антонио ответил, что он не знает ни того, кто этот рыцарь, ни того, сделан ли вызов в шутку или всерьез. Этот ответ привел в недоумение вице-короля, и он не знал, позволять ли им или нет вступить в поединок, но тем не менее, убежденный, что это не может быть ничем иным, как только шуткой, он отошел, говоря:

– Сеньоры рыцари, если нет другого выхода, как только сделать требуемое признание или умереть, а сеньор Дон Кихот настойчиво стоит на своем, вы же, милость ваша, рыцарь Белой Луны, не менее упорно стоите на своем, – с Богом вступайте в бой!

Рыцарь Белой Луны в учтивых и изящных выражениях поблагодарил вице-короля за данное им разрешение, и то же самое сделал и Дон Кихот, который, поручая себя от всего сердца небу и своей Дульсинеи, как он имел обыкновение, вступая в представлявшиеся ему сражения, повернул Росинанта, чтобы отъехать еще немного дальше, так как он видел, что противник его делает то же; и без трубного звука или иного воинственного инструмента, который подал бы им знак для нападения, оба они в одно и то же мгновение повернули своих лошадей; но, так как лошадь рыцаря Белой Луны была быстроходнее, противник Дон Кихота настиг его на двух третях расстояния. Здесь он столкнулся с ним с такой стремительной силой, не коснувшись до него копьем, которое он, по-видимому, нарочно поднял вверх, что Дон Кихот с Росинантом грохнулись на землю. Тотчас же рыцарь Белой

Луны бросился к нему и, приставив ему копьё к забралу, сказал:

– Вы побеждены, рыцарь, и лишитесь жизни, если не подчинитесь условиям нашего поединка.

Дон Кихот, весь измятый и ошеломленный, не поднимая забрала, сказал слабым и прерывистым голосом, точно исходящим из могилы:

– Дульсинея Тобосская самая красивая женщина в мире, и я самый несчастный рыцарь на свете, и было бы нехорошо, чтобы моя слабость причинила ущерб этой истине. Вонзи в меня копьё свое, рыцарь, и отними жизнь, так как ты отнял у меня честь!

– Этого я, конечно, не сделаю, – сказал рыцарь Белой Луны; – да здравствует, да здравствует во всей ее неприкосновенности слава о красоте сеньоры Дульсинеи Тобосской, так как я удовлетворюсь одним лишь тем, чтобы великий Дон Кихот удалился в свое местечко на год или на тот срок, который я ему назначу, как мы уговорились с ним до вступления в эту битву.

Все это вице-король и дон Антонио со многими другими, бывшими тут же, слышали; слышали они также, что Дон Кихот ответил, если у него ничего не требуют, что могло бы причинить ущерб Дульсинеи, все остальное он исполнит, как добросовестный и истинный рыцарь. Услышав это заявление, рыцарь Белой Луны повернул лошадь и, наклонив голову перед вице-королем, коротким галопом направился в город. Вице-король велел дону Антонио поехать за ним и во что бы то ни стало узнать, кто он такой. Подняли Дон Кихота, открыли ему лицо и увидели, что он бледен и покрыт потом. Росинант был в очень плохом состоянии и не мог двинуться. Санчо, сильно огорченный и опечаленный, не знал, что ему говорить, или что

делать. Ему казалось, будто только что случившееся произошло во сне, и вся эта история дело волшебства. Он видел, что его господин побежден и обязался не брать в руки оружие в течение года. Ему представлялось, что блеск славы подвигов Дон Кихота омрачен, надежды на исполнение недавно данных им обещаний развеяны, как ветер развеивает дым. Он боялся также, что Росинант останется

навсегда искалеченным и все суставы его господина вывихнутыми; хотя было бы еще большим счастьем, если б он перестал быть свихнувшимся¹. Наконец, на носилках, за которыми послал вице-король, доставили рыцаря в город, куда также вернулся и вице-король, желавший знать, кто был рыцарь Белой Луны, который привел Дон Кихота в столь печальное состояние.



¹ Тут непередаваемая на русский язык игра слов – *deslocado* означает и «вывих костей», а также и «излечение от сумасшествия», как производное от *loco* – «сумасшедший».



Подняли Дон Кихота, открыли ему лицо и увидели, что он бледен и покрыт потом.



Глава LXV

В которой даются сведения о том, кто был рыцарь Белой Луны, а также об освобождении из плена дон Григорио и о других происшествиях.

Дон Антонио Морено поехал вслед за рыцарем Белой Луны, за которым также следовало, и даже преследовало его, множество мальчишек, пока он не укрылся в одной из гостиниц города. Дон Антонио тоже вошел за ним туда, желая познакомиться с ним. Навстречу рыцарю вышел оруженосец, чтобы снять с него доспехи. Затем рыцарь удалился в комнату нижнего этажа, куда за ним вошел и дон Антонио, сгоравший от любопытства узнать, кто он такой. Тогда рыцарь Белой Луны, видя, что этот кабальеро не отстанет от него, сказал:

— Я хорошо понимаю, сеньор, зачем вы сюда пришли: — вы хотите узнать, кто я; так как нет причины скрывать этого

от вас, то пока мой слуга будет снимать с меня доспехи, я расскажу вам всю истину, не отступив от нее ни на йоту. Знайте же, сеньор, что зовут меня бакалавр Сансон Карраско. Я из одного местечка с Дон Кихотом Ламанчским, безумие и сумасшествие которого возбуждает жалость во всех нас, знающих его; и в числе тех, что наиболее жалели его, был и я. Уверенный в том, что выздоровление его зависит от спокойствия и от того, чтобы он жил у себя на родине и в своем доме, я прибег к хитрости, чтобы принудить его оставаться там. Итак, около трех месяцев тому назад, я поехал вслед за ним, в качестве странствующего рыцаря, назвав себя *рыцарем Зеркал*, имея намерение сразиться с ним и победить его, не нанеся ему вреда и поставив условием

нашего поединка, чтобы побежденный отдал себя на благоусмотрение победителя. Имел же я в виду потребовать от него, — так как я уже считал его побежденным, — чтобы он вернулся в свое местечко и не выезжал оттуда целый год, в течение которого он мог быть исцелен. Но судьба устроила иначе, потому что победил меня он и сбросил с лошади, так что мой план не удался. Он продолжал свой путь, а я вернулся домой, побежденный, пристыженный и измятый падением, которое, кроме того, оказалось и опасным. Но, тем не менее, это не отняло у меня желания снова разыскать и победить его, что я и сделал сегодня. И так как он столь точно соблюдает правила странствующего рыцарства, он, без всякого сомнения, выполнит и обязательство, наложенное мною на него, и сдержит свое слово. Вот, сеньор, то, что случилось, и больше мне нечего рассказывать вам. Умоляю вас, не выдайте меня и не говорите Дон Кихоту, кто я, чтобы добрые мои намерения могли быть осуществлены и чтобы ум его был возвращен человеку, у которого он превосходен, лишь бы только он отделался от нелепостей рыцарства.

— О, сеньор! — сказал дон Антонио, — да простит вам Бог ущерб, нанесенный вами всему миру тем, что вы желали вернуть рассудок самому остроумному безумцу, какой только есть на свете! Не видите вы разве, сеньор, что польза, которая могла бы получиться от здорового ума Дон Кихота, не может превзойти удовольствия, доставляемого его безумными выходками. Но мне сдается, что все искусство сеньора бакалавра не окажется достаточным, чтобы превратить в здравомыслящего человека столь страстно-безумного. И, если бы это не было противно милосердию, я сказал бы: пусть Дон Кихот никогда не выздоровле-

вает, потому что с его выздоровлением мы теряем не только его причуды, но также и причуды Санчо Пансы, его оруженосца, а каждая из них может превратить в веселие даже самую грусть. Тем не менее, я буду молчать и ничего не скажу Дон Кихоту, чтобы убедиться, прав ли я в своем предположении, что придуманные сеньором Карраско меры не возымеют действия.

Бакалавр ответил, что, как бы то ни было, дело на хорошем пути, и он надеется на счастливый исход его. После того, как дон Антонио предложил ему свои услуги во всем, что он ни пожелает, Карраско простился с ним, приказал уложить свои доспехи на мула, тотчас же сел верхом на коня, на котором сражался, и выехал в тот же день из города к себе на родину, и тут с ним не случилось ничего достойного упоминания в этой правдивой истории.

Дон Антонио сообщил вице-королю все, что Карраско рассказал ему, и вице-королю это известие доставило не очень то большое удовольствие, потому что с уединенною жизнью Дон Кихота утрачивалось то удовольствие, которое могли бы получить все, кто слышал о его безумных выходках.

Шесть дней пробыл Дон Кихот в постели, унылый, задумчивый, в дурном расположении духа, непрерывно вспоминая и возвращаясь мысленно к несчастному событию своего поражения. Санчо утешал его и, между прочим, сказал ему:

— Сеньор мой, подымите голову, ваша милость, и ободритесь, если можете, и поблагодарите небо за то, что, раз вы свалились на землю, вы не сломали себе ни одного ребра; и так как вы знаете, что где дают, там и берут, и не всегда есть ветчина, где есть крючки для развешивания ее, покажите фигу доктору, потому

что вы не нуждаетесь, чтобы он лечил вас в этой болезни. Вернемся к себе домой и откажемся от скитаний в поисках за приключениями в странах и местностях, неизвестных нам; и, если хорошенько присмотреться к делу, всех больше теряю здесь я, хотя милость ваша в худшем положении. Я, – который вместе с губернаторством отказался от всякого желания быть когда-либо вновь губернатором, не отказался от желания быть графом; а это желание не исполнится никогда, если ваша милость отказывается сделаться королем, бросая свою рыцарскую профессию; и, таким образом, мои надежды обратятся в дым.

– Молчи, Санчо, ведь, ты видишь, что мое удаление и затворничество не будут продолжаться больше года, и тогда я вернусь к благородной моей профессии, и не будет у меня недостатка в королевстве, которое я завоюю, и в каком-нибудь графстве, которое я дам тебе.

– Да услышит это Бог, – сказал Санчо, – а грех будет глух; потому что я всегда слышал, что добрая надежда лучше худого обладания.

Они вели такой разговор, когда вошел дон Антонио и сказал с выражением, величайшей радости:

– Дайте мне награду за добрые вести, сеньор Дон Кихот, – так как дон Грегорио и ренегат, ездивший за ним, уже в гавани. Что я говорю в гавани? Они уже к дому вице-короля и сейчас будут здесь.

Дон Кихот немного развеселился и сказал:

– Право, я чуть было не сказал, что обрадовался бы, если б случилось как раз наоборот, потому что в таком случае мне бы пришлось ехать в Берберию, где силой руки моей я доставил бы свободу не только дону Грегорио, но и всем пленным христианам, сколько бы их ни было в Берберии. Но что я говорю, несчаст-

ный? Не я ли побежден? Не я ли сброшен с лошади? Не я ли тот, который не может прикоснуться к оружию в течение года? Итак, что я обещаю? Чем могу я похвалиться, если мне скорее приличествует взять в руки веретено, чем меч?

– Бросьте это, сеньор, – сказал Санчо, – да здравствует курица, хотя бы и с типуном; потому что сегодняшний день для тебя, а завтрашний для меня, и на эти дела по схваткам и стычкам незачем обращать никакого внимания, так как тот, кто сегодня упал, может подняться завтра, разве только он пожелает остаться в постели, я хочу сказать, упадет духом и не наберется нового мужества для новых битв. А теперь вставайте, милость ваша, чтобы принять дона Грегорио, потому что мне кажется, народ уже сбегается, и, должно быть, он уже здесь в доме.

И действительно, это так и было. Дон Грегорио и ренегат, побывав у вице-короля и дав ему отчет о своем путешествии и возвращении, поспешили в дом дона Антонио, куда дон Грегорио тянуло желание поскорее увидеть Ану-Феликс. И хотя дон Грегорио, когда его увезли из Алжира, был в женском платье, он обменял его еще в барке на одежду пленника, который спасся вместе с ним. Но в какой бы он ни был одежде, он являлся человеком, которым нельзя было не восхищаться; нельзя было не ухаживать за ним и не ценить его, так как он был неслыханно красив и на вид ему казалось лет семнадцать или восемнадцать. Рикоте и дочь его вышли ему навстречу, отец со слезами на глазах, а дочь с краской в лице. Они не бросились в объятия друг друга, потому что, где много любви, обыкновенно не бывает чрезмерной развязности. Красота дон Грегорио и Аны Феликс поразила изумлением всех присутствующих. Молчание говорило здесь за двух влю-

бленных, и глаза были языком, выражавшим радостные и чистые их мысли.

Ренегат рассказал об ухищрениях и средствах, к которым он прибег, чтобы освободить дону Грегорио. Дон Грегорио рассказал об опасностях и стеснениях, пережитых им среди женщин, с которыми он оставался, и не в длинной речи, а в кратких словах, чем он доказал, что ум его опередил его годы. В заключение Рикоте щедро заплатил и вознаградил, как ренегата, так и тех, которые гребли на веслах. Ренегат примирился с церковью и возвратился в ее лоно и из гнилого члена превратился в чистый и здоровый, путем эпитемии и раскаяния.

Дня два спустя вице-король обсуждал с доном Антонио, как бы устроить, чтобы Ана Феликс и ее отец остались в Испании, потому что им казалось не представляющим никакого неудобства сохранить в стране столь преданную христианству дочь и такого, по-видимому, благонамеренного отца. Дон Антонио предложил похлопотать об этом в столице, куда он был вынужден отправиться по другим делам, дав понять, что при дворе путем протекции и взяток можно преодолевать многие трудности.

– Нет, – сказал Рикоте, присутствовавший при этом разговоре, – нельзя надеяться ни на протекцию, ни на взятки, так как на великого дона Бернардино де Веласко, графа де Саласар, которому его величество поручило заведывание нашим изгнанием, не действуют ни просьбы, ни обещания, ни взятки; потому что, хотя и правда, что он соеди-

няет правосудие с милосердием, но, так как он видит, что весь организм нашего народа заражен и начал гнить, он по отношению к нему употребляет скорее раскаленное железо, которое жжет, чем мазь, которая смягчает; и, таким образом, он, путем благоразумия, мудрости, рвения и страха, внушаемого им, поднял на сильные свои плечи бремя этого громадного дела и довел его до требуемого выполнения, и никакие наши ухищрения, уловки, мольбы и обманы не могли ослепить его глаз Аргуса. Они всегда настороже, чтобы никто из наших не остался, не скрылся и, как невидный в земле корень, не пустил бы со временем ростков и не принес бы ядовитых плодов в Испании, уже очищенной, уже избавленной от страхов, в которые повергала ее наша многочисленность. Геройское решение великого Филиппа Третьего, и неслыханная мудрость доверить выполнение его этому дону Бернардино де Веласко¹!

– Так или иначе, – сказал дон Антонио, – приехав в столицу, я приложу всевозможные старания, а там пусть небо пошлет, что ему будет угодно! Дон Грегорио поедет со мной, утешит своих родителей в горе, в которое, должно быть, повергла их разлука с ним; Ана Феликс останется с моей женой у меня в доме или же в монастыре и я знаю, что вице-король с удовольствием возьмет к себе в дом доброго Рикоте, пока не выяснится, к чему приведут мои хлопоты.

Вице-король согласился на все эти предложения; но дон Грегорио, узнав,

¹ Нет сомнения, что вся эта речь Рикоте ироническая. Тем более это ясно – не говоря уже о мягком и человеческом отношении Сервантеса, довольно необычном для тех времен, к туркам, маврам и еретикам – что именно этот граф де Саласар был известен как противоположность всех качеств, которые Рикоте приписывает ему. Никто не был так жесток, так алчен и так низок, и не брал таких громадных взяток, как именно этот граф де Саласар. Притом, разве бы Сервантес вложил это восхваление графа, и в таких превысренных выражениях в уста одного из изгнанных мавров, если б он не имел в виду иронии.

что было решено, сказал, что он не может и не хочет расстаться с доньей Анной Фёликс. Однако, рассудив, что, повидавшись со своими родителями, он после того вернется сюда за нею, дон Грегорио согласился с принятым решением. Анна Фёликс осталась с женой дона Антонио, а Рикоте переехал в дом вице-короля.

Настал день отъезда дона Антонио, а два дня спустя и день отъезда Дон Кихота и Санчо, так как падение не позволило рыцарю пуститься в путь раньше того.

Когда дон Грегорио прощался с Анной Фёликс, было немало слез, вздохов, обмороков и рыданий. Рикоте предложил дону Грегорио, если нужно ему, тысячу червонцев, но он не взял у него ничего и только занял у дона Антонио пять червонцев, которые обещал отдать ему в столице. Затем оба они уехали, а после них Дон Кихот и Санчо, как уже было сказано; Дон Кихот без оружия, в дорожном платье, а Санчо пешком, так как Серый был нагружен доспехами.





Глава LXVI

*Где речь о том, что увидит всякий, кто ее прочтет,
и услышит тот, кому ее прочтут.*

Уезжая из Барселоны, Дон Кихот обернулся, чтобы взглянуть на то место, где он упал, и сказал:

– Здесь была Троя; здесь мое несчастье, а не трусость моя, похитило приобретенную мною славу; здесь судьба сделала из меня игрушку своих превратностей; здесь омрачились мои подвиги; здесь, наконец, рухнуло мое счастье, чтобы никогда больше не подняться!

Услышав это, Санчо сказал:

– Столь же свойственно доблестным сердцам, сеньор мой, выказывать терпение в несчастьи, как и радость в счастье. Об этом я сужу по себе самому, так как, будучи губернатором, я был весел, и теперь, когда я оруженосец, да

еще пеший, я не печалюсь; потому что я слышал, что та, которую здесь зовут Фортуной – пьяная и капризная женщина, и сверх всего слепая и, таким образом, она не видит того, что делает, и не знает, кого она унижает и кого возвеличивает.

– Ты очень склонен к философии, Санчо, – ответил Дон Кихот, – и говоришь очень умно; не знаю, кто тебя этому учит. Могу лишь сказать тебе, что на свете нет Фортуны, и все, что происходит в мире хорошего или дурного, не есть случайность, а особое предопределение неба, и отсюда происходит поговорка: «каждый кузнец своего счастья». И я был кузнецом моего счастья, но без должного благоразумия, и, таким образом, самонадеянность моя довела меня до горя, так как я должен был рас-

судить, что могучей силе лошади рыцаря Белой Луны не могла противостоять слабость Росинанта. Словом, я дерзнул на это; я сделал, что мог, я был вышиблен из седла; и хотя я потерял честь, я не потерял и не могу потерять добродетели исполнять мое слово. Когда я был странствующим рыцарем, смелым и доблестным, своими делами и руками я засвидетельствовал свои подвиги; а теперь, когда я пеший оруженосец, я заставляю верить моим словам, исполнив данное мною обещание. Итак, вперед, друг Санчо, проведем на родине у себя год искуса, и во время этого затворничества мы почерпнем новые силы, чтобы вернуться к во веки для меня незабвенной профессии оружия.

– Сеньор, – ответил Санчо, – не такая приятная вещь идти пешком, чтобы побудить и поощрить меня делать большие переходы. Оставим эти доспехи висеть на каком-нибудь дереве на место повешенного, и, когда я, усевшись на спине Серого, приподниму ноги от земли, мы совершим наше путешествие, как ваша милость найдет нужным и ей будет угодно, так как думать, что, идя пешком, я могу делать большие переходы, значило бы думать немислимое.

– Ты хорошо сказал, Санчо, – ответил Дон Кихот, – повесим доспехи мои в виде трофея, и под ними или вокруг них вырежем на деревьях то, что было написано на трофеях оружия Роланда:

Пусть к ним никто не прикоснется,
Кто по плечу Роланду не придется.

– Все это, – сказал Санчо, – кажется мне настоящим жемчугом; и, если бы нам не был нужен для путешествия Росинант, не дурно было бы также оставить и его повешенным здесь.

– Но ни его, ни доспехов, – возразил Дон Кихот, – я не желаю вешать, чтобы не говорили: за хорошую службу, – плохая награда.

– Ваша милость очень хорошо сказала, – ответил Санчо, – потому что, по мнению умных людей, вину осла нельзя приписать выючному седлу, а так как ваша милость виновата в этом деле, то и наказывайте себя самого и не обрушивайте своего гнева ни на сломанные и окровавленные доспехи, ни на кротость Росинанта, и ни на нежные мои ноги, требуя, чтобы они шли больше, чем следует.

В подобных разговорах и речах прошел у них весь тот день и еще другие четыре дня, и с ними не случилось ничего такого, что помешало бы их путешествию. На пятый день, при въезде в местечко, они увидели у дверей гостиницы много народа, который, так как был праздник, развлекался.

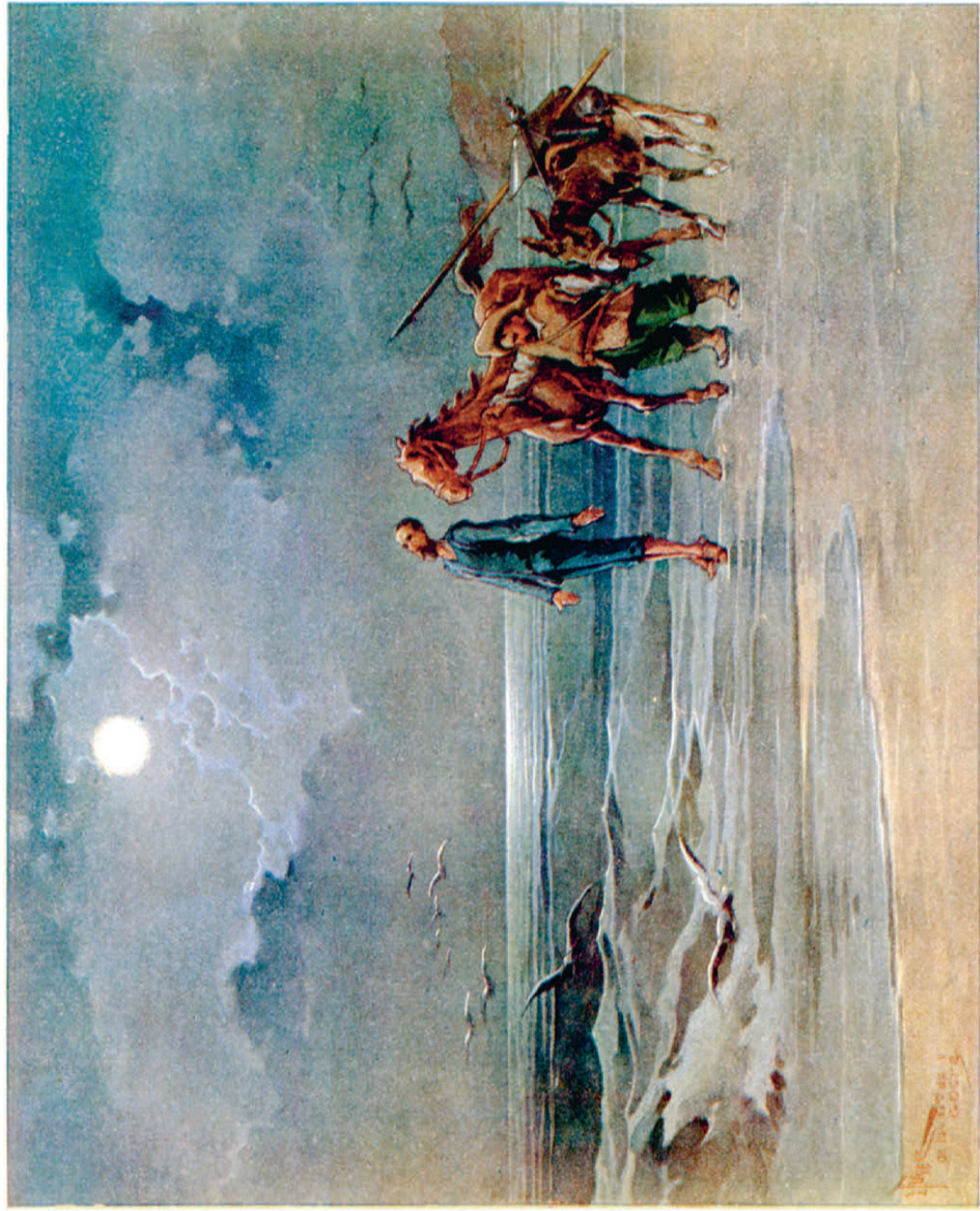
Когда Дон Кихот приблизился к ним, один крестьянин, возвысив голос, сказал:

– Пусть кто-нибудь из этих двух сеньоров, которые идут сюда и не знают спорящих, скажет нам, что делать относительно нашего заклада.

– Конечно, я скажу, – ответил Дон Кихот, – и по всей справедливости, если только я разберу, в чем дело.

– Дело в том, сеньор добрый, – сказал крестьянин, – что один житель этого местечка, такой жирный, что он весит одиннадцать арробасов¹, вызвал на бег другого, своего соседа, который весит не более пяти. Условием было пробежать расстояние в сто шагов с равными тяжестями, и когда спросили у вызвавшего, как уравновесить тяжести, он сказал, что вызванный им, имеющий

¹ Испанский вес от 25 до 36 фунтов.



... здесь, наконец, рухнуло мое счастье, чтобы никогда больше не подняться!

вес в пять арробасов должен взвалить себе на плечи шесть арробасов железа, и, таким образом, пять арробасов веса худощавого сравняются с одиннадцатью толстяка.

– Ну, уж это нет, – сказал тогда Санчо, прежде чем Дон Кихот успел ответить; – и именно мне, который лишь несколько дней тому назад перестал быть губернатором и судьей, как это весь свет знает, подобает разъяснить эти сомнения и высказать свое мнение во всякой тяжбе.

– Высказывай в добрый час, Санчо друг, – согласился Дон Кихот, – потому что я неспособен дать кошке крошки¹, до того у меня в голове все перевернуто и перепутано.

Получив это разрешение, Санчо сказал крестьянам, которые толпой теснились кругом него, раскрыв рты, в ожидании его приговора.

– Братцы, в том, чего требует толстяк, нет ни благоразумия, ни тени справедливости, так как, если верно, как говорят, что вызванный имеет право выбрать оружие, нехорошо, чтобы вызвавший выбрал для него оружие, которое помешало бы и воспрепятствовало вызванному выйти победителем. Итак, на мой взгляд, толстяк, вызвавший на бег, должен снять, срезать, подчистить, убавить, обтесать, соскоблить шесть арробасов мяса тут или там со своего тела, как ему заблагорассудится или покажется, и этим способом, дойдя до веса в пять арробасов, он сравняется и встанет на один уровень с пятью арробасами своего противника, и тогда они могут бежать на равных условиях.

– Клянусь, – воскликнул крестьянин, слышавший приговор Санчо, –

этот сеньор говорил, как святой, и рассудил, как каноник! Но не подлежит сомнению, что толстяк не захочет расстаться и с одной унцией своего мяса, а не то, что с шестью арробасами.

– Лучше было бы им вовсе не бегать, – сказал другой крестьянин, – тогда тощему не придется надрываться под тяжестью, а толстяку срезывать с себя мяса; и пусть половина заклада пойдет на вино, и этих сеньоров мы возьмем с собой в таверну, где хорошее вино, и пусть будет на мне плащ, когда пойдет дождь².

– Я, сеньоры, – ответил Дон Кихот, – очень вам благодарен, но не могу останавливаться ни на минуту, потому что грустные мысли и грустные происшествия принуждают меня казаться неучтивым и торопиться в путь.

Итак, прищпорив Росинанта, он проехал вперед, оставив их изумленными, как его странной фигурой, которую они видели и отметили, так и умом его слуги, за которого они приняли Санчо. И один из крестьян сказал:

– Если слуга так умен, каков же должен быть господин? Готов биться о заклад, что они едут слушать курс в Саламанке, и в один миг сделаются придворными алькальдами, потому что все это одна потеха: надо только учиться и еще учиться, и иметь протекцию и счастье, и, когда человек меньше всего о том думает, у него окажется жезл в руке или митра на голове.

Эту ночь господин и слуга провели среди поля под открытым небом, а на следующий день, продолжая свое путешествие, они увидели, что навстречу им идет пешеход с сумкой через плечо и дротиком или пикой в руках, совер-

¹ Sobre mi la cara cuando llueva, – общепринятое испанское выражение смысла которого – «пусть будет на мне ответственность».

² Dar raigas a un gato – общеупотребительное испанское выражение.



Словом, я дерзнул на это; я сделал, что мог...

шенно по образцу пешего гонца. Когда он приблизился к Дон Кихоту, то, ускорив шаги, почти бегом добежал до него и, поцеловав его в правое бедро, так как выше он не мог достать, с выражением величайшей радости воскликнул:

– О, сеньор мой, Дон Кихот Ламанчский, каким великим удовольствием наполнится сердце герцога, моего господина, когда он узнает, что ваша милость возвращается к нему в замок, потому что он все еще там с сеньорой герцогиней.

– Я вас не знаю, друг, – ответил Дон Кихот, – и не узнаю, кто вы такой, если вы мне не скажете.

– Сеньор Дон Кихот, – ответил гонец, – я Тосилос, лакей герцога моего господина, тот, который не захотел сражаться с вашей милостью из-за женитьбы на дочери доньи Родригес.

– Помогите мне Бог, – воскликнул Дон Кихот, – возможно ли, что вы тот, кого мои враги волшебники превратили в лакея, о котором вы говорите, чтобы лишить меня славы в этой битве?

– Полно, сеньор добрый, – возразил гонец, – тут не было никакого волшебства и никакого превращения наружности. Таким же лакеем Тосилос выехал я на место поединка, каким лакеем Тосилос я и ушел оттуда. Я думал жениться, не вступая в бой, потому что молодая девушка мне понравилась. Случилось, однако, обратное моему желанию, так как, лишь только ваша милость уехала из замка, герцог, мой господин, велел дать мне сто палок за то, что я ослушался его приказаний, которые он мне дал перед вступлением моим в битву. И все кончилось тем, что девушка уже монахиня, а донья Родригес вернулась в Кастилию. Я же иду теперь в Барселону и несу пакет писем и вещей, которые мой господин посылает вице-королю.

Если вашей милости угодно выпить глоток чистого, хотя и тепловатого вина, здесь у меня с собой тыквенная бутылка с дорогим вином и, кроме того, несколько ломтиков Трончонского сыра, который вызовет и разбудит жажду, если б она заснула.

– Мне нравится предложение, – сказал Санчо, – и пусть, оставив в стороне остальные любезности, добрый Тосилос без промедления наливает нам вино, вопреки и назло всем волшебникам, сколько бы их ни было в Индии.

– Словом, – сказал Дон Кихот, – ты, Санчо, самый большой обжора на свете и самый большой невежда в мире, так как тебя нельзя убедить, что этот посланец очарован и этот Тосилос превращен. Оставайся с ним и наедайся досыта, я поеду потихоньку вперед и буду ждать, когда ты приедешь.

Лакей засмеялся, вынул из чехла свою бутылку, достал из сумок ломтики сыра, и достав и взяв хлебец, он и Санчо уселись на зеленой траве и в добром мире и согласии так ревностно покончили и справились со всем содержимым в сумках, что даже облизали пакет с письмами только потому, что от него пахло сыром. Тосилос сказал Санчо:

– Нет сомнения, что этот твой господин, Санчо друг, должен быть сумасшедшим.

– Как должен? – ответил Санчо, – он никому ничего не должен, потому что за все платит, в особенности когда монетой является безумие. Я это ясно вижу и ясно говорю ему; но что за польза из того? А тем более теперь, когда он окончательно потерял всякий рассудок, потому что его победил рыцарь Белой Луны.

Тосилос попросил его рассказать, как это случилось; Санчо ответил, что было бы неучтиво с его стороны застав-

лять ждать своего господина, но в другой раз, если они встретятся, будет на то время. Итак, встав с места, после того, как он отряхнул свой плащ и крошки с

бороды, он погнал впереди себя осла, и, простившись, оставил Тосилоса; немного спустя догнал своего господина, который поджидал его под тенью дерева.





Глава LXVII

О решении, принятом Дон Кихотом, сделаться пастухом и вести жизнь среди полей, пока не пройдет обещанный им год, и о других событиях, действительно забавных и прекрасных.

Если множество размышлений терзали Дон Кихота перед тем, как рыцарь Белой Луны вышиб его из седла, куда больше их терзало его после того. Он ждал Санчо, как было сказано, под тенью дерева, и как мухи слетаются на мед, его осаждали и жалили мысли. Одни останавливались на снятии чар с Дульсинеи, другие обращались к жизни, которую ему предстояло вести в его вынужденном уединении. Санчо подошел и стал хвалить ему щедрое угощение лакея Тосилоса.

– Возможно ли, – сказал Дон Кихот, – что ты все еще, о, Санчо, думаешь, что это настоящий лакей. Мне кажется,

ты забыл, что видел Дульсинею измененною и превращенною в крестьянку, а рыцаря Зеркал в бакалавра Карраско, – все дела волшебников преследующих меня. Но скажи мне теперь, спрашивал ли ты у этого, как ты говоришь, Тосилоса, что Бог послал Алтисидоре? Оплакивала ли она разлуку со мной, или же передала уже в руки забвения влюбленные мысли, мучившие ее в моем присутствии?

– Мои мысли, – ответил Санчо, – были не такого рода, чтобы я имел время спрашивать о пустяках. Клянусь телом моим, сеньор, неужели ваша милость в состоянии осведомляться теперь о чужих мыслях, в особенности о влюбленных?

– Видишь ли, Санчо, – сказал Дон Кихот, – существует большая разница между поступками, совершенными из любви, и теми, которые совершаются из благодарности; легко может случиться, что рыцарь не влюблен, но, чтобы он, строго говоря, оказался неблагодарным, этого быть не может. По всему видимому, Алтисидора сильно любила меня: она дала мне три платка, о которых ты знаешь; плакала, когда я уезжал, проклинала меня, упрекала, жаловалась в присутствии всех, вопреки стыдливости – все это признаки, что она боготворила меня, потому что гнев влюбленных обыкновенно изливается в проклятиях. У меня не было ни надежд, чтобы их дать ей, ни сокровищ, чтобы предложить их ей, так как мои надежды я отдал Дульсине, а сокровища странствующих рыцарей, словно блуждающие огни, призрачны и обманчивы. Я могу дать Алтисидоре только одни воспоминания, оставшиеся у меня о ней; не в ущерб, однако, тем, какие я храню о Дульсине, которую ты оскорбляешь нерадивостью относительно твоего бичевания и наказания этого твоего тела – пусть бы я его увидел съеденным волками – желая лучше сохранить его для червей, чем для облегчения участи той бедной сеньоры.

– Сеньор, – ответил Санчо, – говоря по правде, я не могу убедить себя, чтобы бичевание моих ягодиц имело какое-нибудь отношение к снятию чар с очарованных, что равнялось бы тому, если б сказать: у вас болит голова, так помажьте мазью колени. По крайней мере, я готов поклясться, что сколько бы историй ваша милость ни читала, в которых речь идет о странствующем рыцарстве, нигде не найти указания, чтобы хоть с кого-либо чары были сняты ударами бича. Но как бы то ни было, а я нанесу их себе, когда у меня будет охота и окажется удобное время для бичевания.

– Дай то Бог, – ответил Дон Кихот, – и пусть небо просветит твой разум, и ты одумаешься и поймешь лежащую на тебе обязанность прийти на помощь моей сеньоре, которая и твоя также, раз что ты мой.

В этих разговорах они продолжали свой путь, пока не дошли до того места, где они были сбиты с ног быками. Дон Кихот узнал его и сказал Санчо.

– Вот луг, на котором мы встретились с нарядными пастушками и статными пастухами, желавшими подражать пастушеской Аркадии и возобновить ее – мысль столь же новая, как и остроумная – и в подражание ей, если тебе это улыбается, я бы желал, о, Санчо, чтобы и мы превратились в пастухов, хотя бы на то время, которое я должен провести в уединении. Я куплю несколько овец и все остальные вещи, необходимые для пастушечьей профессии и, назвавшись, я – пастухом Кихотис, ты – пастухом Пансино, мы будем скитаться по горам, лесам и лугам, распевая здесь, вздыхая там, утоляя свою жажду из хрустальных вод источников, или из прозрачных ручейков, или обилующих водою рек. Дубы дадут нам щедрой рукой сладчайшие свои плоды; стволы крепчайших пробковых деревьев предложат нам сидения; ивы – тень; розы – благоухание; обширные луга – ковры, украшенные тысячью цветов; чистый и прозрачный воздух подкрепит наше дыхание; месяц и звезды дадут нам свет, наперекор ночной темноте; песни – наслаждение; слезы – радость; Аполлон – стихи; любовь – вымыслы, благодаря которым мы сделаемся знамениты и бессмертны не только в настоящее время, но и в грядущих веках.

– Клянусь Богом, – сказал Санчо, – этот род жизни сообразуется и соответствует моим вкусам, тем более, что лишь только бакалавр Сансон Карраско

и маэсе Николас цирюльник увидят эту жизнь, тотчас же они захотят вести ее и сделаться, как и мы, пастухами. Дай только Бог, чтобы и священнику не пришла охота тоже войти в овчарню, а он ведь такой веселый и любит развлекаться.

– Ты это сказал очень хорошо, – заявил Дон Кихот. – и нам можно будет назвать бакалавра Сансона Карраско, если он войдет в пастушескую ограду – а он без сомнения войдет в нее – пастухом Сансоново, или же пастухом Карраско-не. Цирюльник Николас может называться Никулосо, как старый Боскан назывался Неморосо. Что касается священника, не знаю, какое ему дать имя, если не производное от его должности, назвав его пастухом Куриамбро¹. Имена для пастушек, в которых мы должны быть влюблены, мы можем выбирать, как выбирают груши, а так как имя моей сеньоры подходит также хорошо к пастушке, как и к принцессе, мне нет надобности затруднять себя отыскиванием ей другого имени, которое лучше бы подходило к ней. А ты, Санчо, дай твоей пастушке имя, какое только пожелаешь.

– Я не намерен давать ей другое имя, – сказал Санчо, – как Тересона, что хорошо подойдет и к ее толщине², и к собственному ее имени, так как ее зовут Тересой; и тем более, когда, воспевая ее в моих стихах, я открою ей мои целомудренные желания, потому что я не из

тех, которые идут искать хлеб поболее и получше в чужих домах. Что касается священника, ему вовсе не годится иметь пастушку, чтобы подавать хороший пример; если же бакалавр пожелал бы иметь свою, что ж – его душа в его ладони.

– Помоги мне, Господи, – сказал Дон Кихот, – какой мы жизнью проживем с тобой, Санчо друг! Сколько донесется до нашего слуха звуков гобоев и саморских волынок, тамбуринов, флейт и рабелей. И затем, если среди этой разнообразной музыки раздадутся еще и звуки *альбогов*? Тогда налицо окажутся почти все пастушечьи музыкальные инструменты.

– Что такое *альбоги*? – спросил Санчо, – потому что я никогда не слышал о них и не видел их во всю мою жизнь³.

– Альбоги, – ответил Дон Кихот, – медные пластинки на подобие плоских шандалов, которые, если их ударить одну о другую с вогнутой или пустой стороны, издают звук, хотя и не особенно приятный и гармонический, но и не причиняющий неудовольствия и хорошо согласующийся с сельской простотой волынки и тамбурина. Это слово *albogues* – мавританское, как и все, начинающиеся по испански на *al*⁴, именно: *almohaza*, *almorzar*, *alhombrá*, *alguacil*, *albucema*, *almacén*, *alcancía*⁵ и другие подобные им, которых имеется еще несколько. И только три есть на нашем языке мавританских слова, кончающихся на *и*. Эти слова *borcegut*⁶, *zaquizamí*⁷ и

¹ По-испански священник – *sura*; *ambro* обычное окончание в романсах.

² *Тересона* означает толстая, большая Тереса.

³ Надо полагать, что альбог – род цимбал или, по утверждению Коварубиаса, нечто похожее на цитру или гусли; инструмент, бывший в большом употреблении у мавров в Испании.

⁴ В испанском языке действительно большинство слов, начинающихся слогом *al*, мавританского происхождения, хотя есть несколько кастильских слов с *al* не арабского происхождения.

⁵ Скребница, завтракать, ковер, судейский чиновник, магазин, небольшой шар, наполненный духами или цветами, которым перекидывались на арабских турнирах.

⁶ Род полусапожек.

⁷ Чердак.

*maravedí*¹, а также и слова *albel*² и *alfaquí*³, как по начальному *al*, так и по окончанию своему на и, известны, как арабские слова. Это я сказал тебе мимоходом, потому что пришло мне на ум по поводу упоминания мной *альбог*. Затем нам поможет осуществить пастушескую профессию и то, что я несколько поэт, как ты это знаешь, а бакалавр Сансон Карраско, тот превосходный поэт. О священнике я не говорю ничего; но готов биться о заклад, что и он склонен к поэтическим шалостям и проказам, а что они есть у маэсе Николас, в этом я ни мало не сомневаюсь, потому что все, или большинство цирюльников – гитаристы⁴ и куплетисты. Я буду оплакивать разлуку; ты воспоешь свое постоянство в любви; пастух Караскон выставит себя отвергнутым, а священник Куриамбро изобразит, что ему покажется наиболее кстати; и так пойдет у нас дело, что лучше и желать нельзя.

На это Санчо ответил:

– Я, сеньор, такой несчастливый, что, боюсь, никогда не настанет тот день, когда я увижу себя в этой профессии. О, какие хорошенькие ложки я наделаю, когда буду пастухом! Сколько будет у нас лепешек и сливок, сколько гирлянд и разных пастушеских безделушек⁵, которые, хотя они могут и не доставить мне славы умного, но несомненно доставят мне славу изобретательного человека. Санчика, моя дочь, будет приносить нам обед на овечий двор. Но нет, – она недурна собой, а есть пастухи более коварные, чем простодушные, и я не желал бы, чтобы она отправилась за шерстью и верну-

лась остриженной. Любовные приключения и нечистые желания встречаются также среди полей, как и в городах, в пастушеских хижинах, как и в королевских дворцах, и удалив причину, будет удален и грех; и чего не видят глаза, о том не горюет сердце; и лучше перескочить через забор, чем просить у добрых людей.

– Довольно пословиц, Санчо, – сказал Дон Кихот, – так как каждой из тех, которые ты привел, было бы достаточно, чтобы дать понять твою мысль; и много раз советовал я тебе не быть столь расточительным на пословицы и сдерживаться, когда ты их приводишь; но мне кажется, что это значит проповедовать в пустыне и мать меня наказывает, а я бью волчек.

– Мне думается, – сказал Санчо, – что ваша милость поступает похоже на то, как говорится: *Сковорода сказала котлу, убирайся отсюда, черноглазый*. Вы браните меня за то, что я привожу пословицы, а сами, милость ваша, нанизываете их попарно.

– Заметь, Санчо, – ответил Дон Кихот, – что я привожу пословицы кстати, и когда я их говорю, они подходят, как перстень к пальцу: но ты их притягиваешь за волосы, так что тащишь их, а не приводишь. И если я хорошо помню, то не раз уже я говорил тебе, что пословицы – краткие изречения, выведенные из опыта и наблюдений наших древних мудрецов; а пословица, приведенная некстати, скорее нелепость, чем мудрое изречение. Но оставим это, и так как уже наступает темнота, удалимся на не-

¹ Испанская самая мелкая медная монета.

² Гвоздика.

³ Факир – мусульманский монах.

⁴ В старину гитара составляла такую же принадлежность цирюльников в Испании, как бритва или цирюльничий таз.

⁵ Намек на обычное занятие пастухов – вырезывание ими деревянных ложек, в то время, как они присматривают за стадом.

которое расстояние с большой дороги, и там проведем ночь, и Богу известно, что будет завтра.

Они отъехали, поужинали поздно и плохо, совершенно против наклонности Санчо, которому припомнились лишения странствующего рыцарства, испытываемые в лесах и горах, хотя иногда

и сменяло их обилие в замках и домах, как, например, у дона Диего де Миранда, или на свадьбе богатого Камачо и в доме дона Антонио Морено; но он рассудил, что невозможно, чтобы всегда был день, или всегда была ночь, и, таким образом, он провел эту ночь в сне, а господин его в бодрствовании.





Глава LXVIII

О щетинистом¹ приключении, случившимся с Дон Кихотом.

Ночь была несколько темная, хотя луна светила на небе, но не с той стороны, где ее можно было видеть, потому что иногда сеньора Диана идет прогуливаться к антиподам, оставляя горы и долины в мраке. Дон Кихот подчинился законам природы и заснул первым сном, не поддаваясь второму, совсем в противоположность Санчо, который никогда не знал второго, так как его сон продолжался вплоть

от вечера и до утра, что доказывало его хорошее здоровье и отсутствие забот. А Дон Кихоту они до того не давали спать, что он рассудил Санчо и сказал ему:

– Я изумлен, Санчо, беспечностью твоего характера. Мне представляется, что ты сделан из мрамора или из крепкой бронзы, в которых нет ни движения, ни чувства. Я бодрствую, когда ты спишь, я плачу, когда ты поешь, я лишаюсь чувств от поста, когда ты отяжелел и не можешь передохнуть чисто

¹ Cerdosa употреблено в двойном смысле: как приключение, где играли роль свиньи, так и в смысле «колючий, неприятный».

от пресыщения. А долг добрых слуг сочувствовать горю господ своих и разделять их чувства, хотя бы только ради приличия. Взгляни, как ясна эта ночь, какое уединение окружает нас и приглашает прервать сон наш некоторой долей бодрствования. Встань, заклиная тебя твоей жизнью, отойди отсюда несколько в сторону и с мужественным сердцем и отважной душой нанеси себе триста или четыреста ударов в счет тех, которые требуются для снятия чар с Дульсиней. Я прошу и умоляю тебя об этом, так как не хочу вступать с тобой в рукопашный бой, как в тот раз, потому что я знаю, что у тебя рука тяжелая. После того, как ты нанесешь себе эти удары, мы проведем остаток ночи в пении: я буду петь о моей разлуке, ты – о твоём постоянстве, и, таким образом, мы положим начало пастушеским занятиям, которым будем предаваться в нашей деревне.

– Сеньор, – ответил Санчо, – я не монах, чтобы вставать среди сна и бичевать себя; и еще менее кажется мне возможным переходить тотчас от страшной боли ударов к музыке. Не мешайте мне, милость ваша, спать и не торопите относительно бичевания, потому что вы принудите меня дать клятву, что я никогда не дотронусь до ворсинки моего плаща, не говоря уж о моем теле!

– О, закоснелая душа! О, безжалостный оруженосец! О, хлеб дурно потраченный, и плохо оцененные милости – те, которые я уже оказал тебе и еще думаю оказать. Благодаря мне ты видел себя губернатором и обладаешь близкой надеждой быть графом, или же получить какой-нибудь другой равнозначный титул, а осуществление этих надежд не будет отсрочено дальше, чем

до конца этого года, так как *post tenebras spero lucem*¹.

– Я этого не понимаю, – возразил Санчо, – а знаю только, что пока я сплю, у меня нет ни страха, ни надежды, ни тревог, ни славы; да будет благословен тот, кто изобрел сон, – плащ, прикрывающий все человеческие мысли, пища, избавляющая от голода, вода, утоляющая жажду, огонь, согревающий холод, холод умеряющий зной и, наконец, общая монета, которою все можно купить, весы и гири, уравнивающие пастуха с королем и простака с мудрецом. Только одну дурную сторону, судя по тому, что я слышал, имеет сон – это то, что он похож на смерть, так что между спящим и мертвым небольшая разница.

– Никогда я не слышал, Санчо, – сказал Дон Кихот, – чтобы ты говорил так изящно, как теперь, из чего я познаю, насколько истинна пословица, которую ты иногда приводишь: *не с тем, с кем родился, а с тем, с кем кормился*.

– Ага, сеньор господин наш, – возразил Санчо, – не я теперь тот, кто низывает пословицы, потому что и из уст вашей милости они также сыплются, да и попарно, лучше, чем из моих; только, должно быть, между моими и вашими пословицами та разница, что пословицы вашей милости приходится кстати, а мои не во время; но, на самом деле, все они пословицы.

Как раз в это время они услышали оглушительный грохот и резкий шум, распространившийся по всем долинам кругом. Дон Кихот вскочил на ноги и взялся за меч, а Санчо подлез под Серого, загородив себя с боков связкой с доспехами и вьючным седлом, и он настолько же дрожал от страха, насколько Дон Кихот был возбужден. Шум посте-

¹ *После мрака надеюсь на свет* – эта цитата из Иова (XVII, 12. Vulg) выставлена, как известно на заглавном листке всех изданий, начиная с первого «Дон Кихота» Хуана де ла Куэста.

пенно увеличивался и приближался к двум оробевшим, или, по крайней мере, к одному, так как доблесть другого достаточно известна. Дело же было в том, что несколько человек гнали, как раз в это время, продавать на ярмарку более шестисот свиней, производивших такой большой шум, с таким хрюканьем и фырканием, что оглушили Дон Кихота и Санчо, которые не могли понять, что это могло быть. Широко раскинувшееся стадо бежало, хрюкая, как попало, и без всякого уважения к авторитету Дон Кихота и Санчо перешло через обоих, разрушив траншеи Санчо и опрокинув не только Дон Кихота, но в придачу и Росинанта. Скопище свиней, их хрюканье, быстрота, с которой нечистые эти животные появились, были причиной того, что были сброшены на землю выючное седло, доспехи, Серый, Росинант, Санчо и Дон Кихот.

Санчо поднялся, как мог, и попросил у своего господина меч, говоря ему, что желает убить с полдюжины этих сеньор неучтивых свиней, так как он уже понял теперь, кто они были такие. Дон Кихот сказал ему:

– Оставь их, друг; оскорбление это – наказание за мой грех; и справедливая кара небес для побежденного странствующего рыцаря то, чтобы его растерзали шакалы, жалили осы и топтали бы свиньи.

– Должно быть, кара небес также и то, – ответил Санчо, – чтобы оруженосцев побежденных рыцарей кусали мухи, ели вши и мучил голод. Если б мы, оруженосцы, были сыновьями рыцарей, которым мы служим, или близкими их родственниками, неудивительно было, когда бы наказание за их вину падало на нас до четвертого колена. Но какое же отношение имеют Пансы с Кихотами? – Ну, а теперь устроимся получше опять и

давайте доспим то малое, что осталось от ночи, а Бог пошлет утро и дела наши поправятся.

– Спи ты, Санчо, – ответил Дон Кихот, – так как ты родился, чтобы спать, я же родился, чтобы бодрствовать; за то время, что еще остается до наступления дня, я дам полную волю моим мыслям и вылью их в маленьком мадригале, который я сегодня ночью, без твоего ведома, сочинил в своей голове.

– Мне кажется, – сказал Санчо, – что мысли, дающие повод сочинять стихи, не должны иметь большого значения. Пусть милость ваша слагает стихи, сколько ей угодно, а я буду спать, сколько могу.

И тотчас же, заняв на земле место, какое ему захотелось, он свернулся клубочком и заснул крепким сном, который не тревожили ни обязательства, ни долги, ни какое бы то ни было горе.

Дон Кихот, прислонившись к стволу бука или пробкового дерева (так как Сид Амэт Бененхели не обозначает подробно, какое это было дерево), под музыку собственных вздохов, запел следующее:

Любовь, – лишь только размышляю
О горьких пытках я твоих,
Все мысли к смерти устремляю:
Смерть отдых даст от мук моих.
Когда ж лицом к лицу предстанет
Смерть предо мной, – душа моя
В таком блаженстве вся воспрянет,
Что умереть не в силах я.
Что делать мне? – жизнь убивает,
А смерть, глумясь надо мной,
Дар жизни вновь мне возвращает
Своей безжалостной рукой.

Каждую из этих строк Дон Кихот сопровождал многими вздохами и сле-

зами, как человек, сердце которого разтерзано горестью его поражения и разлукой с Дульсинеей.

Между тем настал день, и солнце ударило своими лучами в глаза Санчо. Он проснулся, полежал немного, встряхиваясь и потягивая ленивые свои члены, взглянул на опустошение, произведенное в съестных его припасах свиньями, и проклял стадо и даже несколько более того.

Наконец, оба они продолжали начатое свое путешествие и при наступлении сумерек увидели, что навстречу им приближаются около десяти человек верхом и четыре или пять пешком. Сердце Дон Кихота забилося от волнения, а у Санчо оно замерло от ужаса, так как люди, шедшие им навстречу, были с копьями и мечами и имели очень воинственный вид. Дон Кихот обернулся к Санчо и сказал:

– Если б я мог, Санчо, взяться за оружие и обещание мое не связывало бы мне рук, эта громада, которая надвигается на нас, показалась бы мне сладким тортом и пряниками. Но, может быть, это что-нибудь другое, а не то, чего мы опасаемся.

В то время к ним подъехали верховые и, не говоря ни слова, подняв свои копья, окружили Дон Кихота и направили их ему в спину и грудь, угрожая смертью. Один из пеших, приложив палец к губам и давая этим знак, чтобы рыцарь молчал, схватил за повод Росинанта и отвел его с дороги; остальные же, шедшие пешком, погоняя перед собой Санчо и Серого, храня все изумительное молчание, пошли вслед за тем, кто вел Дон Кихота. Два или три раза рыцарь хотел спросить, куда его ведут, или

чего от него хотят; но лишь только он начинал шевелить губами, как бывшие с ним делали вид, что закроют их ему острием копий. С Санчо происходило то же самое, потому, что едва он пытался заговорить, как один из шедших пешком колол его заостренной палкой, а кстати также и Серого, как будто и тот желал говорить. Настала ночь, они ускорили шаги, страх обоих пленников увеличился, тем более, когда они услышали, что время от времени им говорили: – *Идите, троглодиты, молчать, варвары, платите, антропофаги; не жалуйтесь, скифы; не открывайте глаз, Полифемы-убийцы, львы кровожадные!* и другие тому подобные названия, которыми терзался слух несчастного господина и слуги. Санчо шел, думая про себя: какие это мы тригладиты, Варвары, и выньте флаги, да собачки, которым говорят: сита, сита¹. Мне совсем не нравятся эти названия: пусть дурным ветром унесет эту кучу зерна. Все беды обрушиваются на нас разом, как на собаку удары палкой; и дай то Бог, чтобы ими и кончилось то, чем угрожает это, столь полное злоключений приключение.

Дон Кихот ехал, недоумевая, не в состоянии отгадать, сколько он об этом ни думал, что должны означать эти бранные эпитеты, которыми их награждают и из которых он ясно видел, что нельзя им ждать ничего хорошего и надо бояться многого дурного. Между тем они около часу ночи прибыли в замок, и Дон Кихот тотчас же узнал, что это замок герцога, где они еще недавно гостили.

– Помогите мне, Господи! – сказал он, как только узнал, где находится; – что это такое? В этом доме было жилище учтивости и радушие, но для побес-

¹ Невозможно передать на русский язык все вариации Санчо на столь странные для него слова: «троглодиты», «антропофаги» и т. д. – и замену их иными, более знакомыми ему, так как нет соответственных русских слов, как у Санчо нашлись испанские.



Любовь, — лишь только размышляю
О горьких пытках я твоих...

жденных хорошее обращается в дурное, а дурное в еще худшее.

Они вошли в главный двор замка и увидели его убранным и приведенным

в такой вид, что удивление их возросло, а страх удвоился, как это видно будет в следующей главе.





Глава LXIX

О самом редкостном и любопытном приключении, которое случилось с Дон Кихотом на всем протяжении этой великой истории.

Всадники сошли с коней и вместе с пешими, взяв Санчо и Дон Кихота силой на руки, внесли их во двор, вокруг которого горело около ста факелов, вставленных в подставки, и более пяти-сот лампочек на галереях, окружавших двор, так, что несмотря на ночь, которая была довольно темная, отсутствие дневного света не было заметно. Посреди двора, футов на шесть от земли, было воздвигнуто нечто вроде катафалка, прикрытого обширным балдахином из черного бархата. Вокруг катафалка горели на ступенях свечи из белого воска в более чем ста серебряных подсвечниках. На этом катафалке лежало мертвое тело столь прекрасной девушки, что, благодаря ее красоте, сама смерть казалась красивой. Голова ее покоилась на

парчовой подушке и была украшена гирляндой, сплетенной из различных благоухающих цветов; а в руках, скрещенных на груди, виднелась ветвь пожелтевшей победной¹ пальмы. С одной стороны двора была возведена эстрада, и здесь, на двух креслах, восседали два человека, которые, судя по коронам на их головах и скипетрам в руках, казались королями, настоящими или мнимыми. Рядом с этой эстрадой, куда вели несколько ступеней, стояли другие два кресла, на которые те, что несли пленников, посадили Дон Кихота и Санчо, все это молча и показывая им знаками, чтобы и они тоже молчали; хотя и без этих знаков они бы молчали, так как изумление, вызванное в них тем, что они видели, держало на привязи их языки. После того на эстраду вошли с большой свитой две знаменитые особы, которых Дон Кихот тотчас же признал

¹ Ветка пальмы считалась всегда эмблемой победы, и особенно ее чтут в Испании.

за герцога и герцогиню, его бывших хозяев, и они уселись в два богато разукрашенных кресла рядом с теми двумя личностями, которые казались королями. Кто бы не был поражен при виде всего этого, и когда еще в довершение Дон Кихот узнал в мертвом теле, лежавшем на катафалке, прекрасную Алтисидору? Когда герцог и герцогиня поднялись на эстраду, Дон Кихот и Санчо встали и отвесили им глубокий поклон, и герцог и герцогиня ответили им легким наклоном головы. Между тем появился слуга и, подойдя к Санчо, набросил на него облачение из черной клеенки, все разрисованное как бы огненным пламенем, и сняв с Санчо шапку, надел ему на голову митру, вроде тех, которые носили осужденные инквизицией, и шепнул ему на ухо, чтобы он не раскрывал рта, а то ему вставят в рот затычку или убьют его. Санчо посмотрел на себя сверху донизу и увидел себя горящего в пламени, но, так как оно не жгло, он не обратил на это ни на грош внимания. Затем он снял митру и увидел, что на ней нарисованы черти, и опять надел ее, думая про себя: – еще хорошо, что и пламя не жжет, и черти не уносят меня с собой.

Дон Кихот тоже посмотрел на Санчо, и хотя страх сковал его чувства, он не мог удержаться от улыбки при виде фигуры Санчо. В это время раздались, по-видимому из-под катафалка, тихие и приятные звуки флейты, которые, оттого что их не нарушал никакой человеческий голос – так как тут само безмолвие хранило безмолвие – звучали нежно и сладостно. Вдруг появился у подушки той, что казалась трупом, красивый юноша, одетый в костюм римлянина, и под звуки арфы, на которой он играл, он пропел

самым звонким и сладостным голосом следующие два станса:

Пока не оживет опять Алтисидора –
Ее убил жестокий Дон Кихот
презреньем –

Пока в дворце волшебном черного
убора

С себя не снимут дамы с радостным
волненьем,

Пока дуэньям не велит моя сеньора
Креп сбросить, – буду я с
неменьшим увлеченьем,

Чем Фракии поэт¹, Алтисидоры
дивной

Красу и горе славить в песне
бесперывной.

И знаю я, не только в жизни – за
могилой

Восторга дань воздам тебе я
громогласно:

Устами мертвыми я буду с прежней
силой

Хвалу слагать тебе и петь тебя
всечасно.

Когда ж по Стиксу путь свой
совершит унылый

Мой дух, от уз земных
освобожденный –

И там мое хвалебное раздастся пенье.

И бег приостановит свой река
забвенья².

– Довольно, – сказал тогда один из двух, которые казались королями, – довольно, божественный певец! Безконечно длилось бы твое пение, если б ты стал описывать нам теперь смерть и прелесть несравненной Алтисидоры, не умершей, как это думает невежественный свет, а

¹ Орфей.

² Вторая строфа, начиная со слов «И знаю я», близкое подражание третьей эклоги Гарсиласо де ла Вега.

живой на всех языках славы и в том искусе, которому, чтобы возвратить ее к утраченному ею свету, должен подвергнуться Санчо Панса, здесь присутствующий. И поэтому ты, о, Радамант, вместе со мной творящий суд в мрачных пещерах Дита¹, – так как ты знаешь все то, что предрешиено в неисповедимых книгах судеб относительно возвращения к жизни этой девушки, – тотчас же скажи и объяви это, чтобы не откладывать дольше удовольствия, которое мы ждем от ее пробуждения от смерти.

Едва проговорил эти слова Минос, товарищ судьбы Радаманта, как Радамант, встав с своего места, сказал:

– Эй, слушайте вы, служители этого дома, высшие или низшие, великие и малые, спешите все друг за другом сюда и вашими пятью пальцами² запечатлейте лицо Санчо двадцать четыре раза, ущипните ему двенадцать раз руки и уколите шесть раз булавкой чресла, так как спасение Алтисидоры зависят от исполнения этого постановления.

Услышав это, Санчо прервал молчание и сказал:

– Клянусь всем на свете, я также позволю запечатлеть себе лицо или же прикоснуться к моим щекам, как я превращусь в мавра. Черт поberi, какое отношение имеет ощупывание руками моего лица к воскресению этой девушки? Понравился старухе амарант³... Очаровывают Дульсинею и бьют меня плетью, чтобы снять с нее чары. Умирает Алтисидора от болезней, которые Богу было угодно наслать на нее, и, чтобы воскресить ее, оказывается необходимым дать

мне двадцать четыре шлепка по лицу, изрешетить мне тело уколами булавок и нащипать руки до синяков. Эти шутки проделайте с деверем⁴. Я старая собака и нечего подманивать меня вашими «тус, тус».

– Ты умрешь – воскликнул громким голосом Радамант. – Смягчись, тигр, смирись, высокомерный Немврод! Страдай и молчи, так как от тебя не требуют невозможного, и не заботься выяснять трудности этой задачи. Шлепки ты получишь, увидишь себя исколотым булавами и застонешь от щипков. Итак, служители, я говорю, исполните мое приказание, если нет, клянусь, как честный человек, вы увидите, для чего вы родились!

В это время появились шесть дуэний, которые одна за другой шли по двору процессией, четыре из них в очках, и все держали правые руки вверх, с обнаженной на четыре пальца кистью, чтобы руки казались длиннее, как тогда было в моде. Едва Санчо увидел дуэний, он заревел словно бык, и сказал:

– Я охотно мог бы позволить всему свету трогать себя, но согласиться, чтобы ко мне прикоснулись дуэньи, ни за что! Пусть мне кошки исцарапают лицо, как они сделали с моим господином в этом самом замке, пусть мне проколют тело острыми кинжалами; пусть истерзают руки раскаленными щипцами; все перенесу я терпеливо, чтобы услужить этим сеньорам; но чтобы ко мне прикоснулись дуэньи не могу допустить, хотя бы дьявол побрал меня с собой.

Тут и Дон Кихот прервал молчание и сказал Санчо:

¹ Судьбы.

² Sellar mamonas.

³ Regostóse la vieja a los bledos; – вторая половина этой пословицы, недосказанная Санчо, гласит: *ni dejó verdes, ni secas* – «не оставив ни сухого, ни зеленого».

⁴ Общеупотребительное выражение. В испанских пословицах к деверю относятся почти столь же плохо как и к теще.

– Вооружись терпением, сын, доставь удовольствие этим сеньорам и воздай горячую благодарность небу за то, что оно твою особу наделило таким свойством, что своим мученичеством ты снимаешь чары с очарованных и воскресаешь мертвых.

Дуэньи обступили Санчо, когда он уже более спокойный и покорный, хорошенько усевшись на своем кресле, протянул лицо и бороду первой дуэнье, которая, крепко запечатлев все пять пальцев на его лице, тотчас же сделала ему низкий реверанс.

– Поменьше учтивости, поменьше притираний¹, сеньора дуэнья, – сказал Санчо, – так как, клянусь Богом, от ваших рук несет туалетным уксусом.

Наконец, все дуэньи надавали ему щелчков и многие из домашней прислуги щипали его. Но то, чего он не мог вынести – было уколы булавками, и тогда он вскочил со стула, разъяренный, и, схватив зажженный факел, находившийся вблизи него, бросился на дуэний и всех других своих палачей, крича:

– Прочь, слуги ада, я ведь не из бронзы, чтобы не чувствовать столь необычайного мученичества!

Тут Алтисидора, которая, должно быть, устала лежать столько времени на спине, повернулась на бок; увидав это, все присутствовавшие почти в один голос воскликнули: «Алтисидора жива! Алтисидора жива!».

Радамант велел Санчо смягчить свой гнев, так как имевшаяся в виду цель уже достигнута. Лишь только Дон Кихот увидел, что Алтисидора сделала движение, он опустил на колени перед Санчо, говоря:

– Теперь как раз время, сын моей утробы, а не оруженосец мой, чтобы ты себе нанес некоторые из ударов, которые ты обязался нанести, чтобы снять чары с Дульсинеи. Теперь, говорю я, настало время, когда присущее тебе свойство наиболее плодотворно и действительно для выполнения добра, которое от тебя ждут.

На это Санчо ответил:

– Это мне кажется паутней на паутнях, а не медом на оладьях. Хорошо было бы, если б после щипков, щелчков и уколов булавками теперь явились бы удары плетью! Не остается ничего больше, как только взять тяжелый камень, привязать его мне к шее и бросить меня в колодезь, что не очень то меня огорчило бы, если для излечения чужих болезней я должен быть свадебной короной²! Оставьте меня в покое, не то, клянусь Богом, я все выброшу и выкину дюжинами, хотя бы и ничего не продавалось.

Между тем Алтисидора уже села на своем катафалке, и в ту же минуту раздались звуки гобоев, к которым присоединились флейты и голоса присутствовавших, восклицавших: «Да здравствует Алтисидора, Да здравствует Алтисидора!».

Герцог и герцогиня и короли Минос и Радамант встали, и все вместе с Дон Кихотом и Санчо пошли навстречу Алтисидоры, чтобы помочь ей спуститься со ступеней катафалка. Она, приняв томный, полуобморочный вид, поклонилась герцогу, герцогине и королям и, взглянув искоса на Дон Кихота, сказала ему:

– Прости тебе Бог, нелюбящий рыцарь, потому что из-за твоей жестокости я пробыла на том свете, как мне сдается,

¹ Mudas – разные мази, румяны, помады и т. д., приготовление которых для своих господ входило в обязанность дуэний.

² La vaca de la boda – общеупотребительное испанское выражение, указывающее того, на счет которого все развлекаются.

более тысячи лет; а тебе, о самый сострадательный оруженосец на всем земном шаре, я обязана жизнью, которою теперь обладаю. С сегодняшнего дня, друг Санчо, располагай шестью моими рубашками; я их дарю тебе, чтобы ты сделал из них шесть для себя, и если они не все крепки, то, по крайней мере, все чисты.

Санчо поцеловал ей за это руки и, держа митру в руке, преклонил колена. Герцог приказал снять с него митру и вернуть ему шапку, надеть на него его

одежду и снять облачение, разрисованное пламенем. Санчо попросил герцога оставить ему облачение и митру, так как ему хочется увести их с собой в знак и на память этого, никогда невиданного события. Герцогиня ответила, что ему их оставят, потому что он знает, как дружески она к нему расположена.

Герцог велел прибрать двор и всем разойтись по своим комнатам, а Дон Кихота и Санчо отвести в те комнаты, где они раньше жили.





Глава LXX

Которая следует за шестьдесят девятой, и где идет речь о вещах, необходимых для ясного понимания этой истории.

Санчо спал эту ночь на выдвижной кровати,¹ в одной комнате с Дон Кихотом, чего он хотел бы избежать если бы мог, так как хорошо знал, что его господин вопросами и ответами не даст ему сомкнуть глаз; а он не был в расположении много говорить, потому что все еще чувствовал боль от недавно перенесенного мученичества, препятствовавшего полной свободе его языка, и он предпочел бы спать один в хижине, чем в этом богатом покое вдвоем. Опасение его оказалось столь верным и подозрения столь основательными, что не успел его господин лечь в постель, как уже обратился к нему со словами:

– Что скажешь ты, Санчо, о приключении сегодняшней ночи? Велика и могущественна сила холодного пренебрежения, так как собственными глазами ты видел Алтисидору умершей ни от

других стрел, ни от другого меча, ни от другого военного орудия, ни от других смертоносных ядов, как только от одной суровости и презрительности, которые я ей всегда выказывал.

– Пусть бы она в добрый час умерла, когда и как ей угодно, – ответил Санчо, – лишь бы только оставила меня в покое, потому что я во всю жизнь не влюблял ее в себя и не пренебрегал ею. Не знаю и не могу представить себе, какое отношение здоровье Алтисидоры, – девушки более причудливой, чем умной, – может, как я уже раньше говорил, иметь к мучительству Санчо Пансы? Теперь я действительно явственно и несомненно вижу, что на свете есть волшебники и волшебство, от которых да избавит меня Господь, потому что я не могу сам себя избавить от них. Со всем тем, умоляю вашу милость, дайте мне спать и не спрашивайте меня больше ни о чем, если вы не желаете, чтобы я выбросился из окна.

¹ Carriola – низкая, передвижная кровать на колесах.

– Спи, Санчо друг, – ответил Дон Кихот, – если только допустить тебя спать полученные тобою уколы булавокми, щипки и шлепанье по щекам.

– Никакая боль, – ответил Санчо, – не может сравниться с оскорблением пощечин только лишь потому, что мне их дали дуэньи, провалились они! И снова умоляю вашу милость, дайте мне спать, потому что сон есть облегчение горестей тех, кому они мешают спать.

– Да будет так, – сказал Дон Кихот, – и да хранить тебя Бог.

Оба они заснули; и Сид Амет, автор этой великой истории, пожелал воспользоваться этим временем, чтобы написать и дать отчет, что побудило герцога и герцогиню составить весь пространный план сообщенных происшествий. Он говорит, что бакалавр Сансон Караско, не забыв того, что, будучи *рыцарем Зеркал*, он был побежден и сброшен с лошади Дон Кихотом, – а это поражение и падение нарушило и уничтожило все его планы, – решил снова попытать счастья, надеясь на более благоприятный, чем прежний, исход дела. Итак, узнав от пажа, который привез жене Санчо, Тересе Панса, его письмо и подарок, где находился Дон Кихот, он достал себе нового коня и новые доспехи, изобразил на щите белую луну и навьючил все доспехи на мула, которого вел один крестьянин, но не Томэ Сесиал, прежний его оруженосец, чтобы Дон Кихот или Санчо не узнали его. Он приехал в замок герцога, который сообщил ему, по какой дороге и каким путем поехал Дон Кихот, имея намерение присутствовать на турнирах в Сарагосе. Герцог рассказал ему также и о шутках, сыгранных над рыцарем и о выдумке снятия очарования с Дульсинеи, которая должна была осуществиться на счет седалища Санчо. Наконец, он сообщил ему и о шутке, сыгранной Санчо над

своим господином, которого он убедил, что Дульсинея очарована и превращена в крестьянку; и о том, как герцогиня, его жена, уверила Санчо, будто он сам был обманут, потому что Дульсинея в самом деле очарована. Над всем этим бакалавр немало смеялся и настолько же был изумлен хитростью и простотой Санчо, как и неслыханным безумием Дон Кихота. Герцог попросил его, если он найдет рыцаря, – победит ли он его или нет, – вернуться той же дорогой и сообщить ему о случившемся. Бакалавр так и сделал. Он отправился на поиски и, не найдя Дон Кихота в Сарагосе, проехал дальше, и с ним произошло то, что было рассказано. Он вернулся затем в замок герцога и сообщил ему обо всем, а также и об условиях битвы, и о том, что Дон Кихот уже возвращается, чтобы исполнить, как добрый странствующий рыцарь, данное им обещание удалиться на год к себе в деревню. А за это время может случиться, сказал бакалавр, – что рыцарь излечится от своего безумия, так как эта надежда и была причиной, побудившей бакалавра к переодеваниям в рыцарские костюмы, оттого, что брала жалость смотреть, что идальго, одаренный столь богатыми умственными способностями, сошел с ума. На этом он простился с герцогом и вернулся в свое местечко, чтобы ждать здесь Дон Кихота, который ехал вслед за ним. Вот каким образом герцог воспользовался случаем сыграть над Дон Кихотом эту шутку, так велико было удовольствие, доставляемое герцогу всем, касающимся Санчо и Дон Кихота. Он приказал занять дороги вблизи и вдали замка по всем направлениям, по которым, как он полагал, мог возвращаться Дон Кихот, многочисленным слугам своим, пешим и конным, с тем, чтобы они привели рыцаря в замок силой или по доброй его воле, если найдут его; они его нашли и дали

знать о том герцогу, который уже заранее все подготовил, что предполагал сделать. Лишь только он получил известие о приближении Дон Кихота, он велел зажечь факелы и лампы во дворе, и положить Алтисидору на катафалк, со всеми приготовлениями, о которых было рассказано; и все это было так хорошо и прекрасно разыграно, что мало разнилось с действительностью. И Сид Амет говорит кроме того, что, со своей стороны, он считает их столь же безумными насмешниками, как и тех, над которыми они насмехались, и что герцог и герцогиня были на два пальца от того, чтобы казаться сумасбродами, с таким рвением разыгрывали они свои шутки над двумя другими сумасбродами. Из этих последних один спал глубоким сном, а другой бодрствовал со своими неукротимыми мыслями до тех пор, пока настал день и явилось желание встать, так как Дон Кихоту, побежденному или победителю, никогда не доставляла удовольствия лень пуховиков. Алтисидора, возвращенная по мнению Дон Кихота от смерти к жизни, исполняя желание своих господ, вошла в комнату к рыцарю, увенчанная той же самой гирляндой, которая была на ней, когда она лежала на катафалке, и одетая в тунику из белой тафты, усеянной золотыми цветами, с волосами, распущенными по плечам, опираясь на трость из черного драгоценного дерева. При появлении ее Дон Кихот, смущенный и приведенный в замешательство, съехался, прикрылся весь простынями и одеялами, онемел и не был в состоянии сказать ей какую бы то ни было любезность. Алтисидора села на стул рядом с его изголовьем и, испустив глубокий вздох, заговорила нежным и слабым голосом:

– Когда знатные женщины и скромные девушки попирают ногами свою честь и дают языку волю прорваться че-

рез все преграды, провозглашая публично о тайнах, схороненных в их сердце, они несомненно доведены до колоссальной крайности. Я, сеньор Дон Кихот Ламанчский, одна из них – пораженная, побежденная и влюбленная – но при всем том терпеливая и скромная, и до такой степени, что именно вследствие этого сердце мое порвалось, не выдержав молчания, и я лишилась жизни. Два дня тому назад из-за суровости, с которой ты обошелся со мной, о, более твердый, чем мрамор, к жалобам моим окаменевший рыцарь, я умерла, или, по крайней мере, все видевшие меня считали меня умершей, и только благодаря тому, что любовь, сжалившись надо мной, вложила средство для моего исцеления в мученичество этого доброго оруженосца, я не осталась на том свете.

– Любовь могла бы, – сказал Санчо, – вложить его и в мученичество моего осла, и я был бы ей за это очень благодарен. Но скажите мне, сеньора, и да наградит вас небо другим, более нежным, другом, чем мой господин, что вы видели на том свете? Что делается в аду? Ведь, тот, кто умирает, впад в отчаяние, волей-неволей должен попасть туда.

– Говоря по правде, – ответила Алтисидора, – должно быть, я не совсем умерла, так как не была в аду, потому что, если б действительно попала туда, то не могла бы выйти оттуда, хотя бы и желала этого. Истина в том, что я дошла лишь до ворот ада, где дюжина чертей играли в мяч, все в штанах и камзолах, с воротниками, обшитыми фламандскими кружевами и точно такими же рукавчиками, служившими им манжетами, с кистями рук оголенными на четыре пальца вверх, чтобы руки их казались длиннее, в которых они держали огненные отбойники. Но что больше всего удивило меня, так это то, что вместо мячей им служили

книги, которые, казалось, были набиты ветром и пылью – вещь изумительная и новая. Но и это не так поразило меня, как то, что, хотя обыкновенно игроки, выигрывая, радуются, а проигрывая, огорчаются, там в этой игре все злились, огрызались и проклинали друг друга.

– Нечего этому удивляться, – заметил Санчо, – потому что дьяволы, – играют ли они или не играют, – никогда не могут быть довольны, все равно выигрывают ли они или же проигрывают.

– Так оно и должно быть, – ответила Алтисидора, – но здесь еще другая вещь, которая поражает меня (я хочу сказать, которая тогда поразила меня) – дело в том, что лишь только был брошен мяч, тут ему и был конец, и он не мог служить для другого раза; и таким образом у них неслись вихрем книги, старые и новые, так что это было на удивление. Одной из них, блестяще-новой и в хорошем переплете, они нанесли такой удар, что выбили из нее всю внутренность и все ее листы рассыпались. Вот и говорит один дьявол другому: – *Посмотрите, что это за книга?* – Другой дьявол ответил: – *Это вторая часть истории Дон Кихота Ламанчского, сочиненная не Сид Аметом, первым ее автором, а неким арагонцем, родом, как он говорит, из Тордесильяса.* – *Выкиньте ее отсюда,* – ответил другой дьявол, – *и бросьте в самую глубину ада, чтобы глаза мои не видели ее.* – *Разве она так уже плоха?* – спросил тот. – *Так плоха,* – ответил первый, – *что, если бы я нарочно сам постарался написать хуже, мне бы не удалось.* – Они продолжали игру, бросая другие книги, а я, услышав, что называли Дон Кихота, которого я так люблю и боготворю, сохранила в моей памяти это видение.

– Видением это и было, без всякого сомнения, – сказал Дон Кихот, – потому что нет другого меня на свете, и эта исто-

рия переходит здесь из рук в руки, но не остается ни в одной, потому что все дают ей пинки ногой. Я не смутился, услышав, что, как призрачное тело, скитаюсь в сумерках ада, или же на земле, под светом солнца, потому что я не тот, о ком идет речь в этой истории. Если б она была хороша, правдива и истинна, она прожила бы века; но если она плоха, от ее рождения и до похорон – недолгий путь.

Алтисидора только что собралась изливаться снова жалобами на Дон Кихота, но он сказал ей:

– Много раз говорил я вам, сеньора: я очень огорчен тем, что вы устремили свое расположение на меня, так как я могу ответить вам лишь признательностью, но не взаимностью. Я родился, чтобы принадлежать Дульсинее Тобосской; и рок, – если он существует – посвятил меня ей; а думать, что какая-либо другая красота может занять место, принадлежащее ей в моей душе, значило бы думать невозможное. Пусть это будет достаточным разочарованием для вас, чтобы побудить вас вернуться в пределы вашего целомудрия, так как ни от кого нельзя требовать невозможного.

Услышав это, Алтисидора, делая вид, что она очень рассержена и смущена, воскликнула:

– Клянусь Богом, дон Вяленая треска, Бронзовая душа, Финиковая косточка, упрямее и непреклоннее, чем грубый крестьянин, которого о чем-либо просят в то время, как он прицеливается, стреляя в мишень, если я доберусь до вас, то выпарапаю вам глаза! Не думаете ли вы, быть может, дон Победенный и дон Избитый палками, что я умерла из-за вас? Все, что вы видели сегодня ночью, было притворно, и я не такая женщина, чтобы из-за подобных верблюдов чувствовать боль, хоть с пылинку под ногтем, а тем более еще умереть.

– Этому я легко поверю, – сказал Санчо, – потому что смерть от любви только вещь для смеха; влюбленные могут говорить об этом, но сделать – поверь тому, Иуда!

Пока они так разговаривали, в комнату вошел музыкант, певец и поэт, спевший два вышеприведенные станса, и он, отведав глубокий поклон Дон Кихоту, сказал:

– Прошу вашу милость, сеньор рыцарь, считать меня и причислить к самым вашим верным слугам, так как давно уже я очень вам предан, как вследствие вашей славы, так и ваших подвигов.

Дон Кихот ответил:

– Скажите мне, сеньор, кто вы такой, чтобы моя учтивость могла соответствовать вашим заслугам.

Юноша ответил, что он музыкант и панегирик прошлой ночи.

– Нет сомнения, – сказал Дон Кихот, – что у вас прекраснейший голос, но то, что вы пели, показалось мне не очень уместным, потому что, какое же отношение имеют стансы Гарсиласо к смерти этой сеньоры?

– Не удивляйтесь этому, милость ваша, – ответил музыкант, – так как среди длинноволосых¹ поэтов наших дней в обычае, чтобы каждый писал, что ему взбредет на ум, и каждый бы крал, что у кого пожелает, все равно подойдет ли или нет; и нет той глупости, которую поют или пишут, чтобы не приписали бы ее поэтической вольности.

Дон Кихот собирался ответить, но ему помешали герцог и герцогиня, вошедшие повидаться с ним, и у них произошел продолжительный и приятный разговор, во время которого Санчо насказал столько забавных и едких вещей, что он снова привел в изумление герцога и герцогиню, как своей простоватостью, так и своим остроумием. Дон Кихот просил у них

разрешения уехать в тот же день, потому что таким побежденным рыцарям, как он, скорей приличествует жить в свином хлеве, чем в королевских дворцах. Они охотно дали ему разрешение, и герцогиня спросила, чувствует ли он благосклонность к Алтисидоре. Он ответил ей:

– Сеньора моя, пусть будет известно вашей сеньории, что весь недуг этой девушки проистекает от безделья; лекарство же против него – приличный и постоянный труд. Она только что сообщила мне, будто в аду носят кружева; и так как она должна уметь плести их, пусть никогда не выпускает из рук эту работу, потому что, занятая перебиранием своих коклюшек, она не будет перебирать в своем уме сражения или изображения тех, о которых она издыхает. Вот в чем истина, вот мое мнение, вот мой совет.

– А также и мой совет, – добавил Санчо, – потому что во всю мою жизнь я никогда не видел кружевницы, которая бы умерла от любви, так как трудящиеся девушки больше озабочены тем, как бы им кончить свою работу, чем мыслями о любви. Говорю это по собственному опыту, потому что, пока я копаю землю, я не вспоминаю о моей душеньке, я хочу сказать о моей Тересе Панса, которую я люблю более зеницы глаз моих.

– Вы очень хорошо сказали, Санчо, – заявила герцогиня, – и я отныне впредь засажу мою Алтисидору за какие-нибудь белошвейные работы, которые она умеет делать в совершенстве.

– Нет причины, сеньора, прибегать к этому лекарству, – ответила Алтисидора, – так как мысль о том, с какой жестокостью этот злой бродяга обращался со мной, изгонит его из моей памяти без всякой другой затеи. И я прошу позволения вашего высочества удалиться отсюда, чтобы я не видела перед моими глазами, я

¹ Intonso – длинноволосых, лохматых, а также необразованных, ничему неучившихся.

не говорю его *печального образа*, а уродливой, отвратительной фигуры.

– Это напоминает мне, – сказал герцог, – то, что принято говорить: кто сильно бранит, тот скоро простит.

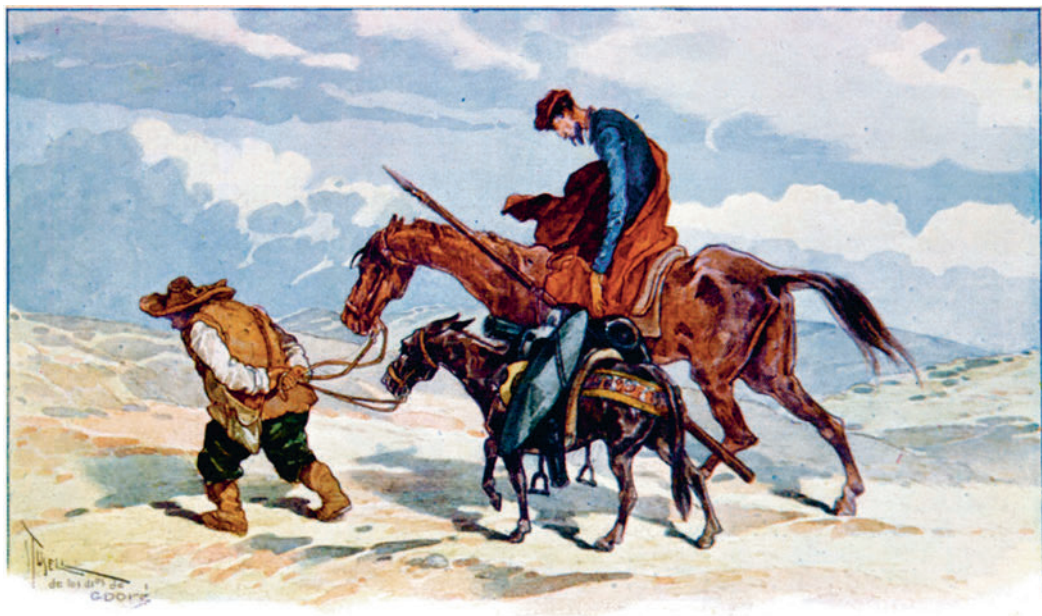
Алтисидора сделала вид, будто вытирает слезы платком, и, сделав реверанс господину и госпоже своей, вышла из комнаты.

– Бедная девушка, – сказал Санчо, – горе тебе, горе тебе, говорю я, так как ты имела дело с душой из камыша и сердцем из дубового дерева! По чести, если б ты имела его со мной, иного рода петух запел бы для тебя¹.

Разговор кончился; Дон Кихот оделся, обедал с герцогской четой и уехал в тот же вечер.



¹ Otro gallo te cantara – общепотребительное выражение.



Глава LXXI

О том, что случилось с Дон Кихотом и его оруженосцем по дороге в их деревню.

Нобежденный и утомленный дорогой Дон Кихот ехал очень грустный по одной причине и очень веселый по другой. Грусть его была вызвана его поражением, а веселость — мыслью о чудесной силе Санчо, которая была проявлена в деле воскрешения Алтисидоры, хотя он с некоторой неохотой старался убедить себя, что влюбленная девушка действительно умерла. Санчо же ехал, нимало не веселый, так как его огорчало то, что Алтисидора не сдержала своего обещания подарить ему рубашки, и, думая и передумывая об этом, он сказал своему господину:

— По правде говоря, сеньор, я самый несчастный из всех докторов, какие только есть на свете. Ведь, обыкновенно, врачи, даже уморив больного, которого лечили, желают, чтобы им заплатили за

их труд, а состоит он лишь в том, что они ставят подпись на клочке бумаги для лекарьства, которое готовят-то не они, а аптекарь, и вот вам и весь сказ; а мне, которому чужое здоровье стоит пощечин, щипков, уколов булавками, каплей крови и ударов бичом, мне не платят ни гроша. Но я клянусь: если мне дадут на руки другого какого-нибудь больного, прежде, чем я его вылечу, придется мне подмазать руки, потому что поп тем и живет, что обеднею поест, и я не могу верить, чтобы небо одарило меня обладаемой мною чудесной силой, для сообщения ее другим так себе, ни за что ни про что, даром.

— Ты прав, Санчо друг, — сказал Дон Кихот, — и Алтисидора поступила очень дурно, не дав тебе обещанных ею рубашек; и хотя сила, которою ты обладаешь, была тебе *gratis data*¹, так как она не стоила тебе никакой науки, но больше науки

¹ Даром дана.

то, что тело твое претерпело мученичество. Относительно меня могу сказать тебе: если бы ты желал получить плату за свое бичевание для снятия чар с Дульсинеи, я дал бы тебе что следует; но не знаю, хорошо ли подойдет плата для лечения, и я не желал бы, чтобы вознаграждение помешало целительной силе лекарства. Тем не менее, мне кажется, что, попытав, мы ничего не потеряем. Скажи, Санчо, сколько ты желал бы получить, и тотчас же начни бичевать себя и заплати себе чистоганом и из собственных рук, так как мои деньги у тебя.

Услышав это предложение, Санчо, широко на целую пядь раскрыл глаза и уши, дал в душе согласие добровольно бичевать себя и сказал своему господину:

– Хорошо, сеньор, я готов удовлетворить вашу милость в том, что вы желаете, и желаете к моей выгоде, так как любовь к моим детям и моей жене заставляет меня казаться корыстолюбивым. Скажите мне, ваша милость, сколько вы мне дадите за каждый удар, который я себе нанесу?

– Если бы я должен был вознаграждать тебя, Санчо, – сказал Дон Кихот, – сообразно с тем, что заслуживает величина и значительность этого лечения, ни сокровищ Венеции, ни россыпей Потаси не было бы достаточно, чтобы заплатить тебе. Прими в расчет то, что у тебя есть из моих денег, и назначь цену каждому удару.

– Всего ударов, – ответил Санчо, – три тысячи триста с чем-то; из них я уже нанес себе пять, а все остальное за мной. Пусть эти пять ударов войдут в число с «чем-то», и давайте говорить о трех тысячах и трехстах ударах. Если считать по куартильо¹ за каждый удар – а меньше я

не возьму, хотя бы и весь мир настаивал на том – это составит три тысячи триста куартильос, или три тысячи куартильос будет тысяча пятьсот полуреалов, которые составят семьсот пятьдесят реалов, а за триста ударов выйдет сто пятьдесят полуреалов, или семьдесят пять реалов. Прибавив их к первым семистам пятидесяти, выйдет общий итог восемьсот двадцать пять реалов. Эту сумму я возьму из тех денег вашей милости, которые имеются у меня, и вернусь к себе домой богатый и довольный, хотя и сильно избитый, потому что *нельзя поймать форели*²... больше ничего не скажу.

– О, благословенный Санчо! О, милейший Санчо, – воскликнул Дон Кихот, – как оба мы, Дульсинея и я, сочтем себя обязанными служить тебе весь остаток жизни нашей, который нам дарует небо! Если ей будет возвращен прежний ее вид (потому что невозможно, чтобы он не был возвращен ей), ее несчастье окажется счастьем и мое поражение – величайшим торжеством. Но скажи, Санчо, когда думаешь ты приняться за бичевание, так как, если ты поторопишься с ним, я прибавлю тебе сто реалов.

– Когда? Непременно сегодня ночью, – сказал Санчо. – Устройте лишь так, ваша милость, чтобы мы провели ее в поле, под открытым небом, и я растерзаю себе свое тело.

Наступила ночь, которой Дон Кихот ждал с величайшей тревогой в мире, так как ему казалось, что в колеснице Аполлона сломаны колеса и день длиннее обыкновенного, точь-в-точь, как это бывает с влюбленными, которые никак не могут согласовать время со своими желаниями. Наконец, они очутились среди прекрасных деревьев, стоявших

¹ Cuartillo – четверть реала.

² No se toman truchas – а bragas enjutas – вся поговорка, из которой Санчо приводит лишь половину: – «не поймаешь форели, не замочив штанов».

несколько в стороне от большой дороги, где, сняв седло с Росинанта и вьюк с Серого, они растянулись на зеленой траве и поужинали из запасов Санчо. Смастерив из узды Росинанта и недоуздки Серого крепкий и гибкий бич, Санчо отошел шагов на двадцать от своего господина по направлению к нескольким буковым деревьям. Видя, с какой решимостью и твердостью он уходит, Дон Кихот сказал ему:

– Смотри, друг, не избежь себя вдребезги; делай промежуток между одним и другим ударом; не спеши так сильно дойти до конца пути, чтобы в середине дороги у тебя не захватило дыхания; я хочу сказать, не принимайся за дело так ретиво, чтобы лишиться жизни прежде, чем ты не дойдешь до требуемого числа ударов. И чтобы ты не проиграл игру из-за одной карты больше или меньше, я буду стоять в стороне и считать на этих моих четках удары бичом, которые ты будешь наносить себе. Пусть небо покровительствует тебе, как того заслуживает доброе твое намерение.

– Хорошего плательщика не требует внесенный им залог, – ответил Санчо; – я думаю так нанести себе удары, чтобы мне было больно, но чтобы я не убил себя, в чем и должна состоять суть этого чуда.

Он тотчас же обнажил себя до пояса и, схватив бич, стал наносить удары, а Дон Кихот принялся считать их. Около шести или восьми ударов нанес себе Санчо, когда шутка показалась ему тяжелой, а цена за нее очень дешевой; итак, остановившись немного, он сказал своему господину, что ошибся, потому что каждый из таких ударов должен быть оценен в полреала, а не в четверть.

– Продолжай, Санчо друг, и не падай духом, – сказал Дон Кихот, – потому что я удваиваю ставку.

– В таком случае, – заявил Санчо, – отдаю себя в руки Божьи и пусть сыплются удары!

Однако он перестал наносить их себе по спине, а хлопал по деревьям, но время от времени он так стонал, что, казалось, с каждым из этих стонов у него вырывалась душа из тела. И так как у Дон Кихота она была нежная, то опасаясь, чтобы Санчо не лишился жизни, и, вследствие его неосторожности рыцарь не лишился бы возможности достигнуть цели своих желаний, он сказал:

– Заклинаю тебя жизнью, друг, пусть дело пока остановится на этом, потому что лекарство мне кажется слишком суровым, и было бы хорошо принимать его лишь время от времени: ведь и Самора не была взята в один час. Ты, если я верно считал, нанес себе уже более тысячи ударов и этого пока достаточно, так как, говоря попросту, осел несет нагрузку, но не перегрузку.

– Нет, нет, сеньор, – ответил Санчо, – пусть про меня не скажут: деньги получил и руки отрубил. Отойдите опять немного, милость ваша, и дайте мне нанести себе еще хоть тысячу ударов, потому что в два приема мы покончим с делом, и у нас еще останется излишек.

– Если ты в столь прекрасном расположении, – сказал Дон Кихот, – да поможет тебе небо; делай свое дело, а я отойду.

Санчо вернулся к своему занятию со столь великим рвением, что он уже со многих деревьев содрал кору, до того беспощадно он наносил себе удары; наконец, возвысив голос и нанеся чудовищный удар по буковому дереву, он воскликнул: – Здесь умрет Самсон и все кто с ним. – Дон Кихот тотчас же прибежал на звук этого жалобного крика и на удар безжалостной плети и, схватив скрученный недоуздок, служивший Санчо бичом, сказал:



– Заклинаю тебя жизнью, друг, пусть дело пока остановится на этом, потому что лекарство мне кажется слишком суровым...

– Да не допустит судьба, Санчо друг, чтобы ради моего удовольствия ты лишился жизни, столь необходимой для пропитания твоей жены и детей твоих. Пусть Дульсинея подождет лучшего случая, потому что я буду держаться в пределах близкой надежды и подожду, чтобы ты собрался с новыми силами для окончания этого дела ко всеобщему удовольствию.

– Если милость ваша, сеньор мой, этого желаете, – ответил Санчо, – пусть так и будет; и накиньте мне на плечи ваш плащ: я весь в поту, и не хотел бы простудиться; так как впервые бичующиеся подвергаются этой опасности.

Дон Кихот так и сделал и, оставшись сам в одном камзоле, прикрыл своим плащом Санчо, который проспал до тех пор, пока его не разбудило солнце: и тогда они продолжали свой путь, который закончили на этот день в местечке, находившимся оттуда на расстоянии трех миль. Они спешили у гостиницы, каковой ее и признал Дон Кихот, а не замком с глубокими рвами, башнями, спускными решетками и подъемными мостами, потому что после поражения он судил о всех вещах с большим благоразумием, как о том и будет сообщено теперь. Его поместили в комнате внизу, где вместо кожаных занавесей¹ виднелась старая разрисованная саржа, как это в обычае в деревнях. На одной из этих занавесей было в высшей степени грубо намалевано от руки похищение Елены, когда смелый гость увез ее от Менелая; а на другом куске саржи была изображена история Дидоны и Энея; Дидона стояла на высокой башне и как бы махала полпростыней убегающему гостю, который уплывал по морю на фрегате или бриган-

тине. На двух этих картинах, можно было рассмотреть, что Елена идет не очень-то неохотно, потому что она улыбалась исподтишка и плутовски, но красивая Дидона, по-видимому, роняла из глаз слезы величиною с грецкий орех. Увидав это, Дон Кихот сказал:

– Эти две сеньоры были донельзя несчастны тем, что родились не в этот век, а я несчастнее всех, так как родился не в их век, потому что, если бы я встретился с Парисом и Энеем, ни Троя не была бы сожжена, ни Карфаген не был бы разрушен, так как одним тем, что я убил бы Париса, можно было бы избежать всех этих несчастий.

– Готов биться о заклад, – сказал Санчо, – что уже в скором времени не окажется ни одной питейной, ни одного постоянного двора, трактира или цирюльни, где бы не увидели намалеванными рисунков из истории наших подвигов. Но я желал бы, чтобы их расписали руки иного, лучшего живописца, чем тот, который намалевал эти картины.

– Ты прав, Санчо, – сказал Дон Кихот, – так как этот художник похож на Орбанеха, живописца, жившего в Убеде, и который, когда его спросили, что он рисует, ответил: *то, что выйдет*; и если случайно он рисовал петуха, то подписывал под ним: – *Это петух*, чтоб не думали что это лисица. В таком же роде, Санчо, должен быть, как кажется, живописец или писатель, – потому что это одно и то же, – издавший в свет недавно вышедшую историю нового Дон Кихота, – намалевавший или написавший то, что выйдет; или, быть может, он похож на поэта, в былые года бывавшего при дворе, по имени Маулеон, ко-

¹ *Guadameciles* называлось нечто в роде драпри из золоченой кожи, введенных в употребление в Испанию маврами, и образчики которых еще можно видеть в некоторых старых домах и теперь.

торый мгновенно отвечал на все, что у него спрашивали, и когда у него кто-то спросил, что значит *Deum de Deo*¹, он ответил: *De donde diere*². Но оставив это в стороне, скажи мне, Санчо, намерен ли ты снова нанести себе град ударов этой ночью и желаешь ли, чтобы это произошло под крышей или под открытым небом?

– Ей, ей, сеньор, – ответил Санчо, – что касается тех ударов, которые я намерен нанести себе, это может быть сделано одинаково, как под крышей, так и в поле хотя, тем не менее, я бы предпочел, чтоб это случилось под деревьями, потому что мне кажется, что они как бы товарищи мне и удивительно помогают переносить мое мученье.

– Нет, это не должно быть так, Санчо друг, – ответил Дон Кихот, – а чтобы ты набрался сил, отложим это до времени прибытия в нашу деревню, куда мы приедем самое позднее послезавтра.

Санчо ответил, пусть будет, как угодно его господину, но что он с своей стороны хотел бы покончить все дело сгоряча, и пока мельница в ходу, так как в промедлении часто кроется опасность, и Бога проси, а молотком стучи, и одно *бери* лучше двух *я дам тебе*, и воробей в руке лучше сокола на лету.

– Довольно пословиц, Санчо, ради единого Бога, – сказал Дон Кихот; – потому что, кажется, ты возвращаешься к *sicut erat*³; говори ясно, просто, не запутанно, как я часто советовал тебе, и ты увидишь, как один хлеб покажется тебе за сто.

– Не знаю, что за несчастье мое такое, – ответил Санчо, – потому что я не умею сказать ничего рассудительного без пословицы и нет той пословицы, которая бы мне не казалась рассудительной. Но я исправлюсь, если могу.

И на этом разговор их кончился в тот раз.



¹ Божье от Бога.

² Пусть даст, где хочет дать.

³ Как было в начале.



Глава LXXII

О том, как Дон Кихот и Санчо прибыли в свою деревню.

Весь тот день Дон Кихот и Санчо провели в этой деревне и гостинице, ожидая ночи, один, чтобы в открытом поле покончить дело своего бичевания, другой, чтобы увидеть его завершенным, в чем состояло исполнение его желаний. Между тем к гостинице подъехал путешественник, верхом, с тремя или четырьмя слугами, и из них один сказал тому, который, по-видимому, был их господином:

– Здесь вы, милость ваша, сеньор дон Альваро Тарфе, можете держать сегодня сиесту: гостиница кажется чистой и прохладной.

Услышав это, Дон Кихот сказал Санчо:

– Слушай, Санчо, когда я перелистывал ту книгу, заключающую в себе вторую часть моей истории, мне кажется, что я там мельком встретил имя дона Альваро Тарфе.

– Очень может быть, – ответил Санчо, – дайте ему сойти с лошади и потом мы спросим его об этом.

Всадник спешил, и хозяйка гостиницы отвела ему в нижнем этаже комнату напротив комнаты, занимаемой Дон Кихотом, и украшенную тоже разрисованной саржей, подобной той, которая была в комнате Дон Кихота. Только что приехавший кабальеро переоделся в летнее платье и, выйдя в галерею гостиницы, где было просторно и прохладно и где прогуливался Дон Кихот, он спросил его:

– Куда лежит путь вашей милости, сеньор кабальеро?

И Дон Кихот ответил ему:

– В деревню здесь поблизости, откуда я родом. А вы, милость ваша, куда вы направляетесь?

– Я, сеньор, – ответил кабальеро, – еду в Гранаду; это моя родина.

– И хорошая родина, – заявил Дон Кихот, – но скажите мне, милость ваша,

из учтивости ваше имя, потому что мне кажется, что для меня это более важно знать, чем я могу сказать вам.

– Имя мое – дон Альваро Тарфе, – ответил приезжий.

На это Дон Кихот сказал:

– В таком случае я думаю, что милость ваша, без сомнения, тот дон Альваро Тарфе, который пропечатан во второй части истории Дон Кихота Ламанчского, недавно изданной и выпущенной в свет современным автором.

– Я тот самый, – ответил кабальеро, – а упомянутый Дон Кихот, главное действующее лицо этой истории, был лучшим моим другом, и я вывез его из его местечка или, по крайней мере, убедил отправиться на турниры, происходившие в Сарагосе, куда и я направлялся; и право, я много выказал ему дружбы и спас от того, чтобы палач не отшлепал его по плечам за чрезмерную его дерзость.

– Скажите мне, милость ваша, сеньор дон Альваро, похож ли я в чем-либо на того Дон Кихота, о котором вы говорите?

– Конечно, нет, – ответил проезжий, – решительно ни в чем.

– А этот Дон Кихот, – спросил рыцарь, – имел при себе оруженосца, по имени Санчо Панса?

– Да, имел, – ответил дон Алваро, – хотя о нем шла слава, будто он большой шутник, но я никогда не слышал, чтобы он сказал что-либо забавное.

– Этому я легко поверю, – вмешался Санчо; – потому что не всякому дано быть остроумным. Тот Санчо, о котором говорите вы, милость ваша, сеньор дворянин, должно быть, какой-нибудь величайший плут, олух, а также и вор, потому что настоящий Санчо – я, и у меня большее изобилие шуток, чем с неба льется дождя. А если сомневаетесь, пусть милость

ваша сделает опыт и походите сзади меня по крайней мере год, и вы увидите, что я роняю их на каждом шагу, таких шуток и столь много, что часто и сам не знаю, почему то, что я говорю, заставляет смеяться всех, кто слушает меня. А настоящий Дон Кихот Ламанчский, знаменитый, доблестный, умный, влюбленный исправитель зла, хранитель малолетних и сирот, опора вдов, губитель девушек, тот, у кого лишь одна владычица дум, несравненная Дульсинея Тобосская, – этот вот сеньор, присутствующий здесь, и он мой господин. Всякий, какой бы то ни был другой Дон Кихот, и всякий, какой бы то ни был другой Санчо Панса, лишь скоморошество и вздор.

– Клянусь Богом, я этому верю, – ответил дон Альваро, – потому что вы, друг, наговорили больше забавных вещей в четырех сказанных вами словах, чем другой Санчо Панса во всем, что я от него слышал, а слышал я немало. Он был скорей обжора, чем красноречивый говоруна, и скорее тупица, чем шутник; и я не сомневаюсь, что волшебники, преследующие хорошего Дон Кихота, имели в виду преследовать меня дурным Дон Кихотом. Но не знаю, что сказать, так как я мог бы поклясться, что оставил его в Caso del Nuncio¹ в Толедо, чтобы его там лечили, а теперь здесь выступает другой Дон Кихот, хотя и очень несходный с моим.

– Я, – сказал Дон Кихот, – не знаю, хорош ли я, но могу сказать, что я не дурен. В доказательство этого я хочу, чтобы вы, милость ваша, сеньор дон Альваро Тарфе, знали, что во всю мою жизнь я не был никогда в Сарагосе; напротив, после того, как я услышал, что этот фантастический Дон Кихот участвовал в турнирах в этом городе, я не захотел ехать туда, чтобы выяснить перед лицом всего света

¹ Caso del Nuncio, в Толедо, была больница для сумасшедших, названная так в честь основателя, Франсиско Ортиса, папского нунция, выстроившего ее в 1483 г.

его ложь; итак, я открыто проехал в Барселону – хранилище учтивости, убежище иностранцев, гостеприимный кров бедных, отчизну храбрых, мщение обиженных, приятное местопребывание искренней дружбы, – город, по местоположению и красоте единственный. И хотя события, случившиеся со мной в этом городе, не принесли мне много удовольствия, а скорее много горя, я претерпел их, не сетуя только потому, что видел Барселону. Словом, сеньор дон Альваро Тарфе, я Дон Кихот Ламанчский, тот самый, о котором трубит молва, а не этот несчастный, что захотел похитить мое имя и тщеславиться моими мыслями. Умоляю вашу милость, во имя обязанности кабальеро, не будете ли вы столь добры сделать заявление перед алькальдом этого местечка о том, что милость ваша не видела меня во всю свою жизнь до настоящего дня, и что я не Дон Кихот, пропечатанный в той второй части, и этот Санчо Панса, мой оруженосец, не тот, которого знала ваша милость.

– Сделаю это с величайшей охотой, – ответил дон Альваро, – хотя я очень удивлен видеть двух Дон Кихотов и двух Санчо, в одно и то же время столь же схожих по имени, насколько они различны по поступкам; и я говорю опять и утверждаю, что не видел того, что видел, и со мной не случилось того, что случилось.

– Без сомнения, – сказал Санчо, – милость ваша должна быть очарована, подобно тому, как и сеньора моя Дульсинея Тобосская, и если бы небу было угодно, чтобы снятие чар с вашей милости зависело от того, чтобы я нанес себе еще три тысячи с чем-то ударов бичом, как я наношу их себе ради нее, я сделал бы это для вас без всякой корысти.

– Не понимаю, что это за удары бичом, – сказал дон Альваро, а Санчо ответил, что это длинная история, но он

расскажет ее ему, если, быть может, они поедут по одной и той же дороге.

Между тем настал час обеда, и Дон Кихот и дон Альваро пообедали вместе. Случайно в гостиницу вошел местный алькальд с нотариусом, и Дон Кихот представил алькальду прошение, в котором излагалось, что его интересы требуют, чтобы дон Альваро Тарфе, кабальеро, находящийся здесь налицо, заявил в присутствии его милости, что он не знает Дон Кихота Ламанчского, тоже находящегося налицо, и это не тот, о котором пропечатано в истории озаглавленной: *Вторая часть Дон Кихота Ламанчского*, сочинение некоего Авелланеда родом из Тордесильяса. Одним словом, алькальд повел дело судебным порядком; заявление было сделано с соблюдением формальностей, требуемых в подобных случаях, чем Дон Кихот и Санчо остались очень довольны, как будто подобное заявление имело для них весьма важное значение, и как будто их поступки и речи не доказывали ясно разницу между двумя Дон Кихотами и двумя Санчо. Дон Альваро и Дон Кихот обменялись многочисленными любезностями и предложениями услуг, и великий Ламанец выказал такую рассудительность, что вывел дону Альвару из заблуждения, в котором тот находился, полагая, что, должно быть, он очарован, так как он встретился с двумя столь противоположными Дон Кихотами. Настал вечер, они уехали из этого местечка и, проехав около полмили, приехали к перекрестку, откуда расходились две дороги – одна вела в деревню Дон Кихота, а по другой надо было ехать дону Альвару. Во время этого короткого переезда Дон Кихот рассказал и о несчастьи своего поражения, и об очаровании Дульсинеи, и о средстве снять с нее чары, и все это повергло дону Альваро в новое удивление и, обняв Дон



– Открой глаза, желанная родина, и взгляни на Санчо Пансу...

Кихота и Санчо, дон Альваро продолжал свой путь, а Дон Кихот свой.

Эту ночь он провел под деревьями, чтобы дать Санчо удобный случай выполнить свою эпитамию, которую тот и выполнил точно таким же образом, как и в прошлую ночь, — за счет коры буковых деревьев куда больше, чем за счет своей спины, которую он так заботливо оберегал, что удары плетью не согнали бы с нее и мухи, если б она сидела там. Обманутый Дон Кихот не пропустил ни одного удара в счете своем и нашел, что вместе с ударами прошедшей ночи они дошли до трех тысяч двадцати девяти. Казалось, что солнце поспешило встать раньше, чтобы видеть жертвоприношение¹, и при свете его они снова пустились в путь, разговаривая друг с другом о заблуждении дона Альваро и о том, как они хорошо придумали взять с него заявление перед судом и столь достоверное. Весь тот день и вечер пропутешествовали они, и с ними не случилось ничего такого, о чем стоило бы рассказывать, за исключением того, что этой ночью Санчо dokonчил взятую им на себя задачу, чем Дон Кихот был безмерно доволен и ждал наступления дня, чтобы видеть, не встретит ли он по дороге Дульсинею, свою сеньору, уже избавленной от чар; и в продолжение всего своего пути он не встречал ни одной женщины, чтобы не подойти и не посмотреть, не Дульсинея ли это Тобосская, будучи твердо уверен, что обещания Мерлина не могут быть лживы. С этими мыслями и желаниями они поднялись на вершину холма, откуда увидели свою деревню, и, увидев ее, Санчо встал на колени и воскликнул:

— Открой глаза, желанная родина, и взгляни на Санчо Пансу, вернувшегося

к тебе, если и не очень богатым, то очень избитым плетью. Открой объятия твои и прижми также и сына твоего Дон Кихота, который, если он и был побежден чужой рукой, возвращается, победив самого себя, что, судя по его словам, сказанным мне, и есть величайшая победа, которой только можно желать. Деньги я везу, потому что, если меня отменно наказали плетью, зато я важно проехался верхом².

— Брось эти нелепости, — сказал Дон Кихот, — и пойдем правой ногой вперед³ в наше село, и там мы дадим простор нашим мечтам и придумаем план пастушеской жизни, которую мы намерены вести.

С этими словами они спустились с холма и направились к своему местечку.



¹ Т.е. буковых деревьев.

² Этими словами Санчо начинает письмо к жене в главе XXXVI.

³ Войти куда-нибудь правой ногой вперед считалось нужным, чтобы иметь удачу.



Глава LXXIII

О предзнаменованиях, встреченных Дон Кихотом при выезде в его деревню, и о других происшествиях, которые украшают и придают достоверность этой великой истории.

Нри въезде в деревню, как сообщает Сид Амет, Дон Кихот увидел, что на деревенском гумне ссорятся два мальчика, и один из них говорит другому:

– Не беспокойся, Перекильо, потому что ты не увидишь ее во все дни своей жизни.

Дон Кихот услышал это и сказал Санчо:

– Не заметил ты, друг, что сказал этот мальчик – ты не увидишь ее во все дни своей жизни?

– Ну, хорошо, – ответил Санчо, – что же в том, что мальчик это сказал?

– Что? – возразил Дон Кихот. – Не видишь ты разве, что, применив эти слова к моим желаниям, они должны означать, что я больше не увижу Дульсины?

Санчо собирался ответить, но ему помешал заяц, бежавший по полю, преследуемый многими борзыми и охотниками, который в страхе бросился искать убежища и хотел спрятаться под ногами Серого. Санчо поймал его руками живого и подал Дон Кихоту, который говорил: *Malura signum, malum signum*¹: заяц бежит, борзые преследуют его, Дульсиня не появляется!

– Ваша милость очень странно смотрит, – сказал Санчо; – предположим, что этот заяц – Дульсиня Тобос-

¹ Дурной знак.

ская, и эти борзые, которые преследуют ее, злые волшебники, превратившие ее в крестьянку. Она бежит; я ловлю ее и передаю во власть вашей милости, которая держит ее в своих объятиях и ласкает. Что же это за дурной знак, и какое дурное предзнаменование можно вывести из этого?

Два мальчика, что ссорились, подошли посмотреть на зайца, и у одного из них Санчо спросил, из-за чего они повздорили. И тот, который сказал: *«Ты не увидишь ее больше во все дни твоей жизни»*, ответил, что он отнял у другого мальчика клетку со сверчками и не намерен вернуть ему ее во всю его жизнь, Санчо достал из кармана четыре куартоса¹, отдал их мальчику за клетку и передал ее в руки Дон Кихота, говоря:

– Вот, сеньор, устранены и уничтожены эти предзнаменования, которые имеют к делам нашим такое же отношение, – поскольку я это представляю себе, хотя я и глуп, – как и к прошлогодним облакам. И если мне не изменяет память, я слышал, как местный наш священник говорил, что не подобает христианам и рассудительным людям обращать внимание на такие ребячества; и даже вы сами, милость ваша, говорили мне это в былые дни, дав мне понять, что все те христиане, которые придают значение предзнаменованиям – глупцы; и нет надобности больше останавливаться на этом, а двинемся вперед и въедем в нашу деревню.

Охотники подъехали, прося отдать им их зайца, что Дон Кихот и сделал. Господин и слуга поехали дальше и при въезде в деревню встретили на малень-

ком дугу священника и бакалавра Карраско с молитвенниками в руках. Надо знать, что Санчо Панса накинул на Серого и на связку с доспехами в виде попоны одесье из клеенки, разрисованное ярким пламенем, в которое его облекли в замке герцога в ночь, когда Алтисидора снова ожила. Он приладил также и митру к голове осла, что было самым странным превращением и украшением, в которых когда-либо видел себя на свете осел. Священник и бакалавр тотчас же узнали обоих и пошли им навстречу с открытыми объятиями. Дон Кихот спешился и крепко обнял их; а мальчишки с их рысьими глазами, от которых ничего не скрывается, заметили митру на осле, прибежали посмотреть на нее и говорили друг другу:

– Идите, мальчики, и вы увидите осла Санчо Пансы более нарядным, чем Минго², а лошадь Дон Кихота, еще более тощей, чем прежде.

Наконец, окруженные мальчиками и сопровождаемые священником и бакалавром, они въехали в город и направились к дому Дон Кихота, и здесь, у дверей они увидели ключницу и племянницу рыцаря, до которых уже дошла весть о его приезде. Дошла она также и до Тересы Панса, жены Санчо, которая с растрепанными волосами и наполовину голая, ведя за руку Санчику, дочь свою, прибежала взглянуть на мужа и, увидав его не так хорошо снаряженным, как по ее мнению должен был выглядеть губернатор, она сказала ему:

– Как это вы так возвращаетесь, муж мой? Мне кажется, вы идете пешком и разбиты на ноги, и скорей похо-

¹ Четверть реала.

² Mas galan que Mingo – общеупотребительное выражение, проистекающее из первых строк «Coplas Mingo Revulgo», – A Mingo Revulgo, Mingo, A Mingo Revulgo, hao, Que es de tu sayo deblao? No le viste en domingo? Que es de tu jubón bermejo? Эй, Минго Ревульго, что стало с твоей синей рубахой? Не носишь ты ее по воскресеньям? Где твоя малиновая куртка?

жи на высланного из губернии, а не на губернатора.

– Молчи, Тереса, – ответил Санчо, – часто бывают крюки там, где нет окороков, и отправимся к себе домой, где ты услышишь чудеса. Я привез с собой деньги, что и есть самое главное, добытые моим трудом и без ущерба кому бы то ни было.

– Несите ваши деньги, мой добрый муж, – сказала Тереса, – добыты ли они тем или иным путем, потому что, как бы вы их ни добыли, вы не внесли нового обычая в мир.

Санчика обняла своего отца и спросила, не привез ли он ей чего-нибудь, потому что она его ждала, как майского дождя; и она обняла отца одной рукой за талию, жена взяла его с другой стороны за руку, и Санчика ведя еще в поводу Серого, они отправились к себе домой, оставив Дон Кихота в его доме во власти его ключницы и его племянницы и в обществе священника и бакалавра. Дон Кихот, не выжидая другого случая и времени, тотчас же увел в сторону священника и бакалавра и в кратких словах рассказал им о своем поражении, о взятом им на себя обязательстве не выезжать из своей деревни в течение года, обязательстве, которое он намерен точно выполнить, не отступая от него ни на йоту, как это подобает странствующему рыцарю, подчиненному строгим правилам и уставу странствующего рыцарства. Рассказал он также и то, что придумал сделаться пастухом на этот год и искать развлечения в уединение полей, где ему можно будет дать полную свободу своим любовным мечтам, занимаясь добродетельной пастушеской профессией. И он их умоляет, если они не очень заняты, и им не мешают более важные дела, дать согласие быть его товарищами, так как он купит овец и ста-

до в достаточном количестве для того, чтобы они могли назваться пастухами; и он может сообщить им, что самое главное в этом деле сделано, потому что он придумал им имена, которые подойдут к ним, как вылитые. Священник попросил, чтобы он их сказал им. Дон Кихот ответил, что он сам будет называться пастухом Кихотисом, бакалавр – пастухом Каррасконом, священник – пастухом Куриамбро, и Санчо Панса – пастухом Пансино. Все были поражены этим новым безумием Дон Кихота; но, чтобы он снова не уехал из села в свои рыцарские странствования, и надеясь, что его удастся излечить в течение этого года, они согласились на милую его затею и восхваляли безумие его, словно это была умная мысль, предлагая ему себя в товарищи в новой его профессии.

– И тем более, – сказал Сансон Карраско, – что, как теперь уже всему свету известно, я – знаменитейший поэт и на каждом шагу буду сочинять пастушеские или придворные стихи или какие мне придут в голову, чтобы мы развлекались в этих отдаленных, уединенных местах, где нам предстоит скитаться; но что всего необходимее, сеньоры мои, это чтобы каждый из нас избрал имя пастушки, которую он намерен прославлять в своих стихах, и чтобы мы не пропустили ни одного дерева, как бы крепко оно ни было, на котором не оказалось бы вписанным и врезанным имя ее, как это принято и в обычае у влюбленных пастухов.

– В этом как раз самая суть дела, – ответил Дон Кихот, – хотя лично мне нет надобности приискивать имя воображаемой пастушки, потому что здесь у меня несравненная Дульсинея Тобосская, слава побережья этих рек, украшение этих лугов, поддержка красоты, сливки изящества и, наконец, объ-

ект, на котором может сосредоточиться всякая похвала, как бы она ни была гиперболична.

– Это правда, – сказал священник, – но что касается нас, мы поищем здесь пастушек, умеющих применяться, и, если они не будут нам соответствовать, мы дадим им отставку¹.

К этому Сансон Карраско добавил:

– И если б у нас не хватило имен, мы им дадим имена, которыми в печати и книгах полон свет: Филида, Амарилис, Диана, Флерида, Галатея и Белизарда, которых, так как их продают на базарах, мы отлично можем купить и считать своей собственностью. Если бы моя дама сердца, или, вернее, моя пастушка, случайно называлась бы Ана, я буду воспевать ее под именем Анарды, а если б она называлась Франсиска, я ее назову – Франсения, если Люсия – Люсинда, потому что все сводится к этому. А Санчо Панса, если он вступит в это братство, может воспевать свою жену Тересу Панса под именем Тересаина.

Дон Кихот рассмеялся над изменением имени, и священник донельзя восхвалял его целомудренное и почтенное решение и снова предложил ему себя в товарищи на все время, остающееся у него свободным от его необходимых обязанностей. На этом собеседники распростились с ним, советуя и настаивая, чтобы он позаботился о своем здоровье и ел бы полезную для него пищу.

Судьбе было угодно, чтобы племянница и ключница слышали разговор этих трех, и лишь только священник и

бакалавр ушли, они обе вошли к Дон Кихоту и племянница сказала ему:

– Что это такое, дядя? – Теперь, когда мы думали, что ваша милость вернулась, чтобы оставаться дома и вести спокойную, приличную жизнь, вы хотите запутаться в новых лабиринтах и сделаться *пастушек, ты пришел, пастушек, ты ушел*². Но, право, пшеничная солома уже слишком стара, чтобы делать из нее дудки³.

А ключница добавила к этому:

– И будете ли вы в состоянии, милость ваша, переносить в поле летний послеобеденный зной, зимние холодные вечера и вой волков? Конечно нет, так как это должность и занятие для людей сильных, приученных и воспитанных в таком труде почти с пеленок; и если выбирать из двух зол, то уже лучше быть странствующим рыцарем, чем пастухом. Вот что, сеньор, послушайтесь моего совета, потому что даю я его вам, не пресытившись хлебом и вином, а натошак, да и лет мне больше пятидесяти, – живите дома, занимайтесь своим хозяйством, исповедуйтесь почаще, делайте добро бедным; и пусть грех падет на мою душу, если с вами приключится что-либо дурное.

– Тише, дочки, – ответил Дон Кихот, – я хорошо знаю, что мне следует делать: отведите меня в постель, так как мне кажется, что я не очень здоров; и будьте уверены, что, странствующим ли рыцарем или странствующим пастухом, я никогда не перестану помогать вам во всем, в чем у вас оказалась бы нужда, как вы это и увидите на деле.

¹ Si nonos cuadraren, nos esquinen – шутка священника, которую по-русски нельзя точно передать.

² Две строки из народного романса: Pastorcillo tu que vienes Pastorcico tu que vas.

³ Está ya duro el alcacer para Lamponas – деревенская пословица. Alcacer – зеленый еще стебель пшеницы, из которого мальчики в Испании обыкновенно делают себе дудки. Когда же стебель становится жестким, из него уже не выходит дудок.

И добрые дочери (так как они ими без сомнения и были), ключница и племянница, уложили его в постель, где они

ему дали поесть и ухаживали за ним, как только могли.





Глава LXXIV

О том, как Дон Кихот заболел, о завещании, сделанном им, и о его смерти.

Так как ничто человеческое не вечно и всегда клонит к закату от своего начала, пока не достигнет последнего своего предела, в особенности же человеческая жизнь; и так как Дон Кихоту не была дана небом привилегия задержать течение своей жизни, то конец и предел ее настали, когда он меньше всего думал об этом; потому что, вследствие ли огорчения, причиненного ему тем, что он был побежден, или же по воле неба, которое так постановило, им овладела лихорадка, продержавшая его в постели шесть дней, в течение которых часто посещали его друзья – священник, бакалавр и цирюльник, а Санчо Панса, добрый его оруженосец, не отходил от его изголовья. Предполагая, что его довело до такого состояния огорчение от мысли, что он был побежден, и неисполнение его желания относительно освобождения и снятия чар с Дульсинеи, друзья пытались всевозможными средствами

развеселить его. Бакалавр советовал ему скорей подбодриться и встать с постели, чтобы начать свою пастушескую жизнь, для которой он уже сочинил эклогу, и она заткнет за пояс все эклоги Саннасара¹, сколько бы их ни было у него; и он уже купил на собственные деньги двух великопных собак, чтобы сторожить стадо; одну зовут Барсино, а другую Буртрон, и продал их ему пастух из Кинтанара. Но все это не могло рассеять грусти Дон Кихота. Друзья его позвали доктора; тот пощупал ему пульс, остался не очень доволен им и сказал, что на всякий случай следует позаботиться о безопасности его души, так как тело его в опасности. Дон Кихот спокойно выслушал это, но зато ключница, племянница и оруженосец его принялись горько плакать, как будто они уже видели его перед собой мертвым. По мнению доктора, тоска и обманутые надежды убивают его. Дон Кихот попросил, чтобы его оставили одного, потому что он желает немного заснуть. Так и сделали, и он спал, как говорится,

¹ Якопо Саннасаро был знаменитый итальянский поэт эпохи Возрождения, он родился в 1458 и славился особенно своими пастушескими эклогами, которыми подражал Вергилию.

без просыпу более шести часов, так что ключница и племянница думали, что он скончается во сне. По прошествии указанного времени он проснулся и громким голосом воскликнул:

– Да будет благословен всемогущий Бог, оказавший мне такую великую милость! Действительно, его милосердия нет предела, и грехи людские не могут ни убавить, ни сократить этого Его милосердия.

Племянница внимательно прислушивалась к словам, сказанным ее дядей, и они показались ей более разумными, чем те, которые обыкновенно им говорились, по крайней мере, во время его болезни, и потому она спросила его:

– Что это вы, милость ваша, говорите? Нет ли чего нового? Что это за милосердие такое или какие это грехи людские?

– Я говорю о том милосердии, племянница, – ответил Дон Кихот, – которое Бог только что выказал мне и этому, как я сказал, не помешали мои грехи. Теперь мой разум свободен и ясен от мрачных теней невежества, которыми окутали его злосчастное и непрерывное чтение отвратительных рыцарских книг. Теперь я понял всю их нелепость, весь их обман, и жалею лишь о том, что понял все это слишком поздно, чтоб загладить ошибку свою, читая другие книги, могущие быть светом для души. Я чувствую, племянница, что смерть моя близка, и желал бы встретить ее так, чтобы все поняли, что жизнь моя не была столь плоха, чтобы за мной осталась слава сумасшедшего, так как, допустив, что я был им, мне бы не хотелось подтвердить это своей смертью. Позови мне, друг, моих добрых друзей: – священника, бакалавра Сансона Карраско и маэсе Николаса цирюльника, так как я желаю исповедоваться и сделать мое завещание.

Но от этого труда племянница была избавлена появлением всех трех. Едва Дон Кихот увидел их, как он сказал:

– Поздравьте меня, добрые сеньоры, с тем, что я уже не Дон Кихот Ламанчский, а Алонсо Кихано, которому за его поступки было дано прозвище *Доброго*. Теперь я уже враг Амадиса Галльского и всей бесконечной вереницы его потомков! Теперь мне уже ненавистны все нечестивые истории странствующего рыцарства, теперь уже я понимаю свое безумие и опасность, в которую меня повергло чтение их; благодаря милосердию Божьему, я теперь, наученный собственным опытом, чувствую к ним отвращение!

Когда все трое услышали эти его слова, они подумали, что, без сомнения, какое-нибудь новое безумие овладело им. И Сансон сказал ему:

– Теперь, сеньор Дон Кихот, когда мы получили известие, что чары сняты с сеньоры Дульсинеи, ваша милость заговорила вот как? И теперь, когда мы уж готовы сделаться пастухами, чтобы проводить жизнь свою, распевая как принцы, ваша милость желает быть отшельником? Замолчите, прошу вас жизнью нашей, придите в себя и бросьте эти рассказы.

– Те из них, – возразил Дон Кихот, – которые до сих пор, к ущербу моему, казались мне истиной, смерть моя с помощью неба обратит их мне на пользу. Я чувствую, сеньоры, что моя смерть быстро приближается, – отложите ваши шутки и приведите мне священника, который бы исповедовал меня, и нотариуса, чтобы он составил мое духовное завещание, потому что в такой крайности, как эта, человек не должен шутить шутки со своей душой. И поэтому я прошу вас, пока сеньор священник будет исповедовать меня, пошлите за нотариусом.

Они взглянули друг на друга, изумляясь словам Дон Кихота, и хотя они

еще сомневались, но были уже склонны поверить ему. Один из признаков, по которому они вывели заключение, что он умирает, было то, что он так легко вернулся от безумия к здравому рассудку, потому что к уже приведенным его речам он прибавил еще многие другие, так хорошо сказанные, исполненные таким христианским чувством и столь рассудительные, что их сомнения были рассеяны и они поверили, что он в полном разуме. Священник попросил всех, бывших в комнате, удалиться и, оставшись наедине с ним, исповедовал его. Бакалавр пошел за нотариусом и вскоре вернулся с ним и с Санчо Пансой; а Санчо (который уже узнал от бакалавра, в каком положении находился его господин), увидав, что ключница и племянница плачут, стал всхлипывать и заливаться слезами.

Когда исповедь кончилась, священник вышел, говоря:

– Алонсо Кихано Добрый, действительно умирает, и действительно он в здравом уме. Войдите к нему, чтобы он сделал свое завещание.

Это известие точно силой ударило по опухшим глазам ключницу, племянницу и доброго оруженосца Санчо Пансу, так что слезы брызнули у них из глаз потоком и тысячи глубоких вздохов вырвались из груди, потому что действительно, как уже было сказано несколько раз, и тогда, когда он был просто напросто Алонсо Кихано Добрый, и тогда, когда он был Дон Кихот Ламанчский, всегда он отличался кротким характером и приятным обхождением, и за это его сильно любили не только его домашние, но и все, кто его знал. Нотариус вошел в комнату с остальными, и после того, как он написал вступление к завещанию, Дон Кихот поручил душу свою Богу со всеми дальнейшими, требуемыми христианством, обрядностями, и перейдя к отказам по завещанию, сказал:

Итак – моя воля такова, чтобы у Санчо Пансы, которого во время моего безумия я взял к себе оруженосцем, не требовали бы денег, бывших у него на руках, ввиду того, что между мной и им были разные счета и расчеты, полочки и уплаты, и не спрашивали у него отчета в этих деньгах, но в случае бы оказался излишек, после того, как он выплатит себе из них мой долг ему, – этот остаток очень незначительный, пусть перейдет в собственность его, и да пойдет он ему на пользу. И если я, будучи безумным, держался желания дать ему губернаторство острова, теперь, будучи здравомыслящим, если бы я мог, я дал бы ему королевство, потому что его природное простодушие и верность заслуживают этого.

И обратившись к Санчо, он сказал ему:

– Прости мне, друг, что я дал тебе повод казаться таким же сумасшедшим, как я, и увлек тебя в заблуждение, в которое я впал, будто на свете были и есть странствующие рыцари.

– Ах, – ответил Санчо весь в слезах, – не умирайте, милость ваша, сеньор мой, а послушайтесь моего совета и живите многие годы, потому что самое большое безумие, которое человек может совершить в своей жизни, это допустить себя ни с того ни с сего умереть, когда никто его не убивает и его не приканчивают никакие другие руки, кроме рук тоски. Слушайте, не будьте лентяем, встаньте с этой постели, и отправимся в поле, одетые пастухами, как мы сговорились. Быть может, за каким-нибудь кустом мы найдем сеньору Донью Дульсинею, избавленную от чар, прекрасную, как только можно желать. Если же вы умираете от огорчения, что были побеждены, сложите вину на меня, сказав, что вы были вышиблены из седла, потому что я плохо подтянул подпругу Росинанта; а тем более вы, милость ваша,



Я был сумасшедший, а теперь я выздоровел.

должно быть, видели в своих рыцарских книгах, какое это обыкновенное дело что одни рыцари вышибают других из седла и тот, кто побежден сегодня, может сделаться победителем завтра.

– Это верно, – заявил Сансон, – и добрый Санчо Панса очень правильно судит об этих вещах.

– Тише, сеньоры, – сказал Дон Кихот, – потому что в прошлогодних гнездах уже нет птиц нынешнего года. Я был сумасшедший, а теперь я выздоровел. Я был Дон Кихот Ламанчский, а теперь я, как уже говорил, Алонсо Кихано Добрый. Пусть же мое раскаяние и искренность вернут мне прежнее уважение, ваши милости, и пусть сеньор нотариус продолжает.

– *Item, я завещаю все имущество мое без всяких оговорок моей племяннице Антонии Кихана, здесь присутствующей, предварительно вычтя наиболее удобным способом из него, что нужно для удовлетворения отказов, сделанных в моем завещании, – и прежде всего я желаю, чтобы было уплачено моей ключнице жалование, которое я должен ей за все время ее службы у меня и сверх того двадцать червонцев ей на платье. Назначая моими душеприказчиками сеньора священника и сеньора бакалавра Сансона Карраско, здесь присутствующих. Item – воля моя такова, что, если б Антония Кихана, племянница моя, пожелала выйти замуж, она выходила бы за человека, о котором предварительно были бы собраны справки, что он не знает, что такое рыцарские книги; и в случае будет доказано, что он знает их, тем не менее, моя племянница пожелала бы выйти и вышла бы за него, она лишается всего мною завещанного ей наследства, которое душеприказчики мои могут употребить на добрые дела по своему усмотрению. Item – умоляю упомянутых сеньоров душеприказчиков моих, если счастливый слу-*

чай даст им возможность познакомиться с автором, который, говорят, сочинил историю, находящуюся в обращении здесь, под заглавием «Вторая часть подвигов Дон Кихота Ламанчского», пусть они от имени моего попросят у него как можно настоятельнее извинения за повод, невольно данный ему для написания столь многих и таких величайших нелепостей, какие он написал, потому что я покидаю эту жизнь, чувствуя угрызения совести за то, что дал ему основание написать их.

На этом он окончил свое завещание, с ним сделался обморок и он лежал, растянувшись во всю длину на постели. Все встревожились и бросились на помощь к нему, и в течение трех дней, которые он прожил после того, как сделал завещание, он очень часто падал в обморок. Весь дом был в переполохе, но, тем не менее, племянница спокойно ела, ключница попивала, а Санчо Панса был весел; потому что мысль получить наследство несколько притупляет или умеряет в наследнике чувство горести, которое умерший тоже оставляет после себя. Наконец, наступил последний час Дон Кихота после того, как он причастился и в многих и в убедительных словах высказал свое отвращение к рыцарским книгам. Тут же находился и нотариус, сказавший, что никогда он не читал ни в какой из рыцарских книг, чтобы какой-либо странствующий рыцарь умер в своей постели так спокойно и по-христиански, как Дон Кихот, который, среди сожаления и слез всех присутствовавших испустил свой дух – я хочу сказать – умер.

Увидав это, священник попросил нотариуса дать ему свидетельство, что Алонсо Кихано Добрый, называемый обыкновенно Дон Кихот Ламанчский, расстался с земной жизнью и умер естественной смертью; объявив, что просит такое свидетельство, чтобы у всякого

другого автора, за исключением Сиды Амета Бененхели, отнять возможность ложно воскресить его и писать бесконечные истории о его подвигах.

Таков был конец *остроумно-изобретательного идальго Ламанчского*, родину которого Сид Амет не счел нужным точно указать по той причине, чтобы предоставить всем городам и местечкам Ламанчи препираться друг с другом из-за чести присвоить его себе и считать своим, как препирались из-за Гомера семь городов Греции. Мы не упоминаем здесь о слезах Санчо, племянницы и ключницы, также как и о новых эпитафиях на его гробнице но вот та, которую Сансон Карраско сочинил для нее:

Здесь лежит идальго славный,
Столь отважный Дон Кихот,
Что и смерть в борьбе неравной
Победил он, достославный,
И хоть умер, а живет!
Ни во что весь мир считая,
В мире пугалом он слыл.
Жил безумцем, изумляя
Целый свет, – а умирая
В здравом он рассудке был!

И столь прозорливый Сид Амет сказал своему перу: – Здесь будешь ты висеть на этом крючке и медной проволоке, гусиное мое перо, – не знаю хорошо ли или плохо очиненное, – где ты и проживешь долгие века, если самонадеянные и изменнические историки не снимут тебя, чтобы осквернить. Но прежде, чем они прикоснутся к тебе, ты можешь предостеречь их и сказать им, как только сумеешь лучше:

Тише, тише, негодяи,
И не трогайте меня:

Совершить, – король мой добрый, –
Этот подвиг мог лишь я.

Для меня одного родился Дон Кихот и я для него. Он умел действовать, а я – писать. Только мы двое составляем одно, вопреки и назло вымышленному тордесильясскому¹ писателю, который дерзнул или дерзнет описать грубым и плохо очиненным страусовым пером подвиги моего доблестного рыцаря, потому что это бремя не для его плеч и сюжет не для замерзшего его ума. Если б ты случайно познакомился с ним, предупреди его, чтоб он дал усталым и уже истлевшим костям Дон Кихота покоиться в могиле и не пытался бы, против всех законов смерти, увести его в старую Кастилию², заставив выйти из могилы, в которой он, в действительности и на самом деле лежит, вытянувшись во весь рост, не имея возможности совершить третье путешествие и новый выезд. Чтобы осмеять все то, что предпринималось таким множеством странствующих рыцарей, достаточно и двух выездов, совершенных им, к величайшему удовольствию и развлечению тех людей, до которых дошли сведения о них, как здесь, так и в чужих странах. Этим ты исполнишь христианский свой долг, давая добрый совет тому, кто желает тебе зла, а я буду доволен и горд тем, что я первый наслаждался плодами своих писаний в той полноте, как я это желал, потому что у меня не было иного желания, как только вселить в людях отвращение к вымышленным и нелепым историям рыцарских книг, которые, благодаря истории истинного моего Дон Кихота уже шатаются и не подлежат никакому сомнению, совсем и навсегда упадут. Vale.

¹ Авелланеда.

² Сервантес намекает здесь на следующее обстоятельство: Авелланеда, закончив книгу свою тем, что поместил Дон Кихота в дом умалишенных в Толедо, добавляет, что рыцарь по преданию вышел оттуда и отправился в старую Кастилию, где с ним случился целый ряд новых приключений.



Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ	4
БИОГРАФИЧЕСКИЙ ОЧЕРК	8
ТОМ ПЕРВЫЙ	31
ПРОЛОГ	35
ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ СТИХОТВОРЕНИЯ	41
ГЛАВА I	50
<i>В которой идет речь об образе жизни и занятиях знаменитого идадьго Дон Кихота Ламанчского.</i>	
ГЛАВА II	56
<i>В которой речь о первом выезде изобретательного Дон Кихота из родного местечка.</i>	
ГЛАВА III	62
<i>В которой рассказывается, к какому забавному способу прибегнул Дон Кихот, чтобы быть посвященным в рыцари.</i>	
ГЛАВА IV	69
<i>Что случилось с нашим рыцарем, когда он уехал с постоянного двора.</i>	
ГЛАВА V	76
<i>Продолжение рассказа о злоключениях нашего рыцаря.</i>	
ГЛАВА VI	82
<i>Об искусном и великом следствии, произведенном священником и цирюльником в библиотеке нашего остроумного идадьго.</i>	
ГЛАВА VII	88
<i>О втором выезде нашего доброго рыцаря Дон Кихота Ламанчского.</i>	
ГЛАВА VIII	95
<i>О великой удаче доблестного Дон Кихота в ужасающем и невообразимом приключении с ветряными мельницами, и о разных других событиях, достойных сохраниться в памяти.</i>	
ГЛАВА IX	104
<i>В которой сообщается конец и исход изумительной битвы между отважным бискайцем и храбрым ламанчцем.</i>	
ГЛАВА X	109
<i>Остроумные разговоры, которые вели Дон Кихот и его оруженосец Санчо Панса.</i>	

ГЛАВА XI	114
<i>О том, что приключилось с Дон Кихотом у козопасов.</i>	
ГЛАВА XII	120
<i>О том, что рассказал козопас своим товарищам, бывшим с Дон Кихотом.</i>	
ГЛАВА XIII	125
<i>В которой оканчивается рассказ о пастушке Марселе и сообщаются другие события.</i>	
ГЛАВА XIV	133
<i>В которой приводится исполненное отчаяния стихотворение умершего пастуха и рассказываются и другие неожиданные события.</i>	
ГЛАВА XV	141
<i>В которой рассказывается о несчастном приключении, случившемся с Дон Кихотом при встрече с несколькими злобными Янгусами.</i>	
ГЛАВА XVI	150
<i>О том, что случилось с остроумно-изобретательным идадьго на постоялом дворе, который он принял за замок.</i>	
ГЛАВА XVII	157
<i>Дальнейшее повествование о бесчисленных невзгодах, которые пришлось претерпеть мужественному Дон Кихоту и доброму его оруженосцу Санчо Пансе на постоялом дворе, принятом рыцарем, к несчастью его, за замок.</i>	
ГЛАВА XVIII	167
<i>В которой передается о разговоре Санчо Пансы с его господином, Дон Кихотом, и о других приключениях, заслуживающих быть рассказанными.</i>	
ГЛАВА XIX	176
<i>О мудром разговоре, который Санчо вел со своим господином, о приключении с мертвым телом и о других замечательных событиях.</i>	
ГЛАВА XX	182
<i>О невиданном и неслыханном приключении, доведенном до конца храбрым Дон Кихотом Ламанчским с меньшей опасностью, чем приключение, совершенное кем-либо из других прославленных на свете рыцарей.</i>	
ГЛАВА XXI	194
<i>В которой речь о славном приключении, – богатой добыче шлема Мамбрино, – и других событиях, случившихся с непобедимым нашим рыцарем.</i>	
ГЛАВА XXII	203
<i>О том, как Дон Кихот освободил многих несчастных, которых, против их воли, вели туда, куда у них не было желания идти.</i>	
ГЛАВА XXIII	214
<i>О том, что случилось со знаменитым Дон Кихотом в Сьерра-Морене, – одно из самых редкостных приключений, рассказанных в правдивой этой истории.</i>	
ГЛАВА XXIV	229
<i>В которой продолжается приключение в Сьерра-Морене.</i>	
ГЛАВА XXV	236
<i>В которой рассказывается о странных вещах, приключившихся с доблестным рыцарем Ламанчским в Сьерра-Морене, и о том, как он подражал покаянию Бельтенеброса.</i>	
ГЛАВА XXVI	251
<i>Продолжение изящных проделок, совершенных Дон Кихотом в качестве влюбленного в Сьерра-Морене.</i>	

ГЛАВА XXVII	257
<i>О том, как священник и цирюльник выполнили свое намерение, и о других вещах, заслуживающих быть рассказанными в этой великой истории.</i>	
ГЛАВА XXVIII	271
<i>Неожиданное и приятное приключение, случившееся со священником и цирюльником в той же Сьерра-Морене.</i>	
ГЛАВА XXIX	285
<i>В которой рассказывается о забавной уловке и хитрости, предпринятых с целью освободить влюбленного нашего рыцаря от столь суровой эпитемии, наложенной им на себя.</i>	
ГЛАВА XXX	298
<i>В которой рассказывается о находчивости прекрасной Доротеи и о других забавных и увеселительных вещах.</i>	
ГЛАВА XXXI	306
<i>О приятном разговоре, происходившем между Дон Кихотом и его оруженосцем Санчо Пансой, а также и о других событиях.</i>	
ГЛАВА XXXII	314
<i>В которой рассказывается о том, что случилось на постоялом дворе со спутниками Дон Кихота.</i>	
ГЛАВА XXXIII	322
<i>В которой рассказывается повесть о Безрассудно-любопытном.</i>	
ГЛАВА XXXIV	336
<i>В которой продолжается рассказ о Безрассудно-любопытном.</i>	
ГЛАВА XXXV	351
<i>В которой рассказывается о жестокой и необычайной битве Дон Кихота с несколькими бурдюками красного вина, и оканчивается повесть о Безрассудно-любопытном.</i>	
ГЛАВА XXXVI	358
<i>В которой рассказывается о других редкостных событиях, случившихся на постоялом дворе.</i>	
ГЛАВА XXXVII	367
<i>В которой продолжается история знаменитой принцессы Микомиконы, с другими забавными приключениями.</i>	
ГЛАВА XXXVIII	375
<i>В которой приведена любопытная речь, произнесенная Дон Кихотом по поводу оружия и словесных наук.</i>	
ГЛАВА XXXIX	379
<i>В которой пленник рассказывает свою жизнь и приключения.</i>	
ГЛАВА XL	387
<i>В которой продолжается история пленника.</i>	
ГЛАВА XLI	398
<i>В которой пленник продолжает свой рассказ.</i>	
ГЛАВА XLII	417
<i>В которой сообщается о том, что произошло еще на постоялом дворе, и о многих других вещах, заслуживающих быть рассказанными.</i>	
ГЛАВА XLIII	423
<i>В которой рассказывается занимательная история молодого погонщика мулов и другие странные происшествия, случившиеся на постоялом дворе.</i>	
ГЛАВА XLIV	432
<i>В которой продолжают неслыханные приключения на постоялом дворе.</i>	

ГЛАВА XLV	439
<i>В которой окончательно разъясняются сомнения по поводу шлема Мамбрино и выючного седла, а также рассказывается и о других истинных происшествиях.</i>	
ГЛАВА XLVI.....	445
<i>О замечательном приключении с куадрильеросами и о великой ярости нашего доброго рыцаря Дон Кихота.</i>	
ГЛАВА XLVII	453
<i>О странном способе, которым Дон Кихот был очарован и о других замечательных событиях.</i>	
ГЛАВА XLVIII.....	462
<i>В которой каноник продолжает высказываться по поводу рыцарских книг и других тем, достойных острого его ума.</i>	
ГЛАВА XLIX	470
<i>Где сообщается о рассудительном разговоре, который Санчо вел с своим господином Дон Кихотом.</i>	
ГЛАВА L.....	476
<i>Об остроумном споре Дон Кихота с каноником и о других событиях.</i>	
ГЛАВА LI	485
<i>В которой сообщается о том, что рассказал козопас всем тем, кто увозил Дон Кихота.</i>	
ГЛАВА LII.....	492
<i>О споре Дон Кихота с козопасом и о редкостном приключении с бичующимися, счастливо завершнное рыцарем в поте своего лица.</i>	
ТОМ ВТОРОЙ.....	504
ПРЕДИСЛОВИЕ.....	511
<i>К читателю</i>	
ГЛАВА I.....	515
<i>О том, что произошло у священника и цирюльника с Дон Кихотом по поводу его болезни.</i>	
ГЛАВА II	524
<i>В которой идет речь о замечательной ссоре, затеянной Санчо Пансой с ключницей и племянницей Дон Кихота, и о других забавных приключениях.</i>	
ГЛАВА III.....	529
<i>О смешном разговоре, который произошел между Дон Кихотом, Санчо Пансой и бакалавром Сансоном Карраско.</i>	
ГЛАВА IV	536
<i>В которой Санчо Панса дает объяснение на все вопросы и сомнения бакалавра Сансона Карраско, и где сообщается и о других происшествиях, заслуживающих того, чтобы их послушать и рассказать.</i>	
ГЛАВА V	542
<i>Об остроумном и забавном разговоре, происходившем у Санчо Пансы с его женой Тересой Панса, а также и о других событиях, заслуживающих приятнейшего воспоминания.</i>	
ГЛАВА VI.....	548
<i>О том, что произошло у Дон Кихота с его ключницей и племянницей, – одна из самых важных глав во всей истории.</i>	
ГЛАВА VII	553
<i>О том, что произошло у Дон Кихота с его оруженосцем, и о других в высшей степени замечательных событиях.</i>	

ГЛАВА VIII.....	559
<i>В которой говорится о том, что случилось с Дон Кихотом, ехавшим на свидание с сеньорой своей Дульсинеей Тобосской.</i>	
ГЛАВА IX.....	566
<i>В которой рассказывается то, что будет видно.</i>	
ГЛАВА X.....	570
<i>Где рассказывается о хитрости, к которой прибеж Санчо Панса, чтобы очаровать сеньору Дульсинею, и о других событиях, столь же смешных, как и правдивых.</i>	
ГЛАВА XI.....	578
<i>О странном приключении, случившемся с доблестным Дон Кихотом при встрече с колесницею или колымагою Смерти и ее придворным штатом.</i>	
ГЛАВА XII.....	585
<i>О страшном приключении, случившемся с доблестным рыцарем Дон Кихотом и храбрым рыцарем Зеркал.</i>	
ГЛАВА XIII.....	592
<i>В которой продолжается приключение с рыцарем Леса, а также и остроумный, необычайный и достопримечательный разговор, происходивший между двумя оруженосцами.</i>	
ГЛАВА XIV.....	597
<i>Закрывающая в себе продолжение приключения с рыцарем Леса.</i>	
ГЛАВА XV.....	606
<i>В которой рассказывается и сообщается, кто такой был рыцарь Зеркал и его оруженосец.</i>	
ГЛАВА XVI.....	608
<i>О том, что приключилось с Дон Кихотом и одним рассудительным кабальеро Ламанчи.</i>	
ГЛАВА XVII.....	616
<i>В которой обнаружился высший и крайний предел, до которого достигла и могла достигнуть неслыханная доблесть Дон Кихота, в счастливо завершенном им приключении со львами.</i>	
ГЛАВА XVIII.....	625
<i>О том, что случилось с Дон Кихотом в замке или в доме рыцаря Зеленого Плаща и о других необычайных вещах.</i>	
ГЛАВА XIX.....	633
<i>В которой рассказывается приключение влюбленного пастуха, а также и другие истинно забавные события.</i>	
ГЛАВА XX.....	639
<i>В которой рассказывается о свадьбе богатого Камачо и приключении с бедным Басилио.</i>	
ГЛАВА XXI.....	650
<i>В которой продолжается повествование о свадьбе Камачо и о других приятных событиях.</i>	
ГЛАВА XXII.....	658
<i>В которой сообщается о великом приключении в пещере Монтесинос, в центре Ламанчи, доведенное до счастливой конца доблестным Дон Кихотом Ламанчским.</i>	
ГЛАВА XXIII.....	668
<i>Об изумительных вещах, о которых превзошедший себя Дон Кихот рассказал, будто он их видел в глубокой пещере Монтесинос, но невероятность и необязательность которых дает повод считать это приключение апокрифическим.</i>	
ГЛАВА XXIV.....	679
<i>В которой рассказывается тысяча незначительных вещей, столь же нелепых, как и необходимых для истинного понимания этой великой истории.</i>	

ГЛАВА XXV	685
<i>В которой сообщается о приключении с ослиным ревом и о забавном приключении с хозяином театра марионеток, также как и о замечательных предсказаниях обезьяны-отгадчицы.</i>	
ГЛАВА XXVI	694
<i>Продолжение забавного приключения с хозяином кукольного театра, а также и другие действительно интересные происшествия.</i>	
ГЛАВА XXVII	702
<i>В которой дается отчет о том, кто был мазе Педро и его обезьяна, а также и о неудаче Дон Кихота в приключении с ослиным ревом, которое окончилось не так, как он думал и желал.</i>	
ГЛАВА XXVIII	709
<i>Где речь о вещах, которые – по словам Бененхели – узнает тот, кто прочтет эту главу, если прочтет ее внимательно.</i>	
ГЛАВА XXIX	714
<i>О знаменитом приключении с заколдованной баркой.</i>	
ГЛАВА XXX	721
<i>О том, что произошло у Дон Кихота с прекрасной охотницей.</i>	
ГЛАВА XXXI	727
<i>В которой идет речь о многих и важных вещах.</i>	
ГЛАВА XXXII	735
<i>Об ответе, который Дон Кихот дал своему порицателю, и о других серьезных и веселых происшествиях.</i>	
ГЛАВА XXXIII	746
<i>О приятном разговоре герцогини и ее девушек с Санчо Пансой, заслуживающем быть прочитанным и отмеченным.</i>	
ГЛАВА XXXIV	753
<i>Где рассказывается о полученном сведении, каким образом снять очарование с несравненной Дульсинеи Тобосской, что и составляет одно из наиболее знаменитых приключений этой книги.</i>	
ГЛАВА XXXV	759
<i>В которой продолжается рассказ об указании, полученном Дон Кихотом относительно снятия чар с Дульсины, и сообщаются и другие изумительные происшествия.</i>	
ГЛАВА XXXVI	767
<i>В которой повествуется о странном и невообразимом приключении дуэньи Долориды или иным именем – графини Трифальди, а также приводится письмо, написанное Санчо Пансой своей жене Тересе Панса.</i>	
ГЛАВА XXXVII	772
<i>Продолжение знаменитого приключения дуэньи Долориды.</i>	
ГЛАВА XXXVIII	774
<i>В которой сообщается рассказ дуэньи Долориды о ее несчастной судьбе.</i>	
ГЛАВА XXXIX	779
<i>В которой Трифальди продолжает рассказывать свою изумительную и достопамятную историю.</i>	
ГЛАВА XL	782
<i>О вещах, касающихся и относящихся к этому приключению и к этой достопамятной истории.</i>	
ГЛАВА XLI	787
<i>О появлении Клавильено и об окончании затянувшегося этого приключения.</i>	

ГЛАВА XLII	795
<i>О советах, данных Дон Кихотом Санчо Пансе перед тем, как он уехал губернаторствовать на остров, и о других весьма важных вещах.</i>	
ГЛАВА XLIII	800
<i>Дальнейшие советы, данные Дон Кихотом Санчо Пансе.</i>	
ГЛАВА XLIV	806
<i>О том, как Санчо Панса уехал на губернаторство, и о странном приключении, случившемся в замке с Дон Кихотом.</i>	
ГЛАВА XLV	815
<i>О том, как великий Санчо Панса вступил во владение своим островом и каким образом он начал там губернаторствовать.</i>	
ГЛАВА XLVI	822
<i>Об ужасном испуге, причиненном Дон Кихоту колокольчиками и кошками во время любовного приключения влюбленной в него Алтисидоры.</i>	
ГЛАВА XLVII	827
<i>Заключает в себе продолжение рассказа о том, как Санчо Панса вел себя на своем губернаторстве.</i>	
ГЛАВА XLVIII	835
<i>О том, что произошло у Дон Кихота с доньей Родригес, дуэньей герцогини, а также и о других событиях, заслуживающих быть записанными и увековеченными.</i>	
ГЛАВА XLIX	844
<i>О том, что случилось с Санчо Пансой при обходе им своего острова.</i>	
ГЛАВА L	853
<i>В которой объясняется, кто были волшебники и палачи, отишлепавшие дуэнью и исцелившие и исцарапавшие Дон Кихота; а также и то, что случилось с пажем, который отвез письмо к Тересе Панса, жене Санчо Пансы.</i>	
ГЛАВА LI	861
<i>О дальнейшем губернаторствовании Санчо Пансы и о других происшествиях, в том виде, как они случились.</i>	
ГЛАВА LII	868
<i>В которой рассказывается приключение второй дуэньи Долориды или огорченной, иначе называемой доньей Родригес.</i>	
ГЛАВА LIII	874
<i>О тревожном конце и заключении губернаторства Санчо Пансы.</i>	
ГЛАВА LIV	881
<i>В которой говорится о вещах, касающихся лишь этой истории и никакой другой.</i>	
ГЛАВА LV	887
<i>О том, что случилось с Санчо, а также и о других вещах, лучшие которых ничто быть не может.</i>	
ГЛАВА LVI	894
<i>О чудовищной и никогда не виданной битве, произошедшей между Дон Кихотом Ламанчским и лакеем Тосилосом, в защиту чести дочери дуэньи доньи Родригес.</i>	
ГЛАВА LVII	898
<i>В которой речь о том, как Дон Кихот простился с герцогом, и что произошло у него с девушкой герцогини, умной и развязной Алтисидорой.</i>	

ГЛАВА LVIII.....	903
<i>В которой речь о том, как на Дон Кихота посыпалось столько приключений, что одни теснили других.</i>	
ГЛАВА LIX.....	914
<i>Где рассказывается необычайное происшествие, которое случилось с Дон Кихотом, и может быть сочтено за приключение.</i>	
ГЛАВА LX.....	923
<i>О том, что случилось с Дон Кихотом по пути в Барселону.</i>	
ГЛАВА XLI.....	937
<i>О том, что случилось с Дон Кихотом при въезде его в Барселону, и о других вещах, в которых больше правдивости, чем рассудительности.</i>	
ГЛАВА LXII.....	942
<i>Где речь о приключении с очарованной головой и о других ребячествах, о которых нельзя не рассказать.</i>	
ГЛАВА XLIII.....	955
<i>О беде, случившейся с Санчо Пансой при посещении галер, и новое приключение прекрасной мавританки.</i>	
ГЛАВА LXIV.....	963
<i>Где сообщается о приключении, доставившем Дон Кихоту больше огорчений, чем все остальные, случившиеся с ним до тех пор.</i>	
ГЛАВА LXV.....	968
<i>В которой даются сведения о том, кто был рыцарь Белой Луны, а также об освобождении из плена доня Григорио и о других происшествиях.</i>	
ГЛАВА LXVI.....	973
<i>Где речь о том, что увидит всякий, кто ее прочтет, и услышит тот, кому ее прочтут.</i>	
ГЛАВА LXVII.....	980
<i>О решении, принятом Дон Кихотом, сделаться пастухом и вести жизнь среди полей, пока не пройдет обещанный им год, и о других событиях, действительно забавных и прекрасных.</i>	
ГЛАВА LXVIII.....	985
<i>О щетинистом приключении, случившемся с Дон Кихотом.</i>	
ГЛАВА LXIX.....	991
<i>О самом редкостном и любопытном приключении, которое случилось с Дон Кихотом на всем протяжении этой великой истории.</i>	
ГЛАВА LXX.....	996
<i>Которая следует за шестьдесят девятой, и где идет речь о вещах, необходимых для ясного понимания этой истории.</i>	
ГЛАВА LXXI.....	1002
<i>О том, что случилось с Дон Кихотом и его оруженосцем по дороге в их деревню.</i>	
ГЛАВА LXXII.....	1008
<i>О том, как Дон Кихот и Санчо прибыли в свою деревню.</i>	
ГЛАВА LXXIII.....	1013
<i>О предзнаменованиях, встреченных Дон Кихотом при выезде в его деревню, и о других происшествиях, которые украшают и придают достоверность этой великой истории.</i>	
ГЛАВА LXXIV.....	1018
<i>О том, как Дон Кихот заболел, о завещании, сделанном им, и о его смерти.</i>	

МИГЕЛЬ ДЕ СЕРВАНТЕС СААВЕДРА ДОН КИХОТ ЛАМАНЧСКИЙ

Дизайн обложки, обработка иллюстраций, верстка
Е. Гезенцевей

Подготовка к печати
А. Яскевич

Сдано в печать 21.01.2019
Объем 64,5 печ. листа, тираж 3000 экз.
Заказ № 0246/19

Бумага матовая мелованная
Presto Silk

На основании п. 2.3 статьи 1 Федерального закона №436-ФЗ от 29.12.2010
не требуется знак информационной продукции, так как данное издание
классического произведения имеет значительную историческую, художественную
и культурную ценность для общества



СЗКЭО

Санкт-Петербург

ООО «СЗКЭО»

Телефон в Санкт-Петербурге: +7 (812) 365-40-44

E-mail: knigi@szko.ru

ООО «Издательство «ОНИКС-ЛИТ»

119017, Москва, пер. Пыжевский, д. 5, стр. 1

Отдел реализации: тел.: (495) 649-85-07

Интернет-магазины: www.labyrinth.ru, www.my-shop.ru, www.ozon.ru

Отпечатано в соответствии с предоставленными материалами
в ООО «ИПК Парето-Принт»,
170546, Тверская область, Промышленная зона Боровлево-1, комплекс №3А,
www.pareto-print.ru



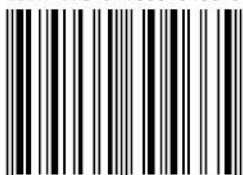
«Дон Кихот» был впервые опубликован в начале XVII века и сразу снискал заслуженную славу. Этим романом зачитывались, его переиздавали, переводили. После двадцати лет скитальческой жизни и литературных опытов к Сервантесу пришел заслуженный успех. В чем же заключался его секрет? Ведь «Дон Кихот» был задуман всего лишь как пародия на рыцарские романы того времени. Однако произведение Сервантеса переросло эту задачу. Его роман богат и по стилистике, и по содержанию. В нем нашли свое отражение и мавританские повести, и поэмы итальянского Ренессанса, и юмор плутовского романа, и

романтика испанских песенных баллад и романсов. К тому же комическая история Дон Кихота переросла в масштабную картину народной жизни в Испании того времени, став своеобразной общечеловеческой эпопеей.

Первый полный перевод романа на русский язык был выполнен в 1907 г. Марией Валентиновной Ватсон. Ее девичья фамилия звучала для русского уха странно — де Роберти де Кастро де ла Серда. Будущая переводчица родилась в семье испанского аристократа, которого по странной прихоти жизнь забросила в Малороссию. Из провинции де Кастро переехала в Санкт-Петербург, где в 1865 г. окончила Смольный институт благородных девиц. Самостоятельно освоив итальянский, английский, немецкий, португальский и французский языки, много потом переводила. Писала и собственные стихи. Язык Сервантеса она знала с детства, как родной, и в этом кроется успех ее перевода. Он точен по смыслу, верен в деталях и передает все нюансы стилистики Сервантеса.

Обычно переиздания романа Сервантеса выходят с великолепными рисунками Гюстава Доре. Этот выдающийся французский иллюстратор специально ездил в 1855 г. в Испанию, чтобы проникнуться местным колоритом и воочию увидеть места, по которым мог странствовать «рыцарь печального образа». Книга, которую вы взяли в руки, не исключение. Однако у нее есть уникальная особенность — ее украшают 350 акварелей, выполненных по гравюрам Доре. Эти акварели создал испанский художник Сальвадор Туселл Гранер, чьи работы впервые привлекли общее внимание на художественной выставке в Барселоне в 1863 г. С тех пор Туселл постоянно сотрудничал с различными испанскими издательствами, рисуя иллюстрации для книг и журналов.

ISBN 978-5-9603-0466-5



9 785960 304665 >

